

БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТА БОРИСА АКУНИНА

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

ВАЛЕНТИН
ИВАНОВ



РУСЬ
ИЗНАЧАЛЬНАЯ

РБ

Annotation

Библиотека проекта «История Российского Государства» — это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.

Открывает Библиотеку «Русь изначальная» — пожалуй, самый известный, любимый несколькими поколениями читателей (и самый первый в истории!) роман о том, как закладывались основы Киевского государства.

VI век нашей эры. Распад родового строя у приднепровских (восточных) славян. Связанные общностью речи, быта и культуры, вынужденные обороняться против разбойничьих набегов кочевников, приднепровские славяне осознают необходимость действовать сообща. Так закладываются основы Киевского государства. «Русь изначальная» — многоплановое произведение, но в нем четко проведены две линии: славяне и Византия. В то самое время, когда на Руси идет большая созидательная работа, наемники Второго Рима уничтожают мириады «еретиков», опустошают Малую Азию, Египет, Северную Африку, войной выжигают Италию, — начавшая оскудевать Восточная империя свирепо отстаивает рабовладельческие порядки и интересы автократической церкви. «Русь изначальная» — первое произведение не только в русской, но и в мировой литературе, посвященное эпохе VI века. В этом романе Валентин Иванов выступает не только как писатель, но и как исследователь и знаток мира приднепровских славян VI века.

Валентин Иванов

Русь изначальная

Том первый

Пролог

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые –
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.

Тютчев

Восточный берег полуострова, занятого Византией, избран для собрания дворцов, храмов, служб, садов. Это Священный Палатий, алтарь Единоличного Владыки империи. Сегодня, в прохладном дыхании близкого Евксинского Понта, Палатий казался земным раем.

В одной из комнаток одной из палатийских канцелярий трудился над рукописью мужчина лет тридцати пяти – сорока. Постоянный советник полководца Велизария и неизменный его спутник Прокопий, человек образованный и умный, что важно, и хитрый, что еще важнее для существующих в тени Власти, был сух и крепок телом. Углы его рта подчеркивала складка, свойственная тем, кто годами умел вежливо или, лучше, искательно улыбаться речам вышестоящих. Он был слегка сутуловат, не помогали гимнастика и усилия массажистов. Прокопий слишком много времени проводил за работой. Женат он не был и не знал забот о семье.

Главнейшей из всех наук ему казалась история людей. Он считал, что человеку, не ведающему прошлого, непонятно и настоящее: зримое невеждой лишено глубины, подобно плоским рисункам на стенах древних египетских храмов.

Дабы продолжить труд прошлых писателей, Прокопий рассказывал о своем времени. Он хотел правдиво изложить то, что видел сам, и сообщенное другими. Для этого нужно уметь спрашивать и постигать смысл прочтенного. Обдумывая узнанное, следует отделить зерно от половы. Нужно не только собрать, но, установив связи, придать рассказу стройность. Дождевой червь, чтобы двигаться, пропускает землю через свое тело. Таковы писатель и жизнь, текущая через его разум.

Знать, понять происходящее внутри империи и за ее границами... Прошло время, когда империя цепко разрасталась, жадно поглощая захваченное. Ныне империя только защищается на территории вдвое меньшей, чем некогда. Откуда назревают угрозы? Не с Запада, где варварские государства истощаются сварой на старых имперских землях в Испании, Галии, Британии, по Рейну. Готы, захватившие Италию, выдохлись. На Востоке империя привычно сдерживает персов малыми войнами, переговорами, золотом. Только Север копит неизвестные силы. Дунайская граница постоянно попирается нашествиями племен, которые, по всем сообщениям, прочно владеют пространствами за Дунаем и Евксинским Понтом.

Все прежние писатели называли по-разному северные народы. Преемственности среди этих народов,

казалось, не было. Но, в сущности, никто не обладал верными сведениями. Однако же вполне возможно, что со времен Гомера, Гекатея, Геродота на Севере не было чрезвычайных перемен. Люди одного племени могли называть себя по-разному для отличия от соплеменников, владельцев смежных угодий. Несомненно, что изустная передача чужих, непривычных слуху эллина и римлянина имен искажала их до неузнаваемости.

Прокопий, не желая повторять недостоверные для него сообщения, старался ограничиваться настоящим временем. Но необходимо рассказать существенное о прошлом и о быте северных племен, ибо до сих пор нападения на империю кажутся людям беспричинными наводнениями с невидимых гор. Таковы результаты невежества, ибо все имеет причины, определяющие следствия.

Почти полное тысячелетие отделяло Прокопия от века, в котором жил Отец Истории Геродот и великий Фукидид. Прокопий думал об исканиях и мучениях этих людей. Без опыта никому не познать сущности любого мастерства, лишь пишущий поймет пишущего. Писателю нужна решимость большая, чем другим, так как сомневающийся не закончит и строчки, он осужден на бесплодие бесконечных помарок и чистых страниц. На самом деле жизнь снабжена бесчисленными гранями. Испытываемая разумом, она меняет свой вид, как изрезанный берег Эллады перед взглядом морехода. Каждая строка требует проявления мужества, каждая мысль есть решение полководца. Нет, военачальник может уклоняться от сражений, в его власти замена штурма бездействием терпеливой осады. Писатель же подобен солдату, рвущемуся на стену.

Прокопий начал:

«Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но живут в народоправстве».

Он знал, что славяне и анты говорят одной речью, живут одинаковым укладом. Одни располагаются ближе к империи, другие – дальше. В названии «анты» для Прокопия звучал корень латинского слова, обозначающего местонахождение «раньше, против». К тому же ни одно из славянских племен не называет себя антами. Прокопий сохранял это название, чтобы быть лучше понятым.

Итак, они живут в демократии... Дальше!

«Поэтому у них счастье и несчастье считаются общим делом. И в остальном у этих народов вся жизнь и все законы одинаковы».

Его окружили образы, для него священные: общины свободных и равных людей, сильных единством воли, подчиняющихся лишь необходимости. Он продолжал во власти Вдохновенья:

«Они считают, что только единый бог, творец молний, владычествует над всеми, ему приносят они жертвы и совершают другие обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что Судьба по отношению к людям имеет какую-либо силу...»

Вдохновенье! Великое и неопределимое философами понятие. Часто Прокопий убеждался, что истина легче открывается Вдохновенью, чем усилиям разума. Но как легко спугнуть эту дивную птицу! Перечитывая написанное, Прокопий размышлял.

Он написал о людях, которые пользуются демократией и отрицают власть Судьбы. Да, таковы в действительности быт и воззрения славян, антов. Но что может подумать иной, прочтя эти строки? Базилевс Юстиниан выжигает в империи последние следы демократии, а без упоминания о Судьбе немислима речь христианина.

Прокопий был хорошо знаком с языческими воззрениями. В прошлом люди считали Фатум сильнее

олимпийцев. Христиане восприняли это понятие как выражение неизреченной воли своего бога. Поэтому в описании славян иной злонамеренный и выслуживающийся подданный Юстиниана обнаружит и мятежное осуждение автократии, и неверие в бога. Ни сам клеветник, ни внимающий доносу не захотят ознакомиться с источниками осведомления историка. Его даже не спросят, он будет осужден заочно.

Следуя за Велизарием, вдали от Византии Прокопий дышал свободнее, писал смелее. Здесь иное – Палатий душил писателя. Не шевелясь, он взглянул вправо, влево. Увлечшись, он, кажется, рассуждал вслух. Он знал за собой это опасное свойство. К тому же, как многие авторы, он любил читать написанное вслух, чтобы ухом проверить слог и содержание.

Железный доспех, которого никогда не снимают, уродует тело. Нельзя вечно давить в себе протест и оставаться здоровым. Печальная участь камня, одиноко противостоящего течению.

Прокопий скользнул к двери, положил руку на медную задвижку. Нет, он не забыл запереться, никто не мог подслушать. Если у него и вырвались опасные слова, сегодня железная западня Судьбы-Случая останется голодной.

В окне – прочная решетка. Одиночество в одиночестве. Нельзя доверять ни кровным, ни близким. Когда был создан этот неписанный закон существования подданных?

– Скажи, – спросил себя Прокопий, – в действительности ли ты веришь во всепобеждающую силу Судьбы, как все? В твоих книгах ты умеешь ссылаться на нее. Где же ты был искренен, а где ты указывал на Судьбу лишь для памятной заметки в надежде на пришествие времени, когда сможешь объяснить, что не Судьба, а злая воля Юстиниана и Феодоры были причиной всеобщих бедствий?

Прокопий ощутил свою слабость, бездарность. К чему все это? Зачем, для кого? Его перо слабо, его мысль скудна. Ему казалось, что он не напишет больше ни строчки. Он сух, он бесплоден. Если бы он мог, он молился бы как безбожник, который в бурном море взывает о помощи к всевышнему.

Он горько уличал себя: как все, ты находишь утешение во всемогущей Судьбе, в ней ты ищешь защиту против людей, с которыми ты не смеешь бороться, которых боишься обличить! А свобода воли? Так кто же ты сам? Где твоя мера, которой ты надменно измеряешь дела других? И когда ты начнешь писать книгу Правды?

Сумерки подкрадывались к Святому Палатию. Успокоившись, Прокопий думал о юности народов, и Вдохновенье нежно ласкало писателя. Он был убежден, что не так давно, тому назад полтораста или двести поколений, на берегах Теплых морей сиял Золотой век людей, живших в народоправстве. Тогда свобода мысли не укрощалась отваром цикуты, топором палача или отлучением от церкви.

А Судьба? Быть может, действительно существует роковая связь событий, не зависящая от воли человека. Если и так, то в те далекие и ясные лета Фатум, злобный, неумолимо слепой, но и прибежище слабых, спал в бездонности вод Мирового океана. Ибо тогда еще не было надобности в Ужасе богов и в утешении смертных. Может быть...

Так пусть же остается написанное о славянах. Ложь есть смерть, и правда, как дыханье, нужна человеку. Прокопий громко поклялся:

– Верую! Истинно верую! Нелицеприятно исследуя жизнь и глядя правде в лицо, люди воскресят Золотой век, которому имя – Свобода!

Глава 1

Россици

Там русский дух... там Русью пахнет.

Пушкин

1

С вечного дуба смотрел владыка Огня и Жизни. Бог, который для плодородия Земли золотыми бичами гоняет в небе черных коров, однажды громовым копьём бросил себя на священное с того дня дерево. Это было давно-давно, при пращурах или при более дальних предках, для которых по древности лет нет обозначения степени родства.

Бог сломил-разбил вершину дуба и, уйдя назад от оплодотворенной земли в небесную твердь, оставил свой образ в стволе. Так верили, так передавали иные. Другие же помнили сказание об искуснике мастере. Он вдохновенным резцом и силой каленого железа обозначил в дереве явление Сварога. Так ли случилось или иначе, но каждый еще и сегодня мог увидеть лицо: под черным, выпуклым, как щит, челом сидели два глубоких глаза, и левый был прищурен, будто у лучника. Раздутые ноздри прямого, как у русских людей, носа напоминали о туре-зубре, когда замирает он глыбой серого камня, чутко слушая запахи степи. Усы бога, слившись с бородой, стекали семью неравными прядями, а концы прядей прятались под корой. Руки скрывались в сучьях более толстых, чем тело человека, ноги оделись корнями. Огненный бог Сварожище глядел из пролысины в зелени дуба на заросские степи, щурился, присматривался. А из-за Рось-реки Ратибор, затаившись, смотрел на большое, как налитый ячменным пивом воловий мех, лицо бога русских людей. Ратибор не знал, нет ли на дубе и других глаз, кроме Сварожьих? Не кроются ли в ветвях и другие лица?

Как осторожная птица, подняв над зарослью головку, медленно прячет ее, втягивая длинную шею, – знает: ничто так не привлечет врага, как быстрое движение, – так Ратибор вновь спрятал в траве свою голову с собранными на затылке в пучок светло-русскими волосами.

Ратибор полз на четвереньках, по-волчьи. Загрубев от упражнений, голые локти и колени не чувствовали уколов жесткой травы.

Время медленно тянулось за полудень. Жарко, в такой час крылатые зря не летают. Двигаться нужно с оглядкой, без спешки. Иначе спугнешь птицу, и она тебя выдаст резким взлетом. Птицы много в заросских нетронутых травах. Слободские берут зверя, чтобы добыть мясо и кожу. Птицу же трогают мало, редко кто позабавится натянуть силья – кольца-сплетки из конского волоса.

Ратибор заметил, как стрепетка уводит с его дороги пестрый выводок, как юркие стрепетята, вытянув шейки, дробно топочут за маткой в травяной чаще. Мелькнули – и нет их. «Стать бы птицей на недолгое время», – думал Ратибор.

Стрепетята были еще почти голы. Длинные шейки морщились чешуей пеньков будущих перьев, только на концах крыльев уже торчали настоящие перья. Ратибор тоже был почти гол, в одних коротких, едва доходивших до колен, штанах. В поясе штаны стягивал сыродубленный ремень, к ремню была подвязана кожаная же сумка-зепь.

Тело Ратибора закалили ветер и дождь, летний жар и зимний холод. От этого белая в детстве, молочная кожа сделалась цветом как земляная. На темном лице светились серые русские глаза. Черноватую смуглость рук, ног, груди и спины просекали белесые шрамы – следы несчитанных царапин шипами и сучками, следы падений.

Не станешь ни силен, ни ловок, коль будешь трусливо беречься. И биться не научишься. На плече Ратибора есть борозда от меча, на ключице – бугор от сросшейся кости. Метки воинской науки. Нет лучшего украшения для мужчины. Бронзовые, серебряные, золотые браслеты и ожерелья не стоят рубца.

В сизом от жары небе чуть заметно шевелились пухово-курчавые барашки. Солнце закроется дымкой,

и опять слепит блеском и жжет землю. В неподвижном воздухе сквозь сладкую завесу запаха клубники остро и жгуче тянуло гадючьим луком. Тонкое обоняние Ратибора могло бы найти зеленую горькую стрелку и за три сотни шагов. Мутная прелость раздавленной локтем сочной листвы солнцегляда казалась похожей на аромат увядшего ландыша. Горьковатая струйка горицвета напомнила Ратибору мать Анею, сведущую в силах трав и в могуществе тайных слов-наговоров.

Горицвет любит лесные опушки. Запах горицвета сказал Ратибору, что он приближается к цели.

Вот и низенький кустарничек-травка, покрытая жесткими фиолетовыми цветочками. Это барвинок-могильница. Вот пряная посечная трава. По их запаху Ратибор нашел бы лес и с выколотыми глазами.

Он переполз-перетек через поваленный корневым червем ствол осокоря, трухлявый и голый. Его толстую мелкозернистую кору слобожане ободрали на неводные поплавки.

По-звериному перебежав полянку, Ратибор скользнул в кусты густой лещины и замер, удерживая дыханье: явственно, сильно потянуло живым человеком!

Ратибор заметил подошву сапога: человек не сидел, а лежал. По сапогу Ратибор узнал Всеслава, слободского воеводу, понял, что Всеслав, сморенный жаром и скукой, спал в холодке.

Как видно, не только тревога, но и покой передается от человека к человеку без слов, без звуков, одной силой немого общения. Ратибор, на миг зажмурившись, услышал мирное гудение диких пчел, трескучий стук кузнечиков, гуукание нежных горлинок.

Сбросив чары, Ратибор крепкими зубами откусил ореховую ветку и, едва касаясь земли голыми ступнями, подошел к Всеславу. Всеслав спал, прикрыв глаза широкой ладонью. На волосатой руке, утопив длинный нос, трудился кроваво раздувшийся комар. Глубокое дыхание спящего пушисто приподнимало густые усы.

Точным и мягким движением Ратибор заложил ветку за ослабевшую подпояску воеводы. Забыл Ратибор, что души спящих людей бродят во снах вокруг тела и все видят своими глазами, пусть телесные очи и смежила усталость. Видно, он задел тонкую нить, соединяющую спящее тело Всеслава с душой, и та, вздохнув, вернулась, чтобы оберечь тело. Воевода открыл глаза.

Испытывая воинское искусство Ратибора, Всеслав вместе с другими сторожил дорогу на Рось, а молодой, возомня о себе, вздумал посмеяться над старшим.

Сердце Ратибора облилось горечью на себя за глупый поступок. И – неразумной яростью. Не смиряя его привычка к повиновению – он мог бы выместить свою оплошность на Всеславе. Воевода, привыкший безраздельно властвовать над воинами-слобожанами, умел читать на лицах людей. Сорокалетний мужчина вскочил как юноша и, притянув к себе Ратибора, шепнул:

– Иди... не видал я тебя.

Дубовая роща на левом берегу Роси не велика. У старого дуба, носившего обличье Сварога, всего сотен до пяти родовичей. Могучи дубы. Глянешь вверх, и кажется, что корявые ветви деревьев лезут в самое небо. Ратибор пробирался не напрямик, а сторонами, где был погуще подлесок.

Ближе к берегу Роси дубы сменились осокорями. Листва их казалась серой после глубокой зелени дубняка.

На влажной земле, недалеко от воды, Ратибор столкнулся с черной охотницей за мышатами и лягушатами, с гадюкой-козулей. Сломить ее хрупкую спину было б легко, да не время, не место.

Ратибор медленно-медленно оттянул руку, которой едва не коснулся изготовившейся ужалить злой головки, и оба замерли.

«Если ты не испугаешься, испугаются тебя», – учила сына мать Анея. Тихонько присвистывая, Ратибор глядел в холодные глазки, нашептывал в мальчишестве заученное от матери змеиное заклятье-зарок.

Он сказал змее, что не хочет ей зла и с родом ее ничего не делит.

Лучше ей будет уйти с человеческой дороги, лучше пусть поищет добычу по силе.

Много добычи в подземных гнездах, много добычи в старых дуплах. Так ползи же, ползи, спеши, спеши, спеши, спеши...

Свистящий шепот человеческого голоса успокоил змею. Она отвела прочь голову и, струясь острозубчатой выпестриной толстой спины, потекла в сторону.

Высокие лапчатые орлецы, точащие тяжелый запах пыльной прели, расступились перед Ратибором. С резных буро-зеленых листьев взмыли серые стаи комаров и мелкой гнуса. За хрупкими стеблями орлецов выстроилась жесткая стенка речного тростника. Извиваясь, Ратибор бережно втиснулся в гремучий палочник. Гнусь-мошкара живой пылью осела на спине, груди, лице, лепилась в глаза, в ноздри, в рот. Ратибор не отмахивался, будто деревянный. Он привык. Шли самые трудные минуты – только бы не выдать себя! Забравшись поглубже в воду, он присел на сплетенье подводных корней тростника, оставив на съеденье голову назойливой мошкаре.

Со дна, мутя воду, поднимались клубы потревоженного ила. Хищные пиявки, учув живое тело, невидимо сжимали и разжимали плоские черно-серые лопасти своих тел.

Ратибор думал о великодушном Всеславе. По милости воеводы Ратибору оставалось одолеть последнее испытание, дабы быть признанным взрослым воином, дабы сделаться полноправным слобожанином. Но не так просто незамеченным переплыть открытую реку. «Здесь будет напрямик четыреста пядей, да снесет быстрым течением тысячи на полторы», – считал Ратибор.

Поискав глазами, он нашел длинную тростинку, толстую и сухую. Из кожаной сумки ощупью достал кусок сломанного ножа. Остаток клинка был тонко и остро заточен. Им Ратибор брил первые волосы на бороде. Срезав тростинку, Ратибор расколол коленчатые узлы, выскреб белые перегородки. Нашелся в сумке и кусок черной смолы. Ратибор затер расколы, а потом стянул их ниткой. Получилась трубка в два локтя длиной, чтоб дышать под водой. Ноздри и уши пловец заткнул желтым воском.

Десятка четыре слобожан, из которых многие еще более сметливы и ловки, чем Ратибор, повсюду ищут его, везде стерегут испытуемого, чтобы поймать или хоть попятнать издали тупыми стрелами. Ратибор пробирался глубже и глубже, щупая дно ногами. Вот и то, что он искал. Придерживая тростинку за конец губами, он скрылся под водой и обеими руками поднял камень величиной с коровью голову. Обвязав груз тонкой веревкой, Ратибор устроил петлю для руки.

Вливаясь в широкое устье заводи, река вначале кружилась, потом успокаивалась, приласкавшись к нежности пахучих белых лилий-купальниц и сладких желтых кувшинок.

Летняя вода была тепла, мягкий ил, заплетенный корнями и стеблями плавучих растений, чуть засасывал ноги.

Ратибору казалось, что он ощущает легкие-легкие толчки: заводь, как и река, была изобильна рыбой. Пузатые лягушки ныряли и, перевернувшись в глубине, всплывали острыми носами к человеку, пуча на него глупые глаза. Здесь были, Ратибор знал, и другие владельцы вод. Где-нибудь в глубоком бучиле-омуте дремал водяной, прячась от дневного света. А русалки и сейчас, наверное, любопытно подсматривали за человеком.

Русалочья сила нарастает с луной, с луной же и упадет. Водяные чаровницы хитры и проказливы. В полнолунные ночи они могут своей игрой завлечь человека, закружить в хороводе и утащить на дно.

Держа над водой голову, Ратибор пробирался кромкой тростников – голова пловца видна на реке, как ночью огонь на поляне. Пора и на чистую воду. Он знал, что здесь река неглубокая, но в каменистом дне есть ямы-бочаги, там не поможет и трубка.

Несколько раз Ратибор глубоко вздохнул, приучая грудь. Потом, набрав воздуха, погрузился. Камень побеждал стремление воды выбросить тело человека. От камышей в реку уходила иловатая, но твердая ракушечная отмель. Начавшись пологой ступенью, подводный выступ круто обрывался вглубь. Сопrotивляясь усиливающемуся течению, пловец шел, закидывая голову. Сквозь мутноватую толщу воды поверхность реки блестела, как липкая пленка. Конец тростинки высунулся. Грудь давило. Ратибор сильно выдохнул перегоревший воздух и глубоко вдохнул.

Река струилась, увлекала. Ратибор цеплялся ногами за дно. Смотреть он мог только вверх, чтобы конец тростинки не поднялся слишком высоко или не ушел под воду. Понемногу тело привыкало – ведь он повторял не однажды проделанную воинскую игру. Разрезая течение левым плечом, Ратибор и шел и плыл в быстрой Роси.

Вдруг – он едва успел остановить вдох – камень увлек его в донную яму. Здесь вода была совсем холодной и казалась совсем неподвижной. Ратибор, присев, сильно оттолкнулся в сторону левого берега. Самое главное – не терять направленья. В реке путь указывало само течение. В донной яме он мог заблудиться. Не чувствуя боли, Ратибор скользил по слизистым скалам. Взлетал, опускался. Еще усилие и еще. Скорее бы!

Прыжок – и теплая вода, схватив, потащила пловца. Только самый конец тростниковой трубки встал над водой. Ратибор сумел продуть длинное горло и вдохнуть свежего воздуха.

Начинало мелеть. Надвигалась тень крутого, поросшего ивой берега. Кусты нависали над водой. Весенняя Рось топила их и, отходя, оставляла в развилках ветвей былки травы, ломаный камыш и грязь, принесенные из верховых пойм и займищ.

Рядом так сильно плеснуло, будто человек прыгнул в воду. Ратибор остановился. Нет, это хищный шереспер гнался за плоским и жирным лещом, широко расходились круги на воде. У самого берега, в прозрачной, затененной воде, неподвижно стояла против течения щука, держась незаметными движениями сильных перьев. И вдруг исчезла, как от заклятья. Ей на смену появился острорылый осетр. На этой рыбине от жабер до хвостового пера мог улечься взрослый мужчина. Из Роси никто не в силах выбрать рыбу, с озер и болот – водяную птицу, из лесов и из степи – зверя, из дупел – медовых бортей. Даже ленивый будет сыт в богатой земле россиячей.

Под пологом ивняка Ратибор незаметно выполз на берег и, поднявшись на кручу, выпрямился во весь рост.

Здесь, на чистом от деревьев месте, стоял врытый в землю безымянный бог, былая надежда и хранитель неведомого россиячам древнего племени. Был он громаден, в три человеческих роста. Вырубленный из твердого русского песчаника, тощий, со сросшимися ногами, бог сложил на вислом брюхе руки и безглазо смотрел на восток.

Мертвый бог... Но по обычаю Ратибор обошел исполина, избегая наступить па длинную тень. Недостойно россияча взять чужое, нельзя поднять потерянную или забытую кем-то вещь. Бесчестно позавидовать силе, ловкости или уменью другого. И дурное дело – потревожить сонный покой пусть и чужого, пусть никому не нужного бога забытых племен.

Ратибора заметили. Где-то завыл рог, второй рог сдвоил, отозвались третий, четвертый, пятый. На правом берегу Роси там и сям показались слобожане. Стрелки входили в текучую воду и переплывали реку, держа повыше луки и колчаны. Косые лучи солнца делали необычайно красивыми лубяные и кожаные колчаны, искусно раскрашенные кровяно-красным и желтым цветом.

Из узкого затона выскочил челн. В нем поместились человек двадцать. Одни сидели, другие длинными шестью-тычками сильно гнали челн поперек реки. Росские слобожане собирались к своему месту.

Как в поределом, истонченном летами куске льняной ткани едва сохраняется след рисунка, так жило ветхое предание о холме, на котором теперь стоял град-слобода русского племени, или россичей, как они сами себя называли.

Был этот холм насыпан не то двенадцать, не то четырнадцать поколений назад. Вёсен до трехсот минуло с того времени. Тогда гунны впервые явились в степи, на полдень от Рось-реки, на берег Теплового моря. Добрались гунны и на Рось. Холм-могилище был насыпан для погребения россичей, перебитых на побоище с гуннами. Из прежнего рода выжили семь братьев-богатырей, каких ныне женщины не рожают. На всем поле они остались одни, как редкие колосья на ниве, выбитой градом. Все остальные погибли, и все гуннское войско легло. Семь братьев и послужили корнем для нынешних россичей.

Могилище-крепость была окопана сухим рвом. Частокол из заостренных бревен, черных от смолы, сберегавшей дерево, закрывал от глаз внутренность слободы, маячила одна хрупкая на вид сторожевая вышка.

По узкой доске Ратибор перебежал через ров и взобрался вверх по лестничному шесту – тонкому бревну со врезанными перекладинами.

Высокий снаружи, изнутри частокол казался низким – кругом была подсыпана земля. Ход для стрелков внутри тына прикрывался навесом из толстого корья. Навесными плашками защищались проделанные в частоколе частые бойницы, узкие и высокие. Шесть длинных и низких изб – стена по плечо – были крыты на два ската снопами из камыша, густо смазанными глиной. Стояли избы полумесяцем, следуя округлости частокола. Ни одного ростка травы не пробивалось на утоптанной ногами земле двора. В середине торчал колодезный сруб. Глубокая дудка врезалась локтей на шестьдесят, чтобы добраться до водоносной земной жилы. Землекопы, наверное, потревожили прах прародичей, когда отрывали колодец. Но кто, как не слобожане, навсегда сохранит могилу от поругания чужими.

Четыре прямых осокоревых бревна, как четыре ноги, держали сторожевую вышку. По шестовой лестнице, врытой между столбами, Ратибор белкой взлетел наверх, скользнул в дыру помоста, головой откинув крышку, похожую на погребное творило. Пол, сплетенный из нескольких рядов ивовых ветвей, был окружен таким же плетеным заплотом, достаточно прочным, чтобы защитить от стрелы. Пол промазывали глиной и устилали дернинами – от пожара. Под бычьей шкурой хранилась тонкая липовая щепка для сигнального дыма. Тут же был запас свежей травы и корчага с водой. Торчком стояли шесты с готовыми смолеными снопами, чтобы в случае нужды дать огненные знаки тревоги.

Верх плетеного заплота приходился Ратибору по плечи. Отсюда глаз человека хватал широко, как глаз птицы с вершины высокого дерева. Град-слобода россичей был поставлен на кону полуденного края родовой земли. Отсюда Рось-реку видно на три стороны: на восход, на полудень и на закат – здесь речной локоть. Своим локтем Рось вдавалась в полуденные степи.

Правобережье Роси Ратибор, как и все, привык звать степью. Однако на той стороне было немало

лесов: в балках рек, речек и ручьев грудились деревья, защищая свои корни непролазным подлеском. Даже с вышки казалось, что заросские леса, сливаясь, подпирают край неба сплошной стеной, без прохода и без просвета.

Но нет лесной защиты за Росью. Обманывает и собственный глаз. Между рощами, опушками дубов, по гривам, разделяющим Ингул и Ингулец, а левее – между Днепром и Ингульцом дальняя степь тянется к Роси свободными пустошами, доходит до нее извилистыми языками. На тех пустошах и языках даже травы растут иные, чем на лесных полянах. Это – степные дороги. По ним козы и степные олени прибегают испить росской воды. Там туры пасут своих серо-голубых коров. И чем дальше от Рось-реки, тем степи становятся шире. Пройди два дня – и деревья уже не закроют полудень, а потом леса и совсем разбегутся, уступив черную землю степным травам. Там широко для взгляда, для скачки, и ветер свистит в ушах всадника поиному, и пахнет иначе. Там беспредельность. Раздолье!

Злое раздолье... Оттуда тайно пробирается враг, зачастую совсем безымянный, тцась нахватать оплошных людей славянского языка, тайком пройти через Рось-реку, ограбить грады. Приходят и открыто целым войском, чтобы убить мужчин, взять имущество, а женщин, детей, девушек и юношей угнать для продажи на рабских торговых щях в ромейские города на берега Теплого моря.

Крепко слобода на Рось-реке бережет кон-границу славянского языка. Слободскими людьми правит воевода. У него над воинами-слободжанами власть большая даже, чем у старших родов над родовичами, хоть и зовут тех князьями-старшинами.

Слово «князь» древнейшее, значит оно – хранитель очага-огня, где живет начало Сварога-Дажбога. С детства росич привыкает думать о себе как о передовом, а о других людях славянского языка – как о задних. У задних слободы малочисленные, оружие они меньше любят. Все славянские племена сидят среди людей своего языка. Росичи же – пограничные. У них свои сзади да по бокам. Впереди же – степь чужая.

Ратибор взглянул на север. Лес и лес... Все в лесах прячется: и родовые грады, и взодранные пашни на полянах, и усадьбы ушедших из родов на вольную жизнь извергов.

И леса с засеками – крепости, и грады за частоколами да рвами – крепости. Главная же крепость – воинское умение росских мужчин, главная оборона – слобода.

2

Вечерняя заря давно догорела в безоблачной выси. Свод небес из голубого сделался синим, синее стало чернеть; обильно зажглись звезды. Глядя на мерцающие огни и цвет неба, Ратибор знал без ошибки, что ночь течет к концу первой четверти. Движение времени определялось перемещением светил, эта наука сама собой постигалась россичами – через собственное движение. В жизни все движется.

На крыше избы, где жил воевода Всеслав, стоял невысокий заостренный столб. В солнечные дни движение тени по внутренней части частокола позволяло судить о времени, оставшемся до конца сияния солнца. Подобно эллинскому гномону, столб в слободе был бессилён в пасмурные дни и ночью. Но и без него каждый знал, что можно сделать ночью до света, днем – до наступления тьмы.

Этой ночью Ратибор берег сон слободы. И справа, и слева, и сзади могут вспыхнуть тревожные огни. Всюду могут проникнуть чужие. Где бы их ни заметили – зажгут костер или факел.

А впереди, в заросской стороне, тысячах в сорока шагов таится передовой дозор росской слободы. Место зовется Турьим урочищем. Кто пойдет из степей, тот не минует урочища.

Вышка дрогнула, заскрипели поперечины шестовой лестницы. По запаху избяного тепла, которое нес человек, Ратибор узнал, кто идет, и, прежде чем показалась голова, успел подумать: «Почему-то воеводе не спится?..»

Воевода пришел, как встал с постели, в одних широких холщовых штанах, босой, не чувствуя ночной прохлады, от которой Ратибор укрывался козьим плащом.

– Ничего не видел? – тихим голосом спросил Всеслав.

– Нет, – ответил Ратибор.

– А мне смутно на душе, – объяснил воевода.

Подчиняясь глухому покою ночи, они таили голоса. Но ведь было же что-то тревожное в этом покое, если сам воевода сказал.

Недоверчивый и чуткий, Всеслав держал слободу в напряжении. В слободе ныне жило почти пять десятков настоящих воинов, обученных ратному делу. Подобно Ратибору, они все прошли воинские испытания. Тот, кто умеет быть невидимым, нанесет первый удар. Весной волк уходит от человека в траве, не достигающей колена охотника. И ни одна травинка не дрогнет там, где ползет лукавый зверь. Белка распластается на ветке, кабан бесшумно пройдет камыши. Даже тур умеет скрыть в кустарнике свою могучую тушу. Воин должен быть ловче и хитрее зверя.

Кроме воинов, в слободе жили тридцать подростков, от двенадцати лет и до почти зрелых парней, уже скоблящих первый пух бороды. Князь-старшины родов не соглашались держать в слободе больше народу, отрывать много рук от земли и ремесел. Все мужчины в славянских родах умели владеть оружием, слободы же лежали тяжелым грузом на родовых хозяйствах. Верно, что слободские сами кормили себя мясом от охоты на зверя, сами выделывали шкуры, шили из них зимнюю одежду. Но хлеб, ткани, масло, овощи, посуду, обиходные мелочи поставляло племя.

Говорили, что в древние времена не было слобод среди живущих на лесных полянах славянских племен. Слободы, где свободные от тягот повседневности избранные воины всегда готовы были сражаться и где каждый подросток должен был обучиться трудному искусству боя, появились позже. Не знали, кто первый додумался до такого обычая. Горечь быть битым научила славян держать в кулаке пусть малую, зато надежную кучку воинов, сидящих в крепком месте.

У человека две руки, в семье муж и жена, свет борется с тьмой – каждое дело имеет две стороны, а в хорошем сидит и плохое, из согласия может выйти раздор. Нужна слобода, кто скажет против нее слово! Но всегда спорят слободские воеводы с родовыми князь-старшинами. Старшины тянут свое: поучил делу и верни поскорее парня в род. Воеводы же стараются так приохотить молодых к воинскому делу, чтобы те навек оседали в слободе. И так плохо, и так не хорошо... Но семья должна быть у каждого, женят зрелого парня поскорее, в слободе он живет или дома. Нельзя мужчине, нельзя женщине оставаться бесплодными.

Стояли Всеслав с Ратибором на вышке, слушали, смотрели – нет ничего в темном владении ночи. «Что беспокоит воеводу?» – думал Ратибор. Вспоминалось, что нынче вечером один из русских князь-старшин, лукавый ведун Колот, друг Всеслава, пожаловал в слободу. Колот – частый гость. Будто бы Колот бродил в заросских местах... Всеслав прервал мысли Ратибора. Беспокойный воевода решил: быть ночному поиску.

Тихо, но пронзительно позвал рог: «Ту-у... ту-уу... ту-ту!» Из низких дверей споро посыпались слобожане. После кромешного мрака избы во дворе казалось светло. Полуощупью завязывали ремни обуви, обкручивая голень до колена. Осматривали оружие – каждый был приучен держать свое всегда в одном месте – на деревянных гвоздях, часто вбитых в стенах изб. Негромко окликались и, разбившись на свои десятки, строились во дворе, ожидая приказа. Услышав – заторопились. Одни спускались наружу по лестнице. Другие, перекинув с верха частокола на край сухого рва длинные шести, скользили, охватив гладкое дерево руками и ногами. В слободе остались подростки и с ними пяток старших.

Глубокий покой ночи нарушился топотом ног, обутых в толстую мягкую кожу: слобожане бежали к реке. Всеслав с подручными сдерживал чрезмерно спешивших, задавая быстроту бега. Во тьме безлунной ночи плотная куча воинов казалась странным чудищем, рогато ощетиленным острыми копьями.

Против слободы летний спад вод приоткрывал брод вдоль гребней сточенных водой скал речного порога. Воины приблизились к броду. Там Всеслав приказал десятку молодых брать коней и догонять пеших по пути к Турьему урочищу.

Днем очередные пастухи из слободки с помощью подростков пасли табун подальше от слободы, сберегая на ночь траву в речных поймах. С темнотой табунщики гнали лошадей ближе к слободе. Не просто ночью пройти к коням, хоть и объезженным, но привычным к свободному выпасу на подножных кормах. Ночью конь сторожко пуглив. Издали Ратибор рогом позвал табунщиков. Не спеша, с тихими ласковыми возгласами, слобожане отбили четыре десятка лошадей. Их охаживали, хлопывали ладонями по крепким шеям, ласково приговаривая привычные слова – прими да пусти! – совали железо в строптивные рты и забрасывали за уши оголовные ремни. Каждый взял по три заводных коня.

До брода бежать – терять время. Пешие давно переправились и ушли далеко. Двое табунщиков проводили воинов к челну. Туда положили оружие, чтобы не подмочить. Ратибор принудил своих коней войти в воду. За ним сами, без понуканий, пошли остальные кони. Черная Рось вспенилась. Приученные к переправам кони плыли без натуги, вольно положив голову на воду. Облегчая животных, всадники сползли с их спин и, держась за лошадиные холки, плыли с той стороны, куда относит течение, чтобы не затянуло под лошадиное брюхо.

На берегу кони, отряхиваясь, фыркали, предвещая удачу. Натянув поводья, всадники ждали условного знака от леших. Послышался дальний крик совы: «К-оо!...» Не время еще кричать совам осенним голосом. А когда придет их время – будет другой голос и у слобожан. Ратибор отсчитал про себя – один, второй, третий. Вместе с медленным счетом на четыре ухо приняло второй совиный крик. Пора!

Опушкой дубравы, откуда в степь смотрел образ Сварога, конники поднялись вскачь. Ратибор сидел

без седла, каменно сжав колени, на гнедом. Ему Всеслав поручил быть старшим в десятке.

Отпустив поводья, слобожане скакали за головным, скользя на спинах коней в такт скачке – вперед-назад, вперед-назад. По коленям хлестала трава.

Как везде и всегда, будто сросшееся с телом оружие мчится вместе со слобожанами. Справа, за плечом, колчан с тремя десятками стрел. К седлу приторочен лук в налучье, с запасными тетивами. Слева меч, или секира, или длинная сабля. Справа, в рост высокого мужчины, – дрот-копье с железным наконечником. Грудь сжимает перекрест ремней-перевязей меча и колчана. Привычная ноша для слобожанина так же легка и незаметна, как для женщины рубаха, подпоясанная цветной лентой, и душегрейка, вязанная из шерстяной нити.

Пешие успели далеко опередить конных. Они шли широко, по-слободски. За таким шагом лошадь поспекает лишь рысью. В дни, когда свет равен ночи, воины могут от зари до зари пройти восемьдесят верст.

Верстах в трех от переправы Всеслав оставил махального, чтобы тот криком совы звал конных. Ратибор подобрал товарища, подобрал и второго. Лишь после третьего махального всадники догнали пеших.

Спешила ночь; звезды, поворачиваясь в небесной тверди, говорили о вечном течении неукротимого времени, в котором каждый стремится к совершенью задуманного.

Близится и Турье урочище. Еще и еще поворот. Здесь последние изгибы степной дороги, которыми она, выйдя с дальнего юга, врзается в приросские дубравы. Перед конными вынырнул человек с простертыми вверх руками невиданной длины – с копьём и мечом.

На Турьем урочище постоянный дозор – шесть или семь слобожан. Встречный всадник спешил в слободу посыльным.

Вести важные. Вечером, когда угасала заря, будто сделались заметны конники, идущие с юга. Мало было света, не было уверенности, не туры ли это или дикие лошади-тарпаны.

Старший дозора послал двоих разведать. Еще не вернулись те двое, когда с вершины высокого вяза, служившего дозору сторожевой вышкой, сам старший заметил блеск пламени там, где начинается Сладкий ручей.

Люди в степи... Степь не посылала ничего доброго к Рось-реке. Ромеи приплывали весной, по большой воде, по Днепру для торта, в Рось же никогда не заходили.

Вещим оказался воевода. Вещим зовут человека, умеющего добавить к рассуждениям разума светлое проникновение духа, способного зреть издали не видимое обычным глазом и особенным чувством провидеть будущее.

Будут слобожане помнить эту ночь, все призадумаются над чудесным даром своего воеводы.

Пройдет день тревоги, пройдут лета молодости и силы. Кто доживет до старости, кто донесет до нее память и ум, тот вспомнит прошлое и оценит его.

Вот и край Турьего урочища. Мрак погустел. Опушка последней дубравы кажется берегом пустой степи.

Дозорные жили в хитро запрятанных норах с двойными и тройными выходами, как у лисиц. Вернулись разведчики, посланные старшим дозорным. У Сладкого ночуют люди. Кони пасутся по балке

ручья, стреноженные, как на походе в чужом месте. Сколько пришлых? Коней много – должно быть, там и вьючные и заводные. Судя по табуну – людей будет не менее сотни.

3

Последняя четверть ночи близится к концу, так же как было в несчетные утекшие ночи, как будет для неисчислимых дней грядущих из вечности лет.

Мир, как дерево весенним соком, наполняется предчувствием солнца. Сторожевой воин, опираясь на постылое копье, хочет увидеть синеву, сменяющую глубокую черноту неба. Память человека, привыкшего наблюдать движение звезд, вскоре поможет ему назвать алыми, зелеными и иными неопикуемые краски рассвета.

День близок. Ночной зверь сокращает причудливые, но рассчитанные петли поиска, подчиненные запаху следов живой пищи-добычи. Пора ночным добытчикам выбрать место для последней засады. Удачна или неудачна была охота, а придется залечь на долгую, сонную и чуткую дневку.

Четвероногий дневной зверь пробуждается томлением голодного брюха. А человеку в этот краткий предрассветный час спится крепче, слаще всей ночи. Россичи знают, что неспроста человеку хорошо спится под утро: темные силы, злые духи, подобно предусмотрительным ночным хищникам, спешат оставить поприща, открытые для готового явиться на востоке всепобеждающего света. Колдуны, вселяющиеся не ночь в тело волка, лисы, ласки или совы, потешившись ночным разбоем, уже возвращают свою душу человеческому телу, которое мирно лежало всю ночь. Вся нечисть, все оборотни в шкурах и перьях, копятя в предутренних туманах, тянутся в глухие лесные чащобы и к входам в пещеры. Злое отступает в страхе перед светом, но медленно, чтобы не терять последнего мига быстротечной вольности – летняя ночь коротка.

Подобно оборотням, волчья семья шла за летучим загоном хазаров. По воле матки-волчицы сам матерой и трое прибылых, которые обещали в росте к зиме догнать стариков, привязались к людям вблизи от крутого берега Днепра. Опередив другие волчьи пары, старуха пометала щенят в пещере на западном берегу великой реки, с помощью самца выходила выводок. Пришло время оставить логовище, засоренное птичьими, заячьими и козьими костями. Волчица была любопытна. Когда-то отбившаяся в боевой сумятице сука той породы собак, которые вдвоем могли взять в лесу медведя, а в степи не боялись тура, одичала и вернулась к своим братьям-волкам. Прародительница оставила дальнему потомству лукавое стремление к сомнительной близости с человеком. День за днем волчица вела своих по горячим следам, зная, что будет пожива. Посещая каждый оставленный хазарами привал, волки находили обильную снедь. Они раскусывали мозговые кости, обжирались недоеденным мясом, внутренностями жеребят и молодых лошадей: как всегда, хазары гнали свое продовольствие на ногах.

Днем волки были осторожны, ночью нагло лезли к хазарским стенам. Зверей толкала жадность, возбуждал сочный запах коня, волновало ребячье ржанье молодняка, гонимого для убоя. Смелея, волки пугали коней воем, дерзко подползая в надежде отбить глупого жеребенка от табуна, погнать в степь и потешиться на воле. Этой ночью волчья семья обнаглела, и под утро табун перестал пастись. Закрыв собой жеребят и кобыл, жеребцы с гневным храпом образовали кольцо. Пять или шесть сторожевых хазаров спали в седлах. Кочевники, они привыкли дремать на коне. Конь сам переступает, не отставая от стада или табуна. Если что случится, лошади разбудят. Хазары доверяли своим коням. Степная лошадь умеет не только бить вслепую задними ногами, но и нанести сверху вниз острым копытом передней ноги смертельный удар и зверю, и чужому человеку.

И табун, и волки, и дремлющие погонщики неприметно перемещались вниз по долине Сладкого ручья. Расстояние между ними и стоянкой хазаров увеличивалось. Ратибор и пяток слобожан из его десятка прокрадывались в этот разрыв

Ночная птица видела слобожан, зверь – слышал. А для человека, в степи ли он родился, в лесах или в горах, не было и тени. Горька воинская наука, но плод ее дороже золота – в нем жизнь племени. Беда хазарам, быть им без коней.

Одни волки видели и чужих людей. К запаху хазаров звери привыкли. Осторожность пришельцев, вероятно, казалась волкам робостью. Они уступали поле слобожанам нехотя, шаг за шагом. Острое обоняние Ратибора ощущало смрад волчьей пасти, тяжелый запах волчьего тела.

Успокоительно переговаривались дальние совы. Если подражать крику совы, направляя голос вниз и в сторону, он кажется пришедшим издалека.

Хазары спали не тесно, но и не вразброс. Вот шкура или кусок толстой ткани из шерстяной пряжи, виден конец остроноса сапога из мягкой кожи, голова сползла с высокого седла, служившего подушкой. В редеющей темноте спящие казались кучами меха и тряпья. Рядом – копье, воткнутое в землю концом древка, расписной колчан, короткий, сильно изогнутый лук, кривая сабля с рукояткой, сплюсненной поперек клинка.

Края балки стояли над спящими, подобно невысоким стенкам, создавая ощущение замкнутости и покоя. Несколько закопченных котлов ждали там и сям на таганах кованого железа, засыпанных пеплом прогоревших костров. От обильного ужина оставалось вареное мясо, чтобы утром проглотить кусок на ходу, перед седловкой.

Ратибор завыл по-волчьи. Подражая зверю, человек начал низкими нотами и закончил, как зверь, – пронзительным «аааа»... Он сам себе казался волком. Завыли и товарищи. Ухо людей не могло бы распознать обман. Лошадей труднее провести. И все-таки под дремлющими табунщиками кони дрогнули, а сам табун взволнованно прынул и пустился вниз по долинке ручья. Пользуясь случаем, настоящие волки отбили наконец-то потерявшегося от страха двухлетка и погнали добычу в степь. Очнувшиеся табунщики поскакали, чтобы повернуть лошадей к привалу. На восходе заметно бледнело.

Ни один из хазаров не успел ни сменить плеть на саблю, ни перекинуть щит со спины на грудь. Волки обернулись людьми, вместо воя звякали тетивы. Битый тяжелой стрелой навывлет, мертвый хазарин молча запрокинулся в седле. Смерть на рассвете такова же, как в полдень. Не помогает степняку привычка вовремя сбросить со ступни глубокое стремя. Обезумевшие кони волочат по степи тела, и мертвые всадники будут скакать, пока по вырвется из сапога нога или пока не остановится сам конь, не понимая, что так тяжело тянет седло в сторону.

Из табунщиков только один увернулся было от стрелков, внезапно вставших между табуном и сторожами. Вздвигнув коня, он повернул его в воздухе на задних ногах, будто оба они были одним телом. И уже опускался, готовясь растянуться в бешеной скачке. Аркан лег на шею хазарина, вырвал, бросил на землю. Он не успел очнуться, оглушенный паденьем. Все равно, коль и очнулся бы. Набежавший слобожанин рубанул концом меча шею хазарина.

Ратибор победил табунщиков. Не тот час шел, чтобы считать добычу или гордиться успехом.

Слобожане ловили для себя коней. Заарканенный конь отступал храпя. Обманув, сзади на лошадиную спину прыгал россич. Сдавленный ногами, конь вскидывался. И, оглушенный тяжким ударом кулака между ушей, смирившись, падал на четыре ноги.

Светало все заметнее. Успокоившийся табун пасся далеко от хазаров. Ратибор послал двоих отогнать лошадей еще дальше. От головы балки еще не доносилось ни звука. Совы молчали.

Рожденный в степи не любит леса, остерегается чащи. Лесная дебрь принадлежит лесным людям. Кто привык с ровного места озирать округу верст на двадцать, а с холма – на все пятьдесят, вольно-невольню, а преувеличивает опасности леса. Он ценит красоты оголенной земли, лес для него – безобразное скопление деревьев. Для степняка в лесу нет примет, нет дороги. Есть реки, но степняк не поместится в лодке вместе с лошадыю.

В степи много примет и много дорог. Степняки ходят считанными перегонами, ночью по звездам, днем по солнцу. Они знают, откуда дуют ветры и какие следы ветры оставляют на песках, куда и откуда течет вода, на что похожи очертанья возвышенных мест. И не приметями ли дорог сделались оставленные забытым народом каменные боги? Если изменит память – поможет выделанная до тонкости древесного листа полупрозрачная баранья кожа. На ней приметы нанесены несмываемой черной краской из железной окалины.

Хазарский загон не знал дорогу на Рось, но у них был проводник. Он побывал на Рось-реке лет двадцать тому назад. Память, не обремененная излишним знанием, хранит нужное навсегда. Проводник вел загон так, будто месяцы прошли, а не годы.

Верхушки далеких роц кажутся, если смотреть из степи, стадами, замершими под солнечным зноем. Явившись на границе степей, они напоминают о близости цели. Как горы, леса защищают иную жизнь. Лесные дебри давят на вольную степь, подобно каменной стене. И, так же как стена, лес охраняет чье-то богатство.

Проводник указывал привалы. Он привел и к этой балке с ручьем особенно вкусной воды. На юге не часта хорошая вода. Степняк умеет довольствоваться горькими и солеными водами. Чем дальше к северу, тем слаще источники.

В загон шло более девяти десятков бывалых охотников за рабами. В мире много пастбищ, удобных для стад коров, овец и верблюдов. Много диких птиц, диких зверей. Людей – мало. Раб не только ценен, он – необходим.

Во сне хазары любовались крепкими мальчиками и нежными девочками, которые быстро забудут свой народ и речь родителей, видели красивых женщин и сильных мужчин – они будут верно служить господину, у них не будет выбора. И еще над привалом витала мечта о наслаждении властью, пусть кратковременной, зато безграничной властью победителя в час, когда противник сломлен и все позволено сильнейшему. Для одного этого стоит одолеть тяготы дорог и скитаний, стоит рискнуть своей жизнью. Упоение желаний, скованных обычно, никогда не удовлетворенных и вдруг выпущенных на волю, как звери из клеток!

Уже различались очертания вещей, почти можно было видеть краски, когда усыпленное вниманье сторожей привала пробудил конский топот. Он доносился откуда-то сзади, с юга, из степи. Ближе и ближе топочут кони. Изошренный слух степняка угадывает табун голов в тридцать-сорок. Топот вдруг прекращается: дикие кони почуяли людей! Опять топочут, приближаются, удаляются. Наверно, дикие кони пришли на обычный водопой и взволнованы препятствием.

День близится, близится. Пора будить товарищей. Дикие кони бегут совсем близко. И вот – появляются всадники.

Не сразу, пораженный неожиданностью, хазарский сторож сознает обман, постигает хитрость напавших. Запоздалые крики поднимают спящих. Развернувшись полумесяцем, всадники молча сваливаются в балку. Они здесь! Всадник оставляет дротик в поверженном теле.

...Лесные наездники секут твердым уклад-железом мечущихся хазаров. Иные бьют сразу обеими руками: в одной – меч, в другой – секира. Вслед конным спешит десяток пеших слобожан. Им добивать

хазаров, которых разбросают, размечут всадники.

На скаку слобожане прочесали привал. Повернули – пешие бьются с опомнившимися хазарами. Мало пеших слобожан, а идут кулаком, колют и рубят разбившихся хазаров. Один хазарин отбежал, зовет. К нему уже собирается кучка. Первые хазарские стрелы змеями свистнули по балке. Тесно, колено к колену, слобожанские всадники прыгнули в хазарскую кучу, на копья, на визг и особый пугающий лошадей рев хазаров. Сзади ударили и пешие. На крики прискакал Ратибор с десятком молодых.

Сломленные хазары, кто стоял еще на ногах, разбежались, рассыпались. Верные выучке, слобожане не разбрелись, преследуя. Они носились по привалу, убивали и добивали. Хазары не просили пощады. Просили бы – не получили. Нет и не будет пощады между лесом и степью, степью и лесом.

Россици не держали рабов для хозяйства. Иное дело, попадись пленник весной, перед поездкой на днепровское торжище. Можно бы недолго за ним присмотреть да и положить в челн вместе с другим товаром. Ныне же торжище давно кончилось. На Торг-острове остались одни ямы от шатров, уголье в очагах, сложенных под открытым небом. Там, на утопанной доплотна земле, поднялся подорожник, в ровиках засохла всякая нечистота после скопления людей.

И бежит, бежит в степь, сам не зная зачем, безоружный уже хазарин. Чтобы лишний раз вздохнуть и продлить уже потерянную жизнь... Стрела взвивается послушной дугой. Присмотрев место, чтобы взять потом стрелу, слобожанин озирается, ищет недобитых.

Не замеченное никем солнце поднялось высоко. Помощник победителя. Вот колыхается трава – там кто-то ползет. Слобожанин скачет. Навстречу прыгает отчаявшийся хазарин, тщетно пытается отбить натиск, в котором вложена мощь и человека и коня...

Тихое утро обещает жаркий день. Безветренный воздух дышит ароматом цветения трав. Но на разбитом хазарском привале смердит кровью, распалившимся человеческим телом. Смутно глядят очи опомнившихся воинов, тошнота подступает к горлу молодых слобожан, впервые испытавших боевое похмелье. Ратибор запнулся о тело, и будто ужалила ногу подколотная змея. Полный непонятных чувств, в смятении мыслей без слов, он ужаснулся чему-то никогда не испытанному. Не жалость, не сомнение – неизъяснимое чувство овладело молодым воином.

А другие спешили обежать балку Сладкого ручья и не скупались на милостивый удар, чтобы усыпить хазарина, обреченного тяжкими ранами на медленную смерть.

И везде рыскали всадники, вглядываясь в заросли трав, как в поиске потерянного, дорогого.

Не уйти затаившемуся хазарину, не послужить ому в провожатых для другого набега.

Велики счета крови между Лесом и Степью, Степью и Лесом.

4

Со злом пришли хазары – нашли зло. Не нарушает справедливости отвечающий хитростью на хитрость, мечом на меч. Кто первый задумал – тот виновник. Не ходить хазарам к Рось-реке, а на Сварожьих внуках нет преступления против извечной правды. Так было, так будет.

Отдав дань душевной тревоге, Ратибор очнулся. Слобожане прилежно возились на взятом привале. Собирали оружие, складывали рядами стрелы к стрелам, луки к лукам. Будто на торгу, лежали кривые и прямые сабли, мечи, одни с узкими, другие с широкими клинками, с загнутыми острожальными концами. Круглые щиты казались черепашьими черепами. Обтянутые жесткой кожей, окованные кольцом по всему краю, щиты были усыпаны выпуклыми железными бляхами, хитро набитыми так, чтобы удар, скользя по одной, затупился бы о другую.

Боевые дубинки-палицы были похожи на цепилки от цепов; на утолщенном конце выпучивались железные или медные граненые яблоки с шипами, на тонком конце был закреплен ременный темляк для запястья. Чеканы-топорики были насажены на полированный рог, отпаренный и выпрямленный, с насечками поперек. Само топорище было, как и русское, двоякое: с одной стороны – узкий топор, с другой – загнутый клюв в четверть длины. Железо было черненое, чтобы не выдавать владельцев блеском лучей.

Мало взяли доспехов – всего полторы дюжины. Хазарский доспех похож на русский: кожаная рубаха с нашитыми конскими копытами или железными бляхами, длинная, с разрезами, чтобы прикрыть и бедра всадника. Шлемы хазарские круглые, с низкой шишкой на темени. Русские шлемы глубже, на темени не шишка, а острие.

В кучи кидали черные и желтые сапоги, простые и расшитые цветными ремешками и нитками, и крепкие новые, и побитые железным стремянем, с голенищами, потертыми стремянным ремнем. Штаны кожаные и из невиданных тканей, пояса длиной по десять локтей, рубахи, плащи... С прорезами от оружия, меченные кровью...

Ночной поход и горячая битва разожгли голод. Кто раньше опомнился, тот успел похватать мясо из хазарских котлов. И вновь служили котлы, в них варилось мясо наспех забитого хазарского жеребенка. Больше трех сотен коней захватили. Богатая добыча!

Семерыми убитыми заплатила слобода за победу. Поранено было до десяти человек – на крепком теле быстро затянутся борозды от мечей. Только один раненый был страшен.

Бой не пощадил самого Всеслава. Мудрый воевода вещим духом узнал о хазарском загоне. В воду ли глядел он, наблюдая, как крутится Рось-река в заветном омуте, гадал ли на шуме листьев и ветра, ловил ли тайну птичьих голосов и соколиного полета? Сам не скажет, спросить никто не осмелится. Малой кровью воевода взял хазаров, победил силой, а себя не оберев.

На исходе боя последняя, быть может, хазарская стрела нашла Всеслава, вонзилась под левым глазом и ушла в голову едва не насквозь, как видно по оставшейся части древка. Так Всеслав и завершил бой – с торчащим перед лицом оперением хазарской стрелы.

Со страхом поглядывали слобожане на своего воеводу. Он приказал, чтобы все занялись делом – собирали бы добычу; с собой велел остаться Круку, своему помощнику, и Ратибору.

Даже из мертвого тела не просто достать стрелу: наконечник может остаться, его приходится вырезать. С живым телом так не поступишь.

Кровь из раны насочилась в усы Всеслава, текла по груди. Свесив руки, стоял Крук, опытный воин из

тех, кто всем сердцем принадлежал слободе. Сутулый, но с выпуклой грудью, с толстыми кривыми ногами от езды на конях с детства, Крук был молчалив. Когда говорил, будто каркал по-вороньи. Отсюда и кличка, приставшая к нему и заменившая имя. Ратибор молчал, подражая Круку. Чем мог он помочь?

Держа одной рукой стрелу, другой Всеслав щупал сзади шею; и пальцы и тело чувствовали, что близко к коже сидит наконечник стрелы.

– Дайте, – сказал Всеслав, указывая на высокое хазарское седло. Он велел Круку крепко держать седло, а сам опустился на колени, вниз лицом, и уперся расщепом стрелы в ямку под лукой седла. Ратибору Всеслав приказал держать расщеп в ямке, чтобы не соскользнул. Взяв обеими руками за затылок, стоя на коленях, Всеслав надавил. Не торопился, не рванул с силой вперед, как, холодея от ужаса, мысленно подсказывал ему Ратибор. Нет. Медленно, медленно Всеслав всаживал в свое тело стрелу. Он дышал глубоко – вдохнет, задержит, выдохнет. Мышцы напряглись, руки поросли узлами, и Ратибору казалось, что волосы воеводы встали дыбом.

Пальцы Ратибора, удерживая конец стрелы в упоре седла, оцепенели, сердце как будто остановилось, а на шее Всеслава, под волосами, появился бугорок, потом нарост заострился.

Желто-черная бабочка, обманутая неподвижностью, опустилась на выгнутую спину Всеслава, сложила крылышки, преобразаясь в древесный лист. Ратибор не видел ее, он глядел, как вылезало туповатое черное жало. Вот прорезались и острые края наконечника. Ратибор едва сказал:

– Вышел, довольно...

– Срезайте железо! – ответил Всеслав. Его голос показался странно живым и спокойным.

Воевода продолжал опираться на седло. Ратибор по-прежнему держал конец стрелы, а Крук толстыми, но ловкими пальцами стрелка и умельца-оружейника, орудуя острым ножом, срезал наконечник: готово!

Всеслав разогнулся. Лицо его было совсем черным, кровь заливала глаза. Они, как показалось Ратибору, сияли красным светом, будто внутри, за зрачками, пылало пламя.

– Ныне держите стрелу спереди! – сказал воевода.

Всеслав стоял на коленях. Ратибор и Крук, уперши локти в седло, взяли за стрелу. Как раз хватило места для четырех ладоней. И так же медленно, как прогонял через себя стрелу, Всеслав потащил ее обратно. Отталкиваясь от седла, он всем телом откидывался назад. Еще натужился, еще – и вдруг в руках Крука и Ратибора осталась стрела. Отныне ей суждено храниться в избе воеводы вместе с мечом и другими заветными вещами, по которым росская слобода помнит своих вождей и знатных воинов.

Встал Всеслав, распрямился, расправился. С ужасом, стараясь не попадаться на глаза, слобожане поглядывали на своего воеводу. Каждый, примеряя к себе подвиг, пережил, перечувствовал и спросил: «А сам ты мог бы совершить такое?» Ответить нелегко.

От Турьего урочища, растянувшись длинной цепью, скакали верховые. Это слобожане везли мотыги и заступы, чтобы копать хазарскую могилу.

Все люди одного языка, как жившие на Рось-реке, так и самые дальние обитатели заприпятских болот, все славяне до самого Холодного моря на севере твердо знали, что забота о человеческом теле совершается для устройства души. При жизни душа и тело – одно. Как вода наполняет землю, как влагой полон живой лист дерева, как в кремне таится огонь, извлекаемый ударом твердого железа, так душа живет в теле. Но и после разрушения тела сохраняется тайная связь останков с душой. Сжигается труп на погребальном костре – и очищенная огнем душа легко возносится на небесную твердь. Там мать и отец ждут детей, там друг находит друга, там конец всем разлукам и – свершение каждой мечты.

Покинь тело на добычу птице, зверю, червям – и будет душа неприкаянно скитаться близ мест, где умер человек. За лишение обряда она постарается мстить не одним виновникам смерти тела, но всем людям без различья. Душа человека, тело которого будет брошено в воду, последует за ним, и горе тому, кто, найдя такое тело, не возложит его на костер или не зароет в землю.

Зарытое тело избавляет людей от мести души, но по-иному, чем сожжение. В земле душа остается под гнетом, не вырваться ей ни под живой свет дня, ни под колыбельное мерцание звезд. Как спеленатый младенец, как зверь в тенетах или как раб, навечно прикованный к жернову, так бессильна, неподвижна душа того, чье тело зарыто в земле. По времени подземный холод и мрак разъедают душу, тоска и голод по дневному свету истощают надежды, и она, растворенная, гаснет, как уголь под пеплом, забывает себя, подобно зажившемуся старцу, и замирает навечно в земном покое.

Поэтому враг нигде не воздаст врагу погребенья. Поэтому лучше погибнуть в бою, чем умереть рабом и лишиться погребения.

Росичи остерегались просто бросать тела врагов, чтобы бродячие души не мстили, обратясь в нетопырей, не сосали бы кровь русских младенцев, чтобы не навевали врагам сны, указывая путь к Рось-реке, соблазняя чужих славянским богатством.

Нечестно и подвергать беззащитный труп поруганию. Срезав дерн, слобожане вырыли глубокую яму в ближней к привалу лощинке и уложили тела хазаров в общую могилу. Считали, чтоб знать, скольких победили.

В куст густой полыни заполз раненый и там отдал дух. Вытащив тело, Ратибор начал было его раздевать – и отпрянул. Не мужчина, а женщина в мужском платье была перед ним. Женщина-воин. И смерть приняла грудь: левое плечо рассечено. Смуглое лицо чуть исказило желание что-то сказать. Глаза были открыты, громадные, глубокие. Обманутый их живостью, Ратибор наклонился и увидел себя отраженным в глубине. Будто он сам глядел оттуда. Он смотрел, не будучи в силах оторваться. Сейчас она оживет!

Длинная коса, черная, как перо ворона, лежала, скрываясь в кусте полыни, и казалась бесконечной. На груди едва поднимались два маленьких полушария, девственно нежные. Впервые перед Ратибором была женщина, в его власти, но безгранично чужая – ее унесла смерть. Сломленное деревце. И уже летела муха к глазам, где остался Ратибор.

Кто же срубил хазаринку, кто загубил такую красоту?! В поле встречаются, не смотря на лица. Сама ли ты пошла на Рось-реку, повез ли тебя кто, будучи не в силах расстаться с твоей лаской?

Полжизни отдал бы Ратибор за горсть мертвой воды, чтобы срastить порушенное тело, да за горсть живой, которая вернет душу. Что – полжизни! В странном безумии он отдал бы всю, оставив себе день, пусть час, с воскресшей хазаринкой.

А там уже заполнили общую могилу, засыпали землей желтоватые хазарские тела. Крепко уминают землю – не дороятся звери, – закладывают сбереженными ломтями дернин, чтобы могила поскорее слилась со степью и никто не нашел места, даже те, кто рыл могилу.

Ратибор же чего-то ждал в тоске неутолимых желаний, томился без надежды. Рог звал. Ратибор слышал, но не шел к сбору.

Незамеченным подошел Всеслав. Вещий воевода, сорокалетний мужчина, понял двадцатилетнего, не знавшего еще женской любви.

– Не дам ее зарывать, – сказал Ратибор, закрыв своим щитом от чужих грудь и лицо хазаринки.

– Да, – глухо согласился князь-воевода. Ему мешала рана, набухал язык, горло спирало. – Положи ее

на костер вместе с нашими...

Добыча досталась богатая – будут делить слободские. Получат нужное, не обременяя себя излишним запасом, Воевода заботится обо всех. В слободе, как и в родах, общее хозяйство, общие вещи. Есть у каждого и свое собственное, нужное для жизни. Износилось, испортилось – дадут новое, если не в силах сделать сам. Роды вместе возделывают поля, разводят скотину, собирают медовые борти, ловят рыбу, охотятся за зверем, ткнут ткани, выделывают кожи, орудия труда. Разные дела делают разные люди по силе и умению, каждый в роде имеет право на все ему нужное. Князь-старшины, указывая, какую делать работу, по обычаю соображают общее всем дело, советуясь со старшими по летам.

Взятое с бою принадлежит слободским, но не тому, кто взял, а всем. В этом сила слободских обычаев. Иначе сильный станет еще сильнее, а слабый не дотянется до сильного. Каждая цепь не крепче самого слабого звена.

Дико, норовисто шел к Роси взятый с бою табун. Хазарские лошади волновались, слыша чужую речь, чужие голоса, путались незнакомого запаха россичей. Привыкнул. Иной слобожанин отметил особо приглянувшегося коня в надежде, что при дележе князь-воевода внемлет просьбе. У такого коня в гривку вплетен ремешок с узелками или заплетен косицами жесткий волос.

Закутав в хазарские плащи, слобожане везли своих мертвых. Вот и Сварог на зубе сделался виден. Каждый воин протягивает богу оружие, на котором нынче получил успех, каждый славит Огненного Отца.

Всеслав не мог приветствовать Сварога голосом. Вещий воевода предрек налет хазаров, но не мор узнать, когда самому закрыться щитом. Хотя он не сходит с коня – ему плохо. Кровь больше не течет, облегчая тело, из запекшихся ран. Отекло лицо, набухло во рту. На горло легла петля, и грудь тянет воздух всем усилием ребер и плеч. Не слова, а шипение проходит через воспаленные губы.

5

В версте от слободы, близ края леса, разложены костры. Шесть костров разложены так, что образуют круг. В середине седьмой – для ведунов.

Князь-старшина Колот – друг Всеслава, известен своему племени знанием силы трав и тайны небесных соцветий-созвездий. Колот умелец в искусстве гаданий. Зовут его россиячи Колот-ведун. За глаза иной скажет – колдун. Это обида. Ведун ведаёт добрые силы, колдун, чтоб вредить людям, знается со злыми.

Сегодня вместе с матерью Ратибора старой Анеей Колот варит травы в глиняном горшке. Чтобы отвар был целебным, нужен не медный, не бронзовый, не железный горшок. Белая глина одна благоприятна лечению. Глину копают на молодую луну, вечером, когда на закате едва намечается новорожденный серп. В такие же дни собирают спелые травы. Начинать доброе дело надобно с нарастаньем луны. Заклятья на злое поручают концу луны. Но это тайна колдунов. Колдун прячется. Чтобы погубить другого, он сначала губит себя самого. Колдун вершит один. Ведуны скрывают тайны, чтоб невежда не испортил творимое, друг друга же не чуждаются. Мудрая старуха Анея знает тайны доброго делания.

Сменяясь, чтобы заклинания звучали без перерыва, Колот и Анея нашептывают нужные слова: зарок удваивает силу трав.

Нынче ночью никто из слободских не спит. Все на работе, все выбирают в лесу сухие деревья и тащат их, готовя погребальный костер. Опыт научил, сколько надобно дров для сожжения тела. Сколько тел – в два раза больше сажень сухих дров.

Семь тел ждут погребения.

Ни охладевший ночной воздух, ни горячее дыхание костров, ни пар от варящихся снадобий не приносят облегчения Всеславу. Ему кажется, что узкая трубочка, подобно соломинке, вставлена в затвердевшее горло. Лицо воеводы синее, опухоль обезобразила губы и щеки. На голой груди и шее вены надулись веревками. Дышать! Невыразимо страданье не боли – бессилья.

Снадобье готово. Остужая, Колот и Анея переливают черную жидкость из горшка в горшок. Навар меняет цвет, светлеет; или это только кажется при неверном свете костров?

Остывшее снадобье сливают в турий рог, служивший еще отцам и дедам. Тонко отполированная, каменно-твердая кость успела покрыться сеткой трещинок, истерлась серебряная оковка – от древности рог сделался еще дороже.

Срез рога – две четверти в обхвате, внутрь может пройти кулак. С матерого тура сняли этот рог. Изнутри края окружает серебряная бахрома, ее волоски загнуты вниз, чтобы задержать травинки, плавающие в целебном отваре.

Ведун и ведунья пробуют снадобье и передают рог воеводе.

– Испей за здоровье, Сварожий внук, чтобы тебе была долга жизнь, чтобы сто пар сапог истоптал, пока не взойдешь на костер! Испей силы Сварога!

И на ухо Всеслава Колот шепчет:

– Пей во имя Черного Перуна!

Нет, не входит в горло напиток. Тщетны попытки глотнуть. Всеслав возвращает рог. Не могут помочь травы, не помогло и заклятие, написанное на роге причудливыми черточками, кружочками, углами.

Всеславу видится, что он плавает в громаде воды. То опускается в зеленую глубину, то поднимается, расталкивает руками серо-грязные тяжкие льдины, видит сизо-черное небо. Потом опять уходит в неподвижную зелень глубин и вновь поднимается к безрадостной поверхности, не удивляясь тому, как мягки льдины, как тепла вода, в которой плавает лед.

Воевода не хочет лечь; закинув для опоры руки за спину, он смотрит в небо, которого не видит. Свистящий хрип кажется почти криком. Он обречен. Ведуны переглядываются: завтра на погребальный костер взойдет восьмое тело.

«Да, – думает Колот, – и будет новый воевода на слободе». На погосте соберутся все десять князь-старшин, придут слобожане, будут думать. Колот не желал Всеславу смерти, они были друзьями. Колот жалеет, что не подготовился к смерти друга: он сам хочет сделаться вождем слободы. И он размышляет, кого из князь-старшин, кого из слобожан подговорить, чтобы назвали его имя.

Анея скорбно глядит, как серый пепел гасит угли ненужного костра. Тем уголком сердца, где женщина и в старости целомудренно хранит понимание тайн любви, она горестно жалеет Всеслава. В нем соединяются высшие качества мужчины, и племя теряет во Всеславе лучшего защитника, который еще не свершил великого подвига.

Неподалеку, рядом со своей злосчастной добычей, лежит сын Анеи. Мать в заботах о вожде слобожан забыла неразумного сына. Добыча его никому не нужна, никто не оспорит ее у воина. Ратибор не развязал ткани, закрывшие тело хазаринки. Смерть уже потушила очи – пусть они останутся такими, как он увидел их впервые.

Живой с живыми! Всеслав разбросал мертвые льдины. Нет, не умереть, не умереть! Ничто не совершено из замыслов, которые он таит. Страшна не смерть, – горько, как сок болиголова, сознание несвершения желанного.

Удушье усиливается. Нет, живи! Воевода дрожит в ознобе. Смерть – противник. Он хочет смять смерть, схватить. Он тоже душит, ломает. Черные когти впиваются в горло, он отрывает их. Ему кажется, что под его пальцами ломаются чьи-то кости.

Он делает шаг, другой, третий, наступает! Даже холодный Колот испуганно глядит на борьбу с невидимым. Всеслав хрипит, слышатся непонятные слова. Кажется, что он срывает с себя нечто. Вот он берется за голову, обеими руками поворачивает ее вправо, влево. Ладони сползают, жмут ребра. От черноты тела волосы на груди кажутся золотыми.

Дышит воевода, дышит! Он отплевывает черно-смолистую кровь и дышит. Он говорит:

– Пить!

Анея подает зачарованный рог. Крупный орех ходит под кожей горла. Воевода пьет... Пьет!

Всеслав победил. Смерть отступила, это видят все. Жизнь принадлежит сильному. Не подобает кричать от радости там, где лежат мертвые. Весть о победе воеводы передается, бежит, как огонь по траве, в глубину леса, к самому дальнему слобожанину.

– Воскрес Всеслав, воскрес! Вернулся от порога Смерти!

Будто и не было ничего, воевода спросил:

– Готов ли костер для погребения братьев?

Увидев Ратибора, Всеслав вспомнил. Ударив молодого воина по плечу, он заботливо приказал:

– Горюешь? Встань!

Они уходят.

Горят высокие костры, охраняя огнем тела павших за племя. Сторожа с обнаженным железом устрашают злое, ведуны подбрасывают в пламя пахучую освященную смолу.

Утром прошлого дня над слободой поднялся столб черного дыма. По дыму в градах узнали: в Заросье ходят степняки. И, готовясь к обороне, князь-старшины приказывали, кому из мужчин идти слободе в помощь, кому остаться для защиты града.

В конце первой четверти дня дым запрыгал клубами, будто его раз за разом выдували мехом величиной с ворота: слобода бьется со Степью! Спешили градские дружинники, боясь опоздать.

К концу дня все грады узнали, что слободские своей силой перебили степных людей и взяли богатую добычу. Называли имена убитых в бою слобожан. И стали градские собираться к слободе.

Ближние пришли утром, дальние подходили и подходили. Тропы через владения племени извилисты, чужой не сразу сумеет проникнуть сквозь лесные чащи, овраги, а напрямик через леса, разделяющие возделанные поляны, тоже нет хода: хуже ветролома мешают умно устроенные засеки поваленных деревьев. Вольные люди собирались без понуждения. Обычай рожден жизнью, он для россичей сильнее писаных законов, измышленных в те же годы владыками персов, римлян, готов и прочих людей.

Все живое обречено смерти, птица и зверь, рыба и змея, злак и сорная трава, дерево и куст. И человек... Зная неизбежность смерти, постигнув неизбежность уничтожения всего живого, россичи не примирались с прекращением собственных дней. Здесь ни привычка, ни равнодушие не смиряли людей. Тесная любовная связь семей и поколений, познание жизни как высшего, ни с чем не сравнимого блага сумели породить, как меч породил доспех, а стрела – щит, желание жить после смерти. Беспощадное вторжение смерти, чувство горчайшей утраты, сердечная святость земных связей, земной любви издревле родили у россичей убеждение во временности разлуки. За погребальным костром всех ждали встреча и вечный союз.

Примирение, непроницаемый покров забвения на отгоревшем пламени былых страстей... Не только это – усопшие делались хранителями живых и покровителями рода.

Погребальный костер был сложен из дубового дерева. Дуб – дерево мужчин, его пламя очищает душу воина. На верх строения уложили дорогу, по ней возносили тела. На грудь клали щит, в ноги – колчан со стрелами, лук. Справа – копье, слева – меч, как при жизни, так и в небе. В головах ставили берестяные и лубяные чаши, горшки с медом и молоком, не забывали хлеба и круп. На пальцы надевали бронзовые, медные, серебряные перстни, какие у кого были, с камешками или простые. На головы – шапки, ноги обували в новые сапоги. Клали арканы для ловли коней и ременные лестницы, чтобы лазать на деревья. Накрывали плащами. Ничего бы не забыть, дабы друг не попрекнул друга в небрежье при грядущей встрече.

Женщины плакали. Кто с тихим стенанием называл усопших по именам, кто с громкими воплями поручал им не забыть на небесной тверди передать родимым вести о живущих на земле.

Последним Ратибор внес на костер тело хазаринки, душу которой он спас для себя от гибели в подземном мраке. Женщина ныне будет ждать его. Ратибор положил на нее зарок ни с кем не любить до свершения его часа. На твердый холодный палец молодой воин надел медное колечко, простое по делу, не простое по заклинанию. Около хазаринки поместили вещи, подаренные добрыми росскими женщинами: веретено, прялку, моток льна, шерсти, чтобы не скучала без дела.

В молчании земли семя выпускает росток, в молчании раскрывается почка, молча зачинается жизнь. Люди затихли, ожидая совершения огненного чуда.

В тишине слышался стук огнива о камень. Старая Анея держала кремень с подложенным трутом. По кремню каленым железом ударял старый Горобой, князь-старшина, отец Всеслава. Сухой древесный гриб, варенный в щелоке, – трут занялся. Вторая старуха раздула трут, подложила его под костерок, сложенный из сухих стружек женского дерева – березы. Горобой же, сделав свое дело, отошел.

Женщина есть созидательница, образовательница. Это она собирает семя, вяжет снопы за косцом, согревает род, дает племени тело. Она как кремень, в ней скрывается пламя. Женщина оберегает племя, она зачинательница, без нее прекратится жизнь россичей. Поэтому на погребениях женщины должны заботиться об огне.

Мужчина пашет, бросает семя, раздирает земную плоть – он воин, наделенный мощью тела. Поэтому мужчина должен бить огнем по кремню, а женщина должна держать кремень. И мужчина, как отец, которому принадлежат рожденные женщиной дети, поджигает последний костер, чтобы освободить последним разрушением душу от омертвевшего тела-коры.

По знаку Горобоя слобожане разбирали заготовленные сосновые лапы, брали пламя от костерка. Костер занялся кругом в самый полдень, в самый яркий свет неба, чтобы души не заблудились в пути. И завилось пламя, унося в небесную твердь растворенную и очищенную плоть – славянские души.

Вселившись в орла, вещей человек может подняться сквозь воздушные токи до самой границы небесной тверди. Оттуда он охватит земли людей славянского языка от пределов степей Юга до холодных морей Севера, как их видят жители самой тверди. Ближе всех к пределу степи лежит земля малого племени россичей. Здесь он увидит извилистую реку, часто сменяющую тихие заводи на стремительное течение. Увидит лесную чернь с темными вкраплениями сосновых роц, поляны-росчищи с полосами хлебов, со стадами коров и овец, с табунами лошадей. В серединах некоторых полян, подобно семьям груздей, теснятся тесовые кровли градов. Родовые межи обозначены столпами высоких могил, там тени россичей – обугленные косточки – и тени взятых на небо вещей – ржавчина железного оружия, позеленевшая медь. Сделавшись вечной собственностью предков, вещи потеряли земной вид. Но могилы живут, они стерегут границы.

Не будь могил – было бы ли племя? Могилы россичей соединяют прошлое с настоящим. Без такого единства нет будущего.

Таает, таает огненная гора. Россичи смотрят, думая о душах ушедших. Они там, где царит вечное, непонятное земному человеку движенье; там носятся и борются небесные звери, пасутся небесные стада, плывут небесные челны и светятся цветы.

Души семи воинов, душа неведомой хазаринки вместе несутся через волнующийся океан воздуха, дно которого – наша Земля. Они не боятся зырканий молний и громовых ударов. Вот голубая прозрачная гора царства навьих – предков, свет и жилище душ. Здесь хранилище всех семян, здесь солнце отдыхает после дня. На небесных лугах души младенцев пасут петушков, перья которых блистают зарницами для глаз земных людей. О душах младенцев заботятся белые облачные девы до часа, пока душа матери не поднимется к ним.

Остыло жаровище. Место подмели с краев, не ступая в середину костра из почтения к праху. Землю носили в щитах, в бадьях, в ивовых и лубяных коробах, в кожах, в плащах. Бросали со всех сторон в середину, мягкий холм нарастал, осыпались комья. Потом утаптывали ногами, били колодами на ручках,

поливали водой, чтобы плотнее улеглась земля, а холм был круче.

Священны могилы, великое зло перед усопшими потревожить погребальницу. На могильный холм так надо насыпать, чтобы веками никому не пришлось в силу разрыть его или запахать.

На многих телегах и вьюками привезли хлебы, вареное и жареное мясо, рыбу, варево на мясе и рыбе в глубоких корчагах, каши полбяные, пшеничные, гороховые, ячменные, меды ставленные пьяные, пива жидкие, как вода, и браги густые, как хлебная закваска, кислые квасы... У холма раскидывается страва-пир для поминания усопших. Едят, спеша утолить голод и жажду, славят ушедших. Размягченные пивом и медом, плачут близкие.

Начинается тризна – примерный бой. Слобожане строятся двумя отрядами. Сближаются, стучат оружием, расходятся вновь; все с острыми мечами и копьями. Но избегают нанести хоть царапинку: на тризне нельзя показывать кровь, усопшие не любят вида братской крови. Ловок и славен на тризне тот, кто, нанеся убийственный на вид удар, умеет сдержать силу.

Состязаются парами – это зрелище ловкости, боевой красоты.

Так россичи одушевлялись мыслью о бессмертии. Их не защищали союзы и договоры. Вера в честь, с которой будет россич принят в обители предков, возвышала чувство достоинства личности.

Мальчики, подростки, присутствуя на мужественных обрядах тризны, всей душой стремились к слободе. Коль придется пасть – падем, как эти!

Тризна свершилась, бойцы разошлись. С помощью молодых Горобой, отец Всеслава, взобрался на могильный холм. Провожая уходящее солнце, старик славил племя:

Имеем мы обычаи свои,
завет отцов и вечные преданья.
И вещей сон в тени родных лесов,
и шепот наших трав в лугах и на полянах,
и шелест наших злаков в бороздах,
возделанных руками росских,
и гик коней,
и топот стад,
и грай воздушных птиц, –
все наше здесь.
Могилы предков хранят границы,
стоя на междупутьях, наблюдают
порядок смены лет и череду
сменяющихся поколений рода.
А толпы душ, носясь в вихрях
между землей и вышней твердью,
где обитать придется нам,
когда настанет тайный срок
блаженства вечности, –
те души совершают нам подмогу
в день трудных испытаний.
Подобно богу света, который гаснет,
умирая каждый вечер,
подобно травам и листве древесной,
светильники дыханья в человеке,
зажегшись при рождении,
потухнут...
Но человек – он не исчезнет,

он умер – как закат.
Он – успокоен.

Вдали от тризны воевода беседовал с князь-старшинами родов.

Обычай... По обычаю роды давали людей в слободу, давали скупое. Всеслав затеял трудную борьбу с обычаем, чтобы старейшие согласились отпустить в дружину племени побольше молодых. Старейшие гнут свое. Тяжело будет столько ртов кормить. И так в слободе живот каждый пятый или шестой мужчина. Откуда ж их брать? Кто в градах будет работать работу?

Всеслав говорил о хазарском загоне. Не взяли бы его слобожане внезапным налетом, сколько зла пришлось бы ждать от хазаров. Хазары – воины, у них хорошее оружие: семерых убили, десятерых поранили. Выучкой да уменьем взяла слобода. Будь же хазаров две сотни или три, что тогда, к чему пошел бы весь труд? Пожгли бы они грады, побили людей.

Слободской вожак себя забыл посчитать в раненых. Едва отбил от смерти, голову повернуть не может, а гнет и гнет свою сторону. Неслыханное дело совершил Всеслав – сам из себя вытащил стрелу. Пусть побил хазаров, пусть набрал богатую добычу – по справедливости все меркло перед мужеством воеводы. Договорились же наполовину. Если от каждого рода в слободу пойдет еще мужчин пять или шесть, но не более семи, старейшие препятствовать не будут. Однако и понуждать никого не станут, пусть молодые идут по своей воле.

Говорили, а каждый думал: «Откуда Всеслав узнал о приближении хазаров?» Спросить – никто не спросил. Сомневались иные из старейших: не предупредил ли кто воеводу...

Заря погасала, пора и к домам. Слободские подростки почтительно поднесли гостям воду, слитую с горячих углей.

Умыв руки и лица под струей из лубяного туюса, князь-старшины очистились после погребения.

Для блага обоих положено водой отделять живого от усопшего.

6

Анея шла полевой межей. Лебеда выросла уже высоко, обозначив дорожку между пшеницей и ячменем. Желтая пыльца красила юбку вдовы. Хлеба сильно выколосились, зерно выспевало, скоро и здесь начнут жатву.

Версты две в поперечнике, версты три в длину – лесная поляна, вся одетая зреющими хлебами, была как озеро в лесу. Неровная кромка деревьев врезалась в поляну мысами, отступала затонами, а в середине, как остров, устроился град, князь-старшинство в котором правил Горобой, отец Всеслава. Каждый град старался сесть средь чистого места, чтобы труднее было незаметно подкрасться, чтобы негде было врагу спрятаться от стрелы и от пращного камня.

Про росские грады правильнее было бы сказать, что не сели они, а легли за свои ограды. Ров глубокий, тын высокий. За ним, внутри града, строения низкие, растянутые по земле, не по неумению вывести стены повыше, а кровли – покруче, но с той же понятной без слов мыслью: чтоб с поля чужому глазу не видеть, что творится за тыном.

Грады рождались с одинаковой мыслью о защите в селении, как в крепости. Начинали их строить со рва, продолжали возведением тына. Домами же только кончали.

Анея вышла из своего града ранним утром; сейчас солнце высилось уже к полудню. По прямой дорожке пути стало бы верст на шесть, не более. Лесом же, минуя засеки, было, наверное, в три раза дальше.

Анея обошла огороженные тыном и защищенные глубоким рвом градские зады. Обычно ручьи, которым помогла рука человека, питают рвы. Здесь ров был почти сух – видно, еще не прочистили заросшую весной канаву. Крутые откосы затынуло малинником, внизу местами стояла вода, покрытая ряской. Грелся на солнце толстый уж. Он не шевельнулся, и женщина сошла со следа, протоптанного людьми и скотом, чтобы не побеспокоить змею. Добрые змеи, черные, в коронках белобрюхие ужи и коричнево-бурые полозы порой жили под избами. Дети играли с ними и пили молоко из одной чашки. Добрые змеи враждовали с гадюками. Туда, где живет уж или полоз, гадюка не ходит.

Перед околицей через ров был переброшен мост. Четыре бревна-переводины, опираясь на козлы, несли настил из пластин – распластанных повдоль бревен. Концы моста упирались на врытые в землю чурбаки. Дерево повыщербилось под копытами, размочалилось под тележными колесами. Мост давно не меняли, не рушили, как делали при вести о набегах степняков.

Для проезда в тыне было оставлено узкое место – распростертыми руками почти можно было достать до обоих воротных столбов. Пройдет телега – и добро. Тяжелое полотнище ворот было отвалено, и вход преграждали две жерди, чтобы не вошла отбившаяся скотина. Анея, согнувшись, пролезла под жердями. Годы стали не те, чтобы перепрыгнуть, как бывало.

От ворот узкая прямая улица почти сразу упиралась в глухую стену избы. Уступ служил препятствием для того, кто с размаху ворвется в ворота. Обойдя стену, улица опять вытягивалась прямо.

Тихо, безлюдно, все при деле. Двух женщин встретила Анея на всей улице, поклонились друг другу не по одному обычаю. В десяти родах россичей наберется не более десяти сотен взрослых, все знают своих в лицо. Женщины не спросили Анею, зачем пришла из своего рода, только пожелали здоровья. Хозяин гостя не спрашивает, Анея здесь общая гостья. У ворот Горобоя Анея потянула за деревянное кольцо. Внутренняя щеколда поднялась.

Калитка открывалась наружу, колода же была врублена с наклоном внутрь. Тяжелое калиточное полотнище, собранное из дубового теса пальца в четыре толщины, могло догнать неосторожного посетителя и, глядишь, чуть ли не сломать спину. Дома у Анеи была такая же калитка, поэтому старуха успела переступить через порог. Сзади щеколда сама поднялась по скосу и вщелкнулась в паз. Ворота, как и градские, были узкие, едва проехать, изнутри крепкие засовы были вставлены в кованые гнезда.

Двери и ворота всегда должны открываться наружу. Бей по ним, будут держать, пока не порушится все строение. Много забот и труда требует крепость, много рук отнимает от другого, нужного дела. Посчитать все тыны, толстые стены, рвы... Работа большая. Куда легче и проще живут дальние от степи славяне.

На тесном дворе, шагов десять в длину, не более – в ширину, выбрав место на солнечном пригреве, лежал пес. Был он ростом с трехмесячного теленка, в сизой с проседью шубе. Услышав Анею, пес поднял заросшую морду – через жесткую шерсть едва блеснули глаза – и опять опустил на лапы. Зверовые собаки были обучены не сметь рычать, тем более бросаться на людей во дворах, на улице. Если хозяин не прикажет. Чужих в своем роду нет, нет соседей – все свои. Кому что нужно – спроси, нет никого – возьми сам, не теряя времени. Потом скажешь или отдашь.

На голос Анеи выбежала девочка лет четырех, в рубашонке, и уставилась на гостью. За девочкой вышла рослая женщина, высоко неся тяжелый живот. Да и без того, по одному усталому лицу с темными пятнами, можно было сразу узнать, что близко разрешение от тягости.

С натугой женщина поклонилась, стараясь достать рукой землю:

– Будешь здорова, матушка Анея, вот мне радости послали...

– Будь и ты здрава, молодая, – ответила старуха, – давно не бывала я. Отец-то где? Не ушел ли куда?

– Тут он, в соседях. Да ты, матушка, в избу-то пойди, отдохнешь, отведаешь хлеба-соли.

Гость дальний, из другого рода, хозяину зазорно его забыть, гостю нельзя отказываться: брезгует, стало быть. Нарушение обычая поведет к обиде на годы и годы.

Дверь в избу Горобоя низкая,ходишь – кланяйся. Не из гордости строят россичи низкие да узкие двери, а для обороны. И оконца узкие – взрослому не пролезть. В глубине избы на земляном полу устроен очаг из дикого отесанного камня. Над ним крыша по-летнему раскрыта широким продухом для тяги дыма. Зимой продух закрывают, дым тянет через открытую дверь. Зато когда дрова прогорят и дверь закроют, в избе тепло, хоть раздевайся догола.

Крыша-стропа собрана без потолка, видна балка-матица со стропилами-ребрами. Избы всеми россичами ставятся одинаково. В избе темновато, особенно для того, кто вошел со светлого дня. Обросшая сажей крыша черна, как крашенная дегтем. Черны и стены, в пухлой, как мех, саже. Сажа везде, где в повседневной жизни ее не касаются спины и руки. До всей сажи хозяйская рука с метлой и веником добирается дважды в год: по весне, перед светлым женским праздником первого березового листка, и по осени, когда россичи ухичивают жилье к холодам.

Вокруг стен идут широкие, в пять четвертей, лавки-лежанки, на них и сидят и спят. Зимами, когда надоедливые дожди перебьются морозом, спят и на полатах – дальний угол избы весь перекрыт тесовым помостом. На полатах могут улечься и двадцать человек. У Горобоя мало народу в семье, а изба большая. В лесу живут россичи, деревья много, строятся широко. Направо от входа к стене пристроены перегородки, вход завешен серой тканью. Там по обычаю хозяйская постель. Второй такой же кут – для женатого сына.

С приговорами, с просьбами, слова которых, не думая, произносит язык и, не думая, принимает слух,

жена слободского воеводы Краса усадила Анею за длинный стол, ножками врытый в пол. Легко отвалив толстую крышку высокого ларя, хозяйка вытащила деревянное блюдо с вареным стегном – окороком дикой козы, положила на стол длинный нож.

– Всеслав вчера прислал из слободы две туши. Будто бы своего мяса нет в доме... Нужно мне! – вдруг сорвала с сердцем женщина.

Тяжело, на всю ступню топя босыми ногами, она вышла и вскоре вернулась с глиняной корчагой молока. В другом ларе нашлись круглая миска с сотовым медом и малый, ладони в две, плоский хлебец. Разломив его руками, Краса предложила гостье больший кусок, себе оставила меньший. На том и кончился обряд. Небрежение хозяина оскорбительно гостю. Но и навязчивость излишня среди вольных людей: все перед тобой, ешь от души, неволить не будут.

Сев рядом, Краса закусила свою долю хлеба. Анея проголодалась, ела охотно, запивая молоком. Зубов у старухи осталось мало, но мясо было хорошо разварено. Хозяйка жаловалась на хлеб:

– Самые остатки остались зерна-то, по ларям поскребыши скребем. С сором да мышами травленные. Не дождемся, как доживем до новинки.

И правда, хлеб в доме князь-старшины был нехорош ни вкусом, ни цветом. Шел последний месяц перед жатвой, росские роды тянули остатки зерна, делили его горстями по едокам. Обилие мяса, молока, творога, масла, меда – все казалось пресным без хлеба. В градах редко слышалось ворчанье жерновов.

Молоть зерно – женская и ребячья забота, труд легкий, но нудный. Жернова парные, в один охват, положены пирогом. В середине верхнего жернова выдолблена дырка пальца в два, ближе к краю жернова торчит ручка. Жернов крутят, в дырку горстью подсыпают зерно. Поломанные и перетертые зерна высыплются кругом на подложенное рядно. За один пропуск получается крупа на каши, за два пропуска – крупная мягкая мука. Кому захочется хлебца побелее, тот отобьет муку на частом сите из плетеной соломы.

Плохо, когда успокоительный голос жерновов смолкнет зимой. После женского праздника березового листка бездействие жерновов не страшит.

Так и ответила Анея:

– Ничто, Красушка, скоро жать будем.

– Скоро, – безучастно согласилась Краса.

– Вижу, ты мальчика принесешь, – заметила Анея.

Ведунья такого слова зря не скажет. Видно, присмотрела приметы, заглянула в совершающуюся тайну.

Чтобы не испортить вещего слова, Краса, поворачиваясь на все четыре стороны, в каждую заклала:

– Сделай, сделай, сделай, сделай! – и призналась Анее: – Я и сама было думала так. Сказать-то боялась, чтобы не испортить. А он-то, голубчик мой, стал сильно толкаться. Ох! – Краса положила ладонь на живот. – Услышал! И впрямь мужичок!

– Теперь уж не бойся слова, дело свершено то, – успокоила Анея. – Будет мужик у тебя.

Старуха ласково погладила Красу по голове, туго повязанной платком.

Ласка растворяет непривычное сердце. По увядшим щекам Красы потекли непрошенные слезы.

– И чего мне себя беречь-ту, – запричитала она, – кому нужна я? Был бы у меня муж какой-никакой, а был бы со мной, уж я бы его, голубя, холила. А этот? Когда раз в месяц, когда через два прискачет из слободы, как чужой. Слова не скажет, знай ему рожай и рожай! Ему бы мечи, да копья, да дружина, сам

весь он как каменный идолище.

– Такова наша доля, носи да корми, корми да носи, пока женское в нас живет, – строго возразила Анея. – Наш бабий живот собой род-племя несет, без нашего бабьего дела россиячи истощатся. Я не припомню, скольких рожала. Ныне дочь живет. От старшего сына, которого хазары побили, двое внучат живут, третий мой роженный – Ратибор. Остальные малыми перемерли. А все же я перед родом не должница.

– Да разве я перечу, матушка, – жалобно сказала Краса. – Я Всеславу рожала, не моя вина, что дети не жили. Вот, гляди, девочка растет, другого мальчика в себе ношу. Радуницы да навьи помогут, выращу парня.

Положив щеку на ладонь, Краса заговорила нараспев:

Рожу, выкормлю,
слезою вымою,
собой выкуплю
сына милого.
От лихого зла,
от напасти всей,
от беды денной,
от беды ночной
заслону его...

Упав головой на стол, Краса снова заплакала и вдруг засмеялась:

– Я так его выхолю, что мой он будет, матушка Анея, только мой. Второй будет пусть Всеславов, а этот – мой!

– Милая, – внушала Анея, – будет он свой собственный, как все сыновья наши. Не будет роду добра, коль наши сыновья будут дома сидеть, за материнский подол держаться; нет нам добра, когда нас сыновья бросают для копья да меча. И так сердце рвется, и так рвется. И нет из нашей горькой доли иного спасенья, как сердце крепить и крепить, себя побеждать. Понимай – так жили, так жить будем. Стало быть, иначе нельзя.

Замолчала Анея, и такая тишина в доме сделалась, будто смерть навестила живущих. Неслышно ступая, подошла к столу дочка Красы, залезла на лавку, дотянулась до миски с медом. Женщины очнулись.

– Благодарю дом сей и род сей за привет да за ласку, – произнесла старуха. Шепча обращение к огню, она отрезала кусочек мяса, бросила его с хлебными крошками на пепел очага. Туда же плеснула молока и капнула меда – для предков.

Горобой все не возвращался. Анея вышла во двор. Солнце переместилось, вместе с ним переместился и домашний пес, наглядно знаменую для Анеи судьбу человека вообще, особо же убогую судьбу старости: не имея своего тепла – занимай у другого.

Анея тоже уселась на припеке.

Куда легче найти тепло для тела, чем для стынущего в забвении человеческого сердца. Сердцу нужна любовь, а ее не достанешь по заказу. Это не солнечный луч доброго Сварога, что греет каждого, не различая букашки от человека, морщинистой старухи от красавицы девушки. Сварог есть отец всей жизни. Так было, так будет – хорошо знала Анея. Она сумела перенести неусмиренную деятельность сильной

души на общее благо рода, как она его понимала.

Дом Горобоя был длинной стеной вытянут по улице. К дворовой стене дома лепились чуланы и кладовые, сложенные из толстых бревен, как и дом. Дубовое строение надежно, вечно, пока огонь не вырвется на волю. В кладовых князь-старшины хранились самые ценные родовые запасы: соль в долбленных вязовых колодах, ткань для мены, выделанные кожи, запах которых чувствовался и во дворе. Берёг род у князь-старшины и сырое железо, которое брали кузнецы по мере надобности, сюда же сносилась глиняная посуда, шитая тканевая и кожаная одежда, орудия для обработки земли – мотыги, плужные лемехи. Надежно укрытые стенами, стояли обсыпанные песком высокие глиняные корчаги. С осени в них закладывали самое ценное из всего – просушенные, отвеянные от куколя, овсюга и прочих сорных трав семена для посевов. Ныне корчаги по времени года пустовали.

К кладовым примкнул второй дом, поменьше. Против ворот были ставлены хлева для зимнего содержания скотины. Сейчас скот гулял либо в лесу, либо в поемном лугу.

Соседняя усадьба отделялась от двора высоким плетнем из толстых ивовых веток на дубовых столбах. В плетень вделана узенькая калитка. Анея привсталла – через калитку пролез долгожданный хозяин. Был он тощ, по-стариковски костист, мощное некогда тело ссохлось, уменьшилось от старости, а стать осталась. Плечи не проходили, и через калитку Горобой протиснулся боком, плоский, широкий, как стол.

Беленные росой на луне и на солнце рубаха и штаны болтались, будто под ними почти не осталось тела. Уже лет десять Горобой по-стариковски перестал брить бороду. Желто-белая лопата лежала на груди, оголенной распахнутым косым воротом. Усы же, которые никогда не брились, падали ниже бороды, и в них на диво еще змеились черные волосы.

Встав, Анея низко поклонилась Горобою, старейшему вдвойне: и годами и княжеством. Блюдя свое достоинство, Горобой ответил кивком, не утруждая спину. Засунув руки за красивую опояску, старик спросил ласково:

– Здорова ли, Анеюшка? Ну ладно, ладно, стало быть. А нашего хлеба-соли отведала ли? Ладно.

Старик, бодрясь, высоко держал голову, борода вздернулась между длинными косами усов. Он оглянулся.

– Садись-ка сюда, на колоду. В избе мне чтой-то прохладно, будто мне не так здоровится нынче с утра. – Плохо грела старая кровь, в чем Горобой не любил, как и все, признаваться.

Опустившись на колоду, князь-старшина сразу сделался меньше, кости острыми углами выперли на плечах, локтях, коленях. Анея уселась рядом, удобно опершись спиной на тын.

– Дело у меня к тебе, князь, не простое, – начала Анея.

– То знаю, не простое, – со стариковской словоохотливостью подхватил Горобой. – Ты тоже, чаю, не молоденькая, а вот прибежала же в другой род. Аль у вас там неладно?

– У нас ладно.

– Так чего же ты ноги топтала за семь верст овсяного киселя хлебать?

– Я к тебе самому пришла, к Всеславу отцу.

– Ишь! – удивился Горобой. Отделив усы от бороды, он, привычно играя мужским украшением, навивал на пальцы длинные, как девичьи косы, пряди.

– Всеслав? – рассуждал Горобой. – Он сам себе голова. Он все равно что я – князь родовой. Стрела ему голову пробилла, он же сам вытащил и живет, как и не бывало ничего. Случалось ли такое? Вот он, Всеслав. В нем густая кровь.

– Слышь-ка, – перебила Анея отца, который не нахвалился бы умным, удачливым сыном, – слышь, ты вот отец, а я – мать. У меня нет мужа, я одна умом.

– Ну так, ну и что ж?

– У сына моего ума не стало, у Ратибора.

– Что говоришь? – старик отпустил усы, дивясь. – Я не слыхивал про него, а я, мать, все знаю. Он в слободских мало не в лучших.

– Не про то я, – досадливо возразила Анея. – Парню жениться время пришло, а он отрекается.

– Не хочет, стало быть. А мне что? – в улыбке старик показал желтые зубы. – Своему князь-старшине жалуйся, что у вас, князя, что ли, не стало?

– Не я ль говорила! Беляй-князь к нему и добром и грозил. Не послушал и его Ратибор.

– Во ты какой, – Горобой продолжал усмехаться. – Девку ту, что ты даешь, не хочет брать? Другую найди. Сам пусть ищет по сердцу. Разгорится, так быстрее коня побежит, птицей полетит. Не нуди парня. Я вот сам себе в свое время нашел.

Сделавшись серьезным, Горобой поднял кустистые брови над непотухшими черными глазами.

– Он же, Ратибор мой, тебе говорю, совсем жениться не хочет.

– Совсем? То неладно, неладно... Чего ж делать-то с ним? Всеслав, воевода-то, что сказал?

– Сказал, не его дело слободских воинов сватать.

– Оно и верно, не его дело-то.

– Так тому, значит, и быть, что парня околдовала мертвая баба-хазаринка? – возвысила голос Анея. – Чтоб он перед родом был как изгой безродный, чтоб мое семя пропадало в нем. Небывалое дело случается.

– Так и я размышляю, не ладны будут такие парни, – согласился Горобой.

Старик и старуха повесили головы под тяготой общей думы. Весной и по осени – трясучие лихоманки, летом – болезни живота, зимой – кашель, нарывы в горле, – малые дети не заживались на белом свете. Взрослые редко болели, для взрослых ведуны знали травы, дававшие хорошую помощь. Взрослые были на диво могучи, рослы, дети же хилы, среди десятков мог пробиться только один. Так на тощей земле из многих семян прорастают и укрепляются избранные, а слабые, кому нужна помощь, отмирают. Россичи не знали голода, хватало молока для малых детей, хоть топись в нем, и нежного птичьего мяса, и яиц, овсяных и пшеничных каш, ягод, яблок, груш, малины. Бабы рожали часто. Не жили дети, не жили. Из десяти, пятнадцати, а то и двадцати оставалось едва четыре, чаще – три, иной раз только два.

Мысль Горобоя ходила будто по кругу: угодий много, скота води сколько хочешь, ручьи и Рось-река кишат рыбой, зверя не взял бы только глупый иль слабый, а таких не бывало. Взрослые брезговали брать дикую птицу. Она была детской добычей, семилетний парнишка или девчонка умели притащить домой вязку кряковых уток, больших куликов, стрепетов, гусей, взятых детским луком или немудрящими силами. Налеты степняков стали что-то редки, уже давно степняки не прорывались на Рось-реку. А род мало разрастался, мало прибавлялось людей.

Да, ни один парень, ни одна девушка не должны ходить холостыми. Созрела девка, у парня закурчавилась первая борода – пора. Трудись для рода, дай плод, не губи семя. Не возбранялось взять и вторую жену.

– Да, – согласился Горобой, – надобно и понудить неразумного. Я Всеславу прикажу, прикажу я ему.

Он хотя и сам как князь, а сын мне.

– А крепко ли будет? – лукаво усомнилась Анея. – Ратибор совсем обезумел.

– Сделаю – и крепко. Тебе говорю, старая.

Опять оба понурились, зная, что дело будет сделано. И стало обоим чего-то жалко.

– А помнишь, – заговорил старик с усмешкой, но с иной, чем было вначале, – ты-то сама помнишь, как любила? Забыла, что ли? Я не забыл. Я буду тебя постарше весен на тридцать небось, а?

– Настолько ли старше или иначе, откуда мне знать, – уклонилась Анея.

– Верно говорю, – подтвердил Горобой. – Тебя еще не было – у меня второй сын родился. Который потом за хазарами в степь-ту ходил и не вернулся. Ходил при тебе уж. То ты помнишь?

– То я помню.

– А того, что раньше было, никто, кроме меня, не помнит. Первую свою я любил, знаешь, как? Была же она бесплодна. Три лета прожили, детей не несет. В ней я души не чаял, она во мне. Нет и нет детей. Вторую жену взял. Две жены у меня стало, а в мыслях, сердцем жил с одной, с первой. Вторая только рожала. Первая умерла на своей тридцатой весне, вторая ее пережила лет на десяток. А я все с первой, все ее видел. Так вот и мои дети рождались. И третья жена жила в моем доме, я уж стар стал, как она отошла. Ни одну я не помню, первая же – вот она...

– Да-а, – грустно согласилась Анея. Быть может, и у нее хранились сердечные тайны. Не так легко в них признается женщина, как мужчина.

– Всеславою Красу видела? – Горобой указал на свой дом.

– Видела.

– Ты – сегодня, я каждый день вижу. Хорошо ли ей? Живет, как безмужняя. Будто скотина для дома, а ведь она ж живая душа. Я ее по-стариковски холю. Ты баба, понять можешь: для нее моя холя – что лист прошлогодний. Ратибору прикажем, заставим. А дальше как будешь? Не может муж жить с женой насильно.

– А ты ж мог? – сурово спросила Анея.

– У меня в мыслях была другая, она же и в доме жила, со мной.

– А мой сын в мысли пусть хоть с кем живет, только бы мне внуки, а роду воины да матери рождались, – жестко молвила Анея, в упор глядя старику в глаза.

От этих слов Горобой, опьяневший от вызванной колдовством сердца молодости, потрезвел. Князь-старшина приподнялся с колоды, вновь сделался широкий, как дверь, и высокий. С вернувшейся старческой сухостью он подтвердил Анее:

– Сказал я тебе – быть тому. Ломать парня не будем, а согнуть – согнем.

Анея не спешила прощаться.

– Кончили одно дело, скажу о втором, князь.

– О чем еще?

– Выслушай краткое слово. Тошно нам, матерям. И жены при живых мужьях сохнут вдовами. Нет правды на Руси: одни мы стоим против Степи. Пора каничам с илвичами быть под русской рукой.

Качнувшись к Анее, Горобой ответил:

– Трудно.

– Трудно, – согласилась Анея. – Да нужно! Тебе, отцу, из близости не видно. Поспел Всеслав для дела.

Без пара не согнешь дерева, без слова не овладеешь душой человека, не повернешь его волю.

В сердце, потрясенное кровавым угаром первой битвы, Ратибор принял очарование лица и тела хазаринки. Он пристыл к ней. Как, зачем? Он сам не знал. Но упрямо держался мечты.

Дни после хазарского истребления шли своей чередой. На пополнение потери в воинах князь-старшины прислали молодых мужчин. Подходили по окончании весенних работ и сенокоса подростки. Рана воеводы заживала, и он сам осматривал каждого нового, будто коня или быка. Редко кого отсылал, чтобы еще малость подрос.

Победа славой овеяла слободу россичей, молодые сами тянулись к ней, князь-старшины легче мирились с уходом из рода нужных рук. В прежних слободских избах становилось тесновато. И новые первым делом взялись рубить новую избу.

Из слобожан возрастом выше двадцати годов, кроме Ратибора, был только один неженатый – и то лишь потому, что слишком разборчивые старшие не могли найти желанную им, а не сыну невесту. Женатые и два и три раза в месяц ночевали в семьях. Вернувшись, иные хвастались собой и женами. Тут крылась жгучая тайна. Ее не пристало мужу открывать в вольных словах. Подростки алели, слушая мужские смешки и намеки. Вполнамека хвалились мужья мягкой да горячей постелью, въявь гордились женскими подарками – узорчатым поясом, вышитым воротом и оборкой рубахи, привозили медовые и маковые заешки из тонкой муки-сеянки.

А тайна – знал каждый подросток, – сладкая тайна не уйдет, когда пух на лице, огрубев, станет волосом.

Была у старших и другая тайна. Порой ухо подростка ловило непонятное слово. В ночи полнолуний куда-то уходили старшие слобожане. Зачем и куда уходили, где были – не спрашивай. Не положено мужчине допытываться, теща свое любопытство.

В первое полнолуние после битвы Ратибор проснулся от чьей-то руки, которая легла ему на лоб. Он схватил запястье в широком обручье. По запаху тела и приметному обручью Ратибор узнал Крука.

– Не шуми, обуйся, выходи наружу, – приказал Крук.

Ратибор сполз с низких, как избяные скамьи, полатей. На сене, застланном сшитыми козьими шкурами, слобожане спали рядами, каждый на своем постоянном месте. Ратибор натянул мягкие сапоги хазарской добычи. Затягивая узкий ремешок, Ратибор сунул в правое голенище меч. Рукоятка едва достигала колена. Привычка носить это оружие за сапогом дала ему название – ножной меч, потом кратко – нож.

Крук ждал, загораживая собой свет в открытой двери. Двор слободы был выбелен луной, тень вышки пересекала его, будто глубокий ров. Около перелаза через тын возились люди, опуская лестницу. Не было огня на вышке, над плетеным заплотом торчали два черных кочана – головы сторожевых. Не было общей тревоги. Не нападения ждет воевода.

Спустившись с тына в числе последних, Ратибор видел, как кто-то из оставшихся в слободе утянул наверх шестовую лестницу. Оглядываться времени не было. Шли молча, гусем, ступая след в след, по воински, чтобы кто другой, посчитав отпечатки, не узнал, сколько людей пробивали стежку.

Передние ширили и ширили шаг. Побежали тихой побегой, потом скорее. Звук топота не было, опирались на носки, как учили в слободе бегать по ночам. Упоенно сверчали земляные сверчки, не боясь людских теней. Длинная вязка людей на бегу растянулась было и опять собралась. Миновалось открытое место с каменным богом. Его пробежали с лунной стороны, чтобы не потревожить черно-угольную тень. Приближалось высокое место речного берега. Над кручей обнажились скалистые кости земли. Длинный свист переднего призвал ко вниманию, два коротких приказали: «Иди шагом».

Большие камни громоздились в порядке, будто устроенном человеческой рукой. За зубчатой стеной лежало плоское, как гумно, ровное место с белыми, похожими на черепа, голяшами, с жесткой травой, чахнувшей от скудости почвы.

Здесь веснами гадюки справляли свадьбы, сплетались клубами величиной с добрый сноп. С шипеньем и смрадом вертелись тупые черные головы, играя длинными жалами.

Сила яда, носимого телом мягким и слабым, давала гадюке подлую власть, делала ее несправедливо сильной. Против гадюки знали пять заклятий. Встречая змею, россич не давал ей дороги, мешала – убивал, но никогда не гнался и не бил для забавы никого живого.

Слобжане столпились, освещенные луной. Воевода вышел из тени скал. Он нес в обнимку другого человека. Нет, не человека. Всеслав поднял что-то длинное, прямое и с силой ударил концом в землю. Нечто воткнулось и осталось стоять само.

Еще двое людей вышли из тени скал, высекая огонь. Помчались искры, загорелись масляные светильники.

Всеслав позвал Ратибора и приказал:

– Гляди!

Это был Перун, бог мужчин, войны, победы. Россичи видали немало чужих богов и просто людей из мягкого камня мрамора, из бронзы, кости, из дерева и серебра, даже из золота. Чужие бывали округлогладкие, великолепные, на глаз мягкие вопреки твердости камня или металла. Не таков был Перун, и не то было ему нужно. Бог слободской дружины явился воином, которому нужна не красота, а сила. Не угождать женщинам, а советовать и помогать мужчинам хотел Перун.

Под тяжелым шлемом хмурился узкий лоб, в глубоких глазницах под выпуклыми бровями сидели красные глаза – драгоценные лалы. Рот был как рана, усы длинные, вислые. На прижатых к телу руках торчали могучие мышцы, грудь была выпучена над впалым животом – признаком сильного мужества. Бог опирался на землю длинными ступнями. Он был гол, но вооружен – два меча, секира-топор, ножи. Дубовое дерево было искусно вырезано. Пальцы рук переходили в рукоятки мечей, в древко секиры – тело сливалось с оружием, нельзя было сказать, где кончалось одно и начиналось другое.

Вера в истинность изображения, сознание своей правоты и необходимости божества руководили создателем образа Перуна. Бог мужей вдохновлял и потрясал. Впоследствии, выйдя на площади градов, в священные рощи на холмах, Перун смягчился, облекся мягкой плотью. А здесь, на границе русского языка, он был необходимым образцом беспощадного мужества сторожа от Степи. Оттуда, с юга, всегда шли войны, насилие, истребление. Ничего, кроме войны, насилия, истребления, нельзя было противопоставить кочевникам, чтобы сохранить род людей, возделывавших лесные поляны.

Это был бог, близкий, понятный, земной. Воплощение покровителя, образец. В Перуне не было мечты о заоблачном мире Сварога, о вечной жизни души, о вознаграждении за боль, за муки, за смерть. Сварог был богом для всех людей, для детей, женщин и немощных стариков, размышляющих о конце жизненного пути. Сварог помогал воину надеждой встретить на небе друга. Перун звал к битве.

– Я обещал тебе бога и братство, – говорил Всеслав, обращаясь к Ратибору. – Вот твой бог и вот твои братья. Мы – дружина Перуна, один за всех, и все за одного. Мы выше рода, мы сила русского языка, меч и щит. Не воля князь-старшин правит нами, а наша воля. Я князь дружины. Ты хочешь быть с нами, Ратибор? Клянись Перуном, Ратибор!

Произносились слова объяснений и обещаний. У ног Перуна разожгли угли, раздули маленьким мехом синее пламя. Светильники погасли, сквозь угольный чад был слышен запах раскаленного железа.

– Подними левую руку над головой, чтобы принять знак братства, – приказал Всеслав.

Ратибор видел, как из углей князь-воевода достал железный прут на деревянной ручке. Конец железа рдел звездочкой. Скосив глаза, Ратибор смотрел, как звездочка приблизилась к левой подмышке. Ожог, боль, запах паленых волос и горелого мяса.

Всеслав показал новому брату-дружиннику конец клейма, остуженного живым телом. Два меча, скрестившись, указывали на четыре стороны света, напоминая о вечной верности братству.

Дружинники подходили, обнимали нового брата. Готовился еще один обряд – клятву скрепят смешением братской крови.

На славянском севере, в лесах, богатых и простым и дорогим пушным зверем, в местах, обильно родящих хлеб и овощи на полянах, обнаженных топором и огнем, обычай побратимства ограничивался узким кругом товарищей. Несколько охотников, искателей новых земель и богатств, братались кровью, выражая крепость товарищества и обещая друг другу поддержку во всех трудностях жизни в нетронутых Черных Лесах.

По нужде воинственному Югу требовалось больше братьев, здесь спинами смыкались не двое, здесь были нужны стены десятков и сотен братьев.

Душа человека живет в ямочке на груди между ключиц, а его жизнь течет в крови. Смешение крови больше роднит людей, чем мужа и жену соединяют брачные объятия. Братство крови сильнее братства рода.

Надрезая пальцы, все дружинники спускали кровь в серебряную чашу, точили не щадя. Из полной чаши Всеслав помазал губы, грудь, руки и ноги Перуна. Остальное слил в пламя углей. Запах особенной гари поражал и запоминался навсегда. Так вознеслось свидетельство нерасторжимой связи дружины.

В слободе воевода жил в своей, воеводской избе. Она такова же размерами, как другие, в которых могут поместиться и тридцать и сорок слобожан. Всеславова постель устроена близ двери. Около ларь с запасной княжьей одеждой, оружием. Все остальное место занято слободским запасом. Тут и оружие, которое для сохранности смазывают жиром, тут и одежда. Чтобы тля и червь не испортили рубахи, штаны, шубы, плащи, сапоги, запас перебирают, проветривают под присмотром самого воеводы.

Очага же в княжеской избе совсем нет. Зимы на Рось-реке не злые, а спать под шкурой сладко на любом морозе. Всеслав и зимой ходит с распахнутой грудью.

Воевода не бывал дома со дня хазарского побоища. Вскоре после обряда Всеслав взнуздal коня и поскакал провести ночь в роду, под родительской кровлей.

Дробно простукали копыта по пластинам моста через ров. Всеслав поднял коня через жерди, заграждавшие въезд от бродячей скотины. На скаку он спрыгнул у своих ворот, мигом отвалил тяжелое полотнище. Жена выбежала навстречу. Всеслав молча бросил женщине конец повода.

Краса разродилась, принесла мальчика, как вызнала заранее Анея-ведунья.

Отец осмотрел ребенка. Двухнедельный мальчик зло кричал в грубых руках – будто бы будет сильный

парнишка.

С внешним почтением выслушал Всеслав длинную речь Горобоя об Анее и непослушном Ратиборе, думая про себя: «Эк, болтлива старость: где нужно пять слов, тратит десятки...»

Ночь Всеслав спал на лавке, оберегая жену, утомленную недавними родами. А Краса, тщетно прождав мужа в супружеской постели, заснула в злых слезах. Лились они втихомолку – женщина стыдилась мужа, тестя, домашних. Проснувшись под утро, Краса опять ждала, и опять тщетно.

На улице Краса со злобой глядела вслед мужу. Будь взгляды как стрелы, ему бы не выжить. Всеслав, как нарочно, ехал шагом и не оглянулся ни разу.

Старый Горобой нашел в своем незасохшем сердце новую ласку, весь день хвалил за каждую малость погожую сноху. И правда, Краса, оправившись от родов, на диво похорошела.

Доля женская... Да и отцовская доля пусть не так горька, да и не проста. Чтобы выкупить перед матерью своих внуков жесткое сердце сына, Горобой сделал у себя во дворе Красу полноправной хозяйкой. Второй сын Горобоя с женой и вдова третьего сына слушались Красу, как старшую. Что же еще в стариковой власти!

Красе некому отдать свою волю. Всеслав не берет. Другому отдать – нет желания, о другом она и не думает. Крепок родовой уклад. Все-то на виду, все-то так слажено, что и в голову ничего, кроме положенного, не идет. Живет мечта о ком-то, чудесном. Но за мечту женщина в ответе не бывает.

Огненный крестик на теле воспалился, опух. Опухоль быстро опадала. Для Ратибора такая ранка дело пустое. Зверь поранит сильнее, когда его живого вынимаешь из тенет. В воинских забавах-уроках больше доставалось от меча, от дубины. Конец копья царапал больше, тупая стрела била, как камень, и долго мозжило битое место.

Крестик давал гордое сознание равенства с лучшими из лучших в слободе, кровь Ратибора смешалась с кровью Всеслава, и ныне они братья.

И парил и гнул Всеслав упрямого Ратибора.

– Не хочу я жениться, – упирался парень.

– Почему?

После хазарского побоища минуло полнолуние, один месяц умер, другой народился, идет ко второй четверти. Унялся пыл Ратибора, и ему стыдно ныне сказать: из-за хазаринки.

Неведомая женщина осталась в том прошлом, которое неутоленным желаньем держит человека невидимой рукой.

Такие чувства необъяснимы словами. Всеслав знал, что не с пустым упрямством он борется в сердце нового брата-дружинника. Долг перед родом обязывал князя.

Без грубости князь-воевода толковал Ратибору то же, что было ясно Анее и Горобою. Нерожденный ребенок все одно, что павший в бою слобожанин. Семя зачахнет, род иссохнет как дерево с источенным корнем. Не повелось еще в росском роду и самое малое дело валить на товарища. Был сыном – будешь отцом, и никто тебя не заменит.

Смирившись, Ратибор выговорил себе:

– Буду жить в слободе всю жизнь, как ты живешь, князь. И к жене буду не чаще ходить, чем ты

ходишь.

Глава 2

Чтобы жило племя

Концом копья вскормлены.

«Слово о полку Игореве»

1

Не пошел Ратибор сам к матери. Просил друга-дружинника, чтобы тот поскакал к граду, поклонился бы старой Анее и сказал, что сын по материнской воле согласен взять в жены ту девушку, что ему назначена. Смотреть же ее Ратибор не будет, для него любой выбор хорош, как мать скажет. Привез брат ответ Ратибору, чтобы ему быть дома в назначенный день.

В родах везде кончили жатву, свезли хлеб. Сварог дал и пшеницы, и полбы, и ячменя, и овса, и проса с горохом.

В такую пору лета россичи мелют новинку, пекут пироги, сидят пьют пиво^[1] из ячменя и свадьбы играют.

Россичи не брачились внутри своего рода. На такое зазорное дело не согласятся отцы и матери, его запретят князь-старшины. За самовольный брак из рода выгонят-изгоят. Изгой же – человек, лишенный рода, как ощипанная птица, как трава на дороге, ему каждый ветер в мороз, его любая нога потопчет. Так повелось издревле, от навых. На гуннском побоище у пятерых братьев-россичей гунны семейства погубили, младшие двое были еще холосты. Братья отправились себе жен добывать и силой умыкнули девок. А чтобы девки не убежали, чтобы их свои родовичи не отыскивали, братья далеко ходили, по-волчьи. Свой волк летом близ берлоги скотину брать никогда не будет. Отсюда и слово «невеста» повелось. Невест, не знает, без вести от своих осталась. Дальше так и шло, по отцовскому примеру, только ныне девушек не умыкали силой, а брали ведомо, по сговору из своих россских родов.

Конные и вооруженные чужие родовичи с Ратиборовой невестой привезли еще троих. Каждая на своей телеге въехали невесты в ворота. И – будто опять домой вернулись.

Кто видел один россский град, тот все видел. Такой же ров с тыном, из-за которого крыши не видать, такая же улица, те же глухие ограды с окнами-бойницами, грузные калитки, тяжелые ворота.

Невест встречали всем родом, все старые и малые – и посмотреть любопытно, и честь оказать надо. Встречали с криком, с хохотом, с общим весельем. Молодые парни тянули на веревке ручного медведя, потешно одетого мужиком: вот жених, чем нехорош.

Кони в телегах попятись от медвежьего рева и запаха. Здоровенные руки вцепились в оглобли: как бы не вывернулся свадебный поезд к бесчестию. Встречающие впряглись в лямки, устроенные сбоку телег, чтобы в трудном месте хозяин мог помочь коню, схватились за постромки, за оголовья, потащили и телеги и лошадей.

Городские псы, потревоженные шумом и громом, прыгали на улицу через дворные ограды. Увидев, что народ не дерется, не слыша хозяйского зова на бой, собаки сбились в глухой конец улицы и уселись мохнатыми глыбами, одни во всем граде безразлично-спокойные. По очереди свадебный поезд останавливался перед каждым домом, куда шла невеста. Из ворот выносили договорный выкуп за девушку: ткани или кожи, одежду, оружие или что иное. Выкуп вручался поезжанам открыто, при всех и по счету. Обеленную выкупом девушку-невесту поезжане с рук на руки передавали отцу или матери жениха с приговором о том, что «наше стало ваше, а мы в вашу часть вступаться не будем».

И невеста в длинной белой рубахе, в венке из полевых цветов вступала в дом, где ей придется век вековать.

На улицу выносили столы и скамьи, тащили заготовленную снедь. Весь град был одной семьей, происшедшей от одного корня, к свадьбам готовились в каждом доме, не разбирая, в нем ли торжество или у соседей.

Пили, ели, кричали. Ребятишки покрупнее сновали у столов, наделяемые сладкими кусками, прихлебывая из общих чаш пиво и ставленный мед. Малые дети требовали своей доли, с кулачками нападавая на ноги пирующих.

Россичи умели подолгу обходиться без пищи, без воды. Охотники, уходя на три, на четыре дня, не брали куса из дому, чтобы не обременять себя ношей. Ленясь отрубить кусок мяса с добычи и испечь его в золе, ложились спать на голую землю, с пустым животом. Зато дома себе не отказывали в обильном столе.

Ели много и сочно. Мясо зверей и вольной птицы, мясо домашнего скота, мед диких пчел, густое молоко сильных, мало раздоенных коров, сыр и масло, лук, пшеничные, овсяные, гороховые каши, печеную брюкву, репу, морковь. Детей старались кормить жирнее и сытнее. Летом малые детишки мерли, как осенние мухи, трудно было ребенку перевалить через две первые весны. Зато и были выжившие на диво сильны.

За свадебным пиром взрослый мужчина, в одиночку орудя острым ножом, приканчивал бараний окорочек на закуску. Передохнув, шарил несатытыми глазами и тянул к себе поближе корыто с печеными на раскаленных камнях окунями, линиями, язями и мягкой сомятиной, чтобы легкой пищей побаловать зубы. Деревянной ложкой хлебал жидкую студенистую гороховую кашу, щедро сдобренную цеженным медом. И тут, поди ж ты, в ноздри ударяло жгучим соблазном свинины. Из чьего-то двора хозяева, сами впрягшись в телегу, везли новую, с пылу горячую, только что доспевшую еду: свиные туши, набитые луком, целиком запеченные в яме, обложенной камнем.

Весело трещали бубны с натянутой на обрез вязового или ивового дупла желто-палевой скобленой кожей. Свистели-визжали сопелки – тростниковые дудочки на пять и на семь дырок. И ухало-рычало кожаное било, великий бубен. Его слышно верст на пять, в тихую погоду – на все десять. Это липовая двухохватная бадья. Било есть в каждом граде, его гул созывает родовичей в случае беды. А теперь, пользуясь праздничной вольностью, любитель могучего рева натянутой кожи то давал деревянными колотушками частую дробь, то гудел редко: ударит всей силой и прижмется ухом к бадье, опьяняясь звуком, чудовищно преломленным костями собственного черепа.

Чествуя новобрачных, родовичи славил Ратибора, восхваляли слобожан. Как же не возносить их! Таких стрелков да наездников нигде нет, и воины они умные, и воевода у них вещей, сам во всем первый из первых, да живет он два века!

Вдруг, как забытая в мотке шерсти игла, из добрых слов высунулось жало: слобода-де на наших кормах обороняет же всю Рось-реку.

Вспомнилось незабываемое. Все знают, почему россичи бедней соседей. И Павно, Ратиборов сосед по граду, буйно грозился во хмелю:

– Было при дедах, толкались мы с жадными илвичами-лежебоками за пойменные уголья. Пора их так, так! – и Павно показывал, как взнуздывают строптивного коня. – И каничей так, так!..

Вот и солнце опустилось вполдерева – кончался длинный день. Уже утоптали сапогами и босыми пятками улицу. Не одна молодежь потешилась в быстром плясе, и старшие порастрясли туго набитые животы так, что хоть опять садись за столы. И садились, добирали остатки.

Солнца не стало. Всевидящее око Сварога сменилось миганием звездочек-гвоздиков, набитых на небесную твердь. Людям пора к покою, молодоженам – к честному делу.

Чинно, без шума разводят молодых к постелям. Вольный на язык, умеющий навек прилепить ядреное

прозвище, для насмешки не упускающий самого мелкого повода, россич во многом и ограничен. Права рода, власть старших и отцовско-материнская, предки, могилы, боги, женская честь, мужская доблесть – с ними не шутят. Над брачным делом смеяться считают зазорным, бесчестным. За глупое слово тут же накажут. И больно, не скоро забудешь.

Запирают ворота. За тын уже ушли двое очередных сторожей, вооруженных мечами и копьями. Не в оружии сила охраны. С ними два десятка городских псов росской породы, из которых пара берет медведя и останавливает тура. Умные псы приучены немо бродить по окрестностям. Тревогу они поднимут не зря, а по настоящей опасности, защитят сторожей, дадут им отойти к граду. Так грады охраняются каждое лето, пока молчаливая осень не закроет степную дорогу.

В дальних углах амбара заслонами засыпано зерно первых умолов. Мерцает глиняный светильник на дощечке над корчагой с водой.

Провожавшие невесту и жениха остались во дворе. Мать вошла с молодыми в амбар. Шепча заклинания, Анея четырежды осыпала мужа и жену зернами пшеницы. Иное пшеничное зерно одно дает три колоса, в каждом же колосе десятки зерен.

Пяťась, Анея с порога бросила последнюю горсть. Заперла дверь, и сразу сделалось тихо. Новые пары размещены.

Широкая постель устроена посередине амбара – ложись с любой стороны. Снопы намолоченного хлеба уложены туго, вперевязку, в три ряда – почти на высоту пояса. На них – Ратибор узнал по запаху – мать настелила добрых трав. Их сухие пучки висели в клетях, томясь в тени и не теряя силы.

По снопам натянута ткань-ровнина, положено одеяло из спинок диких коз. Коричневое при свете дня, оно сейчас казалось черным, увеличивая и без того широкое брачное ложе. Смутно белели заячьи шубки, брошенные в изголовье.

Между Ратибором и Млавой еще не было сказано слова. Они и не нужны на брачном пиру, молчание молодых уместно как знак скромности и смущения. Успеют наговориться, оставшись одни.

Ратибор сел, снопы зашуршали, сминаясь под тяжестью тела. Млава подошла, опустилась на колени. Девушка знала обязанности жены, внушенные ей перед свадьбой дотошными во всех мелочах старыми женщинами, блюстительницами обычаев и правил рода.

Муж не воспрепятствовал жене стянуть с него мягкие сапоги. Он глядел на голову, покрытую тонким платком. Еще дома родные расплели девичьи косы и невеста оплакала свое вольное девичество. Млава пошла вымыть руки в корчаге с водой под светильником. Она, боясь неизбежного, сообщенного ей женщинами, таинственного, как все неиспытанное, медлила, плеща водой. Слабенькое пламя светильника колебалось от дыхания и движений девушки. В тенях взгляд Ратибора угадывал длинную женскую одежду, надетую впервые. На девичьем теле должна быть длинная рубаха, которую каждой девушке шьют перед браком, однажды в жизни. В ней же сжигают тело, когда женщина свершит свою жизнь.

Млава повернулась – Ратибор вспомнил, что не знает ее лица. Он не смотрел на невесту за пиром, не мог бы сказать, какого цвета у нее глаза. Теперь, мельком взглянув, он успел заметить очень светлые волосы. И еще, обладатель тонкого чутья, Ратибор уже знал, уже запомнил запах Млавы, ее запах, иной, чем у других.

Глаза и волосы хазаринки были черные... Десятки дней минули, и кончилось колдовское очарование мертвой. Уйдя в день вчерашний, чары лишились власти, не жгли, не давили разум, не томили сердце.

«Может быть, – думал Ратибор, – так рука привыкнет к обручью, подбородок – к шлемному ремню, а тело – к парной тяготе доспеха. И сердце – к утрате». Утратить же, никогда не имев, – колдовская тайна, непонятная уму.

Невидимая, Млава шагнула к постели и остановилась робея. И вдруг решилась. Ратибор слышал, как девушка за его спиной разбиралась. Зашуршали, шевельнулись снопы.

Было совсем темно, светильник едва мерцал, на нагоревшем угле фитиля плясала синенькая стрелка. Ратибор проснулся, как от толчка, очнулся от сна, как всегда, сразу, свежим, готовым к действию и зная, где он и что с ним. Так собака успевает проснуться, телом услышав содрогание земли, обонянием – запах дегтя и кожи и успевает отскочить, ощутив шерстью прикосновение тележного колеса.

Ратибор сел. Будь не крыша, а открытое небо, он сразу узнал бы, сколько времени осталось до рассвета. Сейчас он знал лишь, что ночь еще длится.

Ночь еще длилась, и Ратибор очнулся не зря. Мать стояла перед ним. Ее присутствие разбудило сына. Старуха подняла руку и ударила Ратибора по темени, не сильно, сухим коротким ударом, как она его наказывала в детстве. Она только рукой била сына.

Приподняв опущенную голову сына за подбородок, Анея другой рукой указала за его спину, на Млаву.

– Я не могу. Не хочу, – сказал Ратибор. В соединении этих слов была ложь, которую он почувствовал сам.

Схватив сына за плечо, Анея заставила его встать. Они вышли. В темноте слышался храп; в соломе и сене, в распряженных телегах повсюду спали люди, как кому пришлось лечь после пира.

«Откуда она узнала?» – думал Ратибор. Он был уверен, что Млава ничего не могла сказать Анее. Анея узнала сама.

Со страстным упреком мать шептала сыну:

– Ты солгал мне, согласившись, ты опозорить род. Ты знаешь, что ее отвезут домой. Ты хотел посмеяться над нами?

Поблизости пропел петух, ему ответили другие. Петушья переключка прокатилась по деревянному граду, вернулась, сделала еще круг и смолкла.

– Ты слышишь? Последние, – сказала Анея.

Мать не спала всю ночь, понял Ратибор, всю ночь она зрила душой и вот пришла, требует.

Ратибор был прав: Анея, добившись своего, ждала. Она ведала коварство жизни. Сейчас она жалела, что не дала сыну любовного напитка. Это настойка порошка высушенных телец жучков золотисто-зеленого цвета. В первую половину лета их собирают по утрам с веток кустов перед восходом солнца. Это напиток и смерти. Если дать выпить слишком много, человек умрет мучительной смертью. Анея знала меру, она сберегла бы сына. Любовный напиток будит желанье и придает силу даже слабому.

Когда женщины жаловались Анее на любовный холод мужей, их беде хорошо помогал тайный напиток. А в своем доме Анея не сумела помочь.

На град облаком навалилась предрассветная тишина. В этот час ухо человека не услышит ничего. Ночная тишина полна звуков, предутренняя – глухая.

– Иди, сын, иди, – сказала Анея. В ее голосе не стало ни злобы, ни приказа. Она будто бы ничего не требовала, даже не просила. А Ратибор слышал: «Верши!» И вспомнил свое обещанье Всеславу.

Он пошел. Сзади мягко пристукнуло крошащееся дерево амбарных воротец.

Масло в открытой чашечке глиняного светильника почти выгорело. Огонек отошел с длинного носика к чашке. Масло разогревалось, сейчас оно вспыхнет сразу. Амбар на миг осветился. За стенкой по земляному полу тупо топталась лошадь; что-то беспокоило и ее.

Огонек еще шагнул. Вот он перейдет в чашку, и масло даст пламя. Пахнуло чадом от выгоревшего фитиля.

Ратибор помочил пальцы в корчаге и безжалостно убил трепещущую душу огня.

Коснувшись в темноте коленом острых комлей снопа, Ратибор распустил опояску и стянул с себя широкую рубаху с шитым косым воротом. Эту рубаху по обычаю Млава прислала жениху после того, как совершился договор о выкупе.

2

Видно, не только от гуннов сильно пострадали россичи. От отцов детям, от дедов к внукам передавались сказания об иных разорителях. И сказывавшие старые предания иной раз между собой спорили: будто бы и побоище, от которого только семь братьев остались, не гунны совершили, а какие-то другие степняки.

Гунны ли, другие ли, о разных ли набегах Степи говорили сказители иль об одних и тех же, но начинали все одинаково.

Та зима была злая, снег в лесах медлил уйти. Новый месяц нарождался красным, будто в страданиях покидая небесное лоно. Из степи волки подступали невиданной силой, вой их людям казался странным, необычным. Беда пришла в пору, когда молодая трава уже покрывает копыто коня до путового сустава, в лучшую пору для степи. Корм сочен, налитые весенними силами травы тучны и жизнотворны. Мошка, овод, комар только нарождаются и не мучают. Дни долги, а жары еще нет, солнце не изнуряет коня и всадника. Весенние воды сошли, броды доступны.

Тут-то и повалили с полудня туры по степной дороге. Стадами, быки первыми, туры входили в реку, плыли тесно, и людям приходилось видеть, как турихи толкали рогами туренок, поднимая детенышей над взбитою в пену водой. Размесили туры берега и ушли. Куда? В припятские леса, где живут пятнадцать больших рек, а рекам малым и ручьям счета нет. Столь обильно воду рождает земля, что иной порой реки там останавливаются и вспять подаются, как Рось в половодье.

Походя туры травили хлеба, россичи же, пораженные множеством зверя, не решались их гнать будто бы...

Бежали из степи козы, бежали лисы-огневки и малые собачки-корсаки. Журавли летели на полночь, дрофы путались на лесных опушках. За ними навалилось степное войско.

Далее сказители расходились в рассказе, споря между собой. У некоторых получалось, что в те поры много славян жило по ту сторону Роси, на Турьем урочище, и еще далее к югу. Одни бежали вслед турам в водяную припятскую крепость и там поселились навеки. Другие остались биться за могилы отцов. Из них не более семидесяти уцелело от побоища. Остались в живых они лишь потому, что шли вместе, умели ударять сразу, будто одной рукой, умели отбиться вместе, как одним щитом.

Что раньше случилось? С кем сражались россичи? Из десяти русских родов семь считали себя происшедшими от семи братьев, а три называли себя потомками Скифа, или скифами, хотя ни речью, ни обликом, ни обычаем не разнились от других. Ни у кого не спросишь, некому решать споры между сказителями. Одно лишь видно, как солнце на небе: сила нужна, и не простая, а откованная воинским умением и закаленная, как жесткое уклад-железо.

У россичей за слободой на ровном месте устроены щиты из мягкой липы, каждый высотой в сажень, длиной – в три. На щитах сажей, разведенной в конопляном масле, нарисованы всадники.

Стрелку рука нужна. Чтобы была рука – не пропускай дня, не натянув тетиву. Перед липовыми рисованными щитами много слез глотают подростки, начиная слободскую жизнь. Вся трава вокруг стрельбищ вытоптана в поисках потерянных стрел. Как рассветет – стреляй и стреляй. Меняются жильные тетивы, снашиваются рукавички на левой руке, избитые ударами. По времени привыкает рука, развивается глаз. Дальше, на третий рубеж, на три сотни шагов отходят стрелки. Отсюда рисованные тела нужно так поразить, чтобы из пяти стрел четыре шли в воздухе, когда впирается первая. Тогда ты настоящий стрелок. Сам, гордясь мастерством, будешь стараться дня не пропустить без стрелы.

Каждый славяно-росский подросток (девочки тоже возятся с луками) самодельными стрелами бьет мелкого зверя и птицу. Каждый взрослый умеет натянуть боевую тетиву. В руках слобожан лук становится страшным оружием дальнего боя, а вблизи, шагов на сто, слобожанин пронизет козу, а в тура или в тарпана – дикую лошадь – вгонит стрелу до пера.

На север от Рось-реки земля поделена между братскими родами: на юге, за рекой, земля ничейная. Туда слобожане других родов отряжались ездить на телегах ломать пчелиные борти, ловить по ручьям и речкам рыжих бобров-плотиностроителей.

У илвичей-соседей тоже много охотились за зверем, копили припасы, для товара выделывали шкуры и меха. Такие слободы были выгодны родовичам.

Росские слобожане не тянулись в дикое поле за бортями и шкурами. В латах-доспехах, чешуйчатых от нашитых на толстую кожу конских копыт, с мечом или секирой на перевязи, со щитом на левой руке, с копьем в правой, колчан и лук за спиной, а нож за сапогом, они учились ходить стаей, не разрываясь. Учились бегать одной стеной, поворачиваться, как один. Остановившись по приказу воеводы, передние сразу метали копья, за ними задние бросали свои. И, закрывшись щитами, обнажали мечи и бегом нападали все разом, все сразу, будто катилось одно многоголовое, многожальное чудо. В других слободах жизнь шла повольготнее.

Каждый, и мужчина, и женщина, умел ездить верхом, держаться в седле и без седла, править уздой. Воин должен уметь править только ногами, освободив руки для боя. Еще с Всеслава Старого в росской слободе повелось искусство развивать силу ног. Дают камень с пуд, обшитый кожей. Его нужно держать коленями стоя. Быстро устают ноги, камень падает. Подними и держи. Большой и большой камень дают, доводят груз до четырех пудов. Зато слобожане не нуждаются в поводьях, конь идет по одному приказу ног. Сожмет слобожанин ноги, чтобы наказать коня, мутятся от муки конские глаза, трещат ребра, и, коль не углядеть, конь валится на землю.

С коня, как с твердой земли, били стрелами, метали копье. Скакали одним строем, колено с коленом, шли ниткой в затылок и сплошной лавой лошадиных грудей и боевых щитов. Коней обучали ложиться и мертво лежать с прижатой к земле головой.

Тяжела воинская наука для новичков. Их заставляют бегать с мешком на спине: мешок на лямках, в мешке – песок. Груз камня между коленями, как и груз песка на спине, доводят до четырех пудов. В реке плавают подолгу, не считаясь со студеной веснами и осенью водой. Строптивных нет.

Воевода Всеслав опирался на кровных побратимов. Тайное побратимство повелось будто бы еще до Всеслава Старого, предшественника Всеслава нынешнего. В каждом роду можно найти мужчин со следом каленого железа в тайном месте под мышкой. Когда весь род россичей, собравшись на погосте, всем миром судит о делах, побратимы, сговорившись заранее, дружной поддержкой могут добиться своего.

Деревянный град еще не очнулся после празднества. Заспались пастухи, в хлевах мычала скотина. Ратибор не стал дожидаться утренних обрядов, не захотел сесть за стол со всеми. С первым светом он вывел коня, слова не сказал потянувшейся было к нему Млаве, не попрощался с матерью.

Загремели бревешки мостков через ров. И полетел всадник, не касаясь поводьев, без узды – на коне было лишь конюшенное оголовье. Скакал, будто единое тело мчалось. В пустой след посмеялись ночные сторожа мужу, спешащему от молодой жены, как от осинового роя, и, пустив на волю собачьи своры, сами бегом побежали к граду. Подгонял их не голод, не желание скорее воспользоваться остатками сладкого пира, любопытство: не случилось ли чего непригожего под крышей ведуньи Анеи в первую брачную ночь

сына?

Пустое было любопытство: Млава и другие новобрачные вышли честными перед мужьями и своим новым родом. А мужу сидеть ли пришитым к бабьей сладкой рубахе, скакать ли по полям и лесам – то знать самому.

Стащив оголовье, Ратибор пустил коня в слободской табун и полез через тын к себе домой, в родное, любимое место. А ведь пять или шесть весен тому назад было иное. Суровость слобожан, жестокость воинского обучения, насмешки, на которые подросток не умел и не смел ответить, – жизнь была горька, как полынь. Клеткой была для него слобода, и в этой клетке он ходил злой, будто хорек на цепи. Окрик, тягота, смертная истома к ночи. И не хватало ночи, чтоб выспаться. Бывало, что иной подросток так и сгорал без болезни, никем не замеченный, никем не пригретый.

Если теперь Ратибор и вспоминал трудные годы, то лишь с гордостью. Родной дом – слобода, и другого не нужно.

В слободе, как всегда утром, пусто, все за делом. Дверь во Всеславу избу была открыта. Ратибор заглянул и услышал дружественный окрик: «Э-гей!»

Воевода сидел на широкой лавке, покрытой шкурой. Ратибор сел на порог.

Всеслав рассматривал кривой хазарский меч. Клинок тускло осветился в лучах солнца и бросил зарничку в темный угол. Голова воеводы была в тени, со света Ратибор видел только ноги, обутые легко, в постолы-калиги. Кусок кожи, выделанной мокрой дубкой, был обжат на колодке по форме ступни. Четыре ремня, два спереди и два в заднике, удерживали калигу и, обвивая ногу до колена, прижимали к голени широкую штанину.

Хотя Ратибор не видел лица воеводы, он знал, что тот смотрит, читает в нем. Скрывать нечего, воля рода-племени, воля воеводы исполнена честно, без обмана.

Всеслав прервал молчание:

– Пойдем позвеним-ка мечами.

Сняв рубахи, оба вышли во двор голые по пояс, каждый с двумя мечами. Обоерукие воины. Не каждый владел этим искусством. Заметив в Ратиборе хорошую способность к оружию, Всеслав сам обучил его.

Воевода был телом много мощнее, Ратибор еще не вошел в полную силу мужчины.

В одну руку Всеслав взял росский меч, прямой, тяжелый, заточенный с обеих сторон, длиной в полтора локтя, считая с рукоятью. В другую – хазарский меч, кривую саблю, тонкую, на четверть длиннее меча. Ратибор вышел с двумя хазарскими мечами.

Меряясь взорами, они встали на четыре шага грудь от груди. И оба всё забыли для заманчиво-опасной игры. Первым Всеслав сделал шаг, прикрыв грудь мечом и отведя саблю для удара.

Бросив тело вперед с саблей, Всеслав, казалось, пробьет Ратибора. Но тот, отклонив левым мечом клинок, правым мелькнул над плечом Всеслава. Отбитое железо плеснуло вверх. И тут же вновь и вновь лязгнуло, покрывая обоих мельканием ломано-гнутых клинков.

Сторожевые на вышке забылись, глядя на красоту боя. Покажись у рва хазары, и их не заметили бы. Сами воины, они затаив дыхание были готовы увидеть, как сразу, оба иссеченные, изрубленные, пронзенные, падут обоерукие бойцы. В метании тех и железа было притягательно-страшное, как колдовство, заклинание силы.

Не расходясь, не отдыхая, по двору слободы клубом вертелось четверорукое чудовище, сверкало,

бренчало.

Раздался звонкий вскрик железа, и над вышкой что-то свистнуло. Воевода и его излюбленный воин остановились. В правой руке Ратибора осталась одна рукоять. Перешибленный отбивом меча хазарский клинок сломался и отлетел, едва не поразив сторожевых.

Облитые потом, тела бойцов влажно блестели. На плече Всеслава сочилась кровь из длинного пореза.
– Красно биться стал ты, красно, – одобрил воевода.

Ратибор подошел, высосал ранку. Кровь не выплюнул – братская кровь святая.

Всеслав развел руки, оплетенные толстыми мышцами; темное, как земля, тело вздулось узлами и буграми. Воевода глубоко вздохнул. Пот щипал ранку, нужно приложить жеваных листьев болотной сушеницы. Ратибор рвал в избе лекарство из заготовленных пучков.

Да, бьется парень, как муж. Круто ему пришлось с постылой свадьбой, но не должна кончиться им одним такая сила, нужна она роду и братству.

Один из сторожевых сбежал с вышки, достал и принес отломленный клинок. Отдать кузнецам, пусть сварят железо попрочнее.

Ратибор приложил листья сушеницы к порезу, ловко прикрепил их тонким мочалом. Первый раз соревнуясь с воеводой в двоеруком бою, он отметил противника. До сих пор бывало иначе. Он не знал, что Всеслав нарочно поддался. У кого много нежности, у кого – мало. Каждый дает сколько может и как сумеет.

Так минула короткая Ратиборова молодость. Да и детство у тех людей было куда покороче, чем у их дальних потомков. Не у одного Ратибора годы текли зло, исполненные суровости жизни. И других гнули много, били, ковали. Под беспощадно-настойчивым боем тягучее железо твердело, глина же разлеталась пыльной трухой.

3

Еще вчера на легких паутинках летали малые паучки, цепляясь за подсохшие былки, за ветви, за усы, за брови, и, пробежав по лицу, пускали новую нитку: чтобы дальше лететь...

Дождь принялся, как сказали сторожевые, с ранней ночи. Будто сеяли его через мучное сито, наземь сыпались тонкие брызгочки-капельки. От них сединой пробивало коричневую шерсть козьих плащей и внизу, с отреза, с длинных косм текли струйки.

На утопанном щебнем слободском дворе грязи нет. Вода, еще не успев насытить хрящеватую почву, проходит внутрь кургана, как в губку. И в глубоком колодце еще не помутнела вода, как мутнеет зимой. Перехватывая одубелую, крепкую от воды веревку, слобожанин вытягивает бадью хрустально-прозрачной влаги. Вода свежа, холодна, чуть пахнет пенкой. Поставив бадью на закраину сруба, человек пьет и уступает место другому.

Хмурится день. Между небесной твердью и землей протянулся влажный пар – оболочка земли. Нынче сверху уже не увидишь, что творится внизу. И снизу вверх тоже не видно. Слышишь, как тихо дышит земля, засыпая. В ее дыхании, как и в человеческом, движется душа. Уснет – и дыхания почти не станет.

Ни в хмурое утро, ни в зимние ночи нет покоя человеку. Он несет в себе колючий ком беспокойных желаний, не знает, даже после совершения лучшего из задуманного, тихого покоя земли.

Ныне русский воевода одному отдался – иметь совершенное орудие своей силы: воинов самых смелых, искусных, послушно ему преданных, как пальцы руки.

Мелкий дождь сеется на длинные волосы Всеслава, мелкие капельки копятся на длинных усах. Поднимая бадью, он пьет, держа на весу двухпудовую тяжесть, как берестяной ковш.

Вволю напившись, слобожане артелями едят кашу из молодой крупы. Каша крутая, холодная – варили вчера ввечеру, – и ложек не надо. Глощают твердый сыр из вареного с телячьим желудком творога, режут ломтями мясо. Насыщались быстро, как придется: кто сидя, кто и стоя.

Поспешая, выходили из изб вооруженные по-охотники – копье, нож за голенищем, колчан с двумя десятками стрел и лук. От дождя лук спрятан в чехле из кожи, промасленной костяным жиром.

Полный каплею воздух пахнул мокрой землей, жухлой травой, лошадью, крепким мужским телом, дубленой и сыромятной кожей. Для Ратибора то был не сравнимый ни с чем запах слободы – без прелости хлева, дымно-избяного чада и смрада градских нечистот.

У некоторых слобожан были свои излюбленные лошади, больше же ловили и брали, какая попадет под руку. Балую и притворяясь, что пугает узда, молодой жеребец захрапел, попятился, тесня других лошадей. Хотел взмахнуть на дыбы, но опоздал: в ноздри клещами впилась рука. И, послушно скаля зубы, жеребец принял железо уздечки, покосился на человека, лебедем вывернув шею, выкатывая глаз в кровавых жилках на яблоке, но укусить не посмел. Он живо помнил науку, помнил, сколько быстрой, жестоко-повелительной силы скрывается в теле двуногого.

Сняв в ручном, но всегда взволнованном табуне, слобожане седлали коней и верхом выезжали к Рось-реке. Лошади, скользя на будто салом смазанном склоне берега, упирались на задние ноги. Вслед им несло ржанье – оставшиеся прощались со своими.

За лето река открыла брод-перекат. Всадники кучно вошли в воду, которая едва достигала путового сустава лошади. Дно было сложено галькой с намытым песком. Уши наполнились особенным плеском речных струй под копытами. Рось влажно пахла рыбой, водорослями, со степной стороны дубовая роща

посылала аромат своих чар. Сила коня и твоя, братья кругом, и впереди день охоты – всем было вольно и счастливо.

Вслед всадникам через Рось переправлялись шесть телег. Телеги длинные, колеса высокие, почти в рост человека. На таких только и ездят по лесным полянам, лугам, мелколесью и степи. Телеги шли за охотничьей добычей.

От реки Слобожане, разминая коней, пошли широким шагом, потом вскачь, потом опять шагом. В ту пору лошади выезжались на шаг и на скачку, другого хода у них не бывало. Всадники, как привыкли, ехали походно, по два в ряд, и тесно, на хвосте. Чередуя шаг и скачку, добрались до Турьего урочища. Здесь ныне нет дозора, пусты землянки. Набегов не жди, скоро зима, степные люди сидья сидят, и россичи ездят в степь, невозбранно.

От Турьего урочища взяли правее, на закат. Местами были заметны следы тележных колес. Они кончались у взлобка. Здесь были подкопы, виднелась желтовато-серая, жирная под дождем земля. Сюда россичи и все их соседи ездили за славной белой глиной для корчаг, горшков, блюд, тарелок, бокалов, детских куколок и разных свистулес. По левому берегу Роси, в лесу, нигде не бывало такой пригодной для гончарных дел глины. И приходилось за ней ходить в дикую степь.

Недалеко за белоглиными раскопами, в глубокой балке, густо заросшей лесом, тек ручей Тикич. Всадники не стали ломиться в балку, а поехали опушкой на полдень, имея Тикич на правой руке. Налево же развернулось высокое, очень ровное место. До самого края были по степи разбросаны дубы, редкие, кряжистые, корявые, каким бывает дерево, растущее в одиночку. Оно тянет более вширь, чем вверх. Дубовая степь – будто кто здесь сеял дубы, редко бросая желуди на волю степного ветра. В жаркую сушь с сухими грозами Сварог молниями побил лес. Много здесь было бугров от пней, заросших землей. Тут осенью любили пастись дикие быки и коровы. Никого не боится степной тур – ни сотенных стай волков, ни лесного медведя. Осенью туры уходили ближе к лесам, покидая выжженную, вытопанную степь и опасаясь единственного врага – гололедицы.

Россичи расчетливо и бережно брали туров, туры много давали славянину. Из рогов делали луки, рукоятки оружия, гребни для волос, для чесания пряжи и шерсти, вытачивали и вырезали застёжки для рубах, кафтанов, полушубков. Толстая шкура шла на подошвы, а хребтина была незаменимо хороша для доспеха. Толщиной в полтора пальца, с нашитыми копытами или железными бляхами, хребтинные доспехи отбивали и меч и стрелу.

Из турьей кожи выгибали шлемы и подшлемные шапки, делали кожанцы-калиги. Мясо солили и коптили впрок. Турьи мытые кишки набивали вареным мясом с салом, сохраняя так пищу надолго. Туша убитого тура вся шла для дела.

Ветер дул с севера и с полуночи. Слобожане сделали длинный объезд, чтобы охватить туры с полудня. Среди турьих стад паслись дикие лошади-тарпаны разных мастей, разных статей. Одни по виду ничем не отличаются от русских, другие же с длинными седлистыми спинами, с головами большими, тяжелыми, как коровьи. Считали, что тарпаны повелись от одичавших, отбившихся лошадей. От века ходили по степям разных языков люди, от века бились в степях и в предстепнях. И всегда разбегались кони, потерявшие хозяев. Говорили же, что на Припять-реке, по островам среди болот и озер живут дикие люди-сырорадцы, которые кутаются в невыделанные шкуры и забыли, как добывают огонь. Тоже бежали когда-то от беды и забились столь далеко, что не нашли назад дороги, одичав на безлюдье. Тарпанов россичи охотно били для мяса: оно вкуснее, чем мясо дворовой лошади.

Туры паслись и паслись, а тарпаны, подзрев всадников, забеспокоились. Вот табунок голов в десять бросился по ветру в балку Тикича. И уже с той стороны послышалось ржание жеребца-хозяина,

собиравшего своих. Там и сям убегали тарпаны, а туры, по своей силе не столь осторожные, глядели на всадников и опять опускали головы, срывая траву.

Утренний серо-дымный полог небес прорисовывался летучими горами, дождь иссякал, становилось яснее. Сделался виден матерый бык на холмике. Он, уставившись на людей, равнодушно катал жвачку по горлу.

От места, где находились сейчас слобожане, до балки ручья Сладкого, где побиили хазаров, расстояние было верст восемь, если идти прямо на восход солнца. Далее, отойдя верст на двенадцать, начиналась днепровская пойма камышистыми болотами и топями да глубокими старицами от древних русел Днестра.

За спиной слобожан Тикич поворачивал прямо на юг и верст через шестьдесят вливался в Синь-реку. Между Тикичем и днепровской поймой по сухим плоским гривам, размежевывающим безыменные балки безыменных ручьев, лежали пути из степи на Рось. Туры, кони и люди с телегами – был ход всем и всему. Оттуда летом тянуло бедой. Осенью же приходили дикие стада будто выкупом за чинимое степью злосчастье.

Всадники ехали шагом среди турьих стад. Приближались люди – и коровы с телятами неспешно отходили вправо, влево, куда придется. Быки косились и тоже отступали. Не от страха. Присутствие чужого теснило вольного зверя.

Небо расчищалось, ветерок сушил степь. Слобожане растолкали туров. Под молчаливым нажимом всадников голов до сорока туров отступили к северу, к краю леса, где летом жил дозор.

Всадники двигались изогнутой линией, края шли быстрее, а середина отставала, будто напряженная тетива. Туры перестали кормиться, телята жались к маткам. Быки, их было шестеро, начали сердиться. Двое уставились на всадников, будто в первый раз их заметили. Задний, поменьше, опустил голову и негромко взревел. Другой молча и медленно шел на людей. Вдруг он заревел еще громче, мощнее, чем первый. Несколько турьих с телятами скачками прибежали на зов.

Горяча себя, быки били копытами землю. Потом, наклонив головы, грозя рогами в полтора локтя, быки поскакали на всадников. Коровы спешили следом.

Слобожане бросились в стороны, открывая в своей цепи широкий проход. Туры уже разогнались до скорости, с которой умеет соперничать не каждая лошадь. Они не искали боя, шли прямо, стрелой.

Пропустив их, всадники замкнули цепь. А туры, прорвавшись, замедлили скачок. Быки теперь шли сзади, охраняя коров.

Между лесом и охотниками оставались четыре быка, с десятков коров, голов пятнадцать молодняка.

Думая за зверя, Ратибор понимал, что и зверь набирается мудрости от житейского опыта, судит сам по себе. Чего-чего не встретится стаду, которое бродит в степи от Теплого моря до самых чащ приросских лесов! А эти, видно, еще никогда не встречали человека вплотную. Может, только в их крови, как и в крови Ратибора, живет голос воспоминаний, переданных от предков. Ничто не поможет диким быкам.

В полуверсте от опушки звери остановились. У быков заклокотало в стесненных гортанях, длинные хвосты с темными метелками шерсти на концах били по ребрам. Молодняк жался к старшим.

Как воины, выстроились быки, и было видно, ни один не отступит больше назад. Пришел час выкупа за власть над самкой, над стадом, за мощь тела, похожего на глыбу дикого камня, за веру в себя. Пора платить собой, расставаясь с вольностью жизни, с былыми волнениями любви, со степным простором. Было, было все, и нет ничего, кроме битвы.

Всадники приближались. Понимая самое легкое давление ноги, незаметный для глаза наклон тела всадника, кони переступали шаг за шагом, спокойные, послушные, усмиренные однажды, но всегда помнящие силу колен человека, удар его кулака между ушей и полосу жгучей боли от плети.

Сближаясь со Всеславом, Ратибор о чем-то попросил, и воевода закричал:

– Не бить заднего!

Самый большой бык ждал боя чуть сзади трех других.

Толчком одной ноги всадник поворачивает лошадь, другой ногой удерживает. На сжатых коленях человек приподнимается над седлом, чтобы дать свободу нижнему уссу лука. Сообразив силу ветра и откуда он тянет, стрелок растягивает тетиву до уха и метит в левый пах быка. Оттянутая средним и указательным пальцами, тетива срывается будто сама и щелкает по кожаной рукавичке, защищающей левую руку.

От звяка тетивы, от шмелиного гуда уходящей стрелы конь вздергивает голову. Может быть, он умеет увидеть в полете прорезь стрелы в кресте оперенья?

Конь стоит, подобрав задние ноги под круп, собравшись, готовый ответить новому приказу всадника. Нет приказа, и конь продолжает глядеть.

Стрелок должен знать, как ветер снесет стрелу. Он целил в пах, но стрела уходит под левую лопатку тура. Издали оснащенный накрест серо-белым гусиным пером конец стрелы кажется маленькой птичкой, куличком-воробьем, прилепившимся к турьему боку.

От укола бык взбрасывает тяжелый перед, прыгает и падает. Да пошлют Сварог, навьи и роданицы, что заботятся о человеке, каждому воину такую смерть. Не гнить в гнусной старости, не валяться в поле без ног с перебитой спиной, не чахнуть на рабской цепи, исходя бессильной злобой под палкой надсмотрщика. Укол в сердце – добрый укол.

Летели стрелы слобожан, приученных попадать в бычий глаз или в середину груди человека на три сотни шагов. Не прошло времени, нужного хорошему бегуну, чтобы пробежать эти сотни, как на ногах остались лишь пять-шесть молодых и старый тур, пощаженный по приказу воеводы.

Несколько слобожан гнались за крупным телком, годовалым бычком. Он побежал было, потом, опомнившись, храбро наставил уже заметные рога, чтобы побиться, как играл в стаде со сверстниками.

Слобожане не играть собрались. Два аркана взяли шею храброго бычка, дернули: он упал, вывалив длинный, широкий в конце язык. Его оттащили к лесу, чтобы крепко привязать к дереву, а потом, когда приедут свои, к задку телеги.

Не гулять ему в степи, но быком он будет. Опилят страшные рога, в ноздри продернут, чтобы смирялся от руки человека, железное кольцо. Будет он реветь, пугая и неробких страшным зыком, и кругом будут ходить с поднятой щетиной громадные росские псы, готовясь прийти на помощь пастуху, если бык сорвется.

Стодвадцатипудовый зверь с подгрудком чуть не до земли отдаст хитрому человеку самое дорогое, что в нем есть, – свое племя. Потому-то так и сильны серо-бурые росские волы, так молочны и мясисты коровы, что хозяин не дает им мельчать, плодясь между собой, а умеет влить в свои стада вольную кровь, не изнеженную готовым кормом и теплым хлебом.

С гиком и свистом закружились слобожане перед оставленным в живых быком. Зверь тяжело метался, мечтая подцепить докучливых противников на острый рог. Всадники увертывались, уводя быка от бойни, соблазняя надеждой нанести удар.

Гнев лишает разума равно человека и зверя, учили старшие. Взбешенный тур уже без расчета бросался за всадником. Измучившись, он остановился. Бока вздымались, черные от пота. Раздутые ноздри впивали запах недоступных врагов. Ратибор видел, как катались карие яблоки глаз, слепые от ярости.

Спешившись, Ратибор бросил повод товарищу и побежал к быку. С разных сторон спешили туда же еще пять-шесть слобожан. Превращение высоких преследователей в короткие двуногие фигурки удивило тура. Ему и вправду не доводилось видеть пеших людей. Сегодня для него вид и запах человека сопутствовали лошади, а с лошадьми он никогда не враждовал. И эти маленькие существа казались ему не страшнее волков, которых он никогда не боялся.

Всеслав опередил Ратибора. Подбежав к быку почти вплотную, воевода свистнул и хлопнул в ладоши. Тур ответил точным и смертным ударом рогов. Но Всеслав успел высоко прыгнуть. Мелькнув над рогами, воевода хватил быка кулаком по гулкому боку. Тур хотел повернуться. Всеслав, опередив, схватил его за заднюю ногу, дернул. Грузная туша мускулов и костей рухнула наземь.

Перекатившись на спину, тур бешено ударил задними ногами. Всеслав отскочил, внимательный и спокойный. Бык перевалился на брюхо, оперся, прянул. С сизых губ текла слюна. Тур ревел не так, как до сих пор. Оскорбленный, он кричал об убийстве. Услышав такой рев и далеко в поле, каждый невольно оглядывался, выбирая убежище.

Двуногий опять перед ним! Обидчик или другой, тур не различал более. Нагнув голову, он ударил не целясь. Достать рогом или каменным лбом – все равно.

Ратибор не уклонился от удара. Он обеими руками уперся в лоб и, помогая себе размахом турьей головы, перевернулся над спиной быка и встал на ноги сзади.

Пусто перед туром. Все изменило от гнева: и нюх, и глаза, и быстрая сила. И опять перед ним двуногие, опять он бьет – все напрасно.

Коноводы, зная, что пешие товарищи не пустят к ним быка, с восторгом следили за игрой.

Товарищи кажутся им топкими и хлипкими рядом с быком. Бык мечется, мечутся люди. Тур ищет, кого ударить, люди не ждут, рога бьют мимо, мимо, опять мимо! Вот достанет? Нет, Всеслав ловит быка за хвост, рвет назад, вбок.

Ратибор повторяет свой прыжок, но иначе. С разбегу ударив ногой в бычий бок, он летит через него, как камень из пращи. Всеслав пригнулся. Ратибор пролетел над ним, а воевода прыгнул верхом на тура, оседлав, сжал ногами. Бык заметался под непонятным грузом.

Лошадь, если волк вскочит ей на спину, умеет упасть, подмять зверя. Тур не знал лошадиной науки. Он прыгал, взбрасывая перед, подкидывая зад. Слабые, неумелые попытки избавиться от человека, который может сжатием ног сломать лошадиные ребра. Чувствуя страшное давление, тур остановился и закинул голову, пробуя достать рогом спину. На него набросились со всех сторон, тянули за хвост, хватили за рога. Могучим движением шеи тур освободил голову. Сейчас он наконец-то ударит, убьет!

И вдруг все кончилось. Новый слобожанин, держа в обеих руках гибкие прутья, вмешался в игру. Он сечет быка по глазам. Тур сжимает веки, отмахивается вслепую, но прутья бьют, бьют. Бык пятится, издавая уже жалобный рев. Он забыл о человеке, оседлавшем его, не чувствует, что тянут за хвост. Он ослеп.

Так никогда не бывало. В густом мраке ночной степи, в крошечной мгле лесных пущ глаза все же видят. Под градом мелких ударов тур еще сильнее сжимает веки. Хочет открыть глаза и не может. Впервые его ноздри полны запаха человека, впервые уши слышат голос человека, а навсегда этот запах и эти звуки будут соединены с воспоминаниями о слепоте.

Бык отступал, побежденный. Так мальчишка-пастушонок смиряет взбесившегося домашнего быка, так

смирился и тур. В его реве звучала жалоба на бедствие тьмы, вызванное всемогуществом двуногих. Как человек, так и тур не знал своего часа, не знал, что решалось: жить ему или пасть. Крук захотел не игры, а боя. Один на один, и меч против рогов. Другие возражали: тур заплатил свое игрой, он устал. Воевода решил, что мяса ныне взяли довольно.

Коноводы подали лошадей спешившимся товарищам. Последним прыгнул в седло слобожанин, бросивший наземь измочаленные прутья.

Тур открыл глаза. Вон там стоит кучка всадников. Если он бросится, через полсотни прыжков он сможет напасть.

Росские верили: Сварог заботится о живых и о мертвых, навьи помогают своим, роданицы голубят новорожденных, но свой путь и свою долю выбирает человек сам, своей волей. Так пусть и тур выбирает. Нападет – его встретит меч в честном единоборстве. Уйдет – пусть идет с миром. Боевая игра сблизила людей и зверя. Он казался не таким, как остальные туры.

Он стоял, думал, свесив тяжелую голову. Широколобый – между рогами добрых две с половиной пяди – можно сесть. Тяжелый подгрудок доставал до низкой травы. Спина казалась горбатой, так круто падал острый хребет к узкому крупу. От горячего тела быка шел пар.

Нет, ему довольно. Будто не видя людей, тур повернул на полудень, где верстах в десяти, может быть и ближе, среди редких дубов и бугров, паслись его родовичи. Они ничего не знали, не испытывали ужаса ослепления. Тур пошел к ним.

Вслед ему слобожане погнали нескольких телят, малых, пощаженных в бойне. Тур не обернулся на людской свист и гиканье. Увидев быка, телята сами припустились к нему. Похожий на матку, окруженную приплодом, тур, перевалив через гриву, исчез.

Добычу разделявали на месте, сдирая теплую шкуру. Туши грузились на телеги, к запасным постромкам припрягали верховых лошадей. Иначе не увезешь добычу и по гладкому, как избяной пол, лугу.

4

И лето давно умерло, и осень ушла незаметно. Со дней осеннего солнцестояния идет третья луна, и Морена-зима легла во всей своей стылой мертвости. То снег, то дождь ледяной упадет еще холоднее снега.

Голы буки, вязы, липы, осокори, ольха. Кустарники торчат метлистым прутьями. По черной коре сочатся токи холодной воды. Возьметса мороз, и деревья одеваются льдом, в хрупких ветках разбойно свистит полуночный ветер.

А потянет с полудня,и,как из бани, закрывая небо от края до края, паром накатываются низкие облака, цепляются за деревья, сползают на землю. Становится тихо, и голос глохнет в тумане. В слободском дворе стоишь будто в поле, близких изб не видать, не видно и сторожевой вышки.

Зимой вышка бесполезна и служит случайным притоном для вороватых ворон и обнаглевших сорок. Если кто и заберется наверх, цепляясь озябшими пальцами за осклизлые ступени лестницы, что он увидит сверху! Разве придется заметить ему невеселое зимнее диво, как наползает по русской низине низкое облако, гонимое ленивым ветром. Оно движется, утопляя деревья, наполняя овраги. Застелив всю округу, облако подплывет к слободе, перельется через тын. Утонули крыши низких изб, нет ничего. Подобие воды, слабо и мягко волнуясь, затопило весь мир. Остался ты на вышке один. Вправо еще струится сквозь дым острая голова каменного бога. И она нырнула. Лишь вдали черными островами маячит на буграх верха сосновых рощ. Утомленный неизвестно чем слобожанин лезет вниз.

В дубравах упрямые дубы никак не хотят полностью расстаться с летней одеждой. Здесь ветру отвечает железный шорох коричневых листьев. Внизу роются кабаньи стада, кормясь желудями, лакомясь корешками, сочными и зимой.

А образ Сварога смотрит не отрываясь в степь. Неизменный Сварог зимой виден яснее, пока в мороз не покроется его лик ледяной личиной.

В заводях Рось-реки, в озерах и в болотинах, полувисохших за лето, прибывает вода от дождей и талых снегов. Повсюду в мертвых желто-серых камышах проломаны кабаньи тропы, везде натоптано острыми копытами. Белые корки камышей сладки не только для зверя, но и для человека.

В слободе подростки ворочают мечами тупыми, чтобы по первой неловкости не порубить товарища до увечья. Спрятав левую руку под щит, машут тяжелыми еще для них клинками. Еще и еще. Удар, отбив... Удар, отбив... Стучат щиты, лязгает железо. На теле синяки, темные пятна от побоин. Пусть. Молодые меньше будут бояться железа.

Светлеет день – идут стрелять. В безопасное от набегов зимнее время легкая шестовая лестница заменена наклонными пластинами с тесовыми ступенями.

Вперемежку бегают с заплечными мешками, набитыми песком. Земля скользкая, снег или грязь. Беги! Чем труднее, тем лучше обучится воин.

Мечут копья и в одиночку и рядами. Каждый должен попасть в свою цель. Кидают арканы, ловят петлей друг дружку, развивают силу ног камнем. Летом молодой слобожанин, сев верхом, дивится своей новой, великой силой. Зимой верхом почти не ездят, сберегая коней. Слободской табун велик – в нем более четырехсот голов без жеребят. Все живое тощат зимой на скудном подножном корму. В табуне овес и ячмень задают только жеребым маткам.

Вечерами, теснясь у закопченных очагов, слобожане едят жадно и много. С насыщением приходит истома. На низких полатях, на мягких медвежьих, козьих, овечьих, лисьих, волчьих шкурах тепло и вольготно. Продух над очагом закрыт на ночь для тепла, пахнет дымом, жареным и вареным мясом, мокрой шерстью от одежды, навешанной для просушки. Снаружи слышен ветер, дождь шумит на пологой крыше. Кто-либо из старших, из умелых в речах, начинает рассказ. Передает, что сам слышал, добавит, если сам видел. Уже темно, зги не видать, слова льются и льются.

– Отсюдава идти челном вниз по Рось-реке, так до устья, где наша река в Днепр втекает, будет верст за шестьдесят. На груженом даже челне да ладье можно за день проплыть. Назад же, против течения, плыть будет дольше, и грести нужно сильно и шестами толкаться.

Сама Рось не прямо течет. Вскоре от нас она дает колено верст на двадцать длиной и все на север да на север. А от конца того колена и до Днепра рукой подать. Против нашей реки на Днепре большой остров песчаный да высокий, его полая вода никогда не топит. Звать его Торжок-остров, на нем-то и стоит издавна весенний торг с купцами.

Кто же того не знает! А слушать хорошо. Слушают.

– В Рось-реке вода прозрачная, черноватая. В Днепр-реке вода мутная, желтоватая. Приняв Рось-реку, Днепр-река течет будто бы верст триста между востоком и полуднем. Островов много. И что ниже, то больше воды в Днепре. Он слева в себя принимает много рек. Главные из них будут Супой, Сула, Ворскла да Орель. И все-то реки большие, каждая больше Рось-реки. А по правой стороне, по нашей, рек нет и нет на все триста верст. Потому – степь воду плохо родит, в ней роци, да ручьи, да ручьишки... По левому же берегу леса и леса. Чем далее к востоку и северу, тем они гуще. Дорог там нет никаких посуху, по воде лишь. И левый берег Днепра низкий, по берегу поймы заливные в болотах и озерах. Ни пешему, ни конному там нет никакого пути. Мягким берегом – топь, твердым – крепь лесная...

Вот и ходят степные люди правым берегом к нам на Рось-реку, другой из степи к нашей земле нет дороги...

Этот Днепр-река, который течет на триста верст меж востоком и севером, кончается большим озером-разливом. Верст на двадцать пять то озеро-ильмень разливается, чтобы Днепр сошелся с многоводной Самарь-рекой.

От Самарьского ильменя Днепр поворачивает прямо на полудень. Верст через семьдесят набегает на остров лесистый. И тут его спирают каменные берега. Со дна торчат большие, величиной с избу и более, камни, и поперек стоят каменные стены-заборы. Течение такое, что ни один пловец не одолеет, ни одни гребцы не пошлют челн против него. Весной камни-пороги покрываются водой, в узости можно пройти. И подняться и спуститься можно. А летом да осенью челны вытаскивают на землю и волокут волоком десять верст. Здесь-то степняки и нападают на проезжих.

После узости Днепр еще шире становится, на нем остров большой, лесистый Хортица, а по левому берегу заводь верст на сорок, в заводи камыши, как лес. То устье Конь-реки разделяется несчитанными руслами, как в болоте. Место дурное, им не идут ночью, а только днем и держатся правого берега. Отсюда Днепр течет на закат. И между закатом и полуднем верст на шестьдесят. Правый берег низкий, острова большие, и Базавлук-река тут впадает через большие болота. После еще верст сто тридцать плыть до устья Ингулец-реки. Днепр здесь широкий, и пять и шесть верст, и островов много. А дна не то что шестом, не достанешь и камнем на длинном аркане. Между островами дорогу нужно знать, струя путь не покажет. Тут Днепр идет тихо. После – Днепр-Конец. То разлив перед Морем, шириной верст на пятнадцать, и там справа Буг-река входит. От нее верст через двадцать Конец сужается верст до семи. И уже Море видно. Что

за Море? В Конце вода сладкая, пить можно. Ближе к Морю вода горчает. В Море вода горькая. Пить нельзя. Жажды не утолишь, а ума лишишься.

Там есть каменный город с каменными же стенами. Ромейский город, зовут его Карикинтия. Есть там еще город Ольвия. Ромеи живут по берегу моря, по-ихнему Море – Понт Евксинос. Много ромеев живет в крепких городах по Морю, есть там Корсунь-город, Пантикапея, Фанагория. Обитают они только по Морю да по речным устьям, далеко внутрь земли никуда не уходят. Кто в тех городах живет, тот ромейского закона слушается. А около городов живут разных языков разные люди...

...А на восток да на север от Рось-реки и Днепра живут люди нашего языка – вятичи. А по сю сторону Днепра живут тоже люди нашего языка. Зовутся по своим родам они каничи, илвичи, россавичи, ростовичи, хвастичи, ирпичи и много-много других...

Все мы люди одного языка славянского, Дажбожьи внуки, пошли от древнейших родных братьев Славена, Скифа, от Росса, вечно мы здесь жили, и здесь мы зародились от века...

Гаснет голос рассказчика. Далекий вой нарушает покой ночи. Оборотень ли бродит? Или души своих или чужих, чьи тела остались без погребенья, печалются своей жалкой доле?

Со стоном и свистом рвется с холодных небесных полей злой ветер, бьется о мерзлую землю. Спит слобода.

Дни похожи один на другой. Вечером вновь журчит рассказ:

– Воин-ромей в бой идет с грудью, с ногами в чешуе кованой, в железных или медных латах-доспехах. Колчан носит на правом боку, меч – на левом. Ромейский меч короче русского, зато прочен, на конце широк, к рукояти уже, чтобы удар тяжелее был, колет он или рубит, все одно. Копья у ромеев короткие, в рост человека, мечут хорошо. Стрелки же плохие и тетиву не могут тянуть туго.

Женщин ромеи не чтят, и ходят те, как заморенные лошади: в работе они безысходной. Идет куда, на спине тащит ребенка, или хворост, или другой груз, руки же заняты: вяжет. Но есть и красавицы, стройные, как кленок молодой, волосом разные, русые, красноволосые. Есть и черные, глаза – угли, тело же белое, как лебедя пух... Много, много у ромеев ярого золота, серебра звонкого, меди красной и желтой. Вина их сладкие из винограда-ягоды. Не сочтешь камней-самоцветов, одежды красивой, оружия, утвари. Кто ромеев бил, тот добычи унести не мог...

В низких приморских степях еще есть хунны, силы в них былой уже нет совсем. Хазары же живут и ходят со стадами на восток от Днепра. Их земля степная на много дней пути будет. За ними к югу живут аланы, ясы, косоги. От них на восток и на полудень стоят горы крутые, высокие. Горы поросли непролазным колючим лесом и подходят прямо к морю. Такие там обрывы, что если человек упадет, умрет в воздухе ранее, чем разобьется о морской бережок. По горам есть тайные тропы. Кто их не знает, тот, забредя в горы, навек остается. Ромеи по морю ходят, в горы не поднимаются. Пути через горы сто дней и еще сто дней. Кто из слобожан видал горы? Нет таких. Как урок, повторяет рассказчик науку о мире, заученную с голоса других таких же.

– За горами живут персы. Молятся они огню неугасимому да двум богам, черному и белому, ночному и дневному. У их богов равная сила. Белый – добрый к человеку, черный – злой. Мертвых они не сжигают, а бросают тела в высокие пустые башни на растерзание хищным птицам. У персов нет князей, а есть один князь-хан великий, им он бывает от отца к сыну или кто сам власть захватит силой через войско. От века персы воюют с ромеями и ромеи – с персами. Не те ромеи, что живут у Днепра по Морю, другие. Ромейская земля лежит за Морем. Поморские ромеи оттуда выходцы. Если от Днепра-Конца идти на запад

берегом Моря, через верст двести будет большая река Днестр, оттуда берег Моря поворачивает на юг, и через триста верст будет Дунай-река, больше всех рек, какие есть на свете, больше Днепра. По краю Моря Конец Дунайский на двести верст. По берегу нет пути, болота и многие устья. Нужно обойти на твердую землю верст на двести тоже и переправиться через Прут-реку. От нее на полдень же будет Серет-река. От той реки еще верст более трехсот идут на юг и тогда лишь переплывают Дунай. И по Днестру и после живут владельцы уголичи, тиверцы, вязунтичи с речью для россичей понятной. За Дунаем же все языки во власти ромеев. После Дуная берег Моря поворачивает на восток. Там длинная стена каменная, ее охраняет войско. На один день пути от стены стоит великий град Византия. Там живет князь всех ромеев, он зовется базилевс – император романорум. Ромеи богаче всех языков. Если на войне не могут победить, то откупаются золотом и дорогими товарами. Войско они посылают большое: и двадцать тысяч воинов, и сто тысяч. Служат у них воины за жалованье и за добычу. В земле ромеев много каменных городов.

Все было понятно, и пути по земле, и воинская сила, и разные языки. Но как передать, чтобы слобожане узрели стены, сложенные из тесаного камня во много локтей высоты! Никто из россичей не видал иных строений, кроме бревенчатых изб и тына, не видал иных строений, и рассказчик, но, увлеченный невиданным, продолжает:

– Дома из белого камня у ромеев. Внутри двор, камнем мощный, тенистый. Там вода бьет струей вверх и освежает дневной зной. Высокие храмы, согласозвучное пенье. Площади, яркие ткани и вещи, которые неизвестно зачем сделаны. Сосуды из прозрачного, как вода, стекла. И статуи, мужчины, женщины, каменно-твердые, а видом такие живые, что тело богини вводит в соблазн...

Утомляется внимание. Необычная работа ума действует, будто снотворное снадобье.

Сон наполняется видениями. Спящий пробуждается не то с криком испуга, не то желанием. Он сам не знает.

В утренних просонках слобожанин помнит, как его душа, вспорхнув, поднялась над землей. И он, такой же, как въявь, летел высоко. Без крыльев, скрестив руки, сжав ноги, он одной волей мчал себя быстрее ястреба, который преследует голубя в невидимой громаде воздушных волн.

Внизу, далеко, ему виделось сверканье рек на зелени степей. Невыразимо, как стена, возвышалось лазоревое чудо Теплых морей, не давая прохода в белокаменный город. Теснилась грудь, и он видел себя будто со стороны и боялся: упадет. И не падал. И более не страшился полета.

Поднимался выше, восхищенный видением безбрежности света. Он за Морем. Пора опуститься и овладеть великим городом. Но тянет и тянет невидимая ниточка, привязанная к оставленному телу. Он скользит вниз. Движения замедленны, он тяжелеет. И вдруг – страшное падение с высокой горы, беспомыслие. Удар! Он слышит голоса товарищей. В открытую дверь льется мороз. Пора встать и браться за воинскую науку. А вечером снова:

– Скажи, что за люди ромеи?

Поняв смысл вопроса, рассказчик собирает слова. С трудом.

– Из людей всех жесточе они: таковы по породе и от ихнего бога... Не сами, а рабами купленными да взятыми с боя землю пашут... Ремесленничают не сами, а рабами же. В наказание своих и рабов терзают железом, огнем жгут до смерти... Речью лживы: не один язык у ромея – десять... Почему такие? Жадны они, несытые от века. От жадности и богаты: себя не любя, все по золоту томятся.

Не верится, нет, поверить нельзя. Спрашивают.

– Чего ж рабы не убегут? Чего ж сами ромеи не разбегутся?

Того и рассказчик не понимает. И отвечает попросту:

– Некуда им убежать...

5

В первой половине мглистого дня четверо всадников пробирались округ полян на север от Рось-реки. После зимнего солнцеворота миновала вторая луна. Постылая всему живому Морена-зима дотягивала последние скупые деньки.

Кончалась зима, обычная для приросских мест, с нечастыми морозными днями, со снежными бурями, вдруг сменявшими пасмурную хмурость дымных туманов и серых дождей. В лесах еще лежали низенькие кучи ноздреватого снега, грязного от опавших чешуек коры, до земли пробитого тропками звериных следов. На распаханых полянах мертвые корни стерни и слабые корешки озимых ничуть не держали разбухшую землю, казавшуюся угольно-черной. Нога глубоко вязла в земле. Так и пробирались всадники – кружась по дерновым опушкам.

Росские уголья повсюду прерывались сплошным лесом, сбереженным от порубок. Лес сводили с умной опаской: не продолжить бы степную дорогу. Дикий, пугающий вид имели грозные валы лесных засек, непроходимые и для человека, не только что для степного коня. Деревья валились с расчетом, вершины ершились во все стороны – сразу не растащишь, не прорубишь. Четверо всадников делали объезды, колесили, чтоб добраться до скрытых мест, где в засеках находились хитрые проходы. Через лазейки можно было пробраться, спешившись, ведя коня в поводу. Только привычка укладывать в голове паутины кривых путей, привычка помнить мельчайшие приметы родных мест позволяла россичам находить нужную дорогу. Чужак же, сколько ему ни рассказывай, безнадежно бился бы, как муха в паутине, об извилистые засеки, блуждал бы среди деревьев и вязнул в ручьях, закрытых зарослями маличника, калины, смородины, орешника, колючей боярки.

Всадники встречали стада, пасшиеся на скудных остатках мертвых трав по опушкам лесов и в самих лесах. К концу зимнего времени пилой заострились хребты, обручами вылезли ребра. Быки, укрощенные голодом, стали смиренны, как волы. В росских стадах много турьей крови – в зимнюю бескормицу домашняя скотина, обрастая клочьями сизой шерсти, принимает дикий, тревожный вид. При виде всадников медлительно поворачивались большерогие серые головы, осмысленно смотрели прекрасные глаза. Будто бы помощь дадут новые люди...

Приедено сено в стожках, ставленных в зиму. Избранных стельных коров взяли в хлева. Быки, волы, холостой молодец пусть пробавляются сами. Сильный телом и умом выживет, слабый да тугоумный пропадет.

Пешие, в шапках мехом вверх, в длинных плащах, вывернутых от дождя, пастухи сами были похожи на сильных и страшных зверей. Луки, колчаны и мечи растопыривали плащи, копья торчали, будто длинные бивни единорогов. При виде всадников пастухи поворачивались еще медленнее, чем коровы. Иной лениво махнет рукой: у слободских-то кони еще ходят под верхом.

На опушке небольшой распаханной поляны слобожане остановились. За жердевой оградой стоял рубленый домишко, из сеней которого, коротко взлаяв, как по зверю, выскочили два пса русской породы. Косматые защитники, грозно ошестинив хребты, уставились на чужих. За псами из темных, как жерло очага, сеней выставились руки, державшие туго напряженный лук. Потом показался и лучник, готовый спустить тетиву. Увидев людей, человек ослабил тетиву и ловко подхватил тяжелую стрелу. Одет он был в узкую рубаху из выделанной кожи, шитую хазарским покроем, и в хазарские штаны. Шагая босыми ногами по шишкам застылой земли, как по ровному полу, хозяин подошел к ограде.

– Здравствуй, князь, – назвал он Всеслава не принадлежащим воеводе титулом. – Обознался я, будто зверь подошел. Они, – пошутил человек, кивнув на псов, – на тебя голос дали, как на медведя. То к добру.

Удача тебе будет.

Прискучив теснотой градской жизни под началом князь-старшин, иной россич, илвич, канич уходил на вольную жизнь. Трещину стала давать крепкая жизнь в крепких родах. Земель хватало. Забрав своих, выходец устраивался на свободном угодье. В отличие от изгнанников за преступление закона добровольно покидавшие род назывались извергами от родовичей. Извергу приходится только на себя рассчитывать, слабому легче за род держаться. Из сильных был и Неугода, у дома которого остановился Всеслав. Умелый добытчик руды из болот и знатный кузнец, Неугода доводился родовичем воеводе. Из рода он ушел весен пятнадцать тому назад, по ссоре с Горобоем.

– Готово ли? – спросил воевода мастера.

– У меня готово всегда, – ответил Неугода. – Сейчас возьмешь или пришлешь?

Неугода по сравнению с другими росскими умельцами отлично умел выделывать жесткое уклад-железо. Полагаясь на искусство слобожан в стрельбе, Всеслав копил и копил стрелы. Лучшими насадками считались изготовленные Неугодой. За работу слобода расплачивалась по условию. Давались крупы, зерно, которое воевода отрывал из получаемых на кормление слобожан. Взяв на побитых хазарах много мягкой рухляди, Всеслав снабдил Неугоду одеждой.

Изверги держались слободы. Теснимый каким-либо князем, изверг решался просить заступы у воеводы. Как и родовичи, изверги посылали сыновей в слободу. Всеслав принимал.

– Погостить едешь? К богам да старшим собрался? – спросил Неугода.

Всеслав кивнул. Изверг положил на колено всадника черную от угля и железа не руку – лапу медвежью и, глядя снизу, сказал:

– Меч ты наточил, стрелы наострил. Чего ж тебе! Перун за тебя. Дерзай, князь!

Одолев последнюю нескитанную засеку, всадники выбрались на круглую поляну. Деревья обрамляли место ровной стеной, сразу обличая руку человека. Поперечник поляны был шагов в триста. Травы здесь росли сильно, как в местах, где не косят и не пасут скот.

На западном краю поляны поднимался холм, круто и полумесяцем срезанный с восточной своей стороны, открытой к поляне. К срезу холма был пристроен неширокий навес, опирающийся спереди на бревенчатые столбы. Дерновая кровля, продолжая темя холма, срослась с ним, и засохшие стебли трав свешивались с нее, как мертвые волосы. Внутри стояли низкие скамьи и были устроены очаги. Кое-где лежали небольшие поленницы сухих дров, заготовленных с осени последними посетителями погоста.

Этот особенный дом, без передней стены, узкий и длинный, изогнутый, как бы ушедший под холм, годился людям только как временный приют, ибо люди здесь не хозяева, а лишь гости. Потому-то и назывались священные места славян, устроенные у всех племен по одному образцу, погостами. Хозяева же и владыки здесь – боги, общие всем людям славянского языка на Роси и к северу от нее, по всему Днепру.

Повелители славянской небесной тверди стояли полукружием, спиной к холму и лицом на восток. Они не хотят тесноты, им не нужны крыши, они любят вольный воздух. В середине – Сварог-Дажбог высотой в три сажени, рядом с ним – Хорс. По правой их руке – семь навых – пращуров славянских, по левой – семь женщин – прабабок. То радуницы-роданицы, боги-души виды, лесов, легкого воздуха.

Все боги глядят на восход солнца, и все они добрые, злых среди них нет и не бывало. Не только глазами – россич видит каждый образ своих богов внутренним оком. Боги россичей добры и дивно-прекрасны. Мастера, творившие видимый облик богов, умели найти тайну красоты, свойственную одним

россичам.

Слобожане спешились, каждый поклонился богам, как кланялся отцу, матери, князю, – низко-низко, доставая пальцами правой руки матушку-землю, которая знает правду человеческого сердца.

Из уважения к погосту воины тихим шагом провели коней краем, к нижнему концу навеса, где была коновязь. Конь – чист, его гощенье на погосте вместе с людьми не противно богам.

Зимами россичи навещали погост лишь по особым, как сегодня, случаям. Зимний солнцеворот праздновался каждым родом отдельно в своем граде. Бури намели снег, который, подбившись в затишные места, лежал зернистыми полосами там, куда не доставало солнце. В черных, голых вершинах буков, вязов и лип свистел ветер и, завихряясь на поляне, гнул высокие былья.

Всеславу боги были немыми, но внимательными друзьями. Он знал: ни Сварог, ни Хорс, ни навьи не могли сказать ему слова, не могли сдвинуться с места. Да и не нужно это было. Обитатели погоста зримо обозначали душу славянского языка. Они, говоря с совестью русского воеводы, связывали его душу с его делом и были ему нужны, как впоследствии знамя стало нужным бойцу.

Не мешая задумавшемуся воеводе, его провожатые устроили в ближнем очаге костерок, вырубил огонь. Дым, помедлив, метнулся вправо, влево, как человек, не знающий выхода. Потом потянул под кровлю, заструился наружу и вверх, срываемый ветром с края дерновой крыши.

Пахнуло родным запахом дома. Очаг с его запахом, с теплом, с верхом, черным от копоти, был священен для россича, в нем совершалась добрая тайна огня. Когда очаг накалится, а внизу накопятся пыльные уголья, хорошо жарить вкусное мясо. Любо слышать ворчанье котла с варевом. Лепешки и хлебы испечет умелая рука в золе. А потом под пеплом дремлющий огонь будет ждать всю долгую ночь, пока на рассвете его не растормошит дыхание меха в руках хозяйки.

Ратибор лег перед очагом. Хорошо лежать перед огненным челом печи, любясь изменчиво-дивным трепетаньем огней. Скоро голова Ратибора опустилась на руки. Побежали, поскакали человечки, пешие и конные. Запрыгали маленькие огненные зверьки. И текли и вились живой речкой по ведовскому челу очага. Знакомо все. Так в детстве совершались огненные чудеса, так вершатся они и сейчас равно и для тяжелого, могучего телом, твердого душой Крука, и для не менее мощного телом и тонкого душой Ратибора. А поймать бы человечков, наловить бы зверьков или лучше пуститься вместе с ними светлыми тропами огней, полететь, не чувствуя тела. И уже совершается такое легкое, такое простое усилие рук, ног – происходит само. Не забыть бы, как летают... И рвется завеса между сном и явью, нет ни огня, ни живущих в нем человечков.

Щерб набрал охапку сырого былья, бросил в очаг. Сгустился и почернел дым. Напрасный труд, казалось бы. Ветер прибьет и развеет дым, едва он дойдет до верхушек деревьев. Обычай же тверд: первый, кто прибыл на погост, обязан пустить дым, чтобы знали – в святилище есть люди. Растянувшись, Щерб сразу заснул рядом с товарищами.

Кони понуро дремали на привязи, забыв погрызть жердь коновязи. Всеслав сидел на брошенном близ очага седле. Скрестив ноги, воевода смотрел, не видя, на черные от дождя спины богов.

«Одной речью говорят все славяне, – думал Всеслав – живет одним обычаем весь славянский язык от Роси до Припяти и далее – до самого Холодного моря. Что же тогда есть род, в чем же тогда родовая особенность, к чему она? Среди россичей семь родов ведут себя от семи братьев, а три, будучи во всем россичи, своим предком называют Скифа. Живут же вместе с россичами, не с каничами, хотя каничи все называют себя скифами. А есть ли между россичами и каничами, между всеми разнозванными племенами

Поросья хоть в чем малая разница? Нет. Так для чего одни от других отделяются? Повсеместно уходят изверги, разрывая родство. Роды же между собой ссорятся за покосы в общей для всего племени пойме Роси. У кого много девок, хотят к себе зятей брать. У кого мало девок – просят большой выкуп. В чем залог русской общности?» – спрашивал себя Всеслав, укрепляя разум к встрече с князь-старшинами. И отвечал: «В слободе лишь. Лишь в братстве мужчин всех десяти родов. Из слободы идет связь через старых побратимов, давших клятву Черному Перуну русских воинов...»

Истлела дымная трава в очаге, от громады рдеющих углей дышит жар. Темное лицо князя кажется железным. Спящие слобожане грезят, как малые дети. Молодым все известно, все просто.

Блюдя честь-достоинство рода, каждый князь-старшина не первым хотел прибыть на погост для суждения о деле общем, обдуманно медлил против условного часа. Но день-то один для всех, еще ночи дождешься. Так все сочли свои пути, что к погосту вышли чуть ли не все десять сразу.

Все же первым приехал друг Всеслава, Колот, – верхом и один. Конными и тоже без провожатых явились Дубун и Чамота. И тот и другой князь-старшины возраста хоть и зрелого, лет под пятьдесят, но свежи, сильны. И эти – друзья. Будучи слобожанами, они перед Черным Перуном скрепляли побратимство. Всеслав знает их мысли, они ведают желания воеводы.

Отдавая предпочтение опыту долгой жизни, русичи не всегда избирали стариков для управления родом. Будет все ладно, и Колот, как Дубун с Чамотой, состарятся не в ряду, а в княжестве.

Прибывали к погосту и старцы. Утомленного старика Келагаста провожатые сняли с коня и под руки провели к месту. Отец Всеслава, Горобой, сам слез с коня, но пошел, раскорячив натруженные ездой ноги. На телегах бы ездить старцам, но по зимнему бездорожью нет хода на колесах.

Поэтому зло глядел Велимудр, все кости которого ныли. Беляй и Могута скрывали досаду, а Тиудемир ворчал, жалуясь на беспокойство: подождать не могли, пока не подсохнет земля, долго ли ждать-то?.. Плавик же досадливо щурился, пряча глаза под седыми кустами бровей.

Старики... Они уже преодолели боязнь земного, быстротечного бытия. Любовь к жизни гасла: жила вызванная этой любовью вера в бессмертие духа.

«А ведь ни один не уступит княжество младшему, сильному телом, бодрому духом, – думал Всеслав. – Много знаний у старости, кто ж оспорит право старейшего? Разума много, но разум тот сух, как подсеченное дерево. Обычаем, памятью держится русское племя. Новому же нет места в обычае».

Князь-старшины подходили, кланялись друг другу в пояс. Каждый брался обеими руками за горячий свод очага в знак почтения к огню-сварожичу. Все вместе князья приблизились к богам. Перед Сварогом положили на землю оружие: княжеские секиры-чеканы на роговых рукоятках, насеченных золотом и серебром. Провожатые стеснились сзади князей. Келагаст, чей род считался от старшего из семи братьев, прочел молитву к Сварогу. Без клятв, без словесных украшений, не обижая бога возвеличиванием, не оскорбляя себя унижением, Келагаст говорил Сварогу о вечной дружбе тверди земной и тверди небесной. Напомнил о душах предков, общающихся с богами на русском небе.

По праву стариков, которым уже видна граница земного бытия, Келагаст говорил Сварогу о скорой с ним встрече в заоблачной жизни. Просил же Сварога лишь об одном: чтобы он вместе с другими богами побыл на погосте, где нынче собрались князья в заботе о русском племени.

Едва Келагаст кончил, как его провожатые прибежали с головнями из очага. Келагасту подали белого петуха, ноги и крылья которого были связаны мочалом. Острым ножом Келагаст снес голову замершей

птице. Окропив петушиной кровью ноги Сварога, старик бросил в огонь жертву. Затаив дыхание все вслушались. И Колот уверенно сказал:

– Я слышу, слышу!

И другим послышался в шуме ветра новый звук, будто вдали громыхнуло. Сварог принял жертву.

Князья расселись вблизи очага по старшинству родов. Выше всех, то есть против чела печи, дали место Келагасту, справа от него – Горобю, род которого считался от второго брата. Третьим сел Велимудр. Тиудемир, Чамота и Могута оказались в конце – их роды вышли от Скифа. По левой руке Келагаста сидел Всеслав, в знак подчинения слободы общей воле всех десяти князь-старшин.

Местами на погосте и больше ничем не считались между собой росские роды. Собраться же для общего дела племени не на погосте не согласился бы ни один.

«Власть...» – думал Всеслав. Трое его слобожан наблюдали издали. Нельзя спать при старейших во время совета. И Крук, и Щерб, и Ратибор равно знают намерения своего князь-воеводы.

Князь-старшины величественно-спокойны. Лица стариков темно-коричневые и зимой: старая кожа навечно выделана солнцем и ветром. Усы цвета мокрого снега опускаются на грудь. Волосы на голове подрезаны прямо, и под концами прядей видны шеи, худые, иссеченные оврагами морщин. Пальцы как корни.

«Кого боги любят, тот умирает молодым», – вспоминает Всеслав присловье ромеев. Не о долгих годах жизни лукавоумные ромеи сложили присловье. Ветхость души, сумерки разума, темнота сердца – вот настоящая старость.

Взор Келагаста светел, разумен. Всеслав знает, что и Горобой поймет воеводу не одной привязанностью отца к сыну.

6

Молодым не положено судить о больших делах, молодые ждут поодаль, не слышат речей старшин. Тленные образы нетленных богов-покровителей терпеливо стоят на погосте.

– Вся на нас да на нас ложится тягота из Степи. Думайте, князь! Не удержит слобода, гибель будет россичам. А задних, гляди-ка, насытившись нами, степняк и не тронет.

Всеслав бередит, твердит свое. Для того и слобода, чтобы не пускать степняков. Ведь не изменишь ничего. Так было, так будет. Не бросать же изначальные вотчины да лезть на глухой левый берег Днепра. Верно, там степные не ходят. Там от разлива-озера днепровского, от Конского луга дремучие леса, в лесах большие реки, во много раз полноводнее Роси. От Конского луга – Самарь, через полдня – Ворскла, через день – Псел, потом Сула, Супой. А между реками топи, болота, калуги мочливые. Хоуда там нет. Путь с юга на север идет между Ингульцом и Ингулом. Здесь ручьи с хорошими бродами помогают водопоями, лесных чащоб нет, тут можно проехать телегами на высоких колесах. Дорога из степи выходит напрямиком к россичам, на слободу.

На княжеских съездах не принято перебивать. Говори сколько хочешь. Зато и не жалуйся, коль неудачное слово тебе же прямо в окно вернут, как стрелу. Терпеливы слушатели Всеслава. Не зря, думать надо, ныне воевода напоминает общеизвестное. Куда привести хочет он?

Левее россичей живут каничи. Их поляны с юга граничатся Росью, с востока – Днепром, с запада – землей россавичей. Людьюми каничи почти вдвое слабее россичей. Правее по Роси до реки Ростовицы живут илвичи. Они числом сильны, в их племени двадцать три рода против россских десяти. Воинского же порядка у илвичей мало, слобода у них слабая. Не к чему им держать много слобожан. Против илвичей Рось течет болотисто, тот берег густо лесом зарос, в лесу овраги, горы, кручи. Там ход только охотнику, да и тот измучается. Ведя коня под вьюком в руках, он едва продерется от полянки к полянке. Там ручьи в ставленых бобрами запрудах и летом пухнут в разливах.

Илвичи живут, как за стеной. Для них степняки станут опасны, лишь когда сомнут россичей, не ранее. О задних же племенах росского языка и говорить нечего. До самой Припяти они слободки держат скорее для раздоров, чем для общей обороны от Степи.

Слова воеводы будят тревогу. Велимудр поправляется на месте, чешет усы коггистыми пальцами. В памяти шевелятся образы, будят желанья, такие же неясные, как образы. Будто бы он сам когда-то о чем-то мечтал. Как женщина, которая ищет конец запутанной нити, старик ловит непослушную мысль. Ветер не достает под навес, в затишке пахнет горячими камнями очага. Келагаст внимательно слушает, забывая усталость, накопленную долгими годами. Давно уж он без страха и сожаления думает о дне, когда проснется в иной жизни. Старику хочется покоя. Но пока человек жив, он должен трудиться.

Не полагаясь на память, Всеслав разворачивает узкий свиточек кожи-пергамента и читает: взрослых мужчин у илвичей двенадцать сотен и сорок три человека, у каничей же – пять сотен и семьдесят восемь человек. «Смотри-ка, – соображают князь, – всех счел воевода. Посылал считать, думать надо...»

Князь-старшина Дубун сказал:

– Стало быть, илвичи будут сильнее числом и нас и каничей.

– Зато у них слобода мала, у них и слободские не так обучены стрелять, мечом биться, – ответил Колот.

Встрепенувшись, Келагаст спросил:

– Что? Свару с илвичами хотите затеять? Обид от них не было нам, или я не знаю?

В пору Келагастовой юности случилась у россичей ссора с илвичами. Дрались, кости ломали, пуская кровь одни другим, жгли спелые посевы.

Будто зная, что за Рось-рекой беспорядок, налетел из степи малый загон каких-то до той поры невиданных людей и наделал много беды и россичам и илвичам. Несчастье помогло – закончили драку между собой, чтобы прогнать степняков.

– Прошу я, князья, – говорил Келагаст, – доколе живем, не позволим быть ссорам-злосчастью между россиким языком.

– Не к раздору я зову, – возразил Всеслав, – другое у меня на уме. Доколе будет владеть нами несправедливый уклад?! Из всего росского языка наибольшее бремя несут россичи. Первый удар – нам. Наибольшую дружину в слободе держать кому? Нам. Прошлым летом на кого крались хазары? Нынешним летом на кого нацелятся? Виноваты, что ли, россичи, что живут на меже росского языка!

– Кому-то и на кону жить приходится, – сказал Колот. – Твоя слобода, воевода, стоит на самом краю, за то тебя племя и кормит. Зато и больше всех прочих слобод у тебя живет слобожан...

– Мы, россичи, украиние, – поспешил продолжить Дубун, чтобы никто из других князей не успел уцепиться за лукавое по внешности слово Колота. – Внутри себя несем мы бремя кормления слободы и тщимся послать воеводе людей поболее. Для задних же и для соседей наших – все племя росское будто слобода ихняя. Однако ж они нам кормления не дают, и мы обо всем должны сами промышлять, – закончил Дубун речи, о которых было заранее условлено между ним, Всеславом и Колотом.

Перевалив на вторую половину, день холодел. Небо светлело, стали видны низкие облака, грязные, рваные. Прозрачные звери воздуха, которые невидимо живут между твердью земной и твердью небесной, не любя зимних вихрей, поднялись повыше, поближе к солнцу. Из-за полуночи вылезала тяжелая туча, серо-синяя, как остывающее железо. Летом в таких облаках скрывается громкокипящий Перун, зимой – рождается снег. В предчувствии ныли кости старческих ног, не помогали меховые сапоги.

На коновязи взволновались озябшие кони. Зверя ли почуяли в лесу, или боги, внимая людям, что-либо сказали?

– Договор нам нужно совершить с илвичами по всей справедливости, облегчить себя, – говорил воевода. – Пусть бы илвичи в нашу слободу дали десятков пятнадцать или двадцать, мы легче себя охраним. Себя охраним – их избавим от разорения. Ту же речь обратим к каничам. Потом будем думать о других росского языка родах-племенах. Знаю, дело большое. Большое же дело долгое, оттого и начинать нужно немедля.

Всеслав замыслил неслыханное. Никогда племена, жившие по Роси, не смешивали слобод. Бывало, сообща оборонялись, но слободы и в бой ходили под началом своих воевод.

– А кто будет кормить слобожан из чужаков? – спросил Велимудр.

Росские роды давали в свою слободу хлеба, считая слобожан по головам, в месяц по пуду, крупы – половину пуда, меда – ведро, огородных овощей – по возможности. Обувь и одежду давали по надобности. Обидно будет кормить пришлых.

Начав с мелкого, Велимудр нашел нить мыслей, потерянную им:

– Главное оно вот что. Рука выше головы не считается, воевода не князь. Набрал много парней от

илвичей да от каничей, не мечтаешь ли ты, воевода, волю взять большую? От войска большего не мнишь ли ты встать выше родов, выше нас, князей? Знаем мы, ты с извергами дружишь! Ты за них перед нами, князьями, заступаешься напрасно. А родовичи наши, у тебя в слободе побывав, больше тебя слушают, нежели князей. Ратибор голоусый вышел из воли князя Белая. Ты же ему повелел – и он взял жену...

– Нет, князь Велимудр, – возразил воевода. – Нигде не вижу того, что тебе видится. Нет! – Всеслав указал на богов, зрящих на Рось из священных образов. – Они видят мою душу. Для себя я ничего не ищу. Хочу, чтобы Роси нашей кровью не краситься. Не кожа на моем теле – бронь живая для языка нашего. Вы, князь-старшины, веры в меня не имеете? Я в воле вашей. Скажете – буду слобожанином. Воинов пусть поведет, кто вам милее, я его буду слушаться. И еще слово об извергах скажу: они же россичи, не хазары, не ромеи, не гунны. Изверги своими сынами прибавляют нашу силу.

Молчали князь-старшины, отягощенные думами, как зимнее небо – тучами. Никто не искал взгляда соседа. Наконец старый Белай, казалось обиженный воеводой, заговорил так, будто бы не было ни злой речи Велимудра, ни горького ответа Всеслава.

Тихим голосом Белай как бы себе объяснял, что надобно, ой надобно же помочь слободе, или себе, все одно ведь – для Роси... Худа же не случится, нет, не случится, когда еще более будет жить в слободе воинов, свои же они, свои. Пусть же учатся делу военному под умной волей Всеслава. Добрый воевода Всеслав. Нет ему равного ни у каничей, ни у илвичей, нет такого у россавичей, у ростовичей нет такого. Потому и подобен воевода Всеслав для князей сыну единому, сыну любимому...

Слушая плавную, будто вода течет, речь Белая, Велимудр томился бессилием. Словно он не человек был, а дерево, невластное уйти с берега, хоть и видит оно урочный, неизбежный подъем реки. Роеет поток, обнажаются корни, и не жить более дереву. Угасая, Велимудр чувствовал, что своей вольностью могут расплатиться россичи за боевую мощь. Князь-старшины управляли родами, не имея сил понуждения, кроме ухищрений ума и общей воли родовичей. Изверги уходят, нечем их удержать. Разве что прижмешь такого, когда он придет просить ссуду – купу семян. Нет счастья в обиде, чинимой извергу, только злобу потешишь. Прав воевода. Чем спокойнее были лета, тем ближе злое лето. Некуда идти – Степь нависает. Будет не чужое ярмо – все ярмо. Хорошо, что не жить Велимудру в те, грядущие лета.

Потому-то и молчал самый старый из князь-старшин, когда остальные согласились просить помощи у соседей. Не возражая общему решению, Велимудр сказал лишь, что перестарился он, чтобы выбираться к соседям за кон своего племени да кланяться.

«Так-то, – думал Всеслав, – яснее солнца показал князь-старшина Белай, что единственно общим страхом перед Степью держится нынешний воевода россичей. Ведь прав был Велимудр в своих подозреньях», – и этого Всеслав не скрывал перед своей совестью. Однако же и он, Всеслав, возражая старейшему из князей, не солгал против чести. Для себя-то ничего не нужно Всеславу: ни почета, ни сладкой жизни, какой живет сосед, илвичский воевода Мужило. Ничто Всеславу поклоны, ничто мягкое ложе и ласки женщины. Воля людям нужна? Воля, чтобы сменить ее на хазарскую неволю? А все ж, не будь страха перед Степью, сегодня же князья сделали бы Всеслава простым слобожанином. Из десяти князей лишь трое могли дать ему помощь: побратимы по Перуну – Дубун, Чамота и Колот. Горобой стал бы грудью, но слаб голос отца, когда в таком деле он за сына.

Да и чем закончил бы Колот, коли бы князья всей крутостью повернулись против Всеслава? Колот мог захотеть сам стать воеводой. И Всеслав служил бы ему, чтобы хоть этим послужить роду. И служил бы так, как Колот, – за слободскую силу.

Черная туча в багровых подсветах позднего заката валилась с поднебесья на землю. Поминая худыми словами упрямство Морены-зимы, князь-старшины спешили с погоста по домам. Всеслав позвал гостей в

слободу, с ним поехали Колот, Чамота и Дубун.

Торопились, но не успели уйти. На последней засеке буря сбросила густой снег, оделась мраком, с воем ринулась наземь.

В такую пору лес спасает человека. Как и степного, лес не пускает небесного кочевника – ветра.

Только на открытом месте под самой слободой, на высоком берегу реки, поздняя вьюга ударила полной силой своих полков.

Сладкое Лето легко, лениво уступает жаркому Лету. Усталое Лето, пресытившись, в дремоте отдается Осени. Робкая Осень, пугаясь первых угроз Морёны-зимы, бежит к полудню и потом лишь украдкой, когда отвернется Зима, дарит хладящей земле свои ущербные ласки. Зима же никогда не уступит без битвы. Так накидывается старое на молодое, спеша удушить, пока в юном теле еще мало силы, в старом не истратилась злобная мощь.

Россичи вели в поводу коней, испуганных колдовской войной. В полуверсте от слободы в укрытии пастухи спрятали от вьюг слободской табун. Пустив коней в табун, хозяева и гости наконец-то добрались до слободы.

В воеводской избе Всеслав вырубил огня и зажег фитили, утопленные в светильниках из обожженной глины. Огненные цветки, широкие в середине, на концах острые как стрелы, распустились над длинными носиками.

Дверь в избу запиралась плотно, стены и кровля были надежны.

От дыхания шел пар. Во впадинах всю зиму не мазанного глиноземного пола зеркальцами сверкал лед. Всеслав уселся на своей широкой постели, рядом с ним на шкурах развалились князь-старшины, молодые слобожане собирали угощение.

Только свободная передняя часть воеводской избы, где стояли постель, скамьи и стол, была освещена. Дальше уходило несоразмерное с шириной и высотой избы темное помещение, будто пещера. Лари из ровного теса, сбитые в шип и сколоченные деревянными гвоздями, высокие и низкие корзины, лубяные и берестяные короба оставляли узкие проходы. Слабый свет не проникал в них, и норы в слободском богатстве казались бесконечными. Под крышей, толстая матица которой была утыкана гвоздями, висели тюки запасной одежды, связка клинков для прямых мечей и кривых сабель, пуки стрел, круглые и длинные щиты.

Воевода скинул высокую шапку, шитую из рысьего меха и отороченную бобром. Голова с длинной прядью на темени была давно не брита, отросшие пальца на три волосы, примятые шапкой, казались светло-русый мхом. С плечей сам сполз мягкий плащ из козьего меха. Рубаха узловатой ткани, толстая, грубая, была слабо завязана у ворота шнурком. В разрезе виднелась грудь, молочно-белая по сравнению с темной шеей и коричневато-красным лицом.

Воеводе тесно в слободе. Медленно течет время. Горечь и недовольство опустили углы рта, кривили губы, сводили брови в глубокой складке. Исполненное желание вызывало новую жажду. Слишком много застылого покоя привычно жило в делах россичей.

Поправляя усы, Всеслав коснулся ямки на щеке, памяти о хазарской стреле. Прошлое не утешает даже старика... Недовольство разъедало душу Всеслава, точило червем, давило, как камень, попавший в сапог. Он прошел пору страстных увлечений воинским делом. Мальчиком он завидовал взрослым, умению рук, силе тела. Потом он преклонялся перед решимостью суровых мужчин, их знанием тайн жизни. Взрослые, образцом которых служил для Всеслава отец, были всеведущими, всемогущими. Он подражал настойчиво, упрямо, учась беспощадно требовать от себя. Руки Всеслава носили следы ожогов каленым железом – он в

одинокости испытывал свою волю.

Посланный в слободу, Всеслав нашел там образец, еще более совершенный, чем Горобой. Не было испытаний, которых Всеслав не искал бы. У него едва пробивалась борода, а он уже мог заставить коня лечь от муки, причиненной сжатием колен всадника. Только в самые сильные холода молодой слобожанин накидывал меховой плащ. Плавать он мог весь день, не нуждаясь в отдыхе, и спускался вниз по Роси на тридцать верст. В умении владеть луком, мечом и копьем Всеслав быстро сравнялся с сильнейшими слобожанами.

От Всеслава Старого он научился молчать. Сам от себя он требовал, не зная отказа, и научился угадывать мысли других, ломать незаметно сопротивление чужого ума, чужих желаний.

Всеслав не захотел вернуться в род и сумел убедить отца. Жениться он согласился холодно, по обязанности перед родом.

Десять весен тому назад умер Всеслав Старый. Его преемник не имел соперников, решение князь-старшин по завещанию Всеслава Старого было принято всеми, как нечто столь же очевидное, как свет дня. И жизнь Всеслава остановилась, нечего было желать.

Его детские представления разрушались: зрелость не наделяла мужчин мудростью и могуществом. Он наблюдал неразумие проступков, случайность решений, упорство в ошибке, непоследовательность желаний, слабость. Почти все, кого знал Всеслав, были для него переросшими детьми. Хуже, чем дети: от взрослых нечего было ждать. Их нужно вести, ими нужно управлять.

7

– А что, воевода, – говорил Колот будто от нечего делать, – думаю, поначалу мы возьмем да приманим илвичских парней, а потом раскинем умом, как взять дань. Поначалу – помалу... Помалу, да быть бы началу, с чего бы нога ни начинала, да лишь бы ступала, на месте не стояла, шагала да шагала, землю попирала. Все ведь дело в начале... Они невод как начнут чалить да чалить, ну и быть сому у причала, а потом опять бы начать сначала, много можно начать. Хе-хе, вот и эге...

Ведун князь Колот – умелец вить слово. Всеслав не откликнулся на простую, да с непростой хитринкой речь. Замысел Всеслава был виден Колоту – прямая речь не скажет яснее, чем речь с затейливой поговоркой. Колот глядит дальше других.

Не отвечая Колоту, Всеслав безразлично глядел, как Ратибор поднес стол для угощения. Молодые слобожане несли копченый окорок вепря, липовую долбленку со сладким медом, другую – со ставленным, вязки вяленной на солнце и копченной в холодном дыму рыбыны, пшеничные лепешки, печенные в золе, похожие на плоские речные камни.

Пчелиный мед, разведенный водой, сброженный хлебной закваской с хмелем, доспел в самую меру. Мутноватый, с частичками вошины и хлопьями закваски, пьяный напиток пахнул, как дыня, от собственной зрелости, лопнувшая под солнцем, – и сладко и остро. По кругу пошел ковш с ручкой, сделанный под лебединую голову. Всеслав длинным ножом пластал двухпудовый окорок. Вепрятина выдерживалась в рассоле вместе с гадючьим луком, полынью, донником, смородинным листом, коптилась в дыму ольховых, ореховых веток и дубового прелого листа, вялилась на солнце и была остра вкусом, сочна и мягка на зуб, как вареная дичина. Спинки стерлядей и севрюжек просвечивали на огонь. Лепешки, заделанные на молоке, масле и меду, плотные и тяжелые, обманывали – весом будто камень, а кусни – и рассыпается во рту.

От просыхающей на горячих телах одежды, от дыхания в избе туман стоит, тускнеют языки светильников.

Отвалившись от стола, Чамота и Дубун зарылись в шкуры, как в сено, и нет их. Меховое ложе устроили и Колоту. Уходя из воеводской избы, молодые слобожане распахнули дверь. Ударило вьюжным ветром, светильники мигнули, и огоньки отлетели во мглу.

– Ты силу наберешь, брат, когда илвичей накопишь. Сильную силушку-силу. Старики наши, дубовы головы, не понимают, никто не понимает. Велимудр было понял, но стар, – вдруг опроверг себя Колот и добавил: – Беляй понимает, да Степи боится...

Всеслав лежал на медвежьей шкуре, посланной на липовые доски постели. Он ощущал теплую влажность ног в широких сапогах, упругость и кисловатый запах овечьих шкур, которыми укрылся от ночной стужи. Пусть Колот говорит.

Наружу еще злее Морёна бросалась на Весну, свистела, шипела, а Колот нашептывал:

– Илвичей наберешь. Наши привыкли. Не ты начал, еще до Старого началось. Нашим ярмо-то холку не бьет, затвердела. Те – неученые. Круто скрутишь – побегут от тебя. Повадку лежебочничать дашь, свои от них испортятся. Об этом думай, брат, я тебе буду верный помощник. Хочешь, от княжества откажусь, к тебе рукой приду правой?

Всеслав молчал. Не добиваясь ответа, зная, что ни одно слово не пропадет, Колот плел сетку:

– Малый камень, кстати попав под телегу, большое колесо изломает. Наибольшей помехой нам –

воевода соседский. Сытый пес, поигравши, кость бросит, другому ж не даст. Так и воевода илвичский, жадный Мужило. А камень большой, то хазары. Коль они нынешним летом не придут? Думай, брат воевода...

Дубун и Чамота спят под теплым мехом спина со спиной, как подобает побратимам. Колот шепчет в ухо Всеславу. И с тайной опаской воевода внимает князю-брату.

Тело насытить легко, не душу. Душа была полна, когда Всеслав, невиданно властвуя над собой, тянул стрелу, пробившую голову. Он не отдаст памятного часа. Гордился он от великой силы, побеждая смерть, зажавшую горло. Счастье живет в гневном борении. Колот верно размыслил: илвичских придется парить и гнуть железной лапой в меховой рукавице. А Мужило будет мешать. Умный возница убирает камень, чтобы сберечь колесо. Когда коня ведут через засеку, умный всадник ищет, где сбить мертвый сук, прежде чем он пропорет лошадиный бок. Что же случится, если летом не будет хазаров?..

Перед светом вызвездило. Почувяв мороз, Всеслав проснулся. Дверь пришлось отворить плечом, снаружи снег подбился избяной завалиной. Зайдя в третью избу, Всеслав разбудил Щерба с Ратибором. Первая стезка на чистом снегу легла от их ног. Они скользнули вниз по затынной лестнице, как рыси, прыгнули и понеслись к табуну. Молодость тешила нетронутую силушку.

Колот лежал на спине с открытым лицом. Дыханья не было слышно, за ночь на усах намерз лед. Кто знает, где бродила его ведовская душа. Быть может, она, пользуясь последней мглой и следя воеводу, сейчас невидимо летела за Щербом и Ратибором.

Ночью табун стоял на конном дворе. Ограждая малую лесную поляну, меж деревьев с одного на другое положены частые жерди, наглухо заделанные плетнями, чтобы волк не прошел. К середине зимы стаи отошавших волков лезут из степи ближе к человеческому жилью и к домашней скотине. Темными ночами они могут наделать много беды. Кони, тесно сбившись от холода, грезили о весне. Табунщики спали в избушке у околицы.

Посланные отобрали шесть сильных коней, выпоили из обмерзлой бадьи. Задали ячменя. Жеребцы, прижав уши, с неистовой злобой, жадно хватали зерно, а люди стояли, отхлопывая плетнями. Иначе навалится весь голодный табун, и несколько сот лошадей, озверев, затеют смертную драку. С помощью табунщиков трудно седлали рвущихся, взвизгивающих коней.

Заискрился снег под розовой зорькой, над лесом поднимались вороны и вороны, сороки пошли трепещущим лётотом. Ратибор и Щерб выскочили в ворота, каждый вел в поводу по два заводных коня. За ними, напирая на воротные столбы, будто вода в узком русле, надавил весь табун. Гикая, щелкая длинными бичами, не жалея приложить жгучий конец, просекающий шкуру, конные табунщики сбили лошадей со следа верховых и погнали к реке. Туда же потянули вороны, сорочья стая сторожко пошла за табунотом. Стервятники ждали не одного тощего навоза, могли покормиться и падалью.

Оторвавшись от табуноты, слобожане перевели коней со скачки на шаг. Путь лежал вдоль Рось-реки, которая в этом месте давала колено на север. У нового поворота всадники спешили, сменили коней. Еще верст через пять скачки встретился им высокий холм-могила. На нем маячил Конь-камень – плита в рост человека, поставленная дыбом. Это была древняя могила предков, хранящая кон-границу между россичами и илвичами. К северу кон продолжался по засеке, которая шла на Матку-звезду. Засеку рубили илвичи – россичам она не нужна, – через илвичей степняки не пойдут, пусть же те сами заботятся ограждать свой кон. Илвичи, как видно, больше надеялись на россичей. Граница содержалась плохо, деревья были повалены давно – Ратибор всегда помнил засеку такой. Стволы навалились на сгнившие ветки, сучья, изъеденные червем, обломались. Заросшая мхами и грибами, засека обветшала, тянулась к земле, растворяясь в кустарниках. Кабаны продрали ходы. А там, где один кабан пролезет, другие за ним

расчистят и улицы.

Близкая илвичская слобода закрывалась с одной стороны каменным оврагом, с другой – ручьем, прорывшим глубокое ложе перед впадением в Рось. С третьей стороны илвичи отсекали себя рвом и тыном, за которыми спрятали четыре избы. По сравнению с русской илвичская слободка казалась низкой, худо укрытой. Только сторожевой помост был куда выше: место низменное, кругом лес.

Воевода Мужило коротал предвесенние дни не более чем с десятком слобожан из голоурых, неженатых парней да со своим другом-наперсником Дубком.

Илвичские слобожане славились мастерством ставить силки, бобровать, выделывать шкурки и шкуры, дубить кожи. Зато оружием и конем они не умели владеть, как русичи. Одной рукой два дела сразу не делают. Мужило был жаден, копил. Одно его точило: не мог он сам ездить на весенний торг с ромеями – по обычаю, с самой весны воеводы сидят в слободах. Посылая на торг друга Дубка, Мужило в нарушение общности старался доставать для себя красивые изделия ромеев.

Гости застали Мужилу за делом – он пересматривал меха, отбирая головку для торга. Слобожане поклонились:

– Воевода Всеслав да князь-старшины Чамота, Дубун и Колот с ним просят, пожаловал бы ты на мед, на знатную снедь. А там бы и побаловался гоньбою-охотой. За Росью туры ходят, козы много, кабанов много. Зверь присмирел, мы же давно его не гоняли.

Мужило любил сладко есть, крепко пить. Немногим старше Всеслава, илвичский воевода отяжелел, обрюзг. Услышав о предстоящей гульбе, он встряхнулся. У Всеслава гостят трое князей, будет знатный пир.

Сапоги красной кожи с желтыми разводами проделали длинный путь из нижнеднепровской Карикинтии, если не из самой Византии, чтобы попасть на ноги илвичского воеводы. Красная шелковая рубаха под легкой шубкой из нежного меха козы расшита золотыми шнурками, плащ скроен из тонкого сукна. Только бобровая шапка с собольей оторочкой была своего, русского дела. Таким вышел Мужило, изготовившись в своей избе. Сам роста высокого, князь князем, а не воевода только.

Конь попятился, натянув узду. Усмиренный окриком, он вытянул морду, обнюхал всадника. Думая о дурной, по поверью, примете, Ратибор придержал стремя. Тяжело ухнув в седло, Мужило разобрал поводья.

Откинувшись в седлах, почти доставая головами до крупа, всадники спустились в овраг. Привычные кони сами выбирали, где поставить ногу. Прихватив гривку, уткнувшись в шею коней, люди позволили вынести себя на ровное место. Мужило поднял коня вскачь и гнал до засеки. Там ему переменили коня, и опять илвичский воевода скакал будто в погоню. Чего щадить жеребца – не свой. Загонишь – другой идет в поводу у провожатых. Хотел Ратибор спросить воеводу, для чего не подновят его илвичи засеку, да за скачкой не стало времени.

Ночная буря, как черная корова белого теленка, родила чистый денек. От скачки людям было жарко. Пригретый солнцем, мокро падал наземь ночной снег с ветвей. Пичуги порхали парочками, черные птицы-вороны, поверя в весну, кружили над полянами в хороводах.

Русские князья встретили гостя объятиями, день провели в бражничанье. Самым нежным другом Мужиле смотрел князь-старшина Колот.

Ночной морозец вспучил звенящий ледок в лужах, под хрупким стеклом застоялись белые пузыри. Голые ветки оледенели. Но хлынуло светлое тепло Сварога – родился первый весенний день.

В ледяных закраинах лениво текла черная Рось. Река обмелела за зиму, на броне открывались обточенные водой камни. В подводных пещерах на постелях из водяного льна еще дремали водяные и водяницы. В зеленом сумраке покоились красные лалы, прозрачные алабандины, низки жемчугов, обманно-золотые запястья, ожерелья, будто из серебра. Над спящими звенели радужными перьями чудесные рыбки. На страже в стылой воде висели сомы-исполины и гигантские щуки, обросшие мхом, седые от древности. Едва струясь по поверхности, река еще спала.

Князя и воеводы гуляли, играли песни и сушили ковши до поздней ночной стражи. Утром опохмелялись, опаздывая с выездом. Загонщики-слобожане соскучились, стоя в окладе.

Охоте быть за Росью. Умные кони осторожно несли людей через брод. Мужило был хмелен и весел. Запел бы, но помнил – на охоту идут без крика. Воевода горячил коня, бил каблуками, дергал повод. Конь оступился. Едва Мужило не выкупался в студеной купели, мог и голову себе раскрыть о камень. Но конь справился, вышел на берег.

До болота недалеко. К осени, покрывшись молодым камышом и в два и в три раза выше человеческого роста, оно почти иссыхает. Такие места излюблены вепрями, есть корм – сладкие корни тростника, есть удобные, теплые лежки. Утром вепри уходят из болот, вечером возвращаются домой.

Настоящая охота на вепря пешком, с рогатиной, с топором за поясом, с тяжелым ножным мечом за сапогом.

Пора торопиться, скоро загонщики стронут зверя из степи. От их шума и крика, от зова рогов вепри пойдут в болота, как люди, которые в тревоге бегут за тын родного града.

Охотники разобрались в мертвых камышах, около кабаньих ходов, примерились, чтобы вепрь не заметил. Глазки у него малые, видят же хорошо. Еще лучше чует этот зверь. Дело охотничье так гнать облаву, чтобы вепрь шел с ветром.

Скоро придут, побегут в глубь болота. Охотнику нужно выбирать на проходе, кого колоть: самца-секача или нежную мясом молодую свинью. Чем больше кабан, тем грубее мясо. Но после охоты туши вытащат копиями, положат рядом, смеряют от конца ноздристого рыла до начала короткого хвоста. Чья добыча длиннее, тому и слава. Вот и выбирай: охотник ты иль охотнишко.

Ветерок шелестит бурными языками мертвых листьев на сухих палках тростника. Порхнув, птица повисла на стебле, качается. Поторопился длиннохвостый дрозд прилететь на гнездовья, ан пусто все, нет кормов на земле. Умная птица знает, как много червячков и яичек найдется на первое голодное время в метелках камыша. Внизу заморозки, наверху тепло, волосатые метелки кишат живой пищей.

Гостю первый ковш всего, что пьют за столом, гостю лучший кусок, гостю и лучшее место на охоте. Первым Всеслав поставил Мужилу, за ним три лучших места разобрали три князь-старшины. Вместо жеребья копались на рогатине. Чья рука покрыла, тот первым выбирал, чья под ним – вторым, третий взял остальное место.

Слышны дальние крики рогов, загонщики стронули зверя. Мужило знал: ему-то выставят хорошо, выбирай только. «Другие же, наверное, горячатся», – думал Мужило. И без добычи плохо, но достанется отощавшая свинья – не оберешься насмешек, что напрасно марал железо, утруждал древко.

Мужило прислушивался. Свежий воздух повеял хмель из головушки, ильичский воевода бодр, сила по жилкам живчиком переливается. Зверь не идет. Жди тут...

Трубят, трубят. Мужило будто видит: загонщики, охватив стадо длинной цепью, отжимают вепря к болоту. Приблизилась рога. «Эге, стадо подалось, пошло ходом! Ну, молодцы, напирай, напирай же! Мне бы выставили вы кабанчика-старичка со щетиной по хребту хоть в две ладони да с клыками в две пяди,

возьму!»

Колот выбрал для гостя рогатину, подходящую к большому весу охотника, к немалой его силе. Ясеневое древко толщиной в запястье руки, насадка длиной в три пяди, жало четырехгранное, лезвие шириной в ладонь. На кабана ли, на медведя, на тура – на всех отлично годится. Немало крови выпило прикладистое железо. Из-за голенища у Мужилы торчит рукоять турьего рога – его собственный ножной меч.

Всеслав велел Ратибору остаться с гостем, чтобы на случай чего подать запасную рогатину. Бывает так, что со старшим стоит на засаде младший. Мужило не заметил бы заботы, не скажи Колот напуганное Ратибору:

– Ты ж гляди, ты ж береги дорогого гостя. С тебя будет спрос – не шутка, опозориться можешь навек, коль просмотришь.

Не сразу дошло до Мужилы. Пошли уже было, когда обида кольнула сердце илвичского воеводы. Он грубо прогнал непрошеного защитника:

– Я не голоусый, не баба, сам за собой угляжу, брал кабанов нет числа. Ступай, не мешай!

Воткнув запасную рогатину в землю, Мужило, наблюдая за голосами рогов, забыл обиду.

Вот у соседа полоснул острый взвизг и – тихо. Там, шагах в полтораста, стоял Колот. Взял, будь неладен, первого зверя. Эх, неужто посмеются над гостем? По крику судя, Колот взял свинью. Ладно, мы тебе ответим вперем...

Мужило услышал шорох, хруст тростника. Зачавкали острокопытные ноги в размякшей к полудню грязи. Храп и сопенье ближе, ближе. К илвичскому воеводе по узкой тропе катило охотничье счастье, к его кону шел матерый вепрь.

Первым через камыш пробился Колот. Увидел и позвал в рог, трубил протяжно, низким по звуку воем, держа рог в землю. Так не зовут на веселую сходку ко взятой дорогой добыче.

Собрались охотники. Чего и гадать, не выдержало древко рогатины, повдоль расщепившись, сломалось у самой насадки. Видно, воевода ударил в кость. В кость – ничего, бывает. Не так пошло лезвие рогатины, не ребром по ходу зверя, а плашмя. Жало уперлось в кость, вепрь повернул. Будь лезвие краем повдоль, зверь сам себе распорол бы мясо, а железо сошло бы с кости. Тут бы вепрю сразу и кончиться. Нет, древко лопнуло от страшной силы, и насадку выбросило из раны.

Видно, что Мужило успел схватить запасную рогатину, но повернуть ее не было времени. Вепрь, не умея задирать голову, первый удар дает в ноги. Мужило лежал на спине, затоптаны в грязь и красные сапоги, и шелковая рубаха ромейской работы, и козья щегольская шубка. Сбив, секач прошелся по телу, роясь в нем кривыми клыками, вырывая ребра, подобно лемеху плуга, который крушит корни и тащит их наружу. Нету Мужилы. Тело можно узнать лишь по клочьям одежды. Нехорошо и глядеть. Смотрели, ходили около, узнавая, как случилась беда, и поспешно накинули плащ на человечьи останки.

На древки для копий, рогатин, стрел выбирают прямой, чистый ясень или клен. Первый год хранят неошкуренные бревна подвешенными под крышу, но не в избе, а в амбаре. От верхнего избяного жара свежее дерево дает трещины даже в коре. На второй год бревно ошкуряют – не завелся бы червь, – смолят и подвешивают в избе. Закоптившись в дыму, древесина твердеет. На третий год бревно колют колышками, а не распускают пилой. Выбирают бруски ровные, без заплывших сучков, на которых может случиться излом, строгают стругами, чистят камнем. Такому древку можно довериться. Был бы верен глаз,

тверда рука, а росское дерево не выдаст.

Не нарушила росская слобода гостеприимства. Доброе было древко. С убийцы же надо взять выкуп смертью.

Темной кровью вебрь покропил дорожку, оставил меты на камыше. По горячему следу пошел Всеслав, за ним как свидетели – Дубун и Ратибор.

В зарослях сплетшихся кустов по руслам ручьев, речек, оврагов все Поросье, все Поднепровье дало приют вебрям. Низкий, толстошкурый вебрь пройдет там, где нет ходу другому крупному зверю. Сам проделает дорогу, раздвигая колючки острой мордой, которая не боится даже укуса змеи. Ход вебря в непролазных кустах как нора. Туда может пройти лишь волк, но волки боятся вебрей. Вебрь любит болота. Чуткий, осторожный, он никогда не вступит на чарусу – болотное окно, обойдет омут-окно, оставленное для глупых хитрой топью.

У секача-победителя рана горела, сердце злобилось. Ему мало одного человека, он не ушел, не забился в камышах, как сделал бы всякий другой зверь. Отойдя от места схватки, он повернул и лег на свой след, мордой к ходу. Не придет ли кто еще под клыки? Вебрь слышал человеческие голоса, ложась боком, студил холодной землей рану. Ветер шелестел камышом. Потрескивают сухие стебли, ломаются острые пеньки камышей. Это не ветер. В тростнике, в мертвых осоках сочится дыхание воздуха, течет над снежком, не сошедшим в затененных прогалах, несет человеческий запах.

Вебрь встает. Маленькие глазки под белыми ресницами внимательны. Он бесшумно несет многопудовую тушу навстречу преследователю или преследователям, ему все равно. Не он выбирал, он мог бы выждать около первого тела, напасть на людей. Он ушел. Они хотят еще?

У коленца тропы вебрь остановился, поднял рыло как мог, раздул глубокие ноздри, поставил лопушистые уши. Человек близко...

Вебрь, готовясь, чуть скривил шею. Он ударит, как всегда, правым клыком и – как всегда бьет вся порода вебрей – снизу вверх. Задние ноги подошли под брюхо.

Направляя левой рукой, Всеслав правой ударил рогатиной навстречу черной глыбе. Железо вошло в зверя.

Честь послала Всеслава на поединок с убийцей гостя. Но нет у россича к зверю злобы или презрения. Разум воеводы холоден, он знает: вебрь тянет пудов восемнадцать, человек же только семь. Вебрь – боец от природы, иначе другие давно погубили бы вебриное племя. Человек тоже воин. Разве не боем отстоял он свое место? Но в отличие от зверя человек сам учил себя биться, сам учил свое тело быть послушным, как крыло слушается птицы.

Ноги росского воеводы ушли в мягкую землю до полуколена, но он сумел остановить вебря. Стараясь избавиться от рогатины, вебрь нажал в сторону. Всеслав не дал себя обмануть. Вебрь встретил не Мужилу, отяжелевшего от сладкой снеди, разменявшего на стяжание силу разума.

Необычно для охотника вставать прямо перед вебрем. Стараются бить сбоку, метят под левую лопатку. Что-то заставило Всеслава предложить убийце Мужилы равное состязание, будто равному сопернику в одиночном бою перед войском.

Как в пень уперся вебрь. Зверь попятился, желая вырваться от рогатины, отойти для разбега. Всеслав не пустил. Осев на задние ноги, вебрь дернул тугой шеей, чтобы достать, срезать клыком древко. Поздно было. Он сидел не в болоте, а в озере собственной крови. Дрожь-озноб потрясла тело, помутились глаза, из ноздрей пошла кровь. Насытилась местью отомщенная душа Мужилы.

Шли мгновения. Странно глядел Всеслав на мертвого вебря. Потом позвал своих, на их глазах срубил

голову вепря и легко поднял за кривой клык трехпудовый обрубок.

Свою ношу Всеслав бросил у тела Мужилы, чтобы совсем утешилась душа илвичского воеводы.

Сняв шапку, князь-старшина Колот рукавом отер пот. Ему одному стало жарко, хоть он ждал, как другие, и, как все, одет был легко, по-охотничьи. Встретившись взглядом с воеводой, Колот отвернулся, как женщина, которая боится выдать тайную мысль.

Останки Мужилы закутали в плащи, обвязали арканом. Обняв тело, Ратибор по приказу Всеслава повез его в слободу.

В слободе сделают длинные носилки из жердей, навесят на пару лошадей. Шагом, со скорбной осторожностью повезут к илвичам тело воеводы, который погиб не в бою, а от своей неразумной смелости. Отказался взять товарища, один встал на кабанью тропу и гиб понапрасну.

Сам погиб... Не Судьбою погублен. Люди русского языка не верили в неведомо-мощную, унижающую волю человека Судьбу – предначертанье от великих богов. На погостах в деревянных обличьях разные боги. Но не было ни одного, подобного тем, кто у других выражал безграничную силу Рока, Фатума, Предопределения. Добрые роданицы-рожаницы, напутствуя новорожденного руссича, клали в его колыбель приданое добрых пожеланий. Что он с тем добром сделает – воля его... Будь разумен!

Сам себя загубил неразумный Мужило.

Колот и Всеслав возвращались в хвосте конных и пеших. У брода, на правом берегу Роси, они остались последними. Будто уже позабыв свое волнение, Колот с усмешкой, как любил, сказал:

– Эк ведь ко времени треснуло древко! Скажи, Всеслав-брат, сон был ли у тебя? Стало быть, в руку...

Всеслав не спешил с ответом. Колот ему верный друг и помощник, общие мысли у них. Не быть бы лучшему руссичу, не точи сердце Колота черная зависть. Всеслав знает – в бою, телом своим Колот закроет брата, жизни своей не пожалев. И другое знает Всеслав: убей ныне вепрь его самого вслед Мужиле, Колот скоро утешился бы счастьем стать русским воеводой.

Как из камня лицо русского воеводы, глаза – темная вода речная:

– Не мой сон – твой. Для того ты и отвел Ратибора, Колот-брат, что твой сон был, не мой, – и Всеслав послал коня в реку. А на другом берегу, дождавшись Колота, обнял брата, и, поняв, князь-старшина улыбнулся: легче нести разделенную ношу.

8

Илвичи сожгли тело своего воеводы. На страве-поминках съели и вепря-убийцу. Нового холма-могилища не насыпали. Собрали они остатки костей и оружия, которых не в силае оказался унести огонь, и скрыли в старом холме, в могиле, стоявшей на кону-границе между илвичами и россичами. Для воеводы хорошее место. Погребенный Мужило мог бы сказать про себя: «И после смерти есмь я межа-граница моего племени».

Росские князь-старшины, покинув на время роды, гостили у илвичских собратьев, уговаривая, чтобы те своих людей не отказали послать в русскую слободу: «Братья мы, единокровные, одного мы языка русского, все мы славянские люди, кто живет, кормясь хлебом, от Рось-реки и до Припяти, от Припяти во всех лесах до Холодного моря».

Уговаривали, а сами спешили: весна пришла. От солнечной ласки пар валил над черными пашнями. Густо, сочно пахла кислая земля, щедро напившись воды. Бухли, лопались почки. Ожила старая трава. Под еще голыми от листьев кустами клубеньки чистяка выбросили стрелки, гнали листки, полные едкого сока, открывали желтые звездочки скромных, но милых глазу цветов. Зажелтел и лютик, малый, но люто-горького вкуса первоцвет. Нежнейшая белая ветреница, которая от малейшего дуновения качается, цвела девственно-белая, опирая слабые стебли на могучее корневище. Она – как женщина, слабая видом, сильная душой, которая у цветка живет в корне. И баранчик спешил развернуть на гладком цветоносе кисть длинных цветочков, тянулась к свету фиалка – все оживало в теплой земле.

Гусь, лебедь пришли стаями, утка плескалась в каждой луже, пищали кулики. Над мочажинами в лугах, будто по мертвым деточкам, жалобно стонали чибисы-пивики. Любовь у них горькая, думать надо, вот и плачут заранее. Такая уж скучная птица...

Набухали ручьи, Рось-река прошла первым подъемом, опала на час и пошла опять лезть на берега выше, выше. Течение заметно замедлилось. Вкус воды стал земляной – из лесов полилась густая вода, земляная, а выходу Роси не стало, Днепр подпер Рось, как, думать надо, и все прочие реки. Уже и сейчас было видно по медленности течения перед слободой, что Днепр сумел остановить Рось от устья и до самого входа в большое колено. Как по стоячей воде, по Роси стелется серая грязь-паутина, едва движется унесенный валежник, рваная с корнем сухая трава. Ветер гонит грязь, собирает ее в морщины под берегом, где движения вод нет совсем.

Тут, там вдруг будто вскипит река, взмоет потревоженная на отдыхе станица гусей, пухлых гаг, закрывают утки, зашипит храбрый селезень, удирая от страшного места. Во все стороны, как брызги, метнутся острые спины рыб. То понизу идет острорылая белуга, длиною в хороший челн, распугивает круглого лосося, крепкого судака, плоского леща, широкотелого сазана. А может быть, и шипастый осетр щупает дно грудным пером. Или многопудовая щука, мучаясь от напора икры, ищет местечко с мелкой водой да обильное травами. За нею, как телята за коровой, идут два самца ростом раза в два короче. Найдет щука место, встанет, будет давить из себя живое просо, а самцы, заботясь о роде, польют икру молоком.

Стеснившись весенним безумием, рыба набила устья всех ручьев, почти что на берег идет. Россичи рыбу еще не ловят, так, берут дети понемногу, на общую потребу. В градах вынимают свежую икру, чуть присолят и едят, пока не надоест. Соль берегут, весенняя рыба слабая. Солнца еще мало, чтобы вялить. Летом рыба будет садиться в верши-вентери, идти в сети – только бери.

Собаки, с охотки понабив брюхо, разжирев за несколько дней, уже воротят от рыбы морды. Вороны наконец-то набрали несытые зобы. Белохвостый орел лениво хватает легкую добычу. Сытый мир живущих

на сухой земле безразличен к весенней рыбьей сутолоке. Холодная речная живность невозбранно творит свои дела.

К каничам – через Россаву – не пройти, не проехать без челна. К илвичам еще можно добраться конями, да длинны обходы-объезды разливов и озер, которые поделались на низинках, где летом только мочажины-калуги, а осенью сухо совсем.

И все же вести, ходившие по россичам, перелетали к соседям: наступающим летом ждите из степи беды.

Убеждая князь-старшину илвичей Сыта, старый Келагаст одевал многими словами мысль, как одевается дерево листьями. Смысл же был один, простой, против него не поспоришь! Единство. Давно, из веков идет призыв быть вместе; сколько раз повторенный, он оставался без ответа. Видно, дело простое, очевидное – труднее всего. Однако же легче куль зерна поднять двоим, чем одному; легче бревно нести шестером, чем вдвоем.

Вместе наши и ваши слобожане сдержат хазаров, быть нам живыми, имению – целым. Порознь не одолеем. Разольются они через Рось, нас и вас побьют, угонят в рабы.

Сыт угощает Келагаста. Сухо старое горло, не лезет еда. Речь же обильна. И те из русских князь-старшин, кто вяло соглашался со Всеславом и на погосте не спорил, лишь чтоб не противодействовать большинству, разгорелись, убеждая. От необычного дела, затеянного россичами, от вещих видений Всеслава и Колота нынешнюю весну омрачило видение будущих бедствий. Кабы степь никогда не просыхала, да реки никогда не опадали!..

Для всех весна хороша, и всем она мила, но – не живущим на Рось-реке. Весна лишает покоя, покой приходит лишь осенью.

Поляны уж сохнут. Сохнет и степь. Скоро половодье начнет убывать. В поймах первыми откроются седла между холмами, потом выйдут гривы, разделяющие затопленные озера и болота. Зверье, спасавшееся от наводнения на высотах, попятнает осевший речной ил. Черный в первый день, жирный покров посереет, растрескается, в трещинах прорежутся бледно-зеленые ростки лопушника, щавеля, лебеды. Вода спадет, степь покроется травой по колено. И придут каждый год ожидаемые хазары. В это лето, наверное, придут.

Не получилось согласия между илвичами. Из страха перед Степью двенадцать родов решили послать к россичам людей из своих слободских. Правильно рассчитали-размыслили князь-старшины со своими родами: «Будут наши отбивать хазаров на русских полянах – нашим убытка не будет. Будут у нас отбиваться – нам убыток». Так решили в ближних к русским родах. Другие одиннадцать илвичских родов тоже правильно решили: «Лучше ныне же укрепить засеку между собою и россичами, ждать за нею. Русская слобода сильная. А мы изготовимся, когда хазары придут. Глядишь – наша сила хазаров доконает, добыча с хазарских тел и с обоза тоже наша».

Еще одно лежало в душе тех князь-старшин, которые согласились слить силы слобод, – после смерти Мужилы не стало у илвичей настоящего война. Дубка они поставили в воеводы потому лишь, что лучшего не находилось. Но в этом из гордости никто не признался бы.

Так и сделалось дело – наполовину. Князь-старшины спешили домой. По приметам – пора пахать, сеять. Чем раньше семя умрет в земле, тем хлеба будет больше. Ранним посевам не страшна засуха. Степь от солнца горит, на лесных полянах колос наливаются. Князь-старшина должен указать, где начинать, куда да кому из пахарей переходить. Семена надо прощупать, обнюхать, попробовать на вкус, чтобы понять,

жива ли душа в зерне, спит ли зародыш великого делания или умер.

Пора! Пора! Россичи ходят по своим полянам за дубовым брусом, на брусе кованое острие с отводом – лемех. Сзади два правила, чтоб держать плуг в борозде, спереди ременные лямки для воловьего ярма или для лошадиной упряжки. Заняты руки у пахаря. Он кричит-орет на скотину. Понимает бессловесный вол, понимает и молчальница-лошадь. Знает, где право, где лево, остановится по голосу, повернет. Проорют поляну повдоль, проорют поперек. Борозды должны быть глубоки и ровны, плуг держи прямо. Из огрехов дикая птица выклюнет зерно, дикие травы заглушат добрый всход раньше прополки.

За пахарями идут сеятели с лукошками. Это работа стариковская, большой силы не требует, умение нужно. Зерно сыплется, как осенний дождик, ровно, без плешин, но и не густо, чтобы одно не мешало другому. Побросай – и поймешь...

Главные сеятели – сами князья. Келагаст лишь вторую весну перестал ходить по пашне, а Велимудр еще топчется, и вот – диво дивное! – под руки водят, едва не несут князь-старшину, но в роду с ним никто не может сравниться по чистоте, по ровности сева. Горобой, отец Всеслава, не отдает сеялку-лукошко, Тиудемир и Беляй натужно бродят по полянам. Будто бы умереть они все хотят за святым делом. Старцы не осият поднять в лукошке полную меру, за ними подростки несут запасные короба и горстями подбавляют зерно, смешанное с сухой сеяной землицей. За сеятелями тащат бороны с зубьями из твердого вяза. Бороны запрягают в одну лошадь, парнишка стоит на бороне, закрывает семена влажной землей.

Округ полей на каждом дереве ждут грачи и вороны, в воздухе с писком носятся чайки. Брали бы за пахарем червей, никто слова не скажет. Нет, крадут и семя. Пока не встанут всходы, дети с луками и пращами стерегут поля от зари до зари. Когда же поднимутся всходы, ночью взрослые берегут их от отравы дикими зверями. На больших старых полянах жирная земля чиста, плуг режет свободно. На малых полянах и на новых чищах, где был лес, плуг не пригоден. Зацепившись за корень, плуг рвет упряжь, мучает лошадь. Перетащишь через корень – плуг скользит, не пашет. Здесь землю режут сохой. Похожа она на перевернутую козью голову. Пахарь несет соху на весу, не давая глубоко врезаться загнутым вперед рогам-лемехам. Вольные пахари на своих малых полянках больше сохами пашут: из-за корней.

Этой весной, как и всегда, сначала опахали кругом грады, выпуская на волю земляную силу. Несмышлениши да девки радовались весне. Старшие не хмурились, но можно было видеть пахаря, остановившегося на повороте: думает он о чем-то, пока сами не влягут в ярмо соскучившиеся волю.

Придут хазары или не придут, паши да сей. Кто-то убирать будет! Не человек пашет – надежда. Святое, великое свойство души – верить в лучшее, ждать не смерти, а жизни. Без надежды давно запустели бы поляны, а владельцы сбились бы под защиту припятских топей и вырождались там от бесхлебья, от злой лихорадки, никому не ведомы и всеми забыты. Россич гордился силой тела, умением пустить стрелу, биться мечом. Гордился урожаем хлебов, конями, скотом, удачливой охотой. Но велик был он другим – неугасимой Надеждой храброго сердца.

Глава 3

Империя теплых морей

...То будет повесть бесчеловечных
и кровавых дел, случайных кар,
негаданных убийств, смертей,
в нужде подстроенных лукаво,
кровавых козней...

Шекспир

1

Во времена, о которых сам Геродот не мог что-либо узнать, и, конечно, задолго до Троянской войны, уже была пробита дорожка-тропа вдоль Пропонтиды, ныне Мраморного моря, и кончалась она на восточном берегу полуострова. И если так уж нужно вообразить себе первого, самого первого человека, проторявшего пеший путь в Азию, то несомненно одно: он, идя с юга или с запада, вступил на полуостров именно там, где впоследствии были воздвигнуты Золотые Ворота Византии, которые сейчас называются Едикулек. А другой человек, тоже самый первый, который шел с севера, забрел на полуостров в месте византийских ворот Харисия, теперь – Едирнек. Было это именно так, иного пути не было и быть не могло, ибо не воля людей, а складки земной поверхности определяют дороги. Так же естественно обе тропы встретились тысячах в двух шагов от конца полуострова. Впоследствии в месте встречи образовалась площадь Тавра, в четырехстах шагах к востоку – площадь Константина, а обе старые тропы были названы улицей Меса – Средняя.

Здесь тысячелетиями ходили люди из Эллады, Эпира, Македонии, Фессалии, Дардании, Паннонии, Италии и из Германского леса, из Фракии, Скифии, Кимерии, из всех стран южных, западных, северных, названия которых много раз изменялись. Невозможно узнать, как именовали их люди отдаленных эпох. Но твердо известно важнейшее – жившие за сотни поколений до нас имели такое же тело, как и мы, и столько же драгоценного вещества вмещали их черепа. Они мыслили; они смеялись и плакали, отдаваясь тем же чувствам, которые сегодня вызывают радость и горе их отдаленных потомков.

Какими бы сочетаниями звуков ни обозначали себя населявшие Европу народы, и в дни первых путников и в гораздо позднейшие, каждый, вступив на полуостров, ощущал здесь близость Востока.

Вот холм, заросший кипарисами. Деревья громадны, таких никто не видел. В черную сень леса можно войти, как в пещеру, и отдохнуть от жары. Нет, вероятно, там обитают боги. Безопаснее не приближаться к неведомому.

Древний путешественник обладал пронзающим зрением. Ему случалось видеть дриаду в зеленой тени рощи. На мягком песке бухты он не раз находил следы перепончатых лап хитрого тритона, а однажды весло его галеры задело гребенчатую спину существа, ничем, кроме обманчивой внешности, не отличающегося от него самого. В волнах он замечал лица с высоким лбом человека над пастью рыбы. Он слышал топот кентавра, смех фавнов. Он знал наверное, что в пене моря у берегов, изрезанных заливами, рождаются тела богинь, дочерей Океана.

Этот человек ничего не знал только о чудесах. Все было естественно и просто – земля населена живыми существами, как небо звездами. Бык мог оказаться богом, по прихоти принявшим облик торжествующей плоти. Следовало благоразумно отвернуться, чтобы не проявить низкое любопытство. Толстый уж, лениво уползший за камень, мог вернуться старцем в благожелательных морщинах улыбки – сделай вид, что не понял, не уловил тайну метаморфозы. В крике ворона звучало предупреждение, а полет коршунов таил пророчество для судеб не одного смертного, а целого народа.

Родной залив пришельца, горы привычных ему очертаний, долину, холмы населяли, кроме обычных, и особенные существа. Здесь, в новом месте, тоже, наверное, жили свои боги, герои, видения. Необходимы внимание и осторожность, дабы не оскорбить одних, не обидеть других.

Где-то мирно, по-домашнему, лает собака. А вот в роще вечнозеленых дубов каменное здание с двумя колоннами. Легко догадаться – одна в честь Европы, другая – ее сестры. С обрывистого берега видна вода, напоминающая великий разлив великой реки. А за ней – земля, которая носит название женщины – Азии. Здесь кончилась страна Европы. Внизу у моря ждет челн.

Пора принести жертву местным богам, и путник, войдя в скромный храм Босфора, склоняется перед алтарем. Жрец или рыбак приносит петуха, голубя, может быть – рыбу. Пламя уносит запах жертвы, которым наслаждаются боги и питаются тени героев. Хозяин и гость по-братски делят между собой жертвенное мясо, потому что в те времена воинственный палестинский бог, ограничиваясь властью над одним малочисленным народом, еще не успел заразить нетерпимостью другие. Прочие боги, из которых иные были куда кровожаднее Единого Всевышнего, меньше его боялись соперников.

В дар храму путник приносил серебряный кружочек, кусок бронзы или железа или еще что-либо. Боги берут дань от достатка людей, а вещи изменяют цену. Меняются и боги в течении реки времен. Кажется только, что никогда не изменялись имена двух женщин-сестер, Европы и Азии. Несколько звуков в неистощимой памяти о единстве людей-потомков. Имена умерших нельзя изменить.

Редко кто бросает очаг и богов очага из одного любопытства.

Жрец и путник, воздав должное покровителям, обменивались полезными сведениями. Звучали слова, обозначающие лен, кожи, масло, зерно, воск, амбру, сало... Тревожное наслаждение путешественника соединялось с мыслями о выгоде торговли.

В мире, населенном видениями и богами, так же нужно знать цены вещей и выгоды обмена.

Когда эллины попросили Аполлона Дельфийского указать место для новой колонии, бог ответил:

– Против жилища слепцов.

Тогда на азиатском берегу уже сидели в городке Халкедоне выходцы из Мегары. Они «проглядели» великолепную бухту на противоположном европейском берегу, названную впоследствии Золотым Рогом.

Не будем оспаривать предания былых дней...

Удачно сев на торговых путях, Византия, обладательница естественного порта, названного по праву Золотым, быстро затмила Халкедон. Роще священных кипарисов на холме пришлось уступать свое место акрополю-крепости, хранилищу монет, товаров и – богов.

Дальновидно избрав лучший город Востока для новой столицы, император Константин, подражая Ромулу, сам наметил черту новой городской стены. Наметил не плугом, как, по преданию, Ромул обозначил границы будущего Рима, а копьем, на расстоянии сорока стадий от оконечности полуострова. Вскоре стене пришлось отступить еще на шесть стадий.

Не стало хода случайным путникам – Европу разлучили с Азией. Сто сорок боевых башен защищали стену, перепоясавшую перешеек. Восемьдесят башен стерегли стену, закрывшую город от моря. Башни эти были поставлены не так тесно, как на сухопутье, – лишь там, где, по мнению стратегов, возможна высадка врага. Хочешь мира – готовься к войне. Моря воды утекли с того дня, когда кто-то первым сказал эти слова. Много лет было и другим словам: «человек человеку – волк», – когда возводились византийские стены.

Сделавшись Вторым Римом, старая Византия перестраивалась. Воздвигались арки для новых акведуков, назначенных поить новые цистерны, соперничающие размерами с мандракиями новых портов.^[2] На конце полуострова уселась крепость Власти – Священный Палатий базилевсов. Собрание дворцов и храмов, соединенных крытыми переходами, домов охранных войск, жилищ избранных сановников, складов, садов. Также и обиталищ прислуги и работников, плотных и тесных, как осиные соты, кухонь, спален для гостей, конюшен простых и конюшен роскошных, хранилищ явной и тайной казны, погребов и тюрем рядом с погребями и под погребями – всего, что нужно Священному Палатию, чтобы действовать, есть, пить и спать на пользу империи и по этикету, приличному обители Божественных и Единственных владык империи.

Константин и первые базилевсы обязывали знатных людей переселяться во Второй Рим. Простым

людям были обещаны даровой хлеб, легкая жизнь, ежедневные развлечения ипподрома и театров. Ко времени базилевса Юстиниана Византия вмещала около ста миллионов жителей – почти один миллион подданных, считая и рабов.

Особенно много стараний было приложено к украшению Второго Рима. Вся империя совершенно добровольно, как это бывает в империях, выполняла строгие эдикты любимых базилевсов. В Византию из Италии, Эллады, Египта и других провинций плыли колонны, обделанные плиты порфиров, сиенитов, базальта, мрамора всех цветов. О статуях не приходится и говорить. Их красота, иной раз, ускользнув от топоров фанатиков-христиан, прельщала христианских владык. Общественное мнение обезвредило мрамор. Пошло и дальше: христианки, легкомысленные в общении с мужчинами, остерегались целомудренной статуи язычницы Венеры. Каждый византиец знал, что однажды ветер грубо сорвал платье с распущенной родственницы одной из базилисс, неосмотрительно прошедшей в опасной близости от бывшей богини любви.

Но – при всей стойкости преданий – люди забывчивы. Тезей и Геркулесы переименовывались в Георгия, победителя дракона. Неразлучные Кастор и Поллукс – в святых врачевателей Козьму и Дамиана, а Дионис – в святого Дионисия. Явился святой Вакхий, тезка веселого бога вина. Аполлон на колеснице Зари подошел для пророка Илии, живым взятого на небо.

Производились необходимые переделки статуй, срезались атрибуты богов, все эти нечестивые гроздья винограда, лиры, дубины... Попорченные места на мраморе, как и старые легенды, отшлифовывались по-новому. Кое-что приделывали на железных креплениях. И когда штифты, распухнув от ржавчины, сбрасывали добавки, привычка была уже создана.

2

В первые годы правления базилевса Льва Первого трое молодых людей в числе многих пришли в Византию за счастьем. По месту рождения они были иллирийцы, что же касается племени, то этим они и сами не интересовались, как пустяком, не имеющим никакого значения в империи. Объяснялись они на диалекте, распространенном среди чуждых грамоте земледельцев, смешном, но все же понятном для основного населения многоязычной Византии, где господствовали речь и письменность эллинов.

Старшему из них, Юстину, было, по его собственному мнению, года двадцать два, двое других считали себя младшими. Всем им равно приелась жизнь в труде и беспросветной бедности. Юстину удалось захватить с собой короткую шубу из кислых овчин, запаса он дубиной на случай встречи со зверем – человек нищему не страшен – и украл из отцовской кладовки немного хлеба, чтобы хватило хоть на первые дни. Да и хлеб-то был землистый, колкий от неотвеянной половы, переделанный из размоченных сухарей с примесью горсти свежей муки для связи. Не благословение – проклятия родителей напутствовали сына. Силачом вырос, спина прямая, руками вола свернет, но обманул, бросил стариков беззащитными перед жалкой дряхлостью, под розгой сборщика налогов. Не ждать ему счастья. Самим Христом сказано было, что лишь чтущему отца и мать своих бог пошлет блага земные и долговечную жизнь.

В горных местах не только люди – и звери ходят не там, где хотелось бы, и, конечно, не прямо, но раз навсегда повинуюсь горам. Тропой, которая и сегодня ведет человека с одного хребта на другой, ходили люди тысячелетия тому назад. И так же, как тогда, путь прекрасен тому, для кого он нов и – коль впереди светит надежда. Двадцать пять дней ходьбы для человека без ноши отделяли Юстина от Византии. Необходимость добывать пищу удлиняла дорогу. Для невзыскательных людей все годилось. Украденная овца или коза была сущим благословением бога. Нанявшись на три-четыре дня ворочать камни, бродяги обеспечивали себя на неделю.

Искатели удачи знали великую разницу между войсками палатийскими, расположенными во Втором Риме, и войсками провинциальными, охранявшими границы империи. Чтобы наняться в провинциальный отряд, не следовало тащиться так далеко. Но на границе хуже платили. А случаев потерять руку или ногу находилось больше, чем желательно разумному человеку.

Византия оглушила пришельцев. Они робко бродили около Палатия, не решаясь приблизиться, они страдали от сознания своего ничтожества, их мучило непонятное разочарование. В страшном городе они не рисковали красть, хотя для этого, казалось, достаточно было протянуть руку. На третий день изголодавшийся Юстин, втершись в свиту какого-то патрикия, решился влезть в Палатий.

Юстин вернулся уже в сумерки, когда товарищи успели мысленно похоронить его. Юстин не только был сыт, но покровительственно приказал товарищам следовать за ним. С этого часа о дальнейшей судьбе его спутников ничего не известно, что вовсе не значит, что с ними приключилось дурное. Просто из многих существований сохранились описания лишь выдающихся.

Высокий ростом, с фигурой и могучей и красивой, с приятным лицом, Юстин был зачислен в палатийское войско. Позднее базилевс Зенон, прозванный Исаврянином, включил Юстина в состав своих избранных солдат. Они назывались ипаспистами, то есть копьеносцами, щитonosцами, – гвардией базилевса или его полководцев. Из этих людей, которые были известны поименно, способности которых проявлялись на глазах их повелителя, избирались начальники отрядов и командующие армиями.

После смерти Исаврянина его соотечественники причинили много беспокойств империи и новому базилевсу Анастасию. Юстин оказался в числе начальствующих в войске ромеев, вторгнувшихся в Исаврию

– горы Малоазийского Тавра.

В этом же походе Юстин был обвинен командующим Иоанном Киртом – Горбачом в расхищении добычи, заключен в тюрьму, но вскоре обелен полностью. Случай в свое время был известен малому числу лиц. В дальнейшем ничто не мешало возвышению Юстина на службе в Палатии.

Недоразумение между командующим и подчиненным через многие годы стало многозначительной легендой, в которую люди сумели вложить свой взгляд на бога и власть, выразив его в символах времени. Вопреки опасности обвинения в оскорблении базилевса – шпионы кишели – подданные рассказывали:

– Не просто Иоанн Кирт помиловал виновного Юстина, но, повинувшись призраку, который повелел вернуть свободу и не преследовать человека, избранного сосудом для выполнения воли божьей... – И добавляли: – Страшное видение грозило Кирту карами в этой жизни и в той за противодействие воле божьей, ибо бог, исполнившись гнева на империю, хочет использовать Юстина и его близких как орудия наказания людей...

После исаврийского похода базилевс Анастасий поставил Юстина префектом всех палатийских войск, конных и пеших. На торжественном наречии Палатия эта должность именовалась «комес доместикорум милитум эквитум эт педитум». Из греко-латинского слова «комес» в дальнейшем франки сделали слово «конт» – «граф». Анастасий доверял Юстину – власть и возможности палатийского префекта были велики. Как в Первом Риме префект преторианцев, византийский комес доместикорум, выказав себя мятежником, мог бы распорядиться и престолом. Уже старик, Юстин научился плавать в мути дворцовых омутов, угрем ускользя от интриг коварных фаворитов, вечно озлобленных евнухов, избегал вмешиваться в распри духовенства, сдобренные фанатичными спорами о сущности бога и о взаимоотношениях сил внутри христианской троицы.

Споры о тонкостях вероисповедных догм происходили не только в дни Юстина. В первые века христианской империи и в дальнейшем прения о вере стоили жизни многим миллионам подданных Второго Рима.

Церковники подозревали базилевса Анастасия в ереси монофизитства, распространенной в азиатских владениях империи и среди византийского плебса. Монофизиты исповедовали, что в личности Христа слилось и божеское и человеческое. Правящая Церковь сочла правильной усложненную догму Никейского и Халкедонского соборов, требовавшую веровать, что эти два начала соединены в Христе нераздельно, но неслиянно. В пользу ловкости Юстина говорит то, что он был известен Византии как истовый кафолик, приверженец Правящей Церкви.

В массах христиан была распространена уверенность в том, что от правильности исповедания зависит, в аду или в раю протечет жизнь вечная. При общей вере в загробную жизнь только редкие единицы умели отвернуться от вопроса о догме. Из-за догмы возник мятеж в Александрии. Население перебило гарнизон. Патриарх Протерий был растерзан:

– Из-за твоего неправильного исповедания мы все пойдем в ад!

В год смерти базилевса Анастасия Юстину исполнилось семьдесят восемь лет. Старец префект уже давно вызвал родственников из иллирийских захолустьев, и его племянник Юстиниан не только получил хорошее образование, но и проделал некоторую дорогу на государственной службе.

В Византии родовая преемственность престола не предусматривалась законом и не существовала в сознании подданных. Брал власть тот, кто одолевал. Но самодержавие само по себе никем не оспаривалось. За исключением некоторых ничтожных по своему числу и влиянию образованных людей, кому еще мерещились отжившие призраки олигархических республик былой Эллады и старого Рима, массам подданных единовластие представлялось естественным состоянием государства. Хорош или плох

базилевс? Такой вопрос еще мог возникнуть у подданных империи. Но никто и нигде не противопоставлял самодержавию иную систему правления.

У постели умирающего Анастасия евнух Амантий, носивший звание блюстителя священной опочивальни – министр внутренних дел позднейших времен, – назвал преемника и вручил бесстрастному старцу префекту Юстину несколько тысяч фунтов золотой монеты для покупки доброй воли дворцовых войск. В казне базилевса лежало триста тысяч фунтов драгоценного металла: Анастасий был бережлив.

В сопровождении сорока человек, из которых каждый нес мешок с кентинарием – ста фунтами золота, Юстин устроил смотр палатийских отрядов и купил их в свою пользу. Потом резали опасных для нового базилевса сановников, под благовидным предлогом вызывали из провинции неблагонадежных полководцев, которым сначала льстили, а затем убивали. Происходило обычное очищение среди сановников, как сотни раз бывало до Юстина, как повторялось и после него в течение многих веков.

В самой Византии новый базилевс был принят с благословением кафолического духовенства. Провинции также приняли нового базилевса, и резня ограничилась пределами Палатия. Свой человек, племянник базилевса, Юстиниан был объявлен полководцем Востока. Он не водил войска – базилевс был стар и не следовало отлучаться из города. Юстиниан выбрал несколько начальников, которым доверялись военные действия; осторожный и дальновидный, племянник базилевса предпочел бы проиграть войну, чем сосредоточить опасное главнокомандование в одних и твердых руках. С этих лет становятся особенно очевидны усилия автократоров поддерживать в армиях рознь, спасительную для прочности престолов.

Базилевс Юстин, пользуясь верноподданнической помощью квестора Прокла, подписывал пурпурной краской эдикты, обводя вырезы в золотой – обязательно золотой! – дощечке. Вырезы изображали латинское слово «*леги*», что значит: «я прочел». Неграмотный базилевс ничего не мог прочесть, традиционная формула лгала, что, впрочем, бывало в той или иной форме чаще, чем привыкли думать подданные. Квестор Прокл славился в Палатии безупречной честностью, которая проще обычной, ибо заключается лишь в беспрекословном исполнении приказаний и в отсутствии своего мнения. К тому же интересы неграмотного дяди зорко охранял весьма грамотный племянник – Соправитель.

На ипподроме византийцев развлекали пышными и захватывающими состязаниями, играми, представлениями.

Вперемежку с конскими бегами подданные услаждались травлей медведей, африканских львов, пантер, диких нубийских быков. Щедро раздавались хлеб и деньги. Византия счастливо чествовала нового правителя, сменившего скупца Анастасия, который наполнил казну для непрошенных преемников.

Суета сует и всяческая суета, как сказал древний повелитель Палестины, один из богатейших владык своего времени.

3

Власть упрочилась. Именно тогда, в первые месяцы упоения ею, только с течением лет делающегося привычным, во время богослужения в старой базилике Софии Премудрости, в паутинно-серых струях ладана, в созвучных песнопениях хора, Соправителю явилось лицо женщины. В Византии было много красавиц, но это лицо, особенное, показалось Юстиниану цветком водяной лилии, поднявшимся в тумане над болотом. Соправитель осведомился. История Феодоры, изложенная в закругленных фразах евнуха, не удовлетворила любопытства Юстиниана. Дальнейшие действия Соправителя были тайны, как ход червя под землей. О них ничего не известно.

Зато подробно, очень точно, с дней раннего детства известна жизнь женщины, навсегда пленившей базилевса Юстиниана.

В христианской империи конские бега заменили бой гладиаторов, и арена^[3] вытянулась в овал ипподрома. Византийский ипподром своими размерами превзошел римский Колизей Колоссальный. Под амфитеатром каменных скамей-трибун скрывался маленький город: клетки для диких зверей, травлей которых зрители-христиане столь же увлекались, как их языческие предшественники, конюшни, склады, жилье для прислуги. В этом пропахшем нечистотами мирке и родилась Феодора, но это ей не в упрек.

Акакий, отец будущей базилиссы, служил смотрителем зверей прасинов – зеленых, одной из «партий ипподрома». Акакий занимался и уборкой ипподрома.

Корзины для мусора наполнялись не одними объедками, пригодными для кормежки зверей и собственного потребления уборщиков. Находились целые фрукты, печенье, хлебцы, куски жареного и вяленого мяса, сала, подходящие для продажи.^[4] В мусоре попадались монеты, драгоценности, гребни, флаконы с ароматами – все, что могут потерять люди, обезумевшие от бега квадриг. Частые драки между приверженцами состязующихся тоже оставляли не одни трупы и кровь на камне трибун.

Когда Акакий безнадежно заболел, его будущая вдова избрала одного из многих желающих женитьбой наследовать выгоднейшую должность. Но главный распорядитель хозяйства прасинов мим Астерий, подкупленный отвергнутым вдовой претендентом, решил по-иному. Осталась последняя надежда – добиться милости зрителей.

Однажды перед началом зрелищ заплаканная женщина и три девочки встретили византийцев, спешивших занять места. Женщина стояла в униженной позе, как бы прося подаяния, девочки, лоя прохожих за одежду, кричали:

– Взгляни и сжался над детьми усопшего в боге Акакия! Дайте хлеб и кров несчастным сиротам. Сжальтесь!

На головах просящих были венки из увядших цветов, в руках – мятые гирлянды зелени: знак тех, кто ищет милости зрителей.

Младшей, Анастасии, было семь лет, Феодоре – девять, старшей, Комито, – тринадцать. Феодора не забыла рук, отбрасывавших ее как помеху, запомнила ругань, пинки. Прасины презрели мольбы детей. Взяли чужие, венеты, синие. У них тоже умер надсмотрщик, и его место получил вотчим сирот. Во всем этом нет упрека Феодоре.

Девочки, которые привыкли дышать острым смрадом хищных зверей, по сравнению с чем запах скаковых конюшен кажется фимиамом, девочки, которые умывались из грязного ведра, если вообще они умывались, девочки, которые привыкли утолять голод кусками, подобранными на трибунах, со следами подошв и плевков, – расцветали красавицами, как пионы и гиацинты на навозе. Мать поспешила

пристроить старшую, Комито, в труппу мимов. Девушка имела успех и состоятельных покровителей. Феодора следовала повсюду за старшей сестрой, как рабыня – в хитоне с длинными рукавами, прислуживая и присматриваясь.

В христианской империи театр оказался необходимым, как и в языческой. Светочи христианства проклинали лицедейство, но не могли его искоренить. В мире языческом актриса могла сохранить уважение к себе и пользоваться уважением общества. В христианском – она была объявлена блудницей и блудницей стала, проклятие исполнилось. Грех оказался сильнее проповеди, его терпели; мирянин впадал в заблуждение с блудницей, очищался исповедью и причастием, вновь грешил, вновь получал прощение. Но для девушки, прикоснувшейся к театру, возврата не было.

Именно поэтому, будучи еще незрелым подростком, Феодора считала естественным за деньги отдавать себя. Она зарабатывала на жизнь, как другие, такие же, как она, и иного она не знала в столице империи, богатой храмами святых и убежищами монахов.

Она обладала могучим здоровьем, изумительной стойкостью, терпеливостью. Другие, как и ее сестры, быстро сгорали, а Феодора хорошела и хорошела. В шестнадцать лет она казалась ангелом, каких творило воображение верующих, а иногда и кисть живописца. Она была уверена в своем обаянии и не захотела, как другие, учиться петь, танцевать, свистеть на флейте или овладеть струнными инструментами. Ведь все это приводило лишь к одному – повелевать страстями мужчины. Она училась этому искусству, главному. И достигла цели: приблизившийся к ней однажды искал и искал новых встреч.

Выступая с мимами на эстраде, Феодора привлекала общее внимание: она была всегда неожиданно остроумна и не стыдилась ничего. Когда по ходу пьесы ее били по щекам, она смешила. И вдруг заставляла зрителей замирать от какого-либо нежданно-бесстыдного движения или намека. В ней поистине потрясало выражение невинности в сочетании с утонченной смелостью, обещавшее всем и каждому в отдельности нечто необычайно греховное. В ней проявлялось дьявольское, она казалась дочерью Лилит, а не земной женщины. Ей было позволено то, что у другой было просто гадостью.

Феодора не знала усталости, под гладкой, без единого порока кожей скрывались мускулы из бронзы, сердце носильщика гранитных плит, желудок волка и легкие дельфина. Ни одна болезнь не приставала к этому телу.

Законы христианской империи воспрещали выступления на арене полностью обнаженных женщин. Однако же в Византии действовал театр под откровенным названием – Порнай. Проклятый служителями церкви, театр продолжал существовать, и одной из его опор сделалась Феодора. Закон кончался на пороге Порная.

Молодая женщина завоевала черную славу бесславия. Случайное прикосновение к ее одежде уже оскверняло. Случайная встреча с Феодорой утром считалась дурной приметой на весь день. Сотоварки, менее удачливые, чем Феодора, ненавидели актрису: тонкая наблюдательность Феодоры наделяла их обидными прозвищами, которые прилипали на всю жизнь.

Патрикий Гекебол, человек немолодой, но исполненный веры в силу христианского раскаянья, влюбился в Феодору. По примеру многих влюбленных он вселил в актрису Порная евангельскую Марию Магдалину. Патрикий уезжал. Базилевс Юстин назначил его префектом Ливийского Пентаполиса, области пяти городов Ливии.

Патрикий тщился соединить порывы поздней страсти со спасением двух душ. И в том и в другом он оказался несостоятельным. Постаревший за несколько месяцев на годы, истощенный, пресыщенный, Гекебол выместил свое жалкое бессилие на неудачливой Магдалине.

Префект – он указом изгнал блудницу из Ливии. Феодора добралась до Александрии на купеческом

судне, платя сирийцу-хозяину своим телом.

Скитаясь по Малой Азии, Феодора упала до последнего разряда, цена которому два медных обола. Тогда в золотом статере еще считали двести десять оболон.

Круг завершился, Феодора вернулась в Византию, где слишком многие познали ее и где все слышали о ней. Иной возвращается неузнаваемым. Феодора осталась собой – считали, что жемчужина, забытая на годы в клоаке, не теряет блеска. Феодора сумела принести горсточку статеров в поясе-копилке, который надевали на голое тело, и уверенность в бессмыслице, в глупости своей жизни: хоть и поздно, но опыт с префектом Ливийского Пантаполиса научил ее многому. Много было обдуманно и в тяжких скитаниях по старым греко-римским городам Малой Азии.

Как и в Риме италийском, в Византии было много четырех- и пятиэтажных домов, построенных богатыми, чтобы наживаться на сдаче жилья внаем. Феодора наняла комнату, похожую на стойло или на монастырскую келью.

Доска на двух чурбаках, застеленная куском грубой ткани из тех, что выделывают сарацины-арабы, ящик, на котором можно сидеть и где можно спрятать скудное имущество, две глиняные чашки и кувшин для воды – такова была обстановка, в которой началась новая жизнь.

В хитоне из небеленого холста, со скрещенными руками, с опущенной головой – наедине ей приходилось заниматься гимнастикой, чтобы сохранить прямизну спины, – Феодора не пропускала ни одной службы в Софии Премудрости, что рядом с Палатием. Женщину слишком знали в Византии, и долгие месяцы она подвергалась насмешкам, от нее гадливо сторонились священники, отказывая в причастии. Феодора терпела. Евтихий, пресвитер Софии, сжалившись, наложил на кающуюся тяжкую епитимью. Хлеб и вода и десятки тысяч поклонов перед образом Марии Магдалины, назойливо напоминавшей Феодоре о Гекеболе. Так много глаз следило за Феодорой, что епитимья была неподдельной, а искушения, непреклонно отвергнутые ею, стали известными.

Кающаяся грешница исхудала, но здоровье не выдало, и Феодора сделалась еще красивее, чем была. Закон был суров, сколько бы ни каялась блудница, для нее не было возврата, кара смягчалась в настоящей жизни, вечной, но не в этой земной, временной.

Евтихий милосердно позаботился о честном труде для грешницы. Ее оскверненным рукам нельзя было доверить облачение клира; она шила хитоны для отрядов палатийских войск, но и то не всех, а лишь на вербованных среди племен варваров.

Наконец ее допустили к причастию.

Феодоре был нужен второй Гекебол, богатый, могущественный. С ним она не повторит ошибок, совершенных с первым. Она сумеет овладеть его чувствами и разумом через чувства. Другой дороги для нее нет.

Впервые Юстиниан и Феодора встретились на загородной вилле. Женщину доставили сюда доверенные евнухи Палатия. Она не противилась, зная, что отказ будет сломлен насильем.

Задолго до встречи будущего базилевса, тогда еще Соправителя своего дяди Юстина, и бывшей актрисы Порная остывшие сердцем мудрецы Леванта, стараясь объяснить стремление мужчины к женщине и женщины к мужчине, придумали рациональную, на их взгляд, теорию о половинках душ, вложенных богом в тела людей. Любовь есть поиск своей половины, ошибки любви – ошибки поиска. Так просто, так все оправдано для всех, навсегда...

Через несколько месяцев после первой встречи Юстиниана и Феодоры базилевс Юстин изобразил *леги* под эдиктом о присвоении Феодоре звания патрикии. Новая патрикия обладала домом в Византии и той самой виллой, где произошла первая встреча. Десятки кентинариев государственной казны превратились в позолоченную скорлупу возлюбленной Юстиниана. Деньги и роскошь любовник может дать, может и отнять. Влюбленные задумали связать себя браком. Кафолическая церковь не признавала развода.

Закон запрещал верующим христианам браки с женщинами дурного поведения. Жена Юстина, базилисса Евфимия, пришла в ярость при вести о намерении племянника мужа. Сам Юстин некогда сделал пленницу Евфимию своей наложницей, затем женился на ней. Тогда она носила имя Луппицины. С врожденным у варваров упрямством Евфимия-Луппицина заставила Юстиниана дожидаться ее смерти. Вдовец Юстин утвердил новый эдикт. Отныне, памятуя заветы Христа и милосердие божие, империя возвращала все права блудницам, когда они доказывали примерным целомудрием отказ от пути греха. На голову Феодоры поднялась диадема базилисс.

Юстин еще жил, его имя еще стояло на эдиктах, еще длилось правление Юстина: византийцы считали годы по базилевсам и налоговым периодам. Но Юстиниан правил один. Душа медленно, неохотно расставалась с телом старого базилевса.

Не шевелясь, он лежал на спине, пугающе громадный скелет под императорским пурпуром. Его длинные волосы бережно раскладывали на подушке, чтобы они образовывали нимб-сияние, как на иконах святого Юстина-мученика, автора благочестивого труда «Возвеличение веры Христовой». Память того Юстина, замученного язычниками (в год шестьдесят седьмой от рождения Христа, а от сотворения мира в году пять тысяч шестьсот шестидесятом), славилась церковью тринадцатого апреля. Этот день отмечался особо, как тезоименитство правящего базилевса. Но сам базилевс уже не помнил имени своего святого.

В самое разное время и не однажды в день Юстиниан навещал своего дядю-Соправителя.

Он вглядывался в иссохшее лицо с пропастью беззубого рта – подбородок отваливался, как у мертвого, и рот казался черным провалом внутрь тела. Юстиниан ловил взгляд тусклых, налитых водой глаз. Зрачки напоминали плохо полированное стекло, морщины были как железные, хотя лицо и тело базилевса мыли душистым уксусом, умащивали нежными мазями из кашалотового воска, воды и розового масла.

– Как твоя душа, божественный? – спрашивал Юстиниан.

Громкое дыхание прерывалось, базилевс тщился произнести нечто. Юстиниан склонялся, вслушивался. Однажды он уловил:

– ...раньше ушел бы... если бы знал... уйти хочу...

Уйти не давали. Несколько раз в день двое врачей осторожно откидывали императорский пурпур, поднимали белоснежные простыни. И внезапно через побежденный запах роз грубо, как меч, пробивалось тяжкое зловоние.

Сильные рабы медленно, чтобы старик не почувствовал, подсовывали руки в перчатках из нежного меха и, не дыша, согласным усилием, не поднимали – возносили громадный костяк. И все же Юстин жалобно кричал:

– Ай-ай-ай!..

Юстиниан понимал, что старец кричит не от боли. От отчаяния жаловалось тело, слишком зажившееся

на этом свете. Юстин не хотел, чтобы его трогали. В неподвижности он, может быть, еще создавал себе сон-мечту. Уложенный на чистое полотно базилевс ловил воздух кистями рук, что-то нащупывал. Встретив протянутую руку племянника, старец оттягивал свою, подобно улитке, которая, ощутив жар уголька, сжимает и прячет в раковину рогатую голову с трепещущими щупальцами слепых глаз.

Да, никто не мог сказать, что молодой базилевс забросил старого, поручив его заботам наемников. Для Юстиниана дядя был больше отца с матерью. Чтущему родителей своих будет благо, и долголетен он будет на земле.

И жизнь в Юстине еще тлела.

Трижды в день священники и раз в неделю сам патриарх отправляли богослужение у ложа базилевса Юстина, ежедневно его причащали тела и крови Христовых. Поистине он был счастлив, освобожденный от груза греховности. А то, что он не мог умереть, касалось его, не Юстиниана.

Иногда, вздрогнув, Юстиниан от ложа старца торопился прямо в Священную Опочивальню Феодоры-базилиссы.

Молча его приветствовала стража, молча, скрестив руки на груди, склонялись евнухи в приемной базилиссы, склонялись сенаторы, патрикии, военачальники, которые часами изнывали в тесном коридоре около приемной в надежде увидеть лицо базилиссы.

За приемной начиналась святая святых, у входа сторожили черные и белые колоссы-спафарии испытанной силы и проверенной преданности. Следующие залы, кроме базилевса, были доступны только избранным евнухам, отборным рабыням, приближенным наперсницам и слепым массажистам. Здесь на стенах зеркала в форме дисков, прямоугольников, многоконечных звезд, грандиозных цветов удивительно расширяли пространство. Полированное серебро множило сияние рубиновых и сапфировых лампад, повторяя и передавая лики святых на иконах, фигуру самого базилевса, окованные позолоченными полосами железа шкафы, лари, сундуки с имуществом базилиссы и ее казной, обильной новенькими статерами, знавшими прикосновение только рук монетного мастера и казначея.

Рука базилевса откидывала последний занавес.

Империя, особенно Византия, была набита шпионами базилевса, доносчиками городских префектов, ищейками палатийского префекта и других сановников. Не следовало рассуждать о чем-либо, не касавшемся личных дел собеседников.

По слабости человеческой, поджигающей и поджигавшей любопытство или любознательность, народ болтал о секретах власти, о магической силе Феодоры, околдовавшей Юстиниана. Поговорил – и забыл. Бесспорно одно; так называемая «вся» Византия видала Феодору на театрах участницей сцен, позорных для женской скромности; многие пользовались ее «милостями». Ныне же все склонилось перед базилиссой. По этикету ее приветствовали целованием ног.

Таясь от самых близких, очевидец писал:

«Никто из сенаторов, видя позор империи, не решался высказать порицание и воспротивиться: все поклонялись Феодоре, как божеству. Ни один из священнослужителей не протестовал открыто и громко, и они все беспрекословно были готовы провозглашать ее владычицей. А тот народ, который видел ее выступления на театре, немедленно и до неприличия просто счел справедливым сделаться ее рабом и поклоняться ей. Ни один воин не исполнился гневом при мысли, что он умирает в бою лишь за благополучие Феодоры. Все, кого я знаю, преклонились перед предназначением свыше, и каждый, я

видел, содействовал общему осквернению государства...»

Некоторые позднейшие писатели, наивно судя о событиях прошлого с точки зрения своего времени, утверждали, что Феодора не была куртизанкой, ибо в таком случае Юстиниан не решился бы из страха перед общественным мнением сделать ее базилиссой. Эти историки не знали, что нет невозможного для самодержавной власти и что бывали эпохи, когда так называемое общественное мнение отсутствовало полностью.

Вероятно, любви не учатся по книгам. Конечно же, не встреча блуждающих половинок душ, не магические чары и приворотные напитки сделали опытной куртизанку Феодору женой базилевса и его соправительницей. Мудрейшая, она умела дать своему супругу ощущение великой силы мужественности.

Базилисса, следуя советам опытных врачей, принимала особую пищу и много спала. Для базилевса же она всегда бодрствовала. Разумно и вкрадчиво она давала хорошие советы, уместные и ожидаемые. Юстиниан покидал Феодору, зная: он сам велик и лишь от его воли зависит длить и длить счастье жизни даже сверх обычной человеческой доли.

4

Базилевс Юстиниан, Божественный, Единственный, Несравненный, спал очень мало. Деятельный, подвижный, действительно он обладал сверхчеловеческой выносливостью.

Базилевс уделял чрезвычайное внимание законам, во всяком случае не меньшее, чем делам религии или делам войны. Законы обеспечивали поступление налогов, золото есть кровь империи. Уже осуществлялся единственный в истории труд, собирались, проверялись, исправлялись старые законы для единого свода – кодекса Юстиниана. Издавали новые законы, пояснения, уточнения. Квестор Палатия легист Трибониан служил главным орудием законодательной деятельности Юстиниана.

– Уже трудно постичь разницу между сервом и приписным. Оба одинаково находятся во власти владельца земли или в моей, если они сидят в моих владениях. Разве только одно: иногда серв может получить отпускную, а приписной – нет. Приписной уходит от владельца вместе с куском земли, которая может быть продана. Для него лишь изменяется лицо господина, – говорил Юстиниан квестору Трибониану.

Квестор, человек тонкого воспитания, умел не глазеть в упор на базилевса, как это делали грубые солдаты. Короткий взмах ресниц, внимательное, но не назойливое выражение лица, улыбка скромная, почтительная, которая не кривила губы лишь по приказу этикета, но как бы следовала за мыслью автократора, – все это легко давалось Трибониану. Он без внутренней фальши обожал Величайшего.

Юстиниан любил себя. Его сильный, гибкий ум был укреплен безусловной верой в собственное совершенство, в непогрешимость. Взирая на всех как с вершины, доступной лишь для него, базилевс не нуждался ни в позе, ни в резкости. Он как бог, все остальные слабы и грешны. Поэтому базилевс мог быть естественно мягким, мог терпеть чужую тупость, медлительность. На самом деле! Ведь эти, они, которыми он должен пользоваться, таковы по своей ничтожной природе. Так объяснялась сила личного обаяния Юстиниана, казавшаяся издали колдовской. Ведь Божественный даже прощал, и прощал необычайно многое. Кроме одного: святотатственного покушения на его диадему. Пусть лучше погибнет сто невиновных, чем увернется один виноватый.

Трибониан считал, что Божественный гениально понимал дух законов. Сейчас Юстиниан коснулся одной из главнейших вещей – отношения человека к земле. «Вернее, – внутренне поправился квестор, уточняя выражение, – связи между пашней и работником. Главный источник доходов империи – пашня».

Трибониан знал, что в древности свободный земледелец-колон – римский гражданин был членом уважаемого сословия республики и ее опорой. Сила Рима жила в войске, сила войска – в свободных по рождению легионерах, из земледельцев-колонов, способных ограбить любое государство для обогащения своего. Еще при республике в законах начали появляться особенности. При императорах, подобно слоям речного ила, копились изменения мелкие, малозаметные каждое в отдельности, учащались оговорки, ссылки, умолчания. С настойчивостью воды законы растворяли и уносили права свободных земледельцев. Законы работали не клыками произвола, а зубами мелкими, как песчинки. Они терли, а не грызли, они отъедали понемногу, и каждый укус в отдельности не причинял боли.

Свободный земледелец-колон переставал упоминаться в установлениях, которые определяли права подданных при вступлении в брак и на наследование имущества, право распоряжаться собственностью, заключать договоры. Ранее колон пользовался неограниченной потомственной свободой. В дальнейшем как-то само собой получилось, что лично свободный колон уже не передавал положение свободного человека сыну. Мимоходом упоминалось, что колон не может считаться стороной на суде, не может заключить договор на поставку материалов, товаров. Кроме колонов, появились новые земледельцы –

приписные. В приписного превратился ранее свободный человек, отныне бессрочно закрепленный на земле того владельца, где его застал закон. Приписной как будто бы занял среднее положение, втиснувшись между рабом и колоном. Но между самим колоном и приписным оставалось не больше различия, как между приписным и сервом-рабом «сидящим на пашне», в отличие от раба в доме, употребляемого владельцем для ремесла или личных услуг.

Рабство как бы само засасывало подданных империи, и стыдливый закон умел не называть вещи своими именами. Все – для общего блага. Законы делали вид, что лишь признают естественно сложившиеся формы, не более. Подданные платили десятки податей разных видов, власть же понимала, что именно обработанная земля служит источником всех доходов, поэтому нельзя было уходить с земли, как бы ни именовалась сама подать. Одинаково ловили и водворяли обратно и колона, и приписного, и серва. Желавший жениться на женщине из сословия колонов обязан был для начала засвидетельствовать перед властями свое согласие прикрепиться к земле: прежде брака с женщиной заключался брак с пашней.

– Да, Божественный, – говорил Трибониан, – только пашня владеет земледельцем. Легист, помня это, легко применяет законы. Пусть же невежда впадает в самоутешение, серв пусть завидует приписному, приписной – колону. Все люди тешатся званьями.

– Бог от века благословил землю и труд земледельца, – размышлял Юстиниан вслух. – Мои законы всегда должны защищать право земли быть обработанной. Это не противоречит свободе людей, установленной Христом. Не противоречит, говорю я! Выражай это в законах!

– Конечно же, Божественный! – воскликнул Трибониан. – Долг земле есть извечный закон бога, данный Адаму. Бог совершил нерасторжимый брак пашни с трудом человека.

– Благо империи есть благо людей, понимаемое через благо империи, – с удовольствием говорил Юстиниан. – Благосостояние подданного зависит от исполнения его обязанностей к империи, определенных моей волей через законы. Я, ты знаешь, позволяю многое... тем, кто полезен империи. Запиши: кто примет бежавшего колона – вернет его и заплатит два фунта золота прежнему хозяину как владельцу земли.

– Единственнопремудрейший, я понимаю. Хозяин получает колона обратно не как владелец его личности – лично колон свободен, – но как представитель земли, пашни.

– И, – продолжал Юстиниан, – нельзя давать право случайному, понимаешь, случайному владельцу земельных угодий говорить о потерях от бегства колонов. Два фунта золота! Пусть ищет беглецов. Но пусть не смеет просить о снижении налога. Я не допущу, чтобы владельцы зазнавались. Они подданные, как все.

– Несравненный, ты можешь превратить любого собственника в колона, у тебя есть великое право конфискации.

Юстиниан мог прилечь, сказав себе: «Я проснусь через четверть часа», – засыпал мгновенно и вставал свежим, будто спал целую ночь. Базилевс лежал на боку, положив щеку на ладонь.

Оберегая сон владыки, Трибониан глядел на стенную живопись. Ее содержание много говорило человеку, по праву славившемуся как не имеющий равных в знании законов империи, начиная с первых постановлений Италийской республики, записанных впоследствии по изустному преданию. На одной стене полководцы приводят к базилевсу покоренных владык и побежденные племена; на другом – исполин базилевс, как египетский фараон, держит за волосы крохотных пленников. Но самым значительным для Трибониана была икона святого Георгия: победитель дракона имел черты лица Юстиниана.

«Да, империя развивалась последовательно, – думал Трибониан. – Еще Юлий Цезарь, побывав в Египте, понял, что нужно императору: он сделал себя Понтифексом Максимусом, Великим Жрецом, и объявил народу о божественности своего происхождения. По матери Цезарь считал себя потомком Нумы, по отцу – Венеры. Цезарь правильно начал. Забыв об охране, он пал, дав преемникам урок о необходимости бдительности. Но кинжалы убийц не доказали их правоту...»

«Как же было далее, – спрашивал себя Трибониан. – Последующие императоры объявили себя богами. Но преемник сбрасывал статую предшествующего бога. Почему? Не было настоящей опоры на небе. Последний из них, Диоклетиан, объявив себя сыном Юпитера, попробовал путем усыновления создать круг богов. Он научился этому тоже у Египта, размышляя о старых фараонах. Но и Диоклетиан потерпел неудачу. Хотя он особенно ясно понимал, что народы нуждаются в твердой власти, тверда же лишь обожествленная власть...»

Возложенный на Трибониана труд по сбору, проверке, отбору и приведению в стройный вид римских законов сделал из него историка. Лучше, чем кто-либо, Трибониан умом легиста-законоведа понимал тонкие ходы, которыми прокладывал свой путь к власти первый император-христианин Константин. В своей борьбе с другими претендентами Константин объявил себя поклонником Солнца. Ведь его опора – галльские легионы – имела в своих рядах большое число поклонников этого культа. Им объяснили, что Константин происходит из рода древнейших поклонников Солнца, как его знаменитый предок Клавдий Тиберий Друз. И все же это была старая дорога. «Гениальность, – думал Трибониан, – заключается в нахождении нового». Константин, принеся в Византию Солнце, заметил, что в умах людей явно гаснут языческие верования. Нельзя было не замечать христианства, овладевшего чувствами большинства подданных. И вот сияние Солнца затмилось Христом Пантократором. Константин нашел новую опору для императоров. Просто как будто бы? Нет, Трибониан понимал, как все это трудно, как много нужно труда и времени, чтобы слово стало действительно делом.

И для Трибониана единственным из всех императоров и первым способным сделать власть базилевса действительно божественной был Юстиниан.

Юстиниан открыл глаза, такие ясные, будто он и не спал. Трибониан бережно обнял ноги базилевса и с дрожью восторга произнес:

– Я боялся, Величайший, что бог сейчас возьмет тебя живым в свое лоно. Мне, смертному, уже виделось раскрывшееся небо. Ты проснулся, Святейший, ты с нами. Прости мое ничтожество!

Трибониан плакал:

– Знаю, по превосходству твоей природы ты равен величию божеству, ты подобен Христу. Поднявшись ввысь над бездной человеческого моря, ты узнал, что прекрасно в небе; будучи еще во плоти, ты беседуешь с бесплотными. Ты достигнул престола, видя, насколько Вселенная нуждается в твоей власти.

Юстиниан приподнялся, квестор отступил. Его слезы высохли, но экстаз продолжался:

– Когда ты покоришь Вселенную, лишь тогда, освободившись от подверженного страданиям тела, ты вознесешься на лучезарной колеснице и в бурных вихрях достигнешь родной обители эфирного света, откуда ты, будто заблудившись, нисшел в человеческое тело, чтобы спасти империю и весь мир...

Базилевс протянул руку. Как иконы, Трибониан коснулся губами пальцев Божественного. Юстиниан погладил голову верного слуги.

– Ты понимаешь меня. Где мой Каппадокиец?

– Он ждет, Божественный.

Все знали, что базилевс, прервав дело, возобновляет его там, где остановился. Он все помнил, ничего не забывал.

Начальник дворца префект Иоанн, прозванный Каппадокийцем по месту рождения в отличие от многих других Иоаннов, был человеком иного происхождения и другой внешности, чем сухощавый, изящный патрикий Трибониан.

Иоанн Каппадокиец писал бойко, не задумываясь над грамматикой, – было бы понятно. Считать он умел с чрезвычайной быстротой, а точностью мог поспорить с любым хранителем государственных складов, с любым апографом – управляющим сбором налогов, и даже с сирийским купцом. Вся остальная наука в его глазах была глупым сором. Грубый телом, большеротый, с крупной бородавкой на кончике толстого носа – ненавистники прозвали его Ринокерасом – Носорогом, – Иоанн Каппадокиец любил говорить:

– Нет добра, нет зла. Есть польза Божественного или вред. Базилевс есть проявление бога на земле. Чего еще тебе нужно?

Трибониан откинул засов из кованой меди, изображавший человеческую руку, и пальцами пробежал по краю стены, разыскивая тайные выступы. Секретные запоры, невидимые для непосвященных, были устроены в некоторых залах и кубикулах палатийских дворцов. В Египте еще сохранялось кое-где редкостное умение прятать в стенах замки, управляемые легким нажатием руки, но чрезвычайно прочные. Щедро вознагражденных египетских мастеров погубила буря около устьев Нила.

Впустив Каппадокийца, квестор отошел в сторону и вынул таблички для заметок. Даже когда удастся создать систему законов, стройную, как небесная иерархия, законодатель не может остановиться: применение нуждается в новых и новых определениях, разъяснениях. Наиболее сложен вопрос о собственности. Частная собственность, естественно, служит и должна служить основой всех взаимоотношений между людьми. Собственность нуждается в непрерывной защите, и вместе с тем собственники входят в постоянное противоречие с Властью. В своем роде, считал Трибониан, история Первого Рима есть история борьбы императоров с собственниками. Здесь крылась интереснейшая проблема.

Слова Каппадокийца прервали размышления квестора. Иоанн говорил низким голосом, подходившим к его тяжелой фигуре:

– Августейший! Великодушно щадить виновных – таково свойство человеческой природы. Но не щадить невинных – вот истинное богоподобие. Необычайность наказания есть средство: подвластные удерживаются страхом. Не все ли равно, на кого падают удары? Важно, чтобы все боялись. Город? Да он полон дряни. Пусть же она выплескивается наружу.

Прислушиваясь, Трибониан одобрительно кивал. Так, так, наказание есть устрашение, поэтому полезны даже ошибки. Закон есть идеальное целое, подобно троице святой, в сущности своей нераздельной. Но применение закона есть воплощение духа в грубость плоти, необходимость заменяет закон временными мерами. Базилевс руками верных людей осуществляет благодетельный произвол; произвол же – это божественная прерогатива единовластия. Базилевс стоит выше закона, его непогрешимое решение всегда законно. Ибо его действие или исправляет закон, или вводит новый. Следовательно, базилевс никогда не бывает нарушителем закона – вот и доказательство его непогрешимости! А право на беспощадность к невинным? Трибониан помнил урок Книги Бытия: разгневанный бог потопил все необычайно размножившееся человечество, кроме Ноя с семьей. Опытнейший легист Трибониан понимал, что среди мириадов мириадов утонувших большинство было ни в

чем не повинно, ибо преступление нагло, а добродетель скромна. Священное писание дает много и других примеров истребления невинных по воле бога. Да! Каппадокиец прав! Именно беспощадность к невинным есть признак божественности, что подтверждается непререкаемыми свидетельствами Церкви.

5

Византийские купцы вели торг по кавказскому побережью, доплывая до Питуунта, маленького полуострова под высоким хребтом, знаменитого особенными соснами, которые от сотворения мира росли только там и считались неприкосновенными. Другие корабли поворачивали после Босфора влево. На одной из них подданный империи Малх занял место гребца.

Щиколотку ноги Малха держало кольцо, обмотанное рыжей от ржавчины холстиной, чтобы железо не грызло кожу: к чему хозяину терзать полезное животное? Гребцов, и вольных и прикованных, кормили досыта. Вода, как всегда в плаваниях, была теплой, затхлой, но другой не было ни для кого.

«Я жив, – утешал себя гребец. – Меня могли сжечь. И – не сожгли! – Раскачиваясь в ритме общей работы, Малх помогал себе словами собственной команды: – Согнись, разогнись, тяни, нажми, вниз, вперед...» Он старательно учился новой работе, чтобы избавиться от необходимости думать о ней. Вскоре гребец начал утешаться рассуждениями: владыки, искренне уверенные в справедливости вознесшего их божественного произвола, все же страдают от подозрений, что все хотят покуситься на их жизнь и на их власть.

Лет тридцать пять тому назад восприемники младенца, нареченного Малхом, у святой купели отреклись за него от Дьявола, после чего новорожденный стал подданным христианской империи. В развалившихся Афинах дом родителей Малха казался еще пригодным только потому, что его окружали совершенные уже руины. Мальчик привык думать, что таков мир вообще. Потом он узнал, что прежде людей было много, но они разучились рождаться. И на самом деле, он не видел семей, где было бы больше двух живых детей. Чаще – один.

Город содержал нескольких философов, примирявших христианство с мудростью Аристотеля и Платона. Содержал город и учителей грамоты, скромные обязанности одного из которых исполнял отец Малха. Плата за труд была небольшая. Академия давала ему всего тридцать фунтов зерна в месяц. Отец рассказывал, что и в былой Элладе не хватало своего хлеба. Ныне в Афинах жила едва десятая часть прежнего населения, а хлеб был такой же редкостью: такова Судьба. Муку смешивали с масличным жмыхом, лепешки жевали медленно, чтобы не сломать зубы о косточки.

Отец, мать и сын мотыжили соседний пустырь, выращивали овощи. Три десятка корявых маслин давали масло. Семья жила в крайней бедности, что Малху объясняло лишь чтение, – сам он был счастлив, не испытав другой жизни. Море разнообразило скудный стол. Плоды его – рыбы, крабы и раковины – были обильны и почти все съедобны.

Малх очень рано научился вертеть жернов и читать. Лет десяти он уже был способен списать какую-нибудь надпись на камне, наполовину утонувшем в красную землю Эллады. Отец объяснял смысл, если сам понимал.

В Академии хранились книги Гомера и Геродота, Эсхила, Софокла, Еврипида и многих других. Пользование ими было разрешено отцу Малха. Кое-что находилось и дома: целые списки, обветшавшие отрывки без начала и конца, чьи-то мысли, как надписи на камнях и памятниках.

Позже, когда кончилась юность и Малх был далеко от родительских могил, он постиг душевные муки отца, терзаемого желанием просветить сына и страхом за судьбу просвещенного. Духовенство злобилось на Академию, называя ее наследием язычества, прибежищем ложной мудрости. На имевших к ней отношение доносили как на тайных еретиков, скрыто совершавших обряды осужденной богом религии эллинов.

Философы оправдывались: если в глухих местах империи еще мог соблюдаться языческий ритуал, то никто из просвещенных эллинов не считал возможным возврат к прошлому.

Впоследствии Малх признал не правоту, но верность чутья невежественного духовенства. Действительно, остатки мыслящих людей противопоставляли основы древней демократии имперскому произволу. Наедине – из страха перед шпионами и еще более опасными добровольными наушниками – отец осторожно внушал сыну мысли о злом преображении христианства, сделавшегося имперской религией. Истина мнилась старику в соединении христианства с былой демократией. Но кто мог исправить их, удалив из обоих насилие? Невозможность задачи понимали сами философы, шептавшиеся на развалинах Эллады, исполняя в призрачной яви своей жизни все обряды правящей церкви.

Отец боялся жизни. Зная, что привязанности суть самое слабое место самого сильного сердца, он в заботе о Малхе не обременял его нежностью к родителям: сыновний долг, не больше. Люди не стоят любви. К тому же близких могут у тебя отнять, как землю, одежду, деньги. Только мысль твоя принадлежит тебе навсегда. Учись!

Книги показали Малху былую Элладу, населенную героями, писателями, мыслителями, художниками. Почему же ему не довелось родиться тогда?! Трезвый ум отца лишил сына иллюзий:

– Ты подобен человеку, который глядит лежа, – его взор упирается в стену колосьев. Встань, и ты увидишь пустыню с редкими ростками от горстки семян, развеянных бурей.

Нарисовав подобие карты, где расстояния обозначали столетия, отец разместил имена, и Малх увидел, что все наследие мысли и гения было сотворено немногими, изредка рождавшимися в маленьких, враждующих друг с другом городках-республиках. Мученичеством была жизнь каждого творца, и никто не получил возмещения.

– Ныне же, – говорил отец, – их наследство как эта старая урна на старом столбе. Мы любим ее, она украшает наше жилище, но она, говорят, бесполезна. Что нынешние ромеи восприняли от Эллады? Искусство торговли, созданное не философами, а искателями наживы.

– К чему же мне учиться? – спрашивал Малх.

– Чтоб знать, – отвечал отец, – ибо лишь мыслью человек отличен от животных.

Время для печальных откровений было избрано правильно. Мысль сына пробудилась, а на этом пути нет места для поворота назад.

За пять поколений до рождения Малха готы обрушились на Элладу, преданную империей. Из каждых десяти эллинов не стало девяти: одних убили, других увели, и они исчезли в чуждой стихии, как вода на раскаленном камне. Перед вестготами и после них Элладу грабили вандалы-пираты. Еще раньше – римляне, до римлян – македонцы, персы...

– Эллинов нет более, – повторял старый учитель грамоты. – Пустота Эллады заполняется пришлыми варварами. Солнце жжет нашу землю, чтобы прах героев не превращался в грязь. Мы, эллины, живем в нашем мраморе, в наших постройках, в книгах, в нашем языке, который богаче других, которым пользуется империя, нас презиращая. Спешу учиться, сын. Мы последние, мы дышим под лавиной, и каждый день приближается обвал.

Лавина рухнула. По приказу базилевса Юстиниана византийский легион заменил местное ополчение, которое – призрак старой Эллады – несло охрану Фермопильского прохода. Одновременно последние города Эллады, еще сохранявшие остатки самоуправления, получили назначенных Византией префектов.

Не стало афинского самоуправления, не стало и денег на содержание Академии. Ее закрыли за ненадобностью, а префект ввел новые налоги.

Отец Малха не только лишился хлебной выдачи, но отдал за подати все овощи и все масло. Остался жмых. Старики слегли от особенной болезни, заключающейся в отвращении к жизни. Сухость сердца помешала сыну заметить, что отец и мать по примеру древних стоиков уморили себя голодом.

Малх стал одинок, по отнюдь не свободен. Наследник, теперь он был обязан платить налоги за лоскут тощей земли и за рожицу дряхлых маслин, за дом, пусть развалину, за окна без ставен, за двери, от которых остались лишь дыры проемов, за очаг, за хворост, собирал его Малх или нет, за домашнюю птицу и животных, которых не было, за содержание легиона, якобы охранявшего Фермопилы, за дороги в провинции и за улицы Афин, хотя никто не заботился о мостовых, за соль, за зрелища – пусть цирк был закрыт... Нельзя отказать и храмовым сборщикам, ибо леность в делах благочестия свидетельствовала об уклонении от истинной Церкви, что было государственным преступлением, как и неуплата любого налога.

Сеть, удушившая родителей, опускалась на сына. Малху посчастливилось. Бродячие мимы приняли его в свое общество за умение читать, и он бежал, бросив на волю Судьбы дом, землю, деревья, ибо за обременительное недвижимое имущество никто не захотел дать ему и трех оболов.

Два осла тащили повозки с жалкой утварью: грубые маски, подражавшие образцам с барельефов, лохмотья для ролей и рваные книги, к которым Малх присоединил свое наследство. Десяток мужчин развлекали зрителей представлениями, где грубые шутки, заменявшие юмор, чередовались с диалогами из трагедий и фокусами жонглеров.

Странствующие комедианты смело топтались по всей империи. Добытое делилось поровну, кроме монет. Деньги копились на поборы, от которых не следовало уклоняться. Империя не стесняла передвижения только дряхлых стариков и явных, ни к чему не пригодных калек.

Дорожные заставы хватали не имевших проходных листов. Каждый бродяга мог оказаться беглым рабом, колоном, бросившим земельный участок, преступником, подданным, скрывшимся от налогов. Бродяг заключали в тюрьмы и расправлялись быстро: если заключенного не разыскивали как беглого, он продавался в рабство, как желавший ускользнуть от исполнения обязанностей перед империей.

Сильный, ловкий, Малх сделался отличным жонглером. Он хорошо исполнял и роли. Напялив маску, он вызывал приятный трепет у зрителей, любящих быть испуганными в меру своего удовольствия.

Вожак мимов знал настоящие и выдуманные имена всех мимов, начиная от Каина. Иные своей знаменитостью затмевали римских императоров: одним движением тела и рук они умели лепить из воздуха сразу несколько фигур и перевоплощаться, как древние боги. Из опасения быть обвиненным в колдовстве, вожак решался показывать образчики умершего искусства лишь перед своими. Он начинал метаться, как укушенный тарантулом. Внезапно нелепые будто бы движения обретали ритм. Видения двоились, троились, к двум голосам диалога примешивался третий.

Потом мим честно разоблачал секреты своего мастерства, но повторить не удавалось никому.

– Со мной все умрет, я последний, – с горечью говорил вожак.

Малх верил преданию о некоем афинском миме, который бежал в Азию перед приездом Нерона из страха перед ревностью императора-лицедея. В сирийском городке беглец захотел показать «Антигону» Софокла, все роли в которой он исполнял сам. Когда на арене маленького цирка начались превращения одного во многих, зрители, ранее не выдавшие великого искусства, убежали в ужасе. Весь следующий день мим ходил по городу, убеждая жителей не бояться. Наконец жители собрались на вторичное представление. Увидев «Антигону», они оставили все дела. Каждый пытался воспроизвести зрелище, все

забыли о пище. Появилась странная болезнь, унесшая население в могилу, а мим погиб от убийц, посланных завистливым императором.

Нищая, но беспечальная жизнь Малха оборвалась, как гнилая веревка. В Александрии Нильской сотоварищи Малха соблазнились безопасной, казалось, возможностью проникнуть в кладовую торговца драгоценностями. Всех схватили, Малх ускользнул случайно.

Сделавшись действительно бродягой, бывший мим мог оказаться легкой добычей первого, кто имеет право спросить: где ты живешь, чем живешь и уплатил ли подати? Опаснейшее положение. К тому же, ни медного обола. Как жить, как выжить? Малх решил стать легионером.

Эллинов считали нежелательными для службы в войсках, но Александрия, обязанная сдать солдат по набору империи, не интересовалась прошлым добровольцев. Малх скрыл свое происхождение. Жонглер тот же гимнаст – из Малха легче сделали солдата, чем из пахаря.

Шла война с персами, какая-то по счету, ибо с персами воевали всегда, во всяком случае с лет вавилонского столпотворения, когда бог смешал языки людей. Может быть, один Малх во всей армии мог сколько-нибудь связно рассказать о столетиях вражды, которая вопреки общему мнению окружавших его была вызвана сначала налетами эллинов на Азию, а затем стойко поддерживалась хищным давлением на Восток Римской империи, неустанно искавшей жертву для очередного грабежа. Теперь полководец Велизарий вел три легиона и несколько тысяч конницы из дружественных империй сарацинов и других наемников-варваров. Обе стороны избегали решительных сражений. Зимние дожди, захватившие армии вблизи развалин Вавилона, лишили противников подвижности. После нескольких стычек было заключено перемирие. Для Малха последовали два года коротких переходов и длительных стоянок, перемежавшихся не слишком кровопролитными столкновениями. Малху не пришлось участвовать во взятии городов, но он собрал небольшую добычу с трупов персов и своих.

Жизнь легионера прискучила Малху. Он заболел: не разгибалась поясница, он волочил ногу, страдая от постоянной боли. Бывший мим легко изобразил распространенную солдатскую болезнь. Выслужившиеся солдаты получали право на некоторое обеспечение по старости. Тяжелая пята Юстиниана наступила и на эту привилегию. Впрочем, краткость службы не дала бы Малху права на пенсию. Но он получил свидетельство, ограждавшее его от бдительности дорожных застав.

Малха влекла Александрия – горло Нила и голова Египта. Попав туда вторично, он встретился с людьми, владевшими наукой чарования взглядом. Но поиски смысла бытия казались Малху интереснее магии.

Данное в детстве дано навсегда. Мысль у Малха не отнимут, как и умение довольствоваться малым. Малх существовал на три обола в день, солдатской добычи должно было хватить надолго. И опять, как говорил Малх новым друзьям, он, подобно воробью, запертому в доме, ударяется об одни и те же стены. Эллин – он не мог не видеть в Риме, раздавившем Элладу, только дурное. В этом крылось, Малх сам это понимал, мешающее истине лицепрятие, хотя он понимал и неизбежность крушения Эллады, растерзанной взаимной враждой городов-республик и кознями демагогов.

Читая писателя Девскиппа-афинянина^[5], Малх соглашался с ним: все новое в Афинах исходило от потребностей граждан, они были республикой, властью. Собравшись вместе на одной площади, они умели, бросая в урны створки раковин, изгнать изменника, избрать умных законодателей, честных казнохранителей, верных послов, талантливых стратегов.

Но где, спрашивал себя Малх, сойдутся сто миллионов населения прибофорского Рима? Найдись

такая площадь – кто же будет избранником сброда? На один день демагоги овладеют толпой, а завтра и они, и республика-эфемера исчезнут в хаосе личных страстей. Три мириада афинян знали друг друга по соседски, поэтому трезво ценили способности и характеры. Так все и объяснилось.

А рабы? Для Малха раб был человеком. Хотя бы лишь потому, что сам он, как неимущий, был отделен от рабов малозаметной чертой. Рабов в прославленной Девскиппом Афинской республике было больше, чем граждан. Разве необходимость угнетения их, разве опасность рабов не вызывала сплоченность граждан? Ты о чем-то умолчал, Девскипп!

Познав невозможность республик, Малх разумом допустил единовластие базилевсов как неизбежность. Но – злую. Опасное состояние ума, усмехался Малх, ибо базилевсы требуют не только подчинения, но и любви подданных.

Христианские базилевсы поручили Церкви, лучшего и не желавшей, истреблять высокомерие мысли. От бронзово-звонких гекзаметров Гомера до слов, непонятных невежде, все было ересью для духовенства. Но ведь уже в республиканском Риме ремесло литератора становилось небезопасным. С лет первого императора Августа начинаются преследования. Тиберий, второй император, сам не чуждый писательству, хорошо понимал неблагонадежность писателей и охотно уничтожал их. Последний император-язычник, Диоклетиан, тщась создать семью императоров-богов, приказывал повсюду хватать писателей и казнить их как рассуждающих о государственных делах.

Не лучше получалось у Малха и с религией. Он соглашался с правилами христианской морали, но споры о сущности Христа казались ему бесцельными. «Учение о троичности божества изложено еще в египетских мифах», – думал Малх. Что касается тайны необходимого сосуществования доброго и злого, света и тьмы, божественного утверждения и дьявольского отрицания, то здесь, по мнению Малха, ничто не разрешено. К уже бывшим противоречиям последователи Христа добавили еще одно, свое; добрые правила и бесчеловечность действий.

Бывший мим, отставной легионер и самочинный философ беспечально существовал в шумной Александрии, сытый размышлениями и беседой, как Диоген.

Вор должен уметь молчать. Заговорщик нуждается в сотоварищах. Для мыслителя же немота просто невозможна. На Малха донесли. По своему невежеству шпион не мог сколько-нибудь связно передать слова Малха, но выследил, что непонятные речи произносит человек, отказавшийся от мяса и семьи. На три обела в день Малх невольно жил аскетом, как того требует учение Мани. Манихейство же – тягчайшая схизма!

Еретика отправили в Византию, где были собраны многие манихейцы, ожидавшие следствия и казни. Манихейские ересиархи отвергли предложенное им покаяние. В те дни, как и в другие, находилось много людей, не боявшихся мученичества. Малх познакомился с церковной тюрьмой Второго Рима, носившей название *in pace*, что обозначает: пребывание в мире, в тишине, в покое. Заключенного на веревке опускают в темную узкую горловину каменного мешка, на глубину нескольких ростов человека.

Патриарх Мена считал богоугодным делом истребление еретиков, но тяжким грехом судей ошибку в приговоре. Малх, защищаясь, отрицал обвинение, исповедался, принял причастие, и Мена «смиренно указал»!

– В этом христианине находим мы не ложь дьявольской ереси, но лишь смятенность мысли от неполного знания церковных канонов. Города, кипящие соблазном, опасны его душе. Да подвергнут его покаянию в гордости мысли и да отправят в дальнее место.

От зари утренней и до зари вечерней верующие, входя и выходя из храма, плевали на прикованного к столбу грешника, дабы помочь его смирению. Затем Малх превратился в гребца. Купец, которому поручили изгнанника, не был обязан обращаться с ним, как с кипой ценного груза, и приковал к скамье. И все-таки с купцами, как убедился Малх, было легче иметь дело, чем с властью.

Через весловое отверстие в борту был чаще виден берег, чем открытое море: корабли, из страха заблудиться в пустыне Понта, боялись надолго терять сушу из виду. Когда попутный ветер надувал паруса, гребцы спали. Случались и дни тяжелой борьбы с ветром. Сначала Малх считал дни, потом все поглотило однообразие. Приказ положить весла по борту был понят Малхом как очередная остановка, чтобы лодки могли еще раз отправиться к устью одной из рек за водой и дровами. Неожиданно ему велели поднять ногу. Ловкий удар расклепал кольцо!

Свободен! Стоялая вода в порту была теплой, будто подогретой. Малх нырнул. Отросшие волосы слиплись от соли.

Карикинтia стала для Малха местом жительства. Как и другие города ромеев на северном берегу Евксинского Понта, она казалась кораблем, окаменевшим на суше. Стена и ров ограждали город с трех сторон, концы крепостного пояса погружались в море. Бури разметывали камни – люди восстанавливали разрушенное. Ворота порта замыкались цепями. Дома, высокие из-за тесноты, были сложены из ноздреватого камня, поэтому даже новые строения казались древними.

Как-то один из александрийских собеседников Малха выразил удивление особым свойством жителей Византии. Это свойство он назвал презрением к смерти. «Может быть, к жизни», – думал Малх. Иной раз ему хотелось выть, не от голода и горя, не от страха или отчаяния, а так просто. Изредка Малх доставлял себе это удовольствие, забившись где-нибудь за стеной в овраг, пахнувший жарким бесплодием засухи, полынью и морем.

Уйти было некуда, степь обещала голодную смерть или плен у варваров, может быть еще худший, чем плен империи. Изгнанник имел время для размышлений – преимущество нищеты и одиночества, ценимое далеко не всеми философами и лишь редкими проповедниками отречения от земных благ.

Прежде Малх видел правителей империи с удаления, спасительного для подданных и для величия власти. Карикинтийская теснота снабдила его новыми противоречиями. Префект, судья-квезитор и логофет-казначей были людьми лично ничтожными и невежественными, власть же их – неограниченной. Единственной целью правителей Карикинтii было выбивание денег из подданных; надежным средством служили солдаты, тюрьма, пытка, казнь.

Сами карикинтийские сановники, однажды заплатив за должности, обязаны были напоминать о себе ежегодными подарками-донатиями имперской казне, покровителям и самому базилевсу.

Церковь тоже требовала дани от благочестия верующих. Забывчивым напоминали лишь один раз.

Малху не хватало пальцев для перечня новых противоречий. Его тянуло писать историю. На чем, для кого?..

Не пропуская богослужения, он старался почаще попадать на глаза Деметрию, строгому пресвитеру Карикинтii.

Путешествия сделали Малха полиглотом, теперь он походя научился говорить по-славянски или по-скифски; карикинтийцы безразлично прибегали и к тому и к другому названию речи днепровских варваров, многие слова которых удивляли Малха своим родством с эллинскими.

Прошло уже сорок поколений с тех пор, когда бродячие мореплаватели-милетцы первыми зацепились за северное побережье Евксинского Понта. Они скоро узнали, что по Борисфену-Днепру легко

добраться до областей старинного земледелия, где обладатели хорошо возделанных полей охотно продают зерно, кожу, воск, меха. Эллада привыкла к пшенице, полбе, ржи, гороху, которые прибывали самым дешевым путем – по воде. Прекращение понтийского подвоза заставляло гордых афинян поститься, пока купцы не доставляли зерно из других земель.

В Карикинтии все были заняты; случилось, что вложенный в дело капитал утраивался за один год: торговля с варварами сулила быстрое обогащение, что объясняло цепкую силу приморских городов.

Малх подкармливался работой у сереброкузнеца и – грамотные были редки – иногда помогал купцу Репартию вести торговые записи. Трудный счет буквами-цифрами сам по себе иссушал мозг, купцам же приходилось утаивать прибыли, иначе лихва, взимаемая градоправителями сверх податей, могла увести любой барыш. Купцы притворялись бедняками. Но что за события порой случались на севере? Почему иногда исчезал днепровский хлеб? Малх убедился, что купцы удивительно мало знали о Днепре и прилегающих к нему землях.

На второй год Репартий взял с собой Малха на днепровский торг.

Глава 4

Торжок-остров

Лгали купцы, в меру того, сколько нужно бывало для дела.
Лгали святители больше, чем лгали купцы.
Ибо святость больше торговли верит себе и искусному слову.

Из древних авторов

1

Рось совсем остановила течение под слободой – знак, что нора плыть на Торжок-остров. Товары для торгова исподволь накопили на берегу. Цеженный мед шел в липовых долбленках и в сбитых из липового же теса бадьях. Мед густ, а хуже воды, через всякое дерево протекает, только мягкая липа держит его. Мытая, переплавленная вощина сбита в круги толщиной с жернов. Шкурки пушных зверей собирались тучками по четыре десятка: темно-бурые бобры, серые белки-веверицы, белые горностаи, темно-рыжие норки, огненные куницы и лисы, водяные выдры-рыбалки. Выделанные кожи туров, волов, коров, коз и баранов скатывались, как бревна, крупные – по десятку, мелкие – по двадцать кож. Дорогой товар – зерно – насыпан в шитые из овечьих кож мешки. В каждом шесть пудов да еще с торговым походом, чтоб не потерять честь. Копченое мясо домашнего скота, туров, вепрей заготовили, сняв с костей, выдержав под гнетом.

Десять русских родов нагрузили сорок семь челнов. Каждый род слал на торг свои челны. У кого оказалось побольше товара, тот и челнов побольше отправил.

На челне восемь гребцов, девятый с рулевым веслом да двое-трое старших. Всеслав дал для охраны три десятка молодых слобожан, больше для чести, для того больше, чтобы молодые повидали иных людей.

По Рось-реке плыть в полую воду все равно, что по озеру. Отчалив утром, челны еще до полудня достигли начала большого колена. Здесь Рось течет против Днепра, он – на юг, она – на север.

По правому берегу – пойма. Летом взору открывается низкий берег, изрытый старыми руслами и озерами. Всколмления заросли деревьями, любящими воду, – серым тополем, осокорем, ивой. Пойма почти непроходима, здесь охотничьи угодыя каничей. Восточные соседи руссичей берут неисчислимую дань пуха с дикой птицы, из старых русел черпают набившуюся в полую воду глупую рыбу. Разве ее возьмешь всю? К осени в сотнях озер и озерков не видать воды; не ряска – дохлая рыба превращает водоемы в кашу. Издали такое озеро кажется белым, будто там снег. Ветер доносит смрад, отвратительный для человека, заманчивый для многих диких зверей. Они идут лакомиться тухлятинкой. Каничи пользуются звериной шкуркой.

Редко кто из руссичей видел эту пойму. Летом им нечего делать в устье. Теперь же поймы нет, есть неоглядный простор без берегов. Кое-где торчат камышинки – верхушки затопленных деревьев, вдали видны, как головы в мохнатых шапках, вершины лесистых холмов, превращенные в острова. Молодые смотрят не оторвутся: вот оно, море какое! Такого сияния, блеска, игры не бывает на Роси.

Плыть бы да плыть все время к невидимому берегу, который, наверное, как в сказке про заморские страны.

Дай волю молодым, они и пустились бы в плавание. Но старшие знают, что пойменный разлив подобен жизни. Тут сверху и ровно и гладко. Снизу же коряги, затонувшие деревья. В мутной воде не видать – заедешь в затопленный лес, на мель попадешь. Намокнет товар и совсем пропадет. Челны шли верной дорогой, вдоль высокого левого берега, коренным руслом.

Руссичей догоняли илвичи. Эти были побогаче своих соседей не одним числом родов и душ. Малая числом воинов илвичская слобода оставляла в хозяйстве руки. Гнали илвичи сто сорок четыре челна, полных двенадцать дюжин. Больше шести челнов с товаром приходилось у них на род, у руссичей же не было и пяти. Даже илвичская слобода послала на торг два челна. Доверенный преемника Мужилы вез товар, накопленный промысловатыми слобожанами.

Из устья Россавы, будто сговорившись с соседями о встрече, выплывали каничи. Они не беднее илвичей: на шесть родов – тридцать девять челнов.

Челны у всех людей русского языка одинаковые: однодеревки. Из осокоревого бревна или из дуба делают долбленку шагов тридцать длиной, борта расшивают тесом внахлестку, крепя доску кленовыми гвоздями. Челны не широки, в середине до трех с небольшим локтей, двухносые – при такой длине не везде развернешься.

Вместе с каничскими собралось двести тридцать челнов. Не будь разлива, тесновато сделалось бы на реке. Если зацепить все челны один за другой, получится вязка длиной в четыре с половиной версты: русская верста – пятьсот сажень. В сажени косой – мера от пальцев левой ноги наискось до пальцев поднятой вверх правой руки.

Плыли, переключаясь. Молодые забыли про море, вглядывались в новые лица братьев по языку. А вдаль, на востоке, в сверкающей мощи разлитого без краев Днепра, уже виделся остров. Был он низок, версты на четыре длиной. В правом краю острова, за течением, поднимаются высокие стрелки мачт над высокоротными кораблями. Ромеи уже здесь.

Гребцы налегают на весла, русские челны пускаются наперегонки с илвичскими, каничскими. А восточного берега Днепра нет и нет, за островом без межи стелются воды, и опять молодые думают о море.

Великий Днепр замедлил течение. Он заперт теснинами, которые начинаются ниже Самарь-реки. Теснины прорезаны хребтистыми скалами. Весной Днепр топит скалы, вольно течет, захватив берег верст на пять. Ниже теснин он опять разливается в море, к востоку ровное, к западу же, где берег высок, Днепр занимает только низины и превращает степь в чудную страну островов.

В это время года на Днепре опасны бури. Хорош его простор для разбега ветров! Чуть засвежеет – спешите к берегу, прячьтесь, если успеете, и ждите с терпением, коль жизнь тебе дорога. Но другой опасности нет.

Веснами мир владеет днепровскими водами. Половодье отогнало степняков, сиднем сидит отошавший за зиму хищный хазар. Снизу от Евксинского Понта – Теплого моря безбоязненно поднимаются ромеи. Сверху, пользуясь гладкой дорогой каждого ручья, ставшего речкой, из своих лесов сплывают люди славянского языка. Плывут на торгах славяне припятские, верхнеднепровские, сожские северяне, деснинские, сеймовские...

Торгов несколько. Первый большой весенний торг живет на острове, против Рось-реки. Песчаный Торжок-остров крут, его подмывает вода. Низ острова – ухвостье тянется в узкую стрелку. Старые помнят, что ранее остров был будто чуть дальше. Рось свой песок бросает к острову и тянет его к себе. В засушливое лето дно между островом и Росью можно достать длинным шестом. С той стороны Днепр роет пучину, там – русло, здесь – затонно. Торгуют ромеи и ниже, одним-двумя кораблями они заходят в Сулу, в Супой. Там торг малый, барыш же большой. Славяне, живущие по тем рекам, бедны хлебом, но за товары дают купцам много воску, меду, мехов, кож. Это дорогие для ромеев угоды. Без ведома хозяев продают купцы один другому право плавать туда. Все поплывут – цены собьют.

Второй большой весенний торг становится верстах в полутора выше русского устья, под гористым берегом Днепра, верст на пятнадцать ниже слияния Десны с Днепром. Под горой Днепр приглуб, причалы к берегу удобны.

Мутная вода плескала дымчатую пену на песчаную погость берега. Изгибами бежали низенькие

ступеньки, меченные ломаной хворостинкой, мертвой травинкой, куском древесной коры, слепившейся метелкой камыша, в которой ранний дрозд искал себе пищу.

Илвичи, россичи и каничи гнали челны к западному берегу острова. На мели гребцы прыгали в воду, затаскивали челн подальше на песок. Людей много, нужно – и на руках поднимут.

Племена приставали стаями, как птицы. Каждый ставил свои челны тесно и прямо, чтобы занять меньше места. Так легче досмотреть за порядком, быстрее покажешь товар.

Все ездившие на Торжок-остров имели здесь свой причал. Из года в год челны размещались по неизменному порядку:

у самой головы острова ставились россавичи, живущие по правому берегу Россавы, от истока до среднего течения;

ниже их – славичи, обитающие между верховьем Роси и Ростовицей;

потом – ростовичи с левого берега Ростовицы-реки;

за ними – бердичи с верховьев Ростовицы;

далее – илвичи и россичи;

последними с Поросья причаливают каничи.

Всех их семь племен, именующих себя по-разному. Для других же славян они, обитающие по Рось-реке и ее притокам, – россичи, или руссичи, какой выговор иным легче дается. Остальные приднепровские славяне, пахари лесных полей, плавают на верхний торг, под гору. Так им удобнее, ближе. Ирпичи и хвастичи спускаются по Ирпень-реке, здвигичи – по Здвиже, сквиричи, лазоричи, ромодане, жуляне, житомичи, бердичи – по Тетерев-реке и Иршени, ужичи с жеричами – Уж-рекою. Горынь-река, Случь и сама Припять приносят глевтичей, казатичей, жмеричей, беличей, чаповичей, олевичей. Вятичи спускаются на верхний торг по Остру, Сейму, Десне и Снову. Лишь малая часть вятичей, живущих на Супой-реке, приходит на Торжок-остров.

Ромеи тоже из года в год приходят одни на Торжок-остров, другие – на верхний торг.

Езда на торг для россичей, как для всех славян, любя развлечением, которое краше сладкого куска. Уже вбиты в песок перед челнами рогатые колья. Горят дрова, привезенные с собой, – на острове растет только хилый ивняк. Забрав мутной речной водицы, бросили в котлы запасенную свежинку – и, забыв голод, пустились тешить глаза.

Ромейские корабли стояли за островом у стрелки на причальных канатах. Самый большой корабль ромеев будет немногим длиннее славянского челна, но куда шире. А по высоте борта кажется домом в сравнении с землянкой. А еще лучше сказать: славянский челн как волк по сравнению с ромейским быком-кораблем.

Будто нарочно, чтобы показать себя на плаву, к острову тянули еще четыре корабля. Ветер дул не в корму, а в бок, косо парус надувало слева, но корабли правили прямо к острову. Ратибор понял: парус тянет в одну сторону, руль упирается в другую, а корабль между ними движется прямо!.. Умно плавают ромеи... На переднем корабле вдруг уронили с мачты парус. Из-за кормы выскочила лодочка с двумя гребцами, за ней тянется канат, тонет, хлещет по воде. Ромеи выгребли на мель, выскочили в воду и стараются перевернуть посудинку. Для чего ж? А, там якорь. Тоже правильно делают, его над лодкой неудобно поднять.

Еще несколько усилий – и лодка перевернута. На корабле подтянули канат, корабль потащило, но нет, якорь захватил под водой. Кое-где на мели высывались якоря других кораблей. Один как трезубая

острога, но зубцы отогнуты в разные стороны, другой похож на жернов. Этот, видно, берет своим весом – свинцовый.

Ромеи тем временем поставили челночок, веслом выплеснули воду. Один ромей совсем голый, как мать родила, другой в коротких, издали видно, грязных штанах. Кожа смуглая, головы черные, на плечах и груди чёрный же волос. Ратибор жадно вглядывался в первых увиденных ромеев. Те уже забрались в челнок и быстро приближаются к кораблю.

Носы у корабля высокие, выгнутые. У одного торчит железный кол. Наедет – боднет, как тур, проткнет, как кабан. Синим, желтым и красным расписаны выпуклые борта. Корма ниже носа, но тоже высока. К середине борта понижаются, однако же до воды остается добрый рост человека. С такой высокой палубы грести не будешь, в бортах понаделаны дыры для весел.

Вон стоит воин в блестящих, как золото, медных доспехах. На голове шлем с гребнем от лба до затылка.

Вон ромей, белокурый, как сам Ратибор, в белой чистой одежде, пола закинута на левое плечо, правая рука и грудь голые. Ромей сделал ладонями щиток, кричит. Ишь, по-русски желает здоровья.

Что ж, Ратибор и другие из молодых здесь впервые, ромеи же по Днепру поднимаются каждую весну. Вот и знают славянскую речь, как каждый островок, каждый поворот великой реки. У них, ромеев, таких рек нет.

День был хотя и весенний, но жаркий. На высоком месте острова, где сыпучий песок связан корнями ивняка, купцы раскидали шатры из черного и серого войлока. Для прохлады края шатров были приподняты, виднелись лари с товаром, высокие узкие корчаги, которые ромеи называют амфорами, постели из ременных сеток на легких рамках. На сетках войлочные подстилки и мешочки, набитые пухом. Их ромеи любят класть себе под ухо, когда спят.

У шатров в песок врыты высокие, сажени четыре, шести. Не деревянные, а из особенного тростника. Он такой же коленчатый, как русский, но твердый, подобно кости, и в нижних коленях толщиной с руку. На шестах большие куски разрисованных тканей. Ветер тербил полотнища, сразу не рассмотришь. Вглядываясь, Ратибор узнал орла, разглядел старца с большой бородой и с сиянием вокруг головы, женщину в красных одеждах с младенцем. Были просто кресты: белые на красной ткани, синие – на желтой.

С десятком слобожан Ратибор провожал старших в гости к ромеям. Хозяева ждали перед шатрами. Не успели россияне поклониться, как ромеи согнулись еще ниже. Улыбаются, рады. Знакомые! Чамота называет несколько ромеев по именам, они ему отвечают. Новички с любопытством наблюдают незнакомый им обряд. Один ромей вышел вперед, протянул гостям руки и сказал по-русски:

– Торг между нами да будет мирен, незлобив и чист от неправды.

– Такой торг пусть и будет, – ответил Чамота и руками коснулся открытых ладоней купца.

– Мы в том обещаемся богом святым, вседержителем, Христом – спасителем мира, – продолжал ромей. Говорил он по-русски, но не все слова Ратибор понял сразу. Что за вседержитель, какой это бог и кто мир спасал, зачем спасал, от кого?

– Все мы обещаемся, – вразброд повторили остальные купцы, выговаривая одни чисто, другие искажая русскую речь. И каждый сделал странный жест: соединив щепотью три пальца правой руки, подогнув безымянный и мизинец, ромеи касались сначала лба, потом живота, правого плеча и кончали на

левом. Зачем это было?

– И мы вам обещаемся Сварогом, Перуном, нашим оружием, – сказал Чамота.

– Кто клятву нарушит, того да покарает бог, а мы накажем по закону, – строго сказал ромей.

– Если кто из наших подерется да обидит ваших, мы его подвергнем расправе по-своему, – подтвердил Чамота.

Слуги ромеев иль рабы – Ратибор не знал – бегом тащили из шатров легкие сиденьица, плетенные из тростника. Ромеи пригласили гостей сесть, потом уселись сами. Ратибор заметил, что почет относится лишь к старшим, для него и других провожатых сиденья не нашлось. Ему и не хотелось сидеть. Двое принесли высокую корчагу. Налив большую чашу до верха, один из ромеев поднес вино гостям, зачем-то сам пригубив первым. Был этот ромей ростом низок. Он ли один такой? Ратибору ромеи казались мелковаты телом против россичей. Руки у ромея были смуглы и волосаты, как лапы земляного паука, что роет круглые ямки и ядовито кусается. Звали этого ромея Репартий.

Тысячи ног истолкли песок – сапоги и постолы-калиги тонут в сыпучей почве. Размяты сочные ростки лопушника и мать-и-мачехи, обрадовавшиеся теплу не ко времени. Обтерхан, изломан покорный ивняк, пахнет дымом от костров, на которых кипит, доспевает варево. Тут и свежее мясо, и вяленое из старых запасов, и дикая птица, и рыба, которую добывают и по нужде, и от безделья. Торжище началось в хождениях ромеев, в разговорах со старшими. Молодым делать будто бы и нечего. Вот и занимаются охотой, неводами. Лишнее дарят ромеям как гостям. Торжок-остров – земля росская.

Варево заманчиво припахивает луком; лук для вкуса и цвета кладут целым, в пере. Добавляют побеги молодой лебеды; репы, капусты, моркови и брюквы уже нет. Нет муки для подболтки и круп для каши. В градах осталось немного зерна для малых детей, весь хлеб привезли на Торжок для продажи.

На росских полянах нет соли. У ромеев мало хлеба. Десятками поколений ромеи плавают по Днепру за хлебом. Первый торг с ромеями идет за хлеб. Первый торг росские ведут за соль.

Соль дорога. Сами ромеи, как они рассказывают каждому, кому охота послушать, ездят за солью неблизкой дорогой. Из днепровской узости-горла они плывут морем на юг. Плывут вдоль берега, потом, между берегом и длинным островом Тендрой, поворачивают на восток. Вода в море соленая, но не очень. Плывут, плывут и забираются в тупой конец. Там море мелкое, плыть опасно. Если корабль приткнется на мель, волны побьют его в щепу. В тупом конце моря – горько-соленые озера. В них вода так густа от соли, что человека держит высоко и утонуть нельзя. А еще больше соли там лежит на дне, берега же черные, топкие. Нужно черпаком грести соль, брать в корзину и нести на корабль. Работа трудная, по плечу самым сильным.

То еще не беда. За солью приходится ездить с войском, у озер подстерегают хазары, гунны, дикие готы. Одни ромеи отбиваются, другие спешат грузить соль.

Ромеи всегда хвалились, что их соль полита их же кровью. Иные купцы показывали рубцы на теле от мечей и стрел. Ратибору и другим молодым все интересно, все в новинку. С ромеями говорить легко, они любят слова и почти все умеют объясняться с россичами. «Дело простое; и деды их и пращурь торговали со славянами», – думают россичи.

Ромеи клянутся богом-вседержителем, и Иисусом Христом, и Девой Марией, и росским Сварогом, что говорят правду и никак не могут уступить соль дешевле, чем мешок за десять мешков пшеницы или за пятнадцать – овса, за семь – гороха, за двенадцать – ячменя.

Больше всего ромеи гонятся за хлебом, стараются узнать, сколько у какого рода есть хлеба. Покончив с хлебом, берут пушнину, кожи, воск, мед, вяленое и копченое мясо, сухую рыбу. За бобра платят пять горстей соли, за куницу – три, за выдру – две, за десять белок – одну.

Привозят ромеи и железо в крицах, видом похожих на низкие хлебцы. Железо от ржавчины густо мазано салом. У россичей довольно и своего железа. Не отказываются они и от ромейского, покупая по сходной цене.

2

Для молодых длилась праздность. Ратибор хотел бы побывать на ромейском корабле, но купцы к себе не приглашали и старшин, а навязываться в гости – не в честь. Сами купцы уже не толкались в толпе, толпа же была немалая. Десятки сотен людей съехались со всей Рось-реки с притоками и с того берега Днепра. Самые дальние из всех, россавичи и славичи, первыми покончили торг. Набрав соли, взяли они серебра, желтой и красной меди, из которых свои умельцы наделают браслетов, серег, перстней, застежек, взяли красиво окрашенных тонких женских полотен; купили стеклянных и каменных бус, тонких ромейских ножей, железных и костяных игл, пуговиц, мягеньких сапог, штанов, рубаш, которые ромеи по-своему называют туниками либо хитонами.

Славянские товары тяжелые и громоздкие – всего на кораблях купцам не увезти. Россавичи и славичи продали ромеям часть челнов. У них своя выгода. Верховья быстро мелеют, уже и теперь до дальних родов плава нет, придется от воды тащить купленное вьюками и волокушами. Деревьев много, к будущему году новые челны легко изготовить.

Уплыли верхние, свободнее сделалось на Торжке-острове.

К котлам россичей ходил ромей не такой, как другие. Был он бос, одет в длинный неподрубленный хитон черного полотна и без цветной каймы. Подпоясан не красным шнурком или ремнем, как купцы, а веревкой. Его звали Деметрий. У Деметрия было одно украшение, и носил-то он его не как люди, а под одеждой на груди. Но не скрывал. Беседуя, Деметрий порой вынимал тяжелый серебряный крест с выпуклым распятым человеком и целовал его в подтверждение истины своих слов. Говорил же он по-росски понятно.

В то утро, собрав бездельных россичей, Деметрий им что-то рассказывал. Ратибор подошел, лег на песок, слушал. Ромей говорил почти нараспев, внятными голосом:

– ...Отпустив народ, он взшел на гору помолиться и ночью остался один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волной, ветер был сильный. В четвертую ночную стражу пошел к ним Иисус, ступая по волнам. И ученики его, увидя его из лодки, говорили: «Это призрак», – и от страха закричали.

«Трус кричит от страха», – подумал Ратибор. Но рассказ Деметрия захватил его. Что будет дальше?

– Иисус сказал: «Ободритесь, это я», – продолжал Деметрий. – Петр сказал ему: «Боже, если это ты, повели мне идти к тебе по воде». Бог сказал: «Иди». И, выйдя из челна, Петр пошел по воде навстречу Иисусу. Но испугался, и вода перестала его держать, расступилась, он провалился и начал тонуть. Иисус тотчас поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?!» И тогда они оба вошли в челн...

Не ожидая продолжения, Ратибор поднялся. Днепр тек свободно, широко. Старый крутой берег был одет в зелень цветущего леса. До сих пор Ратибор думал, что человек в воде может только плавать, отталкиваясь руками и ногами. Бегают водяные пауки, озерные курочки на широких лапках. Значит, могут ходить и люди?! Ратибор просто не знал этого.

Он ступил на отлогий бережок, на твердый и гладкий от влаги песок. Сейчас и вода показалась ему плотной, единой, будто земля. По ней можно ходить!

Ратибор вспомнил сны – он летал, сделав усилие, забываемое утром. Летать труднее, чем ходить по воде. Он почувствовал себя и легким и сильным. Прямо к тому берегу, над водой. По силе, по ловкости он никому не уступит. Он не слабее того Иисуса. Просто, так просто – стремись вверх и прямо к тому берегу!

Незаметно для себя поднимаясь на носки, Ратибор ступил шаг, второй. Лишь погрузившись до

половины голени, он опомнился. За его попыткой следило, как он увидел, много глаз. Вероятно, и у других мысли были такие же. Удайся ему – сразу нашлись бы подражатели!

Ратибор скрыл гнев, затаил разочарование, как бывало при неудачной стреле, при безуспешном состязании на мечах или саблях. Он встретился глазами с Деметрием. Ромей глядел странно; будь Ратибор старше, будь он спокойнее, он прочел бы на лице Деметрия разочарование. Ромей ждал чуда, молился за Ратибора. Какие обращения в истинную веру обещала удача варвара!..

Справившись с собой, ромей продолжал проповедь. Ратибор не слушал больше. На мокрые сапоги налип песок... Но ведь он, Ратибор, не трус, как тот ромей Петр. Вода! Он никогда ее не боялся, он мог плавать от рассвета до заката, не отдыхая. Быть может, он не сумел на реке, ведь ромей говорил о море? Разочарование угнетало. Ратибор не решался спросить ромея о причине неудачи.

Подумать, что ромей лжет, Ратибор не мог. Он знал шутки, басни, загадки. Знал хитрость боя, обман врага, обман соперников в состязании. Это были не слова, а дела, увертка тела, внезапность нападения, бросок не оттуда, откуда тебя ждут. Ратибор умел обмануть зверя силком и засадой, умел подкрасться к пасущимся козам или сернам, надев на голову кожу козла с рогами. Все было хитрым умением, не ложью.

В тенях листьев, трепещущих на ветру, россич мог разглядеть движение, быть может, чьей-то души, не нашедшей пристанища. Он мог встретиться с оборотнем, слышал какие-то голоса, называющие его имя. Ему приходилось заметить на кратчайший миг мохнатого полевика, духа степи, взметнувшегося над травой. В ржанье коня, в реве тура различались хоть и непонятные, но слова.

Иногда Ратибор замечал под водой мгновенный изгиб белого тела русалки-водяницы, испуганной ныряльщиком. В темных пущах леса он не раз успевал уловить быстрый блеск зеленого глаза и корявую спину прячущегося лешего – тонкость чувств и быстрота ощущений давали вещественность прыжкам воображения.

Не было чудесного в мире, было то, что каждодневно, и то, что встречается редко. Все, включая небесную твердь, обиталище душ россичей, существовало для россича ощутимо и просто, как весло в руке, как тетива на пальцах. Но места для лжи, места для выдумки небывалого не было.

Голос Деметрия назойливо лез в ухо. Этот человек был сейчас неприятен, уйти же Ратибор не хотел. Ромей рассказывал:

– Услышав о болезни своего друга Лазаря, через два дня Иисус сказал своим ученикам: «Лазарь, наш друг, уснул, но я иду разбудить его». Иисус говорил о смерти, но они думали, что он говорит об обыкновенном сне. Тогда Иисус сказал прямо: «Лазарь умер. И радуюсь, что меня там не было, дабы вы уверовали. Теперь же пойдём к нему». И они, придя, нашли, что Лазарь уже четыре дня в гробу...

«Они не сжигают тела, а лишают душу неба, зарывая тело под землю, – с отвращением подумал Ратибор. – Плохо умереть в такой стране».

– И многие утешали двух его сестер, – тек голос Деметрия. – Иисус пришел к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус сказал: «Отнимите камень». И сестра Лазаря просила не открывать, ибо прошло уже четыре дня и могила смердела...

Ратибор содрогнулся: гадко тревожить могилы и рыться в падали тел, не получивших чистого погребения. Зачем этот ромей рассказывает об оскверненье могил! Но что он скажет еще?

– И Иисус возразил сестре Лазаря Марфе: «Ты будешь веровать, узрев славу бога». Отняли камень от пещеры. Иисус, обратившись ввысь, сказал: «Отец, благодарю тебя, что ты услышал меня». И воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И умерший вышел, как был, обвитый пеленами, лицо его было обвязано платком. Иисус сказал: «Развяжите его, он жив», – закончил Деметрий.

Впервые Ратибор понял, что человек может лгать. Росские ведуны умели иногда победить болезнь. Всеслав победил смерть. Но никто не мог воскресить мертвого. И зачем? Разве так плохо ему на небесной тверди?

Ратибор не заметил, как к Деметрию, шагая через тесно лежавших и сидевших россичей, подошел Чамота и сел на корточки перед ромеем. Ратибор услышал голос Чамоты. Князь-старшина спросил ромея:

– Я давно вижу: ты, добрый человек, учишь. Ты знаешь, видно, много. Ты мне скажи: там, думаешь, что у нас? – и Чамота указал вверх.

– Там пребывает единый господь бог-вседержитель, которого я исповедую, там воинство его, там рай, в раю же души праведников, – ответил Деметрий.

– А эта земля чья? – опять спросил Чамота, делая круг рукой.

– Земля ваша, – был ответ.

– Так и твердь над нашей землей – наша же, – сказал Чамота очевидную для него истину. – В нашей тверди твоему богу делать нечего. У вас, у ромеев, есть своя твердь над головой. У нас – наша. Мы в вашу часть не входим.

Священный жар охватил Деметрия.

– Я, недостойный пресвитер истинной церкви, говорю тебе, – строго начал он, – бог есть любовь, бог есть добро несущий миру. Он создатель всего сущего и отец людей, сотворивший их по своему образу и подобию. Он отец, дух и сын святой, троица единосущная, предвечно существовавшая, не имеющая ни начала ни конца. Единственно наша вера истинная, она нам дана самим сыном божьим в евангелиях от святых апостолов. Принявший истинную веру спасен в сей жизни, а в иной пребудет в раю у бога. Отвергнувший истинную веру пойдет в ад.

Привлеченные Чамотой, россичи подходили: одни останавливались за кругом, другие протискивались ближе, расталкивая передних. Деметрий видел, что пришло его время. Но сатана силен, он заслоняет ухо грешника, а слово истины скучно для грубых умов. Мысленно Деметрий просил помощи у бога.

– Скажи, что это за рай? – спросил Чамота.

– Рай – место на небесной тверди, где верующие находятся в вечном блаженстве, без забот и тягот, без сожалений, без огорчений... – Деметрий старался проще и заманчивее дать картину рая. – В раю они воспевают хвалы богу, пребывая в покое, без соблазнов, без труда.

– Скажи про ад! У нас и слова нет такого.

– То злое место под землей, царство сатаны в вечном мраке. Там дьяволы без отдыха мучают души грешников, не знавших истинной веры, пекут их в неугасающем огне, варят в смоле, терзают крючьями... – желая поразить воображение простодушных славян, Деметрий перечислял страшные и отвратительные пытки, принятые в Риме и в Византии.

– Ты сказал, – начал Чамота, дождавшись конца длинного перечня мучений, – коль я приму твою веру, твой бог меня возьмет в рай?

– Да. Крестись, и ты спасен.

– А те? – Чамота указал на небо.

– Кто? – не понял Деметрий.

– Навьи. Отцы и деды наши, – пояснил князь-старшина. – Они на нашей тверди.

– Ты ошибаешься, – возразил Деметрий, – они не на небе с праведниками, они там, – он указал на

землю, – они горят в аду. Будут вечно гореть. – Читая тревогу на лицах, Деметрий с силой убеждал: – Спешите же обратиться к богу истины, спешите все. Никто не ведает своего часа, спешите! Сам бог говорит с вами через мое посредство, иначе ад, огонь, огонь!

– Что ж! – Чамота встал, потянулся. – Не нравится мне твой рай. Сиди да сиди сложа руки... За день один тоска червем сердце высосет! Да еще похвальбы твоему богу кричать, славить его. Это дело не мужское. У нас как? У нас молодой, несмышленный, встретив старого князя, ему даст поклон и – будет. Нет, и человек тот плох, и бог тот негоден, если любит себе хвалы слушать и похвальбами тешиться хочет, как несытый кабан себе набивает брюхо желудями без меры. Тьфу! Такой бог для рабов пригоден. Мы ж люди вольные. Да и от навых наших мне не пристало отрываться. Так у нас не ведется – товарища бросить, дружину покинуть. Эх, ты!.. – Чамота вторично плюнул и продолжал: – Ты вот немолод. Ты ж подумай, учишь чему! Нет! Сам ты сказал, слышали все, что наши-то навьи в аду сидят. – Чамота не скрывал насмешку. – И я – туда же. Мне без своих скучно будет. Огня твоего не боюсь. Погребального костра не миновать ни одному россичу. И – ладно так для нас будет.

Покончив дело, Чамота ушел. Разбрелись, не помедлив, и остальные. Оставшись один, Деметрий с раскаянием ударил себя в грудь раз, другой. Ромей нарочно ранил тело острыми гранями креста. Он шептал:

– Моя вина, о боже, моя великая вина, забыл я святое писание, что и ложь бывает во спасение, что надо быть кротким, как овца, мудрым, как змея.

Под туникой из глубоких ссадин сочилась кровь. Нет места для уединения, иначе Деметрий наказал бы себя бичом, тройной хвост которого сразу пересекает кожу. Да простит ему бог неумышленный грех соблазна язычников.

«Воистину я забыл, – исповедовался сам себе Деметрий, – что надобно остерегаться обнаженной истины. Да, поспешное откровение есть дьяволово искушение, ибо сатана обладает искусством обращать добро во зло. Не мечите бисера перед свиньями, учите, но не соблазняйте. Ведомый через пустыни не должен заранее знать, долги ли дни мучений для достижения оазиса. Воистину, боже, твоей волей Моисей сорок лет водил избранный народ в пустыне, а ведь прямой путь в Ханаан даже люди с грузом проходят за тридцать дней. Кто пошел бы за Моисеем, поведай он людям истину о твоей воле, обрекшей евреев сорокалетнему скитанию!..»

А Ратибор объяснял и себе и товарищам:

– Видно, твердь ромейская очень плоха, не такая, как наша. Вот и мечтают они подольше на земле пожить. Вот и просят себе от богов своих воскрешенья: смерти они очень боятся. С испуга они, как малые, небылицы рассказывают себе и другим. Ни по воде ходить, ни мертвых воскрешать никому не под силу. Да и нечего...

Вода спадала, сделался виден восточный берег Днепра, разливы в устьях Роси и Супоя перестали казаться безбрежными морями. Новые и новые ступеньки набивали на Торжке-острове отступающие волны. Здесь оставались ближние – каничи с илвичами, россичи да супойские вятичи. Им торопиться нечего, по самой низкой воде они доплывут домой.

Снялась и половина ромейских кораблей. Они отходили, лоя попутный ветер. На купленные славянские челны ромеи сажали по двое, трое людей не столько грести, сколько править груженым челном. Каждый корабль влек за собой по нескольку челнов, как будто нанизанных на канат. Длинные вязки! За поворотом высокого берега исчезало крыло паруса, а челны все тащились.

Никто из оставшихся славян не думал тянуть к себе купцов, предлагать свое, перебивать соседей. Ромей, устав, лениво спорили с Чамотой и другими старшими. Те цепко держались, зная, что не будет прибыли купцам, коль они повезут свои товары обратно. Младшим дела по-прежнему не находилось.

Ратибор праздно остановился у купеческого шатра. Охраны здесь не было. Издавна повелось – на торгу никто не возьмет полюбившуюся вещь без мены, без воли хозяина.

– Эй, чего ищешь твое сердце, воин?

Высокий ромей в длинной тунике, подпоясанной красным ремнем, прикоснулся к плечу Ратибора. Длинная голая рука ромея была золотисто-смуглой, курчавые темно-русые волосы лежали крупными завитками, темные глаза смеялись. Выпуклые мускулы веревками обвивали широкие кости – он был странно худ, этот человек, сухая кожа бритых щек прилипла к скулам, к острому подбородку.

– Пойдем, ты будешь мой гость, – звал ромей.

Указывая на вход в шатер, он протянул руку, как кинул нечто живущее отдельно от тела. Скользя, будто плывя, ромей отбросил дверь, войлок остался откинутым, словно прилип к стенке.

– Войди, войди!

В шатре ромей, цепко и ловко нажав на плечи Ратибора, посадил его на кровать. После дневного света здесь казалось темновато. Ратибор ощутил чужие, незнакомые запахи. Ромей, присев на корточки, вытаскивал деревянную пробку из горлышка глиняной корчаги. Высокая посуда подпрыгнула и взлетела на колени ромея – он уже сидел рядом с Ратибором!.. Тощий, как зимний волк, ромей силен, как волк же!

Ратибор не углядел, как ромей прикоснулся к чаше. А! И корчага снова на полу! Ромей подбросил пустую чашу и предложил гостю:

– Пей! Вино! Хорошо! Пить!

Его серые губы стали яркие, как вишня. Пальцы, быть может и толстые, были так длинны, что казались тонкими, ногти выпуклые, темные, твердые. Грудь и руки безволосы, как у мальчика. Глубокая чаша вдруг запорхала, как птица, над руками ромея, не пуста – полна до краев. Не потеряв капли, ромей плеснул себе в рот струю, и чаша как будто сама попросилась в руки Ратибора.

Голос ромея звучал мягко:

– Пей, хорошо. Кровь земли, она тоже красная. Здесь все: и гроздь, и зерно, и кожа, и сок винограда. Воин любит кровь.

Вино было и терпкое, и, напоминая вкус ягод терна, кислое и сладкое сразу, и чуть горькое. Станный напиток. «Наверное, – думал Ратибор, – это запах Теплого моря, на берегах которого растет виноград». Он слышал об удивительном растении. Говорили, оно похоже на плющ, хмель.

Опорожнив чашу, Ратибор с поклоном вернул ее хозяину.

– Ты, варвар, скиф ты, славянин или дитя многих народов, не знаю, – ты вежлив. – Ромей смешивал свои слова и русские. Ратибор улыбнулся в ответ на улыбку нового друга.

Ромей улыбнулся, но глаза его были серьезны. Зрачки в карей оболочке расширились и опять сузились. Ратибор почувствовал легкое головокружение. Опора шатра, темный войлок в морщинах, как кожа, сам ромей, упершийся, не моргая, в глаз русича, – все, все отошло, все исчезло, кроме черной глубины настойчивых глаз. Ратибор не уступал. Невольно ввязавшись в странную борьбу молчания и взгляда, он, противясь чему-то, отталкивал неизвестное.

Оба не знали, как долго мерились они силой души и воли. Ратибор опять услышал дальние и ближние

звуки голосов, увидел не одни глаза, но все строгое, еще больше осунувшееся лицо ромея. Тот засмеялся, трижды хлопнул в ладони, сплел руки за затылком, потянулся, хрустнув суставами.

– Ты – сильный мужчина, молодой сын леса и степи, – сказал ромей, – искусство магов Персии и Египта не может тебя победить! Я – твой друг. Скажи мне, чего ты хочешь?

Кровавое вино ромея было слабее русского меда, ставленного на хлебной закваске, выбродившего в тепле, выдержанного в холоде ямы. Мед веселил, вино навевало грусть. От меда живчики играли в теле, от вина тяжелели ноги. Чего попросить у ромея? Ратибор не знал.

Россич не заметил, откуда в руке ромея явилась темная фигурка – голый мужчина держал в правой руке короткий, широкий книзу меч, в левой – круглый щит.

– Вот кто тебе нужен! Бог войны – Арей-Марс. Он сын Зевса, отец Ромула. Гляди, гляди, ты похож на него.

Ромейский бог войны? Какой же это бог?! У него была курчавая голова, чуть скошенный назад лоб, прямой нос, продолжавший линию лба. Руки, ноги, грудь – все мягко, округло. Нет, Перун – настоящий бог воинов. Его руки могучи, похожи на корни, его кожа не боится царапин, как кора дуба. Лицо Перуна грозно, глаза – зорки. Этот бог слеп, меч и щит у него как для детей. Ратибор не успел отказаться, как в шатер вошел черноризец Деметрий.

– Что ты делаешь здесь, Малх, с этим варваром? – строго спросил пресвитер.^[6] Искусство жонглера изменило Малху, или оно годилось только для чужих. Он не успел спрятать изображение Арея-Марса.

Деметрий взял бронзу, брезгливо бросил.

– Я, недостойный, пытаюсь наставить язычников слову божью, ты, еретик, смущаешь их души сатанинскими образами, – гневно говорил Деметрий. – Что мне делать с тобой! Ты каялся в своем нечестии, отбыл эпимью, был прощен от нас, слабых служителей добра. Но вижу, ты не забыл проклятого ремесла мима, обманщика людей. В Византии ты сидел в темницах, справедливо уличенный в грехе; в Египте ты едва не впал в сатанинскую ересь манихеев. Кафолические базилиевсы запретили изображения дьяволов. Зачем ты смущаешь варвара, отвечай!

Ромеи говорили на своем языке – Ратибор не понимал их. Он видел, как Малх кланялся, часто-часто прикладывая три пальца ко лбу, животу, плечам. В голосе Малха звучал страх, он умолял. Вот он на коленях, целует руку Деметрия. Лицо строгого человека, подпоясанного веревкой, будто бы смягчилось. Он положил руку на опущенную голову Малха. «Черный ромей – хозяин Малха?» – спросил себя Ратибор, жалея нового знакомого. Для Ратибора Деметрий был обманщиком, глупцом, который рассказывает несбыточное и сам тому верит.

Малх поднял фигурку, опять бросил ее, плюнул. Да, он раб. Ни один россич так не унижится и перед князьями.

Ромеи, не обращая внимания на россича, пошли вон. На берегу Малх размахнулся, божок булькнул в Днепре. Согнув плечи, Малх поплелся за Деметрием. Ратибор глядел на воду. Здесь, к устью Роси, не так глубоко. Соображая течение, он метнул щепку. Потом разделся и пошел в воду.

В весенней речной мути глаза плохо видели, течение сносило. Пришлось заплывать и нырять четыре раза. В свете солнца мягкие формы ромейского бога войны показались Ратибору совсем непригодными для выражения мужской доблести. Этот Арей – женщина по сравнению с Перуном. Ратибор уронил бронзу на песок так же пренебрежительно, как Деметрий. И тут же подобрал. Ромеи сами утопили свое достояние. Русские кузнецы сумеют выковать из меди что-либо доброе.

3

Сверху сплывали челны. Помогая себе течением, они разумно держались правого берега, чтобы не потерять речной стрежень в левобережных разливах. Шли не росские челны и не ромейские корабли. У этих челнов носы были высокие, острые, задранные круто, тупая корма с палубой. Хорошо осмоленное дерево блестело на солнце. Приблизившись к Торжку-острову, вновь прибывшие развернулись против течения, около устья Роси, и взяли к берегу. Гребцы, видно привычные к плаванию, ладно и споро били веслами. На мелководье головной челн бросил в воду рогатый брус на канате, плетеном из ремней. В точности подражая первому, все остальные вытянулись вдоль берега.

Кое-где над высокими бортами торчали кожаные мешки. Виднелись лица бородатые и безбородые, с усами и без усов. Гребцы, поднимая весла, укладывали их вдоль бортов. Многие были почти голы – только в коротких штанах. На потном теле, красном от весеннего загара, туго сидели браслеты и ожерелья: желтые и светлые, гладкие, витые, чешуйчатые, кованные из колец.

Жилистые руки подтягивали к бортам легкие челноки, которые тащились на причалках за челнами.

На острове все, кто не спал, сбежались для зрелища.

– Дальние, дальние люди, – говорил Чамота. – Не пруссы ли? Гляди, вон у того ожерелье желтого янтаря. Они и есть. На их Холодном море зимой дня почти не бывает, а летом сплошь день стоит. Ишь как их нашим солнышком напекло. Блестят, что медь чищенная.

Челноки приставали к берегу. Прибывшие выскакивали на песок, поднимая вверх руки с открытыми ладонями в знак мира и дружбы.

– Будто и ильменцы есть, – продолжал приглядываться Чамота.

Россичи знали, что далеко-далеко, если плыть по рекам и тащиться волоками на полуночь, есть край земли. Там Звезда-Матка стоит в небе куда выше, чем на Рось-реке. Там пусто, темно, лед, снег. Туда прячется на лето Морёна-зима и ждет своего срока, пока пролетные птицы, уходя на юг к Теплым морям, не запрут небо для тепла. Около этого края, на берегу Холодного моря, живут люди славянского языка, по названию пруссы. А поближе их, за днепровскими верховьями, есть озеро-море Ильмень. Около него тоже живут славяне.

Высадившись, пруссы и ильменцы разминали ноги, утомленные долгим сидением. Несколько человек, поздоровавшись с Чамотой, пошли вместе с ним к ромейским шатрам, другие сбились в кучки, как, не думая, делают все при первой встрече с незнакомыми.

Чужое манит к себе. Россичи без стеснения напирали на пруссов, спрашивали. Пришлые не стеснялись. Один из них, немного постарше Ратибора, упористо расставил ноги, цепляясь за песок горбатыми пальцами босых ступней. Прищурившись, он закинул Ратибору шуточное присловье:

– За посмотренье платят, друг! Чего мне дашь за рассказ?

Его звали Голубом, не прусс, а ильменский житель. Не дожидаясь ответа, Голуб продолжал:

– Далек Ильмень-батюшка. Отсюда, скажем, плыть туда до Днепру, пока тот не измельчает до ручья. Потом челны тащат плоской гривой, там путь пробит через леса, называется – Волок. От него водой идут к Ильменю-озеру Мойскому. Там, на речках Порусья и Полисть, наш город Русса, а заложил его брат Славена, сам именем Русс. Град большой, мужчин в нем наберется больше, чем на твоём острове, друг Ратибор. А женщинам и девкам у нас счета нет. Одно в пути плохо, уж трудно, как трудно тащить челны переволокой через Волок. Там сильные люди нужны, слабым там – смерть, брюхо лопнет. А ты челны

посуху таскал?

Играя, Голуб взял Ратибора за руку, сжал пальцы будто по дружбе. Дружба дружбой, но жесткая пятерня Голуба давила клещами. Тут не сплеховать бы: не осилишь – или прощенья проси, или пальцы сломают. Незаметно для других оба пустили в дело всю силу. Голуб улыбался, а Ратибору виделось, как крепкие желтые зубы ильменского славянина недобро скалились в русой бороде. Чужой хотел зло посмеяться над молодым россичем. Не вышло... Чувствуя, как ослабела хватка, Ратибор выпустил руку Голуба. Что его обижать, гость ведь. Тряхнув головой, Голуб поправил длинные волосы – сбился ремешок, который их держал. И засмеялся:

– А хорошо у вас кормят, силы хватит у тебя волочить челн через Волок-то!

У котлов закричали, зашумели очередные повара:

– Гей, гей, упрело варево-то, мясо от костей отошло!

Разобрав прибывших как пришлось, россичи повели их к котлам. Котлы большие, емкие, не беда, что сверху черны в саже, ты в чашку смотри, там хорошо ли? Навар по виду жирен и крепок. Мяса положено без счета и веса: ешь не хочу.

Пруссы причалили к Торжку-острову не для случайного отдыха. Прошлым летом, собравшись в числе около двух сотен, они поднялись от своего Холодного моря. Пруссы называли его Волчьим. Плыли они по реке Болотистой, она же Нево, до озера Нево. Оттуда, против течения реки Мутной-Волхова, добрались до большого града ильменских славян, своих родичей. В граде Руссе, на берегу пресного моря-озера Ильменя, пруссы торговали хорошим железом и чудесным янтарем-алатырем. Железо пруссы брали и набегами и торговлей в Скандии – горной стране, на северном берегу Волчьего моря. Янтарь же собственный. Волчье море выбрасывает его на пологие берега пруссов.

Об этом рассказывал ромеям глава дальних славян, избранный вожаком на время дороги. При упоминании о янтаре ромеи шевельнулись. Камень-электрон высоко, как золото, ценился на Средиземном море и во всей Азии. Прусс вытащил из сумки почти прозрачный кусок, обточенный в форме яйца, и поднес подарок старшине ромейских купцов. Электрон пошел по рукам, все любовались редкостью. Внутри сидел, едва ли не живой, крупный шершень.

Пока ромеи мысленно оценивали драгоценный электрон, прусс решил не поминать о вымененных в Руссе черных соболях, которых называли головкой всех мехов. Дорогу же скрывать не приходилось. Из Руссы путники плыли через Ильмень, поднимались против течения Ловать-реки. Не то они запоздали, не то легла ранняя зима, но днепровские верховья хватило льдом. Вот почему пруссы вышли на Днепр не летом, а весной.

Зимовали пруссы в граде кривичей. Жили без обиды хозяевам. Могли бы побить мужчин, взять себе женщин и имущество. Но это дело дурное.

Прусс помянул о мирном житье средь кривичей без всякого умысла. Купцы сочли его слова похвальбой. Живущих на волоках не обижают, чтобы не расплатиться на обратном пути.

С первой водой пруссы столкнули челны. На Большом Торгу, под высоким берегом Днепра, тесно, и ждать там нечего. Пруссы плывут в Византию. Не возьмут ли их ромеи попутчиками?

Изо дня в день, из лета в лето, из поколения в поколение карикинтийцы со страхом глядели в небо варваров и на дикие причуды Евксинского Понта. На родине люди из года в год копят приметы – у ромеев давно-давно не было родины. Подданные империи были потомками людей, слишком часто перемещаемых прихотями владык и случайностью войн. Уже пращуров их – миды, ассирийцы, эламиты, аравитяне, иудеи, италийцы, македоняне, эллины и сколько других – являли смешение языков. Ромеи же

были сплавом, созданием империи, усиленной за последние десять поколений воздействием христианства: базилевсы-императоры и церковь равно не считались с племенем.

Мир – в руке бога. Только бурям известно, сколько воды накопили славянские леса, где никто не бывал от сотворения мира. Бог знает, когда откроются днепровские пороги, пути же бога неисповедимы для смертных. Пруссов не так много, чтобы разбить караван, а в беде они смогут помочь.

Но если в имперском городе пруссы станут бесчинствовать, ответит и тот, кто показал разбойникам путь. Зачем пруссы хотят плыть в Византию? Еще при Константине протоколариусы записали законы о встрече посланников и всех чужих, которые прибывают в империю. В границы Византии – Второго Рима бьет волна хищных варваров. Поэтому законы приказывают: люди, приставленные к чужим, должны остерегаться сказать им то, о чем чужие спрашивают. Ничего не говорить, ничего не открывать! Посланникам можно показывать лишь три вещи: множество подданных империи, благоустройство сильных войск и крепость городских стен.

Открывавший тайны империи чужеземцу карался по закону мучительной казнью, о которой не хотелось и поминать.

Однако те же законы разрешали быть менее осторожными со слабыми соседями империи или с людьми, прибывающими из отдаленных земель. Пруссy – жители северного края земли. Это ободряло купцов. Карикинтийские власти допросят пруссов. А сейчас купцы надумали составить запись прусских речей, чтобы префект мог уличить пришельцев во лжи, если те переменят слова.

– Мы хотим продать византийцам товары, – объяснил вожак.

– Продай здесь, продай нам и вернись к себе.

– У вас есть хорошее золото? – спросил прусс.

– Но почему ты хочешь плыть так далеко? – уклонился ромей от ответа. – Далекий путь дорог...

В Средиземном море эллины когда-то уступали торговое первенство только финикийцам. Потом Архипелаг попятился перед италийским Римом. Однако в восточном углу Средиземного моря эллины удержали торговлю в своих руках. А здесь, на Днепре, с эллинами никто не соперничал. С начала жизни эллинских городов на северных берегах Евксинского Понта прошла тысяча лет. Все изменилось, нет эллинов.

Еще живет их речь, богатая, великолепная для выражения и для сокрытия любой мысли. Но и она уже изменяется, и все заметнее и заметнее расходятся слово написанное и слово сказанное. А искусства? Из них сохранилось одно ныне единственно нужное – великое искусство торговли. Оно не простое.

Торговля изоощряет ум в уловках, учит язык скрывать мысли, сушит сердце каждодневностью лжи. Лжет равно и богач, и мелкий торгаш вразнос. Лжет взгляд, рука, движения тела. Лжет послушный голос, лжет походка и даже лжет ухо, которое умеет вслушиваться, ловит скрытый смысл и там, где его нет. Ромеи могли бы бесконечно долго играть словами с пруссами. Но в цели пруссов не было ничего тайного. Решение, которое они приняли на берегу Волчьего моря, не подвергалось сомнению даже в скучные месяцы зимовки в черных избах гостеприимных кривичей.

– Клянусь мечом и копьем, – сказал прусс. – Наше сердце открыто, наши желания просты. Продав товар, мы поступим на службу базилевса. Если верно, что он дает воинам хорошую плату.

Малх слушал, отмечая нужное стилосом на вощенной дощечке. Он понимал, что варвары были всегда обмануты и обобраны карикинтийскими купцами. Но деньги возвращались к варварам, если не к тем, кого

обобрали купцы, то к другим.

Базилевсы постоянно откупались от своих воинственных соседей, делая им подарки, чтобы удержать от вторжения. Империя платила союзникам-федератам, укрепляя непрочные союзы. Империя выкупала потерянные во время войн земли, поддерживала мир ежегодными взносами. Товары, золото, серебро ходили по кругу. Содействовать этому вращению, сами того не подозревая, собирались далекие киммерийцы-пруссы. Много варваров за высокую плату служили империи. Базилевс Юстиниан любит содержать воинов-чужеземцев. Репартий восхвалял щедрость базилевса:

– Кроме жалованья, за каждый день в году базилевс дает своим наемникам-солдатам все и возобновляет утраченное. За потерянного коня дает коня, за стрелу – стрелу, за меч – меч. Даже за сломанное стремя, за порванную уздечку, за изношенный сапог базилевс платит не торгуясь. Поэтому солдаты базилевса не боятся потерь. За храбрость в битве полководцы награждают серебряными и золотыми ожерельями, браслетами, перстнями. Тут же, на поле – солдат еще не успеет вытереть пот. В чужой стране солдаты берут все, что захотят. Взятый город отдается солдатам на день, два, даже на три дня.

«Это можно не записывать, – с иронией думал Малх, скромно согнувшись над восковой дощечкой. – И того, что скажет Репартий дальше».

– Но, – говорил Репартий, – базилевс берет на службу тех, за кого поручатся надежные люди. Поручительство стоит денег. Мы найдем вам поручителей...

Свежий ветер безнадежно пытался заровнять истоптанный песок, рябь на Днепре превратилась в низкие гряды белых барашков. Пролетная туча пролила поспешные струи.

Сохраняя безразлично-внимательное лицо, Малх позволял своим мыслям витать по их воле.

Пресвитер Деметрий внимательнее Малха вслушивался в беседу купцов с пруссом. Греховны дела базилевса, думающего о мирском, пользующегося мечами варваров! Все ложь, все соблазн сатаны, суета сует и всяческая суета. Империя должна стремиться не к союзам с язычниками, а к евангельской проповеди. Огнем надо подавить ереси в самой империи и поднять священный лабарум Константина для просвещения и спасения варваров. Принявший святое крещение спасется, закоснелый – погибнет. В походе за Христа бог, ангелы и святые усилят воинство базилевса невидимым оружием, и Второй Рим воцарится навечно, не как первый, источенный грехами, языческий Рим.

Подняв глаза, Малх не мог сразу отвести их от сурового профиля Деметрия. Страх овладел Малхом, он с дрожью вспомнил событие с россичем Ратибором. Малх боялся себе признаться, что неуспех проповеди пресвитера обещал ему самому мало хорошего. Простил ли его Деметрий? Если Деметрий пожалуется префекту на Малха, соблазнявшего варваров, что с ним сделают? И еще – Малх по-детски жалел погибшую фигуру Арея, обломок великого искусства древней Эллады.

4

Шумно и весело братались хозяева-россичи с гостями – пруссами и ильменцами. Вольные охотники из россичей отправились пошарить в затонах и побродить по берегу за свежим мясом. Вернулись в груженных доверху челнах. Туши серн, вепрей, диких коров были завалены сотнями и сотнями битой птицы – гусей, лебедей, уток, водяных озерных курочек. Не челны плыли – чудища пернатые. Сами охотники, облепленные пухом, походили на птиц.

Близ острова вольные рыболовы, развлекаясь широкоячеистым неводом, за канаты тянули по отмели улов. Отбирали для себя полусаженных стерлядей, осетров в человеческий рост, лещей не менее пяти четвертой от хвостового пера до жабр, сазанов, толстых, как поросята. Мелочь отпускали на волю: не нужна, пусть доспевает. На Роси от голода еще никто не умирал.

Гости насиделись на копченой и вяленой сухомягине. Торопясь, они в пути не пополняли запас, накопленный зимней охотой, и сейчас, как волки, пьянели от свежего мяса. Птицу щипали-гоили кое-как, горстью, пух летел по всему острову. Сочна, вкусна дикая птица с прилета, пока еще не истратилась на весеннюю любовь. Рыба же, печенная на раскаленных камнях, приправленная густым медом, лучше всякой иной сладости.

В товариществе с Ратибором держались ильменец Голуб и трое пруссов, из которых молодого россича привлекал ровесник по имени Индульф.

Индульф понравился Ратибору смелым лицом, вольным взором, ловкой силой, которая сама просилась наружу при каждом движении. По росскому обычаю полагается заботиться о госте в меру, без назойливости. Одно – обычай, иное, когда дружба идет от души.

– Благодарю тебя за ласку, – говорил Индульф.

– Пришел бы ты к нам в слободу, там бы я тебя угостил, – отвечал Ратибор. – Но скажи, ты нашего языка, хоть и говоришь не совсем по-нашему, так почему же у тебя имя не наше?

– Было у меня имя другое, – ответил Индульф. – Мать и отец меня нарекли Лютиком, по цветку, потом меня называли Лютобором – за силу. Потом... Жизнь посылает нам неожиданное... Мы ходили на челнах в Скандию, страну озер. В бою я схватился со скандийцем, мы оказались равной силы, равного умения. Другие скандийцы отступили, он остался один. Мы дали ему уйти. Пруссы не любят нападать множеством на одного человека. Через день я отстал от своих. Скандийцы окружили меня, я бы остался трупом на их берегу. Тот человек не дал убить меня. Холодное Волчьё море было нашим свидетелем, мы смешали свою кровь и обменялись именами. Теперь его зовут Лютобором, меня – Индульфом. Я не хочу больше нападать на скандийцев. Поэтому сегодня я здесь, а завтра хочу быть на берегах Теплого моря...

Беседе помешал Голуб. Он предложил молодому россичу:

– Мы с тобой попробовали было силу. Давай еще поборемся, разомнемся.

У задорного ильменца осталась в сердце заноза, что не мог он пережать руку Ратибора.

Любимая забава для мужчин – борьба. Самому ли побороться, посмотреть ли, – одинаково хорошо. Все, кто услышал вызов, встали в круг.

Ссоры не было, и борьба пойдет только на испытание силы. Борцам делить между собой нечего, кроме чести. Поэтому нельзя хватать за ноги и бить ногами, запрещено тело рвать и давать подножку. За шею братья можно, но не душить.

У соперников разгорелись сердца. Тут же объявились судьи, чтобы в увлечении никто не нарушил

честных правил.

Голуб, голый по пояс, притопывал ногами, разминал руки, глубоко вдыхал, будто приносиваясь, как пахнет днепровский воздух и что сулит удавая забава в новом месте.

Как и все дети в Руссе, голопузым мальчонком Голуб шлепал босыми ногами по весенним лужам, когда под заборами и в тени изб еще лежали зернистые сугробы, черные от пепла очагов, с дырками, пробитыми выброшенной костью. Была и другая забава – разбивать твердыми, как копытца, голыми пятками лед застывших за ночь луж. Малый рано приучался ко всякой работе и во дворе и в поле. Мешая дело с бездельем, мальчишки плавали на ильменских отменях – кто дальше, ныряли с причалов под челны – кто глубже, кто кого пересидит под водой. Дрались палками, будто мечами, били из самодельных лучков птицу, где ни попадись, метали палки-копья. Мальчишки боронили, косили сено, жали хлеб, рано учились таскать соху-матушку, вязали возы, ездили верхами, гоняя скот и табуны, рубили лес, перетаскивали бревна на себе и на волокушах. Под присмотром суровых старших учились владеть топором, могли собрать сруб на избу, сложить очаг, сделать и насторожить силья ловушки на птицу и разного зверя. Голуб учился и делал все, что делали все мальчишки, подростки и парни в большой славянской семье, где несколько десятков взрослых мужчин и женщин исполняли разумно-необходимую волю старшего в роде.

Защищенное реками и болотами, закрытое дубовыми рощами, сосновыми и черневыми лесами, северославянское гнездо не испытало набегов чужеродных полчищ. Приильменцам не грозили орды степных народов, висевших над Росью. Они не знали войн, грозящих племени уничтожением. Бывали неурядицы между собой же, ссоры и свары с близкими соседями – мерянами, чудинами, весью. После нескольких десятков побитых голов стычки кончались мировой. В самый злой час ссоры ни одна из сторон не замышляла поголовного уничтожения или порабощения соседа, ставшего временным недругом. Главным оружием ильменцев служил не меч, а рабочий топор.

Топором ильменский славянин учился владеть не как воин, а по воле нужной работы, так же как кузнечным молотом, который тоже пригоден для драки. И наездником был ильменец из-за трудовой нужды. Леса изобиловали дичью – славянин владел луком, рогатиной. Богатая природа свои сокровища сама не отдавала. Трудиться же стоило. Труд вознаграждался. Взяв одно, рука тянулась за другим, деятельность везде находила себе применение – только умей. К зрелости выковывались и сила тела и твердость духа.

По такой дорожке шагал и Голуб, с той разницей от других, что его подкалывало беспокойство непоседы. Повзрослев, он не обзавелся семьей – таких называли бобылями. Приходилось Голубу шататься по нетоптаным лесам с ватагой товарищей в поисках пушного зверя, не боялся и один поискать счастья. Он добывал, но не хранил добытое, которое весело уплывало меж пальцев. Доживая третий десяток, Голуб изведаль Север и начал мечтать о новом. На Ильмене довольно слышали о чудесном Юге, реках вина, сладких плодах на берегу Теплого моря, о красивых женщинах. Пруссы же были не прочь взять сильных мужчин для помощи в дальней дороге.

На борьбу с Ратибором Голуб вышел с силой, наращенной на широких крепких костях. Спина его не ломилась и грудь не задышалась под ношей большего веса, чем он сам. Ноги умели носить хозяина с шестипудовым мешком за спиной по кочкам, сквозь бурелом, по зыбким трясинам моховых болот весь длинный летний день.

Так же, как Голуб, подрастал и Ратибор. Те же забавы, тот же труд, от которых не просят пощады и куда слабому лучше не лезть. Так же жизнь испытывала тело холодом, мерзлой слякотью, грубой пищей. Она сама определяла – быть ли дальше парнишке или уйти вслед многим мальчишкам и юношам, слишком

хилым, чтобы дожить до возмужалости и служить роду-племени.

Но была и разница. Суровые дети Рось-реки чуть не с первым куском хлеба на молочных зубах познавали себя будущими воинами. Желания и мечты самых смелых устремлялись к слободе. Только там Ратибор нашел образец доблести – воеводу Всеслава. Видимым, осязаемым условием доблести была телесная сила. К первой силе, созданной трудом, слобода умела добавить свою вторую – тяжкими воинскими упражнениями, в порядок которых был вложен длительный опыт.

Судьи поставили противника на три шага один от другого и отошли: начинай!

Борцы с опущенными руками, чтобы не выдать приема, следили друг за другом: кто схватит первый, тот может сразу побороть, кто ошибется, тот и ляжет.

На руках Голуба мышцы надулись шишками, напряженные пальцы подогнулись, как выпущенные когти. На спине вздулись две подушки, разделенные бороздой хребта. Мышцы на ребрах оттопыривали руки в стороны. Голуб втянул голову в плечи, сделал шаг, еще шаг.

Ратибор ждал, расставив прямые ноги. Гладкий торс с выпуклой над втянутым животом грудью не говорил о напряжении, грудные мышцы с пятнами сосков были как плоские перевернутые чаши.

Голубу оставался еще один шаг. Он не решался. Испытав силу пальцев россича, ильменец остерегался. «Обхватить бы сразу, грудь с грудью, тут я тебя и сломя», – соображал Голуб.

Отступив назад, еще назад, Ратибор заставил Голуба сначала широко шагнуть, затем сделать бросок.

Для россича борьба с другом служила преддверием боя. Слобода учила воина умению вынудить соперника открыться. Расчет должен был сочетаться с силой и ловкостью удара. Ильменец же полагался на силу, на натиск, а там будь что будет. Он не был воспитан для борьбы с неизвестным врагом.

Промахнувшись, Голуб не успел схватить Ратибора поперек тела, а Ратибор поймал оба запястья Голуба. Упершись плечо в плечо, они теснили один другого. Голуб был тяжелее, но ему не приходилось часами держать между коленями двухпудовый камень. Он не мог так сжать ногами ребра коня, чтобы тот, храпя, лег под всадником.

Обоим мешал песок, слишком сыпучий. Цепкие пальцы босых ног не находили достаточной опоры.

Ратибор хотел пустить в дело прием, применявшийся в борьбе с быками. Чтоб повалить быка, гнут упорно всем весом в одну сторону, приучая зверя напрячь силы в другую. Бык не рвется, как иной зверь. Веря в себя, он старается пережать человека, чтобы вырвать из его рук рога и ударить. По напряжению шеи быка, по тяжести, которая сильнее и сильнее давит, человек определяет нужное мгновение и вдруг, меняя руку, рвет туда же, куда приучил давить быка. Потерявшись, бык поддается и падает на бок. Иной раз насмерть хрустят его позвонки.

Ратибор и Голуб казались достойными друг друга противниками. Уже сотни людей невольно сжимали круг, и добровольные судьи отталкивали назад слишком увлекшихся зрелищем.

Малх ловко протиснулся в первый ряд. Он увидел не просто состязание двух мужчин, а борьбу двух различных сил. Голуб – это воплощение земли, грубой, тяжелой. Он похож на некоторые изображения Геракла-Геркулеса, в которых полубог кажется утомленным собственным телом. Ратибор же представился Малху подобием солнечного Аполлона. В его теле сила не цель, а предлог красоты, вместилище духа.

Ратибор не видел восхищенного взгляда ромея, все его внимание было поглощено Голубом.

Слышалось, как тяжело, с натугой дышал ильменец. Капли пота катились по его лицу. Ратибор ощутил,

как увлажнилась под его пальцами кожа Голуба.

Он не пытался свалить Голуба, но, внезапно выпустив его, успел обхватить ильменца и поднять вверх, прежде чем тот пустил в ход руки.

Судьи закричали:

– На силу, на силу! – Они напоминали о том, что Голуб не имел права отбиваться ногами.

Прижатые к телу руки делали ильменца еще шире. Ратибор не смог сплести пальцы на спине Голуба и все же держал его в воздухе, не давая вырваться.

Для Малха это была скульптурная группа, он вспоминал миф об Антее и Геракле.

Ратибор почувствовал, что Голуб перестал сопротивляться. Россич не повалил противника, чтобы победоносно прижать плечи к песку, а просто поставил его на ноги и отступил.

Голуб не рискнул продолжать борьбу, не захотел и срамиться бахвальством.

– А и силен же ты, – признался он, – а крепких людей родит Днепр ваш.

«Молодой славянин не только силен, он благороден, – думал Малх. – Он мог бы грубо воспользоваться победой – не захотел. Какой путь проложили бы женщины такому атлету при дворе базилевса! Во времена императрицы Пульхерии он встал бы всемогущим с ее ложа. Но и ныне женщины слишком много значат при дворе, они заставили бы заплатить за твою силу...»

Беспокойный ум Малха, знавшего успехи в театре и клоаку церковной тюрьмы, нашептывал о свежей крови варваров, о новых источниках, от которых могло бы возродиться величие простой жизни. Но христианин напоминал философу безнадежную истину: не вливают молодое вино в старые мехи. Разъедающее сомнение говорило Малху – он сам этот старый мех, изношенный, потерявший прошлое, лишенный надежды на будущее.

Круг, образовавшийся около борцов, распался, только Малх задумчиво глядел на растиравшего себе руки и грудь Ратибора.

– Ты настоящий боец, – слова прусса Индульфа, обращенные к Ратибору, вывели Малха из задумчивости, – Ты хочешь ли помериться со мной?

– Да, если ты хочешь. Будем бороться? – ответил Ратибор.

– Нет. Я борюсь со своими, чтобы тело сделалось сильнее. Настоящая борьба мужчин лишь с оружием в руках и когда ждет смерть. Мужчину узнают не только в борьбе – и в стихиях. Мы не саламандры, чтобы войти в огонь, и умеем летать лишь во сне. Остается вода. Ты хочешь состязаться в воде?

Не только Малх, но и другие ромеи на этом безымянном для них острове умели понять красоту тела молодых варваров. Лениво расходившиеся зрители остановились. Россич был чуть выше прусса, его ноги и шея были немного длиннее. В поясе оба были одинаково сухи и стройны, без капли жира. Может быть, ноги россича были излишне мускулисты для строгого канона; вероятно, упражнения с камнем и конем не входили в программу эллинской атлетики. Плечи Индульфа были более покаты, что считалось красивым. Кисти рук Ратибора были грубее, чем у Индульфа, – россич больше работал руками. Но длиной пальцев он едва ли не превосходил прусса... Трудно было бы сделать выбор.

Малх думал о том, что уже задолго до наступления новых времен никто не удивлялся пастухам, которые беспрепятственно взбирались на вершину Олимпа в поисках капризной козы. Могучая и плотская религия древней Эллады сменилась пустыми для мыслящих людей обрядами, якобы нужными для простолюдинов. Авгуры еще, как в древности, читали судьбу, ожидающую империю, по полету коршунов, а очередные императоры уже объявлялись богами, бессмысленно увеличивая население несуществующего

Олимпа. Отточенная в софизмах мысль, богатая литература, великолепная архитектура и скульптура заменили добродетели предков. Но Империя рано начала опасаться вольнодумства. Петь хвалы императору, а лучше всего – молчать и подчиняться. Ныне прошло более двухсот лет со дня объявления миланского эдикта императора Константина. Опасная религия рабов и угнетенных обуздана, обращена в лучшую опору власти, которую когда-то была готова сокрушить. Торжествующие церковники добились литературы. Два столетия христиане уничтожали бесовские мраморы, но скульптура еще жива. Искусство изображения сохранялось. Ведь статуя злодея могла быть таким же прекрасным произведением, как Диана, Лаокоон или Зевс. Кому-то ведь нужно было ваять императоров и императриц, возводить здания и украшать их, дабы свидетельствовать о величии империи. Еще сохранялся взгляд на тело мужчины как более совершенное по сравнению с отягощенным излишней плотью телом женщины. Христианство с почти бесплотными образами святых, скрытых одеждой, не могло ничего противопоставить заветам былых эстетов.

Дождавшись, когда соперники вошли в воду, ромеи занялись своими делами.

Только россичи ныне оставались на острове; пора купцам кончать торг и возвращаться. Чамота и старшие оказались терпеливы. Они получают больше других, но немногим. Правда, на кораблях осталась лишняя соль, но ромеям нельзя сбивать цену, славяне памятьливы, один год испортит много будущих. Потом, уже на обратном пути, купцы ее высыплют в воду для облегчения груза. В озерах у Меотийского болота соли бесконечно много. И достается она вовсе не с таким трудом и не с такими опасностями, о которых хитрые купцы любят рассказывать легковерным покупателям.

В последние три дня Днепр заметно опадал, но сегодня вода остановилась. Это был признак дождей, пролившихся в верховых лесах.

Впадая в Днепр, Рось образовывала на его правом берегу длинный мыс – им она прикрывалась от старшего брата. От этого мыса до острова было с версту. Голова Торжка отбрасывала Днепр к его левому берегу.

Кто раньше коснется мыса, кто опередит соперника, вернувшись на остров? Мутная вода была так холодна, что тело сжималось, затрудняя дыхание. В первые мгновенья пловцы невольно пустили в ход всю силу. Когда кожа привыкла к холоду, они подчинили движения расчету.

Достигнув мыса, пловцы имели право выйти на берег согреться. Естественные условия делали состязание более жестоким, чем казалось на первый взгляд. Отставший, конечно, не захочет терять время на отдых и может оконечить на обратном пути.

У берега острова течение почти не чувствовалось. Ближе к середине река, прорывая русло в наносах песка и ила, подхватила пловцов. Стало еще холоднее. Вначале, у берега, Ратибор опередил Индульфу. Сейчас он понял расчет прусса. В стержне-струе Индульф поплыл во всю мочь. Он делал частые взмахи, зарывая под себя согнутые в локтях руки. Голову он держал под водой, поднимая лицо для редких вдохов. Ратибор не умел так плавать и потерял преимущество первого броска.

Течение сносило. Какие-то крупные рыбины вдруг заматались под Ратибором. Ему показалось, что жесткий плавник уколол его в грудь.

Перегнав, Индульф продолжал удаляться. Прусс поступил правильно, он быстрее проплыл трудное место. Здесь вода шла тише, соперника почти не сносило. Он был ближе к мысу, чем Ратибор.

Везде, как и в бою, есть своя уловка, свой расчет – побеждают умением. Ратибор сделал ошибку.

Россич не понимал трудности борьбы с пруссом, выросшим у моря. С раннего детства прусса сурово приучили к стылой воде стылого моря, он знал не простой ток речных струй, а предательскую игру прибрежных течений. Индульф увлек Ратибора на поле, где сам он был сильнее, умелее.

Усталости Ратибор не чувствовал, тело слушалось. Примирившись с мыслью о возвращении без отдыха, он следил за Индульфом. Озяб ли он, решится ли выйти на берег, растереть ноги на солнце?

Нет... Ратибору оставалась еще полусотня шагов или взмахов, когда Индульф достиг мели. Встав, прусс сразу оказался по пояс. Разбрызгивая воду, он выбежал на песок, поднял руку в знак первого успеха и снова бросился в Днепр.

Достигнув берега, Ратибор поступил иначе. Гладкий бережок, оставленный отошедшим Днепром, был тверд и ровен, как уложенный тесинами пол. Ратибор побежал вверх по течению. Бежать голым тому, кто умел бегать с тяжелым мешком за спиной версты, не переходя на шаг, было все равно что лететь на крыльях. Он пробежал сотни три шагов, не заметив. Условие не препятствовало такому приему.

Индульф, успев преодолеть почти треть расстояния, плыл прямо против течения. Ратибор плыл наискосок вниз. Их дорожки должны были встретиться на острове, где борцов уже ждали.

Ратибор не заметил разницы в тепле береговой воды – тело застывало. Незаметно для себя пловец коченел. Его и прусса разделяло шагов тридцать-сорок. Сейчас течение помогало Ратибору и препятствовало Индульфу.

Теряя быстроту, Индульф плыл иначе, чем вначале, голову он не погружал, плечи поднимались выше, чем надо. Лицо прусса исказилось, как от боли и досады. Ратибор подумал о судороге, которая могла поразить соперника. Так было однажды и с ним. Летом на дне холодного омута его поймала непонятная, как заклятье, боль, впившаяся сзади в голень.

Ратибор позволил теченью снести себя ближе к Индульфу. Еще немного, и оба почувствовали мель. Для зрителей никто не победил. Посинелые соперники вернулись на берег плечо к плечу. Индульф держался прямо, но Ратибор знал, что это дается нелегко: на левой икре прусса вздулась шишка.

Накинув плащи, они отогревались под лучами солнца, разминая одеревеневшие пальцы. Повторить состязание никто другой не решился.

Безделье сменилось спешной работой. Купцы договорились с пруссами, закончили торг с россиянами. Пора, пора вниз, пока не открылись пороги.

Ромейские корабли подтянулись ближе к берегу. Челны россиячей образовали мосты между берегом и кораблями. С кораблей сносили мешки с солью, коробка с сушеной сладостью – коричневыми абрикосами без косточек, сморщенными черными сливами, пахнущими дымом, виноградом, засушенным цельными кистями. Раскатывались, измерялись яркие ткани с нарисованными цветами, птицами, зверями. Разгибались и тоже измерялись жгуты для браслетов и ожерелий, сплетенные из меди, гибкой бронзы, белого серебра.

Украшения отдавались покупателям в маленьких ящичках из кедровых дощечек, что делало еще более заманчивыми затейливые изделия из олова и медных сплавов. Ножи с тонкими лезвиями проверялись на гибкость клинка.

Сухие, почти невесомые стручки красного перца продавали счетом на десяток. Оставшийся лом и семена отдавались покупателю даром. Старшие пробовали, не прогоркло ли оливковое масло, запуская длинные палочки в узкие горлышки высоких глиняных фляг.

Разгрузившись, купеческие корабли поднялись над водой и вновь осели под тяжестью зерна. Россичи таскали кожаные мешки с зерном на спине, придерживая их обеими руками за углы, похожие на свиные уши. Ромеи помогали и следили за равномерностью укладки. Просмотренные кожи и шкуры закатывались и сильно стягивались ремнями – так они занимали меньше места. Круги воска забивали вниз, укрывая от солнечных лучей. Ромеи натягивали поверх товара сшитые выделанные кожи для предохранения его от дождя и росы. Один за другим приняв груз, корабли отходили от берега на всю длину якорных канатов. Опасались, что Днепр обмелеет за ночь еще больше.

Пруссы и ильменцы не принимали участия в чужом деле. Порасспросив россичей, они на всех своих челнах отправились к левому берегу Днепра поискать свежего мяса и рыбы. Невод у них был свой и не один. Не забыв привезти дров, добычливые охотники позвали россичей к своим котлам, отвечая на гостеприимство.

Светлая заря сменилась луной – серебряным щитом россичей, мрачной Гекатой прежней Эллады, Солнцем Мертвых персидских магов, Ночным Солнцем воровских шаек Византии. Луна выбелила печалью истоптанный песок, коротенькие тени от рытвин испестрили Торжок-остров. Завтра люди уйдут отсюда, дожди смоят следы, изломанные кусты дадут новую зелень, ветер развеет прах костров.

В последний раз пресвитер Деметрий стучался в русские сердца, взывал к русскому разуму.

Россичи не были глухи к могучей поэзии Библии. Их увлекали рассказы о событиях, случившихся где-то далеко, где люди, деревья, земля и сам воздух другие. И вдруг вторгалось чудесное, невероятное, вызывая недоверие к проповеднику, превращая сказание в сказку.

Не находилась заветная тропка. Утомившись безуспешностью труда, Деметрий озлобился и невольно мстил слушавшим. Самые мрачные образы бедствий, обещанных строптивому Израилю его жестокими пророками, вдохновляли речь христианина перед язычниками.

Наслушавшись проклятий, князь-старшина Чамота перебил сердитого ромея:

– Тебе кто сказал, что наше семя погибнет? И что за вред мы кому причинили?

– Вы противитесь, – ответил Деметрий. – Вы отвергаете истинного бога. Он вас накажет.

– Неправда! – возразил Чамота. – Как же нам довелось обидеть твоего бога, коль мы его и в глаза не видали! Ты на него солгал, ты и бойся. Это ты сам хочешь нам дурного. Мы, россичи, в лесу сидим, но не слепы белым днем, как совы. Я ж тебя понял, черный человек. Скажи, от кого узнал, что на нас Степь ополчается?

– Нет, нет, ты меня совсем не так понял, – отказывался Деметрий. – Я предупреждал о гневе божьем в любовной заботе о ваших душах. Я еще раз прошу тебя позволить мне остаться среди вас. Узнав меня, ты найдешь во мне друга.

Чамота досадливо отмахнулся.

– Эх ты! Я про одно, ты на другое отводишь, след путаешь, как лукавый лис. – Чамота положил руки на плечи Деметрия. – Коль ты друг, то признайся! Была от ромеев засылка послов к хазарам? Гляди на меня! Когда было? С чем послы ходили?

Деметрий был готов на мученичество, но грубость Чамоты оскорбила пресвитера, перед которым сгибалась вся Карикинтия. Сбросив руки Чамоты, Деметрий отступил, едва сдержав гнев:

– Я слуга бога. Мне чужды дела светской власти.

– Нет, ты просто скажи, без увертки, – настаивал Чамота. – Ходили ваши послы к хазарам или не ходили?

Прошлым летом какое-то посольство, прибыв морем в Фанагорию, побывало в хазарском городе Саркеле. Ни само посольство, ни его цели не интересовали пресвитера Карикинтии.

– Через Карикинтию никакие послы не проезжали, – твердо сказал Деметрий, не греша против правды.

– Так ты говоришь, что от ромеев никаких посылок к хазарам не бывало? – настаивал Чамота. – Так тебя понимать?

По церковным канонам, которым непререкаемо верил Деметрий, каждый священнослужитель за ложь лишается богом благодати, таинственно получаемой при посвящении в сан.

– Слышал я, что базилевс через другой город, не через наш, сносился с хазарами. Но о чем, того я и никто в Карикинтии не знает.

– Эй, други-братья! – воскликнул Чамота. – Добро этому человеку вещать нам беды будто бы от ромейского бога, когда сами ромеи дружат с хазарами и на нас Степь наущают!

Разом ответил Чамота и на угрозы Деметрия, и на его просьбы остаться у россичей.

Деметрий не мог согласиться с пораженьем. Как! В словопрении лесной язычник оказался сильнее служителя церкви, изощренного в диспутах! Нет, нет! Слуга бога не обманется видимостью телесного образа. Это сам Дьявол, Отец Лжи, говорил языком славянина. Деметрий громко читал заклинание:

– Да воскреснет бог, и да рассеются враги его...

Индульф пригласил к своему костру Ратибора и несколько россичей. Пруссы и ильменцы братски смешались с хозяевами острова. В их кружок гибко втерся ромей Малх. Он жадно приглядывался, вслушивался, улыбался, стараясь понравиться всем.

Малх успел создать себе мечту: пристать к пруссам и вместе с ними уехать, вернее – бежать в Византию. Кто там помнит осужденного еретика актера и философа! Папирус приговора давно съеден мышами и муравьями.

– В воде я узнал тепло твоего сердца, – говорил прусс намеком, понятным одному Ратибору. – Таков настоящий воин в соревновании с другом. Послушай, жизнь так быстротечна! Нам нужно спешить...

Индульф рассказывал о темных лесах, растущих на каменных горах у Волчьего моря. Там северный край мира, плавающего в беспредельном океане моря.

Индульф ушел из дома, чтобы познать пространство мира и коснуться его второй границы на берегу океана. Его манили белые дома из камней, полные золота, серебра и особенных женщин. Мужчина хочет все видеть и всем обладать. Ратибор грезил, воплощая слова прусса в собственные образы, неясные, как облака, заманчивые, подобно снам.

– Иди с нами, – звал Ратибора прусс, – возьми своих друзей, здесь настоящие мужчины, для вас найдется место на наших челнах. Иди, я полюбил тебя, у меня не было братьев.

Нет, Ратибор не может бросить слободу. Пусть лучше Индульф остается. Рось-река прекрасна, и будет война, придут хазары или другие воины из степи. Индульфу дадут жену.

Ратибор возражал, а сердце щемило желание – уйти вместе с пруссом.

– Нам горько обоим, – угадывал Индульф, – ты не должен уйти, я не могу остаться. Подумай, воин обязан стремиться к невозможному, счастье мужчин лишь в одном – в невозможном. Слушай же, россич, – говорил Индульф, – у нас есть сказка о счастье. Вот ночь и зима, вот воины сидят у костра в темном лесу, и разбуженная птица проносится над пламенем. Счастье в жизни мужчины так же быстротечно, как тепло, которое лишь на миг ощутила птица. Только невозможное греет сердце воинов, только погоня за ним...

Голоса людей на острове становились то громче, то тише, как голоса птиц, пролетная стая которых спустилась на отдых. Как птицы, смолкли и люди. Под высокой луной все спали у подернутых пеплом костров. Днепр беззвучно колыхал корабли и челны. Наступала прохлада, в поймах густели туманы. Будто братья, рядом спали прусс, россич и ильменец. Один беспокойный Малх последнюю ночь на острове провел без сна.

Едва загорелся восток, как отплывающие ромеи разбудили Торжок-остров звучным зовом корабельных колоколов.

Прощаясь, Индульф отдал Ратибору скандийский нож с желтоватой рукояткой из клыка моржа. На водяном узоре железа были вытравлены странные знаки. Россич отдался тяжелым ножом работы родового кузнеца с рукояткой турьего рога.

– Быть может, когда-либо увидимся.

– Быть может, желанья исполнятся.

Шел добрый день для начала пути. Ночи обещали быть светлыми. Ромеи торопились. Малх попрощался с Ратибором странными словами:

– Да хранит тебя Зевс, которого не было, и человек Христос, который умер не воскресая.

За последнюю ночь Днепр убыл на три пальца, отмеченных на вбитых ромеями водомерных колах.

Для россичей кончился короткий праздник весеннего торга. Когда Днепр войдет в берега, степь просохнет.

Когда степь просохнет, может быть, придут хазары.

5

В пустыне днепровских вод, в диком безлюдье берегов, растянулся многоверстный караван. Шестнадцать высокобортных купеческих кораблей с косыми парусами на мачтах влекли длинный хвост – по четыре, по пять груженных челнов. Не просто управляться с ними.

Семь прусских челнов, которые казались маленькими по сравнению с кораблями ромеев, шли сзади. Паруса у пруссов были прямые, годные лишь для попутного ветра. Не то что у ромеев, которые играют парусами, принимая перемену ветра. Пруссы больше полагались на весла. Сильные гребцы, они могли бы и без парусов опередить ромеев. Но союз заключен, идут вместе.

За обещание поручительства пруссы дали своих людей на челны в помощь ромеям. Дали, не оговорив цену, за что заслужили скрытое пренебрежение купцов.

С челна купца Репартия ромей Малх печально оглядывался на пустой остров. Потом песчаная коса утонула вдали, кончилось удивительное путешествие в глубь скифской земли. Что ждет в Карикинтии ссыльного? Временный хозяин Малха купец Репартий скажет: «За моим столом тебе всегда найдется место».

Репартий любил поболтать, лежа за трапезой. Для него Малх был редким в Карикинтии собеседником. Но нельзя злоупотреблять гостеприимством, неимущий гость рискует превратиться в шутализоблюда. Хороший обед три-четыре раза в месяц – все, что нищему следует получить от благожелательства богатого.

После того как в Карикинтийском порту с его ног сбили цепь и выпустили с галеры, Малх вообразил, что умение писать выручит его в дальнем захолустье империи. Он ошибся. Через неделю местные писцы донесли архонтам на неожиданного соперника: Малх нечестиво соблазняет заказчиков.

Архонты следили за порядком – малейшее свободомыслие преследовалось привычно, веками. У доносчиков нашлось доказательство – письмо, в котором неудачливый писец забыл поручить адресата заботам святого, чье имя тот носил. Архонты, пригрозив тюрьмой, запретили Малху заниматься этим ремеслом.

Малх мог бы преподавать грамоту, обучать желающих логике и риторике; как бывший актер, он владел искусством красноречия. На старой земле, в Элладе, в Италии, на Босфоре, он нашел бы себе кусок хлеба: там, среди громадных скоплений людей, еще возможны многие вольности. В окруженной же язычниками колонии священнослужители были бдительнее своих собратьев в метрополии. Христианская церковь цепко держала в руках обучение, свирепо наблюдая за ересями, таящимися в глубинах душ. Церковники видели ересь в каждом слове, которое не повторяло в точности ныне признанные тексты священных постановлений. Купцы, яро храня тайны, сами вели торговые книги и переписку или пользовались обученными рабами, над которыми имели право жизни и смерти, как над домашним скотом.

Здесь крылся выход. Малх по договору мог пойти в клиенты, исчезнув в рядах слуг богачей. Отказаться от последнего призрака свободы? Никогда.

Оставалось одно – снова в дом сереброкузнеца, помогать хозяину и работникам мастерить грубые для вкуса Малха украшения из меди, олова, бронзы. Купцы заказывали дешевые хрупкие вещицы для продажи варварам. Добрый хозяин, ценя ловкость рук Малха, давал ему кров и скромную пищу за несколько часов работы в день. Хозяин был справедлив. Труд Малха не стоил большего. К большему Малх и не стремился: ему была противна возня с горнами, с горячим металлом, плавильными формами,

молоточками и резцами.

Со многим еще можно примириться. Не иметь никого, кому открыть душу, зная – тебя поймут, на тебя не донесут, – вот что сушило мозг Малха. Мысли, которые человек вынужден носить молча, разъедают душу, как кислота – железный сосуд.

Но Малх хорошо помнил Александрию. Империю наводняли шпионы-наушники; соглядатаи умели вызывать на откровенность, чтобы поживиться долей имущества, которую закон давал доносчику. Потом в дела совести впивались болезненно-подозрительные священники восторжествовавшего христианства. Малх вспомнил Деметрия и содрогнулся.

Зимой Карикинтия страдала от ледяных ветров, злобно несущихся с северо-востока. Земля стыла, брызги волн превращались в ледяную крупу. Малх не имел хорошей одежды. В такие дни даже работа у горна казалась заманчивой. С наступлением сумерек Малх ложился на узенькую кровать под лестницей, ведущей на верхний этаж, закутывался в овчину. Положив голову на кожаную подушку, он вспоминал о том, что свод, поддерживавший лестницу, уже был однажды нарушен землетрясением. Если случится еще толчок... И Малх засыпал без страха, без жалости к себе.

Репартий не приказал – просил Малха плыть на хвостовом челне. Корабль купца тащил пять купленных челнов, груженных ценным товаром. Кроме Малха, гребцами на челне сели прусс Фар и один из рабов Репартия. Плосконосый, плосколицый, с жесткими черными волосами, раб имел особенные глаза: косо прорезанные веки подгибались у носа внутрь, не раскрываясь, как у ромеев, египтян, сарацинов, персов, готов, славян. Сильный, молчаливый до немоты, он родился где-то на восточном краю мира. На рынок рабов он попал вместе с другими пленниками, пойманными войсками полководца Велизария во время одной из войн с персидским императором Хозроем Великим. Раб отзывался на имя Гавалы. Малх думал, что на родине его звали иначе. Гавала – имя персидское, а этот человек совсем не походил на перса.

Карикинтийские ромеи остерегались покупать рабов из гуннов, хазаров или славян, родина которых начиналась сразу за городскими стенами. По древнему, хоть и никем не записанному закону, рабы увозились подальше от родных мест. Такому, как Гавала, бежать было некуда. Он даже не мог указать, где его родина, под какой звездой. До нее, наверное, было не меньше ста тысяч стадий – расстояние, невообразимое для ума. Гавала был крещен, что обеспечивало ему хорошее вознаграждение в загробном мире за бедствия в этом. При крещении Гавала получил христианское имя Петр. Святая вода освободила Петра от грехов язычников Гавалы. На его голой, безволосой груди болтался медный крестик на сальном шнурке.

У другого попутчика Малха, прусса Фара, в рыжих волосах путался крохотный амулет, мешочек из тонкой кожи. Что там скрывалось, Фар не знал, в чем уступал Гавале-Петру. Может быть, череп летучей мыши, утопленной колдуном в крови весенней ночью, когда луна идет на прибыль. Или косточки из пальца исполина, ноготь дракона. Может быть, и вещь, которую нельзя называть даже шепотом. Чем страшнее она, тем действительно заклинание счастья.

Для гребцов назначались места среди груза. Одно ближе к носу, другое у кормы. У кормы, почти рядом с собой, Малх посадил прусса. Ромей обязан был следить за расстоянием, избегать рывков, столкновений.

Последний челн напоминал руль корабля. Иногда Малх приказывал работать веслом только одному гребцу, порой гребли оба. На поворотах хвостовой челн помогал длинной вязке описать правильную

кривую.

Туго перевязанные шкуры лежали, как бревна. Чтобы увидеть два передних челна из четырех, Малх был вынужден встать. Ромей был силен и ловок, широкое весло гнулось в его руках, а сам он успевал использовать каждую минуту для разговора с Фаром.

Сколько слов было в запасе у Фара? Тысяча? Две? Не больше трех тысяч, конечно. Впрочем, их никто не считал. Простота грамматики возмещалась интонациями произношения – в них-то и было все дело. Научись их ловить, запоминать, как музыкальные такты, и узнаешь язык. Несколько десятков глаголов и названия двух-трех сотен вещей уже позволяли объясниться.

Днепр заметно спадал. Еще недавно, когда корабли поднимались по реке, Малх запомнилась безбрежность разливов. Особенно поразителен, даже страшен был левый берег – ожившее предание о всемирном потопе. Устья днепровских притоков слились воедино, и коренной берег обозначился здесь и там островками, в которые превратились вершины холмов. Даже взобравшись на мачту, Малх не мог разглядеть конца разлива. Теперь разлив потерял грандиозность.

Ромеи торопились. Пучины вод жили своими законами, силы людей казались ничтожными. Мир коварных чудес порождает постоянное беспокойство, постоянную неуверенность. На кораблях гребли все, помогая парусам, даже хозяева садились на места выбившихся из сил рабов, работников и клиентов. Отдохнув, раб добровольно сменял господина. Страх уравнивал.

Купцы и кормчие много раз поднимались и спускались по Днепру. Вожак каравана совершал свое двадцать третье путешествие. Но тревога, пусть тщательно скрываемая, давила и его. Мир воспринимался как торжество беззакония, распространявшееся и на природу. Христианство, проклявшее все проявления плоти, как дьявольский соблазн, обрекало грешника смертельным опасностям. Счастье было обещано праведниками, каждый щеголял благочестием, но кто же искренне сам перед собой счел бы себя святым в минуту опасности!

Испытующий и карающий бог мог приготовить ловушку на днепровских порогах. Ведь божеству довольно на миг отвести руку, чтобы ад поднял голову. Что в подсказках опыта! Да, пусть приметы говорят о высокой воде на порогах. Нельзя успокаиваться, все в руках божьих, никто не знает меры терпения бога. Он захочет – и камни всплывут над водой. Хорошо, коль наказание ограничится мучительным трудом волока. А если бог пришлет кочевников?

Ромеи спешили. Вожак каравана указывал путь, все стремились держаться струи его корабля, поворачивать там, где прошел передний.

Сулу и Псел миновали вечером, луна еще не всходила. На переднем корабле часто-часто зазвонил колокол. Вожак поворачивал к высотам правого берега. С носа бросили свинцовый шар на шнуре, чтобы определить глубину. Разведывая, головной корабль вошел в тихую воду и уже греб против течения вдоль берега. Заговорила труба: главный кормчий передавал указания флоту. Стаи чаек, гусей и уток, устроившиеся было на ночлег, тучами взмывали в страхе перед чудовищами, издающими неслыханный рев. Головной корабль метнул якорь, указав место стоянки. Совершая маневр с удивительной точностью, остальные корабли заняли места у берега. Утром им останется совершить пол-оборота, чтобы восстановить прежний строй.

Пруссы любовались искусством ромеев. Люди Теплых морей прекрасно владели своими высокобортными большими кораблями.

Будильные петухи возвестили рассвет, вместе с пробуждением воскресла тревога. Зов труб и звон

корабельных колоколов колебали воздух, изгоняя молчание ночи. Странные звуки расходились в пустыне, подобно кругам на стоячей воде.

Шел час между совой и вороной. Ночная птица уже убралась в дупло, а дневная воровка еще сидела на дереве. На западе опускалась луна, на востоке белело небо. На земле еще длилась ночь, но воды светлели ожиданием дня.

Главный кормчий дал сигнал отправления. Кто не успел съесть свой кусок, пусть ест за работой и ловит горстью речную воду.

Ниже устья Ворсклы правый берег повысился и приблизился. Здесь течение заметно уменьшило скорость. Приближались теснины, которые сковывают разливы Днепра после впадения Самари. Великая река тихо направляла свои воды прямо на восход солнца. Ветер сегодня не помогал, и ромеи шли только на веслах. Сняв одежду, обнаженные гребцы обливались потом и жадно хватали воду, охлаждая горячие тела. На челнах все работали, чтоб помочь кораблям. Когда канаты между челнами натягивались, свидетельствуя о лени гребцов, на корабле ударами колокола выбивали число, обозначающее номер челна: хозяин предупреждал о грозящем наказании.

Вопреки общим усилиям в этот день караван прошел не более шестисот шестидесяти стадий, или около ста двадцати верст. Ветер так и не захотел помочь; люди выбивались из сил. До теснин осталось стадий до ста шестидесяти. Вожак каравана счел такое удаление достаточным для безопасного ночлега.

Даже когда вода покрывала камни порогов, не только плыть, но и приближаться к ним в темноте считалось рискованным. Разоблаченные христианством лживые боги бежали из пределов империи в земли варваров. Ослабевшие перед знаменем креста, озлобленные изгнанием, друзья сатаны находили пристанище в диких горах и степях.

Лишившись жертвоприношений и храмов, лживые боги голодали, болели. Но только святой мог позволить себе роскошь бесстрашия перед ними.

В днепровских порогах жили и местные дьяволы, против них молитвы бессильны. Привлекаемые, как многие, чудесным и ужасным, жители Карикинтии утверждали, что ночами над Днепром появляются чудовищные когти и топят корабли, губя людей без пощады. Когда вода обнажает пороги, днепровские дьяволы даже днем осмеливаются угрожать смельчакам. Там, в реке воды, таится хохот сатаны, как железо меча в дырявых ножнах.

Корабли втягивались в тихий затон, избранный вожаком. Затопленное устье безымянного ручья образовало порт, спокойный, как закрытый стенами византийский Буколеон, гавань базилевсов.

Малх прыгнул на ставший рядом челн пруссов, а с него – на один из челнов, купленных каким-то купцом у россичей. Там, раздевшись донага, держа над головой узел с одеждой, ромей осторожно сполз в воду. До затопленных кустов берега было не больше двадцати шагов.

Малх хотел навестить Репартия. Корабль купца-хозяина подтянулся так близко, что на берег перебросили доску. Вдруг Малх услышал свое имя – на прусском челне Фар разговаривал со своими.

Люди, проводящие большую часть жизни вне крова, привыкают говорить громко. Малх уловил похвалы, расточаемые ему Фаром.

Ромей медлил, принимал позы человека, о чем-то размышляющего. Э, теперь его окликают. Да, Фар просит подождать.

Пруссы не захотели прыгать в воду, как Малх. Фар спросил:

– Глубока ли вода?

– Да, можно подойти, причалить, – ответил ромей.

Прусский челн подался вперед – выбрали якорь. Потом гребцы ловко взяли назад и скользнули к берегу, одновременно поворачивая. Можно было восхититься умением гребцов и глазомером кормчего. Челн сближался с берегом. Берег был обрывистый, шнур лота ушел отвесно по борту. Малх поймал брошенную гребцом веревку. Фар пригласил:

– Будь гостем пруссов.

Трех пруссов ромей уже знал: жожака, молодого атлета Индульфа и Фара. Ромей приветствовал пруссов по-римски – поднятой рукой с раскрытой ладонью.

6

Пруссы успели сварить пищу на очаге челна. Из двух котлов мясо вываливали на кожу, служившую походной скатертью. Ели как придется, лежа и сидя на корточках. Мясо резали боевыми ножами и запивали отваром, пользуясь общим черпаком. Все быстро и жадно глотали пищу. Малху показалось, что трапеза была подчеркнута сурова, как у древних спартанцев. Необходимо утолить голод – и только. Скандийцы покончили с едой в такой срок, в который ромеи успели бы сделать лишь несколько глотков. Опорожненные котлы ополоснули в реке и наполнили для тех, кто хотел утолить жажду, – для пруссов, видно, была хороша и мутная вода, почерпнутая у самого берега.

Глава пруссов, будто собираясь купить раба, пощупал руку Малха. Эти сильные люди должны уважать силу! Малх послушно согнул руку, вздув твердый как кость бицепс. Прусс одобрительно щелкнул языком.

Не показать ли пруссам шутки с вещами, которые так поразили воображение Ратибора?

Малх вовремя почувствовал, что это может вызвать лишь недоверие пруссов.

– Где ты бывал, какие страны ты знаешь? – спросил Индульф.

А, так Малха позвали за делом – Индульф не станет празднично тешить свое любопытство. Медленно, по слогам, Малх назвал десятка полтора городов, таких, как Рим, Афины, Неаполь, Антиохия, Александрия, – быть может, имена мест, знаменитых многие столетия, дошли до гиперборейской Пруссии, до страны, которая, вероятно, была Киммерией Геродота. Неспроста все! У Малха вспыхнула мечта бежать с пруссами.

По неподвижному лицу Индульфа Малх не мог понять, дошел ли слух о великих городах Юга до Холодного моря.

– Покажи города! Покажи, – повелительно сказал кто-то из пруссов.

– Показать? Как?

Индульф дал Малху несколько погасших углей. Черты, изображающие землю, понимает каждый.

На коже, просаленной сотней трапез, появился берег Евксинского Понта. Вот овал его к югу от устья Днепра. Проливы, Эллада, Италия. Малх попытался начертить малоазиатское побережье, устья Нила и пустынный берег Ливии. Карта, начерченная при последнем свете дня на диком берегу! Сколько таких карт чертили люди всех времен, пытаясь понять дни пути и пространства неизвестного мира. Изгнанник уже видел себя в далеком плавании среди гостеприимных пруссов. Он им нужен, он будет полезен. Он мечтал почти вслух.

– Ты раб? – вдруг спросил Малха Индульф.

– Нет.

– Кто же ты?

Дневной свет угасал вместе с мечтой. У Малха не было достаточного запаса славянских слов, чтобы объяснить необходимость тайного бегства, оправдать себя перед людьми, которым ведомы лишь порочащие человека преступления: кража, убийство, насилие. Гнет, который империя осуществляет над совестью и свободой граждан, – как втолковать такие понятия! В лучшем для Малха случае пруссы сочтут его изменником ромейской земле! Все будет кончено с ними тогда. предавший одного – завтра предаст другого. Старая-старая истина.

Малх почувствовал себя чужим, без рода, без отечества. Петр-Гавала прикоснулся сзади к плечу изгнанника:

– Иди, господин хочет, чтобы ты пришел.

Репартий готовился ко сну. В маленьком шатре нашлось место для двух легких кроватей.

Почти шепотом купец принялся наставлять своего полутоварища-полуклиента:

– Ты совершаешь ошибки, да, да. Ты неосторожен, как юноша. Деметрий недоволен тобой, да, он сердит на тебя.

– Клянусь, на острове я совершил ошибку, не думая, – сознавался Малх. – Но святой человек принял мое покаяние. Он приказал бросить бронзу в реку, я послушался.

Это была хорошая бронза.

Репартий не мог удержаться от укора. Глупец Малх... Не мог расстаться вовремя с красивой игрушкой. Не догадался подарить ее другу. Разве мало Репартий сделал для ссыльного! Но умный человек не станет высказывать сожаление о непоправимом. Репартий продолжал:

– Ты опять рассердил Деметрия.

– Но чем же?

– Для чего ты общаешься с северными варварами?

– Они пригласили меня, у меня не было дурных намерений.

– Э, – жестко сказал Репартий, – ты, видно, никогда не поймешь, что решают не наши намерения, но то, что о них думают другие.

– Откуда Деметрий узнал, где я?

– Служители бога заботятся о наших душах пристальнее, чем о своем благе. Им дано видеть больше, чем нам, – благочестиво сказал Репартий. – Не всякое приглашение следует принимать. И чтобы ты, друг Малх, не согрешил опять, останься ночевать со мной.

На берегу и на кораблях все еще спали, когда Малх потихоньку выбрался из шатра Репартия. Кажется, необходимо что-то решить – эта мысль его разбудила. Он плохо умел решать, когда дело касалось его личной судьбы – Малха слишком сильно занимало отвлеченное, – таков удел слабых душ, по мнению людей, преуспевающих в жизни.

К чему все существующее? Малх не находил ответа. Порой ему казалось, что, родись он в годы, когда христианство было религией угнетенных, протестом против насилия и несправедливости, он отдал бы жизнь за учение Христа, как те праведники, которых ныне славит торжествующая церковь. Нет, хорошо, что он не принадлежал к числу мучеников, обманутых химерой христианства.

Малх по-прежнему увлекался мудростью мира, умершего, быть может, раньше, чем христиане занялись истреблением того, что они называли язычеством. Его увлекали мудрость Эпикура, суровость стоиков, беспощадная логика Сократа, мужество пифагорейцев; тешили загадки Апулея, таинственные намеки магов.

Но все же, к чему весь видимый мир? Да, все говорили о справедливости. И снова мысли Малха возвращались к древним Афинам. Пусть Афины были гражданским раем. А много тысяч рабов, людей-вещей, без которых не могли бы существовать тридцать тысяч полноправных афинян! Впрочем, в том мире хоть не было места лицемерию: раб не считался человеком по закону. Учение Христа будто бы уравнило людей, каждый имеет бессмертную душу, рай для праведных, там не различают состояний. А на земле все

по-старому, христианская империя так же нуждается в рабах, как языческий Рим. Вот спит христианин Петр-Гавала. Христианин Репартий может в любой миг распорядиться им, как вещью.

В сумраке Малх по длинной рясе узнал Дементрия. Пресвитер уже шел куда-то, он тоже, видно, не знает покоя утреннего сна. Вспомнив уроки Репартия, Малх приблизился, сложив руки горстями вверх, будто желая удержать даваемое: так верующие просят у священников благодеяние благословенья. Дементрий обошел Малха, как препятствие на пути.

Жесткий как кремь, Дементрий ненавидел нечестие. Строгий постник, никогда не прикоснувшийся к женщине, он был беспощаден к себе. Мученики, проложившие путь для торжества церкви христовой, – вот кому он позволял себе завидовать. Ему казалось, что такая зависть – единственное чувство, допустимое для христианина. С неустанным раздражением Дементрий искал следы ереси и язычества. Его искренне возмущала легкость нравов в городе святого Константина, сила многоглавого греха. С тайной мечтой о мученичестве Дементрий просил послать его на окраину империи для проповеди варварам. Ахонты Карикинттии боялись пресвитера – доносы святого человека прочтут при дворе и могут доложить самому базилевсу, блюстителю кафоличества.

Дементрий изучил язык славян, для проповеди он поплыл с купеческим караваном. Он возвращался разочарованный, с подорванной верой в себя. Слово божие не проникало сквозь грубые оболочки душ. Он хотел остаться среди язычников. Но здесь Империя Дьявола.

Дементрий видел: для него дорога на Рось закрыта. И он с отвращением думал о сразу опостылевшей Карикинттии. В этом городе, подобном кораблю, который пристал к чужому берегу, Дементрий окрестил всех рабов. Он исправил небрежение других священников, но жил мечтой о просвещении варваров. Варварам нужны меч и огонь и лишь после – святая купель.

Вечером Дементрий наблюдал за беседой Малха со скандийцами. Он завидовал легкости, с которой Малх сходил с варварами. Но ценой чего? Ссылный еретик потакает язычникам. На вопрос о Малхе духовный сын пресвитера раб Петр простодушно ответил: Малх объясняет северным людям, как плавать по морю в Византию. Никто не имел права наставлять варваров о путях в империю... Если твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее...

Глядя на удаляющегося Дементрия, Малх похолодел. Почему пресвитер отказал в благодати?

Из шатра вышел Репартий. Малх не мог удержать жалобу, продиктованную страхом.

– Я говорил тебе, говорил, – с огорчением ответил купец. – Я попытаюсь смягчить его святость. Не могу тебе приказывать, но прошу: не сближайся с варварами.

Дементрий возглашал слова богослужения. Ромеи, свободные рабы, отвечали нестройным хором: «Помолимся!» Или: «Аминь!»

Несколько пруссов принялись к сладкому дыму кадилниц и приглядывались к движениям ромеев. Двое или трое, протолкавшись вперед, подражали христианам. Вероятно, эти прикосновения ко лбу, животу и плечам служат магии доброго заклинания в пути, которое полезно для каждого.

После молебна за благополучное прохождение порогов ромеи разбежались по кораблям, и колокол дал знак отправления.

В затоне, где ночевал караван, вода была как в тихий день на море; разлив-исполин подбивал на берег желтую пену. Легко было определить вчерашний уровень воды – новая ступенька наметилась пальца на два ниже предыдущей. Малх достаточно знал математику Пифагора и геометрию Эвклида, чтобы счесть,

сколько воды должно было за ночь сбежать через теснины. Но для познания мира нужна свобода души, нужна радость жизни, неразлучная со свободой. В унынии Малх добрался до челна. Унизительна была необходимость слушать Деметрия, молиться под его наблюдением, отвечать на его возгласы.

Вместо Фара на скамье гребца сидел Индульф! В сердце Малха вспыхнула надежда: утопающий хватается за соломинку.

Передний корабль с вереницей челнов описывал кривую на юг, ему подражали с обычной точностью. В месте впадения реки Самари разлив левого берега постепенно сужался. Вскоре показался мыс, покрытый густым кустарником, как баран шерстью. Это справа приближался высокий берег острова, который делил реку на две неравные части.

Внезапно для глаз открылась неровная, но ясно видимая полоса, пересекавшая Днепр. Рябой от ветра разлив превращался в волнистые полосы, бегущие вдоль реки. Подобно началу горного водопада, исполинская сила тянула к себе реку.

На ромейских кораблях опустили паруса. Можно было заметить, как передний корабль, перейдя рубеж, сразу натянул канат, с новой силой увлекая челны. Следующие корабли еще усерднее заработали веслами, чтобы не отставать. Частые удары колоколов ободряли гребцов. Наконец через рубеж перевалил и корабль Репартия. Канат подскочил над водой. Малх почувствовал рывок.

Берега стремительно уходили назад, челн раскачивало в струях. И Малх видел, что река, нападая на остров, образует один высокий бурун. Бурун особенный, не как на море, где за ударом волны следует отступление, отдых. Стоячий бурун уходил от острова углом, челн подняло и опустило, как щепку. Теперь кораблей не было видно, они скрылись за поворотом. Петр-Гавала и Индульф гребли изо всех сил. Малх помогал гребцам кормовым веслом. Поворот! Малх перебросил весло направо, налег всей силой. Заднему челну никто не поможет, но он помогает передним. Еще поворот, на этот раз налево. Река выпрямилась, показались голые мачты корабля Репартия.

То там, то тут над водой взлетали фонтаны, то там, то тут река вспухала, обозначая вершушки утопленных порогов. Малх старался следить за кормой корабля, угадывать движения людей у руля. Челн еще стремительнее двигался вперед, и Малху казалось, что он опередил бы квадриги на состязаниях зеленых и голубых.

На корме корабля Репартий замахал руками и показал на воду. Через несколько мгновений Малх увидел расходящиеся треугольники струи. Каменный зуб поджидал добычу. Предпоследний челн едва не коснулся его. Не старайся так Малх – и его и другие челны налетели бы на скалу.

«Почему бы и нет, – думал Малх. – Несколько глотков, судорога глупого тела – и покой, покой, покой...»

Увлечение борьбой минуло. Малх равнодушно глядел на бурлящую воду. Местами кипело, как в котле. Точно адское пекло христиан нашло себе место здесь, под Днепром.

– Ты – мужчина! – сказал Индульф.

Малх сумел оценить похвалу. Он ободрился. И снова движение опьянило Малха. Колокола, чуть отдохнув, возобновляли частый перезвон. Гребцы не имели покоя.

Левый берег то отступал в разливах, то близился мысами, от которых тянулись поперек реки затопленные хребты мертвых чудовищ. Кормчие держались правого берега, казавшегося снизу горой.

Река с грохотом устремилась вперед. Еще и еще бьют гребцы, гнется кормовое весло. Но вот берега расходятся, раскрываются, как жерло исполинской воронки. Полузатопленные острова, течение замедляется. Малх понял, что теснина окончилась. Он взглянул на солнце – сегодня время шло незаметно.

Снизу наплывал большой остров, были видны деревья. Корабли спустились вдоль острова и забросили якоря в подобие бухты. Этот остров никогда не затоплялся. Ромеи назвали его именем святого Григория. Славяне же – Хортицей, по одному из имен Солнцебога. Россичи говорили, что было здесь святилище Хорса, при котором жили собаки особенной породы: хорты-сторожа.

7

Прочно забитые колья для шатров, очаги, защищенные от ветра, широко протоптанные тропы. Пни от срубленных деревьев, заготовленные дрова, легкие постройки из глины и камыша – остров Хорса давно обжит. Однако до прибытия ромейского каравана он был так же безлюден, как берега.

Остров оживал осенью, когда пороги становились неодолимы и волоки обещали слишком много опасностей. Степняки – покупатели ромейских товаров, введенные в искушение, предпочли бы вместо мены ограбить купцов, но не смели.

Торговцы из городов северного берега Евксинского Понта приплывали на осенний торг целыми обществами; купеческие старшины следили за порядком, за соблюдением цен: никому не позволялось сбывать товары дешевле установленного заранее. Жадности варваров купцы противопоставляли расчет с тем же успехом, с каким легион сражался с вольной толпой храбрых, но не знающих военного строя людей.

Осенний торг на Хортице и внешне напоминал сражение: каждый носил оружие, для общей сохранности купцы нанимали отряд пехоты, и торжище походило на военный лагерь.

Во времена владычества готов в приморских степях, и до готов, и после, тот, кто возделывал землю на Ворскле, Самари, Орели, доставлял излишки зерна на осенний торг ниже порогов. А степняки везли кожи, шкуры, сушеное мясо, гнали толпы рабов, захваченных в набегах и во взаимных стычках.

На торге святого Григория первое место занимал живой товар. Здесь великая империя покупала всех и у всех.

Святылище Хорса жило долго. Сменявшиеся хозяева приморья остерегались осквернить его из страха перед мезью чужого бога. Эллины, с их умением находить собственных богов под любыми именами, приносили Хорсу жертвы, называя его Зевсом Скифским. Воинствующие христиане уничтожили языческое капище. Предшественники Деметрия окропили землю святой водой и посвятили остров святому Григорию. Поэтому Деметрий служил молебн на очищенной от власти демона земле. Купцы, воздавая хвалу богу, благодарили за успех, за сохраненную жизнь.

Многие долго не поднимались с коленей, скрывая усталость под видом благочестия. Уткнувшись лбом в пол храма – вселенная есть храм Христов, – Репартий в немой молитве восславлял милость божию. Прозревая с небес, бог спас товары, когда раб на челне гнусно прозевал подводный камень. Отвечая вместе с другими на возгласы священника, Репартий просил бога воззреть и на Малха, который спас челны. Конечно, сам бог подсказал взять в поездку ссыльного актера-философа.

Краем глаза Репартий видел Малха. Неразумный внял предупреждению, он здесь и молится на видном месте.

Несчастный – и глупый... Репартий ценил более, чем показывал, общество повидавшего мир философа – актер не привлекал его. Малх, казалось, помнил наизусть Светония, Плутарха, Тацита. Кто мог проверить цветы красноречия, которыми Малх раскрашивал повествования старых писателей? Списки старых книг делались редкостью. История Тацита, написанная на папирусе александрийским способом или на пергаменте по-римски, стоила столько же, сколько годовой труд пяти-шести искусных рабов-ремесленников. Репартию особенно нравились «Анналы» Тацита и «История двенадцати цезарей» Светония. Опасность раздражала аппетит – многие поступки благочестивого базилевса Юстина и ныне властвующего Юстиниана благочестивейшего коварно напоминали те дела старых императоров-язычников, которые Тацит называл преступлениями.

Репартию будет не хватать общества Малха, едкие высказывания ссыльного могли сравниться с

перцем в мясе. И Репартий иногда чувствовал правоту нищего философа.

Репартий видел, как Малх усердно молился. Напрасно. Церковь, как ястреб, – она не разожмет когтей. Глупец, столько раз битый, он не понимал, что слабый должен если не добиваться покровительства сильных, то хоть не вызывать их гнева.

В сердце купца боролись противоречивые чувства. Решался сложный вопрос совести: предоставить жерновам, уже захватившим человека, смолоть его, как зерно, или вмешаться?

Пустыня, здесь мир таков, каким его создал всемогущий. Нигде нет человека, великая река пуста. И все же, чувствовал Репартий, в мире тесно. И не только таким, как Малх.

Размягченный молитвой, успокоенный общением с богом, который явно благоволил в эту поездку Репартию, купец решился тайно поговорить с Малхом.

Он шепнул:

– Малх, пойдти за мной незаметно, нас не должны увидеть.

Малх нашел Репартия в роще, на высокой части острова.

– Ты избавил меня от большого убытка, – тихо говорил Репартий, – я благодарен. Я скажу то, чего не должен был открывать тебе. Деметрий потребовал, чтобы я перед высадкой в городе забил тебя в колодки и передал архонтам. Ты препятствовал проповеди истинной веры среди варваров и открыл им дорогу в империю. Я должен выполнить желание пресвитера.

Малх схватил руки купца. Слова объяснений, оправданий рвались с его уст.

– Молчи, молчи, – шептал Репартий, – слова бессильны. Ах! Сюда идут!

Оба присели, озираясь. Никого не было. Испуганный Репартий поспешно договаривал:

– Скорее, Деметрий не должен меня заподозрить. Делай что хочешь, размысли, у тебя еще есть время. Помни: я молчал, ты ничего не слышал! Видит бог, и пресвятая дева, и троица единосущная – я ни при чем. Это твое дело, твоя судьба.

Репартий часто-часто крестился, разрушая дурное сплетение своей судьбы со злосчастной долей Малха. Охваченный суеверным страхом, купец клял свое вмешательство. Сейчас его толкнуло в сердце, он узнал – злой рок преследует этого человека. Когда судьба против, ничто не поможет. Сделав указательным пальцем и мизинцем правой руки рога – так Дева Мария отгоняла сатану, – Репартий почти бежал. Лишь на открытом месте он пошел тихо, как приличествует достойному человеку.

Малх забыл усталость. Казалось, уже захлопнулась железная дверь тюрьмы. Знакомый ход, облицованный камнем, идет покато вниз. Уже поднимают крышку в полу. Ступай туда, в черную дыру. Ее называют всерьез, не в насмешку, мирным местом. Потом вытащат, полумертвого от голода и жажды, опьяневшего от смрада. Накормят соленой рыбой, вывернут руки, иссекут кнотом с медными колючками, сорвут ногти, испещрят каленым железом. Заставят назвать небывалых сообщников – подкажут кого. И добьют, когда вместо Малха останется раздавленный, онемевший остов человека.

Он понял: все это он знал еще вчера, когда пресвитер отказал ему в благодати. Да, знал, но малодушно не хотел знать. Он был быком, который везет на бойню телегу с мясниками.

Усталость сломила его. Ночью, в полном мраке, он выполз на берег. Спрятаться на острове? Его найдут. Какая ловушка! Зачем он принял приглашение Репартия и отправился в злосчастную поездку... До берега версты две. Бурная река, холодная вода – ему не одолеть стихию, он не россич Ратибор и не прусс Индульф. А не поможет ли ему молодой прусс?

Как вор на византийском базаре, Малх бродил около спящих. Если Индульф ушел на свой челн, поиски тщетны. Прусские челны ночью слишком похожи один на другой. Он переполошит пруссов, наделает шума. Теперь все казалось опасным.

Первым Малх нашел Фара. Удача – Индульф спал тут же. Малх прилег и тихонько разбудил молодого прусса. С вдохновением отчаяния он сумел объясниться: нужно бежать, нужна помощь мужчины мужчине, воина – воину.

Индульф не нашел ничего чрезвычайного в просьбе Малха. Преследуемые враждой сильных, избегая наказания за проступок, совершенный под влиянием оскорбления, мстя или избегая места, соотчичи Индульфа не считали позором бегство в горы и леса. Лишаясь всего, они сохраняли главное – свободу.

Индульф выразил сожаление, и Малх понял, что пруссы собирались взять его с собой. Но это было бы невозможно: даже на большом корабле трудно спрятать человека.

Сочувствие окрылило Малха.

– Помоги мне, – просил он.

Индульф разбудил Фара. Трое мужчин пробирались между потухшими кострами, переступая через спящих. Изнурительный день скосил всех. На берегу нашелся легкий челнок из тех, которые возили с собой пруссы. Малх ждал у большого челна, куда скрылись Индульф и Фар. Пруссы медлили. Наконец, перегнувшись, Индульф передал Малху колчан, лук, меч и кожаный мешок. Две или три головы появились над бортом, похожие в темноте на концы бревен.

Первым в челнок забрался Малх, за ним Фар и Индульф осторожно спустились в зыбкое суденышко.

Через волокна тумана слабо светила багровая луна. Фар и Малх сидели на веслах, Индульф помогал гребцам кормовым веслом. Малху казалось, что они плывут бесконечно. Коротка весенняя ночь. Пруссы не захотят из-за него ссориться с ромеями.

Внезапно весло Малха задело дно. Индульф выскочил и подтащил челнок.

Они поспешно простились.

– Если суждено – мы встретимся. Желаю тебе, ромей, славной смерти, когда взойдет луна твоей ночи! Стремись к невозможному, и жизнь не будет в тягость тебе. Мне пора!

Впоследствии Малх уверил себя, что именно эти слова произнес Индульф.

Беглец вошел в воду и сильно оттолкнул челнок. Под кормой взбурлила вода. Пруссы взялись за весла. На красноватой воде и люди и челнок были черны, как облитые смолой. Еще немного, и туман проглотил все, как ночь глотает землю.

Малх жадно пил, ему казалось – он не пил вечность. Он не мог оторваться от реки. Вода пахла черной землей.

В мгlistом мраке неба вокруг острия Северной Звезды беззвучно и низко катились близкие светила ночи.

Нужно уйти от реки, спрятаться. Малх очнулся от яркого света. Утро: он не заметил, как заснул. Малх вскочил. Первый корабль уже отходил от острова. Маленький-маленький... челны за его кормой тянулись безголовыми утками. Там и Деетрий!

Суетившиеся на берегу острова люди издали казались медлительными, коротконогими жуками.

Корабли вбирали людей, берег пустел. Под солнцем серая ткань парусов делалась крылом белой чайки. Челны пруссов шли стаяй. Высокие носы, грубые вблизи, отсюда были стройны и красивы, как ястребиные головы.

Малх поднял руку, приветствуя друга. Но какой глаз различит его здесь, под каменистым откосом! Он взобрался на кручу. Теперь его видят. Пусть видят! Поздно для врага, есть еще время для друзей.

Уходят, уходят... Весла били воду, как лапки насекомых. Исчезла корма последнего прусского челна. Малху чудилось, что Индульф махал ему оттуда.

Человек и пустыня остались лицом к лицу.

Низко над Днепром тянули крупные и мелкие чайки. Пенными островками сидели станицы лебедей, гусей, пеликанов. Быстро-быстро свистя крыльями, чуть не задев человека, промчался селезень, в брачном полете преследуя серую утку. Тяжело плеснулась крупная рыба. Увлекаемые течением, круги мгновенно вытянулись овалами.

Обеими руками Малх обнял безбрежность. В сущности, он был по-настоящему один впервые. В широком, в пустом мире люди, среди которых жил Малх, умели сбиваться в тесные кучки, кишели за стенами городов, ходили по одним и тем же тропам и дорогам. Везде сосед теснил соседа.

Малх был один. Поистине, сейчас он микрокосмос в макрокосмосе, то есть мир малый в мире большом. В дальней древности кто-то из безыменных философов додумался до этого гордого и великолепного уподобления человека вселенной: разница лишь в измерении. Малх верил, что вольный мыслитель жил в годы, когда люди еще не знали насилия одного над другим и не испытали угнетения тесного бытия внутри городских стен и имперских границ. Диоген владел бочкой, Малх был еще беднее. Ссылный, приехавший в Карикинтию на скамье гребца, спал на чужой постели в чужом доме.

Малх с наслаждением перебирал подарки Индульфа. Короткий меч в ножнах из толстой кожи был широк и отлично наточен. В колчане нашлась дюжина стрел с железными наконечниками. В мешке было огниво, пара кремней, куски трута, соль, вареное мясо, узкие ремешки, чтобы подвязать ношу на спине, запасная тетива для лука. Брат не сделал бы лучше для брата.

На северо-запад. Вверх по Днепру. Примут Малха россичи или отвергнут – другой дороги у него нет.

Глава 5

Злой ветер

Так ревет, сокрушая алтарь и
железную цепь разрывая,
жертвенный бык, уязвленный
неверным ударом.

Вергилий

1

Светало, но края моря еще не отделились от небосвода. Соленая вода стояла у берега, как у края чаши, неподвижная, будто в озере, теплая, нагретая подземным огнем.

Индульф привыкал к странностям Теплых морей. Там, на родине, были холодные пучины с гладкими отмелями, поросшими сосной, елью, можжевельником. Во влажном песке, как в воде, тонули валуны, черные, серые, с буро-зеленой плесенью мхов.

На скандийском берегу, в том месте, где славянин Лютобор побратался со скандийцем Индульфом, древние великаны вволю поиграли с камнем. Над водами Волчьего моря поднимались рифы – мохнатые звери с открытыми пастьями, настороженными рогами, клыками, пенистые, неподвижные. Но все знали, что иногда они оживают... Они пробуждаются во мраке зимних ночей, когда в море не выходит ни один челн.

Никто не смог назвать день, когда небо сделалось чужим, мягким, зелено-лазорево-синим. На родине в ясные дни небо поднималось необычайно высоко. То была нежно-блистающая твердь Севера.

Где-то был разрыв, где-то была пропасть между твердью родины и небом Теплых морей. Никто не сумел увидеть берега двух небес. Может быть, под границами небесных твердей славяне проплыли ночью или в пасмурный день. Может быть, сами небеса хранят свою тайну.

Индульф расстегнул подбородную пряжку. Шлемный ремень, защищенный чешуйками золоченой меди, повис на груди. Сняв шлем обеими руками, Индульф залюбовался красотой чудесной вещи. Глубина шлема искусно наполнялась подбоем мягкой кожи, ловко окованные края заворачивались внутрь, удерживая подкладку частыми гвоздиками с широкими, однообразно расплюснутыми головками. Борта шлема опускались ниже ушей, и требовалась воинская привычка, чтобы свободно поворачивать голову. От бортов вперед выдавались два выступа для защиты щек. Передняя часть нависала, закрывая лоб и брови, а в середине две скованные полосы, усиливая налобник, стрелой опускались до рта. Нельзя биться вслепую, иначе предусмотрительный оружейник не оставил бы места и для глаз. По темени шлема выпячивалось подобие петушиного гребня с гнездышками для бородок. В особых случаях для красоты в них вставлялись перья страуса. Но и без перьев шлем был великолепен.

Положив шлем на прибрежный камень, Индульф освободил застешки на боках и плечах и, как краб, вылез из панциря. Позолоченный доспех весил четырнадцать фунтов. Как и шлем, латная защита была не игрушка, подобно роскошным изделиям из золота и серебра, тоненькими листочками которых, выдавая себя за мужчин, в торжественных случаях прикрывались тучные или тощие сановники и евнухи базилевса Юстиниана, Владыки Империи ромеев.

Панцирь был вздут на груди, чтобы вместить мышцы, и украшен рельефами фантастических голов с распущенными волосами. В середине был прикреплен крест, увенчанный монограммой базилевса. Крест, но только окруженный буквами ИНРИ, сиял и на шлеме. Индульф знал, что буквы образуют имя византийского бога Иисуса Христа, родившегося в Назаре палестинской и некогда распятого на кресте.

Освободившись от железной скорлупы, Индульф снял красную туннику с короткими рукавами, развязал ремни сапог и стянул штаны такой же ткани, как туника. Отдаваясь мягкому покою безоблачного рассвета, он остановился в мелкой воде. За отвесным мысом уже поднималось солнце, и море блестело полированным щитом. Но здесь, у берега, еще лежала тень, вода была темной и особенно тихой.

Кроме лица, рук и шеи, тело Индульфа было молочно-белым. Он почувствовал, как что-то щекочет ногу. Большой, почти квадратный краб осторожно щупал тупыми клешнями: достаточно ли мягко это мясо,

такое же белое, как живот мертвой рыбы? Индульф нагнулся. Краб, храбрый воин, отступил, но не бежал, а приподнялся на тонких ножках, угрожая разъятыми клешнями.

Сзади явственно загремел упавший камешек. Забыв развлечение. Индульф повернулся всем телом. В этом мире, под этим солнцем опасность стерегла на каждом шагу.

Индульф знал, что все люди, относящиеся к Палатию базилевса, неприкосновенны для прочих. Не только убийство, даже малая рана, нанесенная воинам и другим слугам базилевса, карается смертью. Но он знал тоже, как дорого ценится вооружение хранителя Священного тела.

В Византии было очень много священного. Ромеи не умели произносить простые слова, все было великим, единственным, совершившимся впервые, неповторимым, мудрейшим, божественным. Переводчики, приставленные к разноязычным отрядам воинов Палатия, прилежно передавали пышность выражений. Священное тело базилевса! Наверное, как у всех, наверное, дряблое – ведь базилевс не воин.

Но откуда упал камень? Каменные ребра берега уходили вверх, и там, наклоняясь над кручей, за осыпающуюся почву цеплялись деревья. Почва обнажала тонкие, как волосы, корни, увлекала вниз мелкие камешки. Какой-нибудь из них и потревожил Индульфа. На каменистом берегу было пустынно.

Индульф уходил в воду, постепенно погружаясь. Граница тени кончилась. Солнце ударило ослепляющим светом. Индульф, откинувшись, развел руки. Он приветствовал светило, действительно великое, живой образ Сварога Жизнедателя, чистый образ, не нуждающийся в лести и прославлении.

2

Чужак, оказавшись на трибунах византийского ипподрома, мог подумать, что душа ромеев только и живет конскими состязаниями.

Кто-то ударял случайного посетителя по плечу и, показывая монету, делал пальцами странные знаки. То и дело тянулись ладони с горстками черных обол, пахнувших медью. Вон там человек показывает золотой солид. Другой, видимо отвечая, поднял левую руку с подогнутым большим пальцем. Если пришелец и понимал ромейскую речь, здесь он слышал нечто вроде жаргона воров или заговорщиков, бессмысленного для непосвященных.

На арене возницы, обнажив мускулистые, как у борцов, руки, проносились синими, красными, зелеными, белыми вихрями. На поворотах каждая квадрига старалась свернуть круче, ось задевала за ось. Если, сорвавшись на полном скаку, квадриги падали, шум и крик делались такими, что иное небо, не ромейское, могло бы и обрушиться. Одни торжествовали, другие же так огорчались, как будто лишились родителей. Из рук в руки порхали монеты, ромеи ссорились, угрожали, улыбались, обнимались. Видно, здесь самым важным делом считалось ломать конские ноги. По окончании бегов арену выравнивали, посыпали песком с кедровыми опилками. Благодаря этому арена была упруга, что спасало немало человеческих и конских костей.

В перерывах между бегами на арене появлялась рыжая, кривая на один глаз собачонка. Говорили, что в ней живет пророческий дух таинственного происхождения. Наверное, это был добрый дух – колдовскую собаку не осмелились бы выпустить в присутствии базилевса. Мим собирал у желающих кольца, и ученая собака, доставая из вазы, без ошибки возвращала кольца владельцам. По заказу зрителей собака разыскивала женщин скверного поведения, умела находить скупцов, богачей. Ей кричали: «Умница, милочка, красавица!» – и бросали лакомые куски. Собака ничего не брала, и куски доставались уборщикам.

Десятки мимов развлекали византийский народ представлением коротких комедий; акробаты ходили на руках, выстраивали живые колонны в пять и шесть этажей; шуты бегали, пересмеиваясь между собой и высмеивая кого-либо из зрителей. Остальные зрители были в восторге, ибо приятно, когда смеются не над тобой.

Травля крупных хищников пробуждала страх у одних, жажду крови у других. Рогатины бойцов состязались с клыками и когтями зверей. Рычание медведей и львов, выкрики охотников властвовали над молчанием притаившегося ипподрома.

В середине дня зрелища прерывались на отдых и обед. И возобновлялись во второй половине дня, начинаясь опять конскими бегами.

На ипподроме можно было провести весь день в обществе более чем ста тысяч людей, среди роскошных статуй и блеска золота. Здесь можно было видеть самого базилевса, всех знатных людей, всех богачей Второго Рима.

Обжившись в городе, пришлый варвар начинал понимать, что в ипподроме было нечто от поляны священного дуба на его далекой родине, нечто от погоста, куда приходили единоплеменники, чтобы обсудить общие дела. Но там, на родине, в местах собрания племени жили боги. Ромейские боги не любили ветра, солнца, дождя. От ока дня они ушли в темные храмы. Там ромейские боги слушали хвалу своих имен, внимали обращению благоговейных сердец, принимали жалобы обиженных.

Настоящее собрание народа нашло себя на ипподроме. Не было, да и не к чему было бы искать иного

места для людского множества. Какие поляны могли предложить себя населению Столицы Мира!

В воскресенье 11 января 532 года зрители ипподрома обращали мало внимания на состязания возниц. В этот день, названный впоследствии первым днем мятежа, особенно волновались трибуны прасинов – зеленых. Свист, производимый не только губами, но и всевозможными свистульками, сделанными из костей и глины, пугал лошадей, и копи шарахались перед скамьями прасинов, отказываясь повиноваться возницам. Раздавались крики, нестройные, непонятные, но от этого тем более яростные. Раздраженный Юстиниан приказал Глашатаю спросить прасинов, чего они хотят. Старшины прасинов были вызваны к кафизме условным звуком труб.

Кафизма базилевса возносилась над трибунами, подобно алтарю или боевой башне. Врезанная в западную часть ипподрома, прилегавшую к Палатию, она была не чем иным, как укрепленным выступом дворца-крепости.

Сам базилевс благодаря скрытым ходам и лестницам появлялся на кафизме всегда внезапно. Видимый снизу от колен, в белизне одежды, оттененной пурпуром, и в золотой диадеме, базилевс как бы упирался головой в небо. Ни один купол дворцов, ни один храмовый крест не поднимался над Владыкой Империи, столь обдуманно была вознесена кафизма.

Справа и слева – две очень крутые лестницы, как две протянутых к народу руки, спускались на трибуны. Лестницы начинались приблизительно на трети высоты кафизмы, перед врезанными в мрамор стен дверями полированной меди. Когда-то, до лет Юстиниана, эти двери иногда открывались для гостей базилевсов.

Кафизма была сложным, трехэтажным зданием без окон. Пояса мраморных гирлянд и украшений, головы фантастических животных и людей были высечены с таким количеством прорезей, что внутренние помещения хорошо освещались и оттуда, не будучи видимым, можно было обозревать трибуны и арену.

– Мы желаем благоденствия и победы базилевсу. Но ты, наилучший, узнай, бог свидетель, мы более не в силах выносить обиды. Если мы назовем обидчиков, еще более усилится их ярость, – пожаловался старшина дема Манассиос.^[7]

– Не знаю, о ком ты говоришь, – ответил Глашатай.

По этикету в Глашатае видели как бы самого базилевса и обращались к нему, как к Владыке Империи.

– Ты знаешь, ты знаешь наших обидчиков, трижды Августейший, ты знаешь имена наших мучителей, – возразил Манассиос. Он старался говорить очень громко, чтобы его слышали трибуны.

– Никто не делает вам зла, я не знаю таких людей, – возразил Глашатай.

– Это спафарий Коллоподий, о Величайший! И квестор Трибониан. Так же Иоанн Каппадокиец. И префект Евдемоний!

– Ты лжешь! – сказал Глашатай. – Эти люди не общаются с прасинами!

Манассиос собирался ответить, но его опередил другой старшина прасинов. Резким голосом он выкрикнул:

– Что бы там ни говорилось, наши мучители испытают участь Иуды и Каина! Бог накажет их!

– Ты оскорбляешь правящих! – грозно поднял руку Глашатай.

– Пусть так! Кто творит преступления, того постигнет участь Иуды!

Трибуны прасинов поддержали старшину ревом и криком, в которых можно было разобрать:

– На виселицу! На сук, в воду!

Глашатай, недаром избранный на такую должность, могучим голосом ответил на крики толпы:

– Молчите, еретики, иудеи, манихеи, самаритяне!

Это было немалое оскорбление. Манихейская ересь каралась сожжением на костре, иудеи и самаритяне после недавних восстаний находились вне закона.

– Ты жестоко обижаешь нас, но да сохранит нас Господь и тебя одинаково, – скромно ответил Манассиос.

Между обращением к Глашатаю и его ответом всегда происходила небольшая пауза: Глашатай, стоя у края кафизмы, произносил слова, которые ему подсказывали сзади. Часто это были слова самого базилевса.

Глашатай не знал, чьи слова были ему поданы, но сумел передать их злую иронию:

– Я советую вам принять святое крещение!

– Мы готовы, – с той же иронией ответил старшина прасинов.

Через несколько секунд Глашатай разразился угрозой:

– Замолчите, не нарушайте более благочиния игр! Или вы все будете казнены.

Раздались негодующие крики прасинов. Манассиос нашелся раньше, чем кто-либо из старшин:

– Да, мы знаем, имеющий власть имеет силу заставить почитать себя. Да не будет твое Величие раздражено нашими жалобами. Ведь Божественный тем самым умеет быть терпеливым к несчастным. Мы же более не знаем даже дороги в Палатий. Если мы и попадаем в город, то лишь когда нас везут на казнь. Справедливо ли это?

– Всякий свободный человек, не раб, может ходить везде, где захочет.

– Да, Августейший, – подтвердил Манассиос, – но у нас отнимают свободу, хотя мы и не рабы. Нас грабят, венеты насилуют наших женщин. А судьи карают нас же. Ибо судья, решающий по справедливости, подвергается риску лишиться жизни.

Базилевсы всегда поддерживали какой-нибудь из «цветов» из естественного желания разделить народ Византии еще одним способом.

Партии ипподрома. Кроме синих и зеленых, на равных с ними правах развлекались белые и красные плащи. Не цирковые развлечения делили подданных на венетов и прасинов.

Среди венетов преобладали богатые владельцы подгородных вилл с земельными угодьями, патрикии и сенаторы, богатейшие купцы. Симпатия предшественника Юстина Анастасия была отдана прасинам. Это объяснялось своеобразно демократическими настроениями покойного базилевса и его благоволением к монофизитской догме: среди ремесленников и меньшого люда, который составлял большинство прасинов, было много монофизитов. Во времена Анастасия прасины зачастую бывали обидчиками венетов. Однажды после бегов прасины сделали зачинщиками драки, в которой пало три тысячи венетов. На сторону прасинов стали деклассированные и уголовные элементы столицы. С выгодой для себя они объединились в шайки, бесчинствовали, нагло давили на суды и городские власти.

Со времени Юстина благоволение Палатия перешло к венетам: утверждали, что большое значение имели строгий кафолицизм Юстина и Юстиниана и старая ненависть к прасинам со стороны мстительной, всегда помнящей обиды Феодоры. Шайки, поддерживавшие прасинов, чуя изменение ветра,

перекинулись к венетам. Произвол все усиливался. Венеты сторицей вымещали на прасинах старые обиды.

Как видно, Юстиниан не собирался навести в городе порядок. На горькие и правдивые слова Манассиоса Глашатай грубо ответил:

– Бойтесь за свои души, вы преступники, и петля закончит ваши дни!

Старшина, уже однажды опередивший ответом Манассиоса, закричал не менее громко, чем Глашатай:

– Ты так говоришь? Запрети тогда наш цвет! Ты сам позволяешь убийцам лишать нас жизни. И ты еще казнишь нас? Хорош у нас источник жизни! Так тебя называют, а ты – умерщвляешь! Да не родились бы твои деды и твой отец. Кого они произвели на свет! Нас убивают каждодневно и многих!

Синие ответили со своих трибун раньше, чем Глашатай получил подсказку:

– Все убитые убиты прасинами же!

Вставая с каменных ступеней, прасины вопили:

– Вы, вы убийцы! Вы грозите смертью даже судьям!

– О Величество! – воззвал Манассиос. – Вмешайся и рассуди, кто виновен.

– Прасины, – выкрикнул Глашатай, – вы виновны!

– Пожалей нас, Владыка, – просил Манассиос. – Ведь уничтожают святую истину. Если верно, что бог всемилостивый управляет миром, то откуда столько бедствий падает на нас?!

– Христос есть противник злобы, – не совсем впопад ответил Глашатай. Вероятно, из-за шума до высоты кафизмы долетели только отрывки слов Манассиоса.

Порядок был нарушен окончательно. Прасины покидали свои трибуны, под кафизмой на арене собралась толпа. Сквозь поднявшийся на ипподроме шум можно было различить отдельные выкрики:

– Коль Христос добр, почему нас гонят?

– Пусть мудрецы поймут!

– Прощай, правда!

– Истина умерла в тюрьме!

– Сделаемся евреями!

– Лучше нам обрезаться!

– Будем язычниками!

Синие показывали прасинам кулаки, и, хотя ношение оружия считалось преступлением, за которое беспощадно конфисковали имущество и ссылали, если не казнили, кое-где сверкнули ножи.

Все прасины – около пяти мириадов душ – покинули ипподром, нанося тем самым тяжчайшее оскорбление базилевсу: подданные не должны уходить с ипподрома раньше Владыки.

Прасины кричали:

– Кости зрителей на живодерню, в клоаку, в навоз!

3

– Ты слышал об Антиохии? Нет? Где же были до сих пор твои уши? Узнай же: вдруг повернулись все знамена на башнях. Смотрели они на запад, а обратились к востоку. Никто не прикасался к ним, ветра не было даже столько, чтобы поднять пушинку! И потом все знамена – все сразу! – приняли прежнее положение!..

– Какое страшное предзнаменование!

– Вся Антиохия в страхе, ждут войны с персами.

– Дурной знак, несчастная Антиохия!

– Несчастные мы...

Возбужденные люди толпились на улицах, повсюду слышались разговоры:

– К соли уже нельзя приступиться, цена на хлеб повышается на пятнадцать оболов за литру!

– Я слышал – на двадцать пять.

– Будь ты проклят, злой вестник!

– Да поможет нам Николай, чудотворец мирликийский!

– Кончились чудеса, небо закрылось.

Кто-то объяснял, помогая себе энергичными жестами:

– Базилевс берет хлеб за налоги и нагревает на этом руки. Верьте мне, люди, я недавно прибыл из Египта.

Его поддерживали:

– Проклятый Трибониан вместе с Носорогом стараются изо всех сил, как быки на пашне.

– Уж эти сумеют высосать жир из сухой кости!

– С ткачей и кожевников начали брать четвертый налог.

– Плати, плати... Не платишь – тюрьма и пытка.

– Правы прасины: жизнь хуже ада.

– Одну природу исповедуйте во Христе, единоприроден сын божий! – восклицал мужчина дикого вида, в рваной рясе, длиннобородый и длинноволосый.

Он поднимал над головами людей дубину с перекладиной – подобие креста. Взобравшись на выступ цоколя, бродячий проповедник монофизитской догмы исступленно продолжал:

– Братья христиане! Выслушайте грешного, пришедшего из пустыни со словом истины. Святой Симеон Стилит, который уже пятнадцатый год возносит молитвы к господу с вершины столба каменного, сам благословил сей крест! – отшельник поцеловал рукоятку дубины. – Внимайте мне, принесшему весть истины. Не человек Юстиниан, а дьявол. Сама мать его говорила, что понесла не от мужа Савватия, а принимая ночного демона. Ангел божий, являясь в Исаврии дуку Иоанну Горбачу, предрек, что бог употребит Юстиниана и его кровных на гибель христиан. Разве вы не знаете, что базилевс без головы ходит ночами в Палатии? Не знаете, что лицо его иногда делается куском гнойного мяса?

Раздались голоса:

– Святой говорит истину!

– Свидетельствуем: Юстиниан воистину дьявол во плоти людской!

С силой, которая является следствием совершенной веры человека в свою правоту и в знание истины, отшельник продолжал:

– Вам нужны свидетельства? Помните ли святого монаха Зенона, который два лета тому назад прибыл в Палатий? Он хотел просить базилевса о милости к египтянам, нестерпимо угнетенным налогами, поборами, обидами от префектов, логофетов, апографов. В ужасе бежал Зенон из Палатия. Почему? Проникновенным оком Зенон узрел на престоле самого владыку демонов!

Кто-то в толпе голосом, пронзительным как труба, крикнул:

– Истина, свидетельствую, свидетельствую! И Феодоре-блуднице было предсказание: она возляжет на ложе владыки демонов и будет властвовать над всем богатством империи!

Толпы людей все увеличивались. Вчера базилевс отверг жалобы прасинов. Сегодня утром разнесся слух, что Юстиниан повелел казнить смертью семерых убийц и грабителей. Их имена были известны, четверо считались прасинами, но трое были из числа особенно дерзких венетов. За долгое время впервые меч правосудия поднялся и над венетами. Базилевс хотел проявить беспристрастие, он смутился мужеством прасинов – так хотелось думать многим.

Новые толпы, стремящиеся на площадь Быка, где должна была произойти казнь, увлекали за собой людей, задержавшихся около отшельника.

Торговая площадь Тавра-Быка получила название от колоссального медного быка, который стоял в ее центре. Неизвестно, привезли ли эту скульптуру издалека, как большую часть достопримечательностей и украшений Византии, или же бык был отлит и откован на месте. Громадное туловище внутри было пусто, правый бок имел широкое и длинное отверстие, обычно закрытое искусно подогнанной крышкой, повторяющей очертания бычьего тела. Заметны были лишь швы и выступы тяжелых петель. Иногда бык употреблялся для казней. Под ним разводили огонь, и, когда угли, раздуваемые кузнечными мехами, раскаляли медь, преступника бросали внутрь, и длинными крюками закрывали крышку страшного чрева. Византийцы называли это – быть изжаренным в быке. На следующий день остывшую закопченную бронзу чистили, полировали, и теснящиеся на торговой площади византийцы не обращали на чудовище никакого внимания. Иногда можно было услышать даже шутку: «Смотри, как бы тебя не съел бык!» Публичность и жестокость наказаний приучили людей относиться с большой легкостью к смерти и к способу смерти.

Пытки и казни, устрашая на краткий миг, хорошо закаляли нервы и воображение. Жестокость, произвол и несправедливость Власти выработали в массах жителей Византии своеобразное презрение к смерти, то презрение, которому удивлялись все свидетели мятежей в столице империи.

Сегодня Бык останется голодным. Ночью по приказу Евдемония, префекта города, на площади Быка был построен дощатый помост. На щелистом полу три столба вытягивали длинные руки перекадин, концы которых с кольцами для веревок довольно далеко выходили за пределы помоста. Для устойчивости столбы укреплялись распорками. Фигура каждой виселицы напоминала громадную и уродливую ламбду.[\[8\]](#)

Люди облепили стены, портики, крыши. Аравийцы-сарацины и сирийцы, умеющие лазать по гладким стволам пальм, легко добирались до капителей и повисали там, похожие на четвероруких, бесхвостых обезьян. Право встать на легкий стул, из тех, которые рабы обычно носили по улицам для желающих отдохнуть, продавалось – неслыханная цена! – за тридцать оболов.

Давка увеличивалась. Воины городского легиона, которыми сегодня командовал сам префект Евдемоний, удерживали толпу конскими крупами, копьями и щитами. С трудом удалось образовать узкий проезд до эшафота.

По дощатому помосту расхаживали палачи в кожаных, пятнистых, мехом вверх рубахах и коротких штанах. Исполнители воли Закона своим видом вызывали воспоминание о гигантских, похожих на человека обезьянах.

Палачи показывали народу орудия пытки, чтобы утратить и сломить волю к преступлению и к мятежу. Это были клещи на деревянных ручках, закопченные и ржавые от крови, железные изогнутые прутья для обжигания тела, крючья для вырывания внутренностей, лопаточки для обдирания кожи, щипцы для вырывания ногтей и откусывания пальцев, бурава для ослепления и долота для костей. Как торговцы, предлагающие товар, палачи протягивали подданным Юстиниана железные решетки для поджаривания, семижильные кнуты с гирьками и многолапными якорьками, пилы со зловещими зубцами, ножи и железные орудия непонятного вида, странной и тревожной формы, которые притягивали глаз и вызывали ужас.

Толпа всколыхнулась с тысячеголосым воплем отвращения и любопытства, страха и вызова. Люди сминали один другого, раздавались смертные крики тех, кто имел неосторожность поднять руку и чьи ребра теперь трещали под локтями соседей. Отчаянно визжали женщины.

На мгновение крики ослабели. Показались телеги с колесами в рост человека, запряженные вороными лошадьми. На них, беспощадно прикрученные к столбикам, корчились осужденные. Над головой каждого была прибитая черная доска с надписью «Убийца и вор». Буквы напоминали берцовые кости.

Священнослужители утешали приговоренных, прикладывая к их губам кресты с изваянным из слоновой кости изображением распятого, в изнеможении обвисшего на смертном древе.

Возбуждение толпы усилилось. Передние, оборачиваясь, цеплялись за задних, а те невольно толкали их под ноги лошадей и колеса телег. Показались люди, которые бежали по головам и плечам толпы, сжатой, как обручами. Они падали, поднимались, опять падали и, наконец, проваливались. Головы шевелились, как колосья: все сразу, они поворачивались то в одну, то в другую сторону, будто площадь Быка пахал ветер свинцовой тяжести.

Чудовищные телеги вплотную подъехали к помосту. Сложив в кучи орудия пыток, палачи отвязывали осужденных и волокли на эшафот.

Первого, с руками, закрученными сзади так, что грудь выпятилась, готовая лопнуть, бросили на колени. Он попытался встать. Меч, шириной в ладонь, мелькнул, как крыло. Безголовое тело, метнув фонтан крови, подпрыгнуло и рухнуло. Палач, как факел, воздел меч, а его помощник поднял отрубленную голову за уши.

Деревянные трубы издали дребезжащий призыв. В общем молчании, голосом, развитым частыми упражнениями, Глашатай не то прокричал, не то пропел:

– Так наказан Николиос, родом из Вифинии, за убийство Памфилия, жителя дема Октагона, за убийство Феодора, жителя Селимврии. Слава правосудию Юстиниана Справедливейшего, Всемилоостивого, Наивеличайшего!

Площадь ответила многоголосым ревом. Еще и еще падал меч палача, кричали трубы, еще три головы увидели и три имени услышали византийцы. Двое из четырех казненных считались венетами, двое – прасинами. Пока базилевс свидетельствовал свое нелицеприятие.

В толпе передавали имена осужденных на удушение: два прасина, один венет.

Утром выпал иглистый иней. Горячее дыхание толпы растопило зимний день. От мириадов распаренных тел над площадью Быка встал теплый туман.

На смертном помосте сознательно, рассчитанно не спешили. Тела казненных укладывали в гробы, пристраивали головы к туловищам, скрещивали руки на груди. Крышки прибивались не спеша, только четырьмя гвоздями, чтобы мертвым легко было встать на зов трубы архангела в день страшного суда. Священнослужитель раздувал угли в курительнице для ладана. Три гроба еще ждали своей ноши.

Веревки уже были продеты в кольца гигантских виселиц-ламбд. Палачи затянули скользящие петли на шеях осужденных и подтолкнули смертников к краю помоста. Трубы дали сигнал протяжный, бесконечный.

Вцепившись в веревки, палачи, рванув, присели. Как на качелях, три тела взметнулись над головами зрителей. И вдруг на высшей точке размаха две веревки оборвались.

Непонятно почему, но веревки виселиц рвались и в те времена, и в гораздо более поздние. Рвались, хотя всегда тщательно выбирались. Только один повешенный вернулся назад, пронесся над эшафотом и продолжал раскачиваться в страшном танце. Двое других, как камни из катапульты, упали в толпу. Сотни, тысячи рук протянулись к ним и повлекли полуоудушенных, не знавших, умерли ли они, попали в ад или еще живут.

Легионеры пытались повернуть лошадей, в бессмысленной надежде вернуть палачам их добычу. Повешенных несли, передавали с руки на руки, увлекали на край площади, к церкви святого Конона, куда уставлял тупые рога медный бык. Оба смертника, и прасин и венет, вдруг стали безмерно дороги всем. Под жестокостью и жадной к кровавым развлечениям, под презрением к себе и к смерти в душах византийцев жило то, что всегда и в самые темные годы отличало человека от зверя. Жило милосердие, товарищество в сострадании к несчастью.

– Убежище! Убежище! – раздавались крики.

Распахнув двери, толпа наполнила храм, и чудесно спасшиеся были положены перед святыми вратами алтаря.

Насилие Власти останавливалось перед дверями храмов, никто не мог извлечь преступника, отдавшего под защиту церкви. Христианские храмы восприняли право убежища, которым обладали до них храм Соломона в Иерусалиме, некоторые храмы Зевса и Аполлона в Италии и в древней Элладе, священные места Востока. Но сановники церкви имели и другое право – разрешать Власти нарушать убежища.

В сумерках площадь Быка опустела. Город умолк, звездное небо казалось глубочайшим колодцем с искрами на дне. Январская ночь повеяла холодом. Внутри храма святого Конона заночевало несколько сот человек добровольной охраны.

Префект Евдемоний окружил святого Конона стражей. Неизвестно, что решит патриарх Мена по воле Юстиниана.

4

В конце ночи, подобно конным ордам варваров, в Византию ворвались шквалы северо-восточного ветра. Буря одолела влажные просторы Евксинского Понта, и ее невидимая пасть поглотила ночной иней. В напоенном влагой воздухе сырела одежда, железо оружия покрывалось ледяными каплями. Стаи низких туч волочились в рваных лохмотьях, и казалось, будто от них падали звуки, напоминающие глухие удары грозы. Буря на Понте достигла редкостной силы, далеко не каждый год грохоту евксинских волн удавалось преодолеть сто сорок стадий, которые отделяли Византию от понтийского берега.

Копыта лошадей скользили на грязной пленке раскисших нечистот, смазавшей плиты и булыжники мостовых. Все зябко кутались в меховые плащи, втягивали в рукава руки с огрубевшими от влаги ремнями поводьев. Под кем-то упала лошадь. Легионер, сыпля грязные и нечестивые ругательства, с неистовой злобой рвал удилами рот лошади и бил ногами несчастное животное, в слепой ярости мешая ему встать. Префект Евдеманий сам совершал последний перед дневным светом обход постов.

Злой ветер рождался где-то в неведомых краях, за землями аланов и хазаров, в запонтийских пустынях. Он ядовито раздражал чувства людей, мучил сердца, возбуждал страсти, подхлестывал пороки, развязывал зло, прячущееся в грешных сердцах. Евдеманий знал, что наибольшее количество кровавых расправ, зверских насилий, озлобленных драк и особенно дерзких ограблений совершалось в дни господства северо-восточного ветра. В эти же дни были обычны и убийства непонятные, без видимых причин, не вызванные ни страстью, ни корыстью, те убийства, которые совершались со странной легкостью для забавы, для удовлетворения жажды крови.

Город уже проснулся. Бронзовые доски храмовых звонниц звали к ранней утрени. Дымные, со слабыми пятнами зажженных свечей, дома бога казались пещерами бесконечной глубины, где совершалась тайна, недоступная пониманию человека. Голоса молящихся слитно гудели, над общим рокотом поднимались возгласы священников, ответы диаконов, высокие ноты согласного на все хора.

Порывы ветра не могли унести смрад фекалия, смешанный с запахом свежего хлеба: ночная выпечка была только что закончена. Мясные лавки отдавали смрадом завалявшегося мяса и старой крови, рыбные – тухлой рыбой. Запах чеснока вцеплялся в ноздри, как остроиглые семена бурьяна в полу одежды. От угольных жаровен несло дымным угаром, подгоревшим оливковым маслом, на железных сковородах скворчали куски селезенки, сердца, печени, требухи подозрительного вида и скверного запаха. Входы в полуподвалы таверн были отмечены нафтовыми светильниками, прикрытыми от ветра закопченным стеклом. Плебс спешил набить тощее брюхо перед наступлением дня.

Как будто нечаянно, спасаясь от копыт лошади префекта, какой-то человек вцеплялся в стремя Евдемония. Он ловко отскакивал, награждаемый ударами плети, которая, впрочем, едва касалась его спины.

Днем ищейки префекта передавали донесения в домах с тайными входами и выходами, пронизывающими кварталы так, что лишь посвященный мог знать, как пройти и куда выйти. В сумраке агенты действовали смелее. Люди толпы, незаметные, как стертые монеты, они появлялись у стремени префекта и исчезали, подобно летучим мышам. Сегодня они сообщали о пращах, которые плели ткачи вместо полотен, об угрозах сановникам, об обещаниях мести, о самодельных кинжалах, которые раздавали злоумышленники, чьи имена еще не удалось узнать, о многолюдстве в храмах, необычном для часа ранней утрени, о том, что гул голосов имел неблагоприятный оттенок.

Тираническая власть империи не любила стечений народа. Каждый префект, если бы мог, уничтожил ипподром, храмы, базары. Увы, неизбежное зло... Если бы подданные общались лишь в кругу своих семей.

Если бы они никак не общались!..

Шпион шепнул:

– Ночью встречались старшины прасинов и венетов, – и среди нескольких имен упомянул Манассиоса-прасина и сенатора Оригена.

Как! Ориген, враг прасинов, венет по крови, если можно так сказать. Вспомнив оскорбление, когда-то нанесенное Оригену базилиссой, Евдемоний перестал удивляться.

Человек деятельный, состоятельный, известный византийцам, Ориген был жестоко обижен Феодорой в первый год правления Юстиниана. Это маленькое событие характеризует нравы Палатия. Патрикий Симеон занимал тогда должность Хранителя Священной Опочивальни Феодоры – был ее казначеем и управителем личных имуществ. Симеон был должен Оригену, просрочил долг, а взыскать судом Ориген не мог – Хранитель Опочивальни по должности неприкосновенен. Дворцовый евнух под секретом сообщил Оригену, что Феодора примет жалобу, ибо собирается изгнать Симеона за упущения. Распростершись перед базилиссой, Ориген изложил жалобу. Базилисса произнесла в ответ нежным голосом:

– О знаменитый патрикий Ориген!

А евнухи подхватили хором:

– И какая же у тебя выдающаяся грыжа!

Растерявшись, думая, что ослышался, Ориген воскликнул:

– О всемилостивейшая!

Но базилисса с той же нежностью повторила его имя, и евнухи вновь оскорбили сенатора.

Под общий хохот и насмешки Ориген бежал из Палатия, поняв, что его заманили сюда на позор.

Ориген ждал случая отомстить. Потом можно и умереть, но как пчела, которая оставляет жало в ране.

Византия вволю посмеялась над незадачливым сенатором. Много раз привратники замазывали известью колоссальные грыжи, изображенные на стенах дома Оригена досужими остроумцами.

Позабавившись две недели, Византия увлеклась новыми посмешищами и забыла поруганного сенатора. А базилисса?

Ориген спрятался, как сверчок в щель. Отказавшись от выборной должности старшины дема, он никого к себе не допускал, распространяя слухи о смертельной болезни. Два года он дрожал, ожидая любого обвинения, влекущего пытку и казнь. Примеров судебных расправ было слишком достаточно. При себе Ориген всегда держал отвар цикуты, соединенный для верности с соком аконита. Наготове были бритвы, отравленные египетским ядом, одна царапина которыми убивала лошадь.

Не покидая ложа болезни, Ориген исхудал, постарел. Притворяясь, он много раз исповедовался и причащался, как перед смертью, и, расплачиваясь подобно миму за слишком хорошо сыгранную роль, действительно едва не умер. На третий год Ориген разрешил себе исцелиться святой водой от древа креста. За ней, якобы по внушению сна, он посылал в Иерусалим. «Исцелившись», Ориген рисковал иногда присутствовать на заседаниях сената, собиравшегося по приказу базилевса для суждения о пустых делах. Решался Ориген появляться и на ипподроме, но лишь в те дни, когда было наверное известно, что Феодора пребывает в любимом ею загородном дворце Гиероне или на палатийских виллах. Женщины не посещали ипподром, но базилиссы могли наслаждаться зрелищем из-за решеток церкви святого Стефана.

На площади Быка, куда Евдемоний добрался уже засветло, не оставалось и следов эшафота. Префект понял: ночью стража сожгла все дерево, чтобы обогреться. Утомленные легионеры были хмуры.

Городской легион на вербовали из подданных империи. Некоторые легионеры имели в городе семьи, многие – друзей. На таких, конечно, влияла тревога, охватившая Византию. «Пора бы, – думал Евдемоний, – заменить кесарийцев, каппадокийцев, сирийцев, вифинийцев, лидийцев, македонян и прочих подданных скифами, персами, кем угодно, чтобы создать стражу из людей, не имеющих корней ни в столице, ни в самой империи».

Об осужденных, спрятавшихся у святого Конона, префект не беспокоился. Из двух тысяч ищущих, содержимых префектурой, не меньше десятка замешались в толпу добровольных охранителей убежища. Преступникам не ускользнуть незаметно.

На месте Божественного префект удовлетворил бы желание подданных и даровал помилование. Обе хищные птички не замедлят опять попасться, и с ними кончат тихо. Может быть, следует произвести раздачу хлеба...

Городской префект пользовался как шпионами не только свободными людьми, но и рабами сенаторов и других видных людей. Евдемоний считал, что знает все, но сегодня ощущал тщету своего знания. Он боялся Византии.

Хвала Христу, базилевс знает, что делает! Подчинение воле Юстиниана давало Евдемонию ощущение блаженства, в его присутствии исчезали сомнения, все делалось простым. Опасения одолевали префекта только вдали от Юстиниана.

Хотя злой ветер не унимался, мрачное утро сменилось ясным днем. Шум города заглушил тревожный грохот волн. О море никто не думал. Купцы закончили свои плавания до наступления месяцев бурь, и редкие зимние сообщения поддерживались только вдоль берегов. Даже на такие переходы корабли решались лишь в тихие дни, и каждый кормчий вел судно от укрытия к укрытию. Летом синий, зимой Евксинский Понт становился для путешественников черным морем.

Византийцы принимали зиму как неизбежную, но короткую неприятность. Реки и ручьи не замерзали, и не каждый день утренники декабрьских и январских дней умели затянуть лужи хрупким стеклом тонкого, как папирус, льда. Дуб и лавр сохраняли зелень, зеленела и трава. В ясные дни солнце грело достаточно, чтобы можно было снять шубу.

В неделю, следующую за днем праздника крещения Христа, население Византии привыкло к особенно интересным зрелищам на ипподроме. Сегодня каменные скамьи-трибуны приняли более десяти мириадов людей. Перед началом служители венетов, отличимые по синим хитонам, и служители прасинов – в зеленых – прогуливали на арене лошадей. Поклонники бегов, как обычно, выкрикивали клички любимцев:

– Гунн, Красавчик, Дикарь, Меркурий, Дивная...

Было прохладно, и зрители кутались, во что придется. Для более состоятельных киликийские козы дали белые шкуры и белые ткани, победнее – довольствовались сукном из желто-коричневой непромытой шерсти. Виднелись и сарацинские сукна, такие же черные, как шатры кочующих аравитян. Египет присылал пухлую вату госсипия, теплыми хлопьями которой подбивали ткани из нитей пеньки, льна и того же госсипия. В большом ходу были короткие шубы из пегих шкур жеребят и телят, коричневые накидки из оленьих, рыжие лисьи, желтые из шкур корсака, мохнатые овечьи – все привозимое из славянских земель.

Тряпки скрывали заклепанные ошейники. Опытный глаз узнавал рабов по крепко обвязанным головам – так прятали работу хозяйской бритвы, которая снимала половину волос или спереди назад, или

поперек, или наискось. Иные господа брали с собой рабов для услуги.

Высшие сановники могли насладиться зрелищем игр с крыши кафизмы, а народ мог быть ошастливлен лицеизрением сановников, которые казались бюстами, расставленными на обводе крыши.

На третьем этаже наружной стены кафизмы выделялся мраморный горельеф старца в лежачем положении с веслом в руке. Для подданных это подобие языческого Нептуна знаменовало власть базилевса над морями. Внутри же очень удобно помещался префект города – отличнейший пункт для наблюдения. Места хватало и для писца, который успевал делать заметки для освежения памяти сановника.

Вовремя предупрежденный, Евдемоний встретил базилевса внизу лестницы, проникающей через все этажи кафизмы. Исполняя палатийский ритуал, префект пал на колени и, ловко коснувшись ноги базилевса, успел ее поцеловать, совершенно не помешав движению Величайшего.

Трудному этикету учились у лучших мимов и акробатов. Отдать должное находившемуся в покое базилевсу или базилиссе было не так трудно. Самый неотесанный провинциал обучался этому за шесть-семь двухчасовых уроков. Приветствовать же базилевса на ходу при всем желании мог научиться не каждый. Неуклюжие оказывались между Скиллой и Харибдой: промахнуться или, что уже почти преступление, помешать Божественному сделать шаг. Поэтому люди, в себе неуверенные, прятались и старались приблизиться к Владыке империи в более удобный миг.

Разогнувшись, Евдемоний последовал за базилевсом по винтовой лестнице, отставая на одну ступеньку. Юстиниан опирался на плечо префекта, а тот, выставив по-черепашьи голову, тихо докладывал об утренних и ночных происшествиях. Воспитанник римско-греческой культуры, Евдемоний обладал даром краткой речи. На тридцать третьей ступеньке префект успел закончить:

– Если Твоя Божественность захочет, она выпустит двоих. Твой раб тебе их опять изловит.

Почувствовав, что Юстиниан перестал опираться на его плечо, Евдемоний, повинувшись молчаливому приказу своего божества, отстал. Он все же решился дать совет, ибо над ним не властвовал взгляд базилевса. Но даже так, сбоку, он не решился намекнуть, что желательно смазать салом хлебной подачки зазрубевшие губы подданных.

Он не раскаивался. Прикосновение базилевса, минута общения с базилевсом сняли заботы и дурные предчувствия.

Пустые глазницы слепого бога Теплых морей и ловко прорезанные щели в кудрях поступили на службу префекта.

В этот солнечный, но холодный день вознесение Юстиниана на кафизму совершилось в облаке меха горностаев, шкурки которых доставляли купцы с северного берега Евксинского Понта. Поверх горностаев была накинута порфира, складки которой, после того как Юстиниан воссел, оправили невидимые для подданных руки.

Явление владыки было встречено затихающим ропотом голосов. С минуту, как в засыпающем птичнике, там и сям еще слышались выкрики, потом людское множество успокоилось. Закрывший глаза мог счесть себя в пустыне. Евдемоний вздрогнул. Что это? Ни одного приветствия! Но, помимо выразивших свое недовольство подданных, более тысячи только его агентов находилось на трибунах. Сколько там было шпионов Иоанна Каппадокийца, Трибониана, Коллоподия и базилисы Феодоры? Вот кто-то встает. Нет, его хватают, он исчезает.

Юстиниан любил лошадей, и конюшенная прислуга заставляла скакунов выделять на арене особенно красивые и сложные фигуры. Смотрел ли Божественный на арену, Евдемоний не знал. Но трибуны глядели лишь на кафизму.

От левых к кафизме трибун, принадлежащих прасинам, отделилось десятка два людей с зелеными бантами и поясами. С трибун венетов тоже поднялась группа людей, несущих синие цвета. Просители шли к кафизме, сохраняя униженный вид, с опущенными головами, горбятя спины, – нельзя было бы упрекнуть подданных в дерзости.

Старшины прасинов и венетов соединились у подножия левой лестницы. Ее называли Ступенями Милости, ибо в евангелии сказано: левая рука дающего не должна знать, что делает правая. В правой кесарь держал меч, в левой – шар державы, увенчанный крестом распятого.

Евдемоний перестал видеть старшин, но знал, что они взбираются по крутым ступенькам. Вот верхние достигли площадки перед медной дверью. Префект прижал к отверстию глазницы левое ухо. Правое слышало хуже после удара камнем по шлему в битве с персами.

Последовало молчание, потом голос Глашатая спросил, какой милости просят верноподданные.

– Воля божья и рок однажды порвали веревки осужденных, – отвечал кто-то, – да смилуется Единственно Великий и да успокоит свою столицу... – Проситель, употребляя общепринятые формулы, называл себя и всех подданных червями и прахом, ничтожеством и грязью. Но префект уловил кощунственную угрозу в словах Манассиоса – он узнал его голос. Успокоит столицу? Значит, коль базилевс не пощадит висельников, столица не успокоится?

Не отрывая уха от щели, Евдемоний шепнул писцу:

– Отметь: Манассиос грозит мятежом...

А это говорит сенатор Ориген. Агенты донесли справедливо. Ориген повторяет Манассиоса слово в слово. Ба, все затасканные уверения и самоунижения не стоят ржавого обола, их твердят все уже более двух столетий, с тех пор, как Константин установил этикет Палатия и формулы прошений. В сущности, Ориген дерзко грозит, как и Манассиос.

Острым ногтем префект клюнул голову писца:

– Ориген. Тоже.

Глашатай бросил, как камень:

– Жди... те!

Усталые трибуны зашевелились, послышался нарастающий гул толпищ, способных хранить молчание лишь считанные мгновения.

Перевернув склянницу часов, Евдемоний глядел на струйку мельчайшего песка. Как долго... Милость или отказ? В обоих случаях Юстиниан может нарочно накалить волнение толпы. Нарастающий конус песка предвещал нечто значительное.

Едина власть, едина воля... По движению на трибунах Евдемоний понял, что Глашатай поднял руку, призывая внимание.

– Нет!..

Слышали старшины, слышал Евдемоний, подданные еще ждали. Префект с горечью переживал свою неудачу. К чему, глупец, он лез с советом! Тупица, он не сумел угадать волю Божественнейшего. Если судьба позволит, больше никогда он не скажет ни слова...

Евдемоний чувствовал, как медленно сходят старшины; ступени Лестницы Милости узки и круты. Да угодно будет богу, чтобы один из мятежников упал! Смех толпы превратит трагедию в балаган. Что стоит богу совершить такую малость?

Внизу старшины разделились. Они возвращались на свои места, и каждый показывал подданным руку с четырьмя поджатыми пальцами и с большим, опущенным вниз. Знак немилости, пришедший еще из языческих времен италийского Рима. Базилевс не прощает.

Трибуны охнули, ахнули, встали. Мириады разинутых глоток испустили рев, единый, низкий и пронзительный одновременно. На арену водопадом потекли головы в плеске рук, дубин, ножей.

Нельзя было лишить мясника топора и резака, плотника – долота и стамески, семью – колуна для дров и каждого – куска железа на деревянной ручке для хлеба, мяса, овощей. Невозможно было запретить ношение палок и дубин. Подобное оружие и мелькало над толпами разъярившихся зрителей.

Исчезли деревянные ограды арены, исчезли хранители порядка – курсоресы с их жезлами, изящно обвитыми лентами, – на самом деле копьями. Служители ипподрома не успели убраться с арены. Стесненные толпой, лошади поднимались на дыбы. Под людьми тонул Хребет – длинное сооружение внутри арены, украшенное статуями и символическими изображениями. Одиннадцать мириадом мятежников. Что уж тут отмечать имена...

По винтовой лестнице префект взбежал на венец кафизмы. Платформа с креслом базилевса опустела, наверное, сейчас Божественный был уже в церкви святого Стефана. Но место префекта города – здесь.

Толпа бросилась на обе лестницы кафизмы. Медные двери загремели под ударами дубин. «Глупцы, – подумал Евдемоний, – здесь едва справился бы и железный лоб тарана». Видя, что двери не поддаются, мятежники попытались устроить на площадке живую лестницу. Охрана Евдемония показала безумцам мечи. Может быть, угроза и не подействовала, если бы толпа осталась, но ипподром пустел. Следуя укоренившейся традиции, подданные, поссорившись с владыкой, спешили уйти с ипподрома.

О кресло базилевса ударился камень и, отскочив, ранил в лицо одного из защитников кафизмы. Камни ударялись об венчающий карниз, дробили мрамор и сами рассыпались острыми осколками.

Растекаясь, толпа увлекала пращников. Они отступили нехотя: не каждому доведется случай поиграть с пращой против Священной кафизмы, где появляется Священное тело.

Короткая свалка у главных ворот оставила на песке чьи-то тела. «Узнали моих людей», – подумал Евдемоний. Он устал, кружилась голова, его подташнивало. И зачем он дал Единственному бессмысленный совет, как он осмелился не угадать волю Любимейшего! Чтобы не упасть, Евдемоний оперся на обвод кафизмы. Внутри левого бока странная боль, которой он не знал до этого часа, терзала сердце. Префекту хотелось заплакать, чтобы, подобно женщине, облегчить горе.

Он глядел на арену. Как всегда после бешенства толп, истоптанный песок был усеян клочьями одежды, потерянными шапками. Валялись трупы раздавленных лошадей. Лежали и люди, одни похожие издали на кучу тряпья, другие – странно плоские, вдавленные в песок. Мало их, мало. Префекту хотелось иметь огненный меч архангела, чтобы уничтожить сразу всех подданных, которые осмелились нарушить верность Обожаемому.

5

Евдемоний был совершенно уверен в том, что познал истину: империя, подобно песчанику, слепленному из мельчайших частиц, состоит из маленьких людей, которые за время краткой земной жизни обязаны верноподданническим поведением обеспечить себе возможное благополучие в жизни вечной. И там, на небесах, та же иерархия: маленькие души маленьких людей образуют хоры, славящие высших. Евдемоний верил в добро: верноподданный желает мирно жить на своем клочке земли либо заниматься своим ремеслом, желает быть сытым сегодня, и только. Если маленький человек восстает – виновно наущение злых. Дьявол искони мешал богу.

Префект затаился в старом доме, который был некогда подарен его прадеду базилевсом Феодосием. Обветшавшее и тесное здание. Во внутреннем дворике-атриуме, в скудости облупленного портика, статуя Аполлона с благочестиво прилепленными крылышками изображала серафима, амур, подправленные штукатуркой, – ангелов, переделанный Морфей – апостола. В центре дворика зелено-ржавый тритон разевал бесполезную пасть над обросшей мохом пустой чашей бассейна.

Дом казался задавленным громадой храма Христа, который надвинул на него свою глухую ограду. По обеим сторонам улицы были возведены многоэтажные дома-ульи, где сдавались в аренду комнатки, вытянутые вдоль длинных и узких щелей-коридоров. Для экономии места этажи доходных домов соединялись наружными лестницами. Иной раз хилые перила поддавались под напором пьяного или неловкого жильца. Улица называлась Шерстяной, или, попросту, Шерсть, по массе обитавших здесь ткачей.

Овцу прячут в стаде, человека – в толпе. В улице Шерсти люди кишели, как вши в войлоке. Тут префект и его контуберналии-сотрудники встречались с ищейками. Притон шпионов имел несколько выходов и скрытых лазеек. Сидя здесь, Евдемоний, по истасканному в дальнейшем выражению, уподоблял себя пауку в сети.

Сегодня усердие ищеек само по себе говорило о незаурядности событий. Многие ремесленники прекратили работу. Юстиниана, Феодору, сановников позорили и проклинали на каждом перекрестке. Замечали рабов, открыто бривших себе головы у уличных брадобреев. Раб, избавленный от ключев, оставленных на его голове господином, делался похожим на свободного. А! Непокорность рабов заставит призадуматься бунтующих хозяев...

Худшее Евдемоний видел в продолжающихся совещаниях венетов и прасинов. Согласие врагов грозило настоящей опасностью. Люди решительного вида открыто вынуждали кузнецов, работавших на рынках, ковать наконечники пик, ножи и даже мечи.

Префект слал частых гонцов в Палатий к Иоанну Каппадокийцу. Разделенные ревностью к милости базилевса, сановники не были друзьями. Но Евдемоний доверял уму Носорога и его преданности Юстиниану.

Еретики подняли головы. Монофизитствующий отшельник по имени Василиск неистово исповедовал схизму, привлекая слушателей смелостью разоблачений базилиссы. А ведь некогда случился день, когда лишь счастливая судьба спасла самого Евдемония от близости со знаменитой своим искусством гетерой. Базилисса мстительно уничтожила сколько-нибудь заметных людей, попользовавшихся «дружбой» с дочерью ипподромного подметалы Акакия. Былые любовники изобличались пытками в чем угодно: в замыслах на жизнь базилевса, в заговорах, в сношениях с врагами империи, в содомском грехе, за который закон карал изувечиванием.

Сегодня писцы заполняли папирусы сотнями имен, сообщенных ищейками. Префект рассылал

городских вестовщиков-глашатаев объявлять приказы. Всем подданным следовало разойтись по домам и заняться своим делом. Застигнутые на улице рабы будут подвергнуты бичеванию и переданы хозяевам, которые заплатят пеню. Верноподданные приглашались оказывать содействие Власти.

На улицах расклеивались листы пергамента с буквами величиной в палец. Префект предупреждал о готовности войска расправиться со смутьянами, объявлялись номера легионов и имена полководцев.

Как бывает всегда в подобных случаях, префект обманывал и запугивал. Он отлично знал меру трусливости золоченой гвардии Палатия, необходимая реформа которой не была закончена. Надежнейшие три сотни спафариев, эти отборные силачи – личная охрана базилевса, его доспех, который не расстанется с телом. Славянская схола-отряд надежна отчуждением от Византии, но этих пришельцев с Дальнего Севера даже меньше, чем спафариев. Велизарию было разрешено ввести в Палатий лишь часть из нескольких тысяч его ипаспистов. Правда, не так далеко от городской стены сидят испытанные наемники – готы и герулы – во временных лагерях. Но Евдемоний более не дерзнет подсказывать Божественному: не из страха не угадать Его волю. Нет, легче будет положиться на провидение Обожаемого. Он знает Сам.

Сам префект города имел легион полного состава. В каждой центурии числилось шестьдесят легионеров, две центурии составляли манипулу, три манипулы – когарту. Десять когарт – три тысячи шестьсот мечей. Как всегда, в строю не хватало десятой части отпускных и больных. В обычное время одиннадцатый легион справлялся с охраной порядка в Византии. Сегодня Евдемонию хотелось бы иметь девятый и четырнадцатый легионы, которые прежде стояли в городе. И военных домов в самом Палатии было куда больше в дни правления предшественника Юстина и Юстиниана. Ныне большая часть схола в Палатии пустовала, окна и двери заложили камнем, чтобы никто не грязнил помещения.

Сегодня Евдемоний впервые задумался, вспоминая, сравнивал. В Риме италийском многочисленные войска, собранные в городе, привыкли играть с Властью. Не так давно старый Юстин купил войска в свою пользу золотом, полученным от евнуха Амантия. Мудр, поистине божествен базилевс Юстиниан...

Послышался странный звук, будто крыса скребет стол. Евдемоний очнулся. Перед префектом склонился агент, одетый уличным продавцом лепешек и в самом деле очень похожий на крысу. Это он, соскучившись, посмел напомнить о себе Евдемонию.

– Говори! – приказал префект.

– Великолепный светлейший, – начал шпион с обязательного титулования сановника, – во-первых, я насчитал за время достаточное, чтобы два раза шагом обойти ипподром, пять сотен людей, вооруженных ножами. Во-вторых, я попал на след. Кто-то собирается предложить золото палатийским войскам и твоим легионерам. Мне тоже нужно золото, чтобы пойти по следу. Чуть-чуть.

Евдемоний ободрился. Все узнается. И никто не избегнет кары, никто!

Сановнику вспомнилась строфа, сочиненная одним желторотым ритором:

Хитроумно лишив Полифема единого ока,
спас Одиссей себя и своих. Чтоб ослепить
империю, зрящую тысячеглазьем ищеек,
нет Одиссеев...

Конечно, нет. Какие там Одиссеи! Имя сочинителя стало известно префекту прежде, чем на ситовнике высохла сепия. Писатель выразил истину. Но избрал неподходящие слова, злонамеренно сравнивая святую империю с диким циклопом, а ее слуг – с собаками.

Есть общее между книжниками и предсказателями Судьбы. Их мудрость полезная для других, но

бесцельна и опасна для обладателей. Такова воля бога, который любит людей, смиреннопослушных умом. Поэтому префект раздавил писателя походя, как муравья.

На площади Быка, забравшись на спину медного страшилища, отшельник Василиск обращался к толпе:

– Братья, родные во Христе, не верьте и рясе и ризе. Единственно верьте слову, ибо бог есть слово. Не Христос ли сказал, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в царство небесное! Не он ли завещал чтить бедность превыше всего! У кого есть два хитона, один отдай ближнему.

Отшельник успел собрать около себя несколько десятков последователей. Подражая признанному ими вождю, они вооружились дубинами с крестообразными перекладинами. Это они подсадили Василиска на Быка.

К вечеру с юга дохнуло влажным теплом, удивительным для северян, обычным для византийцев, привыкших к резким переменам. Но багровый закат, напоминающий цветом кровавый желток насиженного яйца, предвещал мало доброго на завтрашний день.

Отшельнику помешали – свертывалась манипула, которая охраняла храм святого Конона. Иоанн Каппадокиец дал знать префекту, что об осужденных «можно забыть». Народ уже успел привыкнуть к тому, что легионеры стоят у храма, и не замечал их. Сейчас раздались свистки, улюлюканье. Отступление войска пробудило смелость, толпа сплотилась. Многие вытаскивали пращи, доставали из сумок, подвешенных под хитоном, гладкие, обкатанные морем камни.

Окруженная манипула остановилась. Двумя выкриками центурион заставил легионеров принять строй квадрата. Образовались четыре стенки длинных щитов. Византийцы оценили красоту маневра. Иные аплодировали как мимам. Один из случайных вожаков, которые появляются и исчезают, подобно щепкам на гребнях волн, обратился к византийцам:

– Назад! Положите камни в сумки! Берегите их, нам еще пригодятся пращи. В легионе – наши братья. Поговорим с ними.

Отшельник терпеливо стоял на спине Быка. Толпа слушала вожака, соблазнявшего легионеров.

– Единоверцы, римляне! Что вам в этом базилевсе! – Он делал жесты привычного оратора. – Что в священных телах Юстиниана и Феодоры, в их головах и других частях, которые непристойно назвать. Что вы скажете насчет списков старшинства, которые прежде обеспечивали ваше будущее? Разве не этот базилевс – какой позор! – приказал не вычеркивать умерших. Ныне ваши мертвые товарищи стоят на вашей же дороге, мешая живым приближаться к выслуге. Когда вы стареете, у вас отнимают пояс воина. Казначей говорит: «Я не знаю тебя», и вы лишаетесь жалованья, заслуженного вами по закону. Что вам в этом базилевсе! Ведь вы не гепиды, не герулы, не варвары, которые обожрались золотом Второго Рима. Может быть, вы сумели сделаться гуннами или массагетами? Нет, золото, которое Юстиниан давит из нас, как масло из оливок, идет не вам. Вы – римляне. Варваров кормит этот базилевс, вы же тощаете.

Разоренный ритор или опальный легист сыпал соль с перцем на открытые раны. Все знали, что Анастасий Молчаливый оставил казну в триста тысяч фунтов золота, а Юстиниан за несколько лет все истратил на роскошь Палатия, на безумные постройки. Подумайте, ему мало места на твердой земле. Чтобы отнять место у Пропонтиды, Юстиниан наращивал берега. Золото, исчерпанное на такие бессмысленные работы, все же оставалось в империи. Но Юстиниан превратил казну в дырявый сосуд. Золото уходило варварам, от которых базилевс откупался, варварам, которых он нанимал. Недавно Юстиниан заплатил Хозрою золотом за перемирие и обязался ежегодной данью.

Оратора слушали с интересом. В легионах и без того поржала злая шутка: «Почему не родился я персом?..»

Манипула ушла благополучно, и отшельник своей дубиной ударил по звучному брюху Быка, призывая внимание. Ему помешал человек в чистом шерстяном хитоне, с бобровой шапкой на голове.

– Ты был прав, монах, говоря о распутстве Феодоры гнусной. И Юстиниан не человек, а владыка демонов. Но к чему ты возмущаешь бедных против богатых? Бог всевышний устроил все. Если не будет богатых, кто подаст бедному милостыню? Кто даст хлеб и работу? Ответь мне.

Василиск принял диспут:

– Я понимаю тебя, ты есть голос церкви высокой. Демон искушал Христа в пустыне, предлагая ему богатства вселенной. Христос отверг демона, твоя церковь – соблазнилась!

– Богохульствуешь!

– Молчи, – слышались голоса, – дай ему говорить!

– Братья, – взывал отшельник, – апостолы дали обет бедности, бессеребрия. Христиане апостольские жили в чистой общности, деля хлеб и одежды. Послушная базилевсам высокая церковь предала верующих. Базилевсы-язычники губили лишь тело, нынешние душу губят на вечные страдания. Взгляните на патриархов, епископов, пресвитеров, дьяконов. Кто кадит демону Юстиниану? Они! Кто не заступается за угнетенного, не отводит руку сильного, не обличает виновного? Они, они, они! Да обнажу я блуд высокой церкви, капища идольского, опоры греха базилевсов! Да укажу я...

Рукоплескания смешались с проклятиями.

Раздались крики гнева:

– Схизматик, донатист!

Началась свалка. Кого-то подняли, раскачали и взбросили на медную спину Быка.

Кто-то, показывая натертые воском таблички, объяснял:

– Ищейка! Он что-то писал, пряча руки!

– Дай прочту! – потребовал Василиск. – Никодим-кожевник, Николай-ткач, Феодор Арбуз, Ананий, раб Стратигия, Стефан-возница... Братья, да тут десятки имен!

Заподозренный приподнялся на колени; вытянутым, как морда, лицом он странно напоминал крысу.

– Прегнусный! – Дубина отшельника поднялась над агентом префекта.

– Нет, – отказался отшельник, – не оскверню древа, благословлённого Симеоном Стилитом, прикосновением к четырежды нечистому! – и сбросил вниз поставщика палачей.

Стон, визг, писк, тупые удары дубин, вопли, проклятья и топтание на одном месте людей, сбившихся в кучу, как для бешеной пляски...

Таблички, которые могли открыть дверь тюрьмы для многих, были оплеваны, изломаны, растоптаны.

Незаметно спустившаяся ночь начиналась призывами:

– К тюрьмам!

– Освободим страдальцев!

– Смерть доносчикам!

– Смерть судьям!

- Смерть Евдемонию!
- Побеждай!
- Напрягайте паруса!

Глава 6

Огонь

Горгона, только взглянув,
делала камнем живых.
По сравнению с делами
позднейшими все эти Гидры,
Горгоны – жалкий миф.
Пустяки!..

Из древних авторов

1

В час вечерней звезды призывы – побеждай, напрягай паруса! – звучали на многих улицах и площадях Византии.

На теле громадного города дурной болезнью пучились нарывы тюрем, звенья цепи, откованной Властью.

Евдемоний не мог вмешаться, хотя и узнал вовремя об опасности, грозящей тюрьмам, – префект боялся разбросать свои и без того слабые силы. В такой час не стоило думать о заключенных. Их не так много. Правосудие империи было скорым. Значительнейшая часть преступлений и проступков наказывалась смертью. Изредка применялась ссылка. Неплательщиков налогов спешили продать в рабство.

Повинуясь приказам, легаты и трибуны отводили свои когорты окольными путями, минуя широкие улицы и площади. Одиннадцатый легион отходил к Палатию, чтобы расположиться между базилиевсом и городом. Цепочки легионеров двигались, как заговорщики. Трибун возглавлял первую манипулу когорты, центурионы замыкали свои манипулы. Легат, казначей, писцы, профос с розгами и топором шли сзади когорт, дабы следить за легионерами. Тщетные предосторожности! Манипулы теряли людей. Беглецы, зная город, как свою ладонь, исчезали бесшумно, подобно летучим мышам. Повинуясь военному братству, центурионы умалчивали о покинувших строй, а легионеры не думали выдавать своих. Они слушались приказа, хотя старые обиды и шевелились, как черви в запущенных ранах.

Стены тюрьмы в квартале Октогон, грязные днем, угольно-черные ночью, когда-то были отделены ровом и от улицы и от соседних владений. Прежде это была казарма, по староримскому обычаю служившая и укреплением. Второй Рим превратил казарму в тюрьму и надвинулся на нее со всех сторон. Ров засыпали, к стенам прислонились дома, сзади выстроили храм нового бога империи. Улица, расширившись было за счет рва, сузилась наступлением противоположных домов.

Двор казармы, ставший двором тюрьмы, застроился жилищами сторожей. Стены подняли, устроили двойные ворота, между которыми сидели свирепые псы. Для пропуска чужих цепи укорачивались хитроумным устройством. Вольных и невольных посетителей встречали злобное рычание и острая вонь собачника.

Приставив к внутренней стене лестницу, один из сторожей взобрался на стену и старался перекричать шум толпы и лай собак:

– Чего ищут римляне? Здесь нет ни денег, ни вина!

Сторож, он же палач, заявил, что впервые за долгий опыт жизни он видит людей, которые по своей воле хотят залезть в тюрьму. Шутка понравилась, но среди общего шума ее оценили немногие. Палач еще торчал на стене, и новые знакомые сравнивали его с котом на крыше, когда первые ворота рухнули, выбитые бревном. Палач скатился во двор.

Их было восемнадцать, совмещающих должности палачей и тюремщиков, сытых, довольных жизнью, преуспевающих. Они наследовали умершим и казненным, им по закону принадлежали обувь и одежда, снятые с тел. Они ели лучшую и большую часть пищи, приносимой друзьями и родственниками узников, им попадало подавание мягкодушных христиан, памятовавших заветы святых о милостыне, несчастным грешникам. Сверх всего, палачи-тюремщики получали от префектуры по одному оболу в день за каждого узника и особую плату за пытку и казнь.

Мускулистые – слабосильный не годится для таких дел, – тяжелые, привыкшие угрожать толпам

выставкой пыточных орудий, палачи растерялись. Защищаться? Но как? Они привыкли бить, издеваться, вымогать, отнимать у беззащитных, терзать тех, кто не мог сопротивляться. Кто в городе не знал о событиях на ипподроме?! Но ни под один толстый череп не могла проникнуть мысль, что кипящий город плеснет мятежом и на их уютную, милую, родную кормилицу, на мягкое гнездышко-тюрьму.

Псы смертно взвыли под дубинами, ножами, самодельными копьями. Рухнули и вторые ворота. Палачи, обезумев, лезли на стены, бессмысленно прятались; кому-то, случайно смешавшись с толпой, удалось ускользнуть в общем беспорядке, в спешке, в бреду.

В первый этаж тюрьмы вели две двери, во второй поднимались по внешней лестнице. Железные засовы удерживались навесными замками. По требованию осаждающих тюремщики открыли замки, отвалили засовы.

– Огня, света, огня!

Отозвались те, кто уже хозяйничал в домах палачей, расхватывая имущество. В очагах нашлись горячие угли, в амбарах – масло. Факелы крутили из тряпок, в которые руки, похожие на когти, превратили содранную с палачей одежду. Теперь палачи, голые, стали очень заметны.

Осветили зал допросов обычного в империи вида. Возвышение в середине зала кощунственно напоминало алтарь. Это было место судей, здесь же помещались писцы, записывающие вопросы и ответы. Без протокола нет правосудия. Каменные скамьи, приподнятые на локоть от пола, чтобы палачам не приходилось особенно гнуть спины, имели кольца для кистей и лодыжек. Они были слегка наклонны и снабжены выдолбленными канавками, продолженными по полу до зева клоаки.

Около очагов валялись мешки с углем самого обычного вида. Такие развозят угольщики на спинах ослов, крича: «Угля, угля...»

На потолке торчали крючья с веревками, цепями, ошейниками, петлями. На стенах были развешаны в раз и навсегда установленном порядке орудия пыток точно такие же, которыми вчера чуть ли не эти палачи устрашали подданных. Во всех тюрьмах орудия правосудия были одинаковы. Набор, установленный обычаем и законом, заказывался префектурой.

Зрелище застенка разъярило толпу. Ужас и гнев породили желания, которых только что не было. Палачей тащили к пыточным ложам, преодолевая сопротивление, выламывали руки, ноги и, наконец, растягивали. В неумелых руках добровольных исполнителей приговора клещи, ножи, спицы, крючья для внутренностей наносили широкие, обильно кровоточащие раны.

Сводились счеты. Мстили за брата, сына, отца, сестру, мать... С диким торжеством над истязуемыми реяли свежесбранные головы сбежавших рабов, всклокоченные шевелюры ремесленников, седые кудри и лысины стариков. Кто-то с выпученными глазами на перекошенном лице метался, хватал за руки мстителей и вопил:

– Братя, именем Христа милосердного! Не торопитесь! Не спешите! Осторожней, дабы не так скоро они умерли. Во имя сладчайшей Приснодевы Марии...

В глубине пыточного зала черный зев арки открыл проход к номерам. Из-за дверей, сплошных и решетчатых, слышался разноголосый вой. Это узники, потрясенные ревом толпы и стонами палачей, не понимая, что происходит, в ужасе встречали свой последний час.

Больше не у кого было спрашивать ключи. Замки сбивались ломиками, предназначенными для сокрушения костей. Меч палача послужил отмычкой.

Ярость сменилась восторгом. Свирепые мучители умилялись. Руки, измазанные кровью, соперничали нежностью с материнскими. Тех, кто не мог идти, несли. Ноги скользили, проваливались в смрадные стоки,

продолбленные из общих нумеров к общей клоаке, где людская кровь кощунственно смешивалась с нечистотами.

Никто не спрашивал, кто этот живой скелет с гнойными ранами от пыток: невинный человек, оклеветанный вымогателями, молвивший неосторожное слово, злосчастный неплательщик налогов. Или страшный убийца, не щадивший ребенка, вор, который не брезговал сумой нищего. Узники – угнетенные. Сейчас все были как братья.

Пробившись во двор тюрьмы и на улицу, спасители показывали освобожденных, вознося их вверх, как знамена, чтобы все могли разделить радость. И – познать живое свидетельство своей силы, ломающей даже тюрьмы.

Кто-то падал. Нечаянно, повинуюсь своей силе, подобной силе реки, прорвавшей плотину, освобожденного давили не замечая.

Раздались крики:

– Месть судьям! Смерть судьям!

Человек с курчавой, наполовину выбритой головой призывал, потрясая палаческим серпом:

– Я знаю дом судьи!

Крики, топот, удары в медные блюда усиливались. Лихорадочно спеша, испещренная пятнами дымных факелов, толпа ворвалась в тихую улицу. Патрикианские дома, в которых двери и ворота были не только заперты, но и завалены изнутри, чем придется, будто сжались безгласные, без одного огонька – страх тушил даже неугасимые лампы перед иконами.

Патрикий Тацит собрал близких домочадцев, кому мог доверить. Из тайника, известного только главе семьи, его жене и старшему сыну, извлекались клинки с серебряными рукоятками в ножнах, отделанных самоцветами, роскошные кинжалы. Здесь же чуть дрожащая рука нащупывала меч предка, строгий, простой, но крепкого железа, находила кривой акинак перса^[9], добытый в Месопотамии, двуострую франциску, привезенную с Рейна, мидийский щит, обтянутый каменно-твердой кожей слона.

Патрикий вспоминал предания о домах предков, подобных крепостям с гарнизонами. Что дальние годы! Совсем недавно покой Византии охраняли и три и пять легионов, да и в Палатии жило надежное войско. Охлос боялся буйствовать.^[10] Увы, тогда грозило буйство самих войск, солдаты сами суть вооруженный охлос. Римские мечи убивали римских императоров, выскочки покупали диадему золотом, рассыпая его в казармах. Как глупый старик Юстин и гнусный Юстиниан.

Знание не приносит счастья. Тацит не находил выхода. После Сциллы и Харибды мореплавателю открывалось чистое море, для империи же патрикий видел тупик: или произвол охлоса, или произвол войска. А в промежутке – произвол базилевса.

Патрикий ждал грозы, затаившись в домике привратника. Женщин спрятали в дальнем покое господского дома. С патрикием был сын, зять домоправитель, и четверо клиентов, питающихся с его стола. А остальные? Из трех десятков рабов – привратников, конюхов, поваров, уборщиков – он мог кое-как положиться на десятерых. Им он верил, они родились в его доме, он не был жесток. На заднем дворе, при мастерских было еще шесть десятков рабов и рабынь. Патрикий считал себя исключением, наказания применялись редко. Но кто захочет защитить его жизнь?..

Безликие тысячи приближались с наглой уверенностью. Патрикий услышал проклятие, посланное сыном базилевсу.

– Молчи, – сказал Тацит, – одна пасть стоит другой.

Толпа как будто остановилась у владений Тацита. Нет, тысячерукий зверь напал на соседа. Теперь мгла кажется не такой густой. Ищут не его, патрикия империи, чьи предки прославили свое имя не только мужеством. Род Тацитов дал знаменитого историка и доброго императора. Пусть другие дадут столько же!^[11]

Одним из ближайших соседей Тацита был судья Теофан, выскочка, креатура отвратительного Иоанна Каппадокийца. Порядочные люди презирали судью. Вымогатель и взяточник, юстиниановский торговец совестью. К нему Тацит не пришел бы на помощь, располагай патрикий целым легионом.

Так, значит, охлос не слеп, коль делает правильный выбор.

– Знайте, дети мои, – говорил Тацит, обнимая в темноте сына и зятя, – что этот Теофан по приказу Феодоры погубил патрикия Бассиана. Несчастный будто бы плохо отозвался об этой дурной женщине. На самом деле базилису соблазняло богатство Бассиана, и, увы, Бассиан был человеком распущенного поведения и приближался к Феодоре, когда... – патрикий не захотел указать время. – Теофан пытками вынудил несчастных клиентов Бассиана оговорить своего патрона в приверженности к содомскому греху. Приговор выполнялся с таким зверством, что изувеченный Бассиан умер. Его достояние Теофан нагло объявил выморочным, хотя все знают в лицо братьев и сестру Бассиана.

– А знаменитый процесс Льва против Алфея? – напомнил зять. – Обобрав обоих, Теофан сумел конфисковать спорные земли в пользу Юстиниана.

– Наши судьи погрязли в стяжательстве, насилии, беззаконии. Судьи – притоны разбоя и гнусности, – мрачно сказал патрикий.

Тем временем народ, сломав ворота, не встретил сопротивления в доме Теофана. Во дворе жена и дочь судьи протягивали руки, прося пощады. В ответ сверкнули пыточные ножи. Восставшие требовали Теофана.

Рабы судьи вмешались с редкой смелостью:

– Оставьте женщин, им жилось не многим слаще, чем нам. Пойдем, мы вам покажем зрелище.

Судья забрался в яму для нечистот, это не ускользнуло от глаз его рабов. Со злым смехом мстители сорвали крышку. Теофан нырнул, задохнулся, всплыл. На него набросили петлю и полуудушенного вытащили. Отвращение послужило щитом. На веревке, за которую Теофан цеплялся, как за жизнь, его повлекли в атриум. Ледяная ванна в фонтане кое-как смыла нечистоты.

Прежде чем кто-либо успел коснуться судьи, на него набросился ремесленник с руками пурпурного цвета. Красильщик большими пальцами нажал на глаза Теофана:

– За Петра, красильного мастера, которого ты ослепил пыткой и выпустил безумным!

Глазные яблоки судьи, похожие на голубиные яйца, выскочили из орбит.

Красильщик злобно смеялся:

– Ты сделал это веревкой, я – пальцами. По-божьи, око за око, зуб за зуб!

Уже пылали потолки дома, дым повалил из служб. Одни уходили, нагрузившись добычей, по их мнению, законно взятой на хищнике-судье, другие гневно били все, ломали, помогая огню уничтожать.

– Судью в тюрьму! На пыточный стол!

И опять толпа бежала по улице. Людской смерч несея, втягивая в себя новые массы людей и оставляя тех, кто выдохся и потерял силы.

Теофану не судьба была лечь на пыточный стол. Тюрьма пылала еще ярче, чем дом судьи. Над гигантской жаровней метался столб пламени. Судью несправедного метнули в огонь. Время не ждало, ночь неслась бешеным конем, а дело лишь начиналось.

У дома Тацита вновь было тихо, лишь зарево близкого пожара напоминало о недавнем происшествии. Надсмотрщик, поклонившись, сказал патрикию:

– Господин, ушли почти все рабы.

– Хорошо, – твердо ответил патрикий. – Но никто из них не захотел бросить на нас толпу, не так ли? Когда они вернутся, – если вернутся, – всех хорошо накормить. Не упрекать, забыть. А теперь пойдём посмотрим на улице, не нужна ли кому из несчастных наша помощь.

На форуме Константина первый император-христианин был увековечен величественным монументом. Церковь причислила к лику святых первого ряда, назвала Равноапостольным. На взгляд католической церкви Константин мог бы на правах брата подать руку Петру, привратнику рая.

Ложь есть смерть, как сказал основатель христианства. Святость Константина была одной из многих лжей, которыми оскверняла себя религия угнетенных, лишь только ее вожаки прикоснулись к соблазну светской власти и по-хозяйски возложили руки на хребет золотого тельца, презираемого издали, но вблизи так соблазнительно-пышного.

Убийца своих родственников, хитрый и беспощадный, велеречивый и смелый владыка вел себя по отношению к религии мелким торгашом, очень похожим на тех, кто впоследствии ходил иногда в церковь на всякий случай – вдруг «там» нечто есть, не запастись ли и этой благодатью?

Допуская новую религию, покровительствуя ей из утонченно-политических видов, этот человек с двойным дном не хотел окончательно связывать себе руки. К тому же если действительно существует рай христиан, лучше приберечь магическое таинство крещения до последнего часа жизни. Вся греховность долгих лет смывается сразу, и император предстанет перед небесным привратником чистым, как новорожденный. Так Константин и сделал. Тридцать один год его правления был временем лжи и компромисса между церковью и империей. Роковой отпечаток никогда не изгладится.

С форума-площади своего имени равноапостольный базилевс направлял взоры на восток – отнюдь не для приветствия утренних зорь! Он нес туда крест.

Добровольные, не императорские, вестники нового откровения уже давно, задолго до лет Константина, добрались до самого берега Азии, до Океана Синов. Желтолицый ученый в шелковой одежде, который знал наизусть десять тысяч знаков, – одно созерцание их возвышает человека, так как даже часть знака изображает идею, – любознательно внимал новому СЛОВУ. Что ж, и Конфуций^[12] учил честности, почтению к родителям, благотворительности, осуждал злых. Человек добр по природе, в мире нет противоборствующих сил, лишь сам смертный готовит себе погибель, преступая закон по ошибке. Поэтому народ нуждается в постоянстве примеров и поучений. Любить ближнего, как себя, весьма разумно: будут любить и тебя. Да погибнет от меча поднявший меч. Война – наихудшее бедствие, пусть уничтожится зачинщик. И пусть для вечных истин находят новые образы: сила слов, повторяемых постоянно, тупеет.

Сосредоточенные молчаливники Индии, стремящиеся к сну страстей, прислушивались к новому учению. Почему же новому? Троица христиан напоминала Тримурти^[13], и не однажды уже праведники закрепляли мученичеством свое откровение. Несомненно, этот бессребреник, ходивший босым по тернистым дорогам удаленного Запада, принадлежал к священному братству посвященных в Тайну. Не

следует препятствовать его последователям.

Константин же восседал на боевом коне, в героическом облачении императоров воинственного Рима. Такого апостола Восток отказался принять. Безобидные проповедники Христа с нищей сумой на кротких осликах обернулись лазутчиками злого дракона. На Востоке хватало собственных боевых коней, мечей, дворцов и беспощадных самодержцев. Поэтому время отняло у императора Второго Рима даже ту землю, какую занимали на форуме ноги его коня.

Итак, этот форум и эта статуя оказались многозначительными символами, воплощенными предсказанием. Но – лишь по примеру речей Кумской Сивиллы или Дельфийской Пифии, то есть понятными после исполнения предсказанного.

Здание префектуры, известное каждому византийцу, находилось на улице Львов, шагах в пятистах от форума Константина. Убедившись в необычности размаха смуты, Евдемоний счел, что его место здесь. Послав легион для охраны Божественного, префект оставил себе одну манипулу первой когорты. По старому обычаю, первые когорты формировались из лучших мечей, легионеры первых когорт еще носили римское звание евокатусов – избранных.

Евдемоний приказал не зажигать огней и снял пост из пяти легионеров, охранявших день и ночь десять ступеней, которые поднимались к дверям здания. На медных полотнищах дверей выделялись выпуклые знаки креста. С ними соседствовали следы заклепок, некогда удерживавших староримскую эмблему правосудия – пучок розг ликтора с топориком, вставленным в сноп прутьев.

Легионеры разостлали плащи и прижались друг к другу потеснее, в зябкой дреме мечтая об угольных жаровнях.

Отраженный низкими облаками, на пол упал отсвет пожара. Неподвижная кучка легионеров будто бы поднялась из темноты, напоминая военное надгробие.

Пылала тюрьма в Октогоне. Светлые пятна на тучах указывали места других пожаров. На плоской крыше трехэтажной префектуры была башенка с хорошим обзором. На нее поднялся Евдемоний с двумя десятками помощников. Воображение хозяев города подсказывало пункты, где происходили бедствия.

– Охлос напал на тюрьмы! – гневно сказал претор дема Петр. – И некому помешать, – это был упрек префекту.

Петра поддержал квестор Стефан:

– Что скажет его Божественность, он будет недоволен.

Отглаженные этикетом, как галька – волнами, языки сановников сами собой отливали круглые фразы: все с точки зрения блага, воли, покоя базилевса, все со ссылками на законы Единственно Мудрого и на его высказывания.

Юстиниан наделил претора неограниченными правами уголовного сыска. Совершенная секретность, сменившая публичность решений былых магистратов, позволяла претору широко пользоваться вещами, отобранными у воров и разбойников. Владельцам возвращалось наименее ценное, а лучшее подносилось казне Палатия с докладом о неразыскании собственников.

Таинственность развязывала и произвол квестора. Он ведал делами о противоестественном развороте, о еретиках, иудеях, тайных язычниках. Искоренение деяний, обычно не имевших вещественных улик и свидетелей, было золотым рудником. Неограниченная пытка создавала свидетелей, а за подозренным оставляла единственное желание – поскорее умереть. Смерть покупалась ценой позорящих

признаний. Наследовали базилевс и квезитор.

Области действий префекта города, претора и квезитора совпадали. Юстиниан, запрошенный ими, разъяснил: «Кто первым сумеет начать дело...»

Префект Евдемоний мог перехватить куски у претора и квезитора, но эти двое не могли полакомиться доходами префекта. Спокойствие, распорядок жизни в городе и, главнейшее – сбор налогов были возложены на префекта. Облагались все покупки и все продажи, инструменты ремесленника, лошади, быки, ослы. Облагались имущество и дарения имущества, наследства, все юридические действия, все поделки от ювелирных до плетеного из соломки сиденья стула. Платили налог с дохода все публичные женщины, и каждую сборщик налога убеждал, что ее добыча ныне увеличилась и доля базилевса – тоже. Империя Юстиниана унаследовала разработанную систему налогообложения. Оставалось ее совершенствовать. Византийцы не платили только за воздух для дыхания.

Суммы взысканных налогов служили меркой преданности префекта базилевсу. Жалобы на обложение не принимались нигде и никем. Невзнос налога являлся по закону государственным преступлением. Недоимщиков преследовали с зверской жестокостью. Пресс византийских налогов мог работать лишь в условиях интенсивного террора. Террор же действен при обязательном условии постоянного применения. Поэтому неплательщика разрывали на части. Налоговая система еще более, чем кровожадность Власти, развивала в византийцах презрение к смерти.

Начиная с префекта, сборщики налогов кормились от налогоплательщиков. Торговцы старались переложить гнет на покупателей и тщательно следили один за другим, дабы никто не сбивал цены. Распространялись подделки. Вино разбавляли водой, хлеб пекли с золой, песком, отрубями, опилками. В мерках утолщали днища. Гири подпиливали, укорачивали медные бруски для измерений.

Стремясь во всем увеличить доходы и кое в чем сократить расходы, что в какой-то мере совпадает, Юстиниан повелел прекратить отпуск масла и нефти, наливаемых в уличные светильники.

– Верноподданным не полагается бродяжничать ночами по городу. Ищущий духовника для умирающего обязан запастись фонарем, и ему нечего делать за пределами своего прихода. Чем меньше соблазна испытают христиане, не покидая свои очаги с наступлением темноты, тем спокойнее будет спать мой город, – объяснил Божественный с обычным красноречием свою заботу о благе подданных.

Не боясь в темноте соглядатаев, подданные вольно кричали:

– Ника! Ника![\[14\]](#)

Это слово как бы само собой сделалось лозунгом мятежа, подготовленного гнетом, выбиванием налогов, обнищанием, наглой роскошью Палатия и сановников, произволом Власти.

Бей зло, бей несчастье, воплощенное в Юстиниане. Для некафоликов – бей также и высокую церковь лживой догмы и дьявольскую по делам ее. «Ника» – подходящий лозунг для мятежа, не подготовленного заговором. Мятеж Ника отрицал, и только.

Над холодной Пропонтидой тучи свешивали гигантские хоботы к белым волнам, хлестали, извивались, впивались. Рождались водяные чудовища. Тучи не кропили море дождем, тучи пили волны, небо сосало воду. Тяжелое превращалось в легкое, море поднималось к небу.

Этой ночью на Византию снизошла сила, подобная буре. Она выхватывала людей из постелей, отрывала от семей, превращала слабых в сильных, смиренных – в яростных. Подданный, увязнувший в заботе о насущном хлебе, униженный и согласившийся на унижение, замкнутый в себе, как устрица в раковине, вся сила которой в сжатии створок, вышел на улицу. Подобрал дубину, топор, вертел, покрепче обвязав камень веревкой, подданный кричал: «Побеждай!» – и становился в ряд с людьми, которых никогда до сих

пор не видел.

Успех в расправе с тюрьмами, судьями, сборщиками налогов и служащими префектуры дал решимость.

Подточив зубы на тюремных воротах, мятеж создавал передовые отряды. Завязывалась дружба, назывались имена или случайные клички.

– Пойдем за Красильщиком, за Гололобым!

Человек с руками, окрашенными пурпуром, теперь вел людей к форуму Константина. Рядом с ним шел раб с полуобритой головой.

Площадь встретила мятежников подавляющим воображение простором темноты. Сверху базилевско-колосс угрожал тяжелой медью, внизу войска живого базилевса готовились замкнуть западню. Трусливые, смущая мужественных, попятнулись перед призрачной стеной невидимого легиона. И кто-то, пав духом, уже счел себя падалью, пригодной для палача. Толпа остановилась.

Пока за случайными жожаками еще не признали права приказывать, они должны рисковать сами. Красильщик и Гололобый ушли на разведку и вернулись с радостной вестью. Это свои, братья с других улиц, вступали на форум Константина. Грозный император превратился в кучу бездушного металла. Одиночество каждого растаяло. Смелые высекали огонь, слабые стали сильными.

Дымные факелы осветили знакомые лица.

– Побеждай, побеждай, побеждай!

Лозунг мятежа повторяли трижды, как аллилуйю.

С крыши префектуры мнилось, что монумент Константина Великого, Святого и Равноапостольного подвергся нападению. Потом движение огней напомнило крестный ход пасхальной ночью.

Пятна пожаров росли, растекались. Евдемоний поежился, как от холода. Охлос наступал на префектуру.

Буйство или заговор? Бесчинный мятеж или восстание?

Подполье шпионства начиналось в закопченных тавернах и среди уличных женщин, а кончалось на пороге Священной Опочивальни. Префект города, префект Палатия, квестор, комес спафариев Коллоподий, претор, квезитор – все содержали ищеек. Даже палатийские евнухи, злобные полулюди, опасные, как старые бабы, которым из всех наслаждений остались только сплетня и интрига, хотели все знать. Проверка, перепроверка – и агент, уличенный в желании скрыть, исказить, смягчить, погибал, оставив, как клоп, красное пятнышко в регистре шпионов.

Заговор? Евдемоний воздерживался от такого определения. Еще никто не добрался до настоящих заговорщиков.

Один из логофетов, ведавших налогами, прикоснулся к руке префекта:

– Светлейший, охлос осмеливается...

Глупец, разве Евдемоний сам не видит!.. Молодой логофет Агний, родственник префекта, продолжал:

– И квезитор достопочтеннейший Стефан и претор достопочтеннейший Петр... – Агний не забывал обязательное титулование, но запнулся, подыскивая слова, – покинули тебя!

«Трусы, трусы, поднявшиеся к власти в плесени канцелярий, – злобно думал Евдемоний. – И все же

пора отступить».

Внизу легат спросил:

– Каковы приказы, светлейший?

– Не пускать охлос в здание.

Уходя, Евдемоний услышал четкий выкрик легата:

– К мечу!

Потом топот, звяканье, тупой стук щита, упавшего на пол: заспавшийся легионер сунул руки мимо поручней.

Гулкими переходами, пустыми комнатами, где душно пахло сырым папирусом, префект со своими провожатыми вышел на задний двор. Три высокие стены делали его похожим на цистерну для воды. К одной из стен прислонилось низкое здание, похожее на конюшню. Оно служило для допросов, для казней. Префект, квестор и претор дема владели застенками сообща. Тела казненных и замученных вывозились на Монетную улицу, куда выходил задний двор, и по ночам топились в Проливе. Под наружным течением, которое шло из Евксинского Понта в Пропонтиду, существовало второе, обратное. Трупы уносились в неизмеримую бездну Понта.

По привычке не замечая дурного, как на бойне, запаха, Евдемоний остановился во дворе. Конечно, заговорщики догадаются устроить засаду на Монетной улице. Претор и квестор бежали этим проходом. Но их могли ведь схватить неожиданно. Евдемоний послал на разведку Агния, и молодой логофет вернулся с добрым известием: Монетная улица свободна. Евдемоний подумал: «Что ж, если это заговор, то плохой...» Префект вспомнил о легионерах. Не вывести ли их с собой? Ба! Чтобы потащить охлос по пятам? Мечи нанимают, чтобы они ложились под мечами, но не умирали в постели от старости.

Прежде чем Анфимий заслужил значок центуриона, чешуя каски успела натереть мозоли на его нижней челюсти. Прозвище Зайца Анфимий получил за губу, смешно раздвоенную кончиком персидского акинака. Звание же легата досталось Анфимию еще при Анастасии, когда ходили усмирять исавров. В том походе и случилась ссора между главнокомандующим Иоанном Киртом-Горбачом и Юстином. Анфимий тогда служил в девятом легионе, которым командовал Юстин.

Потом, когда старый Юстин схватил диадему, а распоряжаться начал Юстиниан, поползли слухи о снах Кирта, о призраках, о пророчествах. Старый солдат не верит бредням, он повидал мир. Кирту-Горбачу и в голову прийти не могло, что его ссора с Юстином превратится в легенду. Да еще в какую! По правде сказать, нынешний базилевс – племянничек старика – лучшего и не заслуживает.

Легат прохаживался в темноте сзади строя. Первая центурия должна быть покороче второй, в ней не хватало одиннадцати мечей. Хитрецы, они расставились пореже. Маленькие хитрости стали привычкой, устраивались во время подсчета казначеями числа легионеров. В легионах умели получать жалованье на мертвецов.

Итак, сиятельнейший уполз... Анфимий Заяц помнил Евдемония стройным красавцем легатом: патрикии поднимаются быстро. С возрастом к ним приходят почести, жир и осторожность. Э, что говорить, на месте Евдемония Анфимий тоже удрал бы отсюда.

Дверь ухнула от удара. Началось. В такое время следует понять, за кем сила, и – сберечь свою шерстку. Легат ощутил кожаный пояс-копилку, который носит каждый легионер под одеждой на голом теле. Вся манипула, он знал, тоже захватила свое, когда заволновался демос. Сегодня, если станет жарко,

легионеры не бросят ни одного тела, унесут своих хоть в зубах.

В дверь ударили вторично. Анфимий ухмыльнулся. На ступеньках особенно не развернешься, можно бить только сбоку или снизу, удар скользит, дверь крепка. Ослам придется долго возиться.

Легат издал подобие мышиного писка – заячья губа мешала ему свистеть по-настоящему. Ему ответил многоголосый писк, кто-то заскреб ногтями по щиту, кто-то хрюкнул от удовольствия. Манипула забавлялась, и легат не обижался. Свои, семья... Да, семья, и нечего гибнуть за списки налогов и прочую грязь, которую писцы разводят в префектуре.

Легат ударил рукояткой меча по гулкой двери:

– О-гей!

– Отпирай, – ответили снаружи.

– Кому?

Ответа не было. Хрустело дерево, натужно дышали люди. В окна струился красноватый свет, пахло горячей смолой факелов.

Почувствовав опасность, легат отскочил за стену. Сейчас же правая половина двери обрушилась внутрь. Мятажники устроили на ступенях помост для тарана. «Сейчас они ворвутся», – соображал легат. Нет, выжидают, не лезут вслепую. Прикрываясь щитом, он прыгнул на поваленную дверь:

– Стой! Поговорим!

Легат увидел двоих, одного с мечом, другого с топором: силуэты, освещенные сзади.

– Договоримся, – предложил Анфимий, – мы уйдем сами. Или хотите драки?

– Идите, – не задумываясь, ответил человек с мечом. – Нам нечего делить с легионом.

– Свободный выход только легионерам, – предупредил человек с топором.

– Других здесь нет, все уже удрали, – заверил легат. – Здесь пусто!

Не теряя ни секунды, – толпу нельзя заставлять ждать, – Анфимий вывел манипулу. Двухсотная щитоносная ящерица, быстро соскользнув по ступеням, повернула к форуму Константина. У византийцев не было счетов с одиннадцатым легионом. Манипулу пропустили. Легионерам предлагали – кричите: «Побеждай!» Легионеры кричали. На улице Месы, около площади Августы, было почти безлюдно. Привязавшиеся было к манипуле сотни две или три горожан сочли разумным отстать. Легионеры благодарили Анфимия, скандируя:

– Нашему отцу – слава, слава!

Молчание и пустота префектуры расхолаживали оставшуюся около нее толпу. Не было сопротивления – не стало и ярости. Новую вспышку раздражения вызвали запертые двери внутренних помещений. Чье-то внимание привлекла статуя базилевса в строгих складках мраморной тоги. Белую голову в лавровом венке опалили факелом. Почерневшие щеки вызвали злобный смех, и ломы расправились с изображением Владыки империи. вспомнили о налогах. Те, кто искал крови живого врага, уходили. Другие захотели добраться до пергаментов и папирусов, откуда все зло. Шпионы, боясь списков, где были их имена, первыми разложили костер.

После полуночи крыша префектуры провалилась, и пожар перебросился на соседний дворец.

Префект Евдеманий перед рассветом обошел место расположения одиннадцатого легиона, стоявшего в саду Палатия за воротами, которые были прозваны Медными. Префект терзался сомнениями. Божественный не звал его, не передавал распоряжений. Обожаемый гневается? Занятый собой,

рассеянный, Евдемоний нашел первую когорту в полном составе трех манипул, но не задал Анфимию ни одного вопроса. «Плохи дела Палатия», – решил легат. Такое же мнение составили себе и другие легионеры.

2

Одновременность действий, единодушные восставших было результатом общего недовольства Властью. Для торговли начало Юстинианова правления было золотым веком. Купцы богатели на торговле с Востоком. Из Персии шли драгоценные камни, благовония, острые и сладкие пряности. Из Индии и страны Синов – медь, клинки отличного железа и само железо. Так же олово, необходимое для выплавки бронзы, слоновые клыки, мягкий камень зеленых, розовых, синих оттенков, нефрит, агат, жемчуг и створки раковин-жемчужниц, многоцветные камни для мозаик, белые камни алмазы, не слишком красивые, но совершенно необходимые для гранения цветных. Эти дела всегда были выгодны.

К венецам причисляли себя и торговцы, богатевшие в путешествиях на нильские катаракты. Оттуда привозили золотой песок, шкуры крупных хищников, слоновые клыки большего размера и лучшего качества, чем индийские, великолепных чернокожих рабов высокой ценности. Когда была потребность для ипподрома, привозили и львов, леопардов, пантер. Многие венецы наживались на торговле с Лазикой, с побережьем Евксинского Понта к северу и западу от реки Фазиса. Абсаги, алланы, лазы, иверы были небогаты металлами, золотое руно давно поредело, зато в изобилии и дешево купцам доставались мужественные рабы и белокожие рабыни, ценимые за красоту лица и нежность тела. Племена лесистого Кавказа по воинственности характера предпочитали оружие любому товару. Нарушая законы империи, воспрещавшие такую торговлю, купцы меняли кинжалы, мечи, латы, стрелы, луки, шлемы на живой товар. При удаче капитал удваивался за одно лето.

Венет Ейриний владел только в Византии семьюдесятью двумя публичными домами. К нему тяготели все работоторговцы. Зенобиос, крупный кораблевладелец, являлся своеобразным старшиной корабельщиков. Вассос держал в руках торговлю скотом, то есть мясом.

Юстиниан щедро сыпал накопленное Анастасием золото, он опрокинул на Византию рог изобилия. Для ипподрома завозились лучшие лошади не только из Персии, Аравии, Африки, Испании, но добывались истинные жемчужины из табунов закавказских алланов. Базилевс платил за каждое зерно ячменя, за каждую крупинку позолоты на копытах коней и колесах квадриг, за каждую ленточку, вплетенную в хвост.

Трибуны заваливались цветами, базилевс платил за каждый цветок. Зрителей обносили вином, хлебом, фруктами.

Из Африки доставили слонов с ушами, как плащи, и двух чудовищ-носорогов. Львов, тигров, леопардов считали сотнями. Византия увидела небывалое – схватку пятисот волков с пятьюдесятью медведями, и воистину десять против одного было правильным соотношением сил.

Раздачи хлеба охватили половину жителей Второго Рима. На арене ипподрома в перерывах между зрелищами насыпали горки серебряных миллиарезиев.

Продавалось и покупалось все, что успевали доставлять караваны и корабли. Все точно разбогатели, рабов расхватывали в портах, публичные дома не знали отбоя от посетителей, а истощенные любовью рабыни сразу находили покупателей из малоимущих, которые сегодня считали возможным прокормить еще один рот, кроме своего собственного.

Статеры носились стайками золотых рыбок. Над ипподромом взлетали позолоченные голуби.

Потом Юстиниан нарушил мир с персами. После неудачной, в сущности, войны пришлось платить дань, замаскированную возмещением расходов персов на содержание Железных Ворот у Каспийского моря. Юстиниан начал строить крепости во многих местах, где не было достаточно жителей, дабы сделать торговлю прибыльной. Юстиниан подкупал сопредельных варваров, его послы сыпали золото, и статеры

уплывали из империи. На ипподроме травили дряхлых львов и престарелых медведей, с колесниц осыпалась позолота, и воскрес забытый было налог – обол на зрелища, как его называли.

Списки получающих хлеб обрезали каждый месяц, пока не зарезали совсем. Для купцов это было разорительно, ибо тот, кто прежде мог что-то купить или развлечься, теперь тратился на хлеб. Вслед за хлебными списками Юстиниан обрезал статер. Теперь за золотую монету платили не двести десять обол, как при Анастасии, а только сто восемьдесят. Палатий выигрывал, купцы теряли, а покупателей делалось все меньше и меньше.

Разбросав золото, унаследованное от Анастасия, Юстиниан принялся затягивать петлю налогов. Ранее в Абидосе, в проливе Гелеспонт, досматривали корабли, с тем чтобы в столицу не ввозили оружие и не въезжали нежелательные люди, в Босфоре – чтобы на кораблях не укрывались беглецы и для варваров не везли шелк и оружие. В обе таможни Юстиниан послал новых начальников с приказом взимать пошлину в размере половины стоимости всех товаров.

Над византийскими портами Юстиниан назначил начальником сирийца Аддея, который взыскивал пошлину в размере стоимости всего привезенного. В первые дни несколько разъяренных купцов отвели свои корабли в море и публично сожгли. Базилевс не повел и глазом.

Купцы постарались переложить пошлины на оптовых покупателей, те – на мелких торговцев. Цены на все подскочили в два и три раза. Покупки сокращались, горожане беднели. Сразу появилось большое количество хозяев, желающих продать рабов, которых нечем стало кормить. Грозный, понятный каждому признак!

У Ейриния и других содержателей публичных домов появились опасные соперники. Свободные женщины торговали собой на улицах и в любой конуре, чтоб не умереть с голоду.

Византия стала есть мало мяса. Крупнейший торговец мясом Вассос был наследственным старшиной солеторговцев: он наблюдал, чтобы соли не ввозили слишком много, дабы не сбить цены. Юстиниан приказал, чтобы вся ввозимая соль сдавалась в портах агентам Аддея по цене меньшей, чем было. А всем покупателям – и крупным и мелким торговцам – Аддей предложил соль по цене, повышенной в два с половиной раза. Прежде Вассос засаливал мясо собственной дешевой солью, ныне за свою же соль он будет платить как все!

Мясоторговцы и солевщики метнулись в Палатий. Всесильный Иоанн Каппадокиец выгнал их с побоями. Солевщики пригрозили, что бросят промысел. Их предупредили, что обязанность подданных – умножать доходы империи, не оскорбляя Божественного рассуждениями. Тут же префект города Евдемоний взял под стражу солевщиков Агапия и Семиона, и они признались в изречении хулы на базилевса. Преступников сожгли в медном Быке на потеху охлоса, который не любит богатых. Вскоре тем же способом были лишены жизни еще несколько купцов. Базилевс наследовал им, глашатаи обвинили казненных в повышении цен, медный Бык насытился, но соль не подешевела.

Анастасий приучил подданных к некоему ощущению, которое можно назвать отсутствием страха перед Властью у невинных. Юстиниан повел борьбу с таким вредным для империи предрассудком.

Был введен закон под названием диаграфе – на владельцев домов. Владельцы доходных домов переложили диаграфе на жильцов, возникли волнения, несколько владельцев были убиты.

События следовали одно за другим, без перерыва, базилевс старался не пополнить казну, но распространить свою власть над вселенной. Деньги изыскивались любым способом. Один из богатейших людей Византии Зенон, внук базилевса Анфимия, был назначен базилиссой Феодорой на должность префекта Египта. Зенон погрузил на трирему все свое достояние. Ночью корабль разгрузили и сожгли, а Зенону объявили, что имущество его погибло. Вскоре Зенон умер, не справившись с горем. Квестор

Трибониан предъявил завещание, в котором внук бывшего базилевса, исполняя долг верноподданного, подносил все свое состояние Юстиниану. По причине величественных и сердечных излияний глашатаи читали это завещание на всех площадях Византии. Тут же почти, не прошло и недели, как скончались патрикии и сенаторы Татиан, Демосфен и Гиларий, оставив столь же патриотические завещания.

Следовало смириться, молчать. По-прежнему Юстиниан на ипподроме благословлял первыми венетов. По-прежнему суды оказывали благоволение голубому цвету в ущерб справедливости. Но горячие восторги зрителей, занимавших трибуны направо от кафизмы, сильно остыли. Что касается редкостно-необычайного содружества венетов и прасинов, – история сохранила описание некоторых событий, подстегнувших злобу многих венетов против Палатия.

Как-то один из референдариев Палатия, сенатор Лев, имел несчастье потерять жену. Не собираясь длить жизнь вдовца более указанного канонами церкви срока, Лев собрался жениться за несколько месяцев до январского мятежа. Состоялось обручение с девицей патрикианского рода, все было подготовлено к свадьбе. В последний день вмешалась базилисса Феодора. Ее наперсница, бывшая актриса и гетера Индаро, хотела пристроить свою дочь, а сенатор был завидно богат и не молод – двойное преимущество. В день, назначенный для брака, почтенный сенатор был схвачен телохранителями базилиссы и обвенчан с дочерью Индаро. Через несколько дней сенатор, попытавшийся примириться с положением хоть поневоле, но все же мужа, принялся громко жаловаться, что молодая жена даже девической скромности не принесла в приданое. Индаро, вступившись за дочь, плакалась базилиссе. Феодора вызвала сенатора. В ее приемной, на глазах десятков сановников, евнухи заголили болтуна и, подняв «на воздуси», высекли сорокапятiletнего сенатора, как блудливого школьника.

После бури блеснуло солнце... Муж дочери Льва от первого брака Малфан жаловался на недостаточность своего состояния. По просьбе Феодоры Юстиниан послал Малфана с широчайшими полномочиями в Киликию, откуда плохо поступали налоги; кроме того, в столице этой провинции, в Селевкии, по доносам шпионов, некоторые позволяли себе дурно высказываться о Священной Особе базилевса. Девятый легион, расквартированный в Киликии, был на время подчинен Малфану. Решив воспользоваться обстоятельствами, Малфан обирал и казнил подданных, на которых указывали ищейки.

Провинциальные прасины молчали. Венеты города Тарса, уверенные в расположении к себе базилевса, узнав о расправах с селевкийскими венетами, предали Малфана анафеме. Шпионы не замедлили осведомить полномочного представителя базилевса. Ночью Малфан с двумя когортами вошел в Тарс. Легионеры принялись громить дома и убивать людей по списку, данному шпионами. Жители, вообразив, что в город вторглись иноземцы, оказали сопротивление, чем еще больше увеличили гнев Малфана. Сенатор Дамиан, глава тарсийских венетов, был убит на пороге собственного дома.

Византийские венеты взволновались. В угоду им Юстиниан издал эдикт о расследовании дела и о наказании Малфана. Льву пришлось спасать зятя, и сенатор поднес базилевсу донативум – дар золотом и драгоценностями. Донативумы широко применялись и поощрялись в правление Юстиниана. Каждый, желавший получить выгодную должность или хлопочущий о каком-либо деле, вносил базилевсу донативум. Уже современные Юстиниану историки осмеливались обвинять базилевса в торговле должностями и правосудием. Под влиянием кодекса законов Юстиниана взятка короне дожила до середины XIX века в виде продажи государственных должностей в Западной Европе. Молодая жена Льва, утверждая свое положение в семье, ходатайствовала через свою мать Индаро перед Феодорой. Эдикт о расследовании деяний Малфана остался в канцелярии Палатия.

По возвращении Малфана из Киликии палач Селевкии и Тарса, как его называли венеты, был милостивейше принят Юстинианом. Несколько разъяренных венетов напали на Малфана в садах Палатия, жестоко изранили его, но не успели убить – им помешала стража. Был нарушен мир Палатия, подданные

осмелились явиться туда с оружием, но Юстиниан не приказал разыскивать преступников. Базилевс как бы бросил в подачку венетам кровь Малфана.

В то же время, не выходя за пределы Палатия, исчез Никодем, сын убитого в Тарсе сенатора Дамиана. Никодем тщетно просил у Юстиниана правосудия. Был ли сын Дамиана заточен в номерах под дворцом Буколеон, или под дворцом Феодоры, или утоплен в проливе, как многие до него, никто не знал.

Византийские венеты, торжествовавшие в начале правления Юстина и Юстиниана, почувствовали, как при землетрясении, непрочность, зыбкость городских мостовых. Небо стало грозным. К дням стихийно возникшего Ника венеты пресытились обманом. Не так давно прасины, сверх всяких заслуг превознося базилевса Анастасия, делали из него монофизита. Теперь иные венеты были способны отказаться от кафоличества из ненависти к Юстиниану.

Юстиниан последовательно служил идее: империя есть бессмертное существо – царство божие на земле, подданный же – преходящая случайность. Подданный не имеет воли и иного назначения, кроме содействия империи. Так называемые жертвы подданного на самом деле суть единственное его назначение, и лишь они определяют его право на земное существование. Отказывающийся выполнять обязанности по отношению к империи тем самым ставит себя вне права на жизнь, так как общее благо воплощено в благе империи. Базилевс есть божественное воплощение империи, поэтому он непогрешим, единовластен, ни перед кем не несет ответственности за свои действия.

Все последующие самодержцы, каждый по-своему, каждый в меру своих возможностей, стремились выполнить идеалы Юстиниана.

После разгрома городских тюрем даже людям осторожным, с холодной кровью и трезвым умом, начало казаться, что Юстиниан близится к концу, испытанному многими его предшественниками. Бездействие Палатия подтверждало слухи о слабости войска.

Собрание видных людей происходило в церкви святой Анны, во Влахернах – дальнем северо-западном деме города.

– Ранее подданные приветствовали императора, преклоняя одно колено. Принимая поцелуй патрикия в правое плечо, императоры отвечали поцелуем в голову. Жену императора приветствовали, как приличествует женщине благородного происхождения. Теперь все должны растягиваться перед базилевсом и базилиссой, как виноватый пес перед хозяином, и целовать обе ноги. Такого мы не требуем и от купленных рабов...

Так говорил патрикий Тацит. Он продолжал:

– Требуется называть базилевса Божественным, Богоподобным, что кощунственно перед Христом, и выдумывать ему новые и новые возвеличивающие клички. Называя при нем других, следует к их именам добавлять: «твой раб». Кто откажется от позорного обычая, того обвиняют в грубости, дерзости, на такого смотрят как на отцеубийцу. В унижении человеческого достоинства я вижу причину бедствий отечества.

Несколько вежливых хлопков доказали, что присутствовавшие не поняли связи между стремлением Юстиниана утвердить автократию и унижительными формами палатийского этикета. Сам Тацит не слишком ясно видел эту связь. Невольно обольщаясь образами прошлого, к тому же очищенными воображением, потомок знаменитого историка не улавливал новое в действиях базилевса. Брезгливость туманила остроту взгляда.

Тацита сменил сенатор Ориген.

– Сограждане, римляне, – говорил Ориген, – город подвергся бедствиям. Известно, что неуступчивость и слепое упорство не приводят к доброму, но и злоумышление против базилевса есть дело богопротивное и наказуемое по закону, всеми признаваемому.

Ориген был худ и остронос. Лицо его хранило особую белизну, как у людей, редко видящих солнце. Сделав паузу, сенатор посмотрел вверх. Под куполом вряд ли что можно было увидеть. Десяток поликандил из кипарисового дерева, собранных в полукруг перед амвоном, давал слабый свет. В каждом горела только одна свеча. Около тридцати человек – старшин демов обоих цветов и сенаторы – чувствовали себя неуютно в плохо освещенной, мрачной церкви. Многие из приглашенных не сочли нужным прийти. Быть может, иной из присутствовавших тоже сожалел, что не избрал благую честь: воздержаться, выждать, пока не определится, за кем сила. От Оригена ждали призыва, проклятий, мстительных планов. Он же начал как верноподданный. Собравшиеся ждали, что еще скажет поруганный Феодорой сенатор.

– Не правда ли, любезный Руфин? – прервал молчание Ориген. – Не так ли, любезнейший Аримат?

Здесь все умели владеть собой, все умели глядеть пристально, внимательно – и безразлично. Руфин, один из старшин прасинов, ограничился игрой густых бровей. Он не понимал вопроса. Сенатор Аримат, ревностный венец, человек лет около пятидесяти, с профилем породистого римлянина, звучно возразил:

– Робость моего друга Оригена не найдет во мне поддержки. Не знаю, как Руфин, я же считаю себя обязанным совещаться не о законности или незаконности народных восстаний, но об опасности для отечества Юстинианова правления.

– Пусть будет так, – согласился Ориген. Он ударил себя в грудь. – Я следил за Руфином и Ариматом. И вот добыча! – Ориген показал пергамент, свернутый в трубку. Тонкая кожа, не приняв еще форму свитка, послушно развернулась.

– И бедствие, и злоумышление, и богопротивность – все заимствовано мной из этого письма. Сегодня вблизи Палатия моими людьми был схвачен домоправитель Аримата. Аримат и Руфин доносят на нас базилевсу. На нас, которые еще ничего не решили и ничем еще не провинились, и на многих, кого здесь, к сожалению, нет. Вы спросите, почему же Аримат и Руфин пришли? Почему они не припали к ногам базилевса? Увы, ничего не зная, ничего не подозревая, патрикий Тацит ответил вам. Презренное рабство растлевает душу. Взгляните на этих двух. Игроки без проигрыша, они ставят на двух возничих сразу.

Руфин быстро поднялся на амвон.

– Сограждане и патрикии! – с силой выкрикнул Руфин. – Вы знаете, я не сторонник необдуманного. Тому свидетельство – мои торговые книги. В труднейший год я не оставался без прибыли. Именно поэтому состоятельные люди моего дема почтили меня избранием. Недаром и я и Аримат здесь. Базилевс победит охлос, нам не следует помогать мятежу. Не так ли, Аримат?

Сенатор Аримат одобрительно хлопнул в ладони. Руфин правильно ставил, как игрок, на квит или на двойной проигрыш, ничего другого не оставалось. Глупо отрицать донос базилевсу.

– Да, сограждане, – заговорил Аримат, – смущенные действиями базилевса в провинциях и здесь, мы, венецы, и вы, прасины, согласились действовать вместе. Вместе хотели мы смягчить базилевса. Но, подобно Капанею и Амфиараю^[15], вызвали молнию, нас убивающую, ударили землю, готовую нас поглотить. Взгляните! Охлос разбивает тюрьмы и жжет город. Наши рабы и клиенты покидают нас. Ожили схизматики. Я слышу голоса донатистов.^[16] Не хотите же вы раздела земель и имущества, как делали в Африке эти безумцы? Призываю вас именем Христа всемогущего, спасите себя и имущество, не идите на гибель! Уничтожим этот пергамент, который не понят любезнейшим Оригеном, напишем новый, и пусть все выразят преданность базилевсу, помазанному на престол священным маслом от гвоздей Иисуса

Христа!

Нагнувшись с амвона, Ориген чего-то ждал. С острия поликандила соскользнула свеча и мягко упала на каменный пол; затрещал натертый селитрой фитиль. Похороненные под храмом праведники спали вечным сном. Чей-то голос вступил в борьбу с одиночеством и обреченностью.

– Христос бог наш, – молился старшина прасинов Манассиос, – благодарю тебя, ты открыл нам тайну души Иуды, Не был ли он предназначен нести твое слово? – И предал. Но он ушел молча. Эти гордятся, хвалятся своим умом, звенят тридцатью сребренниками...

Аримат выбежал на амвон; вместе с Руфином он ухватился за ризу иконы Христа, вместе оба закричали:

– Убежище, убежище!

Но кто-то уже размахнулся поликандилом, как дубиной.

Северо-восточный ветер раздувал очаги пожаров. В некоторых местах жителям удавалось отстоять свои жилища, но большие дома рушились, и город затягивало дымом.

Передавали противоречивые слухи: в город через Золотые Ворота вошли десять тысяч наемных варваров, которых базилевс вызвал для усмирения мятежа; базилевс ночью бежал, и мятежники захватили Палатий.

На берегу Золотого Рога и Пропонтиды, в портах Юлиана, Контоскалий и Елевферия толпились перепуганные жители. На рассвете лодочки еще удовлетворялись пятью оболами с человека за переправу на азиатский берег. После восхода солнца стали запрашивать по серебряному миллиарезию. Лодок не хватало. Невзирая на ледяную воду, люди бросались с берега, чтобы перехватить возвращающийся пустым челнок перевозчика.

Голосили женщины, плакали дети.

Некоторые обвязали лица тряпками, жалуясь на ожоги и ушибы. Вооруженные чем попало группы по пять, по десять человек кого-то искали. Говорили, что префект Евдемоний и квезитор Стефан прячутся в городе, что их видели на берегу.

Люди, потерявшие в огне все достояние, чего-то ждали, лишившись способности двигаться.

Сегодня не было обычных постов из легионеров. Сторожа, вооруженные палками, оказались бессильными. Ворота складов были разбиты, двери выломаны. Толпы растаскивали соль, зерно, сушеные фрукты, муку, амфоры с маслом, вино. Вино пили тут же, заедая сухими абрикосами и пшеницей из горсти.

Двое, седобородый и молодой, стоя на коленях, выбирали зерно из щелей по застарелой привычке бедности, хотя рядом стоял набитый куль.

Кто-то кричал под ножом, кого-то тащили на мыс каменного мола, бросали в воду, и мстители хищно нагибались, следя, не отвязался ли камень, не всплывет ли судья, сборщик налогов, ростовщик или какой-нибудь служитель Палатия.

– Конец мира пришел, воистину конец! Боже, воззри на грехи наши, наведи кару на безбожного! – вслух молился священник в изорванной рясе, и нельзя было понять, на чью голову призывает он грозную длань божества.

Вместе с пеплом и копотью ветер разносил набат. Бронзовые доски звонили поспешно, нестройно, тревожно. Только София Премудрость, твердая крепость кафолической догмы, притворялась, что ничего-то

не видит, не знает. Ее била высотой в пять локтей, изогнутые в виде римского щита, вздрагивая на крепких цепях, утверждали, как обычно:

Мы
– здесь!
Мы
– ждем!
Мы
– бьем!

А меньшие подголоски льстили:

Ты все, ты все,
ты власть, ты власть,
ты есть, ты есть.

Тюрьмы сгорели, префектура тоже. Легион ушел, город принадлежал мятежникам. Что же делать дальше? Никто не знал.

Красильщик и Гололобый не разлучались, за ними после разгрома префектуры следовало сотни две решительных людей. Красильщик добыл себе щит и каску. Гололобый успел обрить голову.

Окруженные своими, они совещались отрывисто, решительно. Будь что будет, но следует напасть на Палатий. Больше чем кто-либо, Красильщик понимал трудность затеи. Плебеи с ножами и самодельными копьями становились в воинственные позы бывалых солдат. Несомненно, в толпах нашлись бы легионеры, несправедливо, как Красильщик, выгнанные из войска. Нет времени поднять вербовочный знак. Нет оружия. Остается гнев.

– Друзья, братья! Не медлите, не дайте тирану оправиться от страха! На Палатий! – крикнул Красильщик.

Из толпы выделился худой, бледный человек.

– Сограждане, свободные люди, тиран дрожит! Сила с вами. Так хочет бог. Старшины всех демонов с вами. Будут снижены цены на хлеб, на мясо, на рыбу. Возобновится даровая раздача нуждающимся. Не будет грабительской монополии на соль. Каждый будет покупать соль без понуждения и по цене, которую захочет заплатить! У вас будет справедливый суд в демах, по старому обычаю. Без разрешения демонов никто не будет осужден и наказан. На тирана! Побеждай!

В толпе переговаривались:

– Это Ориген, сенатор. Его оскорбила базилисса, ему можно верить.

И снова толпа двинулась к площади Константина, а там недалек и Палатий. Улица, которая вела к Медным Воротам, была преграждена одиннадцатым легионом.

Первая когорта, образовав четыре тесных ряда, правым боком упиралась в стену. Третья когорта стояла таким же строем на левой стороне улицы. Вторая когорта ждала посередине, немного отступив в глубину.

Вдали, шагах в четырехстах, блестели Медные Ворота, украшенные рельефными венками и гирляндами со стилизованными черепами быков, в пустые глазницы которых были вставлены черные агаты. Медные Ворота принадлежали к числу чудес Византии, уже издали глаз ощущал невыразимую тяжесть створок.

Когорты тоже казались нечеловечески тяжелыми в каменной неподвижности рядов, одинаковых

щитов, одинаковых касок.

Мятежники вздрогнули и умолкли. Первые ряды остановились в двухстах шагах от легионеров.

Красильщик осмотрелся, посоветовался с Гололобым, и тот, взяв с собой несколько десятков людей, куда-то исчез.

Впереди строя когорт стоял легат, отличавшийся от рядовых легионеров поясом особенной формы и отсутствием дротиков. Красильщик подошел к легату и приветствовал его взмахом меча. Внимание толпы сосредоточилось на встрече этих двух людей.

– Старый Заяц, Анфимий, ты не узнаешь меня? – спросил Красильщик. – Меня, Георгия из второй когорты седьмого легиона?

– Ты!!!

– Узнал? А я сразу тебя узнал в префектуре. Может быть, ты и теперь предпочтешь тот же маневр, только наоборот? – Красильщик говорил громко, чтобы все слышали. – Идем в город. Там хватит густого вина, мяса и женщин. Что тебе в жадном скряге!

Красильщик видел, как увеличились щели между щитами и касками легионеров. Его слушали.

– Дни этого базилевса-кровососа уходят, как ночной иней. Старому воину стыдно погибать за того, чья судьба совершилась. Да и вы чего ждете, легионеры? Как меня, вас лишат пояса. Вы будете прозябать, показывая старые рубцы. Или, как я, найдите сухую корку на дне чана с краской. Где ваши пять солидов, что вы прежде сверх жалованья получали за примерную службу? Идите к нам. Сразу по десять желтых монет каждому и до конца дней двойное жалованье.

Георгий Красильщик обещал первое, что приходило ему в голову. Легат Анфимий возразил:

– Покажи сначала деньги и людей, которые их дадут. Эти, что ли, несут кентинарии в своих дырявых штанах? – легат указал на толпу. И тихо, для одного Красильщика, добавил: – Солнце близится к закату? А если нет? Я не хочу умирать даже за себя самого. Пойдем за тем, кто одолеет. Докажи сначала силу. Сейчас – без драки не обойдется.

Попятившись, легат, вскинув правую руку, крикнул:

– Труба!

Раздался гнусливый вопль буксина – кривой трубы, похожей на козлиный рог.

Легат отступил за строй первой когорты. Вторая когорта медленно катилась из глубины, прошла между первой и третьей, остановилась, образуя выступ. Красильщик знал: сейчас продвинутся первая и третья когорты. Обычный прием... Не спеша, чтобы не слишком раздражать, легион будет давить и давить, тесня толпу, как поршень насоса – воду.

3

На стене сиял золотой диск, называемый в иконописи нимбом-облаком. По обычаю христианской церкви, нимб как символ святости назначался для изображения святой троицы, апостолов и всех прочих, причисленных к лику святых постановлениями вселенских соборов.

Этот нимб, будто сотканный из тысячи лучей, казался воздушно-легким, вызывая ощущение мягкости, облачности – такой нежной, что прикоснувшаяся рука должна была почувствовать ласку пушинок страусового пера. Нимб струился, колебался, как бы отделяясь от стены.

На нимбе лежала императорская диадема, удерживая на месте сияние, которое иначе могло бы подняться к небу. Она была тяжелая, яркая, словно желток яйца, как бы согретая из глубины живой кровью.

Тяжелая и прочная диадема легко висела над гладким и спокойным лицом женщины. Где бы ни находился человек в этом зале, глаза Феодоры чудом искусства художников следовали за ним. Говорили даже, что портрет изменяет милостивое выражение на строгое, но еще никто не признался в том, что вызвал неодобрение чудесного изображения-иконы. На нитях жемчуга и драгоценных камней лежала иконка Девы Марии с младенцем. Лицо божьей матери было опять лицом Феодоры, в чертах младенца Иисуса находили сходство с Юстинианом: по правилам иконописи Христа-младенца изображали старообразным.

Белая одежда с широкой рострой скрывала тело Феодоры, но внизу высывались кончики пальцев в ремнях сандалий, и только они осторожно, целомудренно намекали на таинственный цветок женственности. По левую руку базилиссы художники изобразили семь женщин в одеждах, пестрых от символических вышивок: лилии в знак чистоты, колосья пшеницы – плодородия, пчелы – трудолюбия, шипы – терпения, крестики – воскресения в вечности, рыбы – веры, глаза – ясновидения. Направо от базилиссы женщина держала Чашу-Грааль, полную рубиновой крови Христа, а еще правее мужская фигура в золотых ризах и с ключами у пояса приоткрывала полог над дверью, предлагая войти в сад с пальмами и ангелами, – в рай.

На картине-иконе легко узнавались многие лица. Грааль был доверен Хриссомалло, первой налево от базилиссы стояла Индаро, в семейные дела которой так благожелательно вмешивалась Феодора, далее нашлось место для Антонины, жены полководца Велизария. Эти три женщины шли путем Феодоры: театры, улицы, Порнай, опять улицы привели их в Палатий. Образцом четвертой спутницы Феодоры по дороге в рай послужила Македония, любимая танцовщица антиохийских венетов. Это она, дружески поддержала Феодору, когда та пробиралась в Византию после неудачи с Гекеболом в Пентаполисе Ливийском. Говорят, еще тогда Македония предсказала Феодоре великое будущее. Остальные женщины были наделены чертами матери Феодоры и ее сестер Комито и Анастасии. Здесь художники много трудились, прежде чем угодить Феодоре, так как ее близкие не дожили до дней славы.

Патриарх, приглашающий в рай Феодору со спутницами, имел традиционные черты апостола Петра – сухой аскет с грубоватым лицом. Вначале привратник был снабжен головой одного из епископов. После ссоры, кончившейся для святителя церкви весьма печально, Феодора предпочла избрать оригиналом для привратника рая усопшего. Мертвые не в силах сказать или сделать что-либо, тем более неприятное для Власти. А эллины, люди невоздержанного языка, пустили злую шутку: «Смотри, как бы на твои плечи не надели голову апостола».

Зал носил название Священного Покоя Владычицы. Юстиниану нравилась картина-икона, известная как преображение Августы. Не схожестью лиц или богатством красок! Утверждение, внушение суть орудия

Власти. Автократор назовет глину серебром, навоз – золотом, ему обязаны верить. И всегда поверят, наконец. Настойчивость утверждения ломает волю и овладевает чувствами. Душа человека вечно колеблется, сомневается, необходима решительность убеждения, а существующее не имеет значения. Земной мир – мираж для подданных.

Застенчивость губит владык, собственной силой овладевших Властью. Власть говорит – значит, так и есть. Вначале люди удивляются, даже возражают, особенно те, кто помнит властителя в роли искательного, льстивого слуги Палатия, а властительницу – уличной женщиной. Власть убивает возражающих, смертельны даже шутки. Устрашенные примерами подданные умолкают. Начинается период самоубеждения, один из видов проявления инстинкта самосохранения. Чем ближе человек к Палатию, тем более и скорее он применяется. Центр Власть одевается концентрическими кругами опоры и доверия. Через несколько лет дело завершено, как по крайней мере кажется. Мятеж показывает недостаток силы давления, и только.

Послушная церковь могла бы объявить Юстиниана и Феодору святыми. В этом базилевс не нуждался. Церковь успела населить небо такой армией святых, что ни одна память не могла удержать их имен, не хватало дней в году, святым приходилось помещаться по нескольку сразу, подобно палатийским солдатам в кубукулах военных домов. Христос разорвал цепи первородного греха, тяготевшего на каждом. Ныне оставалось одно – подражать святым. Никто из них не восставал даже против языческой власти, все они скромно отдавали свои тела мучительству. Попытки подданных исследовать смысл Власть вредны. Единственное, что должен читать подданный, это жития святых, примеры, которым следует подражать.

Юстиниан не хотел унижаться, вступая в ряды скромных легионов Христа. Богоматерь с лицом Феодоры, Христос Пантократор в облике базилевса – вот настоящее место. Юстиниан любил строить новые храмы и обновлять старые. Художники исправляли ошибки своих предшественников, которые извлекали образ божества из своего непросвещенного воображения.

Юстиниан считал, что обладает особой способностью, которая позволяла ему заглядывать внутрь темного, запутанного лабиринта личности человека. Этому базилевсу сановники не изменяли. Правда, Юстиниан умело и настойчиво ссорил всех, не наделяя ни одного чрезмерными полномочиями. Но он удачно выбирал и людей по признаку их действительной верности.

Образованный легист Трибониан был предан базилевсу безраздельно, но Юстиниан любил ощущать мужественную преданность Иоанна Каппадокийца, она не приедалась, как женственно-пряная любовь Трибониана. Ручной Носорог обезвредил палатийское войско, разбавив его варварами. Реформа не была закончена к дням мятежа, но Юстиниан, по крайней мере, мог не опасаться парадной гвардии. Каппадокиец умел увеличивать доходы Палатия. Юстиниан знал, что Носорог не любит Феодору из ревности. Что ж, подлинное чувство ищет безраздельности.

Евдемония базилевс считал слишком прямым. Трибониан и Каппадокиец нравились ему больше – упругая гибкость кинжала ценнее неподатливой жесткости меча. Евдемоний был предан базилевсу по собачьи, до излишества, как сказал бы глупец, но преданность не может быть чрезмерной.

Необычайно обогатившись взятками, торговыми монополиями, мздоимством, трое сановников отличались от своих предшественников щедрыми подарками – донатиумами, которые они вносили в казну базилевса по всем торжественным дням. Впрочем, нет преданности без выгоды, каждый сановник имеет право пользоваться своим положением. Аскеты ищут спасения в пустынях, а не во дворцах. Зато Каппадокиец добровольно увеличил ежегодный взнос в казну от префекта Палатия с трех до шести тысяч золотых статов. На языке закона этот взнос-налог назывался «падающим с неба». Но собирать золотые

монеты; приходилось на земле.

Взятка, мздоимство и тому подобное не имели ни в те годы, ни во многие последующие значения преступного действия. Все сановники кормились от своих должностей. Не имея пользы от должности, сановник не исполнял бы обязанностей. В империи жадность сановников способствовала трудному делу собирания денег, рассыпанных в массе подданных, как зерно на пашне. Заботясь о себе, сановник заботился и о казне. Хранитель Священной Казны евнух Нарзес вел списки имущества сановников. Это были, как бы запасные копилки, где Власть могла черпать при нужде. Конфискация достояния богатых подданных широко применялась уже римскими императорами и еще шире – базилевсами. Нажившиеся люди изобрели даже особый способ страховки. Некоторые заблаговременно вносили крупные вклады в христианские монастыри с условием, что при надобности и дарители и их семьи получат пожизненное содержание.

Верноподданнический звон Софии Премудрости был слышен в Покое Священной Владычицы. Но доносился туда и набат изменников. Юстиниан говорил с обычной ясностью голоса и выражений:

– Из любви к моим верноподданным я лишаю должностей квестора Трибониана, префекта Палатия Иоанна, префекта города Евдемония. Они повинны в несправедном исполнении обязанностей. Деяния их рассмотрят судьи беспристрастные, как все мои судьи, и посоветуют мне наказание виновных в меру вины.

Кресло базилевса стояло под Преображением Августы, на возвышении, покрытом пурпурным ковром. Голова Юстиниана приходилась прямо под ногами возносящейся Феодоры, и все, глядя на одного Божественного, оказывали почет обоим.

В строе сановников крайним справа стоял полководец Велизарий, а за ним худощавый человек в белом хитоне. На его поясе висел позолоченный флакон в виде кубика с завинченной пробкой. Пробку украшала крохотная женская фигурка с пальцем, в знак молчания приложенным ко рту. Стальной стилос в ножнах, как кинжальчик, и навощенные таблички в сумочке обозначали звание апографоса, ученого советника. Ритор Прокопий Кесариец повсюду сопровождал Велизария.

Сановники стояли полукругом, и Прокопий мог краем глаза видеть обреченных. Трибониан потупился с видом престарелой девицы, и Прокопию вспомнилась статуя весталки. Евдемоний чуть покачивался от напряжения, его лицо ничего не выражало, как у легионера на смотре. Совершенно обычным казался и Носорог. Опадая с дерева Власти, подобно перезрелым плодам, опальные сановники держались со стоическим мужеством. «Есть же нечто и в этих презренных», – подумал Прокопий.

После паузы Юстиниан продолжал изъявления своей воли:

– Отныне Фока будет префектом Палатия, квестором будет Василид, префектом города – патрикий Кирилл.

Немногочисленные уроженцы обезлюдевшей Эллады наделялись презрительными кличками грекулюсов и элладиков-гречишек. Они были угнетены, обездолены, поэтому подозревались в свободомыслии. Хотя род Василида уже много поколений как порвал связь с Элладой, его назначение казалось странным. Василид был богат и кормил бедных в праздники. Фока, легист и ритор родом из Египта, был человеком популярным, как адвокат. Кирилл, полководец третьей руки, считался добродетельным.

Радуюсь падению высших, другие сановники отметили про себя: новыми назначениями базилевс мудро смягчает охлос.

– Приблизьтесь, светлейшие, – сказал Юстиниан, и трое новых сановников опустились перед троном на правое колено.

Не сговариваясь, они оказывали базилевсу почет по старому обычаю. Глядя поверх их голов, Юстиниан улыбался с какой-то светлой, детской веселостью. Обычная улыбка базилевса, знакомая Прокопию. Она ничего не обозначала, как маска мима.

– Вижу я, что горечью раскаяния полны сердца виновных, – добрым голосом, будто соболезнуя чужой боли, произнес Юстиниан.

Бывший квестор Трибониан еще больше потупился. Но Иоанн Каппадокиец глядел прежним Носорогом, уставившись на Божественного с наигранной тупостью. Обманчивый вид, всем слишком известный: дерзкий готовился разыграть шуту.

Сейчас Палатий был островком, который могли залить волны бушующего охлоса. Но, как понял Прокопий, здесь по-прежнему велась игра, гадкая, пошлая, как в развращенной семье мимов, где люди, изломанные фиглярством, навсегда лишились дара простого слова, искренности сердечного движения.

Вдруг Евдемоний пошатнулся. Не испугался ли он на самом деле? Бывший префект попытался опереться на соседей, они брезгливо отшатнулись, и Евдемоний, как пьяный, осел на пол. Он слепо шарил руками. Не вспомнил ли он, что Обожаемый не знает границ?

Соседи префекта патрикии Ипатий, Помпей и Пробус имели вид благовоспитанных людей, которые не знают, обязаны ли они самолично убрать нечистоту или предоставить неприятное дело другим. По матери благородные патрикии были племянниками базилевса Анастасия, по отцу – потомками Помпея Великого, соперника Кая Юлия Цезаря. Люди известные, трое патрикиев вели себя с примерной скромностью, дабы сохранить имущество и жизнь. Как многие другие, они явились в Палатий на второй день мятежа, чтобы быть на виду у базилевса.

Каппадокиец вывел патрикиев из затруднения. Подобно мальчишке, увлекающему другого на шалость, Иоанн, таща за собой Трибониана, склонился над Евдемонием и отпрянул, шутовски зажав себе нос. Затем два опальных сановника схватили третьего за руки и поволокли его по полу к выходу. Иоанн смешно и нарочито вилял толстым задом, прикрытым шитой далматикой. Все следили, скосив глаза, и никто не изменил каменно-почтительного выражения лица. Самочинные шуты работали только для Автократора.

Прокопий заметил, что новые сановники уже лежали, распростершись перед троном по этикету Палатия! И базилевс смотрел на самого Прокопия. Глядел со своей улыбкой, с которой он был изображен в Софии Премудрости под видом Пастыря Доброго на кротком, как он сам, ослике въезжающим в Иерусалим.

На руке базилевса шевельнулся мизинец. Как ромейский солдат, пойманный за Дунаем арканом кочевника, Прокопий подбежал и распростерся перед Властью. Ужели демон прочел мысли! Прокопий умел быть храбрым в одиночестве. В присутствии базилевса страх лишал его разума.

– Пиши! – приказал Юстиниан. – Эдикт да будет немедленно объявлен подданным.

Прокопий приподнялся, доставая стилос и таблички. Он уже опубликовал первые главы истории войны с персами. Он было подумал, что там что-либо не понравилось Юстиниану: кто-нибудь доложил, выхватывая отдельные слова и злобно искажая смысл.

Эдикт необходимо изложить словами базилевса. Только их следует держать в памяти, пока стилос не остановится. Но просился мучительный до боли протест, и впервые страх ослабел. Сами собой складывались записанные впоследствии слова надежды на лучшее будущее: «Боюсь, все это нашим потомкам покажется невероятным, недостоверным, когда видимое нами начнет забываться в течение лет... Как бы не сочли историка сочинителем устрашающих сказок или трагедий для исполнения мимами в

страшных и отвратительных масках...»

Как мертвое тело, протащили опальные сановники своего товарища мимо безразличных схолариев Рикилы Павла. Потом Носорог грубо рванул Евдемония:

– Вставай! Тьфу! Всевышний меня не обидел силой, но ты тяжелее мешка с тремя сотнями кентинариев, а не стоишь и горсти оболгов. Очнись, бывший светлейший, представление кончено!

Отставной префект тяжело поднялся.

– Поспешим, – пригласил Носорог и для Евдемония добавил: – Пока нам не отсекли головы!

Споро перебирая ногами в золототисненых сандалиях на громадных ступнях, размахивая толстыми руками, Каппадокиец катился, как шар перекасти-поля, гонимый ветром. Мелькали залы, переходы, лестницы, темные тупики, стража в золоченых латах, с копьями и мечами, стража в латах из черной кожи, вооруженная бичами из кожи гиппопотама. Края таких бичей режут острее железа. Указывая на них, Каппадокиец с хохотом кричал:

– Из моей кожи базилевс сделает бич покрепче этих! – Он не стыдился своей клички: носорог – редкий зверь, и охота на него опаснее слоновой.

В дворцах и на дорогах Палатия было особенно многолюдно. К двум тысячам слуг, прислужников, прислужниц добавились сопровождающие патрикиев, сенаторов, логофетов, служащих префектуры, судей. Сановники и чиновники спасались вблизи базилевса, одни из страха перед охлосом, другие – чтобы не быть впоследствии обвиненными в соучастии. Каппадокиец с руганью разбрасывал мешающих. Выхватив у кого-то трость, бывший префект не скупился на удары. Влетев в пустой тупик, Носорог забарабанил в дверь, едва различимую в полутьме. Дверь открылась, Иоанн склонился в шутовском почтении:

– Прошу осчастливить меня, несветлейшие!

Втолкнув гостей, Каппадокиец помчался вниз по ступенькам с криком:

– Скорей, скорей!

Узкая зала была устлана коврами, яркими, как цветущий луг. Двое слуг ждали хозяина.

– Обед! – приказал Иоанн. – И завтрак! И ужин! Все сразу, я голоден.

Раздались такие пронзительные свистки, что у Трибониана зазвенело в ушах. Ловкие руки стаскивали со светлейших далматики, набрасывая плащи из нежного меха – было прохладно. К столу треугольной формы были приставлены упругие мягкие ложа. Массажисты, успев разуть хозяина и гостей, разминали и разглаживали мускулы ног, почесывали пятки, создавая приятное ощущение отдыха.

– Лукулл обедает у Лукулла! – подмигнул Трибониану Каппадокиец. – Ты думаешь, ты один воруешь из старых книг? Я всюду совал нос. Твой Лукулл был дурак, он давился от тщеславия. Я жру для себя, я всегда хочу есть. У меня голод сидит в костях, в костях! Понимаете, несветлейшие? Мой отец голодал, мой дед голодал. Будь они прокляты все, от самого Адама они сохли от голода и умирали от зависти к сытым. Уж я-то знаю, как смотреть в рот тому, кто ест. Забудешься, слюна сама течет, и грудь мокрая, будто палач выставил тебя к столбу и тебя успела оплевать сотня зевак. Вам не понять, вы из сытых.

Венки из красных роз, которые круглый год цвели в палатийских теплицах, опустились на головы сотрапезников. Руки, будто не принадлежавшие телам, нагружали стол блюдами. Раздражающе пахло жареным мясом, дичью, острыми приправами из чеснока, перца, гвоздики, муската, ванили. От чаш с соблазнительными бликами жира поднимался легкий пар, чистый запах лимонов и апельсинов

перебивался другими, сложными, манящими. Поварское искусство обязано вызвать жажду и жадность.

Сделавшись неподдельно серьезными, Иоанн приподнялся на левой руке и ловко плеснул вином из кубка на каменный выступ в стене, формой похожий на храмовый набой.

– Божественному и Единственному – вечность в жизни и слава!

Над подобием наоя висела икона. Святой Георгий с лицом Юстиниана пронзал копьем многоглавого змея.

– Ты делаешь возлияние по-эллински? – удивился Евдемоний. Зная, что такое для хозяев уши их слуг, бывший префект говорил шепотом.

Каппадокиец мотнул головой снизу вверх, будто хотел ударить носом, как рогом.

– Говори громко, тебя никто не услышит, кроме нас двоих. А-а! – Каппадокиец расхохотался. – Так твои ищейки остановились на моем пороге? Ты не знаешь, что мне за столом служат либо глухие, либо глухонемые? Ученые обезьяны... Что касается Единственного, я Его люблю. Для меня Он – все. Я прицепился к Нему ничтожным. Он сотворил меня, как бог. Я все знаю, я умнее дьявола. Я умнее тебя, Трибониан, в пять раз, тебя, Евдемоний, тоже в пять. Вы, в своем роде, стоите один другого. А Он умнее меня в сто раз. Мы все тупицы. Врешь, я тупица лишь перед Ним, – поправился Каппадокиец. – Возлияние! Да, для Него я сделаю все, чего не сделает и... – Иоанн хотел назвать Феодору, но вовремя остановился. – Словом, я часто желал превратиться в Елену Прекрасную либо в царицу Савскую... Впрочем, пейте, ешьте!

– О светлейший, о пятиумный! – воскликнул Трибониан. Лицо бывшего квестора осенила улыбка, ироническая и растроганная. – О мудрейший из мудрых, который хотел бы уметь изменять свой облик и пол! Успеха тебе! Некто в подобной попытке, как говорят, превратился в осла. Но ты слишком хитер, чтобы с тобой приключилось такое. Поговорим лучше о любви к Божественному. Подумай. Не во искушение судьбы будь сказано – подданные привыкли к насильственной смене автократоров. Но знаешь ли ты, что постоянно повторяемое действие, что привычки народов, делаясь *обычаем*, переходят в *закон*? И – против существующего не спорят – деяние, отвечающее привычкам народов, представляется им правом, основанным на добродетели. Поясню примером. Не потому ли столь легко утвердился на престоле... ну, скажем, базилевс Омега и не потому ли столь же легко его сверг базилевс Пси?

Забыв о пьянящей роскоши стола, Иоанн и Евдемоний как бы повисли на устах ратора. Он говорил опаснейшие слова. Но в мозгу Иоанна легист будил отклики, как если бы сам Иоанн размышлял о подобном. Действительно, престол империи не прочен. Пусть впоследствии тайные пружины переворотов обнажались и происшедшее казалось простым, доступным. Но отчего же было столь доступно ронять базилевсов? Кажется, что Трибониан сумел положить руку на тайное тайных. И – хорошо выбрал час!

Наслаждаясь властью своей мысли, легист сделал паузу. А, даже Носорог, со всей его дерзостью, молчит и ждет! Можно продолжать.

– Итак, *привычка – обычай – закон* – вот святая троица, единая в ипостасях, подобно отцу, сыну, духу святому. Однако упорством воздействия можно пересоздать и создать привычки народов. Кому, как не нам, известны пустота и бесплодие народов, если не поливать их водой указов, не обогащать удобрением дел, не месить мечом *власти*. Пусть действие постоянно повторяется и то, что было *насилием*, делается *правом*.

Следуя приемам адвокатов, традиционным со времен трибуналов италийского Рима, Трибониан произносил отдельные слова, как бы читая заглавные буквы, что придавало им особую весомость.

– Да, да, повторяю, *насилие* преобразуется в благодетельное *право*. Чудовищное и отвратительное для отцов можно сделать *божественным* для детей. Не так ли случилось с религией? Наша святая вера

нашим дедам представлялась мерзким заблуждением рабов и тупоумных женщин, нашего спасителя они кощунственно изображали с ослиной головой. Потомки же гонителей припали к ногам распятого. Крест, орудие позорной казни, которой по закону не мог подвергнуться римский гражданин даже за любое преступление, этот *крест* вознесся на лабарум войска империи и на диадему императоров. Божественность базилевса, исполнителя воли Христовой и только перед Христом ответственного, утверждает *божественное право* правления и передачи престола по наследству или по воле базилевса, по завещанию, подобно *имууществу*. Настойчиво утверждая в законах *божественность власти*, я создаю непоколебимость престола. Отныне и в веках все будут искать просвещения в законах Юстиниана, чтобы через *собственность и единоличную* власть обеспечить благополучие людей в земной жизни и рай для их душ!

Трибониан сделал красивый жест адвоката, будто давая свернуться свитку, на котором была написана речь.

Умно... Каппадокиец понял, что по ошибке он видел в легисте только красноречивого писца, хитрейшего торговца законами. Нет, и в подкупности, завидно обогащавшей квестора, была последовательность. Он созидал разрушая. Конечно же, неожиданная опала была только игрой Божественного, настоящие слуги редки, Единственный не откажется ни от своего Носорога, ни от Трибониана.

Сложив руки горстями, как бы прося благословения, Иоанн потянулся к легисту:

– Каюсь! Моя вина. В знак раскаяния беру обратно свои слова. Не в пять раз я умнее тебя, ученейший светлейший, но едва лишь равен. Поистине, ты мог бы чаровать тигров. Сегодня ты совершил невозможное: я забыл мой голод. Но – к делу! К делу, к делу!

4

Иоанн Каппадокиец бросал в рот обжаренных в сухарях перепелок, нашпигованных салом, чтобы сделать еще сочнее этих жирных птичек, жевал, сосал и выплевывал, дабы преждевременно не нагрузить желудок. Так же поступал он и с фазанами, с куропатками, зажаренными на вертелах, запеченными в противнях, набитыми ядрами лесных орехов и фисташек. Желтыми крепкими зубами Носорог впивался в свинной окорок, запеченный в тесте, хватал горстью катышки, завернутые в маринованные листья мяты и составленные из смеси мяса телянка, ягненка, молочных жеребят, наслаждался копчеными колбасками, тонкими, как дождевые черви.

Чтобы освежить небо, Каппадокиец принимался жевать чеснок, полоскал рот розовой водой. Играя, он закрывал глаза и шарил руками по столу, чтобы схватить кусок наугад. От жадности не будучи в состоянии удержаться, Каппадокиец глотал и глотал, запивая винами. Вдруг он сделался мрачным, на лбу выступил пот. С помутившимся взором он схватил кусок мяса, обжаренный прямо на раскаленном камне, струйка красного сока потекла по подбородку. Нет!.. Каппадокиец бросил кусок и свесился над краем ложа. Человек важного вида, личный врач Иоанна, упал на колени, подставляя серебряную лохань. В свободной руке врач держал гусиное перо, на котором была оставлена метелка ворсинок.

Откинувшись, Носорог облегченно вздохнул.

– Жизнь бывает прекрасна, друзья! – сказал он. – Я добр, когда ем. Просите у меня – всем поделюсь. Мне даже жаль этих мятежников. Глупцы! А кто мешал каждому из них забраться так же высоко, как я? Никто. Один глуп, другой умен, и так устроено богом. Э, Божественный все поставит на место!

– Он – Несравненный! – убежденно сказал Трибониан.

– Он – Сверхвеличайший, – отозвался Евдемоний.

– А вы – отставные светлейшие, – не удержался Каппадокиец. Впрочем, это была шутка, без примеси злости, любя.

«А ты кто?» – подумал Евдемоний, но смолчал.

Бывший префект города охотно умерил бы свои сомнения дружеским излиянием – и не умел. Как все, он привык говорить умалчивая и высказывался лишь в меру полезного действия слов на собеседника. От столетия к столетию искусство играть словами делалось в империи обязательным не только чтобы преуспевать, но хотя бы лишь сохранить себя. Откровенность? Это страшная ловушка, медвежий капкан, который настораживаешь на собственном пороге, в собственной постели. Сегодня – друг, через десять лет – враг вспомнит неосторожные речи и поразит в слабое место. Жена выдаст мужа любовнику, которого сегодня еще нет, но который может прийти завтра. Дочь по глупости молодости предаст отца подругам, сын – приятелям. Порой и не случайно, но совершенно сознательно дети роют могилу отцу: зажившийся старик мешает им пользоваться радостями жизни. Игра страстей губительнее землетрясений, алчность и желание наслаждаться сильнее яда индийских колдунов. В патрикианских семьях префект города имел шпионов, завербованных не блеском статоров. Евдемоний видел везде одно: легионер желает смерти центуриона, центурион – легата, легат – дука, младший писец – старшего, простой сборщик налогов – логофета. Только себя Евдемоний считал свободным от человекоубийственной зависти: достигнув предела, он не желал смерти Обожаемого. Так не спросить ли все же, действительно ли Наивеличайший устранил всех троих лишь для маневра? А! Носорог опять будет издеваться. Лучше насытиться и опьянеть. Евдемоний указал на амфору. По форме ее и по печати он узнал корифское вино, вкусное и крепкое. Немногое из того, что еще осталось в темной и нищей Элладе.

Евдемоний перестал ощущать собственные ноги. Стол затянуло дымом-туманом, пар от горячих блюд и наваров густел, густел. Носорог удвоился, утроился. Ха-ха! Троица Носорогов! Все трое жрали с неистовой поспешностью.

– Вы лопнете, лопнете, обжоры!.. – ужаснулся Евдемоний и утонул в пьяном небытии.

Каппадокиец метнул в обессиленного светлейшего фаршированным утенком. Подрумяненное тельце птицы с животиком, зашитым шелковой ниткой, с розой, заменившей ему шею и голову, упало на темя Евдемония, – будто бы ухмыляющаяся рожица выглянула из розового венка. Трибониан тоже спал, положив щеку на ладонь.

– Нищие, лизуны, собачьи хвосты, ублюдки, манихеи, самаряне, иудеи, элладики-грекулюсы, – бранился Каппадокиец, – вас не стоит кормить, вы, нажравшись, спите, как рабы, как кастраты! Нет, вол и тот умеет насладиться жвачкой, вы хуже вонючих хорьков, вас не стоит учить радостям жизни!..

Иоанн опять свесился с ложа. В который раз, он не помнил, внимательный раб-врач предложил ему серебряную лохань и услуги гусиного пера.

– Стой! – приказал Иоанн сам себе. Он поднял палец. Рука дрожала. Несмотря на предосторожности, хмель вин проникал в кровь, манил забвением, играл с телом и мыслями. – Отдохни, у тебя есть дела, светлейший, – напомнил сейчас Каппадокиец.

Врач, привыкнув угадывать желания своего хозяина и повелителя, приблизил к губам господина узкий бокал. Напиток был горьковат, с тяжелым запахом аммиака.

– Когда ты придумашь делать это не таким противным? – с гримасой спросил Иоанн.

Глухой – в свое время ему проткнули барабанные перепонки, – врач умел читать слова повелителя по движению губ и почтительно развел руки в знак бессилия. Каппадокиец погрозил врачу пальцем.

Гадкое на вкус снадобье действовало быстро. Мысли прояснились. Каппадокийца обули, подняли, поставили на ноги, надели на него суконную далматiku. Низкая шапка из меха бобра заменила венки. Сейчас он опять мог бы есть и пить, аппетит возвращался. Долг службы Божественному... Иначе Иоанн не стал бы бороться с собой, как святой с искушением.

Свет проникал в столовую залу из окон, прорезанных под самым потолком. Окна защищала кованая решетка, изображавшая переплетение виноградных лоз и гроздей.

– Ты видишь, они спят, – обратился Иоанн к иконе святого Георгия с лицом Юстиниана. – А я, Наивысший, служу тебе из любви и так, как ты любишь службу. Без твоих приказов читаю я твои божественные мысли, когда они еще покоятся, подобно птенчикам, в теплом гнезде твоего великого разума...

Дверь, которая открывалась в стене, имела вид облицовочной плиты. Иоанн Каппадокиец очутился на площадке лестницы. Еще пятнадцать ступеней вниз – и лестница уходила под воду. Это был палатийский порт, носивший название «Буколеон» – по дворцу, стоявшему на берегу. Замкнутые ковши портов звались мандракиями, словом, обозначавшим на суше «загон для овец». Как загоны, порты имели стены и ворота. Мандракий Буколеона был образован двумя молами, отходившими от берега, как круто загнутые на концах рога. Стены слагались из тесаных глыб, без извести. Они держались собственным весом: каждый камень имел в длину пять локтей, два локтя в высоту и три – в ширину. Кладка видимой глазом части мандракия происходила быстро. Трудно было создать подводные опоры.

Юстиниан велел победить море. В полутора стадиях от берега, там, где были ворота мандракия,

глубина составляла сто локтей. Сильное течение пролива относило в сторону свинцовый груз лота весом в шесть фунтов. Больше года в море валили с кораблей глыбы неотделанного камня. Обломки падали в бездну, труд казался безнадежным, так медленно поднималось дно. Сообразуясь с течением, в море сыпали и каменную мелочь в попытке заполнить пустоты между глыбами, но никто не знал, что происходит внизу. Зато Иоанн Каппадокиец знал, сколько золота прилипло к его рукам.

Через год критские водолазы сообщили, что вершины насыпей похожи на горные хребты. Когда осталось десять локтей глубины, бури принялись разметывать верх насыпей. Но воля базилевса оказалась сильнее, базилевс любил строить, отнимая место у моря. На насыпях и на сваях строили и в Золотом Роге, и по южному берегу полуострова.

Берега Пропонтиды и Евксинского Понта, где находились каменоломни, изменились. Дыры превращались в пещеры, пещеры – в овраги, овраги – в долины. Ливни находили новые места для водопадов. Острые углы камней, похожих на египетские саркофаги, расщепляли бревенчатые палубы кораблей. Когда лебедки и тали поднимали камень на месте укладки, иной раз под ним висели бесформенные клочья, в которые превратилось тело раба, свободного работника, или мастера, зазевавшегося в момент погрузки на каменоломне. Критские ловцы губок – водолазы всплывали умытые кровью, хлынувшей из носа и ушей. Иной и вовсе не поднимался – привлеченные возней скользкие мурены-охотницы уже устраивали засады на подводных горах, возведенных базилевсом.

Базилевс Юстиниан победил море. Мраморные статуи, взятые в Элладе, в Сицилии, в Сирии, Палестине, Италии, Египте, выстроились на стенах мандракия. Башни на концах каменных рогов управляли воротами с помощью цепей.

Сегодня в мандракии стояло много кораблей. Несколько колоссальных кинкирем с пятью рядами весел, пять трирем – с тремя рядами, плотная стайка однорядных быстроходных галер, низких, длинных с окованными железом острыми носами-бивнями, делали мандракий тесным.

Ворота были закрыты; проносясь поверху, ветер свистел в концах мачт и рей, в открытом море было бурно. Здесь вода лежала, как в луже. Прозрачная, она казалась темной и густой из-за мертвенно-серого цвета дна, заросшего отбросами, как во всех портах.

Кое-где на палубах, укрываясь меховыми шубами от январской свежести, виднелись люди, похожие на лохматых зверей. Гребцы, в большей части невольники, или сидели на своих местах прикованными, или были отведены в палатийские тюрьмы для рабов. Матросы прятались под палубой, где они ели, спали, развлекались. Боевой флот находился в привычном состоянии – ждать воли базилевса. Морякам не надоели, просто приелись молы мандракия, пышная лестница, мраморные стены дворца и статуи на стенах гавани – для них эти фигуры не имели никакого смысла. Иоанн Каппадокиец не привлек внимания. В Палатии люди умели появляться из стен, исчезать в тупиках. Обычное неинтересно.

Иоанн остановился, храня безразличность лица. Все-таки на него смотрят люди, для которых и прыжки воробья могут служить забавой. Иоанн рассуждал; «Если меня забудут, я сам заберусь хоть под палубу, на скамью гребца. Но – подождем...»

Каппадокиец умел видеть сразу десятки возможностей, что свойственно многим, но выбирать из них и действовать он мог раньше, чем иным приходила в голову первая мысль. Э, кто сейчас из палатийских думал о флоте! Пока же надо действовать. «Лучше мятеж в городе, чем враг в своем доме. – сказал себе Иоанн. – Воспользуюсь свободой и зачищу списки...»

Бывший префект Палатия поднялся вверх по лестнице, протиснулся, подтянув живот, в створки парадного входа во дворец и исчез, стер себя, как грязное пятно, с белизны лестницы.

Хотя смолы не жалели, хотя камень притесывали к камню, чтобы не проходил даже волос, тяжесть моря проталкивала влагу в подземелья Буколеона. Стены потели, на сводах повисали капли. Вероятно, и нечистоты проедали щели в стыках сточных труб, заложенных под полами Буколеона, как норы гигантских кротов.

Швы кладки тайных кладовых зачеканивали свинцом, но в тюремных номерах пришлось выдолбить ямы для сбора жидкости. Иначе вода могла утопить узников, тем самым раньше времени завершив их судьбу. Судьба же их была в руках базилевса, как следовало думать. Префект Палатия был пальцами этих рук. Носорог счел, что добродетельный Фока не должен заглядывать в номера, пока его предшественник, подобно честному купцу, не спишет со счетов излишние цифры.

Сбежав по лестнице-улитке, Каппадокиец ударил в дверь – ему нравился особый гул двери номеров, приглушенный, но глубокий и затихающий постепенно, как струна. Иоанн опирался на трость, которую выхватил у кого-то по дороге из зала Преображения Августы.

Звучание двери погасло. Мелькнула задвижка в лежачем овале смотрового окошечка за ресницами решетки – какой-то циничный шутник приказал сделать смотровую щель тюремной двери по рисунку всевидящего ока.

Закрывая за посетителем, привратник отвесил полужемной поклон. Пожилой человек, привратник был одет в узкий хитон из потертой кожи и в кожаные штаны. Шапки не было, венчик серых волос вился, как ореол, кругом гуменца лысины. Сухое лицо его было отлично выбрито, впалые щеки обличали отсутствие многих зубов.

– Ты один, Алфей? – спросил Иоанн.

– Ивир спит, светлейший, – привратник отвесил еще поклон, не столь низкий. Он был похож на писца, высохшего в канцелярии, где по дурной привычке прикусывать стилосы, грызть палочки для туши и расправлять зубами складки пергаментов служащие стачивают себе клыки.

Из ярко начищенного медного ящика Алфей достал списки на пергаменте. Чуть влажная кожа разворачивалась легко. Пробегая глазами строки, Иоанн щелкнул пальцами, и Алфей вложил светлейшему в руки свинцовый стилос. Каппадокиец накладывал, чуть нажимая, серые черточки на чьи-то имена.

– Пойдем, свети!

По обе стороны довольно широкого коридора были узкие, разделенные узкими же простенками низкие двери, запертые засовами и замками. Поворот, еще поворот, двери и двери. Здесь всегда ночь и всегда мозглая осень. Некоторые двери были распахнуты, в глубине прятался мрак, еще более густой, чем в коридоре.

– Молю светлейшего об осторожности, – тихонько предупредил Алфей. Начался спуск. Пологие ступени лоснились под огнем толстой свечи, как кожа морского зверя. Мох, способный питаться зловонной сыростью номеров, пучился из щелей.

Каппадокиец опирался на трость, железо наконечника чертило зигзаги. Внизу повторились такие же двери. Нижний этаж подземной тюрьмы! Иконописцы империи, изображавшие в храмах ад для устрашения грешников, попросту приукрашивали судебную процедуру и тюрьмы.

Носорогу не хватало воздуха, Алфей дышал без труда. Привычка сделала из него узника, с той разницей, что тюремщик не знал этого. Алфей открыл замок и откинул засов на двери, обозначенной греческими буквами «пи» и «фита», что в счете составляло 89.

Номер был узок и глубок. Нечто бросилось к свету и отпрянуло, ослепленное. Тот, кто знал, еще мог

бы угадать в лохмотьях узника рясу монаха. Человек прикрыл глаза пальцами, черными, как земля. Торчали длинные пряди спутанной бороды.

– Будь здоров, Савватий, – приветствовал узника Иоанн. Он пользовался арамейским наречием, которого не понимал Алфей.

– Дьявол каппадокийский? Может ли быть? – негромко спросил себя узник и вдруг, расправив грязные пальцы с загнутыми, как когти, ногтями, прыгнул. Цепь, прикрепленная к железному обручу пояса, рванула Савватия назад. Задыхаясь, трепеща от слабости, он прислонился к стене.

– Не сердись, Савватий, – дружелюбно сказал Иоанн, – я пришел по-христиански вывести тебя из сомнений и самообольщения. Поистине ты напрасно упорствовал. Тогда ты посмеялся над законом. Я понял, что не найду пытки, властной над твоим упрямством. Ты помнишь? Я взялся за твоих. Твой Христос, созданный из ничего по гнусному учению Ария, не устоял против нашего единосущного. Я взял пять ящичков с золотой утварью, ты ее знаешь, из-под склепа Антония-дьякона. А казну я вытащил из-под седьмой плиты влево от алтаря. Улов был хорош.

Савватий застонал. Заблаговременно и умно припрятанное имущество храма и общины досталось Дьяволу, Поистине, Савватий впал во искушение, думая скрыть земное от земного. Демон-базилевс издал закон об изъятии имущества некафолических общин, следовало подчиниться. Не себя жалел Савватий, а несчастных из своей паствы, кто, страдая под пыткой, нарушил клятву молчания и выдал тайники.

– Слушай меня, Иоанн, рожденный в Каппадокии, близ Кесарии, – тихо и внятно сказал Савватий. – Не знаю, память какого святого чтит сегодня истинная церковь и какой год исполнился от пришествия в мир искупителя. Но верю я в победу света над тьмой, верю в гибель лжи. В темноте я слышал голоса ангелов и прозревал будущее. Скажу лишь о тебе. Есть у тебя единственная дочь, дитя невинное. Ждет же ее судьба гнусной Феодоры. Будет она добровольно терпеть осквернение плоти, дабы не погибнуть от голода. Страшно впадать в руки бога живого, вымещающего грехи нашей крови и до седьмого колена...

Иоанн замер. Алфей, не слушая бессмысленные для него звуки голоса Савватия, едва не уронил свечу, когда Иоанн бросился на узника. Вцепившись в тощее горло Савватия, Каппадокиец испугался, что ломает, выпустил и принялся тыкать острой тростью жалкое тело, хрипя:

– Лжешь, еретик! Признайся, ты выдумал! Ты, как злобный писака, сочинил сатиру! Признавайся, пес, пес!

Алфей ловил сзади за локти рассвирепевшего владыку.

– Не так, светлейший, не так, – уверял Алфей. – Ты слишком торопишься, он не чувствует.

Опомнившись, Носорог отступил.

– Ты прав. Отомкни обруч, тащи его наверх.

Тюремщик повиновался. Он попробовал заставить Савватия встать. Легкое тело упало. Как заправский врач, Алфей нащупал пульс, потом обнажил иссохшую грудь узника и прижался ухом к сердцу.

– Конечно же, ты поторопился, светлейший, – недовольно сказал Алфей, – так нельзя делать, он был слишком слаб.

– Да убьет тебя бог, скряга, это ты уморил его голодом! – крикнул Иоанн.

– А сколько ты мне даешь на каждый рот, светлейший! – смело спросил Алфей.

– Демоны демонов! – выбранился Каппадокиец. – Все научились считать. Пойдем отсюда.

Наверху Иоанн показал на списки:

– Всех перечеркнутых списать в расход. И вычистить их имена.

Алфей собрал губы. Беззубый рот со сходящимися внутрь морщинами напоминал хорошо затянутый, но отощавший кошель.

– Ты позволишь мне не торопиться, светлейший? – скорее попросил, чем спросил Алфей.

– Не позволю, – возразил Иоанн. – Сегодня никаких забав кота с мышками. Всем – милость. Дави, коли, но верши сразу, без развлечений, по-божески. Я жду, скорее.

Алфей разбудил Ивира, могучего горбоносого мужчину, заросшего до глаз черной бородой.

Открывались двери номеров. Иногда до Иоанна доносились звуки возни, вскрик, стон. Иногда палачи выходили сразу – хватало одного прикосновения, чтобы потушить полуугасшую искру.

Иоанн хотел предложить свою беседу еще двум узникам: ткачу Петру, который, кажется, собирался замыслить покушение на жизнь Божественного, и сенатору Курциусу, одинокому и бездетному богачу, у которого Иоанн пытками вынудил завещание в свою пользу. Савватий испугал его. Каппадокиец старался убедить себя: страшное пророчество выдуманно злобным схизматиком. Но если другие скажут нечто подобное! Иоанн решил не искушать Судьбу.

Тюремщики приносили тела убитых. Алфей отпер дверь, за которой была лестница с крутыми ступенями. Спрятавшись в толще стены, эта лестница оканчивалась над клоакой, зев которой открывался в пролив. Алфей внизу прицеплял трупы к подобию бесконечной цепи. Наверху Ивир освобождал их, и тела скользили вниз, в море, чтобы исчезнуть в бездонной могиле Евксинского Понта.

Каппадокиец считал, как купец тюки с товаром. Он любил счет. Он был опять голоден и едва дождался конца.

Выскабливая имена тонким ножичком со старанием прилежного писца, Алфей размышлял: «Что-то окаянный Носорог сегодня торопился по-носорожьки. И ведь списал-то он в расход только своих.[\[17\]](#) Да не тронул ни одного из Феодориных. Что бы это значило?

Поделиться мыслями, посоветоваться было не с кем. Ивир – грубое животное, он только чешется: слушая.

5

На улице Медных Ворот почти никто не заметил, из окон каких домов, с каких этажей были выброшены бревна. Ударяясь торцами, бревна подпрыгивали, подскакивали с быстротой неожиданности. Строй когорт разбился, рассыпался.

Впоследствии одни рассказывали, что божи ангелы разогнали легионеров, другие были убеждены во вмешательстве злой силы, пришедшей на помощь мятежникам. Многотысячная толпа надавила, повинуюсь не чьим-то приказам, а инстинкту массы, увлекаемой видом слабости, проявленной противником. Шестьсот или шестьсот пятьдесят легионеров разбежались. Каски легионеров замелькали, как дыни, попавшие в бурное море с разбитого волнами корабля.

Анфимий Заяц в последнюю секунду успел отскочить. Вместе с двумя-тремя десятками легионеров легат убежал к четвертой, пятой и шестой когортам, которые стояли перед Медными Воротами. Разрозненные же и сдавленные мятежниками легионеры почти не сопротивлялись. Разоруженные, отдавшие щиты, без лат и без касок, они перестали быть заметными и старались пробраться в тыл толпы, глубже в город. Вероятно, большинство обрадовалось возможности дешево отделаться.

Слух уже освоился с воем толпы, криками боли, гнева, с призывом бить и убивать. И вдруг все услышали бодрый, веселый писк дудок уличных глашатаев, привычный голос мирных дней. На зов этих дудок византийцы привыкли выбегать из дворов, бросая дело, прерывать начатый разговор, высовываться из окна. Останавливались скрипучие телеги, всадники натягивали поводья, ослы, казалось, понимали, что можно передохнуть. Прохожего, который мешал слушать, могли убедить кулаками в том, что для византийцев самое главное в эту минуту – слушать глашатая.

Некоторые эдикты вывешивались на стенах, но грамотных было немного, и читать им самим было скучно, а слушать их – еще скучнее. Листы со словами на них были и тем неприятны, что подозрительные византийцы не слишком доверяли случайным грамотеям. И – не зря. Законники и писцы пользовались хотя и общепринятым греческим наречием, но обороты были тяжеловесны, длинные, мертвенны, казались нарочито запутанными для того, чтобы грамотным было легче угнетать безграмотных, судьям – истцов и ответчиков, обвиняемых и свидетелей. Каждый, кто имел несчастье соприкоснуться с Властью, привык слушать объяснения и толкования, которые почему-то всегда сулили новое несчастье. Эдикты, законы, разъяснения, приказы всегда начинались заверением в чрезвычайной заботе, которую проявляют базилевс, префект, логофет и другой начальник. А затем из-под словесных роз высовывались скорпионы и аспиды.

Другое дело – глашатаи, эти говорили языком народа, повторяли, объясняли просто, их речь запоминалась. Глашатаи извещали об играх на ипподроме, о прибытии иноземных послов, о победах, о назначениях новых сановников, о решениях церковных соборов, а не только о законах. Иногда глашатаи проверяли слухи. Глашатаи приносили новости, поэтому их любили.

Свистя и хрипя в рожки, несколько глашатаев бежали к толпе. В высоких цветных колпаках, в коротких плащах, городские вестники имели какой-то милый, домашний вид. Их окружают, но бережливо, не теснят. Звонкий голос кричит немного нараспев:

– Божественный владыка своим верным подданным – привет! Он рассмотрел жалобы византийцев. Он внял им. Жалобы справедливы. И он решил! Отрешить, да, отрешить Иоанна Каппадокийца! – Глашатай сделал паузу и другим, более низким голосом крикнул: – Прозванного Носорогом!

В эдикте не было этих слов, глашатай прибавил их по обычаю, позволяющему порочить отставных

сановников. Выходка вызвала общий хохот, который покотился волнами. Дав людям насладиться, глашатай продолжал:

– Отрешается и квестор Трибониан! И Евдемоний! Слушайте! Слушайте! Всех их будут судить и накажут!

Тут же другой глашатай повторил извещение, быстрее и без шуток. Третий сообщил о назначении на места отреченных сановников добродетельных и почтенных Фоки и Василида, а также благородного патрикия Кирилла.

Закончив, глашатаи погрузились в толпу, все расступались, давая дорогу вестникам, и через минуту рожки пищали уже где-то в отдалении.

Еще не расходились. Еще никто не собирался уйти, но уже явилось ощущение разобщенности, будто каждый человек занял меньше места.

Задавали вопросы:

– Что делать нам?

– Почему я здесь?

– А ведь ничего не сказали о прощении...

– Почему Юстиниан не отдал нам злодеев?

– Неужели все кончилось?

– Зачем Юстиниан не хочет покаяться на ипподроме, как сделал Анастасий?

Сомнения начали одолевать души людей:

– Вряд ли тебе простят разгром тюрьмы.

– Префектура тоже не так легко сойдет с рук.

– Виселицам зададут работу.

– Все останется по-старому.

Кто-то, пробиваясь вперед, убеждал:

– Не верьте базилевсу. Христиане, этот базилевс имеет десять языков. Он слаб – мы сильны. Шпионы уже записали ваши имена!

– А твое имя, Ориген? – крикнул человек, узнавший сенатора.

– Мое записано прежде твоего! Верьте же человеку, жизнь которого принесена в жертву.

Около Медных Ворот заблеяли буксины легиона. Четвертая, пятая и шестая когорты наступали. Палатию не терпелось пожать плоды уступки, брошенной охлосу.

Медные Ворота приоткрылись, и, как адская пасть, Палатий выпустил на помощь трем когортам, прикрывая их с тыла, новый отряд. По сравнению с темными рядами легионеров это войско поражало своей пышностью. Впереди выделялся воин высокого роста, с непокрытой головой.

Легионеры передвигались медленно, останавливаясь через каждые двадцать-тридцать шагов. Пока это было еще не нападение, а угроза силой.

Красильщик узнал высокого предводителя, и нечто вроде гордости шевельнулось в сердце бывшего центуриона. Сам Велизарий собрался сразиться с племем. Против толпы безоружных послали знаменитого полководца и его ипаспистов. Как все легионеры, Георгий Красильщик ненавидел гвардию

полководца. Нет спора, они были отборными бойцами, опытными, храбрыми; они умели владеть любым оружием. Но большинство ипаспистов набирали из варваров. Несмотря на это, именно из них полководцы назначали комесов, легатов, центурионов. Им давали командование, посылали на дела, где можно было и отличиться и набрать добычи. Из-за ипаспистов центурионы линейных легионов дряхлели, прежде чем сделаться легатами, а заслуженные легионеры не имели повышения.

Базилевс послал Велизария... Велизарий имел славу храбреца с юности, когда он сам был ипаспистом Юстиниана. Потом в лагерях говорили, что Велизарий лижет ноги Юстиниана, рассказывали, как этот петух нашел себе потрепанную курочку, гетеру Антонину.

Несколько десятков пращников выбежали навстречу когортам. Праща – оружие охлоса. Связать ремни или веревки можно быстро. Пращники били через легионеров. Велизарию подали каску с наличником. Хитрец, он нарочно вышел с открытым лицом, чтобы испугать славой своего имени. А бьют в него. Рядом упал ипаспист. Этот поймал камень всей пастью. Выживет, так лишится красоты. Свинцовая пуля весом в унцию разбивает и конский череп.

В верхние этажи домов поднимались наружные лестницы. Они жались к стенам, грязно-серые, как прилепленные под крышами ласточкины гнезда. Ступени из мягкого камня быстро выкрашивались, поры пропитывались нечистотами. Засаленные перила скользили под руками.

Гололобый не знал, что дважды одного и того же не бывает, и собирался повторить только что проделанное с неудачливыми когортами Анфимия Зайца. Четвертый этаж, верхний, был пуст. Стропила сгнили, обветшавшие балки продавили дощатый потолок. Лежали доски, бревна, стояли чаны с известью – владелец готовился исправить разрушенное временем. Гололобый почувствовал себя как дома. Его хозяин занимался строительными подрядами, используя умелых рабов на прибыльных работах.

Три когорты успели прокатиться мимо дома. Сверху ноги легионеров казались коротенькими, круглые каски были, как пальмовые орехи. Вправо колыхалось поле голов, там и страсть и страх, там и твердо и зыбко. Ручьи просекали людскую массу – кто-то силился уйти, кто-то пробивался вперед. То и дело на открытое место выскакивали растопыренные фигурки пращников. Гололобый был как на крыльях, восторг поднимал. Он приказывал, его слушались.

Легионеры прошли. Близилась ипасписты. Страусовые перья на касках казались горстями пуха. Плащи переливались яркостью красок – синих, желтых, зеленых, как радуга, упавшая на мостовую. Ипасписты шли без строя, мечи в ножнах. В этом было нечто обидное.

Гололобый крикнул, как на работе:

– Разом! Взяли! Га!

Он сам метал из окон и бревна и брусья. Но не он же кидал ящики, скамьи, амфоры, глиняную посуду из окон других домов! От удивления Гололобый высунулся насколько мог, чтобы понять.

Его жизнь была слишком коротка и узка, иначе он знал бы о старой привычке византийцев и не воображал, что первым выдумал этот способ уравнивать силы плебса и войска. Восемнадцатилетним Гололобый был продан в рабство за недоимку. Сейчас ему было двадцать три.

Гололобый тащил куски гнилых балок и стропил. Потревоженная пыль слепила глаза. Внизу корчилось несколько человек, два ипасписта лежали неподвижно. Высокий ростом начальник был цел, до

него не добросишь. Гололобый кричал и грозил кулаками.

Пыль оседала, одежда и лица сделались серыми. Сверху, через дыры потолка, упал камень, второй, третий. Потом рухнул внутрь кусок торцевой стены. Кто-то догадался ломать стену вверх, где легко разделяется кладка.

Перед домом сделалась пустота. В поисках нового дела Гололобый выскочил на лестницу, чтобы спуститься, найти другое место и бить, бить. По избитым ступеням, вверх лезли цветные плащи, ипасписты наступали.

Сам собой чан с известью вывернул едкую жидкость. Камни, бесполезно выломанные из стены, оказались именно того веса, чтобы мужчина мог их поднять обеими руками и даже прицелиться! Какое торжество! Пышные воины валятся, убегают. Вот эти, пожалуй, и не встанут.

Из окон первого этажа повалил дым, из дверей и окон посыпались женщины, дети, мужчины. Люди прыгали и со второго этажа. Ипасписты били всех, кто попадался под руку. Печальная судьба тех, кто думает спокойно отсидеться в день смуты!

Гвардия Велизария накопила привычки, создавшиеся в Африке, на Востоке, в самой империи. За сопротивление отвечают все, без разбора.

Гололобый и его товарищи, пробив пол, прыгнули в третий этаж. Таким же способом они пробирались дальше, щелистые доски ломались легко. По счастью, они пробили пол второго этажа над местом, где еще не горело. Инстинкт сбил их в кучу, все вместе они метнулись во двор.

Произошло непонятное, сознание как будто отстало от рук, от ног, от всего тела, каждый кусочек кожи которого защищало желание выжить.

Гололобый опомнился за какой-то низкой оградой. Тронутые заморозками листья ириса напоминали клинки кинжалов. Гололобый держал длинное топориче без топора – палку... Где ножи? Где меч варварской формы с рукояткой для двух рук? Вытирая кровь с лица, Гололобый осматривался. С ним было десятка полтора каких-то людей. Он не узнавал никого, но был уверен – это свои.

Пращники разбежались перед наступавшими когортами. Мятежники отходили медленно, толпа уплотнялась. Красильщик ждал, готовя щит, чтобы прикрыть себя сверху. Сейчас легионеры остановятся и метнут дротики. Красильщик пятился – подставлять спину нельзя! – пока не почувствовал, что уперся в кого-то.

Еще три десятка шагов. Нет, легионеры перешли невидимую границу, установленную тактикой. Удара дротиками не будет.

Легионеры ставили ногу, как один. Степа щитов наваливалась на толпу, уплотняя и невольно выравнивая мятежников. Строй наваливался на строй.

Робкие успели ускользнуть. Смелые или те, кто не понимал, чем кончится напор легиона, приготовились к сопротивлению. Легаты и центурионы кричали сзади шеренг: «Разойдись, разойдись!» – как всегда, когда разгоняли толпу.

Круглый щит Красильщика уперся в длинный выпуклый щит легионера. Чувствуя, как силен натиск, Красильщик чуть отступил и, найдя нужное равновесие, остановил легионера.

Легионер жал левым плечом, опираясь на правую ногу и перенося вес тела на щит. Все щиты строя, соприкасаясь краями, составляли одно целое. Когда-то Красильщик учился и учил других. Дави, тесни,

жми, но умей не терять равновесия. Пока едина стена из твердого дерева, окованного железом, с тобой ничего не случится, легионер, никогда! Дави, но умей видеть, чувствовать товарищей справа и слева. Не увлекайся! Не отставай!

Теперь Красильщик глядел в упор в глаза легионера, блиставшие недобрым между верхом щита и низким краем каски. Брови легионера лоснились от пота, и Красильщику хотелось сказать: «Товарищ, брат, ты ведь такой же, как я...»

Ему казалось – легионер слабеет. Но если вдавить его назад, правый сосед легионера просунет короткий клинок меча в щель и проколет Красильщику левый бок. И этот переступит через труп и восстановит стену.

«А попробовать сразу податься назад, – думал Красильщик, – если легионер плохо обучен, он может упасть ничком и в строю образуется брешь. Но, увы – не мог не признать он, – ее сразу затянут щитом из второго ряда. А пока стена щитов едина, меч ждет, ему нечего делать.

Когда фланги и тыл легиона закрыты, он непобедим. Легионы Кая Юлия Цезаря раздавили германцев Ариовиста вблизи Бельфора в нынешней Франции. Дави и дави, как один человек. Физически более сильный и даже более храбрый, но не обученный воин вынужден сделать шаг назад, второй. Потом он поворачивается, чтобы не упасть, и битва превращается в бойню. Бой пехоты давно достиг высшего уровня, и его тактика не изменялась столетиями.

Дикий рев ворвался в уши Красильщика. Отдавшись целиком борьбе, он перестал было слышать толпу. По обе стороны от себя Красильщик снова увидел руки, груди, спины, которые мешали легиону продвигаться. Стена щитов покачивалась на месте. В спину Красильщика надавили. Ему показалось, что крупная собака проползла между ног. Почему-то легионер запрокинулся, падая навзничь.

Закрыв сердце щитом, Красильщик, чтобы защитить правый бок, ударил мечом палача вперед и от себя, оттягивая клинок, как учили.

Сзади на толпу нажимали новые толпы. Давка сделалась нестерпимой. Чтобы спастись, не быть раздавленными, передние ряды мятежников должны сломать строй легиона. В тылу охлоса тоже действовала сила, подобно поршню гигантского насоса. Упавшие ловили легионеров за ноги. Наверху образовался гребень, как при встрече двух течений. Многие, выжатые давлением, оказались на плечах товарищей. Теряя равновесие, такие старались достать легионеров сверху.

В городе, плотном, как сыр, беспокойном, как муравейник, а порой и как осиное гнездо, одиннадцатый легион много раз рассеивал уличные толпы. И всегда одним и тем же способом. Почти всегда византийцы разбегались перед щитами. Было известно, что легионеры проходили, оставляя за собой мертвых и умирающих, которые будто падали с неба. Но легион не бил зря.

Лучше хлестать по душе толпы, чем по ее телу, это вернее, дешевле и не создает традиционной злобы и мести. Так говорил базилевс Анастасий, более скупой на статеры, чем на слова.

Мало кто уцелел из участников столкновения легиона с охлосом на улице Медных Ворот. Редкие ускользнувшие от смерти во время мятежа и от еще более истребительных преследований после него молчали, чтобы не выдать себя. Ничьи слова не были записаны. Палатий же попросту обвинил легион в измене.

На самом деле одиннадцатый оказался жертвой собственной тактики и проявленной им умеренности.

Мятеж сломал легион голыми руками. Так мягкая волна дробит стены портов.

Столкновение с ипаспистами Велизария было и страшным и отвратительным. Телохранители знаменитого полководца превосходно владели мечами и копьями. Сариссы^[18] с широкими наконечниками наносили удары в живот и грудь, и копейщик вырывал обоюдоострое железо из раны с такой поспешностью, точно ему особо платили за каждый удар. Меченосцы секли прямыми клинками и персидскими акинаками, изогнутыми и утяжеленными на конце, чтобы усилить размах.

– Цельте в лицо, в лицо! – кричали мятежники из тех, кто имел опыт.

Кричал и Красильщик. Сейчас ему было где поиграть палаческим мечом. Раздробив копье, он достал голову ипасписта:

– Съешь, красавчик!

Битва рассыпалась на сотни схваток, разбрелась по переулкам, по дворам. Из окон, с крыш мятежники кидали в ипаспистов все сколько-нибудь тяжелое, ипасписты поджигали дома.

Облака дыма порой закрывали сражающихся, и противники корчились от кашля, протирая слезящиеся глаза. Ветер гнал пламя пожаров с ужасающей скоростью, но никому не было дела до огня. Головни, казалось, падали с неба. Занялся госпиталь святого Самсония. Вопли больных, которые не могли бежать, казались голосами грешников в аду. Дым валил из бань Зевксиппа, громадного здания, где было две тысячи мест для мытья.

Ветру было все равно кого жечь – мятежный город или владения базилевса. Огонь перебросился за Медные Ворота. Как дьявол, северо-восточный рылся в пожарищах, раздувал угли, метался головнями, ощипывал пламя загоревшихся крыш и забрасывал пылающие перья на кровли, в открытые двери, ломал окна, не забывая оживить и самый малый, готовый угаснуть уголек.

Ураган прыгал по городу, выгнув спину в дыму, как кот величиной с гору, и шипел мириадами змей.

Беспорядок был таков, что Велизарий упустил из рук своих ипаспистов. Полководцу казалось, будто он уже потерял многих. Беспощадно избиваемые мятежники не убывали в числе, не удавалось опрокинуть толпы охлоса. Велизарий не видел спин.

Пожары опасно сузили улицы, а полководец легкомысленно обещал Божественному потушить мятеж, как свечу, первым дыханием железа. Неутомимый Велизарий ощущал пугающее утомление. Наверное, от дыма и жара. Ему казалось, он болен. Испугавшись, что пожары отрежут его от Палатия, Велизарий приказал своим отходить.

Охлос пытался преследовать ипаспистов. В домах заживо сгорали люди. Рушились раскаленные развалины. Смердело паленым мясом.

Переулки сужались в тропинки, дворы превращались в ловушки. Обмотав головы плащами, ипасписты через пожарища прорывались обратно к Палатию.

Раскалялись латы. Стянувшись от жара, кожа сапог ранила ноги. Медные Ворота рухнули. Пламя растекалось, огненной завесой разделяя охлос и базилевса.

Трупы валялись, как рыбы, выброшенные из сетей нерадивых ловцов. Огонь чернил лица, руки. Тлела одежда. В ранах закипала кровь. Мятежник, который хотел поискать на телах оружие и добычу, вынужден был спасаться, гонимый нестерпимым жаром.

Второй Рим принимал обычный вид города, взятого штурмом. Как Антиохия, как Дары на Евфрате, как Пальмира, Иерусалим, как Рим италийский и Карфаген вандалский, как Сиракузы, Александрия...

Этот коротенький перечень, который должен бы включить все города берегов Теплых морей, обязан

объяснить привычки и солдат империи и ее подданных.

6

Ветер гнал огонь вдоль и поперек полуострова, по кварталам Дагистея, Девтера и от дворца Ливса до площади Константина. Пожары уничтожали город к югу от улицы Месы, древней улицы, более древней, чем сам город.

От огня мрамор серел, желтел и осыпался проказой извести. Пожар дотла разрушал каменный город. Во власти пламени над камнем не было ничего неестественного.

Кроме сравнительно редких зданий из тесаного камня со сводчатыми перекрытиями, стены обычно собирали из рваных обломков, пустоты заливали смесью извести или глины с песком. Чтобы такая стена не расплывалась еще при ее сооружении, в кладку заделывали бревна, доски, связанные откосами из жердей. Между этажами бережливо укладывали рядок-другой дорогого кирпича, только чтобы выровнять стену и опереть концы балок. Прилепляли украшения, выступы, карнизы, барельефы, оставляли ниши. Плоскости затирали, выдавливали швы в подражание виду тесаного камня, красили мелом или цветными землями.

Стены более богатых зданий облицовывались тонкими плитками, эта рубашка приклеивалась известью.

Массивнейшие портики, могучие колоннады казались вечными, как скалы. На самом деле это были дощатые и бревенчатые остовы, украшенные штукатуркой и лепкой из легкого алебаstra.

Уже несколько столетий тому назад империя обладала каменщиками, плотниками, столярами, штукатурами, мозаичниками, облицовщиками высокого мастерства. Умели строить быстро, дешево. Ничто не пропадало, горсть мусора, лопата щебня, щепка – все шло в дело. Знаменитый богач триумвир Красс сказочно обогатился строительными подрядами. Красс строил многоэтажные дома для римских граждан. Поэтому так буйно и страшно горел при Нероне италийский Рим. Глядя на красивые дома, немногие знали, что под отделкой скрываются едва связанные обломки камня и деревянное крепление. Деревянные перекрытия не только опирались на стены – они удерживали здание в равновесии, и нарушать единство было чрезвычайно опасно. Но все нуждались в жилье, в лавках, в мастерских, в банях.

Власть казалась вечной, города – каменными. Власть объявляла себя существующей по воле божьей единственно для блага подданных. Точно так же лгали и стены, обольщая глаза мнимой прочностью.

Антиохия считалась после Византии третьим городом Востока, вторым была нильская Александрия. Хозрой уничтожил Антиохию. Персы не били стены таранами и не подкапывали фундаменты. Работал только огонь. После пожара Антиохия так развалилась, что и тот, кто всю жизнь прожил там, не мог найти известных наизусть линий улиц и площадей.

Подобно Антиохии, в дни мятежа Ника погибали густо застроенные кварталы между Месой и Пропонтидой. Подожженные в схватках дома превратились в длительно действующие очаги. Рушась, перекрытия тянули и отталкивали слабые стены. Рассыпаясь, стены снабжали огонь новой пищей и ломали соседние дома. Просаленные полы и перегородки пылали, как фитили. В узких улицах люди попадали в кольцо пламени. Грохот обвалов глушил бессмысленно-тщетные призывы о помощи.

На самой Месе смрад пожара перебивался ароматами мускуса, розы, жасмина, ладана: не все торговцы догадались вовремя спасти запасы своих лавок. Поддельно-каменные колоннады и портики пылали, как факелы. Страшнее людей кричали лошади, забытые в конюшнях.

В подвале, среди глиняных амфор и мехов с винами Архипелага, переплетясь, давя один другого, валялись опившиеся люди. Кто-то бредил:

– Аааа... кожу дерут, дерут, аааа... Оставь, погибаю, оставь, не тронь ногти, добей, добей меня...

– Уууу... все кости перебили, кишки тянут, оооо... скажу, все скажу, пить, оооо...

Пьяницам виделись судьи, палачи; их растягивали на каменных столах; они слышали хруст собственных костей... Это не был страх наказания за бунт, за грабеж и меньше всего угрызения совести. Эпоха снабжает своими знаменами пьяный кошмар.

Когда утробные вопли стихали, было слышно, как сочилась разбитая амфора где-то на самом верху штабеля. Здесь вина хватило бы на мириады глоток.

Красильщик скользил на ступенях, стеклянно отшлифованных босыми ногами. Глубокий аромат вин, смешанный с тяжелым запахом людей, ворчания и вскрики, на влажных балках, как на лесных гнилушках, светящиеся пятна – все делало подвал опасным, подобно западне людоеда. Вход осветили факелом. Его пламени ответил бурный взрыв пьяного бреда. Красильщик выбрал упругий, грузный мех.

Зимняя ночь наступала на город. Стена, преграждавшая доступ в порт Контоскалий, освещалась бликами пожара. Северо-восточный ветер густо и тяжело мчался поверху, под стеной было затишно. Сюда набилось несколько сот мятежников. Закопченные, оборванные, битые копьями и мечами, но без тяжелых ран, они устали до той степени изнеможения, когда больно поднять руку. Никто из них не был в состоянии связать слова для рассказа – и все же они ведь заставили отступить самого Полководца Востока. Отступил Велизарий? Да или нет? Проклятые ипасписты подло зажгли город, да еще помешала усталость...

Сжавшись в кучи, чтобы стало теплее, они делились кусками. Стегнo быка, бараний или свиной окорок, бедро лошади – все равно, голод не разбирает.

Толстые бурдюки с растопыренными ногами, мохнатые, как козлы, вызвали слабое, но искреннее оживление. Вино имело приятный привкус и мужественный аромат. Дубленая кожа хранилища сообщала вину темно-желтый оттенок и запах, ценимый знатоками. Для обитателей Теплых морей вино служило не только для наслаждения плоти. Узнать нёбом и носом родину лозы было искусством, благородной тонкостью, отличавшей ромея от варвара. В грязной таверне нищий оборванец кичился изысканностью вкуса, и люди бились о заклад последнего обола.

Перед рассветом Красильщика разбудило сознание необычайного. Когда он был центурионом Георгием, он, кажется, думал об отдыхе. После двадцати лет строя начинает казаться весьма соблазнительным обеспечение, обещанное законом. Домик на куске земли с сотней виноградных лоз, дюжиной оливок, двумя десятками груш и яблонь, грядкой-другой овощей. Если прибавить к этому десяток солидов выслуженной пенсии, жизнь будет, право же, сладкой. В казармах легионов далеко не всегда вспоминают прежние победы и стремятся к новым, как утверждают вербовщики. При всей расточительности солдат у иного копится кое-что из добычи, подхваченной на пути славы, то есть ободранной с тел на полях сражений и отнятой у мирных жителей.

Когда Георгия уволили, он не нашел себя в списках выслуги. Он встречал нищих с рубцами ран, с мозолями на челюстях от чешуи каски, бывших ветеранами. Но с ним самим, думал Георгий, так не получится.

Судья, обязанный защитить Георгия, обрушил на него тексты законов, в которых ничего нельзя было понять, и за неосторожное слово обвинил жалобщика в неуважении к базилевсу. Судья взял все имущество – сто восемьдесят солидов, но по доброте душевной вышвырнул нищего Георгия целым, сохранив ему пальцы, нос, уши и глаза.

Вычеркнут из списков живых! Пустяк. Людей вычеркивали даже из списков мертвых. Это значило выполнить работу божества, значило превратить человека в безыменную пыль, собрать которую для восстановления истины не властен никто.

В сущности, отставной центурион отделался легко. Вскоре после того, как его ошипал судья, в Филадельфию Лидийскую, где совершилось это заурядное событие, прибыл новый префект Иоанн, прозванный Максилоплюмакиосом за уродливое лицо с челюстями, как у гиппопотама. Иоанн, по слухам, купил у Юстиниана свою должность за пятьдесят кентинариев золота.

Хорошо, что Георгий догадался отдать все сразу. В Филадельфии жил на покое заслуженный легионер Диомид, при Анастасии получивший почетное звание евокатуса.^[19] Максилоплюмакиос обложил Диомида на двадцать статов, хотя по закону евокатусы не платили налогов. Старик упорствовал, защищая свое достоинство, а когда он стал ссылаться на бедность, ему не поверили. Доведенный до отчаяния ежедневным сечением розгами, Диомид обещал выдать золото, якобы припрятанное в доме. Георгию довелось видеть, как Диомид плелся в окровавленных лохмотьях под надзором двух тюремщиков. В своем домике Диомид спустился в погреб, куда тюремщики поленились последовать. Но им пришлось побеспокоиться, так как старик успел задушиться. В бешенстве тюремщики разграбили жалкое имущество Диомида, а тело выкинули на городскую свалку. Боясь Максилоплюмакиоса, люди оставили в пищу воронам тело бывшего ипасписта базилевса Анастасия.

Диомид был хотя человек известный, но простого звания. Префект не пощадил и сенатора Петрония, обладателя коллекции рубинов, сапфиров, изумрудов, камей. По рассказам, они сохранились в роду от тезки Петрония, его предка, любимца Нерона. Максилоплюмакиос велел заковать Петрония и сечь розгами, пока он добровольно не отдаст камни. Филадельфийский епископ Ананий в полном облачении прибыл ходатайствовать за Петрония. Префект выгнал святителя с площадными ругательствами.

Затем по городу были расклеены выписки из законов Юстиниана:

«Пусть подданные платят налоги правильно и безнедоимочно, со всей преданностью, чтобы тем самым показать свою признательность базилевсу. Пусть начальники управляют честно, и тогда произойдет прекрасно-гармоничное сочетание между высшими и низшими».

А внизу новый префект прибавил от себя:

«Принимая должность, я поклялся, чтобы за плохое управление меня постигли участь иудина, проказа Гиезия, и трепет каинов, и вся строгость Страшного Суда».

Сообразив, что дешево отделался, Георгий бежал из Филадельфии. Уже окрасив руки до локтя, бывший центурион узнал, что этот азиатский город был ограблен дочиста и почти обезлюдел.

Орудя деревянными лопатами в дымящихся чанах, отжимая горячие ткани, Георгий постигал тайны империи. Конечно же, варвары для базилевса удобнее своих. Их можно держать, как зверей, в клетках, а рвать они будут, кого им укажут. Стоят они подешевле своих, их меньше нужно. Среди ипаспистов Велизария ромеев немного. Сейчас Красильщик вспоминал одиннадцатый легион с чувством, подобным жалости. Где-то теперь Анфимий Заяц, сохранил ли он шкуру?

Схватив ртом морщинистое горло меха, Красильщик высосал остатки вина. Будто очнувшись со светом, северо-восточный открыл зев бури, посыпался пепел. Где-то кричал человек. Окоченевшие

мятежники просыпались со стонами, с ворчаньем, с ругательствами.

Вода в мандракии порта, защищенная стеной от берегового ветра, лежала как в чаше. Щепки, поленья, обломки корзин, лохмотья, сор,дохлые рыбы валялись, как на грязной площади города.

Стая голубей, срезав зубцы стен, упала на доски пристани. Птица привыкла находить зерна в щелях. Толстоголовый самец семенил, тесня голубку и требуя ласки.

Три египетских судна, на которых возят хлеб, казались продолжением причала. Ни одного челнока, ни лодочки. Вчера беглецы захватили все. На островке, поставленном самим морем для защиты Контоскалия, торчала башня и виднелись коромысла катапульт.

По мертвой воде разошелся круг. Всплыл спиной раздувшийся труп человека... Нет покоя и в смерти.

«Кто я? – спрашивал себя Красильщик Георгий. – И все эти товарищи по мятежу?»

Для империи люди охлоса те же варвары. Но у варваров есть где-то родина, и могилы отцов, и семьи, и гордые предания.

– Охлос! – крикнул Красильщик. Вместо знамени он поднял меч палача. Неплохо для руки в неотмываемом пурпуре.

Самочинное войско отправилось за делом и хлебом. Вслед, шатаясь, пьяные лезли из подвала. Опоздав подняться на ноги, иные тащились на четвереньках. Даже в хмелю каждому было страшно отстать и оказаться в одиночестве.

Ближайшие к Палатию кварталы почти до площади Быка считались крепостью венетов; хотя в многоэтажных домах кишели плебеи, их заработок зависел от богатых, и они привыкли занимать трибуны вправо от кафизмы. Влияние венетов перекидывалось за городские стены, где свободные работники в их виллах-поместьях носили цвета своих хозяев.

Венеты пострадали от первых пожаров, очагами которых послужили тюрьмы, дома судей. Море огня, разделившее охлос и Велизария, охватило кварталы Дагистей и Артополий с окрестностями портов Гептоскалия и Контоскалия. Тут много венетов имели доходные дома, лавки, склады. Громадные убытки вызывали и отчаяние, и ярость. Потерпевшие проклинали базилевса Юстиниана Разорителя, проклинали и себя. Но что сейчас можно сделать! Только желать свержения Поджигателя в надежде возместить хотя бы часть убытков милостями нового базилевса.

Прасины преобладали по Правой илевой Месе, за улицей Палатия, которая пересекала полуостров от порта Елевферия до Палатийских ворот на Золотом Роге. Около портов Юлиана, Гептоскалия и Контоскалия на южном берегу сидели гнезда прасинов – работников и ремесленников, обслуживавших порты и корабли. По берегу Золотого Рога прасины как бы заходили в тыл венетов, заселяя узкий, но плотный квартал Друнгарий, вытянутый по самому берегу у подножия городской стены.

Можно подумать, что строители Византии нарочно убрали за черту стены бедный, деятельный и беспокойный люд моряков, рыбаков, вязальщиков сетей, канатодельцев, лодочников, строителей челнов и кораблей. Отсюда в город, в кварталы венетов, можно было пройти и проехать мощеными дорогами через ворота Ректора, Неория, Виглийские, Перама и Платийские. Во время ссор с венетами друнгарийские прасины или защищали эти проходы, или прорывались в квартал Виглы. Иногда им удавалось потеснить виглийских венетов и добраться даже до площади Тавра.

Как в итальянском Риме лица высших сословий иногда переходили на сторону плебеев, так и в Византии в среде прасинов оказывались сенаторы, богачи, патрикии. Но там они были перебежчиками и

изменниками своему сословию, а здесь представлялись политиками. Наследственная аристократия истощилась вместе со своими традициями.

Утром шестого дня мятежа видные венеты и прасины продолжали переговоры, остающиеся до сих пор бесплодными. Могущество стихийного мятежа потрясало, но никто не мог предложить способа овладеть руководством охлоса. Разрушение для разрушения – это бессмыслица!

Перебирали прошлые обиды. Сенатор Ориген то уходил проповедовать ненависть к Юстиниану, то возвращался и призывал к единству венетов и прасинов. Его слушали внимательно, ибо он выступал каждый раз кратко, и надеялись – сейчас, наконец, Ориген первым решится назвать имя будущего базилевса. Ведь нужен же кто-то для противопоставления Юстиниану. Можно стараться свергнуть владыку, но не во имя пустоты. Базилевсу властвующему необходимо противопоставить антибазилевса, его именем, как рычагом, окончательно повалить пошатнувшегося владыку. Не бывало еще случая, чтобы подданные империи свергали императора не во имя его соперника. Без базилевса нет империи. При всей злобе, при всем презрении к смерти, с которыми византийцы много раз бросались против мечей, чтобы погубить ненавистного базилевса, они всегда оставались подданными.

«Мы остаемся подданными, – думал старшина прасинов Манассиос, повторяя про себя эти слова, как некое откровение. – Назовите же имя! Почему ты сам не называешь его?» – спрашивал себя Манассиос.

Он принадлежал к семье старых христиан, в его роду был мученик Манассиос, имя которого носил потомок. Обученный с детства чтению и письму, Манассиос помнил завет Тертуллиана^[20], отвергшего насилие в делах веры, и на него неизгладимое впечатление произвел гневный выкрик святого Августина:

– Едва лишь принадлежность к церкви христианской сделалась полезной для положения человека в государстве, как многие недобросовестные бросились к святой купели!..

Манассиос погружался в мечты. Древнее христианство казалось ему радостным утешением угнетенных сердец, наставлением, которое размягчало суровость, помогало человеку в муках и делало бессильной смерть. Через богородицу христианство вознесло женщину, нежная подруга мужчины стала равной ему в духе и праве. Потребовав одноженства, христиане освятили брак, заменили римское распутство благородной верностью супругов. Позволив рабу и свободному пить причастие из одной чаши, христианство подготовляло равенство душ. Будучи признанной, церковь христиан нарушила все обещания – насильница, рабовладелица, лживая, продажная. Блудная Феодора неоднократно делала жесты как бы в поддержку монофизитов, а Юстиниан жестоко уничтожает схизматиков. В душе не считает ли этот базилевс не нужным единство веры? Нет, пустое, базилевсы приходят и умирают, как все.

Манассиос не думал выступить новым ересиархом. Он полагал, что ереси будут держаться хотя бы потому, что душа человека не может мириться с высокомерной ложью правящей церкви.

Манассиос был равнодушен к жалобам венетов. Да, они терпели потерю прибылей, да, над ними висела страшная угроза ложного обвинения и конфискации – старое оружие языческих императоров, с горечью вспомнил Манассиос. Но насколько хуже малому люду, который платит новые налоги не с накопленного жира, как богатые, но своим мясом и кровью, истощая бессмертную душу в повседневных унижениях.

После введения монополии на соль префект Евдемоний создал общину продавцов соли из тех мелких торговцев, которые ранее торговали ею из ларьков и вразвоз со спин ослов. Как и в других общинах, торговцы принесли клятву соблюдать честность перед государством. К каждому торговцу префект приставил по сборщику налога, который сразу отнимал две трети выручки. Сговорившись со сборщиками, торговцы начали подмачивать соль, добавляя белый песок. Недавно люди, возмущенные дороговизной и подделками, разбили несколько ларьков, расхитили соль, четыре продавца и три сборщика налога были

убиты. Торговцы хотели бросить безнадежное и опасное дело. Префект Евдемоний пригрозил тюрьмой и денежной пеней.

Жалобы солеторговцев были близки всем. Общины превращались в особый способ изнурения и наказания. Сборщики налогов неотлучно наблюдали, непрерывно считали заработки и часто захватывали именем базилевса все полученное, не оставляя работнику ни одного оболы на хлеб. Люди озлоблялись, бросались один на другого со свирепостью затравленных хорьков. На сборщиков не принимали никаких жалоб, и они спешили наживаться. Их донос считался неопровержимым доказательством. Еще недавно судья Теофан, ныне казненный народом, признал виновным в утайке дохода сирикария Епифана, владельца маленькой красильни с четырьмя работниками, и, применив пытку веревкой, выдавил несчастному оба глаза. Власть, вводя новые налоги, спешила утвердить их жестокостями. Манассиосу казалось, что здесь не было случайности. Юстиниану, как видно, хотелось запугать, подавить волю людей, чтобы одно лишь сохранение жизни и тела, не изувеченного пыткой, мнилось подданному как благо.

В речах Ейриния, не имевшего более прибылей от торговли женским телом, Зенобия, оплакивавшего былые выгоды работорговли, и Вассоса Манассиосу виделась зависть к Юстиниану, высывавшаяся, как исподняя одежда из-под верхней. Язычники были, право же, лучше, они не лгали. Пора прервать речи-жалобы. Манассиос решил:

– Сограждане! Я назову имя того, кто, думаю я, может достойно сменить Юстиниана на престоле. Это... – и Манассиос закрыл рукой собственный рот. Кандидат в базилевсы находился сейчас в Палатии. Назвать его – значило убить.

Манассиос подумал об Ипатии, племяннике базилевса Анастасия. Этот слабый, но добрый человек и образцовый семьянин, славившийся своей честью и умом, увы, сейчас был во власти Юстиниана.

Глава 7

Опоры империи

*Хозяин кормит собак, дабы укротить непослушное стадо.
Для охраны империи нужны воины чуждой подданным крови.*

Из древних авторов

1

Луна рождалась, умирала. Опять появлялся узенький серпик. Светлые ночи сменялись темными, и вновь и вновь луна отбрасывала черные тени дворцов и храмов на дворы и сады Священного Палатия.

Рикила Павел, комес – начальник славянской стражи, и Индульф, недавний помощник комеса, – он быстрее и лучше других овладевал эллинской речью, – сменяли посты. Византия болела мятежом. Солдатам объяснили, что подданные дурно пользуются мягкостью Великого Юстиниана, пекущегося о народе отеческой любовью: ведь собственных детей базилевс не имел!..

Византийская зима. Снега нет, по утрам иней. От стылых стен несет мозглой сыростью, каменные плиты холодят ноги через мягкие подошвы сапог: никогда и ничья громкая поступь не смеет нарушить Священный покой.

Маленькая женщина в хитоне, какие носят слуги или рабыни, ящерицей выскользнула из-за поворота коридора. Места хватило бы и для восьмерых, идущих в ряд, но женщина задела Индульфа и гибкой кошкой прыгнула к Голубу, который шел сзади. Маленькая, головой по грудь солдату, она на миг прижала щеку к позолоченным латам. Вытянув руки вниз и отставив ладони, как плавники рыбки, женщина, извиваясь на бегу всем телом, дразнила мужчин. На тихий свист Голуба она обернулась, раскрыла объятия, и, прижав палец к губам, исчезла.

Комес с улыбкой подмигнул солдатам. Индульф отвернулся. Сердца здешних женщин полны отчаянной смелости и темного страха. В первые месяцы его палатийской жизни такая же маленькая женщина подружилась с ним. Ее звали Амата, что значит – Любимая. Это ей Индульф был обязан своим повышением, так как она научила его ромейской речи.

Рикила Павел шепнул:

– Вперед, вперед...

В темных местах свет давали подвешенные на стенах медные сосуды в виде рогов причудливой формы. В них горела нефть.[\[21\]](#)

Послышался мягкий топот, будто ступали кони с копытами, обернутыми кожей. Трое латников, чернолицых, черноруких, длинноногих, шли медленными громадными шагами. За ними двигались еще трое таких же рослых, но белолицых и длиннородых. Налитые силой, сверх меры обремененные каменными костями и железными мышцами, спафарии, ближние хранители Священного тела, глядели исподлобья, высматривая, кого бы раздавить для защиты Власти.

Вслед им плыл человек среднего роста в шерстяной хламиде, снежную белизну которой подчеркивала пурпурная кайма. Светлые завитые волосы, разделенные по темени, опускались почти до плеч. Светло-серые глаза смотрели поверх голов, будто бы видели нечто недоступное другому взору. Розоватая кожа лица не была тронута обычным для прочих загаром. Базилевс!

Рикила Павел гибко опустился на колени и, не помешав Владыке империи, прикоснулся губами к пурпурному сапожку. Прозвучал поцелуй.

Индульф и Голуб, отступая к стене, выпрямились, расставив ноги в благородной позе воинов, твердо обладающих полем. Юстиниан чуть повернул к ним лицо и едва заметно приостановился.

Надвинулась свита. Все зорко заметили знак величайшей милости: базилевс изволил *увидеть* своих наемников. Повинуясь этикету, который требовал от подданных многократного усиления совершенного владыкой, сановники посылали солдатам улыбки, как если бы встретились с нежно любимыми.

В крайней спешке – нельзя отстать от базилевса – солдатам дарили кольца и желтые кружочки, солиды или статеры, всемирно известные золотые монеты ромеев.

Всем был знаком чеканный облик базилевса и надпись, значение которой понимали тоже все, хотя редко кто умел читать.

Никто и нигде, кроме ромеев, не чеканил золотые монеты, даже Хозрой, повелитель персов и соперник ромеев, не осмеливался этого делать. Люди всех народов привыкли к римской монете. По закону Константина-императора, который основал столицу империи в Византии, из фунта золота изготавливали семьдесят два солида. Базилевс Юстиниан приказал добавить меди в сплав и делать восемьдесят четыре монеты такого же веса и объема. Они так же блестели и так же манили глаз, как старые. Только менялы, ростовщики и сборщики налогов понимали хитрую роль меди, спрятанной в золоте. Гунн и хазар, нумидиец и египтянин, сарацин и перс, франк и кельтибер знали установившийся веками счет: имперский, ромейский кентинарий золота – это сто фунтов, или семь тысяч двести штук желтых солидов.

Базилевс Юстиниан выиграл восемь солидов или статеров на фунт. На каждом кентинарии, который базилевс платил наемным солдатам, поставщикам или которым откупался от воинственных соседей, казна выигрывала восемьсот статеров золота, замененного медью.

Около солдат остановился запоздавший сановник. Его черные волосы курчавились, губы были ярки, гладкий лоб высок. Безволосое лицо явно не нуждалось в бритве, в коже и в углах рта было нечто старушечье.

Протянув Индульфу несколько статеров, сановник с особенным акцентом произнес по-славянски:

– Тебе. Твоим друзьям.

Евнух-сановник Нарзес, Хранитель Священной Казны, славился среди солдат своей щедростью.

Холодный ветер, ворвавшись в Палатий, принес запах гари, напомнивший вместе с золотым дождем о мятежной Византии. Но запах пожара тут же был вытеснен знакомыми ароматами. Дорога еще не освободилась. Опять, подобно медному бивню на носу боевого корабля, шествие начинали спафарии. Но за ними, как дополнительная защита драгоценности даже большей, чем сам базилевс, шаркала стая евнухов. Одинаково острые взгляды из-под морщинистых век одинаково вялая кожа лиц делали эти особенные ромейские существа родными братьями. Руки евнухов прятали в складках хламид кинжалы неизвестной в других землях формы. Рукоятка держала два клинка, направленных в противоположные стороны; две осы, сращенные лбами. В таком кинжале скрывалось особое устройство, позволяющее брызнуть в ранку яд египетских ехидн-аспидов, неотвратимо вызывавший мучительную смерть.

В Палатии было много евнухов; считали, что разум уroda, свободный от страстей, надежнее служит хозяину, чем грубый рассудок мужчины. Да ведь и слуги божьи, ангелы, херувимы, серафимы, тоже существа особого рода, дьявол же – это все знают – мужчина.

За евнухами следовали четыре женщины, одна на шаг впереди других. Под диадемой базилиссы белокурые волосы в золотой пудре лежали тяжелым венцом, как на головах богинь. Феодора удивляла больше, чем восхищала. Лицо ее казалось высеченным из камня, только что заглаженного и отшлифованного. Удивительно длинные ресницы отбрасывали тень на щеки. Маленький рот был скорее детским, чем женским. Она не шла, а стремилась, парила, как сотканная из воздуха. Никто из солдат не мог понять, сколько лет этому существу.

Феодора прошла мимо славян, как проходят мимо стен. Но Индульф встретился взглядом с Антониной, женой полководца Велизария, и ему показалось, что спутница базилиссы чуть-чуть улыбнулась. И Антонина и две другие наперсницы Феодоры – Хрисомалло и Индаро – все три красивые, напоминали

свою повелительницу такой же странной, смущающей свежестью, юностью лиц и ослепительным цветом кожи. На подбородке Индаро был шрам. Говорили, что она испытывала на себе притирания и кто-то отравленной мазью покушался на красоту и жизнь Феодоры.

В обычный час, обычной процессией владыки империи проследовали на утреннее богослужение. Но за собой они оставили необычное безлюдье. Мраморный пол последнего перед выходом из дворца зала оскверняли следы костров. Из пепла торчали обгоревшие обломки скамей, табуретов, кресел. В углах, под закопченным потолком, расплылись нечистоты. Валялись груды обглоданных костей, прутья хлебных корзин и два трупа прислужников-рабов, не угодивших гостям. Вид части дворца, более естественный для покинутой стоянки вторгшегося войска, свидетельствовал о наглой непринужденности готских и герульских наемников. Вчера они были доставлены морем в Палатий и здесь ночевали.

Несколько ступеней вели из дворца в военный двор. Из-за высокой стены доносился ропот далекой толпы. Где-то четко и быстро били в бронзовую доску, из тех, что висят в звонницах около христианских храмов. Удары прервались, слышней стал ропот людского множества.

Готы и герулы грелись на зимнем, но теплом солнце Византии. Рослые светловолосые готы были, как на подбор, людьми зрелого возраста. Рожденные на земле империи, давно потеряв сознание своей племенной особенности, они объяснялись и между собой на военном жаргоне из смеси эллинских и латинских слов. Долголетняя привычка не разлучаться сделала их похожими один на другого. Тяжеловесные ремесленники войны, терпеливые и по-своему добросовестные, они, естественно, отсеяли из своей среды слабых телом и сердцем. Их доспехи и оружие, сложенное в образцовом порядке, в полной готовности к бою, охранялись товарищами, ибо рядом были герулы. Герулы же, не расставаясь с доспехами из толстой кожи под железной чешуей, не находили себе места, как крысы, свалившиеся в пустую цистерну.

Предание об общем предке не утоляет вражду между потомками, даже если предок – родной отец, пример тому – Каин и Авель.[\[22\]](#) Готов и герулов разделяли старые счеты. Каждый гот считал каждого герула гнуснейшим творением бога, герулы же называли готов семенем дьявола.

Однако и те и другие были не только старыми христианами, но исповедовали одинаково догму Ария, который учил, что сын божий был существом совершенным, но не божественным. Империя окрестила готов и герулов еще в годы признания правящей церковью учения Ария. Затем церковь отвергла Ария, но ранее обращенные продолжали держаться веры отцов. Как и все остальные христиане, они считали спасение душ обеспеченным догмой, а не делами.

Миссионеры проповедовали истину варварам, подданные-еретики лишались человеческих прав, имущества и жизни. Но наемников и союзников-федератов правящая церковь не замечала, хотя для спасения их душ не приходилось ходить далеко. Империя ценила не веру, а верность этих своих опор, отчуждение же между подданными и солдатами, как и племенная вражда между отдельными отрядами, ничему не вредило, ибо и ложь бывает во спасение.

Комес герулов, их родовой вождь Филемут, квадратный, кривоногий, заросший до глаз рыжей бородой, остановил Рикилу повелительным жестом:

– Что решено? Что мы будем делать?

– Не знаю, не знаю, – ответил Рикила.

– Не лги! – Филемут понизил голос. – Ты знаешь, и ты должен мне сказать.

Греко-римлянин, родившийся в Сирии, Рикила был строен. Его бритое лицо с носом, продолжавшимся от лба, как у некоторых эллинов, пересекала полоса. Не будь загара, который оставил белой полосу рубца, след железа не был бы заметен. Филемуту посчастливилось меньше: чье-то железо, отраженное краем шлема, скосило кончик носа начисто. Лицо с открытыми ноздрями напоминало кабанью морду.

Как осы на мед, герулы слетелись, чтобы подслушать беседу комесов.

– Я не получил никакого приказа, – возразил Рикила.

Исказившись гримасой, лицо герула сделалось еще страшнее. Он выкрикнул:

– Но что делает Велизарий? И... базилевс?

Филемут хотел сказать, что ему не нравится мышеловка, куда его посадили вместе с герулами, но давка сделалась чрезмерной. Какой-то герул просунул голову над плечом Рикилы, чтобы лучше слышать, самого Филемута толкали сзади.

– Пойдем поговорим, – пригласил Рикила.

Схола славян помещалась в военном доме-скубе, разделенном внутри на кубикеры-комнаты, расположенные по сторонам длинного коридора.

Предусмотрительный зодчий возвел изнутри, перед входом стенку, не достигающую до потолка и шириной на два локтя большую, чем вход. Нужно было повернуть вправо или влево, ворваться же сразу было нельзя – приходилось подставлять спину тем, кто мог охранять вход.

За стенкой был большой зал, освещенный узкими окнами, имеющими вид бойниц, заставленный ложами^[23] и столами для трапезы. Непривычные славяне обрубали ножки лож, превратив их в скамьи. Здесь они собирались, пели, слушали рассказы, играли в кости. Тут же чистили доспехи, добиваясь зеркального блеска – схоларий в полном вооружении блистал огнем. Красивые латы, оружие хорошего железа сами просили ухода за собой.

Индульф и Голуб прошли по коридору в свою кубикеру. Таких спален было почти три десятка, в каждой – приют для восьми человек. Места для сна располагались в два яруса. Товарищи освободились от доспехов. Зевая, Голуб повалился на кожаный тюфяк, набитый птичьим пером, потянулся.

– Имени-то она и не спросила.

– Кто?

– Ящерица эта, краснопятая. Не придет.

– Не эта – другая...

Из-за тонкой стенки, отделявшей клетку-кубикеру от соседней, донесся женский вскрик, сменившийся смехом.

Священный Палатий изобиловал женщинами, смелыми, любопытными, свободными, полусвободными, рабынями. Голодные по ласке, женщины льнули к солдатам. Не только солдат, монахов трудно приучить к воздержанию. И власть и владельцы рабынь не стесняли свободу общения с солдатами, дети увеличивали достояние господ.

Тяжелая система штрафов обязывала подданных к браку. Базилевсы только подтверждали эдикты своих языческих предшественников: империя давно испугалась оскудения людьми. Подданные же уклонялись и уклонялись.

Недавно вкрадчивый евнух вторично соблазнял Индульфа возможностью пира и приятного времяпрепровождения. Безбородый посол, играя роль языческого амура, не был первым соблазнителем, пробиравшимся в военный дом, занятый славянским отрядом. Товарищи Индульфа успели догадаться, что евнухи, опрыскивая тела избранников душистыми снадобьями, стараются убедиться в их здоровье. Индульф опять прогнал жалкого получеловека, неприкосновенного по своей слабости.

Однажды, в начале палатийской жизни, Индульф ответил на призыв женщины. Тогда он едва понимал несколько ромейских слов. Палатий молчал, как осенний лес перед первым морозом. Женщина вела его куда-то, и единственным звуком было ржание лошади в далекой конюшне. Они проходили мимо стражей, шли долго, Индульф не нашел бы обратной дороги.

Им встречались блюстители молчания. День и ночь эти особенные люди в белой, плотно прилегающей одежде скользили повсюду, бесшумные, как совы. Никто не мог сосчитать их, одинаковых, неутомимых. Потом Амата объяснила, что нельзя смотреть на силенциариев, их нельзя замечать. Силенциарий! В этом слове Индульфу слышалось шипение гадюки.

Амата не походила на статуи женщин, украшавшие ипподром. Те были могучи, как женщины пруссов или ильменцев, способные поднять такой же груз, как мужчина. Амата была тонка и бела, как горностаи, пальцы ее ног так же гибки, как на руках, и ногти их так же подкрашены, подошвы нежны, как ладони, а ладони – как ландыш.

В крохотной комнатке Индульф показался себе слишком большим, а кровать Аматы – слишком широкой для такой каморки. В углу теплился огонек перед раскрашенной доской. Рубиновое стекло лампы делало свет красным и розовой кожу Аматы. «Нельзя», – шепнула Амата, когда Индульф захотел погасить огонек. Это было одно из первых слов, которым Индульф научился от Аматы. Важное слово.

Каким-то чудом – потом Индульф узнал тайну палатийских дверей – засов на двери откинулся сам. Силенциарий залетел, как летучая мышь, и так же исчез.

Амата учила словам. Вскоре Индульф смог понять, что таким, как Амата, низшим, нельзя гасить свет лампад. И двери таких, как она, сами открываются перед силенциариями. Но не нужно стесняться белых молчальников. Они видят лишь то, что вредно для базилевса. Индульф познавал законы империи через Амату, первую для него женщину Теплых морей и первую в жизни. На родине он жены не имел, а молодым воинам некогда думать о женской ласке до брака.

Они виделись часто. Индульф быстро учился. Из нежных слов она выбрала лишь два – милете, что так похоже на славянское «милый», и собственное ее имя – Любимая. Впоследствии Индульф понял, что это имя она выдумала только для него, что другие знали Любимую под другим именем.

Женщина-цветок учила Индульфа словам, нужным мужчине для жизни на берегах Теплых морей. Сила, власть, бой, обида, насилие, обман, ложь, клевета, хитрость. И многим другим. Вскоре Индульф начал понимать ее рассказы о случившемся на берегах Теплых морей, о сражениях, о победах одних, о мужественной гибели других. Зная три слова из пяти, Индульф умел догадаться о смысле. Только совсем теряя нить, он прерывал Любимую.

Она терпеливо объясняла, мотылек ее шепота трепетал у его уха, и когда силенциарий открывал дверь, рука блюстителя молчания не прикасалась к губам в знак упрека: шепот обоих не превышал дозволенного. Индульф знал, что за нарушение тишины будет наказана женщина.

Он любил повторять ее имя. Нежная, она звала его Аматом, Любимым. Она умела едва касаться губами его груди, и ему делалось хорошо и чуть стыдно. Иногда она плакала в его объятиях. Почему? С чувством непонятной вины он целовал ее мокрые ресницы.

Она обещала: когда Индульф совсем хорошо узнает все слова, он все поймет, все. Все ли женщины Теплых морей любят, как Амата? Мужчины не делятся сокровенным, Индульф не знал, каковы возлюбленные его товарищей.

Рядом с Аматой он казался себе слишком сильным. Он мог посадить ее на ладонь и поднять одной рукой. Иногда ему странно хотелось быть меньше, слабее, чтобы обнять Любимую, не ограничивая себя бережливой нежностью.

Он быстро учился. Однажды пришла ночь, и он мог рассказать Любимой, как некогда россичу Ратибору, о невозможном. Но что могла понять она в его стремлении? По-настоящему для этого не было слов ни в чьей речи.

Она любила его не за телесную силу, он почему-то знал это. Он же считал, что берет, не обязуясь ничем. Амата рассказывала о солдатах, которые с помощью верных товарищей надевали диадему империи. Это было правдой, она называла имена.

– Они тоже желали невозможного, – шептала Амата. – Твои леса, мой Аमत, мой милете, холод твоих долгих ночей очищают души людей. Что бы ни случилось, ты будешь светел, мой солнечный луч... – И Любимая предсказывала Индульфу величие небывалых свершений, а он, усталый, дремал под сказку женской любви.

Индульф узнал, что Амата родилась в Палестине, в Самарии, но это тайна, ибо в Палатии ненавидят самарян. Ромеи убивали самарян, прогнали их из родных мест.

– Но тогда самаряне должны ненавидеть ромеев, – возражал Индульф.

– Ты еще не умеешь понять, – отвечала Амата так нежно, что Индульф соглашался ждать.

В середине трапезной было устроено возвышение для начальников или почетных гостей. Лучшего места для спокойного разговора не нашлось бы во дворцах Палатия, где некоторые стены имели уши, устроенные по опыту сиракузского тирана Дионисия Древнего. Незаметные снаружи щели принимали звуки голосов и, усиливая, передавали в каморки, где писцы отмечали услышанное. Тайное делается явным, как гласило священное предание христиан. Ловкие люди уверяли базилевса в своей преданности через записи подслушивающих. Поистине бывают времена, когда трудно чему-либо верить.

В такое трудное время Рикила Павел предпочел бы беседу на берегу моря, в поле, после чего можно было бы отрицать не только содержание речей, но и самую встречу. Однако и здесь ничто не могло дойти до чужих ушей. В трапезной находились Индульф и еще несколько славян, но комес не считал это опасным. Славяне почти не знают языка ромеев и не будут прислушиваться к его речам. Рикила свистнул и поднял палец. Один из рабов-прислужников схолы принес глиняную амфору с отпечатком рыбьехвостой женщины на смоле, залившей горлышко, два кубка-ритона в форме головы фавна, медное блюдо сушеного винограда, смокв и слив. Рикила обушком кинжала отбил горлышко, налил в ритоны густое вино. Филемут жадно выпил, сплюнул, засунул в рот горсть винограда. По рыжей бороде стекали капли вина, герул хрустел сухими зернышками, его лицо стало еще более похоже на кабанью морду. Невнятно выталкивая слова из полного рта, Филемут говорил:

– У нас, у него только Палатий. Город не наш. Город, город, очень, очень, очень большой... Говори, ромей! Молчишь? Твой город очень злой...

Отпив вина, Рикила долил Филемуту и ответил нравоучительным тоном:

– Кто держит Палатий, держит и город. Кто держит город, удержит империю.

Ромей думал о неизгладимом впечатлении, которое Византия производила на варваров. Мириады людей, более многочисленных, чем хотя бы все герулы, мириады зданий на берегах пролива. Такое впечатление подобно ране или ожогу: рубец остается навечно и тянет кожу, как шрам на лице.

Комес глянул на Индульфа. О чем он задумался, боится ли он? Наверное, нет. Славяне храбры, а этот – вдвойне, ибо он не знает, что такое мятеж и смена базилевсов, грозящая империи.

Индульф не думал о судьбах базилевсов. Маленькая женщина-ящерица, совсем не похожая на Амату, вызвала навязчивые воспоминания. Любимая принадлежала самой базилиссе. Раба или наемница? Он не знал даже этого. Он хотел спросить, но свидания внезапно прекратились. Дни шли. От гордости он решил забыть Амату. Забыть? Какая-то женщина с закрытым лицом, проходя мимо него, шепнула:

– Твоей Аматы нет более. Молись за нее.

Когда он опомнился, было уже поздно гнаться за вестницей смерти. Молиться! Нет, убить! Но кого? Забывшись, Индульф ударил кулаком по столу. Филемут предложил славянину кубок вина:

– Подожди! Выпей, скоро будем рубить.

Герул, несмотря на кажущуюся уверенность, не так уж был убежден в неизбежности боя. Конечно, спор между городом и Палатием решит сила. Но за кем она? Базилевсы еще не имели мучеников во имя свое. Герул успел сделаться ромеем настолько, чтобы понимать – лишь глупец-неудачник тщится поддерживать падающего владыку. Мятеж длится, Юстиниан колеблется. Он слаб? Утро кончается, приказов нет. Чего ждут?

Еще ночью, вскоре после высадки в палатийском порту, Филемут узнал, что экскубиторы – дворцовая гвардия – заперлись в военных домах, решив выждать событий. Эти дорожат своей шкурой, им живется неплохо, в экскубиторах так выгодно служить, что многие золотом покупали зачисление.

– Привет храбрым, удача верным, и да сохранит нас всех святая троица! – с этими словами на возвышение взобрался Мунд, временный комес готов. Никто не заметил, как он появился в трапезной.

Ливиец по месту рождения, сын колониста-вандала и мавританки, Мунд, что по-латыни значит «мир», «вселенная», начал служить империи лет двадцать тому назад. Ныне удачливый полководец, ценимый Юстинианом за солдатскую бесхитрость, достиг звания магистра-милитум, одного из высших в военной иерархии. По воле беспорядков ему случайно выпало командование малым для него отрядом готов. И Филемут и Рикила Павел были подчинены Мунду.

– А! Божественный велик! – восклицал Мунд. – Он щедр к воинам! Сейчас, при мне, он подписал эдикт о тебе, Филемут. Да, да! Отныне ты, и со всем потомством, есть оно или будет, патрикий империи! Пьем за здоровье Единственного!

Наивысшее звание! Величайшая щедрость базилевса! Филемут захохотал от радости, его сомнений как не бывало. Рикила Павел до кровомщения возненавидел варвара. Злая Судьба! В такие дни ему, Рикиле, ромею, выпало командовать лишь малочисленным отрядом.

– Приказано! – говорил Мунд. – Будем укрощать охлос. Скотине пускают кровь, и она смиреет. Но нельзя убивать ее совсем. Хозяин не истребляет стадо, он учит.

Рикила почувствовал облегчение. Мунд – глупый варвар вопреки успехам и званиям. Щадить, Юстиниан приказал щадить? Не таков этот базилевс, чтобы вслух велеть бить византийцев до последнего, если понадобится. Подданный обязан понимать без слов: сегодня изреченная пощада означает на деле поголовное истребление. Рикила не собирался подсказывать Мунду. Комес славянского отряда нашел себе утешение: если тога патрикия падает на плечи таких, как Филемут, судьба Юстиниана находится на лезвии бритвы. Рикила решил, коль удастся, не ввязываться в драку.

2

Магистр-милитум Мунд, временный комес готов, и Филемут, родовой вождь герулов, новый патрикий империи, вышли на военный двор из скубы славянской схолы.^[24] Евнух, ожидавший у двери, ловко набросил на герула белую тогу с пурпурной рострой. Это был знак достоинства ромейского патрикия и свидетельство внимания евнуха Нарзеса, выполнявшего обязанности Хранителя Священной опочивальни базилевса. Филемут удостоился получить тогу с плеча Божественного, Единственного, Несравнимого Базилевса, Императора ромеев, готов, герулов, франков, властителя ливийского, вандальского, армянского, скифского и обладателя прочих земель и народов. Евнух отступил, любуясь новым сановником империи.

Герулы слетелись к вождю, быстрые, как охотничьи персидские гепарды.^[25] Зашевелились и менее впечатлительные готы. Филемут задрал голову. Его лицо с отрубленным концом носа над оскаленным ртом, с открытыми ямами ноздрей ярко напомнило морду вепря.

– Ха! – сказал новый патрикий. – Одежда дорога, дорога милость базилевса. Но... в овчинной шубе удобнее махать мечом!

Подскочив, евнух присел на корточки. Длинные полы укоротились как-то сами собой, пурпурная кайма охватила пояс. Складки, пришпиленные булавками и подхваченные фибулами, легли на спину. Верх тоги был оттянут, открывая руки. За плечами получилось подобие крылышек. Так римляне издавна укрепляли тогу на латах – удобно и красиво.

«Имей я сегодня восемь сотен варваров, и я был бы патрикием», – завистливо подумал Рикила. Мунд позвал его:

– Ступай за нами, но в отдалении, только для прикрытия сзади. Следи за садами. Ты пойдешь в дело только по моему приказу.

За воротами было уродливое пожарище, закопченные остатки дворца Халке. Задняя стена обвалилась. Обрушившись на полукруглый портик, развалина сшибла колонны и кровлю. Фасад Халке обращался к северо-западу, под углом к Месе, а задняя часть – к юго-востоку. Знаменитый вечнозеленый сад, халкинский лес лимонных и апельсиновых деревьев был выращен опытнейшими садовниками – египтянами. Гладкие стволы, достигая пятнадцати локтей высоты, несли сплошную кровлю глянцевой листвы. С высот дворцов Магнавра, Дафне, Христотриклиния или с крыши базилики Софии слившиеся кроны деревьев казались очарованным лугом. Сад был испорчен. При падении куски капителей и карнизов били деревья, как камни катапульта. От головней, от горячих углей прочная на вид, но нежная листва была изъязвлена, как горелая кожа.

Несколько ручных ланей и оленей, которых забыли накормить, приблизились было к герулам, но отступили, не узнавая двуногих.

Аллею еще охранял Геракл в львиной шкуре. Белый мрамор исчертили угли, бывший полубог держался на одной ноге. Лицо с отбитым носом напоминало Филемута – никто из герулов не сказал о дурной примете.

Какие-то люди прянули из дворца, как звери, почуявшие охотника. Звякнула тетива. Стрела сломалась о камень в проломе. Герулы, взяв горячий след, с разбегу прыгали в широкую щель стены.

Для Мунда самое тревожное заключалось в отсутствии сведений о городе. Воля базилевса была разумна, выражение ее произошло в простых и ласковых словах. И все-таки осталась недомолвка. Однако

было время, когда базилевс сам воевал. Он должен понимать опасность неведения. Он сам служил ипаспистом при своем дяде Юстине, когда под Амидой персы внезапным нападением уничтожили войско ромеев. Главнокомандующий Ипатий бежал с несколькими людьми.

Мунд помнил и бунт при базилевсе Анастасии, когда старый уже повелитель, созвав подданных на ипподром, сам стоял на кафизме без диадемы в знак уважения к воле народа. Тогда Анастасий помирился с подданными и вновь надел диадему по общей просьбе. Юстиниан не таков. Мунд, считая себя настоящим ромеем, видел во всех византийцах грязный охлос. Все же сегодня следовало бы знать силы племса. Вчера Велизария отлично помяли.

Велизарий – соперник. Его неуспех был радостен Мунду. Этот красавчик весьма любит самолично поиграть с мечом. Вот и сунулся вчера, ха-ха!

Ночью Мунда посетил Нарзес, евнух, похожий на мужа. Казначей уже знал о решении послать в город Мунда и Филемута. Между словами Нарзес бросал намеки: пастухи-де не истребляют стада слишком суровым наказанием. Скупец!

Готы подтягивались, разделенные на сотни. Командовали испытанные центурионы, седоусые, облысевшие под касками. Но что это?

Стрелки, погнавшиеся за людьми, которые рылись в развалинах дворца Халке, возвращались бегом. Они тащили труп, размахивая отрубленной головой.

Герулы теснились, слушая рассказ товарищей. Оказывается, один из беглецов был сбит стрелами. Но когда стрелок подскочил к упавшему, раненый сумел приподняться и ударить ножом. Опытные воины, глядя на рассеченную шею, убедились, что неудачливый загонщик испустил дух мгновенно. Он был уже мертв, когда его убийце сняли голову. Перевес встречи оказался за горожанами – они первыми взяли жизнь герула. Дурной знак. Но – молчание. Слова, как известно, помогают угрозам Судьбы облекаться плотью.

Левая, южная сторона площади Августеи граничила с развалинами бань Зевксиппа. Груды камней еще источали дым, как кратеры непогасших вулканов. С северной стороны на площадь выходило здание сената – учреждения, давно лишившегося всякого значения. Звание сенатора давало право на пустые, внешние отличия, за которые продолжали цепляться тщеславие, самомнение, внутренняя пустота и прочие качества, о стойкости которых праздные моралисты тужат веками.

Сенат стоял на возвышении, естественном или насыпном – никто не помнил. Сооруженный по образцу и в подражание сенату италийского Рима, Византийский сенат обладал внушительно-красивой колоннадой. Ступени, широкие, как трибуны ипподрома, опускались к гладким плитам площади.

Справа находилась София Премудрость, очень высокая, удлиненная базилика, храм того типа, который восторжествовавшее христианство переняло у административных зданий старого Рима, прямоугольных, с двускатной кровлей, строгих очертаний.

Портал Софии защищался высокими колоннами, на которые опиралась вынесенная вперед крыша. Двери храма из кедровых досок, с образами ангелов и святых, с сиянием нимбов у глав, с сиянием золота и меди, начищенной до блеска золота, с нежными отсветами серебра, с цветными камнями, были широки, как городские ворота, и высоки, как крепостная стена. Паперть, распахнутый зев храма и сама площадь были набиты людьми.

Опыт вождения войск, опыт власти приучил Мунда в заданный себе миг видеть и слышать только

нужное. Военачальник не должен развлекаться и отвлекаться чувствами. Стрелок и пращник так же погибнут, как стратег, если допустят раздвоение внимания. Мунд позволил себе услышать голос города только на ступенях сената. Тревога бронзовых досок звучала, наверное, и от самых дальних, влахернских Богоматери и Николая. Только твердыня кафоличества, София Премудрость, гудела редкими ударами в ответ на возгласы литургии, свершавшейся в базилике.

К северу от Месы над нетронутыми пожаром кварталами каменный колосс Валенсова водопровода шагал двумя этажами арок вдоль всего полуострова, давая к северу и югу горбатые ответвления, чтобы наполнить десятки цистерн, тысячи фонтанов. За спиной Софии водопровод прикичал к земле, смиренно и обильно питая трубы, фонтаны, запасные цистерны и бассейны Священного Палатия.

Площадь Августеи, Меса, все переулки, проходы, все выходы на площадь были полны людей, как живорыбный садок, который кишит беспокойной разноцветной рыбой.

Готы сзади и справа от сената – между ним и Софией – устанавливались тяжелой и глубокой колонной. Герульские стрелки успели развернуться на ступенях сената. Четыреста герулов заняли две линии, высота лестницы позволяла задним стрелять через головы передних. Остальных солдат Филемут оставил в запасе.

Толпы охлоса отхлынули водоворотами голов в шапках из мохнатого или низкого меха, в колпаках из сукна и льна; в серых, белых, черных, желтых валяных шляпах, острых, круглых, удлинённых, из шерсти овец, из пуха коз, серн, верблюдов, в похожих на шлемы уборах, сшитых из полосок цветной кожи.

Торжественно, шаг за шагом, Филемут наискось спускался с лестницы на площадь. Прикрытый своими стрелками, новый патрикий был сейчас в большей безопасности, чем в палатке среди лагеря.

Перед сенатом в глубину площади очистилось пространство шагов на сто. Дальше охлос не отступил, вероятно из-за крайней тесноты. Готы, как скованные цепью, выдвинулись справа от сената и, перестроившись на ходу в клин, остановились.

Мунд без помехи вышел на поле. Сомнения закончились при виде толпы. Город зависел от воли Мунда. Стадо в руках. Быть может, не так уж нужно пускать ему кровь. Иногда ощущение своей силы делает людей милостивыми, даже самых привычных к резне.

Военачальники встретились у подножия лестницы, как два прохожих на улице. Филемут спросил:

– Я готов. Ударить?

– Нет. Выждем.

Святая София медленно и звучно твердила:

– Бог...

– Бог...

– Бог...

Ускорившись, звон известил об окончании службы. Верующие, пытаясь покинуть храм, давили изнутри. Грубо и сердито теснясь, людские массы плеснули пестрой пеной. Граница, которая, в сущности, совершенно естественно образовалась между войском и демосом, разрушилась, и свободное, ничейное пространство перед сенатом сразу сократилось.

Мунд уселся на ступенях. Тень Обелиска Времени, каменной иглы, вывезенной каким-то базилевсом из Египта, показывала, что до полудня еще далеко. Может быть, эти люди разойдутся. Кто мог ответить Мунду? Сам Юстиниан не знал, что в действительности творится. София Премудрость служила опорой Кафоличества и Власти. Мунд придерживался арианства.

Филемут стоял внизу как часовой. Герул предпочитал седло, но не боялся и пешего строя. Двадцать семь лет есть молодость бойца, если он сумел избежать тяжелого увечья, мешающего воинской службе. Старость еще бесконечно далека.

К Филемуту приблизилась женщина в светлом хитоне из верблюжьего пуха. Шагах в десяти она остановилась, глядя в упор на обезображенное лицо герула.

– Привет благородному патрикию, – женщина кивнула Филемуту как равная. – Скажи, как идет спасение души благочестивой Феодоры, скромнейшей из скромных, целомудренной супруги базилевса? И моей хорошей знакомой?..

Трудно было бы сказать, сколько лет этой женщине. Мази, белила, краски, притиранья позволяли побеждать возраст. Лицо женщины со впавшими щеками, с опущенными углами утомленного рта было еще красиво. Черные волосы, завитые горячим железом, стояли высокой шапкой над зеленой лентой, которая охватывала лоб. Звучность голоса и четкость произношения делали ее слова слышными далеко.

– Что ж ты не отвечаешь? – Женщина еще более повысила голос. – Передай ей привет от меня, патрикий. От Феодоры. Я тоже окрещена Феодорой. Напомни ей: та самая, которая была ее подружкой по Порною. Она тогда заискивала передо мной. Ведь у меня, кроме тела, был голос, она же умела только одно. – Теперь женщина выкрикивала слова так, что они эхом отдавались под колоннадой сената. – Мы называли ее Хитрейшей. Она забралась наверх. Я не захотела цепляться за ее хвост, как Индаро или Хрисомалло. Но слушай, что я скажу. С нас, таких же, как она, ныне дерут оболы налога, чтобы порнайская базилисса мочила свое бывалое тельце в ослином молоке. Э! – издевалась гетера. – Скажи, я согласна купаться после нее. Ведь мы родственницы – по бывшим мужьям! Я могу не брезговать ею. Но пусть она в память о своих подружках освободит нас от налога... на это! – Гетера сделала откровенный жест.

Она позорила базилиску и базилевса с непринужденностью столичной плебейки, которая выплескивает помои на соседку. Мунд и Филемут слушали не мешая. Оба военачальника чувствовали себя сейчас на поле боя: закоренелые солдаты, они относились с презрением к женщине: при всем преклонении перед Юстинианом они дивились вмешательству базилиссы в дела Власти. Гетера развлекала. Она кричала на всю площадь. За меньшее с живых драли кожу, коптили на вертелах и сажали на толстые колья, на которых иные призывают смерть долгими днями. Гетера Феодора умела выбрать время, чтобы свести счеты с Феодорой-базилиссой, которую ненавидели не за ее прошлое.

Гетера отступила. Эти комесы-варвары дают время. Евдемоний сразу заткнул бы ей рот. Так вперед, смелей, победи же свой страх, женщина! Жизнь – клоака, а судьба подлее, чем торговец рабынями!

Женщина с жестами Медеи, проклиная предателя Язона^[26], вложила собственные слова в трагический монолог:

– Но зачем, но к чему я говорю все это тебе, о грязный варвар? Что ты понимаешь, свиномордый! Наемный, тупоумный мясник-людоед... Тога патрикия идет тебе, как диадема шелудивому псу. Что умеешь ты? Убивать? Для этого не нужны ни ум... ни вдохновенье!

Филемут понял с некоторым опозданием, что теперь задела и его. Герул вскинул левую руку, чтобы привлечь внимание, и указал на гетеру. С верхней ступени ударила стрела.

Острие высунулось из спины Феодоры, и она, глядя на оперенье, которое белой лилией торчало из ее плоской груди, улыбнулась. Она успела сказать тихо, но передние в толпе услышали:

– Хорошая смерть... для меня. Приснодева, попроси за меня сына.

Вторая стрела впилась гетере в висок.

Мунд не заметил, откуда свалилась дохлая крыса, которая шлепнулась ему в лицо, так как мятежная

толпа плебса ринулась на ступени сената. Будь здесь Евдемоний, он, как любой префект, опытный в общении с толпами, легко доказал бы Мунду неуместность медлительности: своим выжиданием магистр-милитум приучил охлос к виду войска.

Озлобленный несправедливостью бытия, давимый зрелищем чужого недостижимого благоденствия, раздраженный запахом жирных и острых блюд и виденьем утонченных, как цветы, женщин Палатия, разноплеменный плебс Византии не имел утешений римского плебса. Тот еще довольно долго осознавал себя народом-повелителем, длиннозубым отродьем Ромула.

Взамен византийский плебс, как бык на бойне, оглушался дубинами церкви, поступившей на службу базилевсам. Значение вероисповедных споров было необычайно сильным. Религия языческого государства ничего не обещала за гробом: Гадес служил хладным убежищем печальных теней. Харон относился безразлично и к доблестной мощи героя и к мышцам носильщика. Имперское христианство перевернуло прежние представления. Чем холоднее земная жизнь, тем ближе вечность небесного блаженства. Человек с его потребностью увидеть гармонию, добиться справедливости соглашался с такими чашами весов. Да и так всегда находились мириады, безропотно принимавшие лишения во имя таких дел, как общее благо, выраженное в величии империи, умиравшие без мысли о наградах.

Слово имперской церкви слишком далеко расходилось с делами имперской власти. Сколько ни изощрялись законники и риторы, их красноречие не могло построить мост. Однако же несомненно, что никто и ничто не могло быть противопоставлено порядкам империи, хотя связи между народом и базилевсами давно оборвались. Не напрасно подданные лишены были права иметь и носить оружие. Высокое презрение к смерти бросило сейчас охлос на здание сената. Но каждый на вопрос: «Чего ты хочешь?» – ответил бы только: «Другого базилевса».

...Герулы спускали тетивы, целясь по привычке стрелка, здесь излишней. Филемут бросил запасные сотни в бок охлоса, справа ударил тупой клин готов. Все же вначале стрелки были смяты. Большинство из них, хорошо защищенные железной чешуей, поручнями и поножами, остались невредимыми. Разъярившись, герулы отбросили обременительные щиты. Они кололи и резали с воинским криком, для которого по обычаю служило имя вождя: «Филемут, Филемут!»

Из дверей-ворот храма Софии вышла процессия. Торжественное пенье, величие поднятых крестов и орифламм заставили прекратить бойню.

Звякали цепи и крышки кадилниц, серые струи ладана смешались в мистическое облако, сквозь дымный нимб блестели роскошно переплетенные книги, чаши, ковчежцы с мощами святых, шитье риз и епитрахилей. Шапки, высокие, расширяющиеся вверху, с наброшенным прозрачным облаком из тончайшей ткани, или жесткие остроконечные капюшоны необычайно увеличивали рост духовных. Рычали басы, отвечал нежный хор дискантов, альтов, женственный, прекрасный.

Готы и герулы оставались в бездействии, а процессия казалась бесконечной, несокрушимой. Настоятель Софии Премудрости Евтихий счел долгом пастыря помешать кровопролитию. Он опоздал, тем решительнее он вмешивался.

Для арианствующих готов и герулов кафолическое духовенство Софии было вместилищем гнусной схизмы. Благодать передается только от епископов, исповедующих истинную догму, ложная догма отправляет в ад. Все же наемников смутило препятствие, как новый отряд на поле боя, напавший с тыла. Мунд понял – сдерживать своих нельзя, мятеж расширится еще более. Но базилевс сам кафолик. «А, – решил Мунд, – он скажет, духовные встали на сторону охлоса». Мунд закричал, как на травле:

– О-ля-ля! Готы! Готы!

Седоусые начетчики-центурионы, умевшие поспорить об ипостасях троицы, бросили свои сотни на еретиков:

– Бей единосущных, режь нераздельных, неслиянных!

Герулы тоже не зевали. Сквозь ладан жирно светилось золото, можно пустить кровь никейцам-халкедонцам и поживиться.

Готы с увлечением рубили духовенство. Старому центуриону Арию, окрещенному так в честь законоучителя-александрийца Ария, удалось первым добраться до преподобного Евтихия. Гот рванул наперсный крест с массивным телом распятого и рубинами, изображающими кровь Христову. Цепь не поддалась. Арий пощечиной сбросил с Евтихия высокую митру, сорвал крест и просунул в цепь собственную голову, чтобы не потерять в драке драгоценность, служившую полтора столетия гордостью Софии Премудрости.

Левой рукой держа пресвитера за бороду, правой Арий вдавил в тело Евтихия, который когда-то способствовал обелению будущей базилисы Феодоры, острие меча:

– За твои соборы, халкедонский козел, никейский баран! Бэ-э-э! Иди в ад!

Сбив, растоптав процессию, готы рычали, как хищные борзые, заполевавшие зверя. С орифлами рвали драгоценный шелк, ножами и кинжалами поддевали золотые и серебряные ризы на иконах и священных книгах. Червонное золото сосудов и ковчежцев с мощами плющилось под сапогом – иначе не засунешь под хитоны или в сумку. Рабы-воины, сопровождавшие герулов, ловко раздевали убитых, скатывали ризы, далматики, рясы, хитоны в тючки и забрасывали за спину сетки, припасенные для добычи.

Остатки духовенства своими телами пытались спасти от осквернения раку святой Софии, чтимую византийцами, прославленную чудесами. Вера в мощь пальцев святой, хранившихся в раке, была столь велика, что клир с ее помощью собирался укротить безумие восставшего народа и смирить кровожадность войска.

Тридцать диаконов и тридцать мирян держали священный саркофаг на шестах из кипариса и пальмы. Солдаты ринулись на завоевание сокровища, как некогда, по свидетельству Библии, непокорные Моисею евреи – к золотому тельцу. Живая стена безоружных была растоптана, как камыш стадом буйволов. Рака рухнула, давя и калеча последних защитников пятьюстами фунтами своего веса. Несколько носильщиков встали над святыней с обломками безобидных палок в руках, какой-то богатырь-диакон со свистом вертел, как гирию боевого кистеня, тяжелую панагию на серебряной цепи.

Ракой овладели готы, закрыли добычу в строю, передали в тыл. Где-то в здании сената сорвали крышку раки, вышвырнули мощи, рубили и ломали золото, выколупывали цветные камни и жемчужины, сплющивали дно, стенки, крышку.

На трупах перебитого духовенства вспыхнула опасная драка – герулы требовали свою долю здесь же, на месте. Несколько человек уже упали, герульские стрелки выбирали позицию, чтобы перестрелять готов. Усмирение мятежа грозило превратиться в драку между отрядами наемников. О мятеже все забыли. Мунд и Филемут хлестали плашмя одичавших солдат, комесам помогали центурионы.

Софийская бронза больше не взывала к богу. Храмовые доски кричали: «Бей!»

Византийцы называли звук этих бронзовых бил Голосом. Южный ветер носил его до Евксинского Понта, северный – по всей Пропонтиде. «Бей!» – призывал Голос. Десятки подголосных досок звали на помощь, как перепуганные дети.

Трое колоссальных спафариев в белых палатийских плащах на латах, в золоченых касках с решетками, опущенными на лица, протолкались к Мунду. Поднятая решетка открыла смуглое лицо, курчавую бороду и желтоватые белки глаз в тяжелых веках. Арсак, центурион третьей сотни избранных телохранителей Божественного, сказал Мунду:

– Единственно Непобедимый хочет знать...

– Передай, – перебил Мунд, – клир Софьи пристал к охлосу, я утопил его в крови. Теперь пойду дальше и успокою город.

– Шум раздражает тончайший слух Величайшего, – намекнул Арсак на Голос.

Мунд ответил ругательством, он не нуждается в подсказках. Арсак смиренно склонился перед магистром, который был на полторы головы ниже спафария. Мунд сегодня – главное лицо. Ходил слух, что Велизария ждет немилость. Тогда никто, кроме Мунда, не будет назначен главнокомандующим Востока и Запада. Дерзкий, подобно всем спафариям, Арсак проглотил обиду, как спелую сливу.

Арсак знал, где ахиллесова пята знаменитого Велизария: его считали римлянином. Ему охотнее, чем другим полководцам, подчинялись легионы, сформированные из коренных подданных империи. Византийский плебс делал плохую услугу Велизария бурными приветствиями трибун ипподрома. Мунда, Филемута или его, Арсака, никогда так не встретит охлос, какие бы высокие звания ни даровал им базилевс. Это хорошо...

– Прости, могучий, я неудачно сыграл на флейте, – извинился центурион спафариев. – Единственно – усердие и почтение к тебе... Но – не соизволишь ли ты?

Арсак подал Мунду серебряный кубок, другой спафарий наполнил его вином из маленькой амфоры, оплетенной ивой.

– Внимание Нарзеса, – шепнул Арсак. – От него же, – центурион спафариев протянул Мунду кольцо с аметистом, приносящим удачу. – И еще через Нарзеса... Сверхвеличайший сказал: «Да опустит верный Мунд всю тяжесть меча на охлос. Христос-спаситель изберет виновных и сам отведет железо от невинных».

3

Арсак решил задержаться, чтобы видеть, как заткнут глотку Софии. Здесь было интереснее, чем на ипподроме. Арсак исполнял обряды церкви и считался кафоликом. Но единственное воспоминание детства – разгром несторианского храма в Феодосиополе, учиненный гарнизоном по приказу нового кафолического епископа, – каким-то капризом человеческого сознания оставило в Арсаке неприязнь к кафоличеству. Сопровождавший Арсака гигант негр был, по мнению центуриона, тайным язычником, а мавр, быть может, и донатистом, как многие африканцы. В сотнях спафариев властвовало братство. Холимые базилевсом, имевшие доступ в святая святых Палатия, спафариин были сплочены жаром всеобщей к ним завистливой ненависти.

Сторожевая служба выработала у спафариев привычные позы спокойного ожидания. Трое колоссов с решетками вместо лиц казались скульптурной группой, поставленной для украшения сената. Центр площади Августеи занимали статуи: мать Константина – Елена и серебряная Евдоксия, жена императора Аркадия, при котором империя распалась на Западную и Восточную. Чуть сзади и левее императрицы четыре колонны поддерживали купол с лепными атрибутами войска: мечами, касками, щитами, латами, бичами и боевыми колесницами. Это был Милий, подражающий италийско-римскому, – срединный холм, или курган, от которого начинался счет стадий всех дорог до всех границ империи.

Будто придя от всех границ, будто одолев все дороги, византийцы набросились на забывшихся наемников. Не одно войско погибало, рассыпавшись для грабежа, захлебнувшись добычей. Но здесь нападающий был слаб, а грабитель слишком крепок оружием и боевой привычкой. Готские сотни, чуть дрогнув, отошли, чтобы восстановить строй. Герулов же, более привычных к конному бою, чем к пешему, толпа захлестнула. Как счел потом Филемут, он потерял в этой схватке более половины из тех, кого ему пришлось лишиться в своем отряде за весь многотрудный день.

Часть мятежников под натиском готов отступила к паперти Софии. Спафариин видели черепицу, которая падала с кровли, блестя позолотой. Мятежники разрушали кровлю базилики, чтобы бить готов. Готы же, прикрываясь щитами, как под вражеской крепостью, рвались в двери – ворота такие широкие, что сорок человек могли войти туда строем.

Софийская звонница помещалась с левой, восточной, стороны, в круглой башне с крышей на высоких столбах, чтобы вольнее звучал Голос. Вдруг он смолк. Молчание воспринялось как внезапная глухота. Слух, измученный дрожанием бронзы, отказывался сразу принять другие звуки.

У спафариев не стало повода длить развлечение. Кучка мятежников еще сопротивлялась, зацепившись за Милий. Герулы гнали толпу к началу Месы, вдоль развалин бань Зевксиппа. Спафариин побежали к Палатию сажеными прыжками. Последнее, что заметил Арсак, – комес Филемут не понял, что следовало загнать мятежников в западную ипподрома, где они пропали бы, как куры. Как сказать базилевсу об ошибке герула и насолить новому патрикию?

Спафариин бегом одолели сад Халке. Солдаты Рикилы Павла, почти так же роскошно одетые, как спафариин, бездельно топтали траву, побитую заморозками.

Часовые посторонились перед спафариин. Во дворе Арсак наконец додумался, как быть. Он побаивался Юстиниана, который не любил слишком умных. Базилевсу он доложит только о виденном. Потом Нарзесу расскажет о Филемуте. В промахе виновен и хитрый Мунд. Казначей любит военное дело и понимает в нем. Нарзес лучше самого Арсака повредит обоим начальникам. Готы поживились церковной утварью. Сказать Нарзесу? Конечно. Казначей, следя за путями каждого фунта золота, не забывает помощников. Евнух щедр, как настоящий мужчина.

Внутри базилику Софии разделяли по длине четыре ряда колонн. Два внутренних ряда составляли колонны, столь искусно суженные кверху, что создавалось ощущение грандиозной высоты здания. Желавший победить обман чувств вглядывался, чтобы разрушить иллюзию, в резьбу капителей, в живопись потолка. Но это было возможно лишь утром. В сумеречные часы само множество трепетных огней свечей и лампад обманывало глаз сиянием без теней.

Боковые колонны служили опорами для хоров, горних мест, забранных решетками, и гинекея.[\[27\]](#)

В дни патриарших богослужений в гинекее скрывалась базилисса, и к ней святитель торжественно поднимал крест, дабы раньше всех верующих владычица невидимо, в духе лобзала распятого.

Обитель Церкви Правящей, Церкви Высокой... Более двух столетий на нее изливались щедроты Палатия. Два цвета – багряно-красный пурпур базилевсов и желтый – императорских статов – разливались на стенах, колоннах, резьбе, ризах икон, поликандилах, люстрах, лампадах, решетках, балюстрадах. Только балки, образовавшие сложными переплетениями опору крыши, были густо-сини, под цвет небес. Россыпь звезд над алтарем изображала монограмму Христа и крест, какими они явились императору Константину Равноапостольному в известном видении.[\[28\]](#)

В базилике наемники столкнулись с ожесточенным вначале сопротивлением охлоса. Сколько там сбилось мятежников, тысяча, две, три, – осталось известным богу. Готы очистили храм до самого алтаря. Возвышение перед святой святых и охранявшая его балюстрада позволили задержаться сотне или двум людей. Они отбивались от готов топорами, дубинами, совали ножи на шестах, пытались достать самодельными копьями лица под касками.

Здесь оказались и какие-то воины в латах, со щитами и оружием римского образца. Может быть, это были счастливцы, которым досталось оружие разгромленного когорта одиннадцатого легиона. Может быть, и сами легионеры – мятежи полны неожиданности.

Пестро, кое-как, но все же вооруженные, эти мятежники выжили дольше других; и в стадах загнанных облавами животных сильнейшие отбиваются злее, падают последними.

Именно здесь был особенно силен натиск готов – они знали, чего ищут. Обломки балюстрады иссекли и затоптали вместе с защитниками. Закрытые наглухо царские ворота разбились.

В алтаре несколько священников, подняв кресты в надежде остановить разгул солдат, сделали еще одной потехой для арианских мечей. Солдаты помнили, сколько арианских священников мученически погибли при разорении арианских храмов! Догма Ария имела своих святых, погубленных руками кафоликов. Готы ныне пользовались случайной, редкой удачей. Где-то здесь должна быть сокровищница Софии Премудрости, кладовые запасных риз, епитрахилей, не гнувшихся от золотого шитья, лампад рубинового стекла в драгоценных оправках, священных сосудов, приношений верующих и казна!

Полукруг узких и низких дверей с иконами апостолов во весь рост скрывал, конечно, входы в хранилища. Сопротивление твердого дерева и железных листов разожгло жадность. Центурион Арий распорядился взять для таранов столбы надпрестольного балдахина.

Стоило жить и десятки лет тереть челюсти чешуей каски, стоило парить тело под латами, кровенить косточки щиколоток железными пластинами поножий, чтобы увидеть такое!

Только одна дверь из двенадцати обманула вождения золотоискателей. Горы папирусов, пергаментов и старик евнух, который осыпал готов непонятными словами и достаточно понятными угрозами!..

Кто же из солдат, даже центурионы, даже сам Мунд, мог понять, что евнух носил высокое звание скевофилика – Хранителя актов империи, а разбросанные готами в поисках ценностей листы с печатями, переплетенные в доски книги, сложенные в высоких шкафах папирусы – весь этот мусор, не стоящий для воина и медного обола, заключал в себе нечто более ценное, чем глупые цветные камни и беспримесное золото церковной утвари?

Здесь хранилась переписка Констанция Хлора, сыном которого был Константин, письма Галерия, Диоклетиана, Максенция и самого Константина, дела суда над старым Максиминем Геркулом, записки Феодосия, переписка могущественного Руфина, действительного правителя Востока при Аркадии, убийцы и преемника Руфина евнуха Евтропия, Стилихона, такого же всесильного временщика при императоре Запада Гонории, все дела базилисы Пульхерии, акты и записи, открывавшие тайны победителя Атиллы Аэция и причины гибели самого Аэция. [\[29\]](#)

В пальмовых шкатулках можно было найти тайные донесения тайных послов и совершенно секретные доклады явных посланников, обнаруживающие, что цели послов слишком часто бывают иные, чем объявленные в именных указах. Донесения о восстаниях самарян, и иудеев, и африканских войск. Записи допросов, сведения о числе восставших, точные сообщения о кощунственном желании некоторых рабов в Ливии покончить с властью империи. Акты вселенских соборов, подлинные записи решений отцов церкви, впоследствии измененные по воле базилевсов, осуждения ересиархов, исследования для причисления к лику святых.

Сберегались здесь и анналы – погодные записи больших и малых событий, эти свидетели сегодняшнего дня, уже превращающегося в день минувший, эти творения безыменных авторов, которые, разрастаясь, подобно годичным кольцам деревьев, будто сами собой дают драгоценный материал для истории. Не лишены лукавства и криводушия, как многие дела человека, записи эти вопреки своему несовершенству бывают дороже дыхания тому, кто в бескорыстном поиске правды не побрезгает и тайной священных опочивален базилевсов.

Лучшим местом для сбережения ценных писаний служила, казалось, заалтарная кладовая Софии. Хранитель актов империи носил белую хламиду служителей Палатия; готы знали, что евнух не может быть кафолическим клириком. Сначала солдаты отталкивали скевофилика, как вещь, которая мешает. Но брань и угрозы раздражали, и кто-то раздробил безволосое лицо рукояткой меча.

Забившись на хоры, остатки мятежников завалили крутые лестницы скамьями. Крыша снабдила черепицей. Тяжелые плитки снова посыпались на готов, но солдаты уже ощипали ризы с икон. Масло из разбитых лампад разливалось, огоньки заплясали на ларях с мелкой утварью, свечами и фитилями. Загоралась деревянная резьба. В пробоины кровли, где была сорвана черепица, тянуло, как в трубу.

Телохранитель-ипаспист Мунда передал Арию какое-то распоряжение, уже ненужное старому, бывалому солдату. В ответ центурион указал на алтарь, полный дерева. Оттуда выбросились такие языки пламени, что звезды на потолке сразу почернели.

Готы отходили, разбрасывая пачки свечей, разливая лампадное масло. Затлели лари с ладаном. Удушающий дым затягивал базилику, исчезали балки крыши, более толстые, чем человеческое тело. Из Софии Премудрости хлынули дымные реки, пахло ладаном. Погибая, базилика кадила сама себе.

Последний десяток готов ушел из храма, превращенного в геенну огненную, подобно Содому и Гоморре. Впрочем, огонь очищает. Добыча, взятая усмирителями на Софии Премудрости, зачтется мятежникам, которые, как известно, всегда устраивают пожары.

Впоследствии анонимный автор, обратившись к событиям своей бурной молодости, писал, подражая формам, завещанным его древними предшественниками:

Отцы-сенаторы, шею свернув основателю Рима,
прочим сказали: боги на небо взяли великого Ромула.
А сами, тело убитого расчленив на кусочки,
его разнесли по домам, под одеждою, скрытно.
И скормили останки свиньям да птице домашней...
Перед подвигом этим насколько же мелки
дела поджигателей!

С драгоценным крестом патриарха, мотавшимся по железу нагрудника, как золоченая бляха на латной груди боевого коня, центурион Арий выскочил из базилики.

Ослепленные дымом, мятежники уже не могли бить готов черепицей, да и не до того им было. Лестницы пылали, огонь отделил от мира всех, кто забрался наверх. Там происходило самое обычное для всех войн и всех восстаний.

Тела людей, чьи имена остались неизвестными, падали на мостовую. Но не все искали такого убежища от мучительной казни огнем и удушьем. Иные с удивительным упорством, отличающим человека, не верили в смерть. Цепляясь за швы кладки стен, они пытались сползти вниз и еще раз схватиться с Властью.

Другим в сером дыму мнились белые крылья архангелов. С криками отчаяния боролось молитвенное песнопение: «Боже мой, в руки твои предаю дух мой!» Исполняли его мужские и женские голоса.

Центурион Арий безошибочно указывал, куда отнести добычу, скольким остаться в охране, кому вернуться в строй. Он не был бы ни начальствующим, ни даже солдатом, не умеи он распорядиться сохранением добычи. Воюют, чтобы добывать.

Филемут занял левый от сената край площади Августеи до самого начала Месы. Сама Меса казалась пустой. Герулы, сочетая удар стрелы и меча, приняли такое же построение как вначале, с той разницей, что стрелки расположились на развалинах бань Зевксиппа, а не на ступенях сената, а меченосцы ждали на площади, чтобы прикрыть стрелков.

Мунд видел бездействие стрелков – не было целей. Но и вперед они не идут, значит остерегаются неожиданности.

Правая сторона Месы, не тронутая пожаром, представлялась подобием сплошной стены, но изрытой, как пчелиные соты. Портки служили кровлей для двухэтажных лавок серебряников, менял, торговцев благовониями, пряностями, тканями, восковыми свечами, сладостями и едой, мелочами обихода, обувью, платьем. Выше портиков – окна, окна и окна дворцов, многоэтажных домов. Ворота и въезды, узкие и широкие проходы, проулки, тупики, щели, берлоги – только жившие здесь не рисковали заблудиться в густозастроенном и, пожалуй, самом богатом из старых кварталов Второго Рима. Когда-то этот квартал был опоясан восьмиугольной стеной и сохранил уже потерявшее значение имя Октогона.[\[30\]](#)

Купцы и торговцы постарались в первые дни мятежа унести и вывезти товары. Что осталось – было походя растащено. С купола Милия комес Мунд видел распахнутые двери, остатки сорванных ставен. Видел он и сплошную толпу на площади Константина, перед входом Месы. Мунд не удивлялся упорству мятежников, византийский плебс имел старую славу.

Полководец, двинув четыре сотни своих готов, наблюдал. Двести шагов, триста, четыреста. Головная сотня равняется с развалинами. Герульские стрелки остаются сзади. А! Вот что он хотел знать! Из всех отверстий Октогона посыпались вооруженные. Как? Со щитами, в касках! Мунд со своими ипаспистами побежал вдогонку готам.

Когда-то, по старым законам, отряды городской стражи, ополченцы, называемые демотами, так как

их содержал не базилевс, а городские общины – демы, носили оружие. Теперь это оружие, по указанию какого-то случайного хранителя тайны, разыскали в забытых и замурованных склепах-тайниках ипподрома под трибунами, за конюшнями и звериными клетками.

Железо и медь впитали запах нечистот, клинки разъела ржавчина, иные мечи превратились в подобие пил, а кинжалы, очищенные от коросты, стали похожи на веретена; дерево щитов отрухлявело, ремни рассыпались, латы ломались в руках, из касок выпадала гнилая кожа. Но все же это было настоящее оружие – для безоружных. Его наспех чинили, в дыры щитов, проеденные червями, продевали веревки, кузнецы выправляли и подколачивали, что возможно.

Времени не было.

Желавших сражаться оказалось куда более, чем оружия. Однако к раздаче не успели почти все, кто считался красой и гордостью состязаний, кто служил знаменем соперничавших партий ипподрома. Спрятались знаменитые атлеты, борцы, гимнасты, мимы, великолепные в ролях героев. Да и длинноволосые смельчаки в хитонах с раздутыми рукавами, гроза ночных улиц, тоже не слишком пополнили ряды самочинных демонов.

Старшины кое-как столковавшихся прасинов и венетов, в сущности, никакой власти не имели и спешили, может быть чрезмерно, скорее пустить в ход упавшее с неба вооружение. Минувшей ночью оружие удалось вывезти с ипподрома, и старшины послали несколько добровольцев прокричать призыв. Ранним утром на площади Быка, где происходило распределение оружия, возникли много ссор. Сумрачность, озлобленность византийцев всегда удивляли новичков, пока Второй Рим не перемалывал и их всеобщей жизнью без завтрашнего дня, всеобщим соперничеством за один кусок – на четверых.

Бывшие легионеры раньше всех успели вцепиться в оружие. Сбившись к самодельным значкам, поднятым самыми догадливыми, они опознавали друг друга по свойственным войску словечкам, по неподдельным приемам, с которыми человек брался за щит, за меч. Старые легионеры с презрением отогнали льнувших к ним ремесленников, торговцев, рабов, уже возомнивших себя свободными. Кого-то побили, отняв годный для дела меч.

Многое было ошибкой, руководить было некому. Бессильные старшины метались между отчаянием и надеждой.

В толпе выкрикивали имена случайных людей, якобы пригодных в соперники Юстиниану. Их сейчас же забывали. По городу порхали слухи о войсках, вызванных Юстинианом. Кто-то прибыл из Гераклеи Европейской, где видел своими глазами четыре десятка трирем и стаи галер, поданных для федератов-варваров. Ссылаясь на якобы всем известного хлеботорговца Николая, утверждали, что не в Европейской, а в Пафлагонийской Геракlee исавры ждут, только бы унялось волнение на Понте. В Никее и Никомедии Вифинийских грузились галаты и армяне. Конницу федератов-гуннов видели между Филиппополем и Юстинианополем.

Для многих было несомненно, что Палатий должен распространять слухи, пользуясь устами шпионов, соглядатаев. И все-таки Второй Рим ощутил себя окруженным. Ворота в городской стене со стороны суши заваливали чем придется. В портах ломали причалы, чтобы затруднить высадку. Казалось, петля уже наброшена, и, как всегда, поспешность была единственным спасением от страха. Отступить некуда: нет щелки, чтоб спрятаться от победившего Юстиниана – если он победит.

Повсеместно продолжали расправляться с теми, на кого указывали, как на шпиона, на служащего префектуры, на сборщика налога. Нетрудно было сводить и личные счеты, пользуясь общей ненавистью к тайным опорам Палатия. Но несколько сотен растерзанных иуд не могли исчерпать тысячные ряды соглядатаев.

Демарх общины-цеха кузнецов Аровелиан и демарх ткачей Менос вызвались вести демотов. Третьим просили быть Тацита. Чувство чести и долга не позволило патрикию отказаться. Всего набралось до полуторы тысяч мечей. Старшины венетов Ейриний и Зенобий потребовали, чтобы из приверженцев голубого цвета составили отдельный легион. К их гневу, демоты успели перемешаться, люди не захотели считаться с цветами. Потом Аровелиан поспорил с Меносом из-за бывших легионеров, и решено было делить командование отрядами по жребию. Но легионеры заявили, что пойдут только за Тацитом. Византийский плебс знал скромного патрикия.

Едва только случайные стратеги успели назначить центурионов и отобрать себе ипаспистов для управления и охраны, как пришли вести о вылазке палатийцев на площадь Августеи. Городские стратеги успели кое-как занять Октогон, а в остальном положились на гнев плебса и милость всевышнего.

В церквах священники молились о мире: да ответит бог от города десницу, явственно карающую за грехи, за блудное распутство, за корысть и немилосердие, за зависть бедных и за жадность богатых, за пышную надменность и за унижение образа божьего в образе человеческом, за лихоимство и за мзодательство, за злобу и лукавую ложь, за кощунственное обоготворение и за непокорство властям предрержащим, за безжалостность и за гордость мысли...

Погас Голос Софьи Премудрости. Весть о гибели святой базилики огненным ветром обожгла сердца кафоликов. Настоятели храмов Михаила Архангела, Богоматери Халкопрачийской и Богоматери Влахернской осмелились без благословения патриарха провозгласить анафему. Имен не назвали, но трижды прокляли, трижды отлучили виновных, которые ведомы богу.

На улицах и площадях бесприходные священники, затаившиеся схизматики и монофизисты, несториане, яковиты, манихеи и другие возглашали анафему Юстиниану и призывали верующих низвергнуть базилевса-демона.

4

Опасаясь засад, солдаты шли левой стороной Месы, вдоль еще курящегося дымом хаоса, в который пожары превратили южные кварталы. Дворы, улицы, переулки были непроходимы. Справа готские наемники охранялись от Октогона цепочкой дозорных. Опытнейшие воины, естественно отобранные во многих боях империи, они были отличным образцом боевой силы империи, кость которой составляли варвары.

Демарх-ткач Менос спрятал свою «когорту», как уже называли себя демоты, так глубоко в Октогоне, что сам не заметил движения готов по Месе. Начальнику второй когорты Аровелиану повезло еще меньше. Заглянув за стену пышного дворца фамилии Лавиниев, дозорные заметили демотов. Засада сорвалась. Аровелиан подал сигнал нападения. Пятьсот новичков, считая, что достаточно надеть каску и взять меч, чтобы добиться победы, пылко ударили на готов. Без выучки, без строя демоты устремились кучей, мешая один другому. Наемники расступились и пропустили их, а потом взяли в кольцо на середине широкой Месы. От полного истребления отряд Аровелиана спасли демоты Меноса, случайно сумев организовать неожиданную вылазку.

Когда Мунд появился на месте схватки, уцелевшие демоты бежали к площади Константина, а готы благоразумно воздержались от преследования. Улица была забросана телами демотов, но отдали дань мечу и готы, резко отличающиеся темным цветом лат и одежды.

Несколько десятков солдат сноровисто чистили поле боя. Ударом в горло они оказывали милость чужим раненым, а своих относили в сторону, чтобы потом позаботиться о живых и предать погребению мертвых. Все кажущееся ценным они срывали с тел демотов и бросали в кучи.

Мунду предстояло решать. Он мог размышлять не спеша. Неопытный противник не умел предложить бой, ожидая, пока на него не нападут. Отсюда хорошо просматривалась вся площадь Константина. Там Мунд видел море людей. Площадь хотела втечь в Месу и – не решалась. Мунду казалось, что колосс Константина медленно уплывал к востоку, отталкиваемый мириадами ног человеческого множества.

Полководец, прошедший большую часть своей жизни в провинциях, много раз бывал и в столице. И никогда до сих пор он не ощущал себя на конце узкого полуострова, осажденного морем. Мунд не любил жидкую стихию за изменчивость, за исполненную сил бездну под ногами, бороться с которой выше мужества и сил человека. В юности Мунд тонул, его вытащили полумертвым. Дать здесь себя разбить – значит быть сброшенным в море. Нет, нельзя идти на площадь Константина! Где же сын? Маврикиос, львенок! Он так похож на умершую мать-гречанку. Никакая победа не возместит потерю сына.

Минута слабости окончилась. Просто – не двигаться по Месе, оставив в тылу Октогон. Спокойствие. Нечего совать сына под дубины охлоса. Но почему герулы торчат, как стая праздных ворон, на развалинах бань Зевксиппа!

Мелкими шажками комес герулов подходил к Мунду.

– Мои недовольны и – в ад всех святых, клянусь хвостом сатаны! – объяснил Филемут.

Мунд привык не замечать уродства герула, но сейчас поразился выражением свирепости. Как-то в дебрях Паноннии конные загонщики выжимали из дубового леса диких свиней. Мунд ждал на пне дерева, сломанного бурей. Горбатый кабан подошел вплотную и, чуя неладное, с усилием поднял голову. Глубокие ноздри казались черными дырами. Человек и зверь встретились взглядами. Мунду запомнилась злоба, медленно разгоравшаяся красными огнями внутри бледных глаз.

– Ты сумел сунуть герулов под горячие колотушки, а кусок рванул себе. Ты сумел! –

Двадцатисемилетний герул-патрикий Филемут выставил левое плечо, как мальчишка перед дракой. – Ты отдашь десять кентинариев чистого. Честная игра!

– Откуда? – возразил Мунд.

– Ты жаден! Одна рака весит шесть кентинариев. И внутри Софии ты взял тридцать, нет пятьдесят кентинариев. Тебе жаль дать нищим герулам пятую часть?

– Ты преувеличиваешь, патрикий, и не считаешь этих, – Мунд указал на убитых и раненых солдат.

– Тем больше для дележа, – привел Филемут обычный довод. – Считаю иначе. Сколько легло моих, когда ты ошипывал Софию? И кто тебе очистил место? Что ты будешь делать без герулов? Мы устали. Мы изнемогаем от жажды. Мы голодны. Мы будем отдыхать.

– Ты получишь десять кентинариев, – согласился Мунд.

Герул отвел глаза и через мгновение сказал:

– Если тебе нужен совет, вот он. Это, – Филемут указал на Октогон, – мириад нор, ходов, переходов. Узко, как в колодце. Стрелка проколют раньше, чем он наложит на тетиву вторую стрелу. Ты же видел там засады.

– Так что же ты предлагаешь?

Оба понимали – смысл дня не в обещанном по желанию базилевса походе до площади Тавра. Нужно сломать кость мятежа. Судьбу и в поле и на стене крепости решают лучшие мужеством ряды. Когда их уничтожают, все падает будто само собой...

Легкими стайками, подражая конному построению, герулы бежали к площади Константина. Отдавая должное солдатам, Мунд презирал герулов как низкую расу. Совсем недавно они блуждали где-то около Истра-Дуная, ублажая человеческими жертвами и старых своих богов и нового бога в лице трех ипостасей Христианской троицы. Своих больных и престарелых они приканчивали. Их жены, по обычаю и во избежание позора, сами удавливались на могилах мужей. Однако герулы сумели победить и обложить данью лангобардов. При Анастасии они без всякого повода напали на своих данников. Сверх ожидания герулы были не только побиты лангобардами, но истреблены на три четверти. Некоторое время остатки герулов укрывались в землях близ Норика^[31]. Но тут на них обрушились гепиды. По просьбе герулов, ставших совсем малочисленными, Анастасий разрешил им переправиться через Истр и как федератам империи осесть на опустевших землях готов. Впоследствии грабежи и насилия над соседними ромеями вынудили Анастасия предпринять поход против разбойных федератов. С тех пор усмиренные избиением и окончательно обессиленные герулы жили мирно. Юстиниан охотно нанимал герулов, давая выход их опасной энергии. При нем герулы заметно оправились.

А! Герулы бегут обратно! Хорошо, так нужно!

Сам Мунд не спеша приблизился к площади Константина шагов на триста. Он видел торчавшие над толпой шесты, шеи верблюдов – на площадь что-то привезли?

Площадь втянула людей, которые как будто собирались преследовать герулов, как хотелось того Мунду. Комес заметил ершистый вал из телег, повозок, тачек, угольных ящиков, лотков, скамеек, бревен, досок. Мятежники спешили наглухо заделать оставленные проходы.

Штурмовать вал да еще имея в тылу Октогон? Мунд не был столь глуп. «Охлос не подался на приманку герульских спин, поэтому герулы еще не заработали свои кентинарии», – думал Мунд.

Свободное пространство и явная возможность не попасться в ловушку едва не выманили охлос на простор Месы. Но к площади Августеи никто из них не решится приблизиться.

Война угрожала паузой.

– Маврикий, – приказал Мунд сыну. – Скажи Божественному, я избил два мириада мятежных. Скажи еще: они сидят в Октогоне. Я сломаю их кости.

Мунд начал наступление на Октогон с Халкопрачийской улицы – широкой артерии, которая шла почти по прямой линии от площади Августеи к воротам Просфория и к порту того же названия в начале Золотого Рога. Со стороны Месы вход на площадь Августеи должен был защищать Филемут силами четырех сотен герульских стрелков.

Походя готы перебили звонарей храма Богоматери Халкопрачийской. Внутренность храма была пощажена за неимением времени. Солдаты вошли в Октогон одновременно несколькими переулками Халкопрачийской улицы, добивая заползших сюда раненых в утренней боине. Почти сразу на солдат с неистовостью набросились мятежники. Сотня центуриона Ария столкнулась с мясниками. Тяжелые топоры в руках, привыкших метко рубить туши скота, заставили готов благоразумно попятиться. В другом месте рыбники-ихтиопраты орудовали самодельными копьями. Охлос успел понаделать кое-какого оружия из ломаных решеток дворцов, плотницких пил, ломов и кирок. Дротики и копья снабжались наконечниками из долот и стамесок.

Готы сражались вяло. Чернорабочие войны не устали, их обременяла мысль о богатой добыче, уже захваченной, манил дележ. Их тянуло к своему золоту.

В Октогоне засели не владельцы богатых владений. Сюда набрались ремесленники, носильщики, рыбаки, матросы, портовые работники. Как всегда бывало в городских сражениях, из окон домов и с крыш металы тяжести на солдат. В тесноте переулков не удавались обходы и обхваты, приходилось бить в лоб. Готские сотни теряли бойцов. Мраморный бюст, брошенный из окна, смял каску и вывихнул руку центуриону Арию.

Маврикий, вернувшись из Палатия, передал отцу благосклонность базилевса. Молодой человек восторгался спокойствием Юстиниана. Однако все спафарии были поставлены на ноги и охраняли дворец Буколеона, где сейчас совещались базилевс и базилисса. Екскубиторы по-прежнему отсиживались в казармах.

Про себя Мунд сделал вывод: Буколеон – это и порт. На кораблях хватит места всем, кроме готов и герулов. Ему, Мунду, суждено прикрыть общее бегство, остаться в Палатии, как на острове. Нет, он не собирается вплавь спасаться через пролив. Мунд отослал сына в Палатий с приказом: следи неотступно, мы с тобой не будем дожидаться отхода последней галеры!

Мунд приказал жечь все и отходить из Октогона. Огонь поднимался по линии Халкопрачийской улицы. Северо-восточный ветер гнал пожар внутрь Октогона. Грандиозные арки акведука Валента казались горным хребтом в тучах.

В городе заговорили о слабости Палатия. Прослышав о мятеже, подходили сельские жители из Фракии, Родопа. Вифинийские горцы переправлялись через Пропонтиду и высаживались в Селимвриии.

За два часа до захода солнца охлос разбросал им же воздвигнутое ограждение на выходе из форума Константина. Впереди наступающих шла когорта Тацита. К ней пристал Георгий Красильщик с вольным отрядом. Уцелевшие демоны Меноса и Аровелиана не захотели отстать от других. Эти сознательно

двинулись в путь без возврата. Сзади напирала толпа тех, кто еще не слышал свиста герульских стрел и не видел готских мечей.

Кто-то устроил себе щит из сорванной двери. Некоторые шли с плетенками из ивы, воображая, что сумели сделать щит по персидскому образцу, которого никто не видал. Котелки для варки пищи, напаянные на шапки, должны были спасти головы, как настоящие шлемы.

Однако обветшавшие доспехи демотов все же кое-как защищали их обладателей от стрел, и строй эфемерных латников прикрывал задних. Герулы с меньшим успехом опустошали колчаны.

Филемут не послал вовремя за стрелами в арсенал Палатия. Его ошибка прошла незамеченной, так как мятежники сумели заставить герулов принять рукопашный бой. Мунд поспешил бросить на помощь готов.

Бой то откатывался к Месе и к пылающему Октогону, то Мунда заставляли отходить к ступеням сената. Плиты площади сделались скользкими, сражающимся мешали трупы.

Силачи-мясники, соединившись с остатками демотов, прижали три сотни готских солдат к пылающему костру Софии. Выручая своих, Мунд получил удар по голове. Его спасла особая прочность каски, но массивный орел был сорван и потерян. Ипасписты вынесли Мунда из сечи, он опомнился между колонн сената.

И все же Мунд победил. Октогон пылал, пожары сокрушали дома, дворцы и портики по правой стороне Месы. Улица опасно сужалась, к мятежникам перестали прибывать подкрепления. Остатки демотов и плембса были выброшены на Месу.

– Стрелков, стрелков сюда! – приказал Мунд. И когда оказалось, что колчаны у герулов пусты, полководец сказал Филемуту: – Это будет стоить тебе пять кентинариев золота.

Как в предыдущий день, огонь разделил стороны. Сотни готов были растрепаны, герулы потеряли больше трети своих.

На заходе солнца рухнул дворец Лавиниев. Горящие обломки окончательно заткнули Месу. Городу больше неоткуда было напасть на Палатий, солдаты Палатия не могли бы прорваться в город.

Мунд остался ночевать в здании сената.

5

Автократор... Этот титул базилевсов был впоследствии переведен как самодержец, титул государя единоличного, ни перед кем не ответственного.

Иной раз история слова прослеживается легко при достаточном усердии изыскателей. Неизмеримо труднее восстановить первоначальное понятие, вкладываемое когда-то в сочетание звуков голоса и букв письма. Слово «автор» в древности понималось как творец, начальный образователь, созидатель, а корень «крат» входил в слова, обозначающие силу, твердость духа, терпение, а также и в бытовые понятия: приготовление чего-либо для пищи, для другой цели. Емкий корень, емкое слово широчайшего значения. Вероятно, в сознании современников Юстиниана титул «Автократор» вызывал ощущение значительно сильнейшее, чем Самодержец у подданных русских царей.

Отношения при дворах языческих императоров были достаточно просты. Общение подданных не затруднялось церемониями ни с такими повелителями, как Марк Аврелий или Антонин, императорами, для своего времени вполне человечными, ни со свирепо-суровым солдатом Септимием Севером.

Их христианские преемники, начиная с первого, Константина, отказались от языческой простоты. Тщательными усилиями был создан многотомный Кодекс Церемоний. Его изучали, как легисты – законы. Явились Магистры Церемоний многих степеней, ибо лишь высокие знатоки могли управлять палатийским этикетом. Ритуалы церковные и дворцовые развивались рука об руку. Но роскошь палатийских обрядов подавляла воображение больше, чем торжественность храмовых. Ибо бог правит миром невидимо, а зримо его воля воплощена во Владыке империи.

Папа Лев утверждал: от правильности догмы об ипостасях троицы зависят единство и прочность империи. Кафолическое определение сущности Христа имело значение политическое: в личности Христа не случайно божеское и человеческое соединялось неизменно, непреложно, нераздельно и – неслиянно. Таким образом, и Автократор и Церковь определили свою взаимозависимость с преимуществом для Автократора. Взамен Церковь, как младший союзник и сателлит, обеспечила себе земное оружие.

Опираясь на кафоличество, империя под еретическими догмами умела рассмотреть угрозу для Власти.

Ариане считали, что Христос, лишь подобносущный богу, был сотворен, как деревья, животные, люди. Арий нарушал иерархию.

Несториане видели в Христе простого по рождению человека, который лишь впоследствии присоединил в себе к началу обыденно-плотскому начало божественное. Человечность нищего плебея Христа развивала у подданных самомнение.

Монофизитство охватывало массы монашествующих и дало при Юстиниане мириады строптивых великомучеников. Ведь по учению монофизитов все человеческое начало в Христе растворилось в божественном, как капля в Мировом океане. Это было христианство, доведенное до крайности, в нем для Власти могло не остаться и маленького островка.

И остальные схизмы, менее распространенные, но не менее ядовитые, тоже требовали пристального внимания Автократора. Ибо схизма значит «трещина», и трещина в невидимом теле Церкви вызовет рану в теле империи.

Европейские государства были в той или в иной мере, но наследниками империи. Поэтому все восстания, все революции включали в свои программы требования о реформе Церкви, закончили же совершенным отделением государства от Церкви.

Изощренное, изобретательное титулотворчество составляло часть этикета и обязательное начало обращений к базилевсу и базилиссе и объявлений от их имени. За упущения наказывали. В Палатии даже при разговорах с глазу на глаз имени базилевса предшествовали словесные пышности. Простота речи свидетельствовала о недостатке любви, что могло оказаться чумой для хладнодушного. Христианин был обязан любить и бога и Автократора. Бог есть любовь.

О себе Юстиниан говорил: «Придумывая полезное для подданных, я провожу дни в труде, ночи без сна». Он не преследовал называвших его Аиксомейтосом – бессонным.

В пище он был воздержан. Его сверхъестественный образ жизни поддерживался небольшими количествами овощей и фруктов, маленьким кусочком мяса невинного животного – теленка, ягненка. Вину он предпочитал питье из соков груш, яблок или слив. Утоляя жажду, базилевс сохранял ясность мысли. Тем более он не искал забвенья. Манихеи клеветали, что души загубленных не дают ему спать. Базилевс был безгрешен, ибо непокорные, мятежные, препятствующие его намерениям подданные тем самым впадали в грех самоубийства, базилевс же, лишая таких земной жизни, выполнял волю творца.

Но спал он действительно меньше других людей.

Повара, любовь которых к базилевсу была проверена и подтверждена, врачи, изощренные в искусстве распознавать яды, охраняли плоть Божественного от темных происков людей и от слепых случайностей Судьбы.

Любя движение, Юстиниан знал свой Палатий во всех мелочах. Он умел встречать зарю на крепостной стене сзади дворца Ормизды. Приглашая сановников, он на прогулках выслушивал доклады, решал. Иногда, сопровождаемый епископом из какой-либо дальней провинции, базилевс, беседуя о делах веры, для объяснения тайн Логоса[32] находил красноречиво-убедительные образы в явлениях неба и моря, в листе и в формах деревьев, в чашечке цветка со шмелем, испачканным желтой пылью.

В своей безопасности базилевс был уверен. Палатий охранял Коллоподий.

Уроженец Палестины, но христианин и ромей по воспитанию, Коллоподий был замечен Юстинианом давно, когда сам Юстиниан был неприметным племянником старого Юстина, одного из имперских полководцев не первого ряда. Среди молодых ипаспистов Юстина Коллоподий отличался талантом разведчика. Злое соперничество между полководцами делало не столь важным проникновение в замыслы врага или разведку его сил и дорог, пригодных для наступления и отхода. Коллоподий проникал под палатки полководцев, обзавелся ушами при самом Анастасии. В дальнейшем Коллоподий первым узнал, что болезнь престарелого Анастасия не была обычным недомоганьем. Коллоподий оказался одним из главнейших деятелей захвата власти Юстином.

Коллоподий не стремился, как Велизарий, другой знакомый молодости Юстиниана, к славе при свете дня. В нем с чуткостью охотника, выбирающего из помета лучшего щенка, Юстиниан угадал особое призвание.

Комес спафариев Коллоподий зависел только от базилевса. С увлечением скульптора, получившего вожделенную глыбу порфира, которую он ждал с нетерпением Иакова, пасшего стада Лавана[33], Коллоподий взялся за охрану Божественного. Он совершенствовал, изобретал. С тщательностью ювелира он перебирал спафариев, эти латы базилевса. Как крот, он изрыл Палатий тайными ходами соглядатаев, он сумел оградиться от язвы Палатия – распущенных ексубиторов – и готовил коренную реформу этого парадного войска. Всех или почти всех нежелательных в других службах Палатия он удалил. Он сделал Палатий таким же безопасным, как если бы Божественный заключил себя в медную башню. И, завершив, казалось, все, Коллоподий, зная непрочность человеческих душ, утроил усилия. Он проверял, перепроверял, улавливал не слова, не шепот – вздохи.

Сегодня Палатий стал островком в бурном море, но базилевс не изменял своих привычек. Божественный шел ночью из Христотриклиния к восточной стене, не опасаясь убийц, которые могли бы притаиться в зарослях роз, похожих ночью на плотные глыбы. В конце концов и здесь, конечно, заслуга принадлежала Автократору, умевшему выбрать слугу.

Дорожки в розарии были посыпаны белым песком. Плотно утрамбованный слой не скрипел, и белая фигура базилевса плыла ангелом во мраке. Ветер буйствовал в вершинах кипарисов.

Изнутри стена была побелена, и около нее ночь казалась светлее. Юстиниан легко одолел боевую лестницу с широкими ступенями из каменных плит.

На стене ветер заставил базилевса пошатнуться. Было приятно победить стихию. Базилевс подошел к краю стены. Ветер натягивал покрывало облаков и сам рвал его, как расточительный хозяин. Луна в своей третьей четверти скатывалась к западу. Когда ее лучам удавалось прорваться, освещались белые гривы бешеных псов, овладевших Пропонтидой. У стены схватка волн с камнем волнолома происходила в темноте. Халкедон спал без огней, и пролив уходил в беспредельность.

Юстиниан любил море, из-за моря он особенно любил Палатий. Другой базилевс пусть уходит с этого выступа, который злонамеренные подданные способны превратить в остров. Завещания тщетны, Юстиниан оставит образцы. Имеющий уши, да слышит. Сам он узнавал о прошлом, чтобы не повторять ошибок.

От волн, разбитых волноломом, взлетали струи воды, и, когда вал откатывался, по стене шумели ручьи. Юстиниан любил строить. Пройдут века, а люди еще будут восхищаться его созданными. Нужно строить на тысячу лет и стены и империю. «В волнах больше пены, чем силы», – думал Юстиниан.

Ветер бросил брызги в лицо базилевса. Было приятно ощущать на губах холодную соленость зимнего моря. Бушуй! Юстиниан взялся за зубец. Ты дрожишь, камень, ты боишься? Слабость стен происходит от чрезмерной жестокости камня. Он не умеет изгибаться, как бесстрашная воля.

Юстиниан не захотел обернуться. Он боком отступил от парапета к железной двери боевой башни. Отполированный засов беззвучно повернулся на смазанном шарнире. Внутри было темно, как в печи. Базилевс нащупал ногой знакомое начало лестницы. Поднявшись наверх, Юстиниан позволил себе взглянуть на город.

Город горел бесшумно. Пожары освещали снизу арки водопровода, и казалось, что некоторые из них расплавились. Отражения пламени шевелились на тучах. Выгорал Октогон, гнездо олигархов.

Юстиниан не любил богатых, они всегда хотят встать между Властью и подданными. Каждый, имеющий власть над другими, опасен. «Я обязан уменьшить даже власть отца над детьми, мужей над женами», – говорил Юстиниан.

Многоплеменный охлос еще опаснее. Греки мерзки своими воспоминаниями о буйных демократиях, остатками философских академий и адвокатской болтовни. Арабы и сирийцы презренны изворотливостью, евреи и самаритяне злобно упорны в своих заблуждениях, они – отъявленные противники Власти. Готы, гунны, славяне, герулы, гепиды, армяне, иберы, исавры, эфироты, македонцы, египтяне – грязь. Народ есть ложь, устарелый предрассудок общности людей, говорящих на одном языке. Христос создал град божий, не ограниченный стенами. За дерзость вавилонского столпотворения бог наказал людей разделением языков, владений, тираний. Потом по изволению бога в одно и то же время явились два ростка – церкви Христовой и Римской империи. Их тень да покрывает вселенную. Они одни способны соединить в своих недрах под единым скипетром весь людской род до Мирового океана.

Что этот город! Пусть очищается огнем. Ничтожная жизнь во плоти – прах.

Подняв глаза вверх, Юстиниан увидел колоссальный крест, светящийся в тучах. Христос Пантократор! Чудо, чудо! Бог послал базилевсу видение, знак победы, как Константину!

Крест уносился на запад. Юстиниан вскинул руки, он ощущал крылья. Ужель господь хочет вознести его сейчас?! Но нет, еще рано, нет, нельзя уйти из жизни, не закончив служения. Заклячая договор с небом, Юстиниан говорил:

– Клянусь восстановить единство империи до Гадеса и Альп. И потом не влагать меч в ножны. Я до последнего дыхания буду распространять власть креста. Клянусь защищать церковь даже от нее самой. Клянусь не уставать в преследовании схизм, пока еретики не поймут, насколько я забочусь об их душах. Я соединяю подданных в вере. Помогите же мне, Пантократор, разъединить людей во плоти. Ты знаешь, что злоба должна обращаться внутри людей, не направляясь на Власть. Помогите, ты видишь, как дикие силы бьются в мои стены! Я спокоен, ты даровал мне видение.

Ветер рванул с новой силой, крест исчез. Острый взор базилевса заметил фигурки людей на хребте водопровода – крысы на задних лапках. Из черного Понта прыгнул шквал, над каменными аркадами взметнулось пламя.

Бог свершал мщение.

Тронная Зала дворца Христотриклиния называлась Залой Милосердия. Внутри купола был изображен Христос. Склонив голову, он слушал Женщину, а она, легко обняв плечо Сына Человеческого, нечто ему шептала.

Художники-христиане уже сумели далеко отойти от плотского искусства язычников: дух победил. Сухой, строгий судья был изображен с темными щеками, провалившимся от поста, с мертвенным взглядом громадных глаз, с жесткой складкой сухого рта, безразличный, устремленный в себя, с плоскими волосами, похожими на мертвую траву. Лоб Христа, обремененный терновым нимбом, необъятно широкий, свинцово-тусклый, с едва видными трещинами морщин, похожими на трещины старой кости, скрывал роковую тайну. Давящий груз устрашающего внимания, с которым Христос внимал иссохшей Женщине, сулил Заступнице мало хорошего. Нет, живи такой Христос, от него, как от воплощения чумы, опустели бы дороги Палестины. И не пальмовыми ветвями, а закрытыми воротами, кипящей смолой, стрелами баллист и камнями катапульт встретил бы Иерусалим чудовищного гостя.

Рыбаки и бедные ремесленники, его апостолы, пройдя через мысль и руки благочестивых художников, превратились в роскошно одетых стариков сановников с деревянно-безжалостными лицами людей, в своем презрении к миру живых безразлично готовых на самое худшее, на самое лучшее – как прикажут. Добрые ангелы божии опирались на каменные облака с двусмысленным выражением мужежен. Все человеческое было изгнано из храма с жестокостью палача, обдуманно раздирающего тело пытаемого.

Тщательный выбор слов будто бы раз навсегда объяснил тайну соединения духа и плоти: неизменно, непреложно, нераздельно и – неслиянно. Искусство же обличало несостоятельность христианских софистов. Яростно-бесчеловечное истребление Христовой плоти обещало людям столь же мрачную участь.

Рабы привычки, палатийские сановники не видели истины, так хорошо изображенной внутри купола Христотриклиния. Как и всем прочим людям того времени, Христос, внимающий Милосердию, говорил глазам византийцев столько же, сколько взгляду животного. Трагический символ оставался ненужным, непрочитанным иероглифом.

Сегодня сановники были заняты лишь одной мыслью: жизнь каждого из них может окончиться с жизнью базилевса, если Божественному волей небесного провидения определен насильственный конец.

Этикет приказывал соблюдать тишину. Сановники молчали, как и спафарии, охранявшие входы. Закованные в железо колоссы замерли в позах мужественного покоя.

Отпечаток языческой древности лежал на странном быте и удивительных нравах личной охраны Юстиниана. Своим образцом, пусть искаженным, даже изуродованным отражениями в мутных, кривых зеркалах предания, спафарии имели священный легион эллинских Фив. Никаких обязанностей, кроме войны. Триста фиванцев, избранных из избранных, два или три столетия умело заменяясь, были неразлучны, как пальцы на руке. Они всегда побеждали. Только при Херонее изобретенная Филиппом фаланга раздавила священный легион Фив.[\[34\]](#) Триста умерли, ни один не отступил. Если бы в тот день Эллада могла вывести в поле хотя бы вчетверо меньшую по сравнению с македонской армией, но равную фиванцам по мужеству и подготовке, Александр, сын Филиппа, кончил бы свою жизнь темным вождем разбойников-горцев.

Руками Коллоподия Юстиниан создал из спафариюв свой священный легион, такую же странную, чудовищную по нравам семью силачей всех племен, объединенную ненавистью к ним всех окружающих.

Сейчас спафарии скучали, как всегда скучал и будет скучать часовой, – вялой, обыденной скукой. В их полусонных мечтах витала надежда на мятеж. Они знали, что их не выведут за пределы Палатия. Но, может быть, охлос прорвется. Тогда и спафарии смогут вволю потешиться – добыча им не нужна. Простое желание убивать родило арабийского сарацина и нумидийца, колха и абсаха, вандала и испанского ибера, гепида, гета, дака. Лукавый ум эллина и тот замирал под каской спафария. Спафарии не боялись исхода восстания.

Этой ночью сановников собрали в Христотриклиний силенциарии. В мягкой обуви, бесшумные, как совы или ястребы, силенциарии мелькали, быстрые и внимательные.

Сейчас Юстиниан общался с сановниками, не соблюдая церемонии, с простотой. Светлейшие льнули к Несравненному без лести – он излучал благодать уверенности, один его вид утишал затаенное волнение и упрятанный ужас.

Нарзес, из почтения не глядя в лицо Величайшего, бережно, на расстоянии локтя – по этикету, – подставлял ухо. Юстиниан говорил громко:

– Ты пошлешь к венетам, к Ейринию, Вассосу, Зенобию, Андрею, к другим. Объяснишь опасность от буйства охлоса. Они уже потерпели убытки от пожаров, устроенных злонамеренным охлосом. При раскаянии им будет оказана помощь для возмещения потерь, если они докажут на деле. Предупреди: охлос готовит им истребление, прасины сговариваются.

Потрескивали фитили в лампадах перед иконами апостолов. Ветер, превращенный ставнями и тяжелыми занавесями в дыхание, заставлял огни колебаться. На ужасающем лице Христа Пантократора вздрагивали тени.

Собрание светлейших было облачено с удручающей глаз роскошью. Некоторое представление о нарядах палатийских сановников могут дать одеяния, употребляемые для богослужений, – тиары и ризы пап и патриархов.

Внушая подданным понятие о божественности, сверхчеловечности Власти, Палатий хотел подавить их воображение пышностью. Однако же простой приказ, пусть и повторяемый, не остановил бы вырождения однажды установленной парадной одежды в затасканную форму. Роскошь имела более надежную основу.

Ощущая случайность своего возвышения, светлейшие спешили пользоваться: личное было так непрочно! Богатства создавались с яростной хваткой, расточались неистово. Подражая полководцам, сановники на свой счет содержали ипаспистов, состязались в пышности вооружения. И выскочки

приносили в Палатий голод в костях, неумолимый, неумолимый.

Воспаленное самомнение людей случая устрашалось непрочностью положения, день без наслаждений терялся навеки. Не только опала сопровождалась конфискацией имущества. Обездоливались близкие даже верных слуг, если наследство возбуждало жадность базилевса. Не так уж по-своему был не прав и властитель: богатство светлейших создавалось взятками, вымогательством, грабежом – других источников не знали. Бережливая умеренность родоначальника казалась глупой вдвойне. Да некуда было и вкладывать. Физически неистребимая основа капитала – земельная собственность – никого не прельщала. Эпибола и синона разоряли владельцев; желавшие избавиться от имений не находили покупателей.[\[35\]](#)

Тратить! Тратить сверхчеловечески! Определять желанность блюда не небом, а дороговизной. Светлейшие ощущали себя богачами, деньги которых завтра, как в злой сказке, превратятся в кучу углей. Поэтому заваливать жилище никчемными вещами! Навьючивать на себя еще больше шитья, драгоценностей, золота – жаль, его нельзя съесть! Роскошь сделалась врагом удобства. Герул Филемут был прав: в облачении имперского патрикия не размахнешься мечом.

Так родился стиль, названный впоследствии византийским. Жесткий, пышный, перегруженный украшениями, насилующий природу. Его эмблема – кружево. Из камня.

Ходячие выставки роскоши, но люди отнюдь не заурядные, сановники затаили дыхание, прислушиваясь к словам базилевса. Нарзес чутко уменьшил расстояние между своим ухом и губами Юстиниана.

До ближайших доносились многозначительные обрывки.

– ...в городе... по кентинарию... можно увеличить...

Конечно, Божественный распорядился деньгами, которые находились в городе у каких-то доверенных людей. Действительно, трудно было бы в такой час обременить посланных мешками золота для подкупа.

Базилевс повысил голос:

– Пусть извещают, что завтра я зову подданных на ипподром. Милосердие Христово повелело мне сменить меч на слово.

Блюстителю дворца Гермоген, гунн по происхождению, невольно переступил – изменили кривые ноги, наследство предков, не побежденное, как и черты широкого лица, тремя или четырьмя поколениями ромеев.

– Я провожу жизнь в бодрствовании, в заботах о благе общем и не устаю от неразумия многих, злой воли иных и лености большинства, – продолжал Юстиниан, обращаясь ко всем. – Но не теряй времени, – сказал он Нарзесу. – Христос Пантократор поможет тебе растворить соль моей мысли подобающими упреками, предупреждениями и предостережениями. Совершай! – Базилевс перекрестил Хранителя Священных Щедрот.

– Я люблю трудящихся в поте лица, – сказал Юстиниан Блюстителю дворца Гермогену, – люблю, как отец свою плоть и кровь. Кто же подаст своему сыну камень вместо хлеба и вместо оливы – скорпиона? Христос сказал: «Всякое царство, разделившееся в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам, падет». Я говорю, когда сатана разделится, его владение не устоит. Ты пошлешь к общинам трудолюбивых прасинов. Напомни им слова Христа: если бы ведал хозяин, когда придет вор, то бодрствовал и не допустил его подкопать дом. Но господин придет в час, которого вор не ожидает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с неверными. Тот раб, кто знал волю господина, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет

много... Предупреди также – венеты готовятся напасть на прасинов. Пусть созывают подданных на ипподром.

Дошла очередь до Распорядителя Прислугой Палатия. Ему Юстиниан приказал:

– Добрые верноподданные находятся в моих кухнях, погребах, мастерских, в конюшнях. Ты слышал мою волю. Отбери людей из низших, пусть идут. в город с радостной вестью о моей милости. И одних для известия о злобе венетов к прасинам, других – о злобе прасинов к венетам. Как Гермоген, ты дашь денег избранным тобой. Объяви о благоволении моем, которое к ним проявится в меру верноподданных усилий.

Преемники Трибониана, Иоанна Каппадокийца и Евдемония получили распоряжение изготовить эдикт, призывающий на ипподром.

Осторожное прикосновение разбудило бывшего префекта Палатия.

– Наисветлейший, – шептал голос, – в мандракии зашевелились.

Огонек лампы, стоявший, как на молитве или как на страже, перед иконой Богоматери, чуть-чуть освещал спальню. Иоанн сел, служитель натянул на ноги господина теплые сапожки, набросил на его плечи меховой плащ. Очнувшись, Каппадокиец спросил:

– Там что? Прибыли новые войска?

– Я не осмелился бы будить наисветлость, не лишил бы тебя сна, – изъяснялся служитель. – Собираются садиться на галеры.

«Не соизволил ли Божественный собраться в Гераклею, отдохнуть?» – подумал Иоанн. Он ревновал – время шло, но с минуты опалы Юстиниан не прислал ему ни слова. Коллоподий приносил новости, но никто, кроме комеса спафариев, не навещал бывшего сановника. Люди дела, Коллоподий и Иоанн говорили лишь о деле, но не о возможных действиях Божественного.

Поеживаясь от холода, Каппадокиец вышел из дворца. В порту ни факела. Только узкие полоски света из потайных фонарей пересекались, как желтые пальцы. Две лодки оттаскивали от причала длинную галеру. На ее место подтягивали другую. Темные массы передвигались с таинственной медлительностью. Тонкие лучи на миг выхватывали лицо, руку. Палатий покидали не сановники, не солдаты. Плебс, охлос. Мелькнул вздутый на плече рукав уличного разбойника, чудом попавшего в Палатий... Э! Чудес не бывает.

Любитель похвалиться своим умом, сейчас Иоанн, к его сожалению, не имел аудитории. Он понял! С первого взгляда понял! На галеры грузили нечто двуногое для отравы мятежников. Иоанн взглянул на небо. Берег и стены укроют галеры, которые повернут по берегу Пропонтиды – направо, но потом обязательно налево. После десятка стадиев работы гребцы введут галеры в Золотой Рог.

6

За ночь пожары сумели каким-то чудодейственным способом продвинуться и против ветра. На восточном краю Октогона загорелся храм святой Ирины, на Халкопрачийской улице – храм Богоматери.

Эти храмы по своему богатству не могли сравниться с Софией Премудростью, но тоже заключали в своих стенах много ценностей. Два новых костра дополняли стены развалин и пожарищ, которые отделяли Палатий от города. Мунд мог теперь ограничиться весьма скромным количеством наблюдательных постов.

Занесенное копотью здание сената превратилось в казармы. Люди-шакалы, искатели объедков войны, сосватали готским наемникам трех мастеров-серебряников, явившихся со всеми принадлежностями своего ремесла: весами, щипцами, клещами, переносными наковальнями, тигельками, раздувательными мехами.

Мунд отдал герулам пятьсот фунтов золота, наказав Филемута за пустые колчаны.

Сам Мунд, чрезвычайно обогатившийся за двадцать лет войн и управления такими провинциями, как Иллирия и Норик, взял двести фунтов и отдал их своим ипаспистам. Остальное было поделено на доли по три фунта. Драгоценные камни не дробят, их разыграли по жребиям.

Серебряники пытались организовать скупку под расписки, но готы признавали только кругленькие монеты. Вскоре появились менялы и скупщики – смелые люди из тех, кто обычно таскался в обозах ромейских армий. Это была настоящая профессия, постоянная, иногда чрезмерно рискованная, но сверхприбыльная при удаче. Профессиональные мародеры доказали свою храбрость, сумев пробраться через мятежный город и горящие развалины.

Солдаты охотно отдавали камни: мелочь неизвестной цены, которую завтра попросту выронишь, если не сбудешь сегодня. Сделки же с золотом задерживались. Мгновенно стакнувшись, менялы, серебряники и скупщики предлагали по тридцать пять солидов за фунт вместо восьмидесяти двух монет. Расчетливые солдаты заставили серебряников изготавливать браслеты и ожерелья, конечно не имевшие ничего общего с женскими украшениями. Браслеты делались в виде довольно толстых пластинок, которые загибались на руке. Ожерелье изготовлялось из двух десятков длинных колец, загнутых, но, как браслеты, не заклепанных, – солдатский способ хранить добычу. Серебряники брали за изготовление браслета четыре солида, ожерелья – пять, и каждый солдат пытался опередить товарища. Кучку герулов, тоже пожелавших воспользоваться услугами мастеров, прогнали тычками. Обиженные вернулись с подкреплением. Спор перешел в драку, с трудом укрощенную начальствующими. Дело с добычей было не шуточное, каждый миг труба могла позвать в бой.

Серебряники дергались, как укушенные тарантулом. обжигались, кровавили себе пальцы, обвешивали, стараясь зажать в кулак и бросить в корзину с углем закопченный кусок золота. Их теснили, толкали, им угрожали. Добровольные помощники раздували мехи с такой силой, что горячие угли вылетали из горнов.

Между собой серебряники перекидывались словами, непонятными для чужих; это был цеховой язык, необходимый для взаимных советов и переговоров при посторонних. Менялы денег, торговцы пряностями, разносчики товаров и другие общины-цехи тоже имели свои жаргоны.

Закон запрещал серебряникам покупать или переплавлять священные сосуды. Мастера сговаривались. Сегодня они невероятно наживались. Не бежать ли к персам, которые хорошо принимали византийских перебежчиков?

Как остальные ремесленники, серебряники составляли общину-цех, безжалостно сдавленную

Властью. Префект города был их богом и хозяином, сборщик налогов – архангелом и палачом. Им было запрещено вербоваться в войска, менять свою работу на другую, выезжать из города. Нельзя было даже принять обеты монашествующих, как ни стремилась бы душа отречься от мира. Законы империи мнили себе государство в подобии идеального улья, где пчелы собирают мед, а сами довольствуются отбросами.

Зная, что все, включая префекта города, наживаются на них, серебряники изворачивались, лгали, крали, обманывали, обвешивали, добавляли в сплавы излишнюю лигатуру. Все жили случаем, неуверенно, без завтрашнего дня. Так вырабатывался в свободном человеке тип лукавого раба, работника бесчестного, думающего лишь о себе, всеобщего врага.

Почитатели папы Пелагия не нашли лучшей для него похвалы, лучшей черты его характера и деятельности, как выраженной в эпитафии, высеченной для общего обозрения на саркофаге усопшего:

«Многих облакая священством,
он не извлекал личной выгоды».

Серебряники, тешась мечтой о бегстве, перекидывались словами.

– Ты же слышал о ромеях, живущих среди гуннов, скифов и других варваров, почему я знаю каких!

– Они сами сделались варварами.

– Но почему? Всякие эти гунны страшны для чужих. А у себя они пользуются справедливостью, налоги малые, правители и судьи не берут взятки.

– Об этом слышал и я. Бывшие ромеи даже вместе с варварами нападают на империю, чтобы их считали за своих.

– А, они правы! Отечество там, где меньше бьют. Беда в том, что к варварам трудно пробраться. И как им объяснишь, что хочешь сделаться тоже варваром...

В углу лежала гора серебра, сорванные со священных книг доски, застежки, разбитые ларцы, ризы с икон, поликандила, обивка перил, двери и дверцы, налои, кресты, чаши, купели, алтари. Серебро стоило в двенадцать раз дешевле золота. Владельцы-солдаты сейчас глядели на кощунственный лом с презрением. Мастера понимали, что, когда с золотом будет покончено, раздастся крик: «Дели серебро!» С жестким металлом труднее справляться, чем с золотом, но опять предстоит барыши, барыши...

Центурион Арий восседал в сенаторском кресле. Левый глаз центуриона был закрыт багровой опухолью, висячие усы залеплены кровью, вывихнутая рука вправлена, но распухла. Арий то дремал, то проклинал серебряников за медлительность: вот он прикажет посадить кого-нибудь на кол для примера! Наперсный крест пресвитера Евтихия прятался под железным нагрудником победителя.

Все было как всегда после военной удачи.

Сотня схолариев-славян под командой Рикилы шла, чтобы занять кафизму ипподрома. Рядами по три человека славяне вступили во дворец Дафне, дневной свет сменился холодным сумраком высоких залов. Во внутреннем дворе Дафне струя фонтана била на высоту пяти локтей, и на краях порфировой чаши намерз лед. Отсюда путь на ипподром шел через триклиний Девятнадцати аккумулятивов.[\[36\]](#) Обычно здесь базилевс угощал послов. В середине палаты был девятнадцатигульный стол для такого же числа сотрапезников.

Везде было холодно и тихо. Встречались торопливые слуги с привычно замкнутыми ртами. Последние ряды сотни видели, как заматались следы их ног, – хотя на каменных полах ничего не оставалось, – и

раскатывались ковры. Скоро здесь пойдет базилевс.

Темный переход, скупо освещенный окнами-бойницами, соединял палату Девятнадцати аккумуляторов с храмом святого Стефана – первомученика во имя Христа.

Железные двери, ведущие в храм, были так тяжелы, что привратники управлялись с помощью блоков.

Все эти каменные переходы, клетки, пещеры были запутаны, непонятны и поэтому казались враждебными. Нельзя было угадать последовательность поворотов, переходов, кривых путей Палатия. По сравнению с ним ловушка лесного паука со знаком византийской веры на спинке была очень простой. Лазы и перелазы Палатия казались щелистыми наслоениями гнезда земляных пчел.

Дверь закрылась с тяжелым вздохом. В святом Стефане висел сумрак. Хоры-катихумении, откуда сама базилисса иногда развлекалась видом бегов, затемняли корабль храма. Византийские боги любили цвет желтый, как осенний лист. Несколько неугасимых лампад зловеще подсвечивали золото, золото, золото...

Рикила ушел, и славяне разбрелись. Кто-то нажал на двери алтаря. Он не собирался вламываться силой, но был не прочь заглянуть туда, где живет тайна здешнего бога. Кто-то громко зевнул.

Индульф остановился перед настенной живописью. Умело освещенная, с яркими, выпуклыми красками, громадная картина-икона была как окно в иной мир. Середина изображала низкую стенку с двустворчатыми воротами. Старик направлял ключ в скважину замка, и, несмотря на отсутствие выражения на его лице, в движении рук, во всей фигуре чувствовалась власть. Над стеной кто-то с крыльями угрожал копьем удаляющимся мужчине и женщине, чьи голые тела прикрывали листья вместо одежды. Слева к воротам приближались несколько старых мужчин в красивых одеждах. За стеной в глубине сидел некто сумрачный, но в сиянии, а в воздухе парили маленькие птицелюди с цветочными лепестками вместо крыльев.

За Индульфом собралось десятка три товарищей. Некому было объяснить славянским наемникам, что так изображался весь путь человечества, как понимала его Церковь: изгнание из рая Адама и Евы и возвращение в рай их далеких потомков, мужчин. Женщина же была одна, и то лишь в изгнании, грешная, нечистая.

Самим славянам было невозможно понять смысл изображений, которые они видели каждый день и везде. Так же невозможно, как уловить причины мятежа, кипевшего уже неделю. Но общение с имперской религией не проходило безнаказанно ни для них, ни для многих их соплеменников.

Трудно пытаться представить *действие* византийского христианства на сознание язычников-славян. Но было нечто, оставлявшее восточных славян много веков подряд безразличными и даже враждебными к государственной религии Византии.

Дальнейший путь на кафизму шел через длинный покой, стены которого составляли одно целое с западной стеной храма. Поражал пол. На нем наборы мозаики изображали целые сцены. Здесь ребенок ехал по зеленому лугу на упряжке гусей, там тигр разрывал оленя, а другие убегали, положив рога на спину. Дальше – семь пеших и конных охотников гнались за медведями, волками и барсами, а хищники, в свою очередь, преследовали ланей и оленей, не замечая настигающих их самих копий и стрел. Все было живо, убедительно. Но как странно вели себя хищники! В своих лесах славяне не встречали таких глупых зверей. Вновь и вновь смысл ускользал от людей, умевших видеть только реальность жизни, не затененную символами.

Звериный зал кончался крытым выходом на кафизму. Затесанные на клин камни образовывали несокрушимые своды. Бронированная дверь открывалась на широкую лестницу. В конце лестницы неохотно разъялись тяжелые челюсти дверок. После мозглой затхлости закрытых переходов холодный

воздух невысокого зала веял свежестью. Это был нижний этаж кафизмы, но его пол находился на высоте двадцати локтей от арены. Еще три лестницы, завитые, как улитки, привели на верх кафизмы, тронный венец башни базилевса.

Здесь человек чувствовал себя плывущим над миром. Все внизу – и ступени ипподрома, и стена Палатия, уступами опускающаяся к морю, и город с развалинами, которые курились, как костры сырого дерева.

На сотнях стен византийских домов появились листы папируса и пергамента. Даже в Сики, на тот берег Золотого Рога, и в труппы за холмом Ксиролоф, на западной окраине, и на грязную речку Лик сумели проникнуть руки Палатия. В самом появлении листов было что-то пугающее.

Во многих местах листы были сорваны и сожжены, как сжигали вредные заклинания колдунов, вызывающие бедствие своим видом. Кричали, что это начертания опасных проклятий. Перед листами разыгралось несколько кровавых сцен. Убивали с дикой поспешностью ненависти и страха. Каких-то людей уличили как расклейщиков. На других, быть может несправедливо, указали, как на палатийских шпионов.

Однако же и листы и живая передача свое сделали. Вряд ли кто, кроме малых детей, больных и умирающих, не знал новости: для спасения города базилевс зовет подданных на ипподром. Наемниками избиты мириады, сожжена едва ли не пятая часть города, десятки мириадов разорены, оставлены без крова и пищи... и базилевс обещает милость, мир, безопасность. Патриарх Мена в послании к духовенству приказывал всем клирикам успокоить верующих, подготовить души к встрече с базилевсом.

Люди просачивались на ипподром. Смелчаки играли роль зазывал. Подсланные из Палатия давали пример, шпионы проявляли усиленную деятельность. Чаще, чем думает обыватель, соглядатаи и предатели оказываются смелыми и решительными. В своей ненависти люди лишают врага храбрости.

С кафизмы ипподром казался безлюдным. Им владели статуи. Здесь нашлось место для бронзовой Волчицы из Рима. Послушно прибыли Геркулес, изваянный Лизиппом, Аполлон Дельфийский, Афродита, Афина-Паллада из города ее имени. Неведомо кем извлеченная из мрамора, Елена Троянская была, несомненно, еще прелестнее прелестной модели: слава украшает посмертно и души и тела.

Над верхней ступенью трибун была устроена аллея из статуй. Каменное население ипподрома возбуждало суеверный страх. По ночам оно оживало. Сотни служащих, которые жили под трибунами, на ночь запирались, оградившись крестом на притолоке, изображенным копотью освященной свечи. Было много приемов устрашения демонов. Особенно помогала красная нитка на мизинце и указательном пальце, которые следовало наставлять рожками. Это знак пророка Моисея, которым богоматерь отгоняла сатану.

В безлунные ночи Геркулес размахивал палицей. Однажды Елена Троянская соблазнила возницу венетов Симеона. Утром уборщики нашли его искусанным и лишившимся разума. Когда слышался вой Волчицы – известно, что волки не умеют лаять, – на следующих играх или лошади ломали ноги, или убивался возница, или зверь рвал охотника.

Дневной свет обессиливал демонов. Им мстили. За пачканье статуй полагались жестокие наказания. Однако же спины, животы, ноги богов и героев были обильно татуированы грязными ругательствами и циничными рисунками.

Богоматерь плакала. Византийцы почитали добрую посредницу между миром страстей и суровым

сыном. Ведь никто не погибал из-за споров о существовании страдальцы матери.

Покровительница скорбела о людях. Ее икона во Влахернах проливала чистое миро. Каждый мог видеть капельки душистого масла в уголках ее глаз. Плакали иконы Девы у святого Феодосия в квартире Дексиокрит, у святого Конона на площади Быка, в том храме, где в первый день мятежа нашли убежища сорвавшиеся с петли венет и прасин. На челе чудотворца мирликийского Николая проступили капли пота. Сегодня утром чудеса прекратились. Многие прочли в этом знамение: предлагая подданным встречу, базилевс успокоил волнение покровителей христиан. Ейриний, Зенобий, Вассос и некоторые другие венеты приглашали принять мир.

– Идите на ипподром! Да живет Юстиниан, да живет Феодора! – по очереди выкрикивали несколько человек.

– Заткни пасть! – человек добавил несколько ругательств. Его сбили с ног. Вскочив, обиженный ответил ударом ножа.

Из широкого рукава одного из защитников базилевса выскочил кистень. Граненый шар на железной цепочке тупо щелкнул по черепу, как по бревну.

– К убийству! К убийству! – завопили свидетели, невольно расступаясь перед организованной силой. Сторонники правящей власти, угрожая мечами и кистенями, прорезали толпу. Но их уже догоняли, окружали, кто-то командовал...

– Гляди... – говорил Георгий Красильщик Гололобому, обыскивая тело, – и на этом тоже кольчуга под хитоном. То-то он такой толстый. Я его достал ударом по плечу, а он стерпел!

– Оставить бы парочку живыми да растянуть, – заметил Гололобый.

– Оставить! – желчно ответил Красильщик. – Оставишь с вами. Нет ума у вас всех! И порядка нет! Да разве сколотишь за неделю войско из сброда... – закончил он с философским презрением старого солдата к новичкам.

Опыт, однако, уже был. Прожиты дни, равные годам. Отряд, кое-как сбитый отставным центурионом, побывал везде. Они вовремя выбрались с площади Августеи, сумев ускользнуть из мышеловки Софыи Премудрости. Первыми они стали устраивать завал на площади Константина. Потом они избрали союзником когарту Тацита и в лабиринтах Октогона имели даже успех. Отряд потерял, вероятно, больше двух третей начального состава, но в числе не уменьшился.

– Я уверился, мы с тобой неуязвимы, – хвастался Гололобый. Красильщик по опыту солдата научился не думать о том, что каждый удачный день приближает неизбежный час раны и смерти. Он не хотел разочаровывать друга.

Гололобый говорил – отряд, войско. Не было для Красильщика ни войска, ни отряда – шайка, сброд, толпа. Что с того, что был значок – кусок красного пурпура на копье, знаменосец, который объяснялся на чудной смеси латинских и эллинских слов, трубач, таскавшийся с настоящим буксином. Этот утверждал, что служил в каком-то легионе. В каком? Он назвал сначала один номер, потом – другой. И без этого Красильщик узнал самозванца. К чему разоблачать лжеца, если он храбр! Была и добыча: городские схватки всегда бросают под ноги ценное, только нагнись. Может быть, и вправду войско?

Ворота ипподрома перекрывал портик. Плитная мостовая под ним была заметно волниста. Как бы ни был крепок камень, мириады мириадов ног так истирали его, что каждые пять лет приходилось заменять плиты.

Большие листы папируса, приклеенные к воротам, привлекали внимание византийцев. Буквами, величиной с четверть, толсто намазанными сепией на желтоватом фоне, базилевс обещал:

Клянусь наисвятейшими гвоздями
древа Христова и муками спасителя
нашего, входите без сомнения, никому
не будет причинено малейшего вреда.

Решаться или нет! Каким маленьким кажешься себе рядом с закованными медведями! Колоссальные звери из черного мрамора морщили носы в странной улыбке. Их крокодильи челюсти с желтыми клыками могли присниться в кошмаре, византийские матери пугали детей ипподромовыми медведями. Знак побед Септимия Севера над германцами – на медвежьих лапах, залитых красной ржавчиной железа, висели цепи.

Арена была прибрана – служащие ипподрома собрали клочья, оставленные на песке в день ссоры византийцев с базилевсом: мусорщики умеют лучше многих наживать на мятехах.

С кафизмы люди в воротах ипподрома казались мелочью, вроде крыс. Но не из-за расстояния, которое по прямой не превышало трехсот пятидесяти шагов – здесь все, кроме людей, обладало чрезвычайными размерами.

– Мне сейчас вспоминаются наши леса, наше море, – говорил Индульф товарищу. – Наши люди лучше. Смотри, какие эти! – Индульф указывал на пеструю мелкую грязь, которая втягивалась в ворота ипподрома.

А снизу Георгий Красильщик объяснял всем, кто хотел его слушать:

– Это спафарии.

Золоченые шлемы над обводом кафизмы казались птицами, усевшимися на край мраморной кормушки.

Присмотревшись получше, старый солдат опроверг себя:

– Нет, это не спафарии. Наверное, екскубиторы. Такие же, с позволения сказать, настоящие воины, как вы. Важная поступь, длинный меч, гордый вид. Нагоняют страх на послов, и те потом врут у себя небылицы. Говорят, в Италии, в Риме, было пять мириадом таких преторианцев. Они вертели всем делом, ставили на кафизму, кого хотели.

– Тогда бы тебе не удалось свести счеты с Теофаном, – язвительно сказал Гололобый.

– Дурак ты, приятель, – без злости возразил Красильщик, – тогда я был бы преторианцем и, клянусь богом, купил бы тебя, а потом дал отпускную. Ты мне скажи, почему ты только один раз видел Велизария с его ипаспистами? Я считаю, на одних герулах да готах долго не удержаться – это тебе для подсказки...

– А ты знаешь почему? – увернулся Гололобый по-детски.

– Может быть, – не поддался Красильщик, – может быть. А ну, кто еще знает? – спросил он.

– Не хочет терять лица перед людьми, не хочет портить отношения с византийцами, – сказал пожилой мужчина, вооруженный топором мясника.

– Был бы хорош базилевс Велизарий! – выкрикнул кто-то из-за спин.

– Верно, – подтвердил Красильщик с удовлетворением человека, чье мнение не одиноко. – Он щедр к солдату.

– А что будет дальше? – любопытствовал Гололобый.

– Я не провидец, спроси патриарха... Эй! – закричал Красильщик. – Назад, сын мула, навозник! Куда лезете, свиньи? Эх, нет у меня еще профоса с розгой, он нужнее значка и буксина. Вместе держись, не

расползайся, не лезь далеко. Будем здесь, поближе к выходу. Вот что дальше случится: подопрем один другого – конец Юстиниану.

Мятеж находил равновесие. Вопреки пожарам, вопреки избиениям город оживал. Жизнь, прерванная было, возобновлялась. Нашлись запасы зерна. Самочинные начальники производили бесплатную раздачу. Начался подвоз мяса, овощей, масла, рыбы – торговцы не могли гноить продукты. Рынки оживили наполовину, но цепи упали – никто не выжимал налоги и взятки. Развалины префектуры смердели кожей паленых пергаментов – дотлевали ненавистные описи налогоплательщиков, частые сети, которыми улавливались и солиды купцов и оболы публичных женщин.

7

Очень многие императоры и базилевсы носили клички, метко брошенные, крепко прилипнувшие и далеко не всегда обидные. Предшественника Юстиниана прозвали «Молчаливый» не по той причине, что Анастасий был когда-то по палатийскому званию силенцарием, то есть был обязан не только сам молчать, но требовать и от других проявления этого ценнейшего качества. Бывали – Обжоры, Кровавые, Мясники.

Юстиниан ускользнул. От настоящей клички, конечно. Айксомейтос – Бессонный – не памятное прозвище. Так же, как Отец Отечества, Покровитель Народа и прочие – Бессонный не кличка, а лесть. Юстиниана могли бы прозвать Болтуном или, более вежливо, Оратором. Не случилось и этого. Может быть, потому, что народ, как никогда, был оглушен славословиями, каждодневно лившимися, подобно лаве из вулкана, из законов, объявлений, извещений, предупреждений?.. Так ли, иначе ли, но Юстиниан не поддавался краткому определению. К его гладкой коже не прилипали словечки.

Он любил говорить, его мысль созревала живее в словах изреченных. Иногда он произносил поистине удивительные речи. Повелев привести к себе подданных, уличенных в манихействе, Юстиниан вел с ними дискуссию посредством собственного монолога. И закончил:

– Не убедив вас, возвращаю вас правосудию, дабы немедленно были вы сожжены в огне...

Такая скромность, такое признание собственной неудачи были поистине божественны.

В середине этого зимнего дня Юстиниан шел на ипподром, зная, что скажет сам, и предполагая дальнейшее. Решил сам, сам сыграет, храня до конца секреты решения. Может быть, именно поэтому его не прозвали Болтливым: говоря с расточительной щедростью, Юстиниан никогда не проговаривался.

Сегодня он уснул перед рассветом и спал долго, почти полный час. В бане слепцы массажисты омолодили тело базилевса. Он съел цыпленка, немного отварной свеклы, два яблока, и грушу, и кисть хорошо сохраненного винограда.

Кажется, Феодора собиралась тайно присутствовать, укрывшись на хорах святого Стефана. Было достаточно намек – и она отказалась. Юстиниан не хотел заранее говорить о своих намерениях, дабы не искушать Судьбу. Сейчас он чувствовал себя совсем молодым, он мог бы лететь. Через девяносто лет Магомет обещал правоверным подобную награду, но в раю. Пророку следовало бы воздать хвалу Юстиниану, который разорением Сирии, Нижнего Египта и Африки, уничтожением населения этих областей расчистил путь арабам.

Палата Девятнадцати аккумулятивов. Серо-бело-голубые мозаики. Горбатая лестница. В стаях свиты базилевс плыл, как пчелиная матка. С первой ступеньки лестницы-улитки базилевс благословил славян-наемников знаком креста, хотя схолярии и были язычниками. Идолопоклонники, чужие и, естественно, верные. Их комес Рикила в ссоре со всеми, на него наговаривают, он одинок и разъеден завистью. Умей пользоваться ненавидимыми, доверяйся отверженным. Не свершай ошибки, назначая людей, уважаемых подданными, сильных друзьями. Да парит власть на темных крыльях орла...

Рикила Павел успел поцеловать пурпурный сапожок базилевса. Как бы ввинчиваясь в кохлиос[37], Юстиниан увидел славян на втором этаже, на третьем. Базилевсу нравились широкие плечи и благообразные лица наемников-северян. Рожденные бесконечно далеко, такие солдаты верны. Они вносили в Палатий аромат девственных лесов и степей, как дикие кони. Юстиниан любил и лошадей, и сильных послушных мужчин. У этих – свои обычаи. Будь Рикила умнее, он опоздал бы с церемониалом поцелуя ноги.

Зев лестницы открывался за креслом базилевса. Десяток славян охраняли край кафизмы. Юстиниан

стукнул острым наконечником посоха-копья. Не слишком быстро славяне обернулись, приветствуя базилевса по-ромейски – поднятием правой руки.

По движению стражи подданные догадались. Из слитного гула выскочили вскрики, как шапки, подброшенные над толпой.

Итак, они явились. Поднявшись на престол, базилевс ощутил небольшое разочарование: трибуны наполнены не более чем наполовину. Он медлил нарочито, не торопился в сознании силы. Если иные заключат, что он робеет, пусть так. Он опустил на подушку сиденья. Так недавно отсюда он наблюдал за триумфом в честь победы над вандалами!

Тогда, совершив путь перед восхищенными подданными, военная добыча исчезала в подземелье дворца Буколеон, в сокровищницах рядом с подземными темницами-нумерами. На тележках, специально заказанных, везли золотые сосуды, блюда, тарелки, кубки, амфоры, а также особенные, непригодные для употребления по неподъемной тяжести вазы грубой работы – своеобразные слитки, непосильные для вора. Несли громадные щиты с прикрепленным к дереву оружием, по своей ценности доступным только базилевсам. Упряжки белых верблюдов тянули горки со священными предметами евреев из Соломонова Храма. Их взял Тит, разрушитель Иерусалима. Из Рима их похитили вандалы, когда Гензерих грабил города Италии. Теперь они вернулись к преемнику императоров Флавиев. Лишь несколько человек знали, что большая часть этих великолепных предметов была отлита из обтянутого золотом свинца. Кто совершил странный и кощунственный подлог? Мудрый Соломон, который ведал, что богу не нужно золото, что только людская глупость навязывает богу собственные пороки? Или поставщики, снедаемые корыстью, обманули и Соломона и бога, и в Иерусалиме не нашлось своего Архимеда? Или преемники заняли у бога драгоценный металл – знал только Иегова. [\[38\]](#)

Драгоценные камни были насыпаны в стеклянные ящики, а деньги нарочно брошены на носилки каменщиков, запачканные глиной и известью.

За сто лет власти над Западной Африкой, за сто лет пиратства вандалы накопили немало. Подданные должны понять, что разум базилевса сильнее бессмысленно спящего золота.

Перед стройными толпами рыже-светловолосых пленников шел последний рекс вандалов – Гелимер, высокий, но слишком тонкий, изнеженный, бритый по-римски. Без цепей. Юстиниан счел их применение не подобающим для христианского триумфа. Лицо Гелимера искажала улыбка странной иронии.

Последний вандал читал наизусть:

«Суета сует, и все суета. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Нет памяти о прошлом, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, кто будет после...»

Перед кафизмой церемониймейстеры сняли с Гелимера пурпурный плащ и поставили рекса на колени, как просителя. Такая тишина возникла, что со своей высоты Юстиниан услышал голос женственного вандала:

– ...потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, ибо все суета... Как вышел человек нагим на свет, таким и отходит, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы взять в руку свою. Какая же польза ему, что он трудился на ветер?..

Потому-то он так бесславно закончил свои дни, этот прилежный чтец Экклезиаста. «Ничтожество», – решил Юстиниан.

Языческий Рим убивал пленных владык после триумфа победителей. Югурту опустили в каменный

мешок, и нумидиец успел зло пошутить пока замуровывали могилу: «Холодные у вас бани, римляне!»

Последнего преемника Александра, Персея Македонского [39], замучили лишением сна. Следуя гнусным республиканским традициям, прежние римляне тешились казнями побежденных правителей.

Юстиниан считал вредным подчеркивать брэнность тела владык. Повелители могут погибать в бою, могут враждовать один с другим, но они остаются подобием семьи, они – другой крови, чем демос! Юстиниан пожаловал бывшему рексу вандалов Гелимеру сан ромейского патрикия. Не его вина, что пленник быстро зачах в роскошной вилле. Так же Юстиниан поступит с другими соперниками, даже с Хозроем-персом, когда его по воле Христа Пантократора приведут на этот ипподром.

Но как тогда вел себя плебс при виде Велизария... Победоносный полководец и удачливый добытчик Велизарий был встречен с чрезмерным восторгом. Никто не смотрел на кафизму. Юстиниан ощутил нечто похожее на злую грусть. Возбуждение подданных дошло до безумия, когда Велизарий раздавал плебсу мелочи – пряжки, пояса, застежки, перстни, серьги, браслеты... Нет, Велизарий больше не получит триумфа. Базилевс знал: в Африке Велизарий прибрал в свои руки не менее восьмидесяти тысяч фунтов золота. Это неизбежно. Но триумфа Велизарий больше никогда не получит...

Довольно воспоминаний! Напряжение толпы ложилось на плечи Юстиниана, как плащ, подшитый свинцом. Пора, пора! К единоборству со множеством, как Самсон. Базилевс поднялся на возвышение. Сейчас его видели до колен. Сложив три пальца в крестное знамение, он благословил правые трибуны, потом – левые.

По виду, на трибунах властвовал охлос, и как-то не случайно разбредшийся, а кучками. Нет, под туниками грубой шерсти прятались и знатные. Юстиниан узнал Оригена, демарха Манассиоса... Ему некогда считать, он разоблачит маски потом.

Вездев руки подобно первосвященнику, Юстиниан выбросил кисти белых рук из пурпурных рукавов, будто обнимая ипподром, и замер как статуя. На фоне неба, без сравнения с другим человеком, он показался колоссом в диадеме над гладким нечеловечески-белым лицом от египетских и индийских притираний.

Византийцам явилось нечто иное, нечто большее, чем простой человек. Очень многие, придя с камнем для пращи в сумке, с камнем гнева в душе, странно расслабли. Что это? Страх? Нет, нечто худшее.

Базилевс был далеко не один. Вместе с ним пришли Армия, Церковь, Привычка повиноваться, Привычка сознать себя малым, недостойным даже презрения, Привычка быть всегда угнетенным, Привычка изворачиваться, лгать, отступать, кривить душой, думать лишь о себе, Привычка продаваться, Уменье довольствоваться малым. Дело Юстиниана готовилось восторжествовать внутри людей. Сейчас они, подданные, осознают свое ничтожество.

Как удав, который нуждается в точке опоры для проявления силы, Юстиниан оттолкнулся от молчания ипподрома:

– Я прощаю! Я обещаю забвение проступков! По завету Христа Пантократора зову вас: вернитесь к делам своим! Прекратите безбожную смуту!

Подданные не слышали о науке базилевсов, не видали, как кривляются властители перед зеркалами по указке мимов-учителей. Величественность якобы даруется невидимым Гением. Автократору было легко казаться необычайным перед подданными, подавленными Привычками. Базилевс дарует прощение. Он Добр, он Велик, он Божественный!

– Клянусь священным Евангелием!

Откуда у него появилась святая книга? Чудо! Он поднес к лицу книгу, поцеловал крест на переплете.

– Никто не будет наказан! Я все забыл!

Пора заключать. Сейчас Божественный уйдет. Коллоподий, невидимый снизу, опять подполз, чтобы принять Евангелие. Юстиниан поднял руку для благословения. Еще одна минута, одна, и он – победитель толпы.

– Ты убил мириады! Кого ты прощаешь? Себя? Ты лжешь, ослоподобный! О гнусный! – гневный голос прорезал тишину.

Кто осмелился метнуть в базилевса ком грязи, какими обмениваются на рынках! Нужно было действовать быстрее, оставить охлос разъедающим сомнениям. Но уже нельзя уйти, теперь базилевс должен поразить противника громом своего слова. Почему Христос Пантократор не превращает пальцы базилевса в пучки молний!..

Устроив лестницу из спин и рук, мятежники посадили на жертвенник дельфийского Аполлона лохматого монаха.

– Не верьте ему, братья! В нашем храме, в день троицы, во время ночного бдения была вознесена молитва: «Творец и владыка наш, какого базилевса ты нам послал?» Вся братия, все миряне слышали ответ: «Худшего по делам вашим я вам не нашел!»

Голос монаха был посильнее Юстинианова, но и без того базилевс не может вступить в перебранку с подданными. Приходилось ждать.

– Братья! Христа демон не обольстил, нас же обманывает ежечасно. Не судите по клятвопреступным его обещаниям, но по делам. Юстиниан разрушил ваши жилища, руками варваров избил ваших близких, он сделал с вами то, что ранее совершил в провинциях. В начале его правления на востоке явилась звезда видом копья. Мы ждали беды от мидов – смерть пришла от пастыря стада. Он опустошил Сирию, Палестину. Даже в пустынях отшельников люди погибали от него. Епископы Павел и Евфрасий, и Ефрем, сын Апиана, суть адские вилы в руках демона-базилевса. Лишь в Сирии они убили восемьдесят мириадов мужчин, женщин, детей. И тридцать мириадов они продали сарацинам. Сколько же погибло в бегстве – знает бог!

Прирожденный оратор, монах остановил на себе зрачок толпы, он не уставал, не давал Юстиниану бросить с кафизмы сокрушительную реплику.

– Что стоишь ты, как ложный архангел! – взывал монах. – Я, христианин, вызываю тебя. Пойдем в Сирию! Я покажу тебе дома прочные, из тесаного камня, но они более не жилища, их стены черны от копоти зажженных тобою пожаров. Вот акведуки, тобой сокрушенные, иссушенные тобою цистерны. Ливни, прорвав края животворящих каналов, смыли плодородную почву, и на обнаженных скалах не зацепится и верблюжья колючка. Ты выморил Сирию, и Палестину, и Самарию. От тебя безлюдует Египет. Ты открыл путь аравитянам, и они, коль захотят, без труда овладеют старыми христианскими землями. Братья! Что сказано богом о псе, пожравшем доверенное ему стадо?

Вот почему Юстиниан не хотел присутствия Феодоры. Монах был неистошим.

– Я покажу тебе, демон, города и селения, пустые, как ограбленные могилы древнейших язычников. Города еще целы, есть кровать для ночлега. В ларях найдется горсть муки, сухие оливки. Ты – ешь! Я же не трону забытого рукой палача. Как бы ангелы на страшном суде не сопричислили меня к твоему воинству, убийца! То были жилища христиан. Ты укладывал сирийцев, евреев, самаритян лицом вниз с петлей на шее. Концом той же веревки связывал ноги. Счастье тому, кого быстро приканчивала ядовитая гадина. Не смея напрячь тело от боязни греха самоубийства твоей хитрой петлей, они принимали горчайшую смерть от мук близких своих, погибавших рядом. Ты разорил оплоты христиан. Ты совершил дело врага.

Будто сговорившись с монахом, Ориген ворвался в паузу:

– Ты высосал ромеев, как тарантул кузнечика. Уйди! Тебе открыто море. У тебя есть корабли. Ты обещал нам безопасность встречи с тобой. Мы же обещаем отпустить тебя четверем ветрам. Грузы награбленное тобой. И – прощай!

Монах сумел держать внимание толпы силой искреннего красноречия, Ориген имел успех краткости. Час речей прошел. Ни одного выкрика в пользу мира и справедливости.

Под пурпуром Юстиниан был закован в железо. Но как уберечь голову, когда полетят камни?.. Он слышал выкрики:

– Толстомордый бык! Скряга! Вор! Убийца! Лжец! Поджигатель! Грабитель храмов!

По арене тащили осла с болтающимся чучелом. Начинается обряд поругания. Тряпичное тело кощунственно нарекут именем базилевса, оплюют, огадят и бросят в клоаку.

Юстиниан не различал отдельных слов в общем крике, лишь случайно дошло до слуха:

– Акакий базилевсопатер! – Поминали Феодору...

Юстиниан воздел руки, и велика сила Привычек – шум ада ослабел.

– Христианин, я прощаю обиды. Христиане, простите и меня. Да вразумит вас бог! Да не обратит на вас кару за злобу, за непослушание! Послушание Власти установлено Христом!

Голос невидимой женщины ответил из-под кафизмы:

– Матери-отцы, а не ты, пес безродный, расплатимся за тебя. Распутник, детоубийца, почему твоя Феодора не рожает? Разучилась в Порнае?

Боясь показать спину толпе, Юстиниан отступал в глубину и вдруг присел, исчезнув из глаз подданных. Поза невеличественная вообще и очень неудобная из-за лат под одеждой. Но его никто не видел. Били камни последних оскорблений.

– Привет в мере, тобою заслуженной!

– Спустишь, спустишь к нам! Мы тебя повесим, как Валентиниан вешал поджигателей.

– Автократора на водопровод!

Однако же Анастасий умел мириться с городом. Не так, как Юстиниан. Тот базилевс однажды вступил на кафизму без диадемы и вновь надел ее по разрешению плебса.

Силы и Могущества, Могущества и Силы, их считает и взвешивает каждый базилевс – из тех, кто хочет быть Властью. Их нельзя уничтожить, так как в своей совокупности они суть государство. «Их нужно постичь, чтобы обессилить», – думал Юстиниан.

Основа империи есть собственность. Африканские схизматики донатисты-циркумцеллионы, отрицая собственность, хотели, не зная того, погубить империю: людям, поделившим достояние поровну, Власть не нужна. Ибо, не имея возможности обогатиться, никто не захочет подчиняться. Однако имущие, гордясь духом, хотят участвовать в правлении, дабы еще более обогатиться. Они вредны, как гнездо непокорности, где могут воспитаться соперники базилевсов. Поэтому Юстиниан усмирал землевладельцев эпидолой и синоной, купцов – обложениями и палатийскими монополиями, а всех вместе – конфискациями и казнями.

Не так давно империя содержала шестьдесят четыре мириада солдат, Юстиниан уменьшил войско до пятнадцати мириадов. Пусть медленнее достигаются успехи в войне. Выгоднее подкупать врагов, выгоднее

ссорить их подкупами между собой, чем посылать против них могучие, опасные для Власти легионы.

Глупец монах кричал о разорении Сирии. Там гнали монофизитов, ибо ересь заразила сирийские земли. Кафолическая церковь неуклонна в поддержке Власти. Святители ее клялись в верности, но с условием: «Дай землю, с которой ты вымел еретиков, мы заплатим тебе небом. Помоги нам сокрушить ребра схизмам, мы поможем тебе победить персов, готов, гуннов, германцев». Считая земную жизнь ничтожной, святители не препятствуют Власти гасить ее дыхание в тленных телах. Способствуя империи, Церковь лишила еретика человеческих прав. Бог сказал: не убий. Но кого? Еретик есть не человек, но враг бога и христиан: убить его – заслуга. Однако и единство верующих опасно, как и гордость святителей.

Палатийские сановники – клубок интриг, страстей, самолюбий. Без светлейших нельзя управлять, и нет общего лекарства против дремлющей в них опасности, кроме бдительности и разделения.

Легче всего Юстиниан справился с демагогами. Адвокаты потрясли старый Рим. Катон и Цицерон были сутягами.^[40] Один покончил с собой, другого зарезали или удушили. Следовало обоих утопить младенцами. Популярность демагогов начиналась со словопрений на процессах. Шпионы изыскивали любителей пачкать папирус и рассуждать о делах Власти. Юстиниан упростил суды. Сенат превратился в неприсутственное учреждение. Остались здания и звания.

Плебс, как источник всех доходов государства, был для Юстиниана силой неразумной, как стадо животных. Его нужно разоружить. Пусть безоружные жители провинций не имеют чем отбиться даже от разбойников. Пусть от страха перед людокрадами сколько-нибудь состоятельные люди прячутся. Зато сейчас горсть герулов, готов, славян, разноплеменных ипаспистов Велизария достаточна против единодушного охлоса. Нет, Юстиниан не вызовет подкрепления!

Его предшественники имели союзников внутри государства. Кто опирался на армию, кто на богатых, кто даже на плебс, как Анастасий, покровитель прасинов. Имея союзника – имеешь врага. Нужно иное.

Виноградная лоза умеет извлекать лучший сок из падали, разумный правитель – из истории. Юстиниан еще юношей нашел у Геродота рассказ о тиране Милета Фразибуле. Его союзник, тиран Коринфа Периандр, хотел получить совет, как лучше управлять государством. Взяв на прогулку посланного, Фразибул тонкой тростью с величайшим терпением обломал на пшеничном поле все колосья, поднявшиеся выше других, и, ничего не объяснив, отпустил посла. Тот мог рассказать Периандру только о странном поведении его милетского друга. Но коринфский тиран понял. Юстиниан – тоже. Он тщательно боролся с самым страшным противником Власти – с Человеком. Этот враг появлялся везде, трость Власти не может знать отдыха. Цена мятежа безголового – медь. Неделю бунтует город, а вождя нет. Ни озлобленный Ориген, ни Тацит-мечтатель, ни Манассиос-мягкодушный не годятся в правители.

В Христотриклинии базилевс повелел привести к нему Ипатия, Помпея и Пробуса, знатных патрикиев, в числе других искавших в Палатии прибежища от мятежа.

Патрикии, истово выполняя церемониал, целовали ноги базилевса. Он же, приказав всем выйти, поднял подданных ласковым словом, милостиво разрешил им сесть на подножие престола.

Патрикии, дрожа, лепетали благодарности с видом людей, совершивших преступление, за которым последует кара. Но базилевс, не обманываясь внешностью, знал: эти трое неповинны перед ним даже в мыслях невысказанных.

Низкие колосья на слабых корнях не заслуживали трости Фразибула. Вопреки близости родства эти племянники базилевса Анастасия не были ценимы своим августейшим дядей. Анастасий не приобщил их к власти при жизни, не почтил свою кровь обещанием диадемы. Сам человек незнатного происхождения, Анастасий выдал сестру за родовитого патрикия империи, одного из прямых потомков Помпея Великого, баловня Суллы Феликса Счастливого.^[41]

В правление Анастасия Ипатий, полководец честный, но неудачливый, попал в плен и был выкуплен дядей-базилевсом. После этого патрикий вел жизнь частного лица. Его жена славилась и красотой и не всегда сопутствующей этому дару строгостью нравов. Сам Ипатий считался хорошим семьянином и ревностным кафоликом.

Юстиниан некоторое время беседовал с племянниками Анастасия, после чего ищейки Иоанна Каппадокийца принесли отставному светлейшему значительное известие: доподлинно, что Ипатию, Помпею, Пробусу велено вернуться домой.

Носорог подсматривал. Трое патрикиев спустились по ступеням лестницы Буколеона, влезли на малую галеру.

– Да, – сказал себе Иоанн, – среди екскубиторов болтали о диадеме для Ипатия. Не для этого же Обожаемый выпустил птичку на волю. Не понимаю... Я не решился бы! А потому-то я и зовусь Иоанном, а не Юстинианом. Потому-то Божественный и не смущен предсказанием о мантии Августа для меня. Размыслим теперь, спроси у меня Несравненный совета, что я ответил бы? Нет... мой ум заплесневел... я тупею вдали от Величайшего...

Святой труд на пользу империи заслонит оскорбления, несправедливо нанесенные охлосом. Новый квестор Василид пригоден лишь как имя в эдикте. Юстиниан приказал позвать Феофила, талантливоего помощника Трибониана.

– Меня заботит Египет. Запиши мысли, которым ты придашь нужную форму для новеллы[42].

Феофилу была известна ложная скромность таких вступлений. Божественный ревнив. Впрочем, это не портит дело. Юстиниан диктовал:

– Итак. Беспорядок в поступлении египетского хлеба возник еще до Нашего вступления на престол. Мы еще тогда удивлялись подобному упущению, когда всевышний Нас не призывал. От Нашего внимания не ускользает малое, тем более наблюдаем Мы большие дела. Ибо они имеют государственное значение. Доставка хлеба из Египта прекращается. Подданные земледельцы утверждают, что все уплатили. Подданные пагархи[43], сборщики, особенно местные власти, так все запутали, что истина скрывается для выгоды непосредственно прикосновенных к хлебным делам...

Мелкая скоропись законника пестрила папирус. Юстиниан излагал закон-новеллу с законченной точностью. Назначается новый сановник со званием августалия в титуле светлейшего. С помощью шестисот солдат – подчиненных только ему! – августалий собирает хлебный караван для Византии. Прежде отправления хлеба в столицу запрещен какой-либо вывоз зерна из всех египетских городов! Если хлеб будет вывезен с опозданием, если его будет вывезено меньше, августалий и его заместители и помощники подвергаются денежному наказанию в один солид за каждые два мешка. Наказание будет лежать на августалии и его наследниках, на его заместителях, на помощниках и их наследниках, пока не взыщется вся недоимка...

Базилевс обогащал свои мысли простыми словами:

– Помнить будем, что издание неисполняемых законов попросту вредно. Пожизненность, наследственность недоимок суть необходимости. Пеня-недоимка должна преследовать подданного неукоснительно. Тем более что греховная порода людская введет августалия в соблазн личного обогащения, замечу тебе, Феофил. Пусть же, подобна первородному греху Адама и Евы до пришествия спасителя нашего, недоимка следует за наследниками, за наследниками наследников... Пока не будет погашена. Запомни, Феофил, такая мысль подобна оживляющей тело бессмертной душе да входит во все

законы. Вечна империя, вечны обязанности подданных. Однажды упущенное ими не минует окладных списков, как ни один грех христианина не выпадает из записей ангела-хранителя...

Перед внутренним взором Юстиниана явилось волосатое лицо монаха на дельфийском жертвеннике. Базилевс отвлекся. Феофил притаился, как мышь, остерегающаяся нарушить покой кота.

В чем-то злобный еретик был и прав. Юстиниану вспомнился памфлет, не слишком давно доставленный ему верным Носорогом. С наглым издевательством безымянный автор предлагал базилевсу обложить всех еретиков десятичным против кафоликов налогом: «и ты увидишь, отнюдь не божественный, как твои подданные озарятся светом истины. Не огнем убеждай, а твоими гениальными способами превращения навоза, коим поля удобряют, в золото диадемы. Впрочем, скоро тебе не с кого будет драть кожу, твои подданные спешно переселяются на небо».

Юстиниана заботило уменьшение численности подданных. Он усилил налог с холостяков, подтвердил ранее изданные эдикты против безбрачия, добавил новое. Действительно, юг обезлюдел, особенно Сирия.

– Запиши в стороне, – приказал Юстиниан Феофилу, – о мерах размножения подданных. – Он взмахнул рукой. – О привлечении колоний из числа задунайских варваров на свободные земли наших азиатских владений!.. – И вновь тревога прервала течение державной мысли.

Юстиниан вспомнил Оригена, мелькнул Ипатий, трясущиеся руки Пробуса. Прочь! И он вернулся к нильскому хлебу:

– По индикту стоимость египетского хлебного вывоза составляет ежегодно восемьсот мириадов солидов. Впредь мы не будем увеличивать обязанности подданных. Поэтому справедливая десятина должна собираться августалием с помощью его воинов со всех городов, поселений и лиц в Египте. И пусть августалий не обременяет скудость своей мысли размышлениями о неурожаях... Собранный налог августалий вручает сборщику корабельного налога...

Базилевс потерял стройность изложения. Феофил уловил уместность одобряющей реплики:

– Следовательно, Божественный, августалий обязан и поставить зерно и взыскать налог.

– Да. Одно сочетается с другим. Иным рукам неудобно поручать это. Сборщик корабельного налога наблюдает за августалием. Каждый да следит за каждым во исправление зародыша ошибки.

– С такой ясностью, Всевидящий, не остается места для уверток августалия и лени твоих египтян.

– Так угодно богу, – согласился Юстиниан. – Наша бессонница создает счастье подданных. Изучив развращающие ошибки своих предшественников, я поклялся в духе не приучать христиан ко лжи, будто бы червь съел деревья, а поля иссохли. Империя колеблется не мятежами, а невзносом налога. Война и преследование врага не происходят без денег и не выносят промедлений. Мы не из праздных владык, тупо взирающих на сокращение границ. Мы завоевали Африку. Мы покорили вандалов, мавров, нумидийцев, бесчисленно их истребляя на войне. Мы, по доверию бога, готовы прикончить италийских готов.

На этот раз Феофил был потрясен по-настоящему. Оставшись в Палатии, как на острове, базилевс решил начать войну с готами! Не дав законнику времени, Юстиниан снова вернулся к Египту:

– В той же новелле ты изложишь о фиваидском лимитоне. [\[44\]](#) – Следя за рукой Феофила, Юстиниан делал перерывы, необходимые при диктовке: – Дук лимитона, имеющий власть, равную августалиевой, обязан погрузить весь фиваидский хлеб... на речные корабли не позже... девятого числа месяца августа... доставить караван в Александрию не позже десятого числа месяца... сентября, где дать хлеб августалию для... перегрузки на морские корабли... С фиваидского дука, как с августалия, неисправность будет взыскана в один солид с двух мешков, а недоимка будет истребована с него пожизненно и с его наследников! – закончил Юстиниан скороговоркой.

– Что еще? Чем занять себя? Время, время! – Юстиниан знал тайну времени. – Ты медленно. Ты не идешь. Ты сочишься, как пот на стене подземелья. Ты болезнь. Ты ленивый раб, против которого нет бича. Будь же ты проклято в твоём спотыкающемся шаге, чудовище! Терпенье, терпенье – ведь обещано ангелом Иоанну-апостолу: «Тогда не будет Времени...»

Юстиниан молился. Исполнены обещания, вселенная прекратилась. Все вечная неподвижность небес, ряды святых, ровные, как кусты роз в палатийских садах. Много званых, мало избранных. Голоса обреченных на вечную муку слились в гимн славы. Излюбленный слуга восходит на ступени райского престола. Покой, блаженство...

Бог с отеческой лаской коснулся усталой головы. Базилевс спал.

Глава 8

Сильному жить

Будьте, о духи лесов, будьте,
о нимфы потока,
верны далеким от вас, доступны
близким друзьям.

Гете

1

Солнце с каждым мигмом меняет место: до половины лета Светило все более отклоняется к северу. Истинный восток и истинный запад обозначаются звездой дня лишь дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия, – тем ограничивались познания Малха в астрономии. Он понимал, что у него нет знаний варвара, для которого небо – развернутый свиток. Варвар даже чутьем знает место, где находится, и путь, куда идти. Неписанные науки труднее всех. Малх скорее бы обучил россияча читать по-эллинически, чем научился бы от него ходить без дорог.

Мы в Скифии, мы на краю Земли,
достигли мы пустынь непроходимых... –

декламировал Малх первые строки эсхиловского «Прометея».

Малх знал, что в своих порогах Днепр течет почти прямо на юг. Выше от русского озера великая река несет с северо-запада на юго-восток.

Обломки знаний имели цену для одинокого бродяги.

Купцы считали, что от острова в устье Роси до острова Святого Григория расстояние равно двум тысячам двумстам стадиям.^[45] Это немногим более двухсот шестидесяти римских миль. Днепр! Река будет для Малха подобием стены, уткнувшись в которую палка слепого покажет хозяину, куда идти.

Бесконечно одинокий на чужой, неведомой земле Малх был счастлив. Скифия? А чем он сам отличался от скифа? Подбородок густо зарос темно-русой щетиной. Борода поднялась к голове с нестриженными, нечесаными волосами, естественно волнистыми, подернутыми инеем, как шерсть стареющего лиса. Гребень из копыта, достойный раба, а не «свободного гражданина» империи, вместе с источенной, как листик камыша, бритвой остались на корабле Репартия.

Адам нового мира, первое утро свободы! Память подсказала Малху и другой отрывок из Эсхила:

...пройдя неспаханые земли,
ты Скифии достигнешь. Там живут
кочевники в возах с плетеной крышей,
с колесами большими, и у них
в колчанах спят губительные стрелы:
их нрав жесток и страшен – берегись...

Пусть, пусть!.. Сегодня приднепровский простор принадлежит одному Малху.

Дорога напоминала Малху плавание вдоль берегов Эллады и между островами Архипелага. Там – скалистые мысы, здесь – овраги; там – острова, в пустыне – озера, болота, и рощи, и стада серо-гнедых туров – их Малх обходил с особой осторожностью.

Чтобы не сбиться в счете дней, Малх отмечал каждый вечер царапиной на костяной рукоятке меча.

Ручьи и озера поили, непуганая дичь давалась стрелку. Малх удачно подползал к дрофам. Терпеливо скрадывая опушки, он умел взять сайгу или серну.

На двенадцатый день Малх был потрясен невиданной красотой, пустыня открыла ему еще одно лицо: она могла быть и раем! С возвышенности он видел сотни озер, как серебряные щиты, разбросанные в зеленых зарослях. Башни деревьев казались поставленными нарочно, рукой архитектора. К древнему берегу подступала пойма с зарослями краснотала и тростников.

Малх шел высокой плоскостью, пойменные луга были непроходимы для человека. Широкий овраг преградил дорогу. Лес, цепляясь за крутой склон, сваливался вниз. На дне заросшая топь не дала прохода. Человек вернулся.

Так мало времени прошло, и так все изменилось! Земной рай потускнел, в пойме ветер играл волнами камышей. Трепещущие листья окаймляли разрывы в вершинах деревьев, над ними бежали серые тучи.

Малх уже привык к летним дождям, к внезапностям изменчивой пустыни. Не научился он лишь одному – спокойно спать по ночам. К счастью, дни увеличивались. В темноте Малхом вне воли и разума овладевала тревога. Он казался себе беззащитным. Изредка он находил закрытое место в камнях и оставался там для отдыха, хотя ночь была еще далека. Однажды его разбудил топот. Земля гудела. Массы животных промчались мимо. Кто бежал, почему? – он не узнал. Ночные страхи были свойственны не ему одному – плохое утешение.

Малх старался устраиваться на деревьях, расплачиваясь усталостью и судорогами за короткие часы безопасности. Где бы спрятаться сегодня?

Ветер крепчал, вверху бушевал уже вихрь. Вдали гремело – гиганты гнали телеги, груженные камнем, по исполинским бревнам невидимых мостов. Падали преждевременные сумерки.

Малх наткнулся на громадный дуб, которого хватило бы на постройку нескольких кораблей. Лесное чудовище лежало горой среди молодой поросли. Никакая сила не могла бы с ним справиться. Было нечто трагичное в этой мощи, поваленной ничтожными червями.

Руина сулила хорошее пристанище. Малх быстро нашел место, где можно было не только лежать, но и сидеть, как в пещере.

Гроза приближалась. Невидимые титаны шагали в ногу с тучами и рубились иззубренными мечами молний. Теперь уже не телеги с камнями, а горные обвалы рушились на мир. Грохот делался невыносимым. Могущества урагана, туч и огня слились в ужаснувшем Малха единстве. Непрерывный блеск был бы подобен полыханию пожара, не будь странного холода в зубчатой ярости синего пламени. Боясь ослепнуть, Малх закрыл лицо руками – и видел огонь сквозь ладони, сквозь зажмуренные веки. Мертвое дерево передавало дрожь телу прижавшегося к нему человека. Не покинуть ли ненадежное убежище? Малх не находил силы решиться. Его увлекал странный восторг.

Он не молился. Суровый пресвитер был прав, чуя безбожника. Малху казалось, что он один из всех людей, тайком проникнув в святилище девственного мира, присутствует при роковой схватке гигантов. Ярость природы вызывала в душе ромея не смирение молитв, а бронзово-звонкий топот гекзаметров.

Трескучие удары раз за разом дробили небо. Пахло серой, дымом. Память послушно выбросила перед Малхом расщепленные, изуродованные деревья, которые он не раз встречал в пустыне. Не захотят ли великие силы нанести еще удар по мертвому дубу и живой букашке-человеку?

В Карикиинтии Малх спокойно спал под каменным сводом, кладку которого нарушило одно землетрясение и разрушит второе. Теперь он хотел жить. Он выскочил под ливень из своего логовища. Какое-то животное испуганно прянуло от человека, молнии вырвали из мрака чей-то круп между стволами.

Гром опаздывал. Гроза так же стремительно уходила, как напала. Где-то поблизости еще плясал желтый огонь, умирая под бичами ливня. Малх вернулся в убежище.

После ночного буйства небо подарило земле ясный рассвет, но вскоре облака затмили солнце.

Несильный, настойчивый дождь не хотел униматься. Это был теплый, добрый дождь, залог плодородия и радость пахаря, благодеяние для расточительной степи и награда лесам, которые сэберегут каждую каплю. Не утомляясь, дождь весь долгий летний день нежно ласкал землю.

В лесах человеку кажется, что он идет прямо. Внезапно он замечает, что солнце светит уже не в спину, а слева. Сообразив время и положение солнца, человек может исправить ошибку. В хмурый день источник света спрятан. Малх не ведал, куда идет. Первая же мысль о потере путеводной нити лишает человека чувства направления. Малх заблудился.

Пусть! Его ничто не страшило. Завтра солнце покажет путь, а сплошные леса начинаются только за Росью. Бредя наудачу, Малх вернулся к берлоге под упавшим дубом – своему ночному приюту. Он обрадовался ему, как давно знакомому месту.

Малх разжег костер и наелся, сдобрив солью полусырое, полуобугленное мясо козленка, убитого два дня тому назад. Заложив сучьями вход в свое логовище, он впервые за годы, быть может, спал спокойно, как ребенок.

Утренний лес, одевшись в туманную дымку, не хотел просыпаться. Каждый лист еще держал светлые капли, черные стволы сочили воду. Неподвижный воздух был тяжел густой смесью тления прошлогодних листьев с горечью ольхи, тонкостью орешника, черным паром земли. Подобно прожилкам светлого мрамора в глыбе гранита, струился аромат поздних ландышей, раскрывших безгрешно-порочные чашечки. В испарениях дикого мира, в тишине святилища богов Малху мнилось движение великих сил. Здесь жила и дышала могущественная, извечно существующая душа растений.

Как была не похожа мощь этой черной земли на сухую прелесть красной почвы Эллады! Внезапно Малху явилось откровение скифского леса: беглец не захотел бы сейчас перенестись на Юг, будь к его услугам волшебная сила магов. Пусть будет с ним то, что случится.

Малх разгрел костер, и пепел взлетел серым облачком. Горячие угли помогли бродяге позавтракать. Он заметил, что полусырое мясо, не приедаясь, было вкусным, точно пустыня невидимо приправляла чем-то варварскую пищу.

Руки с отросшими когтями, черные, были точно лапы зверя. Дикий человек до рождения богов – таким Малх увидел себя со стороны. Хорошо!.. Его поражала бесконечность, безразличие в жизни. Семя творения, разлитое в мире, бесстрастно творило траву, животных, человека, чтобы так же спокойно примириться с их смертью.

Малх думал о древней мечте людей, одной всегда, всегда могущественной, но и бессильной. Прометей похитил с неба огонь для людей – символ живой мысли. Каждый человек – Прометей. Каждого пламень мысли жалит так же безжалостно, как овод несчастную Ио, дочь Инаха. [\[46\]](#)

Негаснущее пламя сжигало Эхила сорок поколений тому назад. Через тысячу лет живая мысль будет жалить человека, если он не наглый политик, каким был базилевс Константин, первый император-христианин, каков нынешний Юстиниан Справедливейший!

Символы изменяются, их смысл остается. Предсказание Прометея исполнилось, Зевс умер, христиане опустошили Олимп. Последователи Христа называют своего учителя Любовью. Христос был добрый человек, честно жил, смело умер, не изменив Мысли. Его последователи сделали Любовь насилием. Они вбивают добро, как палач гвозди. Спасители душ, дробящие череп... Что ж тогда Зло?

Хоть на час оказался бы здесь Деметрий! Малх скажет пресвитеру:

– Ты знаешь ли, что философы, которых ты глупо клянешь, постигали Зло только как роковую силу, как Фатум? После смерти для души человека оставалось прозябание в Аиде, одинаково жалкое и для героя и для ничтожества. Тебе это не нравится, Деметрий, это ересь? Хорошо. Христиане назвали Злом самую жизнь! Что скажешь? Это похуже старой ереси язычников! Вы обещаете верующим награду после смерти, жизнь души в царстве бесплотных духов без воли, без Мысли! Рай палым под голубым небом, полный безгрешных, бездеятельных – ты понимаешь? – бездеятельных теней! Вы хотите, чтобы человек, заживо отказавшись от мысли, извлек из своей жизни пользу – пользу! – как ростовщик из денег, отданных в рост. Чтобы попасть в приют для калек... А в другом месте вы припасли для неосмотрительных ад бесконечных мучений. Ты понимаешь, Деметрий, что значит бесконечность?

Ха-ха! Что ответил бы святой человек в лесу, где нет ни цепей, ни тюрьмы, ни палачей?

И вдруг пустыня подарила Малху откровение. Он внимал, как глухой, обретший слух, прозревал, как слепой, чьи глаза наконец-то открылись.

Допущенный к тайне, Малх смеялся над прежним собой: разве не он принимал украшения гекзаметров за символ веры предков? Боги Гомера и боги Эшила – только метафоры поэтов, изображающих борьбу человеческой души. Настоящая истина трудна своей простотой: даже травинка взвешена во вселенной, даже травинка существует по праву рождения.

– Чудо! – кричал Малх, в восторге не слыша откликов эха. – Тебя нет, чудо! Сын земли, равный всем и всему, живет под защитой законов вселенной, написанных всюду. Где же твое место, чудо?

– Меня не обманут более, – обращался Малх к деревьям, как к братьям. – Соблазненный чудом, я верил в молнии капризного бога, верил... Пусть совершится чудо! Его – нет! Оно – выдумка трусливых глупцов.

Как прекрасны и небо, и скифский лес, и каждый лист на дереве... Малх спешил найти слова:

– От бога-чуда, который сотворил вселенную по своей прихоти, пришло Зло! Вы – понимаете? – И ему казалось, что лес шумел в ответ, соглашаясь.

– Это Зло – базилевсы-тираны. Ведь каждый из них есть помазанник божий. Конечно! Ведь без воли бога ничто не свершается. Поэтому каждый объявляет себя творящим волю бога. Поэтому на войне правы все. Чуда нет, есть человек.

В тяготах ссылки Малх едва не забыл тропинку познания. Здесь нет доносчиков. В одиночестве скифских пустынь не было места для Зла. Малха стерегли опасности, которые не унижали волю, не требовали смирения. Укус змеи, клык вепря, зубы волков, рог тура убивают того, кто окажется более слабым, менее ловким. Малх не утешал себя, он знал, что случайное падение в рытвину или с дерева убьет его голодом раньше, чем срастется сломанная кость. Пусть. Пустыня убивает без гнева и вечных страданий, в ней нет Зла. Ромей мечтал о людях, послушных лишь необходимости под отеческим руководством патриархов, как в золотом веке.

Солнечный луч, коснувшись Малха, известил о конце ненастья. Очнувшись, Малх заметил, что деревья успели высохнуть и небо сплошь голубело над вершинами леса.

Во впадинках, в чашках из прошлогодних листьев стояла кристально-прозрачная вода. Малх опускался на колени, ловил в зеркальце обросшее лицо дикаря и гасил образ губами.

Он был обут в куски кожи, искусно вырезанной, украшенной высечкой. Ремни, завязанные кругом щиколоток, делали одним целым с ногой эти сандалии. Россичи носили такую же обувь, называя ее калигами. Малх думал, что как чашу, нож, топор, и этот предмет обихода люди одного народа не заимствовали у других. Необходимые вещи напрашивались сами, искусство украшало их, не изменяя.

Походка в сандалиях беззвучна, но ромей нарочно шумел, наступал на хворостины, ломая ветки.

По шкурам и козам, предметам торга, Карикинтия знала всех зверей приднепровских лесов. Здесь не было тигров, леопардов, пантер, как в Азии, не водились, как в Африке, львы, слоны, носороги.

С солнцем лес ожил, щебетали певчие птицы, гулко долбили дятлы, серые дрозды подпускали вплотную. Малх не хотел бы слишком близко столкнуться с бурым медведем или вепрем-секачом. Он знал, что эти сильные звери уходят от шума.

Между деревьями стояла вода. Высокие пни, острые, как колья, подсказали, что человек подошел к городу бобров. Удивительные звери-строители сумели где-то устроить плотину. Прозрачная граница странного озера сделалась путеводителем. До сих пор Малх видел только темно-рыжие шкурки мудрых зверей, ему тщетно хотелось подметить бобра на свободе. Об уме этих зверей существовали замечательные сказания.

Затопленный лес казался бесконечным. Сколько же бобров жило здесь! Малху не удалось увидеть ни одного. Наконец он добрался до вершины ручья. Стало заметно течение.

Лесные сумерки наступают раньше, чем степные. Влажная земля не прельщала усталого человека, постелить было нечего. Малх убежал в той же одежде, в какой сидел на челне: длинные штаны, похожие на варварские, и рубаха-туника, тоже длинная, с рукавами по локоть. Он забрался на осокорь и устроился в развилке ветвей, более толстых, чем его тело.

Считая царапины на рукоятке меча, Малх не мог вспомнить, отметил ли он вчерашний день и предыдущий – вечер грозы. Странно, у него не было уверенности и в других днях. Нет, он был точен... Точен ли? Пустыня растворила внимание, направила мысль на главное. Что в счете дней! Днем больше, тремя днями меньше – какое дело до времени свободному человеку?

Малх привязался к дереву ремнем. Он сумел быть сытым, не потеряв еще ни одной стрелы.

Утром от остатка козьего мяса пахло тлением, и Малх отказался от еды. Охота на зверя требовала терпеливой засады. Малх предпочел воздержание. Он знал голод тюрьмы, там человек грязнет в унижительной мечте о корке хлеба и миске бобов. На улицах городов голодные раздавлены торжеством сытых. В пустыне Малх зависел от себя, а не от чужой воли.

Он думал, что идет на северо-запад. Много раз, обманчиво редая, лес предвещал открытое пространство. Малх брел по пологим лесистым холмам. Просветами оказывались впадины с влажным дном, поляны, непроходимые из-за повалившегося леса. Зловещие места. Будто чума расправлялась с деревьями или тешился ураган.

Встречались ручейки, и в лесу делалось суше; вязы, тополя и липы сменялись дубами. Вновь и вновь за частоколом стволов мелькало синее небо.

Человек вышел на опушку и остановился, очарованный переменой. Здесь трава поднималась уже до колен. Шаг – и с шумом взлетела стая темных птиц. Малх следил за натужными взмахами выгнутых крыльев, сменявшимися короткими паузами свободного полета. Степной тетерев! Птицы упали в траву поблизости. Изготовив лук, Малх подкрался на двадцать шагов. Оперенный кусок дерева с железным жалом и птица встретились в воздухе. Потянув по опушке, стая опять села вблизи. Наверное, эти тетерева никогда не видели человека. Подбрав первую добычу, Малх удачно взял и вторую. Он забыл накинуть рукавичку на левую руку, тетива, хоть и натянутая вполсилы, порезала кожу. Пустое... Зато в скифской пустыне будет голоден лишь тот, кто захочет поститься.

Но где он? Зеленые метелки ковыля подсказали ответ. Ковыль никогда не растет на замкнутых лесом полянах.

Малх увидел всхолмления, напоминавшие могильные насыпи. Вероятно, время шло за полдень. Восток, откуда пришел Малх, закрывался лесом до небесного купола. В нескольких десятках стадий виднелась полоска воды, обрамленная яркой зеленью камыша. Дальше степь поднималась к небу. Воля, простор!

2

Нищий, найдя сокровища, опасно озирается после буйства первых восторгов. Робость сменила радость Малха. Здесь не к чему было бы прижаться спиной. Сомкнутые ограды леса, как тысячи комнат в лабиринтах стволистых стен, успели внушить бродяге недоверие к слишком прозрачным просторам.

Что там? Малх упал, спеша спрятаться. Вглядевшись, он успокоился. Не человек – безвредный камень устало грезил на близком могильнике. От карикинтийцев Малху приходилось слышать о подобных изображениях, развлекающих путника в однообразии степей. Грубые изваяния, похожие на каменные столбы, уже стояли в степи, когда первый корабль из Милета нашел северный берег Евксинского Понта.

Все говорило Малху о том, что он на степной дороге, о которой слышал на русском острове. И все-таки Малх не знал, где он находится. Он вспомнил: славяне ждут набегов кочевников. Если конные орды уже двинулись, их волны могут прокатиться и здесь. Ему захотелось скорее достигнуть Рось-реки.

Теперь, лишившись покоя, беглец по-иному ощущал молчание степи. Весенние голоса стихли, птицы выкармливали птенцов, звери – детенышей. Каждый таился. Этот мир, такой спокойный, на самом деле полон засад. Убивая, каждый может сам сделаться пищей.

Над обманчиво-радостной степью висели ястреба; рабы докучливого голода, они стерегли жертву в предательском шевелении стеблей. Высота принадлежала орлам, которые, подобно базилевсам, не побрезгают отнять чужую добычу. Всюду ждали пасти и когти.

Но каждый был готов пожертвовать собой во имя спасения племени. Волчица, орлица будут так же храбро сражаться с сильнейшими, как утка-чирушка или серая перепелка, истощенная жадным и жалким бессилием выводка.

Выпуклая спина степи показалась Малху похожей на шкуру исполинского зверя. Никогда не тревожимые плугом корни трав переплелись, плотные, как кожа. Упругая трава этого лета была подобна молодой шерсти. Разогревшись на солнце, спящее чудовище жарко дышало полынью и мятой.

Приглядываясь, Малх понял, что линия холмов, которые казались ему хребтом гиганта, тянулась с юга. Невдалеке виднелась речка. Он спустился на галечную отмель. От степи его закрывала кайма прибрежных деревьев. Вернулось ощущение свободы и безопасности. Малх выпотрошил тетерево-чернышей и, как была птица в пере, облепил тушки глиной. На костре мясо дойдет в своем соку.

Поев, он пошел к северу берегом. Речная долина открывалась в нужном ему направлении. Боязнь открытого пространства ослабевала, кручи, местами сдавливавшие русло, утомляли. Поднявшись в степь, Малх показался себе челноком на гладких волнах мертвой зыби. Солнце светило в левую щеку – день близился к вечеру. «Есть ли имя у этой реки?» – думал Малх.

Его спасла случайность: он оглянулся именно в тот миг, когда три живых комка вознеслись сзади него на круглый гребень степной волны.

Спрятавшись, Малх ничего больше не мог увидеть, кроме головок цветов – только память хранила фигуры трех всадников. Его застигли, быть может, в тысяче шагов от реки. Деревья и камыши были заманчиво близки. Но бессмысленно спастись от конных, бегство губило и будет губить пеших. Малх приготовил лук.

Ветер дул с юга, гонимые им всадники приближались. Всадники? Нет! Только одна конская спина из трех несла всадника.

Лошади шли широким скоком. Малх вспомнил: кони варваров обучены или идти шагом, или скакать –

рысь не пригодна в травянистых степях.

Ромей видел: путь всадника идет стороной. Если кого-то и преследуют, то не его. Перестав быть дичью, он ощутил в себе охотника. Иметь бы коня...

Нет, далеко. Малх не сумел бы уверенно пустить стрелу на две сотни шагов. Ромей утешал себя, – сбив человека, он мог и не поймать ни одного из трех коней. Он часто слышал, что кони варваров признают только хозяина.

Малх, затаившись, провожал всадника глазами. Вдруг тот остановился, прыгнул на землю. Теперь Малху пришлось бы подняться в высокой траве, чтобы увидеть, что происходит. А! Он плохо спрятался, и его заметили.

Только что он сам хотел напасть и хладнокровно готовился. Теперь нападут на него. Быстрое воображение создавало образы: предстоит схватка, обычная в пустынях. Победитель ничего не знал и ничего не узнает о побежденном.

Такие состязания начинаются без видимого повода, без гнева. Поздняя злоба затмит последний взгляд побежденного. Победитель, пережив волнения игры, злорадно добьет умирающего, тешась наибольшей властью одного человека над другим – безнаказанным убийством. Безопасность мира так же зыбка, как ткань губки. И все же губка удерживает воду, а мир – жизнь.

Что делать? Малх хотел отползти, переменить место. Но кочевник опять показался над головами трав. Он опять в седле!

Прочь, он скачет прочь! Слышался дробный, быстро гаснущий топот. Человек казался одним целым с конем – видение живого кентавра. И круглый щит на спине и тонкое копье у правого стремени были частью единства.

«Куда же он так спешит?» – спрашивал себя Малх.

Загадка степи была и разоблачением, для Малха исчезло обманчивое видение безлюдной пустыни свободы. Снова на память пришли стихи древнего поэта:

...в колчанах спят губительные стрелы,
их нрав жесток и страшен...

Истекшие дни превратились в воспоминания о быстротечном счастье. Малх счел черточки на рукоятке меча. К чему вспоминать, как долго длилось наслаждение, которого нет. Пора считать иные дни.

Исчез серп молодой луны, гасла заря. Блистающий конец оси, на которой подвешен хрустальный ковш Большой Медведицы, вел ромея на север. Утомившись, он беспечно заснул прямо на траве. Страх перед человеком лечит от страха перед зверем.

С рассветом Малх спустился к реке. Для утренней трапезы ему хватило остатка тетерева – он умел довольствоваться малым. Тут же на берегу ему удалось застрелить доверчивого оленя-антилопу.

Река мелела, на самом глубоком месте воды было лишь по грудь.

В чистой воде виднелось дно. Малх глиной и песком вымыл одежду и тело.

Приведя себя в порядок, насколько это было возможно, Малх двинулся дальше. Степь рассекалась

ручьями, речками. Безымянная для Малха река, долиной которой он шел, повернула к западу, и пришлось с ней расстаться.

Бывший воин и бывший актер, сейчас он старался опять сделаться воином; залогом игры была жизнь, здесь следовало не казаться, а быть.

Вскоре после полудня ему удалось вовремя укрыться. Удивленный, он глядел на всадника с тремя конями. Такой же, как у вчерашнего, щит на спине, такая же низкая шапка. И легкость кентавра. Даже лошади казались такими же. Малху чудилось: осужденный на вечное движение, всадник описывает круги, как солнце. Видение пронеслось и скрылось. Малх ждал – всадник опять сменит коня, как вчера.

На миг к Малху вернулось ощущение призрачности мира. Он созерцал, неподвижный; перед ним кружились образы.

Всадник давно исчез, когда Малху удалось стряхнуть наваждение. Нужно спешить, гонцы будили тревогу, казалось, что там, на юге, движутся орды, выбрасывающие предвестников, как вулкан – камни.

Вечер застал Малха в долинке ручья, живая струя утолила жажду. Свежая, поистине сладкая вода... Заря освещала на западе высокие пни в венках молодых побегов. Север чернел лесами. Вероятно, уже близка река Рось.

В траве белело что-то. Малх толкнул ногой, череп легко откатился, оставив в траве бледную впадину. Вот и берцовая кость, похожая на короткую дубинку с набалдашником. Малх поднял череп – темя было расколото.

Старые земли Средиземноморья были усеяны людскими останками. На пустырях Рима человеческий череп служил игрушкой мальчишкам. Кости в пустыне красноречивее указателей на каменных дорогах империи говорили Малху, что он идет по торному пути.

Он бережно вернул череп на место, откуда нечаянно его потревожил, и вымыл руки в ручье.

На людях мысль о неизбежном прячется под маской беспечности. Малху не перед кем было скрываться. Не нашлось и слов молитвы.

Ручей был удобен для ночлега, но Малх пошел дальше. В темноте он наткнулся на труп лошади, погибшей, очевидно, не позже этого дня.

Он шел на север до изнеможения. Перед сном он жевал сырое мясо, расточительно тратя последние крупички соли. Ему казалось, что на севере виден огонь. Костер на холме, факел, может быть, звезда. Он мог убедить себя на выбор. Конечно, не звезда... Малх не устал, он успел полюбить одиночество, которого прежде не знал, и мог бесконечно длить путешествие в пустыне. Увы, даже пустыни конечны!..

3

Днепр мелел отступая. Обнажались смазанные илом глянцево-блестящие низины и быстро серели под мелкой сетью трещин.

На освобожденных стволах, на пригнутых ветках висела жирная грязь; по ее следам можно было узнать и высшую точку разлива, и его вчерашнюю границу.

Утверждались еще вчера затопленные леса. Певчие пичуги пятнали острыми звездочками мягкую, еще нагую от травы почву; красные кулики дырявили длинными носами земляную мякоть; червь оставлял свой след быстротвердеющими нарывчиками земли, пропущенной через кольчатое тело.

Бедствовала рыба, беспощадно отсеченная от свободной воды гребнями внезапно поднявшихся отмелей и перешейков. Старые слепые русла и захваченные было разливной водой озера и болота пойменных низин кипели лещами, сазанами, стерлядью. Там и сям, как живые бревна, ворочались обреченные белуги и осетры. Белохвостый орел мчался, едва не бороздя воду иглами когтей, и тяжело взмывал, таща вверх замершую глупую рыбу.

От Рось-реки и до Теплого моря, в степях и в лесистых предстепьях вольные кони-тарпаны, отощав на старой траве, не по дням, а по часам оживали на новой. По виду еще изнуренные, в клочьях зимней шерсти, из-под которой пятнами обнажалась блестящая летняя, тарпаны были нервны и бодры. Жеребец звал подругу волнующим голосом любви и всем телом внимал дальнему отзыву. Защищая только свое право продолжать род, он будет насмерть биться с соперником. Победив – отдохнет, положив израненную голову на шею самой любимой из всего гарема. Не раз, не два придется старым жеребцам вступать в единоборство – вблизи ходят табуны молодых холостяков.

Туры, неторопливые, как отряды латной пехоты, тяжело передвигались по пастбищам. Там и сям над рядами рогатых голов и горбатых спин вскидывалась туша самца; рев, при звуке которого невольно вздрагивает все живое, разносился на версты.

Все лужи, все заросли водяных трав на озерах и болотах были набиты сгустками крупных, как плоды вишенника, прозрачных шариков лягушечьей икры. Из них уже лезли тонкие головастики, а любовный крик взрослых лягв-холодянок сливался в непрерывно-гулкий, колеблющийся и стонущий вой.

Уходя, Днепр тянул за собой речки и реки. В устье Роси уже не было застоявшегося мусора. Поверхность воды очистилась. Днепр глотал разлившиеся воды. Над громадой правобережной поймы приподнялись лесистые холмы островов, а деревья, подтопленные в низинах, уже зримо выходили на сушу.

На челнах россичи сильно работали веслами. Уходит, уходит – совсем закрылся мысом Торжок-остров. Но за разливом еще виден сам Днепр ниже островного ухвостья. Еще гребут, еще поворот – и будто ворота запахнулись перед взором Ратибора. Справа – берег, слева – берег, спереди и сзади тоже сухая земля. Челны тянутся вереницей, а широкий мир сузился, беспредельность исчезла. Будто бы из степи ушел человек в лес и замкнулся в границах полян, близких опушек.

От иного мира Ратибору, чтобы не забыл, остался нож, каких нет у россичей. И бронзовая фигурка чужого бога. Бога, которого, как и тех, о ком помянул на прощание Малх-ромей, может быть, никогда въявь и не бывало ни на земле, ни в небесной тверди.

Не скоро справятся молодые, впервые вкусив нового, с тем, что набрали ум и душа. Знали они свой родной кусок лесов и полян да высоту до небесной тверди, тоже своей. Прикоснувшись к простору, они ощутили бесконечность земного пространства. Ныне мир раскинулся вдоль по земле, во все четыре

стороны света. Сами тверди небес за русской гранью другие. Молодость – так было, так будет! – стремилась к движению, к новому, что бы оно ни сулило. Многие были готовы бросить род и дом, забыть обыденный труд и заботы и метнуться вдаль без оглядки и рассуждений – к неизвестному, к невозможному, как говорил молодой прусс Индальф-Лютобор.

Напоминали соседям по челну: «Помнишь ли?..»

Не было смеха, песен. Кормщики торопили гребцов, помогая им мерными криками: «Бей, раз, бей, раз...»

Рось-река извилиста. Каждый поворот закрывал еще одну дверь на тайнах широкого мира.

Старшие занимались не мечтами, а делом. На свежих палочках из ошкуренных веток они метили зарубками вес и число товаров, людей в родах; считали, перекладывали, считали опять. Пометив все добро и все головы, разложив все палочки в своем порядке, старшие брались за гладкие дощечки, за тонкую бересту, за выменянный у греков папирус. Писцовыми палочками из свинца старшие записывали, чертя букочки, названия товаров, имена хозяев, количество купленных вещей и людей в семьях. Надобно поделить по справедливости. Собравшись у князь-старшин, все родовичи выслушают своих доверенных, пересмотрят товары и решат окончательно, кому и сколько дать нужного без обиды, по русской правде. И что оставить до случая.

Челны каждого рода причаливали к берегу в местах, где удобнее и ближе доставить товары в свой град. Некоторые втягивались в ручьи и затаскивали челны вверх по мелкой воде руками, пока была возможность, поближе к тропам, нахоженным людьми и лошадьми.

Знакомые стежки ложились от поляны к поляне, краями чащоб, по опушкам, минуя бугры и впадины, по затвердевшим берегам болот и напрямую через трясины по указкам кустов, укрепивших зыбун невидимым мощением крепких корней.

Табуны еще не успели оправиться от зимней бескормицы, а лучшие кони в каждом роду затомились на только что кончившейся пашне. Вернувшиеся с Торжка-острова русичи вьючили на лошадях легкий товар, а грузную соль таскали на собственных спинах.

С последней ношей соли, держа за уши тугой мешок, Ратибор шел от берега через лес, кусты, опять через лес. В засеке на ближнем пути был проделан ход, для чего на время растащили деревья. Версты две с лишним тропа вела Ратибора пашней, межами овсяных, полбяных и пшеничных полей. Крепкие всходы уже дали ровную щетку. Сбереженное семя успело пробить разрыхленную землю, поля залились нежной краской, будто первые березовые листочки. В зеленях столбиками торчали крохотные издали человечки – дети выполняли нужное дело, оберегая дорогой хлеб от пернатых и четвероногих охотников.

Закрытый бурым тыном, град сидел среди равнины полей, как остров, чужой в цветущей силе весны. Приблизившись, Ратибор заметил новые бревна в тыне. Ров наполнялся из ручья, пересекавшего поля. Ручей отвели, и несколько подростков заступами расчищали заросшее дно, исправляли откосы. Помнились предвидения воеводы Всеслава.

Вместо старого мостика через ров был перекинут новый, из тонких сосновых бревен. Коня такой переход выдержит, а по тревоге легкий мостик можно затащить внутрь.

Князь-старшина Беляй встречал товары на своем дворе. Опустив дорогой мешок на тесовый пол кладовой, Ратибор низко поклонился старшему. Кое-как князь ответил молодому слобожанину. Он не простил и не простит Ратибору неслыханное непокорство. Разумом, а не сердцем защищал Беляй слободу от нападков Велимудра. Так же, как разумом, а не душой страшился Беляй Степи.

Беляй знал, что меньше воли было воеводам у каничей и илвичей, а в задних землях русского языка

воеводами помыкали, как бездельниками, захребетниками родов. Не будь россичи передовые, Беляй согнул бы гордую выю Всеслава. Злее Велимудра Беляй посчитал бы Всеславу дружбу с извергами, из горла выдавил бы добычу, взятую на хазарах.

Ратибор же, кланяясь князь-старшине, исполнял пустой обряд. Молодой воин чужд и граду и роду. Все десять родов ему равны, как равны вольные пахари-изверги, как равны новые товарищи по слободе, присланные от илвичей и каничей. Слобода – род Ратибора.

Звякнула щеколда на калитке материнского двора. Внутри было чисто, ничто зря не валялось. Однако хозяйский глаз заметил бы, что здесь управлялась не мужская, а женская рука – она не так спора с топором. Подгнивали столбы, трухлявел тес, которым была забрана стенка амбара. В этом амбаре прошлым летом стояла брачная постель Ратибора. Ветшала и крыша хлева, где, как прочно запомнилось Ратибору, в ту ночь так беспокойно топтался его слободской конь.

Согнувшись вдвое, Ратибор шагнул в открытую дверь избы. Дом пахнул своим собственным, навечно памятным запахом. Такое же дерево, кожа, земля, пища, как и везде, но и отличное от других домов. Ничего не изменялось, никогда. Млава не внесла нового, будто растворилась.

Узкая, в локоть, но длиной во всю трехсаженную стену, рама ткацкого стана опиралась на козлы. И в длину и с торцов на брусья стана были набиты в два ряда острые колышки из вяза. Две частые щетки колышков были устроены так, что против узенького – только бы проходила нить – промежутка во внутреннем ряду приходился колышек внешнего ряда. Бесконечная нить основы натягивалась повдоль стана, с каждым разом захватывая то один колышек, то другой.

Когда Ратибор вошел, мать и жена заплетали основу утком. Пропустить челнок^[47] над первой, крайней нитью основы, продернуть под второй, поднять над третьей, продернуть над четвертой... Вверх, вниз, вверх, вниз, от себя и к себе и вдоль по всей десятиаршинной длине стана. Женщины так ловко сновали челноками, что трудно было уследить за отдельным прикосновением к нитям, слитное движение казалось беспрерывным, будто не зависящим от мастерицы. Кончится нить – пальцы, не глядя, свяжут узелок. И опять вверх, вниз, вверх, вниз... Челноки порхали, прялки, спуская нить, вертелись, кренясь с легким писком и скрипом.

Изба большая, а всего народа в ней две женщины. Занятые делом, они не слышали стука калитки. Шаги Ратибора, обутого в мягкие калиги, вряд ли почуял бы и слепой. Анея ткала спиной к двери и что-то рассказывала снохе. Потянувшись к веретену, Млава подняла голову. Увидев мужа, она замерла с ниткой в руке. Ратибор видел, как краска залила молодое лицо. Млава едва слышно сказала Анее: «Мама...» Старуха оглянулась, Ратибор поклонился обеим женщинам, доставая пол рукой. Анея ответила кивком, Млава, не сходя с места, нагнулась над станом.

Анея внимательно оглядела сына, будто отыскивая перемену. Вероятно, ее взгляд мог видеть то, чего не замечали другие: сын еще больше возмужал и еще больше казался чужим. Ничего не выдало мысли Анеи. Ее сухое лицо, обрамленное платком, крашенным мареной, оставалось неподвижным. Такой же платок, подвязанный под подбородком, скрывал туго заплетенные косы Млавы. Лицо молодой женщины сделалось почти так же красно, как платок.

Ратибор подошел к очагу, прикоснулся обеими руками к камням – почет предкам и огню-покровителю. Старуха сказала сыну, как гостю:

– Садись, будь милостив.

Повернувшись к стану, она закончила свой ряд и воткнула челнок на место, за ремешок, приколоченный сбоку рамы.

Бросив на лавку мешок с походной мелочью, Ратибор сел, оглядывая избу, где он был только гостем.

Под матицей, прикрепленные лубком, висели длинные ясеневые бруски. Ратибор нарубил их в прошлой – нет, он вспомнил – в запрошлой зиме. Пора снять и унести в слободу, древесина доспела для поделок стрел и ратовищ-древков. Только глаза человека, знающего, что висит под кровлей, могли рассмотреть закопченные брусья.

Стены избы знакомо утыканы рядами деревянных гвоздей. Были они разнодлинные, и прямые и гнутые, гладкие и с головками. Набивались по мере надобности не только отцом Ратибора, а, надо думать, и дедом. На них вешались шубы, шапки, рубахи. Нацеплялись иззубренные серпы, распялки со свежими шкурками для сушки или оружие. Женщины подвешивали мотки пряжи, решета и сита, горшки. Иные гвозди были украшены причудливыми головками, в которых вольное художество забавлялось изображением птиц, небывалых животных, людей.

Ратибор нашел страшную голову колдуна с беззубым ртом до ушей, длинным носом, загнутым, как клюв ястреба, нашел барана, медведя, похожего на человека. Твердое дерево, послужившее для забавы, от времени стало гладким, как кость. На верхних гвоздях еще сохранились увядшие пучки березовых веточек – память о празднике первого листка женского дерева. Ратибор и не подумал, что он не удосужился в тот день прийти из слободы в материнский дом.

Перестав ткать, Анея возилась в избе. Ратибор снял шапку, короткий кафтан из мягкой козьей кожи и остался в длинной рубахе с воротом, расшитым в елку красной нитью. Млава молча продолжала снова ткать челноком.

Ткацкие станы стояли в каждой избе, готовые к работе, почти всегда с заправленной тканью. С ранних лет каждая девочка училась прясть нитку из шерстяных, льняных и конопляных шматков.

Малюткой она помогала старшим, годам к семи-восьми становясь настоящей пряхой. Обучению ткать мешал малый рост, для девочек делали лавки, с которых они тянулись с ниткой поперек стана.

Женщины мастерили походя, в свободный час, каждый день. Полотнища росли незаметно, и каждый месяц сам собою давал и три и шесть сажень будто без труда, по одной лишь привычке.

Ткали ровнину из ровной льняной нити, толстую и такую прочную, что самый сильный мужчина не мог разорвать ткань. Этот суровый холст, который безразлично звался и новиной и кросном, шел на женские платья, на мужские рубахи, на подвертки под сапоги. Из еще более крепкой пеньковой нитки делали пестрядь-полосушку – рябая разномастная ткань употреблялась на штаны, мужские кафтаны, мешки. Из отборно тонкой льняной нитки выделывали полотна, которые белили на солнце и при луне. Полотно было женской тканью, мужчины его не носили – единственно брачная мужская рубаха шилась из такой ткани.

Для холодного времени ткали сукна из шерстяной пряжи на плащи и кафтаны. Из пуха козы делались легкие суконца для женщин. Ромеи на Торжке-острове охотно брали все изделия русского ткачества. Россичи же не привыкли сбывать много ткани. Обычно мастерили лишь для себя, без спешки и понуждения. Добротные ткани были на диво прочны в носке. Одежда из ровнины и пестряди носилась годами и годами. Иной кафтан из шерстяного утка на пеньковой основе служил хозяину с его младости до седых волос, как и женщине козий длиннорукавный шушун. Только в дурные годы, когда худо родился хлеб, старшие родовичи приказывали готовить ткань для мены. Тогда все зимние дни, уже не по охоте, а

из нужды, женщины гнулись над станами, прихватывая и ночь со слабым мерцанием масляных плошек.

Ратибор не понимал, что Млава не отойдет от стана, пока не справится с волнением. Тем временем Анея поставила на стол закрытый котел с варевом, которое оставалось до вечера горячим на очажных углях, умело засыпанных пеплом. Мать принесла сыр, серый и плотный, острый запах которого Ратибор жадно учуял издали. Рядом с копченым мясом Анея положила низкий хлебец, цветом и формой похожий на слитки железа, привозимые ромеями.

«В доме еще есть хлеб», – подумал Ратибор. Он не догадывался, что женщины хранили немного муки лишь для его посещений. Мать рассчитала, когда свои вернутся с торго. Только вчера был испечен хлеб для сына.

Решившись отойти от стана, Млава поставила на стол корчажку с черноватыми сотами прошлогоднего сбора, принесла горшок кислого молока. Скрывая голод, Ратибор пошел напиться. У входа на круглой скамейке стояла кадущка; ковшик с резной птичьей ручкой плавал в темном квасе. Потревоженные, со дна побежали пузырьки.

4

Здесь жизнь шла своя, иная. Жизнь шла без Ратибора, а он, не думая, не стараясь найти слова, смутно чувствовал себя чужим. Жена не подошла к нему, ему же было все равно.

Он привык быть на людях и ночью, на длинных нарах общих изб в слободе. Он знал лишь полное особого значения одиночество засад. Молчаливые дни в дальних дозорах не открывали ему сокровенного в его собственной душе. Он жил, он чувствовал, даже не зная, что в нем самом таится нечто, не определимое словом. Он не знал, что в нем нуждаются, что матери бывает тяжело не только от работы. С обычным в молодости неумышленным пренебрежением к старшим Ратибор освобождал себя от долга. Своим браком он заплатил выкуп за себя и матери и роду. Он не понимал, что, уйдя, он все же оставался.

Живому трудно дается знание конечности своего бытия, зрелость еще чему-то научит, а молодость не верит в смерть. С молодого дерева легко опадают чешуйки старой коры. Переспевшее дерево со скупостью старика замедляет смену коры и, умерев, стоит, как живое. Вдруг кора начинает падать пластами, не под напором новой, а изъеденная червем, и открывает безнадежное опустошение.

Но в этой семье не было лжи. Ратибор ушел из дому не для разгула, не для прихоти себялюбца. Естествен был быт порубежных племен. Женщины, как слабейшие отнюдь не духом, а телом, оставались сзади, для них вечным уделом был каждодневный, никогда не скончаемый труд. Каждый делал свое.

Ратибор не заметил ножа, положенного матерью, и вытащил подарок Индульфа. Железо будто само вошло в плотный окорок с желтыми прожилками сала. Неслышными шагами босых ног к столу приблизилась Млава. Она протянула руку, чтобы взять странную вещь.

В клинке было что-то чужое. Жало, по-осиному острое, загибалось, дополняя общую изогнутость клинка. Нож напомнил женщинам рог. Выбирая будущих полиц из первотельных, хозяйки не берут коров с такими рогами, особенный изгиб предупреждает о злобности нрава скотины.

От рукояти и до жала протянулся выступ, будто клинок сложили из двух листов, приподнятых в месте сварки. Под рукоятью на темном железе виднелись знаки, начертанные пересечениями прямых линий. Они не были похожи на буквы, которыми пользовались руссичи.

Для упора руки темно-желтая кость рукояти слегка расширялась над клинком. Сеть мелких трещинок на кости подсказывала мысль о древности оружия, но клинок в старой рукоятке сохранил свежесть, его редко пускали в дело.

Скандийский нож был заточен с обеих сторон. По жестокой мечте мастера это оружие для людей со слабыми руками должно было само разить тело, и нож имел что-то общее с хазарской саблей, которая наносила длинные, но неглубокие раны. Подарок Индульфа в темноватой русской избе глядел пришельцем из мира иных людей и иных вещей.

– Откуда взял нож? – спросила Млава.

– Подарил далекий человек, прусс с Волчьего моря. Языка же нашего пруссы. Звать его Индульфом, Индульф! – Ратибор разбил на слоги трудное слово. – По-нашему он – Лютобор.

Женщин никогда не брали на Торжок-остров. Об ином мире они могли знать только со слов неохочих на речи мужчин. Ратибор не сумел рассказать.

В полусне Ратибору мнилось, что его рука, единая в плече, дальше раздвоилась. Кулак твердо лежал под скулой, и вместе с тем ладонь была раскрыта на чем-то мягко податливом.

Ратибор возвращался из страны снов и видений, облекался телом, тяжелел. Пришло ощущение

пушистого прикосновения беличьих шкурок одеяла, тепла волчьего меха, на котором лежало скованное сном тело. Во внутреннем зрении души жил вольный полет. Ратибор видел невиданное: разлившийся Днепр, но не огражденный берегами, а чудесно защищенный стенами из светлых туманов. В стенах были озера, прорезанные птичьими крыльями. Это женщины ромеев летели над сине-зеленой степью, а Ратибор знал – над морем. Он сам побывал в невозможном, о котором говорил Индульф.

Стало темно, запахло домом и женщиной. Ратибор лежал на волчьих шкурах, рука была под щекой. Но ладонь хранила воспоминание.

Во дворе голосисто закричал сонный петух. И, как в каждую ночь, не просыпаясь, крепко держась тупо-когтистыми пальцами за жердину насеста, вытащив слепую голову из-под крыла, каждый петух напрягся и зычно ответил запевале. Звонкая переключка прокатилась по граду, вернулась к первому петуху, повторилась, замерла.

У петуха свой закон: напоминать людям и зверям, что день с его заботами, горем, а может быть и счастьем, всегда будет. Что бы ни случилось, солнце придет.

Ночь. Черно-синее небо. Желтые звезды. Черные стаи лесов. Железный отсвет речных вод, озер и болот. На полянах, обрамленных стенами лесов, пятна русских градов.

Хор петухов, взлетая над тыном, далеко-далеко отдается в спящих лесах. Старые друзья – человек и петух. Крикам градских певунов отвечают их собратья со дворов извергов. Нет покоя, нет мира в мире живых.

В руке Ратибора жило близкое воспоминание, и крик петухов напомнил ему первую брачную ночь. Сейчас, как и тогда, он не знал, какие петухи пропели. Но тогда длилось наваждение, ныне нет больше над Ратибором колдовской власти мертвой хазаринки. И он сменил легкую паутину видений, гаснувших в памяти, на явное, на действительность.

Проснувшись, Ратибор вспоминал слова ромея Деметрия, упорно проповедовавшего своего бога с берега Теплого моря. Деметрий говорил, что ромейский бог создал женщину из тела мужчины, поэтому двое обязаны быть плотью единой. Бог ромеев не позволил разлучаться мужчине и женщине, соединенным однажды. То же и у россиячей. Дажбожьи внуки соблюдают брак.

Дверь открылась так тихо, что не каждое ухо поймало бы шорох ременных петель, на которых было подвешено полотнище. Мать вернулась, вчера она ушла спать во двор. Значит, сейчас пропели последние петухи, за лесами уже белеет заря.

Потянуло свежестью, по-новому пахнуло мехом и телом Млавы. Она дышала спокойно, глубоко. Ратибор подумал: «А что ей мнится во сне?»

Сухо стукнул кремень об огниво. Не открывая глаза, Ратибор как будто видел искры, вонзающиеся в сухой гриб – трут. Через опущенные веки проник свет – вспыхнула береста, занялся пук сухой щепы-подтопки. Пахнуло дымом.

Сейчас во всех избах темного града женщины разжигают очаги, чтобы приготовить пищу для мужчин, для детей. И для себя...

Запах дыма, перебивший было все остальные запахи, ослабел. Вот от него осталось в ноздрях лишь воспоминание. Повинуясь тяге из двери в продух крыши, дым очага поднялся вверх. И над домом Анеи и во всем граде крыши заволоклись пеленой, в которой еще различались искры.

Люди проснулись. Ратибор заказал себе не забыть взять ясеновые брусья, подвешенные к матице крыши.

Из своего железа и из нового, купленного у ромеев, кузнецы уже делают зубчатые насадки. В слободе есть запасы отборного пера из крыльев дикого гуся. Только гусиное перо годится для боевой стрелы.

Степь сохнет, кругом градов хлеб скоро выбросит трубку. Из трубки выйдет колос. Колосья наклонятся...

Каждого, кто побывал на Торжке-острове, воевода Всеслав выпрашивал: а что ромеи рассказывали о степи, о хазарах, гуннах, о других языках, что живут-плодятся на широкой степи, между Итиль-рекой, Днепром и Истром-Дунаем.

В родовых преданиях россичей, в сказках для малых, в сказках для больших Юг всегда был подобен таинственному царству мрака, хоть россичи и знали, что там теплые моря, сладкие плоды, жаркое солнце. Заслонила беда, постоянно копящаяся для россских лесов вдали от глаза, вдали от слуха.

Запруженный бобрами ручей, набрав силу, разливается по лесу, наводняет округу. Степная беда переливала излишки на Рось-реку. Перевалив границу, она стремилась вглубь, пока степняки, утомленные упорством людей и сопротивлением леса, не отходили на юг. Колыбельные песни говорили о злой Степи, бессмертный Кащей жил на острове среди Теплого моря. Россич привык помнить о Степи.

Быстрым набегом степняки разбивали-жгли грады. Потом уходили с добычей, угоняли пленных. Давно не случалось больших набегов. Глупый один не понимал, что опасность увеличивалась с каждым годом.

Россичи привезли целый короб ромейских рассказов о блуждающих утигурах, массагетах, гетах, даках, хазарах. Будто бы кто-то хотел взять прошлой осенью саму Карикинтию, но ромеи не только отбились, но и набрали полон. В Италии воюют. В Азии – тоже. На берегах гнилых озер, по Меотийскому озеру, по берегу Евксинского Понта степняки ходили до осеннего распутия. Черный ромей, который приезжал на торг не с товаром, а учить россичей своей вере, предвещал страшные беды. Признавался он, что ромейский базилевс-князь сносился с хазарами. О чем? Есть догадка у князь-старшины Чамоты, а знания нет.

Что правда, где ложь, не знают и сами ромеи. Однако весь хлеб они взяли, жалели, что не было больше. И остальные товары все купили.

Широко расставив длинные, сильные, как у лошади, ноги, свесив тяжелые руки с колен, Всеслав слушал Ратибора. С наставником-другом Ратибор находил слова. Невозможного ищет прусс Индульф? Всеслав видывал и пруссов, знал, что много людей разных языков служат ромейскому базилевсу.

Стремись к невозможному! Всеслав находил свою молодость в молодости Индульфа, Ратибора. Но ни с кем он не делился, как делится с ним Ратибор. Он сам узнал, где истинно скрыто самое трудное, самое невозможное:

– Оно лежит около нас, мы ж его редко видим, Ратибор! Мечтай летать птицей, мечтай опуститься в днепровские омуты, выловить жемчуг из Моря... Сумей-ка росскую силу собрать воедино – это труднее, чем уйти на край земли, чтобы увидеть, как солнце ложится отдыхать в океан.

В доме Анеи Млава открыла ларь, где хранилась запасная одежда мужа и оружие, оставленное отцом Ратибора в наследство сыну. От тли и от сырости нужно высушить ткань и кожу, смазать железо и дерево топленным из костей жидким жиром.

Сверху лежала фигурка Арея-Марса. Обе женщины разглядывали изображение мужчины. Он сидел так, как иной раз сидел, отдыхая, Ратибор. И был похож на Ратибора. Мешал гребенчатый шлем на голове.

Снять бы его, но металл был слишком прочен, не поддался пальцам. Побоявшись сломать фигурку, женщины оставили бронзу в покое.

5

Первое полнолуние лета посвящено Черному Перуну воинов. Лето есть время Перуна, время войны. Ночью побратимы-дружинники собирались в гадючьих пещеры.

Расставив ноги с громадными ступнями, чтоб было, на что опираться в бою, бог слушал, глядя из-под медного шлема на лунный свет красным рубиновым глазом. Он молчал.

Он мог бы говорить только о насилии, кровавом насилии без ограничения разумом. Но все боги молчат. Их язык вложен в уста людей, чье сердце они вдохновляют. Боги подобны умершим людям, именем которых вершат власть живые.

Многие россичи слышали от ромеев о голосах богов прежней Эллады. Там женщина Пифия, сидя в благовонном дыму на медном треножнике, передавала словами волю богов. Нынешние три бога ромеев оставили свою волю в книгах. Слова Пифии были уклончивы, слова книг расходились с делами ромеев.

Черный Перун всегда молчал. Его гром говорил одно: «Делай, совершай. А как совершать – твоя вольная воля, россич».

Росская слобода, приняв сразу десятки молодых илвичей, потеряла обычную стройность.

Молодая лошадь из табуна или пойманный дикий тарпан легче в науке, чем дурноезжий конь, побывавший в глупых руках. Одни илвичи пришли прямо из своих градов с напутствием от князь-старшин, чтобы не срамили свой род на чужих людях. Такие, и ловкие от рождения и неуклюже-косолапые, как молодые щенки, послушно шли в руки Всеслава и его подручных. С теми же, кто успел побывать в слободе при покойном Мужиле, было хуже. Не легка доля охотника-добытчика, зато привольна, и за труд награждает дичина. При всей жадности Мужило умел и делиться со своими – тем и держался.

Попав в иные порядки, бывшие илвичские слобожане начали покрикивать: не воинское здесь житье, а лошадиное, как на пашне.

Среди илвичских родов, как знали россичи, шло разногласие из-за новой затеи слияния слобод. Князь-старшины, отказавшиеся дать своих молодых Всеславу, укоряли пославших за ослабление племени. А один из князь-старшин илвичей, Павич, будто бы кричал: «Воинов отдали россичам, сами к ним идите жить, станете россичами».

Слухи о грядущем нашествии хазар помогали росской слободе. Не будет набега – как бы илвичи к осенней распутице не позвали своих назад. Начатое дело замрет в первом ростке.

Скорые на руку советовали выкинуть лишнее из слободы: худой конь портит табун, а в запряжке с сильным он не тянет ни плуг, ни телегу.

Тени скал захватили освещенное место, скрылась от луны и голова Перуна с померкшими глазами. Темнота покрыла побратимов.

Решили послать в степь дальний дозор на расстояние нескольких дней.

– Пройти дозорным вниз по степной дороге. Заранее они подозревают степных, успеют нас известить, – сказал Всеслав.

– А не встретят, – добавил Колот, – так мы подумаем, когда вернутся.

Знак Перуна, заросший под мышкой левой руки, – малый значок. Его так же трудно найти, как мысль в чужой голове, как догадаться, какой отклик в душе находит слово, заброшенное будто бы наудачу.

А лето накатилося полной силой, а травы уже поднялись до колена. Лесные пчелы роились вторично. Птицы замолкли в гнездах.

На распаханых полянах россичи довольно погнули спины в прополке; на межах и сохнут и гниют черно-рыжие завалы вырванных с корнем злых сорняков. Хлеб, примятый работниками, встал, и не найти места, где ступали хозяйские ноги.

В лесах отцвел ландыш, на голом стебельке завязался плодик. Только своим благовонным ароматом радуется ландыш, освежает и старое сердце, за что прозван молодильником. Ягод его не берет ни человек, ни зверь. Сладкая паземка-земляника на месте желтого сердечка скромного цветка нарастила белеющие пупырышки, дал завязь опушечный вишенник, обилье предвещают яблони, груши. Черемуха, осыпавшись снегом, тоже не обидит россича ягодкой. Кони и скот нагулялись, будто и не бывало зимней голодовки. Усталые женщины, набив масла, наделав сыров, припускают телят на подмогу, чтобы не присушить коровье вымя. Жить бы да жить – не будь рядом степи.

Примером и убеждением гнули илвичей, разжигал воевода Всеслав и у пришлых ребят молодой задор быть не худшим с луком, с мечом, в метании копья, на коне. Резвы слободские кони; не один илвич, сброшенный наземь или унесенный по воле скакуна, сам брался за скучное дело – стоя жал коленями тяжелый камень.

Вязку прутьев не сломит и силач, по одному – справится ребенок. Версту одолеть – тысячу пятьсот раз шагнуть. Простым воинским шагом за час проходят пять верст, скорым – шесть, самым скорым – семь.

Всеслав ставил своих слобожан и новых илвичских в три тесных ряда. Ходили, чтобы не отрывать от локтя локоть; ряд от ряда хранил расстояние в два копья. Щитами прикрывались, как стеной. Все вместе метали копья и бросались в мечи. Поворачивали в стороны и назад, не разрываясь. Остановившись, закрывались кругом. Издали могло показаться, что не люди, а один многоногий зверь топчет землю. Вот он замедлил, остановился. Поворот – и влево пошел. Быстрее, быстрее катится. Трава закрыла ноги, стенка щитов будто сама надвигается. И думается, никто не удержит напора разумного зверя из сказки о змеях-великанах, о стоногих латных чудовищах, которые водятся где-то на краю сухих песков, на берегах Океана.

Россичи манили илвичей искусством скакать не в седле, а стоя на скользком крупе коня, умением на размашистом скаку зубами подхватить из травы холщовую зепь-сумку, снять рожном копьа подвешенное на рогульку колечко из ивового прутика, срубить, не сломав, воткнутую в землю ветку.

Редкое сердце не зажигалось завистливой ревностью, когда пять стрел выпускал Ратибор или другой слобожанин. Все стрелы одна за другой пучком садились в турью шкуру так тесно, что пять расщепов можно было закрыть одной ладонью.

Ели по-летнему – мясное варево с приправой из лука, молодых кореньев и трав, печеное мясо и рыбу, дичину – вволю. Хватало всем сотового меда, сыров, молока. Хлеба не было, как всегда, до новинки.

Как-то вечером объявился у слободы Павич, князь-старшина из илвичского племени. Приехал с двумя провожатыми, как подобает.

Старик сильный, бодрый, с усами длиннее, чем у Всеслава, Павич не пожелал подняться в слободу и принять братское угощение от русского воеводы. Надменно и грубо Павич потребовал:

- Парней верни мне тотчас же, – и назвал шесть имен.
- Почему же так? Добром тех парней отпустили.
- Отпустили, а теперь берем.

Сердитый старик повернул коня – не о чем больше болтать языком – и крикнул на прощанье:

– Держать будешь – худу быть. Сами же не захотят уйти, станут изгоями. Не видать им своего рода, как мне – моей спины!

Еще что-то кричал Павич с ходу. Всеслав мял толстый ремень пояса, зубами бы изжевал! Догнать глупого, снять с конька да повозить лицом по земле, пока нос не сотрется до гладкого места.

– Видишь, вот оно как, так оно и есть, так и пойдет, – налил масла в огонь Колот. Князь-старшина с малыми перерывами гостил в слободе с весны. В родах говорили, что Колот-ведун чувствует беду из степи.

– Верно сказано, – ответил Всеслав побратиму, – пчел не поморивши, меду не есть.

– Морильни-то нет еще, нет, нет, – сказал Колот, охватив друга за плечи. – И дыма-то нечем развесть. Гнаться придется. А ты заметил, как хитро Павич сказал: «Коль сами не захотят уйти...» Сами и не захотят, он же скажет – ты не пустил. Силен обычай – завет родительский: не нами поставленный – не нами и отменится. Не вернется хоть один илвичский из шести – скажут: отняли человека из рода, россичи все одно что хазары.

С невидным оружишком пришли дальние шестеро илвичей. Погордились в росской слободе настоящими луками, тяжелыми мечами, цветными колчанами. На хороших конях ездили. Пешком пришли, пешком и ушли. Ушли парни под начало старших, опять пашни пахать, землю рыть, огороды городить, в лесу топорничать, поле полоть, скот пасти, засеки поправлять, кожи мять, шкуры выделывать, овец стричь, сапоги шить – всей работы в роду за день не расскажешь и до века не переделаешь.

Насмешками, обидными кличками провожали уходящих новые слобожане из илвичей. Всеслав примечал – приросли уже новички. Недаром слобода слободою зовется. Дома жизнь хоть проще, да серее.

Через два дня трое отпущенных илвичей вернулись, встали перед воеводой: вот мы, мол.

– Что ж вы? Неслухи роду!

Мнутя парни, дают из себя слова, робея перед гневом воеводы. Не хотят они больше жить дома, им в слободе милее.

– Ступайте, я людей из родов красть не стану.

Идти им было уже некуда. Они отказались от повиновения, их выгнали, куска на дорогу не дали.

Слова несказанного будто бы и нет. Но Всеслав понимал, что совершилось небывалое. Молодые другого племени для слободы отказались от своего рода, по доброй воле стали изгоями, променяв плуг на меч. Никто им невест не даст, для них засека между илвичами и россичами сделалась неодолимой, как Днепр пловцу в полую воду.

Для справедливой защиты от Степи выдумал Всеслав общность слобод. По капризу жадный хозяин Павич отозвал парней. И – зримо для всех явилось зерно неведомого, нового.

Речная вода неслась через гребень брода, покрывая камни на полсажени. Группа всадников переправилась ниже, в глубоком, но спокойном месте.

У дуба с образом Сварога остановились, прощались. Никто не может знать, уходя в Степь, когда вернется.

Всеслав и Колот провожали дальний дозор – семь слобожан, у каждого по два заводных коня. Конь в степи – челн в реке. Хорошо выкормленный овсом или ячменем конь, неся всадника, догоняет тарпана, хотя тот бежит налегке. Коней для дозора кормили последним сбереженным овсом.

Простившись с Сварогом, всадники миновали дальнюю росскую межу у Турьей заставы. Здесь, в

подновленных землянках, уже началось бдение за концом степной дороги.

Вот и балка Сладкого ручья, где побили хазарский загон. Все заросло, затянуло, только места под былыми кострами выдавали себя яркостью зелени.

Направо начинается невидимая отсюда Тикич-река. Опушки лесов раздвигались, отходили. Степь открылась. Она захватила и не отдала лесу место, где в годы гуннского побоища выгорела дубрава. Турье место, любимое. Всадники видели сразу несколько стад степных быков, нахаживающих силы на тучном пастбище.

Вот и холм, на котором упорно не хочет рассыпаться обожженный пень дуба, широкий, охвата в четыре. Россичи остановились.

Всеслав объяснял посыльным приметы степной дороги. Сам он лазал по ней при Всеславе Старом и в первый год своего воеводства. Старшим идет Ратибор, он должен запомнить приметы лучше всех, его остальные должны слушать во всем, как самого Всеслава.

Покончив с напутствием, Всеслав и Колот обнялись с уходящими в Степь. Задержав при себе Ратибора, воевода еще что-то ему приказывал. Колот ждал поодаль, наблюдая, как омрачалось лицо молодого.

Еще раз Всеслав протянул руки. Крепко обнялись воевода и молодой побратим. Кони стояли вплотную, обнюхиваясь.

Воевода и князь-старшина возвращались без спеха, каждый со своей думой.

– А совершит ли, как должно? – нарушил Колот молчание.

– Совершит. Он не хуже старых.

– Почто же ты старому не доверил, коль Ратибор старых только не хуже? – выспрашивал Колот, испытывая воеводу-брата.

– Он сердцем тверд, как огниво. По молодости же – душой чист еще. Умствовать лукаво о деле не будет он.

Душу Колота как змея укусила: умствовать лукаво! Не лукаво ли сам Всеслав взял мысль, брошенную ему Колотом, и ныне превратил ее в тайный приказ Ратибору? Но случись неудача с задуманным, против кого повернется дело? Против Всеслава. И, поборов себя, Колот сказал:

– Не про то говорю я. Хорошо ль, с умом ли он то выполнит?

– Почему ж без ума?

– Видел я по нему, не по сердцу пришлось.

– Он в пути все поймет, все и свершит, – утвердил Всеслав, и до самого брода, четверть дня, ехали они молча.

6

Широкий, торный путь протянут от Роси на юг. Никто не прорубал кустарники, не мостил мосты, не гатил болота, а дорога лежит, хоть и не наезженная колесами, не тропленная ногой человека.

Сухая дорога из степи в леса своими извилинами похожа на реку. На реке тихие заводи-затоны, а здесь – длинные поляны. Они, открываясь для глаза заманчивой глубиной тени и света, на самом деле никуда не ведут. Поезжай – и упрешься в замок сплошного леса, или в голову ручья, где вода, запруженная бобрами, превратила чащу в заболоченную низину.

Есть и узкие протоки-прогалы, длинные, змеистые. Они, как в теснинах реки, связывают одну пролысину леса с другой. Вот подобная разливу широкая поляна. В травах заметен ковыль, посол степей. Отступившие леса темнеют по сторонам, подобно берегам самого Днепра в половодье, а рощи – как острова.

Путь в степь и из степи, пролегший по гривам всхолмлений, строился не человеческой волей, а четырьмя стихиями: земным плодородием, силой ветров, рвением вод и подземным огнем.

Степную дорогу ромей назвал бы Фатумом россиячей. Угодья за Росью были поделены между людьми славянского языка. Южной степью по очереди обладали сильнейшие, как послушным телом рабыни, а дорога из степи в лес не принадлежала никому, кроме зверя.

Много ли мест возьмут семь всадников и четырнадцать заводных лошадей? Столько, сколько займут ноги коней.

Может быть, и на сто, и на двести, и на триста верст в стороны нет живой человеческой души. Россиячи затерялись, как камешки в море. Нет, исчезнуть можно лишь в людских толпах, в городах больших, как Рим, Византия или ильменская Русса. На степной дороге человек виден, как факел ночью.

Россиячи ехали ниткой, прижимаясь к опушкам. Из зарослей ольхи, клена, бересклета, овечьих высокими вершинами чернотволых вязов, тянуло свежестью и гнилью. С кружевных листьев остро пахнущих кочедыжников-папоротников взмывали жадные облака серых комаров; от кровопийц хотелось спастись скачкой.

Острые стрелки плаунов-хвощей, выбравшись на опушки, говорили о близости водяных жил. В таком месте вырытая ямка быстро насасывает воду.

Свиваясь черными пеленами, злой пчелиный рой неся с могучим гудением. Новая матка, которой тесно в семье, искала места для нового рода. Так расселялись и люди.

Издали всадники казались такими же одинаковыми, как пчелы в рою. На каждом штаны из пестряди, рубаха из холста-ровнины. Разнится лишь вышивка на косом вороте – крестики или елочка. Ратибору жена вышила красной ниткой треугольнички с точкой в середине – глазки.

У одних слобожан штаны заправлены в сапоги на толстых подошвах, пришитых смолеными нитками. Другие обуты в постолы-калиги с длинными ремнями, прикручивающими штанину к голени шестью оборотами до колена. На головах плоские колпаки из кожи, какие надевают под шлемы.

Сзади к седлу приторочен плащ, безрукавка из козьей шкуры мехом вверх, спереди – переметные сумы с разной походной мелочью. Меч висит на левом боку, удерживаемый кожаной перевязью. Перевязь короткая, чтобы оружие не болталось, не помешало спрыгнуть и на скаку. Ножной меч сидит за голенищем правого сапога или висит у пояса справа же. Колчан с тремя десятками стрел, два лука со опущенными тетивами в твердом лубяном налучье на своей перевязи приторочены к седлу. А круглый щит – за спиной

на длинном ремне. Он выточен из цельного вяза толщиной в три пальца. Край окован железом, по полю набиты железные бляхи. Изнутри две ременные наручины, широкая для локтя, узкая для пальцев. Под наручинами проложена толстая кожа бычьей хребтины. В ней застрянет жало копья или стрелы, если они, скользя по бляхам, проколют вязкое дерево, да и руку не так мертвит удар по щиту. Все слобожане вооружены одинаково – таков обычай русской дружины.

Степные тарпаны, разглядев всадников, сторожко отходят, примеряясь, не на них ли тянется нитка людей. Нет, мимо, стороной идут лошади, покоренные человеком. Дикие ждут, нет ли обмана. И, успокоившись, опускают морды в траву.

Туры, заметив людей, дают дорогу, отступают медленно, важно. Иначе случается, когда всадники, обогнув выступ леса, окажутся почти вплотную. Быки ярятся, наставляют рогатые головы. Длинный хвост с кистью хлестнет ребра. Утробным ревом бык дразнит себя самого, будит в сердце боевой гнев. Слобожане отступают, делают широкий объезд. Семерым мужчинам не съесть тура, жалко бросать мясо и кожу.

С отдыха срываются козы, серны и уносятся чудесными скачками, светя белым зеркальцем подхвостья.

Других зверей будто и нет. В траве не то что лису-огневку или корсака, не заметишь и волка. Изредка наметанный глаз усмотрит на дальнем бугре очертания морды, горбатых плечей. Волк встал, за версту подзрив человека.

Тонки и умные вепри. Под дубом изрыто, здесь лесная свинья искала прошлогодних желудей, выбирала корешки и червей. В холодный день теплый помет еще дымился бы. Слышен горячий запах, след не простыл, но стада не увидишь. Затаились поблизости, слушают, нюхают широкими дырами хрящевых носов. Молчат. Самый глупый поросенок, подражая старым, не взвизгнет, не переступит мягким копытцем.

Чутьем выбирая дорогу, Ратибор посылает коня в дубраву. Всадник правит ногами, руки достали лук, надели тетиву. Беззвучно легла в крутой выгиб петля шнура, свитого из оленьих сухожилий. Олень – самый сильный ногами зверь из всех. Если дернуть за тетиву, лук подаст мелодичный голос.

Постепенно сжимая колени, Ратибор заставил коня остановиться. Наставив уши, конь замер. Он видит. Видит и всадник – шагах в пятидесяти за листьями орешника... Сверху просвечивает солнышко, а в листве за окошечком, таким, что можно прикрыть ладонью, темно.

Голос тетивы гаснет в ударе о рукавичку. Визг. Ломая ветки, стадо топчет в лесу, с храпом, с тонкими вскриками поросят, которых мнут в давке.

Ратибор волочит на аркане тушу годовалой свиньи.

Похожий на привычного идола, забытого вблизи слободы, на темени низкого холма стоял бог, высеченный из серого камня. Сложив на отвислом животе тощие руки без пальцев, он тупо уставился безглазым лицом на степную дорогу. До полуколена вросли в землю слившиеся ноги. Стоял тысячу лет, еще тысячу простоит, пока не уйдет по маковку.

Слобожане объехали длинную тень – солнце садилось – и наткнулись на бугры и ямы. В траве были разбросаны камни. Пробивалась струйка ручья: место хорошо для ночлега.

Торопясь, чтобы огонь прогорел до темноты, слобожане разложили костер в яме, опалили и изжарили свинью; обуглившиеся ломти свежего мяса были сочны.

Никто не ходит ночами в степи, беречь нужно не себя, а коней. Очереди сторожей блюдутся по движению звезд.

Ратибор не успел заснуть, лежа на войлочном подседельнике, – дурной вой, далекий, но тревожный,

заставил его прислушаться. Волкам еще не время. Разве что беда случилась со щенками и волчица плачет, томясь горькой злобой по обидчику.

Лошади спокойно рвали траву, звучно жевали: лошадь не слышит голосов оборотней и мертвых. «Плохое место я выбрал, – думал Ратибор. – Слышишь, как воет?» – спросил он Мстишу, сторожа первой очереди.

Стих было страшный голос. И вдруг опять донесся до смущенного слуха жалобный, но и отвратительный призыв.

С обнаженным мечом Ратибор отошел от привала, Мстиша брел следом. Шагах в двухстах они сравнялись и оба вместе прочли заклятье на неведомое зло:

От света солнца палящего,
от ярой молнии разящей,
от грома Перуна –
пропади, рассыпья!
Силой Сварога скованный,
силой Перуна наостренный,
я держу меч.
Крепко железо кованое,
остро железо каленое
в руке внука Дажбожьего.
Уйди в землю, сгори в огне,
утони в воде, развейся в ветре.
На твою силу у меня большая сила,
на твою хитрость – большая хитрость.
Мой меч в твоём сердце,
в твоём сердце, –

эти слова Ратибор повторил четырежды, поражая мрак уколами меча. Ему, во вдохновении заклинания, мнилось: он там, далеко, где воет злой. Перед жалом меча отступает, оседает чудовище. Смутно видно тело, ползущие лапы. Меркнут красные глаза.

Напряженный, как натянутый лук, Ратибор закончил обряд. Стало тихо, голос зла умолк.

Вернувшись к коням, товарищи опять услышали вой. Кони перестали есть. Велика сила заклинаний и мощь человека! Победенный заклятием меча, оборотень вернул зверю украденное тело.

– Какого же языка люди здесь жили? – задумчиво сказал Ратибор.

– Князь Беляй отцу моему давно говорил, – отозвался Мстиша, – что люди те телом были невелики, ноги короткие, руки длиннопалые, а силы, как Всеслав либо ты, – отвечал Мстиша. – Будто Беляй видел кости, что ли. Жили они в ямах. На турах ездили, турих доили. Мясо ели без соли, а поле не пахали плугом, землю разбивали заступом. Топоры, ножи были у них не железные, а твердой меди. Мертвых своих они так бросали, без погребения. За то и пропали сами.

– Верно, так и мне мать Анея сказывала, и про туров верно. А медный топор она сама видывала. Говорят, что длиннопалые пропали за то, что жили на степной дороге. И много их было, а всех степняки побили.

– Гунны, что ль?

– Нет, то было задолго до гуннов...

И оба задумались. Все степь и степь, оттуда беда всегда шла. Может быть, и теперь навстречу тянут

хазары. День пройдет, другой... Не пристало воину думать о поражениях. Ратибор перебил свои мысли:

– Вот длиннопалых побили, боги их остались мертвым камнем.

– Боги тоже могут умереть, – заглянул в тайну Мстиша. – Их души, наверное, тоже уходят на небесную твердь.

– Уходят. Где же им быть? Вот только одно не понять. Мне на Торжке Малх-ромей говорил чудное. Будто бы прежний ромейский Зевс-бог совсем никогда и не был на свете. А теперешний Христос-бог был простой человек, добрый, а не настоящий бог.

– Стало быть, ныне он живет на небе, Христос тот, – заключил Мстиша.

Небесная твердь светила звездочками, желтыми, как цветок курослепа. Край неба подсвечивало красным, устало поднималась последняя четверть старой луны. На юге, где степь, полыхнули зарнички – одна, другая, третья. На небе души младенцев играли с петушками: схватит за хвост, петушок рванется и срывает яркое перышко.

Тихо светилось жилище человеческих душ, душ умерших, забытых землею богов и живых богов, чей час еще не пришел.

Окруженная крутыми обрывами, окаймленная высокими тростниками лежала чаша воды. Это голова Ингул-реки. Здесь река питается первой водой, которую дают из земли каменные холмы.

Степная дорога обходит исток Ингула слева. Вскоре, верст через семь или восемь, опять появляются плесы. Здесь второй исток того же Ингула. Как мать ребенка, из двух грудей поит земля степную реку.

От второго истока Ингул-реки на юг тянет лысая грива. И тут же, из-под ее левого, восточного склона, рождается Ингулец-река – младшая сестра Ингула.

Степь ширилась, с увала и до увала, с изволога на изволок, вверх и вниз, вниз и вверх катилась травяная волна. Ковыль овладел землей. Ближе к Рось-реке он только гость, здесь степная трава была владыкой других. Не головки цветов, а зеленые метелки ковыля били в грудь коней. Лес расступился на версты, ушел в балки. Там деревья берегут несчитанные ручьи и речки, которые тянут себе на подмогу справа Ингул, слева – Ингулец.

Здесь не прижмешься к лесной опушке, не спрячешься в тени деревьев. Слобожане наблюдали за птицами. Висят, дробно трепещут крыльями, коричневые ястреба в поиске полевых мышей и пташек; на краю земли стоят или тихо переходят дрофы, похожие на всадников; не взлетают серые стрепета – спокойно вокруг, нет людей.

Нет людей и за увалами, куда не проникает глаз, – туры пасутся, козы убегают от всадников, и не видно, чтобы зверь бежал навстречу.

Степные болота, где, как в котлах, оставалась еще налитая зимой вода, встречали слобожан стаями куликов. С подсыхающих берегов, черная грязь которых обильна червями – любимой пищей долгоносых, взвивались стаи длинноногой птицы. И большие, с хорошую крякву, в пестром пере, и средние, в черно-белом наряде, и мелкие, с воробья, кулики налетали на людей с жалобным диском. Они вились, едва не задевая за головы нелепо повисшими лапками, кружились, падали в траву, притворяясь больными, подбитыми. Куличье сердце исполнено жаркой любви к детям.

С досадой отмахиваясь плетью от докучливых куликов, слобожане вскачь уходили от болота. Видная на версты туча птиц выдавала дозор. А кулики гнались и гнались. Быть может, люди задумают вернуться и

примут жертву родительской жалости к малым.

Ратибор выслал парных дозорных далеко вперед, к приметным холмам, с которых те осматривались, давали знак. Слобожане чаще меняли лошадей, чтобы быть на свежем коне, если нечаянно придется доверить себя конской прыти.

Шел день четвертый, пятый. Сберегая запас вяленого и копченого мяса, слобожане охотились с ходу. Разъехавшись цепочкой, примечали место, где легли серны. Спущенная тетива посылала стрелу, оперенную диким гусем. Никто из чужих не видел, как, привстав на стременах, стрелок до уха тянет тетиву, как, бросив стрелу и глядя на цель, он тотчас, ослабляя тетиву, прячет лук в налучье, зная, что нет в нем больше надобности. Но кто увидел бы и стрелка и на диво послушных коней, каменно ждущих приказа всадника, – о многом бы тот призадумался.

Сберегая коней, Ратибор уводил дозор не более чем на сорок верст в день. Начиная движение с восходом, в середине дня Ратибор назначал привал. Коней выпаивали, давали кормиться. Стоянки и ночлеги слобожан оставляли недолговечные следы. Слобожане же встречали широкие заросли сорных трав – это земля выгорела под большими кострами. В траве валялись черепа и костяки коней, которых степняки гоняют с собой на мясо.

Подобно столбам, маячили каменные боги длиннопалых. Затянутые степью остатки жилищ напоминали о враге, о сражениях за землю, за жизнь.

7

Если считать прямой, птичьей тропой, и то не менее трехсот верст отделило от Рось-реки, семерых слобожан. Конскими же копытами всадники натоптали и все пятьсот верст. Их путь, скрытый упругой травой, лег куда более змеистым извивом, чем петли речек и ручьев холмистого предстепья, вырытые водой в упрямой земле.

В открытой всем ветрам, всем ногам и всем крыльям степи Ратибор нашел предел своего похода. Здесь стоял не то исполинский могильник, не то гора, очень похожая своими крутизнами, своим округлым подножием на могилу. О ней говорил Всеслав, узнать место было легко. По словам воеводы, отсюда к западу тек Ингул, налево – Ингулец, и было до каждой реки верст по двадцать пять. Сторож-гора стояла посередине.

К северу, в полуверсте от подножия, в балке, заросшей мелким тальником, боярышником и вишенником, рождался ручей. Во влажную долинку клонились колючие кусты степной розы, желтофиоль свешивала пучки и пучочки мелких сердечек. Хорошее место для стана.

С высоты горы, необычайной для Ратибора, он видел маленьких коней около привала, неловко переступающих спутанными ногами, крохотных, как детишки людей. Темный язычок русла ручья то исчезал, то опять открывался. Он направлялся к востоку. Ратибор не сумел разглядеть Ингулец, глаза еще не привыкли понимать вещи, измененные небывалым расстоянием.

Кто знал, сколько дней продлится жизнь дозора в степи... В первый же день легко взяли туриху, мяса хватит надолго. Костер для варки еды разводили, к середине дня, когда степь одевалась сухой дымкой. В трепещущей мгле струйка дыма терялась, как в сумерках.

Ратибор редко покидал вершину. Полноправный наместник воеводы не желал доверить другому наблюдение за таинственным Югом.

Он знал, что сколько ни будет идти человек, никогда он не встанет на край земли, где можно рукой коснуться твердого свода небес. Но он привык видеть свою землю всегда ограниченной рубежом встречи с небесным сводом. Существование границы было столь же зримо, как берег реки. Как река, время утекало вместе с солнцем в тайну земного окоема. Где-то, наверно, и вправду был конец земли, далекий-далекий. Кто туда доходил, тот никогда не возвращался, как не вставал никто никогда из пепла могилы.

Ясным утром Ратибор еще мог подсмотреть совершение ежедневной тайны солнца. Медленный подъем светила мнился очевидным выражением беспредельной силы. Вечером же, после жаркого дня, солнце гасло само, не поглощенное межой ночи, как бывало на Рось-реке.

Днем все рубежи исчезали, земля окружалась пустотой. На три стороны света стекали низины. Где-то там они чудесно превращались в пустоту воздуха. Без видимого перехода земля слабела, стиралась.

В темени горы было углубление. Ратибор видел юрких ящериц, прячущихся в трещинах. Привыкнув к человеку, безвредные змейки на ножках смелели, бегали по рукам, щекоча кожу когтистыми лапками. После полудня юго-западная стенка ямы давала тень.

С неисчерпаемым терпением, силы которого он сам не знал, Ратибор сторожил Юг. Он, как немногие, мог сосчитать восемь звезд Стожаров, которых ромеи называют Плеядами, и видал в изгибе Ковша не одну, а две звезды. Острое зрение быстро свыкалось с пространством, он находил Ингул и Ингулец. Мысль дополняла.

Иногда, по утрам, когда степь еще не начала странно трепетать, он различал в глубинах Юга какие-то

движения, менялся цвет теней. Будто бы там проползали отражения облаков. Он взглядывал на чистое небо. Таинственное шевеление Юга помогало ждать.

По слободскому обычаю каждый старший наделялся властью, ограниченной лишь невозможным. В первый же день Ратибор сказал, что будет один на горе.

В середине дня, зная: ничто не зреет на Юге, он позволял себе заснуть. Один и тот же друг-товарищ Мстиша таскал Ратибору воду в конском ведре. Сшитое из тонкой кожи ведро изнутри растягивалось тремя ивовыми обручами. Сверху, чтобы воду можно было возить у седла, ведро затягивалось, как кошель. После полудня Мстиша приносил мясное варево с листьями щавеля и луком.

– Ты снизу, будто орел, – говорил Мстиша. – Будто здесь орел присел отдохнуть.

Как-то и в самом деле прилетел орел. Ратибор и орел встретились лицо с лицом. Обманчивая неподвижность спящего возбудила жадность птицы: говорят, орлы живут сто лет, все знают и помнят. Степной князь пал рядом, ветер от крыльев взметнул длинные волосы на голове человека. Сквозь пряди, свалившиеся на лицо, Ратибор видел немигающий кружок желтого глаза, загнутый, как жало скандийского ножа, клюв с дырочкой ноздри. Орел казался железно-тяжелым. Готовясь защитить лицо, Ратибор сблизил раскинутые руки. Орел испугался, человек уловил и прыжок и судорожный взмах крыльев. Протирая глаза, засоренные известковой пылью, Ратибор следил за косым полетом обманутой птицы. И тут же забыл о встрече. Ему было о чем подумать.

– Долго ждать-то будем тех? – спрашивал Мстиша каждый день, не ожидая ответа. Ратибор мог бы ответить, а может быть, и нет.

Изредка Ратибор сбегал под гору, раздевался, ложился в воду. Слобожане устроили на ручье запрудку из камней и дерна. Прохладная утром, к вечеру вода согревалась, как на очаге. Воины не жились, терли тело пучками травы. Нарубив тонких веточек краснотала, тоскуя о парной бане, они хлестались вениками, сидя на берегу. Обсыхая, натирались пахучей полынью и мятой. Привычка охотника – запах добрых трав отбивает нюх у зверя. Да и само тело славно пахнет.

Но сами слобожане не размякали, не бабились. Турью шкуру распялили на кольях, издырявили стрелами и взяли второго тура для шкуры. Скакали без седла и повода, совершенствуясь в боевом управлении конем. Седлали лишь для того, чтобы подобрать на широком скаку веточку, шапку, стрелу. Рубили с коня тонкие ветки, чтоб отруб падал прямо. Бились мечами, играли в увертки от стрелы и копья. Учили коней падать по слову и ударом по передней ноге.

Ничто не могло быть им краше такой жизни.

В начале ночи Ратибор высылал дозорных, ездил и сам. Не было ничего лучше упругого шага коня под собой, ничего лучше ночи тысяч звезд, тысяч голосов малых существ.

Дажбог щедро дал жизнь во власть человеку лесных полян. Черный Перун научил воина твердости сердца и смелости души.

Россича не ждали коварные засады предопределения, его волю не встречала всемогущая воля Фатума, бороться с которым бесполезно.

В мгlistой дымке Юга Ратибору грезилось Теплое море. Где-то там храбрый Индульф. Будущее собственного существования представлялось Ратибору безбрежным, как степи. Он еще не ощущал возможности смерти и никогда не думал о грядущей бессильной старости. Однако ему казалось, что он живет уже давно, очень давно. Не одно детство исчезло, забылось и отрочество. В этом забвении – верный признак молодости.

Сторожевая гора видела прошлым летом хазарский загон и красавицу хазаринку. Ее обожженные

кости спят в общей могиле с товарищами Ратибора. В его памяти стерлись черты женщины.

Время и Млава заслонили хазаринку. Но и о жене Ратибор не вспоминал. Отдыхая, он мечтал о Теплых морях. Наверное, отсюда за несколько дней можно достигнуть берега соленых вод и въявь обладать их чудом. Нельзя, невозможно это.

Изредка перепадали слабые дожди: небо не скупилось – раскаленная степь отталкивала водяные облака. Земля иссыхала, струйка ручья утончалась. А на севере паслись и паслись черно-сизые небесные стада и тяжело опускались в лесные глубины, обещая приросским полянам тучный урожай.

Мысли Ратибора делались такими же смутными, как тени неведомого, струящегося на дальнем Юге. Он созерцал, неподвижный, как ящерица, замершая на теплом камне. Он будто спал с открытыми глазами, принимая внутрь души образы и звуки с безразличием песчаной отмели, заливаемой водой. Чувства же необычайно обострялись; освеженный обманчивым сном, Ратибор понимал, почему так нужна весть о хазарском набеге Всеславу и всей слободе.

Девятый, десятый, одиннадцатый дни ушли. Шел двенадцатый, солнце опускалось к последней четверти мглистого неба. Ратибор поднялся в своем орлином гнезде. Еще на половине горы он стал звать в рог. И когда добежал до привала, все собрались, кроме одного, кто сторожил лошадей. Ратибор сказал Мстише:

– Коней своих возьми. И скачи в слободу, скажи воеводе: Ратибор сам видел конных. Много их, идут к нам. Так и скажешь: не ты сам, мол, видал, Ратибор то видал. Теперь же скачи: не медли. И быть тебе на Рось-реке в третий от завтрашнего день.

Мстиша был года на три постарше Ратибора, отец двоих детей. Дружина кровных побратимов перед Черным Перуном приняла его к себе раньше, чем Ратибора. Был Мстиша силен, как другие, но телом помельче, весом полегче. Для быстрого вестника в этом большое преимущество.

Товарищи положили Мстише мяса в переметные сумы. На три дня хватит, а копь и тронется запахом, для воина это ничего. Коней станет выпаивать, сам напьется. Заботливая рука в последний миг сунула и лучку, чтобы пригорчить мясную пресность.

Кони свежи и в теле. Летняя ночь коротка, но до дневного жара Мстиша успеет пройти верст сорок. В полуденный жар покормит и до вечера одолеет столько же. С темноты даст отдых коням до полуночной звезды и к тому вечеру опять проскачет верст более восьмидесяти. А на четвертый день гонец увидит Рось. Ратибор дал время – Мстиша придет к слободе, не зарезав коней.

Заботливо, без спешки Ратибор и Мстиша припоминали дорогу, водопои, считали версты. Дорогу воин знает, ехали сюда с оглядкой, запоминали приметы.

Гонец взял с места шагом, удерживая горячившихся коней, не давая им сразу полной воли. Глядя вслед ему, слобожане молчали, каждый старался один перед другим показать сдержанность зрелого воина. Ратибора не расспрашивали. Слышали: что сказано Мстише, то будет знать Всеслав. Значит, другого знать никому нечего.

Да, все сказано. Но что значит сказанное, какое дело выйдет из слов? Слово как семя, как яйцо. Что родится? Нечто явится из оплодотворенного словом будущего. Какое – не знает никто.

В сумерках ели мясо: раз за разом, начиная со старшего, хлебали из котла холодное, как льдом, твердым салом покрытое варево на толченом просе.

В ночной разъезд Ратибор назначил двоих, велел им далеко не ходить и вернуться до полуночи. Сам же полез на гору и спал до рассвета, зная, что нет в степи никого. Спал спокойнее, чем всегда. Решился, сделал, толкнул камень и начал большое дело. Оно невесть чем кончится, да началось-то наконец.

Утром Ратибор не спустился со своего гнезда. Воду и еду принес Мужко. После полуденного сна в тени впадины Ратибор потянулся и уже привычно лег лицом к югу на теплый камень.

Там, в неопределимой дали, среди таких обычных для его взора пятен, рисующих границы простора, явилось нечто новое.

Он долго-долго лежал наблюдая. Потом, не уходя, позвал в рог. Трубил, как вчера: один протяжный звук чередовался с тремя короткими. Перерыв – и два вскрика через кость.

Вспомнился дурной вой, заклятый им в одну из ночей, когда дозор шел от Роси. Див перед бедою кличет... Вот и беда топчет стоногая, катит на Рось-реку саженными колесами. Заклятий она не боится.

Прибежали товарищи, разглядели. Кто-то шепнул с уважением и с завистью к превосходству старшего:

– Глаз же у него! На сколько же он вчера их узреть сумел!..

В начале ночи на юге рассыпались горсточки огоньков. Ратибор считал, соображал. Костры, померцав, погасли. Только два упрямылись долго.

Рассвет показал движение рваных пятен. От общего множества вытягивались щупальцами медленные издали, на самом же деле поспешные струи всадников.

Пройдет полдня. Новые люди заберутся на гору, будут следить. Слобожане собрались. До полудня они поспеют к стенке леса, поднимающегося из сочной балки Ингульца. С ходу Ратибор послал второго гонца. Ему было приказано говорить по-иному, чем Мстише:

– Не один Ратибор видел ныне, а все своими глазами видели, как шли конные и с телегами. Будет их сотен до двадцати или более.

Мужко поскакал. Ратибору казалось, что и скачет-то он резвее Мстиши. Сам видел!..

Укрывшись опушкой балки, слобожане давали роздых лошадям. Теперь особенно нужно беречь конские спины и ноги, беречь с умной любовью – чтоб потник не загнулся, чтоб под него не попали камешек, ветка, чтоб подпруга была затянута в меру. А как слезешь с коня, погляди, не поранена ли подошва у ног. Будет так, что от коня, а не от силы всадника придет удача. Весело было – не зря ждали, дело сделали.

Гора виднелась в небе, как вырезанная. Низовая мгла не мешала глазу различить орлов, мостившихся на острой вершине.

Том второй

Глава 9

Влача кровавый след

Черные тучи с моря идут,
хотят прикрыть четыре солнца,
и в них трепещут синие молнии.
Быть грому великому!

«Слово о полку Игореве»

1

Не на сторожевой вышке, что внутри русской слободы, а на высоком берегу, где на холме стоит забытый бог забытых людей, запылал прозрачным пламенем костер из сухого долготья. Не дали воли веселому огню, забросали сучьями сырой ольхи, заложили травой. Со свистом, с шипением боролись вода и огонь, текучее и твердое, сухое и жидкое.

Князь-старшина Колот-ведун положил руку на плечо Всеслава. На волосатом запястье блеснул бронзовый браслет в три пальца ширины, на темных пальцах сверкнули перстни. Колот громко произнес слова, смыслом своим понятные только Всеславу:

– Куда дерево рубят, туда и валится оно, князь-брат, – сказал Колот, по ошибке будто бы дав Всеславу высокий титул.

Да, рубили дерево, срубили. Перед светом в слободу прискакал Мстиша, передал, слова не изменив, сказанное ему для воеводы. Близятся хазары. Упало дерево в сторону, избранную дровосеком Всеславом да его подсказчиком, князь-старшиной Колотом.

Шепча заклинания одними губами, Колот бросал на костер травинки, связанные наговорными узлами, следил, какую приметку явят судороги сгоравших былинок. Следили и другие, веря в гаданье. Верил и сам Колот.

Утро тихо, ветер спит, и серо-черный дым распускается исполинским хвостом над вершинами русского леса. Еще и еще несут сухие дрова, еще и еще гнетут пламя сырьем. Великому костру гореть до ночи; его заменят смоляные факелы на сторожевой вышке.

К небесной тверди лезет зыбкая башня. Будто бы люди замыслили построить небывалое. Внизу воздух по-прежнему недвижим, но там, в высоте, видно, есть ветер. Башня оседает, опять вздымается. Вверху хлопья дыма тают и, сделавшись нежно-прозрачными, исчезают в пустыне поднебесной степи. Но снизу, от тлеющей громады, в небо, подобно нашествию, идут новые и новые дымные орды. Само солнце застигается, и на землю ложатся тени. Ныне никто в русской земле не сможет утешить себя сомнением, никто не скажет, что либо смолокур запалил крытое дерном огнище из корней, сочных смолой, либо кузнец задумал жечь в яме березу на уголь, чтобы сварить железо из руды.

У русичей все готовы услышать злые вести, как вспаханная земля готова принять семена. Не зря старался и карикинтийский пресвитер Деметрий. Не мог он похвалиться обращением славян в истинно католическую веру, обратно увез медные и серебряные крестики и иконки на шелковых гайтанах, на серебряных цепочках и на льняных шнурках. Не привел он ко Христу людей, зато хорошо посеял в сердцах не страх пусть, но ожидание верной беды.

Для Деметрия жизнь была неизменна, от века однообразна; все живое наделено печально-гибельным стремлением к греху. Путь земной жизни краток, ничтожен перед вечностью страданий для многих или перед вечностью рая для избранных.

Будто бы метко уличил Чамота злого проповедника. Будто бы доказал умный князь-старшина, что не бог ромейский, а сами ромеи науськивают Степь. Тем более помнились пророчества Деметрия:

– Что ж, надевайте ваши шлемы, облакайтесь в брони и точите копья. Вы увидите, что совершится с вами. Отовсюду ужас. Не убежит быstroногий, не спасется сильный, они споткнутся и упадут. Нет для вас спасенья, ваш вопль наполнит леса и нивы, и степь покроется вашими телами, и ваша плоть останется без погребения. Вы не послушались слова божия. Вы будете истреблены, и дома ваши, и дети, и жены, и скот. И трупы ваши будут брошены под дневной жар и на холод ночи.

Люби ближнего, как самого себя, не поднимай меча, будь кроток, прост душой – мягкие увещевания Нового завета легко забывались проповедниками Христа. Сам Христос сказал, что не мир он принес на землю, но меч, и признал святыней преданья Израиля. И Деметрий с искренней верой повторял грозные предсказания древних свирепых пророков:

– Истинный бог говорит вам: я подниму на вас степных людей, жестоких, необузданных, которые бродят по земле лишь с целью грабежа. Кости отцов ваших выбросят из могил, раскидают под солнцем, луной и звездами, которым вы поклоняетесь. А вас самих не уберут и не похоронят. И будете вы, как навоз в огородной гряде. И если кто из вашего племени останется жив, то сам смерть предпочтет жизни.

Накаркал черный ромей в души славянских людей.

Ждали. С не случайной поспешностью поднялся дым над слободой илвичей. Еще два дыма вскоре сделались заметны: на северо-востоке, где каничи, и на севере, у россавичей.

Знали: тревога пошла в глубь земли людей русского языка, передаваясь от слободы к слободе, от илвичей – к ростовичам, от тех – к славичам и триполичам с хвастичами, далее – к бердичам, к здвижичам, житичам. Так до самых припятских дебрей узнают о войне, которая движется в лес из степи.

Земли русского языка рассечены реками, речками, многими речушками, ручьями, ручейками, ключами, подключиками. Затенены земли лесами, ограждены болотами и трясинами. Чем далее к северу от Рось-реки, чем далее от Днепра к западу солнца, тем труднее пробраться, тем легче заплутаться-запутаться и без лукавой помощи лешего.

Здесь, не зная, не пролезешь. А кто знает, тот может за шесть дней проехать верхом от Роси до Уж-реки через земли пяти племен: илвичей, триполичей, ирпичей, здвижичей и иршичей. Некогда россичам бегать за помощью к дальним соседям, ближние помогли бы. Всеслав не послал в дальние земли. К ближайшим же поедут избранные послы, русские князь-старшины: Дубун – к илвичам, Колот – к каничам, Чамота – к россавичам. Их дело собрать роды на погостах и уговорить не ждать времени, когда заплачет кровью русская земля, а вместе идти на Рось-реку и бить хазар на выходе из степи.

В свои роды поскакали слобожане с копьями, на копьях хвосты вороных коней; встречный россич без слов узнает весть по черной пряди.

Нынче в русской слободе почти две сотни слобожан. Никогда, даже с Всеслава Старого, не скапливалось у русского воеводы столько воинов. В хозяйстве готово все, но каждому нашлось дело. Разбирали стрелы из запаса и, заворачивая в кожу, вязали снопами по четыре десятка. Так стрелы возят в тороках^[48] при седле для пополнения колчанов. Владевшие мастерством продолжали готовить новые стрелы – в бою стрела в избытке не бывает. Сухими клиншками подбивали насадку топоров и копий. На точильных кругах острили мечи, ножи, сабли, секиры. Работали споро. О хазарах – ни слова. Праздное слово ослабляет душу. Для боя род кормит слобожан, слобода головами платит за корм. Так было и есть.

Воевода лгать не привык. Колоту же весело. Это он, бродя в поисках налитых тайной силой трав, подметил в степи за Турьим урочищем хазарский загон. Он же, передав весть Всеславу, хитро научил друга молчать. Но совершить ложной вестью испытание общности русских племен надумали оба. Ответ будет на одном Всеславе.

Солнце шло к полудню, когда к броду вырвался всадник. Замученный долгой скачкой конь пал в воду. Не успел еще второй Ратиборов посланный пешком доковылять до слободы, как Всеслав узнал Мужко и понял без слов. И дурно подумал: накликали сами.

Мужко меньше чем на день отстал от первого посыльного. Увидев собственными глазами хазарское нашествие, он гнал лошадей и себя без пощады.

Еще день, два или три, но не более шести дней могут дымиться костры над Поросьем. Более двух десятков сотен степных людей, жестоких, необузданных, идут на Рось с единственной целью грабежа. Не придется ли росским градам вновь рассыпаться золой? Не останутся ли от росского семени редкие люди, как былки на выбитом пастбище?

Тусклы выцветшие глаза князь-старшины Велимудра: старческая вода погасила ясность взора. Бурые пятна, будто осенние листья, налипли в трещинах сухих морщин. Ничто не мило старику, его сердце закрылось для движений любви, радости, жалости, сострадания к чужому горю. Велимудр остался одиноким. В своем роду среди своих кровных он жил воспоминаниями и правил родом привычкой к обряду правления. Себя же он держал в жизни силой воли, единственной силой, которую не отняла дряхлость.

Выставив косым горбом спину, – как давно спина перестала гнуться и когда вырос горб, князь-старшина не помнил, – он топтался на росском погосте. Было неприбрано, пора бы велеть прополоть под богами. Да времени нет – хазары из степи идут. Одеревеневшие ноги старика путались в стеблях травы. Обеими руками Велимудр цеплялся за княжеский посох. Переступит, вытащит увязший конец с железной, как у копья, насадкой, опять переступит.

Ветхий старик ковылял по колено в траве у дубовых подножий покровителей племени. Устал он, ох как же устал!.. Ему нужно вспомнить нечто, самое важное, самое нужное. Вспомнить бы, более он не забудет. В ушах свистит, будто близко что-то льется. Велимудру слышится звук: «Ти-ли, ти-ли-ли, ли-ли, ти-ли...»

Знакомый звук, такой знакомый. Но – мешает, мешает. Сейчас Велимудру нужно уйти в себя, поискать, вспомнить главное. Еще самая малость, и вспомнится.

«Ти-ли-ли, ти-ли, ти-ли-ли-ли...» Липкой паутиной тянулась, вилась без разрыва детская песенка пастушьей свирели. Деревянная дудочка мала и тонка, ее голос чуть сильнее комариного свиста, но слышен далеко – как птичий. Вблизи голосом легко заглушить свирель. Но вдали будет слышен не голос, а свирельный перелив.

В траве, за спиной Велимудра, сидел беловолосый парнишка в холщовой рубаше. Следя за пращуром, как бы тот не запнулся, не упал, парнишка пищал в свирель.

Имен много, разве все удержишь в голове. Не стараясь запомнить, князь-старшина звал кощег-прислужника Малом – от малого. Второе лето ходил Мал за князем, силенка прибавилась. Велимудр же вовсе иссох. Мал его мог поднести на руках, хоть головой доставал лишь до подбородка старца.

Для родовичей Велимудр – князь, для Мала – забота. Они все вместе и вместе, древнее смешалось с детским. Старик про себя нашепчет, Мал по-своему поймет.

Под навесом для гостей на скамье лежали мешочки из холстины. В них съестной припас: печеный хлеб, толченое просо, луковицы, сушеная рыба, завяленное мясо, соль, вымененная у ромеев. В очаге допревал кусок мяса в жидкой кашнице. Перестав свистеть, Мал побежал к очагу поглядеть, не готово ли варево. Помешал, попробовал – мягко ли? Зубов у Велимудра совсем нет.

Свирель умолкла, и князь-старшина вспомнил, что хотел. Всю жизнь он прожил в страхе. Всегда в нем было два человека: один боялся, другой прятал стыдное чувство. Никому не признавался, никому не

признался бы, но дни были отравлены. Привык, не давал воли страху, жил, как все. Думал, не все ли боятся, не все ли прячут и от себя, и от других мысль о тщетности жизни, которую завтра насильно отнимут. При вести о хазарах Велимудр отказался от старшинства, чтобы не мешать роду своей беспомощной дряхлостью. Пусть отбиваются, как умеют. Жизнь не мила, нужен покой, чтобы в покое уйти. Самая страшная смерть – от зверя. Зверь будет тело трепать, не даст умереть в покое. Нет страха, есть злоба на степных людей за то, что не дали умереть в покое.

В горьком бессилии Велимудр поднял руку на Дажбога. Метил в лицо покровителя славян острым посохом и шептал:

– Вот я тебе! Я тебя не боюсь...

Бросив ложку, Мал подбежал к старику.

– Опоздал бы я, ты бы, глядишь, и обломался! Угляди-ка за тобой, старый ты, старый...

Велимудр ухватился за подножие бога, оттолкнул парнишку.

– Мешаешь ты! – и, как копьем, пырнул острой клюкой.

Мал присел шустрым волчонком. Железо, скользя по плечу, до крови поцарапало кожу. Едва не убил злой старик.

Не в первый раз парнишке увертываться от клюки. Он не обижался. Двенадцатилетняя нянька при столетнем ребенке, мальчик считал себя разумным за двоих. Как никто, он знал жалкую дряхлость князь-старшины, привык с материнской небрежливостью ходить за стариком, жалея его любовью сильного к слабому. Мог бы Мал клюку отнять, дав Велимудру простую палку. Вместо того парнишка ждал, готовясь увернуться от второго удара. Нет, задохнувшись от усилия, Велимудр опустил посох. Голова затряслась, а тусклые глаза прояснили.

– Пойдем, пойдем, – позвал князь.

Крепко обняв старика, Мал повел его к очагу. Будто ничего между ними не случилось. Волоча клюку левой рукой, правой Велимудр гладил парнишку. В неловких движениях сухих костей, обвитых дряблым мясом, была особая ласка. Слабый просил прощения у сильного. Мал думал: «Горяч ты еще, а угоди ты мне в сердце, кто б за тобой глядел? Пропал бы ты, как куренок».

Кашица хорошо разопрела. Велимудр тер еду пустыми деснами, и его лицо становилось странно-широким, а седая в прозелень борода дыбилась к вислому носу. Мал вытащил мясо, отделив мякоть, мелко ее искрошил, натер луком, подсолил.

Князь-старшина ждал терпеливо. Не ворчал, как всегда: «Сам я себе, сам я все, что я тебе, малый, что ль!» Парнишка понимал, что пращур смягчился, жалея об ударе клюкой. Он ведь такой – гневлив, да отходчив. В бане как? Дерется, толкается. Сам! Сам! Потом устанет и будто не замечает, что его моют. Они, древние, уж такие.

Накормив Велимудра досыта, Мал выгладил ложкой горшок, чтоб не пропало зря крошки. Мешочки с припасом убрал со скамьи и подвесил повыше на деревянный гвоздь, не то мыши источат.

– Ты поди, сюда поди ты, – позвал пращур. Обняв Мала, он начал речь. Едва, едва, с одного слова на пятое, понимал Мал, будто и не по-русски говорил древний.

Велимудр жаловался на извергов, которые от лета к лету все более плодятся, а льнут они все к Всеславу. Хазары пришли, побьют россичей. Всеслав хазар побьет, слобода власть заберет. Рода ослабли ныне. Не будет вольности градов.

Ничтожно мало из слов Велимудра дошло до Мала – все плохо, и только. Цепляясь за парнишку,

старец заключал свои речи.

– Ты понимай, помышляй, – твердил Велимудр, – ты уходи тотчас, уходи. Один. Не путайся меж хазар и наших. На Припять ступай. Нашего языка там люди. Тебя примут в род. На Рось не помысли вернуться.

– Без тебя куда мне? Ты ж и по ровному еле бредешь, ты через лес не пролезешь. Ты и на коне-то сидишь, когда тебя с обеих сторон держат, – безжалостно уличал старца Мал.

Рука Велимудра нашла ухо непослушного. Не обижаясь, Мал отвел скрюченные, холодные пальцы и сурово пригрозил:

– Будешь щипаться, я отсяду, чтоб не дотянуться тебе.

– Ладно, не стану, – смирился Велимудр. – Гордый ты. Я тебе говорю: уходи. Не понимаешь ты... – Пращур признался: – Коль не было б никого, и я хорошо бы помер. Все вы, живые, меня тянете, умереть не даете. Буду один – и покой. Лес шумит, нет живых, нет ни страха, ни заботы нет...

Сумерки пали на лес. Велимудр начал совсем непонятно сбиваться в словах. Соскучившись, Мал приподнялся; старик поймал его за ногу:

– Ты, ты куда? Спать будем, я с тобой буду спать.

Вместе с ночью к Велимудру приходил последний страх. Древний старик боялся сна, ужасаясь, что в сновидении разорвется нить опостылевшего бытия и душа уйдет незаметно, обманув спящее тело. Ночами мальчик грел коченевшую спину пращура. Дремля, Велимудр тосковал, пугался и щупал за собой: не удрал ли ненавистный и любимый парнишка?

Мал грезил, что живет в слободе, скачет на злых конях, сечет хазар острой саблей. И виделся ему воевода Всеслав, великий и прекрасный, как живой образ Сварога, что смотрит на степь из священного дуба.

2

В зеленой чаще векового осокоря затрещали завитые ветки. Упал сухой сук. Ратибор грузно валился вниз. Сверху еще сыпались листья, а Ратибор был уже в седле.

Четвертый день идет, как хазары гонятся за русским дозором. Четвертый день идет, как слобожане отходят, не давая загонщикам обойти себя и взять в петлю облавы. Руссици могли бы уйти, оторваться, но Ратибор не хочет. Хазарские конники опасаются слишком далеко опередить свою главную силу, а главная сила не может бросить обоз. Все Ратибору понятно. Понимает он: и хазары знают ведь, что руссици в силах уйти. Не уходят, стало быть, нечто задумано.

Так играли, так играют в степях старые игры. Без закона, без правил, без уговора. Выживает тот, в ком быстрее мысль и чье тело послушнее воле.

Руссици знают, что хазары, достигнув горы, опознали следы. Многодневный привал – не подбитое сухой травой и пухом куропаточье или стрепетиное гнездышко, которое прячется в мелкой ямке. По следам на привале легко счесть и людей и коней.

В первую же ночь хазары пробовали опередить слобожан. Ратибор обманул, сокращая время ночлега. А утром хазары оказались невдалеке, и слобожане дали им поглядеть на себя. Игра затянулась. И хазарам и руссичам приходилось давать отдых коням.

Изволоки, увалы, излоги да взлобки[49] – степная дорога не ровная. Лето стояло в полной силе, короткие ночи были теплы, днем степь дышала зноем, как очаг с живыми углями под пеплом. От пота гнедой конь выглядел вороным. С удил падала белая пена. На всадниках одежда волгла и размокали ремни.

В балках-овражках крепко-полынный аромат степи перебивался запахом травяной гари, как жгучее солнце палило скаты лощин. Безостановочным стрекотом зеленые и бурые кобылки-кузнечики славили жар распаленной земли, ночью сверчки поднимали слитный гомон.

На остановках с брюха коней тек струйкой пот, прозрачный, как слезы. Выпаивали лошадей только на ходу, давая опустить губы в ручей на броде. И тотчас же гнали дальше. Если горячему коню после водопоя дать отдых, конь остудится, а всаднику без коня не уйти от гибели.

На третий день слобожане сообразили, что хазарские охотники далеко ушли от своих. Были видны две стайки погони. На высоких местах, доступных глазу издали, Ратибор сдерживал своих, маня хазар видом возможной потехи. Ныне, на четвертый день, дозор уходил, дерзко показываясь раз за разом. Хазары прибавляли ходу. С осокоря Ратибор видел, что за ним гналась одна стая. Те, у кого кони были послабее, остались далеко позади.

Уже шли знакомые места. Степная дорога бежала по лысой гриве, горб которой питал два речных истока: ингулецкий и ингульский. До Рось-реки отсюда остается верст сто сорок. Не жалея коней, можно за день поспеть к Турьему урочищу.

Справа и слева подбегали лесные опушки, обещая укрытие слабому, а степь, свободная от доброй защиты деревьев, языком изгибалась. Гнись, гнись, змея-дорога, а ведешь ты всех, кто захочет, прямо на Рось!

Ратибор придерживал своих коней, и слобожане послушно равнялись по старшему. Хазары попевали, в их стайке уже различались отдельные всадники. Выступ леса ненадолго закрыл обзор. И когда дорога вышла опять на прямую, сделалось очень заметно, как догоняли степняки. Сейчас их можно счесть

всех без ошибки, не путая верховых лошадей с заводными. Ратибор приказал:

– Стой, меняй коня!

Переседывали коней на виду у хазар, и с места тронулись шагом. Верстах в двух спешила стая загонщиков, не по следу, а назрячь.^[50] Махали плетями, спешили. Видели хазары, как слобожане, переменяв коней, не смогли оторваться даже на свежих.

Близился верхний исток Ингула, первый, если считать от Роси. Дубовые рощи стеснили степную дорогу до узкого прогала – знакомого россичам горла змеиного пути. Скоро будет узость, где от леса до леса не более четырех сотен шагов.

Степные люди сбивались в кучу для удара. Задние подтягивались, передние придерживали, помня об осторожности. И слобожане дали волю лошадям.

Свежие кони взвились, и тонкие травы не успевают согнуться. Будто в былинках родились великие силы и бросают всадников все вперед и вперед. Уже не скачут, летят над степью чудесные всадники.

Поворот и еще поворот. Ветер хватает топот, и, как из пращи, назад уносятся твердые камни ударов. Вот и нужное место! Ратибор закричал, указывая влево. Слобожане птицами порхнули к опушке, твердо удерживая поводья и сжимая колени, чтобы кони не побились о деревья. С полуслова поняв волю старшего, каждый закрепил оголовья заводных лошадей за дерево. И взор уже в поле, и стрела уже на тетиве. Ждать, видно, недолго.

Жаркий пот струится по лошадиному телу, лошадь не шевельнется. Конь ждет, зная чудесной общностью с всадником, что задумано дело и дело должно совершиться. Медленно впивается жало овода в тело притихшей лошади, медленно наполняется кровью серое брюшко злобного мучителя. Ему нет дела до людей, он хочет насытиться и отложить яички, чтобы продлить свой род неизвестно зачем.

Мгновения неподвижны, как вода в речной заводи. На вершину дуба, битого громом, упал ворон. Он был так же черен, как сучья, опаленные гневом Перуна. Птица с приподнятыми крыльями была похожа на человека, вздернувшего плечи. Ворон не верил затаившимся людям. Блестя горькой ягодой глаза, он был готов к бегству. Он знал – человек не берет ворона. И все же боялся. Дурно тому, кто мучает себя лишними страхами – от излишнего знанья. Плохой из него будет воин. По скупости души он старается так поступить, чтобы совершить задуманное без потерь. И – все потеряет.

В тишине зябко дрожали пугливые листья робких осин. Не сдержавшись, конь ударил хвостом. Жесткая прядь просекла раздутое брюшко овода, брызнула кровь.

Раздался звук трубы. Хазарин, надув щеки, дребезжал в пустую кость. Звал своих, подгонял.

Солнце светило слобожанам в затылок, хазарам – в лицо. Хазары скакали кучно, дав коням полный мах. Думали степные, что догоняют усталых, слабых числом россичей. Спешили прямо на солнце.

Умей выбрать засаду, зная и ветер и свет, на кого бы ни засел: и на зверя, и на человека!

Будто опуская с размаху топор с криком-выдохом – га! – слобожане всем телом бросили первые стрелы. Еще рубила жильная тетива дубленую рукавичку – защиту левой руки, а правая уже клала новую стрелу, уже тянула-рвала тетиву. И гнется тугой лук колесом, над ухом срывается тетива с пальцев. И опять вслед стреле рвется из груди не то вздох, не то выкрик. Никто не видел, как от боевого гнева постарели молодые лица.

Стрелы шли густо, тяжелые, крепкие, с пером весеннего матерого гуся. Хазары падали. Падали и хазарские кони, сбитые уздой, которую тянули мертвеющие руки. Росские стрелки, не мигая, брали цель, высоко поднимаясь на стремях.

Росичи делали дело, вложенное в ум и в руки трудными годами учения. Убивали верной смертью тех, кто хотел их убить. Ни один хазарин не проскочил мимо засады, ни один не успел повернуть. Вперед умчались кони, лишённые всадников, назад не вернулся ни один, как всегда.

Кто-то из сбитых хазаров попробовал встать. Меч довершил побоище.

Скорее, скорее! Ратибор помнил об отставшей, второй шайке хазаров.

Слобожане вырывали из тел драгоценные стрелы. Владельцы отменно борзых коней, на поле боя полегли хазарские богачи. Невзятой останется богатая добыча – времени нет ничего. Торопись, торопись! Гибнут после удачи воины, забывшие себя от жадности. Спеша, слобожане хватали хазарское оружие. Громко звал Ратибор разбирать заводных лошадей, которые ярились от запаха крови.

На поле, где лежало бывшее городище длинноруких людей, от россичей шарахнулись хазарские лошади. Сбившись вместе, они тянулись к траве. Слобожане развернулись и погнали живую добычу.

Ратибор знал, что хазары непременно запнутся на телах своих, и все же чувствовал на своей спине хазарскую стаю. Молодой вожак хотел сберечь чистой боевую удачу.

Броско скакали приткие кони, всей силой костей, мышц и дыхания. Впереди уходили, шпоря себя пустыми стремями, хазарские лошади.

Злая дорога, в несчетный раз политая кровью, дико и мощно бежала назад от людей.

Ветер, остужая горячие тела, свистел в ушах, наполняя раздутые ноздри чистым воздухом леса и степи.

Были вольная воля, разгул, боевое веселие. Никто не помнил о смерти, и все были равно бессмертны – и люди и кони.

3

В каждом доме Поросья есть оружие, из поколения в поколение накопленное заботой хозяев. Есть привычка к оружию, есть любовь к нему.

Каждый россич, проведя свой срок в слободе, оттуда вместе с воинскими навыками уносил придирчивое знание оружия, уносил неизгладимое пристрастие не к любому, а к отменному копьё – однорогой рогатине на прочном ратовище, к луку тугому, к надёжной стреле. В оружии ценил не красоту, не изящество, а верность. Выйдя на поляну, россич умел любоваться стрелой, брошенной вверх под самое облако, глядел, как она, повернувшись в выси, возвращалась и тяжело вонзалась в рыхлую землю. Хорошо!..

Обтесав и распарив вязовую доску, житель Поросья тянул размякшее дерево, гнул, выгибал, строя длинный щит для пешего, круглый – для конного боя. Из копыт своих лошадей и диких тарпанов, из лобных костей быков, коров, туров вытачивались бляхи. Из них, из копытной роговины, из железных пластин так умели набрать чешую на доспехе, что лежала она, подобно рыбьей, – кожи не видно.

Любо россичу вольно творить вольной рукой. Беден и слабодушен ленивый неумелец, который не знал счастья владеть воистину собственными вещами. У него нет ничего своего. Он голый. Он как евнух, о которых рассказывают ромейские купцы на Торжке-острове.

В первых впечатлениях ребенка вместе с любовно сделанной домашней утварью и игрушкой, вместе с плугами, боронами, вилами, граблями во дворе неотъемлемо присутствовало оружие.

На стене висел отцовский доспех, выпятив грудь и чудно распялив бока с ремешками-хвостами. К ним тянулось дитя, когда кошка увертывалась от докучливых детских ручонок.

И запоминался первый подзатыльник-наука: гляди глазами, а не руками.

Росское войско встало за Росью, верстах в трех от брода. Оказалось его числом меньше, чем могло быть. Из десяти родов только восемь выслали подмогу слободе. Свои же предали, свои же ударили с тыла, рассудив, как чужие. Кого тут винить, князь-старшин? Невелика их власть, ничто она по сравнению с вольностью рода. Род терпит власть старшего, пока хочет. Два рода, которые в страшный час въявь отказались от общности, решив обороняться у себя, из-за градских тынов, были из дальних по месту от южного кона племени.

Илвичи и каничи поступили будто бы и по чести. От илвичей пришло шесть десятков слобожан, от каничей – четыре. Лишняя сотня мечей – помощь большая. И какая малая, если подумать, что пять сотен могли бы прийти, и шесть набралось бы, и семь...

Хазары еще не пили воды из Роси. С Турьего урочища они выслали вперед сотни две всадников, и те, завидев россичей, отошли без боя. Опытные в набегах, хазары оценили засаду, устроенную Ратибором для зарвавшейся погони, и вторично попасть в ловушку не захотели.

В пешей части росского войска стоял ромей Малх. Странно и дико ему было все. Один среди чужих, за чужих будет сражаться и за них, если решено судьбой, сложит голову. Его шею еще саднило от аркана. Бредя опушкой, Малх впервые за весь путь от Хортицы-острова заметил черный перехват на стволе березы от срезанной бересты, увидел пенек от срубленного дерева. Люди близко. Вдруг что-то упало на плечи. Пытаясь сорвать удавку, Малх задохнулся. Очнулся он крепко связанным и встретил чей-то недобрый взгляд. За маской молодого лица прятался человек, умудренный жестокостью жизни. Воин собирал черный, как уж, волосяной аркан, ловко меча петли на локоть и отогнутый палец.

Малх заговорил на русском наречии. Поимщик удивился, спросил о хазарах. Такие же вопросы задал Малху и Всеслав. Ромея опознали несколько слобожан, побывавших весной на Торжке-острове. Воевода позволил приблудившемуся человеку остаться.

Славянский лагерь расположился открыто, под охраной дальних и ближних дозорных и наблюдателей на вершинах деревьев. Встретив Ратибора, Малх потянулся к нему, как к другу, пытался объяснить причину бегства от своих и сам сбился: разве свободному можно понять сложные законы империи, давящие совесть?

– Стало быть, ты изгой, – заключил Ратибор.

Малх понимал смысл жестокого слова. Изгнанник – как птица голая, лишенная пера.

– Буду биться за вас, – сказал Малх. Он хотел завоевать не милость, а право жить среди славян. Волей Всеслава Малх попал в пешее войско и сейчас наблюдал, как хазары готовились к бою.

Крытая войлоком, со сплошными колесами высотой в человека, за тысячу лет не изменилась телега кочевника, и Малх опять вспомнил Эхила. Хазары окружили свой стан сотнями телег, образовавших прочную стену, их стрелки могли бить снизу, прикрываясь колесами, как щитами. Обозных лошадей хазары отогнали к Турьему урочищу пастись на нетронутых травах. Табун скрылся, и хазарские воины начали выезжать из лагеря, строиться тремя полками. Ошибся Ратибор в своем счете. Только войска, которое готовилось к нападению, было здесь сотен не менее двадцати пяти. В лагере тоже не одни женщины с рабами остались. Табун обозных коней погнало три табунщиков. Всеслав счел, что более трех тысяч хазар-воинов пришло на Рось.

Конные толпища хазар клубились, будто роясь, волновались, подобно степной траве под ветром. Вот двинулись тремя тучами, нестерпимо громадными для россичей, из которых никто никогда не видел такое множество всадников сразу. В разных местах сторожевые слобожане трубили тревогу в рога. С высокого дерева князь-воевода Всеслав птицей слетел вниз, и княжеский коновод поспешил помочь князю стянуть ремни доспеха.

За ночь пешие славяне набили перед собой ряды острых кольев. Низкие, до половины бедра, острия спрятались в траве. Справа от хазарской конницы войско прикрывалось лесом. Пешие еще не могли рассмотреть хазар. В ожидании кто дремал, развалившись, кто беседовал с товарищем, и Малха поражало общее безразличие, как ему казалось. Сзади закричали приказ:

– К бою готовься, к бою, к бою! Тетиву натяни, тетиву!

Войско зашевелилось. Переминались, проверяли, хорошо ли меч пойдет из ножен, удобно ль висит секира-чекан, щупали рукоять ножа за голенищем, подтягивали колчанные перевязи, с тем, чтобы колчан, поднявшись над левой лопаткой, сам подставлял оперенные бородки стрел. И потом только гнули лук и натягивали тетиву. Ближе к Малху в строю был знаменитый стрелок Горбый. Горбый сидел на скамье. Лет пятнадцать уже, перестав владеть ногами, он таскал на костылях свое тело. И без того сильные руки сделались крепкими, как кузнечные клещи, и Горбый мог послать стрелу на расстояние, никому не доступное. Глядя на калеку, многие со злобой вспоминали здоровых, оставшихся дома. Но не стало времени думать об этом. Заметили пешие, как над травой появились хазарские полки. Различались головы лошадей и людей. Хазары скакали плотным и широким строем. Над их множеством на невидимых древках трепетали, как ястреба в полете, пучки конских волос и куски ярких тканей, боевые значки. Славяне изготовились к стрельбе.

Оставалось хазарам пройти не более версты, когда они сдержали коней. Три полка остановились,

равнясь стеной, а те, кто не сумел сразу овладеть слишком горячим конем, скакали перед плотным строем, чтобы, как в наказание, встать сбоку.

4

Как всегда перед боем бывает, между хазарами и славянами осталось пустое, ничье поле. Будто бы огороженное, хотя стен нет, оно запретно на срок, которого никто не знает.

Первым решился хазарин. Он медленно выехал из середины хазарской конницы. В черном железе доспехов он казался широким, как бочка. Показывая искусство наездника, хазарин вздернул коня на дыбы и заставил его пройти на задних ногах шагов сотню. Потом, дав волю, похлопал коня по шее, и тот, беззаботный, повернув голову, потянулся к руке за подачкой. Не спеша, хазарин приближался и остановился на расстоянии, безопасном от стрелы. Боец поднял копье, требуя боя. Будто капли росы искрились на его низком шлеме, искрилось и оголовье коня. Знатный хазарин искал соперника для единоборства.

От людей русского языка выехал простой по виду всадник, в копытном доспехе, в шлеме из турьего черепа. Ехал просто, не показывая своего наезднического умения, прямо на хазарина. Тот тронул навстречу, но дугой уклоняясь к своим. Было понятно, что опытный воин остерегается, чтобы в сшибке нечаянно не попасть в опасную близость к русским стрелкам.

И место, и время дня принуждали русского воина принять бой лицом к слепящим лучам солнца. Хазарин толкал и толкал коня, пока тень шишака не легла между ушей животного.

Наклонили копья. Уже на скаку руссич бросил круглый щит со спины на левую руку.

С места оба прыгнули разом. Большие, тяжелые всадники сорвались птицами, без разгона, на полный размах. К этому славяне приучали боевых коней. Степные же лошади иначе и не могли начать скачку. Может быть, под руссичем был степной конь, взятый прошлым летом у хазарского загона. Может быть, этот конь родился в одном табуне с конем хазарина. Причудливы пути и коней и оружия.

Сшиблись беззвучно. Каждый сумел принять острие копья срединной бляхой щита, копья отбросило вверх, и размах разлучил бойцов.

Руссич раньше повернул коня, но, встав лицом к бою, выждал хазарина. Он искал равного боя и дал противнику оправиться.

Опять поскакали. Коснулись. Что это? Руссич копье потерял? Среди пешего войска поднялся крик – и смолк. Под хазарином лошадь споткнулась. Наверно, неудачно всадник принял копье своего противника. Вниз отбил, и оно поразило коня.

Широкое поле, высокое небо. Под небом людей на поле собралось, сколько никогда не сходились сюда с сотворения мира. Но для всех будто только один человек на этом поле. Для славян – руссич, для хазар – хазарин.

Хазарин легко и ловко спрыгнул с коня – до того, как тот завалился на бок. Из хазарского войска выскочили всадники, но тут же и вернулись: руссич спешил столь же быстро, как его противник. Равный бой.

Хазарин, небрежно свесив левую руку с круглым щитом, пошел на пешую встречу. Руссич спешил, широко шагая. За ним, как собака, шел конь. «Наш без щита, без щита!» – кричали около Малха. Ромей взгляделся. Нет, руссич со щитом, но щит заброшен за спину. Почему? Рядом прозвучало незнакомое слово: обоерукий. Что оно значит?

Объяснение пришло само. Бойцы сошлись. Лязг, треск, что-то мелькнуло, и хазарин пал, как битый громом. Взметнув его тело перед седлом, руссич уже скакал к пешим. Его узнали. То воевода Всеслав

вышел на бой простым, как последний из не имущих железного доспеха, взял врага честно, грудь на грудь, без уловки. Не в доспехе сила, а в твердости сердца. Пешие кричали:

– Слава князю, слава Всеславу всеславному!

Добрый знак. Второй раз берут россичи хазарскую кровь, капли своей не дав взамен. И – навсегда среди россичей был наречен князем слободской воевода.

Новые хазары выезжали для состязания, новые россичи принимали вызов. Малх хотел бы принять участие, он надеялся на свое умение, соединенное с ловкостью мима-жонглера, но пешими хазары не сражались.

Ромей хотел биться за чужое знамя. Он не знал своего. Все были чужими. В легионах он думал о жалованье солдата, о добыче. Ничто иное не манило. Победа, захват лагеря противника знаменовали не успех империи, не общее благо, а возможность схватить добычу, за которую скупщики дадут серебро и золото. В войсках империи ходили рассказы о чудесном обогащении солдат. Называли имена легионеров, которые купили себе виллы, женщин и окончили дни в пышной праздности, окруженные рабами. Писатели сочиняли подобные истории – это Малх знал. Мечта о богатстве делала легионера империи ослом из басни, который бежал за пучком зелени, подвешенным на конце дышла. В сущности, человек любит быть обманутым, нищета умеет рядиться в пышность слов. Обогащались базилевс, полководцы, скупщики. Однажды евнух-сановник, прибыв в армию из Византии, обратился к солдатам с декламациями о любви к отечеству. Оратора осмеяли. «Здесь все иное», – думал Малх, наблюдая за состязанием воинов. Издали и чужой, он не мог различить, где россич и где хазарин.

Но вот одиночных всадников сдуло с поля как ветром. Остались ли в траве тела людей или коней, не рассмотришь. У хазар загудели бубны, протяжно захрипели рога. Изгибаясь, трепеща усами копий, играя бликами оружия и плеском значков, хазарская масса двинулась к полю.

Тесный строй конников съедал степь. Тысячи копыт сминали травы, не встать им более, стоптанным, изломанным, раздробленным, вбитым в землю.

Ничего не осталось от степной дороги, всю ее заняли хазары, и бежали их кони, и мчались хазары, нарастая и все возвышаясь. Сейчас они явятся над россичими стрелками валом конских морд, валом рук, щетинистых копий и сабель.

Солнце замерло в небе, время остановилось, ничего не было в мире, кроме безмерно растущего, как воля судьбы, наступленья буйной, неудержимой, никем еще не обузданной Степи.

Малха отрезвил близкий звук, подобный гудению толстой струны. Горбый, расставя мертвые ноги, сидя пустил первую стрелу. От вздутых мышц его спина казалась горбатой. Опять изогнулся необычайно тяжелый лук из турьего рога. Пора? Старшины закричали:

– Бей, бей, бей!

Не стало слышно тетив, их пение утонуло в криках стрелков.

С визгом и свистом неслась хазарская конница. Хазары кричали:

– Харр, харр!

В их боевом кличе россичам слышалось карканье хищного ворона. Еще скорее металась руки стрелков к колчану и к тетиве.

Малх не мог заставить себя прицелиться и бросал стрелы, как в воду. Ему казалось, что он бьет в

грозный вал, каким Черный Понт нападает на берег.

Стрелки самозабвенно рвали тетивы. Не веснами, не лунами и не днями считалась ныне их жизнь, но стрелами, которые они еще успеют выпустить, прежде чем хазары наступят на голову.

Росская конница ждала скрыто, за восточной опушкой поля, в кустах орешника и боярышника, среди лип, лапчатых кленов, остролистных ясеней. Всеслав двинул конных, когда хазары в боевом порыве открыли ему свой бок.

Управляя ногами, как умели они водить своих коней, россичи с ходу пустили в дело луки. Правое крыло хазар замылось, загнулось и слитно полилось навстречу.

Повинуясь приказам Всеслава, слобожане с дивной скоростью сбились в кулак перед ударом. Колено с коленом, выставив копыта, россичи врезались в хазар.

Бой конных стремителен, головокружителен, мысль отстает от тела, слова не успевают выразить действие. Земля колеблется, дрожит под ногами коней, будто ее твердость колдовски, превращена в ходячую зыбь. Носятся призраки, реют лица, руки, гривы, раззявленные рты. Человек отдан не сознанию, а вихрю навыков воинской науки, в нем все приобрело чудесную силу, он молния, он не думает, но знает, освобожденный от рассужденья, он сразу везде и во всем.

– Рось! Рось! Харр! Харр!

Разве можно, разве нужно думать, где осталось копьё, разве не сам меч в руке, разве не само рубит и колет железо! Перья-шипы боевой палицы ломают хазарский шлем, а левая рука рубит и рубит. Правая сокрушает палицей либо чеканом уже не шлем хазарина, а конскую голову, захваченную убийственным полукружьем размаха.

Сжимая коней клещами колен, славянские всадники парят над седлами, необычайно высокие, и, обоюрукие, косят, косят и косят.

Поле качается вверх, вниз, вверх, вниз. Совсем перекошилось поле, и в наслаждении боем сердце пылает.

Тихий бой!.. Нет треска, лязга, нет криков людей и храпа коней, нет стонов и воплей, все звуки отстали, мгновенья отскакивают в небытие, как прах от копыт.

Белыми пушинками, такими легкими, что на них могла бы заснуть только невесомая душа, тополевыи пух подбивается в затишье от ветра места. Поднесите огонь – пух, дав пламя, исчезнет мгновенно. А ведь в каждой пушинке скрывается семя, из которого может вырасти многосаженое дерево. Так в тихом для сражающихся бою пылает единственный в своей силе пламень. В нем сгорают, не узнав о собственном исчезновенье, жизни людей.

Россичи знали разве что из преданий о боевой встрече с таким множеством степняков. Всеслав годами размышлений сам додумался, как вести бой со степными людьми.

Он знал, что степные все отлично-хорошие воины в скачке и в рубке, хорошо мечут стрелы с седла и копьем умеют играть, как журавль клювом. Степняк рождается и умирает на коне. Но степные своевольны, бьются без строя, табуном. Двадцать лет Всеслав готовился к большому бою со Степью, веря в силу единства русской конницы, веря в стойкость и высокое искусство русских стрелков.

Для воеводы нынешний бой не был ни тихим, ни призрачным. Всеслав, подчиняясь преданьям и обычаю всех народов своего времени, принял единоборство как необходимость для звания вождя воинов.

Сменив простой доспех на железный, покрывшись кованым шлемом, Всеслав стал каменно-спокоен. Как пастух, он правил стадом железных быков – слобожан, направлял, вел, посылал, имея наградой слепое послушание воинов.

Россичи, опомнившись после первого удара, не успели удивиться пустому полю, куда они выскочили, пробив хазарский полк, как опять были брошены в сечу. И только немногие из бойцов понимали, почему сейчас перед ними были спины, затылки хазар, конские хвосты, а не хазарские лица и лошадиные морды. Ведь это они, по воле Всеслава, описали в поле полукруг и вторично ударили на смешавшихся, потерявших размах хазар. С торжеством подумал Всеслав о своей правоте, о правильности с трудом надуманного, с сомнениями принятого решения, как биться. И со злобой вспомнил и о своих, и о соседях. Будь бы у него сейчас хоть семь, пусть даже шесть, сотен конных, он разбил бы всех хазар на этом поле, как орел бьет стаю гусей, как один камень побивает целую кучу глиняных корчаг.

Единственный зритель, который мог правильно оценить бой Всеслава, был ромей Малх. Удар конных россичей, разбросав правое крыло хазар, вынудил остальных замяться и повернуть на помощь своим. Малху было ясно, что хазарские полководцы преувеличивали силу русской конницы. Да и что могли они видеть из глубины своего строя! Пешее войско еще било стрелами хазар, почти достигших кольев, а передовые хазары уже напоролась на невидимую преграду. Но порыв их был остановлен не кольями, а хаосом, возникшим, как по воле богов, среди собственного войска. Малх видел все и думал: «Какие могучие силы зреют вдали от границ империи, в местах, о которых известно одно – здесь живут варвары...»

Русская конница скрылась. Солнце, склоняясь к закату, решило за хазарских полководцев. Подхватывая тела товарищей, хазары без порядка отходили к своему лагерю. Ночью конница не бьется. Русские пешие стрелки пошли на ничейное поле шарить в траве в поисках стрел, оружия и забытых тел. Чужих и своих.

5

Чтобы хазары не могли сосчитать русскую силу, костры для варки пищи были разожжены в ямах. Князь-старшины Колот, Чамота с избранными слобожанами ходили по лагерю, опрашивая каждого, сколько стрел он пустил, и число отмечали буквами-цифрами на липовых дощечках.

– А сколько ты нашел своих стрел? – спрашивали старшины и бранили тех, кто подобрал мало. Напрасно стрелок оправдывался тем, что его стрелы унесли в себе хазары, хазарские кони, что трава на поле слишком густа. – Не то говоришь ты, ленивый, – строжили старшины от скупости.

В телегах, спрятанных в роще Сварога, хранился запас. Каждому стрелку полагалось иметь при себе сорок стрел. На три с половиной сотни пешего войска требовалось сто сорок сотен стрел. Почти столько и осталось в запасе после ночной раздачи.

Малху тоже сделали упрек, снесенный им без обиды. Ромей, естественно, привалился к костру десятка, с которым он стоял в бою. Суровые россияне, он чувствовал, не чуждались его. Малху поражаило спокойствие этих людей. Будто бы не было страшных минут, будто завтра ничего не может случиться. Хазары нависли над русским войском. Кому, как не Малху, помнить их близость: хазарская стрела нашла место в его доспехе, ткнулась между роговыми пластинами и вонзилась над левым соском. В горячке Малху не чувствовал боли. Сейчас ранка ныла. Россияне говорили между собой, что хазарские руки слабее славянских, их стрелы легко застревали в коже доспехов. Малху слышал, что пешее войско потеряло не более десятка – битых в лицо, в шею. Ромей сидел у костра, сняв тунику. Не обращая ни к кому, он сказал, гордясь своей раной:

– Попало и мне.

Он уловил несколько взглядов, скользнувших по его лицу, до окровавленной груди. Кто-то сунул Малху пачечку сухих листьев, перевязанную мочалом, сказав:

– Пожалуй, приложи, быстро дырку затянет.

Терпкая кислота трав вязала язык и рот. Наложив на рану целебную кашку, Малху прилег. Его удивляла тишина. Военный стан славян дышал тайной, как сборище поклонников запрещенной религии или заговорщиков против базилиуса. Из ям тянуло удушливым дымком, как от печи, где пережигают дерево на уголь. Приглушенно и невнятно тек чей-то голос, и, когда он прерывался, ночь наваливалась мрачным молчаньем. Не таковы бывали военные станы имперских войск, пьяные, буйные, с высоким пламенем костров, среди которых начальники проходили с охраной, не рискуя в одиночку доверяться солдатам.

Малху приподнялся. Его товарищи спали или мечтали. В смутно угадывающихся телах, наверно, тлела мысль, как и в нем. Внезапно Малху ощутил и тревогу и скрытое волнение россияне, и странная теплота разлилась в его сердце. Друзья, близкие люди! Издали донеслись слабые звуки, крик. И опять тишина все задавила, Малху слышал только свое дыхание. Он лег. Рана больше не ощущалась. Дремоту прервал топот. Большое тело вынеслось из мрака странными прыжками. Кто-то, дыша, как бык, спросил:

– Эй, люди, здесь вы?

И сразу три или четыре голоса ответили:

– Здесь.

Хрустнуло. Малху уловил бросок, узнал костыли. Рядом с ним сел безногий стрелок. Горбый ворчал:

– Ишь, сколько моих стрел унесли они, клятые...

- Что, не собрал? – откликнулись голоса.
- Все помню, куда сажил. Видишь, они тела подобрали.
- А что там кричали?
- Лазутчики хазарские набежали. Тех лазутчиков наши били.

Горбый обратился к Малху:

- А ты слышь, чужой, лук не так гнешь, я тебя поучу...

Но его прервали бранью:

- Ложись и молчи. Назавтра будет наука нам всем.

Князь-воевода не спал. Нет, не так он поступил бы на месте хазарских полководцев. Не ушел бы из боя, конных сковал бы, пеших раздавил бы.

Всеслав уже давно, сам того не зная, постиг тщетность греческой истины, заключающейся в том, что для познания других надо познать самого себя и судить по себе. Нет, люди различны.

Даже холод и голод терпят по-разному, иначе любятся, не каждое сердце раскрывается на ласку. Уча людей, Всеслав сам учился. Гордясь своим племенем, Всеслав знал: россич цепок, стоек. Однажды схватившись, рук не разожмет, за себя не боится, начав, дела не бросит, лезет, пока его не убьют. Для россича битва не удачная игра. Степные же люди горячи, пылко-поспешны, в бою смелы, но не настойчивы. Всеслав знал, что и у степных людей, и у ромеев бывает, когда по нескольку дней войска, выйдя в поле с утра, стоят до вечера, тешась схватками одиночек-удальцов, и без боя расходятся к ночи. Бывает, что и сшибутся, и опять разойдутся, не добившись решенья.

Трупы коней казались буграми. Ратибор осматривал поле. Всеслав послал слобожан стеречь хазар, чтобы они ночью не подползли к кольям, не разведали бы защиту пешего войска.

Чтобы видеть ночью, нужно глядеть снизу вверх. Слобожане припали к земле, наблюдая хазарскую сторону. Место знакомое, каждый несчетно проезжал здесь верхом, ходил пешком. Отсюда Ратибор, как многие до него, проходя испытание воина, глядел из травы на образ Сварога, а Сварог глядел на него. И сейчас Сварог, прозревая тьму, так же смотрит на степную дорогу, видит хазар, видит своих. Так же глубоки его глаза под челом, выпуклым, подобно щиту.

Боги уходят со своими народами, новые боги приходят с новыми людьми. Быть может, и Сварог обречен на забвенье смерти, как каменные боги забытых длиннопалых людей. Победят хазары и срубят священное дерево россич. Образ бога превратится в дрова под котлом со сладким мясом неезженной лошади...

На теле Ратибора вспухли рубцы от ударов, но ни одна хазарская сабля не просекла доспехов. Где им! Обоерукий, как сам Всеслав, Ратибор и отбивал и разил двумя мечами. Он помнил все, не поддавшись боевому хмелю: он по приказам Всеслава тоже вел строй, сросшись с конем, которого чувствовал, как другой чувствует собственные ноги.

Чуть шелестела трава, чуткое ухо ловило невидимый ход зверя. Степь не спала. Под трупом лошади трудилась крыса; впиваясь в свежую падаль, она скребла, грызла, теребила. Жук-могильщик налаживал нору, червь пробивал дорожку к поживе. Ночь полна звуков, ночь полна запахов.

Нет хазар. Сзади слобожан, как мертвые, лежат обученные послушные кони.

Скучно ждать. Нет, не скучно – нужно ведь. От напряжения глаза устают, что-то мелькает. В ушах шумит, и кажется, что из дальнего лагеря хазар доносится гул голосов, ржанье лошадей, лай собак. Чтобы рассеять образы, приходится быстро закрыть глаза и опять раскрыть. Ведь это ночь, это земля сама говорит, вспоминая в сонной дремоте. Души убитых носятся в воздухе, земле есть что вспомнить. А сама она шепчет: «Спи, спи...» Тело устало, в темноте успокаивается сердце.

Мать Анея учила сына: «Будь с людьми справедлив, блюди правду, будешь людям всегда хорош, и они к тебе будут хороши». Нет справедливости. Люди своего языка бросили россичей в беде, на одних россичей возложили защиту границы меж лесом и степью. Враг тот, кто напал. Как назвать того, кто своих оставил на волю врага?

Ратибор смотрит – опять движется степь. Он не верит обманчивой темноте – он не слышит запаха хазар. Сегодня он навечно запомнил запах степных людей...

В чудном мгновении Ратибор спал и не спал. Внутри звучал голос, лились слова певца:

И вещей сон в тени родных лесов,
и шепот наших трав в лугах и на полянах,
и шелест наших злаков в бороздах,
возделанных руками русских...

Темное небо с темным солнцем боя. Обе руки расчищали дорогу, и каждая знала, когда колоть, когда рубить. Словами не передать, как пахнет хазарская кровь. А голоса внутри напоминали, утешая:

Но человек, он не исчезнет,
он умер – как закат,
он успокоен.

Не надо покоя, покой – для мертвых. Ратибор жил, будет жить без утешения, сам, волей разума и тела. Он приподнялся, ощутив свежий запах хазарина.

Земля была железная, когда рубились через хазарское войско. С копьем пришлось разлучиться после первого удара. Не нашлось оно и после. Хорошее было копье. Тот, первый хазарин, в которого ушло копье, вогнал Ратибору в ноздри свой запах, от которого не избавиться.

Мстиша, подтянувшись к Ратибору сзади, шепнул:

– Слышу хазар.

Ратибор, стоя на коленях, освободил аркан, пробуя, верно ли легли петли. Тише вздоха он ответил:

– Будем брать.

Хазары наплывали, как души мертвых. Явились над степью черными призраками, сгустками мрака. Догадались, наверное, обуть коней кожей.

Ночной воздух тек, неся чужой запах, как струи мути в чистой воде. Взять живого!..

Ратибор скорчился на коленях, выгнув спину горбом. Хазары здесь, над ним. Вскочив, Ратибор метнул аркан, бросил в сторону, рванул. Мстиша, достав конного длинной саблей, кричал, созывая своих:

– Рось! Рось!

Испуганные кони хазар прынули, аркан натянулся, и Ратибор поволок грузное тело. Взял!

Свои уже скакали на схватку. С гордостью Ратибор подумал: «Не спали, в седлах все, наша сила!» С болью, с гневом закричали чужие голоса. В темноте всадники сшиблись, и топот унесся в хазарскую сторону. Кто-то из слобожан высекал огонь, собираясь осветить сбитых наземь хазар.

Ратибор рвал аркан к себе, чтобы не дать опомниться взятому в плен хазарину. Ощупал. Петля захватила шею и руку. Видно, хазарин сразу обеспамятел. Живой ли? Сердца не прощупаешь под жестким доспехом. Ратибор нашел запястье. Жив... Связав арканом хазарина, Ратибор понес добычу к коню. Конь ждал, лежа на земле, неподвижный, как дикий камень.

Освобожденный от железных доспехов, босой, в прелой рубахе, черной, как земля, хазарин переминался около костра. Он шевелил стянутыми за спиной руками, выгибал грудь, пробовал землю бурыми пальцами ног, будто хотел взвиться, улететь. Был он костист, плосконос, широкорот. На вопросы не отвечал, как глухой. Черноглазый, он лицом напоминал ерша, а телом, емким в плечах, узким в бедрах, был как клин.

Кроме хазарского клича «харр», никто из россичей не знал хазарских слов. Ратибор вспомнил о многоязычном ромее. Старшины знали, где находился каждый человек из русского войска, и Малха быстро доставили к костру воеводы. Малх попробовал ромейскую речь, потом готскую. Знал он немного и наречие степняков, которых ромеи называли по старой памяти гуннами-хуннами. На вопрос: «Как тебя звать, имя как?» – хазарин встрепенулся, но не ответил, хоть и явно выдал себя.

– Ты его спрашивай теперь, сколько их всех, сколько они нынче потеряли людей? Да зачем к нам пришли? Да что думают далее совершать? – приказал Всеслав толмачу.

Хазарин молчал.

– Железо калите, – велел воевода.

6

Тридцать два года тому назад через Рось перевалили степные пришельцы. Третий век, более одного поколения минуло с того времени, которое сейчас жило в памяти Всеслава. Тогда воеводой был Гудой, предшественник Всеслава Старого. Князь-старшины скупались, отзывали своих для хозяйственных поделок, полевых работ. Гудой, имея малое число слобожан, испугался хазар, без боя пустил их через Рось, а сам заперся в слободе. Степняки не старались взять слободу: трудное дело лезть под стрелы на недоступный холм-крепость. Свободно разойдясь по русским полянам, хазары жгли грады, набирали добычи, полонянников. Под конец Гудой вышел из слободы, побив малый отряд хазар, лениво наблюдавший за затворниками. На обратном пути хазар Гудой сильно щипал степных, отбил часть полоня и скота. Сам Гудой был дважды ранен, но не искупил своей вины перед племенем и был за измену живым сожжен на костре. После того упала слобода в мнении руссичей. С несказанными трудами поднимал слободу Всеслав Старый. Не мстить за набег, а не пускать степных через Рось должна слобода. Род кормит слобожан не для мести, а для своей защиты. Лечь должна слобода, если силы не хватит. Так думали все, так мыслил в молодости воевода Всеслав. Потом, с возрастом, с опытом власти, явились сомненья. Что пользы лечь, не выиграв боя? Нет на мертвых бесчестья. Но живые? Беспрепятственно степные возьмут все, беспрепятственно угонят людей, сколько захотят. Давно уже нынешний воевода оправдал бывшего воеводу Гудоя. Не его жечь – карать бы соседей, оставивших своих без помощи в бедствии, карать рода, которые отстают от общего дела.

– Честь родным нашим братьям илвичам с каничами, – говорил Всеслав, – честь тем, кто пришел вместе с нами делить железную жатву. Да и то сказать: никто не отличит руссича от илвича, от канича. Бесчестье тем, кто ныне, оставшись за засеками, думает бесстыдно: пусть-де другие ложатся под хазарской саблей, мне ж нет горя, до меня не добраться степнякам. Бесчестье тому, кто, как князь Павич, в гнусной жадности не позволил родовичам жить братьями в русской слободе. Бесчестье нашим князьям Моуге и Плавичу, не давшим нам ратников. А еще, – восклицал Всеслав, – глядите на извергов! Люди они в родах нелюбимые, утеснение от князей испытывавшие. Они ж пришли. Семьи покинули не за стенами градов, – в жалком бегстве, в лесах прячутся те, как мыши. «Кто же свои нам?» – спрашивал Всеслав, не ожидая ответа.

Нет для человека горше обиды, когда он, зная, что и как свершить, лишен такого счастья по тупости других. Пора крикнуть правду во весь голос. И Всеслав бережил души воинов:

– Думайте! Было б по-нашему, не мы бы ждали сегодня хазар. Они, как вепри, обложенные в болоте, ждали бы ныне последнего часа. Хоронились бы они за своими телегами, бога своего проклиная, что завел их на русские земли.

Колот-ведун сказал однажды, что злоба рождается от бессилья.

Всеслав не мог решиться уйти с дороги хазар. Хазары же были свободны.

Лаяли и выли желтые хазарские собаки, чуя руссичей, которые приближались к тележному лагерю, чтобы следить за врагом. Еще до рассвета пешее войско успело поесть. Малху казалось, будто каждый славянин думает, что ему удастся насытиться последний раз в жизни. Все ели жадно и много, уничтожая остывшее варево из мяса с кореньями, печеную и вареную говядину, пахучий хлеб из мягкой пшеницы, копченое сало. За едой дожидались воли старших и воли хазар.

Солнце уже порядочно припекало, когда широко и вольно полилась хазарская конница из проездов-

ворот, оставленных в тележном обводе.

– Неужели они повторят по-вчерашнему? – спрашивал себя Всеслав, наблюдая за полем с самого высокого дерева Сварожьей рощи.

По дальности расстояния хазары казались мелкими, как мураши. Не спеша, они нестройно клубились перед своим лагерем. Лишь постепенно наметился разрыв между массами конницы и краем лагеря. Хазары наступали. Медленно-медленно.

Ратные русской пешей дружины разбирались по местам, как стрелки в засаде на зверя. Но засада была на виду, и зверь-хазарин и видел и знал охотника.

Один стоит трех, сражаясь из крепкого места. И больше стоит, пока не сломается крепость. Колья в траве не крепость, а хитрость.

Хазарские конники приближались. Стало видно, что строй их редок. Вначале казалось, что хазары все здесь. Теперь Всеслав, охватывая взором десятки и полусотни, считал немногим более тысячи конников. Где остальные?

Сегодня хазары не высылали одиночных бойцов, чтобы разжечь себя лихостью застрельщиков. Их конная рать, нависая в готовности к удару, удерживала славян, как капканом. С места не сойти, ждать. «Чего ждать?» – спрашивал князь-воевода. И отвечал: «Исполнения хазарского замысла». Ему все мерещился воевода Гудой, несправедливо осужденный всеми людьми русского языка. Нет, не быть тому. Всеслав не думал, что нынче же хазарская стрела или сабля могут послать его душу на небо, а тело – на погребальный костер. Он верил себе, искал решенья, прислушиваясь к внутреннему голосу, и приказал готовиться к отходу за Рось. Но – к непростому отходу.

Наблюдая сбор стрелков в общий строй, хазары заволновались.

Из-под высокого знамени поскакали посыльные, и скоро сотни две разведчиков широким махом коней пустились взглянуть на русичей. А главное войско шагом текло им вслед.

Русские стрелки двинулись не вспять, но на сближение с хазарами. Разведчики стали сдерживать коней, главная же сила ускорила ход. Всеслав старался войти в душу хазарских начальников, понять ее по поведению их войска.

Пешее войско славян остановилось, явно пугаясь сближения с хазарами. Сначала один десяток, потом другой повернулись и побежали обратно. За ними в смятении пустились все три с лишним сотни пеших.

Вид бегущих нестерпимо заманчив для конницы. Сами лошади просят повод, рвутся, хотят догнать. Хазарский строй изогнулся пилой, бросив вдогонку горячих наездников. Наверное, веселый ветер свистнул в ушах, ввысь взлетели и сабли и души бойцов в упоении предстоящей рубки бегущих. Но беглецы остановились и повернулись все разом.

Нелегким гнетом лежало на племенах кормление слобод, еще хуже была потеря сил, отрываемых от работы. Всеслав Старый добился в конце своего воеводства, чтобы каждый мужчина отдавал слободе первую молодость и покидал бы слободу, только достигнув двадцать третьей весны. Разной работы в роду не перечислить, легче было сказать, что умел делать лихой слобожанин. Что в том, что на лошади он ездил, как единое с ней тело, или мог бить из лука в яблоко на три сотни шагов? Возвращаясь в род, мужчина не приносил ни ремесла, ни уменья-сноровки к пашне. Хуже еще было другое. Многие возвращались из слободы, неся презренье к обыденному труду. Скучно им бывало гнуть спину на полях, нудно ремесленничать. Русичи не только посылали на Торжок-остров меньше товаров, чем могли дать по своим

угодьям, и по числу мужчин. Не случайно, что именно они раньше других оставались без хлеба, пока не смелют новинки.

Зато любо-дорого было посмотреть, как, заманив хазар ближе к кольям, пешее русское войско развернулось для боя.

Малх, как и все пешие, был предупрежден о замысле ложного бегства. Военное искусство ромеев и римлян давно знало этот прием, и ромей удивился лишь тому, что славяне на краю земли сами додумались до хитрой и опасной стратегии великих полководцев Средиземноморья. Он видел, что лучшие легионы империи едва ли могли с такой выдержкой проделать рискованный маневр. Здесь приказывал кто-то один, просто голосом. В легионах кричали, команды подтверждались звуками труб, флейты давали скорость шага.

Когда стрелки вернулись и расступились, чтобы не было помехи для лука, Малх, считавший себя ловким и гибким, один из всех отстал, потеряв свое место и свой десяток.

Хазары были уже на кольях. Налетев, как стая воронов, с оглушительным воплем: «Харр, харр!» – хазары замялись, видя падающих передних.

Отвлекаясь, Малх наблюдал, как далеко отошли правые локти стрелков, и ему, впервые в жизни, удалось уловить удивительный звук, короткий, могучий, мелодичный аккорд сотен тетив, сразу рассыпавшийся в щелканье жил и стрелковые рукавички. Очнувшись, отбросив пробудившееся чувство художника. Малх нашел место в строю и, видя только хазар, стрелял, не слыша чужих тетив и зная только свою.

Мелькали кони, руки людей, чьи-то лица. Лошадиное копыто явилось почему-то сверху, и будто уже над Малхом повисла конская грудь с широким ремнем и красным камнем на грудной бляхе. Потеряв лук, Малх схватил щит и на коленях, не успев встать с земли, принял удар, рухнувший на щит каменной глыбой. Тело ромея все же вспомнило уроки, которыми ворчливый центурион, издеваясь над бывшим мимом, зло докучал Малху. Отставной легионер сумел, выбросив вверх славянский меч на всю длину своей жилистой руки, проколоть хазарина. И лишь тогда он понял приказ:

– Стрелков оберегай от конных!

В десятках ратники со щитами и мечами образовали заслоны, из-за которых другие продолжали бить из луков. Хазарские конники рассыпались, пронеслись дальше, и перед пешим войском открылось поле. Главная сила хазар задержалась у кольев.

– Отходить всем! – раздалась команда русичам.

Тут оказалось, что не так много хазар прорвалось через пеших. Хазарские конники уже возвращались к своим, избегая столкновения с вышедшей конницей русичей. Малх успел сорвать с убитого им хазарина пояс с длинным ножом в ножнах, оправленных серебром и украшенных цветными камнями. Не жадность толкнула ромея. Он хотел унести с поля доказательство своей верности новому знамени.

Ратники уходили широким шагом, и Малх, непривычный к такому движению, почти бежал. Несли своих убитых и раненых. Малх нечаянно встретил живые глаза под рассеченным черепом, увидел твердо сжатые губы. Отвернувшись, чтобы не бередить сердце страшным зрелищем молчаливой муки, Малх заметил, что ратники уже далеко оторвались от хазар. Те, опасаясь новых ловушек, медлили.

Вот кусты, выброшенные рощей Сварога поперек пути. Отсюда уже не видно того, что творилось позади.

Где-то опять раздалось боевое хазарское «Харр, харр!».

Но кто-то сказал свое:

– Вот и Рось наша.

7

Конь воеводы осторожно, едва тряхнув хозяина, переменял ногу. Мертвый хазарин лежал ничком, странно и чуждо для живого подогнув голову под грудь. Невнятные речи болтал ночью пленный лазутчик под пылким железом. Толмач Малх передал, что будто бы три старших хана ведут хазар, будто бы хотят делать ратное дело порознь. Был ли хазарин упрям, плохо ли его слова были поняты толмачом, кто мог сейчас знать. Еще одно безыменное тело осталось около Роси, сломанная ветка, листок, опавший с дерева жизни.

Для воина, участника схватки, битва подобна налетевшему вихрю. Для полководца бой кажется медленным, тягучим.

Всеслав видел, как замялись хазары у кольев, и оценил их осторожность. То, что казалось пешим стрелкам бурным порывом, на самом деле было короткой вспышкой. Горстки наездников наскочили на стрелков, а сотни были удержаны кем-то, кто без горячки руководил боем. Теперь, когда российские ратники уходили, десятки казались плотными, как клади снопов. Если есть среди хазар те, кто помнит набег при Гудое, они скажут, думалось Всеславу, что нашли других людей на месте былых.

С всхолмленной лесной опушки открывался хороший обзор, а хазарам не были видны всадники в доспехах, крашенных ореховой краской.

– Опасаются хазары ныне, – говорил Дубок.

– Да, прав ты, брат воевода, – согласился Всеслав не потому, что уместно думать вслух, но желая показать расположение преемнику Мужилы.

Хазары, более не доверяя ровности поля, не стремились преследовать отступающих. Степная конница выпустила щупальца, чтобы вновь не попасть в засаду.

Всеслав пытался разгадать замысел хазар. Две трети их сил ушли неведомо куда, и одна треть вышла в поле. Две трети хазар потерялись для Всеслава. Нет хуже, когда враг исчезает неведомо куда.

Последний десяток пешего войска закрылся Сварожьей рощей. Осмелев, голова степняка пошла широким махом. Всеслав послал им навстречу илвичей с Дубком и четыре десятка своих. Степные завопили свой клич – «харр, харр!», бросились было, но повернули назад, не принимая боя. И в этом тоже нашел Всеслав подтверждение своих мыслей о хазарах.

Воевода довел всех к броду. В это время с вышки в слободе запрыгали клубы черного дыма.

Свои места, исхоженные, изъезженные. Колеи от телег, привозивших белую глину из подкопов в овраге на Синем ручье и добычу, взятую охотниками в степи, и стежки, годами пробитые лошадиными копытами и человеческими ногами, сходились у брода через Рось. Были и другие стежки-тропы, проторенные охотниками за бобрами, за бортями дикой пчелы, за дикой птицей, за вепрем. Они вели к другим местам русского берега. Тропы набиваются раз за разом, год за годом и не зарастут, пока жив человек, пока не изменились его потребности. Звериные тропы другие: если еще и ошибешься на открытом месте, то в лесу сразу поймешь – высота ее невелика под низкой кровлей ветвей. Да и без того не обманется степняк, изощренный в чтенье следов.

Трое ханов вели степное войско на Рось, и из них старшим себя никто не мог утвердить. После первого боя ханы метали жребий, и волей бога, выраженной в движении граненой кости, один остался в

лагере, дабы, охранив семьи и имущество ушедших, самому давить на Рось. Двое ушли для охвата, для прорыва в тыл упорных в защите россичей. В орде были удалцы, некогда ходившие на Рось. От них хазары знали, что леса на этом берегу реки, будто непролазные, доступны и конным, на реке же есть несколько бродов.

Ночь помогала лесу защищаться. Овраги-промоины пугали непривычных лошадей, копыта ломались о корни, задние теснили передних. Рассвет сорвал полог тайны, нашлись тропы. Мешало озеро – следы указывали место обхода. Болото противилось – твердый бережок предлагал себя. Осмелев, хазары ускоряли движение.

Потревоженные птицы поднимались над лесом; в листве, перепрыгивая, застрекотали сороки, вепри, выживаемые небывалой облавой, уходили в сторону Роси, чтобы спрятаться в тростниковых затонах.

Воевода Всеслав оставил опустелую слободу на попечение нескольким взрослым воинам, помощниками которых были десятка три подростков, еще не годных для боя в поле.

Одолев рощи, хазары вышли к берегу Роси. Заметив их приближение, слобожане зажгли огонь на вышке, завалили пламя сырой травой и раз за разом набрасывали и срывали сырую шкуру. В небо клубок за клубком рвался черный дым – знак того, что степняки нависли над рекой, что близки они и уже могут отрезать дорогу защитникам русского племени.

Высокую муку испытали оставшиеся в слободе от неведения о судьбе своих. Горстка взрослых и горстка подростков, они обязаны были выполнить волю воеводы, не отдать слободскую крепость, не выходить, не верить хазарам. Со стен слободы было видно, как бегом отходило к броду пешее войско. А где братья по слободе? Вот и русская конница. Все dospели к броду раньше хазаров. Еще цела русская сила, еще есть стрелы в колчанах.

Россичи переправились на свою сторону. Не дожидаясь приказа, слобожане принялись портить брод ершами, утапливая заготовленные на берегу подобия острозубых борон. А хазары лились из редких лесов того берега, глаза на русских. На броне ширина Роси составляла считанных двести двенадцать шагов. Стрелки готовились защищать брод. Опустив в воду мертвые ноги, уселся Горбый со своим жестким луком. И, позвав Малха, безногий стрелок наставлял чужака:

– Ты левую руку не так держишь. Смотри, на кость опирай. Выгни запястье. Опять прямо поставь. Как я делаю. Видишь? Эх, бить тебя надо, неuka! Как тебя звать? Малхий? Выискал имечко...

Свое делали россичи. Они не пустят на брод хазар. Не пустят? В степях рек много, мостов нет. Без бродов переправлялись хазары через Днепр ниже Хортицы-острова. Без брода одолевали Ингул. Найдут они много дорог через узкую Рось. Нужно ждать воли хазар, нужно ждать, когда они первыми поднимут руку. Начать самим у россичей нет силы.

Русское войско одиноко перед степной силой. Помощи не жди, делай сам, сам умирай.

8

Липа была многоствольная, громадная, древняя, но еще полная силы. Другие липы уже отцвели, а эта еще щедро манила медовым ароматом. Черные пчелы густо гудели, на миг замирали в цветке и опять ненасытно искали. Тяжелые, мохнатые, злые, они жили, ко всему безразличные, кроме своей собственной цели, как само дерево, как земля, как небо, как туча на небе.

Всеслав глядел на липу. Опомнившись, князь-воевода подумал: «Проклятое дерево!» Беззаботность жизни вызвала гнев.

На берегах Теплых морей людям помогала вера в несокрушимость Судьбы. Фатум, безличный, извечный, несотворенный, предсуществовавший, стоял выше богов, распоряжался богами. Старые боги умерли, Судьба продолжала жить. Удары Судьбы не унижали, подобно ударам, нанесенным человеческой рукой.

Великий Фатум! Добрый освободитель от усилий, от борьбы, щедрый даритель покоя души, он умеет насыпать на свежие раны маковые зерна забвенья.

Даже лучшие люди нового мира не могли придумать ничего утешительней, чем сочетание слов магической силы: делай, что должен, свершится то, чему суждено.

Никто, никакой Фатум не мог помочь воеводе Всеславу. Ни один из бойцов его войска не мог утешить себя верой в Судьбу. Стрела не попала – ты плохо стреляешь. Срубил тебя хазарин – ты сам виноват: опоздал отбить железо, опоздал нанести удар. Конь твой споткнулся – всадник, не конь оплошал. У славян было свое утешение – счастливое бессмертие в вечных лесах, на полянах, где властвует непреходящее лето. Но чтобы подняться после смерти на небесную твердь, душе славянина нужно пламя погребального костра. Никто, кроме тебя, не будет виноват, если твое тело окажется брошенным, истлеет, как падаль. Так решай, делай сам.

Люди, рожденные на берегах Теплых морей, не могли бы понять муки, в которых Всеслав решал будущее без помощи Судьбы, которая лъстиво оправдывает ошибки. Живая кость обрастет мясом. Для воеводы костью россичей были его конные слобожане и его пешее войско – ополчение русских родов. Не дать хазарам сломать кость...

Близко, на виду, к Рось-реке, катились хазарские телеги. Дул южный ветер. Дыхание степи тянуло из Заросья скрежет и скрип сотен колес, тяжелых, сбитых из досок, широких в ободьях, чтобы телеги не увязали в грязи. Десятки лошадей, запряженных цугом, тащили кузова, громадные, как избы. Обозы колыхались, вздрагивали. Всадники гнали табуны запасных лошадей. Никогда россичи не слышали такого разноголосого крика и ржания. Своими телегами, своими табунами хазары могли бы запрудить Рось и, как посуху, пройти обнаженным дном.

Степные люди пришли сюда навсегда, думали россичи. Это не случайный загон удальцов, которые стремятся пограбить, нахватать пленников. Тесно стало хазарам на травянистых просторах у берегов Теплых морей, не с кого им там брать добычу, если с таким упорством Степь напирала на Лес.

Россичи глядели, как хазары устраивались на правом берегу реки, но помешать не могли.

Родовичи Ратибора оставили обычные дела втуне. Князь-старшина Беляй отослал почти всех мужчин защищать кон-границу племени. Длинные летние дни уходили без вестей с Рось-реки. Женщины, дети и немногие из мужчин, оставленные в граде, уже закончили расчищать русло ручейка, питавшего ров, и

глубокий окоп округ градского тына заполнился водой. Заступами подрезали вал, чтобы он стал покруче со стороны поля. Месили глину с половой и навозом, густо смазывали кровли изб, амбаров, надворных клетей, закрывая тес, соломой, камыш, которыми были застелены крыши. От пожаров, если хазары задумают поджечь град горячими стрелами. Беляй не оставлял своих в добычу тягостной праздности.

От первой тревоги прошел день, другой, шестой... Трое девочек лет по девяти-десяти и трое парнишек того же возраста были отпущены на лесное озеро за пернатой свежинкой, за кряковой и за серой уткой. Прибыло время года, обильное кормом для водяной птицы. Утиная трава подняла коробочки с маслянистым зерном, а вода кишит червяками и водяными букашками. Ранние выводки уже выспели, птенцы матеруют, готовы встать на крыло.

Как деды и отцы, дети добывали птицу нагоном. По очереди малые загонщики лезли в воду, вооруженные бычьими пузырями. В озере есть топкие места, есть и глубокие, а плыть в камыше и траве нельзя. Пузыри поддержат на воде, дадут отдохнуть, когда выбьешься из сил. Где плавать, где ходить загонщики отжимали птицу к условленным береговым зеркальцам-плесам, на охотников. Кричать не нужно – утка всего больше боится глухих, но гулких ударов пузырями по воде.

«Хуп, хуп, хуп», – слышится в камышах. Опасаясь странного звука, выводки перестают кормиться и скользят между камышом дальше от нехороших голосов. Не шелохнув камышинкой, на зеркальце выплывает мать-старка, за ней тесно, голова к хвосту, тянет послушный выводок.

Детские луки короткие, в четыре пяди, стрелы – в три.

Девочки ждали, устроив засидки в камыше. Выбранная старшей – без старших нельзя – свистнула по куличьи, и стрелы ударили. Тихо, без звука почти. Стреляли еще. Не сразу опомнились птицы.

В камышах все хупают старательные загонщики, нажимают, вновь выставляют уток. под стрелы. Глупых уток. Умную утку нагоном так не возьмешь, она зря не выйдет на чистое место. Она и нырнет под загонщика, она и на дно уйдет, захватит там корень клювом и ждет. Задохнувшись, она не всплывет, а выставит сначала один клюв и глаза, посмотрит. Все звери, все птицы – как люди, разные по уму, по хитрости.

Загонщики выбились на плес. Помогая себе пузырями, мальчики собрали стреляных уток. Девочки полезли в воду за подранками, они заметили, куда те попрятались.

– Ныне много птицы уродилось, – говорил маленький охотник, выбравшись на берег и давя пяткой пиявку. – Ишь, как насосалась, кровью так и хлестнуло.

В воду загонщики лезут, одевшись в старье, но босые ноги и руки кровоточат от озерной травы-резухи. Пиявки успевают залезть под холстину.

– Хорошо уродилась, – соглашался другой мальчик, помогая товарищу завязать мочало на поджилке, месте, излюбленном пиявками. А ранку после пиявки нужно зажать листком болотной сушеницы, иначе крови много сойдет.

Битых уток связали за шеи. Пора снова разбираться для охоты, теперь очередь девочек лезть в озеро. Дети-охотники знают свое озеро не хуже родного града, умеют отжать птицу на удобные плесы.

День за делом бежит как бегом. Темнеет, пора на ночлег. На сухом месте хранятся корчажка, огниво, кремень, трут в берестяной коробочке. Град близок, да ночь ныне короткая, утром нужно взять еще птицы.

Дети огоили каждый по утке, разрубили, вымыли в озере. Для костерка пришлось вырыть ямку, наткать кругом веток, затянуть резаным камышом. В граде велели варить варево скрыто. После еды все легли рядышком, накрылись общим пологом. Одна из девочек сказала еще чистым от сна голосом:

– А дым в слободе бросали дотемна.

– Они-то, хазары, вышли к реке, – ответил мальчик. Все россияне с раннего детства знают смысл дымных знаков.

– А факелы жгут ли, за лесом не видать отсюда-то, – сказала другая девочка.

– Жгут, наверное, – после молчания ответил сонный голос, и под пологом сделалось тихо.

В камышах звучно шлепали носами утки, пропуская густую воду через дырявый клюв. Утка жадная, спит мало, кормится долго и много. Всю ночь.

Стараясь не показать один другому, как тяжело нести, утром дети тащились домой. В поле они заметили всадника. Он катился к граду, как несомый ветром.

– Гонит-то как!

Посмотрели в сторону, где должно быть слободе. Не клубами, как было вчера, а столбиком стоял дымок, тусклый, темно-серый. Стало быть, хазары близко. Стало быть, степные люди уже перебрались через Рось-реку.

Деревянный град казался прочным, неприступным. Вот в поле бы не поймали злые степняки, только бы добраться до тына. Шатаясь под тяжестью добычи, не чувствуя мерзких вшей, которые уходили на теплую детскую кожу с охладелых тушек птицы, маленькие охотники заспешили домой.

Мостик через ров еще не был порушен. Однако концы переводных бревен уже были подняты вагами из врезов опоры, уже были заведены веревки, чтобы разом втащить мостовое строение в ворота. На улице за воротами клеткой лежали длинные плахи. Сдвинуть их, припереть изнутри дверные полотнища, и в град здесь лучше не пробовать пробиться.

Двое родовичей встретили Ратибора вопросом:

– Хазары где?

– Переправились хазары через Рось ближе к илвичскому кону. Где река перед излучиной течет с заката. И на восток от слободы переправились.

– А вы, слободские, что совершили?

Ратибор не ответил. Из-за плах показался князь-старшина Беляй. Он, думать надо, все слышал, но не повторил вопроса, оставленного без ответа, другое спросил:

– С чем пришел?

– Воевода Всеслав приказал, знать бы тебе, двумя полками хазары перешли через Рось. Третий их полк стоит против слободы, у брода.

– Благодарю Всеслава за милость, – ответил Беляй. – Что переправились, знаю по дыму. А двумя ли полками, одним ли, тремя ли, то мне знать все одно.

В чистых белых штанах, в белой рубахе с белым поясом, в белых онучах князь-старшина Беляй глядел старым лебедем. Он приготовился к встрече с хазарами. Больше не спрашивая Ратибора, Беляй посторонился, давая конному дорожку.

Низко поклонившись с седла, Ратибор толкнул коня, обогнул стенку, которая запирала прямой вход в градскую улицу, и поскакал к своему дому. Ворота были распахнуты и подперты кольями, чтобы сами не навалились на косяки. И все дворы были раскрыты – так удобнее будет подавать помощь в ту сторону, где хазары нападут на тын.

Блестели покатые кровли, жирно смазанные свежей глиной. Во дворе на козлах был распялен отцовский доспех. Свежесмазанный салом, он лоснился, как змеиная спина. Три лета тому назад Ратибор еще мог надеть старый доспех, потом сын перерос отца. Вот и отцовский меч с глубокой выщерблиной на лезвии. А это что? Кривой нож, подарок Индульфа, лежал на колде точила. Но где же мать, где Млава?

Гнедой жеребец, чуя кобылу, заржал. От соседей ему ответило звонкое горло. Открылась калиточка в заборе. Мать! За Анеей появилась и Млава. И сейчас же в избе позвал требовательный голосок сына, малого Ратибора, грудного еще:

– К-ха, к-ха, аааа!

Не запах дома, Ратибор унес запах горячей смолы, все заслонивший, все заменивший. И, думая о своем граде, он слышал горький запах смолы. Великие чары кроются в запахах.

– Мы здесь сами будем, сами, – сказала Анея. – К своим спешу. Застигнут тебя в поле, и ты один зря пропадешь.

Нигде не осталось пристанища. Среди поля распластался град – серый кусок, обрезанный тыном. Над гребенкой тына одиноко торчал трубой узкий сруб. Это вышка: Беляй велел срубить ее при вести о нашествии. При той, первой, вести, ложной, которую привез Мстиша. Как и все, Ратибор не знал Судьбы. Солгать своим было противно, и только. Ратибор подчинился воле воеводы для блага общей защиты. А теперь он забыл свою ложь. Все стало иным, прошлого нет.

В дворе Анеи амбар прислонился задней стеной к тыну. На его крыше сделали помост, на помосте очаг под котлом со смолой. Черный край котла виден конному. Оттуда и тек запах, который остался в ноздрах. И весь град пахнет смолой. Не в граде дом Ратибора, а в слободе.

С опушки леса виднелись крыши, на них кто-то шевелился. Готовят и готовятся. Напрасно тын в остриях, за острие легко зацепиться петлей аркана. Привыкли люди острить пали. Ратибор все вспоминал, как мать торопила его. Еще она сказала: «Зарок я на тебя положила, чтобы ты взял иную жену, коли нас побьют».

Все в прежних мыслях мать держится – чтобы ее род не прервался. Сама наточила оружие, заклала жениться только на своей, помнит хазаринку. Князь-старшина Беляй, когда Ратибор ему поклонился, слова не сказал. Садясь за рвом в седло, Ратибор все глядел на град, на Беляя в воротах.

Будто бы нечто хотел сказать князь-старшина своему родовичу.

Молодой слобожанин чутко медлил.

Беляй мысленно складывал краткую речь для передачи Всеславу. А сложив, молча махнул Ратибору, чтоб тот не ждал. Прошло время, ни к чему и слова.

Ратибор, пустив коня, думал о том, что мало мужчин осталось в граде, почти все ушли в войско.

Градским теперь все равно, сколько хазар перешло Рось и где перешли.

На поле выколосившийся хлеб наливал зерно. Поросшие сором межи рубили поле на поляца. Ратибор узнавал желтоватые колосья пшеницы, сизую зелень овса, светло-остристую щетку ячменя, полбу, перистые метелки проса, синеву гороха. Ни души кругом града, никто не сторожит хлеба от отравы зверем. И дикой птице тоже раздолье.

Эх, а сын-то на два колена песенку тянет, как пташка певчая. «А-а, а-а», и пойдет: «Аааа!..» Те ребятишки-то тащились, видать, с лесного озера. Добыча у них хорошая. Ратибор туда хаживал малым. Давно было, кажется, и не он то был. Там птица не переводится, сколько ее ни бери... Беляй ладно сделал с мостом, его теперь легко затащить внутрь тына. Кажется, тащат уже!..

Толкнув лошадь, Ратибор без оглядки скрылся в лесу.

Глава 10

Всеслав

Вступите, вступите в стремя
златое
За честь сего времени,
за Русскую землю!

«Слово о полку Игореве»

1

В степи всадник видит далеко и привык запоминать приметы. Он ловит очертания земли там, где опускается небо, замечает место солнца, следит, куда падает тень. В лесу иное. Хазары постоянно оглядывались, пытались приметить деревья, кусты, повороты, чтобы суметь вернуться, когда понадобится. Тропа привела к засеке. Здесь следы подсказали хазарам место прохода через омерзительный для них вал беспорядочно поваленных деревьев. Над засекой хотя было видно небо. В лесу листья гасили солнце, превращая власть света в игру лучей и теней. Тропа извивалась. Сжечь бы злой лес, чтобы ходить и искать безвозбранно по всей земле. Рожденный в степи ненавидит лес, горы. Их создали злые духи-джинны, чтобы повредить людям.

Передний поднял руку, остановился, и все всадники замерли, затаив дыхание. По цепи скользнул шелест шепота: тропа потерялась. Не совсем. Оставалось шагов десять, и дальше – как обрубило. Колдовство? Не повернуть ли обратно? Хазары ищут славянские грады, им не нужны слепые тропинки. Нет, здесь тайна. Тропа скрылась, подобно зайцу, который перед лежкой делает длинный прыжок. Кто прячется, тот выдает себя.

Вожак, один из младших сыновей хана и самый молодой в отряде, двинулся вперед. Тропа кончалась на полянке. Кругом стеной толпился крепкий подлесок из калины, орешника, молодых кленов. Конь вожака ступил на траву. Раздался резкий звук, как от тетивы, впереди тряхнуло листья, и конь вожака, подпрыгнув, завалился. Всадник успел соскочить.

В конской груди торчала толстая стрела, оперенная тонкими, как рыбий плавник, деревянными пластинками, Хазары отпрянули. Спешенный вожак заставил себя приблизиться к роковому месту. Найдя что-то, он знаком подозвал других.

В траве были вбиты колышки. К крайнему была привязана жилка, пропущенная через серьгу, подвешенную на другом колышке. От него жилка уходила дальше, в кусты.

Спешившись, хазары охватили опасное место. Они нашли трехаршинный, наглухо закрепленный лук. Он был нацелен так, чтобы стрела попала в грудь человеку, не посвященному в тайну. Нашлись и еще два самострела. В древко лука и в тетиву упиралась круглая палка, от нее шла жилка, прикрепленная к тяжелому обрубку дерева и от обрубка – к колышкам. Задевший жилку ногой сбрасывал плаху с подставки, плаха срывала палку, лук пускал стрелу.

Хазары злобно изрубили славянскую выдумку. Загадку тропы они разрешили в поисках самострелов. Славяне, доходя до известного места, расходились по лесу. Куда? Вскоре лес просветлел. Открылась поляна.

Это не град. На поляне стояли полумесяцем ложные боги, кощунственно вырезанные из дерева. За ними в холм был врезан навес, тоже в форме полумесяца. Людей не было видно. Навалившись на ограду из жердей, хазары слушали тишину.

Было совсем легко оторвать несколько жердин ограды, прикрепленных к деревьям. Хазары, не любят ходить пешком. Верхом, торжествуя, двенадцать разведчиков въехали в росское святилище.

Презренные боги презренных язычников! Боги, которых можно увидеть глазами, ощупать руками. Хазары знали истинного бога, единого, который проявил себя сотворением неба и земли. Он создал свет, отделил твердь от воды, сотворил солнце, луну и звезды, управлял вселенной. Но образа он не имел. Смертным грехом, оскорблением бога была попытка изобразить его черты в камне, металле, в дереве, нарисовать на доске, полотне. В своем величии единый бог воспретил людям искать способ познания его

божественности в видимых глазом предметах. Бог был больше неба, вмещал в себе все доступное и недоступное пониманию. Бог людей, духов, ангелов таинственно проявлялся во снах, святые слышали его голос. Намеком на высшее существо был черный камень, хранившийся в Аравии. Бог избрал хазарский народ. Только хазары имеют право владеть землей. Бог допускает существование иных народов, чтобы хазары овладевали их имуществом и надевали им на шею ярмо, как скоту.

Хакан, великий хан-владыка, и знатные люди исповедовали истинного бога под именем Яхве. Простой народ знал бога Хавра, более простое и более понятное выражение Яхве. Бог един, поэтому у него много имен. Хакан допускал веру в Хавра. Хавр был богом предков хакана, пока не пришли с юга учителя-мудрецы, посланные Яхве. Они объяснили, что в Яхве заключен истинный смысл бога, а Хавр – его отражение, временно пригодное для низких разумом подданных хакана.

Велик Яхве-Хавр! С насмешкой хазары смотрели на глупых богов бессильных славян, которые живут в лесу, как грязные свиньи. Вожак хлестнул плетью дерево побежденного Дажбога. И кто-то поспешил осквернить погост. Но что там, под навесом. Тоже бог?

Отделанный обрубок пня со спинкой и подлокотниками, с мешком пуха на сиденье был так же удобен, как ромейское кресло, заплетенное ремнями. Велимудр дремал, его разбудили голоса хазар. Он не шевелился. Сейчас его убьют. Ему было все равно. Хазарин оскорбил Дажбога. Велимудр созерцал явь, как через очи сна.

Хазары приближались. Впервые Велимудр видел живых хазар так близко. Молодой хазарин подошел и остановился в двух шагах. Кожей коричнево-смуглый, под короткими усами яркие губы казались вывороченными, черноглазый. По щекам из-под шлема падали две курчавые прядки. Сзади высовывался рыжий, его борода росла редко по кости челюсти. Рот узкий, как прорубленный, глаза – щелочки.

Страха у Велимудра не было. Умер страх, который терзал князь-старшину всю его длинную жизнь. Степь пришла за ним в лес. Пусть.

Неподвижность Велимудра остановила хазар. Что это или кто? Руки, лицо казались высеченными из коричневого камня, располосанного трещинами. Вожак дернул Велимудра за бороду, и князь-старшина ответил ему острием посоха. Будто бы опять вожак задел жилку, которая освободит стрелу.

Хазары отпрянули. Вожаку не повезло. Судьба была против него, и Рок может обрушиться на ближайших.

Не было у Велимудра силы; упершись в доспех хазарина, посох выпал из скрюченных старостью пальцев. Вожак ударил старца ножом, бросил легкое тело наземь, вскочил на грудь, подпрыгнул, вволю вымещая злобу за потерянного коня и за дерзость удара.

Победители свалили росских богов, сволокли дерево в кучу и подожгли. Они торжествовали победу разрушением славянского святилища. Убивая иноверных и уничтожая ложных богов, исповедники Яхве утверждались в своей вере, огнем и мечом они славили и истинного и старого Хавра, который был пусть и несовершенным, но все же допустимым отражением Единого. Так научили народ проповедники, присланные Яхве с жаркого Юга.

Разгромив погост, хазары принялись искать тропы к градам славян. Они слышали об обычаях лесных людей. Каждый град ходит сюда поклоняться идолам. Хазары поняли, что они натолкнулись на одну из этих троп, но случайно пошли в обратную сторону. Они были довольны успехом. В их руках оказался ключ к дорогам. Но по знакомой они не хотели идти. Там ждал Рок, не следовало опять испытывать Судьбу.

Пошарив в лесу, хазары без большого труда нащупали новую тропу. Наученные опытом, они нашли и обезопасили самострелы.

Лента тропы загадочно струилась под лесным сводом. Прошло возбуждение, вызванное удачей. Хазары вспомнили, что славяне хитры на ловушки. Они двигались шагом, останавливаясь, озираясь, перешептываясь. Вдруг, как в ответ на мысль, из лесу прилетела стрела. Это не самострел. Удар нашел жертву на остановке – кони не шевелились, никто не мог задеть предательскую жилку. Хазары метнули стрелы в дебрь. Несколько всадников, пригнувшись к холкам, бросились в чащу. Послышались крики, раз-другой звякнули тетивы.

Поимщики вернулись ни с чем. Видели коварного стрелка, били в него. Но он свалился в овраг, где нет хода ни лошади, ни человеку.

Вожак лежал без жизни. Тонкая стрела впилась в шею, над самым воротом доспеха, сбоку, под концом прядки волос, которые он отпускал на висках в знак почитания Яхве. Сегодня Рок победил его. Дважды он избежал Судьбы, но не понял смысла предупреждения. К счастью для подчиненных ему бойцов. Иначе он не ехал бы первым. Впрочем, Судьба сильнее людей, такова воля Яхве. Подчиненные ханского сына, простые люди, почитавшие старого Хавра, верили в непререкаемость Судьбы. Они привязали тело на спину лошади, чтобы вернуть его отцу-хану для исполнения священных обрядов над умершим.

Хазарская стрела нашла Мала, вонзилась в мякоть ноги и вышла с другой стороны на добрую четверть. Стрела задевала за сучья, мешая бежать. Все же Мал перебрался через овраг по упавшему дереву, которое легло мостом над влажной трясинной глубокого ложа. Эх, не дошли сюда хазары! Мал не бросил свой лук, стрелы были. Лук простой, охотничий, стрелы тонкие, да жалят изрядно. Побоялись хазары трусливые...

Мал взялся за дело. Со стрелой в ноге далеко не уйдешь. Тем же ножом, каким он кухарил для Велимудра, Мал переточил твердое, как кость, дерево и вытащил стрелу из мяса. Хорошо вот, что в кость не попало. В кость, говорят, худо. Воевода Всеслав из головы своей вытащил стрелу. Вот это диво. Не простонал, не охнул даже. А тащить из мягкого мяса просто. Мал не заметил, как сразу не стало ни ног, ни рук, ни мысли.

Откуда-то наплыла, как из тусклой воды, мохнатая морда. Мал глядел на черные дырки ноздрей в мелко-морщинистой, как у собаки, темной коже. А ведь он, Мал, как видно, сомлел!.. Сер-серячок учуял свежинку. «Сейчас я тебя угощу, как хазарина». В руке не было силы, чтобы взять нож или лук. А серый скрылся из глаз, спрятался без звука шороха, будто и не был здесь.

Сороки стрекотали на низких ветках. Испуганные движением мальчика, птицы вспорхнули, и одна из них смешно запуталась в мертвой метелке сухих веточек. «Молода и глупа летать еще», – решил Мал. На кровь напоззли муравьи. Мал приподнялся: что лежать-то, если живой! На голени раны заплывали мясом и сухой кровью. Мал опустил штанину, закрутил ремни постела, встал. Ступать было больно, да нужно.

Мальчик знал, что хазары ушли. Будь они здесь, то и сороки не насели бы, да и серый бы не прибред на их стрекот. Сороки крикливы себе во вред. Найдя поживу, дадут голос, а другие, зная сорочью повадку, умеют попользоваться найденной падалью.

Мал потащился обратно через овраг по дереву-мосту. Он твердо помнил, откуда бил по хазарам. Там он бросил торбы с припасом. Сегодня спозаранку мальчик бежал в град за едой. Еще вчера они со стариком приели все до крошки. Велимудр его не отпускал почему-то. Старых трудно понять. То «уходи, умирать

буду». То «не пуцу никуда, без тебя худо тут, а хлеба мне не надо». Беда быть старым. Не нашли ли проклятые торбы? Нет, оберег Дажбог от потери. Скорей на погост. Велимудр извелся один да голодный. «Я ему про хазар не скажу. А охромел – зашиб ногу, быстро бежал. Нет чести в неправде. А правду ему сказать нельзя, он старый».

2

Более не посылали за градский тын, как всегда бывало, сторожей для ночного обхода. Не охраняли, как велось от дедов, посевы от поправки. Перед закатом в хлеба валились стаи пестрых уток. И ночью, когда никакой глаз не рассмотрит летящую птицу, споро свистели над градом тугие крылья. Одни стаи, покормившись, шли на озера, другие, напившись досыта, летели на смену. Табуны гусей падали на поля трижды в день: утром, в середине дня и под вечер.

Нет в поле хозяина. Вороватая утка шарит понизу, сосет повисший колос, собирает с земли. Гусь ломит грудью, топчет, выбивает хлеба. Где жировала гусиная станица, будто кони валялись, и человеку ничего не останется.

В памяти людей вепри перевелись внутри кона россичей. Вытесненные вепри жили в Заросье и на левый берег Роси переправлялись вплавь. Иногда вепри забредали от илвичей. У илвичей земли больше, чем у россичей. Хазары спугнули вепрей. В полях червями извивались черные спины свиней, гноящих посевы.

Над росскими градами нависло одиночество. Запершись, родовичи не знали, что творится на земле. Укреплялись против хазар и против тоски. Ожидание хуже самой беды.

Иногда удавалось заметить струйку дыма в стороне Рось-реки. Слобода держалась против хазар. Своего дыма в граде боялись. Из опасения хазар очаги для пищи топили ночью.

В град Беляя пришел день, когда на опушке леса, на дальней меже, сделались заметны конные. Свои или чужие? За полторы версты не рассмотришь ни лиц, ни обличья. Всадники растаяли в кустах. А пустые поля уже не казались пустыми.

Вечером вдали слышались звуки била. Будто бы в граде соседского рода, где правил старшинство Горобой. Ночью в той же стороне зарево подсветило небо. Опасаясь, что в темноте хазары нечаянно бросятся на град, Беляя послал в поле дозорных. Не взрослых мужчин, которых слишком мало осталось в граде, а быстроногих подростков с собаками. Тяжелая тревогой ночь разрешилась ничем. Наутро слобода по-прежнему держала дым, а на западе, где жил род Горобоя, воздух стал чист.

По истечении первой четверти дня хазары пришли на поле. От погоста они ехали с той опушки, где вчера виднелись конные. В граде принялись бить в било и подняли густой дым. Пусть другие роды знают, где хазары.

Хазарские кони травили хлеба, хазарские воины объезжали град, высматривая, как и откуда приступить.

В граде у котлов со смолой лежат черпаки на длинных держалках. Наточены секиры, ножи, копья, мечи. Натужены луки, стрел хватит. Да мало кому из защитников по руке-то оружие.

Мужчин почти никого, нет в граде стрелков, и близко ходят хазары, пестры, на разномастных конях, дикие, хищные.

За тыном родовичи – женщины, девушки, старики. Дети около взрослых. Хоть поднесет, хоть в руку подаст нужное, все в помощь. Самых малых спрятали в тайник, подпольный лаз. Присматривает за ними соседка Анеи, старуха Арсинья, бережет зернышки рода.

Хазары подвозили из леса толстые вязанки свежих веток и, прикрывшись ветвями и щитами, лезли к

граду. Они бросали снопы веток перед рвом, гатили воду. Кто из градских умел стрелять, пытался бить в щели между палями. Хазарские стрелки заставили защитников скрыться.

Тын высотой в три человеческих роста кажется очень высоким, ров – широким. Но хазары во рву, гатят ров. Их визг, крик, говор – везде. Трещат под ногами сучья, плещет вода.

Над тыном взлетела арканная петля. Захваченного вслепую мальчика волосная веревка свалила, вздернула между острями палей. Кто-то рубанул по удавке. Ребенок упал без жалобы.

Арканы цеплялись за пали, хазары вопили: «Харр, харр!» На тыне сразу появилось много хазар. Погрузив черпаки в котлы, женщины плескали смолой, жидкой как вода, дымно-пламенной. Душно, дымно, дико. Темно, будто ночью. Непривычное к доспеху женское тело обливается потом. Под котлами рдеют угли, сбоку к жару придвинуты корчаги с запасной смолой. Не попасть бы смолой на своих. Своих не попалить бы...

Млава не заметила, как ее подруга упала под хазарской саблей. Не видела, как убийца, одолевший тын, сам свалился от чьего-то копья. Другие руки подобрали подружкин черпак. В котел опрокинулись запасные корчаги. Но вот железо черпака заскребло по меди. Хрипло, с бабьими слезами, прорвавшимся в горле, Млава закричала, неслышная в общем гомоне:

– Смолы давайте, смолы!

Нет смолы, пусты корчаги. Млава увидела подругу-соседку. Она лежала ничком, и разлетевшиеся косы тлели на угольях. На темном тыне – брызги и затеки, черные, как колесный деготь. Бросившись к палям, Млава присела в самое время. Стрела пролетела, едва не задев кожаную шапку. В глазах осталось страшное видение: на снопах ветвей, заваливших ров до верха, кто-то корчился, кто-то рвал с себя доспехи, одежду.

– Смолы, смолы!

Дети волокли туссы из луба с разогретой смолой, тащили кули с углем. Мехи раздували синий огонь, чадный, как в кузнице.

Хазар будто не бывало. Прибежал подросток со словами:

– Князь-старшина велел вам. Хазары прикрываются от смолы. Так вы на них бревна мечите.

И опять хазары за тыном. Несут над собой плащи, кожи, идут, как степные черепахи.

Росская женщина умела поднять мешок зерна на пять-шесть пудов. Ноша дров, куль репы пуда в три казались легкими. Через тын падают на хазар плахи, бревна. Летит жгучий дождь черной смолы.

Кажется, отбились. Но из всех родовичей один Беляй охватывает взглядом и град и то, что творится за тыном. Уже со всех сторон лезут степные люди, ничем не поможешь, нет запасных людей. Град мог бы отбиться против воровского налета, отстоял бы себя от сотни-другой степняков. Против войска граду не отбиться, даже имея всех мужчин за тыном. Род Беляя кончался под длинной ступней хазарина.

Князь-старшина был один, всех мальцов разослал с последним советом. Четверть дня продержался град. Хоть мало, но взяли хазарских жизней. Другим будет легче.

Расставаясь с жизнью, Беляй чудесно светлел умом, крепился волей. Внизу, во дворе, уже кричали чужаки. В избе – ни души. У очага лежало высокое бремя бересты. Есть и горячие угли, немного раздуть – и запылала смолкая кора женского дерева. Стены сухи. Как старый трут, сухи и черные стропила крыши. Занялось все сразу. Старый князь с мечом вышел из двери, махнул раз-другой. Бил по-старинному, без промаха, но тело свое не хотел защитить. С рассеченной грудью, ослепленный кровью из пробитого лба, Беляй отступил прямо в пламень, сумел запахнуть дверь, набросить засов. И лег, умирая.

Кругом пылал, не потушишь, погребальный костер, угли засыпали белую, крашенную кровью рубаху. И вольно и мощно взвилась душа россияча, очищенная огнем, ввысь, к небесной тверди, собственному жилищу людей русского языка.

Отбитые в двух местах, хазары ворвались в град в шести других, и ловили людей, и давили арканами, и резали, если взять не хотели. Победители разбирали бревна у ворот, чтобы открыть ворота и бросить мост через ров.

На родовичей, которые думали, что отбились, беда упала сзади. Хазары явились со спины, лезли из самого града. Остатки защитников скатились во двор Анеи.

– Спасайся, матушка! – крикнула Млава перед открытой дверью избы.

– Беги, глупая, слушайся, – приказала старуха.

Двое мальчиков заскочили в избу вместе с женщинами.

За ними сунулся было хазарин, но его ударили сзади, и он упал на подставленный Млавою старый меч отца Ратибора, окровавив источенный клинок с глубокой выщерблиной.

Вскочил сосед и захлопнул дверь. Понимая, что более своих нет, Анея наложила засов.

Млава отбросила творило над подполом. Старуха молча толкнула в темную яму мальчиков.

– Лезь скорее! – приказала она Млаве.

– Матушка, матушка, без тебя не пойду я! – взмолилась сноха.

– Ступай! – закричала старуха. – И ты, сосед, торопись. Едва вам успеть...

– Мать, пожалей себя, я останусь, – просила Млава, когда сосед исчез в яме.

– Сказано тебе, безголовая, – тихо и страшно ответила Анея. – Ратибор вернется ли, нет ли. Ты ж внучка моего сбереги, глупая. Не вернется, другого мужа бери, рожай! Старые да бесплодные ныне роду не нужны.

От ее голоса, от тайной силы огненного взгляда Млава безвольно опустилась на край подпола и соскользнула вниз.

Анея накинула творило, поддернула ларь, поставила сверху тяжелый ящик и, ломая очаг, скрепленный хрупкой глиной, бросала камни в открытый зев, чтобы сделать ларь потяжелее.

В дверь гулко ударили, Анея не прекращала свое дело. Еще ударили. Дверь не поддавалась. Снаружи, наверное, бревно пустили тараном. Толстые доски, собранные деревянными гвоздями и клеем в единое тело, щепились, но не падали.

Еще и еще били. Наконец дверь рассыпалась. Встав сбоку, у притолки, Анея успела уколоть мужниным мечом первого, а второй достал по ее голове краем круглого щита. Хазарская рука приподняла Анею за косу. Старуха. Старухи не имели цены. Подобрал с пола кривой нож, подарок Индульфа, хазарин умело отделил голову от тела. По обычаю племени, он подвесит эту добычу к передней луке седла. Голова нечестивого врага украсит воина, хан даст награду. Покрасовавшись, хазарин закинет падаль. В законе старого Хавра и нового Яхве сказано: «Дома их сожги, кости их размечи. И похорони их ослиным погребением».

В подполе ночь. Станет светло, если хазары отвалят творило. Ощупывая осклизлые бревнышки, из которых был сложен сруб подпола, Млава нашла нужное место. Вынув два коротких бревна, Млава

тихонько позвала мужчину, и он прополз в дыру. С той стороны Млава наладила на место заслон. Низкий и узкий лаз тянулся на сажень.

– Помогай, помогай, – шепнула Млава соседу.

Они толкали руками и ногами рыхлую землю, на которой лежали, назад в лаз. Задевали один другого, царапали руки, срывали ногти, не замечая. Ход нужно забить, пока хазары не догадаются о тайнике. Земля мягко осыпалась, непослушные комья катились обратно. Люди-кроты нащупывали, доверху ли засыпается проход. Опрокинувшись на спину, они старались ногами утрамбовать землю.

Было парно и душно. Густая темнота давила, как жерновом. Неожиданно заплакал детский голосок: «К-ха, к-ха, аааа...» – Ратибор звал мать. Другой ребенок невнятно забулькал, и старушечий голос прошептал нараспев:

Гулюшки-гулю, баюшки-баю,
спи, усни, хазар придет,
твою голову сорвет,
т-шшш, т-шш, т-шш...

Млава поползла на голос, наткнулась на чье-то тело. Старуха Арсинья громко спросила:

– Ты, живой, кто?

Млава ответила шепотом:

– Тише молви, матушка, тише.

Арсинья возразила:

– Коли ты ход прочно забила, им не услышать. Плохо заделала, и без голоса найдут нас.

– Не знаю, матушка, – уже громче сказала молодая женщина и добавила: – Павно здесь тоже, живой.

Павно был сыном Арсиньи, но старуха не откликнулась, будто ей сказали о чужом.

– А где Ратибор мой? – спросила Млава.

– Руку дай...

Пальцы Арсиньи были холодны, как земля. Млава нашла губами лобик сына, влажный и теплый. Ребенок опять заснул. Млава слышала, как темнота дышала многими дыханиями. Придерживая малого Ратибора, другой рукой Млава нашла тельце еще одного ребенка, другое, третье, еще и еще. Малые дети, слабое семя погибшего рода, спали, перепутавшись, как колосья. Душа Анеи, наверное, видела их. Ведь это Анея сварила для малых сонный напиток из маковых головок. Таким отваром ведунья лечила от иных болезней. Человек забывался, исцеляясь во сне. Самым малым, грудным, дали выпить чуть-чуть. Ратибор опять проснулся, нашел материнскую грудь.

– Севинья где? – спросила темнота голосом Арсиньи.

– Матушка, не знаю, там она где-то осталась... – ответила Млава. Вспомнился запах горящих волос и затылок Севиньи с разрубленной шеей. Севинья была снохой Арсиньи, женой Павно.

– Полонили Севинью? – настаивала старуха. Видно, и в этой семье было больше близости между снохой и свекровью, чем между матерью и сыном.

– Нет, не взяли Севинью, она спряталась, верно, – уклонилась Млава.

Причмокнув, Ратибор отвалился. Тайник молчал, Арсинья и не вздохнула. Переждав что-то, она позвала:

– Млава, слышь?

– Слышу.

– Дончика возьми, покорми. Сюда. Руку дай. Эх ты, неловкая!..

Грудной Дончик был сыном Павно и Севины. Маленький сонно пососал, причмокнул, отвалился от груди.

– Павно целый? – только сейчас спросила мать про сына.

– Будто бы целый он...

– Заснул, стало быть, – заключила Арсинья.

И на Млаву навалилась удушающая сознание дрема. С ребенком у груди она уходила далеко-далеко. Не чужой Дончик, он родной, своей крови. Для детей, для рода Анея отослала Млаву жить, а сама осталась хазарам.

Гул, тяжелый, страшный, заставил женщину очнуться. С бревенчатой крыши тайника посыпалась земля.

– Что это?

– Дом упал, другому нечему быть, – ответил голос Павно. – Град наш они разоряют. Не любят они градов, – рассудительно объяснял Павно.

– Ох-хо-хо, – вздохнула Арсинья, – завалится все, мы не выйдемся. Некому будет и о косточках наших позаботиться, душам нашим послужить...

3

На поле-поляне погибшего рода Беяя воевода Всеслав нашел потерянных им хазар. Теперь не россичи – хазары не знали, где русское войско. Разведчики-слобжане высмотрели степняков. Пешие и конные одолели леса, поляны и засеки. Они были дома. Дома помогают и стены.

Никто не спросил воеводу, успел ли он спасти град Беяя. Что он сам об этом знал, оставалось в тайнах его души. В тех тайнах, в которые и сам их владелец умеет не заглядывать.

В последней четверти дня Всеслав своими глазами увидел град, разрушенный, подобный мертвому телу, с хазарами, похожими на хищных птиц. Такое на своей земле россичи видели при воеводе Гудое, тридцать два года тому назад, так давно, что никто уже и не помнил. И если кто подумал о Гудое, то лишь один Всеслав.

Хазары заночевали в граде и около града, у высоких костров. Россичи ночевали в лесу, без огней, как звери в логове, в молчании, чтобы ничем не выдать своего присутствия. От поляны с хазарами лес охраняли Ратибор и другие родовичи Беяя, люди, знавшие каждое дерево.

С вечера Ратибору удалось поймать на тропе, ведущей к погосту, пятерых посыльных хазар. На допросе опять толмачил ромей Малх. После отступления за Рось Всеслав взял его в конные. Когда первого молчальника изрубили, четверо остальных, прося пощады, попытались говорить. Посещая для торговли проток из Меотийского болота [\[51\]](#) в Евксинский Понт, они чуть-чуть научились ромейскому наречию в Фанагории. Хан Эган-Саол, владыка, наследственный повелитель рода-гнезда, который ныне взял русский град, завтра пойдет брать другой. Можно было догадаться, что на очереди был град князь-старшины Колота. Куда были посланы изловленные хазары? Из поневоле сбивчивых объяснений удалось понять, что они направлялись к градам Горобоя и Келагаста. Там, толковали посыльные хазары, находится хан Шамозл-Зарол. Русские грады малы и бедны. Ханы будут ходить порознь. Они торопятся, пока все русские не убежали в далекие леса, как убежало их войско.

Утром было тихо, по лесу стелился легкий туман, как бывает после сражений: души убитых не покидают места своей гибели, пока не совершится обряд погребения. Над ручьем, который пересекал поле-поляну, белый полог стоял стеной, скрывая погибший град.

По степному обычаю хазары пустили коней вольно, неспутанными, пастись в поле. Округ лес, коням уйти некуда, под копытами сытный корм созревающих хлебов.

В туманной дымке, среди многих сотен лошадей, незаметно появились полторы сотни слобжан. Широко развернувшись между станом хазар и полем, россичи без труда струнули с места пугливых степных лошадей, потеснили и начали сбивать в табун.

Десятка два конных пастухов, как воробьи, разлетелись перед упавшими с неба россичами. Слобжане секли степных коней мечами, саблями, кололи копьями. Обезумев от боли, от медвежьего рева и волчьего воя, которыми их пугали россичи, хазарские лошади, подобно листьям под вихрем, унеслись в лес. За ними, рая и убивая несчастных коней, скрылись слобжане.

Без строя, без всякого порядка хазары побежали из лагеря спасать лошадей. Еще почти никто из них не понимал, что случилось. Каждый, вооружившись кое-как, думал только о потере: хазар без коня не хазар! Дорогие лошади хана и его близких выпасались в путях, под особой охраной, около шатров, раскинутых для повелителя.

Эган-Саол скакал в парчовом халате, на который оруженосец успел надеть латы, и тщетно созывал своих. Спешенные знали одно – найти лошадей. Около хана собралось сотни две конных. Все совершалось

с быстротой боя. Солнце остановилось в ожидании битвы.

Поляна рода Беляя имела в поперечнике три с небольшим версты. Град был поставлен почти в середине поляны. Много ли нужно времени, чтобы проскакать полторы версты!

Эган-Саол знал, что в конном бою только ударом можно встретить удар, и отчаянно бросился на слобожан. Тяжелые, сомкнувшие плотный строй слободские всадники с размаху столкнулись с хазарами. Сила сегодня равная, один на один.

Взвились струи рук и оружия, дико смешались крики: «Рось! Харр-харр!» Поле вспенилось, поднялось в визге, стоне, вое. Конный бой сравнивают с молнией. И верно. Только столкнулись, и уже дальше проносятся слобожане в крепком строю, а сзади – тела, тела, тела. Как червями кишит земля, и нет чистого места и нет стебля, не окропленного кровью, и воеет хазарин, грызя землю. Один на один!

Где хазары? Как рука, прикрепленная к невидимому телу, российские всадники поворачивают. Лошади послушны железным коленям, конники знают, что делать. Их уже не три тесных ряда, которыми они раздробили хазарскую стаю, а один ряд. И строй не тесен, а редок. Кажется, они заняли все поле, от леса до леса. Много обоюруких, им сейчас раздолье. Не люди – джинны, которым Хавр отдал хазар.

Всеслав зовет в рог, и дикие всадники собираются к князю послушными овцами. Не окончена железная страда. Пешее войско пошло из леса навстречу спешенным хазарам. Нужно торопиться, пока хазары не опомнились.

Нет хана, нет старших, нет значков, нет управления. Конные врезаются строем острым, как лезвие топора. Пешее войско охватывает хазар, их сжимают, им тесно. Хазар все еще больше, чем россиячей. Но россияне бьются два и три против одного. Только крайние хазары могут отбиваться. Сзади них в тесноте мнется подобие стада, окруженного волками. Тот, кто опустит руку, уже не может поднять ее. Сабля колет своих, копье, войдя в спину друга, пронизывает его и убивает других, пока не опустится под тяжестью тел. Извне россияне рубят, россияне стрелы падают, как с неба, и каждая находит цель.

Пыль, смрад, грохот и неумолчный стон, стон, стон – хор душ, кипящих в адских котлах Хавра.

Бросив оружие, хазарин охватывает руками голову и падает на колени. Он сам тянет горло под железо. Поднимаются руки с ладонями, обращенными к россиянам. Этим рук много. Утомившись, россияне прекратили бойню.

Никому не уйти. Конные и пешие окружили хазар, как табун, пригнанный на продажу.

Такова воля Яхве, такова воля Хавра. Бог предначертал судьбу каждого живого, ни один волос не упадет без его воли. Живому псу лучше, чем мертвому льву. Бросая оружие, срывая на ходу доспехи и шлемы, рабы идут вереницей через строй победителей.

Всеслав взглянул на солнце, образ Дажбога, довольного своими детьми.

Все наше здесь.
Имеем мы обычаи свои,
завет отцов и вечные преданья.
И вещей сон в тени родных лесов,
и шепот наших трав в лугах и на полянах,
и шелест наших злаков в бороздах,
возделанных руками российских,
и гик коней,
и топот стад,

и грай воздушных птиц.
Все наше здесь!

Час ранний... Солнце не успело сделать и двадцатой части дневного пути, а уже совершилась победа.

Ратибор верхом проехал в ворота, как несколько дней тому назад. Хазары не удосужились убрать с улицы тела погубленных россичей. Там и сям лежали они, как убили их. Одни будто спали, иные воздевали мертвые руки, призывая Сварога и навьих взглянуть вниз и сжалиться над участью своих.

Вместо двора князь-старшины Беляя рассыпалось пожарище в смраде горелого дерева, кожи, мяса.

Вот и дом Ратибора. Не узнать. Ворота сорваны, вместо избы – куча бревен и ломаных досок. Ударили в стену, и все развалилось. Только и осталось целого – амбар, где на обрядовой постели из немолоченых снопов воля матери Анеи сделала сына мужем Млавы. Неотвязно стучалась глупая мысль: «Ты же видел, что нижние венцы подгнивали, не поправил...» Будто бы из-за венцов рухнула жизнь двух женщин и сына.

На земляном ходу у тына опрокинутый котел, разбитые корчаги, черные, блестящие. Выплески смолы стылой. И женщина! Ничком лежит, головой в золе. Млава? Нет, соседка Севинья. Бились они. Не отбились. А ты, воин, жив...

Нет матери, нет жены, нет сына. Где же их тела? С улицы кричали, звали:

– Ратибор! Ратибор!

Что спешить, такое всегда успеется. Нечего спешить, не спешить, не спешить... Венцы были гнилые – вновь вспомнилось глупое.

Ратибору казалось, что бесконечно долго сидит он в седле, опершись на лук, и смотрит на верного пса Анеи, лохматого, как медведь, изрубленного, как доблестный воин.

– Ратибор, Ратибор!

На улице тесно стояли его родовичи из слобожан, из пешего войска, что-то заслоняя. Ратибор взглянул и опустил голову, закрыл глаза, чтобы не вглядываться. Женщины, дети. Все одинаковые, все связанные. У каждого горло вскрыто от уха до уха. Кровь еще ярка, как краска марена. Пока в поле бились, охрана пленников потешилась русской мукой. Наверное, Ратибор это сказал вслух, так как кто-то ответил:

– Никуда не ушли те хазары...

С поля звал рог. В его звуки привычное ухо вкладывало привычные слова: «Всем собираться, все быть сюда! Всем поспешать, поспеша-а-ать!»

Конь Ратибора сам тронулся с места. За ним послушно потянулись все конные и пешие, оставляя тела своих, как нашли их. Лица живых россичей были страшнее, чем у джиннов, выдуманных служителями свирепых Яхве и Хавра.

«Не лилась бы невинная кровь, соблюдай племена русского языка русскую общность, помогай бы друг другу не скупым подаянием воинами, как илвичи с каничами нам помогли», – так запомнилось всем сказанное воеводой Всеславом в кратких словах. Отдыхать было некогда, пировать было не к чему, да и нечем. Ходит хазарин по русской земле.

К убийце кровных можно коснуться только железом. Быстро перебили пленных хазар, некогда было утешить сердца медленной мезтью. Только хану и несколькими знатными оказали почесть размычкой. Согнули березы, к одной вязали правые руку и ногу, к другой – левые. Понемногу отпускали стволы, согнутые, как луки. И – сразу бросали...

Не хлеб – бранную добычу собрали на вытопанном поле. Цена же победы была три десятка своих по

вещей мудрости воеводы. Для охраны разоренного града от зверя да от ускользнувших с побоища хазар оставили горстку пеших воинов. Остальные – все нужны.

Сделалось пусто, сделалось тихо. Души павших невидимо носились над оставленным полем.

Очнувшись, Млава достала рукой до низкого потолка. День, ночь ли? Женщина позвала, ей ответил мужской голос:

– Здесь я. Слушай. Откапываться будем. Не откапаемся, пропадем напрасно.

– Назад думаешь выйти?

– В град, к хазарам? Нет, – возразил Павно. – Будем копать наружу. Через вал. Ваш двор строен плотную к тыну.

Глинистая земля, которую никогда не ворошил заступ. Материк. Узкий ход прорезали ножом. Осязание чудесно обострилось. Светильню зажгли один раз, когда начинали подкоп. Огонь отразился в блестящих, как у зверя, глазах. В тайнике – трое взрослых, два грудных ребенка и девять детей. Свет – надежда. К нему все потянулись. Но огонек, слабый, как мошка, сам угасал в густом воздухе. Огню нужно больше простора, чем человеку.

Россичи рыли. Женщина работала в очередь с мужчиной. Грудные – Ратибор и Дончик – отмечали время. Они жадно брали холодную грудь, и мать старалась, чтобы глина не попадала в глупые рты.

Павно торопил. Мальчики и девочки копошились у ног, стараясь помочь старшим. Сырая земля студила тело, но воздух был жаркий, удушливый. Мрак утомлял, руки обессиливали. Пора съесть кусок. В тайнике был накоплен припас. Арсинья берегла бадейку с молоком последнего удоя. Старуха делила мясо, на зубах пища мялась вместе с землей. Арсинья, нащупывая лица, подносила к губам лубяной ковшик, ворчала:

– Не хватай, разольешь, хуже слепых вы...

Павно замирал в узком лазе, отдыхая на миг. Не двигалась и Млава. Слышно, как шепчет, рыхло возится, как быстро-быстро дышит тайник. И молчит.

Пот застывал на теле. Павну мерещились души, чьи тела погребены под землей. Они вечно томятся во мраке, истлевают без света. Страшно остаться без погребального костра. Павно устал и не в силах справиться с ужасом. В подкопе не повернешься. Павно пятится ползком. Спина задевает за верх подкопа. Кротовая нора завалит, сейчас завалит!.. Сердце останавливается. Не человек – мышь давленная. Голые ступни упираются в плечи Млавы: тебе, женщина, пора покопать...

В подкопе не воздух – гарь горькая. Млава тешится мыслями. Она была взята из старшего рода. Мужнин род – младший. Матушка Анея знала: род живет, род держится женщиной. Широкий нож переворачивается в руке. Ногти сорваны. Нужно копать. Млаве казалось, что она копается на огороде. Женщина, лежа ничком, рылась, зажмурив глаза. Сильно пахнуло травой. Впереди осыпалась земля.

Млава опомнилась. В тайнике сидят тринадцать душ, она – четырнадцатая. Род сохранится. Открыв глаза, Млава увидела серый свет. Будто бы голоса слышно. Слышно, как комок земли плеснул в воду.

Женщина поползла назад, назад, пятясь на локтях, чтобы сбереечь пальцы с сорванными ногтями. И в тайнике, в темноте настоящей, черной, подземной, она шепнула, чтобы снаружи не услышали бы:

– Павно, а Павно! Я пробилась.

Через лаз, более не закупоренный телом, потекла тонкая-тонкая струйка свежести. Ее можно было

учуять только тому, кто дышал тяжелым смрадом подземелья.

4

В жизни воеводы Всеслава случались схватки, слобода отбивала набеги. Настоящей войны не было. Большая война впервые пришла к Всеславу.

Среди людей славянского языка передавались преданья о былых войнах, о сраженьях с гуннами. В молодости, посещая в дни весеннего торго островок на Днепре, Всеслав слушал рассказы ромеев, запоминал трудные для славянского уха имена полководцев. Ганнибал и Кесарь Юлий, Ксеркс, Александр, Ахилл, Август, Октавий, Феодосий, Иуда Маккавей, Пирр, Константин, Юлиан, Хосрой, Фабий, Агафокл, Кир, Помпей, Феодорих, Ксенофонт, Филипомен, Леонид, Марий, Агамемнон... Когда они жили, сколько поколений истекло со времени их побед, их поражений? Когда-то. Давно или недавно – это не интересовало повествователей и слушателей. О полководцах говорили, как о живых. Некоторые рассказчики будто сами участвовали в знаменитых сражениях.

Всеслав Старый начал готовить русское войско, Всеслав-преемник продолжал труд. Кто мог сказать, сильно ли русское войско, умеет ли воевода водить войско. Теперь Всеслав уверился в своей силе.

Под копытами лошадей мягко ложилась лесная земля. Шли по родной земле Всеслава. Здесь ему было знакомо все. Двое людей вылезли навстречу войску. Свои родовичи.

– Что град? – спросил Всеслав.

– Нет града, – ответил мужчина.

– Нет града, – повторила женщина.

Всеслав, не чувствуя, сжал ногами гибкие ребра коня, и, захрапев, конь пошел боком.

– Зорище на месте града, – сказал мужчина.

– Зорище, место пустое, разоренное, жженное! – выкликивала женщина.

Глупая, глупая!.. Не понимает разве воевода, что коли нет града, значит, тот разорен дотла, вытопан, выжжен.

Воевода сидел камнем в седле, прямой, большой, светлые усы концами легли на железную грудь доспеха. Князь-воин обоерукий.

Страшная видом, обожженная, грязная, почти голая, женщина залилась в причитаниях:

– Одни мы ушли, одни с ним бежали, одни мы остались, всех постреляли, всех посекали-порубили, всех подушили, всех полонили. Нет нашего рода. Побили князь Горобоя, Красу твою побили, деток побили. Горе нам, не стало нашего рода, не стало, не стало... Деревья плачут, трава, горем сожженная...

А-а! Хуже нет надоедливой, глупой кликуши!.. Некогда слушать. Времени нет, солнце не ждет, хазары не ждут. Где твой костер, былой воевода Гудой?!.. Что в победе тому, кто, всех потеряв, остался один? Горе ему, победителю...

Всеслав тронул коня. В бой идти нужно. Князь оглянулся. Вот они все: род, семья, племя, своя кровь. Конные, бронные, тихие в походе молчальники. Не идут, не едут – парят ястребами на мягком крыле. Всадников больше двух сотен, пеших почти три сотни. Мало их легло, сохранилась русская сила. Теперь Всеслав знал, что мог бы он не пустить хазар за Рось-реку. Свои все полегли бы, ни один не сплосал бы. Зато у хазар не хватило бы смелости и силы пойти через Рось, разбивать грады.

Всеслав встретился взглядом с Ратибором. Сын души! Безродный воевода хотел напомнить безродному воину, что есть в градах тайники. Раздумал. К чему манить сердце на двойную утрату,

бередить боль надеждой. Будем жить без надежды. Свершилось. Не вернется. Тихо, но с внятностью голоса птицы Всеслав сказал двоим уцелевшим:

– Вы... бредите к нашему граду. Тела оберезите для погребения. Хазар не будет более.

Еще ходили хазары по русской земле. С ближних полей было слышно гудение била. Этот град еще жил, еще взывал к мужеству женщин, детей и горстки мужчин, оставшихся за тыном после ухода бойцов в ополчение племени.

Всеслав не мог ценой истребления Келагастова рода повторить воинскую хитрость, погубившую хана Эгана-Саола. Князь-воевода не хотел дожидаться, пока хазары войдут в град.

Хан Шамозл-Зарол, опытный вождь, умел по-своему брать крепости. Хазары-стрелки, на конях и пешие, густо стояли перед тыном, и ни одна голова, ни одна рука не могла подняться над палями, ни один глаз не мог взглянуть из града в поле. Под надежным прикрытием хазары забрасывали ров жердями, укладывали на жерди поперечины, щиты. Широкий мост даст подойти к валу вплотную, на тын поднимутся сразу сотни. Защитники вслепую метали смоляные факелы. Вот-вот хазары-работники обернутся бойцами и хлынут в град, подобно воде, которая, вскипев, переливается через край полного котла.

Русские грады схожи между собой, как люди. Град Келагаста казался собственным и для тех, кто, как Всеслав или Ратибор, знал – нет больше их градов.

Сотня пешего войска медленно вышла на межу. В граде сильнее ударило било, явно зовя на помощь. А хазары, как казалось, не сразу заметили дерзкую горстку. Они продолжали мостить ров.

Пешие россичи отошли от опушки на полет стрелы, когда сотни три хазар нацелились в их тыл. Лихие всадники были похожи на соколов, которые заходят косым полетом, чтобы ударить сверху на утиную стаю.

Тогда вторая сотня пеших россичей вышла из леса, а первая остановилась. Неожданность лишила хазар порыва. Степная конница замялась перед копьями, из-за которых густо сыпались стрелы. Стрелы били в лицо, в бок конным, и всадники откатились. Шамозл-Зарол понял, что перед ним не кучка русских, жертвующих собой, чтобы продлить агонию града, обреченного на гибель волей Степи.

Пронзительно свистали дудки десятников, ревели рога сотенных начальников. Коноводы гнали лошадей прямо ко рву, и хазары, бросив осаду, садились в седло.

Хазарские кони не успели вытравить хлеба. Высокие колосья закрывали пеших до пояса, упавших людей и коней не было видно. Поле еще казалось ровным, нетронутым.

Значок хана веял на высоком древке. Красное и желтое полотнища были сшиты в длинную полосу. На ней два золотых треугольника, наложенных один на другой, изображали звезду, символ Яхве, имеющий высокое значение.

Хан размышлял. Изощенный в хитростях войны, он взвешивал русскую дерзость, русскую доблесть, свою силу. Хан слушал, как медленно падали капли мгновений в чашу вечности, как истекал неведомый людям срок жизни, предначертанный волей Яхве. Непобежденными русские бежали с поля. Так же поступил бы и сам Шамозл-Зарол, встретив большую силу. Хан должен суметь сохранить войско. Тогда в его руках останется власть. Только власть дает полноту наслаждения жизнью. Тот настоящий победитель, кто умеет сохранить власть. Будь он сегодня в степи, Шамозл-Зарол помедлил бы и день и два. Он вызнал бы нужное, он заморил бы пешего противника набегам конных. Лес стеснял, в лесу конница теряет свою силу. Что сейчас делает хан Эган-Саол, друг-соперник, что задумал старый Суника-Ермиа, который хотел идти прямо на север от реки? Шамозл-Зарол не знал. Они втроем решили поделить между собой

опустошение этой земли.

Наставив уши, пружинисто подтянув под брюхо задние ноги, конь хана бережно ждал воли всадника. Конь родился в песчаной Аравии, около черного шатра сарацина. Он был дымчатой масти с белой мордой от ушей до ноздрей. Таких, лучших в мире коней, ромеи звали фалионами, степные народы – баланами. Они носят в крови уменье вести себя в бою и верны всаднику. Атилла ездил на балане.^[52] Предки Шамозла-Зарола ходили вместе с великим сыном Мундзука к берегам неизмеримого Западного моря. Балану исполнилось пять весен, хану – сорок. Зрелый воин на молодом коне есть сочетание силы и мудрости.

Побить этих нечистых лесных зверей! Гнев на врага поднимался, как жгучая боль. Хан махнул саблей, указывая. Балан рванулся, но, покорный, замер. Шамозл-Зарол остался на месте с отрядом избранных телохранителей-сеидов.

Проклятие лесам, проклятие тесному полю! Еще один отряд пеших вышел из лесу. Не разрывая строя, будто скованные цепью, подобно железным полкам бессмертных персов, лесные спешили на помощь своим.

Кто в силах вернуть конницу, взявшую полный размах, вернуть здесь, не в степи, где вольны и широки травянистые просторы! Вот и лесная конница. Они перехитрили!..

Хан видел тучи стрел, которые поднялись перед росскими, как стаи воробьев с тока. Хан закрыл глаза. Не из робости. Но страшно смертному встретить свершенья Судьбы.

Не было сил отказаться от зрелища. Теперь ударила русская конница! Бессилие, бессилие... Они рычат, как тигры в камышах. Брызгами воды всадники разлетелись по полю. В беглецах хан узнавал своих хазар. Лесные бойцы казались кораблем. Вместе все, вместе. Кто же кричал, что на этой реке ловят рабов, как зимних дроф, обледеневших во время джута!

Погибал род Шамозла-Зарола. Его дед овладел властью в кочевом гнезде как самый богатый, самый сильный, отмеченный богом за ум, за храбрость. Отец обогащал род удачными набегами на аланов, болгаров, черных мадьяров. Сам Шамозл-Зарол, приняв новую веру в Яхве, был уважаем великим хаканом.

Тесно поле, падают стрелы. Телохранители не успели подхватить своего хана. Он, отмеченный богом, увидел Асроэля – ангела смерти.

Мимо бежали колосья, свистел ветер, уши были полны воя и рева, плескало железо, капали огненные стрелы. Раз, два раза ударили молнии. Хан отбивал угрозы грома. Разве можно отвести рок рукой человека?..

Умный балан сразу остановился, повернул морду и захрапел, увидя хозяина. Хан висел вниз головой, разбросав руки, полные земли. Балан не шелохнулся, спасая господина, когда чужой человек с чужим запахом взял брошенный повод. Ногу хана вырвали из стремени, и балан рванулся: чужой был в седле. Невыносимая боль стиснула ребра, между ушей грянул удар кулаком, как молотом, и балан едва не упал. Повод дернуло. Балан, спасая нежный рот, задрал голову. Он подчинялся, подчинялся! Прежде у него не было повелителя, теперь есть...

– Они сопели около нашего града, втягивая воздух нашего леса, они урчали, чую запах пашей крови. И нет их более. Их – нет! – так воздавал князь-старшина Келагаст славу победителям.

– Знай, Всеслав! – восклицал Келагаст. – На тебя, на твоих воинов ляжет ответ перед Дажбогом, ты ответишь перед навьими, если не совершишь того, что должен. Я вижу гибель русского языка. Имя наше отойдет в предания. Впоследствии уйдет и из них. Останутся от нас безыменные могилы, как от длиннопалых людей остались каменные боги, а как звали тех людей и как звали богов – никто из живых не

знает. Так совершится и с нами. Уже нет у нас погоста, спалили богов. Земля разорена, поля потравлены, люди побиты. Три наших рода погибли – твой род, Всеслав, Беляя и Тиудемира, мы стали слабы, как каничи. Нет нам спасения, разрозненным. Еще и еще будет терзать нас Степь, еще и еще будет истреблять детей наших: пока не соберем мы силу такую, чтобы забыли они мечтать брать на Роси полон и добычу.

Далеко смотрит старый Келагаст-князь. Некогда слушать его. Доломать надо хазарскую кость.

Без отдыха, прямо с поля боя, часть конных слобожан пошла за Рось-реку. Отобраны они были не по обычному строю, в котором воины привыкли ходить, зная передних, задних, крайних. Ратибор повел родовичей Горобоя, Беляя, Тиудемира – тех, кто жил в слободе, тех, кто пришел в ополчение племени от погибших родов.

«Жизнь обманывает сновидениями, успокаивает достижением желанного, но нет победы, нет покоя человеческой душе, пока не поднимется его тело на погребальный костер» – так думал Всеслав, вспоминая речи Келагаста. Завтра не будет таким, как сегодня. Новый день приходит голодным, его не насытишь памятью совершенного вчера.

«Нашего воеводу несет к большой власти, как вешней водой, – думал Колот, глядя на Всеслава, – в гору он поднимется на слободских мечях».

Душа Всеслава горела сильнее, чем живое тело на костре. Чтобы быть, как все, он не постарался спасти своих родовичей, свой град. Он вел войско для победы, не для защиты. Где найти оправдание перед мертвыми!

Войско уже прибавило к имени Всеслава прозвище «Вещий», уже не воеводой звали его, а князем, тем выражая безграничность почета. Но никому не знать мук чужой души, не понять со стороны томлений, сомнений, печали того, в ком видят вождя и героя.

5

В сухое лето Рось-река оскудевает задолго до солнцеворота, выступают камни на перекатах, открываются скалистые гряды.

Брод в излучине против слободы обмелел раньше обычного времени, и хазары растаскали ерши. Слобода была заперта, как щука в слепом протоке, заплетенном забором. Хазары не любили нападать на крепкие места. Холм, на котором сидела слобода, был крут и высок, еще выше поднимался вал с прочным тыном. Слишком многих жизней потребует открытое нападение, лучше пустить в дело старое средство – голод.

Дни не шли – тянулись тягучей живицей-смолой, как из подсеченной сосны. Щерб, на которого воевода покинул гнездо, усердно учил подростков. Наука шла, как всегда, будто бы за тыном не стояли степные люди. Бились мечами и саблями, кололи копьями, до изнеможения держали коленями тяжелые камни.

На излете ложилась во дворе хазарская стрела. Прервав труд, молодые слобожане льнули к тайным щелям тына. Безногий стрелок Горбый перебрасывался на костылях, гудела и жестко хлопала тетива всей силой турьей роговины тяжелого лука, и, коль не успевал укрыться хазарин, молодые завистливо кричали:

– Труп, труп!

Калека озирался, хохотал, бил кулаком в гулкую грудь, как молотом в бочку. Он счастлив, здесь он первый воин, мужчина!

Щерб бранил подростков дармоедами-бездельниками и тычками гнал к делу.

Со слободской вышки по-прежнему поднималась тонкая струя дыма в знак того, что хазары перешли Рось, что слобода еще жива. По дыму, по зареву слобожане знали, что погибли три града, угадали, чьи грады погублены. Где же свои, где воевода?

Днем из слободы было видно далеко. Ночью приходили темнота и сомнения. Погибли слободские с князем, побито ополчение. Щерб размышлял, втихомолку от меньших советовался с несколькими старшинами. Хазары разорят землю дотла, но не останутся в ней навечно. Что делать тогда? В слободской крепости много припасов, есть колодезь. Если хазары пойдут на слом большой силой, не жалея себя, тогда не отбиться. Не пойдут – крепкое место уцелеет. Пойти вдогонку хазарам, отбить своих пленных, сколько будет силы, или сберечь себя? Затворникам казалось, что они одни на русской земле.

Старшие готовились увидеть, как хазары примутся нарочно, на виду, играть славянскими головами, складывать их кучами, как распнут избранных пленников для устрашения осажденных.

Однажды на заходе солнца в слободе заметили всадников, переправлявшихся в Заросье к востоку от брода. Подумалось, что это свои. Иначе почему бы им идти вплавь, а не бродом? За все дни впервые появилась надежда.

Ратибору помнилось, как степь пахла горелым в затишных лощинах, когда он возвращался из далекого дозора. Нынче и ночью пахло так же. Заросье сгорало от солнца.

Небо рассыпалось звездами, пели сверчки. Издали доносился многоголосый лягушечий вопль. Вдруг, вспыхивая, он взлетал, тревожный, трескучий, и умолкал, удушенный ночью. Кто-то топтал пересыхающие озерки и болотца, кто-то крался между тростником, рогозом, рдестом, кто-то охотился за живым мясом.

Ущербная луна вошла после полуночи, лесные тени сгустились, поляны белесо запестрели, будто влажные. Свет обманывал: жаркой ночью росы не бывает.

На рассвете Ратибор вышел со своими в тыл хазар, на южный край Турьего урочища. Широкие ободья хазарских колес отметили степную дорогу, подсохшие травы не могли налить соком и поднять сломанные стебли. Здесь, от маленьких искорок, которые железо выбьет из души кремня, суждено родиться великому бедствию для всего живого.

Конному легко набрать в лесу сушняка и разбросать по степи костры. Через Турье урочище протянулись цепочки хвороста. Из костра, разложенного в лесу, всадники выхватывали головни и уносились в степь. Припав к земле, человек раздувал уголек, пока не затрепещет бледная душа огня. Степь запыхалась серым дымом.

Мстиша, друг Ратибора и родович Всеслава, захохотал.

– Знатное будет кострище! Я охотник отведать жареного хазарского мяса! – и завертелся в пляске.

Мрачно и страшно глядели на одичавшего Мстишу воины из погибших родов.

Новые и новые места степной дороги вздыхали дымом, разрастался пожар, пахло гарью. Мстиша плясал и плясал. Невеликий ростом да мощный телом, он плескал широкими ладонями, щелкал пальцами и выкрикивал все одно, все одно:

– Мяса мне жареного, паленого, копченого!.. – Двое детей было у Мстиши. И к жене он любил отлучаться почаще иных, тоскуя по нежности.

Ратибор схватил друга за плечи. Мстиша вырвался, затрясся, закричал:

– Не тронь меня! Не тронь, ты железный! – и вскочил в седло.

И все вразброд поскакали по степной дороге, утолял жгучую муку пожаром. Собирали хворост, раскладывали новые костры, перехватывали степную дорогу тропами огня.

Уже метнулась дикая птица; забыв о труде повседневной охоты, уходили ястребы, вспархивал перепел, куропатки срывались, отлетали стрепета, уводя свои выводки. Гибли жалкой смертью мыши, кузнечики, сами прыгали в огонь, тысячи тысяч малых жизней исчезали в слепом гневе огня.

Пожар родит ветер. Горящая степь пробудила воздух. И раз и два вздохнуло небо, открывая ворота ветров, и бросились ветры от прозрачной тверди небесной на жесткую твердь земную, и заиграли на выжженных, оголенных гривах.

В бегстве смешались волки с козами, корсаки и лисицы с зайцами. Табун тарпанов ушел через Сладкий ручей, тяжелый скок туров был слышен на версты. Попав в западню между двух огней, жители степи спасались в леса. Каменный бог забытых людей безлико глядел на восток, безразличный, овеванный копотью.

На Турьем урочище старые дубы, помнившие гуннов, вновь увидели огонь, ползущий к корням. Как и тогда, старых спасала толстая кора, как и тогда, погибал молодняк.

Стоглавые ветры крутились, облекаясь пеплом. Свив гарь с пламенем, они, найдя забытые кости, жарко гладили их горькой лаской запоздалого погребения, заглядывали в раскрытые пылкому дыханию трещины земли и камней, выжигая живое, и забавлялись, сея огонь, огонь и огонь. Недобрые сеятели! Злые ветры войны, немые соратники, слепые помощники, глухие союзники, одни вы тешитесь общим несчастьем. Выпусти вас вольно, и вы сожжете весь мир и упьетесь победой, лишь когда по всей земле протащите смрадно-черное пожарище смерти.

Не веря ветру, не доверяясь удаче, слобожане весь день поджигали степную дорогу.

Возвращались ночью. На Турьем урочище пылали высокие факелы. Горели старинные пни, многими годами копившие на себе толщи мха. Опушки лесов были отмечены змеистыми грядами огня, который доедал кочки и подсушенные пожаром кусты. Пламени не было хода только во влажные лесные сени, защищенные сочными папоротниками, кипреем, липкой сон-травой.

Ветер срывал пепел с выгоревшей степи, открывая рдеющие поляны. Глубоко затлелась степная одежда, сотканная тысячами поколений отмерших корней.

Ратибор думал: «А если бы мы подожгли степь навстречу хазарам?» Не находя ответа, он утешался: тогда степь еще не так высохла, как ныне. И – старался забыть, забыть. Нельзя переделывать совершенное, нет на это власти ни у богов, ни у людей.

Степь! Да ныне весь край неба в Заросье захватило огнем. Пожар изъел всю степную дорогу. Хазары свои табуны подогнали к Рось-реке и, защищаясь от степного пожара, пускали встречный огонь. Грозы не было, не сами же хазары жгли степь.

С наступлением темноты затворники-слобожане слушали из своей крепости, как необычно завозились хазары. Что-то новое творилось в стане степных людей. Под самой же слободой было тихо. Вдруг снизу легко позвали:

– Люди!.. Эй, слобода!.. Наши...

Щерб перегнулся через тын, сказал:

– Слышу... Крук, ты?

Снизу звук идет хорошо. Щерб узнал кровного брата. Крук прокрался между хазарами!

– Лестницу кидай, – приказал снизу Крук и, не дожидаясь, спросил: – А степь-то хорошо горела?

Теперь Щерб догадался, что пламя пустили свои. Для чего же?

С тына свесилась многосаженная лента. Два толстых ремня с вшитыми поперечинами достигли низа сухого рва.

– Полезай... – шепнул Щерб вниз, но услышал не Крука, а чужой голос, хазарский. Вскрик, ворчание, возня, чей-то хрип. Лестница натянулась, задрожала.

– Иду, – сказал Крук. Он поднимался медленно. Захватившись за тын, он другой рукой поднял чье-то тело: – Принимай...

Перебросив себя через тын, Крук повернулся и начал выбирать лестницу.

– Там еще один, – объяснил он Щербу. – Я его привязал.

Крук положил тела хазар перед дверью воеводиной избы. Масляный фитиль осветил Крука – он сам был хазарином. В желтых сапогах, красных штанах, в наборной, из колец, железной рубахе, с хазарской саблей в роскошных ножнах красной кожи, украшенных светлыми камешками и золотыми гвоздями. На голове Крука ладно сидел низкий шлем.

– Горела степь, говоришь? – спросил Крук.

– Еще и ныне горит. Страшно глядеть. Что дальше, то шире. Сушь. До самого моря дойдет.

Кровные братья забрались на вышку. Оглядевшись, Крук приказал:

– Факел вяжите на шест.

Широко размахнувшись факелом, Крук объяснил:

– Так князь узнает, что я добрался. Теперь же укрепи шест прямо. Он узнает, что степь выгорела.

Падающими звездами вниз, в темноту, улетали горящие слезы смолы. Никто не спрашивал Крука, он сам, зная, что все собрались, крикнул в темноту:

– Тех хазар мы покончили всех. Завтра покончим этих. И вы, молодые, тоже готовьтесь к бою. Доучиваться будете... в поле...

В княжеской избе Крук попросил Щерба:

– Дай испить нашей, слободской водицы.

Не снимая железной рубахи, он повалился на шкуру, бормоча сонным голосом:

– Спать буду до света. Как мы пошли из дома, я, будто помнится, не спал ничего... Брат, доспех мне дашь на завтра. Этот я сам просек на живом хазарине. Через хазар идти, вот и обрядился в нечисть. А тебе был бы ныне конец...

– Что так? – спросил Щерб.

– Припаса на слом не поленились собрать хазары.

– Видел я, – возразил Щерб, – я бы отбился.

– Со ста сторон они бы полезли, не отбиваться нам, бить нам нужно, как... – и сон сковал язык Крука. Он спал, не успев рассказать, как придушил обоих хазар, как хоть и худая, а спасла его от ножа добытая с боя кольчуга.

Нет, все равно не рассказал бы. Мелким стало такое для людей, которые научились бить врага в чистом поле. Щерб знал, что тела случайно убитых хазар Крук притащил не для хвастовства, не для того, чтобы попользоваться добычей. Иное здесь скрывалось. Убитый в бою не знает, кто его поразил, душа его не погонится за победителем. Не так в одиночной схватке. Душа, отойдя от истлевшего тела, прилипнет к убийце, будет мстить. Тело нужно зарыть, чтобы земля изъела Душу.

6

Ночью в лесу следов не увидишь. Держа повод в сгибе правого локтя, Хилла шарил по земле руками. Найдя отпечатки копыт, Хилла старался нащупать, где зацеп, где пятка.

Черный лес, черная ночь. Дурной лес, дурная ночь. В степи видно и ночью, старый степняк Хилла в степи – дома.

И все же он верил, что выберется. Ему всегда везло, Хавр даровал ему особое счастье в несчастье. Нуждаясь в утешении, Хилла разогнулся и стал считать удачи последних дней. На тропе русский самострел убил лошадь сына хана. Хилла был рядом. Будь самострел насторожен чуть-чуть иначе, Хилла потерял бы свою лошадь. После сожжения русских идолов Хилла шел пешком, сын хана взял его лошадь. Тонкая стрелка ужалила ханского сына, и Хилла опять сел в свое седло. Когда в поле русская конница ударила, Хилла, оказавшись крайним в строю, был отброшен к лесу, иначе ему бы не уйти. Три раза Хилла имел счастье в несчастье. Он еще будет жить. Теперь он сумел найти следы конных. Следы шли от реки. Хилла был уверен, что именно здесь хан вел свой род. Нужно ехать против следов.

Хилла боялся ехать верхом. Ночью ветка сорвет с седла, сучок выколет глаз. Это не степь. Новый хан захочет, чтобы его полюбили. Он раздаст пережившим поход имущество и скот погибших, отдаст жен, детей, чтобы было кому позаботиться о слабых. Русские побили родовичей Хиллы, зато теперь у него будет много жен и послушных детей, много лошадей, баранов, коров. Быть счастливым в общем несчастье – великое благо. Хилла даст Хавру быка, корову, овцу, барана, жеребца. Всех – черной масти. Хавр любит кровь черных животных, она ярче и гуще другой.

Лошадь, задевая за корни, оступалась. Хилла тоже спотыкался. Они оба не умели ходить в лесах. Что-то зашуршало, затрещали сучья. Лошадь Хиллы рванулась.

– Чи! Чшии! – зашипел Хилла, подбирая повод.

Тигр, или волк, или барс... Э, сейчас у всех много поживы, зачем им нападать на живого человека, на живую лошадь...

– Ту-вза! Ту-вза! – взвизгнул Хилла, пугая зверя. – Вперед, вперед, – он потянул за повод.

Ему казалось, он вспоминает дорогу. Лес вдруг обрезался. Запахло рекой. Спуск. Да, он не ошибся. Хавр велик.

На этом берегу тысяча всадников вытаптывала кусты, траву, ломала камыш-редник на песчаной отмели. У Хиллы не было с собой бурдюков. Он потерял свои бурдюки. Нужно пару на каждого всадника. Так хазары переправлялись через Днепр, где от берега до берега больше одного фарасанга^[53], где человек на другом берегу кажется сусликом, лошадь – кошкой. А-а, до Днепра Хилла сделает себе новые бурдюки.

– Ча-шаа-а! Ча-а, чши, красавец, сильный, умный! – говорил Хилла, трепля коня по шее. – Идем, идем!..

Ноги устали и болели от ходьбы. Хилла с трудом забрался в седло. Вперед, вперед! Конь сторожко переступил, остановился в реке, но, почувствовав твердое дно песчаной отмели, послушно пошел. Камыш тревожно зашелестел. Войдя по грудь, конь остановился, натянул повод, прося воли. Хилла позволил коню сделать глоток-другой. Сам Хилла решил напиться только после переправы, хотя и его сжигала жажда. Никогда Хилле не приходилось переправляться ночами. Он не умел плавать, конь умел, конь вывезет. Там – степь, здесь – русские.

Река поднималась, холодная вода налилась в сапоги. Конь опустился, поплыл. Хилла соскользнул влево. Течение неслось с правой стороны и могло затащить Хиллу под брюхо коня. Хилла вцепился в холку. На коня – вся надежда.

Плеснуло. Рот Хиллы залило. Он судорожно глотнул, хотя пить ему уже не хотелось. Берега он не видел. Реке не было конца. Конь ударил передними ногами, вода вспенилась. В отчаянье Хилла приподнялся, опираясь на холку. И почти сразу конь достал дно. Измученный, обессиленный Хилла едва смог лечь животом на седло. На берегу он вспомнил, чего испугался конь. Это было лошадиное брюхо, над которым торчала нога в сапоге. В таком же, какие носил сам Хилла. И спасшийся вознес бессловную благодарность Хавру: другой погиб в проклятой реке, не Хилла!

Почтительно сидя на корточках перед ханом Суникой-Ермиа, Хилла рассказал короткую, как смерть, историю гибели хана Эгана-Саола и тех, кто был с ним.

Бесстрастно, не моргая, хан Суника-Ермиа смотрел на желтое лицо Хиллы, на редкую бороду, которая росла только по челюсти. Узкие глаза дурного вестника прятались в веках-щелках и казались закрытыми. Рот, как прорубленный, был заботливо сморщен, и губы едва шевелились. «Жадный к добыче, скупой в бою», – невольно определил Суника-Ермиа характер ничтожного человека. С его висков не падали нарочно спущенные прядки волос. Родович Эгана-Саола был поклонником Хавра, язычником.

Ощущение неудачи тревожно проснулось в душе Суники-Ермиа. Он полагал, что славяне нападут на обоих его друзей. Он сам нарочно остался сзади. Он выжидал, когда схватки со славянами, истощив, ослабив друзей-ханов, сделают его самого первым. Суника-Ермиа вступит в славянскую землю сильнейшим, и он, а не Шамоэл-Зарол, не Эган-Саол, получит настоящую цену победы. Сегодня днем загорелась степь. Теперь пришла весть об истреблении воинов Эгана-Саола...

Хан не слушал Хиллу, который вразброд доставал из своей памяти подробности поражения, запинаясь, как сытая курица, лениво клюющая зерно, рассыпанное небрежной рукой.

Все легли... Все? Он лжет, трус. Он бежал от первого взмаха славянской сабли. Нет, не лжет...

Хан вспомнил своего отца. В конце жизни отца проповедники Яхве принесли Закон с берегов Серединного моря. Хакан принял Закон, его воле, его примеру последовали лучшие люди. На их тела и на тела их детей проповедники Закона наложили знак союза. Низкие люди, как этот ничтожный, продолжали держаться старого Хавра. Учителя Закона советовали хакану не спешить, они хитроумно нашли сходство между Яхве и Хавром. Пусть истину знают высшие, простым довольно ее отражения. Старый отец Суники предсказывал бедствия хазарам. Они раздвоились. Отныне у знатных другой Закон, другой обычай, чем у простых. В разделении заложена гибель народа...

В шатре хана горел седмисвечник^[54], заправленный подземным маслом-нафтой, которое доставали у персов. Огни колебались, искажая лицо Хиллы. Яхве жесток, мстителен, он тысячами тысяч уничтожал своих врагов. Враги Яхве – все, кто не принял его Закона, кто не носит на теле знак союза. Темные хазары – тоже враги Яхве. Хан сделал движение, будто отмахиваясь от мухи. Согнувшись, Хилла попятился к выходу. Суника-Ермиа не успел додумать свою думу, в седмисвечнике не успели нагореть фитили, как в шатер проникли другие вестники другой гибели: меч Яхве рукой славян поразил также и хана Шамоэла-Зарола.

Ночью хазарские рога разбудили всех слободских, кроме Крука, мертвецом спавшего на воеводской постели. Славяне зовут в рога иначе, чем хазары. И все же ухо чувствовало, что только к общему сбору может созывать чередование протяжных и коротких вскриков. И шум был у брода, и громкие голоса. Почему не рождаются воины с глазами совы!

При утреннем свете Щерб увидел то же, что видел вчера. На расстоянии выстрела были разложены длинные лестницы, шесты, бревна, канаты. Там же стояли подобия длинных корыт, сплетенные из ветвей, высотой больше человеческого роста. Накрывшись таким корытом, сразу человек двадцать могут вплотную подойти к тыну, не боясь стрел и камней. Кучами лежали щиты, которыми могли защищаться три и четыре бойца. На месте была и решетчатая башня из бревен на тележных колесах. С нее, если подкатить к слободе, хазары смогут бить стрелами. Щерб похвалился перед Круком, обещаясь отбить натиск. Слободу ждала скорая гибель.

Все заготовленное для слома слободы было на месте. Но ни одного хазарина не оставалось на лесном берегу Роси.

Хазарин не умеет рубить топором, как россич, не может вытесать паз и врезать лапу так плотно, чтобы одна тесина держалась в другой, как сук на породившем его стволе. Хазарский осадный припас был связан сыромятными ремнями, и на берегу тухло разило сыромятиной. Казалось, что и от самих хазар тянет терпко-кислая вонь.

От дедов не было слыхано, чтобы россичи мирно говорили со степными людьми. Утром, когда россское войско вышло к слободе, из хазарского стана к Роси поехали конные, небольшим числом, без доспехов, без шлемов. На том берегу хазары стали звать на переговоры. Один из них, дойдя до середины брода, кричал по-росски:

– Мир! Мир!

Не наблюдая враждебных действий со стороны россичей, несколько хазар вслед за первыми перешли Рось.

На заготовленных хазарами щитах уселись степняки и россичи. Хазарин заговорил:

– Мой хан, славный, могущественный, по имени от предков Суника, Ермиа по закону Яхве, хочет уйти с миром обратно в степи. – При этих словах встал пожилой хазарин, одетый в длинный кафтан блестящей ткани, расшитый золотыми нитками. Он кивнул головой в черной шапочке, торжественно поднял руку к небу и приложил ладонь к сердцу.

Толмач сказал:

– Хан поклялся именем Яхве в истине слов и в чистоте намерений.

Сев на плоский мешок, принесенный для него одного, хан, глядя на Всеслава, в котором сумел угадать равного себе, произнес несколько слов. Толмач тянулся ухом к хану и покрякивал: «Э! Э! Э!»

– Хан говорит, у него нет зла на вас. Он вам дурного не сделал. Другие ханы вошли в ваш лес и там погибли. Он, Суника-Ермиа, ныне уходит от вас с миром, – перевел толмач.

– А это он к чему совершал? – спросил Всеслав, указывая на лестницы, на щиты.

– Хан изменил намерения, – вывернулся толмач.

– Лжешь! – крикнул Щерб.

– Пес ты, – сказал Крук, – псица ты, не в обиду псу. С твоим ханом!

– Спроси твоего хана Сунику, – приказал Всеслав толмачу, – своей ли волей он на нас напал? Нам ведомо: ромеи засылали к хазарам послов. Мы же с ромеями торгуем от века и с ними мир не нарушили.

– Справедливый и благородный хан говорит, – ответил толмач, – хазары общаются со многими

людьми, общаются и с ромеями. Хан говорит: теряет лицо тот, кто разглашает слово, доверенное ему.

– Вот оно, – вслух подумал князь-старшина Чамота. Он, израненный, сидел рядом с калекой Горбым, который вместо слов зловеще загудел тетивой своего страшного лука.

Всеслав встретился глазами с холодным и бесстрашным, как у орла, взглядом хана и поднял руку. Все ждали в молчании.

Малх боялся упустить слово, звук. Неужели он один понимает совершающееся? В глубине скифской пустыни происходит необычайное. Что знал мир о славянах! Говорили, что они живут в бедных хижинах, редко разбросанных в дикой земле. Что нет у них власти, что они из дикости не верят даже в Судьбу и поклоняются рекам, деревьям. Воистину места, обозначая которые на картах, ученые писали «варвары», полны чудес и великих сил.

Ромей чувствовал, что хазарский хан отдался на милость русских из высоких побуждений. На неведомом МИРУ рубеже безвестной реки не найдется третейского судьи. Степной вождь рисковал собой, чтобы спасти своих, пришел, веря в силу слова, к врагам, не требуя заложников и обещаний.

Толмач опять убеждал:

– Хан говорит: судьба людей в руках бога. Без воли бога ничто не совершается. Мои братья погибли волей бога. Не искушай его, славянский хан, удовлетвори своей удачей. Ты хочешь еще сражаться? Судьба воинов, судьба сражений решается богом. Если мы падем, и ты потеряешь своих. Я дам тебе выкуп. Когда мы приходим из степи в границы империи ромеев, полководцы базилевса дают нам выкуп, и мы уходим с миром. Сегодня и ты можешь поступить с нами, как мы с ромеями. В этом нет бесчестья, в этом – слава.

«Да, – думал Малх, – империя прикормила варваров и приучает одних за другими ходить к себе за золотом».

Всеслав отвечал:

– В твоих словах нет правды. Воля людей совершает дела. Наш Перун помогает нам, когда мы сами себе помогаем. Не волей твоего бога, а нашей волей перебиты твои братья. Вы напали на нас, вы разрушали наши грады, вы сожгли образы наших богов. Мы продаем ромеям хлеб, меха. Мы не продадим никому нашу кровь и наших богов. Ромеи поступают бесчестно. Уходи! Может быть, я позволю одному из всех вас вернуться домой. Чтобы он сказал другим: «Не ходите на Рось, на Роси живет хазарская смерть». Теперь иди, хан, я не дам тебе мира.

Малх не отрывался от лица хана. Толмач переводил слова князя. Кустистые брови, брошенные, как крылья, на широком лбу хана, не дрогнули. Чуть косые глаза в мелких морщинках смотрели спокойно и казались серыми камнями. Точеными, как у статуи, руками хан провел по щекам, по острой бороде, поднял глаза к небу, произнес:

– Яхве, о Яхве! – и что-то сказал толмачу быстрым решительным голосом.

Толмач торжественно перевел:

– Хан говорит: «Бог битв изменчив». Хан говорит: «Сегодня ты победил, другой победит завтра». Хан говорит: «Все люди смертны, один удел у победителя и у побежденного – смерть». Смерть идет рядом с тобой, славянский хан. Увы тебе! Ты играешь с Судьбой. Она отвернется от тебя, и люди оставят тебя. Так Суника-Ермиа говорит тебе: пока воля бога дает тебе дыхание, живи!

Хазары поднялись, пошли к броду. На плетеном щите остался красный мешок, набитый пухом, на котором сидел хан. Степняки уходили медленно-медленно, будто желая дать славянам время, пока еще

можно перерешить, передумать. Хан махнул рукой, и хазары послушно опередили своего повелителя. Он, как сильнейший на поле битвы, отступал последним. Никто не оборачивался. Казалось, что эти незащищенные взглядом спины и затылки ждут удара. Может быть, им будет легче, когда удар наконец упадет.

На броне мелкая вода струилась между камнями, гладко обточенными мягкой силой реки. Хан все больше отставал, прямой, гордый. Остальные хазары были уже на степном берегу, когда хан ступил в воду.

Кто-то из россичей подумал вслух:

– Однако ведь не обещались же, что более к нам не придут...

Смутно и неясно в уме Всеслава, не изощренного в применении Власти, зарождались особенные мысли. Нужна слава. Сила славы не выше ли силы меча? За славой идут. Наследием славы живут. Имеющий лишь тень славы живет в этой тени как сильный.

Всеслав хотел решать один. У него не было утешенья, которое давало спокойствие хану Сунике. Над князем россичей не стояла Судьба, заслоня извечным предначертаньем ответственность перед своей совестью, перед людьми. До сих пор Всеслав совершал задуманное сам. Не гордость – совесть не позволяла ему переложить бремя на плечи других.

Всеславу казалось, что много времени прошло с того, в сущности, недалекого дня, когда он послал Ратибора за ложной вестью о нашествии степняков. Воевода забыл свои сомненья. Да, с той вестью, с выдумкой, он хотел требовать от соседей помощи. Он знал – они откажут. Он задумал напасть сначала на каничей, потом на илвичей. Он мог бы смирить их, набрать в слободу сотни новых воинов... Совершилось во сто крат большее, чем задуманное. Всеслав не знал тогда, какую силу составляют его россичи. Уже избиты две тысячи хазар. Добыча, взятая на телах, и степные кони несказанно обогащают русское племя.

Хазары предложили выкуп. Они отдали бы все. Можно оставить по коню, по одному луку на троих, по ножу на двоих, чтобы им только добраться домой.

Всеславу решать. Разве он щадил себя? Ныне его, воеводу, сами люди князем зовут. Нет россича, равного ему с оружием. Кто лучше его знает править боем, знает, что и как совершать? Он по праву князь россичей. Умирая, Всеслав Старый нарек его своим преемником не по любви, не по родству, но заботясь о защите земли.

Княжить-править – не хитростью властвовать, не уговорами, не разделеньем людей, не подкупом, не насильем.

Княжить – жить труднее, чем живется другим. Княжить – не о себе, о других думать.

Оттолкнул Всеслав тени отца, жены, просивших его побережь кровь россичей. Нет. Не будет мира хазарам! Слава нужна россичам, слава!

Медленнее, чем пешеход, хазарский обоз тянулся по степной дороге на юг.

Легкий пепел, истолченный копытами и колесами, поднялся серой тучей. Сам цвет неба изменился. В скрипучем скрежете громадных колес неумолчная жалоба. Твердое дерево втулок и осей кричало, прося пить.

Русское войско висело над хазарами. Пеших больше не было, Всеслав посадил всех на коня. Россичи опережали хазар. Князь опасался, чтобы они не попробовали вырваться, бросив обоз.

Сладкий ручей печально рассекал степную гарь. Сухая пора убивала его струи, местами ток воды

прерывался совсем. Пользуясь медленностью хода хазар, россичи успели отравить скудный водоем конским навозом. В первый день хазары ночевали в степи без воды, без травы для лошадей. Второй раз хазары ночевали у Сладкого ручья, обманувшись в надежде найти воду.

Вспоминая мужество благородного хана Суники, Всеслав понял, что он не бросит обоз с усталыми, ранеными, слабыми, с женщинами. На третий день, дав хазарам сняться с привала, князь вывел им навстречу все войско. Теперь Всеслав видел, что есть еще сила у хазар. Быстро выровнялись телеги, образуя вал, непроходимый для конных. В порядке вышла на горелое поле хазарская конница. Степняки не решились ударить первыми, и Всеслав понимал, что Суника боится засад и хитростей. Всеслав медлил, томя хазар. Так стояли долго, солнце ушло за полдень.

Потеряв много времени, хазары решились двинуться дальше. Всеслав отходил, наблюдая, как степняки изменили строй телег.

До сих пор они шли тремя нитками, теперь – уступами, чтобы быстро оградиться от внезапного нападения с ходу. Добрые воины хазары, добрый воевода хан Суника-Ермиа, воевода двухименный.

Десятки сотен запасных коней – сила степняков – сейчас обременяли хазар. Но хазарину легче расстаться с женой, чем с конем. Перемолотый пепел степного пожарища закрывал хазар густым пологом. Когда ветер сносил пыль в сторону, появлялись ряды конницы, которая казалась совсем истощенной, и телеги, подобные серым осенним холмам. И опять вилась пыль, опять все исчезало. Порой хазары, точно заблудившись, останавливались и выжидали, когда сделается виднее. Они боялись потерять путь, боялись внезапного нападения, боялись ловушки. День стал ночью.

И россичи глотали пыль, и россичи шли днем во мраке. Зато ночью находили в оврагах знакомые ручьи и озера, а коням хватало лесной травы.

Обезумев от жажды, собаки бежали из хазарского стана. Зачастую вырывались и лошади.

Малх, сердечно привязавшись к Ратибору, рассказывал молчаливому товарищу о Крассе, полководце римлян. То было не так давно, двадцать, может быть, и тридцать поколений тому назад. На западе римляне владели всеми землями и всеми водами до Мирового океана, который не имеет конца. А на востоке римляне граничили с мидами – ныне там персы. Красс повел легионы на мидов. Он шел пустыней, его окружила конница мидов. Римляне были пеше. Несколько дней миды били римлян стрелами. У римлян были хорошие шлемы, длинные щиты, поножи. Стрелы редко убивали их, но вскоре не оставалось почти ни одного, кто не был бы ранен в руки, в ноги. Легионы сделались слабее больных детей. Миды перебили всех и долго потом похвалялись головой Красса.

Ратибор не отвечал, и Малх замолкал неловко, стесненно, как человек, неумно болтающий там, где пристойно только молчание.

На четвертый день хазары дотянулись до развалин жилищ длиннопалых людей, где на исходе весны ночевал Ратибор, слушая, как в степи див кликал перед бедою.

Огонь случайно пощадил городище. Всю ночь слышался визг лошадей, дравшихся из-за скудной пищи. Под утро много сотен хазарских коней вырвались из лагеря. Степняки не пытались гнаться за беглыми.

Когда обоз медленно двинулся, Всеслав послал в дело лучших стрелков на лучших конях. Степняки попробовали отогнать славян. Хазарские стрелы не доставали слобожан, достав – не били. Их лошади, обеспамятев от жажды, обезумев от завяленного мяса, которым их кормили вместо травы, неслись, как в лихорадке, и вдруг останавливались, не слушая плети. Опорожнив свой колчан, россич отъезжал за новым. Небо дождило стрелами, стрел не жалели, берегли себя. Когда оседала пыль, замечали, что на пути

хазарских телег оставались тела людей и лошадей, лошадей и людей. Как холмики у сурчиных нор, они обозначали скорбный путь степняков. Вот один, другой, и два, и пять сразу – частые, как кочки на моховом болоте.

Взмахи крыльев хищных птиц, падавших на добычу, поднимали облачка пепла.

В тот день изнемогшие хазары не дотянули до вечерней зари. Кое-как телеги составили круг.

Россици приблизились, высматривали, щедро тратили стрелы. Ночью, оцепив стан, они ловили тех, кто пытался в одиночку добраться до лесов, сочных, богатых водой.

Утром от хазар бежали новые табуны лошадей. В этот день тележный стан оставался в неподвижности. Приблизившись к нему, россичи встретились со степняками. Шагом шла хазарская конница – полумертвые люди на обессиленных лошадях.

Можно было набрать хазар для весеннего торго с ромеями. Претила мысль: а не даровал ли ты жизнь, не кормишь ли того, кто открыл ножом горло твоей матери, сыну, отцу? Пусть и не самого убийцу, а его брата ты будешь кормить, его друга, его соплеменника, который пришел издалека по ничейной земле с мыслью погубить славянина, которого и имени-то он никогда не слышал...

Князь Всеслав не искал хана Сунику, чтобы потешиться праздным словом. Хан сгинул безыменно, ушел в землю голый среди других голых тел, зарытых в глубоких могилах, чтобы зверь, раскопав, не выпустил к свету луны мстительные души хазар.

Свое обещание Всеслав выполнил с лихвой. Двум хазаринкам, может быть, из числа жен успокоенного железом хана, оставили жизнь. Дали им лошадей, оружие, дали съестной припас, проводили до свежей травы и отпустили на волю хазарской судьбы.

7

Поют колеса хазарских телег. Раскачиваясь, запинаясь в рытвинах, кренясь, подобно челнам на Днепре в свежий ветер, движутся к Роси крытые возы, каждый ростом в избу. Плохо слушаются лошади чужого голоса, не понимают чужих слов.

Трудись, князь, трудись, воин! Смерть идет рядом с вами. Она – общий удел. Души убитых мнутся над землей, как стаи вспугнутых птиц, как стада, брошенные пастухами. Удел воина. Трудись же, спеши совершать свое дело.

Мерзка уху надоевшая жалоба колес. Гарь тяготит сердце, томителен запах тления. А погани сколько! От самой Припяти до Теплого моря среди чернокрылых прошел слух о пышном столе. Ворон-крук, серая ворона, сорока, коршун – все здесь. Они ненасытны, как непогребенные души.

Россичи шли облавой, теснили на свою сторону, к Роси, хазарских коней, собирали оружие, одежду. Птицы указывали. Погляди только, куда летят, где садятся. Засеялась степная дорога. Весной на удобренной пеплом земле поднимутся травы сильнее, чем были. И случайный охотник наступит на желтую кость, под его стопой хрустнет древко стрелы с наконечником, источенным ржавчиной.

Возы наполнялись добычей. Скоро некуда будет класть, а все свозят и свозят воины, безразличные к ценности взятого. Князь велел все собрать, он знает, он Вещий.

Всадник, не чувствуя, забывается в седле. Лошадь останавливается, человек утыкается лицом в гриву. Миг – и он проснулся. Поясница гибка, ноги держат коня обручем, это усталая душа задремала. Вещий велел, чтобы не пропадали зря седла, стрелы, узда. Велел брать все, до ремня, до рваного кафтана, до сломанной сабли.

У Роси родовичи приготовили встречу победившему войску. Столы поставили из лестниц, из осадных хазарских щитов.

Князь-старшины Могута и Плавик постарались об угощении, они могли изготовиться к встрече: это они отказались дать дружинников при вести о нашествии. Мужчины их родов дома сидели, готовясь отбиваться из-за тына своей силой. Не дошли до них хазары, иначе погибли бы их грады, не устояли бы перед хазарской силищей.

Соседи – Плавик и Могута без жалости жали вольных пахарей-извергов, считая их как изгоев, зато умно вели родовое хозяйство и были среди россичей самыми богатыми. То-то и навезли они к берегу Роси глубокие кадки меда, простого и ставленого, мяса разного, сладкой домашней свинины. Туши нетелей, годовалых бычков и кабанчиков жарились на вертелах, пеклись в ямах. Десятки сотен уток и гусей, битых на озерах, лежали на плетенках, коричневые, копченые, исходя ароматным жирком. В корчагах упревало варево. Ждали каши из полбы, из гороха, из дробленой пшеницы, поджаренной на сковородах. Высокие фляги были полны зеленого масла, свежедавленного из семян конопли и льна.

Хазарские лошади, ручные от изнурения, табунами потекли к Роси. У степных скакунов не хватало сил прибавить ходу и при виде воды. Не обращая внимания на чужих людей, лошади пили, отходили, чтобы схватить желтыми зубами пучок травы, и возвращались к реке. Иные еще несли седло на спине, у иных оно сбилось под брюхо. Следом за живой добычей появилось войско.

Крик и плач женщин встретил победителей. От пяти родов, которые уцелели, если не считать Могуты и Плавика, только женщины, старики да дети могли прийти к слободе. С оружием, сбившись в отряды, они пробрались лесными тропами. Они боялись недобитых хазар, которые разбежались по росской земле после поражения. Много ль они гостинцев могли принести кровным? Только самое дорогое – себя.

С гордостью думал Всеслав, что немногие матери, жены, отцы не найдут своих в рядах войска.

Могута и Плавик встречали слободу, неся на белых полотенцах дары – свежий хлеб. Вдруг звякнули тетивы. Несколько стрел поразили князь-старшин, изменников русскому единству.

Не сказались стрелявшие, смолчали видевшие стрелков. Темной осталась смерть тех, кто чрезмерно возлюбил своих близких. Убийц не искали. Убийц ли? Слишком руки привыкли к оружию, слишком уж обучился глаз видеть двуногую цель, ярить сердце, и тешиться боем, и мстить. След войны выжигается в сердце, и никто не возвращается с поля таким, каким вышел из дома.

Могута приподнялся перед копытами княжьего коня, сказал:

– Ты, ты... – и захлебнулся.

«Смерть твоя рядом с тобой», – вспомнилась Всеславу речь хана Сунки. Да, он князь-победитель, бездомен, безроден. Зажглось сердце. Нет отца, нет детей. Нет жены, голодной по ласке, которую он не хотел дать, не умел. А вот сейчас бы он смог, он сжег бы красавицу Красу буйством зрелой любви. Все – пустое...

Князь сказал мужчинам из родов Могуты и Плавика:

– Вы не дар принесли. Знайте, с вас я беру дань, а не дар. Вы робкие, вы затынники, идите вину заслуживать, мужское дело делать. На трапезе женщины прислужат. Вы же слушайте! Хазары беглые из нашей земли выбирают – вы их ищите и бейте. Реку стерегите, чтобы они в степь не бежали бы. Князь-старшин я вам даю из слободских. Вот вам Щерб, вот вам Крук. Они вами управят, где вам быть, как вершить. А непослушных ставленные мною князь-старшины смертью накажут на месте!

Оставив пиршество, Всеслав поскакал на развалины своего града. Тела найти, хоть косточки, пусть обожженные пожаром, пусть изглоданные зверем, исклеванные птицей. Скорее, скорее похоронить их по русскому обычаю, чтобы успокоить их души, чтобы на небесной тверди, в лесах Дажбога и Сварога встретиться с ними, сказать несказанное, дать не даваемое.

Образы славянских богов разнятся чертами лица, разнятся ростом. На каждом погосте – свои. Как вдохновился мастер мечтой, как прошел резец, как поддалось железу твердое дерево, так и сделалось обличье бога. Боги – блюстители неба. На небе мать встречает ребенка, сын находит отца, воин – товарища. Славянин не признавал смерти, русское сердце не могло допустить мысли о разлуке навечно. Сильный духом русич утверждал себя в вечности непрерываемой жизни.

Илвичи звали к себе русичей погостить перед богами. Погосты людей русского языка все схожи между собой. Лики богов, стоящих полукружием, обращены на восток. В дни равноденствия солнце – живой глаз Сварога, – поднявшись над лесом, сразу находит свой земной образ. «Ты – наверху, я – внизу», – перекликаются они.

Илвичей много больше числом, чем русичей, и погост их обширен.

Весть о победе русичей разнеслась повсюду. Сейчас и на Припяти уже знали об избиении тысяч хазар, о несказанной добыче. В самых дальних градах дальних племен радовались поражению Степи. Говорили о силе русичей, о Вещем князе, которого и стрела не берет, который бьется обеими руками. Он сам, одетый в копытный доспех, как бедный родович, побивал хазарские рати. Он, Вещий, слышит слово, сказанное от него в двух днях пути. Будь такой князь и такая сила у русичей в гуннские дни, не загнали бы славян в припятские болота. И тянулись любопытные издали, через многие засеки, реки, речки, ручьи и овраги, через лесные пущи, только чтобы взглянуть на никогда не виданные хазарские возы величиной с гору, на буйных степных лошадей, дышащих огнем, на сабли длиною в оглоблю.

В назначенный день илвичи, оставив дома только древних старух и стариков да детей, шли на свой

погост. Родовичи не довольствовались тайными лазами в засеках, делали широкие проходы напрямую. Смело топтали тропы, не заботясь, как делали раньше, идти вразбивку, чтобы скорее зарос след. Бита степная сила, не скоро вырастят хазарские вдовы новых бойцов, чтобы бегать на Рось.

Больше трех тысяч взрослых илвичей собрались на погосте. К полудню прибыли россичи. Как воевали, так они и явились, конные, бронные, щит за спиной, лук у седла, меч на левом бедре, копье у правого стремени. Илвичи кричали славу гостям, и оглушенные птицы падали с неба.

В общем молчании, служа Сварогу, лили кровь белых петухов, кормили навях ягненком, сожженным на костре. И двадцать три князь-старшины разом кланялись россичам, благодаря от имени родов за оборону от недруга русского языка. Россичи не сошли с коней, не ответили на поклоны. Князь Всеслав сказал:

– Нет человека, который не ценит хвалу, коль она достается за доброе дело. Примите и вы, князья, мое слово по чести и разуму-совести. Зимой ездили-ходили к вам наши князья кланяться, как будто погорелые. Много ль вы дали? А кто и совсем не дал нам помощи. Это вам россичи запомнили. Послали к вам с вестью о хазарах близ Роси. Что дали вы? К нам пришел воевода Дубок с шестью десятками мечей от ваших многих сотен. Много ли это? Так кость бросают псу, чтобы он отстал. Того вам россичи не забыли, скупые князья. Не вас благодарят россичи, благодарят Дубка с его воинами. И то скажу вам: плохо вы учите ваших воинов. От плохого умения половина ваших полегла из малого даже числа.

Всеслав умел голосом охватить весь погост. Окаменев, слушали его илвичи, еще не понимая, что хоть и навезли они снеди чествовать россичей, а не получается чествованье.

Перерывом в речи Всеслава воспользовался князь-старшина Павич.

Павич начал с важностью:

– Ты, видать, крепким пивом упился, воевода! Явился к нам оружный, старшим дерзишь....

Всеслав не дал Павичу кончить, закричал на князя, как на собаку:

– Цыц! Знай свое место, дурная борода! Ты, глупец, сделал изгоями из рода своих, которые хотели защищать русский язык. Молчи, или плетью отвечу!

Охватив голову руками, Павич спрятался за чужими спинами от страшного лица яростного князя. Всеслав же продолжал с великим гневом:

– Доколе так жить будем, илвичи? Гунны нападали, от россичей осталось семь человек. После гуннов сколько раз степные приходили, сколько русских градов сожгли. А к вам не доходили, насытись нашим горем. Ныне хазары пришли с великой силой, пропали наши грады. Вам же – ничего. Да, россичи побили великую хазарскую силу. А коль бы их, хазаров, еще больше пришло? Нет, не забуду я, худой россич забудет вам то, что вами не совершено. С нашей общей силой я бы хазар через Рось не пустил, в степи всех удушил бы. И с вами поделил бы неслыханную от века добычу.

Илвичские князь-старшины повесили головы. Была их вина, была. Боялись: гневный россич велит своим посечь их мечами.

Всеслав пустил коня в толпу илвичей, как в море. Дымчатый, беломордый, невиданный конь. Глаза ясные, под кожей горячая кровь играет сетью жил. Осторожно, будто рукой, конь раздвигал людей, в тесноте умел искать опору и, чувствуя ногу человека, скользил чутким копытом на землю.

Князь поднял руки, призывая внимание. Князь говорил, а под мордой коня-балана стояла женщина с малым ребенком на руках. Дитя гладило конские ноздри, а бывший ханский конь с девичьей нежностью ловил губами детские пальчики. Забывшейся матери князь Всеслав казался воплощением Сварога, который

покинул священный дуб в заросской роще.

– Люди русского языка, я к вам обращаюсь, ко всем... не быть прошлому! Одна наша речь, один наш обычай и боги. Одна кровь у нас, и никто не отличит илвича от руссича, от канича, от руссавича, от всех людей, живущих между Русью и Припятью. Будем ли мы в раздроблении жить жалкой жизнью птицы, беззащитной в гнезде на голой земле, или будем сильны единством? Решайте!

Взмыл общий вопль, прокатился, затих.

– Я обещаю вам вольность, защиту. Я обещаю вам жизнь без страха. Я дам вам, люди, великую силу!

Восторг сжимал горло нового руссича Малха, бывшего грека-ромея. Он своей кровью завоевал право быть в славянском братстве. Доброжелательный Фатум бросил Малха на межу степи и леса, дал ему видеть созидание народа. Как в дни рождения Древнего Рима! Налитые силой жизни суровые люди вольно объединяются для великого будущего.

Всеслав еще говорил бы, но уже как в иступлении кричали илвичские родовичи, кричали илвичские изверги – вольные пахари:

– Слава! Слава! С тобой, Вещий! С тобой, князь великий, с вами мы, руссичи, с вами!

Все ли илвичи, как один, принимали единство? Нет. Запнувшись, молчали медленные умом. Были и такие, как Павич, противники всякого новшества и блюстители старины. Против них Всеслав с руссичами был готов биться, как против хазар. Но они не решились возражать. Они, ощущая свое меньшинство, поняли: в чрезмерности общего ликования таился и гнев. И гнев этот мог упасть на несогласных. Злобно глядя на Всеслава, Павич грозился в душе – ужю тебе! – и знал свое бессилье.

На щеке Всеслава белой звездой рисовался шрам от хазарской стрелы. Был князь в копытном доспехе, с простым русским оружием. Жил, как все, общим обычаем, ел общую пищу, мысли его были общими.

Умный конь осторожно, чтобы всаднику не помешать, тешился нежной лаской с ребенком.

К каничам послали послов с богатыми подарками. Отблагодарив за помощь четырьмя десятками воинов, послы сказали каничам:

– Нет больше отдельно руссичей и илвичей. Руссичи стали как илвичи, илвичи – как руссичи. Хотите быть с нами – будете. Не хотите, уходите с вашей земли. Вам не будет защиты. Придут степные, мы их от себя к вам отгоним, чтобы они вас били.

Каничи приняли союз. Им другого не оставалось делать.

На полях жали хлеб. Несколько родов собирались после жатвы приняться за расчищенные для новых полей, забыв про былую бережливость к лесным стенам.

В русских родах не хватало девушек, чтобы дать в жены слобожанам и дружинникам из родов Горобоя, Бедея и Тиудемира. По воле князя Всеслава илвичи дали невест. За них князь платил выкуп из хазарской добычи. Илвичи и каничи помогали руссичам восстановить разрушенные грады. В обновленных градах не стало князь-старшин по выбору родов, князь Всеслав дал новоселам старшин своим решением. Незаметно, по необходимости будто бы, совершались дела, ранее небывалые.

И каничи и илвичи предложили невест вдовому князю, чтобы не была холодна его постель, чтобы восстанавливалось славное семя Горобоя. Всеслав отказался. На время, пока не кончит плакать душа по Красе, по детям.

Для крепкого града Всеслав выбрал место на высоком мысу, где стоит древнейшее святилище русских племен, погост каничей, племени-рода, ведущего себя от Скифа, но ни в чем от россичей неотличимых. С двух сторон град будет защищать вода, для войска же открыл путь и на Рось и на Днепр.

Малх, которого Всеслав заметно приблизил к себе, рисовал на липовых досках стены, башни, дома. Россичи любили лепить из глины детские домики-игрушки. Вместе со Всеславом, с Колотом, с Чамотой, с Ратибором Малх увлекался созданием глиняного малого обличья большого града. Одних воинов, и то лишь для начала, в нем будет жить двенадцать сотен. Нужны всем дома со складами, кузницами, банями, колодцами. Нужно место для княжьего двора, нельзя забыть дворы заслуженных воинов, которые решатся вечно жить в княжеском граде.

– Верно, верно, князь, – говорил Колот-ведун. – Безумен тот, кто захочет вырастить яблоню-дерево на тропе, которой привыкли ходить вепри. Верно, глуп, кто разведет огород у водопоя. Но что будет, когда ты построишь крепкий град? Недавно еще двенадцать десятков мечей ты имел в старой слободе. Двенадцать сотен будет в твоём граде. Минуют годы, и россавичи и ростовичи отдадут тебе свои слободы. В градах накопятся воины. Дальше что будет? Думал ты?

Слушал Чамота, слушал Ратибор, слушал Дубок, бывший илвич, слушал Малх, бывший ромей, что скажет князь.

Всеслав отвечал:

– Не думал. Я знаю без думы. Конь неезженный, только кормленный, хилеет, жиреет. Сердце остужается праздностью. Рука сохнет без труда. Войску – дело нужно. – И, помолчав, князь добавил: – Большому войску – дело большое...

В полусне Ратибору казалось, что руки его еще касаются чего-то нежного, податливого и прекрасного, как раскрытый цветок. Ратибор возвращался издалека, во внутреннем зрении души еще жили сны. Он медленно облекался телом. Его коснулся пух куниц, шкурки которых были сшиты легким одеялом, под ним сжался медвежий мех, прикрытый смятым полотном.

В узкое оконце чуть брезжил рассвет. Пахло свежей сосной, женщиной. Ратибор повернулся на бок. Он был один.

Закричал петух. Утро. Скрипнула дверь, потянуло свежестью и Млавой. Застучали кремень и огниво. Вспыхнула береста, из очага пахнуло дымом.

Ратибору казалось, что все это уже было, было. Когда? Очнувшись, Ратибор вспомнил. Нет более Анеи, нет матери. Он был безучастен к матери. И Анеи нет, нет, не будет... Отдала себя, чтобы сыну спасти жену и Ратибора малого.

Ратибор сел, понурился. Жена подошла к ложу, обняла склоненную голову. Она знала, о чем подумал любимый.

Ветка, привитая к щедрому соком стволу, – так бывший ромей Малх прижился на Роси.

Уже без помощи памяти, без усилия, сама собой скорая мысль одевалась звучной плотью славянской речи.

Уже в своем доме ждал он ребенка от молодой жены, с которой жил он разумно, забыв лукавые утехы Теплых морей.

И спокойно отдавался восстановлению познанного и виденного: князь Всеслав хотел знать меру и счет силы империи.

По сравнению с жизнью племени коротко бытие человека. Его можно уподобить траве-однолетке, которая в поспешности своего существования все же успевает познать и радость цветенья, и тайну созревания плода. Можно найти много других сравнений. Все будут верны. И все солгут: нет меры и счета для изменчивых слов.

Для Малха судьба великих поэтов в одном была одинакова. Веками волнует сердца, все они содействовали облачению прошлого в маску уродливой глупости. Беседа с учеными, читал, размышляя. Малх понял, что Эсхил, Софокл, Еврипид были людьми трезвейшего ума.

Отец поэзии Гомер, будто бы лично живший с богами, на самом деле видел мир таким же, как видит Малх. Не было олимпийцев, которые будто бы вмешивались в битвы и вступали со смертными в браки, не было Прометея, Зевсова орла.

Были великолепные сравнения, были *слова* для изображения борьбы и людских страстей.

Впоследствии самодовольные, нетерпимые невежды поняли строки былых поэтов дословно.

Так нашлись доказательства: и жившие прежде люди ославлены легковерно-ничтожными язычниками, преданными детским, смехотворным суевериям. А сами христиане верят подобному же: хотя бы, что дьявол во плоти поднял Иисуса на настоящую гору и там, как в театре, соблазнял богатствами мира. В действительности – записавший преданье хотел образно рассказать о мыслях и сомнениях вероучителя.

Остережемся красивых сравнений.

В чем сущность империи? С помощью своей союзницы церкви империя хочет покорить весь мир и никогда не пребудет в покое. Эта истина не нуждается в волнующих красотах речи.

Нужны мера и счет.

Пути в империю, пути внутри империи. Длина дорог. Высота гор, за которыми стоят ромейские города.

И высота городских стен. И ширина рек. Где, сколько людей живет. Кто они, как живут. Что они умеют.

Счет войска.

И вес ромейского доспеха, меча, копья.

Мера богатства и мера нищеты.

И как приказывают в империи.

И как слушаются приказа.

Малх вспоминал, как из вскормленного волчицей разбойничьего племени народилась и разрослась Римская республика, как упала республика в гражданских войнах, как стала быть Римская империя.

Искусства и науки Рим брал у Греции. Потом, подобрав под себя весь мир, съел и Грецию.

И все расширялся, разрастался, усиливался, брал все и все к себе, пока былые мышцы не заплыли жиром награбленной роскоши, пока от богатства не стал нищать, не стал измельчаться в нем человек.

Древний римлянин, строитель крепкого Рима, сын волчицы, остался в преданьях. К его тени взывали красноречивые ораторы на собраниях теней прежних сенаторов, его труп они хотели оживить. А его

разжиревший распутный последыш, соря накопленным золотом, принялся нанимать войско из неримлян-варваров, и варвары стали распоряжаться Римом.

Единая империя рассклалась надвое. Сегодня осталась одна, Восточная Византия. На западе же италийский Рим, с которого все началось, сделался ныне готской державой.

Исполнились пророчества Эхила – старые боги умерли. Византия взяла себе нового бога и усилила империю новым богом.

Как это стало возможным? Забыв былые обиды, Малх перестал понимать, почему явные в Слове истины бессильны против своего искажения. Может ли слово отличаться от дела так, как ягненок отличен от волка? Может. Но претерпевши насилие, слово становится ядом души.

Малх хотел быть таким, каковы люди его нового племени. Здесь каждый видит мир таким, как он есть, и понимает его. Делая что-либо общее, никто не сомневается, не спрашивает почему, ибо все доступно его разуму. И ненужного, чужого, непонятного не делает никто.

В империи все чужое, непостижимое. Почему берут столько налога, а не меньше или больше? Сколько денег собирает власть и куда их тратит? Кого спросить? Некого. Почему судьи сегодня решают так, а завтра иначе? С чем приходят иноземные послы, и для чего империя посылает своих? Из-за чего начинают войну? Что даст мне победа, и чего я лишусь, если войско будет разбито на дальней границе? Вопросы наполнят время с утра до вечера и с ночи до ночи. Ответов нет. Есть дикое море темных, противоречивых, невероятных слухов. Шепчутся. Ответит ли сам базилевс? Может быть. Но не будут ли и его слова пусты от смысла? Не блуждает ли в словесной тьме и сам Автократор?

Малх думал: слово, разлученное с делом, превращается в подобие шума волн, бесцельно терзающих берег.

Просветленный ясностью новой жизни, Малх освобождался от гнета былой злобы: они сами слепы, его обидчики. Все они – равно рабы.

Для Малха, как и для людей всех племен его времени, бессмертие души было такой же очевидностью, как солнечный свет или ход ночных светил. Встречались такие же вольнодумцы, как он, утверждавшие непознаваемость всех богов. Иные считали вселенную злом, а бытие – наказаньем. Но и вольнейший искатель смысла вещей был убежден во временности видимого тела и в бессмертии духа. Рассужденья о сущности Христа могли быть для Малха упражнением в связности словесных построений, но оставались праздномыслием: божественное не поддается испытанию опытом. Однако он не сомневался, что, если дух, носивший имя Христа в телесном обличии, вновь воплотится, он обрушит на Византию огненное проклятие отца растлителям дочери.

Восточная империя жестока, жадна, как языческий Рим. Ее щупальца повсюду. И повсюду она носит смуту и беды, и чем больше смуты и бед, тем ей лучше. Не будет в мире тишины, пока живет империя. Вот уже и россичи через хазар ранены зубами империи.

Малх помогает князю Всеславу понять силу империи. Всеслав засылает своих на Днестр, к Дунаю, где живут славянские племена, ближние соседи империи.

Князь хочет пощупать россичей стрелой византийский доспех. Что может сказать ему Малх? В Ветхом завете отмщение оправдано: око за око, зуб за зуб. А россичи, старинные земледельцы, берут еще глубже, говоря: что посеешь, то и пожнешь.

Новый завет заповедал прощение обид. Но разве сами византийцы, принявшие заповедь, хотят и умеют прощать?

Глава 11

Базилевс

Бесчисленные «завтра», «завтра»,
«завтра» крадутся мелким шагом
день за днем к последней букве
вписанного срока; и все «вчера»
безумцам освещали путь к пыльной смерти.

Шекспир

1

Галера была быстроходная, с носом, окованным медью. Сорок гребцов несколькими взмахами весел сумели разогнать галеру еще в порту. Перед узостью ворот гребцы положили весла, и галера вырвалась на простор, как квадрига на бегах. Тяжелый удар волны подбросил нос. Еще, еще. Галера бежала в Азию.

Трое людей, сидя вблизи носа, кутались в плащи из тяжелого сукна. От волн их закрывали высокие, чуть загнутые наружу борта, при нужде служившие защитой и от стрел. Столкнувшись с гребнем волны, галера приподнималась, как лошадь, собирающаяся вскинуться на дыбы. Струи холодной воды, рассыпаясь ледяной пылью, кропили лица и руки. На западе облака улеглись тяжелыми горами, солнце пропало где-то там, задушенное зловещими громадами.

Пробус, цепляясь за Ипатия одной рукой, другой держась за скобу, чтобы не соскользнуть под ноги гребцов, шептал:

– Зачем, зачем ты согласился, и зачем согласились мы? Увы, это гибель души. Молю тебя, подкупим кормщика и гребцов. Подумай, Никомедия близка. Если ты сочтешь Никомедию опасной для нас, до наступления утра мы успеем пройти Абидос.

Ипатий не отвечал, и Пробус потянулся к Помпею.

– Почему же ты молчишь? Убеди его. Мы идем на безумство, на позор. Бежим, лучше смерть, лучше утонем...

Галера подпрыгивала. Падая, узкое днище издавало странные звуки, будто жаловалось дерево, насильственно скрепленное железом. Пробус замолчал в отчаянии. Старшие братья выглядели мертвецами. Сумерки закрыли Византию, и казалось, что галера затерялась одна в открытом море, пустом, злом и холодном, как жизнь.

Сильно качнуло, волна ударила в правый борт. Второй удар, вкось, и устойчивое судно выпрямилось. Галера совершила полный поворот. За кормой светились огни Халкедона, счастливого мирного города, где не было Палатия, не было мятежа. Огни замкнули пространство, не стало широкого моря, в стылой луже Пропонтиды не больше свободы, чем в рыбном садке. Галера возвращалась в Европу, как камень, который падает обратно на землю.

Ипатий сказал:

– Неподчинение бесполезно. Нет места, куда уйти, он найдет нас везде. Бежать? К чему я говорю такое! Ведь мы с Помпеем поклялись. Ты не клялся случайно. Мы поручились в душе и за тебя.

– А грех лжи? А величайший из всех грех соблазна чужих душ? – спросил Пробус.

– Греха нет, – возразил Ипатий. – Мы христиане, не нам судить пути бога. Разве не сам патриарх напутствовал нас? Своей апостольской властью он наставил нас. У меня возникли сомнения – святейший Мена разрешил их. Не патриарх ли объяснил и мне наедине, и нам всем вместе в присутствии Божественного, что грех, коль он будет в чем-либо нами совершен, отпускается нам, а сам он, как верховный судья душ, будет свидетельствовать за нас перед богом на Страшном Суде. У меня нет сомнений. Не скрою, я не гожусь для подвига. Мне тяжело. Моя душа горит... И я прошу тебя, милый Пробус, брат мой, не увеличивай мучений...

Ипатию ответили рыдания. И сам он вытирал лицо.

Галера вскочила в Золотой Рог. Здесь волны кипели с такой силой, что судно черпнуло бортом.

– Еще, боже великий, еще, – взмолился Пробус. – Пошли еще волну! Пусть все мы погибнем!

Бог не сжалился. После узости море, разбитое выступом Сик, сделалось спокойнее. Стало совсем темно. Кормчий либо знал залив наизусть, либо видел, как сова.

Ипатий молился, стараясь сосредоточиться на словах, освященных церковью, и не мог. В темноте он чувствовал бога рядом, как льва, устроившего засаду. Дыхание бога было в ветре, в редких разрывах туч являлись не звезды – блистали грозные очи божьи. Мена-патриарх произносил слова Христа: ложь во спасенье.

Да, мед земли есть худший из ядов. Вчера Ипатий видел сон: сокол похитил его любимого голубя, а голубь пел в кривых когтях, как соловей. Не себя ли и Мену он видел? У Мены седая борода, длинная, раздвоенная, брови черные, как камень агат, густые, и ряса неприятно пахнет. «Мир держится на тонкой, тонкой нити, – думал Ипатий. – Бог едва коснется ее – и мир кончится. Придет Страшный Суд, и покой, покой, покой...» Ипатий видел унылый берег, стаи черных псов бродили по песку. А вдали уходили корабли, корабли, корабли, малые, как осы, которых угнал береговой ветер. Черно-желтые с прозрачными крылышками парусов...

От толчка судна Ипатий вздрогнул и очнулся. Галера стояла твердо, как на земле. Кто-то негромко объяснял:

– Мы во Влахернах, против портика Кариана. Под носом воды меньше, чем на локоть...

Да, да, конечно. Ипатий помнил условленное место. Его подхватили, подняли над бортом, как маленького ребенка, осторожно опустили на длинном поясе, продемом под руки, Ипатий пошел прямо к берегу, нависавшему угольно-черной горой. Ноги сжимала холодная вода, заныла правая голень. Туда, в кость, воткнулась когда-то персидская стрела. На берегу Ипатий оглянулся. Братья еще шлепали по воде. Галеры не было видно, но слуха Ипатия коснулись свист, короткий приказ, плеск – гребцы столкнули галеру с мели. С воды слышалось:

– Успех и счастье...

Жесткий акцент напомнил спафария Арсака. Разве он там? Ипатий не помнил, чтобы Арсак проводил его дальше Буколеона.

На берегу метнулись тени бездомных собак, слышалось рычание, угрожающее и жалкое. Братья поднялись между сетями, растянутыми на шестах. На затишном от ветра берегу резко пахло смолой сетей и рыбой.

– Подождите, – сказал Пробус, – я не пойду дальше, прощайте.

– Прощай, – устало ответил Ипатий. – Но куда ты уйдешь?

– Не знаю. Да смилуется надо мной Христос, над вами... над нами всеми...

– Мы будем молиться за тебя, – сказал Ипатий.

– Я тоже. О, горе нам, горе!

– Постой, маленький! – с мягкой заботой окликнул сорокапятiletний тридцатiletнего. – Возьми. Вот солиды.

Ответа не было.

– Благородный Ипатий чудом спасен из Палатия! Ослоподобный держал Ипатия в заточении! Бог

вывел его из темницы! – кричали на улицах Византии.

– Но где он?

– В своем доме! Около цистерны Бона.

– У святого Феодосия! Но кто ты, сын мула, который не знает жилища племянника базилевса Анастасия?

– Идем к нему. Пусть он расскажет о замыслах убийцы!

– Я предлагаю объявить его базилевсом!

– Ипатий базилевс!

– Базилевс Ипатий, Ипатий!

– Пусть обещает брать не больше налогов, чем при его дяде!

– Он будет раздавать хлеб!

– Он выдаст нам на расправу Носорога!

– И Трибониана! И Евдемония!

– Пусть он даст мне Коллоподия на один миг, мне хватит!

– А, он бросит нам всех светлейших, как зверей для травли!

– Будут богатые состязания по случаю нового правления!

– Ипатий базилевс! Базилевс!

Очевидец мятежа записал: «С восходом солнца распространилось известие, что Ипатий вернулся домой. Весь народ бросился к нему, провозглашая Ипатия базилевсом».

Отнюдь не такое счастливое, отнюдь не такое удачное правление Анастасия впоследствии даже историкам казалось более светлым временем, чем Юстиниановы годы. Тем более прасины были склонны, терпя обиды от Юстиниана, преувеличивать достоинства своего покровителя Анастасия. Люди умеют возвышать прошлое в ущерб настоящему, но правление Анастасия не омрачалось обдуманно жестоким преследованием некафоликов. Анастасий уничтожил налог хрисаргирон, облагавший все орудия, необходимые для существования человека, даже руки наемного слуги, собаку нищего слепца, ослика разносчика. Разорительные для земледельцев эпибола и синона были изобретены при Анастасии, но по-настоящему применены Юстинианом. Налоговый пресс давил менее жестоко в правление Анастасия. Суды решали более справедливо. Легко понять, что если дни безвластия не сумели выдвинуть кандидата на престол, весть о появлении племянника Анастасия могла быть понята, как выход, как находка. Но каким способом эта весть распространилась с быстротой степного пожара?

Бывший центурион Георгий, сделавшийся довольно известным под кличкой Красильщика, и его друг Гололобий были разбужены криком:

– Ипатий базилевс! Ипатий сверг ослоподобного! Идем к дому Ипатия!

Вчера на ипподроме Красильщик растерял три четверти своего отряда. Глумление над Юстинианом ослабило сердца. Распространилось мнение, что делать больше почти нечего: Юстиниан бежал. С Красильщиком осталось человек до сорока. «Мои ипасписты» – так он их окрестил в дружеской шутке. В Октогоне под ноги Красильщика попало несколько блюд и чаш. Серебро купило всем сердечное гостеприимство в одной из дешевых таверн близ площади Быка. Хозяин был рад посетителям, которые в смутные дни платили не угрозами. В низкую и темную залу опускались шесть-семь ступенек. Спали

впавалку на соломе, которой зимой для тепла застилают полы византийских таверн.

Очнувшись, Красильщик вскочил. Из открытой двери вниз тек ручей холода. Крик удалялся.

Ипатий? Почему бы не он! Красильщик расталкивал тех, кто до сих пор не сумел проспать вчерашнее вино. Хозяин таверны с помощью двух слуг тащил корзины с хлебом, деревянные блюда с холодной свининой и говядиной, распечатанные амфоры. Возвращалась лихорадка мятежа. Давились куском. Пусть будет новый базилевс. Один бог в небе, одно солнце греет. В доме – хозяин, в семье – отец. Другой власти не бывает. Сменить базилевса, жизнь станет лучше. Хотя бы потому, что он не отомстит за мятеж. Хотя бы потому, что он побоится участи старого. Хотя бы потому, что новый еще никого не обидел. Племянник Анастасия? А ведь это уже совсем хорошо. «Я вернусь в войско», – думал Георгий Красильщик. «Я уйду за Красильщиком», – думал Гололобый. Каждый видел лучшее, чем сегодняшний день.

Тощий, долгорукий и по-особенному ловкий в своем деле, хозяин спешил убаготворить гостей. Он улыбался, кланялся, заискивал, называя каждого добрейшим, любезнейшим, умнейшим, прекраснейшим, щедрейшим... Наилучшие качества и в превосходной степени сыпались с его языка, как отборный горох с лотка. Конечно же, он возьмет на сохранение все серебро – это великолепные вещи, большого веса, большой цены. Христос свидетель, он все сбережет, он будет безо всякого обмана, троица святая видит, да, да, он будет кормить, поить, давать кров благороднейшим людям, он запомнил каждого, достаточно войти, чтобы получить все желаемое... Напрасно, право же, напрасно великодушный начальник упоминает о расправе за неверность. Пусть спросят весь город, здесь никогда не обманули христианина.

С топотом, бряцая оружием, сталкиваясь щитами, отряд Красильщика выбрался на улицу. В таверне сделалось пусто. Холодные струи наружного воздуха размешивали застоявшийся смрад человеческих испарений, кислого вина. Хозяин чувствовал гнетущую усталость, он не спал ночью, тревожимый сознанием беды. Еле держась на ногах, хозяин выбрался наверх и опустился на камень у входа. Он помнил смуты при Анастасии, помнил бойню, устроенную благочестивым Юстином после смерти Анастасия. Ничего нет хорошего в жизни. Налоги растут до неба, силы уходят, все ухудшается, и нет надежды иной, как будущая жизнь. Бог милосерд, он отпустит жалкие грехи жалкого человека. Хозяин, скорчившись под овечьей шубой, шевелил губами. Да, грешен, грешен, лгал много, обманывал, обсчитывал, изворачивался, задаривал сборщиков налога – и это грех, по словам духовника; утаивал доходы – худший грех, но не убивал, не отнимал суму нищего, не вымогал – господи, ты видишь! – и в грехе иудинном не грешен, не предавал, не доносничал – ты знаешь, господи! А вот человеку, что недавно пробежал, возглашая Ипатия-базилевса, ему не простится, иуде. Двумогая ищейка. Палатийская ли, Евдемония или еще чья, ты все видишь, господи!

Хозяин таверны знал несколько таких. Зря не проходит жизнь, пусть и убитая на услуги первому встречному. Глаз учится сам находить, его уже не обманешь безразличием взгляда, небрежным видом. Ищейки все одинаковы, даже удивительно, как люди не умеют их узнавать. Иуды не меняются, такие же были при Зеноне, при Анастасии. Ныне их во много крат больше. Прежде, бывало, вся неделя пройдет, прежде чем среди пьющих и утоляющих голод появится шпион. Ест он, и пьет, и говорит, и слушает даже, пожалуй, как все. Однако же слепость человеческая удивительна! Теперь без тайного надзора не проходило дня, до самого мятежа. Часто сразу две, три ищейки трутся у столов, ведут речи, наводят на опасные слова, притворяются, вызывают. Ты же, хозяин, знай, да молчи...

Так почему же иуды сами сегодня провозглашают противника Юстиниана? Ба, для новой заслуги. Дело Юстиниана пропало, базилевсы уходят, а ищейки служат новым. Сегодняшнего иуду хозяин помнил с лет Анастасия. Лучше не думать о делах Власти. Да прекратится мятеж. Сколько бед, сколько несчастий!.. А ведь наемникам-варварам очень приятно безнаказанно избивать и грабить ромеев.

Ночными ворами пробирались Ипатий с Помпеем к дому, принадлежавшему старшему племяннику базилевса Анастасия. Мятежный город не хотел спать. Братья уступали дорогу, поспешно и робко прижимаясь к стенам. Перед каким-то шествием они метнулись в переулок и выжидали, когда протечет толпа, гудящая, визгливая, испятнанная дымным светом факелов.

«Нет, нет, я не сделаю ничего, чтобы привлечь к себе внимание, – думал Ипатий, так он решил в своей душе. – Пусть вершит Судьба, он не будет противиться, и только, и только, не больше, нет, нет!» Забывшись, Ипатий заговорил во весь голос.

– Что с тобой? – испуганно спросил Помпей.

– А? Ничего, ничего...

Еще недавно улицы были опасны из-за бесчинства разбойников. В страхе перед еженощными грабежами и убийствами жители с наступлением темноты лишь по крайней необходимости покидали дома. Богатые выходили с многочисленной свитой из клиентов и слуг, вооруженных, увы, только дубинами, ибо настоящее или самодельное оружие было воспрещено подданным. А бедные – грабители не брезговали ничем и никем – поручали себя богу.

– Наверное, наверное, теперь все воры и убийцы нашли себе другое дело, – шепотом утешал себя и брата Ипатий.

«Ах, почему Божественный, который все знает, видит, во все проникает, не дал нам охрану...» – но такое Ипатий мог едва-едва и осторожно подумать, не больше.

Слабый, опираясь на слабого, братья благополучно добрались к дому Ипатия. Родовое владение от улицы защищала стена, сложенная из тяжелых тесаных камней. Для пеших был оставлен вход не более трех четвертей ширины. Массивная дверь ложилась без щелки в выемы порога и притолок.

Две серые фигурки боязливо сжались. Есть еще время уйти, как Пробус, скрыться, исчезнуть. «Но куда деваться от бога, разгневанного ложной клятвой! Куда уйду от лица его?..» Нашупав молоток на цепи, Ипатий опустил его с силой, испугавшей его самого. Он замер в странном удивлении: прожито скоро столетия, но впервые он сам прикоснулся к молотку собственной двери. Да, с той минуты, когда базилевс позвал, многое сделалось впервые. Внутри груди, где обиталище души, колело и болело. Боль отдавала в плечо. Это было тоже впервые.

Привратник ответил немедля. Упал один засов, другой, загремела цепь. В привратной ложе горела масляная лампада перед иконой Богоматери Влахернской. Привратник поцеловал господина в плечо, нашел руку, поспешный, искренний в радости. По сравнению со многими и в понятиях своего времени Ипатий был добрым человеком.

– Запри дверь, дверь! – нетерпеливо крикнул Ипатий, охваченный внезапным гневом. Он едва не ударил докучного.

По мощеному дворику бежали навстречу. Почему столь быстро?

Ипатия мягко и нежно обняли.

– Вернулся, вернулся! Я так ждала, я так боялась! Пойдем же, идем же, слава Христу! Но ты дрожишь, ты болен? Ты попал в воду! Святая Приснодева!

Мария, мать его детей, была известна городу своей душевной чистотой и разумом. «Небесное благословение» – так звали жену Ипатия домохозяицы, клиентки, рабы, вся фамилия патрикия. Не он, Мария была настоящим хозяином владений Ипатия.

– Но почему ты здесь? Я просил тебя покинуть город в такое тревожное время. Я думал, ты на вилле, с детьми, – говорил Ипатий.

– Не думай о детях, они на вилле, с ними ничего не случится. Я не могла быть там, так далеко от тебя. Я вернулась сюда, я ждала, я сразу поняла – ты!

По привычке Ипатий не возразил. Он не признался, но вправду ему сделалось хорошо, увы, лишь на короткое мгновение, когда ее руки прикоснулись к нему.

Ипатий проснулся перед рассветом, угнетенный тайной, неуверенный, сомневающийся в действительности событий. Он не понимал, что случилось, зачем? Непоправимое... Но где Мария, почему ее нет рядом? Ипатий вошел в малую молельню, соединенную со спальней коротким переходом. Неугасимая лампада освещала жесткий лик Христа Пантократора.

Ипатий шептал слова молитв, зерна четок скользили в пальцах. Он просил помощи, чтобы его миновало горькое испытание. Он опять видел во сне голубя и ястреба. «Боже, да минует меня чаша сия...»

Жена прервала его уединение.

– На улице становится все больше и больше людей. Они спрашивают тебя. Первые пришли, когда ты еще спал.

– Чего же они хотят? – спросил Ипатий с деланным безразличием. Четки упали на пол. Теперь Ипатий слышал – день пришел.

– Все готово, – сказала Мария, не отвечая на вопрос мужа, – пойдем скорее!

– Что готово?

Мария объяснила с обычным уважением к мужу: ему и деверю приготовлены туники рабов из бурой шерсти, пояса, сумы с хлебом, деньги. Сейчас брадобреи снимут им волосы на правом виске, легкой краской покроют лица и руки.

– Ты станешь неузнаваемый, только я угадаю тебя, любимый! Я выпущу вас обоих через задний выход для рабов. С вами пойдут Павел и Андрей, они ждут уже. Вы пройдете воротами Харисия. За стеной они наймут или купят лошадей. Идем, я расскажу остальное, пока тебя будут брить. За меня не бойся. Я сговорюсь с толпой.

– Я не должен бежать, – с трудом выговорил Ипатий.

2

Ипатий молил бога о чуде, но в памяти оживали едкие слова Прокопия-ритора, советника Велизария. Действительно, нужна ли молитва-прошение к богу? Прокопий говорил о свойственной несчастным вере в чудеса и великие блага в будущем. В тяготах текущих бедствий люди находят указание на лучшее в дальнейшем, но без всяких оснований. Прокопий утверждал, что человеком управляет судьба. Коль суждено хорошее, ничто не помешает счастью, и явные ошибки служат на пользу. Если же судьба противна, самые мудрые решения приносят только вред.

– Но где же воля божия? – спросил Ипатий, подозревая ересь в мыслях ученого.

– Судьба установлена богом. Не может быть противоречия между творцом и творением.

«Суждено быть, так будет, – утешал себя Ипатий, освобождая совесть от необходимости действия. – Ничто не совершается без воли бога...»

Он слышал крики, прерываемые многозначительными паузами. Мария убеждала охлос уйти, доказывала, просила. И опять, будто на ипподроме, охлос вопил по слогам:

– И-па-тий! Сла-ва! Ба-зи-левс! Сла-ва!

Юстиниан прозрел будущее. Нужно подчиниться.

Ипатий узнал Оригена, некогда с издевательской злобой обиженного Феодорой. Узнал демарха Манассиоса, патрикия Тацита...

Приветствуют именем Великого, Покровителя, Деспота ромеев. Мария кричит, кричит женщина, которая никогда не повышала голоса:

– Не отдам мужа, не отдам отца моих детей! Смилуйтесь, христиане! Вы ведете его на казнь! Он погибнет, и вы вместе с ним. Пощадите его и себя!

Его хватают, увлекают, поднимают, несут.

На улице Ипатия встретили поднятые руки, разинутые рты, вопли восторга, длинный, слитный вой сотен-сотен голосов. Мария осталась далеко. Помпея несли, как Ипатия. Кружилась голова. Ипатия опустили, посадили в кресло, опять подняли. Он вцепился в подлокотники.

Его несли почти бегом, бледного, с непокрытой головой. Ветер раздувал длинные волосы. Ему было холодно, он дрожал.

Толпы, толпы, толпы... Крики оглушали. О, неутомимые глотки племса, ярость зверя-охлоса, порвавшего цепь. Ипатий никогда не искал милостей демоса. Почему его избрали жертвой – он не понимал. В смятении чувств он старался не забыть, только не забыть великую клятву, волю церкви, выраженную патриархом, волю Юстиниана.

Нет пуха мягче мускулов носильщика. Кресло владыки парило. Ипатия проносили под арками водопровода недалеко от пересечения улицы Палатия с улицей Меса. Капитолий остался влево. Шествие клином врезалось в скопления людей на площади Тавра. Отсюда до площади Константина один прыжок. «Как короток путь, – жаловался себе Ипатий, – если бы тысячи стадий...»

И вот он уже на ступенях колонны Константина.

– Венчать! Венчать! Да будет возложена диадема на главу Доброго базилевса Ипатия Благословенного!

Не диадема – нашлась золотая цепь из толстых колец, ею приковали голову невольника Власти к судьбе Византии.

Он был уже Добрый, уже Благословенный, базилевс Ипатий. Его уже любили, но почему бы и не так? Византийский демос впервые осуществлял естественное право самовольного выбора властителя. До сих пор этого не случалось. Юстин и Юстиниан подкупили палатийские войска. Анастасий женился на вдове базилевса Зенона – тоже способ взять диадему. А как сам Зенон овладел престолом?.. Кто помнил об этом! Да живет Ипатий, избранник, первый базилевс, поставленный демосом.

Новое начало не сулило ли лучшую жизнь? С инстинктом справедливости, свойственным людям всех веков и племен, демос мог ждать внимания к себе, мог любить Ипатия, как любит человек сотворенное своей рукой.

Получив живое знамя, мятеж мог преобразиться в переворот. Самые решительные, самые дерзкие теснились к базилевсу. Здесь были и многие сенаторы. Обладатели пустого звания возмечтали о воскресении сената. В них переворот мог найти людей, способных на создание формы новой власти. Но Ориген не видел вожakov венетов, даже Вассос, способный растерзать своими руками Юстиниана в отместку за соляную монополию, и тот исчез.

Вчера к Оригену явился некто с подлинным письмом от Хранителя Священных Щедрот Нарзеса: обещались забвение мятежа и дарственная на виллу с пахотной и садовой землей в пятьсот югеров, свободных от налога! Ориген приказал проследить эксплоратореса-лазутчика и прирезать его. Обещания Палатия, гарантии, клятвы... Ложь и ложь!

Власть и переворот подобны состязающимся на бегах: остановись, и тебя обгонит самая слабая квадрига. Штурмывая город, палатийское войско будет бито само, охлос доказал свою способность к обороне.

Притворяясь умирающим, Ориген начал с мечты о яде для Феодоры, закончил размышлениями об уничтожении династии. Он радовался каждому кровососному новшеству Юстиниана – чем хуже, тем лучше. Да процветут гонения, пусть гибнет Сирия, Ливан, разоряется дельта Нила! Кровь вопиет к небу. Как логик, Ориген верил в справедливость.

Но и его мятеж застал врасплох, подобно летней буре на Евксинском Понте, которую угадывают лишь за четверть дня до начала. Ориген не сумел удержать руку на пульсе демоса.

Около нового базилевса начались речи, обычное самоутешение, когда нет организации и плана действий. Третьего оратора, блуждавшего в героических дебрях воображаемого прошлого, Ориген решительно перебил:

– Базилевс великий и вы, ромеи! Война! Власть и война, вот дела наивысшей важности! Нам нужны разумное решение и долгие усилия. Если мы сейчас пойдем на врага, наше дело решится кратко и судьба наша будет на острие бритвы. Не будем же отдаваться случаю, как игрок – кубик кости. Спокойно устроим наши дела, и Юстиниан, сидящий в твоём Палатии, великий базилевс Ипатий, – твой пленник! Подумайте, ромеи. Ведь власть презираемая рушится сама собой. И тот тиран, – Ориген указал на Палатий, – теряет силы. Разъедаемый сомнениями, он боится вызвать новое войско. Он сидит, как рак, забравшийся в неподъемный панцирь. В городе есть дворцы, кроме палатийских. Пойдем за Ксиролоф в Плакиллины дворцы.^[55] Оттуда тебе, базилевс, удобно будет вести войну с тиранами и править империей. А Юстиниан пусть бежит хоть сегодня. Нет убежища свергнутым базилевсам, нет клочка земли, где не проклинали бы Юстиниана и Феодору.

Протянув руки к Ипатию, Ориген вкладывал в свой взор всю силу убеждения. Решайся же, решайся, спаси себя и нас!

Ипатий страдал от острой боли в груди, как вчера, перед дверью своего дома. Почему никто, сильный и властный, не возьмет его за руку, не прикажет так, чтобы пришлось согнуться? Тогда нарушение клятвы, быть может, простится. Ему претило многоглавое чудище демоса – брезговать им он, патрикий, сам собой учился чуть не от груди кормилицы. Дурно пахнувший, говорящий на грубом наречии, замешанный, как земля, на крови сотен племен и народов, демос был приемлем только в строю войска, под розгами профоса. Базилевс-игрушка не будет иметь и дня покоя. Юстиниан бросил его в пищу зверю, но, может быть, Ориген прав? А клятва?

Не понимая причины промедления, не слыша, о чем говорят знатные у колонны Константина, демос волновался. Ничтожная доля терпения истлела фитилем без масла. Судорога бросила волны голов, угрожающих рук:

– На Палатий! На виселицу Юстиниана! В клоаку Феодору! Перебьем наемников! В ипподром! На кафизму базилевса! Ипатия на кафизму! На кафизму!

Что другое мог найти демос? Единственное место, где плебей иногда признавал себя хозяином города. Где еще могли бы сойтись, видеть и слышать друг друга почти сто двадцать тысяч человек? Трибуны зрителей в дни волнений превращались в организацию. Понятно стремление базилевсов разбить демос на партии. Склонность некоторых базилевсов уступать перед единством всех «зрителей» и даже их части говорит о разумной осторожности, но не о трусости носителей диадемы.

Ипатий решился:

– На ипподром!

«Идем навстречу Судьбе», – подумал Ориген. С ним было десятков пять хорошо вооруженных людей. Прежде чем он успел окружить ими базилевса для охраны, Ипатий сказал кому-то на ухо несколько слов. Доверенный утонул в толпе, как краб в камнях.

Единственно Величайший любил перстни с сардионами-сердоликами за женственно-человеческую способность камня изменять свой цвет. По воле бога золото зарождается влиянием Солнца, серебро – под действием Луны. Но камнем Луны называют только сардион. Он умеет быть красноватым, как Владычица ночи на восходе, и делаться белым, как она же в зените. Сардионы падают прямо с Луны.

Сегодня базилисса надела на палец Любимейшего новый перстень с удивительно нежным сардионом – ведь это был Ее камень, Камень Феодоры. Чета во всем условилась, Феодора все поняла со свойственным ей одной тонким ощущением действительности. Расстались ненадолго. Юстиниан направился к себе.

Базилевсу предшествовали два спафария. Четверо замыкали шествие. Нападение сзади вдвое опаснее. Вне своего обыкновения, Коллоподий добавил к незримой охране явную.

Удача кинжала – и судьбы империи могут измениться. Сегодня, по древнему выражению, Судьба идет по лезвию бритвы. Случайный взгляд на выпуклость кубелиса-секиры вызвал у Юстиниана мысль о тайне слов. Кубос – игральная кость, кубе – голова, а кубелис – то, что снимает голову. Цель изобретателя секиры-кубелиса была ясна, забытый правитель знал, что делал. Самосближение понятий разрешало казнь. Речь греков полна удивительного смысла. Но что нужно Коллоподию?

Начальник охраны и разведки Коллоподий сказал:

– Единственный, пришел человек от Ипатия. Лжебазилевс ведет весь охлос на ипподром. Такого известие, Божественный.

– Где посланный? – спросил Юстиниан с улыбкой. Сегодня давно затасканный титул приобретал значение.

– Он умер.

– Кому он сказал?

– Мне.

Движением руки базилевс отпустил понятливого слугу. События подчинялись.

Сегодня Юстиниан не без умысла избрал ту часть дворца Буколеона, которая выходила в порт. Сановники пали на колени. Базилевс осенил всех знаменем креста.

Молчание лежало, как лужа под стеной. Но вот и Феодора. В пурпуре, в диадеме. Юстиниан так хотел. Сам он ограничился шерстяной тогой патрикия и десмойлентой для волос. Он сказал:

– День жаден к событиям. Нам угодно выслушать мнения наших подданных. Останется ли нам в Палатии? Или отбыть, дабы укротить охлос извне?

Юстиниан счел удачным слово «охлос». Многозначительное понятие.

Не отрицая заранее возможность получить разумный совет, Юстиниан слушал не без внимания. Но не было тонкого Трибониана. Не хватало едкости ручного Носорога. Их робкие заместители, Фока и Василид, не сумели ничего лучшего найти, кроме отъезда. Один предложил Гераклею Европейскую, другой – Пафлагонийскую на Понте. Они солидно поспорили. Ничтожные люди, которые считают себя не ромеями, а римлянами на старый образец. Носорог в своей берлоге нашел ли способ подслушать? Он – внизу.

Блюститель Палатия Гермоген подал мнение покинуть город. Он, раскосый гунн, ловко сыграл словом «охлос». Этот настоящий ромей. Но его мнение не имеет цены: ему было указано готовиться к погрузке на корабли.

Нарзес, взятый в плен ребенком в Персоармении, отказался от слова. Тоже ромей, но более тактичный, чем Гермоген. Ему известно больше, чем многим.

Мунд клялся: какова воля базилевса, таково и его, Мунда, желание. Он, Мунд, перебьет всех мятежников, коль они полезут в Палатий. Но, да не гневается Божественный, сил мало, чтобы пойти в город. Увлечшись и забыв изысканное начало своей речи, Мунд сорвался:

– Да будь я базилевсом, разве я ушел бы из Палатия!

Юстиниан улыбнулся. Сановники с подчеркнутым смехом указывали пальцами на дурачка с мечом, изрекшего глупость, почти преступную: будь Мунд базилевсом!

Движением руки базилевс призвал к порядку. Обсуждение продолжалось, сановники высказывались.

При всей выдержке они были взволнованы. Тем ярче проявлялась разноплеменность Юстиниановых слуг. Базилевс вспомнил, что вредный предрассудок наций родился в грехе вавилонского столпотворения. Разогнанные богом, одни почернели и пожелтели на солнце. Кто долго смотрел на синеву моря, стал синеглазым. Северяне – белокожими, как снег... В речи отразился шум волн, лесов, степного ветра. Наследники Адама перестали считаться родством. Но в Палатии Юстиниана они сделались равно ромеями.

Базилевс слушал. Не желая – он не имел в том нужды, – Юстиниан подверг своих светлейших острому испытанию.

Автократор создал из палатийских сановников людей особых чувств. Каждый из них бессознательно, подчиняясь инстинкту самосохранения, воздвиг внутри себя некое здание любви и верности базилевсу. Так моллюск строит себе раковину. Благодетельный самообман срастался с кожей, от неосторожного

прикосновения струпья добровольного рабства ныли, кровоточили. Поэтому даже случайное слово сомнения, высказанное посторонним, вызывало ярость: скорлупа требовала защиты. Нельзя безнаказанно играть роль в жизни, это не сцена, где слова означают действие и действие ограничено словом.

Автократор распространял заразу. Сопещение со светлейшими было никчемной затеей, чего Юстиниан не знал, ибо познавший эту истину перестает быть автократором.

Светлейшие умели схватить мысль, едва воплощенную в первом слове Божественного, умели развить ее – в предугаданном желании Повелителя. Умели хорошо, непреклонно исполнить, в исполнении были смелы, решительны. Самые умные ощущали намерения Божественного без его слов, умели спешить действовать. Им даже казалось, что они действуют *самостоятельно*, и они получали удовлетворение творчества. Но дать совет, настоящий, нужный? Для этого требуется внутренняя свобода, условие, при котором нельзя быть светлейшим.

В зале Буколеон толпились сановники, чьи лица и позы выражали смелость и уверенность в себе, насколько позволял этикет. Но внутренне они были смятенны, остановлены, как колеса телеги, когда заел слишком низко опущенный башмак тормоза. Как, как угадать волю Единственного в столь необычайных обстоятельствах?

Как человеку, который никогда не видал лошадей, сразу выбрать в табуне лучшего скакуна?

Большинство рекомендовало отъезд по той причине, что Юстиниан не оборвал Фоку и Василида. Как! И Велизарий за бегство? Юстиниан считал его своим лучшим полководцем, чего никогда не высказывал.

Этот фракиец любил войну. Однажды Юстиниан заставил Велизария дать присягу: никогда не мечтать о престоле. Клятвы! Они годны лишь для слабых душ, таких, как у Ипатия, у Велизария. Жена полководца Антонина, фаворитка Феодора, отличалась распущенностью. Юстиниан не был свободен от мужского презрения к влюбленному мужу. Итак, этот храбрый и удачливый воин, рогоносец в красивых латах на красивом теле, хочет уплыть. Куда же? В Nikeю. Конечно, конечно, Nikeя сильная крепость. Смелчак не трусил на полях сражений, но испугался охлоса. Солдат... Не стоило тревожить его клятвой... Его душа мельче тела. Пора поставить все на свое место. Юстиниан коснулся руки Феодоры.

– Мне кажется, – говорила Феодора, – что ныне излишне рассуждать, пристойно или непристойно женщине быть храброй, когда мужчины находятся в нерешительности, когда мужчины, как я вижу, не знают, что им делать и чего не делать...

Базилисса сделала паузу. Лица сановников превращались в набор театральных масок: от Удивления с открытым ртом и выпученными глазами до Восторга с медовой улыбкой и массой морщинок у прищуренных глаз. «Подождите, вы еще услышите, как Любимейшая поднесет вам Наше мнение!»

– Но как же устроить Наши дела? Где лучший способ? Как разрешить выход не из Палатия, Мунд, но из опасного положения империи? – С каждым вопросом базилисса заставляла свой голос звучать все громче. – Многие говорили здесь: отъезд, отбытие, временная отлучка... – Феодора понизила голос и бросила: – Я скажу прямо – бегство! А я думаю, – она улыбнулась, – бегство Нам наиболее вредно. Пусть оно и поведет к временному спасению жизни. Впрочем, нельзя избежать общей участи смертных. Но тому, кто однажды властвовал, невыносимо скитаться изгнанником. Да не даст мне бог лишиться этого пурпура, дожить до дня, когда меня не будут больше приветствовать базилиссой!

Как это звучало! Значительнее и красивее, чем казалось Юстиниану, когда он готовил речь Феодоры. Молва разнесет слова Любимейшей, века поймут, что она была достойна диадемы. Внимание! Она должна обратиться к нему.

– Итак, Божественный, беги, если хочешь. У тебя горы золота, там, – Феодора указала в сторону

порта, – ждут корабли. Море открыто всем ветрам. Но после, – в голосе Феодоры звучала высокая трагедия, – не пришлось бы тебе предпочесть смерть ТАКОМУ спасению. А я остаюсь. Пурпур Власти есть лучший саван!

«Поистине Возлюбленная сказала больше, лучше», – думал Юстиниан. Он сам был маска Восторга.

– Слава Божественным, Вечным! – кричали светлейшие, наконец найдя разрешение мучительной неясности. – Смерть охлосу, смерть лжебазилевсу!

Неискренних не было.

Готы Мунда и герулы Филемута заслоняли Палатий с севера и с запада. Чтобы защититься от нападения по линии: площадь Августеи – море, должно было хватить ипаспистов Велизария. Оставляя в запасе схолу Рикилы Павла, спафариев и остатки одиннадцатого легиона, Юстиниан поручил Велизарию отправиться в казармы экскубиторов и приказать им выступить.

Военные дворы поражали странной пустотой. Двери казарм были закрыты наглухо, изнутри. Велизарий велел звать, стучать. И сам он именем базилевса требовал, чтобы экскубиторы открыли двери и готовились к походу.

Отсюда до ипподрома было не более трех стадий птичьего полета. Ограда Палатия высотой в четыре человеческих роста казалась низкой по сравнению с каменной горой ипподрома. Ипасписты переговаривались между собой: они презирали золотую гвардию. Телята с мечами, скворцы в латах, каплуны – такие клички были еще наиболее нежными.

Вдруг ипподром заговорил. Стаи голубей, живших под карнизами венчающей галереи, поднялись, как в дни бегов. Испуганные птицы уходили в небо по спиральям невидимых лестниц.

– Рыжее мясо заквакало, рыжее мясо! – выкрикнул кто-то презрительную кличку горожан.

Не ожидая приказа, двое ипаспистов подскочили к двери, в которую тщетно стучал их вождь. Один смуглый, другой белокожий, оба в одинаковых доспехах, черненных горной смолой-асфалиосом, рослые. Смуглый махнул топором, дверь треснула сверху донизу.

– Метко, Ахарес, – одобрил белокожий и с разбегу ударил плечом.

Дверь упала. Внутри, как во всех казармах, стояла внутренняя стенка. Из казармы закричали:

– Не входить. Смерть! Бей, бей!

– Назад! – приказал Велизарий.

Ипасписты отошли ворча. Они охотно потешились бы над этими багаосами – евнухами, но Велизарий не собирался тратить ипаспистов на бессмысленную драку. Полководец бегом вернулся к Юстиниану. Красноречие базилисы не убедило Велизария, из фракийского солдата не получался сановник. Экскубиторы могут ударить с тыла. Нельзя нападать на ипподром.

Велизарий умолял базилевса бросить Палатий, вызвать войска из Азии, Фракии, Эллады. Осадить город, закрыть подвоз и с моря. В этом плане, как во многих солдатских планах, содержались в избытке разрушения, избиения, денежные траты, но не хватало того, что в дальнейшем назвали политикой.

Базилевс был решителен и краток:

– Ты пойдешь с твоими ипаспистами кругом, через Халке, через развалины тамошних пропилеев.[\[56\]](#) Оттуда ты ударишь на ипподром. Ты встретишь не фаланги персов, даже не вандалов, но бессмысленное рыжее мясо, и ты его успокоишь. Сзади тебя прикроет Рикила. Мунд и Филемут поведут своих с другой стороны. Ты не будешь один, не будешь оставлен, – повторял Юстиниан, как бы внушая по способам магии

египтян, – ты победишь, ты прекратишь мятеж, ты восстановишь порядок, удача летит перед тобой, возьми ее! – и базилевс перекрестил воспрянувшего полководца.

И все же тревога охватывала Палатий. Спафарии стягивались на линию, проходящую с востока на запад. Дворцы Буколеон и Ормизда прикрывались спафариями, но Дафне, Христотриклий, Магнавра остались к северу. Там образовалась пустота, так как готы и герулы уже покинули площадь Августеи. Охрана этой части Палатия была доверена прислуге. Так же, как экскубиторы, прислуга подчинится сильнейшему. Сейчас она сможет быть полезной только против кучек случайных грабителей. Ненадежны и остатки одиннадцатого легиона.

Империя Юстиниана свелась к нескольким югерам. [\[57\]](#)

3

Антонина имела еще большую власть над страстями своего мужа, чем Феодора над изощренными чувствами Юстиниана.

– Ты победишь, ты победишь, победишь, я знаю, – внушала она, спеша вместе с Велизарием. – Все в твоих сильных руках, которые я так люблю. Верный Прокопий увековечит и этот твой подвиг. Ты усмиришь охлос, ты будешь прославлен. Феодора передает тебе привет и ласковое слово.

Антонина была старше мужа, он не знал этого. Бурная жизнь молодости оставила женщине двух детей – Велизарий усыновил их. Минуло пятнадцать лет брака. Любовь Велизария к жене не ослабевала. Когда сейчас, прощаясь, Антонина без стеснения впилась в его губы, он вздрогнул. Остаться! Он едва поборол неуместное желание.

Антонина была сильна при Феодоре, из-за жены базилисса покровительствовала и мужу. Отнюдь не по «дружбе» к своей наперснице, как шептали завистливо-близорукие глупцы и как думали иные умные люди. Осведомленная Антониной об интимнейших сторонах характера Велизария, Феодора, знаток мужчин, лучше Юстиниана понимала, что этот смелый и полезный империи полководец не способен покуситься на диадему базилевсов.

Уже пять дней Антонина не покидала Священных Покоев базилисы. Пять дней! Их Велизарий прожил один среди ипаспистов, томясь страхом и ревностью. Он боялся Юстиниана. Был слух, что имя Велизария провозглашалось охлосом. Кроме того, знаменитый полководец неудачно выступил против мятежников. Из двух тысяч ипаспистов, которых ему разрешили взять в Палатий, тогда он вывел к Халке только пять сотен. Кто виноват? Он сам. Нет, не он. За городом у него было еще три тысячи ипаспистов. Почему ему не разрешили взять сюда и их? Базилевс не доверял ему без всяких оснований. Антонина покинула его. В Палатии много мужчин. Почем знать, какой каприз пришел в тело женщины, которую он всегда желал и желает...

Оторвавшись от Антонины, Велизарий указал солдатам направление, и сотня ипаспистов опередила своего вождя. Живой щит, они шли, как хорошо натасканные псы, озираясь и понимая указку без слов.

Ко времени Юстиниана заимствованная у варваров идея – дружина из лучших воинов как личное войско вождя – была окончательно воспринята ромеями. Но родовой вождь у варваров был связан укладом и племенными традициями со своими дружинниками, ипасписты оставались наемниками. Казна империи не участвовала в содержании дружинников-ипаспистов. Начальствующие платили лучше, чем империя. В противном случае ипасписты перешли бы в общий строй.

Численность ипаспистов Велизария иногда достигала семи тысяч. В позднейшие времена гражданских листов королей Англии или Франции не хватило бы на содержание личного войска в таких размерах. Полководцы империи грабили в размерах невообразимых. Или им удавалось грабить, или они умели грабить. Дело не меняется от слов.

Юстиниан не захотел наводнять Палатий ипаспистами Велизария не из страха перед полководцем. Владыка империи не собирался дать начало опасному обычаю, освятив его своим высоким почином.

В Халке громоздились остывшие развалины. Кое-где еще держались стены, покачнувшиеся – в ожидании случайного сотрясения или порыва ветра. Из груд камня торчали обгоревшие балки. Ипасписты, сильные телом и доверием к вождю, пробивались через развалины. Поднималась пыль, пахло падалью, как на старом поле сраженья. Шум и свист ипподрома нарастал. Велизарий вдруг увидел себя рядом с целью. Передние ипасписты уже проникли в малые ворота, именуемые портиком венетов. Дело

начиналось, и Велизарий ощущал знакомую сухость легкой жажды, легкость тела, поднимаемого собственной силой. Он называл это особенное чувство вдохновением меча.

В узких воротах могли бы поместиться в один ряд человек десять-двенадцать. Велизарий шел по оси ворот, с боков его закрыли ипасписты. Они толкали горожан, гнали перед собой. Раздались ругань, протесты, угрозы. Кто-то кричал: «Опоздавшие могут подождать!» В беспорядке ипаспистов приняли за своих.

Велизарий воображал, что он встретит хотя бы подобие войска, какие-то посты, сторожевых, которые поднимут крик. Он готовился к бою по закоренелой привычке – он начал носить оружие раньше, чем брить щеки.

Ипасписты выжимали весом своего строя византийцев, заткнувших ворота. Из-под сумерек свода Велизарий видел больше спин, чем лиц. Недовольные византийцы уступали место. Велизарий приказал не брать щиты, считая их ненужными. Ипасписты были разнообразно одеты и пестро вооружены, без луков. Вероятно, поэтому они остались неузнанными.

В тесноте можно было только колоть. Ипасписты сломали помеху, растоптали тела и выпятили на арену железную голову строя. В давке демос погибал, не успевая понять. Выжимаемые своими же, ипасписты какую-то минуту казались молотом, ручка которого застряла в проходе. Вдруг плотная масса убийц расширилась, солдаты разреживали строй, чтобы дать место размаху оружия. Свирепые окрики убийц утонули в общем вопле ужаса и отчаяния.

Над сознанием людей веками работала сентиментальная легенда о рыцаре-воине, который, пренебрегая слабым противником, ищет себе равного силой, оружием, умением. Прочный лак покрывает и македонцев Александра, и старую гвардию Наполеона. Однако каждая война велась с единственной целью грабежа. Не было армии, которая отказалась бы избивать безоружных; победитель всегда выворачивал карманы побежденного; на рыцарских турнирах выигравший шуточную, казалось бы, схватку, получал оружие и лошадь проигравшего; а сила всегда доказывала только силу, но не справедливость.

Ипасписты наслаждались мягкостью тел и казались сами себе волками-оборотнями с зубами-мечами, когтями-кинжалами. От дыхания, от горячих тел, от крови, обильно лившейся из широких ран, в холодном воздухе над ареной сгушалось подобие тумана.

Старый автор, чье имя забыто, оставил несколько строк своей правды о живом лице древнего Бога Войны:

И в тебе сидит людоед.
Твоя кровь помнит, хоть ты не знаешь того,
костер, обугленный вертел из обломка копья,
костел человеческих костей
и обглоданный череп, который катает собака...

Мунд приказал пробить стену Палатия, избрав место южнее портиков Маркиана, шагах в ста от берега моря. Отсюда до короткой стены ипподрома было рукой подать. Кто-то бежал, кто-то кричал, ненужно и бесполезно пытаясь предупредить о появлении войска. По ужасающим воплям, которые сменили пчелиное гудение ипподрома, Мунд понял, что Велизарий сумел ворваться и начать дело.

Готы и герулы вышли к воротам Некра.[\[58\]](#) По общей небрежности ворота были распахнуты, проход не охранялся.

– Ловушка, – сказал Филемут, напоминая об отступлении охлоса с площади Августеи и забыв, что он тогда слишком поздно догадался о своей ошибке.

– Кого хочет погубить, лишает разума, – ответил римской поговоркой Мунд.[\[59\]](#)

Пока готы и герулы пробирались к ипподрому, демос, в какой-то мере защищенный своей собственной массой, попытался оказать сопротивление ипаспистам. Около входа венетов на самой арене и на нижних ступенях трибун образовалось нечто вроде пояса сражения. Жертвуя собой, кое-как вооруженные демоты попробовали, действуя сверху вниз, остановить ипаспистов Велизария. Вторжение Мунда и Филемута сломало волю к сопротивлению.

Герулы ворвались на верхнюю галерею, которая командовала над всем ипподромом с высоты почти сорока локтей. Оказавшиеся там мятежники были перебиты, многие сброшены или сами упали наружу с отвесной стены, ломая себе кости.

На этот раз Филемут не забыл выдоить арсенал Палатия. Кроме двух колчанов с шестью десятками стрел, кроме запасных тетив и лука, каждый герул получил еще сотню стрел, связанных, как ржаной сноп.

Захватив галерею, стрелки занялись хладнокровным истреблением мишеней.

Ни Велизарий, ни Мунд не осмелились вторгнуться на ипподром через Главные ворота, со стороны площади Августеи. Полководцы боялись утонуть, быть смятыми человеческим множеством. Но теперь было уместно заткнуть путь спасения охлоса. Филемут приказал стрелять по воротам. Приседая, подпрыгивая, комес-патрикий с лицом вепря торопил своих. Для управления годились только жесты, никто не слышал и своего голоса. И все же герульские стрелки выкрикивали два ромейских слова, которые знал каждый наемник:

– Рыжее мясо! Рыжее мясо!

Внизу, на арене, готы подали руку ипаспистам Велизария. Сам Велизарий при всей жадности к самоличному участию в бою внезапно остыл. Он устал. Как ни велика будет его заслуга, он заранее очернил ее сомнениями. Его самолюбие корчилось – всего час тому назад, нет, еще меньше, он, глупец, уговаривал Юстиниана покинуть Палатий, нет, бежать, как назвала Феодора бессмысленную осторожность робких советчиков. А-а-а!.. Он испугался баранов! Он стонал, благо никто не мог слышать горестного мычания прославленного храбреца.

С военной непосредственностью Велизарий запомнил собственные ощущения, как забывает солдат тревогу перед боем в блаженный час взвешивания добычи. Но с той же солдатской простотой Велизарий понимал, что пусть Мунд и не справился бы без его почина, завистники припишут лавры победы не Велизарию. Полководец клялся себе впредь слушаться Божественного без рассуждений.

По малочисленности славянской схолы Рикила Павел не имел веса. Известие о появлении соперника базилевса комес воспринял с трепетом жадности: открываются двойственные возможности, намечаются соблазнительные сложности. Собрание мятежников на ипподроме Рикила оценивал правильнее Велизария: охлос в ловушке. Звезда Юстинианова соперника не взойдет, сумеет бы отличиться службой теперешнему Божественному. С удачно избранного места он наблюдал бегство мятежников, вырывавшихся из Главных ворот. Рикила решил помедлить среди развалин Халке. Отсюда был путь в Палатий из города, Палатий сейчас обнажен. Если они метнутся к Палатию... Рикила мнил себя спасителем Божественного, заранее сочиняя героические подробности боя в развалинах. Увы, «рыжее мясо» устремлялось на запад. Затем исход прекратился. Неудавшийся спаситель, опасаясь упреков в бездействии, повел свою схолу по следам Велизария.

Под портиком венетов, как на бойне, застоялся запах крови и вывернутых внутренностей. Ипподром замолкал. Сделалось слышно истерическое ржание лошадей, дикий рев хищников, вопли зверья, запертого в обширных помещениях под трибунами. Во многих местах ипподрома разбившиеся на группы ипасписты и готы еще убивали. Еще тявкали тетивы герульских луков.

Если и считают, что жить не так уж обязательно, если иные люди с удивительной для других легкостью прекращают чужую жизнь, то все же *каждая* жизнь есть своего рода вселенная. Нужно затратить многие годы, дабы в каком-то приближении к правде изобразить истребление десятков тысяч, хотя их общий переход в небытие занял всего один час.

В Индульфе, в Голубе, в других славянских наемниках не изгладилось воспоминание о гибели византийского плебса. Славяне еще оставались вольными людьми. Они ушли из дому, подчиняясь стремлению видеть мир, испытать сказочную жизнь Теплых морей, набрать золотых монет. Несведущие и в своей простоте недоступные соблазнам измены, они сами могли быть обмануты начальниками, но не способны к предательству по собственному почину. Комес объяснил им, какая опасность угрожает базилевсу. Они пошли защищать того, кому обещались служить.

У них не было опыта бойни. Им подарили зрелище смерти в самом отвратительном виде. С дельфийского жертвенника свисали трупы. Бесформенные груды тел сползали с трибун. Торчали мертвые руки, как странные веи. Мрамор статуй залился темным пурпуром крови. Даже на бронзовой квадриге, над Главными воротами, мятежников настигли герульские стрелы. Внизу громадный завал тел заткнул ворота. Груда высотой в несколько человеческих ростов еще шевелилась – колоссальный муравейник, разворошенный и густо утыканный стрелами с белым оперением, ярким и чистым, как хлопья первого снега.

Ипасписты возвращались с одичалыми лицами, расслабленные, увядшие. Погнутые, иззубренные мечи не входили в ножны, забрызганные кровью; кубелисы-секиры были выщерблены; на латах виднелись вмятины; висели полуоторванные бляхи наборных панцирей, шлемы были сбиты на сторону или на затылок не то чьим-то ударом, не то собственной рукой. Кому-то изменило железо, но он не бросил рукоятку дорогой работы и шел, размахивая рукой, глядя глазами, способными проткнуть стену. Другой, всласть насладившись убийством, кривляясь, как мим, декламировал Гомера:

Арей дико кричал, в злобной радости выли
Эринии,
и Аид открывался, мгlistый, пустой, ненавистный
даже бессмертным...

– Вот они, вот лжебазилевсы! – воскликнул Рикила Павел.

Где, где? Славянские солдаты успели заметить только Велизария. Герой дня выделялся среди своих унылым выражением красивого, гладко выбритого лица. Всем была известна его страсть самому принимать участие в схватках. Он был так же забрызган грязью бойни, как другие. Шел он вяло, едва волоча ноги в латной чешуе. Он не ответил Рикиле, который выкрикнул:

– Честь победителю! Слава спасителю империи!

Потом началась иная процессия. Ипасписты выносили своих, не более трех сотен убитых и раненых, дешевая плата за спасенье империи Юстиниана.

Так кончилось все. И – надолго. Ипподром закрылся на несколько лет. В дальнейшем мятежи возобновлялись, но никогда в таких размерах, как мятеж Ника.

В течение нескольких дней мятежа было убито в уличных схватках и погибло во время пожаров четыре или пять мириадом жителей Второго Рима. На ипподроме наемники Юстиниана перебили пять мириадом. Общий итог жертв мятежа – около ста тысяч человек.

Причины отчаяния, в которое империя погружала своих подданных, продолжали существовать. По-прежнему находились люди, которые спешили напасть на Власть и опаздывали отступить.

До самой бойни на ипподроме большинство собравшихся там уверились в бегстве Юстиниана. Этим объяснялась общая беспечность. Правда, сведения о бегстве базилевса были противоречивы. Очевидцы утверждали, что корабли Юстиниана, покинув порт Буколеон, направились к югу, в Абидос. Другие видели флот, уходящий в Босфор. При общем возбуждении дело доходило до озлобленных драк между «очевидцами». Люди, считавшие себя разумными, смиряли свои сомнения простыми доводами: Юстиниан бежал, а куда – не так уж существенно. Желаемое принималось за свершившееся. Но разве не было сомнений в самом Палатии! Дважды предлагая Юстиниану бегство, Велизарий был искренен в своей преданности пошатнувшемуся базилевсу.

Имперский закон гласил: «Кто составит заговор против базилевса, подлежит смерти, его имущество – конфискации. Дети его, в которых, естественно, может подозреваться врожденная преступность, должны бы разделить участь отцов, но им даруется жизнь. Однако же они не имеют права наследовать отцам и матерям, ни родственникам, ни даже чужестранцам. Пусть они в бедности несут позор, им нет доступа ни к службе империи, ни к какой другой».

Пылко выслуживаясь, шпионы были неистощимы на имена замешанных в гнусной измене.

Пытаемые оговаривали Византию, провинции. Пользуясь пыточными речами, Юстинианово правосудие истребляло остатки древних патрикианских родов заодно с богатыми купцами-плебеями. Имущество всегда конфисковалось.

Не находила пощады и мелкая рыбешка. Помилованным сохраняли жизнь, но отмечали таких бывших мятежников ослеплением, отсечением носа, ушей, правой руки, дабы наказать члены тела, которыми подданные дурно воспользовались.

Восстановленный в высокой должности префекта Священного Палатия, Иоанн Носорог неумоимо повторял слова, которые, как стало известно, принадлежали самому Божественному:

– Великодушно щадить виновных, ибо таково есть свойство человеческой природы. Понимаешь, человеческой! Но не щадить невинных – вот истинное богоподобие. Понял? Богоподобие! Не понял? Ты глуп. Разъясню тебе: не все ли равно, на кого падают удары! Нужно, чтобы все боялись. Понял? Чтобы тряслись все! И все.

Власть выжимала из мятежа новую выгоду – устрашение подданных. Отныне и навек никто не должен чувствовать себя в безопасности под плащом так называемой невинности – ни в чем.

Примеры обдуманно подчеркиваемого бесчеловечия способствовали дальнейшему одичанию нравов. До этого Власть не было никакого дела.

Не было препятствий одичанию в самой имперской религии. Предания Иудеи, вошедшие в святую книгу христиан под названием Ветхого завета, внушали исполнителям воли Власть веру в благо неограниченного насилия во имя высшей цели. Воля бога проявляла себя земной Властью в лице базилевса. Враг Власть был врагом бога и лишался права даже дышать. С него совлекалось все человеческое, он опускался ниже животного. Наивные и неграмотные подданные искали в исповедуемой ими религии способ спасения души от адских мук и повторяли слова о том, что бог есть любовь. Ученые церковники и правители, вычитывая совсем иное, умели делать далеко идущие выводы.

Было время, когда бог сказал: «Истреблю с лица Земли людей, которых я сотворил, и гадов, и птиц небесных, ибо я раскаялся, что сотворил их...»

Сохранив одного Ноя, бог счел нужным разделить потомство праведника, опасаясь силы

размножившегося человечества. Смешав людскую речь так, что один перестал понимать другого, бог дал одному народу, особо им избранному, право истреблять все остальные. В этой борьбе бог нарочно ожесточал сердца обреченных, чтобы те сами дали повод избранным для войны и захвата. А потом бог открыто хвалился, как предательски он использовал свое всемогущество...

Разве христианская империя, этот образ царства божьего на Земле, не имела тех же прав, что бог, воплощением которого она являлась! Церковь, слитно с Властью, неумолимо укрепляла строителей новой, христианской империи бесчисленными примерами дел, еще более кровавых, бесчеловечных, но божественных. Цель непреложно оправдывала любые средства. Язычники не имели такого страшного арсенала!

За восемьдесят один год до мятежа Ника разноплеменные армии Атилы и империи встретились на Каталаунских полях. Сражение длилось весь день. Из полумиллиона сражавшихся пала треть.

По упорству, по числу участников и убитых это сражение долгими веками помнилось как самое страшное в истории Запада. Случайная победа угасающей Западной империи была воспета как торжество культуры. Коль это так, то ту же цену имеет и успех Юстиниана в мятеже Ника.

Нет. И там и здесь старая опытная машина угнетения оказалась сильнее; и там и здесь память о побежденных была оболгана, затоптана в грязь победителями: на горе потомкам и тех и других.

4

В триста восемьдесят первом году отцы второго вселенского собора христианской церкви, съехавшись в Византии, в своих решениях утвердили так называемое третье правило: византийский патриарх да имеет преимущество чести сразу после римского епископа, ибо Византия есть Второй Рим.

Византийский патриарх Мена относился к базилиссе Феодоре с неугасающей подозрительностью, но молчал, молчал. Свирепый аскет Мена ненавидел Женщину. Бог проклял Еву обязанностью рождения детей, упорная плодовитость женщины не благо, а грех. Прекратись деторождение, и мир земных бед, земных мучений безгрешно закончит свое существование. Впрочем, да будет воля божия!.. Он начертал Судьбу каждого человека и всего мира.

Мена забыл страсти, владевшие его юностью; постыдное совершалось будто бы не им, а лишь кем-то похожим на него в отдаленные годы плотских безумств. Память старца извлекла поучение из грехов молодости, и теперь он, недоступный соблазнам, холодным умом понимал разорительное для духа могущество Женщины. Да и не об этом ли ужасающем могуществе свидетельствуют многие повести святого писания? Пора бы, давно пора во избежание соблазна запретить чтение книги мирянам.

Базилисса Феодора была воистину Ева, изменчивая, лживая, но постоянная в ненависти, настойчивая в защите своих. Вначале Мена с отвращением ощущал в базилиссе нечто знакомое, и отвращение мешало понять. Наблюдая, Мена открыл: базилисса бесстрашна к плотскому греху. Поэтому, принимая лживые слова лживого рта, выдаваемые базилиссой за исповедь, и в ответ на ничтожные признания в гневе, несдержанности, Мена, давая отпущение, внушал:

– Благословенно твое служение Несравненному мужу. Облегчай же ему и впредь бремя Величественной Власти.

Духовнику приходилось внимать признаниям зрелых матрон, сохранивших чувства, о которых многогрешный для Мены Соломон пел в Песне Песен: «На ложе моем ночью я искала того, которого любит душа моя...» Презренье не мешало Мене понимать, что стареющие матроны сберегли силу молодости ценой стыдливой сдержанности. Он думал – утомление распутством приносит холод пресыщения: бог отнимает у грешника орудие греха. Мене случилось напутствовать перед смертью старого безумца Гекебола; бывший префект Пентаполиса Ливийского до последнего вздоха сохранял злобу к опустошившей его Феодоре.

Святейший патриарх напутствовал Ипатия с Помпеем, но не в жизнь вечную. Поэтому Мена счел необходимым в звании высшего сановника империи присутствовать в ряду других светлейших, когда в залу Буколеона ввели патрикиев-лжебазилевсов.

Золотая цепь, которой византийский демос венчал Ипатия, была украдена кем-то из победителей, сохранилась лишь пурпурная хламида как свидетельство преступного замысла.

Братья упали на колени перед креслом-престолом. Оба были взволнованы, но не чрезмерно, как с удовлетворением заметил Мена.

– Твоя воля исполнилась, Несравненный, – довольно уверенно сказал Ипатий. – Твое Величество знает, что собранные нами на ипподроме мятежники уничтожены твоими воинами, как хищные звери в загоне.

Юстиниан дал сигнал светлейшим легким движением бровей, и взрыв яростного возмущения обрушился на Ипатия. В злобе светлейшие, воздевая руки, проклинали преступников. Пусть им бросят этих самозванцев, с ними расправятся здесь же, без помощи палачей.

Ипатий припал к полу, как животное под ударами. Помпей схватился за голову. Юстиниан сказал, подчеркивая насмешнику:

– Это очень хорошо, благороднейший Ипатий, это очень похвально, любезнейший Помпей. Поступив как верноподданные, вы заслужили награду. Вы воспользовались своей властью над охлосом. Ибо действительно первым встречным не удалось бы столь ослепить гнусно-безбожных мятежников. Правильно ты, Ипатий, уподобил ловушке мой ипподром, на котором ты осквернил кафизму. Христос Пантократор помог Нам победить охлос. Но почему же вы оба, владея такой властью, не вмешались сразу? Почему вы соизволили дожидаться, пока охлос не сжег Наш город?

Благодарственное богослужение происходило в церкви святого Стефана, составляющего целое с дворцом Дафне. В галерее дворца стояла мраморная статуя Дафне, стыдливой нимфы, превращенной Аполлоном в лавровое дерево в наказание за строптивость.

В Палатии был и храм Христа. Церковь святого Стефана была избрана потому, что находилась неподалеку от ипподрома.

Для необычайного богослужения Мена нашел много подходящих мест из святого писания:

«Злодей уничтожен перед ним, а он прославляет боящихся творца-вседержителя! На коней твоих он воссядет, и будет езда его спасением!»

В кадилах-фимиамницах на хорошо отожженных углях тлел чистый аравийский ладан.

Окутанный благовонным дымом, Юстиниан незаметно покинул церковь. В сопровождении героев дня – Мунда, Филемута и Велизария – Божественный, запросто взойдя на кафизму, обозревал ипподром.

Среднего роста, довольно плотный, но отнюдь не толстый, Юстиниан обладал прекрасным здоровьем благодаря воздержанности в пище и трезвости. Подражая неписаному правилу – традиции Первого Рима, монетный двор Византии сохранял штампы бритого лица базилевса. Впоследствии, чтобы скрыть седину, Юстиниан действительно брился. Но лет до пятидесяти седина не была заметна в русых волосах базилевса, и он носил небольшие усы. Из подражания базилевсу такие уже носили сановники и полководцы, кроме немногих, как Велизарий.

Несколько сот рабов под надзором надсмотрщиков и под охраной солдат пять суток очищали ипподром. Тела вывозили к морю через Мертвые ворота. Сейчас работа едва начиналась, и можно было без труда воссоздать шествие Победы.

Император-язычник Вителлий удачно обмолвился, что труп врага хорошо пахнет, особенно если это соотечественник.

Император-христианин Юстиниан двенадцать истекших дней нес удесятеренное бремя диадемы, не позволяя проявиться во внешности и мельчайшим признакам страха. Теперь он вновь на башне кафизмы. Отсюда базилевсы обязаны по ряби голов ощутить рождение ветра в непостоянном море народа. «Немного времени прошло от оскорбления Власти, и вот Мы здесь, а охлос превращен в падаль. Что же вы замолчали?» – хотел крикнуть Юстиниан и крикнул бы, будь он один. Власть – ты высшее наслаждение, но ты и железные путы! Если бы богу было угодно на мгновение вдохнуть жизнь в трупы, дабы они поняли!..

Но что случилось внизу? Рабы отскочили. Базилевс увидел человека, поднявшегося над грудой мертвых тел. Юстиниану показалось, что он узнает дикого монаха-оскорбителя. Несколько солдат вскарабкались на трупы. Крик гнева. Взмах меча, удар копьем...

Ни к кому не обращаясь, базилевс приказал:

– Строго наблюдай, дабы не ускользали... Тщательно обыскать все склады, жилища служащих...

Везде...

А в храме святого Стефана продолжалось богослужение.

– ...И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, а нечестивые как прах, взметаемый ветром с земли. Ибо знает господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Я помазал владыку над Сионом. Ты поразишь их железом железным, сокрушишь их, как горшечный сосуд. Ибо ты бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой... – восхвалял Мена небесную власть.

Юстиниан вернулся с ипподрома, и патриарх вещал:

– Вот нечестивые были чреваты злобой, рыли ров и упали в яму, которую себе приготовили, злоба обратилась на их головы, и злодейства упали на их темя. У врага совсем не стало оружия, и погибла память их с нами.

Пусть. Но свою память владыка не оставит праздной, он не должен забывать...

– Остры стрелы твои, они в сердце врагов, и народы падут перед тобой. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут!

Верно, верно. Сами противящиеся Власти губят себя, нет Власти не от бога. Как бы читая мысли Божественного, Мена отвечал:

– Престол твой утвержден искони. Ты – от века! Нечестивый увидит это, заскрежест зубами – и истает. Желание нечестивых погибнет!

Хор подхватил: «Погибнет!» – и долго басы тянули мрачное слово, затухая, усиливаясь, опять затухая.

Патриарх благословил хоры, где базилисса слушала богослужение, и возгласил:

– Стала владычица рядом с тобой! Слышь, дочь, и смотри, и приклони ухо твое! И возжелает владыка красоты твоей, ибо он повелитель твой, и ты поклонись ему. Посему народы будут славить тебя во веки веков.

Хор ответил:

– Осанна, осанна, осанна!

Никто не заметил угодливое искажение стрóf сорок четвертого псалма.

Юстиниан, вдохновленный торжественной службой, думал: «Нет потери в гибели базилики Софии». Он выстроит новый прекраснейший храм. Рим отдаст колонны из капища Солнца, в Эфесе есть колонны зеленого мрамора, многое найдется еще в Афинах, Кизикии, Трояде. Скорее послать мастеров на мраморные ломки в Евбее, Карни, Фригии, Проконнезе и в Шемте Нумидийской. Фессалия и Лаконика дадут зеленые мраморы с крапчатым рисунком, Египет – порфиры. Золото, серебро, драгоценные камни, слоновая кость будут использованы без ограничения. Завтра же послать приказы Исидору Милетскому и Анфимию из Траллеса. «Пусть забудут сон эти подданные, пока не сотворится новая Софья, моя!»

Подобно архангелу на облачном ложе, Юстиниан отдыхал, грезя о будущем величии храма Софьи Премудрости, земном воплощении небывалого Могущества Власти.

Такого же небывалого, как величие его собственных трудов, за которые его справедливо называют Единственным.

Подобно титану Антею из древних сказаний, он собой держит бремя Величественной Власти.

Он. Один он.

Единственно он руками державной воли истребил мятежников, когда все ослабели.

И вот Святая Империя укреплена изнутри.

Укреплена вовремя. Меч упадет на готов, похитителей Италии. Готы разделены изнутри, и нет у них союзников. Готы исчезнут из вселенной, как исчезли вандалы, братья готов по греху похищения имперской земли, по арианской схизме.

Он, один он.

Он призван богом создать вселенную империю. Да падут все стены, исчезнут все границы!

Границы... Как птица, уставшая в полете, дух Юстиниана опустился на землю. Единственный увидел Дунай, на берегах которого он побывал, еще не будучи призванным к служению базилевса. Великая река, временная граница империи, за которой живут славяне, еще не подданные.

Невежды по-прежнему называют их скифами. Издавна, до готов и до Аттилы, и позже, после готов и Аттилы, славяне приходят в империю. Когда-то они проникли даже в Малую Азию. Они осели во Фракии. Они живут в Эпире, в Македонии, в Фессалии. Платят налоги, служат в войске. Одни совсем потеряли свою речь и обычаи. Другие еще сохранили. Империя нуждается в подданных, империя, как и бог, терпелива.

Лазутчики наблюдают за славянами-неподданными. Эти, коснея в языческом многобожии, слабы внутренним разделением. При базилевсе Анастасии вольные славяне участвовали в набегах. Потому что они плодятся с излишней скоростью, не как подданные, которые плохо размножаются вопреки наказаниям за безбрачие.

Комес Хилвуд, командуя пограничным войском, научился укрощать задор тиверцев, везунтичей, уголичей и других задунайских славян, готовя их к подданству.

Успех портит подданного. Такой, даже не злоумышляя, делается опасным. Так и этот полководец. Возомнив себя непобедимым, Хилвуд в походе за Дунаем погубил войско базилевса и сам был убит.

Подготовка войны против италийских готов помешала послать за Дунай новое войско. Юстиниан обратился к хазарам. Прибыв в хазарский город Саркел, послы рассказали Хакану о богатстве и о беззащитной беспечности задунайских славян. Хазары приняли подарки.

Карикинтский префект донес: по варварской лености хазарское войско не пошло далеко. Хазары напали на днепровских антов, с которыми империя ведет торговлю с незапамятных времен. И днепровские пахари избили хазарское войско до последнего человека.

Хазары ослаблены. Пока нет других, чтобы наказать задунайских варваров. Будет продолжено строительство крепостей.

Ибо мудрость и в постройках. Строеие есть зримое воплощение Силы. Недальновидно-скупой Анастасий не решился бы сразу приступить к созиданию новой Софии. Про себя глупцы удивятся. Власти нужен не ум, а послушание подданных.

Великолепие новой Софии будет подобно сильному войску. Перед храмом Юстиниана преклонятся народы. Самый дальний варвар, услышав о Софии, поколеблется в своей косности.

София Юстиниана! Краеугольный камень Империи Вселенской!

5

– Рождаются, страдают, умирают... К чему? Люди-тени шепчутся, как призраки, о надежде, о любви. Жизнь зажигается и рассыпается пеплом. Пустыня, беременная зимним холодом, северо-восточный ветер, шум крыльев невидимых птиц... Мириады убитых на рассвете и днем, и удушенных ночью, и стены тюрем, и смрад падали, в которую бог превращает своих детей. К чему? Ужели для того, чтобы кто-либо один из сотен мириадов постиг высокое? Чтобы мужественнее умереть?

В темноте подземных нумеров под дворцом Буколеон человеческий голос задавал эти вопросы не спеша, очень спокойно, как бы предлагая обсудить существенные дела, не более.

Из мрака плотного, как нечто осязаемо-твердое, ответил второй голос:

– А совершенное спасителем, брат мой Тацит? Земная жизнь коротка. Своими страданиями человек заслуживает венец блаженства. Я давно покончил бы с жизнью, если бы не уверенность в существовании загробной справедливости. Иначе нельзя принять очевидно-временные несправедливости бытия. Я знаю, никто не захочет жить без веры.

Нашелся и третий голос:

– В тебе говорит слабость, добрый Манассиос. К чему нам, уже неживым, топтаться на камне, отшлифованном самоутешающимися слепцами? Прошла тысяча лет с тех пор, как Аристофан вложил своему Сократу умные слова: если Зевс действительно поражает клятвопреступников, почему его молнии не попали в Симона, Клеонида, Феора? Вместо негодяев Зевс бьет высокие деревья и собственные храмы. Чем они ему повредили?

– Ах, Ориген, Ориген, – простонал Манассиос.

– Прости, – с неожиданной нежностью сказал Ориген. – Не тебя я хотел обидеть. Верь, если тебе так легче. Я не хочу оскорбить ни тебя, ни Христа. Клянусь, Христос был лучшим из людей.

– Увы, ты остался язычником, – мягко упрекнул Манассиос.

– Нет, Ориген не язычник, – вмешался Тацит, – просто он умеет думать.

Воцарилось молчанье. В тишине слышно было падение капель воды, шелест дыхания. В тесном номере изломанные пытками Ориген, Тацит и Манассиос почти касались друг друга. В соседнем номере кто-то застонал.

– Моя жизнь была ошибкой, – снова сказал Тацит. – Я думал, что в империи можно сохранить честность, непоколебимость убеждений. Я не заметил, как сделался робким. Я жил трусом. Вместе с другими ничтожествами я был крупницей безответного демоса. Я спокойно наслаждался нравственной жизнью. Никто в империи, проклятой бесчестьем и угнетением, не может не изувечиться, не задохнуться. Я не жалею о своей гибели.

– Время течет, – пожаловался Манассиос, – и нет чуда искупления. Пророчества и видения ныне прекратились. Воля божья невидима. И нет более пророков.

– Брат в смерти, – твердо возразил Ориген, – а разве те, кто умер на ипподроме, не пророки?

Снова молчание и темнота, настоящая темнота пещер или подземелий.

– Тацит! – позвал Манассиос. – Ты жестоко осудил себя. Однако ты ведь жил чем-то?

– Я пытался подражать предку. Я обсуждал наедине с папирусом. Я пережил республику и отверг ее.

– Почему? – спросил Ориген.

– В то ложно прославленное время римляне умели грабить все, что другие наживали веками. Я ужаснулся, считая, сколько они отняли в самой Италии, у Карфагена, в Африке, в Сицилии и Тиранте, в Эпире, Македонии, Элладе, Испании, Азии. Чудовищно много они захватили у фараонов, в Пергаме, Сирии, на Кипре, в Иудее. Начальствующие даже в дни мира умели извлечь все золото и серебро провинций. Истощенные народы вымирали. Республика кормила сотни тысяч граждан, ею же приученных к тунеядству, и каждый римлянин был соучастником грабежа. Из-за этого и погибло многоголовое чудовище волчьего племени – римская республика. Она изжила себя. Остатки награбленного исчезли в гражданских войнах, которые предшествовали империи. И в начале империи...

– Мне нравится жестокость твоей правды, но, прошу тебя, подожди, – прервал Ориген.

Тацит слышал тяжелое дыхание сенатора, Ориген делал какие-то усилия, вот он затаил дыхание. Звучно капала вода. Еще мгновение, и Ориген прошептал:

– Свершилось. Сердце Манассиоса больше не бьется...

– Да будет ему легкой земля, – сказал Тацит.

Прошли века или минуты – в номерах нет времени. Ориген напомнил Тациту:

– Ты говорил об империи...

– Да, – и, стараясь победить страдания тела, Тацит продолжал: – Уделяя много внимания войнам и императорам, историки не заметили главного – нарастания налогов. Первый каталогос людей был составлен при Октавии Августе. Я описал, как все время увеличивалась подать с земли, скота, торговли и с людской головы. Что сказать об империи... Не видя разницы между Диоклетианом и Юстинианом, я уважаю Христа-моралиста и презираю его последователей. Гонимые ныне монофизиты, манихеи, несториане, ариане возбуждают мое сочувствие своими страданиями... Но каковы они станут, овладев властью? Такими же гонителями.

Тацит застонал, но победил боль:

– Я пускаюсь в предсказания, зная несовершенство человеческого предвиденья. Базилевс умело и ловко пользуется христианством. Церковь его опора во всем худшем. Мне казалось прекрасным зерно христианства. Нежный росток дал ядовитые всходы. В одном из списков Историй Геродота я нашел рассказ о деревьях смерти, близости которых не выдерживает ни одно растение, не говоря о живых существах...

Глубокий и мелодичный гул прозвучал в подземельях: открылась дверь в номера. Послышались голоса, топот ног. Шли мимо. В кратком явлении света, проникшего через щелистую дверь, Тацит увидел тело Манассиоса. Бывший демарх прасинов лежал на спине, со скрещенными на груди руками. К чему было знать, сам ли он так отошел или о нем позаботился Ориген из уважения к усопшему. Шаги вернулись. Чье-то тело проволокли мимо номера.

Когда снова все стихло, Ориген возобновил беседу – единственное утешение умирающих:

– Знаешь ли, Тацит, затаившись зверем в норе, я пережевывал мысли, как бык жвачку. Империя воспитала рабский склад ума, люди не осознают событий. Слышащий дурное о базилевсе полагает, что жалобщик был лично обижен. Он же не доверяет и похвалам, так как вестник мог быть задарен. Я хотел бы загробной жизни, лишь чтобы встретиться там с Юстинианом! Отомстить ему за мое рабство. Я знал, против кого иду. А за что? Не знаю. Рабство выжгло мне душу. К несчастному Ипатию меня привлекала его доброта, мягкость. Но был бы он лучше?

– Оставим базилевсов тлению, – ответил Тацит. В его голосе зазвучал гнев.

– Но я не могу не думать о будущем, что мне остается? – с жесткой иронией отозвался Ориген. – О будущем не империи, которую я навеки покидаю, но хоть о людях. Всегда ли и во всем им предстоит унижение?

– Что наша гибель! – сказал Тацит. – Людское семя неистребимо упорно. Я наблюдал свободных и рабов, белых, черных, желтых. Я считаю равными разум и чувства людей. Нет низших и высших по праву рождения, хочу я сказать. Мне хотелось бы возродиться по поверию индов. Вернуться в дни, когда...

Тацит умолк, и Ориген подсказал:

– Воскреснуть, когда по Апокалипсису Иоанна не будет более времени?

– Нет, проще, – ответил Тацит, – когда люди перестанут питаться людьми. – Приподнявшись на руках, он попробовал удобнее переложить сломанные ноги. Но боль вспыхнула еще сильнее. Тацит сказал дрогнувшим голосом: – Раскаянье тщетно... но я раскаиваюсь в зле, вольно или невольно причиненном низшим мною и моими...

Темнота молчала долго-долго. Времени не было, ни дня, ни ночи. Тем более не было утра.

Ориген забылся. Вдруг, очнувшись, он испугался, что Тацит уже ушел вслед за Манассиосом. Опять послышался топот ног. Ориген спросил темноту:

– Ты здесь?

Услышав свой голос, Ориген понял, что не хочет ответа. Пусть Тацит уже освободился. Но друг последнего часа ответил:

– Да, идут. Пусть мы погаснем. Не знаю, был ли хоть в чем прав распятый галилеянин, но он умел верить в лучшее и умер хорошо. Придет час для людей... Все – благо...

Желтый луч воткнулся в пол номера. В замке поворачивался ключ. Тацит сказал:

– За нами. Теперь могу признаться тебе, Ориген, я трусливо опасался, что злоба базилевса забудет нас в пищу червям.

Эти слова были сказаны так же спокойно, как оба они рассуждали о судьбах империи и людей.

Дверь отошла бесшумно. Заботливый смотритель номеров Алфей берег железо петель жирной смазкой.

Тацит, заставляя себя не жмуриться в ослепительном свете, сказал:

– Привет тебе, Ориген, и прощай.

– Прощай.

6

Патриарху Мена не нравилась страсть Юстиниана к богословию. Державный теолог называл себя Внешним Епископом Церкви. Он любил жечь схизматиков. Как-то на руке базилевса Мена заметил след старого ожога. Сам познав боль от огня, Юстиниан считал казнь в пламени наиболее мучительной.

Базилевс присвоил себе удивительное право предавать анафеме давно усопших вероучителей. На это не могли решиться даже вселенские соборы пастырей Церкви, ибо умершие не могут дать объяснений. Юстиниан повелел анафемствовать умершего триста лет тому назад экзегета Оригена за слишком вольные аллегории, извлеченные из Библии. Анафема пала и на отцов Халкедонского собора Федора, Ива и Феодорита, защищавших восемьдесят лет тому назад догму Нестория. Мирянин Юстиниан хотел стоять выше соборов, папы, патриархов.

Однако же Мена не отказывался именовать Юстиниана Верховным Учителем веры. Малый, преходящий соблазн, не угрожающий Церкви Высокой, Церкви Властительной...

По иным причинам Церковь находится в непрестанной опасности. Истина, брошенная на площади, превращается в смертельный яд. Уподобляя невежественных людей свиньям, евангелие завещало апостолам Логоса остерегаться излишеств в откровении перед народами: «Дабы они, не поняв, не обратились против вас же!»

Недаром, не случайно страсти кипят только вокруг богочеловека Христа: как понимать его существо? Задолго до учения христиан подобие евангельского учения проповедовалось в Палестине безвестными учителями: христианство готовилось произрасти в душах людей, как лес из малых зерен многих посевов. Об этом непреложно свидетельствовали древние записи. Разоблачение, смутив души, сокрушит молодое здание Церкви. Сам Мена некогда едва не впал в соблазн. Мена содержал особых послов в Иерусалиме, Вифлееме, Тивериаде, Дамаске, Баальбеке. Облеченные верховными полномочиями, послы разыскивали в монастырях, архивах префектур, храмовых хранилищах и у подданных пергаменты, папирусы, ситовники, уничтожая все сколько-нибудь древнее без выбора, без исследования, чтобы не впасть в грех искушения свободомыслием. Не эллинские идолы, не схизмы по-настоящему угрожают вере! Поистине бог ослепил врага Церкви Юлиана Отступника, скрыв от него уязвимое место!

Предыдущее правление было опасным для Высокой Церкви. Базилевс Анастасий не умел бороться со схизматиками. Сам он был настолько подозрителен в склонности к монофизитству, что патриарх Евфимий потребовал и получил от Молчаливого письменное исповедание кафолической догмы. Теперь кафоличность подданного подтверждается в сомнительных случаях поручительством трех заведомых кафоликов с их клятвой на евангелии. Обратившийся из ереси в кафоличество подвергается наблюдению – не хитрит ли он? Обманщик предается смертной казни. Это благочестиво.

Старый Юстин славился как ревностный кафолик. Поэтому Высокая Церковь сразу призвала верующих признать нового базилевса. Пусть острый меч кафолизма зовется Внешним Епископом. Этот базилевс постиг единство судеб Церкви и Власти...

Но чего, чего сейчас хочет Юстиниан от патриарха?! Мена был взволнован, испуган. Верные подданные, истинные кафолики Ипатий и Помпей с достойной искренностью и с успехом выполнили порученное. Почему же базилевс зовет Мену для суждения об их жизни?

Конечно, для величия Власти базилевс должен был жестко по внешности обойтись с Ипатием и Помпеем. К тому же нельзя посвящать в тайну ипподрома излишних людей. Вероятно, оба ложных мятежника теперь сами поняли, что не сразу будут приближены к особе Юстиниана, как им обещано. Пусть

вначале всем покажется, что смерть повисла над их головами. Потом базилевс простит с неизреченным милосердием, и в дальнейшем каждому, кто вздумает заговорить о жестокости Юстиниана, бросят в лицо: а Ипатий с Помпеем? Они раскаялись и ныне в чести.

Но почему базилевс прислал письмо патриарху? Небывалое дело. Все имеет значение: и содержание письма, и посланный, и время, и место, куда зовут. Думай же, тебе дано время размыслить... Принес евнух из покоев базилиссы, Юстиниан зовет в ее покои, и слова как бы предрешают судьбу обоих патрикиев.

А не имел ли кто-либо из братьев несчастье воспользоваться милостями базилиссы в прошлые годы? Тогда они в смертельной опасности, и базилевс зовет Мена на помощь как свидетеля договора и поручителя обеих сторон. Когда вмешивался этот Змий в образе Евы, Мена терял присутствие духа. Он вспомнил исповедь Гекебола. Нехорошо, если базилисса знает, что сам он, Мена, исполнял роль духовника у человека, который был владыкой Феодоры и тяжко ее оскорбил. «Почему же Гекебол властью префекта не утопил блудницу?» – мелькнуло в сознании, и Мена задушил дурную мысль в момент ее рождения.

В трубках часов песок опускался с излишней быстротой. Феодора вмешалась, вмешалась. Хорошего не жди. По уставу Церкви священнослужитель, нарушив клятву, лишается права служения. Мена поклялся Ипатию и Помпею. Мена своей апостольской властью разрешил сомнения их совести. Он уподобил обоих красавице Юдифи, которая хитростью отсекла голову врагу – Олоферну и Давиду, поразившему Голиафа. Чтобы внушить патрикиям сознание подвига, на который они призваны, Мена говорил о каре, наложенной богом на Саула. Бог приказал Саулу истребить без пощады амалекитян, всех – от мужа до жены, от отрока до грудного младенца – и весь их скот от вола до овцы, от верблюда до осла. Саул не послушался, и бог отказался от строптивца. Зато велик был подвиг благочестивого владыки Израиля, благословенного богом Ииуя. Он объявил себя предавшимся Ваалу, святым обманом своим собрал идолопоклонников и перебил их до единого. Богу угодна ложь с благой целью. Не надо бояться кровопролития. По молитве иудейского владыки Езекии бог сам убил в ассирийском стане в одну ночь сто восемьдесят пять тысяч человек. Взяв город Каспин, Иуда Маккавей, побил в нем столько врагов, что кровью наполнилось озеро, имевшее две стадии в ширину, ибо по воле бога врагов побивают со зверской яростью, как сказано во Второй книге Маккавеев.

Так был укреплен дух патрикиев. Патриарх принял их клятву на Гвоздях Креста. Святыня, не менее великая, чем Древо, хранилась в Палатийском храме Христа Пантократора. Масло от Лампад при Гвоздях своей силой равнялось Маслу от Гроба в Иерусалиме. Им соборовали умирающих базилевсов, им же патриарх Константин совершил первое помазание на престол империи. Это Масло было как бы собственностью базилевсов, никто не смел помыслить о нем для себя, равно как о диадеме.

Пробус лишился сознания, и патриарх открыл святыню только для старших братьев. Ларец стоял на куске гладкого мрамора, стены и купол были выложены красным порфиром, так отшлифованным, что тысячекратно отраженные огни не позволяли судить о размерах святителища; оно казалось беспредельно обширным. Пять лампад на цепях висели крестом. Ни одного украшения, ни одной иконы здесь не было – творения человеческого художества недостойны соседствовать с Гвоздями. Лампады имели форму страусового яйца, цепи выкованы из круглых колец, так как круг знаменует вечность.

Патриарх, проникая в святыню, читал сто пятидесятый псалом: «Хвалите бога во святыне его... хвалите по могуществу его».

Не прекращая чтения, Мена медленно открывал ларец.

– Все дышащее да хвалит господу... аллилуя, аллилуя...

Прикасаясь к ларцу, Мена всегда ощущал, как старую кожу его старого тела охватывал озноб. Кружилась голова.

Черные, ржавые от крови богочеловека Гвозди были неравной длины. Самый большой – в четверть, самый малый – немногим длиннее среднего пальца. С грубыми шляпками, затупленные, ужасающие... Мена видел сияние, которое дрожало синеватой дымкой.

– Хвалите бога по могуществу его, хвалите его по множеству величия его...

Своими руками Мена поднес к ларцу руки клянувшихся. Все трое тряслись, ощущая святыню.

Мена ни на миг не усомнился в Ипатии, Мена был убежден в помощи божьей и принял успех как должное. Но почему базилевс задумал совещаться об участии людей, повторивших к славе божьей великий подвиг Ииуя и Юдифи?

В стеклянной трубке часов порошок уже истощился...

Избрав патриарха Мену своим духовником, Феодора испытывала его обдуманно полупризнаниями. Ей была скучна простая речь, двойственность развлекала, в простоте живет опасная ясность.

Феодора предпочла бы патриарха еще более тупого ума, чем Мена. Монах догадался, что в холоде ее чувств и скрывается тайна женской власти над Юстинианом. Впрочем, другой будет хуже. Святители ловко наносят умную маску тупицы. Пусть этот остается, он труслив.

С Церковью, с настоящей, сокрытой от невежды, базилисса была осторожна. Богослужебный ритуал есть могучее магическое действие. Сразу во множестве храмов толпы людей под управлением священников произносят одинаковые слова, делают одинаковые движения. Объединенные таким способом излучения душ накапливаются, укрепляют Тело Церкви, впервые созданное Христом и апостолами. Посвященные в Тайну называют это Тело Существом.

В своем дворце Ормизда базилисса прятала Анфимия, лишнего патриаршего сана. Мудрец посвятил Феодору в тайное учение. Как капли дождя сливаются в реки, так излучения душ способны творить Существо. Оно неуязвимо, бессмертно, но истощается угасанием веры в него, чахнет из-за вырождения ритуала, как плодовое дерево без ухода. Эллин Эсхил, будучи Посвященным, устами Прометея пророчествовал о гибели олимпийцев. Ибо до явления Христа все Существа были временными.

Феодора поняла, что лишившие Анфимия сана были невеждами. Он якобы сочувствовал догме монофизитов. Но каждая вера, даже ересь, может обладать своим Существом. Существа, созданные арианами, манихеями и христианами других догм, ныне угасают. Обессилевшие, они, как бывшие олимпийцы, перерождаются в ничтожных демонов, прячутся в горах, лесах, пещерах. Но Существо монофизитов сильно, десятки тысяч мучеников придали ему могучую жизненность. Поэтому Анфимий, радея о пользе Церкви и империи, готовил унию кафоликов и монофизитов, дабы слить воедино два Существа.

Отрешенный патриарх дал своей покровительнице золотой ключ к тайнам, скрытым в священном писании, и преподавал посвящаемой науку обращения с Существами.

В Ормизде Феодора дала приют многим монофизитам, позволяла им отправлять богослужение. Так она устанавливала личную связь с Существом монофизитствующих, пользуясь также и его силой.

Базилисса наслаждалась беседами с Анфимием. О, эти Существа, учение о них объясняет все тайны, устраняет противоречия, изгоняет сомнения. Это подлинная пища для ума. Следует помнить: замок на двери истины отпирают, а не взламывают.

Анфимий объяснил базилиссе секрет Диоклетиана. Этот император хотел соединить Существо египтян с эллинским Существом, но удачи не имел, так как опоздал. Тело церкви христиан верой людей и экстазом мучеников успело накопить покоряющую силу.

Повсеместность борьбы увлекала Феодору. Воистину все борется, утверждал Анфимий. Он объяснял тайну свободы воли. Человек наделен свободой воли, и он как бы может быть равен творцу. В писании это сказано уклончиво, дабы не соблазнить слабый ум: сотворил по образу своему и подобию... Анфимий заставлял свою ученицу упорно размышлять о значении этих слов. Его поучения не напоминали ересь, где все происходит из-за спора о внешнем.

Сильным уготовано скрытое от слабых. Взору базилисы открывались грандиозные просторы. Она обозревала мир с орлиных высот.

В раю Сатана открыл Еве тайну свободной воли. Ева научила Адама неповиновению. По невежеству обоих произошла ошибка. Хитрость Сатаны заключалась в посвящении неподготовленных. Однако даже бог, сотворив людей по собственному подобию, не смог их уничтожить.

Феодоре льстило доверие посвятившего, но посвящение она принимала как должное. Она в своей жизни проделала путь всего человечества от сотворения мира. Рожденная невинной, освобожденная крещением от бремени первородного греха, она познала все падения; не было низости, которой она не подвергалась бы и какой не творила бы сама. Очистив себя до бесстрастия, она силой свободной воли поднялась на высшую ступень. Никто не помогал ей. Без советчиков, без опоры – она поднялась сама. Многие женщины возвышались посредством телесной красоты. Но те были игрушками, делившимися ложе. Феодора сделала себя сама, была нужна Юстиниану навечно, она владела не только страстями супруга.

Явные дела Церкви и тайны, открываемые Анфимием, утверждали в сознании Феодоры догму единства жизни в неравенстве людей. Феодора увидела здание вселенной. Христос создал стройность, подобную пирамиде. Феодора встречала великие постройки, скитаясь в Египте. Единство божества, опирающегося на иерархию архангелов, серафимов, херувимов, ангелов и приобщенных к ним святых, лежало на человечестве, своим множеством подобном песку пустыни под пирамидой. То, что находится сверху, подобно тому, что находится внизу. Бог нужен людям, люди нужны богу. Правление земное создается в подобии небесному: бог – базилевс – бог.

Анфимий руководил мыслями Феодоры, осторожно подводя ее к идее Страшного Суда. Когда судьбы мира исполнятся, одни души навеки унаследуют рай, другие – навечно погрузятся в ад. Поэтому между людьми нет и не может быть равенства. Мысль о равенстве есть безумие. Человек, ею одержимый, столь же низок, как животное, в своем ничтожестве не имеющее души.

«Знает ли что Мена о тайных учениях?» – спросила себя Феодора. Патриарх опирался на посох с рукоятью, загнутой крюком. На торжественных выходах Мена пользовался творением из драгоценных металлов и камней, но предпочитал апостольскую клюку пастухов пустыни длиной в рост человека, пригодную, чтобы, зацепив, повалить овцу для стрижки или под нож.

Мена носил черную монашескую скуфью с расширенным сверху плоским дном, черную рясу грубой шерсти, сандалии на босых ногах – несмотря на холодное время года. Даже зимой патриарх издавал запах немытого тела, чего не могло простить тонкое обоняние базилисы. Свита патриарха удалась. Владыки империи остались наедине с владыкой Церкви.

Входы охранялись схоляриями Рикилы. Невозможно было бы сказать, людей какого племени охраняли славяне.

Юстиниан не интересовался своим происхождением. Он родился во Фракии. Фракийцы? Это слово не имеет этнического значения. Кто они? Даки, македонцы, эллины, славяне? Из всех высказанных предположений ни одного обоснованного. Юстиниан свободно говорил по-эллинистически с детства. Но это не

служит племенным признаком. Столь же свободно Юстиниан владел латинским языком. Он видел империю через Рим. Никогда он не проявлял пристрастия к какому-либо одному племени. В costume, церемониале, в архитектуре его вкусы выражали азиата, никак не римлянина, не грека. Юстиниан был истинным ромеем – детищем многонационального имперского сплава.

Феодора была в какой-то мере эллинкой. К этому времени Эллада успела подвергнуться стольким нашествиям, переселениям, заменам населения, что кровная преемственность от современников Перикла казалась утерянной.

Патриарх Мена был по рождению греко-римлянином с возможной примесью крови арабов, иудеев, самарян, финикийцев, вавилонян, эламитов, ассирийцев.

Для славянских наемников, свободных от унижающих церемоний, от гнева верноподданничества, сейчас Юстиниан, Феодора и Мена были смешными непонятностью движений фигурками.

До славян долетали звуки слов, не слова. Им было скучно, скука утомляла. Утомили изображения ромейских богов. Приелась клетка Палатия. Бойня безоружных мятежников внушила отвращение. Желания были обмануты.

Здесь не нашлось невозможного, необычайного, к которым стремился Индульф. Золото заслуживало презрения. К чему оно? Купить женщину, вкусную еду, оружие хорошо несколько раз, потом все приедается, даже оружие и женщины. Единственно желанной женщины нет больше...

В своем военном доме славяне с презрением отзывались об ипаспистах Велизария, о готах и герулах Мунда. Их война не труднее мясницкой работы.

Ромеев слишком много, коль базилевс невиданно режет своих. Так и зверя не бьют на облавной охоте, иначе ничего не останется. После ужаса, который вызвало зрелище бойни, славяне поразились глупостью ромеев. Хуже лесного зверя, они сами забрались в ловушку и ждали смерти.

Сейчас Индульф наблюдал за лицами владык только от безделья.

Здесь много говорят, владыки золота питаются словами. Базилисса – как ромейская статуя. У камня нет возраста.

Однажды Индульф спросил Амату, молода ли базилисса и кто она родом. Любимая приложила палец к губам и приказала: «Никогда, нигде, ни с кем не говори о ней. Придет время, я расскажу тебе». Время не пришло. Аматы нет.

Славяне привыкли общаться между собой, не тая голос, как эти трое ромеев. Наверное, базилевс опять узнал, где собрались его ромеи, и совещается, как пустить кровь.

Славяне не сочувствовали восставшим ромеям. Не имея возможности постичь жизнь Византии, славяне мерили своей мерой. Кому плохо – может уйти куда глаза глядят, земля велика, пищу не найдет только глупый. Бессмысленно с дрекольем нападать на вооруженных; сначала найди, чем сражаться.

Скучно здесь... Голуб стоял, опустив голову, с безразличным лицом. Ему и от скуки вслушиваться незачем, он еще плохо знает ромейскую речь. Индульф напряг слух. Нет, они говорят слишком тихо, иначе он понял бы. Теперь Индульф мог объясниться с любым ромеем. Их речь не трудна, очень многие ромейские слова похожи на славянские. Нос челна или корабля называется проорой – плуг орет землю, корабль – воду. Воин – стратиос, встречич, встречающий врага. Вино – меду. Белиерос – хороший, белый. Баня – баланейнон. Иерос – верящий. Кудрявое дерево кедр – кедрос. Делаю край, кончаю – крайно. Вишу – кремо, все одно что кренюсь. От пива жиреют, вот ромеи и зовут пиво – корма. Каменная, кремневая стена – кремнос. У лилий цветок кринкой, ромейская лилия – кринон. Кротос – слабый, кроткий человек. Лаская, ромейская женщина называет мужчину милете, славянка – милый ты. За смелость же бранят

кубалесом – кобелем. Логге – могила-лог. Логос – слово-слог. Смертный человек – смердос. Речь – рисес, хлеб-жито – зитос. Стебель – стибос. Трус, который трясется, – трестос. Копье-ратовище – ратос, желтый цвет – зантос. Мешал свист на конце слов; не будь его, язык ромеев был бы для уха куда легче.

Что это свистнуло? Феодора сказала: долос. Это слово было совсем чужое, не похожее на славянские, а смысл у него был гадкий: и ромейская хитрость, и кинжал ромея, тонкое, длинное жало, пригодное для слабой руки евнуха и женщины.

Индульф прислушался, уловил еще одно знакомое слово: каинис – бойня, убийство. «Ромеи не могут насытиться», – решил он.

– Благодать священства получается незримо, так же незримо отнимается при отлучении священника. И верующий не имеет признака, чтобы отличить духовника, действительно имеющего власть отпускать грех, от недостойного, от лишённого благодати, – говорила Феодора, как бы предлагая патриарху ответить на один из многих сомнительных вопросов, касающихся неустройства церкви.

Будучи предупрежден базилевсом, Мена знал, что его позвали не для беседы о церковных порядках. Мена не отвечал, базилисса продолжала:

– Добродетель колеблется под влиянием времени, сатана предлагает человеку коварные умозрения. Иногда неразумный духовник влияет на совесть подданного, не зная, что невольно содействует злу. А если духовник сам чрезмерно разумен? И наделен неповиновением Власти? И искушен самомнением?

Слишком разумный духовник – сам Мена. Но он нечестолобив, нет, базилисса не права, – внутренне защищался патриарх. Он сидел с невидящим взглядом, зерна остановившихся четок согрелись в руке.

– Сила Церкви вложена в духовника, когда он снимает грех с души подданного. Совершается великое таинство. Затем духовник опять человек с невоздержанным языком.

Эти слова Мена не мог оставить без ответа:

– Нет! Нет, о Величайшая! Тайна исповеди ненарушима!

– Всегда ли? – спросила Феодора.

Мена не ответил. Юстиниан слушал с легкой улыбкой. Феодора наступала, колебля один из краеугольных камней, на которые опирается церковь.

Исповедь, отпущение грехов и причастие – тройственный ритуал, которым церковь общалась с подданными. Нарушение тайны исповеди превратило бы таинство в гнусность, для которой нет имени.

Мена никогда не мог бы воспользоваться откровенностью исповедуемого. «А не мог бы ты повлиять на верующего, чтобы он сам разоблачился в грехе?» – спросил себя Мена.

Сегодня пять смертных знали тайну ипподрома. Завтра Феодора потребует и голову Мены? Старый патриарх не боялся умереть. Тщетно спорить с базилиссой, она права. Тайный еретик-священник может разрешить от клятвы Ипатия и Помпея. Может найтись и кафолик, чья совесть, не просвещенная истинным понятием о благе империи, возмутится. Ипатием и Помпеем воспользовались как острым оружием. Обоюдоострый клинок может перевернуться в руке и ранить хозяина. Его нужно сломать. Его ломают – и патриарх сделается клятвopеступником. Страшное бремя ему придется принести на Страшный Суд.

На лице Феодоры не было ни морщинки. Круглый подбородок, маленький рот, серые глаза, всегда ясные, девически-чистые, – в ней все говорило о мягкости характера, о слабости воли. Мена подумал о непостижимости воли божьей, наделившей черную душу лукавейшей Евы ангельским обликом. Над ее

плотской оболочкой время не властно, душа женщины состарилась, иссохла, как гнилое дерево, а тело цветет. Евтихий, настоятель Софии, принял раскаяние Феодоры, сжалился, не отверг, как другие, заботился о ней. Готы убили Евтихия. Его тело, неопознанное, безыменное, брошено в море на поругание подводным гадам. А ей – ничего, она помнит об Евтихии не более чем помнит нога случайную опору. Еще хуже она поступает с ним, с Меной, она покусилась на вечное спасение души, на единственное, чем он дорожил. Судьба мученика Евтихия стократ лучше. Как спастись от проклятия? Мена наложит на себя власяницу до смерти, до смерти не будет мыть тело, которое и сейчас он моет только два раза в год. Наденет вериги весом в двадцать фунтов...

Наблюдая, Феодора понимала: невидимая сила Существа Церкви, излучающаяся из Гвоздей Христовых, падет на этого старика. Где ему защититься, глупцу? Он слишком прям. Отныне в этом деле Феодора и Юстиниан подобны людям, наблюдающим грозу издали. О мудрый посвятитель Анфимий! Твоя ученица выиграла!

– Так что же решит Святейшество? – спросила Феодора.

– Да поступит Власть на благо святой империи, – ответил Мена голосом тяжело больного. Такими же или похожими словами много раз уже выносились смертные приговоры и будут вынесены еще много раз. Но Феодоре было мало уклончивых слов. Невидимое Существо нуждается в точности выражений.

– О ком говорит Святейшество? – спросила базилисса.

– Об Ипатии и Помпее, – ответил патриарх. Он был готов на все, лишь бы прекратить муку. Скорее припасть к ногам распятого и забыться в молитве.

Для Феодоры было достаточно. Догадливый, но и тупой старик направил на себя – теперь невозможна ошибка – гнев Существа за нарушение клятвы. Глаза Феодоры потемнели, зрачки расширились, и лицо потеряло выражение невинности.

Патриарх поднялся, не разгибая спины; осеняя крестным знамением воплощения Власти, он не мог внутренне произнести священную форму благословения. Его ослепило жгучее воспоминание о Пилате, римском проконсуле Иудеи. Что есть истина?!

Будучи сам Властью, Мена мог понять проконсула, перед которым разъяренные иудеи вопили: пусть лучше погибнет один человек, чем весь народ. Богослов Мена понимал и иудейских старшин; Христос нарушал порядок, призывая иудея общаться с чужим, как со своим. Ломая стену между иудеями и другими народами, Христос отрицал исключительность иудеев и тем самым угрожал их мечте создать свою земную империю. Утонченный римлянин, Пилат видел в споре между иудеями еще одно варварское проявление надоевшего ему фанатизма. Он мог и хотел отпустить Христа. Но когда иудеи пригрозили доносом в Рим, проконсул, помня злобную подозрительность императора Тиберия, умыл руки.

Тяжелый ответ понес Пилат перед богом. Но ведь он был лишь циничный скептик и слепорожденный язычник. А ты? – спросил себя Мена. Вот перед тобой двое невинных. Их существование оказалось опасным для Власти. Дабы не нарушить покоя государства, ты по тяжелой обязанности первосвященника согласился на их гибель. Но истина, истина? А лучше бы умереть сегодня утром! За какие грехи, боже мой, ты начертал мне злую судьбу клятвopеступника... Насколько лучше Ипатию и Помпею! Через краткий миг быстрой муки бог вознаградит их за подвиг, за мученичество.

Индульф следил глазами, как главный жрец ромеев стоял, раскачиваясь, будто пьяный. Его губы чуть шевелились. Он упадет? Нет, вот он побрел неверной походкой, точно истерзанное животное. Как тощи и как грязны руки, которыми он цепляется за клюку.

Базилисса подошла к Индульфу вплотную, и он почувствовал ее запах, особенный, не похожий на

запах всех женщин. Наверное, у нее были собственные ароматы, не те снадобья, которыми торговали лавки в Месе.

Базилисса прикоснулась к наконечнику копья. Индульф сдержал дыхание. Железо наточено, как бритва, – коль базилисса хочет порезаться, пусть режется без его помощи. А! Отдернула пальцы... Взгляды Феодоры и Индульфа встретились. У нее глаза, как стекло, с зеленой тенью внутри, чуть-чуть косые. Индульфу захотелось спросить это существо об Амате. Но ведь он не знал имени, которым Любимую называли другие. Как тут спросишь? Он в упор глядел в глаза базилиссы, сверху вниз – она была ростом едва выше Аматы.

Отступив, Феодора толкнула серебряный диск, висевший на стене. Металл издал мелодичный звон, звук его казался голосом самой базилиссы – белым, сухим. Появился слуга и тотчас исчез летучей мышью. Вошли еще восемь товарищей Индульфа. Славянам было приказано следовать за Феодорой. Базилисса торопилась. Сразу потеряв направление, как обычно бывало в переходах палатийских дворцов, славяне тесной колонной спешили вслед владычице. За какой-то дверью они попали в темноту, потом оказались в круглом зале, освещенном сверху. Открылась еще одна дверь. Узкая площадка падала вниз крутыми ступенями. Сильно пахло нефтью, черные жилки копоти плавали в застоявшемся воздухе.

Нити копоти оседали на лицах Ипатия и Помпея. Из дыры в полу тяжело разило аммиаком, до крутого свода можно достать рукой. Но узники не были забыты. Широкое ложе, пригодное для двоих, покрывалось шерстяными одеялами, на низком столе нашлось место для амфор с вином, корзины с хлебцами и сухим печеньем, блюда с жареным мясом, смокв, нанизанных на толстую нитку.

Братья успели победить первое смятенье, вызванное злой издевкой Юстиниана. Так же как и Мена, они поняли необходимость внешнего проявления гнева Божественного, каждый утешил себя, оба успокоили друг друга. Конечно же, Единственный мог найти более подходящее для них место, чем секретная тюрьма базилиссы. Но тут же со свойственным многим желанием истолковать все в хорошую сторону братья согласились, что лучшего тайника не найти. Остерегаясь дионисовых ушей^[60], братья шептались о событиях, которые происходили, быть может, именно в этом номере.

Вспомнился полководец по имени Буз. Во время болезни Юстиниана он говорил, что новый базилевс не будет избран помимо воли войска. Это было угрозой базилиссе, которая собиралась, как соправительница мужа, править в случае его смерти. После выздоровления Божественного военачальники пустились доносить друг на друга. Феодора пригласила Буза в Ормизду под предлогом совета. Буз вернулся через два года. Живая развалина, полуслепший старик казался воскресшим из мертвых.

– Но мы, конечно, пробудем здесь лишь неделю, пусть дней десять, – убежденно заверял Помпей. Красавец, он пользовался доходами от родового состояния и был любим за веселый, незлобивый нрав. Он охотно вносил налог за безбрачие, только бы не связываться семьей. Когда работорговец Зенобий привозил мавританок из Ливии, кельтиберок из Испании, африканок из-за нильских катарактов, белокожих ибериек с Кавказа, Помпей извещался первым. Он был добрым хозяином и щедрым другом, он заботился передать в хорошие руки женщин, когда те приедались.

Слушая успокоительные речи брата, Ипатий думал о том, что не воспользуется обещаниями базилевса, переданными Меной. К чему обременять себя войной или хлопотливыми должностями? Почет и власть не стоят потери покоя. Он предпочтет мирно-безгрешную жизнь в кругу семьи. Ипатий не откажется от денег, от лишнего поместья, а в остальном проявит скромность. Его беспокоила судьба Пробуса. Где он? Базилевс может вспомнить о третьем брате. Дурно, дурно, что Пробус из-за обморока не прикоснулся к Гвоздям. Могут сказать – опасен рот, не закрытый клятвой.

– Э, бог даст, о Пробусе забудут. Кому сейчас все это нужно! Мы свое совершили. Охлос укрощен.

Кому захочется ворошить хлам прошлого! Эллины говорили, что над минувшим даже боги не властны, – беспечно утешался Помпей.

– Да, да. Я спокоен, как никогда. Сегодня я отлично выспался. После всех волнений Христос послал мир моей душе, – согласился Ипатий.

Нарочно повышая голоса, братья изъяснялись в преданности Божественным владыкам. А потом, чтобы развлечься – само место служило острой приправой, – они опять шептались о разных ужасах.

Ведь известно, что у бесплодной Феодоры однажды все же родился ребенок. Когда она еще была... ш-ш-ш! Случайный отец отвез младенца в Аравию, отнял его, потому что мать хотела... ш-ш-ш! Впоследствии отец на смертном одре открыл сыну тайну его рождения. Феодора уже была базилиссой... Словом, осиротевший юноша явился в Палатий. Кто-то из евнухов побежал доложить. Дурак, он наивно вообразил, думать надо, что счастливая мать его наградит. Юноша исчез, исчез и евнух. Где и как они расстались с жизнью? Может быть, именно здесь, в номерах Ормизды? Не нужно... Это по-настоящему страшно.

Находились другие случаи, обсудить которые было интересно.

Решительные действия Власти не вызывали протеста у верноподданных Ипатия и Помпея. Как многие из многих ромеев, они не были способны отличить силу от насилия. Сам язык, сами слова не рознили эти понятия.

Нужно было бы изощряться в философии. Но сами философы понимали благо как пользу империи.

Церковь грозила отвергающим авторитет Власти вечностью ада – муками смертной казни, продленными в бесконечность.

Ибо Власть даже языческой империи была объявлена самим первоучителем христиан происходящей от бога.

Явление Феодоры в тюрьме показалось узникам сошествием ангела. Базилисса медлила.

– Привет тебе, Иптиос, – наконец сказала она.

Феодора любила игру слов. Ипатиос значит «верховный», «правлящий», иптиос – «лежащий на спине», «упавший навзничь». Разница в одной букве.

Большинство религий внушало верующим добродетельность прощения обид. Груз прошлого слишком велик, месть есть наслаждение богов, не людей. Забвение помогает жить. Но как отделаться от пережитого, чтобы оно не влияло на страсти человека, на его влечения, его призвание, на восприятие жизни!

В семье медвежатника и уборщика ипподрома Акакия разговоры о знатных служили наилучшим развлечением. Все живо интересовались патрикиями, богатыми, и наиболее осведомленный сплетник оказывался самым почетным гостем. При всех гадостях, действительных и выдуманных, которые беззастенчиво обсуждались взрослыми, девочке Феодоре знатные мужчины и женщины казались высшими существами. Отец с матерью, копаясь в грязи слухов, завистливо вздыхали: «Ах, почему не мы рождены патрикиями, злая судьба!..» Дочь привыкла завидовать знатным и богатым как высшим.

Впоследствии Феодора разочаровалась. Многие из высших не выдерживали сравнения с наездниками, мимами, солдатами и даже рабами. Для актрис Порная источником дохода являлись богатые. Некоторые оказывались гнусно скупыми, и все были исполнены бесчеловечной наглости.

Куртизанке Феодоре удавалось мстить, играя страстями, ибо среди клиентов Порная встречались слабые сердцем и волей. Потом злоба сменилась презрением. Базилисса не мстила, а развлекалась: либо издевкой, либо ножом палача.

Познав изнанку жизни, она простила женщину. Соправительница Юстиниана устраивала убежища для павших. Вскоре надоело. Несчастные презренны. Почему эти твари не захотели подняться? Сумела же она. И благочестивые учреждения базилиссы сделались ужасом византиек. Попасть в эти застенки страшнее, чем в настоящую тюрьму.

Ценя только ум, Феодора приблизила к себе Антонину, Индаро, Хрисомалло, тоже побывавших на сцене Порная. Общность прошлого была тут ни при чем.

Базилисса знала свое призвание. Соправительница обязана возмещать упущения излишне прямого мужского ума Соправителя. Так было и сейчас. Супруг собрался исполнить обещания, данные Ипатию. Мужская ограниченность! Базилисса, как всегда ни в чем не споря, настояла на своем решении, нужном для Власти. Оставалось немного. Исполняя ее, долее волю, Юстиниан назначил этим ничтожествам легкую, быструю смерть. Базилисса избежит явного неповиновения Любимейшему.

Однако же...

Подводя базилиссу к познанию сокровенного из сокровенных, опальный патриарх Анфимий не скрыл от своей ученицы величайшую тайну. Все писанные учения лишь намекают на эту тайну, чтобы не соблазнить слабых духом. Тайна передается изустно: душа человека не обязательно бессмертна. Загробный мир может выпить душу, душа способна раствориться в его легком эфире, как капля влаги растворяется в Мировом океане. Невидимое Существо Церкви поддерживает души, поэтому Христос смог обещать верующим вечную жизнь. Но не все ее обретут. Страдания, повергая душу в смятение, ослабляют ее способности. Душа может оторваться от Существа. Смерть тела опасна, когда человек потрясен отчаянием; его душа, падая в бездны тонкого эфира, может утонуть, подобно человеку, не успевшему научиться плавать.

– Твои дети завтра будут просить милостыню, – жестко сказала Феодора Ипатию, который упал на колени согласно палатийскому церемониалу.

Он ответил с неожиданной твердостью:

– Итак, базилевс нарушает обещание...

– Нет, – возразила Феодора, – воля базилевса есть воля бога, а бог не связывается обещаниями.

Эти слова должны были ударить по вере Ипатия и поколебать его связь с Телом Церкви. Феодора выжидала, чтобы сомнение и отчаяние всосались в Ипатия, как вода в сухой песок.

– Патриарх Мена обманул тебя, глупый иптиос. В ларце лежали не Гвозди Христовы, а простое железо. Простое, ржавое железо.

Это был второй удар по вере, удар сокрушительный. Феодора соединила его со вторым ударом по сердцу:

– Завтра добродетельная Мария, бывшая твоя жена, продаст свое тело за обол. Большого она не стоит.

Ипатий сделался блее палатийской хламиды.

«А, он онемел! – сказала себе Феодора. – Будь его душа тверда, он ответил бы оскорблением.

Продолжим».

– Ты понял ли, что твоя клятва была недействительна? Послушайся ты умных советчиков, ты увел бы охлос во Влахерны. И сегодня не мы, а ты был бы базилевсом!

Ипатий, разорвав одежду на груди, вытянул шею. Он видел солдат за порогом номера и просил смерти. Пытка души хуже пытки тела.

– Куда ты торопишься? – спросила базилисса. – Помни, как только твои глаза откроются в той жизни, ты будешь бессильно созерцать позор и гибель твоих близких. По твоей вине, глупец, по твоей!

Ипатий упал вниз лицом. Помпей сидел с улыбкой идиота. Этот нежный патрикий уже достаточно искалечен. Его можно отпустить для вечной смерти. Но Ипатий должен очнуться. Феодора, наступив на откинутую ладонь Ипатия, нажала. Еще, еще... Ипатий пошевелился, Феодора использовала последнюю стрелу.

– Ипатий, благородный патрикий, – позвала она нежным голосом. Такую певучесть знал только Юстиниан. Ипатий приподнялся, будто на зов ангела.

– Бедный, жалкий, несчастный, обманутый... И ты хочешь умереть? И ты хочешь избавиться от мук? Ты хочешь? – Базилисса изображала сочувствие, как на сцене Порная она играла в невинность, дабы оглушить внезапной переменой. – А разве ты не слышишь, как тебя зовут пять мириадов? – В голосе базилиссы зазвучали трагедийные ноты. – Души пяти мириадов, которые ты обманом затащил на ипподром? Да, да, ты предал их, как бык, который, зная, что его самого минует нож, ведет стадо на бойню! Не правда ли, любезнейший патрикий?! Смотри, – Феодора указала в темный угол номера, – они здесь! Подумай же, с каким нетерпением загубленные тобою ждут встречи с иудой. Ведь ты иуда, иуда, иуда... Но Христос простил Иуду, не будь Иуды, не было б победы на Голгофе. А ты? А тебя кто простит за гробом?

Феодора почувствовала приятную истому удовлетворения. Пора отдохнуть. Ее ждут нежные, сильные руки слепых массажистов и молочная ванна. Эти двое патрикиев, рожденные в холе, нежившиеся на мягких подушках на лучших местах трибун ипподрома, богачи, чьи объедки когда-то подбирала Феодора, помогая отцу, теперь растоптаны, как глупые крысы, выскочившие на арену под копыта квадриги. Живая падаль, им нельзя ни жить, ни умереть!

Отступив, базилисса приказала солдатам жестом и голосом:

– Убить! Обоих! Бейте!

Она обдуманно выбрала сегодня не своих безупречно надежных, но неуместно-понятливых спафариев. Эти славянские дикари все равно что глухонемые. Не постигнув тайны убийства души, они задавят осужденных, как псы душат зверей.

– Убить!

Никто не двинулся, чтобы исполнить очевидный приказ. Нахмуренные брови, искаженные гадливостью губы. На лицах своих товарищей Индульф читал отвращение. За золото, за корм они поклялись на оружии сражаться за наемщика, охранять его жизнь. Где здесь враг? Эти двое, умершие заживо?

Зная, что Индульф – помощник комеса, базилисса подошла к нему. На мраморе ее лица виднелись черточки прилипшей копоти, зрачки расширились, как у кошки, и она в третий раз повторила приказ. Индульф ответил Феодоре словом, выражающим по-ромейски совершенное отрицание:

– Анаиномай!

...Так души Ипатия и Помпея чуть-чуть задержались в грешных телах, прежде чем безвозвратно упасть

в зев вечной смерти.

Быт имперских армий изобиловал примерами неповиновения, несравненно более серьезного и опасного, чем отказ солдат от исполнения палаческих обязанностей.

Не будучи ни гражданами, ни воинами родовых дружин, связанных бытом, укладом и честью с вождем, имперские солдаты даже на полях сражений ссорились и торговались с полководцами, не желая биться, пока не будут удовлетворены те или иные требования.

Военные мятежи, никого не удивляя, не считались позором, к ним относились как к неизбежным неприятностям. Привыкнув иметь дело с наемниками, империя умела терпеть нарушения дисциплины. В этом терпении проявлялись гибкость, способность трезво ценить вещи, но не слабость. Старались не озлоблять мятежников, а разделять их подкупам, смягчать обещаниями, уговорами. И когда восставшие войска добивались своего, они возвращались по Золотому мосту как ни в чем не бывало под хоругви империи.

Палатийские экскубиторы, занявшие изменнически-нейтральную позицию во время мятежа Ника, не были ни распущены, ни наказаны. Сейчас они столь же верны, как до мятежа. К чему поминать прошлое и обижать людей! Комес спафариев Коллоподий, пользуясь своими агентами, подвергал ряды золотой гвардии Палатия осторожной и медленной чистке. Спешить некуда, обескровленная Византия не скоро соберется с силами.

Той же участи подверглись остатки городского легиона. Не следовало выбрасывать опытных солдат, как старую ветошь. Выживших легионеров постепенно рассылали по дальним гарнизонам пограничных крепостей. Одновременно войско столичной охраны пополнялось из среды наемников, федератов-союзников, людей разных племен, для которых у византийцев было одно название – скифы.

В тревожные дни восстания Ника славян берегли, чтобы они наравне со спафариями оказались последним щитом в час рокового испытания, если он наступит. Вообще же предполагалось, что этот небольшой отряд, привыкнув жить в Палатии, сделается таким же надежным, как спафарии. Вернейшие из верных не должны быть многочисленными.

– Редкие камни теряют, когда их слишком много. А от соседства с другими, тоже редкими, они лишь выигрывают, – так говорил Коллоподий, докладывая базилевсу о приезде в Византию Индульфа и его товарищей, ибо тонкий намек, удачное иносказание убедительнее, чем грубое признание: «Я хочу иметь возможность противопоставить и спафариям вторую силу...» Родина этих славян казалась бесконечно удаленной от империи, что увеличивало ценность наемников.

До маленького события в подземной тюрьме дворца базилисы единственное обстоятельство тревожило Коллоподия: гений имперской разведки еще не обзавелся среди славян ушами и глазами, каких у него было достаточно везде. Сейчас Коллоподий заключил, что варвары слишком быстро освоились с эллинской речью и по дикарскому упрямству нежелательны в непосредственной близости к Священному телу.

Военный дом, занятый славянами, предназначался для новых избранников, наемников в верховьях Дуная из гуннов. Славян же соблазнили походом в богатейшую страну Теплых морей, в Италию, на славную войну. Там они смогут хорошо отдохнуть от утомительной скуки палатийской службы.

Комес Рикила Павел был уволен совсем. Со свойственной базилевсам проницательностью Юстиниан заметил, что этот человек, будучи, вероятно, эллином по происхождению, недостаточно, кажется, любит своего владыку.

Для Юстиниана дни мятежа упали в прошлое, откуда они будут сиять Его Победой, его «Ника». И он возобновил подготовку великого дела возвращения Италии в лоно империи.

После смерти Феодориха некому было продолжать его дело, и готы тонули во внутренних неурядицах. Корону Италии надела дочь Феодориха Амалазунта. Властная, склонная к насилию, она была близорука. Готы, считая себя опозоренными властью женщины, мирились с временным положением Амалазунты как регентши на годы малолетства Аталариха, ее сына. Аталарих умер. Амалазунта казнила трех вождей, упредив готовящийся переворот, а затем совершила роковую ошибку, вступив в фиктивный брак с Феодатом, последним мужчиной из правящего рода Амалов, своим дальним родственником. По условию власть оставалась за ней.

Агенты Юстиниана давно вносили смуту в Италию. Магистру Петру, полномочному послу Византии, удалось завершить дело. Феодат, любитель греческой философии и страстный стяжатель, ощущал нарастание беды. Ему обещали звание патрикия империи и поместья в Греции в обмен на его земли в Италии. После брака люди Феодата предательски схватили Амалазунту и отвезли в крепость на островке горного озера Больсино. Там родственники недавно казненных вождей осуществили кровную месть, задушив дочь Феодориха в бане горячим паром.

Великий гот Феодорих дал в Италии равноправие всем – даже язычникам и иудеям, как и христианам-еретикам. Он ошибся, возглашая терпимость в века нетерпимости. Терпимость власти сделала итальянских кафоликов более нетерпимыми, чем византийские. От их имени папа Сильверий молил Юстиниана спасти Италию от нечестивых ариан-готов, которых ничтожно мало по сравнению с истинными кафоликами.

– Как в засуху колосья жаждут дождя, так итальянцы жаждут воссоединения с империей, – напутствовал Юстиниан Мунда, Велизария и многих подчиненных им военачальников. Мунд в сане Главнокомандующего Западом выполнит главное. Он вторгнется в Италию по суше с северо-востока, разобьет главные силы готов и пойдет к Равенне, светской столице страны. Велизарий поплывет в Сицилию, откуда высадится на юге и пойдет к Риму, духовной столице, резиденции папы. Из Рима он направится к северу, очищая землю от готов, как сад от сорняков, и под Равенной встретится с Мундом. По воле базилевса Нарзес составил планы. Война будет легкой, победа обеспечена, понадобится шесть-восемь месяцев. Заботила только Равенна, сильная крепость, осада которой может затянуться. А там казна Феодориха, меньшей части которой хватит на все издержки войны.

И худший знаток душ человеческих, чем Юстиниан, мог уловить огорчение Велизария. Конечно, он считал личной обидой назначение Мунда. Конечно, он был уверен, что более Мунда подходит для решения главной задачи войны. Велизарий забыл свои ошибки и сомнения в дни мятежа.

Феодора через Антонину дала понять Велизарию, что Божественный не удовлетворен его поведением во время мятежа. Но о своей истинной заботе Юстиниан не сказал даже Феодоре: почему Велизарий во время нападения мятежников на Халке вывел в бой только четверть своих ипаспистов? Для каких целей он оставил в Палатии полторы тысячи своих людей? Умный, но чрезмерно тонкий и подозрительный, базилевс не мог понять, что Велизарий руководствовался лишь самонадеянным презрением к охлосу. Для Юстиниана неясность, которую Феодора, не зная того, разрешила, опять поручившись за Велизария. Иначе он не получил бы и второстепенного командования.

– Я дарю тебе моих храбрых славян, – улыбнулся базилевс Велизарию. – Они хорошие воины, так же, как готы, не хотят подчиняться женщинам, – и Юстиниан улыбнулся Феодоре.

Это была маленькая месть державной супруге за Ипатия и Помпея, допустимая между любящими.

Может ли воля одного человека изменить жребий мириадом? В первой молодости Юстиниан задавал себе этот роковой для правящих вопрос. Первые опыты власти, когда он подсказывал решения своему стареющему дяде Юстину, наталкивали на положительный ответ. В дальнейшем Юстиниан укрепился: да, может! И в дополнение, решая, приказывая, требуя, владыка обязан освободиться от тех понятий о добре и зле, которые обязательны для подданных. У него другое добро – благо империи, и другое зло – ущерб империи. Пусть умрут мириады, это их жертва, их вклад в дело империи. Цель освящает все. Для правителя нет дурных поступков, есть только ошибки. Так называемые злые средства добродетельны для правителя, коль они служат цели. И правитель обязан воздвигнуть в своей душе тайное зеркало для преобразования видимого подданными в его истину. Магистр Петр описал смерть Амалазунты в горячем пару. Отвратительные и жалкие подробности обратились радостью в душе Юстиниана. Эта женщина не умерла бы, не будь его воли, но грех пал на готов. У него же – заслуга. Погибла еретица и дочь похитителя Италии Феодориха. Для воссоединения Италии эта смерть равна выигранному сражению, она стоит армии!

В мыслях явилась помеха, что-то просило вспомнить о себе. Что? А, Ипатий и Помпей... Он обещал им и, как думают эти простаки, обманул. Они, подобные живой наживке на крючке рыболова, умерли для блага империи. Позже он вернет их семьям конфискованное имущество. Пусть охлос славит его доброту. А сейчас пора к Феодоре.

Он поднялся, ощущая приятное напряжение тела. Она всегда желанна, Единственная Женщина...

Глава 12

Чужие знамена

Подобно как в темном тумане
Рыщут, почуя добычу, гонимые
бешенством глада,
Хищные волки, и, пасти засохшие
жадно разинув,
Их волчата ждут в логовищах...

1

Подданные империи читали манифест Юстиниана. Среди звучных фраз о божьей воле, справедливости, чистоте намерений, общем благе на земле и спасении душ на небе базилевс заявил: «Захватив Италию силой, готы не только не вернули ее империи, но прибавляли нестерпимые обиды. Поэтому мы *вынуждены* пойти на них войной».

Часть готов, вытесненная в пределы империи страхом перед гуннами, по наущению Византии завоевала Италию. Другая часть готов, сделавшись союзниками империи, была натравлена на завоевателей Италии. Империя хотела избавиться от слишком сильных и опасных друзей и вернуть себе Италию. Первое удалось, во втором – империя потерпела неудачу: союзные готы завоевали Италию для себя. Усевшись сословием господ, готы с удивительной быстротой потеряли племенную сплоченность и боеспособность. Византия же, пользуясь отвращением коренных италийцев-кафоликов к готам-арианам, успешно подкупала, разделяла, соблазняла.

Юстиниан поклялся восстановить империю в прежних пределах. На глазах как будто ослепших готов византийская армия вернула империи Западную Африку, одним ударом уничтожив не только государство вандалов, но и сам народ, от которого не осталось даже могил.

Одолев пять морей, армия под командой Велизария высадилась в Сицилии, с восторгом отдавшейся в руки базилевса-кафолика. Из Сицилии рукой подать до Италии.

Над стеной Неаполя взвился темный ком. Уже замер сухой стук рычага катапульты, а брошенный камень продолжал подниматься по крутой кривой. Вот он взобрался на вершину воздушной горы и начал спуск, увеличиваясь, подобно дикому гусю, который летит прямо на охотника. И каждому казалось, что многопудовый камень нацелен прямо в него.

Угадывая место, которое поразит неаполитанская катапульта, Индульф увлек товарищей подальше от опасности. Забросив щиты за спины, они побежали, оглядываясь. В Неаполе были и баллисты для метания толстых стрел с длинным острием.

Глыба грянула о выступ скалы, которая высывалась из тощей земли, как кость, продравшая старую шкуру. Брызнули осколки камней, звякнула медь чьего-то шлема.

Славяне отошли под защиту акведука. Древний акведук шагал к городу высокими арками с северо-востока, от нижних террас Везувия, и врезался в городскую стену на высоте трех человеческих ростов.

Славяне бездельничали, как и вся армия. Индульф любил подниматься на спину колосса. Это была забава для славян, подобно рыси забиравшихся в своих лесах на самые высокие деревья. Немного терпения, чтобы зацепились крючья ременной лестницы, – и наверх.

С высоты акведука морской залив казался пастью. Длинный и короткий мысы – челюстями, которые защелкнутся сегодня-завтра, может быть – никогда. Вдали торчала зелено-синяя гора. Ближе ее на воде лежал маленький остров. В Теплых морях острова были подобны стаду удивительных зверей, созданных волей древних богов, изгнанных новым. Здесь все воюют – и боги и люди.

Даже со спины колосса Индульф видел только стаи крыш – острых, тупых, разноцветных; стены Неаполя закрывали город. Нельзя было догадаться, где улицы, площади. Местами поднимались кресты церквей, такие же, как в Византии. Бог не мешал своим драться.

Налево, в порту, теснился плавучий город. Корабли византийского флота были связаны канатами, соединены помостами, лесенками. У ворот порта распластались низкие галеры, как будто готовые

двинуться по первому приказу, – Велизарий велел бдительно следить за морем. Матросы смеялись над приказом. Кому же неизвестно, что у готов нет боевых кораблей!

Последнюю ногу последней арки акведук ставил шагах в десяти от стены. Толстый хобот уходил в камень. Свисали, как обрывки шкуры, клочья засохшего мха. Днище висячей галереи было пробито в первые дни осады. Говорили, впрочем, что в самом Неаполе много запасных цистерн и колодцев с хорошей водой.

Как стволы гигантских деревьев, вросших в камень, из стен выпячивались башни. Велизарий дважды посылал солдат на штурм. Известь и кипящее масло выедали глаза. Тот, кому жгучий подарок заливался под доспех, бежал как безумный, срывая броню в попытке сбросить отравленную тунику Несса.^[61] От второго штурма солдаты отказались. Ипасписты Велизария, подавая другим дурной пример, вяло остановились, как только стрелы баллист и камни катапульт упали в опасной близости к строю.

Готский гарнизон Неаполя имел не более восьмисот воинов. Горожане, считавшиеся природными ромеями, помогали готам. Неудача озлобила армию Велизария. Кто-то потерял друга или родственника в день неудачного штурма, но все разъярились на богатый, недоступный город. Лагерь возненавидел неаполитанцев, которые убивали своих освободителей и не давали ограбить себя. Ночью солдаты подходили к стенам и состязались с осажденными в ругани и угрозах. Самой горькой обидой для армии были хлебы, мясо, сушеные фрукты, которые неаполитанцы бросали сверху, доказывая, что город не боится осады.

Лагерь ворчал. Плохая война. С начала похода войско не получило ни одного города. Вся Сицилия отдалась без сопротивления.

Войско успело окрестить эту войну смешной. В ответ на увещевания начальников и приказы не обижать подданных базилевса, возвращаемых в лоно империи, солдаты отвечали свистом и руганью.

Лагерь Велизария был укреплен. Старые полководцы Первого Рима сочли бы ров мелким, вал – невысоким и слабой – защиту гребня одним рядом кольев, торчащих на насыпи, как редкая щетина на хребте опаршивевшей свиньи.

Не только разноплеменные отряды наемников, но и легионы Византии не обладали послушанием былых римских солдат. Каждый увивал от кирки и лопаты. К тому же всем было известно, что на юге Италии нет готской силы. В день высадки в Региуме^[62] на виду войска знатный гот Эбримут, которому нынешний рекс Феодат доверил охрану юга, явился с поклоном к Велизарю. Знали, что Юстиниан уже пожаловал перебежчику звание патрикия империи. Ему завидовали – умный человек, хоть и гот.

За лагерной оградой отряды, объединенные не племенными отличиями, но общностью диалектов, располагались отдельными группами.

Каждый устраивался как привык. Черные шатры, завезенные из Месопотамии, длинные, двускатные, растягивались веревками из верблюжьей шерсти. Объемистые, как дома, они укрывали прежде род араба-сарацина, а сейчас служили целой центурии.

Исавры довольствовались четырьмя шестами с длинной перекладиной, их палатки поражали необычайной пестротой. Горцы любили яркие цвета и смело соединяли синие, зеленые, желтые, красные полосы, треугольники, многогранники с условными изображениями зверей и птиц.

Сирийцы раскинули круглые палатки из желтоватой шерсти киликийского козла. Герулы, гепиды, безразличные к красоте, удовлетворялись четырехскатными палатками из грязной холстины. Гунны,

хазары, массагеты, даки и другие солдаты из-за Дуная зачастую обходились совсем без палаток. Завернувшись в просаленные кожи, они спали, как в гнезде, устроенном из седла, переметных сум и сакв. Свое место в лагере они обтягивали волосяными арканами и веревками из овечьей шерсти, как в пустыне для охраны от змей и ядовитых насекомых. Здесь такая изгородь-символ была достаточной, чтобы никто чужой не забредал в расположение недавних кочевников.

Лагерная стоянка каждого служила не столько местом для отдыха, сколько для сохранения солдатской собственности. Добыча была еще притягательнее жалованья, за которое служил солдат. Добыча возбуждала доблесть в нападении и стойкость в защите. Армия империи носила с собой изустную историю, составленную из рассказов о замечательных случаях. Ничье сознание не вмещало хронологию, давно прошедшее казалось вчерашним, ничего не изменилось: ни оружие, ни цели войн. В лагерях войск всегда хранилась добыча, всегда к кольям привязывались взятые с боя рабы, всегда солдаты таскали с собой пленниц.

За войском следовали отряды торгашей; никогда никто из полководцев этому не препятствовал. Начальствующие имели свою прибыль от торгашей и вступали с ними в тайные компании. Торгашам давали место на кораблях, в обозах, в лагере под общей защитой. По-своему они были и полезны. С яростью крыс, запертых без выхода в подвале, торгаши старались отбивать атаки мародеров на лагерь, остававшийся пустым во время битвы.

Но не из одной личной выгоды и не для дополнительной охраны полководцы голубили торгашей. Только торгош мог придать подвижность войскам империи. Что может сделать полководец, когда его армия переобременится добычей! Он прикован к месту, как узник на цепи.

У пехотинца есть мешок, у всадника – вьюк на седле. Много ли туда войдет? Несколько фунтов, и то ощутимых как обременительное дополнение к оружию, припасам, снаряжению. Некуда девать утварь, кожи, одежду, меха, сукна, зерно, ткани, масло и все прочее, тяжелое, громоздкое, взятое в добыче. А невольники? Мужчины, женщины, дети, особенно дети. Живые деньги, которые так легко пропадают от усталости, холода, жары и просто случайно. Дохлый раб хуже дохлого осла, с того хоть возьмешь шкуру. И при всем том рабы еще разбегаются, их нужно сторожить, будь они прокляты! По закону рабы есть собственность первого солдата, наложившего на них руку. Прикованные к добыче солдаты поднимут на копыя обезумевшего полководца, вздумавшего отогнать их от завоеванного богатства.

Как посланник богов или как ангел с неба появляется летучий торгош. Святой, поистине святой покровитель солдата, попечитель армий, спаситель полководцев. Ну как его не беречь! Торгош покупает сразу и все. Носильщик добычи и погонщик рабов, который боялся на шаг отлучиться от своего имущества, вновь стал солдатом, вновь слышит трубу, играющую сбор.

Торгош покупал за серебряные и золотые монеты. Солиды и статеры империи! Неровно обрезанная монета катилась лучше самого ровного колеса от сухих, как солнечный луч, закаспийских пустынь до болот нижнего Рейна, где, как говорили, от постоянной сырости у людей вырастали перепонки между пальцами, точно у тритонов.

Когда не хватало монеты, торгоши расплачивались кусками металла. Не жалко было плющить посуду, статуэтки, браслеты. Недаром Архимеду предложили узнать примеси к золоту в изготовленной чаше.[\[63\]](#) Покупая изделия, платили за вес, труд шел в придачу.

За лагерным валом, близ места, отведенного торгошам, стояла высокая виселица. На длинной перекладине болталось с десятков голых трупов. Неизбежные вороны сновали в воздухе.

Недавно у Велизария побывал управитель поместий одного из сенаторов. Знатный римлянин ждал в Риме прихода армии-освободительницы. Во время размещения готов в Италии у отца сенатора была изъята третья доля имения. До недавних дней ею владел Эбримут. Сенатор узнал, что этот гот ныне хорошо принят самим базилевсом. Однако же схваченное варварами должно вернуться к истинному владельцу.

Признав законность рассуждений управителя, Велизарий захотел узнать, чего же он хочет от полководца имперской армии.

Справедливости! Часть убежавших рабов Эбримута укрылась в лагере армии Юстиниана. Закон позволяет владельцу взять беглую вещь, не делая исключений для времени и места.

В лагере отыскались двадцать беглых рабов, и солдаты выдали чужое имущество. Половину рабов Велизарий приказал повесить высоко и коротко.

Юстиниан Божественный послал войско в Италию, дабы восстановить погрязшие варварами права римлян. И не для того, чтобы лагеря достойных всяческого почтения солдат благословенной богом империи превращались в притоны беглых рабов... – так гласила надпись на доске, прибитой к виселице.

Управитель сенатора удалился, призывая благословение Христа и троицы пресвятой на оружие поистине божественно щедрого полководца. Велизарий приказал уплатить за каждого повешенного по три солида! Хорошая цена, особенно же в дни войны.

Индульффу запомнилось странное спокойствие казнимых. Они не протестовали, не отбивались. Защита не могла спасти жизнь, но ведь в схватке легче умирать. Сначала славяне сочли рабов трусами. Потом подумали, что есть, вероятно, разные виды храбрости.

Сбежавшись на зрелище, солдаты стеснились у виселицы. Подтягивая веревку до самого верха, палачи внезапно ослабляли ее, и тело падало почти до земли. От резкого толчка руки казнимого отпускали петлю, за которую тщетно цеплялись. Многие солдаты рукоплескали, развлекаясь, как в театре.

Запомнилось и это...

2

Индульф с товарищами шел к месту, которое звалось городком торгашей. Из уместной осторожности славяне держались кучкой. Лагерь томился скукой, забияки искали повода для любой потехи, а славяне привлекали внимание блестящим вооружением, которое им позволили увезти из Палатия. Подражаться можно, но здесь били и в спину.

Единственное развлечение солдаты находили у торгашей, предлагавших и женщин, рабынь, наемниц, – солдату все равно. Но этот сухой плод, быстро приедавшийся, привлекал не всех. Торговля дешевой любовью была подобна водопою, затоптанному скотом.

– Вина! Пива! Меда! – кричало сразу несколько голосов.

Маленькие стулья с лубяными сиденьями были заняты. Многие солдаты сидели на земле как придется. Северяне ложились на бок, подпираясь локтем. Южане умели скрещивать ноги. Степняки опускались на корточки и ловко садились на пятки.

– Пива! Меда! Вина!

В вине явственно ощущался привкус воды, мед был подозрительно жидок. Плохо перебродившее пиво отдавало мукой. Но ничего другого не было. Солдатское жалованье легко тратится в ожидании добычи. Проигравшиеся в кости пили за счет счастливых или в долг, под поручительство товарищей. За убитого заплатит уцелевший.

Скверные напитки, тощая закуска. Копченая рыба была тверда, как поручень щита. Вяленое мясо резали тончайшими ломтиками, чтобы сберечь зубы. Торгаши приберегали лучшие припасы к дням успеха.

Длинноногий исавр при виде славян звучно щелкнул языком. Изображая жесты стрелка, он издавал странные звуки:

– Чтцк! Тть-су!

Это походило на стук тетивы о рукавичку и на свист стрелы.

Кажется, исавр хотел напомнить славянам о взятии Панорма – единственного города в Сицилии, оказавшего сопротивление. Заметив, как низки стены Панорма около порта, Велизарий приказал подтянуть лодки на корабельные мачты. Сверху стрелки подавили сопротивление готского гарнизона.

– А под Неаполем Велизарий ничего не умеет придумать!.. – горланили солдаты.

Смуглое лицо исавра в рамке курчавой бороды сияло улыбкой. На низеньком стуле, с высоко задранными коленями, он мог показаться исполинским кузнечиком в образе человека. Он приглашал:

– О-о! Друзья! Золотые шлемы! Меткий глаз! Вина! Вина!

Все эти слова, произносимые на наречии эллинов, были понятны славянам.

– Еще вина! – кричал исавр. – Всем вина! Зенон угощает!

Он поднялся. Необычно длинные по сравнению с туловищем ноги делали его странно высоким. Прислужник торгаша, крупный, тяжелый, ловко направил в оловянную чашу струю вина из меха. Зенон коснулся руки прислужника, толстой как бревно, и отдернул пальцы, будто ожегшись.

– Таран! Таран! Сильнейший воин! Пойдем же, пойдем! Ты один свалишь стену!

Прислужник сохранял бесстрашие, как глухонемой. Он не дурак, чтобы воевать. По договору с хозяином он владеет долей в доходах. Зенон обнял Индульфа. Щекоча жесткой бородой его щеку, исавр

шептал:

– Я видел тебя на акведуке. Я знаю, чего ты хочешь. Слушай, пойдем вместе ночью. Я помогу тебе.

Индульф не понял. О чем болтает этот исавр? Славяне залезали на акведук от скуки.

Отпустив Индульфа, Зенон прижал палец к губам:

– Молчи, молчи. Пусть никто не знает, нас опередят.

Кто опередит? В чем?

Зенон пытался что-то объяснить, но его прервали внезапно поднявшийся шум и крики. Случилось нечто необычайное, лагерь пришел в движение. Зенон вцепился в руку Индульфа:

– Пойдем посмотрим. Я не хочу разлучаться с тобой.

Исавр увлек было нового товарища, но его самого сзади схватили чьи-то руки.

– Сначала заплати, потом уйдешь, господин!

Вырвавшись, Зенон ударил в грудь прислужника:

– Козел! Исавры берут, но не крадут!

Кривой нож зловещего вида будто бы сам прыгнул из ножен в руку Зенона. Индульф помешал удару. Исавр яростно повернулся к славянину. Индульф поразился цвету лица Зенона. Вся кровь отхлынула, оставив на коже грязноватый загар. Страшно не было. Индульф приготовился выбить нож и свалить с ног безумца. Но тот опомнился и бросил прислужнику серебряную монету:

– Возьми, вонючий!

Как бы стирая гнев, Зенон провел рукой по лицу. Он уже смеялся, будто ничего не случилось. Его глаза напомнили бобра, не черные бусинки на морде умного зверя, а цвет рыжей шкурки. Подбросив нож, Зенон поймал клинок ножнами с завидной ловкостью.

Послы Неаполя возвращались к себе после очередных переговоров с Велизарием, солдаты устроили им проводы по своему вкусу. Это была настоящая травля. Солдаты свистели, улюлюкали, изощрялись в ругательствах.

Никто не мешал проявлениям неприязни. Охрана из ипаспистов полководца оберегала тела, но не уши послов.

Если бы Неаполь согласился на сдачу, лагерь знал бы это. Опять неаполитанцы послали своих для праздной болтовни.

Неудача и раздражала и радовала. В инстинктах солдат боролись неостывшая надежда на грабеж и страх перед неприступными стенами.

Декурион [\[64\]](#) Стефан будто и не слышал оскорблений, которыми его осыпали. Безразличие Стефана не было позой опытного магистрата, привыкшего сохранять выражение бесстрастного безразличия. Стефан нес неаполитанцам последнее предложение о сдаче.

Пожилой человек, он жил в течение мирного периода, необычайно долгого, единственного в бурной истории Италии. Больше сорока лет мира. Стефан не мог не видеть, как процвела Италия. Готы казались надежной охраной. Однако же Стефан, как почти все, считавшие себя римлянами, презирал варваров. Их власть оскорбляла самолюбие. Кроме того, они были схизматики-ариане. Кафолическая церковь внушала

греховность подчинения еретикам, куда худшим, чем язычники. Те не знали слова божия – эти его исказили. Смертный грех, неискупимый...

Италия забыла бедствия прежней империи и помнила только великие события, вольно и невольно раздутые литературой и преданием. Современник видит редкие колосья на иссохшем поле и скорбит о пустыне своих дней. Потомки же, собрав одно целое наследство столетий, восхищаются богатством прошлого.

После смерти Феодориха ощутилась зыбкость порядка вещей. Стефан желал переворота и – не желал. Сделалось страшно.

Когда бог захочет потрясти землю, совы умеют заранее выведать волю всевышнего. Перед землетрясением на карнизах горных пещер появляются странные фигуры. Они недостижимы и неподвижны. Совы узнали, что своды вечных пещер сделались ненадежными и ждут, ослепленные солнцем, но в безопасности. Они никогда не ошибаются. Бог подал знак, имеющий уши да слышит.

Разве не знак – усиленный обмен послами с Византией, начавшийся после смерти Феодориха? А истребление вандалов и манифесты Юстиниана? Весть о мученической смерти дочери Феодориха Амалазунты прозвучала военной трубой. Как искушение, пришла мысль: не лучше ли готы, чем война? Что можно сделать...

Старый-престарый Новый город – Неаполь – никогда не был еще взят штурмом.

По легенде, сами боги указали людям на пояс скал у залива, где и поставлен был город Новый: старый, первый, был заложен в небольшом удалении от моря.

Стены древнего уже Неаполя легли на скалы, недоступные для подкопа. Известь, скрепившая кладку, от времени сделалась прочнее камня. Несколько готских вождей усилили неаполитанский гарнизон, а большинство направилось на север. Новый рекс Феодат, как передавали, хотел склонить Юстиниана к миру обещаниями и уступками.

Ожидание хуже смерти. Приходили вести из Западной Африки. Вместе с вандалами и после погибла большая часть населения. Логофеты Юстиниана так тщательно изымали налоги, что, как недавно рассказывал Стефану прибывший из Карфагена купец, можно скакать на лошади от Карфагена на восход солнца восемь дней, не встречая ничего, кроме развалин, сухих цистерн, полей, занесенных песком, и вырубленных садов.

Моряки, побывавшие в Неаполе незадолго до осады, рассказали о второй византийской армии, целившейся на венецкую низменность, голубое устье Адриатики. Там – грабеж. Города и селения уничтожаются дотла. Как всегда, война кормила войну, о чем италийцы успели забыть. В северной армии много варваров. Командующий ею зовется Мунд. Для римлянина это не имя – кличка. У Велизария тоже много варваров.

Тем временем в Неаполе – тревожный признак! – падали цены на товары и возрастали на зерно, сушеные фрукты, на съестное, что легко хранить. Кораблевладельцы спешили, продавая все. Однажды Стефан как-то вдруг заметил, что порт уже пуст. Это было страшно. Все корабли исчезли, подобно перелетным птицам. Кто-то на запад – в Сардинию, в Корсику. Другие на север – к устьям Арно и Тибра. Многие, Стефан знал, уплыли в Сицилию, где был Велизарий, в Византию, а также к берегам Далмации. Как вороны, эти будут питаться войной.

Пустая гладь порта с грязным парусом рыбацкого челна. Первая гримаса Войны...

Вскоре после того как последние корабли покинули порт, в город вернулся дальний разъезд готов. Потянулись подгородные жители из тех, кто прежде чванился римским происхождением. Они вспомнили,

что солдаты не спрашивают имен. Потом под стенами Неаполя появилась армия Велизария.

Стефану вспомнились конные со знаком вызова на переговоры – белым знаменем и парой скрещенных копьев. Казалось, чего бы еще! Великий Рим воскресал! Но старому декуриону хотелось уйти в никуда, порвав старые связи. «Боже, укроти мою мысль, – молился Стефан, – ибо не воля тебе угодна, а смирение христианина». Но как, забыв преходящее, найти вечное? Тогда, в первый раз, как и сегодня, готы не разрешили отворить ворота. Стефана опустили на веревке, перекинутой через рычаг катапульты.

Перед Велизарием Стефан говорил, не глядя на папирус с подготовленной речью.

– Великий полководец, мы полны преданности Юстиниану и желаем свержения незаконной власти варваров. Но почему ты пошел войной на нас, не совершавших преступлений против империи? – спрашивал Стефан, ибо лучше обвинять, чем дожидаться упреков. – Гарнизон варваров силен. Их семьи оставлены в руках единоплеменников, поэтому им невозможно изменить своему рексу. Итак, великий, не к своему ли ущербу ты пришел под наши стены?

«Боже, что это?» – думал Стефан, чувствуя, как его слова отскакивают от души Велизария, подобно песку от стены. Декурион продолжал, уже читая по папирусу:

– Иди прямо на Рим, великий. Там тебя ждут. Ты войдешь в Рим триумфатором, и тогда Неаполь сам упадет в твои руки. К чему тебе наш город, если ты не в Риме? Задержавшись здесь, ты потеряешь часть солдат, потратишь время. А готы в Риме усиливаются...

На папирусе оставалось много сильных доказательств, но Велизарий поднял большую руку. Розовая ладонь, желтые ногти, окрашенные хной по-персидски. Сейчас слова Стефана разлетятся, как пух под ударами хлыста.

Стефан глядел на ратора Прокопия. Прокопий неумолимо писал и писал. «Что ему!» – с завистью подумал Стефан.

Велизарий делал резкие жесты, но голос его звучал мягко:

– Не твое дело, Стефан, указывать воинам базилевса Величайшего. Вы, жители Неаполя, по рождению римляне, вопреки рождению – подданные варваров. Завись бы от меня, и ваш город... Но я подчиняюсь милосердию Величайшего, Всемиловитейшего. Даю время на размышление. Примите римское войско. Оно пришло освободить италийцев, воссоединяя их в лоне единой кафолической империи Христа, бога нашего.

Полководец почти коснулся лица Стефана пальцем с острым ногтем:

– Не выбирайте для себя ужасного. Вдвойне успевают воюющий для освобождения родины от варваров. Славен он победой и достигнутой свободой. Вы же, вступая в войну, хотите усилить свое угнетение, вы хотите помочь варварам.

Приглашенные в палатку военачальники лязгали оружием. Кто-то непринужденно взглянул в лицо Стефана, чтобы увидеть, насколько испугали угрозы этого неаполитанца.

Велизарий закончил:

– Передай мои слова. И готам скажи, я даю выбор: или приму на службу повелителя вселенной, или без вреда отпущу. Но если они, как и неаполитанцы, поднимут оружие, с помощью Христа Пантократора обещаю смерть многим и рабство всем.

Затем шатер опустел. В присутствии одного Прокопия Велизарий обещал Стефану звание префекта, обещал ему поместье. В награду за быструю сдачу города...

А Прокопий жестом хозяина взял из рук Стефана папирус с речью, из которой было оглашено лишь

начало:

– Она мне нужна более чем тебе, милейший префект...

Так закончилась первая встреча.

Тоска, тоска... Стефан вспомнил библейскую угрозу: «И проклянет тебя бог твой, и когда настанет утро, ты скажешь: „О, если бы был уже вечер!“ Когда же придет вечер, ты будешь молить, чтобы пришло утро...» Начнись жизнь вновь, и Стефан предпочел бы ее искушениям отшельничества в пустыне. Почему он не сделался монахом? Страшно жить, страшно. Семья, общество, имение, деньги. И всюду страдания слабого сердца, все тянет к себе, всего жалко. Каждый в этом несчастном мире висит на волоске над бездной.

Напрасно Велизарий покупал совесть Стефана. Декурион верил в обреченность готской власти. Зрелый красавец показал себя плохим политиком. Под пышностью его речей, как тело куртизанки под легкой тканью, просвечивала постыдная мысль. Он боялся идти к Риму, имея в тылу сильную крепость. Море ненадежно, корабли легко ломаются. Завоевателю Италии нужны дороги по твердой земле.

Тогда, после первой встречи с Велизарием, Стефан искренне склонял город открыть ворота перед войском империи. В этом не было ничего необычного. Никакой измены. Постоянно бывало так, что города добровольно подчинялись сильнейшему. Восемьсот готы не могли бы защищать стены без помощи неаполитанцев. Тем более готам трудно будет держаться, имея сзади врага-горожанина. Готы ждали общего решения.

Перед зданием городского сената форум вздулся народом, как мех забродившим вином. В тот день решило влияние двух человек, риторов городской Академии. Недавно Юстиниан закрыл на Востоке последнюю Академию. Может быть, и правда, думал Стефан, что верноподданные христиане не должны соблазняться рассуждениями. Базилевс Востока признавал только школы легистов, дабы обладать толкователями и исполнителями законов. Стефан пожалел о деньгах, израсходованных Неаполем на Академию.

Ритор Асклепидот говорил легко, как бы беседуя с человеком, равным себе. Обращаясь к разуму людей, ритор умел задеть и чувство.

– Велизарий обещает нам горы благ и под любой клятвой, конечно. Но будущее скрыто в туче войны. Кто поручится за исход судьбы? А если готы победят, что они сделают с нами? Мы впустим Велизария не по необходимости, сегодня наши стены крепки, защитники смелы. Поистине готы поступят с нами, как с изменниками. О несчастный Неаполь!.. О горе!.. – Асклепидот закрыл лицо плащом.

Место оратора занял его товарищ – Пастор.

– Обсудим значение измены! – предложил второй ритор. – И Велизарий, и великий базилевс будут смотреть на нас как на рабов-перебежчиков. Имеющий общение с предателем рад ему в силу необходимости. Но впоследствии у него возникает подозрение против изменника. Победивший с помощью предателя начинает бояться такого помощника. Если мы ныне будем благородно противиться опасности, готы-победители окажут нам все хорошее. Если же Судьба будет матерью Велизария, он будет снисходителен к нам, ибо преданность никем не наказуема! Чего же вы боитесь, сограждане!

Снова заговорил Асклепидот:

– Войско Велизария состоит из жадных наемников. Разве вел бы Велизарий переговоры, будь у него надежда взять город силой и насытить алчность солдат? Почему он пришел к стенам города? Почему не ищет встречи с готами в поле? Потому что он заранее тщится укрепить свою силу нашей изменой. А теперь

выслушайте этих людей. Они скажут вам, есть ли в Неаполе запасы, чтобы противиться самой тесной осаде!

«Это заговор, это настоящий заговор», – думал Стефан, убедившись, что красноречивые риторы сумели договориться со старшинами иудейской общины. И Стефан еще раз пожалел, что всегда, в согласии со своими сочленами по городскому самоуправлению, давал деньги на содержание Академии.

Стефану пришлось слушать убедительные, хорошо подготовленные речи старшин городской иудейской общины. Им удалось доказать неаполитанцам, что запасов только на иудейских торговых складах хватит на целый год, что никому не придется голодать. Даже фураж для лошадей и скота найдется в изобилии у запасливых купцов.

Старая привычка неаполитанских граждан решать голосованием общие дела оживилась со времени правления рекса Феодориха. Но никогда столь важное дело не подвергалось общему суждению собрания, которое состояло из домовладельцев, вольных ремесленников, купцов, духовенства.

Никогда еще Неаполь не был взят силой. Выждать бы, отсидеться бы в неприступной крепости. Таково было невысказанное желание даже тех, кто, подобно Стефану, ненавидел готскую власть, власть варваров и еретиков, оскорбительную для римлянина.

Готы еще сильны.

Армия Велизария слаба численностью.

Велизарий боится идти на Рим.

По своей слабости ромейская армия нуждается в Неаполе.

Эти мысли и вытекавшие из них доводы замкнули круг. Еще раз ими сыграли, как искусные жонглеры играют шарами, Асклепиодот и Пастор. И на колеблющуюся чашу весов легла торжественная клятва старшины иудейской общины Иссахара:

– Именем бога, которое втайне произносит первосвященник! И да будет свидетелем Иисус Назарянин! Мы обещаем, удостоверяем, утверждаем! Мы будем продавать каждому по старой цене. Мы будем продавать неимущему под заемное письмо. Кто повысит цену хоть на медный обол, кто откажет неимущему, будет исторгнут нами, отдан вашему суду как изменник.

Вспоминая все, что происходило на форуме, и свое сегодняшнее свидание с Велизарием, неудачливый посол был подавлен видением губительных дней. В своей совести он ощущал клубок противоречий, сомнений, страха. Четвертое свидание. Велизарий запугивал Стефана видениями городов, взятых штурмом. Воины перебиты, женщины обесчещены, город разрушен, пережившие проданы в рабство. Велизарий так поступал в войнах с персами.

Велизарий грозно шутил:

– Ты, любезный Стефан, хотел мне помочь. Тебе я дам отпускную. Но за твоих близких не поручусь...

Сиденье на спущенной декуриону со стены веревке было похоже на виселичную петлю.

«Однако же Велизарий не может взять город штурмом...» – думал Стефан.

3

Проводив неаполитанского посла до хорошо известной границы действия баллист и катапульт, солдаты медленно расходились. Спешить некуда. Продовольствие раздавали с первым светом дня. Тогда же происходила смена караулов. На фуражировку почти не ходили.

Считалось, что войско находится не во вражеской стране. Смешная война. Велизарий грозил грабителям казнями. Будто бы солдат бывает грабителем! Но жалованье выдавалось в срок, запасов, привезенных на кораблях, хватало. Приказы полководца еще выполнялись.

Длинноногий Зенон, как бы забыв о первом разговоре, развлекал славян рассказами о горах и набегах. Исавры, как всем известно, великие воины – Зенон гордился своим соотечественником и тезкой, достигшим престола базилевса полтора поколения тому назад. Наемник похвалялся действительным или воображаемым родством с тезкой базилевсом. Наконец Зенон опять стал многозначительным.

– Мне нужно трех товарищей, трех! – Он показал три пальца для убедительности. – Хорошее дело будет, хорошее дело. Добыча, награда...

Зенон успел убедиться, что напрасно заподозрил славян в особом интересе к акведуку.

– Пойдем! – Он приглашал Индульфа, Голуба и Фара.

– Куда? – недоверчиво спросил Голуб. Черный ромей, похожий на колоссальное насекомое, надоел и не внушал доверия. – Бери своих и иди на хорошее дело. Чего нас тянуть! – Голуб сделал жест отрицания.

Зенон вспыхнул от гнева. Славянин невольно попал в слабое место. Свои не сумели бы так легко залезть на акведук. Но главное – свой мог перехватить мысль и опередить. Зенон выбрал новичков, не изодранных в интриге, которая переплетала жизнь войска империи, подобно колючим лианам. Так же легко, как утром, он усмирил вспышку. Не нужно давать славянам время размыслить и нельзя с ними ссориться.

Зенон склонился к Индульфу:

– Твой друг не понимает! Я знаю, где путь в город... – Зенон жарко шептал: – Нужны помощники. Опасности нет. Пойдем посмотрим. Соглашайся, мы совершим невозможное... Пойдем же, пойдем! Или ты боишься?

Исавр выбирал слова наугад, как тянут жребий из мешка. Случайно он нашел нужные.

– Я пойду, – сказал Индульф. Голуб не возражал, признавая превосходство Индульфа.

Солнце еще освещало западные склоны Везувия, темные от зелени, со светлыми пятнами скал. Сужавшиеся вверх скаты горы должны были бы закончиться, как шлем, острием. Но верхушка тревожила рваной раной. Там бездна, сообщающаяся с подземным пожаром. Дурное место, пещера не то дьяволов, не то злых духов, которых боятся ромеи. На небе белый месяц, узкий, как лист камыша, цеплялся за тучку.

Ременная лестница висела там, где Индульф и его товарищи беспечно бросили ее днем.

Славяне привыкли к акведукам. Саму Византию акведук делил на две неравные части. На пути в Италию славяне с палуб кораблей не раз видели арки, похожие на цепи ворот, открытых из одной пустоты в другую. Опоры, своды и каменная кишка наверху – даже издали все казалось невыносимо тяжелым. У ромеев плохо с водой, они достают ее издали.

Индульф попробовал, хорошо ли держится лестница. Зенон торопился. Выступы грубо околотых камней помогали подниматься. По темени крыши, сложенной из мелких кирпичей с широкими швами

раствора, тянулось подобие узкой тропинки. Зенон опустился на четвереньки. Нужно было привыкнуть к пустоте, которая притягивала с обеих сторон. Новые друзья ползли в сторону от Неаполя, к лагерю. Вскоре всем надоели предосторожности, и Зенон первым беспечно встал на ноги. Сумерки сгущались. Балансируя руками, солдаты почти бежали. Вот и пролом. Они присели.

С противоположной стороны пролома с шумом падала подведенная с гор толстая струя воды. Внизу образовался пенный котел, ночью белый, как сугроб. Летучие мыши, которые успели устроиться в осушенной трубе, чертили воздух, едва не задевая людей. Повиснув на руках, Индульф первым спрыгнул на узкий карниз, в который превратился разрушенный пол водяной галереи.

Внутри великолепное сооружение было таким высоким, что даже Зенону не пришлось гнуться. Дно черного жерла было покрыто коркой тонкого ила, смешанного с мельчайшим песком. Поднялась пыль. Продвигаясь, солдаты упирались руками в стены. Сверху в узкие щели иногда проглядывали звездочки, бессильные осветить мрак.

Освоившись, солдаты повысили голоса, пустое брюхо колоссальной трубы отзывалось жестко и гулко. Боясь обратить на себя внимание, они опять перешли на шепот. Порой за лицо задевало нечто странное – со свода спускался корешок. Прикосновение невольно пугало.

Где они сейчас? Солдаты условились считать шаги, но от непривычки сбивались. Счет Зенона и Голуба разошелся на полтора шагов. Как же узнать, когда пещера войдет в город или хотя бы пересечет стену? Они раздраженно шептались. Голуб ворчливо проклял крысью войну, затеянную Зеноном. И почему этот знаменитый воин не подумал обо всем заранее, если он сделал великое открытие! Растерявшись, Зенон оправдывался с неожиданной мягкостью.

Исавр, считая себя прирожденным воином, умел обращаться с оружием, и только. Руки его знали праздность, он ничего не умел делать. Ромеи воевали особенным образом. Славяне успели подметить, как много беспорядка и случайного было в том, что вначале поражало своей стройностью. Пока Зенон собирался с мыслями, славяне обменялись своими. Стоит ли продолжать? Почему сами ромеи не додумались сразу исследовать акведук, может быть, через него не проникнешь в город? Лазал ли раньше Зенон внутри акведуков? Исавр признался в своей неопытности. Но ведь вода где-то выходила из трубы, можно упасть в цистерну, оказаться в ловушке.

По звездам было видно, что идет уже вторая четверть ночи. В сущности, еще ничего не было сделано. Индульф предложил связать два аркана и спуститься вниз. Пользуясь темнотой, все четверо добрались под акведуком до крепостной стены и отмерили расстояние от центра одной опоры до другой. Теперь, забравшись в трубу, разведчики шли не вслепую. Когда, по их счету, они должны были приблизиться к стене, Зенон больно ударился головой и присел, проклиная дьяволов мрака.

Однако же потолок галереи не опустился – повысился пол. На нем выросла толща песка, гораздо более плотная, чем вначале. Через несколько шагов пришлось согнуться всем. Пол круто поднялся, и Индульф, шедший впереди, наткнулся на стену! Он чуть слышно свистнул, втягивая воздух. Скала? Пальцы не находили швов кладки. Индульф лег, ощупывая преграду. Трубу пересекла перемычка, прорезанная от стены к стене длинной щелью. Порог щели, останавливая воду, накопил перед собой целую отмель. Без одежды Индульф сумел бы проскользнуть, в доспехах и с оружием преграда была непреодолимой для самого тщедушного человека.

Рука, просунутая до плеча, ощущала пустоту. Но преграда стояла, как верный караул на страже акведука.

Большая добыча и хорошая награда... Не будь скалы! Зенон собирался направиться обратно, не прощаясь. Он задержался, сообразив, что ему одному будет труднее спускаться.

Голуб, сберегая лезвие, ударил по скале обухом ножа. Откололся кусочек величиной с палец. Однако же скалу можно пробить, если иметь подходящее орудие. Зенон воспрянул духом. Откуда-то сверху доносился звук человеческого голоса. Наверное, на башне крепости...

Под акведуком разведчики оказались уже засветло. Зенон решил отделаться от помощников – теперь это были соперники.

– Разойдемся, – предложил исавр. – К котлам. Потом опять встретимся.

– Где? – спросил Голуб.

– Где хочешь.

– Нет, – решил Индульф. – У нас уютно железо, пока оно горячо.

Зенон подчинился без протеста, хотя получалось не так, как он хотел. Этот исавр был настоящим ромеем. Жизнь казалась ему беспорядочным стечением случайностей, из которых подмывало выхватить для себя нечто попавшее под руку. Не как рыболов, который обдуманно готовит снасть и выбирает место лова, не как охотник, а как нетерпеливый мальчишка – Зенон тянул руку наудачу: удалось, не удалось...

Четверка направилась к Велизарию.

Шатер Велизария был окружен палатками ипаспистов, и солдаты не сумели пройти к полководцу. Зенон добился, чтобы вызвали одного из приближенных Велизария, Навкариса, тоже исавра. Говоря на своем языке, Зенон легче мог объясниться. Их разговор был быстр, как схватка всадников.

– Я знаю, как взять Неаполь, – заявил Зенон.

– Скажи! – приказал Павкарис.

– Скажу Велизарию, – ответил Зенон.

– Мне скажи, и тут же! – ударил Павкарис.

– Тут же, но только Велизарию, – отбил Зенон.

Найдя достойного противника, Павкарис предложил сделку:

– Ты скажешь мне, и я поведу тебя к Велизарию.

– Нет! – упорствовал Зенон.

– Да! – настаивал Павкарис.

Зенон плюнул на землю, проклял Павкариса и сделал вид, что хочет уйти. Опасаясь неприятностей, Павкарис сдался.

Однако же пришлось ждать. Велизарий был занят. К его шатру никого не подпускали. Во избежание подслушивания сами часовые стояли не у шатра, а по краям чисто выметенной площадки.

Усевшись на землю, славяне задремали под ворчание Зенона, который считал, что тайными делами полководец мог бы заняться и ночью.

Этим утром письма были доставлены сразу из Византии, из Сиракуз и из Тергесте, портового города, находящегося в верхнем углу Адриатического моря.

Пергаменты из Священного Палатия были написаны Нарзесом.

– Он все более лезет в мужские дела, проклятый евнух! – грубо сказала Антонина. Не было надобности подогревать недоброжелательность Велизария к Нарзесу. Жена полководца и не преследовала такую цель. Она говорила то, что думала.

Они сидели втроем – муж, жена и ритор Прокопий, свой человек, которого Велизарий и Антонина давно уже ни в чем не стеснялись. Больше десяти лет тому назад Юстиниан назначил советником Велизария ученого ритора Прокопия. Необходимый человек для тайной переписки, у которого к тому же можно получить нужную ссылку на закон, на пример из истории. Следуя за Велизарием повсюду, Прокопий описал войну с персами, с вандалами, лстя самолюбию Велизария и Антонины. Он делался известным как историк. Его ласкали, ему доверяли.

Антонина тоже сопровождала Велизарию в походах. Церковники указывали на Велизария как на истинного христианина-семьянина. Прокопий знал, что Антонина была волей и разумом своего мужа, когда не спускала с него глаз.

Эта женщина недаром была подругой базилисы Феодоры. Их роднили холодный ум и умение владеть инстинктами мужчины. С педантизмом ученого Прокопий отметил не более четырех или пяти нарушений Велизарием супружеской верности. Короткие насилия, которые осуществляет победитель в захваченном городе. Прокопий был уверен, что бывшая куртизанка не придавала значения таким мелким случаям в быте супруга. Но чья-либо попытка повлиять на решения Велизария могла вызвать гнев его жены. Прокопий слишком много знал, чтобы не понимать опасности своего положения. Он умел поддакивать, не слишком унижая себя.

– Нарзес... – презрительно сказал Велизарий. – Каплун, воображающий себя Каем Цезарем или Константином.

Евнух-армянин не имел опыта вождения войска, однако все знали, что Юстиниан внимал советам казначея в делах войны. Нарзес смело высказывался, мог изобразить чертежами перестроения армий, нарисовать план укреплений. Хранитель Священной Казны умел не только считать деньги даже в чужих карманах – он обладал разносторонними знаниями. Божественный базилевс отличал таких людей.

Велизарий же не пошел дальше умения подписать свое имя и прочесть текст по-эллиниски, если слова были изображены крупными буквами.

Нарзес писал скорописью.

– «Божественному кажется медленным продвижение твоих войск. Действительно, не ошибаешься ли ты, давая врагу время усилиться? Величайший считает уместным скорейшее твое продвижение к Риму. Но что говорю я! Не продвижение – изгнание варваров из города, второго в империи! Но почему лишь изгнание? Уничтожение нечестивцев-ариан – вот о чем хочет услышать Единственный...»

Прокопий читал с некоторой торжественностью, незаметно для себя подражая манере базилевса произносить слова. Нет сомнения, Нарзес писал под диктовку. Цветистое многословие Юстиниана было знакомо. Соприкасавшиеся с Палатием знали и нелюбовь Юстиниана связывать себя. Часто он предпочитал приказать кому-либо распорядиться.

– «Могу сообщить тебе о событиях в Далмации, – продолжал читать Прокопий. – Мунд не оправдал Высочайшего доверия, поступил самым недостойным образом. Под Салоной его молодой сын Маврикий, командуя малым отрядом, встретился с готами. Вступив в сражение с легкомыслием молодости, Маврикий был убит вместе со своими. Мунд же вместо подготовки войны для пользы Благословенного предался неразумному гневу отца и беспорядочно двинулся на готов. Войско имело успех, но сам Мунд, увлекаясь нечестивым чувством мести, самолично преследовал готов и был убит. Вместе с ним погибло и много наших других начальствующих, увлеченных столь дурным примером и столь плохо руководимых. Оставшись без управления, наше войско отошло в беспорядке. Равенна сделалась для нас недоступной. Такой неблагодарностью ответил Мунд на все милости к нему Несравненного...»

– А! – воскликнул Велизарий. – Великолепнейшее известие! С него бы Нарзесу следовало начать,

клянусь святой троицей!

– Нарзесу? – переспросила Антонина, снисходительно улыбаясь. – Ты слушал слова базилевса. Подумай об их истинном значении...

Антонина не привыкла щадить самолюбие мужа. Благодаря маске свежести, созданной искусством массажа и секретных притираний, она казалась младшей сестрой Велизария и старшей своего двадцатилетнего сына Фотия, рожденного до встречи с полководцем.

Новость же была действительно радостной. Мунд в звании Главнокомандующего Запада двигался на Северную Италию с большими силами, чем те, которыми располагал Велизарий. Воображение Антонины и Велизария рисовало победы Мунда, захват Равенны, захват Милана. Сила готов стояла на севере. Казалось, там, а не в Риме должна решиться судьба италийской войны.

Туда послали Мунда, а не Велизария, победителя вандалов. Юстиниан не забыл Велизарию его колебаний в дни мятежа, не забыл выкриков охлоса во время триумфа полководца после победы над вандалами.

Ныне же Мунда нет, его войско рассеяно. Никто не угрожает покончить италийскую войну быстрым походом. Судьба за Велизария, его звезда затмила звезду Мунда.

Но Антонина и Прокопий поняли, что базилевс, обличая Мунда, преподавал суровый урок самому Велизарию. Его неудача будет сочтена едва ли не изменой.

Прокопий огласил конец письма: советы, изъявления дружбы Нарзеса, пожелания успехов, упоминание о благоволении базилевса, о торжественных богослужениях за армию, за уничтожение варваров-схизматиков. Наконец-то Нарзес поручил своего друга и благочестивое войско заботам Христа Пантократора и всех небесных сил.

Сделав пометку о дне прочтения письма, Прокопий тщательно вложил пергамент между двумя деревянными крышками.

Велизарий показал кулак в сторону Неаполя.

– Я сомну их! Я обращу их в пыль! Утоплю в нечистотах!

Он наконец сообразил, что получил пощечину. Но что делать? Велизарий послал войско на безнадежный штурм городских стен лишь для того, чтобы оправдаться перед Юстинианом. Он понимал солдат, не захотевших лезть на стены вторично. Но уйти нельзя, оставив сильную крепость. Тем более после неудачи. Дурная примета, дух войска падет, враг осмелеет. «Кто виноват? – бесновался Велизарий. – Почему мне дали мало войска! Пятнадцать тысяч! Я даже не могу оставить заслон под Неаполем!»

Зная, кто виноват, Велизарий не смел назвать Юстиниана даже перед лицом своих людей – жены и верного спутника.

– Что я, Иисус Навин, что ли, чтобы остановить солнце! – жаловался полководец.

Папа Сильверий и сенат несколько раз присылали к Велизарию тайных послов с приглашением прибыть в Рим. Город апостола Петра ждал освободителей. И так, готы более не связаны на севере... Сейчас, остыв от первого восторга, Велизарий был готов чуть ли не пожалеть о неуспехе Мунда. Ах, проклятый Неаполь! Что доброго, готы придут на выручку города.

Отбросив тяжелое полотнище, заменявшее дверь, Велизарий вышел.

С таким благовоспитанного человека Прокопий постарался развлечь Антонину. «Что нужно такой

женщине? – думал ученый. – Сплетня, но умная...»

– Я напоминаю, благородная повелительница, – начал Прокопий, – что в списках предсказаний Кумской Сивиллы, найденных мною в Тарсе, значилось среди многого другого, что после покорения Африки вселенная погибнет с потомством. Бессмыслица, казалось бы. К тому же вселенная не имеет потомства. Оказывается, следует читать с большой буквы – Мунд[65]. Действительно, ныне вандалская Африка завоевана империей, и, насколько я знаю, у Мунда был единственный сын Маврикий.

Антонина рассмеялась. Да, конечно, Сивилла имела в виду только законных детей, ублютков и ей не честь. А каковы все же последние вести из Рима?

– Рекс Феодат при всей преданности Платону-философу подверг себя полнейшему расстройству любовью к гаданьям.

– Но что он делает для войны?

– Ничего. И вот почему. Он нашел знаменитого предсказателя-иудея. Они вместе отобрали три десятка совершенно одинаковых поросят, нарекли десятки италийцами, готами, войском базилевса и заперли в одинаковые хлева. В назначенный день рекс и пророк открыли дверь: из готского десятка выжили лишь двое, из войска нашего – умер только один...

– А италийцы? – спросила заинтересованная Антонина.

– В живых осталась половина, но выжившие облысели, щетинка вылезла вся.

– Для нас отличное предсказание! – воскликнула Антонина. – Готы будут перебиты, как вандалы. Италийская щетинка достанется нам. Следует наградить иудея.

– Так, по словам лазутчика, Феодат и понял пророчество. Против судьбы он бессилен. Поэтому мечтает о бегстве прямо в Священный Палатий. Нас он опасается. И все же он сорвал свой страх на пророке. Награждать некого.

– В последнем Феодат прав, – заметила Антонина. – Опасны люди, умеющие заглядывать в будущее. Всем известно, к счастью, что собственное будущее для них закрыто. Поэтому предсказатели заслуживают презрения как люди, помогающие всем, кроме себя.

Соглашаясь, Прокопий вежливо склонил голову. Антонина играла веером из серо-белых страусовых перьев. Оправленный золотом, укрепленный пластинками из слоновой кости, почти прозрачными, с многоцветными камнями на ручке, этот веер когда-то принадлежал Амалафриде, дочери Феодориха и жене рекса вандалов Тразимунда. Амалафрида, как и ее сестра Амалазунта, погибла насильственной смертью. Велизарий захватил наследство Амалафриды в Карфагене. «Наследство Амалазунты ждет своей очереди», – думал Прокопий.

Часть шатра, занимаемая Антониной, была полна напоминаний о походах. Кровать из особенной древесины, не имевшей названия на эллинском наречии, с багровыми и черными волокнами, перевитыми, как фитиль, с ложею из упругой кожи, выделанной каким-то удивительным способом. Легкие тюфяки, раздутые будто воздухом. Покрывала из странной ткани с вытканными орлами, аистами и красными фламинго. Все это плыло из Карфагена в Византию, потом в Италию. Сундуки, обитые бугорчатой кожей крокодилов, и сумки из пятнистой шкуры змей – добыча Востока. Столики восьмиугольной формы, кресла с резьбой, повторяющей символ шестиконечной звезды... И сосуды, служившие некогда культу богов, а ныне употребляемые распутной женщиной для хранения ароматов, порошков, жирных притираний...

Ткани, расписанные изображениями фантастических животных и небывалых цветов... Прокопий думал о неизменности бытия. Таковы же были палатки куртизанок, которых таскали с собой какой-нибудь Лукулл, Красс или почтенный Фабий, уважаемый Сципион и даже высоконравственный Павел Эмилий.[66]

Прокопий не верил прославленным добродетелям. Он знал, как пишется история. Уж если таковы кафолические полководцы!..

Никто не меняется. Время течет рекой среди человеческого бытия, неподвижного, как камни. Христианский солдат так же насилует и грабит, как его далекий предшественник. Войны, какие бы пышные слова ни звенели, всегда затевались для грабежа. Стоило ли пролить столько крови, налгать выше гор о совести, общем благе, душе, боге, вечном блаженстве, чтобы сменить легионного орла на знак креста!..

Единственным утешением для мыслящего человека, вновь уверял себя Прокопий, служит вера в Фатум, как в непостижимый закон, определяющий судьбу людей. Судьба – это равновесие, человек – песчинка на ее весах.

– Займемся делом, – сказала Антонина, – и подготовим ответ Нарзесу. Я думаю, мы начнем... – она задумалась.

Прокопий склонил ухо к владычице. Антонина умна, знает Палатий, пользуется доверием Феодоры. Прокопий привык работать с Антониной. С ней легче, она разумнее Велизария. Великий полководец подпишет заготовленное, так он приучен.

– Ах, не забудем! – прервала свое раздумье Антонина. – В моем, – она подчеркнула голосом значение этого слова, – в моем письме для Высочайшей Премудрейшей высказать мысль: предсказание Сивиллы и грядущее падение арианства. Ведь Мунд был арианствующий. Ему не было дано освободить Италию. Перст божий! Божественная любит наблюдать за тайными движениями воли божьей. И о гадании Феодата... Ты, как всегда, найдешь нужные слова...

Землю застлали львиные шкуры. Босые ноги Антонины опирались на громадную голову льва редкой масти, почти черной. В пустых глазницах сидели красные камни, такие же по цвету, как крашенные ногти женских ног.

Какой образ! В Прокопии заговорил художник. Нога Антонины свежа, как нога молодой женщины. Жена полководца и Феодора отлиты из одного металла, не просто умные, бездушные, лживые и красивые. Они – глубокий символ! Просилось и ускользало великое обобщение. Церковь, империя, народы... Прокопий еще найдет объяснение. Оно необходимо. Иначе, сколько ни утешителен Фатум, нельзя ничего увидеть, ничего ощутить, кроме бессмысленного топота народов по кругу... По кругу, по кругу, слепо, без цели, подобно чудовищному животному, прикованному к жернову величиной с Землю и перемалывающему собственные кости. И эти великие будто бы люди... Грязная пена на темных волнах.

Глаза Прокопия случайно остановились на листке недавно доставленного папируса: буквы сложились в слова, облеченные смыслом.

– Еще одно известие! – воскликнул Прокопий. – Рекс Феодат действительно бежал, чтобы отплыть в Византию. Его догнали. Один из готов свалил последнего Амала на землю и зарезал.^[67] Он вскрыл его тело способом, установленным обычаем варваров для принесения кровавой жертвы!

– Итак, среди готов рознь, итак, они еще более ослаблены, – быстро сделала вывод Антонина. И она повторила слова своего мужа: – Проклятый Неаполь!

«Действительно, нужно торопиться в Рим», – подумал Прокопий.

...Голоса, раздавшиеся за зыбкой преградой сукна, помешали обсудить известие. Оба вслушались.

4

Индульф первым заметил Велизария. Полководец был в хитоне из красного сукна, подпоясанном тонким шнуром. Несмотря на холодное время, его руки были голы по локоть, а ноги – выше колен. Он напоминал борца толстыми мускулами под гладкой кожей, тщательно очищенной от волос. Не хватало лишь блеска масла, которым атлеты натираются перед состязанием.

Для Велизария не прошли даром годы командования многоплеменными войсками империи. Теми самыми, которые некто назвал сборищем многоязычных разбойников, ромейских мимов и фигляров, фокусников и проходимцев. Велизарий умел приказывать и ругаться на тридцати наречьях. Но исаврийской речью он владел лишь в мере, чтобы развлечься высоким искусством взаимных оскорблений, которое проявляли Павкарис и Зенон. Причина перебранки ускользала.

Индульф наблюдал за Велизарием с любопытством, не более. И во время плавания, и в Сицилии, и в походе Индульфу не пришлось близко видеть полководца. Велизарий запомнился в день избиения на ипподроме, с усталым лицом, с пустыми глазами.

Полтора года службы в Палатии и путешествие в Италию... Наблюдения и впечатления укладывались без порядка. Еще не нашелся ключ для двери нового мира. Необычайное встречалось на каждом шагу. О каком необычайном говорил Индульф Ратибору на днепровском островке? Тогда ему грезилось иное. С самого начала своей службы империи он совершал поступки, значения которых не постигал. Индульф не подчинился базилиссе. А что ему красивая и злая женщина, которая потребовала от него службу палача! Так же просто Индульф глядел на большое лицо Велизария, на мускулистые руки с золотыми браслетами. Сильный мужчина, хотя и отяжелевший.

Исавры, увлеченные состязанием в ругани, не заметили полководца. На родине Индульфа люди не позволяли себе кричать в присутствии старших. Ромеи дики... Сказать им? Нет...

Сразу потеряв интерес, Велизарий повернулся к Неаполю. Его губы сжались, широкие брови изогнулись. Подвитые концы длинных волос закрывали уши и шею. На лбу волосы были ровно подстрижены на палец над бровями, и лицо казалось квадратным. Под круглым подбородком уже намечился второй, но плотный. Старость еще пряталась, подобно кошке, которая терпеливо ждет добычу.

При первом слове Павкариса Велизарий легко ударил его по губам, приказывая молчать. В шатре полководец не скрыл своего возбуждения.

– Ты был там? Сам? Нет? Тогда ни слова! – приказал Велизарий Павкарису, который попытался опередить своего соотечественника.

– А вы? Вы трое лазали туда? – обратился Велизарий к славянским солдатам. Выслушивая ответы, он расстегнул на своей руке браслет, другой; не глядя, откинул крышку ларца, обитого железными полосами.

Браслеты достались Зенону, который тут же нацепил их, по пригоршне статеров получил каждый славянин. Не был забыт и Павкарис.

С чрезвычайной жадностью хватая добычу, Велизарий не скупился в дележе. Через его руки прошли сотни тысяч фунтов золота. Сегодня что ему в этом ничтожном металле! Впервые он мог вздохнуть. Он безнадежно застрял под Неаполем – теперь ему указали средство.

«Итак, хорошее не приходит одно, – думал Велизарий. – После добрых вестей о гибели Мунда мне предлагают Неаполь!»

Все полководцы знали, что следует разрушить водопроводы осажденных городов, и никто не слышал

о нападении через темные трубы акведуков. При осадах полагалось подкапываться под стены. Стены Неаполя опирались на скалы, о которые ломалось железо, и были слишком высоки, чтобы попытка придвинуть к ним гелеполи[68] обещала успех. К тому же у Велизария не было мастеров для осадных машин, тем более для таких сложных, как передвижные штурмовые башни.

В дальнейшем создалась привычка преувеличивать гений известных полководцев. Тому пример – репутация Велизария. На самом деле следует удивляться их косности. Победы достигались большей стойкостью и большей жадностью к добыче одного из состязавшихся войск.

«Нужно расширить проход, раздолбить эту благословенную щель, – продолжал размышлять Велизарий. – Но тайна».

– Никому ни слова, – приказал он. – Все пятеро должны остаться здесь!

Полководец вышел, и тут же в стене из тяжелой ткани раздвинулись складки.

Улыбка Антонины... Женщина, казалось, улыбалась и солдатам, и открытому ларцу с золотом, и латам Велизария, которые были распяты на деревянной опоре.

Глаза Индульфа и Антонины встретились. Славянский солдат нашел, что жена полководца красива. От нее приятно пахло жасмином, розой и еще чем-то странным, но знакомым. А! Это запах базилисы, памятный по черному подземелью дворца Ормизды. Память подсказала ему и другое – как-то и в Палатии Антонина улыбнулась ему.

Вернулся Велизарий.

– Я приказал позвать Магна, Иннокентия, Геродиана, Константина и Енна.

Антонина ответила, указывая на солдат:

– А этих я возьму к себе и позабочусь.

Конечно, она позаботится о сохранении тайны. «Но сохранит ли секрет сам Велизарий? – подумала Антонина. – Он слишком возбужден, он уже в Неаполе».

– Побойся болтливости начальствующих, особенно Фракийца, – сказала она. Эти слова служили лишним колечком в цепи, которую ковала Антонина: она ненавидела Константина, прозванного Фракийцем по месту рождения.

Как весьма многие, Константин Фракиец считал недопустимым для других то, что охотно разрешал себе, – распущенность. Кроме того, ему претило вмешательство жены полководца в военные дела. Константин любил посплетничать о похождениях Антонины, хотя его старый товарищ по оружию смеялся над попытками разоблачений. Так же, как многие и многие, Велизарий не хотел лишаться иллюзий.

Константин Фракиец был предан ему, но Велизарий, как хороший муж, успокоил жену:

– Я отдам только общие распоряжения о подготовке.

Издали, с акведука, красный шатер полководца казался цветком мака. Вблизи он был велик, как дом. Внутри же оказался дворцом. Именно о Палатии Индульфу напомнило собственное отражение в длинном зеркале, мелькнувшее перед ним в покое с полом из львиных шкур. Индульф успел заметить роскошную кровать против зеркала, а Антонина уже увлекала солдат дальше. Складки сукна скользнули по шлемам. Новый покой, и опять расступаются мягкие стены.

Низкий стол. Низкие скамьи, заплетенные ремнями, с брошенными подушками могли служить и ложами и сиденьями. Это была трапезная. Солдаты удостоились чести попасть сюда, чтобы Антонина могла не спускать глаз с хранителей тайны Неаполя.

– Как твое имя? – опрашивала она Индульфа. – А! Индульф! Тот самый, кто своим неповиновением разгневал Божественную? Но почему тебя зовут, как гота или как вандала? Ведь ты речью и обличем славянин. Так ты обменялся именем с человеком другого рода! А как тебя зовут? – обратилась Антонина к Голубу. – Откуда ты? С Ильмена?

Чувствуя себя особенно свободным, Индульф поправил:

– Он с Ильменя, Ильмень.

Какая-то женщина предложила Индульфу чашу с теплой водой для мытья рук.

– Я тебе скажу потом, почему мне знакомо слово Ильмень, хотя я неправильно его произнесла, – говорила Антонина, легко опустив руку на плечо Индульфа. – Ты знаешь, Ильмень похоже на эллинское иле – толпа, на илло – кручу, на иллас – плетеная веревка, на иллюс – тина, грязь.

Прислужница подала полотенце.

– Ешьте все, утолите голод, – приглашала Антонина. – Ешь, – обратилась она опять только к Индульфу. – Тебе, человеку, носящему имя друга иной крови, предстоит еще много дела. Нет, вина много не пей. Оно сначала дает силу, а потом приносит упадок. Пей лучше это.

Индульфу понравился грудной голос женщины. Она умела произносить слова медленно и певуче. Индульф запил жареное мясо теплым отваром, который вкусно пах сельдереем, лавром и перцем.

– Теперь немного подожди, – дружески, как равная с равным, говорила Антонина. – Отдохни. Нужно уметь длить любое удовольствие. Ты понимаешь? Вина! – приказала она прислужнице. – Красного! А сейчас, Индульф, сделай один глоток и расскажи, где Ильмень.

– О, далеко, далеко, – ответил Индульф. – Там, на севере, – он указал рукой. – Десятки дней пути от Византии, Думаю, больше ста дней от Босфора. А отсюда – не знаю...

Индульф тщательно подбирал слова. У женщины была высокая грудь. Он чувствовал теплоту ее бедра – она села рядом, не стесняясь.

– Расскажи мне, какой Ильмень.

– Озеро, большое озеро... Как море... В него впадают сто рек с ручьями. Толпа рек и речек. А вытекает одна.

– Видишь, Индульф, как просто, – говорила Антонина, и глаза ее смеялись. – Ведь озеро есть земной глаз – илос. Бог из толпы рек, как веревку – иллас, свил Ильмень с дном из тины – иллюса. Правда, как просто, правда?

Индульфу показалось, что и многое другое могло здесь быть так же просто, как созвучно имя Ильменя словам эллинской речи.

Игра слов, игра голоса. Смелость знатной женщины была для Индульфа красивой, вольной. Что ему, что она жена полководца? Он видел белые зубы, лоб гладкий, как у ребенка, тень темных ресниц, руки, как у мраморных статуй. Как много будто бы общего со злобной базилиссой. Но совсем, совсем другое.

Антонина рассказывала:

– Мы называем предание зеркалом истины. Ах, кто знает, где сказка, где правда! Когда-то, много десятков поколений сменилось с тех пор, и в Ахайе, и в Италии, и в Вифинии жили люди твоего племени,

морские люди поющих морей. От них осталось имя – пелаги, или пеласги. Произносят по-разному. И море ведь зовется пелагос. Потом пришли с востока эллины по дороге, указанной Фебом – Солнцем. Может быть, мы родственники, Индульф? И что было первым – ил элладийских рек или Ильмень? Знаешь ли ты, где я все это слышала? У Божественной! Она мудра, она знает науки. Напрасно ты обидел ее, красивый воин. Ты умен. Ты недавно покинул север, гиперборейские леса, и уже понимаешь эллинскую речь. Ах, я укрощала гнев Божественной. Нет, я дерзка. Я смиренно смягчала Августейшую. Не просила ли я за родственника, родившегося от любви белокожей женщины с косами, сплетенными, как иллас, где-то за илистым Ильменем?.. Илл, илл... – Антонина длила звучание. Было в этом и в глазах женщины нечто от тайного условия – обещание, призыв. – Ах, все люди, Индульф, братья и сестры. Нет ничего невозможного сильному, смелому, вольному. Невозможное выдумали рабы и трусы, у которых бог отнял половину души... Индульф... Я видела тебя в Палатии...

Кажется, она сказала – «мой Индульф»?..

5

Лампады, наполненные горючей нефтью, удалось повесить на кинжалах, воткнутых в швы каменной кладки акведука.

Древние строители старались возводить навечно свои акведуки. Ни италийцы, ни другие не привыкли чинить сооружения, полученные по наследству. Впрочем, вода заполняла трубу не более чем на треть ее высоты. Днище же было прочно заделано мелкими частицами песка, слеplенными илом.

Найдись на башне Неаполя внимательный защитник, он мог бы заметить клинок, высунувшийся на добрую ладонь из спины акведука. Но осажденные были столь же беспечны, как осаждающие. Над всеми Судьба простирала свои нежные, свои спасительные крылья, позволяя сладко спать до минуты, известной лишь Ей.

Троих славян – Индульфа, Голуба и Фара – и исавра Зенона, с помощью которых Велизарий надеялся овладеть Неаполем, снаряжал Константин Фракиец. Вопреки послушно будто бы принятому совету жены Велизарий смог положиться лишь на ее ненавистника. Другие еще менее, чем Фракиец, способны были и сохранить тайну, и найти орудия, пригодные для долбления камня. Очевидец, самый образованный человек в лагере и один из самых образованных людей в империи, Прокопий сумел записать лишь, что «...не секирами и топорами, чтобы шумом не дать знать врагу, а какими-то острыми железными орудиями они непрерывно скоблили скалу...»

Будто скалы вообще тешут топорами, как дерево. Ни начальники, ни солдаты, ни образованные люди в империи никогда не работали, они даже не видели, как это делают. Свободные люди не испытали оскорбления своего тела и разума физическим трудом.

Константин Фракиец, когда-то моряк, догадался собрать на кораблях несколько десятков долот и стамесок вместе с деревянными молотками, которыми пользуются судовые плотники.

Зенон первыми же ударами разбил левую руку и проклял скалу. Его дело сражаться, а не долбить, как дятел или купленный раб.

Исавру поручили следить за освещением, и он, ворча, обсасывал кровоточащие пальцы. Дело легло на плечи трех славян. Сначала славяне принялись окалывать верх скалы на всю ширину. Мягкий стук деревянных болванок не вызывал отзвука в каменной трубе, зато острия железа быстро гасились о жесткий камень. Стамески тупились от нескольких ударов, острия долот выкрашивались. Пришлось ограничиться проходом шириной с человека в панцире, со щитом, с оружием. Тоже большая работа. Скалу следовало пробить до наступления ночи, иначе свет лампад сделается виден через щели.

Когда солнце начало склоняться к закату, осталось немного работы. Слой камня будто сделался мягче, легче крошился. Несколько ударов, и Голуб подхватил руками большой камень, отрезанный сверху. Индульф, чуть согнув голову, переступил через порог.

– Все сделано, – сказал он. – Здесь придется встать кому-либо из начальствующих, чтобы предупредить о пороге.

– И чтобы ромеи не побежали назад, – усмехнулся Голуб. – Ты отдохнул, – обратился он к Зенону. – Теперь пойдй туда. Погляди-ка. Вдруг там яма, пропасть? Понимаешь? Тогда мы напрасно старались. Все упадут в дыру, и Велизарий отнимет у тебя браслеты.

Индульф, посмеиваясь, переводил слова друга.

– Он не приказывал ходить туда, – быстро ответил Зенон. – Мы подарили ему проход, за это он дал

нам золото.

Зенон не заметил, что, как только сделалось возможным пролезть в щель, Фар успел этим воспользоваться. Он разведаль трубу на пятьсот шагов.

– Вот-вот, правильно ты судишь, умный человек, – издевательски соглашался с Зеноном Голуб.

Он насмехался над всеми ромеями сразу, особенно же над Велизарием. Полководец не догадался сказать, чтобы проверили, что делается дальше в этой крысиной норе. Ведь могло быть там и второе препятствие, вторая скала.

– А все же пойдй, – подталкивал Голуб исавра. – Ты же догадался первым, первым и ступай. Тебе дадут еще два браслета.

– Нет, – решительно отрекся Зенон от нового подвига. Мысль об акведуке пришла ему случайно, он подогрел себя мечтой о хорошей награде. Но теперь, после хождений, после стука! Зенон не собирался глотать в темноте железо готских сарисс. Он начал злиться. Из ложного положения исавра выручил приход Константина и Павкариса.

Всех начальствующих, кроме Константина, Велизарий отпустил с приказом:

– Изготовить как можно больше лестниц. Я решаюсь на некое особенное предприятие этой же ночью и не хочу, чтобы Неаполь насторожился. Пусть работают над лестницами незаметно и закончат ко второй четверти ночи.

Видя, как омрачились лица, Велизарий обещал:

– Не сомневайтесь. Я придумал новое. Хотя это отнюдь не штурм, но для успеха нужно иметь много лестниц. И – тайна, тайна, тайна! Я боюсь даже этих стен, – он указал на сукно собственного шатра.

Хотя Велизарий был облечен званием и всеми правами главнокомандования, начальники, обязанные ему повиноваться, назначались базилевсом, без воли которого от них было трудно избавиться.

Базилевс Юстиниан сделал много великих открытий, и все в одной области: как держаться за Власть и как ее укреплять. Кончилась увлекательная игра, длившаяся в империи столетиями, игра, в которой для полководцев и армий шарами служили императорские головы. Поэтому Велизарий не столько приказывал, сколько убеждал и уговаривал собственных подчиненных. Опасное для Власти единство войска было разумно разрушено. Уже никого не удивлял полководец, обещавший солдатам перед боем малые потери и большую добычу. В трудные минуты шесты, увешанные драгоценностями, заменяли знамена. Солдаты, сближаясь с противником, озирались на блестящие выставки, которые полководец показывал, как игрок, от которого требуют выложить на стол объявленную ставку. Нисколько не задумываясь, так же естественно, как в другое время другой полководец приказал бы, Велизарий старался поставить своих подчиненных перед необходимостью действовать и начал с умолчания. Не открывая плана, он лишал себя сознательных помощников, но зато избавился от долгих споров и сомнений, которые могли сорвать дело.

До сих пор тайну знал лишь Павкарис. Отпустив всех начальников, Велизарий оставил одного – Константина Фракийца, открылся ему, дал поручения. И тут же послал за любимым Юстинианом полководцем Бессом. Велизарий особенно остерегался этого пожилого варвара, с головы которого имперский шлем стер последний волос.

Бесс носил как личное имя название маленького кочевого племени, некогда осевшего в болотах излучины Дуная. Оно так пристало к нему, что документы христианской империи не сохранили имени святого, полученного Бессом при крещении. Юстиниан неоднократно доверял Бессу отдельное

командование, и Велизарий не знал, какие указания и какие обещания получил от базилевса хитрый варвар перед походом в Италию. Бесс, считая Неаполь неприступным, яростно возражал против первого штурма. Достаточно ему увидеть лестницы, чтобы опять поднялась буря. Всю вторую половину дня Бесса удерживали в шатре Велизария под лестным предлогом, что только он может составить с помощью Прокопия доклад Божественному с обоснованными расчетами потребности в дополнительных войсках, деньгах, оружии.

Появление Константина Фракийца и Павкариса было сочтено славянами за разрешение покинуть акведуки. Работа окончена, через щели в кладке уже не проникал свет – наступила ночь.

Когда Индульф, Голуб и Фар добрались до своих, их встретили как восставших из мертвых. Никто не спал. Был получен приказ чего-то ждать, и вернувшиеся объяснили своим его смысл, ибо никто не обязал их молчать.

Лагерь гудел голосами. Неаполь, отделенный двадцатью стадиями темноты, казалось, не существовал. Ни огонька на неодолимых стенах, на несокрушимых башнях.

Начальник конницы Магн по приказу Велизария отобрал три сотни солдат для неизвестного ему дела. Энн, начальник исавров, приготовил сотню своих. Конники поворотливее, решительнее пехотинцев, и вооружение их, особенно круглые щиты, лучше подходило для задуманного Велизарием. Об исаврах ходатайствовал Павкарис, радея соплеменникам.

В конце первой четверти ночи Велизарий привел солдат к разлому акведука. Доставили две крепкие лестницы. Четыреста солдат, взволнованных неизвестностью, дышали во мраке, как кит, переминались, как стадо коров. Скрипели ремни, звякало железо. Велизарий открыл тайну всем, начальникам и солдатам:

– Проход через акведук свободен и не охраняется готами. Даю вам двух трубачей. В городе вы подадите знак трубами. Вы напугаете готов, вы нападете на них сзади. А я поднимусь на стены. Итак, вы первыми входите в Неаполь. Вам награды и слава. Неаполь с древнейших лет копил сокровища и никогда не видел врага внутри своих стен. Неужели у вас не хватит мужества захватить богатейший город! Солдаты, будьте храбры и решительны! Судьба смотрит на вас, улыбаясь!

Энн полез первым. Свежее дерево новеньких лестниц закрылось темными силуэтами солдат. Зев акведука глотками втягивал войско. Кто-то, нечаянно уколотившись о конец меча, торчавший из потрепанных ножен, закричал от боли и испуга, неожиданно тонко, как евнух. И тут же взорвалась многоголосая ругань досады и нетерпения. Скорее, скорее! Фигура, последней задержавшись наверху, сказала голосом Магна:

– И тебе удачи, великий полководец!

Велизарий рассылал ипаспистов торопить подачу лестниц для взятия городских стен, другим приказывал расположиться цепью и наблюдать, чтобы лестницы подносили не ближе чем на пять стадий от стен.

До слуха Велизария доходил все увеличивающийся гул голосов его лагеря. Там и сям вспыхивали огни, появлялись языки факелов, хотя всем начальствующим приказывалось соблюдать тишину. Ипасписты бежали на шум, тушили факелы. Огни опять появлялись, шум усиливался. Все было, как обычно.

Велизарий привык к своей роли полководца. Собрать солдат, толкать, толкать, толкать... Остальное не зависело от его воли. Велизарий умел мириться с беспорядком, неурядицей, неповиновением. Иначе быть не могло. В этом отношении к делу и крылась сила Велизария как полководца.

В молодости, когда сам Велизарий служил ипаспистом у будущего базилевса Юстина, он мечтал о

стройных движениях послушных колонн, о геометрии боя. Потом Велизарий личным опытом убедился в лживости рассказчиков, в выдумках книг, которые ему читали. Инстинктом солдата он понял, что описывающие сражения излагали события так, как им следовало бы совершаться. Но в жизни полководцу необходимо отказаться от подражаний невозможному. Если же иные книги и правдивы, то времена Александра и Цезаря давно миновали.

Все это не мешало Велизарию вдаваться в ученые рассуждения со ссылками на кучи примеров, которые хранила отличная, как у иных неграмотных, память. Ему даже казалось, что он умеет действовать по прославленным образцам. Все известные полководцы многозначительно избегали ввязываться в ночные бои, и Велизарий не считал, что сейчас он нарушил правила. Ведь он замыслил не сражение, но внезапное нападение, успеху каких было много примеров! Сам того не сознавая, он готовил в уме донесение базилевсу на случай неудачи.

Бесс, сопутствуя Велизарию, молчал. С ним не советовались по поводу ночного штурма, нечего и рассуждать. Однако же взятие города будет настоящим сражением. Ипасписты Бесса вооружили своего начальника. Бесс сохранил в зрелости атлетическую силу молодого бойца. В броне с короткой юбкой из пластин, раздавшийся вширь варвар с острым черепом казался черепахой, вставшей на дыбы.

Звезды близились к полуночи. В лагере установилось подобие тишины. Поступили донесения – лестницы поднесены, остается короткий бросок.

Неаполь хранил спокойствие.

В каменной трубе акведука происходила невообразимая давка. Только общее сознание опасности сдерживало окрики и обычную перебранку.

Несколько сот ног растолкли ил в мельчайший порошок. Солдаты чихали, кашляли, терли глаза. Особенно распаленные жадностью пытались протиснуться вперед. Кто-то падал, другие валились на него. Общее движение прерывалось толчками, толчками восстанавливалось. Даже в походе под открытым небом задним рядам приходится тяжелее. Внутри акведука только первый десяток сохранял подобие свободы действий.

Добравшись до щели, Енн споткнулся о порог. Он догадался оставить несколько солдат у прохода, с тем, чтобы они, прижавшись к стенке, предупреждали других. Сотня исавров благополучно миновала препятствие, но с конниками Магна получилось хуже. Енн не подумал назначить на пост тех из своих, кто мог объясниться по-ромейски. В щели началась давка, превосходившая все вообразимое. Тем временем исавры успели уйти довольно далеко. Они были, несомненно, глубоко в городе, но каменной трубе не находилось конца. Никаких примет! Боковых отводов нет, или Енн их не заметил. Ощупывая темноту обнаженным мечом, Енн терял самообладание. Ему казалось, что он блуждает в лабиринте без выхода. Енн остановился. Исавры подтянулись в затылок своему начальству. И вдруг по живой нитке проскочили слова, передаваемые шепотом и от этого особенно тревожные:

– Сзади никого нет. Все остальные, кажется, вернулись.

Кто сказал? Приказ ли это? Не случилось ли что-либо непредвиденное? Вопросы Енна не получали ответа, а сам он не мог протиснуться назад. Где же остальные? Постепенно, путем передачи вопросов и ответов по цепочке солдат, выяснилось, что сзади исавров стоят десятка два конников Магна, остальные, кажется, покинули акведук...

Отряд Магна только еще начинал просачиваться через щель, когда какой-то солдат, оставшийся неизвестным, затеял драку. В темноте латные рукавицы тупо били по чему попало, били лишь потому, что

кто-то ударил и нужно вернуть удар. Задние напирали. Оставленных Енном исавров свалили, барахтающиеся тела закрыли проход.

Сделалось душно, как летом под накаленной крышей. Пыль забивала глотки. Это была драка слепых, загнанных в каменный мешок.

Готский караул на башне, около которой акведук пронзал стену, спал блаженным сном вместе с добровольцами из горожан. Иссахар держал слово. Склады иудейского квартала снабжали защитников обильной пищей. После сытного ужина, политого хорошими винами, защитники города погружались в блаженные сны.

Учув под собой чужих, густо залаяли собаки на башне. Им ответили псы на других башнях. Это были охотничьи молоссы, верные спутники готов.

Дворняжка способна часами исходить испуганным лаем. Готские собаки умолкли быстро, считая ниже своего достоинства поднимать шум, на который хозяин не обращает внимания.

Пока Енн пытался понять, что ему делать, конники Магна, услышав лай, решили, что замысел провалился. Всей массой солдаты надавили назад к выходу из ловушки, опасаясь, что их сейчас передуют, как щенят. Магн затерялся в потоке разгоряченных тел. Обливаясь потом, начальник конницы скатился по лестнице к ногам Велизария и Бесса. Лестницы трещали. Многие падали, не успевая схватиться за перекладины.

Бесс откашлялся и ядовито засмеялся. Для наблюдателя, да еще злорадствующего, зрелище было забавным. Все было спокойно. На башнях – ни огонька, собаки утихли, никаких оснований для тревоги. И вдруг пустая труба акведука, подобно кишке сказочного зверя, извергла ораву перепуганных солдат.

Бесс, верховный начальник всей конницы войска, через голову которого Велизарий отдал распоряжение Магну, спросил неудачливого:

– Эо, Магн, паччиму ты не конем ехал, паччиму лошадь паккинул?

Велизарию было не до смеха, рушилась единственная надежда взять город. Полководец был уверен во вздорности паники, даже Бесс, отдав дань злорадству, начал ругать солдат. Вслед за ним неистовой бранью разразился Велизарий.

– Трусые, трусые! Шакалы! Бабы! Евнухи! Иудеи! – полководец выбирал самые обидные оскорбления. – Крысиные щенки, персидские наложницы, я голыми выгону вас из войска!

Оскорбления, опасные в иное время, сейчас были возможны, даже невероятная угроза изгнать из войска звучала веско.

Византийскому полководцу не могла прийти в голову мысль, естественная в иные времена: он сам нес ответственность, посылая солдат для необычайного предприятия и ничего не подготовив, даже не назначив побольше начальствующих. К счастью, Неаполь безмятежно спал. Судьба осеняла спасительными крыльями полководцев империи!

После вспышки гнева Велизарий вспомнил о Енне и исаврах. Где они? Блуждают в акведуке? Ждут? Полководец приказал ипаспистам заменить трусов и идти вместе с Магном. Но беглецы успели осмелеть. Столпившись у лестниц, они не пускали других. Велизарий охотно отозвал ипаспистов. В опасном предприятии предпочтительней рисковать солдатами базилевса, чем своими. Теперь эти трусы пойдут лучше других.

Времени было потеряно много. Велизарию не терпелось, он не знал, куда себя девать. В тревоге он вспомнил о шуме, которым могут выдать себя солдаты. Вместе с Бессом Велизарий поспешил к крепостной

башне, командовавшей над акведуком. Сейчас это место его испугало. Случайная мысль, которую суеверные люди принимают за предчувствие или за указание свыше.

Бесс, имея опыт командования готскими наемниками, владел и готской речью. Сначала его оклики вызвали лай собак. Затем чей-то голос спросил, в чем нуждается пьяный дурак, чешущий шелудивую кожу о стены Неаполя. Бесс принялся болтать. Подталкиваемый Велизарием, он старался кричать погромче. В акведуке последний солдат уже стукнулся лбом о скалу, потихоньку проклиная того, кто долбил нору, а Велизарию все еще слышался топот ног в пустой трубе.

Бесс предлагал готам сдаться, обещая каждому по сто золотых монет, и землю, и рабынь, расхваливая женщин в выражениях, даже в ту эпоху избегавшихся писателями.

В ответ готы осыпали бранью Юстиниана и Велизария, близости которого они и не подозревали. Они тоже не стеснялись самых откровенных слов по адресу жен базилевса и его полководцев. Бесс лихо перекрикивал готов в солдатском состязании.

Восток начинал алеть, в небе проступала черная голова Везувия.

Сигнала труб все не было слышно.

6

Вернувшиеся конники Магна надавили на остановившихся исавров, вынуждая их двинуться вперед. Толчок докатился до Энна вместе с хорошей новостью, а исаврам, успевшим остыть за время вынужденного ожидания, ничего не оставалось, кроме движения вперед.

Латные черви – так чувствовали себя солдаты, смирившиеся с духотой, мраком и пылью.

Только необычайная мощь и тяжесть старого сооружения могла поглотить и погасить дробный топот четырехсот пар ног, лязг и голоса, которые раздавались все с большей непринужденностью.

Висящая на арках каменная кишка дракона казалась бесконечной и замкнутой. Темнота вызвала ощущение круга, в котором вращались, как в колесе. Иногда нога встречала какое-то отверстие, таинственную нору. Вероятный отвод в цистерну, в фонтан на площади или в дом богача, куда хорошо бы попасть поскорее. Но ход был узок, пригоден для пса, не для воина.

Если вся вода только так разбиралась в этом проклятом городе, то блуждание закончится тупиком. Никто не знал, что будет дальше. От страха злоба на неаполитанцев кружила солдатские головы кровавым хмелем. Только добраться до наглых горожан. При мысли о горожанах, которые сейчас нежились в кроватях, совсем близко, рукой подать, не будь камня, ярость сплеталась с похотью и выливалась в грязных словах.

Внезапно Энн увидел над собой звезды. Свежий воздух тек из пролома, более живительный, чем вода в пустыне. Напор унес командующего исаврами дальше. Он сопротивлялся, боясь повысить голос. С трудом удалось Энну добиться общей остановки и протолкаться назад. Здесь крыша акведука была разрушена, но до края зияющего отверстия не доставала рука. Как многое другое, такой выход из акведука никому и не снился. Не нашлось ни шеста, ни лесенки, ни даже веревки.

На спинах и на руках подняли первого попавшегося Энну солдата. Положительно, Судьба служила Велизарию. Старое масличное дерево изгибало толстый ствол рядом с проломом. Исавр соорудил из гибких веток подобие веревки. Ухватившись за них, Энн прыгнул в окно второго этажа какого-то дома, выходящее почти на крышу акведука. В углу комнаты горела лампадка перед иконой. Жалкая старуха, онемев от страха, стояла на коленях. Энн пригрозил мечом, и она зарылась в тряпье убогой постели. Вслед за Энном, прыгая в комнату старухи, солдаты гуськом потянулись вниз по лестнице с выщербленными ступенями. Дом стоял в запустении, с единственной жилицей – уличной нищенкой.

Небо уже бледнело в рассвете, когда переулок наполнился солдатами. Услышав тяжелый топот, слишком чуткий неаполитанец затыкал уши, чтобы смена караулов хоть во сне не напоминала ему об осаде.

Магн и Энн повели свои отряды наудачу. Никто после адской кишки не знал, где находится, где стены, где гавань. После нескольких поворотов Магн с величайшим облегчением заметил зубцы башни, торчавшие над крышами. Все равно, где это, какая часть города, только бы залезть на так долго не дававшиеся стены.

В лагере или в окрестностях Неаполя нашлись бы люди, знакомые с расположением городских улиц, но ни Велизарий, ни Константин Фракиец не подумали раздобыть проводников. И все же судьба благоволила ромеям...

Крепостные стены изнутри устраивались везде одинаково, с лестницами и подъемами, не изменявшимися тысячу лет. Когда солдаты забрались наверх, на стене властвовала сонная пустота. Готы и добровольцы горожане спали в башнях. Даже молоссы, привыкшие к виду и поступи воинов, слишком

поздно опознали чужих.

В двух башнях ромеи перебили сонных защитников, прежде чем те успели опомниться. Солдаты кололи и резали безоружных с веселой яростью, вымещая тяготы путешествия в каменной трубе, свои страхи, свою трусость. Магн вспомнил о трубачах. Где они? Эге! Трубы! Громче! Громче!

Трубным звукам со стены ответили трубы из лагеря, трубы снизу, из-под стен.

Более не к чему было таиться. Утренние сумерки разорвались бурей окликов, приказов, призывов. Лестницы, подхваченные десятками солдат, надвигались на город, подобно исполинским сколопендрам.

Вскоре проклятия и ругань опоясали стены. Ни одна из лестниц не доставала до верха! Все они были изготовлены на глазок, без попытки точных измерений, по вдохновению начальников, привыкших давать меру шагам.

Пришлось связать лестницы по две и чем попало – ремнями, запасными тетивами луков, перевязями мечей, кое-как. Сделавшись слишком тяжелыми, лестницы прогибались, у некоторых рвались непрочные соединения.

Хотя Енн и Магн овладели двумя башнями, у готского гарнизона и у горожан нашлось бы достаточно времени, чтобы прийти в себя от неожиданности и организовать отпор. Чужие трубы на городских стенах прозвучали на рассвете. Но когда, наконец, византийские солдаты, обремененные доспехами, щитами, оружием, начали тяжело переваливаться на стены с неудобных лестниц, стоял полный день.

Готов и неаполитанцев охватила паника. Слишком большая уверенность сменилась пассивным упадком одних, отчаянием других. Ни одна из баллист, ни одна из катапулт не была приведена в действие отрядами горожан, которые распорядились метательными орудиями – давней собственностью города. Прислуга немой артиллерии разбежалась, бросив пирамиды камней – грубо отесанных шаров, колоссальных кубов и яиц.

Гарнизон башни, соседствующей со взятой отрядом Енна, вышел на дорогу, прикрытую со стороны поля зубцами. Несколько десятков тяжело вооруженных готов столкнулись с исаврами. Боевой ход по верху стены ограничивал фронт шестью бойцами. Железный еж длинных копий отбросил исавров, имевших только мечи. Потеряв несколько человек, исавры отскочили в ранее взятую ими башню, успев закрыть окованную дверь. Тут же на готов посыпались сверху стрелы, а солдаты Магна, пользуясь тем, что готы оставили свою башню, напали на защитников города с тыла. Растерявшись, готы подняли копья вверх и опустили щиты в знак сдачи.

Следующую башню заспавшиеся готы сдали без сопротивления. При всех ошибках, промедлениях, просчетах Велизарий пожинал плоды внезапности нападения. Он как бы подрезал защите сухожилия.

Десятки лет мирной жизни расслабили готов. Владельцы трети италийской земли, привыкнув проводить время в праздности, сохранили от своих отцов страсть к охоте. Но и эта деятельная и мужественная забава изменилась. Настоящий труд охотника был перенесен на загонщиков – колонов и рабов, а господа приучались ждать зверя, сидя с удобством в засаде.

Готы никогда не славились как хорошие стрелки из лука. Ныне же это искусство у них совсем упало, ибо требовало утомительно-скучных и многолетних упражнений.

Византийские полководцы встречали большие затруднения в общей недисциплинированности, в капризах федератов, в своеволии наемников, в завистливом стремлении к самостоятельности, не угасавшей в сердцах подчиненных. Однако же византийские армии имели так или иначе признаваемое

единство управления, имели хотя бы внешнюю организацию, которой подчинялись и самые непокорные по мере возрастания опасности.

Готы, следуя племенным традициям, признавали родовых вождей, как все народы, обитавшие к северу от Альп. Впоследствии из этих традиций выросла столь ненадежная в боевом значении аристократически-феодальная система, когда держатели феодалов кое-как сражались под знаменами своих сюзеренов, но их воины подчинялись только им.

Неаполитанский гарнизон находился в руках нескольких родовых вождей, им управляло подобие военного совета из равноправных господ. После отражения первого штурма все свелось к ожиданию следующего. Каждый гот и каждый дружинник из горожан знал свое место на стене. Но никому не было известно, куда отступить, вокруг чего или кого собраться в случае неожиданного. Поэтому оборона рухнула сразу из-за отсутствия центра.

Нападать на восточные ворота Неаполя приказали отряду массагетов, федератов Византии, и славянам. Ни тем, ни другим не досталось лестниц. Сам Велизарий руководил штурмом с севера, лестниц было мало, их расхватили с боя – лагерь овладела внезапная вера в успех.

Восточные стены города казались пустыми. После общей тревоги гарнизоны башен у ворот покинули свои места. Несколько воинов безнаказанно подошли к воротам и попробовали постучать в тяжелые створки, защищенные шляпками гвоздей величиной с кулак. С такими воротами мог справиться только таран.

В лагере для первого штурма было изготовлено несколько таранов, но не нашлось охотников искать их и тащить на себе тяжелые бревна. Кто-то надумал поджечь деревянные створки.

Вопреки приказу большая часть массагетов явилась верхом. Теперь кони пригодились для доставки топлива. Пламя поднялось до верха беззащитных ворот. Ветер оттягивал дым на город.

Беспорядочным набатом дребезжали бронзовые доски церковных звонниц, но у святого Иоанна, соборного храма Неаполя, и у Марии-Марфы звонили торжественно. Как на пасхальной службе, гулко перекликались главные голоса, серьезные и глубокие. Радостно пели мелкие доски-подголоски: «Слава в вышних богу и на земли мир...»

Повинуясь воле епископа Неаполя, другие храмы прекратили набат и, присоединившись к старшим, встречали благовестом освободителей от гнета схизматиков-ариан.

Разрозненные отряды готов сдавались без боя армии Юстиниана, которая вливалась в город сразу через несколько ворот, открытых изнутри. Велизарий и другие начальники озаботились безопасностью этих пленников. Около восьмисот готов, едва ли не половина которых оказалась без доспехов и оружия, были выведены из города в лагерь. Там Бесс, не теряя времени, предложил им выбор: или они поступают на службу Божественному, или их ждет печальная участь. Словоохотливый, как базарная торговка, и столь же убедительный, Бесс напомнил готам об Эбримуте, зяте самого рекса Феодата, человеке благородном. Он передался со всеми своими под руку Непобедимого, говорил Бесс. Отныне и до века Италия принадлежит базилевсу. Кто это не понимает, заслуживает, чтобы его обрили и одели в женское платье, как недостойного быть мужчиной. Многие готы служат базилевсу, недавно они расправились с охлосом в самой Византии. И взяли великолепную добычу! И были осыпаны милостями!

Горластый начальник торопился убедить пленных, чтобы поскорее избавиться от навязанного ему дела. А придет же минута, когда он тоже сумеет поддаться Велизарии коленом! Неаполь отдан войску, а ему, Бессу, приходится тратить здесь время на уговоры! Не ожидая согласия, Бесс крикнул:

– Имеющий уши слышать да слышит! Вы – что? В рабы собрались, отродье носорогов!

Ипасписты подняли Бесса в седло, и железная черепаха помчалась в город, сопровождаемая свитой. Скорей! Опоздали!!!

До осады Неаполя солдатам грозили наказаниями за насилие над италийцами: италийцы не враги базилевса, но его подданные, которые-де сами хотят вернуться в лоно империи. За упорство Велизарий объявил неаполитанцев изменниками. Все понимали, что только помощь горожан помогает держаться слабому гарнизону готов. Теперь было разрешено отомстить неаполитанцам за то, что они отвечали ударом на удар.

Не существовало начальников, исчезли признаки подчинения. Не было вступления в город. Было вторжение. Не стало ни армии, ни солдат. Явились группы и группки, связанные общностью наречия и товарищества. Пришел день свободы действий, день ничем не ограниченной власти над имуществом и телом побежденных, тот самый день, который обещали вербовщики в армии Византии по примеру вербовщиков старого Рима.

Издавна иноязычные и малоизвестные племена, обозначаемые ромеями безличным словом «варвары», завидовали богатству южных земель. О заманчивых плодах, о волшебном соке винограда слышали и в лачугах рейнских болот, и в глуши Черных Лесов, и в устьях северных рек, никогда не виденных римлянами. Что же касается грабежа, ловли невольников, права на беспредельное насилие, этому так называемые варвары учились от римлян. И возвращали своим учителям.

Те из солдат, кто был жаден до крови, убивали каждого попавшегося под руку. Иные умерщвляли в буйном порыве как в хмелю. Другие, более утонченные, изобретали развлечения. Разыгрывались сценки, исполненные особого «юмора», заимствованного на театральных зрелищах.

– Как тебя зовут? Павел? Покойной ночи, Павел, кланяйся твоему отцу в аду!

– Ты хочешь жить? А, ты любишь жизнь! Я исполнен уважения к тебе. Увы, сегодня я видел тебя во сне.

– Ты можешь перепрыгнуть через эту стену? Нет? Сожалею. Я клялся на Евангелии щадить сегодня только отличных прыгунов!

– Не бойся ничего! Я дал обет прикончить десять неаполитанцев. За моего друга, которого вы убили. Поздравляю тебя, ты... десятый. Получай!

Все дома лишились дверей. Более опытные солдаты спешили найти жилища богатых. Улицы переполнились задыхающимися от бега солдатами. Каждый старался опередить каждого.

Ворвавшись в дом, кричали: «Все поровну!» Кто-либо, остановившись у входа с мечом и щитом, предупреждал новых пришельцев:

– Здесь уже занято! Нас много!

Найдя настоящего или предполагаемого хозяина, солдаты срывали с него одежду и растягивали его на полу, на земле сада – где пришлось.

– Где зарыто твое золото? Где ты спрятал богатство?

На незащитное тело обрушивался град рассчитанно-яростных ударов. Сразу несколько солдат били палками, ножнами, ремнями, сломанными наспех сучьями. Потом краткий перерыв, быстрый вопрос: «Говори где?» – и опять ливень побоев.

Это называлось батоннадой. Нужно было спешить; всем казалось, что в богатом Неаполе больше домов, чем солдат.

Вскрикивали и умолкали женщины, подвергнутые насилию. Из опустошенных жилищ выгоняли рабов, вчера бывших свободными, детей, женщин, мужчин, нагруженных добром, которое вчера было их собственностью, сегодня же стало солдатской добычей по Праву войны. Судьба настоящих рабов оказывалась более благоприятной. Они лишь меняли хозяев, иногда – к лучшему.

Не успевая запомнить своих рабов, не будучи в состоянии куда-либо их засадить, не уверенные в возможности уследить за двуногой добычей, солдаты пускали в ход веревки с мертвыми петлями. Они вязали пленных за шеи, как грозди, метили груди, лица и руки краской, смолой или сажей из очагов.

7

Наконец-то прогорели восточные ворота. Наездники массагеты, подхватив на крупы коней пеших единоплеменников, прорвались через догоравший костер.

Конница мчалась к храму святого Иоанна, звонница которого еще славилась армией Юстиниана. Не слезая с седел, массагеты ворвались в храм. Почти две тысячи неаполитанцев искали здесь приют. Они рассчитывали, что католическая армия соблюдает право убежища. Массагеты сделали их своими пленниками. Солдаты ограбили храм, схватили церковную утварь, ободрали ризы с икон, сняли все, к чему могли дотянуться. Набив переметные сумы и сетки для сена, массагеты наполнили длинные мешки одеждой пленников, которых раздели догола.

Чтобы закрепить за собой живую добычу, слишком многочисленную, и воспрепятствовать побегам, победители принялись ловко и быстро надрезать каждому левое ухо, метя, как овцу или норову. Испорченное ухо могло снизить цену рабыни, поэтому для молодых женщин делали исключение, отхватывая клочок волос на лбу. Такой же налет массагеты успели совершить на храм Богородицы.

По знакомой дороге, через восточные ворота, массагеты погнали в лагерь двуногий табун. Никто не успел сосчитать добычу по головам, но шествие растянулось на пять стадий.

В жадности к невольникам обнаруживался инстинкт кожевника, которого больше блестящих предметов соблазняют стада и особенно двуногие вещи, способные работать и развлекать. Венец благополучия, счастья, славы.

Во взятом Неаполе нашлось единственное место, где сопротивление не было сломано внезапно вторжения: у юго-западных ворот, через которые город сообщался с портом.

Отряд гуннов и моряков, бросивших флот, чтобы грабить город, собирались сжечь деревянные створки, как сделали с восточными воротами массагеты и славяне. Это обычный прием, когда крепостные ворота не защищаются. Внезапно сверху посыпались каменные ядра. Из боевых отверстий башен брызнула жгучая известь. Справедливо сочтя, что нет необходимости рисковать костями и кожей, коль город взят, нападающие отправились поискать безопасных дорог к добыче.

Охрана юго-западных ворот была поручена ополченцам иудейской колонии. Их стойкость среди общей паники не была случайна.

– Что может быть с нами? – спрашивали друг друга неаполитанские иудеи после высадки ромейской армии в Сицилии.

– Что будет с нами теперь? – обсуждали они, когда Велизарий переправлял армию через Мессинский пролив.

Тогда многие италийцы-католики ждали армию Юстиниана, ждали эту освободительницу от власти варварских еретиков-готов. Тогда многие в Италии еще верили фанатикам, духовным и светским, которых разжигали агенты империи.

А иудеи? Они были осуждены заранее и как враги церкви, и как единоверцы участников последних палестинских мятежей, поставленных в империи вне закона.

Разумнее потерять даже все достояние, но сохранить жизнь. Корыстолюбие полководцев было общеизвестно. Уполномоченным общины удалось предложить сделку самой Антонине, всесильной жене

послушного мужа. Но кто мог быть поручителем в лагере армии, которая изготовилась в поход на Рим через Неаполь! На словах уполномоченные добились успеха. В действительности же поняли: их обманут. Ибо зачем что-то давать, когда все можно взять даром.

Нужно бежать из Неаполя, пока город еще не осажден. Куда? В Рим, где папа ждет не дождется ромеев, где многие мечтают о приходе юстиниановской армии, чтобы расправиться с еретиками? Или скитаться в горах с детьми, женщинами, стариками, умирать от голода и стать добычей первой же шайки грабителей, которых скоро породит война?

Армия Велизария подвигалась к Неаполю, а в городе шла невидимая подготовка к защите. Не нужно было тратить время, чтобы понять, что в риториках неаполитанской Академии иудеи находят надежных союзников. Иудеи искали других из числа тех, кто не хотел бы видеть солдат в своем городе. Решимость таких подкрепляли разумным словом и убедительными делами, предлагая займы без лихвы, иногда – без отдачи. Таким же способом убеждались колеблющиеся, робкие.

В тяжелые дни никто не сравнится в щедрости с тем, кто знает цену денег. Сходка граждан, которая решила судьбу Неаполя, была подготовлена еще лучше, чем подумалось декуриону Стефану.

После падения Карфагена вандалского на всем протяжении берегов Теплых морей только Италия и Испания оставались безопасными для христиан всех догм, для соблюдающих закон Моисея и даже для придерживающихся старинного эллинского многобожия.

Иные кафолики люто осуждали готского рекса Феодориха: он-де провозгласил терпимость в делах религий с лукавой целью погубить высокую Правящую Церковь вольным соперничеством с прочими, лживыми верованиями.

Иные политики подозревали, что равенство перед лицом гражданских законов всех исповеданий христианства и других религий задумано Великим Готом из желания возвысить готское государство над империей: давая приют гонимым, Италия усилится числом подданных.

Что бы ни говорили злобствующие, о чем бы ни рассуждали хитроумные, но терпимость готского правления существовала не на словах лишь, что вообще-то часто случалось, но на деле.

Феодорих действительно прекратил в Италии усобицы между христианами разных догм. Больше никто не осмеливался силой мешать своему ближнему молиться так, как он хотел. Что же касается численно малозаметных иудеев, то покушения на свободу их совести были пресечены весьма решительно. В Равенне, столице государства, фанатичные кафолики разрушили молитвенный дом иудеев. По приказу Феодориха кафолическая община восстановила молитвенный дом своими средствами, и ей же было оставлено решить, на каких ее буйных сочленов должны пасть издержки.

Великий Гот десять лет пробыл заложником в Византии. Его привезли мальчиком, он был воспитан в Священном Палатии, перед ним развернулось великолепие империи и Правящей Церкви. Он получал лишь «хорошие» примеры. И – вынес из них отвращение.

Готы были вдвойне чужды коренным италийцам. Они – завоеватели-варвары, они – ариане-схизматики. Действия рекса Италии были, с точки зрения византийских политиков, весьма близоруки. Веротерпимость готов сохранила Рим, как столицу Церкви Правящей, ибо престол первосановника Церкви, Папы, наместника Петра-апостола, был в Риме и был он крепостью ортодоксального кафолицизма. Власть готов могла бы десятикратно упрочиться, пойдя Феодорих на союз с папским престолом. Византия лишилась бы возможности готовить крушение готов изнутри Италии.

Но другое мечталось Великому Готу, высокое с точки зрения непреходящей морали, которая хочет мира среди людей всех убеждений, ибо все они – люди.

С затаенной мыслью о деле Феодориха Прокопий решился написать в своей «Истории войн» нечто для имперского подданного поразительно смелое:

«Не берусь я судить о высоких вещах. Сумасбродным я считаю исследование божьей природы, какова она есть. Трудно нам с какой-либо точностью понять человеческое, к чему же рассуждать о божественном. Ни в чем не противореча установленному, думаю, лучше молчать о том, что предназначено лишь для благоговейного почитания».

На самом деле кафоликов, ариан, монофизитов и христиан иных многочисленных толков разделяло для них непримиримое, ничтожное на взгляд позднейших поколений разногласие в догме. Всего три-четыре слова в определении таинственной сущности Иисуса, например: был ли он богочеловеком или человекобогом? Поглотило ли в нем божественное все человеческое, или оба начала сосуществовали отдельно?

И в те годы, и потом в течение многих и долгих столетий взаимные истребления враждующих христиан носили характер уничтожения опаснейших, ядовитейших животных, чье убийство ставится в заслугу. И такой же мерой империя Юстиниана мерила иудеев: в преследования не вносилось ничего расового, племенного. Всемирно-космополитическая империя, всемирно-космополитическая Церковь задавали каждому подданному один вопрос: как веруешь? И стремились убить инакомыслящего, и не интересовались «кровью» новокрещенного.

Иудейская община лучше других италийцев знала дела империи, недавно вздрогнувшей от неслыханной силы восстания Ника. Находясь среди иноверцев, добывая средства для жизни посредничеством в торговом обмене и путями того же обмена сосуществовая с иноверцами, иудеи располагали надежными, постоянно обновляемыми сведениями.

Религия веками приучала верующих иудеев видеть в кровопролитии благодетельно-неизбежную волю бога, который действовал в интересах избранного им народа, носителя истины. Но избиения Юстинианом собственных подданных иудеи могли оценить по достоинству. Их чувствам не мешал туман религиозного фанатизма, который окутывал Библию.

Иудеи ужасались. Оплакивая своих малоазийских единоверцев, чудовищно истребленных после восстаний, иудеи умели человечно сочувствовать всем другим гонимым.

Вот и под стенами Неаполя остановилась армия Юстиниана, который видел в иудеях не только еретиков, но и опасных противников империи.

Да, они были противниками империи. Да, они следили за делами империи. И трепетали перед мрачным гением Юстиниана. От зорких глаз смелых иудеев, прячущихся в самой пасти зверя – в Византии, – не скрылась тайна Ипатия, будто бы лжебазилевса, на самом деле – куклы в руке Юстиниана, сыграв которой базилевс одним ударом спас себя.

Иудеи оценивали конфискации, которыми сопровождалось религиозные гонения, подсчитывали доходы империи от налогов. Разгадывали секреты соляной, шелковой монополий. Копались в тайных доходах, запрятанных в цены мяса, вина, масла, рыбы.

У человека, пусть по природе недоброго, но здравого умом, вызывает гнев бессмысленная жестокость. Иудеи с отвращением вдумывались в имперские операции с хлебом. Зерно, выбитое из провинций по налогу «синона», гноилось по небрежению, а потом насильственно продавалось тем же, кто бесплатно сдавал свой урожай на склады базилевса. Прибыльное дело. Но это не торговля, а дикарское истязание! Зачем?!

Зло держится злом же – так понимали иудеи вымогательство взяток сановниками Юстиниана, так говорили между собой о неслыханной с сотворения мира торговле законами, которой занимался Трибониан, квестор империи, блюститель закона![\[69\]](#)

В Неаполь попадали вещественные доказательства разложения империи. Сама казна выпускала фальшивые деньги. Золотые монеты – солиды или статеры – тайно и корыстно портились добавкой в сплав излишнего серебра (бывшего в двенадцать раз дешевле золота), меди, даже свинца. Опытный глаз угадывал подделку издали, по цвету. Встречались монеты, нагло и ловко обрезанные ножницами логофетов. Все это для пытливого ума иудея было подобно пятнам, которые выступают на больном теле. Могла ли такая империя длиться? Нет, нет. Еще год, еще два. Нужно держаться и выжить.

А что сказать о постоянном напоре персов? О солдатских мятежах? О вторжениях варваров, которые не встречают должного отпора? Еще бы! Против минувших лет правления базилевса Анастасия имперское войско уменьшено в три раза.

Воинственный манифест Юстиниана взволновал иудеев больше, чем готов. Рассудив, они успокоили себя надеждой, что италийская война не под силу Юстиниану. Готы ослабели, готы не те, что были при Феодорихе. Но они еще могут вывести в поле двести или сто пятьдесят тысяч бойцов.

Когда Велизарий высадился в Сицилии всего лишь с пятнадцатью тысячами солдат, тайные и явные сторонники империи в Италии были огорчены слабостью кафолического войска. Иудеи же воспрянули духом. Страстное желание неудачи ромеев поддерживали разумные расчеты. Тем более легко было уверить себя в близкой гибели имперской армии.

Бог уже наказал Юстиниана страшной карой бесплодия. Базилевс-Дьявол осужден.

Незадолго до своего падения Неаполь был утешен слухом о лазутчике, который будто бы принес готскому гарнизону важные вести. Многочисленная армия, собранная рексом Феодатом, находится в Террачине и Формии, готовится к переправе через реку Гарильяно.[\[70\]](#) Скоро Велизарий с его слабым войском будет прогнан, разбит, сброшен в море.

Священные предания были богаты рассказами о случаях, когда бог Авраама, Исаака, Иакова спасал избранный им народ из-под уже занесенной секиры.

Отгнав одних ромеев, которые пытались поджечь ворота, иудейский отряд заметил других. По верху стены шла полусотня солдат под командой Перана, знатного ибера, который передался империи в последнюю персидскую войну.

Увидев на башнях юго-западных ворот хорошо вооруженных латников, Перан счел их за готов и собирался принять капитуляцию последней горсти гарнизона. Ни сам он, ни его солдаты не ожидали, что во взятом Неаполе еще придется сражаться.

Сражаться же пришлось по-настоящему. В те времена любой купец со своими приказчиками и работниками умел владеть оружием, по необходимости защищаться на суше от разбойников, на море – от пиратов. К тому же неаполитанская колония принимала в свое лоно единоверцев, беглецов из Палестины. Эти живые осколки отчаянных восстаний отчаявшихся людей приносили навыки боя в строю.

Повинуясь одному из таких бывалых бойцов, иудеи подпустили ромеев поближе.

В жестокой сшибке Перана сбросили со стены. Крыша какого-то дома и твердые доспехи спасли ибера от увечий. Солдаты растерялись и, понеся большой урон, чем иудеи, поспешно отступили.

Опытный вожак удержал своих от бесполезного преследования. Поняв, что нет больше смысла охранять стену и ворота, иудеи ушли в свой квартал.

В. то же самое время на Иудейскую улицу ворвались гунны, проникшие в город через брошенные охраной и кем-то открытые западные ворота.

Бой с таким противником в открытом поле окончился бы для иудеев быстрым и полным разгромом. В тесноте улицы и пешком гунны лишились своей боевой силы – маневра всадников. Да и собрались они за добычей, а не воевать. Гунны бежали после короткой, но кровопролитной для обеих сторон схватки.

Подобное случалось и в других городах, отданных грабежу. В одном из кварталов взятой персами Антиохии не гарнизон, а несколько сотен зеленой молодежи, кое-как вооруженной, успешно часами отбивали и избивали шайки грабителей, на которые распалась победившая армия. Для подавления кучки героев потребовалось вмешательство самого Хосроя, владыки персов, который лично командовал армией.

Окрыленные удачей, иудеи изготовились к защите обоих входов в улицу.

Иудейский квартал был совершенно особенным сборищем строений, отлично приспособленным для защиты от воров, грабителей и всяких случайностей.

Сооружения, слившись стенами, казались единым массивом, плотным, как улей, со спрятанными внутри двориками и террасами, складами, фонтанами, сейчас сухими, и несколькими колодцами, в которых хватало воды. Дома, тылом упираясь в городскую стену, открывались на улицы дюжиной выходов. Это были подобия пещер, достаточно широкие, чтобы мог въехать воз, запряженный парой быков. На высоте двух человеческих ростов выходы перекрывались полом второго этажа. Двери были и узкие, как щели, и широкие, чтобы пропустить человека с объемистой ношей. Подобные входы встречаются в некоторых муравейниках.

С улицы и с боков окна начинались на уровне третьего этажа.

Так строился иудейский квартал. Без общего плана дома лепились к домам, недостаток места заставлял лезть вверх. Здесь жили, плодились. Отсюда несли бегом на кладбище тело усопшего, завернутое в кусок новой ткани. Здесь нашлись места для товаров, похоронки для ценностей, закутки для детских игр, уютные уголки, где могли сойтись женщины, чтобы на свободе, вдали от мужчин, поговорить о своих радостях, болезнях, детях, мужьях и соседях.

Подобные кварталы были ужасом для архитектора. Но чувство личной и общей безопасности заменяло потребность в красоте форм. Безобразно, зато надежно. Тесно, но тепло.

Группы солдат, которые искали добычи, не раз замечали иудеев. Принимая этих латников за своих, солдаты отправлялись искать другие, незанятые места.

Две небольшие шайки, не то дорвавшиеся, не то пропущенные до середины Иудейской улицы, были перебиты, но жизнь свою продали дорого. Валялись трупы, кровь забрызгала стены улицы-ущелья.

К полудню слухи об иудеях, которые засели в городе близ порта, дошли до Велизария. Перан, оправившийся от падения и уже сытый добычей, вспомнил о полученном им отпоре. Кто мог подумать: в целиком плененном и ограбленном Неаполе еще нашлись не тронутые грабежом местечки и силы, которые противились!

Под рукой Велизария не было солдат. Исчезновение войска после победы. Никакой власти. Под Карфагеном Велизарий был покинут даже ипаспистами и почти в полном одиночестве пережил много тяжелых часов в ожидании, что бежавшие вандалы опомнятся и вернуться. Как легко победа могла превратиться в поражение! В Неаполе, по крайней мере, можно было спокойно ждать, пока солдаты не устанут от грабежа и не пресытятся насилием.

Велизарий поручил Перану взять с собой одних ипаспистов. Иудейский квартал сулил великолепную добычу.

Сейчас там находились только свои, рабы-иноверцы были предусмотрительно изгнаны. Не потому, что кормящий раба кормит врага. Израиль умел держать железной рукой все взятое силой иль купленное. Другое здесь крылось – не смешать с чужой свою кровь на земле и пути душ, освобожденных от тела.

Помня урок, полученный на стене, Перан остерегся хватать голой рукой каленое железо. Ипасписты наступали на Иудейскую улицу железными черепахами с двух концов. Стены щитов с бивнями тяжелых сарисс. И ливень дротиков из-за стен.

Не желая рисковать, ипасписты давили без спешки. Иудеи погибали вопреки свирепому мужеству людей, самоотреченно защищающих свой очаг, своих и себя.

Умирующие молитвенными возгласами торопили бога. Пора ему прийти на помощь своему народу! Пора! Все меньше оставалось тех, кто ждал пришествия истинного Мессии.

Сломив сопротивление на улице, ромеи не вошли внутрь улья. Над въездами-пещерами открылись люки, полилось кипящее масло.

Отброшенные с улицы, иудеи не хотели терять надежду. Она билась мотыльком на огне.

Прискакал Бесс, пенясь злобой и жадностью. Выкурить ос дымом? Нет, можно спалить соты! Привезли тараны.

Обрушилась первая стена. Надежда еще держалась. Но не нашлось ни Самсона, ни Давида. Архангел потерял огненный меч. Бог Авраама, Исаака и Иакова забыл свой народ. Не сотворил он чуда из тех, которыми наполнена история иудеев, наполнена для того, чтобы вдохновить последний вздох умирающего.

8

Перебравшись через костер, растоптанный ногами массагетских лошадей, славянский отряд оказался в числе опоздавших. Еще не накопился истинно-воинский опыт поспешать на грабеж. Вблизи ворот улица была застроена домами, бедный вид которых не возбуждал корысть завоевателя. Здесь было гнездо беднейших горожан, промышлявших мелкими ремеслами, работой в порту, на верфях. Двери распахнуты, внутри ни души. Тут не наловишь и рабов. Массагеты не зря бросились в глубь города.

Дальше славяне попали в более заманчивые с виду кварталы, но уже вывернутые, как карманы у трупа на поле боя. Кое-где валялись тела убитых неаполитанцев. Славяне разбрелись. Увлекаемые любопытством, они входили в дома, перелезали через стены, настораживаясь при каждом шорохе. Это напоминало охоту. Не в лесу, но с возможностью неожиданностей, которые делают охоту заманчивее повседневности более прибыльного труда.

Сеть, заброшенная и вторично, не остается совсем без улова. Попадались люди, сумевшие затаиться в темном углу, а потом неосторожно высунуть голову. И те, кто, потеряв всех своих, перестал дорожить собой.

Находилось кое-что в пропущенных в солдатской спешке погребах и подвалах. Голуб открыл нетронутый склад вина – целый клад амфор с печатями на ручках и горлышках, больших, одному не поднять, и малых, содержимого которых не хватит и для жажды одного человека.

Удачливый искатель созвал своих. В атриуме разгромленного дома славяне устроились среди безразличных статуй у иссохшего фонтана. Бывший хозяин или валялся поблизости, не выдержав батоннады, или превратился в безыменного раба.

Обломки мебели, обрывки одежды, черепки. И зловещие пятна на стенах, на плитах двора, на статуях. И стаи мух на сладких лужах.

В малых амфорах оказалось какое-то особенное вино. Оно придавало силы и возбуждало.

Индульфа влекло дальше, дальше. Озираясь, он бродил по опустошенным владениям. Все приняло необычайный вид. Было бы интереснее войти сюда, когда город еще жил, увидеть лица людей...

Случайно Индульф что-то заметил между стеной и дверью, сбитой с петель. Меч! Не обычной формы, не прямой, а слегка изогнутый, с крепким клинком, расширенным внизу. Индульф видел подобные у некоторых ипаспистов. Персидский акинак. Давно хотелось взять его в руки. Тяжелый конец придает особенную силу удару. Индульф попробовал железо. находка оставила зазубрину на палатийском мече. Индульф заметил красные камни на рукоятке. Дорогие украшения не помещают на плохом оружии.

Пустые дома надоели, на них противно стало глядеть. Индульф вспомнил о жене полководца. Где она, эта женщина? Сейчас все казалось простым и возможным.

На агоре – главной площади – теснились солдаты, добыча, пленники. Портики самой агоры сильно пострадали еще при императоре Константине, который без зазрения совести обирал имперские города для украшения Византии. Тогда неаполитанский сенат нарочно не удалил постаменты от «добровольно пожертвованных» статуй. Позднее их увенчали вазами посредственной работы.

Индульфу пришлось посторониться перед телегами. Большерогие волы мягко пятнали мостовую клешнями копыт. Белая рука поднималась вверх, виднелись опрокинутые чаши груди. Мраморные кудри вдавлились в подстилку из тряпья, в которую успела превратиться содранная с пленных одежда.

Телеги тащились к порту. По праву победителя Велизарий забирал себе забытое императором

Константином. Добыча полководца, неподъемная для солдата.

Древность мнилась ромеям полной талантов, ныне угасших. Жаловались на отсутствие скульпторов, на упадок благородного ремесла ваятелей. Произведения старых скульпторов росли и росли в цене. Пыл сокрушителей языческих идолов угас безвозвратно. Теперь давали золото, золото, золото за красивые фигуры богов, людей (кто их разберет), которые в первый век торжествующего христианства случайно увернулись от дубин святых отшельников и камней фанатичной толпы.

Тогда Индульф еще не знал, что в отличие от солдат полководцы умеют готовиться к удачным штурмам. Как бы ни были опыты солдаты, как бы ни спешили, они соревновались между собой. Полководцы находились в лучших условиях.

Велизарий не подумал или попросту не сообразил дать проводников Енну и Магну. Но и чем и где можно поживиться в Неаполе, Велизарий разузнал заранее.

– Как ты сумел найти меня, Индульф?

– Но знаю...

– Но ты думал, что я могу быть здесь?

Исполнение желания казалось Индульфу чем-то вроде чуда, в которое верили ромеи. Встретить Антонину в только что захваченном городе, в лабиринте улиц и площадей!

Несколько ступеней, на которые ноги взлетели, как крылья. Под портиком обломки мрамора. Неловкие уронили статую, вместо того чтобы осторожно снять, и жена полководца вышла на грохот.

За толстыми стенами сената Индульфа встретила свежая прохлада. Здесь еще жило утро победы.

Отнюдь не счастливая случайность привела Антонину в неаполитанский сенат. Большой зал, открывшийся за портиком, нуждался в сотне телег, чтобы быть разгруженным.

Склад победителя, горы тюков и ящиков, содержимое которых было известно жене полководца куда лучше, чем мужу. Сейчас Велизарий отправился к иудейскому кварталу пополнить добычу. Сопrotивление иудеев сломлено.

В здании сената распоряжалась опытная спутница полководца, как было в Месопотамии, в Персии, в Ливии, в Карфагене.

Война не только питала войну. В первую очередь война обогащала полководцев.

Добыча, взятая на побежденных, казна покоренных властителей, общественное имущество, земля, дома, корабли – все это принадлежало базилевсу. Как будто... Не существовало ни одного писаного закона, утверждающего обратное.

Как ни один полководец не мог запретить солдатам грабить – иначе он лишался армии, так ни один базилевс не запрещал полководцам обогащаться войной. Сам полководец должен был определить меру своей жадности.

Велизарий на свой счет содержал несколько тысяч ипаспистов, ипасписты сражались за империю. Уже из этого одного возникало молчаливое соглашение между базилевсами и полководцами. «Кесарево – кесарю, а нечто – и мне», – мог бы сказать Велизарий, его предшественники, его преемники.

Базилевсы могли контролировать полководцев. В войсках базилевсы содержали соглядатаев; богатство владык и городов, против которых воевали, не таилось, его можно было сосчитать заранее. В

Карфагене вандальском Велизарий схватил в свою пользу в металле и ценностях до ста тысяч фунтов золота – сумма по тому времени умопомрачительная. Базилевс Анастасий, прославленный бережливостью, оставил своим преемникам всего в три раза больше. Его триста тысяч вспоминались как богатство имперской казны, впоследствии не достигнутое ни одним из базилевсов.

С хваткой ловкой, бывалой хозяйки Антонина распорядилась в Неаполе, командуя старыми ипаспистами, которые повиновались ей с не меньшей охотой, чем самому Велизарю.

В пользу Велизария уже были освобождены от имущества десятки богатых владельцев Неаполя и захвачено городское казнохранилище. Во двор сената и в соседние дворы, соединенные в одно целое проломами в стенах, загнали без разбора несколько тысяч неаполитанцев, объявленных рабами полководца.

– Каллигон! Каллигон! – позвала Антонина.

Человек, которого Индульф сразу не заметил, отозвался:

– Э-гое, владычица!

Каллигон диктовал писцу опись тюков и ящиков. Писец, присев, держал на колене лист папируса. Несколько человек из личной прислуги жены полководца краской наносили на тюки эллинские буквы-номера.

Почтительно, но вместе с тем и вольно Каллигон поднял руку с обращенной к владычице ладонью. Жест, обозначавший просьбу чуть повременить. Почти сейчас же, бросая на ходу последние указания, Каллигон подошел к Антонине.

На Индульфа взглянуло безбородое лицо. Вялая кожа с мягкими углами опущенного рта, поджатые губы, морщины на подбородке, не нуждавшемся в бритве, и темные живые быстрые глаза человека, привыкшего к действию, производили странное впечатление.

– Проводи меня, Каллигон, – значительно приказала Антонина.

За дверью было темно, совсем темно, как ночью.

– Сюда! – позвала Индульфа Антонина. Голос ее сделался низким, напряженным. – Сюда, сюда, – прозвучало торопливое повторение. Антонина тянула Индульфа за руку. Коленом он почувствовал край мягкого ложа. Наверное, то самое, которое он видел в шатре полководца.

– Я заметила тебя еще в Палатии, но ты поспешил надеть глупостей...

Руки Антонины легли на плечи Индульфа.

– Прочь твой меч. Брось акинак!.. Вот так!.. Скинь шлем. Ты как кентавр! Обними меня... Нет, ты сделал мне больно твоими латами...

Антонина успела переселиться в Неаполь, успела отдать приказание поскорее исправить водопровод, дабы пользоваться банями.

Охраняя опочивальню повелительницы, Каллигон, человек быстрой мысли, успел выслать передовые посты для безопасности доверенной ему тайны. Две черные рабыни скользнули вправо, эллинка и армянка – налево. А сам он остался под дверью. Уж он-то сумеет задержать и Велизария.

Собственный дом Антонины был ей предан безраздельно. Недавно преданность была дополнительно укреплена.

Перед ливийским походом Велизарий сделался крестным отцом молодого ипасписта-фракийца, возвращенного в лоно кафолической церкви из нечестивой секты евномиян. Следуя христианским правилам, Антонина приблизила к себе молодого человека, как сына. А затем сошлась с ним еще теснее. Рабы и рабыни были, естественно, посвящены в тайну.

В одном из подземных казнохранилищ завоеванного Карфагена Велизарий почти застал любовников. Благодаря быстрому уму и алмазной выдержке Антонина отвела глаза Велизария, уверив, что Феодосий помогает ей скрыть от базилевса часть вандальской казны. Действительно, крестник Велизария сумел, пользуясь милостью Антонины, которая распорядилась грабежом, захватить в свою личную пользу несколько кентинариев золота.

Антонина уверенно опиралась на Каллигона. Евнух холодным умом лучше, чем кто-либо, понимал нужды супругов. Пусть властительница развлекается. Надоевший муж получит часть жара, оставшегося от любовника.

В Сицилии едва не произошла катастрофа. Рабыня-эллинка Македония, жестоко высеченная за какую-то провинность, намекнула Велизарию на некую тайну. Но перед разоблачением потребовала гарантии личной безопасности. Взволнованный полководец поклялся на распятии и Евангелии, что закладывает Македонии вечное блаженство своей души. Рабыня пригласила себе на помощь двух рабов. Велизарий узнал достаточно, чтобы просить своего друга Константина Фракийца убить Феодосия.

Константин отказался. По его словам, в таких случаях если кого и следует убивать, то лишь женщину. По мнению Каллигона, столь правильное заключение было достойно свободного разума евнуха, а не отягченного низостями ума мужчины. В каждом грехе повинно, прежде всего, так называемое слабое создание. Еще Геродот говорил: «Никакая женщина не бывает похищена, если сама того не захочет».

Что же касается Антонины и Велизария, то Каллигон был уверен в ничтожестве второго. Именно ему, Каллигону, ревнивый глупец – было что ревновать! – поручил истребить Феодосия после отказа Константина. Каллигон сумел так настроить крестника полководца, что тот немедленно сел на корабль и отплыл из Сиракуз неизвестно куда.

А-а! Кроме безумной Македонии, весь дом Антонины – свидетельствовал за нее. Не успели примирившиеся супруги покинуть Сиракузы, как муж выдал оскорбленной жене Македонию и двух других безумцев.

Кто-то идет! Каллигон пропустил нескольких ипаспистов, конвоировавших носильщиков с добычей.

Да, безумцев... Ведь у Антонины в жилах не кровь, а смесь вина и желчи. Такие особенно искусно пылки в любви. Велизарий не мог обойтись без Антонины. После разоблачений Македонии Каллигон подсовывал Велизарию особые снадобья, зажигающие кровь. Но такие женщины, как Антонина, пылки и в мести. У Македонии и обоих рабов в присутствии Антонины вырезали лживые, по мнению Каллигона, глупые языки, а самих разрубили на мелкие куски и побросали в залив Августа. Красивое место там на берегу...

Э, все это ничтожества, рабы блуда, глупцы. Теперь Антонина нашла новую игрушку. А сколько их было до Феодосия! Эта игрушка хороша, слов нет, для того, кто осужден жить в ярме страстей. Воистину Христос не воли требовал от людей, а лишь смирения. Пусть так будет...

Но как долго эти голубки воркуют в сумраке гнездышка. Каллигон-то знал, почему Антонина искала темноты. Евнуху была известна каждая складка хорошо пожившего тела. Тело не лицо, на которое опытные руки умеют надеть маску притираний. Глупо быть мужчиной...

9

Медные голоса длинных труб, которые помогают начальникам конницы управлять строем, звучали над Неаполем.

Чередование протяжно-длинных и коротких, частых звуков призывало к общему сбору. Бывалые кони раньше людей ловили призыв, пробивавшийся сквозь гомон разоренного города. Послушные приказу, они настораживали уши и подводили под круп задние ноги в ожидании воли всадника.

Грабеж закончился. В опустошенных владеньях, по обломкам непригодной солдатам походя изломанной мебели, по черепкам перебитой посуды и утвари, по кускам мрамора в залах, атриумах и портиках никому не нужных домов, оскверненных и загаженных, – в этих трупах убитых жилищ еще топтались, еще копались отставшие или особенно жадные одиночки.

Повсюду уже завязывался торг на ходу, как попало. Солдаты обменивались добычей. Ветеран старался поддеть новичка, прельщая его видом медной, но позолоченной чаши, кубка, статуэтки, предлагая красивые, но слишком узкие сапоги.

Кто-то, натянув поверх доспехов дюжины две хитонов, перекинув через плечо женские платья, тоги с широкой каймой, свидетельствующей о сенаторском звании бывшего их владельца, двигался живой кипой товаров. Над лицом, залитым потом, торчал шлем, и охрипший голос предлагал всем желающим обзавестись несравненной одеждой за дешевую цену.

Лагерные торгаши успели побывать в городе, чтобы бросить взгляд на открывшиеся для них возможности. Смелые дельцы – неотъемлемая часть ромейского войска – спешили вкупе сообразить будущие барыши. Члены своеобразной ассоциации пользовались свободным часом для сговора. Взятая добыча велика. Торгаши клялись друг другу святой троицей и спасением души соблюдать договоренные цены – пять оболлов за новый хитон, двенадцать – за две новые тоги... Солдаты задыхаются от добычи, и торг пойдет лишь на медные деньги.

Стоя под портиком сената, Велизарий держал речь к начальникам и солдатам:

– Христос Монократор дал нам победу! Сколь великую славу в веках даровал нам господь. До сего времени во вселенной все до самых даже пределов ее считали неприступным италийский Неаполь. Такое дело совершилось благоволением бога к делам Единственного базилевса Юстиниана. И никоим иным способом или действием, постижимым для ума!

Освободившийся Каллигон выглядывал из дверей сената с некоторым нетерпением. Больше половины добычи уже отвезено в порт и погружено на корабли. Груза оставалось еще на две триремы. Приходится ждать, телеги не могут пробиться через толпу.

У Велизария сильный голос, зычный голос полководца в горле мужчины. Каллигон смотрел на так хорошо знакомый ему затылок в кудрях. Маковка начала просвечивать. Брадобрей говорил, что снадобья плохо помогают. Мазь из толченых ослиных копыт, медвежий жир и растирание щетками задерживают рост лысины, но, увы, волосы уходят, уходят. «Уходят», – усмехнулся Каллигон. Он сам ровесник Велизария, но уже давно лыс. Меньше хлопот. Недаром старые римляне, как и египтяне, брили головы. А плечи у Велизария как у молодого. Надежные устои для сильных рук. С мечом Велизарий собьет любого, он жаден к железу.

И – он кое-чему научился! Знает, что каждое его слово передадут базилевсу. Все – от бога, ничего – о себе. Победили Христос вместе с Юстинианом. Разумно. Недаром Антонина учит его уму-разуму с помощью Прокопия.

– Это – бог! – оказал! – нам! – честь! – выкрикивал Велизарий. – Так будем же милостивы, как христиане, к побежденным. Победитель не продолжает ненависти к врагу за пределами оконченной войны. Убивая неаполитанцев и порабощая их, вы наносите вред себе, ибо отныне эти люди вернулись в материнское лоно империи и суть подданные нашего Величайшего Юстиниана!

Краем глаза Каллигон заметил Антонину. Искусно поднятые волосы образовывали подобие шлема, отливавшего бронзой от золотого порошка, которым были напудрены. Гладкое лицо было мраморно-бело, но с нежным оттенком розового, будто статуя ожила.

Слушает, как муж читает урок. «А где прекрасный кентавр?» – подумал Каллигон. Он слышал слова Антонины. Еще больше скосив глаза, евнух заметил и молодого славянина. И так, она не отпустила его, как случилось с некоторыми другими. Будут продолжения. С философским спокойствием Каллигон подумал о предстоящих ему ухищрениях. В лагерях было труднее устраивать дела Антонины, чем в городах.

– ...поэтому более не делайте зла подданным, – донесли до слуха Каллигона слова Велизария. – За вашу храбрость да будет вам наградой все их имущество, а их самих отпустите, не делая разницы между мужчиной, женщиной, ребенком...

Рядом с Велизарием стоял ритор Прокопий. Его сухощавая фигура была столь же обычна Каллигону, как облик Велизария. К этому верному спутнику полководца Каллигон питал нежную слабость, нечто вроде любви. Редкое свойство – Прокопий мыслил, чтобы мыслить, чтобы познавать не только интриги, не только дела, клонящиеся к личному благополучию, но находящиеся выше жизни одного человека. Каллигон возил с собой десятка полтора книг, излюбленное свое достояние, а с Прокопием следовало и более сотни. Только с Прокопием Каллигон мог насладиться обсуждением строфы Еврипида, намеком Софокла или рассуждением Плутарха. Каллигон чувствовал, что из всего войска лишь они двое могли вспомнить, глядя на стены Неаполя, что почти пять столетий тому назад здесь родился, здесь жил Веллей Патеркул, автор краткой «Истории Рима». Кому теперь нужен Патеркул, кроме двух настоящих людей? Друг Каллигона родился в Кесарее. Каллигон верил, что когда-либо этот азиатский город будет прославлен как колыбель Прокопия. Да. Среди двух историков и дюжины книжников...

Но что Велизарий? Он набрал толпы пленных. Сейчас он их выпустит, дабы показать пример.

Конечно, вот этот могучий, как бык, мужчина с толстым затылком, багровым от натуги, воняя потом, приказывает гулким голосом:

– Освободите всех подданных империи!

Тотчас ритор Прокопий изящно взмахнул сухими ладонями – подал знак, и агора огласилась треском рукоплесканий.

Декуриону Стефану улыбнулась Судьба. Его богатый дом был дочиста ограблен ипаспистами, но сам он с семьей и рабами попал в плен к Велизарию, не потерпев особого физического ущерба. Загнанный во двор сената в такую тесноту, что лишившиеся чувств продолжали стоять, как бы плавая, Стефан дожидался освобождения. Он не терял надежды. Воспоминания о длительных беседах с Велизарием утешали Стефана, вбитого в толпу, как клин в пень.

Получив свободу передвижения, Стефан пробился к полководцу, и тот сразу узнал декуриона. Люди нужны, Стефан подходил для Византии, и Велизарий немедля возложил на знатного неаполитанца звание субправителя города в помощь полководцу Геродиану, который оставался в Неаполе и префектом, и начальником гарнизона.

Несколько уцелевших членов совета старейшин осмелились приблизиться к ступеням сената, и Стефан, указывая на одного из них, закричал:

– А! И ты здесь, Асклепидот! Ты бессовестно являешься перед лицом благороднейшего Велизария. Мы спасены лишь им. А ты дерзко смотришь на него, будто бы это не ты совершал ужасное против него и неаполитанцев. Ты отдал за благоволение готов спасение своих сограждан. Ты получил бы немалую награду от варваров, окажись успех на их стороне. И каждого из нас, дававших советы отдать город базилевсу, ты тогда обвинил бы в измене!

Прокопий видел, что человек, осыпаемый опасными обвинениями, оставался спокойным. Рваная тога, растрепанные волосы не могли лишить его чувства собственного достоинства. В любой одежде он не остался бы незамеченным. Таков, значит, ритор Асклепидот, на которого горько жаловался Стефан в шатре Велизария.

Дав Стефану задохнуться, Асклепидот пригласил к вниманию красивым жестом рук. Неаполитанский ритор говорил с улыбкой, от которой его голос звучал особенно легко и ясно:

– Любезный друг Стефан! Не замечая, ты сейчас воздал мне хвалу в тех самых словах, которыми упрекаешь меня и подобных мне в расположении к готам. Только обладающий твердостью характера может быть расположен к повелителю, попавшему в трудное положение. Именно поэтому базилевс найдет во мне столь же твердого стража своей империи, какого имел во мне противника. Тот, кто в силу своей природы имеет чувство верности, не так легко меняется с изменениями Судьбы.

Велизарий и другие начальствующие слушали Асклепидота без нетерпения. Прислушивались и солдаты. Логика неаполитанского ритора находила отзвук. В войске наиболее опасен тот, кто без размышлений изменяет своему знамени.

– А ты, Стефан, – перешел ритор к нападению, – ты, если бы дела пошли не столь удачно, ты был легко склонен принять любые условия и первых встречных. Да, любезный Стефан, мы все знаем таких людей. Неустойчивость убеждений ведет к страху, и такие люди не проявляют верности ни своим друзьям, ни своим знаменам.

Велизарий, очарованный ритором, ничуть не стеснясь, кивал головой. Он – победитель. Свалилась тяжелая ноша сомнений. Глубокие переживания не были свойственны его грубым нервам. Два-три дня, чтобы привести войско в порядок, и он пойдет на Рим, оставив в тылу надежную крепость. Неаполитанцы стали ему безразличны. Вчерашний противник обещает быть другом. Тем лучше. Полководец приветливо махнул рукой Асклепидоту в знак, что не гневается на его прошлую деятельность.

Ритор с достоинством поклонился и отступил. Главное – невозмутимость и покой, как учил Платон. Асклепидот примирился с происшедшим.

В Стефане клокотала злоба. Так же измученный, так же потерявший имущество, как другие неаполитанцы, декурион нашел козлице, на которого, по слову священного писания, можно было возложить грехи всего народа. Он злобно погнался за Асклепидотом. Прокопий слышал яростные выкрики нового субправителя Неаполя:

– Вот он, вот он! Все из-за него! Безбожник, элладик, сатана-соблазнитель! Христиане, бейте его! Насмерть, насмерть!

Голова Асклепидота нырнула в толпе отпущенников Велизария. На этом месте все сгустилось, будто бы образовалась воронка водоворота. Звериное рычание убийц и – ни одного стога. Асклепидот умер, как стоик.

Прокопию вспомнилась женщина-философ Гипатия, убитая три поколения тому назад в Александрии

Нильской по наущению епископа Кирилла.

Говорили, что ее терзали долго. Судьба оказалась более милостивой к неаполитанскому философу: в Неаполе в руках толпы не нашлось острых раковин, которыми добрые александрийцы-кафолики истово содрали живое мясо с костей ученой красавицы.

Радушно, с широкими жестами покровителя и вождя, Велизарий встретил Индульфа, которого подвела к нему Антонина. Храбрый славянин должен войти в дружину телохранителей полководца, в число его ипаспистов. А где друзья Индульфа? Где они, с чьей помощью Индульф прокладывал дорогу в Неаполь? Пусть новый ипаспист Велизария найдет их. Мы любим смелых. Не их удел прозябать в рядах безвестных солдат. Где же Каллигон? Выдать этому воину десять солидов. Столько же дать каждому из его друзей. Включить их в списки ипаспистов. Отныне они члены военной семьи Велизария и, бог даст, навеки.

Каллигон в знак повиновения приложил руку к груди. Велизарий удалился в покой Антонины. Он заслужил отдых. Жена, положив руку на крутое плечо мужа, шла рядом. В ее походке с легким раскачиванием бедер, по моде красавиц Палатия, читалось обещание награды покорителю Неаполя. Каллигон вспомнил строфу из Лукреция:

Очень приятно тебе,
когда на поверхности бурного моря
с берега ты наблюдаешь спокойно
злосчастье другого...

Наглядевшись на быт Палатия и жизнь византийских патрикиев, Каллигон научился ценить сухой берег, на котором его оставил расчет работорговца.

Вечером в одной из укромных комнат неаполитанского сената Прокопий, по привычке не остужать память, записывал события истекшего дня. На льняных фитилях двух масляных ламп держались неподвижные языки пламени, желтого, как воск.

Волоски копоти, попадая на сероватый папирус, прилипали и привычно превращались в тончайшие штрихи, такие же черные, как сок каракатицы-сепии, которой писал историк.

Чем же завершился многотрудный день Неаполя и войска? После взрыва недовольства солдаты уступили уговорам и приказам начальников, настояниям ипаспистов. До драк не дошло.

Неаполитанцы возвращались в свой город голыми, без одной тряпки на теле, как полагается рабам, выставленным на рынок. С грубым остроумием солдаты объяснили пленникам, что Велизарий отдал войску имущество мятежных неаполитанцев. Поэтому победители берут и одежду, щедро оставляя помилованным их собственную шкуру.

Прокопий хотел бы описать никогда не виданное, невероятное зрелище толп нагих мужчин, женщин, детей, мгновенно потерявших в общем несчастье скромность и стыд. Но о таких вещах полагается умалчивать – они понятны без слов. Какое слабое, какое зыбкое существо человек, как легко можно у него все отнять. И как быстро он мирится с несчастьем!

Э, может быть, людской род только и силен своей небрезгливой цепкостью, своим умением липнуть к жизни, как репей к шерсти овцы? А что думает Каллигон?

В походах Прокопий привык жить вместе с домоправителем и доверенным Антонины. Евнух

заботился о риторике не меньше, чем о своей госпоже. Это значило немало. Прокопий всегда имел место для работы. Не было случая, чтобы затерялся его багаж из рукописей и книг.

В ответ на вопрос Каллигон вздернул одно плечо: что ему за дело до человеческой плесени! Он то счастлив, он, евнух, уйдет в смерть без следа. Он смотрел на руку историка, которая превращала гадкую действительность в ее приемлемое подобие.

«Велизарий отдал неаполитанцам женщин и детей и помирил войско с новыми подданными Юстиниана».

Хорошо, умно сказано! Кстати, лагерные торгаши сейчас бродят по темному городу и продают голым жителям за золотые солиды и серебряные миллиарезии одежду, сбытую солдатами за медные оболочки.

Да, и это не забудется... Прокопий писал:

«Так довелось неаполитанцам в течение одного дня сделаться рабами и вернуть себе свободу. И так как их враги не знали их тайных местечек, они, вернувшись в свои дома, вновь приобрели самое ценное из своего имущества, золото, серебро и другое наиболее дорогое, что они, как все осажденные, давно зарыли в землю».

Острый ноготь Каллигона подчеркнул написанное ранее слово «женщины». Склонив голову набок в знак понимания и согласия, историк изобразил над словом крючок, а на поле приписал: «не претерпевших никакого насилия».

Посмотрев один на другого, друзья безмолвно насладились юмором вставки. Между ними такое называлось – кадить дуракам прямо в глаза.

Лицо евнуха сделалось жестким.

– Не забудь написать о судьбе благородных риторов! – сказал он.

Разорвав Асклепидота, неаполитанцы бросились к дому Пастора. Но старый ритор, узнав о падении города, умер сразу от горя. Завладев бездыханным телом, новые подданные великой империи посадили его на кол.

«Вот так и бывает, – думал Каллигон, зная, что его мысли совпадают с мыслями друга. – Следует ли поддаваться жалости к несчастным? Лишь изменится их участь, и они делаются не хуже ли своих вчерашних угнетателей!» Следя за рукой Прокопия, Каллигон утешался тем, что имена и дела двух благородных неаполитанцев сохраняются в истории.

Отдыхая, Прокопий откинулся, и друзья начали беседу почти без слов.

– Тацит, – назвал Каллигон имя историка, беспощадного обличителя императоров, и сжал тонкие, как у кошки, губы. В его глазах Прокопий прочел вопрос: «Когда же ты соберешься рассказать правду о Власти?»

С улыбкой, чуть тронувшей углы рта и глаз, Прокопий твердо постучал пальцами по доске столика. Это обозначало:

«Когда-нибудь, когда-нибудь. Но я это сделаю, сделаю, сделаю...»

Друзей тешила взаимная понятливость, они любили немые беседы, полные значительных мыслей.

Нет власти, происходящей не от бога, сказал Христос. Есть нечто сатанинское даже в скрытом недовольстве установленной властью.

Свободнорожденный ромей Прокопий и вольноотпущенник Каллигон, человек безвестный, за малолетством не запомнивший рода-племени, получали одинаково острое удовольствие от запретного

плода. Но вкушали осторожно. Раб решается зачерпнуть из полного чана лишь столько вина, сколько не отразится на уровне манящей жидкости, и не пьет допьяна.

Во времена империи человек без больших усилий обучался обречь себя на молчание. В том мире бродили своеобразные узники, гордые своим одиночным заключением. Ни друзьям, ни братьям, ни женам они не доверяли. Не столько даже из страха за самих себя. Они полагали, что благородно тащить опасный гнет вольнодумия только на собственных плечах.

Прокопий беседовал с новым ипаспистом. Этот славянин свободно изъяснялся по-эллински. Прокопий любил выпрашивать варваров. Не доверяя людям, оберегая честь ученого, историк хотел вносить в свои книги лишь то, что перепроверялось многими свидетельствами. Сейчас он с радостью еще раз убедился, что правильным было записанное им о славянах, что живут они в демократии. Он верно понял, что многие названия славянских племен не мешают их кровному единству, что анты и славяне суть люди одной крови, одних обычаев.

Индульф ушел, будто бы внятно ответив на все вопросы. Но нечто осталось в самом воздухе, какая-то призрачная тень среди тонких-тонких нитей масляной копоти. Быть может, такие ощущения человеком человека можно сравнить с тем, как животные тонкого обоняния запоминают волнуемый в своей неизвестности новый запах.

– Что-то... – начал Прокопий и не закончил. Что-то или нечто жило в этом славянине. Определение не удавалось.

Прокопий и Каллигон вышли в зал, спустились на агору мимо молчаливых часовых. Прогулка перед сном.

– Он говорит, там, у них, и звезды другие, – напомнил Каллигон.

– И жизнь сурова, – добавил Прокопий, – там зимой холодно, как на высоких горах. Снег. Лед держится несколько месяцев. Жизнь их кажется мне трудной и скудной. Люди же там – могучи...

– Да, там женщины рожают сильных мужчин, – согласился Каллигон. – И красивых, – евнух усмехнулся. Ему вспомнилось – прекрасный кентавр.

– Очень далеко, – продолжал Прокопий. – Мне не удалось найти меру даже в днях пути, тем более – в милях. [\[71\]](#)

– Поэтому у них все по-иному.

– Да. Все так сообщают. А! Ведь и они тоже люди, такие же, – с неожиданным, противоречивым для самого себя скептицизмом возразил Прокопий. – Они... – но его изощренный ум оставался бесплодным.

Слов опять не нашлось, а Вдохновенье не приходило.

Мешал страх. Древний, всеобъемлющий римский страх. Через страх воспринималась жизнь. Поэтому именно Платон, столь боящийся перемен и движения, сделался дорог для лучших умов империи. Неподвижность и покой казались единственным, истинным благом для тех, кто боялся прошлого и будущего, богатых и бедных, рабов и свободных у себя дома, варваров – на всех границах и Судьбы – при каждом движении.

Какая-то тень появилась на площади. Приглушенные рыдания приблизились, смолкли. Тень удалялась. Опять слышались всхлипывания. Жертвы Судьбы.

– Не первый раз я слышу, более того, я знаю, – сказал Прокопий, – славяне не признают власти

Судьбы.

– Значит, они умеют без нее обходиться, – согласился Каллигон. – У них слишком холодно. Может быть, Фатум любит только тепло наших морей? Любит только нас? – и Каллигон опять, но по-иному усмехнулся. Он не ждал ответа.

Глава 13

Вторжение

Травой оброс там шлем
косматый,
И старый череп тлеет в нем.

Пушкин

1

Вдали, за самой широкой рекой из всех, встреченных на пути от Роси, берег громоздился скалистыми кручами. Кустарники, цепляясь за дикие обрывы, казались издали пятнистыми лохмотьями одежды, прорванной жесткими костями старой земли.

На кручах – стены. Их длинные ступени, отходя в заречье, смыкаются в многоугольник. Даже отсюда видно – высоки они. Над стенами пучатся башни, будто исполинские ладони с обрубленными пальцами.

Так вот какова Дунай-река, кон-граница прославленной империи. Вот каковы ромейские крепости, охрана границы.

Велика река, велика. Ветерок тянет, но жарко. Ратибор сдвинул на затылок кожаную шапку.

Донесся звук, далекий и знакомый. Бьет колокол, как на кораблях ромейских купцов. Нет на реке кораблей. Колокол звонил в крепости, на том берегу.

Бывалый конь сам себе выбирал дорогу в пойме реки. Дымом взлетали потревоженные комары. Кусты с громким шелестом струились по ногам всадника. Берег отлого опускался.

Чуть захрапев, конь остановился. Ратибор увидел: из черных, изъеденных ржавчиной поножей торчали желто-серые кости голеней. В проломанном шлеме остался отвалившийся череп. Через ребра скелета проросли лозы. Черви источили древки копий, с которых наконечники отпали, подобно гнилым плодам. Щит покрылся опухольями мха. В кусках трухлявого железа с трудом угадывалось, что из него ковали.

Много, много останков встретилось россичам на пути к ромейской границе. Что кости! Находились бывшие грады, былые станы, окопанные расползшимися рвами, завалившиеся колодцы, черные камни очагов, гряды пепла и углей, окаменевших от дождей и солнечного жара.

В начале пути росское войско двигалось границей лесов. На восьмой день переправлялись через Буг. За Бугом землю прорезали долины, вздыбили холмы. Чернолесные пущи с колючим подлеском были проходимы только для кабанов и волков.

Потом одолели Днестр. Отсюда потянулись еще более изрезанные земли, выше сделались холмы и пригорья, а солнце заметно быстрее западало за горами, и поспешнее, чем на Роси, таяли светлые сумерки.

Шли на юг да на юг. Сберегая коней, не торопились ничуть, и всего-то за одну луну проделали весь поход от дома до ромейской границы.

Помнил Ратибор, как два десятка лет тому назад степи за Росью обманчиво мнились ему беспредельностью. Однако же ромеи живут близко. Для того земля велика, кто векует жизнь сиднем под своим градом.

Ратибор потрепал коня по шее, и тот пустился дальше на запах речной воды. Внимание всадника привлекли низкие сваи, трухлявые, как осенний гриб, и истлевший челн. Видно, здесь была в старину переправа.

За ивняком серый налет ила покрывала сетка трещин с застывшими отпечатками птичьих и звериных лап. Тощая осока и лопушистая мать-и-мачеха сказали о бесплодии песчаной отмели, спрятанной под тонкой рубашкой наносного ила. На речном урезе течения не было. Чую копытом надежную опору, конь, привычный к водопою, смело пошел в воду.

Пологий, пойменный берег мелок, под крутым у ромеев, должно быть, глубоко. Конь медленно сосал через зубы. Ратибор не хотел пить. Он умел на походе, напившись с утра, не ощущать жажды до вечернего привала. Однако и он, нагнувшись, захватил горсть мутной, тепловатой водицы. Первый россич на ромейском кону и первый русский конь вместе пригубили дунайской воды.

Капли падали с мягких конских губ. Капли скатились по жестким усам Ратибора. Пришел час прежде немыслимо-невозможный. Будь все это раньше, и забыл бы себя Ратибор. Теперь он, походный князь русского войска, обязан иметь холодную голову и сердце держать в узде. Ему вспомнился молодой северянин, Индульф-Лютобор, томимый желанием найти невозможное на берегах Теплых морей. Нашел ли свое, или уже давно истлели погребенные под ржавым железом кости, и над ними тоскует птица-душа, не очищенная пламенем костра?

Велик Дунай, велик. И летом он таков, каким бывает на исходе весны Днепр под молодым Княжгородом, поставленным князем Всеславом на высоком берегу устья Роси, чтоб было удобнее россичам владеть Днепром.

Ветер будто бы свежел. Опять послышался не то забытый Ратибором, не то на время прервавшийся звон крепостного колокола. И справа и слева от Ратибора к тихому Дунаю выезжали всадники и поили коней. Совсем рядом зашлепали копыта.

– Эй, князь! Хороша ли твоему вкусу такая вода? – спросил уголический старшой Владан.

– Мутна очень, – ответил Ратибор.

– Кто ж не мутит ее, – ухмыльнулся Владан. – Давно ли мы отучали ромеев лазать в наши угодья!

Поясняя размашистыми жестами, уголич рассказывал. Речь его, хотя и понятная, во многом отличалась от русской. Уголич говорил быстро, как сыпал зерно. Ратибору приходилось ловить смысл. Понял он, что стоял на том берегу ромейский воевода Хилбуд или Хилвуд, который делал много зла славянам, живущим на север от Дуная. И сколько-то лет тому назад войско Хилвуда было охвачено уголичами, тиверцами и другими людьми славянского языка, бито и добыто до последнего воина вместе с самим воеводой на том самом месте, куда Владан привел россичей для переправы.

– С тех лет более нет хода ромеям через Дунай, – с гордостью утверждал Владан.

Хотел Ратибор спросить, почему же уголичи побросали зря много оружия на телах битых ромеев? Не спросил, чтобы не выставиться непониманием. Союзники, а слова лишнего бросать не положено.

На высоких гривах, по пригоркам и на горах, по ущельям и в долинах, вдоль глубоких русел речек и ручьев, да и в сухих раздолах обильны леса, рощи, рощицы.

Не хуже засек охраняла себя изрезанная, рассеченная горбатая земля Приднестровья, прикрытая дубами, серокожими грабами, жесткими буками, остролистыми кленами, серебряными липами, черными вязами, крепким ясенем. В зелень черневых лесов темными отрядами спускался с вершин сосняк. Снизу же плотным подлеском наступали шиповники, розы, орешник. Опушки отгораживались от полян стенами колючего терна.

Вверх да вниз, вниз да вверх... Все-то яры, изволоки, увалы, змеистые тропы. Не пройти, не проехать, не пролезть, не продраться.

Однако же кто поищет, тот найдет в Приднестровье и низкие перевалы, и долины с редколесьем, с длинными пролысынами, где могут пройти и конные, где можно прогнать стада, которые степные люди влекли с собой для мяса, где прокатятся большеколесные телеги.

Особенная здесь земля. Не степь. Не лес. Горы – но и не горы. Приднестровье. Здешние жители, люди славянского языка, зовут свое место Углом.

Степная дорога, подходя к Рось-реке удобным шляхом, на Роси и кончается. После Роси нет таких путей, чтобы можно было кому-либо вольно ходить через землю. Угол же просечен дорогами.

А все же есть и для уголичей скрытые места. В стороне от перевалов и невдали от опасных дорог уголичи знают убежища по ущельям и на высотах, куда конному степняку трудно пробраться. В таких-то углах они и спасались в годы, когда степь была способна залить своей силой весь мир. Потому-то обладатели Приднестровья, может быть, и назвали свою землю Углом, а себя уголичами, или угличами.

После хазарского побоища за два десятка лет Поросье объединилось до самой Припяти. К югу русские владения перевалили через Рось. Из припятских лесов, с земель кислых, тощих, люди тянулись на степной чернозем. Теперь пашут на Турьем урочище, где прежде таился дозор от слабой русской слободки. Ныне дальний дозор перебрался на гору-могилу, откуда молодой Ратибор вместе с орлами караулил хазар.

Уголичи жили по-старому. Слобод не держали, но воины были хорошие и пешком и на конях. Их старшие назывались не князьями, а жупанами.[\[72\]](#)

Когда на уголичей нападали, они, бросая пашни и жилища, прятались по своим углам и в этих узких местах, где малой сплоти можно многое совершить, оборонялись. Пашня привязывала уголичей к долинам, доступным для нашествия. Потому-то они не строили себе хороших домов и градов, а обитали в плохих хижинах, которые не жаль было покидать на разорение.

Спрятав детей, женщин, стариков бессильных, уголичи умели хорошо дослеживать, били исподтишка нападавших на Угол, заманивали в засады. Иной раз удавалось им брать добычи больше, чем они теряли на потравленных полях и в сожженных хижинах.

Между собой рода ссорились из укоренившейся привычки похищать девушек в жены и угонять из молодечества скотину. От врагов прятались порознь. Поэтому уголичи, как понял Ратибор, и жили раздробленно.

О гуннах, с которыми у руссичей были только кровавые встречи, уголичи хранили добрую память – они были союзниками. Владан поминал гуннов как людей справедливых, не утеснявших друзей. Немало коренных ромеев, бежавших из империи, жило среди гуннов. Ныне беглые ромеи ищут убежища и у уголичей. Владан показывал Ратибору красивые серебряные пряжки работы беглых ромейских умельцев. Дед Владана с другими воинами ходил под рукой Аттилы Батюшки на закат солнца в страну Галлию и вернулся с хорошей добычей.

Своим настоящим врагом уголичи считали ромейскую империю. С незапамятных времен ромейское войско грабило славян, ловило для рабства, и редко кому удавалось вырваться из ромейской неволи. Бывало, будто успокоятся ромеи. Нет, опять начинают. А воевода Хилвуд задумал совсем извести славянский род. Много раз он налетал на дрогувичей, верзутичей, веунтичей, чьи земли на полуночь от Дуная. Хилвуд дотла выжигал поля, селения, леса, захватывал скот, многих людей убил и еще больше угнал рабами за Дунай. Даже в Угол ходил злобный Хилвуд и сухим летом пускал пал по горам, чтобы выкурить уголичей из убежищ. Поняв, что нет иного спасения от ромейской беды, многие колена соединились. Общим ополчением они разбили ромейское войско. С той поры ромеи не решаются ходить за Дунай, а уголичи научились от ромеев объединять войско и шарить по чужой земле.

Не бродягами и не чужаками руссичи пришли в Угол. Князь Всеслав, готовя поход, засылал в Угол посыльных с дарами. Уголичи ждали руссичей и сами снарядились войском, избрав походным князем жупаном опытного в набегах Владана.

Двенадцать конных сотен привел Ратибор на Дунай. Двадцать пять сотен осталось со Всеславом для сбережения кона росской земли.

Сбылось предсказание Вещего князя: большому войску – дело большое.

На пустом стрежне выше крепости показались челны. Считал, считал их Ратибор и сбился. Не к чему считать. Уголичи переправятся сами, помогут переправиться и россичам. Уголические гребцы гнали порожние долбленки в помощь войску. Здесь, у крепости, берега удобны для переправы. Челны, однако же, замечал Ратибор, уголичи держат в ином месте. Стало быть, хотя ромеи и не лазают на левый берег, но уголичи их опасаются.

Свою помощь союзники предложили не даром. Запрашивали, торговались, почем за всадника возьмут. Сговорились – за каждых пятерых всадников по ромейской золотой монете, считая сюда же и обратную переправу. Ратибор мог располагать лишь будущей добычей, с россичами не было не только золотой порошинки, но и каких-либо товаров на мену.

Уголичи уверяли, что ромеев в крепости мало и они не осмелятся противодействовать сильному войску: к двенадцати сотням росских воинов прибавились восемнадцать сотен сборного войска уголичей, тиверцев, верзутичей, дрогувичей. Однако же Владан не помешал Ратибору послать десять челнов со стрелками, чтобы прикрыть переправу.

Муравьями забрались на крутой берег передовые россичи и дали дымом условленный сигнал: нет нигде ромейской засады.

Челны, груженные седлами, оружием и одеждой, шли ниткой, не торопясь. Голые всадники плыли с конями, держась по течению выше челнов.

Оставив на левом берегу в начальниках старого Крука, Ратибор плыл впереди, как положено князю.

Слабое течение едва заметно сносило. Умный конь и опытный всадник держали наискось, чтобы пристать точно к намеченному месту. Версты на три хватал в месте переправы Дунай. Потому-то течение здесь слабое, потому-то переправа здесь. Разумно поставили ромеи на своем берегу крепость. Опустившись в воду, Ратибор перестал видеть каменные стены. Думалось ему, как он сам сумел бы выждать, сумел бы не дать вылезти из воды голым, безоружным.

Ратибор приподнимался, оглядываясь на своих. Вся река уже рябила лошадиными и человеческими головами. Днестр – река куда более узкая, раза в три меньше плыть. Однако же пришлось потруднее. Течение там сильное, и челнов не было. Потопили десятка четыре лошадей. Сорок всадников остались об одном коне, пока не добудут себе подставы. Недосчитались и троих людей. Никто не заметил, как они пошли кормить рыб да раков. Молодые. Горды, упрямы. Такой сам будет себя спасать, на помощь же не позовет ни за что. Дескать, скажут потом: ты не смог... Зато здесь Ратибор строго приказал гребцам, чтобы глядели.

Вот и стержень. Течение усилилось, круче вправо взяли и конь и пловец. Однако же далеко быстроте Дуная не только до Днестра, но и до днепровских вод. Говорят, море здесь недалеко. В сотне верст ниже по течению Дунай поворачивает коленом на север, течет вдоль Понта. В низких землях реки медленны.

Надвинулся ромейский берег. Ратибор, различая остатки старых свай, таких же, как и на левом берегу, подумал: «Ужели мост здесь был брошен через реку в три версты шириной?..»

Достав дно копытом, гнедой согнул шею лебедем. Длинная отмель гостеприимно вела на сухое.

На горке дымил сигнальный костерок. Холодная встреча, нет хозяев. Колокол в крепости смолк.

Весело, шумно выплывали россичи. Шумно отфыркивались лошади. Десятки мощных рук выхватывали из реки груженные челны. Непривычные к нагоде, россичи спешили одеться.

Ратибор же все ждал чего-то особенного. Чего? Все было обычное – воздух, земля и вода. Близился вечер.

2

Утром следующего дня на башне крепости подняли два скрещенных копья и белое знамя. Это был вызов на переговоры. Владан ответил тем же, и вскоре на лысой высоте показались три чужих всадника.

Среди россичей еще крепко жил воинский обычай, властвовали слободская строгость и безмолвное подчинение старшим. Хоть и тянулись россичи, как к чуду, поглядеть на первых воинов-ромеев, но в молчании дали им широкую улицу. Глазами их щупали цепко, не хуже пальцев. Оценивали лошадей, тяжелых, толстошеих и большеголовых, с длинной шерстью на бабках. Одеты в боевые доспехи, ромеи сидели глубоко и прочно, длинно опустив стремянные путлища. Оружия с собой ромеи не взяли.

Удивляясь себе, Малх искал под шлемами черты знакомых лиц. Все трое ромейских посланников были людьми немолодыми. Не служил ли Малх с кем-либо из них в легионах империи? Праздная мысль, праздное чувство человека, вернувшегося почти через два десятка лет.

Не будь встреч с купцами на Торжке-острове, Малх забыл бы и ромейскую речь. Недаром столько раз осыпались листья с россских лесов. Кому расти, кому стариться. Малх выкунел, как зимний заяц. Голова Малха бела, зато разросшиеся брови черны, и усы, отпущенные по-росски, не совсем побелели.

Много досады Малх доставил ромейским купцам. Прижившись среди россичей, бывший подданный империи вмешивался в торги, объясняя россичам истинные цены на соль и другие товары ромеев. Купцы грозились более не подниматься по Днепру, а кончали неизбежным примирением с упрямством славян.

Ромейский начальник не узнал в Малхе беглого подданного. Зброшенный на край империи, комес начальствовал над четырьмя сотнями пехоты и тремя сотнями конников. В их разноплеменном составе были подданные, набранные среди нищего населения горных местностей империи, откуда при всем усилии сборщиков не поступали налоги. Были италийские военнопленные и доживали свой век несколько десятков готы, взятых в Неаполе, были персы. Эти тоже предпочли служить базилевсу с мечом в руке, а не в ошейнике пешенного серва. На всех них империя могла рассчитывать, ибо им некуда было деваться. Солдаты третьего разбора. По численности их едва хватало, чтобы занять стены величественной крепости.

Еще вчера, сосчитав переправлявшихся варваров, комес отправил гонцов. О вторжении узнает Асбад, который стоит с шестью тысячами конницы в крепости Тзуруле, защищая фракийскую низменность. Будет предупрежден и патрикий Кирилл в Юстинианополе, где помещается префектура Фракии.

Письменные указания, которыми были надежно обеспечены крепости империи, предусматривали все случаи. Силы варваров превышали силы гарнизона. Комес был обязан сохранить крепость и завязать переговоры, дабы выиграть время и склонить варваров к примирению.

Сам комес успел одичать на границе. Когда-то жизнь улыбалась Рикиле Павлу. Однако же положение, сочтенное комесом только началом карьеры, оказалось венцом успехов. Уволенный от палатийской службы, Рикила был впоследствии «осчастливлен» могущественным Иоанном Каппадокийцем. Восстановленный в званиях и должностях, Носорог посодействовал назначению Рикилы на край вселенной.

– Ты же изучил славян, мой любезнейший дурак, – грубо шутил светлейший, – пусть твой опыт будет полезен Божественному. Отныне ты страж империи. Хорошая крепость Скифиас тебе подходит, как Юстиниану диадема. Ты увидишь там, поблизости, твоих старых знакомцев.

Но и это было благодеянием для человека, заподозренного в недостаточной любви к базилевсу, и кем? Самим Единственным. Рикиле оставалось либо просить милостыню, либо наняться в солдаты. Что еще он умел делать, кроме службы в войске?

Носорог изрядно ощипывал бывшего начальника славянской схолы. Ежегодно Рикила посылал префекту донатии – подарки.

Жалованье и припасы прибывали с опозданием, зачастую в меньших суммах и количествах, чем полагалось. Солдаты отказывались повиноваться, лентяйничали. Ржавчина покрывала оружие. Окрестности были безлюдны, не было возможного, как в иных местах, дохода: хоть что-то да выжать из населения. Единственным подспорьем служила рыбная ловля. Охота была опасна, задунайские славяне, переправляясь малыми партиями, превращали охотников в дичь.

– Зачем вы пришли? – бодрясь, грозно восклицал комес. – Вы нарушили священную границу империи. На вас падет меч возмездия.

– Он грозит нам без смысла, – переводил Малх. – У него нет войска, чтобы напасть на нас. Он бессилен.

Ратибор глядел в тусклые глаза Рикилы. Выкрики комеса звучали напряженно, искусственно.

Сокращая численность войска, Юстиниан говорил:

– Нам выгоднее откупиться от варваров, выгоднее золотом вносить рознь среди них, чем содержать армии, отрывая подданных от уплаты налогов.

Следуя палатийским указаниям, Рикила перешел к соблазнам:

– Вернитесь к себе, откуда вы пришли. Тогда вы получите подарок. Располагайтесь здесь как друзья. Через десять дней придут люди, уполномоченные вас одарить. Десять дней, – для убедительности Рикила руками обозначил десятикратный восход и заход солнца.

– А что он нам подарит? – спросил Ратибор.

В длинной речи комес славил империю, втолковывая варварам достоинства мирных с ней отношений. Славяне – хорошие воины, они могут поступить на службу в войске, сражаться под начальством своих вождей и собрать большую добычу, к тому же получая жалованье золотом. Рикила соглашался, что славянам ныне удастся проникнуть в глубь империи на несколько переходов. Но потом, увещевал он, на них нападет непобедимое войско базилевса и все они погибнут.

– Гляди-ка, – тихо сказал Ратибору Крук, – глаза у ромея какие. Пустые, будто птичьи. Душа-то у него есть ли?

– Подождите только десять дней, – продолжал убеждать Рикила. – Я могу обещать вам задаток, по золотой монете на десять человек.

– Мы больше должны платить за переправу, – сказал Ратибор.

– Он торгуется, – заметил Малх, которому надоело переводить пустые речи Рикилы. – Ему сыпать слова, что ветру носить полову.

Заметив, что толмач славян больше не обращает внимания на его слова, комес отправился в свою крепость. Там он составит акт о переговорах с варварами, которые в количестве трех тысяч, все конные, нарушили границу. Ситовник подпишут свидетели – провожатые комеса, а нотариий подтвердит истину и заверит кресты, которые поставят неграмотные солдаты. С подобным свидетельством об исполнении обязанностей Рикила будет более спокоен. Сидя в каменном мешке, как на острове, Рикила отвык думать о войне. Стены были так высоки и так прочны, что крепость не боялась штурма. Опасностью грозила бы осада измором. До сих пор задунайские славяне не обнаруживали склонности подвергать имперские крепости обложению. В первые годы, когда мысль комеса еще бодрствовала, он сумел найти спасительное решение: не следовало раздражать варваров, мешая их переправам, когда их было много, и не нужно

стараться догонять мелкие шайки.

Этим летом Рикила был поглощен особой заботой. С весенним транспортом продовольствия в крепость Скифиас пришли несколько ипаспистов префекта Палатия Иоанна Каппадокийца. Звезда всесильного Носорога закатилась навеки, его ближних телохранителей разослали солдатами в пограничные крепости.

Пользуясь наивностью единственной дочери Иоанна, рассказывали ссыльные, жена Велизария Антонина нашептала девушке о намерении обиженного полководца сбросить базилевса. Ему нужна помощь префекта, к которому не рискуют обратиться прямо. Иоанн отправился ночью для тайного свидания с Антониной на пригородную виллу. Там он увлекся, наговорил лишнего, не подозревая, что Антонина спрятала за живой изгородью уши Палатия, самого Великого Спафария Коллоподия и Маркела, комеса экскубиторов. Они попытались тут же схватить Иоанна, но телохранители отбили своего хозяина.

Ссыльные уверяли Рикилу, что Носорог сумел бы объясниться и получить прощение, сразу бросившись к ногам базилевса. Но он предпочел убежище в храме Богоматери Влахернской. Юстиниан, как видно, не захотел зла Носорогу. Ему сохранили жизнь и постригли в монахи. При пострижении на него случайно надели ризу священника по имени Август. Так чудесно исполнилась воля Судьбы, известное всем пророчество о мантии империи, которая ожидала Иоанна. Все громадные богатства Носорога схватила Палатийская казна. Его дочь скитается без пристанища на улицах Византии...

Рикила, некогда достаточно сведущий в хитросплетениях и нравах Палатия, понял тайные силы, ускользнувшие от разума грубых солдат. Носорог совмещал подлинную преданность и любовь к Юстиниану с верой в уготованный для него, Иоанна, пурпур базилевсов. Юстиниан это знал, но не боялся Носорога. Детей у Юстиниана не было, преемника он не указывал и – как ощущал Рикила – считал себя почти бессмертным. Юстин, дядя Юстиниана, был в свое время таким же префектом Палатия, как Носорог. Юстин сумел схватить диадему после смерти бездетного Анастасия. Последовав такому примеру, Носорог не изменил бы даже памяти Юстиниана.

Тут другое, говорил себе Рикила. Антонина, подружка базилиссы... Феодора не любила Каппадокийца из ревности к его влиянию на Юстиниана. Каппадокиец платил ей тем же. Говорили, что Феодора нашла какого-то племянника, ввела его в Палатий. И конечно, после смерти базилевса его вдова и соправительница встретила бы в Каппадокийце сильного противника в споре за диадему.

Не будь пророчества, Феодоре не удалось бы поманить Иоанна кончиком пурпура. А так, она знала, сытый тигр все же не откажется понюхать приманку, хоть и не будет хватать ее.

Почему же Иоанн, не бросившись к базилевсу, сам захлопнул западню? Глупцы легко судят после развязки. Каппадокиец знал бессилие слов, обращенных к Юстиниану, и спрятался, уповая на время. На него легла тень, как на Велизария в Италии, когда полководец, искренне отказавшись от предложенной ему готами короны, все же лишился доверия Юстиниана. Базилевс не поверил в измену Каппадокийца, иначе приказал бы его убить. Но и держать при себе более не хотел. Чтобы выполнить волю Судьбы, на Носорога надели рясу священника именем Августа. А чтобы ее надеть, бывшего префекта постригли в монахи. Предсказание сбылось, и теперь об Иоанне могли забыть все.

Лишившись единственного покровителя, Рикила понимал, что в Палатии найдется покупатель должности пограничного комеса. Ведь и Рикила ехал сюда с некоторыми надеждами, не зная, что здесь просто тюрьма в пустыне. Ни одной женщины. Содержатели воинских лупанаров привозят старух и лишь однажды в год... Нет даже настоящей бани! Будь она, что толку. Крепость постоянно страдает от недостатка дров: лес далек и рубка опасна.

«Скоро мне придется счесть себя счастливым, – думал Рикила, – если новый комес даст мне центурию

или хотя бы оставит солдатом. Иначе придется, не дай того, праведный бог, просить милостыню, как дочери Носорога. Вот награда за службу империи. Будь проклята жизнь!..»

Жизнь была прекрасна даже моросью, которой встречали славян первые горы имперской земли. Дорога забрасывала петлю за петлей, все круче и круче вбирая в себя подъем.

Кто постарался обить скальные выступы, чтобы врезать в горбатую землю удобную тропу? Когда над нею трудились?

Колючая ежевика выбрасывалась на дорогу зелеными плетями. В выбоинах пытались утвердиться молодые деревца. Вместо старых, обрубленных ветвей дерева успели вытянуть на просеку новые, и всадник, гордясь ловкостью, ссекал преграду метким ударом.

Вот пенек, размочаленный колесом... Но нигде не встречался конский навоз, без остатка унесенный дождями: редко пользовались этой дорогой. Зато в изобилии видны следы кабанов и оленей. Тропы диких зверей, вырываясь из чащи, свободно следовали по людской тропе.

Первый город нашелся в равнине. Издали он казался рощей, потом славянские воины увидели жалкую картину разрушения. Стена иззубрилась проломами, и осыпавшиеся камни завалили заболоченный ров. Правильные линии зарослей на пустырях подсказывали места бывших построек. Кое-где сохранились дома, перекрытые каменными сводами. В зияющие окна влетали птицы. На пороге одной из развалин грелась черная гадюка.

Около сухой цистерны Ратибора смело встретили несколько мужчин и женщин. Своим видом они напомнили князю захудалых припятичей, впервые вылезших на Рось из своих болот при слухе об избиении степняков. Нет, свои были хоть и нищего обличья, но крепче телом и вольнее видом.

Славянские костры подманили оскуделых хозяев бывшего города надеждой на подаяние. Жалкие побирушки нанесли первый удар по сказаниям о богатстве ромеев и подтвердили слова уголичей, что надобно за добычей ходить далеко в имперскую землю.

Малх узнал историю города. Здесь шестнадцать поколений тому назад были посажены на землю легионеры Траяна. Новый Город, названный Неаполем Мизийским, быстро разбогател, оброс пригородами. Трижды переносили городскую стену. Передовые отряды гуннов ограбили жителей. Войдя в гуннские владения, город быстро оправился. Потомки вспоминали о временах Баламира, Ругилы и Аттилы как о золотом веке. Потом империя вновь овладела Мизией. Город грабили варвары, грабили свои войска, ходившие по имперской дороге. Жители разбежались. Иные оставались в неразумной надежде воспользоваться брошенным имуществом. На них накидывались сборщики налогов, требуя уплаты и за себя, и за ушедших, умерших, уведенных варварами.

Селению, в которое превратился город, последний удар нанес нынешний базилевс. Для работы на строительстве крепостей людей ловили, как зверей. Оставшимся жителям объявили: сегодня базилевс требует от подданных самопожертвования, за что они будут вознаграждены вечной безопасностью своего бытия. Крепости построены. Варвары нападают пуще прежнего. Население исчезло совсем.

Стройная девушка просила Малха, чтобы ее взяли с собой. Она будет хорошей служанкой, она сильна. Все, все – лишь бы не оставаться в проклятой богом пустыне. О чем-то далеком и забытом говорили Ратибору смуглая кожа и черные глаза в длинных ресницах. Князь не мог вспомнить. Тень легла на миг и исчезла.

Слушая рассказ друга о горькой доле ромейских последышей, Ратибор пожалел девушку:

– Пусть ждет, когда мы вернемся, – и, щедрый, позволил: – а других, кто с ней, нам тоже дурно будет отогнать.

Схватившись за стремя, девушка потянулась к Ратибору. Малх перевел князю слова страстной благодарности: молодая она, рождена через три лета после того, как базилевс избил в столице народ за восстание. Честная она, и мужа нет у нее. И обещается тебя ждать хоть до самой смерти.

Шли крепко, шли осторожно. Верст на восемь, на десять уходила передовая сотня, выпуская от себя дозоры – глаза и уши войска. Сзади главная сила охраняла себя подвижной заставой. Связь вперед и назад держали цепочки, чтобы знать нужное, чтобы главная сила не надавила на передовую заставу, чтобы тыльная не наваливалась на хвост главных сил.

На козых плащах, вывернутых шерстью вверх, дождевая пыль копилась крупными каплями. Передовой отряд приближался к перевалу. Тучи порвались гнилой пестрядью, выглянуло солнце, и передовая сотня наткнулась на преграду.

Горы замыкали седло перевала лесистыми мохнатыми хребтами. Между ними две крепости встали на страже прохода. Одна большая, другая малая и между ними – долинка шириной не более убойного полета стрелы. Разумные умельцы замкнули перевал с хорошим знанием воинского дела.

Жупан Владан удивился:

– Когда я здесь ходил, не было стен.

По сравнению с замшелой громадой на дунайском берегу эти крепости были совсем свежи. Видно, камень брали на месте – горные склоны темнели выемками недавних ломок. На горах зияли лысины вырубок, от которых вниз уходили просеки для скатывания бревен.

Здесь не пройдешь. Крепость, рожденная горами, давила росскую вольность. Ратибор вспомнил ненависть степняков к укреплениям, разделил их злое чувство, но испытал и уважение к создателям крепости.

Ни души около обеих твердынь. Близился заход солнца, и ромеи втянулись за стены, как улитка.

Короткой ночью россичи и уголичи шарили около крепости. Рва здесь не было, скалы выходили наружу, едва прикрытые осыпями и тощей почвой. Между обеими крепостями не пройти и ночью. Ромеи запалили сильные факелы.

Ромейская волчишня тревожилась. Слышались голоса, топот на стенах. С башен кидали факелы, но они быстро гасли в лужах, оставленных дождем. Перед рассветом в большей крепости ясно и спокойно зазвучала бронзовая доска.

Комес Гераклед жарко молился, припадая лбом к шероховатой плите пола. Не было времени гладко обтесать камень.

Истовый кафолик, Гераклед выдвинулся на службе в войсках, подчиненных антиохийскому патриарху Ефрему. Святитель Ефрем искоренял в Сирии ересь монофизитствующих. Более двух мириадов монахов-схизматиков, изгнанных и бежавших из разоренных кафоликами монастырей, собралось в Теллском монастыре. Когда легион под командованием брата патриарха приблизился к необозримым рядам черноризцев, солдаты отступили, приняв смертных за исполинов. Один Гераклед, повторяя догмат истинной веры как боевой клич, бросился на монахов и убивал еретиков до изнеможения. Его пример не

увлек оробевший легион. Однако полководец отличил храброго борца за истину христианского вероисповедания

Гераклед получил командование. Города и городки Сирии узнали имя благочестивого комеса. Ведомый истинным богом, Гераклед опустошил окрестности Теллы, разыскивал схизматиков в горах и в недоступных, как прежде считалось, убежищах по Евфрату.

Исполняя волю святителя Ефрема, Гераклед погнал еретиков от города Апамеи к границам сарацинов. Стада нечестивцев падалю устлали дороги, но все же Гераклед продал сарацинам три мириада мужчин, полтора мириада женщин, сколько-то детей. Их не удосужились посчитать. Еретик несравненно хуже язычника. Идолопоклонники находятся вне церкви, еретики же хотят разрушить христианскую общность изнутри. Они – проказа. Быть рабом язычника еще слишком хорошая участь для схизматика.

Божественный Юстиниан узнал имя Геракледа. Воин во имя Христа был послан на северную границу империи для укрощения варваров. В дальнейшем Геракледу было обещано командование войсками всей Фракии.

Гераклед, задержав посольных Рикилы Павла, погнал в Тзуруле и Юстинианополь собственных гонцов. Предупреждая о вторжении трех тысяч славян, Гераклед обвинял Рикилу в изменническом пропуске варваров через священную границу.

Бог привел славян в руки Геракледа, который уничтожит их, как Самсон филистимлян.

3

Поцеловав крест, поцеловав и руку священника – человека грешного, но наделенного благодатью при посвящении в сан, комес Гераклед первым вышел из храма.

Ранняя утренняя закончилась с восходом солнца. Благовестил колокол. Было тепло и влажно. Белые хлопья тумана цеплялись за горы. Луч солнца лежал на золоченом кресте, поднятом на высоком шесте над узким прямоугольником храма. Храм возводился ранее крепостных стен. Божественный базилевс хотел слышать о благочинии богослужения и в далеких крепостях.

В неподвижном воздухе висели густые, привычно зловонные испарения людей и животных. Под ногами хлюпала грязь – мостовую не успели сделать. Было тесно. Зодчий предлагал строиться более широко, увеличив протяжение стен на полторы стадии. Бог вразумил своего раба – согласись Гераклед, и скифы застали бы крепость недостроенной. «А не был ли зодчий предателем?» – мелькнуло в голове Геракледа, озабоченного вторжением.

Двери военных домов, широкие, как ворота конюшен, были распахнуты. Во дворе из-под котлов, вмазанных в очаги, поднимался густой дым. Несколько босых рабов, единственной одеждой которых служила набедренная повязка, таскали дрова. Брякали ножные цепи.

На высоком пороге двухэтажного лупанара одна женщина искала в волосах другой. На обеих были хитоны одинакового покроя и одинаково грязные. Заметив комеса, женщины замерли, как мыши, которым некуда бежать. Утром, не натертые мелом и тальком, без сажи на бровях и краски на щеках, они казались тем, кем были, – старухами.

В другое время Гераклед приказал бы содержателю солдатского лупанара наказать женщин плетью. Комес не хотел, чтобы блудницы показывались в часы богослужения.

Торговец рабынями Ейриний обладал купленной в Палатии монополией на содержание лупанаров в крепостях империи.

Тога сенатора или золототканый сапожок базилиссы проделывают длинный путь, пока их обрывки превратятся в ветошь, от которой откажется нищий. Каждая лестница ведет вниз. На каждой ступеньке кто-то извлекает выгоду. Какая-нибудь нежная красавица иберийка, предложенная Ейринием утонченному патрикию Помпею через два дня после того, как корабль привез ее с берегов Лазики, где отец, брат или просто людокрад выменял девушку на крепкий меч византийской работы, через двадцать пять лет оказывалась в лупанаре пограничной крепости, продолжая приносить доход хозяину и империи.

Гераклед грешил плотью, как остальные. Главное, главнейшее – чистосердечная исповедь и отпущение грехов. Не грешить есть дьявольское искушение; человек, считающий себя безгрешным, впадает в смертный грех гордости, он подвергает осуждению ближних, рассуждает о делах империи и веры. Так рождаются ереси и действия, опасные для империи. Бог требует не воли, но послушания.

Среди солдат порученных Геракледу манипул были и язычники, что свидетельствовало о небрежении начальствующих. Их надлежит обратить ко Христу. После победы над варварами...

Бог обещал победу. Тревожной ночью Гераклед забылся лишь кратким сном, но имел видение. Белый агнец шел по лугу, обагренному кровавой росой. Знамение победы Креста. Подобное же видение являлось Геракледу в Сирии, или ему так только казалось, он не мог бы уверять, положив руку на Евангелие. Сегодняшнее же было явственно, как день.

Теснота крепостного двора не позволяла построить все манипулы сразу. Медленно, по четыре в ряд,

солдаты вытягивались из-под сводчатой арки единственных ворот. Многие передергивали плечами под кирасой, стараясь утишить зуд от блошиных укусов. В пыли земляных полов насекомые кишели. Э, крепость еще устроится!

Шли бодро. Гераклед был любим солдатами. Он не мучил манипулы военной муштровкой, кормил досыта кашей из дробленого зерна, мясом, хлебом. Влажный воздух крепостного двора наполнился тяжелым запахом чеснока и лука. Все солдаты получали по четыре луковицы и по две головки чеснока в день. Давали и вино.

Имперская армия обладала умением воспитывать ромеев. Это простое чудо случалось одинаково и с подданными и с военнопленными. Отбор происходил естественно и довольно быстро. Кто не мог свыкнуться с воинской неволей или с разлукой, тот бежал, погибая в бегстве, либо в казарме угасал от тоски. В рядах оставались люди, наделенные силой жизни, подобной силе ползучих растений, – умевшие гнуться, извиваться, приспосабливаться.

Перс или воин иного племени из многих, входящих в империю Хосроя, был в прошлом земледельцем, ремесленником или мелким торговцем. Насильственно завербованный, он едва умел держать оружие и становился легкой добычей ромеев при первой неудаче персидской армии. Ромеи, обучая, делали из него солдата.

Сарацин учился в имперских легионах не только ходить пешком. Привыкнув довольствоваться горстью фиников, куском вяленой верблюжатины, не брезгуя и ослиным мясом, сарацин учился есть.

Ему бы набить брюхо, ему бы женщину – ромеи давали солдату и то и другое.

Солдат получал свободу от выбора и сомнений, над ним не тяготела необходимость нечто решать, он не был обязан трудиться, содержать семью и думать о завтрашнем дне. Исполняя несложные обязанности, солдат был защищен от произвола. Тогда как на воле он был горстью пыли в руке начальника, в руке сборщика налогов.

Солдаты Геракледа охотно отправлялись бить варваров. Они чувствовали себя сильными и были не прочь обобрать тела убитых и захватить лагерь.

Гераклед залез на лошадь с высокого камня. Только атлет или варвар мог подняться в седло со стремени под грузом полного вооружения. Манипулы вытекли из ворот, как ручей из болота.

Все пятьдесят обитательниц лупанара провожали солдат. Женщины тоже выстроились, уже набеленные, успев намазать брови смесью сажи и жира, с щеками, покрашенными толченым кирпичом, спрятав седые волосы под яркими повязками. Чудовищные, похожие на Лампий, на Фурий, но желанные благодаря своему искусству, они обменивались с солдатами своеобразными приветствиями:

– Поймай мне скифа!

– Не хочешь ли козла?

– Петушок, не давай себя ощипать!

– Если ты, гусыня, накликаешь беду, я тебя...

– Береги свой клюв, журавль. Не чихай!

– Уж я тебя проклюну, когда вернусь, – огрызнулся длинноносый солдат.

В нише над аркой ворот стояла икона Христа Пантократора. Солдаты-христиане крестились. Язычники приветствовали небесного покровителя империи по-ромейски, взбрасывая правую руку.

Конным варварам негде развернуться, чтобы обхватить манипулы. Они спешатся, и Гераклед раздавит их силой строя. В узости горной дороги варвары не сумеют воспользоваться численностью. По своей нетерпеливости они могут подставить себя под удар. Если же этого не случится – Гераклед просто вытеснит варваров из окрестностей крепости, не дав им возможности проникнуть через перевал. Так или иначе, комес сделает свое.

Небо совсем очистилось. Горный лес крепко пахнул землей, прелым листом, сладостью цветущего боярышника. Перекликались невидимые вороны.

Ряды первой манипулы не помешали Геракледу увидеть скифов. Они ехали шагом, будто бы составляя передовой отряд ромеев. Один из них, повернувшись, помахал рукой.

С Геракледом было три десятка конных – его личная охрана. Комес удержался от желания бросить их на варваров.

Через двадцать стадий Гераклед устроил малый привал. Варвары тоже остановились. Кусок дороги, видимый до поворота, был забит скифской конницей. Организованная сила империи вытесняла орду, как поршень – воду.

Ловко управляя низкорослым конем, старый центурион пробрался лесом к комесу. Гераклед терпел бывалого воина Анфимия, но презирал в нем неудачника. Старик не сумел отличиться в дни восстания Ника и с тех лет прозябает в пограничных войсках. В списках около его имени есть пометка, исключающая возможность повышения.

Комес должен проникнуть в души подчиненных. За кубком вина Гераклед пытался вызвать Анфимия на откровенность.

– Я всегда исполнял долг верноподданного-кафолика, – утверждал центурион.

И ничего другого. Одиннадцатый легион покрыл себя тенью измены. Оставленных из милости на службе империи разбросали по дальним углам.

Недельная щетинка не могла скрыть шрам, превративший верхнюю губу центуриона в подобие заячьей. Центурион говорил со странным свистом, обнажая черные остатки зубов:

– Благороднейший комес, скифы конны, нам их не догнать. Они хитры. Они заманивают нас подальше от крепости. Берегись неожиданного, великолепный.

Старик предлагает вернуться? Отступить перед варварами? Засесть в крепости, как презренный Рикила? Не для этого Геракледу дали больше тысячи солдат. Для удержания крепости хватит трех сотен. Если старый центурион и был солдатом, то он износился. Наверное, и во время восстания Анфимий больше думал о сохранности собственной кожи, чем о защите Божественного от буйства охлоса.

– Вернись. И более не покидай свое место, – приказал комес. Он поручил охрану тыла колонны Анфимию, как самому опытному из подчиненных. Пора выгнать совсем старого труса.

– Я исполню, светлейший, я понял, я напрасно хотел советовать твоей мудрости, больше это не повторится, я укрошу свою глупость, – Анфимий почти уткнулся носом в холку лошади, пытаясь смягчить комеса лестью и смиреньем.

Привычная маска перед высшими. Настолько привычная, что Анфимий не замечал своего унижения.

Пробираясь между деревьями – вся дорога была забита отдыхающими солдатами, – Анфимий прислушивался к вороньему карканью, почти заглушенному гамом солдатских голосов. Как бы хорошо

варвары ни подражали черным птицам, им не обмануть старого солдата.

Анфимий хотел сказать комесу, что славяне кругом, быть может, уже устроили засаду и сзади. Может быть, и сейчас уже нелегко будет пробиться обратно. Помешало смирение: коль начальник недоволен, следует покрепче сжать гортань.

Судьба. Подчиняться дурачку-святоше. Другие были немногим лучше, но все же Рикила из дунайской крепости Скифиас разумнее Геракледа. Жизнь надоедала Анфимию. Он еще носил кожаный пояс с четырьмя десятками статеров. Все, что осталось от былых трех с лишним сотен желтеньких монет с профилями Анастасия, Юстина и Юстиниана, растаяло, как жизнь. Сберечь себя, как некогда сказал Анфимий бывшему центуриону Георгию во время встречи перед боем около Халке, в дни мятежа Ника.

Ныне Анфимий побаивался смерти – придется держать ответ за грехи. Священники обещают рай в награду за искреннее раскаяние. Анфимий исповедовался, получил отпущение грехов и приобщался.

Прежде, когда кровь была горяча, Анфимий не боялся осуждать Власть и позволял себе презирать Божественного базилевса. Это смертный грех. Теперь Анфимий больше думал о возвышенном, об опасности попасть в ад за неисполнение заповедей божьих. Осмотрительность старости мешала Анфимию открыться на исповеди. Священник может отказать в отпущении этого греха. Увы, Анфимий покается в неуважении к земному базилевсу перед престолом небесного. Все остальные грехи очищены святой церковью. Женщины больше не нужны старому центуриону. Чревоугодием он не грешит – здесь нет сочной и сладкой пищи. Он много убивал по приказу святой империи, у него большие заслуги.

Очистив душу немой исповедью, центурион добрался до своего места, когда колонна уже двинулась. Анфимий приказал полусотне солдат, шедших в тылу, примкнуть к колонне. Он нарушил правило, оно сейчас ни к чему. Лучше побережь солдат.

Никто не звал Анфимия Зайцем. Старая и необидная кличка умерла вместе с одиннадцатым легионом. С неба все видно. Анфимий чувствовал, как сверху с сожалением глядят на него старые товарищи. Э, Судьба!..

– Отче наш, ты сущий на небесах, – шепотом молился Анфимий, – да святится имя твое, да будет воля твоя... – А думал о том, что голова колонны уже выходит на широкую поляну, где недавно косили сено для крепости.

Сзади славяне каркали целой стаей ворон. Командуй он варварами, пользуясь извилинами дороги и зарослями, он разрезал б колонну на части. Гераклед совершил тяжелую ошибку, вытянув манипулы. Считая удобные места, считая пропущенные славянами возможности, Анфимий ободрялся, А сейчас комес, без сомнения, назначит большой привал.

Жарко. Под солдатскими доспехами текут ручьи. Анфимию было легче, чем пешим, и все же пот сочился из-под каски. Хотелось снять панцирь и вволю почесать себе спину. С годами обоняние тупеет, но Анфимий слышал, как смердела манипула. Ах, настоящую бы баню, в какой центурион не бывал несколько лет. Мрамор нагрет снизу, ловкий банщик так трет, так выворачивает суставы, что с плеч слетают годы и опять хочется... Грех... Да будет воля твоя, господи!

Солдаты увеличили шаг. Дорога описала последнюю петлю. С края на поляне пучились темно-зеленые стожки сена, которое не успели вывезти. Дорога рассекала покос на почти равные части. Солдаты садились и лежали тесно, как шли. Жужжали мухи, которые стаями провожали колонну от крепости. На солнцепеке для привала место не слишком удобное. Гераклед не решился отвести солдат в тень леса. И он, наверное, понял смысл вороньей переклички.

Анфимий строго прикрикнул на солдата, собиравшегося снять панцирь. Не ожидая разрешения,

солдаты Анфимия ложились на стерню. Кто-то чесал спину товарища палочкой, засунув ее под доспех. Некоторые доставали припасенные куски серого хлеба. Но и эти, жадные – Анфимий знал своих, – жевали неохотно.

Переход занял менее четверти дня. Сюда от крепости считалось сорок три стадии по двести сорок четыре воинских шага. Это почти половина дневного перехода. Анфимий надеялся, что комес пойдет назад после привала. Солдаты шли налегке, без походных запасов продовольствия, без лагерного имущества. Можно назначить дневной переход сто двадцать стадий. К чему? Скифов не догнать, если они этого не хотят. Тысяча легионеров, обозреваемых сразу, даже на отдыхе, – внушительное зрелище.

Тревога Анфимия смягчилась. Он слез с лошади, солдат-коновод принял повод и отпустил подпругу.

– Подтяни сейчас же, – приказал Анфимий шепотом, чтобы не тревожить солдатское воображение.

Нет хуже часов ожидания. Обратная манипула Анфимия пойдет в голове. Тут-то и начнется то, что старые солдаты называли пляской.

Анфимий взял солдатский щит, положенный коноводом, и приставил свой. Получился домик, детский домик. Засунув голову в тень, центурион, умея пользоваться каждым мигом для отдыха, сразу задремал.

Ему показалось – он проснулся тут же, от удара. Выла труба.

– К мечу, к мечу! – закричал Анфимий. Он щурился, ослепленный солнцем. Спина разогнулась с трудом. Стрела со шмелиным гудением так близко прошла у правого уха, что Анфимий дернул головой. Сзади кто-то хрипло крикнул, будто откашливаясь.

Всадники были везде: и на опушке, и на дороге к крепости.

– Тесный строй! Щиты сбей! – командовал Анфимий, приказывая солдатам встать плечо к плечу и сделать стену щитов без разрыва. – Пер-рвая центурия! В поле! Втор-рая! Кр-р-ру-гом! Крайние – пол-оборот!

Манипула построила узкий прямоугольник, изготовившись встретить конницу со всех сторон. Теперь, когда определится направление удара, останется только сдвоить ряды в обеих шеренгах и повернуть кругом одну из центурий. Тогда конницу встретят глубокий строй и четыре залпа дротиков.

До той и до другой опушки будет стадии по три. Бросок конницы преодолет это расстояние за время, в которое человек успеет сделать почти сто шагов. Время, достаточное для любого перестроения. Анфимий отметил ошибку славян – они не сумели броситься сразу на отдыхающие манипулы. И сейчас они чего-то ждут, давая время пехоте освоиться с их видом, успокоиться, прийти в себя. Все это ошибки. День, который казался Анфимию полным угрозы, может кончиться удачей Геракла.

«Та-ах! У-ах-уах!» – труба играла сбор на середину. Между предыдущей манипулой и замыкающей манипулой Анфимия сохранялся походный разрыв – половина стадии, или сто двадцать шагов. Комес собирал манипулы в кулак. Он правильно поступает.

Коновод не подал лошадь. Оглянувшись, Анфимий заметил, что его лошадь лежит на боку. На месте отдыха манипулы осталось и несколько солдат. Славяне стреляли метко. Их конные стрелки наскочили, когда Анфимий еще не опомнился ото сна.

Едва манипула тронулась вслед предыдущей, как Анфимий уловил движение среди славян. Отделившись от обеих опушек, они пошли наискось, сближаясь с дорогой. Остановиться и сбить щиты, чтобы встретить удар? Старый центурион не успел принять решение, как с обеих сторон полетели стрелы. Железные наконечники резко ударяли о доспехи, каски, щиты. Анфимий слышал вскрики раненых. Нет, нужно стараться влить манипулу в общий строй.

– Тесней! Тесней щит! Жми щит! Не разрывай! Сомкни! – покрикивал Анфимий. Он шел между рядами обеих центурий, прикрытый своими. – Ускорь! Чаше! Шире шагать! Шире!

Конные стрелки, конные стрелки. Хуже этого ничего не могло быть. Воинство сатаны. Все победы Велизария, Нарзеса и других полководцев империи в Италии были победами конных стрелков-федератов, то есть гуннов, гепидов, герулов, славян. Что пехота! Тяжелая, панцирная конница готов не могла выстоять против стреляющих всадников.

Славяне ехали на расстоянии трех сотен шагов. Зачем им приближаться? Манипула теряла людей, раненных в лицо, ноги. Скорее, скорее! Манипула передвигалась самым широким шагом: чтобы сравняться с таким, лошадь переходит в рысь. «Хороший был у меня мерин, – помянул своего конька Анфимий. – Да будет воля твоя, Христос, бог мой!»

Старый Заяц хотел одного – вызволить этих дураков, деревенщину, ничтожества, которых он превратил в солдат. Его связывал с манипулой высокий долг начальника. Втащить их в общий строй. Под святую хоругвь.

Оно было близко – широкое полотнище пурпурного цвета с золотым ликом Христа Пантократора, с монограммой «INRI», со святым крестом, заменившим римского орла.

Упал солдат, прикрывавший центуриона слева. В строю образовалась брешь. Тяжелая стрела вонзилась Анфимию в скулу под обводом каски. Удар был так силен, что центурион упал. Опираясь на руки, он хотел подняться. Мелькали быстрые ноги в начищенном железе. Почему он не истратил раньше сорок статов, натерших ему бедра до боли! Анфимий подвел под себя колено, чтобы вскочить. Встал, не понимая, почему так темно. А! Ночной бой! Нет даже звезд. Манипула! Дротики! Слушай! Они видят, как кошки... Первая центурия! Он воевал...

Он опомнился, лежа ничком. Проклятый пояс, проклятое золото неотступно лезло на ум. Цена всей жизни. Цена всей крови. Да святится имя твое...

Собрав растрепанные манипулы, Гераклед ответил стрелами на стрелы.

В каждой манипуле числилось от тридцати до сорока лучников, обученных из числа тех, кому давалось это труднейшее искусство и кто обладал более верным глазом.

Тщетно солдаты состязались со славянами, солдатские стрелы едва летели на триста шагов, славяне же, не сближаясь, участили стрельбу. Сотни стрел били тесный строй ромеев. Железные острия находили лица и шеи, вонзались в колени над наголенниками, в ступни ног. Так не могло длиться.

Гераклед двинул черепаху щитов не к крепости, сделавшейся бесконечно далекой, а к лесу, чтобы, живой силой пробив конницу, найти укрытие за деревьями.

Семь сотен шагов до леса. Десять тысяч стрел. Не остерегаясь ромейских лучников, которые не умели стрелять на ходу, славяне приблизились спереди, сзади. Щелканье тетив, треск, свист стрел. Удары, удары, удары...

Солдаты остановились без команды. Невредимые, так же как и раненые, бросались на землю, прекращая сопротивление. Только бы дышать. Лег и комес Гераклед, ожидая воли победителя.

Узнанный по роскоши доспехов, Гераклед предпочел цепь на руках веревке на шее. По его приказу ночью ворота крепости открылись для россичей и уголичей, наряженных в ромейские доспехи.

Разрушать легко. На следующий день пленники разметали свежие стены большой и малой крепостей

и все внутренние постройки. Дерево сожгли. Камни сбросили в ямы, раскидали подальше.

К вечеру горный проход открылся всем ветрам. Крепость Новеюстиниана прекратила свое недолгое существование.

4

Войско спускалось с южных угорьев Планин.^[73] Лето цвело полной силой деревьев и трав. Лошадям хватало сочных пастбищ, обильных ручьев. Вода в чужой земле была сладка. Чистые ключи выбивались из-под планинских отрогов и, радуясь освобождению от каменного гнета, шипели, искрились встречей с солнцем.

Южный ветер приносил запахи, не слышанные людьми и лошадьми. И время, таинственно устремляясь в лицо всаднику, как ветер, волновало сердца.

Россичи шли теперь одни, союзное войско двигалось смежной дорогой. Тесно вместе трем тысячам всадников и в пути, и у водопоев, и на ночных выпасах. Но и без того пора пришла союзникам разделить войска.

Не русский порядок жил в отрядах уголичей, тиверцев и других североднепровских славян, составивших общее войско под управой Владана. Союзники казались россичам буйными, распущенными, как плохо выезженные лошади. На пути между Дунаем и Планинами случались ссоры. У россичей недосчитались нескольких коней: не уследили за ними по доверчивому незнанию. Уголические старшие руками разводили: дескать, сами лошади отбились. Князь-жупан Владан просил Ратибора не гневаться на малую обиду: так-де у нас и между родами случается.

После взятия крепости Новеюстиниана, не дожидаясь общего дележа по справедливости, союзники хватали себе все, на что успевали первыми наложить руку. Не будь у русских воинов крепкого послушания Ратибору и сотникам, мог бы получиться кровопролитный раздор.

Чтобы россичи по незнанию земли не забрели в тупые долины, Владан дал Ратибору проводников из опытных воинов и постарше возрастом. На них жаловаться не приходилось. А о других что сказать! Уклад слабый у здешних славян, еще плохо люди уделаны. В старое время и на Роси не было порядка, как старшие рассказывали младшим.

Поистине же удивляла империя. Далеко выброшены жадные лапы с железными когтями крепостей, каменные пальцы вцепились в Дунай. Наше все, наше! А где же ромеи, такие люди, каких россичи привыкли встречать на Торжке-острове? Нет их.

За Планинами жили люди славянского языка, общего с уголичами, тиверцами, с речью, понятной и для россичей. Их, как родных, задунайские славяне не разоряли.

Эти поселенцы насчитывали и пять, и шесть, и девять поколений своей оседлости на имперской земле. Одни сами пришли, силой устроились. Другие же – по договору с ромеями. Привлекала земля своим плодородием. Ромейские славяне жили в плохих избах, в скудости, как уголичи. Может быть, они тоже, как уголичи, умели скрывать свое достояние от чужих глаз. Глядя на чужую жизнь с седла, узнаешь лишь то, что тебе люди сами скажут.

Для уголичей ромейские славяне были полезны. Через них шла мена-торговля. От них за Дунаем много знали о случившемся по всей империи. С их слов Владан рассказал Ратибору, где и какие войска стоят во Фракии.

Здесь сеяли полбу, пшеницу, ячмень, овес, разводили большие сады, скот был мелкий, но крепкий. По осени приходили сборщики и собирали дань. Фракийские славяне за золото служили в имперских войсках.

Двуликие люди, будто и своего языка, будто бы и чужие, не вызывали у россичей ни добрых чувств,

ни вражды. Чем-то дурным, унижительным казалось подчинение ромеям, плата подати за землю. Пашня принадлежит тому роду, тому племени, которое ее подняло и с нее кормится. Как же можно кому-то чужому отдавать свой кусок?

У реки, звавшейся Гебром [74], по мысли князь-жупана Владана, союзники поделили между собой Фракию. Россичам выпало идти на восток, в коренные владения ромеев. Уголичи со своими друзьями пойдут на запад, к большому городу Филиппополю. И тем и другим придется повстречаться с имперскими войсками.

Первая победа дала россичам уверенность в своем превосходстве над ромеями, которые даже из лука не умели стрелять. Россичи чувствовали себя вольными наездниками, перед которыми открыто свободное поле. Империя перед ними отступала, сжимаясь, втягиваясь в раковину, как улитка от уголька, поднесенного к глазкам-щупальцам.

Ко времени выхода славян на Гебр об их вторжении было известно уже в Палатии. Знали силы вторгнувшихся, знали и о россичах. Донесения обозначали их как неких варваров, до сего времени еще не нарушавших границы империи. Среди имперских славян сидели лазутчики-соглядатаи, которые умели заслужить плату.

Готовился к действиям западный центр Фракии, старый город Филиппополь. На востоке, доставшемся россичам, в пяти днях пути от Византии, находился главный город Фракии, древнейший Ускудам-Орестия, шестнадцать поколений тому назад получивший новое название по императору Адриану и недавно нареченный Юстинианополем для сохранения в веках имени правящего базилевса.

Префект Фракии, светлейший патрикий Кирилл, собирал к Юстинианополю гарнизоны ближайших крепостей. В крепостях оставляли солдат только для защиты стен. Лазутчики принесли весть о падении Новеюстинианы и гибели «меча веры» Геракледа, в котором Кирилл без обиды видел своего преемника.

В те годы древняя Фракия, разоренная налогами и двумя столетиями нашествий, для удобства управления была поделена на несколько провинций. Земля между Понтом Евксинским и нижним течением Дуная именовалась Скифией. На юг от Скифии до Планинского хребта простиралась Мизия Вторая, ограниченная на западе рекой Оскос-Искир. Еще южнее, между хребтами Планинским и Родопским, находилась провинция Эммонт.

Патрикий Кирилл в дни мятежа Ника был назначен префектом Византии вместо Евдемония. Когда прежние сановники вернулись на свои места, Кирилл получил назначение в Скифию; это была почетная ссылка в страну дикую, покрытую болотами, камышовыми топями, в страну туманов, с тяжелым, нездоровым климатом. Впоследствии Юстиниан пожаловал Кирилла переводом в Мизию Вторую, еще более безлюдную, чем Скифия, тоже нищую. Зато в Мизии было меньше комаров, не мучили влажная мгла и гнилая вода. Затем Кириллу досталась Дакия, самая западная из фракийских провинций. За назначение в Юстинианополь Кирилл поднес казне базилевса донатий в сто двадцать фунтов золота. Столица Фракии была преддверием Византии.

Кирилл состарился среди славян. Они населили Скифию, оседали в Мизии Второй и в Дакии, переливались через Планины в Эммонт. Они проникли в Верхнюю Мизию, Паннонию, Иллирию, Превали. Постепенно славяне оказывались в Дардании, Эпире, Македонии, просачивались в Фессалию, растворяя в себе остатки других племен.

Префект Фракии с насмешкой относился к некоторым риторам, которые декламировали стихи древних поэтов: «О римляне, о эллины!» Где эти эллины и римляне? Где? Сколько их?

Империи нет дела до племени подданного. Славяне возделывают земли, которые без них пустовали. Они по справедливости платят меньше налогов, чем старые подданные: иначе они либо уйдут, либо нападут на империю. Кирилл знал, что задунайские славяне при вторжениях не задевают людей своего языка. Тем лучше для империи.

Выйдя на Гебр, вторгнувшиеся варвары прервали связь между западной и восточной Фракией. И, не получая больше донесений, префект Фракии понимал, что варвары должны целиться на богатые провинции – Европу и Родоп. Горы оставляли конным славянам единственный путь – по имперской дороге на Юстинианополь.

Вызванные Кириллом войска из ближайших крепостей подходили к городу. Слухи о нашествии вызвали бегство состоятельных жителей из окрестностей в город, под защиту стен.

Кирилл собрал достаточные силы, чтобы выйти в поле.

Россичам казалось, что, вступив на имперскую дорогу вниз по Гебру, они вступили также и в сонную пустыню. Но по той же дороге им навстречу шли два неполных легиона – около шести тысяч мечей.

Патрикий Кирилл не спешил. Конные варвары сумеют уйти от пехоты. Присутствие легионов должно связать славян. Для любого войска, даже такого подвижного, каковы варвары, единственной дорогой служит правый берег Гебра. Вскоре, после того как Гебр примет приток Харманли и направится к Юстинианополю, его стеснят горы. Даже если славяне, будучи сейчас налегке, сумеют прорваться мимо легионов, они не посмеют идти дальше: их возвращение станет невозможным.

В четырех переходах к северу от Юстинианополя, на берегу речки Тунджи, стояла сильная крепость Тзуруле. Холмистые луга с отличными пастбищами и сенокосами сделали это место естественной стоянкой фракийской конницы. Тзуруле командовал комес Асбад – военачальник храбрый и опытный, покровительствуемый самим базилевсом.

Чтобы получить лишние деньги и лишнее довольствие, все полководцы и все вожди федератов всегда показывали большее число мечей и коней, чем на самом деле. Кирилл поступал, как другие, ибо нельзя быть белой овцой в стаде черных.

Логофеты оспаривали списки, торговались: так всегда велось в войске империи. Низшие начальники подражали высшим, и даже сам Асбад не мог бы со всей точностью сказать, сколько у него всадников. Не семь тысяч сто двенадцать копий, как стояло в последнем списке. Тысяч шесть, должно быть. В самом худшем случае и при всей ловкости Асбада – пять с половиной тысяч.

«Уже сейчас конница из Тзуруле находится к северо-востоку от варваров. Скоро, по мере передвижения их к Юстинианополю, она окажется в тылу славян, отрежет им путь к отступлению и потеснит к узости Гебра, на мои легионы», – думал патрикий Кирилл.

Более осторожный, чем Гераклед, старый патрикий, дабы не искушать Судьбу преждевременной похвалой, воздержался сообщить в Палатий о ловушке, расставленной славянам.

Кирилл просил префекта Дакии, имевшего резиденцию в Сардике, выслать войско к Филиппополю, дабы оно совместно с городским гарнизоном ударило на восток вдоль Гебра.

Так славянское вторжение обхватывалось с запада, востока и севера. Юг был заперт Родопским хребтом. В двух местах, доступных для конницы, стояли крепости. Да напомнит Божественному труба Победы имя верноподданного патрикия. Кирилл мечтал дожить в Византии остаток своих дней.

Как все военачальники, много общавшиеся с варварами, Кирилл, противно освященной веками римской традиции, научился не обременять солдата на походе переноской тяжести. Вместо семнадцатидневного запаса муки, масла, соли, вина и груза лагерного инструмента легионер нес на себе лишь двухдневный запас хлеба и сыра. Продовольствие, колья для палаток, палатки, лопаты, кирки, топоры, пилы, варочные котлы, таганы – все сопровождало манипулы на телегах, упряженных быками. Солдат, идущий против конных варваров, должен быть свежим для боя.

Выступив утром, Кирилл назначил ночной привал в ста десяти стадиях от Юстинианополя. Легионы достигли места в третью четверть дня. Почти одновременно прибыл обоз: скорость шага латной пехоты немногим превосходила ленивую походку быков. Пища была сварена до сумерек.

Кирилл в красной тунике полководца поверх панциря обходил лагерь. Солдаты докучали высшему начальнику назойливыми жалобами. Это было знакомо, неизбежно, необходимо. Небрежение начальников имело следствием низкую дисциплину. В походе, сознавая свою необходимость, солдаты спешили воспользоваться быстротекущим часом.

Недоплаты. Невыдача замены изношенной одежды. Опять недоплаты. Писцы записывали имена недовольных, содержание жалоб, имена свидетелей. Кирилл обещал исправить несправедливости.

В первой когорте второго легиона Кириллу показали дротики с такими мягкими наконечниками, что острия тупились о дерево щита, вместо того чтобы вонзаться. С грубыми ругательствами солдаты обвиняли начальников в сделке с поставщиками. Кирилл обещал расследовать и отставить легата, командующего когортой. Легионеры не отпустили патрикия, пока он не назначил легатом названного ими центуриона.

В другой когорте патрикию пришлось осматривать сапоги и убедиться в негодности кожи.

Полководец обещал, обещал... Легионеры кричали, проклинали, требовали, торговались.

Тихой и теплой ночью начальник и солдаты спали под звездой. Сон стариков легок. Проверая караулы перед рассветом, Кирилл убедился, что многие спали на посту. И не только опираясь на копья, что было старой, как война, уловкой солдата, но и лежа.

На угрозы штрафом солдаты отвечали с ворчливым хвастовством: они живьем съедят варваров.

Первые сто шестьдесят стадий от Юстинианополя на запад имперская дорога была проложена левым берегом Гебра.

Дневной привал второго дня похода пришелся у моста через Гебр – дорога переходила на правый берег реки. Здесь речная долина, упираясь в лесистые стены гор, своей шириной не превышала пятидесяти стадий.

Перед мостом стоял, слегка покосившись, массивный столб. Фракийская земля настойчиво засасывала тяжелый камень. Но еще различались римские цифры, высеченные два с половиной столетия назад, в правление базилевса Константина: MCCCCXXXIV.

Тысяча пятьсот тридцать четыре стадии от византийского Милия, который стоит на площади Августеи перед зданием сената.

Дорожная застава, устроенная в виде предмостного укрепления, со стенами и с двумя башнями, соединенными аркой, перекинутой через дорогу, была пуста. Селение в двадцать или двадцать пять домов, расположенное недалеко от моста, тоже было брошено.

Центурион, обязанный проверять всех, кто пользуется дорогой, отошел в Юстинианополь при первом известии о варварах. Жители убежали в Юстинианополь или спрятались, где смогли и сумели.

Солдаты увлеклись поисками спрятанного имущества в домах, во дворах, в погребах. Когда буксины призвали к продолжению похода, многие легионеры опоздали встать в ряды. Бежать в латах доступно лишь опытному атлету. Отставшие присоединились к обозу, устраивались на телегах. Начальники закрыли глаза. Легионы шли шумно, весело.

Война есть солдатское счастье.

На расстоянии полуперехода латной пехоты к западу от моста через Гебр и к югу от имперской дороги долина реки была всгорблена невысокой, но крутой горкой, одетой серыми грабами.

С дороги горка эта не была очень заметна. По сравнению с вздыбленным сзади Родопским хребтом, который наваливался дикими кручами и казался совсем близким, возвышение терялось для глаз. Его давила гора, известная под названием Козьей.

Зато с вершинки внучки Родопов как на ладони были и долина Гебра, и вся дорога, и мост с малой крепостцой. В широком ущелье бежала маленькая, но буйно-пенистая речушка. Здесь росское войско нашло себе удобное укрытие и от солнца, и от глаз ромеев.

Далеко перед собой походный князь Ратибор выпустил разьезды. Всадники парами крались по опушкам, прячась в тени, зоркие – свои, ненаемные. Еще до перехода легионами моста росские подвижные заставы обнаружили сначала ромейские дозоры, опередившие легионы на версту, заметили и легионы. Сами же остались невидимы.

Привал на вторую ночь, заранее намеченный Кириллом на карте, пришелся верстах в четырех к северо-востоку от грабовой горки.

Пусто было перед ромеями. Конница Владана в своем движении к Филиппополю и россичи, направляясь на восток, опустили завесу, непроницаемую даже для имперских лазутчиков-соглядатаев.

Двадцативерстный переход в летнюю жару нелегко для панцирной пехоты. Устало и без особого порядка манипулы разбирались на ночлег, а Ратибор и росские сотники считали легионеров с такой же точностью, с какой Рикила считал их самих на дунайской переправе.

Пехота старого Рима не ложилась спать, пока не бывал отрыт ров кругом лагеря, пока земляная насыпь не ершилась рогатками из острых кольев, пока лагерь-крепость не закрывался тремя воротами. Потом, привыкнув играть императорами, солдатская вольница освободила себя от тяжело-нудной каждодневной работы. Хотя отощавшие духом юстиниановские легионы и отучились распоряжаться престолом империи, но завоеванное ранее сохранилось, и в походах солдат можно было заставить окопаться лишь при очевидной опасности.

Подходил обоз на быках, манипулы разбирали припасы. Потянули дымки из-под котлов. Солнце клонилось к Родопам. Медленно, медленно поползли маленькие отряды – ночной караул, остановками обозначая границу лагеря.

В тихом воздухе лагерный дым не покидал место стоянки. Скоро дым вместе с ночным туманом от Гебра утопит ромеев в бледном озере покоя и сна.

Походный князь Ратибор, и старый Крук, покинувший для нападения на империю и князь-старшинство в бывшем роду изменника Плавика, и все другие старшие, на ком лежал ответ перед Росью за целостность войска, не с легким сердцем переступили имперскую границу. У себя россичи успели отдохнуть от каждолетнего страха перед Степью. Ромейская империя по-прежнему мнилась каменной громадой, в которой на золоте и сам в золоте сидел базилевс Теплых морей, охраняемый непобедимым войском-

легионом.

Десять лет князь Всеслав размышлял о походе на империю, десять лет засылались лазутчики к уголичам, к тиверцам и возвращались к князю с невесомой добычей рассказов о ромеях.

Хорошо в бою старому, опытному всаднику, когда под ним молодая лошадь. Он и удержит ее пыл, и направит по своей воле. Ратибор вел сотни молодых россичей, полных силы, задора, удали. Победа под Новеюстинианой убедила войско в превосходстве над ромеями. Тут-то и нужно крепче взять в руки поводья.

С осторожностью, в которой жил страх перед неизвестным, Ратибор вступил в битву с легионом Геракледа. Он зорко следил за ромеями, когда они шли к смертной для них поляне.

Мощно они шли. В твердых доспехах, в твердом строю. Храбро стояли под стрелами. Храбро хотели напасть, верен был их порыв. И вдруг они сразу сломались, как гнилой сук. И своих потом предали. Правду говорил Малх: у ромея сердце подточено, как червивое яблоко. Империя – золотой плод, твердый только снаружи.

Шесть тысяч имперских солдат легли спать в открытом лагере. Место удобное, открытое место.

Когда засветились звезды, Ратибор пошел с сотниками, с полусотенными старшими разведывать подходы к ромеям.

Были с походным князем старые товарищи Мстиша, Мужко. Был седоусый Дубок, давнишний воевода былых илвичей, ныне неотделимых от россичей.

Из молодых сотников Ратибор выделял Мала. Кощей-нянька князь-старшины Велимудра вырос в ладного воина.

Ощупывая землю, примечая пенек, кустик, деревце, росские старшие так близко подходили к ромейским сторожевым, что могли бы живьем заарканить.

Россичи умели красться мышью, умели скрадывать настоящую дичь. На том росли.

С тех времен, когда человек стал селиться в равнинах, волк научился по ночам подходить к жилью. Издавна собака знала, что человек в темноте для нее плохой защитник. Чую ночью сильного и умного врага, собака отступала.

Перед рассветом волки уходили. Собаки смелели, но еще не решались покинуть ограды жилищ.

В этот час – между волком и собакой – росские сотни, ведя коней в поводу, копились на опушках к югу от имперского лагеря.

Заботой префектов провинций в обе стороны от имперских дорог от кустов и деревьев очищались полосы в несколько стадий. Путешественники лишались тени, зато вырубка леса мешала злоумышленным подданным устраивать засады на подданных законопослушных. Горы служили убежищем разбойников-скамаров, которые иногда нападали даже на караваны, следовавшие под охраной солдат.

Патрикий Кирилл отвел легионам лагерь вдоль Гебра, за чертой имперской дороги, которая послужила границей для ночных караулов.

Летняя ночь коротка. Солдаты спали под охраной дремлющих постов.

Светает. Уже различаются пальцы рук. Видны сторожко поставленные уши лошади. Глаз коня темен как ночь. Рука ложится на конский храп, готовясь сжать ноздри, чтобы лошадь не выдала ржанием.

За дорогой зажегся первый огонек. Ромейскому повару не спится, он раздувает угольки, спрятанные с вечера под золой.

Шепотом передается слово приказа. Медленно поднимается нога. Носок нашел стремя. Толчок – всадник в седле. Лошади переступают волнуясь. И поджимают задние ноги, готовятся.

Вот и княжой свист, от которого сейчас посыплются листья с ромейских деревьев.

Вздрогнули караульные. И страшные, причудливые сны мгновенно явились перед закрытыми глазами вольно дремлющих легионеров.

Над рекой лежал туман, туман закрывал фракийскую низменность, и лагерь казался берегом Теплого моря.

Земля рванулась под копытами. Упруго-послушная, она, как тетива, метнула всадников.

Прыжок, прыжок, прыжок! Кони, истомившись в докучливом бдении, состязаются между собой в огне пылкой страсти.

– Рось! Рось! – и еще и отовсюду: – Рось, Рось, Рось, Рось!

Мгновение ока. И вот развернувшиеся сотни уже пронзили будто бы широкое и такое ничтожное для конных поле между опушкой горного леса и дорогой.

Пронзили, прострелили собой и пошли, пошли лагерем. По ромеям, над ромеями, сквозь ромеев.

Страшен вид скачущей конницы. Всадник громаден. Его напор неотвратим. Пешего побеждает чувство собственной беспомощности.

Ромейская пехота умела встречать конницу, меча дротики из тесного строя, первый ряд которого принимал коней на острия тяжелых копий. Легионы Кирилла не получили времени.

Ночная стража была раздавлена, как молотом на наковальне. Бывалые солдаты, сжавшись в комок, бросались на землю. Лошадь, как смерти, боится упасть и, пока не обезумеет в битве, не наступит на мягкое тело человека. Растерявшиеся бежали в бессмысленной надежде уйти от конных.

Спина, толстая от панциря. Торчат боковые застежки, как пальцы. Растопыренные руки пашут воздух. Часто, часто, но будто на одном месте топчут ноги. Темная полоса кожи под светлой каской над вырезом панциря. Удар. Труп.

Гонимые ветром войны, росские сотни взяли лагерь и с дороги и вдоль реки.

В сражении под Новеюстинианой россичи показали уголичам несравненное искусство стрельбы. Не было сейчас уголичей, чтобы было кому полюбоваться наездниками.

Россичи получили от ромеев первый урок – имперский солдат не умеет стрелять и не устоит перед луком. Ныне усваивали второй – легионы не умеют отдыхать лагерем.

С мечами в обеих руках Ратибор легкими будто бы ударами сбил трех или четырех ромеев, пытавшихся заносчиво помешать своей Судьбе.

Мало кто в лагере успел просунуть руки в панцирь. Немногие взялись за оружие. Вездесущие всадники были бесчисленны, как войско архангелов, павшее с неба в отмщение за грехи христиан.

У страха быстрые ноги. Много ромеев догадалось искать спасение в Гебре. Горная река не была полноводна сухими днями лета, но быстра. Кто-то тонул, то ли по неумению плавать, то ли бросившись в воду с оружием.

Со свистом, с гиканьем, как гонят непослушный табун, россичи плетями гнали вон из лагеря толпы пленных, чтобы те не успели, опомнившись, взяться за оружие, которое было разбросано повсюду, подобно щепе и веткам на лесосеке. В лагере остались тела неразумных или медленных умом.

– Куда полон девать? – спросил Крук походного князя. – Их раза в четыре более чем нас. Не упасешь такое стадо. Уголичей нет, чтобы им продать. Нам они ни к чему. Кормить их, что ль! А не побить ли их, лишнего времени не тратя?

– Один ты их не посечешь, Старый, – ответил Ратибор. – А он, – князь указал на Мала, – будет ли тебе помогать? Спроси его.

Мал отвернулся. Шрам на лице подтягивал верхнюю губу, топорща ус; никто не сказал бы, то ли смеется молодой сотник, то ли просто слушает.

Махнув плетью, Мал ответил с презрением:

– Этих-то бить! Будь они хазары...

5

На высокой лошади под седлом с крутой лукой, в доспехах, травленных ореховой краской, Малх ничем не отличался от россичей, не будь у него черных бровей, не будь черных усов, хоть и битых проседью.

Как все, Малх брил щеки и подбородок. За два десятка лет усы отросли косами, пушистые концы которых доставали до груди. Малх обучился русской езде, искусству более легкому, чем стрельба из лука, конь под ним шел, слушаясь мысли наездника.

Всадник прочесывал толпы пленных в поисках начальников. Перед ним шарахались, как бараны, в стадной судороге страха. Раненые перевязывались обрывками туник и хитонов. Другие бессмысленно глядели на кровь, сочащуюся из пореза острым клинком. Всклокоченные волосы, искаженные лица с разинутыми ртами. Очень много было полуголых. Рубцы от плетей багрово вспухали на лохматой груди, волосатой спине.

Привыкнув быть жестокими и получать жестокость взамен, внезапно разбуженные и брошенные сразу на край существования между смертью и рабством, солдаты сделались слабее, пугливее детей.

– Где комесы? Легаты? Центурионы? – спрашивал Малх. Его не понимали.

Кто-то плакал, стонал. Иные лежали или сидели, охватив голову руками, переживая час неведомого ранее ужаса. Происшедшее еще не осознанно, надежда уже потеряна. Беде как бы не доверяют, как не сразу мирится со случившимся тот, кто потерял близкого.

Легионы были естественным зеркалом империи: бесправие, разрыв связей, себялюбие, одиночество перед Властью, одиночество перед богом, смирение вместо воли.

Легионы были способны в руках умелых начальников к смелому натиску: в бою солдат хочет или не хочет, но защищает свою жизнь в стремлении убить противника. Так же были способны легионы терять самообладание, бежать, отдавая себя истреблению, и переходить на сторону противника. Легионы империи нуждались в поступательном движении. Они достаточно стойко оборонялись в крепостях и плохо – в поле. Отступить не умели. Охват войска даже малыми силами превращал строй в стадо.

Малх услышал призывы страстной молитвы:

– Бог величайший, взгляни на грешника! Бог предвечный, смилуйся! Прости меня, всемогущий! Храм, храм обещаю тебе! Храм! Храм! Помоги же мне, владыка неба и земли! Верую, верую, верую!

Верования россичей дали душе Малха ясность, которой он раньше не знал. Боги днепровских лесов не походили на полнокровных, страстных, капризных обитателей эллинского Олимпа, боявшихся высшей власти Судьбы. Ничего не было в русских богах и от непостижимо-троичного бога христиан, пасшего беспомощных людей с безжалостностью эллинского Рока и карающего за поступки, совершенные по его же воле.

Жизнь среди россичей освободила Малха от праздного гнета размышлений о сущности божеств. Верить? Не верить? Никому не нужен ответ. Следовало жить по велению совести. Потом погребальный костер поможет душе покинуть бремя мертвого мяса и костей.

Кто это здесь молится богу, предлагая ему взятку по христианскому обычаю, как базилевсу или сановнику?

Молящийся замолчал при виде Малха. Широкая кайма на его тунике свидетельствовала о высоком положении владельца. Рядом с ним на камне сидел старик в красной одежде. Метким ударом кончика

плети Малх заставил его поднять опущенную голову. Вглядываясь в окружающих, Малх заметил еще нескольких, лицами или одеждой выделявшихся из солдатской массы. Позвав товарищей, Малх выгнал за оцепление десятка два пленных.

Сановник снова забормотал молитвы, стараясь держаться поближе к Малху.

– Ты думаешь, меня бог послал к тебе на помощь? – спросил Малх ромея, отталкивая его ногой. Малху нужен был старик в красной тунике.

– Кто ты?

– Я Кирилл, патрикий империи, – гордо ответил старик. Его бритое лицо в крупных морщинах сохраняло выражение достоинства.

– Кем ты был в войске?

– Я командовал двумя легионами.

– Куда ты их вел?

– Я хотел встретить славянских варваров, чтобы изгнать их из Фракии.

– Ты уже встретил их, – в Малхе проснулась ирония.

Кирилл не опустил глаз. В юности он испытал влияние стоической философии, не противоречащее, по его мнению, основам христианской религии. Патрикий был стар, он стремился к покою, но сумел принять поражение, не теряя сердца.

– Я не встретил вас, – возразил патрикий. – Я был застигнут вами. Наши судьбы могли бы сложиться иначе.

Участь пленников зависит от воли победителя, а воля победителя – от обстоятельств, что Кирилл хорошо понимал.

Не так давно главнокомандующий Запада Нарзес через несколько дней после сражения приказал резать шесть или семь тысяч пленных. Большинство из них были перебежчики из имперских войск, но кто, особенно в Италии, считался с прежними кампаниями солдат? В действительности же Нарзес не мог обременять свое войско охраной живой добычи, а поблизости не нашлось портов для вывоза из Италии побежденных. А будь порт – не хватало кораблей. Никто и не подумал упрекнуть главнокомандующего за устроенную им бойню.

Сейчас Кирилл предполагал, что уже избег общей участи, которую он был готов принять. Варвар, беседующий с ним, не откажется от выкупа. Какова будет судьба солдат? Она могла оказаться самой жестокой, что не лишит Кирилла внутреннего покоя и уважения к себе.

Между солдатами, ходившими под знаменем империи, и полководцами, которые служили ей, не было духовной связи. Вожди варваров, глядя на новое для них через узкую щель собственного миропонимания, могли постичь или усвоить империю лишь после долгого общения с ней.

Кирилл не собирался кланяться варварам, которые были для него столь же низкими, как имперский охлос. Предстояли дни лишений, придется терпеть.

Малх не захотел праздного словесного состязания с гордым патрикием.

– Кто этот? – спросил он Кирилла, указав плетью на доброго христианина.

– Светлейший Александр, логофет, – ответил патрикий.

– Хорошая добыча! После щуки – жирный осетр. – Росская плеть просекла кожу на щеке Александра.

Сборщики налогов – пиявки, логофет – спрут.

Сановник вцепился в стремя славянина.

– Не торопись, подожди, светлейший, – льстил логофет варвару, владевшему эллинской речью. – Выкуп, выкуп! Я бессильный старик, старик. Не убивай. Я заплачу тебе цену десяти молодых рабов!

Малх думал, что вечность прошла с дней, когда он был не человеком, а подданным. Непослушное сердце, почему в тебе очнулась старая злоба?

Схватив логофета за ухо, Малх обещал:

– Может быть, я и отпущу тебя, и даже с целыми ушами, носом и пальцами. Если ты будешь послушен, как агнец, червяк!

За умение закругленными ножницами обрезать золотую монету так, чтобы она не потеряла форму, византийцы прозвали логофета Александра Псалидионом – Ножницами.

Недавно он был послан во Фракию, дабы еще раз доказать, что розга сборщика налогов полезнее меча полководца. Вторжение варваров застало логофета в Юстинианополе. Префект Фракии оставил город на одну когорту, и логофет счел палатку полководца, защищенную двумя легионами, более надежной, чем городские стены.

Час шел ранний, но солнце пекло. Ратибор приказал подогнать пленных к реке. Пусть пьют. У россичей не было зла к ромеям. Умея судить о других только по себе, россичи видели в имперских солдатах защитников родной для тех земли.

Малх удобно расположился на скамье из щитов. Перед ним стояли пленные начальники. Ратибор, разминая ноги, пришел пешком. Гнедой жеребец, раздраженный запахом и видом чужих, шел за князем, злобно прижав уши, готовый зубами и копытами наказать прикосновение незнакомой руки.

– Что делать с пленными? – спросил князь Малха.

– Продать.

– Кому?

– Их же начальникам.

Малх успел обещать логофету обычную участь неплательщика налогов: пытку каленым железом, розги.

– А потом, светлейший, ты будешь посажен на толстый кол.

Со слезами, с призывами бога в помощь Александр обещал заплатить выкуп в тысячу золотых статеров, несколько более двенадцати литров-фунтов. Забыв меры имперской жизни, Малх брал дешевую плату.

Патрикию Кириллу Малх сказал:

– Ты отдашь за каждого солдата по два статера. По сто статеров за каждого начальника. За себя – двести. И за город – две тысячи. Иначе мы сожжем твой Юстинианополь.

– Но уйдешь ли ты из империи, получив деньги? – спросил Кирилл. В старом полководце было нечто внушавшее Малху симпатию. Патрикий нравился и Ратибору, который, не понимая слов, следил за выражением лица человека в красной одежде. Дело слаживалось, выход нашелся. Бойня безоружных претила Ратибору. Выпустить же пленных просто так казалось бессмысленным.

Человек в белом что-то быстро сказал Кириллу.

– О чем он? – спросил Ратибор Малха.

– Этот остроголовый – главный хозяин золота. Он сердится на главного военачальника, что тот с нами не торгуется.

– Купец, – сказал Ратибор.

Малх обратился к Кириллу:

– Победенный не спрашивает победителя. И ты не задаешь вопросы твоему базилевсу. Плати.

– Я заплачу, – так же спокойно согласился Кирилл.

Сделка совершилась, и спины побежденных начальников выпрямились. Осмелев, логофет Александр подошел к Малху.

– Я обнищаю после выкупа, – шепнул ромей. – Скинь мне половину. И я сообщу тебе нечто более ценное, чем все золото, которое ты хочешь получить.

– Я сейчас узнаю даром, – пригрозил Малх, положив руку на нож. Но логофет успел обдумать возможные последствия своего предложения.

– Я не буду спорить с тобой, я не святой мученик. Подумай. Терзая мое грешное тело, ты потеряешь время, и ты не узнаешь подлинную цену слов, вырванных железом. Замучив меня, ты еще и лишишься золота.

– Ты прав, – согласился Малх.

– Ты обещаешь? – настаивал Александр, смелея от жадности и надежды.

– Если твои слова стоят того.

– Считаю же сам, – тихо исповедовался сановник. – В Тзуруле стоят шесть тысяч конных. Они считаются лучшими наездниками империи. Они уже рыщут в поле, чтобы вас раздавить. Вас же мало.

– Да, твоя новость стоит денег! – Малх встал и обратился к пленным начальникам: – Светлейший Александр говорит: шесть тысяч конных вышли из Тзуруле, чтобы напасть на нас. Правда ли это?

Логофет замотал головой, защищаясь жестами от обвинения в предательстве: нет, нет, это не он, не он!.. Ромеи молчали. Малх угрозами вынудил первое признание одного из центурионов. Остальные подтверждали.

– А ты, патрикий? – спросил Малх последним Кирилла.

– Это правда. И я не вижу здесь тайны. Шесть тысяч конных – не змея в камышах, ты скоро узнал бы о них и сам, – говорил патрикий, спасая честь свою и других. – К сожалению, я приказал Асбаду отрезать вам дорогу отхода. Вызови я конницу к себе – и ты сейчас уподобился бы зеленому желудю, прочно висящему на дубе, – с горечью продолжал Кирилл. – Таков промысел бога, наказавшего нас за грехи наши. Не вы, люди, победили нас, но бог всеведущий и всемогущий, который от века определил Судьбу каждого, даже скота бездушного, – утешался Кирилл, как бы предлагая своим подчиненным, спрятав голову под крыло, закрыться словами от несчастья.

Домик... Пусть из жердочек, пусть со стенками из соломы, но все же под крышей. На Малха потянуло знакомым запахом. И он ведь когда-то строил себе подобные хижинки, склеивая былки мертвой травы липкой паутиной рассуждений философов и засыпая щели песком, почерпнутым из христианских учений. Когда-то и Малх гордо глядел на других, которые тоже тщились доказывать, что все есть ничто, а ничто –

все.

Тленный яд хитрых слов. Но так легче, проще жить в несчастье – это и вспомнилось Малху.

Не давая ромеям возгордиться и опомниться, Малх продолжал допрос. В самой Византии находятся только палатийские войска. И стража городского префекта. Не одиннадцатый легион, как прежде, а отряды, набранные среди варваров-федератов. Слова пленных подтверждали известное от купцов и сообщенное Владаном.

Арсенал в Юстинианополе пуст. Запасы доспехов и оружия были использованы при снаряжении разбитых сегодня легионов.

Закончив, Малх посмеялся над логофетом Александром:

– Патрикий Кирилл сбил твою цену. Я награжу тебя тридцатью серебряными миллиарезиями.

Сто шестьдесят фунтов золотой монеты с ликом базилевса Юстиниана попали в русский плен. Четыре пуда, вьюк одной лошади, и богатство, и великая сила, спрятанная в кожаных мешках. До сих пор редко и по одному желтые статеры попадали на Рось, чтобы сразу вернуться к ромейским купцам.

Под надзором всадников пленные ромеи собирали урожай с поля своего разгрома. В кучи, как в копны, копились каски, панцири, поручни, поножи, пояса, ножи, кинжалы, мечи, дротики, копья. Сердце радовалось богатству большему, чем взяли на хазарском побоище.

Кое-что не подошло. Луки, будучи растянуты на всю силу, ломались в русских руках. Не понравились и щиты, длинные, в виде мелкого корыта. Чтобы ничего не оставить побежденным, щиты и луки сожгли.

Узнав, что им не грозит ни смерть, ни рабство, легионеры ободрились и осмелели столь же легко, как впали в отчаяние. Среди солдат были знавшие славянский язык, нашлись и ромейские славяне. Россичи с живого голоса узнавали жизнь имперского войска.

Солдаты служили не для защиты земли, но за деньги и корм. Оружие было чужое, данное им для службы, вот почему солдаты без горя с ним расставались. Солдатам – все равно. На вопрос о роде, о семье они смеялись, делая странные жесты.

Иные предлагали победителям свою службу, осведомляясь о плате. Поняв, россич сторонился от такого, пригрозив плетью.

Беззаботность пленников, вначале будто забавная, быстро стала претить непристойностью. Любопытство, удовлетворившись, превратилось в брезгливость, брезгливость сменилась недоброжелательностью.

Нелюдь нечистая, их и сравнить не с чем, у россичей нет таких.

Все припасы с телег россичи взяли себе, пленным же для котла дали несколько быков и указали взять убитых и раненых лошадей.

Жестоко забивают скотину ромеи, жадно хватают куски. Гляди, там подрались из-за мяса! Начальник их разнимает? Побили и его... Одного дня без еды потерпеть не могут. К таким в руки не попадайся. На Роси псы лучше. «Зря мы этих щадили, бить бы их сразу горячей рукой», – говорили иные россичи.

Под вечер пленных согнали, сбили в тесную кучу и того, кто не скоро послушался и отстал либо вздумал тянуть с ленцой на указанное место, с охоткой подбодрили плетями. Утром не пустили к реке, чтобы напиться. Пленных опять обуял страх. Верующие, подражая древним христианам, исповедовались друг другу.

К полудню следующего дня прибыл выкуп. Пленных гнали до моста через Гебр, гнали бегом, понуждали плетями, чтобы скорее избавиться.

Навсегда запомнились легионерам и их начальникам славянские всадники, чем-то разгневанные, запомнились суровые лица с длинными усами и общность с конем, напоминавшая сказочных кентавров. Таких во Фракии еще не видали.

...Россичи поднимались по речке за горкой, которая закрывала их от ромеев перед нападением на лагерь. В широком русле спешила тощая струя. Лес подступал вплотную с обеих сторон. Нависшие скалы грозили людям, непривычным к горам.

В белых, обкатанных камнях речка то исчезала, то опять выходила на свет дня. Там, где мягкая земля сползала в русло длинными языками, копыта кабанов и оленей протолкли дорожки.

Послышался шум падения воды. Русло уперлось прямо в гору, как в стену исполинской крепости. Сверху в каменный котел слетал пенный ручей.

Здесь Крук с молодцами из своей сотни нашел удобную похоронку для добычи. В отвесной стене на высоте полтора десятка локтей зияли черные пасти трех пещер. Крук заготовил лестницы.

Летучие мыши, разбуженные факелами, метались под сводом. Пол и стены пещеры были выбелены, как известью, пометом нечистых – не птиц, не зверей.

Чуть не доверху набив большую пещеру, россичи раскачали камни над входом. Обвал заткнул дыру, оставив сверху малый продух.

Походный князь избавился от тяготы добычи тысячи в две пудов. Не время таскаться с ней. Где-то рыщет пятикратно сильнейшая конница ромеев. Этих врасплох нехватишь. Биться с ними будет куда труднее, чем с пешими.

Перепуганный варварами, в отчаянии от потери пусть малой, но дорогой, как палец, части имущества, логофет Александр Псалидион уехал в Византию. Перед лицом Божественного Александр верноподданнически уличал префекта Фракии Кирилла в позорном поражении и в обогащении варваров. Растерявшись, патрикий лишился ума, мужества, пресмыкался перед варварами, выдал им тайны империи и, разорив казну, даже не добился, чтобы варвары обещали уйти из империи.

Кирилл, не будучи в состоянии покинуть провинцию, доносил Божественному в письмах о предательской выдаче логофетом военной тайны. Базилевс размышлял, на долгое время повесив над головами жалобщиков меч неизвестности.

Наконец обоим было сказано, что Священная Казна ждет внесения донатия – добровольного приношения.

Люди слабы и грешны. Божественный Юстиниан, свыше постигнув природу человека, был милостив к грязи, из которой он мудро лепил Власть и свою, и будущих базилевсов.

Глава 14

Позолота осыпается

Сон, живущих покой! О Сон,
божество благодати!
Мир души, усладитель забот,
усталого сердца
Нежный по тяжких трудах
и печалях дневных оживитель...

Овидий

1

Непролазная чаща деревьев, венчавшая Козью гору, давила узкий разрыв в скалах, откуда срывался водопад.

Шорох и шелест, шипение и бульканье – в самые сухие дни не прекращалось громкозвучное падение воды в каменную чашу под отвесной кручей.

Во время зимних ливней и летних гроз небо падало на землю морем, прорвавшим плотины берегов. Тогда водопад ревел дурными голосами дьяволов.

Но и в солнечные дни в водяной пыли шевелилось многорукое, многоногое тело. Оно хотело высунуться и пряталось опять в страхе перед знаменем креста. Вот, вот, гляди – плечо, грудь, прозрачные, соблазнительные.

Прочь! Не смотри! Неблагодарно искушать себя излишним вниманием. Сатана умеет пользоваться взорами людей, чтобы облечься плотью.

Сам Сатана и его воинство суть падшие ангелы. Здесь, в водопаде, нашли себе убежище и бывшие боги эллинов. Их природа иная. Они были созданы Сатаной в его стремлении подражать богу. Может быть, кроме них, прячутся тут и древние боги Фракии, которых изгнали эллинские боги. Все они, сплотившись в борьбе против Христа, больше не враждуют одни с другими.

Бог един в трех лицах, дьяволы – неисчислимы. Они нападают на церковь, порождая схизмы-трещины в теле ее. Божественный Юстиниан жжет еретиков.

Подданные-фракийцы утверждали, что каменный котел под водопадом не имел дна. Кто измерял его глубину?

Кто-то. Никто. Людям здесь нечего делать. Проезжая или проходя по имперской дороге мимо Козьей горы, люди показывали друг другу на устье ущелья. Внутри его, под самой горой, находится нечистое место с дырой, которая сообщается с адом через пещеры, тянущиеся под землей на тысячу триста стадий. «Может ли быть?» – спрашивал новичок, чувствуя холод на спине и мурашки по всему телу. «Конечно. Разве ты не знаешь, где ад? Под землей. Не провались в вечный огонь».

Этих мест боялись. Но не все. Устроившись на ветках корявого дубка, над водопадом висел длинноротый и длинноволосый человек. Вначале его сковало любопытство. Потом сознание небывалой удачи дало силы не шевелиться долго, судя по солнцу, более четверти дня.

Шершень сел на волосатую руку с кожей фиолетового оттенка. Злое насекомое прилаживалось, вонзять или не вонзять жало. Рука зудела от щекотки лапок, вооруженных острыми коготками. Преследуя лошадей, стая оводов вторглась в ущелье. Из его прохладных теней серые мухи-палачи взвились к солнцу. Одна из них походя и небрежно просекла щеку человека. Капли крови застыли в бороде. Человек не дрогнул. Он стойко вынес бы и настоящую боль.

По птичьему полету от него до пещер было шагов шестьсот. Из них по крайней мере четыреста приходилось на высоту. Никакой лучник не добросил бы стрелу, ни один ползун по скалам не одолел бы подъем.

Георгий, блеснувший в Византии короткой известностью под кличкой Красильщика, боялся спугнуть варваров. Он опасался знакомого всем коварства Судьбы, которая любит сразу и дать и отнять, как случилось в дни восстания Ника, как было в другие дни, как произойдет во многие дни, которые родятся из Вечности.

Давным-давно улетел шершень. Кровь на щеке запеклась. Уходит последний скиф, бережно ведя по камням верховую лошадь, освобожденную от вьюка. Тонкая струя водопада шипела на скале. Хватая крепкими пальцами босых ног корни и выступы камней, Георгий карабкался на гору, уверенный в себе, как лесной зверь.

Вершина хребта поднималась на полторы тысячи локтей. Издали Родопы действительно были похожи на острую спину громадного животного. Люди находили себе место на позвонках, между остриями остистых отростков.

Вершина Козьей горы была длинной и почти плоской поляной, плотно, без малейшего просвета окаймленной лесом. Крепость. Север отрезан недоступным обрывом. С юга – такие же, если не еще более дикие кручи, которыми граниты и гнейсы, построившие хребет, обрываются в долину реки Арды. На Западе, всего стадиях в шестидесяти от края поляны, хребет рассекла трещина-схизма, такая же глубокая, как между Христом и Сатаной. По дну ее люди пробили дорожку от долины Гебра к долине Арды. Только к востоку и только для того, кто знал, можно было спуститься отсюда к нижнему течению Арды, которая впадает в Гебр недалеко от Юстинианополя.

Олени в поисках сладких трав, кабаны, которые осенью и зимой ищут опавшие желуди, волки, преследующие оленей и кабанов, кое-как одолевали Козью гору с востока.

Старики не лгут: им кажется. Старики верят невероятному – не следует оскорблять старость возражениями. У старика Васса в молодости был лук, посылавший стрелу на семь стадий. Васс убил медведя ножом, и туша зверя раздавила бы удальца, не стащи ее собака. Васс быками вытянул на берег сома длиной в тридцать шагов, пойманного в Гебре, и священник приказал похоронить добычу, в брюхе которой нашлись скелеты людей...

Летописей не было, не было и грамотных. Люди давно обосновались здесь. Яблони и груши успели одряхлеть. Орех разросся в три охвата на высоте человеческой груди.

Местные жители не считали себя какими-либо особыми людьми. Для империи же беглые подданные, не платящие налогов, именовались скамарами-разбойниками.

Старый Васс рассказывал: это он забрался сюда первым со своим луком, с женой, имя которой он забыл; Васс втащил на веревках осла и ослицу, бычка и телку. Как Ной в ковчег. И, как Адам, Васс, раскорчевав на поляне первый югер, посеял первую пшеницу. Однако одному грушевому дереву явно исполнилось не меньше ста лет, орехи же казались и еще старше.

Не на одной Козьей горе свивались убежища скамаров, и не только на ней скамары сидели столетиями. Убежища в горах были, как и все остальное, видимое и невидимое, созданы богом, конечно, который сотворил дьяволов и человека, палача и жертву для него, гадюку, корову, маслину, цикуту, пшеницу, префекта, скамара... И все прочее, что только может прийти на ум и произнести язык, было вылеплено богом в его щедрости, которую священники называют непостижимой и неизреченной.

А вот находить пищу, одежду, кров человек обязан сам. Скамары Козьей горы, умея трудиться в поте лица, как указано богом, не могли вырастить все им нужное. Например, железо. В отличие хотя бы от волка, от крота, от птицы бог создал человека голым, с мягкими ногтями и тупыми, короткими зубами. Это несправедливо. Из-за этого один человек, вооружившись, может угнетать сто других. У волков так не бывает.

Труднее всего для скамара было достать оружие. Строгость империи, разоружившей подданных, оборачивалась против подданных, но вредила и скамарам.

Закон не видел случая, когда даже кожаный доспех был бы нужен подданному. Тем более – меч. Нож

с клинком длиннее семи пальцев и заточенный с обеих сторон, как кинжал, свидетельствовал об умысле на безопасность империи. Короткий клинок, обладание которым было разрешено подданным, не доставал до сердца свиньи или быка, поэтому подданные империи привыкли забивать скотину с жестокостью, непонятной варварам.

Подданные были беззащитны не только против варваров, но и против разбойников-скамаров. Богатые землевладельцы из страха перед людокрадами переселялись в города.

Зато самодельное оружие скамаров не позволяло устоять против войска. Десять против одного – даже такое соотношение сил не обеспечивало скамарам успеха. Мягкие мечи гнулись, и копыя тупились от первого удара по доспеху или щиту легионера.

Зимой, когда горная почва размокала или покрывалась ледяной коркой, на Козью гору даже скамар мог забраться только с опасностью для жизни. Так же бывало и в дни летних дождей.

Сколько лет он прожил здесь – пятнадцать, двадцать? Георгию не к чему было считать годы, да и кто их считал. Индикты империи не распространялись на Козью гору. Червячок страха все еще просыпался в ясные дни. Вероятно, так было и со всеми. Никто не отказывался от скучной обязанности сторожа. Вчера мальчик, выросший на горе, рассказал о конниках, замеченных внизу, у водопада. Маленький дикарь знал мало слов, но имел хорошую память. По его описанию, люди с лошадьми не были похожи на имперских солдат. Георгий захотел сам осмотреть оставленные ими следы. Случай поднес ему подарок. Георгий был счастлив удачей.

Слабым естественно жаться друг к другу. Так и построились скамары около своего поля, разросшегося из первого югера, вспаханного старым Вассом или кем-то еще.

Первый сложил четыре стены из обломков камня. Следующему пришлось воздвигнуть только три, так как он встал спиной спиной со старожилом. Улей, в котором первый дом сделался первой ячейкой.

Появились женщины, разрасталось хозяйство. Первый загон для скота, первый хлев. Скамары развели кур. Свиньи жили в лесу на участке, за палисадом, опиравшимся на деревья, как на столбы.

Ямы, заросшие ежевикой, напоминали Георгию начало его жизни скамара. Он вздумал вырыть ров и окружить поселок стеной. В его душе было слишком много страха. Под тонкой почвой лежала скала, непосильно было ломать камень. Тогда Георгий и его товарищ Гололобый были несчастны.

Георгий, согнувшись, вошел в длинную хижину. Толстые стены, на которые пошел выломанный камень из ненужного рва, несли крышу из хвороста, надежно смазанную глиной.

Здесь прохладно. Десятка полтора мужчин и женщин сидели и лежали, как придется, на скамьях, сколоченных из расколотых клиньями бревен. Раздражающе пахло свининой, сваренной на горьких и пряных травках. Вчера были загнаны два кабана, неразумно соблазнившиеся спеющим полем.

Журчал и журчал голос рассказчика. Тихо подобравшись к котлу, Георгий длинной вилкой, похожей на рыбачью острогу, вытащил кусок кабанины, еще теплой, сбросил на деревянное блюдо и пустил в дело длинный нож. Лезвие затупилось, подточить бы его на камне. Но рассказ был интересен, и Георгий не решился мешать.

После торжественного провозглашения Ипатия базилевсом Георгий не захотел пойти вместе с народом на ипподром.

– Ты хочешь ликовать? – спросил он Гололобого. – Ты хочешь кричать «Осанна!», пока более достойные будут лизать руки нового базилевса и отпихивать один другого? Оставь! Каждому свое, как говорил центурион, наказывая солдата. Я найду нам обоим лучшее занятие.

Георгий увлек товарища и еще человек двадцать мятежников разумным предложением: попользоваться чем придется в брошенном Юстинианом Палатии, пока новый базилевс не установит старый порядок. Первым человеку никогда не удастся быть, постараемся быть не последними!

В саду Халке Георгий заметил охрану, и в его сердце закралось сомнение. Правда, здесь стояла палатийская прислуга, разношерстное, случайное войско. Внезапное нападение – главное, больше крика – разгонит поваров, подметал, конюхов, наряженных солдатами.

Не то ангел-хранитель, не то здравый смысл бывшего солдата подсказал Георгию забраться на крышу сената. Оттуда, как с горы, бывший центурион и сегодняшний бунтарь Красильщик увидел порт Буколеон, полный кораблей, заметил блестящие солнцем шлемы спафариев. Видел он, как ипасписты Велизария плотной, будто сыр, массой вдавливались в восточные ворота ипподрома. По страшным воплям, которые помнились Георгию много лет, по начавшемуся было и прерванному бегству через Главные Ворота он сообразил, что там не обходится и без готов с герулами.

Торопиться грабить брошенный Палатии, как видно, не приходилось. Георгий без обиняков объяснил своим, что нужно разойтись и спрятаться куда кто сумеет.

Сам он с Гололобым отправился в гостеприимную таверну. Хозяин снабдил их овечьими плащами и сапогами из конской кожи. Слишком яркую приметку носил Георгий, чтобы думать спрятаться в городе, хотя нет лучше больших городов для людей, превратившихся в крыс. Гололобый же просто стремился подальше уйти от хозяина – инстинкт оленя, который бежит, пока хватит дыхания.

Весть об избиении охлоса на ипподроме поднялась, как девятый вал в море. К счастью для беглецов, волна перекатилась через их головы у ворот Харисия. Самочинная охрана, которая ловила беглых прихвостней Юстиниана, разбежалась, открыв всем, кто мог и хотел, простор полей.

Не великое счастье ждало и за стеной. Передвигающиеся по дорогам империи были обязаны иметь свидетельства от префектов городов и мандаторов провинций. Из страха перед разбойниками составлялись караваны. Рабы могли ступить на дорогу, только сопровождая хозяина. Свободные, имея надобность отправиться куда-либо, старались пристать к купцам или к именитым людям, ожидая случая в городах или на выходах из селений. Но и караваны, следуя закону, не брали случайных спутников без рекомендации известных людей, и каждый был обязан иметь при себе справку от нотариуса, цехового старосты и какую-либо еще. Будь иначе – слишком легко бежали бы колонны с земли, приписные и сервы – с пашен, недоимщики – от сборщиков, рабы – от хозяев. Такими оставались дорожки зверей через горы, ущелья, лесные дебри... И судьба зверя, так как подданный, уклонявшийся от обязанностей перед империей, переставал быть человеком. Враг империи. Каждый имел право взять жизнь отверженного.

Дороги были перекрыты заставами. Зимний лес плохо прячет. Георгию и Гололобому пришлось забраться на самый хребет Истанджу, который идет вдоль Понта и вдоль полуострова.

Желто-зеленые листья на дубах гремели железом. Желуди сильно родились, стада диких свиней паслись в дубравах. У беглецов не было копий и луков для охоты. Они собирали желуди, жарили на кострах и ели горячими. Пока хватало вяленого мяса и хлеба, данного тавернщиком, они не голодали. К счастью, не было мороза. Холод, который оденет горы ледяной корой, убьет беглецов так же верно, как имперский палач.

На запад, на запад! Ненастной ночью им удалось проскользнуть мимо какого-то города. Георгий забыл название, а Гололобый тогда мало что знал. Украв челнок, они переправились через Гебр. Арда дико

вздулась от зимних дождей, и самодельный плотик едва не погубил их. После Арды, терзаемые жестоким голодом – здесь не нашлось и желудей, – они влезли на хребет и попали в руки скамаров. Горные разбойники возвращались после налета на какую-то виллу под Юстинианополем.

Тридцать пять мужчин. Двадцать две женщины. Десятка полтора детей и подростков. Они жили в нигде.

Однако у них было кладбище. Был и священник, совершавший таинства претворения вина и хлеба в кровь и плоть Христовы. Родившиеся в нигде не понимали силы религии, но и они боялись ада.

Тихий молчальник Еввадий никогда не говорил о себе. По его случайному слову Георгий понял, что священник бежал от костра. За что и где? Кому какое дело. Вероятно, Еввадий был еретиком. Скамары не разбирались в догматах. Необходимо иметь кого-то, облаченного благодатью для очищения от грехов. Варвары не могли понять власть ромейского страха перед вечностью адских мучений.

В своей горной берлоге скамары хотели оставаться вольными людьми. Бывший центурион сделался вожаком на время вылазок, когда необходимость общего действия заставляет всех слушаться одного. Сейчас Георгий не спешил поделиться с другим своим открытием. Клад оружия требует осторожного прикосновения. Таких скифов Георгий не видал. Неизвестное страшит. Оружия же было столько, что можно вооружить по крайней мере полный легион. Следовательно, варвары нанесли поражение провинциальным войскам Фракии.

2

Третий день комес Асбад, командующий имперскими всадниками, не уставал преследовать скифов – славян, варваров, пришедших издалека. Третий день пошел, как россичи уходили от ромеев.

Молодым воином, впервые вкусив начальствование над несколькими другими, Ратибор состязался с хазарами в увертках на просторах степной дороги. В то же лето стоял он против степняков, будучи княжьем подручным. В другие лета приходилось Ратибору сражаться и самому, начальствуя войском в коротких походах. То все было у себя, близко и служило на защиту земли.

Теперь Ратибор впервые водил войско далеко от Роси. Сюда и ворон днепровский костей не заносил. Все – чужое. Нет простора для взгляда, куда ни помотришь – везде горы как стены. Ромеи защищают свое, россичи же, подобно хазарам, пришли за добычей.

Ромеи обороняются плохо, они неумелы, беспечны, не могут стоять лагерем, оградив себя от нападения. Пешие ромеи слабы, хотя искони славились силой пехоты.

Каковы же они в конном деле? Два дня они гнались за россичами тяжелым, неустойчивым скоком. Конные полки состязаются не как отдельные всадники быстротой скачки, но умным расчетом движения. Ромейские воеводы вели стройные ряды всадников на тяжелых лошадях без спешки, чтобы сохранить свежесть конской прыти к часу схватки.

По Фракийской низменности, к северу от реки Гебра, земля кажется ровной человеку, привыкшему к горам. Всклобления гладки, закруглены. Стерты курганы, которыми засыпаны костяные пальцы гор, протянутые Планинами к Гебру.

Пряно, крепко пахнет войско лошадиным потом, войлоком, сыромятью, дубленой кожей, горячим телом всадника. На виду одни у других ходят россичи и ромеи, конницей пропахла Фракийская равнина, и нет на ней ничего, кроме конницы.

Разделенные пятью-шестью россскими верстами, оба войска останавливались на отдых для сбереженья коней и видели огни костерков и вместе наутро поднимались в седло.

Ромеи у себя. Зная равнину, они умели прикрыть свой привал речкой, болотом.

Так хозяева и будут ходить настойчиво, умно, пока не подгонят чужих к удобному для себя месту. Тогда, пользуясь силой числа, сдавят – и россским некуда будет податься.

Однако же старая дорога, одна лишь известная россичам, была будто бы еще свободна. Еще можно отступить по знакомому пути.

На третий день утро открыло широкие поля, удобные для скачки. Не будь далеких гор, которые заслоняли землю на севере, юге и западе, оставляя свободным только восток, россичи сказали бы – здесь степи. Речка в твердых берегах несла чистую воду. За ней, выпоив коней, в полдень остановились россичи. Верстах в четырех ромеи копились темным стадом.

Чего ждут они? Э! Гляди, князь, глядите, сотники, глядите, воины!

Подобно птице, лениво вытягивающей одно крыло, ромеи выталкивали часть своих, остро удлиняясь вправо. И уже не по-птичьею крыло оторвалось и потекло многими сотнями конских ног. А влево, в точности повторяя движение первого крыла, тоже пошла конница после перестроений, которые остались невидимыми по дальности. Ромеи разбились на три отряда. И стало возможным точнее, чем ранее, счесть ромейских всадников. Логофет Александр не солгал, не обманул и патрикий Кирилл. Пять с лишним тысяч всадников, вся сила ромейской конницы из крепости Тзуруле охотилась за россичами с главной заботой:

чтобы варвары не ушли безнаказанно.

Ядро ромеев приближалось едва заметно. Крылья же перемещались быстро и наискось, чтобы, как двумя руками, охватить россичей.

Из темных ромейские ряды сделались светлыми. На солнце засверкали начищенные до сияния железо и медь. Ромеи сняли со шлемов и лат чехлы из просмоленной холстины и сбросили с наконечников копий кожаные ножны.

Бог, стоящий над вселенной, сотворил все своей волей, своим произволом создав судьбу всего живущего. Исполняй волю творца, который заранее все решил без тебя, – так верили ромеи.

Своей волей жил россич, а на небе находил твердую опору для новой жизни после неизбежности смерти.

Пора, пора! Играть так играть нам в широкой равнине империи Теплых морей, скакать против ветра, тягаясь в силе, в умении с ромеем в прочных латах, усевшимся на тяжелую лошадь.

Одинаково быстрыми отлетят и полные и пустые годы. Не заметишь, как грузная старость растворит силу, окаменит суставы. Забудутся лица, рассыплются имена, потухнет страсть, но то, боевое, не изгладится. И кто испытал – никогда не забудет сильной силы всадника, спешащего к боевой схватке.

Покинув заводных коней, россичи пустились навстречу левому полку ромеев, который шел для охвата уже полным махом растянувшихся в скачке коней.

Наблюдая за движениями противника, комес Асбад, который оставался в центре главных сил, ликуя от ожидаемого успеха, послал двух своих ипаспистов на быстрых аравийских жеребцах к правому полку с приказом, чтобы тот еще более отклонился, зашел бы в глубокий тыл скифов ловить тех, кто будет спасаться на запад.

Левый же полк так спешил, что уже расстраивал ряды. Это не порок в конном ударе, а неизбежность. Заражаясь стремлением пылких коней и горячих всадников, разгораются холодные и, соревнуясь, участвуют в скачке всем духом и телом.

Потому-то начальники с древнейших времен и до самых недавних искали себе сильнейших и смелейших коней.

И прытко и зло скакал навстречу скифам комес левого полка ромеев Геронтий, в прошлом, как и Асбад, ипаспист самого Юстиниана Божественного. В золоченом железе, с лицом под забралом, он спешил далеко впереди своих, но чувствовал даром вождя, как тянет он своим порывом всех за собой, будто к каждому всаднику из полутора тысяч прицеплена нить от плеча полководца. Нить укорачивается, укорачивается – свои поспешают, стремятся догнать, ни один не оставит вождя одиноким, все верны! Геронтий, ощущая, как трясется земля от насилия массы конных, поднял руку с длинным мечом:

– Ника! Ника! Бей, побеждай!

Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре! Стадии отлетали каплями ливня. Геронтий оглянулся. Полторы тысячи всадников лучшей конницы империи мчались за ним решительно, сильно. В нем, в вожде, вся их мощь!

А скифы? Что? Они как будто медлят? Их строй разделился, вытянулся в глубину! А, труссы затягивают повод, чтобы подставить под удар смелых!..

Навстречу Геронтию в мгновенья, когда мысль перестает воплощаться в медленные слова, летел скиф. Слагались два стремленья – воли и мускулов, превращая ощущения в полет. Коричневый варвар раздувался, разрастался, как исполин.

Прошло время, когда подобное еще вызывало в Геронтии невольную дрожь сомнения в себе. Зрелый воин умел не помнить страха перед миражем схватки. Он всем телом знал, что и сам он в молниях доспеха и оружия, тяжелый, но легкий в движениях, на высоком коне, – и сам он кажется врагу еще более быстрым, еще более страшным.

Прямо, прямо! Только бы этот не сумел увернуться!

Изготовив кривой меч для удара навстречу и снизу вверх, Геронтий легким нажимом ноги послал коня чуть-чуть влево, на один волос, на тонкий волосок, чтобы, съезжаясь с варваром правым плечом, дать больше шири размаху.

А! Скиф испугался! Как тот гот под римской стеной... Он взял влево, но опоздал, затянулся, ему не уйти! Геронтий умел рубить и налево. Опершись на левое стремя, комес выгнулся с расчетом не разума, а послушного тела: так! Последняя четверть клинка захватит левую щеку варвара. Описывая полукруг снизу вверх, клинок просечет челюсть, скулу и, чтобы уйти через расколотый лоб, высоко взбросит сорванный шлем.

– Ника! Ника! Побеждай, убивай! – И Геронтий выдохнул, как ему показалось, прямо в лицо скифу воинский крик-оскорбление победителя побежденному: – Труп, труп!

Небо пошло вниз, земля сделалась небом, по которому спешили-спешили в частом переборе конские ноги с нависшими с конских животов длинными ступнями людей. И ремень подпруги на лошадином брюхе. И развевающиеся хвосты, как камыш на фракийских болотах под Тзуруле в осеннюю бурю. И все летели, и все бежали, все более перекашиваясь, все более кривясь, катясь вбок, ложась на бок, как колеса, оторвавшиеся на полном ходу. И катились, кренясь и кренясь, лошади, копыта, колеса и лица с прядями длинных усов. Гремел гром, тысячи свечей блистали, как крестный ход округ Софии Премудрости, и свечи трещали так, что раздирались кости, и молния ударила в череп. Тишина, тишина. Покой.

Отбив одной рукой руку ромея, другой Ратибор скосил блестящего, как жар-птица, смелого всадника и, еще крепче обжав ногами гнедого, послал его левее, уходя с дороги стремительно навалившегося строя тзурульской конницы.

Добрые воины, скачут хорошо, строй умеют держать! Ратибор не ощущал к ромеям ни гнева, ни злобы. Для него они были чужие, он пришел воевать, и ему, обоерукому воину, хотелось бы сгоряча врезаться в ромеев, как коса в сочную траву, посечь живые колосья, смешать, разогнать. Так сокол, ударивший в стаю гусей, сбивает их, возгордившихся прочностью живого клина. Бремя власти заставило походного князя отказаться от бранной забавы.

Сегодня не будет схваток грудь с грудью. Ратибор вынесся на холм и будто забыл ромейский полк, который катился уже сзади него плотный, как обвал, взъерошенный копьями и мечами. Где другие?

Второе крыло ромейского войска в своем движении на запад приближалось к завершению цели. За свою удачу ромеи заплатили длинным пробегом. Взяв от лошадей буйной вначале скачкой свежесть сил, сейчас обходный полк шел шагом, растягиваясь с очевидным намерением перехвата бегущих россичей, когда их разбросает левое крыло и отбросят главные силы.

Ядро ромеев ожидало, но не праздно. В конной массе появились просветы. Живая стена строила себя в готовности и стянуться и еще расшириться.

Главная сила ромеев давала россичам время дышать, как не спешат на бойне обрушить удар молота на череп быка, за которым замкнули ворота.

Ратибор оглянулся на своих. Сегодня строго велено было никому не увлекаться игрою меча, палицы, чекана и сабли.

Походный князь постиг замысел ромейского воеводы. Крыло, пробив россичей, построит за ними, на юге, вдоль течения Гебра, еще одну конную стену. Оставленные в середине поля с закрытыми из него выходами, россичи сделаются, как зайцы в тенетах.

Росские сотни дали себя пробить. Будто бы!.. Расступившись перед ромеями, россичи взялись за луки. Все одинаково обученные, россские лучники били без промедления, но с прицелом и не спеша. Имперская конница не умела стрелять, как не умели стрелять и готские конники, которых в Италии побивали стрелами варвары – федераты ромеев.

Не для чего было россичам без всякой надобности на широкой равнине, где хватит места для скачки, сцепляться грудью с грудью, ломать строем строй. Россичи пришли в империю погулять, а не класть свои головы.

Имперская конница могла бы уподобиться всаднику, с размаху вломившемуся в камышовую заросль. Тростники хлещут, кровава лицо и руки, а лошадиные копыта уходят во влажную топь. И вот уже вместо скачки лошадь останавливается, бьется на месте, забрызганная грязью, задыхаясь, высоко поднимая сразу подтянувшиеся бока. Всадник понимает, как бы и ему не пришлось оставить кости в губительной топи.

Ромеев хлестали не тростник, а стрелы с жестким железом, с пером дикого гуся на расщепе. Не топь была под лошадиными копытами, а хрящеватая почва Фракии. Однако же кони запинались, падали десятками, сотнями, будто под ними расступалась земля.

Фракийская низменность легла от Понта до верховьев реки Тунджи и далее к западу вдоль среднего течения реки Гебра. Ее протяжение с востока на запад составляет верст триста. С севера низменность прикрыта хребтом Планин, с юга – Родопами. Сближаясь между собой на западе, оба хребта замыкают там низменность.

Вторгаясь в империю, варвары не могли миновать фракийскую низменность, их конные отряды, преодолев Планины, тут обретали подвижность. Необходимость заставляла империю содержать конницу именно здесь. Всячески сокращая армию, настойчиво и последовательно заменяя живую силу крепостями, базилевс Юстиниан не считал возможным уничтожить базу конницы в Тзуруле.

Расчетливо используя военнопленных, империя заботилась удалять их подальше от родины. Пленные персы, армяне, сарацины, мавры назначались на запад, в Италию, в Испанию, на север. Пленные италийцы, кельтиберы, франки, галлы, германцы, готы посылались на восток.

Конник живее пехотинца, в его руках больше возможностей увернуться от бдительности начальника, ему легче бежать или, по крайней мере, побег его легче соблазняет.

Империя формировала из пленных пехоту. Перевод в конницу означал повышение, которого следовало добиться. Фракийская конница по праву пользовалась в империи славой отличных всадников, и не их была вина, что они не учились с юности тянуть тетиву, определять на глаз расстояние, принимать во внимание ветер, собственное движение и перемещение цели.

Ромейский полк прошел по телу своего комеса Геронтия, не ломая рядов, чтобы тараном разбить скифов.

Одними из первых, кто пал от россских стрел, стали начальники, находившиеся на флангах конной колонны, где им и полагается быть, чтобы управлять боем. Стрелы сбивали всадников, поражали лошадей.

Солдаты, вольно или невольно, брали либо правый, либо левый повод, чтобы, уйдя в глубь строя, укрыться за товарищами. В тесноте лошади, не видя, спотыкались об убитых коней и падали, калеча всадников и ломая себе ноги.

Первые сотни россичей, пропустив ромеев, повернули, пошли с ними рядом, щедро тратя стрелы.

Задние же две сотни, подпустив уцелевших еще всадников, встретили их таким плотным частоколом стрел, что порыв последних ромеев захлебнулся на валу бьющихся на земле лошадей.

Еще расстреливали разрозненных ромеев, еще гонялись за убегающими. Кто-то, как бывает всегда, все же прорвался мимо стрелков и, избивая лошадь, уносился куда глаза глядят, чтобы, опомнившись, благословить свою судьбу.

3

Осуществив с большим искусством почти круговой охват варваров, ни сам комес Асбад, ни начальник второго крыла Геввадий не могли видеть подробностей происшедшего с левым крылом. Мешали дальность расстояния и складки равнины. Столкновение произошло, Геронтию удалось ударить на скифов. Но как сложился, как разрешился быстротекущий бой конных? Об этом судило не слабое зрение, а желание и уверенность в своей силе.

Уцелевшие всадники полка Геронтия, как шары, ударившиеся о препятствие, уносились на юг и на юго-восток, а не обратно к своим. Прорвавшиеся не могли повернуть, а если и поворачивали, то опять подставляли себя под стрелы. Вобрав головы в плечи, завесив спину круглым щитом конника, беглецы скакали к Гебру, мелькая на вершинках всхолмлений.

Коноводы заводных лошадей россичей издали казались станом. Повинуясь приказам сотников, россичи устремились к коноводам, чтобы сменить утомленных лошадей на свежих. Ловля коней и переседловка происходили в неизбежном беспорядке.

Асбаду представилось, что мелькающие вдаль отдельные всадники и есть скифы, бежавшие поодиночке от разгрома. Геронтий же занят добыванием варваров в их лагере и захватом добычи. Большое расстояние, солнце задернулось облаками; сейчас светлые латы имперских солдат нельзя было отличить от темных доспехов варваров.

Россичи были бедны, хотя бедности своей не знали, считая себя ничуть не хуже других. Изготавливая для себя все или почти все своими руками, они были привязаны к своему, любили свое, и сейчас многие с болью в сердце, а иные и с гневом вспоминали разбросанные по полю стрелы, такие дорогие воину, прямые, уравновешенные, с пером, привязанным тонкой жилкой, с твердым наконечником из твердого уклад-железа. Эх, горе, горе! Некогда собрать, не дают времени ни мига...

Россичи пополняли колчаны из запаса, возимого на вьюках, и, покидая попечению коноводов утомленных лошадей, разбирались по сотням. Коноводы скакали, отхлопывая плетями и сбивая в табун взволнованных лошадей.

Асбад же уверился в победе! Уверились и его солдаты, которые начали выражать понятное недовольство. Геронтий захватил всю добычу! Много ли везут с собой скифы? Разбить их – не город взять. Полк Геронтия подберет лучшее, остальным достанутся объедки. Солдаты кричали своему комесу:

– Общий дележ!

– Мы не хуже их!

– Почему ты оставил нас на месте?

– На жеребья, на жеребья!

Из-под низких козырей касок глядели расширенные злостью глаза, рты хищно скалились.

– Проклятая служба! Никакой добычи!

– Мы сгнили на корню, как дерево в болоте!

Обреченные гоняться за варварами, получая больше ран, чем наград, фракийские конники изнывали от зависти при слухах и победах в Италии, ненавидели палатийские войска за роскошь жизни, троекратно преувеличенную воображением. Уж им-то, настоящим воинам, не суждено злой судьбой пожить в великолепной Византии.

Что им давала империя? Кормежку пусть досыта, но грубую, однообразную. Жалованье, которого едва хватало на несколько посещений лупанара по дешевой цене, когда надсмотрщик тут же стучит в дверь с криком, что песок истекает. Нищее население, из которого едва выбьешь несколько оболгов, если начальники соизволят закрыть глаза. Вино? И того не напьешься вволю, приходится наливать белым пивом, мутным от муки, как свиное пойло.

Кто-то показал Асбаду кулак. Несколько ловкачей в задних рядах встали на седлах. Балансируя руками, эти завистливые забияки призывали к нападению на удачливых товарищей, чтобы собственной рукой исправить несправедливость распутной девки Фортуны.

Общее возбуждение не было исключительным. Пришел час победы, когда начальникам не следует становиться между солдатами и плодами битвы.

В рядах начали бить рукоятками мечей в щиты. Глухие удары о дерево с подзвоном железной оковки и блях, – этот голос солдатского недовольства был подхвачен всеми. Две тысячи всадников долбили щиты, создавая трескучий грохот, от которого волосы становились дыбом.

Победители возвращались, и обиженные еще более ярились. Распалившаяся жадность, жгучая досада – они тоже не поделились бы – ослепили солдат. Комес Асбад и его помощники жестами и выкриками пытались усмирить солдат, опасаясь схватки между своими же.

Однако полк Геронтия подходил не тесными колоннами, разделенными правильными промежутками, как было принято в имперской коннице, а стайками всадников, будто собиравшихся охватить товарищей.

Осталось несколько стадий, когда пелена упала сглаз Асбада. Это не его люди! Облака перестали заслонять солнце, и его лучи позволили поразиться необычным видом всадников и узнать в них варваров.

С быстротой конника, умеющего решать не обдумывая, Асбад приказал трубачам:

– Сбор! Играть сбор! Играть тревогу!

Асбад выбросил коня из толпы, в которую превратились его солдаты, показал длинным мечом на скифов и поскакал со своими ипаспистами вдоль строя, чтобы выровнять ряды.

Солдаты поняли с опозданием на несколько мгновений, что подарило россиянам еще одну стадию. Легаты и центурионы в ярости на бунтовщиков командовали:

– К мечу, к мечу, ублюдки! Сомкни строй, уличные девки!

– Сомкнись, сомкнись, свиные выродки, псы, шакалий помет!

Солдаты дергали поводья, осаживая лошадей, или толкали их, выравнивая ряды, усмиренные опасностью, немые под жалящим дождем неистовой ругани испуганных начальников.

Нужно время, нужно свободное пространство, чтобы бросить конницу. Опоздали! Асбад с язвительной горечью ощущал потерю удара с размаху, необходимого для успеха конного боя, удара тяжестью коня и всадника, подобного удару молота. Не старый человек, но старый конник, комес знал, что настоящая конница встречает нападение только нападением.

Асбад понимал, что его строй будет прорван варварами не в одном месте. Но это еще не поражение, нет.

Застигнутый вблизи левого края войска, Асбад успел построить четыре десятка своих ипаспистов острием к варварам. Здесь он сумеет не поддаться, сюда он соберет свой расстроенный полк после прорыва варваров. Строй, только строй! Рим всегда побеждал, противопоставляя слепой Фурии варвара жало хладнокровной Паллады.

Далекое было то лето, когда воевода малого племени россичей сам-друг с князь-старшиной Колотом провожал будто в змеиную пасть дальний дозор слобожан. Горсточку посылал Всеслав в пустую, чужую и страшную степь, откуда всегда валило на Рось горе-злосчастье.

В родах никто не знал о затее воеводы. На юг уходило семь конников, семь! Меньше, чем пальцев на руках человека, меньше, чем когтей на звериных лапах. Истинную цель дозора Всеслав на ухо доверил одному Ратибору.

В начале же этого лета в подсохшую степь тысячи россичей, ни от кого не таясь, провожали своих, посланных от большого войска, чтобы впервые пощупать империю, чудесную силой, славой, богатством.

Привычка почитать старших гнула перед ними шеи и спины воинов, а те, приглашая своих слушаться во всем воевод, как добрый пес – хозяина, не сочли нужным, щадя свою гордость и достоинство младших, хоть полусловом напоминать им о воинской чести.

Три дня сам князь Всеслав провожал войско. Три дня старые слобожане, прославленные в боях за Рось, ревниво присматривались, каковы молодые в походе. Из молодых же каждый трепетал всей душой: ну, как скажут, что тяжело он ведет коня и конь под ним устает до времени, что не так он бросает стрелу на скаку... Заметят, прикажут вернуться на Рось. Иных отсылали, давая замену.

По сравнению с ромеями россичи были, как ключевая вода рядом с дунайской. Между собой росские воины общались с бесхитростной простотой. Боевая хватка, воспитанная тяжелой наукой воина, укреплялась старательностью простой души, отдающейся делу с бескорыстным увлечением.

В дунайской крепости ромеи сидели, как мыши, трусливо наблюдая за переправой. Тогда не было россича, который, примеряя к себе, не нашел на правом крутом берегу место, откуда он ударил бы, будь он ромеем.

Россичи понимали хазаров: эти умели, и биться, и отбиваться, и жизнь покидать по-воински, не теряя лица. Суника-хан вел себя не как ромейский воевода Кирилл. Суника-хан умер вместе со своими воинами, и никто не просил пощады.

О большой войне с хазарами россичи хранили предания, песни пели и в песнях доброе место отвели Сунике и храбрым хазарам, ибо слава победителей возрастает от правдивого рассказа о доблести побежденных.

Закрывшись щитами, наставив копья и мечи, опершись на стремя, ромеи ждали удара варваров. Сзади легаты и центурионы еще орали, наводя порядок.

Неожиданно и странно варвары запнулись, оставив между собой и строем полка Асбада стадии две или меньше.

Но Асбад не получил передышки. Не раскрывая рта для боевого клича, онемевшие варвары все сразу выбросили тучу стрел. Округ Асбада закричали раненые, особенно хорошо слышные из-за молчания скифов. Сам Асбад получил тяжелый удар по лбу каски, от которого железный колпак дернулся на голове, рванув нижнюю челюсть чешуйчатым ремнем. Аравийская кобыла Нимфа, которая стоила комесу пятьдесят статеров, согнула ноги в запястьях и ткнулась ноздрями в землю. Асбад отскочил, повинувшись инстинкту бывалого наездника. Несчастная Нимфа легла на бок. Комес упал: его сбил с ног судорожный удар копытом другой умирающей лошади. Прочность хорошо откованных лат спасла Асбада от увечья.

Поднявшись, комес увидел себя среди бьющихся лошадей, сброшенных наземь всадников. Запомнился ипаспист, державший руками в блестящих наручных стрелу, а конец стрелы скрывался в щеле.

Завеса отдернулась: скифы казались особенно большими, высокими. Взмахи рук лучников. Конский храп. Стоны людей. Безобразное щелканье. Гнетя воздух, стрелы затмевали дневной свет.

Асбад подобрал щит, свой или чужой – кому нужно знать? Стрела промчалась над щитом, рванув левое ухо. Отвратительное ощущение глухоты и боль под черепом. Асбад упал на колени, прячась за горячим трупом Нимфы. Под рукой оказалась не земля, а шелк священной хоругви тзурульской конницы, брошенной знаменосцем.

Раздались выкрики варваров – к комесу вернулся слух. Зная сотню славянских слов, он понял: начальники скифов отзывают своих назад. Внезапно голоса варваров подавил свой воинский клик:

– Ника! Ника! Бей, убивай, побеждай!

Спасение! Асбада подбросило, как ожогом плети. Геввадий, начальник правого крыла, успел вернуться, чтобы поразить варваров с бока. Да. Все кончилось. Железный ливень скифских стрел прекратился.

Выпрямившись, Асбад видел стремление конницы Геввадия. Плотная колонна всадников, сверкающая желтой медью и серебром начищенного железа! Они, спасители. Какая сила! Испуганные варвары разлетелись, как стая голубей, застигнутая охотниками на просяном поле.

Солдаты на взмыленных конях скакали в двух сотнях шагов, сметая варваров. Комес видел пену на удилах, распяленные рты всадников. Во имя Пантократора! Асбад воздел хоругвь, которая распустилась над ним, как порфира базилевса.

Коня! Комес прыгнул к лошади, оставшейся без хозяина, схватил поводья. Концы их вплелись в пальцы человека, лежавшего под копытами. Асбад узнал старшего своих ипаспистов. Стрела торчала из его груди. Асбад дернул поводья раз, другой. И ногой помог себе вырвать ремень из упрямой руки.

К Асбаду вернулось потерянное самообладание. Он поднял хоругвь и, увлекая за собой уцелевших и удержавшихся от бегства, поскакал вслед за полком Геввадия.

Широка, вольна для скачки фракийская равнина. Горячий воздух гулял из груди в грудь. Пот, кровь. Кровь, пот. Сплетались невидимые струи острых запахов тела ромея и тела россича. Солнце ли светило, или вновь его спрятали облака? Дул ли ветер, или был неподвижен зной лета? Кажется, заблудившаяся тучка успела пролить несколько сразу высохших капель...

Геввадию не было дано прикоснуться к варварам. Не смог и он заставить скифов принять бой, чтобы сломить их копьями и мечами. Асбад видел: будто, бежав от Геввадия, варвары в действительности не собирались покинуть поле, такое удобное для конницы, так старательно выбранное Асбадом.

Отступив перед напором Геввадия – лучше сказать отскочив, – варвары разделились на несколько отрядов, предложив состязание в ловкости. Как бы играя в увертки, скифы уклонялись и стреляли, стреляли. Асбад видел, как варвары, управляя лошадью только ногами, спускали тетивы на полном скаку, одинаково метко и сильно посылая стрелы перед собой, влево и назад.

Лошади под уцелевшими всадниками Асбада были еще способны к скачке Геввадий, торопясь соединиться со своими, шел полным махом больше сорока стадий и теперь расплачивался за усилие. Лошади против воли всадников переходили в шаг.

Шагом ли, полным ли махом, тзурульская конница таяла под стрелами варваров вопреки своему мужеству. Солнце еще высоко стояло над Родопами, когда уцелевшие Асбад и Геввадий поняли тщетность попыток заставить скифов сражаться по-ромейски, принудив их к правильному бою.

Хотя бы лес, где можно укрыться от стрел! И лес, и горы застыли в недосягаемой дали. Из всей

тзурульской конницы осталось пять или шесть сотен всадников. Был избран невысокий холм, чтобы на нем продержаться до темноты, когда угомонятся сатанинские луки скифов. Солдаты спешили, чтобы укрыться за лошадьми.

С холма Асбад увидел, что разгром его конницы происходил на небольшом пространстве. Варвары кружили, вода за собой ромеев. Повсюду густо набросаны трупы лошадей и людей. А был ли убит хоть один скиф? Асбад не знал.

Тени удлинялись. Солдаты громко молились, призывая всевышнего обещаниями богатых жертв, суля богу за спасение золото и серебро. Были и богохульствующие: бог бросил их, не поможет ли Сатана?

Откуда у этих скифов столько стрел и умение стрелять! Они били с такого удаления и так метко, как ни одни союзники-федераты империи: гунны, бессы, герулы, мавры, нумидийцы. Страшная чума свалилась на империю из неизвестной земли.

Асбад понял, что напрасно его увлек холм, как спасительное место. Следовало бы остаться на ровном месте, укрываясь за трупами лошадей.

Уже перебиты все кони, многие всадники убиты и почти все ранены. Отчаявшись, Асбад не захотел совершить грех самоубийства, как Геввадий, который закололся, страдая от раны в лицо.

Асбад один побежал на скифов. Кто-то выскочил ему навстречу. Быть может, этот примет единоборство? Асбад остановился, облизывая сухим языком запекшиеся губы. Весь день без воды! Комес почувствовал смрад собственного дыханья.

Варвар налетал косокрылым коршуном. Асбад приготовился размахнуться мечом. Варвар издали махнул рукой. Петля упала Асбаду на плечи. Комес уцепился за жесткую веревку, и непреодолимая сила потащила его тело, как мешок, в темноту, в ночь.

Остыв, солнце свалилось за Родопы. В сумраке раненые кричали, как всегда кричат на полях битвы, от боли и от отчаяния.

4

Поздно, трудно выкатившись над берегом окровавленной Фракии, луна повисла багровым плодом за черными листьями тростников. В тростниках побежденные ползли к Гебру, чтобы утолить неистовую жажду, чтобы сделать попытку добраться до родопских лесов, где – дал бы бог переплыть реку! – можно спрятаться от скифов, от славян, от варваров – обладателей невероятного искусства боя.

Для берегов Теплых морей с древнейших лет Судьба была повелительницей людей и богов. Всеобъемлемость власти Судьбы определена была в отточенных рассуждениях ученых и в поговорках простого люда. Наиболее хитрые из правителей умно внушали людям, что не их, правителей, несовершенный ум, но покровительство Рока дает земным владыкам успех, внушали не из скромности, а чтобы укрепить свою власть. Сделавшись христианскими, берега Теплых морей не смогли расстаться с Судьбой, осталось и понятие, и само слово, как выражение непреодолимой воли бога. Казуисты-богословы говорили о свободе человеческой воли, пытаясь в словах разрешить невозможное: совместное существование воли ничтожного человека и воли всемогущего. Темные, опасные размышления, попытка пройти над пропастью ересей по лезвию ножа. Вера в Судьбу плотной завесой закрывала действительность.

Полководец делал свое, зная, что успех решает Судьба. После боя, облекшись в зримые формы, воля Судьбы становилась понятной.

Побежденный видел, что его противник оказывался многочисленнее, чем казалось. Или же к победителю в последний час прибывали подкрепления, а надежды побежденного на дополнительные силы оказывались обманутыми. Обнаруживались засады, счастливо для противника сохранившие запасную силу внезапного удара. После боя и солдату была видна воля Судьбы.

Для недобитых и спешенных тзурульских всадников сегодня Судьба явила нечто совсем новое. Они встретились с летучим воинством самого Сатаны. Поймать таких – ловить рыбу голой рукой.

Эти варвары обладали особенным оружием. Их стрелы протыкали панцири, пробивали щиты. Найдя запястье под наручем, стрела пришивала руку к груди.

Не всем раненым удалось вырвать стрелу. Торчали куски дерева, сломанного в горячке. Наконечник засел глубоко, будь проклято все и да смилуется Иисус, сын божий, который обрек на гибель христианское войско.

– Пресвятая Дева Мария, не дай погибнуть! Кто надел однажды каску солдата, тот и умрет в ней. Солдат ничего не умеет, кроме своего ремесла, смилуйся, бог, над убийцей, насильником, грабителем, вором, я делал то, что другие.

– Будь мне свидетелем сам Сатана, если бог пронесет меня живым, отныне я буду сражаться против скифов только из-за стен крепости. Ведь я останусь солдатом, ибо куда мне деваться? Взять суму нищего, чтобы меня схватил префект или сделал рабом первый же владелец, изловивший на своей земле бродягу?

Солнце мертвых – луна осветила беглецам дорогу к спасению. Они пытались ловить лошадей, тоже привлеченных рекой. Кто-то, напав на своего, как на врага, кинжалом сбрасывал с седла удачника. От страха дрались между собой.

Другие искали товарищей, сжившись с ними в казарме и в строю. Находились смельчаки, возвращавшиеся в поле. Они звали, оплакивали друга, с кем умели делить чашу вина, кусок хлеба, женщину. Отчаянный призыв будил тишину в трех стадиях от костров скифов. А в двадцати стадиях в камышах перешептывались трусы и плыли через Гебр, стараясь не плеснуть водой.

Плакали покинутые раненые. Не слышно было начальствующих. Все ли они перебиты, или выжившие прячутся – солдатам не было дела.

Скромником сидел Мал в кругу старших, хоть и сам был старший, вел в дальний поход сотню такую же, как у старого слобожанина Крука. Не притворялся Мал. Он и на самом деле был молчальником, каких россичи уважали, считая праздное слово пороком.

Сотник. Подумать надо: сто воинов, сто мечей, сто копий. Сто луков – сто трупов сразу лягут.

Было время, сам князь Всеслав в росской слободе владел одной сотней. «Недавно, думаешь?» – спрашивал себя Мал. Ан, давно, ибо годы считают делами, а не опавшими листьями.

Через ненужные, обветшалые засеки, годные ныне одному зверю на норы, повсюду горные дороги. Что они знали, бывшие люди! Дальше своего кона глаза не глядели. Понаслышке – и то не видали широкого мира.

Мал сказал свое слово: роздых дать назавтра, а там – дальше идти.

Что еще говорить нужно! Роздых – стрелы собрать, коней уходить, себя осмотреть, тело вымыть в сладкой воде. Все в своей руке, все в своей воле. Хорошо, пленных нет. Свободно. Малу не нужны пленники.

Крепко запомнился Малу разоренный хазарами погост и поруганное тело злобного нравом, но любимого пращура Велимудра. Старик зол был не душой, а страхом перед Степью. «Нет, теперь мы на Роси иначе живем. Сверху Велимудру видать, как трягнули империю, будто щенка!»

Молодым слобожанином Мал самовольно ушел одвуконь на юг по степной дороге. После двух лун вернулся; кроме сбереженных коней, пригнал пару чужих. На вьюках – добыча.

Крепка власть старших. Четыре луны Мал в наказание полонил траву на погосте. Молчал и будто бы усмеялся – ему щеку посекали, и рубец подтянул верхнюю губу в первом пуху. Он, переправившись через Ингул, шарил по правому берегу Днепра. В низовьях поймал трех всадников. Какого племени? Кто знает.

Еще через четыре лета Мал исчез уже не один, а с тремя товарищами. Труднее стало выбираться с Поросья. Прежде – шагнул через Рось, миновал Турье урочище – и стерегись только чужих. Теперь же пахали поляны на три, на четыре дня южнее Роси, в верховьях Ингула и Ингульца садились жадные до чернозема припятчи. У Орлиной горы стояли росские дозоры. Не пройдешь. Ужом проскользнули молодые слобожане: не по нужде, но чтобы похвастаться ловкостью.

Знакомыми путями Мал провел товарищей ниже Хортицы. Через Днепр переправлялись по-хазарски, подвязав козы мехи. Пошли на восток, переправились через беловодный Танаис-Дон и уткнулись в Итиль-реку, ранее никем из россичей не виданную. Там молодые разведали хазарские гнезда, сумев себя не обнаружить лихостью.

Вернулись на Рось зимой, тоже с добычей, даже с горсточкой редкостных на Роси золотых монет. На обратном пути у левого берега Днепра встретились наездникам какие-то люди, возвращавшиеся с осеннего торгового рынка на Хортице. Не удержались россичи, хотя лазали в хазарскую глотку за другой добычей.

На тонкой коже, выделанной по ромейскому образцу, Мал привез рисунки, черченные свинцовой палочкой. Ручьи, реки, курганы, луга, леса-рощи, мертвые пески, сладкие озера – все нужное, если случится идти бить хазаров. Трудный это путь. На этот раз Малу был почет от россичей. Он уходил глядеть хазаров по княжескому приказу.

Лошади паслись в ленивой дреме, чтобы свежими очнуться под утро.

Россици спали, положив головы на седла. Стан открыт всем ветрам. Тихи и теплы ромейские ночи, хороша здесь земля.

Сладка ночь, спокойна. Отлетели стаи душ убитых ромеев. Ночной зверь, каких нет на Роси, жалко и гадко воет вдали. В поле луна бросила длинные тени раненых лошадей. Лошади умирают молча и стоя. Где-то зовет человек. То ромей жалуется на свою долю.

Волчьи стаи подходят и отступают. Чужой запах человека, щетинят на хребтах шерсть. Сторожевые, оцепив стан, не спеша разъезжают взад-вперед, молча встречаются, овечьими прозрачной дремой, которая не мешает им ни слышать, ни видеть.

Руки и ноги Асбада скованы цепями. Цепи взяты из вьюков ромеев. Такая снасть есть в каждом вьюке. Солдаты из Тзуруле захватили припас, готовясь захватить и варваров.

Пальцы Асбада замерли на шариках четок. Палатийская привычка. Старая, Юстиниан Божественный сделался еще благочестивее.

Пленный комес получил кусок хлеба, испеченного в золе, кусок лошадиного мяса, обугленного в костре, и воду. Он будет жить, дав за себя выкуп. Выкуп особый – словами.

Асбад знает все о силах империи. Нарзес оставил в Италии свою армию. Иначе поднимутся новые рексы италийцев, новые Тотилы и Тейи. Иначе вторгнутся франки. Иначе вторгнутся лангобарды. На востоке, на Кавказе граница империи постоянно кровоточит. Патрикий Кирилл ведет против вторгнувшихся варваров два легиона. Это все, что осталось во Фракии.

Охваченный ужасом, с волей, сломленной долгими часами безысходности, Асбад, не думая, не понимая, выдал скифам на допросе и патрикия Кирилла; Асбад не знал, что префект уже побежден. Сейчас Асбад утешал себя. С тзурульской конницей пала одна из стен империи. Но империя непобедима. Варвары появляются, варвары исчезают, а империя плывет и плывет, как непотопимый корабль. Стены воздвигаются вновь, варвары утомляются ломать их. Империя вечна. Нужно уметь сохранить себя. Будет еще и власть, будут и радости жизни. Асбад не может спать. Вспоминая день боя, он вновь видит смерть, смерть. Сколько раз она касалась тела. Тогда ему не было страшно. Теперь он содрогается от воспоминаний, трет лоб, чтобы отогнать призрак, и цепь звенит, ударяет по лицу. Страшно. Но его хранит Судьба, Судьба.

Судьба за него. Этим поистине можно гордиться.

5

Лошадь, боясь каменной осыпи, осторожно переступала, испытывая чутким копытом надежность опоры. Тревожил запах других лошадей. Хотелось движения. Чужая воля всадника, гнедой успокоился: ждать, нужно ждать.

Гладкое море поднималось сине-алой стеной, вровень с горами, чудесно обманывая глаз.

Исполнилась мечта, исполнились сны, легко уносившие Ратибора из темноты зимних ночей, из слободской избы на берега Теплых морей. И вот он здесь не в легком полете души, но в яви телесного образа.

Пропуская войско, походный князь глядел не на море, а на лица россичей. Равняясь с Ратибором, всадники умолкали. Каждый думал – а как прилажен колчан, ладно ли лежит седло, плотен ли выюк и ровны ли переметные сумы. Строг походный князь, все видит. Сотни стекали правым берегом Гебра, по имперской дороге, к морю.

Ратибор не искал неисправностей в оружии или седловке, он хотел найти себя в молодых. Его же время ушло, не тот он, его не влечет больше мечта о чудесном. Он несет собой войско.

Его мир больше мечты, с которой некогда поплыл в империю случайный друг Индульф-Лютобор, прусс с Волчьего моря.

Лазоревая степь понижалась. Под копытами русских коней уже перекачивается обточенная волнами галька. Уже легло под ними послушное море, оно глаже, чем самая гладкая степь. Ходить бы по спине таких вод, будь вправду у человека такая сила, о какой некогда ггал на Торжке-острове черный ромей.

Вот и море. Оно край земной тверди. Не чудеса теплых вод увлекают Ратибора. И он думает не об этом малом войске, с которым ныне пришел на берег Теплого моря. Его забота – большое войско, большой простор.

На полуночь от Роси густы леса, узки реки-дороги. С Днепра есть две речные тропы: на Ильмень и Двиной на Волчье холодное море. В лесных дебрях, в глубоких снегах и в топях болот тонет стылая безлюдная полуночь. На полудень же конному россичу свободно идти. Степи открыты, горы доступны. Полудень близок, в нем нет беспредельности полуночной тверди. Нужна сила войска.

Думалось Ратибору и о том, что имперская Византия стоит далеко от границы, а любимый Всеславом Княжгород на краю русской земли. Хорош Княжгород, как крепость против Степи. Так и ставился он, после победы. Сила войска – от силы земли. Сидеть бы поглубже русскому князю там, где лучше слышен голос земли.

Дальний край моря, потемнев, отрезался от небосвода. Ветер бежит, нарушая безлюдный покой чужой соленой воды. Ратибор слышит ропот голосов, слышит конскую поступь. Послушно и стройно идет молодое войско. Прожитыми годами походный князь вдвое старше почти каждого воина. Но его тело сильнее, чем в лето первой схватки, когда у Сладкого ручья били налетных хазар. Чудесно шевельнулось забытое, и князь не стал себя обманывать: смуглая девушка, которая его ждет на развалинах Мизийского Неаполя, это хазаринка.

Как ветер пыль, так слух о русской силе уносил ромеев с дороги, будто бог до срока брал их к себе на небо.

Были пусты селенья из камня за каменными же стенками. Однако поля, вползавшие на откосы предгорий, желтели созревающим хлебом. Сады были полны обилием плодов. Повсюду ограды или завалы устроены из колючего тегенька – кустарника, который ромеи называют акулеатосом – держидеревом.

Россичи научились отличать только что покинутое жилье от давно заброшенного, где через обвалившиеся крыши проросли деревья, стены закрылись мхами.

Из Юстинианополя навстречу войскам выезжал патрикий Кирилл, неудачливый полководец. Он прибыл как друг, с дарами сладкой пищи, вина, украшений. От имени базилевса-автократора, повелителя империи, префект Фракии предложил Ратибору союз. Будет навечно забыта обида, причиненная славянами великой империи. Пусть славяне останутся во Фракии. Фракия славится плодородием земли и радостями жизни. Славяне получают уже возделанные земли, дома, обзаведение. Им привезут красивых женщин. За все славяне обяжутся службой в войске. Они, как союзники, будут воевать за базилевса, и добыча, которую они возьмут, станет их собственностью.

Старая имперская практика: смягчить варваров, осадить их на землю, задарить. Сначала – союзники, потом и подданные. Предшественники Кирилла иной раз преуспевали в подобных делах. Знал о таком и Малх. Поэтому он, переводя ответ Ратибора, своей волей перевернул язык и оставил патрикию надежду: «Князь будет думать, князь здраво обсудит твое предложение».

На лугах, на брошенных полях в избытке хватало корма для лошадей. Всадники для себя ловили скотину, забытую ромеями в бегстве. Здесь было хуже, чем в степи, где походя брали облавами туров, тарпанов, косуль. Волки опережали россичей и резали беззащитных коров, быков, коз, овец.

Ромейские яблоки, груши, сливы были крупнее русских. Хлеба же – заметно тоще, короче колосом, мельче зерном. Поэтому ромейские купцы так старались на торгу брать русский хлеб, думали россичи.

Река Нестос защищала город Топер с трех сторон. Крутые берега, еще более поднятые крепостной стеной, не давали подойти к Топеру от реки. С севера город укрывала стена в шесть человеческих ростов, усиленная рвом. Спешенные сотни Крука и Мала осаждали Топер, втянувшийся в стены, закрывший ворота, изготовившийся защищаться до последней капли крови, капли воды и куска хлеба.

Мимо Топера пролегла имперская дорога, соединявшая Византию с Македонией, Эпиром, Элладой. Государственная почта, гонцы которой пользовались подставами и одолевали путь от столицы до Топера за три дня, а от Юстинианополя – за один, давно известила префекта Акинфия о вторжении варваров. Более двадцати дней тому назад пришло сообщение о разрушении варварами крепости Новеюстинианы.

В течение жизни трех или четырех поколений никакие варвары не появлялись вблизи Топера, поэтому здесь никого не волновало обычное вторжение во Фракию. Страх за себя возник после разгрома легиона, обнажившего дорогу через Юстинианополь. Положились на тзурульскую конницу. Погибла и она. Надеялись, что варвары пойдут к Византии. Почта перестала работать, Топер ничего не знал до появления первых беглецов: варвары уже приближались к устью Гебра.

На серой, пыльной стене было многолюдно. Под котлами, большими, глубокими, но еще холодными, были разложены костры. Заготовили и камни. Иногда вниз валились полена или обломок камня весом в два десятка фунтов, сброшенные в давке.

Такая сила против кучки варваров. А может быть, снизу грозят и не варвары, но обнаглевшие скамары?

Топер жаловался на осаду голосами тысяч и тысяч животных. Ржали лошади, блеяли овцы. Гневный рев быка не мог заглушить горестное мычание коров. Как сговорившись, все сразу, задыхаясь и спеша, вопили ослы. Не город – загон для скота.

Не только для скота, загон и для людей, как каждый город империи, подданные которой привыкли сбиваться за стены. Страх перед варварами загнал в Топер тех, кто не смог или побоялся уйти в горы. В городе можно было найти и фракийца с устья Гебра, и македонца, прибежавшего навстречу варварам из-за Нестоса, древней границы между Македонией и Фракией. Беглецы стояли лагерем на всех улицах, всех площадях. Домовладельцы сдавали в прибыльную аренду каждый локоть двора и сада, брали за право черпать воду из колодца, разводить огонь, пользоваться нечистыми местами – латринами.

Сколько подданных сейчас в Топере? В первый день префект Акинфий велел страже у ворот считать прибывающих. Легионеры сбились, префект не настаивал.

Безоружность подданных делала их легкой жертвой скамаров-людокрадов, похищавших сколько-нибудь состоятельных для выкупа. Уже давно города-крепости вобрали окружных землевладельцев. В селениях распоряжались наемные управители, доходы падали: хозяина не заменишь.

Спасая себя, управители бежали в Топер. Отвечая по договорам найма, составленным нотариями, своим телом и его свободой за доверенное их распоряжению хозяйское имущество, управители старались спасти запасы, пригнали скот, рабов. В город вдавливались груженные телеги, шумные стада и молчаливые толпы двуногих животных, без которых земельная собственность не имела цены. Явились рабы империи – колонны со своими рабами, сбегались даже сервы и приписные к земле: варвары не разбираются между подданными.

Еще никто не видел вторгнувшихся скифов. Утверждали, что они обладают исполинским ростом, зубами людоедов и бесчисленны, как зимние волки. Ворота закрылись. Опоздавшие умоляли впустить их. Стража пользовалась случаем, приоткрывая створки за деньги.

Наконец явились и варвары. Издали, с высоты стен и башен, они казались обыкновенными людьми, даже мельче. Их сосчитали. Их оказалось немного. Не мириады, как передавали раньше, но сотен двенадцать или меньше. Пробыв под городом не более половины дня, скифы ушли. Префект не решился сразу открыть ворота: появились пешие варвары. Остерегаясь известного коварства славянских скифов, Акинфий решил выждать.

Шел четвертый день осады. Кучка пеших варваров на немом языке жестов выражала осажденным свое презрение.

Несколько городских куртизанок, исправных налогоплательщиц, с общего одобрения издевались над скифами, показывая им со стены части тела, обычно скрываемые от глаз. Несомненно, оскорбление достигло цели, и дикие варвары были жестоко унижены.

Затем префект приказал водрузить на стене виселицу. За неимением в Топере пленных из числа ныне вторгнувшихся варваров вздернули девятерых преступников из числа заключенных в городской тюрьме злостных неплательщиков налогов. Логофет Топера Гордий, человек образованный, произнес двестише из Гомера:

Петлей шею стянули, и смерть их быстро постигла;
немного подергав ногами, все разом утихли.

Варвары же были испуганы, они метались, размахивали оружием и нечто кричали, постигая силу империи.

Затем городские коластесы-палачи на виду у варваров принялись рубить ноги, руки и головы у других,

обреченных быть казнимыми для общей пользы. Обрубки сбрасывались вниз. Стену залило кровью.

Казни вызвали у осажденных необычайный подъем духа, а варвары были охвачены ужасом. Они, жалкая кучка пеших разбойников, оставшая от своих по варварской глупости, отступали и отступали по широкой дороге, которая, уходя от города на северо-восток, вела вдоль предгорий Родопов, к устью Гебра. По ней они пришли, по ней думали исчезнуть безнаказанно.

Мал первым заметил, что на стене не оставалось более солдат-латников, к виду доспехов которых россичи успели привыкнуть. Спешенные сотни Крука и Мала ускорили шаг. Они были уже в версте от Тонера, но ликующие крики ромеев еще были слышны.

Полторы или две сотни всадников выскочили из темной арки городских ворот, а вслед за ними – пешие солдаты. Город, которому надоела осада, вытолкнул их, как стаю гончих собак.

Конные были добровольцы из подданных; каждый получил доспехи и оружие из тощего арсенала префектуры взамен письменного обязательства вернуть имперское имущество в целости, возместив возможную порчу.

Акинфий не хотел больше ждать. В переполненном городе не хватало воды. Летом уровень воды в колодцах понижался. Чтобы удовлетворить кое-как дополнительную потребность, префект поставил стражу у колодцев, которая выдавала воду. Не хватало дров и угля для приготовления пищи. Даже свободные и не из малоимущих питались зерном, мучной болтушкой и сырым мясом, натертым солью.

Цены на хлеб поднялись в пять раз, на дрова – в десять. Овощи продавались втайне. Единственно дешевым было мясо – скот издыхал от дурного содержания.

В Топер согнали двадцать тысяч, может быть, больше, сельских рабов, диких, как обезьяны, которых изредка привозили из-за нильских катарактов для потехи на византийском ипподроме. Многие из рабов были навечно закованы. Городские эргастулы – тюрьмы для рабов – были так набиты, что несчастные погибали от недостатка воздуха. Потери приводили владельцев в ярость.

Четвероногую и двуногую «падаль» зарывали, где придется, во дворах, в садах. Навоз и нечистоты некуда было вывозить. Завалы навоза породили мириады мириадов сине-зеленых мух. Топер смердел, как нечищенный свинарник.

Некоторые уже умерли от острых болей в животе. Боялись язвы-чумы, которая, как известно, зарождается от тесноты и нечистот.

Гарнизон Топера, вобравшего пятнадцать застав с имперской дороги, достигал двух когорт полного состава, по триста шестьдесят мечей в каждой.

Семнадцать дней город был осажден страхом, один день – конными варварами и четыре – шайкой пеших. Топер истекал не кровью, а гноем. Пора кончать.

Добровольные конники храбро выскочили из ворот, мужественно одолели две первые стадии, смело – две следующие. На пятой они начали подбирать поводья и на шестой остановились, чтобы подождать пехоту. Неразумная лихость ведет к поражению даже солдат.

Солдаты поспешали широким шагом. Легат, командовавший обеими когортами, знал округу Топера, как собственный щит.

После нескольких извилин между холмами дорога подходила к горам и в сорока стадиях от Топера охватывала петлей берега щели. Через щель была тропа, доступная пешком. Путь сокращался в несколько раз.

Легат не надеялся догнать варваров, а к добровольной коннице он относился с презрением человека, прожившего в строю двадцать лет.

Он решил отрезать варварам путь к отступлению, воспользовавшись тропой через ущелье. Тогда и соломенная конница окажется силой.

Загаженный Топер отравлял не одних рабов в гнойниках эргастулов. Ядовитые испарения, как мухи, проникали всюду. В последние дни гнусная зараза вторглась в казармы. Обе когорты уже потеряли одними умершими сорок мечей. Пора очистить округу.

Преследуемых и преследователей разделяли три стадии. Расстояние не сокращалось и не уменьшалось, будто врагов связывала веревка.

Топер исчез за лесистыми холмами. Здесь начало петли. Легат видел – варвары миновали тропу. Исполнившись надежды на успех, легат послал свою вторую когорту, ослабленную, вслед коннице. А сам во главе первой свалился вниз, в обход.

Быстрее! Быстрее! Хватаясь за грабы, дубы, орешник, ольху, которыми густо зарос влажный овраг, солдаты сбегали с кручи.

Торопись, торопись!

Взбираться было труднее.

Каска, панцирь, поножи, поручень... Щит – солдатское спасение и солдатское проклятье вместе. Меч, кинжал, дротик. Иные священники, давая солдату отпущение, говорили, что грех пьянства, сквернословия и обжорства бог прощает защитникам христианства и без покаяния за тяжесть доспехов, и оружия.

Увлекая своим примером, легат первым выбрался на дорогу, неровную, но широкую, вымытую дождями, перепадавшими в дни осады. На ней не было свежих следов. Легат опередил варваров. Вот и они. Легат отступил за стену деревьев. Хорошее место для засады. С одной стороны бок горы, с другой – щель.

Варвары в клещах, они погибли.

6

Легат видел – славяне почему-то остановились, не дойдя двух стадий до засады. Изгиб дороги и деревья, подступившие вплотную к ней, закрывали топерскую конницу и вторую когорту. Что-то происходит... Нет, они опять двинулись.

Со всех сторон раздалось воронье карканье. Со всех сторон скифы, гунны, анты, славяне – кто же по-настоящему различал варваров! – набросились на легионеров.

Россич учился красться, не шевеля былку. Умел волком ползти, а волку, чтобы укрыться, довольно травы вполколена человека. Россич мог будто утонуть за камнем в земле, как в воде, и прятался в кустарнике, где заяц едва найдет место.

После коротенькой схватки легионеры были сброшены в щель и там добыты. Несколько особенно прытких солдат успели, выскочив на дорогу, бросить каски, оружие и забраться на гору, в лес.

Мал и Крук, которым здесь нечего было делать, повернули против своих преследователей. Добровольцы-конники, спасаясь, смяли легионеров второй когорты в надежде прорваться к городу. Но дорога в тылу была перехвачена.

Как и впереди, где неудачливый легат устроил засаду в пасти росской западни, и здесь столкновение рассыпалось на состязания в силе и ловкости.

Легионеры старого Рима, для своего времени владевшие несравненным искусством боя в строю, несли чрезмерные потери, когда их застигали в движении или в неудобных для единства битвы местах, в лесах, в болотах.

Византийский солдат был слабее римского и в строю. Пехота базилевса в одиночной схватке была беспомощна. Но не победой телесной силы россича совершилось быстрое уничтожение гарнизона Топера, а превосходством воинского умения взять врага, как чайка-буревестник берет рыбу из разбушевавшегося моря.

Ни один конник, ни один легионер не вернулся в город. Россичи впервые были зрителями публичной казни и без сговора между собой сегодня не брали пленных.

Акинфий почувствовал, что недавние дни и часы, тревожные, мучительные даже, были лучшими в жизни, невозвратно прекрасными. Только что, казалось, когорты ушли бить варваров. Акинфий едва успел пообедать, едва успел вернуться на стену. К городу опять подступали варвары. У Акинфия осталось десятка два легионеров личной охраны: вся армия Топера!..

Префект опомнился. Чтобы полакомиться устрицей, нужно вытащить мясо из раковины. С трех сторон город неприступен, с четвертой – стена поднялась на восемнадцать локтей, к которым сухой ров дополняет еще шесть. Ворота недавно обновлены. Никому не разжать створки Топера.

Пусть родится чума, пусть начнется голод, скифам не вторгнуться в город!

Рядом, стадиях в двух от рва, варвары отесывали тонкие бревна и с удивительной быстротой – префект видел каждое движение – врезали ступени. Лестницы рождались на глазах осажденных. Вот готова одна, вторая...

Они хотят забраться на стену крепости, как кровельщик на крышу дома, тупые варвары, пришедшие неизвестно откуда.

Масло щедро кропило дрова и угли, загорелись костры. Огонь раздували кузнечными мехами. Смола плавилась.

К грудам камней были приставлены сильные мужчины. Свободные. Молодые землевладельцы, с мускулами, развитыми упражнениями. Ремесленники. Рабам здесь не место. Имеющий раба имеет врага.

Стена широка, как дорога. Было так многолюдно, так шумно, что варвары казались немыми, а их топоры – беззвучно вонзающимися в дерево.

Варвары подняли готовые лестницы. Приближаются. Горожане выкрикивали оскорбления, соревнуясь, кто крепче обругает скифов.

Священники благословляли защитников. Святая вода дождем слетала с кропил, сделанных из лошадиных хвостов. Запах ладана заглушался чадом дров под котлами.

Помолимся, помолимся! Слава в вышних богу! Слава! Слава! Сейчас варвары скорчатся под стеной, опаленные кипящей смолой, с выжженными глазами, с переломленным хребтом. Осанна, осанна!

Движение лестниц замедлилось. Остановка. Варвары испугались. Теперь им придется подумать. От них до стены осталось шагов двести. Теснота на стене мешала тому, кто умел метнуть камень из пращи.

Десять лестниц или одиннадцать? Акинфий никак не мог сосчитать и упрекнул себя: «Ты волнуешься, как женщина». Когда гарнизон вышел из города, префект обещал дочери пленника-скифа.

Выродки. Тускло-коричневые доспехи, темные, грязные лица, усы, как куньи хвосты. Дикае люди, не познавшие прелести красоты.

Топер был самым значительным и самым богатым городом на фракийском побережье. За свое назначение префект Акинфий возблагодарил империю взносом в Священную Казну Палатия донатима в тысячу статеров. И четыреста статеров каждый год.

Префекту нужны деньги сверх обычных налогов.

Узнав о вторжении славян, префект через глашатаев и объявлениями на листах ситовника известил подданных, дабы они не ждали хорошего.

– Эти варвары, – объявили глашатаи, – убивают христиан не обычными способами, как-то: мечом, ножом или копьем, но мучительно, по-язычески. Вкапывая в землю заостренные колья, варвары насаживают на них подданных, как следует поступать лишь с преступниками. Или же, растянув на земле, варвары убивают христиан палками, камнями, что приличествует делать только с собаками, змеями или дикими зверями в наказание за причиненный ими ущерб садам и полям...

Все постоянные жители Топера и все получившие в нем временное убежище обязывались немедленно внести особый налог для защиты города.

Утомленные собственными злодействами, варвары запирают христиан в домах вместе со скотом и поджигают с дьявольским умыслом, чтобы люди сгорали, изувеченные копытами обезумевших от пожара животных.

Известия о зверском характере скифов встречались с доверием. Привыкнув к зрелищам еще более изощренных пыток и мучительнейших казней, подданные воспринимали такие же действия варваров как естественные и сами собой разумеющиеся. Особый налог на оборону Топера внесли все и без спора – строптивым обещали немедленное выселение за стены.

Безоружные горожане сумеют отстоять Топер смолой, камнями, дубинами, кирками.

Подданных душил угар от углей и дым от дров, разило смолой. От чрезмерного усердия неопытных рук в двух или трех котлах загорелось адское варево. Развевались толстые струи багрового пламени с чадными хвостами жирного дыма.

Подпалило хоругвь, принесенную на стену причтом соборного храма святой Феодоры, ангела-хранительницы базилисы.

Железные лапы тагана под ближайшим к префекту котлом, разогревшись докрасна, прогнулись. Котел накренился, и горящая смола полилась по стене. Защитники, обожженные брызгами, отпрянули, забыв, где находятся. Несколько человек сорвалось вниз. Кто-то повис, зацепившись руками, призывая на помощь. «Туда и дорога», – подумал Акинфий. Он отвлекся. Да и что он мог еще сделать. Варвары будут отбиты!

Ощувив удар по руке, префект гневно вскинулся: кто осмелился? Наваждение! Толстая стрела прошла через ладонь до самого оперения. Ощущалось оскорбление, а не боль.

Внизу славяне держали на весу лестницы, задрав вверх усатые лица. А дальше, шагах в четырехстах от стены, варвары, раскинувшись веером, били из луков прямо в префекта.

Одежды сановников подобны облакам, шапки – венцам. Из-за жаркого времени Акинфий облачился в легкий хитон и увенчал голову златошитой повязкой.

Охрана префекта, поняв опасность раньше других, сдвинула щиты. Солдат закричал:

– На колени, светлейший!

На колени? Дерзость! Солдаты согнулись за щитами, Акинфий присел. Кто-то схватил его руку, сломал стрелу, рванул древко. Кровь брызнула, как из стенки фонтана. Префект ослабел, его затошнило.

Варвары били в каждого, кто только был на стене: так ответили бы все, будь у кого время задавать вопросы. Стрелы стелились по стене с плотностью ливня, подхваченного бурей.

На каждые двести шагов стены приходился один спуск внутрь города со ступенями, длиной в десять шагов. Защитники города бросились к лестницам, толкая один другого со стены, падая в костры. Кто выжил, тот не сбегал, а катился по крутым ступеням.

Десять или одиннадцать лестниц славяне приставят к стене? Акинфий, которому стянули руку его же головной повязкой, пытался понять, что еще может сделать префект Топера.

Задыхаясь, все сразу закричали тысячи ослов, собранных в Топере, полдень – их час. Разбойно мучил слух набат городских храмов.

Пылающая смола из опрокинутых котлов, разлившись по стене, отрезала путь спасения от варваров всем, кроме Сатаны.

Варвары уже на стене. Они овладели и внутренними лестницами в город, в богатый Топер, славную столицу фракийского побережья, за выгодное управление которой Акинфий внес Священной Казне донативум в тысячу статеров...

Легионеры, вместе с Акинфием застрявшие на стене, спрятали префекта внутри черепахи из прямоугольных щитов. Высунув голову, как гусь над забором, Акинфий увидел рослого варвара. Вскочив на стену снаружи, варвар хотел броситься в город, но заметил щиты. Ручей горячей смолы не позволил ему напасть на сжавшихся легионеров. Выгибаясь, как титан в старой битве с богами эллинов, варвар обеими руками поднял восьмидесятифунтовый камень, размахнулся, метнул. Ты же сам, Акинфий, прозорливо извещал всех, что скифы побивают христиан камнями, как диких зверей.

Малху все мнилось навязчиво и тревожно, что он уже побывал когда-то в этом доме богатого человека, красиво поставленном над морем. Когда же? В годы скитаний с мимами? Нет, нет! Быть может, душа, блуждая во снах, пролетала здесь.

– Ты, ромей, ты был чист, был христианин, – говорил Малху Асбад. – Почему же ты не захотел удержать этих дальних славян от вторжения в империю? Увы, ты, как эллин, захотел мстить, наверно.

В первый день плена Асбад, цепляясь за жизнь, как кошка, повисшая на карнизе, не скрываясь, рассказал Малху все нужное об империи. В обмен комес получил жизнь и обещание быть отпущенным из неволи еще на имперской земле. Свыкнувшись с временным пленом, Асбад забыл первые страхи.

– Нас никто не приводил, нас никто не мог удержать, – возразил Малх. – Нападая на всех, империя щедро рассеяла зерна ненависти к ней. Посев взошел. Все ходят к вам за добычей. Мы пришли как охотники, а не завоеватели.

– Но почему ты отождествляешь себя с варварами? – спросил Асбад.

– По праву усыновления ими. Ты, считающий себя ромеем, кто ты сам по крови? Ты этого не знаешь, – ответил Малх.

– Нет ни эллина, ни иудея, – сказал старческий голос, принадлежавший пресвитеру Топера.

Соборный храм Топера только на вид поражал богатством внутреннего убранства. Провинции не имели денег. Россичи по невежеству прельстились обманным блеском камней. На самом деле алмазы, изумруды, рубины, сапфиры изготовлялись из прозрачного и цветного стекла, подложенного для искристой игры тонко плющенным серебром, медью, пластинками перламутра. Подложенные – подложные драгоценности. Пресвитера Малх нашел в алтаре и соблазнился благообразным лицом топерского святителя. Малх хотел беседы. Не нашлось ритора – пригодится священник. Малх привел пресвитера в дом над морем.

– А кто ты по племени? – спросил Малх пресвитера.

– Никто, – ответил священник, изощренный в диалектике. – Христианин не различается по цвету кожи. Церковь едина, как империя. Напрасно ты уподобляешь империю добыче охотника. Варвары появляются, исчезают, империя живет. Варваров осияет истина в день, назначенный богом. Я молюсь и о тебе, отступник.

– Молись, – разрешил Малх с иронией. – Молитва вредна лишь верующим. Вы называете нас дикими. Но угнетение людей – у вас. Наглое войско, которое грабит своих и не умеет защитить их, – у вас. У нас же один не попирает другого и все дела – общие, ибо мы живем в народоправстве. Наши князья едят общую пищу, носят общую одежду. Мы их слушаемся как более сведущих.

– Не верю, – возразил Асбад. – Ты говоришь о Золотом веке. Так было. Так не может быть более. И я не хочу такой жизни. Бессмысленно уравнивать патрикия и плебея, комеса и солдата, землепашца и владетеля...

– Подожди! – резко и сильно перебил Асбада пресвитер. И, обращаясь к Малху, сказал: – В твоих словах есть правда: земной мир обманывает нас видимостями совершенства. Сатана расставляет сети, он великий ловец. Остерегись, победитель. Истина только в Христе. Бойся бога и ада в вечности мучений.

– У нас, россичей, нет ада, – ответил Малх. – Наши боги скромны. Пусть они носят разные имена – они одинаковы. А у тебя два разных бога. Слушай же! Твой Христос учил милости и любви, общался с людьми, не возносясь над ними. Второй бог, которого вы называете Отцом, злобен и капризен, как пресыщенный базилевс. Твоему Христу нужно было отбросить старого бога. Он не смог. В этом его ошибка.

– Кошунство, схизма! – воскликнул Асбад.

– Бог да простит тебя, – сказал пресвитер, издали благословив Малха. – Живя с варварами, ты, погружаясь в мирское, забыл главное. Земная жизнь коротка. Для своей пользы человек обязан думать лишь о спасении души. Жизнь подобна сновидению. Смерть тела – вот истинное пробуждение.

– Неправда!

Малх, пытаясь заглянуть в себя, удивлялся собственному спокойствию. Сейчас он нарочно повысил голос, чтобы раздражить собеседников.

– Неправда, ты лжешь, жрец! Душа человека пробуждается с рождением тела. Но рассудим о другом. Вы оба хотите навечно попасть в рай. Мудрецы говорили: цена всего существующего познается по сравнению. Пока вы будете петь хвалы небесному базилевсу, другие жарятся в вечном огне. Смерд паленого мяса претворится в аромат райских роз. Что за цена раю, коль там все люди! Пока же, на земле, вы запугиваете адом других, дабы превратить их в данников.

– Ты оскорбляешь пленников! – воскликнул Асбад.

И опять пресвитер остановил неразумного комеса. Топерский святитель хотел поселить колючку сомнения в душе Малха.

– Да, многие, именуюя себя христианами, поступают хуже язычников, – сказал пресвитер. – Но не принимай частное за целое. Раскаяние даже в последний миг спасет твою душу.

– Мне не в чем каяться, – возразил Малх. – Я не лгу, не развратничаю, не краду. А вот этот комес, как все полководцы империи, ложно увеличивал число своих всадников, чтобы попользоваться жалованьем мертвых. Посмей отрицать, Асбад! Совершая переходы по империи, ты грабил твоих братьев-христиан и позволял солдатам совершать то же самое. Ты терзал, ты подвергал мучительной казни твоих рабов за малейшее упущение, по подозрению. Ты покупал для разврата женщин. Ты разбрасывал детей, не думая о последствиях блуда. Нужно ли еще уличать тебя?

Асбад не ответил. Малх обратился к пресвитеру:

– Нужно ли, чтобы я вывернул и твою душу, как старый мешок? Так, чтобы тебе захотелось отказаться от сана?

– Как хочешь, как хочешь, – смиренно согласился тот. – Я заблуждаюсь, как человек, каюсь, оплакивая грехи. Никто не свят. В стаде же ничего не меняется, грешен ли пастырь или нет, – защищал свой сан святитель. – В истинном вероисповедании есть крепость церкви. Спасает вера, а грехи святителей не лишают их права отпустить грехи других христиан.

Участник многих прений о догматах церкви пресвитер продолжал, убежденный в своей правоте:

– Не прав ты в мыслях о равенстве в жизни земной. Люди равны в бессмертии душ, равны в праве на спасение. Ибо раб может быть принят в обители блаженных, сановник же – отвергнут. На земле бог, в своих непонятных для человека целях, дает одному богатство, другому – нищету. Горе нарушающему порядок. Мед земли есть худший из ядов. У меня нет зла к тебе, бывший христианин. Теперь же отпусти меня.

– Не торопись, – сказал Малх. – Не за тобой последнее слово. Асбад еще не ответил мне.

Чувствуя опору в пресвитере, комес вспомнил рассуждения палатийских богословов:

– Душе нужно смирение, а не воля. Все совершается по воле бога. Греша, я каюсь. Истинная Церковь прощает меня, допускает к причастию. И я обновляюсь. Человек подвержен соблазнам.

Говорить с ними – метать стрелы в камень. Малх сказал с усталой насмешкой:

– Действительно, этот комес мог бы надеть твою рясу, святитель. Я не противник милосердия: да будет прощен искренне кающийся. Но не способствует ли ваше каждодневно-легкое отпущение любых грехов их неустанному повторению?

Пресвитер молчал. Малх продолжил:

– У нас не прячутся за спину богов. Поэтому мы отличаем доброе от злого. Мы побеждаем вас не одной нашей силой, но и вашей слабостью.

– Меня вы победили стрелами, – возразил Асбад.

– Не оружие придает силу воину, а воин – оружию, – Малх воспользовался мыслью какого-то древнего писателя, имя которого давно забылось. – До победы над тобой мы взяли крепость Новеюстиниана.

Асбад, зная о падении крепости, неосторожно возразил:

– Комес Гераклед был ханжа, никчемный полководец. Он учился в Сирии на безоружных еретиках.

– И ты тоже ханжа, – согласился Малх. – А два легиона префекта Кирилла?

По незнанию речи славян Асбад был узником в одиночном заключении. Как бывает с неудачниками, для своего поражения он успел найти достаточно оправданий. Услышав о поражении и Кирилла, Асбад схватил за руку святителя:

– Это правда?

– Увы, – ответил пресвитер и вторично попросил Малха: – Позволь мне покинуть тебя.

Малх вглядывался в пресвитера. Что-то вспоминалось. А! Ведь этот ворон встречался ему. Но где, когда?

– Подожди! – приказал Малх пресвитеру. – Мне кажется... Будто бы я видел тебя? Назови свое имя!

Деметрий давно узнал Малха. Уверяясь, что бог отводит глаза беглому еретик, пресвитер спорил с ним из чувства внутреннего долга.

Лет десять тому назад Деметрий, оставив неблагодарную Карикинтию, ожидал в Византии места нового служения. Ему довелось присутствовать при кончине его святейшества Мены. Второй в церковной иерархии, первый во власти владыка Церкви уходил из земной жизни тропой последнего грешника. Мена каялся: неволью, но он обманул Ипатия и Помпея. Ложь есть смерть. Солгавший епископ лишается дара невидимой благодати и обязан снять сан. Жалкий Мена, оставшись патриархом, слабодушно пытался обмануть бога, и дверь освобождения от плоти разверзлась перед святотатцем пастью ада. Уверившись в вечности мучений за гробом, Мена требовал магов, продляющих жизнь напитком из мандрагоры, надеялся на помощь манихейских волхвов. Чудовищно страшной была смерть поздней жертвы мятежа Ника.

Вместе с двумя монахами, славившимися, как и он, святостью, Деметрий не отлучался из кельи патриарха, никого не допуская, дабы разглашение позора не пошло во вред Церкви. Все трое поклонились отвечать на вопросы о кончине Мены кратко и одинаково: его душа в руках бога. В этом не было лжи, ибо ад есть такое же творение бога, как рай.

Отрекаясь от имени, полученного при святом крещении, Деметрий лишался рая.

– Меня зовут Деметрием, – сказал пресвитер и, видя, что признан, продолжал: – Я был пресвитером Карикинтии! – Теперь ему ничто не было страшно. Увлекаясь жаждой мученичества, Деметрий бросил

вызов: – Будь победа за нами, ты был бы в руках палача, еретик!

– Когда-то, давно, я хотел встречи с тобой. Ныне ты мне как волку – сухая кость, – ответил Малх. – Прочь! Мне нет до тебя дела, я россич.

7

Пресвитер ушел не оглядываясь. Десять, двенадцать шагов по плитам атриума. Черная фигура вписалась между двумя высокими урнами для цветов, обрамлявшими вход. Что будет с Деметрием? Малху было безразлично: ненужная вещь.

Солнце катилось за Родопы. Малх развязал торбу с едой и поделился с Асбадом.

Из причудливой головы тритона струя свежей воды падала в каменную чашу. Знакомый звук. Опять Малху мнилось, что он когда-то бывал здесь. Он заснул, положив голову на торбу.

Дневной бриз затих. Густой запах роз тек в атриум.

Росские лошади паслись в саду на свободе – они не уйдут. Издали донесся волчий вой. Конь Малха вошел в атриум. Осторожно перешагнув через спящего хозяина, конь опустил голову в чашу фонтана. Напившись, постоял, будто дремля, и, недоверчиво ступая по скользким плитам, исчез, как виденье, не будь легкого стука копыт.

Асбаду вспомнился другой розарий. Юстиниан предпочитал нежность белых роз. Желтоватые допускались за тонкость запаха. Но красные были изгнаны, как недостойные святости Палатия своей окраской, низменно-грубой, как кровь.

Единственный осчастливил Асбада разрешением сопутствовать ему в прогулке по палатийским садам.

– Взгляни, Асбад, бог, защищая нежность мечами шипов, сотворил розы для чистого наслаждения чистой красотой.

Величайшая милость была оказана Асбаду по назначении его в Тзуруле. Базилевс шествовал, опираясь на плечо нового начальника фракийской конницы. Всадники империи – как шипы розы. Восторг сжал Асбаду горло.

Его ожидало светлое, великое, может быть, будущее. Его не ссылали, как Рикилу Павла. Базилевс доверялся ему. Похвалив усердие префекта Фракии Кирилла, Юстиниан заметил:

– Более всего ценя в военачальниках преданность мне, среди них более других отмечаю любящих меня. Велика есть тайная сила Любви, добродетели христиан. Вызывая лучшие чувства, Любовь пробуждает дремлющие способности, рождает новые способности для совершения службы. Ты же, Асбад, наблюдай за самомнением Кирилла. Патрикий склонен ослепляться своей добродетелью.

В сорок лет, в полной силе Асбад увидел гибель надежды. Но побежден не он один. Поражение других спасет его.

Божья воля привела в империю непреодолимую силу славян. Варварам попустительствовала измена.

На берегу моря, в трех стадиях от дома, лежат две лодки. Асбаду хватит одной. Он видел себя перед Юстинианом, он шептал, как молитву:

– Единственный, Непогрешимый, еретик-изменник привел этих далеких от границы империи славян, изменники указали им дорогу, изменник Кирилл разделил силы империи, подставив под удары варваров отдельно легионы и конницу...

Базилевс поймет. Измена объясняет всегда и все. Только измены остерегается Божественный. Кирилл же был подозреваем самим базилевсом!.. Асбад схватился за спасительное воспоминание.

«Бог наш на небесах, да святится имя твое», – молился Асбад. За него заступится Коллоподий, еще

более влиятельный после падения Иоанна Носорога.

«Да будет воля твоя!» – Асбад сообщал Коллоподию о словах, даже о мыслях, читаемых на лицах людей, за которыми незримо крался Великий Спафарий.

«Да настанет царство твое!» – шептал Асбад, Бог поможет ему бежать.

Шла первая четверть ночи. До Византии двенадцать дней пути пешехода. Сушу захватили варвары. Ущербная луна поднимется не скоро. Темными ночами корабли отстаиваются на якорях. На рассвете Асбада подберут в море, и через три дня он появится в Палатии.

«Дай бог, дай!» Асбад обещал пожертвовать дарохранильницу из серебра, кедровое паникадило, отделанное бронзой, и двадцать фунтов свечей отбеленного воска.

«Я даю, даю, бог мой, ты дай, дай!.. – Асбад ненавидел изменника Малха, осквернявшего его душу кощунствами и сомнениями. – Он твой враг, бог, твой враг. Бог мой, взгляни на меня и отворачись от него. Он сын Сатаны, он сам Дьявол, отец лжи и неверия. Он – Змей».

Сатана, воплотившись в Змея, соблазнил Еву. Нужно сломать змеиный хребет. Мужество пресвитера Деметрия вдохновляло Асбада.

Малх спал. Двое его спутников дышали ровно, редко. Асбад успел приглядеться к привычкам славян. Они умели спать спокойнее и глубже других людей.

Одно из колец на ручных цепях, которые мешали движениям Асбада, легко разгибалось.

По воле бога сами варвары дали Асбаду короткий нож, чтобы пленник помогал себе при еде.

Персы говорили, что ножичек длиной в палец может совершить дело, с которым не справятся десять тысяч латников.

Топер погибал. Из улиц, заваленных навозом, россичи выгоняли скот. Россичи запрятали животных во все повозки, которыми был загроможден город.

Годилось каждое колесо, каждая лошадь, каждый бык, корова, осел. Кого нельзя запрячь, тот понесет свое мясо, пока оно не понадобится.

Россичи не имели опыта и ловкости солдат империи, изощрившихся в грабеже городов, не обладали их пронизательным взглядом и стремительной хваткой. Россичи спешили взять побольше, чтобы привезти домой общую добычу. На людей они почти не обращали внимания.

Нравились ткани, бронзовая, медная, серебряная посуда. В городе нашлось много железа. Россичи сбрасывали с телег амфоры с вином и маслом, тюки сушеных фруктов, красивые скамьи и кровати, чтобы найти место для дорогого металла, без которого не проживешь. Купцы на Торжке-острове клялись, что железо становится редким, как серебро, а в Топере его нашлось на пять сотен телег.

Из городских ворот россичи пользовались главными, северными. Остальные Ратибор приказал забить снаружи, чтобы ромеи не выгоняли скотину и не увозили свое имущество.

Кто-то догадался бежать налегке, спускаясь со стен на веревках. Таким не препятствовали, таких и не замечали, так как не было сил и цели, чтобы оцепить город.

Обыскивая дома, подвалы, подземелья, россичи во многих местах наткнулись на эргастулы для содержания рабов. Особенно обширные эргастулы были обнаружены в толще городских стен.

Не понимая, кого это ромеи держат взаперти под замками, под железными засовами, россичи

выпускали затворников из отравленных нор. Справедливо видя в них не ромеев, иные из россичей, забыв свое дело, помогали освобожденным сбивать цепи.

Сейчас же среди истощенных, опаршивевших, смердящих рабов нашлись военнопленные из уголичей, тиверцев и других племен славянского языка. Озлобленные, но и охмелевшие от счастья, они спешили добавить свою долю к растущей в россичах недоброжелательности к ромеям.

Загаженный, обезумевший Топер внушал отвращение. Горы добычи подавляли воображение. Все казалось нужным, ни от чего не хотелось отказаться. Ратибор приказал торопиться. Сотники подгоняли.

Нужны пастухи для тысячных стад, которые пойдут с войском. Нужны тысячи погонщиков для телег. Россичи выбирали мужчин, казавшихся посильнее, помоложе, не успевая и не умея разобраться, ромей ли это или раб. Им повиновались – по общей привычке повиноваться силе.

На имперской дороге вытягивался обоз. И уже тронулась головная сотня россичей, уже поднялась пыль. Мычали быки, ржали лошади, кричали люди. Прогреми гром – никто не услышал бы раската телеги Перуна.

Поход окончен. Вернуться домой, не растерявши добычи, казалось куда более трудным, чем налегке бить ромеев.

Сколько живого полона россичи выхватили из Топера? Четыре, пять тысяч голов... Их никто не считал. Сколько бы их ни было, число уведенных было невелико по сравнению с оставшимися.

Топер насчитывал в обычное время тридцать тысяч обитателей. И не меньше тридцати тысяч беглецов из округа набилось за городские стены.

Половина – рабы. Имущество, которое, прежде всего, спасли при вести о появлении варваров, превращалось в страшную угрозу.

Эти люди, считавшиеся говорящими животными, умели отвиливать от работы и трудились только из страха перед мучительным наказанием. На каждый десяток приходилось содержать надсмотрщика, а более рачительные хозяева держали одного погонялу на пять рабов.

Веками, так же естественно, как реки текут в море, слагались отношения между хозяином, рабом, работой.

Под раз навсегда застывшей маской тупоумного безразличия раб портил самые грубые и крепкие лопаты, мотыги, плуги, бороны.

Во время прививки плодовых деревьев раб так подсекал кору, что ветка засыхала, при окапывании – подрубал корни.

Рабочий скот калечили. Гадили на сухие фрукты, гноили овощи. Во время посева зерно разбрасывали неровно. Особо строптивый раб ухитрялся перетирать семена в руках, чтобы испортить.

Так было у всех, к такому на берегах Теплых морей привыкли все. Раба насиловали – раб вредил. Беспощадное давление сверху вниз, тягучее, немое, слепое сопротивление снизу вверх определяли стоимость вещей и качество их. Высокую стоимость. Низкое качество. Дальний днепровский хлеб, на котором наживались купцы, обходился дешевле имперского.

Большинство надсмотрщиков за десятками были рабами, вознесенными над своими. Способность выбирать самых беспощадных считалась более ценным даром сельского хозяина, чем умение своевременно назначить день сева.

Опасные по нраву и сильные телом рабы носили цепи всю жизнь. Для них было свое название: аллигаты – закованные.

Аллигаты расковались, эргастулы опустели, а в Топере не было ни власти, ни гарнизона.

Оружия не было. Но не только для убийства, даже для битвы достаточно камня, палки, кулака и пальцев, которые хотят вцепиться в горло. Рабы обладали преимуществом грубой силы, а терять им было нечего.

Испуганные рабовладельцы метнулись к воротам. Россичи погнали их прочь. Ромеи мешали телегам.

И лишь когда имущество жителей Топера покинуло стены, нескольким сотням свободных подданных удалось прорваться через ворота. За городом их ожидало зрелище.

Большой костер горел прозрачным в лучах солнца пламенем. На земле лежал связанный человек. Несколько конных варваров наблюдали, а главный коластес-палач Топера обратился к соподданным с коротенькой речью:

– Я вынужден казнить смертью благородного комеса Асбада, бывшего начальником фракийской конницы. Я действую под угрозой убийства от варваров. Будучи пленен ими, комес пытался зарезать кого-то. Что было, конечно, неразумно...

Пустой, несущественной казалась жителям Топера быстрая казнь комеса в сравнении с уже постигшим их бедствием, в сравнении с тем, что их ожидало от злой воли Судьбы.

Имперские армии, захватывая города, умели высасывать сочный плод. Рабы меняли хозяев. Хозяева тоже попадали в рабы. Кого-то убивали, насиловали. Во всем, однако же, сохранялся некий порядок. Появлялся новый начальник города, осуществлялась власть. Славяне же, взяв попавшееся под руку, бросили город на произвол рабов.

И вот они ушли, анты, гунны, скифы, славяне или еще кто-то, посланные в империю богом в наказание за грехи плохих христиан.

Всадники, телеги, телеги, телеги. Всадники, телеги... Телеги, стада. Всадники. И еще телеги. И опять всадники. Это Левиафан. Это зверь из Апокалипсиса, без начала, без конца, с телом неизмеримой длины. Он уходит, поднимая пыль до неба.

Найдя спасение на верху самой высокой башни Топера, в северо-восточном углу стены, солдат, единственный, случайно уцелевший, глядел вдаль. Родопский горец, обладатель от роду острого зрения, он как будто различал голову в далекой петле дороги, на повороте к востоку. Хвост обозы еще лежал под городом. Чудовище ползло медленно, медленно. Что же... Пеший без труда опережает упряжных быков.

Некому было размышлять о варварах. Пятнадцать, или двадцать тысяч, или тридцать тысяч рабов напали на двадцать, двадцать пять или тридцать тысяч свободных, на их жен, детей, на надсмотрщиков, на всех, не отмеченных цепью, бритой головой или ошейником и поэтому ненавистных.

Пока варвары еще распоряжались в Топере, рабы нападали исподтишка, без шума, будто случайно, с трусливой оглядкой. Кто же знает, как поступят победители, заметив буйство раба. Рабство – везде. Против раба ополчается вселенная.

Раб. Жизнь – существование без цели. Темнота мысли, омертвление чувств.

Получить или не получить пищу, лишний кусок, лишний глоток. Быть битым сегодня или завтра. Почему?

Каждый день, всегда, всегда тащить ноги на работу, на ненужную работу. Зачем?

Ничего своего: ни миски, ни ложки даже. Ни женщины, ни детей, ни котенка, которого можно приласкать или хотя бы замучить.

Особое племя, особый вид живых существ, лишенных всего, что имеет человек, и всего, чем пользуется зверь.

Раздавленные, оупелые, ничтожные. Будь иначе – рабы давно взорвали бы империю.

Были среди рабов и особенно опасные, из недавних пленных, из недавних проданных за недоимки. Они-то, недодавленные, еще мыслящие и чувствующие, сделались в Топере зачинщиками, показав другим пример.

Утверждая в подданных стремление к защите Топера – для облегчения сбора осадного налога, – префект Акинфий заранее обвинил варваров в мучительском истреблении подданных империи. Светлейший не выдумывал – он перечислил казни, которым подвергались рабы.

В разоренном Топере рабы вернули хозяевам и нехозяевам – месть слепа – получаемое ранее. Применили и нечто другое, о чем следует умолчать. Не приходится ожидать иного от людей, в которых искалечен образ человека.

Оставив Топер тлению, рабы покинули город.

Славяне пустились вдогонку россичей, людей своего языка. К ним пристали персы, армяне, сарацины, мавры, иберийцы, кельты, готы, франки, германцы – те из них, в ком сохранилось еще нечто человеческое, в ком еще не совсем погасла живая душа.

Эти многого не попросят у победителей. Кое-как, в тени свободных славян, выбраться из империи. Надежда, во имя которой надо выжать все из тела, истощенного рабством.

Большая часть рабов просто разбрелась. Ушли куда-то, шагая, пока можно. Люди с вытравленной волей, они не знали даже, где находятся. Инстинкт тянул их в леса, где можно затаиться от расправы.

Иные умерли от истощения, другие были убиты, как беглые собаки, ромеями, возвращавшимися с гор.

Многие, изголодавшись, скоро вернулись в Топер поискать пищи и опять надеть цепь.

Пусть будет прошедшее – прошлым. Аминь!

Глава 15

Закат Италии

Блажен, кто пал, как юноша
Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый,
величавый...
Блажен!

Кюхельбекер

1

Ты видишь? На небе, в прелести каждодневного чуда рождения дня, уже сделались видными зубчатые вершины елей. Солнце озаряет поляны, ягоды на зеленых венчиках. Неужели желание не сожмет твое сердце? А помнишь ли ты желтые дюны, где ты, юноша Лютобор, побратался с пленником и, взяв его имя, сделался Индульфом?

Да, но воспоминания бесцветны: бледные тени, пена и легкий след волны на песке. Настоящее, приливая ли, отступая ли в дни бездействия, размыло былое. Душа устает.

Индульф привык помнить солнце Италии костром в черном небе. И его воспоминания были темны, как в сумерках. Но помнил он много и ясно. Вот разрушенный Рим, отвратительный, как опаленная шкура жертвенного животного.

Могила. Бессмысленное скопление домов, дворцов, площадей; толпы изуродованных и безразличных к своим ранам статуй. Все отталкивало сухой пустотой, будто раскрытое кладбище черепов и костей вымерших животных.

На фронтонах, на стенах, на крышах росли деревья. Из щелей выпучивались коричневые мхи. На мостовых болезненная, робкая зелень рисовала прямоугольники и квадраты плит.

Ветер таскал известковую пыль, белую и мягкую, как с тела, пораженного сирийской проказой.

Жизнь ушла змеей, выскользнувшей из старой кожи. Редкие обитатели Рима, заняты мелочными заботами мелочных дней, слишком близко глядели в лицо умершего города, чтобы заметить гримасу великой развалины.

Земная власть, как крыса, очнувшись в заброшенной львиной берлоге, уползла в Равенну. Там, среди болот, под звон комариных стай, правители спрятались, только чтобы жить, чтобы избавиться от дурных снов, от воспоминаний, от мечты о невозможном.

Жизнь полна снов. Сны эти были событиями. Они утекли как вода. И все же за человеком тянется невидимая цепь крепче железной.

«Где твое невозможное, твое? – спрашивал тебя Индульф. – Ты хотел найти невозможное. Что ты нашел?»

Италия, твои города как умерший Рим. Зачем нужно возводить громады из камня! Они не умирают, как деревянные дома. Они хуже. За них цепляются, они передают проклятие от одного поколения другому.

Убитые в сражениях? Таких было немного, счастливых, удостоенных легкой смерти.

В первые весны италийской войны на полях еще выросло немного хлеба из зерен, упавших осенью. Но они лежали наверху, и только части от них земля умела сообщить живительную силу. Потом пашни покрылись кустарником. Сейчас там деревья.

Италия жевала кору, траву. Желуди сделались роскошью. Влага покидала людские тела. Кожа, будто приклеенная, держалась прямо на костях. Сначала синие, как от кровоподтеков, лица чернели, будто обожженные смолой. Люди глядели, как безумные.

Они умирали без пищи. Умирали, найдя пищу. Завидев траву, они бросались, чтобы вырвать зелень из земли, падали на костяные руки и коченели.

Никто не хоронил италийцев. Хищные птицы из тех, что питаются падалью, не касались умерших. Их тела уже съедены голодом, и коршуну нечем было попользоваться. Сейчас в Италии пусто.

Это война, война, война! Это война, Индульф, это ее ищут люди, поклоняющиеся славе.

Серые боги войны живут под черным небом Италии. Пусть память бледна. Она обширна, как Теплые моря.

Первый год войны. Ты тогда был еще молод. Индульф. Великий Рим начался в Капуе, куда он вытянул руку дороги. Дорогу построил старый римлянин Аппий, и тридцать шесть поколений не могли ее сгрызть. Камень, жесткий, как жернов, разбивал лошадиные копыта.

Конница шла вдоль дороги мягкими тропами. Армия удалилась от моря. Велизарий боялся понтийских болот, обиталища ползучих гадов и смертельных болезней, порожденных дыханием змей.

Медленно струились конные. Медленно тянулась пехота на телегах, захваченных в Сицилии, в Калабрии, в Неаполе. Тогда в Италии было много людей, быков, лошадей.

Колеса трескуче ныли на толстых осях. Солдаты, утомившись бездельем, весело разминали ноги пробежкой.

Индульф презирал толпу, направившуюся на добычу. Нет, не лги себе. Тогда Индульф был горд успехами. С легкостью молодости он принимал от Велизария отличия и ласки – от его жены.

«Кто прославил молодость? – спрашивал Индульф. – Моя молодость была глупа и жестока. Отдели же настоящее от прошлого, иначе ты потеряешь себя».

Когда-то дороги к Риму еще были дорогами садов. В темной зелени лапчатых листьев висели гроздья, будто высеченные из камня. Мечта Севера. Ягоды вина.

Или же это было в другой год? Десять. Двенадцать. Восемнадцать лет войны. Можно ошибиться. В первый год войны Неаполь был взят через акведук. Зимой. В Италии нет настоящей зимы. Однако же виноградники были голы, когда войско шло через Кампанию. Не все ли равно когда, но так было.

Советник Велизария многоученный Прокопий искал общества Индульфа. На узких тропинках, которые разделяли лозы, ровные, подобно солдатам изготовившейся фаланги, головы всадников плыли над верхушками.

Нескольких кистей было достаточно, чтобы утолить голод и жажду. Лошади тоже хватили виноград, и сладкий сок падал с их губ.

Стаи серых дроздов, пьяных от сока, как люди, тархтели в зарослях, дерзко глядя на всадников, которые мешали птицам наслаждаться жизнью. Это было, было. Но когда?..

Встречались люди в пеньковых хитонах, с грязными тряпками вместо шапки. Босые все, многие – в цепях. Коротенькими ножами они снимали урожай, бросая кисти в корзины, подвешенные к вьючным седлам на острых спинах ослов. Вялые, безразличные, они едва передвигались. Таких рабов Индульф еще не видал. Он знал империю по Палатию.

Чуть усмехаясь, Прокопий объяснял:

– По мнению умных людей старой империи, каждый заслуживает свое состояние. Низшие люди грубее животных, например лошади. Для них рабство – естественно. Судьба решает, как быть человеку. В нашей христианской империи святая церковь, обещая равно всем спасение души, не вмешивается в установленное от начала веков право одного человека быть рабом другого.

– Право? Право быть рабом? – переспрашивал Индульф, не улавливая двусмысленную тонкость рассуждения. – Я не могу быть рабом. Я убил бы или меня убили бы.

– Потому-то ты и свободен, – с еще более лукавой улыбкой пояснял ученый советник полководца.

Право. Свободен. Не свободен... Было интересно размышлять вместе с Прокопием. Индульф любил общество ученого, но не его самого.

Двигаясь, как отравленные, рабы снимали маслины, угольно-черные в серой листве, короткими серпами – бережливо как будто бы, а на деле кое-как – жали пшеницу, ячмень, копошились в сухих плетях гороха, бобов.

– У нас эти погибли бы сразу, – говорил Индульф Прокопию. – Я один сделаю больше, чем десять таких.

Смотрители вились над рабами, как ястреба над птичьим двором. Другие, смотрители над смотрителями, ездили верхом. У этих орудием служили тройчатый бич с железом на концах и копье с крючком, как у гуннов. Один раб был похож на другого, как овца на овцу в стаде, смотритель на смотрителя – как собаки в своре. Могло ли быть иначе, коль здесь это длилось сотнями поколений?

Смотрители широкими жестами приветствовали освободителей от готов. Упомянув Божественного Юстиниана, они крестились, как при возгласении имени бога.

А когда италийцы перестали креститься при имени базилевса?

Индульф помнил Рим первого года войны. Полупустой, он превосходил Византию, как старый атлет – разряженного палатийца. Но был тот Рим, для Индульфа первый, сразу до отвращения чужим.

Еще один Рим – призрак. Из него ушли все, никто не остался. Рекс Тотила хотел разметать и распахать это проклятье Италии. Послы Велизария умоляли рекса пощадить древнее сердце страны, смущали совесть благородного Тотилы слезами душ тех, кто веками строил Рим, и гневом будущих поколений. Тотила не убил город-убийцу, а Индульф надолго поссорился с предпоследним рексом из-за его слабодушия. Но это случилось позже, позже, позже...

Две круглые башни и одна остроугольная. Желтоватый камень в потеках старой грязи и птичьего помета. Странное название Азинари – Ослиные ворота.

Дождь кончился. Над стенами еще плыли серые стога облаков. Крепко пахло мокрой лошадью, мокрой кожей и еще чем-то – Римом. Другие города пахли иначе.

Простреливая воздух, пронзительно свистели ласточки. Голуби взлетали из-под копыт. Римляне взбрасывали правые руки с криком:

– Осанна! Осанна! Эвое!

Белые тоги, лавровые венки сенаторов. Расшитые ризы духовенства. Влажные доспехи в каплях святой воды.

– Ты помнишь, старик? – спросил Индульф Голуба.

Ильменец отмахнулся. Что помнить! От всего остались последняя ночь и последняя битва наутро.

Индульф не жалел ничего. Явись к нему ромейский бог, способный, как говорят, сотворить любое чудо, Индульф в своей жизни не изменил бы ни одного часа. Что было – было.

Была великая равнина реки По, империя воды, страна светлых озер с лилиями, белыми как женская грудь. Длинные отмели серых песков в низеньких лопухах, серебристые ивы, чья листва напоминает маслины.

Ромеи рассказывали: здесь спрячутся внуки таинственного Протея, старого бога пресных вод Италии. Теперь они дьяволы. Ромеи глупы.

Дятел долбил голое тело сухого платана. В зеленой тени горбатого моста ходили громадные рыбы, совещаясь о жестокой жизни людей. Там Индульф встретил девушку, похожую на Амату. Потом нашел ее тело.

Около По, за пределами смешения сладких и горьких под, море – лилово-голубое. Скалы – цвета фиалок. Кажется, там кто-то сказал Индульфу: «Нет большей глупости, как устраивать собственное счастье». Индульф не помнил лица того человека.

Внизу, в рыжем ущелье, кружились два коршуна. Память изменяет. И мост, и девушка, напомнившая Амату, и тело ее, неизвестно кем лишенное жизни, – все было в горах, а не у берега По.

Индульф владел ромейской речью, как прирожденный эллин, итальянской – как римлянин. Он едва не забыл свою речь.

Как кабаны в стае собак, на площади Августа несколько человек ждали Велизария с неподвижностью статуй старых богов и мертвых императоров. Римляне не решались наложить руку на вождя бежавшего гарнизона готов. Старый Левдерий, которому новый рекс Италии, Виттигис, поручил защищать Рим, решил сдаться ромеям. Из стыда за своих, как понял Индульф.

С этого дня началось разрушение Рима и гибель римлян. Солдаты рубили деревья где придется. Велизарий приказал чинить городские стены. Для этого ломали дома. Римляне удивлялись: кто защищается, тот не победит.

Велизарий приказал свозить в Рим хлеб и пригнать из-за стен все стада. В городе, который казался Индульфу целым, половина уже была занята пустырями, на которых косили сено, сеяли хлеб, разводили овощи. Для скота нашлось много места.

Может быть, падение Рима началось с расправы над папой Сильверием, который многое сделал, чтобы устелить коврами путь ромеев в Рим.

Позор папы Индульф видел своими глазами. Что было ему до преемника апостола Петра! Индульф привык у себя чтить стариков. Этого притащили с обнаженной головой, в разорванной рясе, с окровавленным ртом. Его щека раздулась от удара кулаком. Ипасписты Велизария не терпели возражений. Папа вообразил, что солдаты не посмеют прикоснуться к главе церкви. Сильверий был неугоден Феодоре, не отказывавшейся от мысли объединить кафоликов и монофизитов.

Антонина нежилась в кровати, Велизарий сидел у ее ног. Жена полководца с увлечением исполняла волю базилиссы: зазнавшийся первосвященник кафолической Церкви узнает тяжесть руки Власти.

– Старый осел, – сказала папе наперсница Феодоры, – отныне на собственном хребте ты познаешь вечную истину: кто не гнется, того ломают!

Прокопий говорил:

– На чьей стороне Судьба, того неудачные даже действия обращаются в победы.

Удачи, неудачи... Индульфу удавалось все. Велизарий отдал под его команду славян из бывшего отряда Рикилы Павла. Ромейская конница носилась по средней и южной Италии. Готы бежали перед именем Юстиниана – как Велизарий доносил Божественному.

Собрав силы, рекс Виттигис перешел с десятками тысяч готов реку Рубикон, которая впадает в Адриатику близ города Беллари. Это была старая граница собственно римских земель.

Осада готами Рима длилась полтора года. Семьдесят сражений под стенами. Их считал Прокопий.

Индульфу не было дела до числа схваток и битв.

Тяжелые, неповоротливые готы. Они не умели биться стрелами. Они нападали плотными рядами латной конницы. Отряды герулов, гуннов, славян расстреливали готов прежде, чем им удавалось взяться за мечи. А когда готы, не щадя себя, наваливались слишком рьяно, конные стрелки уходили за стены города.

Знать бы Индульфу тогда то, что он знает теперь...

Готы истекли кровью, обессилели. Начались переговоры, бесплодные для них и опасные потерей времени. Готы голодали: слишком трудно подвозить сушей продовольствие для большого войска. Виттигис ушел на север. В могилах осталось тридцать тысяч убитых в бою. Умерших от болезней не считали.

Голод и болезни убили в осажденном городе сто тысяч римлян. Изменив готам, римляне думали, что ромеи пришли освободить Италию от варваров. Юстиниан же хотел восстановить Римскую империю. Это – другое...

Римляне потерпели участь изменников, а готская кость сломалась под Римом.

Походы, стычки, сражения во всей Италии. Войско жило – где и жить солдату, как не на войне.

Ромеи ходили по Италии не так, как в первом походе из Региума в Неаполь и от Неаполя в Рим. Тогда армия была хорошо снабжена, а Велизарий и начальники не уставали твердить: «Мы на имперской земле».

Потом брали не разбирая. Все стали чужими. Солдату нужна пища, корм коню и добыча, добыча. Индульф не помнил, когда же впервые он увидел умирающих от голода. Впоследствии их становилось меньше, меньше: Италия таяла как свеча, коптя смрадом падали.

Сердце солдата – каменное сердце.

Виттигис засел в Равенне, осажденной Велизарием. Франки предложили Виттигису помощь в обмен на половину Италии. Гот имел благородство отказаться. Велизарий подкупил перебежчиков. Вернувшись в осажденную Равенну, они подожгли хлебные склады. Окрестности Равенны были вытоптаны, как ток. Рекс Италии сдался; не по силам ему пришлась корона, а готам изменило мужество. В справедливом гневе готские женщины, указывая на тощих солдат ромейского легиона, который вступил в опозоренную Равенну, кричали своим мужьям:

– Кому, кому вы сдавались?

Втайне готы предложили Велизарию корону Италии. Верноподданный полководец поманил их надеждой, добился перемирия, занял Равенну, набрал пленных – и отказался от короны. Он не изменит Божественному Юстиниану.

Думали: война кончена. Думали: Италия – часть империи. Под предлогом персидской угрозы Юстиниан вызвал победителя в Византию. Базилевс перестал доверять Велизарию – Судьба наказала полководца за обманутых готов.

Велизарий привез базилевсу часть казны Феодориха и тысячи готских пленников. Их доля – лечь в битвах с персами. Как до него Гелимер, пленный рекс вандалов, Виттигис получил звание патрикия империи и поместье, свободное от налогов. Велизарий же не получил триумфа.

Индульф уже давно расстался с Антониной. Кто заменил его? Что ему за дело! Однажды в осажденном Риме звук голоса одной из рабынь жены Велизария напомнил ему голос вестницы о смерти Аматы. Не зная подлинного имени Любимой, Индульф не мог спросить о ней.

Есть змеи, укусы которых, не будучи опасен, наполняет сердце тоской. Индульф почувствовал себя бесчестным, как будто это он предал маленькую женщину, которая учила его эллинской речи и говорила с

ним о невозможном. Его сердце вспомнило. С того дня и начала мерещиться Амата. Он хотел ее. Другие женщины стали чужими.

Велизарий звал Индульфа. Индульф остался в Италии. Ему не нужна Византия, он истратил ее, как разменную монету.

Его знали военачальники. Он не встречал равных себе в одиночном бою. Он командовал отрядом в шесть сотен всадников. Первый состав славянского отряда таял и таял. Меньше сотни оставалось из тех, кто вместе с Индульфом спускался по Днепру за ромейским золотом. Нет. Как и Индульфа, их гнала жажда видеть мир и найти невозможное. Кто был убит. Кто ушел к готам за По, прельстившись красотой женщины.

Славянское ядро обросло людьми других языков. За значком Индульфа шли гунны и готы, малоазийцы, эллины, италийцы. И все они стали ромеями.

Кое-где готы и примкнувшие к ним италийцы еще сидели в отдаленных крепостях, в городках, в горах. Однако Византия пришла в Италию. Рой сборщиков налогов, которыми командовал логофет Александр Псалидион, обрушил на опустошенные войной города, на владельцев земель, на свободных по старому праву колонов лавину налогов, которые Италия разучилась платить при готах. Именно поэтому сборщики высчитали, на сколько же каждый подданный за десятки лет обманул Феодориха, Амалазунту, Феодата и Виттигиса. Да, обманул! И Божественный Юстиниан, законный преемник этих владык Италии, имел право восстановить справедливость. Недоимки сдирались с кожей, мясом, костями плательщиков.

Италийцы оглянулись на годы готской власти, как старик на свою молодость. Коса налога подрезала славословия базилевсу.

Развернув объемистые свертки ситовника, сам логофет доказал Индульфу и его солдатам, что не империя должна им, а они империи. Было записано все: деньги, оружие, довольствие, одежда, обувь, лошади, сбруя, даже сукно для чистки доспехов.

Солдаты были подавлены красноречием сановника и обилием доказательств. Они не согласились, но им нечем было опровергнуть. Они надеялись на великие блага после победы. И – остались в долгу. Злоба точила сердца. Они узнали, что все войско сочло себя обсчитанным. Стало легче. Солдату некуда деваться из строя. Они остались. До времени...

Кафолические подданные нашли на первое время утешение в торжестве истинной догмы: божественное и человеческое в Христе соединены непреложно, вечно, нераздельно и неслиянно!

Община равенских кафоликов выместила на иудеях обиду, нанесенную еретиком Феодорихом. Синагогу снесли, а место обнесли забором, оставив проезд для тележек с нечистотами.

Иудеев в Италии было мало. Но прочная связь между разбросанными по берегам Теплых морей иудейскими общинами печально прославила равенских изуверов. Печально и громко. Менее заметными и даже совсем незамеченными прошли избиения десятков и сотен тысяч ариан, манихеев и прочих христиан-некафоликов. Их имущество было схвачено, сами они перебиты или проданы в рабство.

Вскоре после успешных действий сборщиков налогов оказалось, что действительно завоеваны только те города Италии, где стояли гарнизоны ромеев.

Однажды, пользуясь распространенными в речи ромеев выражениями купцов и ростовщиков, Прокопий сказал Индульфу, что готы списаны в расход. Раздавленные, перебитые на четыре пятых, готы зашевелились. Готский вождь Урайя держался в крепости Тициниум (Павия) в верховьях По. Несколько

готов предложили ему диадему Италии. Не золотую – терновую, призрачную. Урайя отказался в пользу Ильдибада. Затеплился огонек войны.

Обсчитанные логофетами ромейские полководцы и солдаты италийских гарнизонов не желали ступить шагу. Как боец, оглушенный боевой дубиной и оставленный за мертвого, готское ополчение, опираясь на еще бессильные руки, приподнялось на одно колено.

Тогда главнокомандующий провинции Иллирика Виталий двинулся усмирять мятежников. Конница из варваров-федератов не смогла ни передвигаться по раскисшей от дождя земле, ни воспользоваться луками. Загнанные в болота герулы погибли почти все со своим предводителем Висандром, братом Филемута, одного из укротителей мятежа Ника. Виталий бежал с немногими.

Так готы встали на ноги. К ним приставали перебежчики из ромейской армии. К Индульфу в Анкону пришли двое старых товарищей звать и его к Ильдибаду.

Телохранитель из мести убил Ильдибада. Восставшие за исполинский рост и за решительность речей избрали рексом руга Эрариха. Эрарих завел тайные переговоры с Юстинианом, был разгадан своими и убит. Новый выбор пал на Тотилу, родственника Ильдибада.

Обеспокоившись, Юстиниан прислал в Равенну подкрепление из трех тысяч персов, взятых в плен на Евфрате. Прибыло и письмо, прочтенное всем: базилевс издевался над военачальниками, которые не могли справиться с шайкой беглых мятежников.

Одиннадцать ромейских полководцев нацелили свои объединенные отряды на Тициниум. По дороге следовало взять Верону. Сенатор Маркиан, имевший в Вероне друзей, подкупил сторожей. Ночью Верона распахнула ворота. Имперское войско стояло в шестидесяти стадиях. По общему решению вперед послали комеса Артабаза с сотней солдат, чтобы занять ворота и стену над ними. Само войско не двигалось, так как военачальники заранее перессорились из-за будущей добычи. Следовало раньше договориться, а потом входить в город. Испуганный ночным нападением гарнизон без боя бежал из Вероны. На рассвете ромеи еще торговались друг с другом, а готы, заметив свою ошибку, возвратились в крепость.

Опоздавшее войско уткнулось в запертые ворота, а из отряда Артабаза спасся лишь тот, кто, как сам Артабаз, спрыгнул со стены на мягкую землю. Ромеи вернулись в Равенну.

Теперь Тотила выступил из Тициниума, по пути взял гарнизон Вероны и приблизился к Равенне. Прошло время больших армий. Италия не давала ни людей, ни хлеба. Все, что выжал Тотила из долины По, ограничивалось пятью тысячами бойцов.

Индульф участвовал в спорах двенадцати ромеев, начальников двенадцати тысяч солдат. Не удавалось решить общее дело и доверить командование кому-либо одному. А общего полководца для всей Италии Божественный Юстиниан не хотел назначить, чтобы такой, возомнив о себе, не соблазнился мечтой о диадеме Италии.

Горстка всадников, появившаяся во время боя под Фавенцией в тылу ромейского войска, решила исход дела. Обошли! Каждый из ромейских командующих решил спасти свой отряд. Индульф ушел, не потеряв людей. Другие же в бегстве побросали даже значки и знамена, чего раньше не бывало.

Ждали, что Тотила пойдет на Равенну и разобьет лоб в бесплодной осаде. Новый рекс не захотел ломать зубы о стены сильнейшей крепости Италии. Опустившись к югу, готы осадили Флоренцию: Бесс, Кирпиан, Иоанн и Юстин своим приближением вынудили готов прекратить осаду. Они настигли Тотилу в поле и были разбиты не столько противником, сколько собственным беспорядком.

Разойдясь по укрепленным городам, ромеи больше не решались высовывать головы. Для Индульфа начались дни скуки и безделья в Анконе.

Тотила двигался к югу. Началась особенная война. Новый рекс разрушал стены крепостей, которые мог взять без труда, и обходил другие. Тотила ласкал пленных, а италийцам обещал вольности. Ядро готов, с которыми рекс вышел из Тициниума, растворилось в италийцах. Не только сервам и приписным, прикрепленным к пашне цепью закона, Тотила обещал свободу и нелюдям-рабам. К нему уходили имперские солдаты, обиженные обсчетами.

Однажды из Анконы исчезли двадцать восемь всадников. В оставленном письме они приглашали Индульфа бросить службу Гнуснейшему, как Италия прозвала Юстиниана.

Тотила осадил Неаполь, высосанный ромеями, не имевший запасов. Первый флот, высланный на помощь гарнизону, был разбит. Второй, выброшенный бурей на берег, тоже достался италийцам. Умиравший от голода город сдался на милость рекса.

Вновь Италия заговорила о великодушии Тотилы. В память упорной защиты Неаполя от Велизария, в память Асклепиодота и Пастора и мужества иудеев победители, заботясь о неаполитанцах, постепенно приучали к пище изголодавшихся людей. Ромейский гарнизон был снабжен необходимым и отпущен на свободу.

Один из ипаспистов рекса подверг насилию неаполитанку. Тотила приказал объявить: «Невозможно, чтобы преступник насильник был доблестным воином. Мы не должны подражать гнусным ромеям». Ипаспист был повешен за шею.

Чьи-то руки расклеивали в Риме письмо рекса к сенату: «Быстро забыли вы благодеяния Феодориха и Амалазунты! Хороших гостей пригласили вы, этих ромейских мимов, шутов, лгунов, воров и убийц. Ныне мы одолеваем их не силой нашей доблести, но в отомщение им от Судьбы за совершенные ими несправедливости».

Так питалась война: злобой, жадностью, непримиримостью. Но и стремлением к лучшему. Но и отвержением зла. Но и надеждой, пусть самой темной.

Какого цвета были тогда твои надежды, Индульф? Для чего ты жил тогда, воин, в поисках невозможного?

2

В рассказе события падают с быстротой водопада. Для Индульфа год за годом длилась медленная война, тягучая как смола. Все старилось, даже деревья, даже война.

Дети перестали рождаться. Равно бесплодны поля и лоно женщин Италии.

В годы успехов Тотилы Велизарий неожиданно появился в Равенне. Он захотел видеть Индульфа. Великий полководец потолстел, облысел. Он много говорил, много и многим угрожал. Он показался Индульфу опустевшим и звонким, как амфора, в которой болтались кислые подонки вина.

Велизарий твердил о верности Божественному, о величии империи, о воле бога, о предназначениях Судьбы. Повсюду он разослал объявления, приглашая старых товарищей по мечу вернуться под Священные Хоругви, обещая даже изменившим империи величайшие блага. Ни один человек не откликнулся...

Прокопий дружески встретил Индульфа, близость возобновилась. По-прежнему не любя этого холодного человека, Индульф опять искал его общества. Прокопий рассказывал: базилевс больше не верит Велизарии. Было у Велизария прежде семь тысяч ипаспистов – приказано почти со всеми расстаться. Навсегда. Странные отзвуки не то злобы, не то злорадства звучали в речах ученого ромея: да, базилевс не дал денег для войны. Главнокомандующий на собственный счет покупал и нанимал корабли, кормчих, моряков, вербовал солдат. Последнюю войну с персами Велизарий вел тоже почти на свои деньги.

– Мы, – говорил Прокопий, – много имели от победы над вандалами и от первого похода на Италию. Теперь мы близки к сухости. Да, базилевс умеет закрывать глаза, а Нарзес – считать. Не мы первые. И еще счастье, если все кончится лишь разореньем.

...Они сидели втроем – Индульф, Прокопий и евнух Каллигон, друг ученого. Под низким сводом шелестел голос Прокопия:

– Велизарий – главнокомандующий по имени. Другие обязаны повиноваться ему в меру разумного. Базилевс боится, как бы итальянцы вновь не предложили Велизарии диадему. Среди нынешних ипаспистов прячутся посланные Коллоподием, чтобы зарезать Велизария при первых признаках измены.

Масло в светильнике давало высокий язык огня. Тень Прокопия раскачивалась. Ученый ромей говорил:

– Война с готами закончена пленением Виттигиса. Ныне империя воюет с итальянцами. Их у Тотилы в пять раз больше, чем готов. А у нас в три раза больше варваров, чем ромеев. Это война людей, просто война людей, которых стравили, как зверей на арене ипподрома.

В голосе Прокопия звучала насмешка, в глазах стояли слезы.

– Война кончится, когда людей не будет совсем. Не останется никого. И лучше. Взгляни на могучую жизнь деревьев. В них совершенство, не в нас... Впрочем, я шутил. Для забавы...

Трое безумцев у масляной лампы – евнух и двое мужчин, потерявших надежду.

...Тотила занял город Тибур, отрезал пути сообщения Рима с сушей. С четырьмя тысячами сброда Велизарий не решался выйти в поле. Он попробовал помочь осажденному итальянцами Ауксиму. Ромеи были потрепаны и отступили, ничего не добившись.

Прокопий говорил:

– Кому дует ветер счастья, тот может замыслить и неудачное. С ним не случится плохого. Но

неудачнику нет счастливых решений. Судьба отнимает у него умение слышать и видеть...

«А кто же ты, кто ты?» – спрашивал себя Индульф.

Велизарий отплыл в Далмацию ждать подкреплений. Индульф предпочел остаться в постылой Анконе – он не хотел Велизария.

Из Далмации Велизарий послал Валентина и Фоку помочь Риму. Итальянцы победили войско, оба полководца остались в поле. На севере итальянцы взяли сильную крепость Плацентию.

Тотила сжал Рим, в котором командовал старый Бесс, Бесс-черепаха, безжалостное животное неукротимой жадности.

Хлеб был у Бесса. Римляне съели траву, съели кошек, собак, крыс, воробьев, ворон, съели отбросы, ели друг друга. Бесс и его солдаты торговали хлебом, спрятанным в стенах крепости. Последние крохи римского золота, серебра, последние вещи римлян перешли к Бессу.

Велизарий прорвался было на помощь Бессу, но отступил. Индульф понял, что бывшему храбрецу изменило сердце, износившееся в бесконечной войне.

Исавры охраняли Азинарии – Ослиные ворота, те, через которые ромеи вошли в Рим в первом году войны. Они считали, что Бесс слишком наживается и мало делится с ними. Исавры продали Азинарии Тотиле. Бесс бежал. В его логове итальянцы нашли горы ценностей, лучше сказать, цену голодной смерти бывших граждан бывшего Великого Города.

В Анконе неизвестный человек спросил Индульфа:

– А когда же тебе наскучит служить ромеям? – И, не получив ответа, ушел, бросив вместо прощальных слов: – Нет большей глупости, как устраивать собственное счастье.

Так говорил человек, которого сегодня вспомнил Индульф. И было это не около лилово-голубой Адриатики, а в каменной клетке Анконы.

Злые слова, а? Индульф не понял их сразу и запомнил как оскорбление. Где тот человек? Утонул в смоле войны, как другие? Черный от голода, умер на обочине дороги, и птицы отказались от окаменевшего остова? Ушел легкой смертью от железа? Не все ли равно!

Слабый звук человеческой речи прочнее кости. Нетленное слово.

О каком счастье он говорил? Для чего византийцы легли на ипподроме холмами тел? Для чего в Италии погибли мириады мириадов?

Индульф помнил плотного телом человека с золотым обручем над белым лицом. Помнил кафизму, залы и храмы Палатия. Вот страшный бог ромеев с лицом ожившего трупа и тощая женщина в куполе храма, которая и сегодня так же безнадежно просит бога о милости, как просила в те дни.

Мог ли один человек, один базилевс убить мириады мириадов людей для своего счастья, как говорил Прокопий? Мог. Это о нем Прокопий сказал в Равенне: «Этот умеет держаться за власть. Если какой-либо маг даст ему выпить напиток бессмертия, он будет вечно править империей».

Люди сражаются на могилах. На улицах опустевших городов колени всадников делаются желтыми от лебеды.

Рим брали. Рим отдавали. Ни у ромеев, ни у итальянцев не было достаточно солдат, чтобы оборонять бесконечные стены города. Выбирали какую-то часть, на которой и состязались.

Опытные солдаты выбиты, вымерли. В Италии нечего делать испытанному воину – не стало добычи. Грубые руки войны быстро истирают мягкое золото. Рабы и подданные гаснут от истощения, имущество сгорает, ломается. Много зарыто, но владельцы бесполезных кладов умерли, и не у кого тянуть жилы, чтобы обогатиться после победы. Из каждых десяти монет две вернулись в Византию, а где потерялись восемь – не скажет даже Нарзес, великий следопыт золота. Торгаши перестали ходить за ромейскими войсками. Доходы плохие, опасностей же – через меру.

Солдат – вот новая разменная монета. Сегодня – к Тотиле, завтра – к ромеям, послезавтра – опять у Тотилы. Иные, проспав ночь, спрашивали у соседа по стану имя начальника. Разве запомнишь, кому служишь?

Тем временем франки захватили всю Галлию. Герулы заняли Дакию. Лангобарды, ранее битые всеми и всегда, смело ограбили Далмацию и Иллирик. Со всеми ними послы Юстиниана вели переговоры, всем сыпали золото в кожаные сумки. Прокопий неосторожно и горько писал в своей «Истории»: так поделили между собой варвары Римскую империю.

Пять лет – весь свой второй поход в Италию – оципанном вороном Велизарий метался над побережьем. Антонина выпросила у Юстиниана милость: базилевс отозвал полководца. Недаром иные мужья все прощают иным женам.

Индульф хотел бы разрушить постылую Анкону, но не смог предательски напасть на город, который сам охранял. Он ушел со своими на юг, и Тотила принял новых соратников. Итальянский рекс готской крови не потерял веру в людей.

В тот год Тотила опять взял Рим. Опять город продали исавры, разъяренные задержкой жалованья. Итальянцы вошли ночью через ворота Павла. Среди исавров Индульф нашел старого знакомого, длинноногого Зенона, который когда-то догадался пролезть в Неаполь через сухой акведук. Через этого человека, похожего на исполинского кузнечика, Индульф увидел свою ушедшую молодость.

Одолел трудные годы и неаполитанец Стефан, убийца Асклепиодота. Тотила не мстил за прошлое. Рекс послал старика, изъеденного отчаянием, в Византию. Базилевс не допустил к себе посла итальянцев.

Един бог. Едина империя. В одни и те же дни явились два ростка: и церкви Христовой и империи. Церковь и империя включают в свои границы всю вселенную. На меньшем Юстиниан не примирится. Иначе бог отречется от своего базилевса. Не будет мира итальяцам.

Последние итальянские плотники строили быстроходные галеры, последние итальянские рыбаки дали матросов. Тотила послал Индульфа в Адриатическое море.

На берегах Далмации Индульф трижды побил ромеев и в каждом бою видел новое лицо старой войны. Ромейские солдаты, остерегаясь дойти до крайности боя, спешили переходить на сторону противника. Индульф вернулся к Тотиле, приведя вдвое больше солдат, чем получил.

Привыкнув убивать, уничтожать, пропустив богатства Италии через бездонную бочку войны, солдаты научились ценить собственную жизнь. Ныне каждый мог спать, как младенец, положив руку на теплый труп врага, все привыкли к чужому страданию, все стали жестоки, свирепы, все научились не чують запахи бойни и все слишком легко теряли сердце в минуту опасности.

Нечто сломалось в людях. Силачи вздрагивали от мышинного писка. Известный боец терял сознание, наткнувшись в темноте на пень.

Жадно ловимые слухи терзали воображение. Солдаты, как старухи, верили в сны, по пустякам взлетали на крыльях надежды; по пустякам впадали в глубочайшее отчаяние.

В Далмации Индульфу сдалась полная когорта пехоты, почти четыреста человек, отлично

вооруженных. Они могли бы уйти. Кто-то завопил без всякой причины: «Нас обошли, мы пропали!»

Один перепуганный солдат приобретал силу египетских магов, которые умели создавать толпы, горы, реки, армии на пустом месте.

...Обессиленная Италия привлекала жадных соседей. Десятки тысяч франков вторглись в Лигурию. Франкская пехота умело пользовалась племенным оружием – тяжелыми, обоюдоострыми секирами на коротких рукоятках.

Юстиниан называл рекса франков братом, так как франки исповедовали христианство по догмам Никейского и Халкедонского соборов, что не мешало франкам приносить новому богу человеческие жертвы по обрядам предков.

Франки разгромили и готов и ромеев, встреченных ими у По, заклали пленников в жертву богу, но сами сделались жертвами голода и болезней. Похоронив треть своих, франки ушли с отравленной земли Италии.

Рексу Феодориху еще принадлежали заальпийские области, как наследство западной части империи. Когда Велизарий стеснил Виттигиса, франки захватили себе Галлию. Как в древние времена, Италийский полуостров остался один. Но теперь с Альп к нему отовсюду тянулись сильные руки.

Тотила построил и послал триста галер бить ромеев в портах Эллады и ловить на морях имперские корабли. Был нанесен сокрушительный удар по Сицилии, старинной житнице Италии, ныне опоре ромеев. Ненавидимая за измену, Сицилия была опустошена. Тотила овладел Сардинией, Корсикой. Казалось, возвращаются времена Феодориха.

Во многих крепостях Италии сидели ромейские гарнизоны, осажденные, но опасные, как очаги пожара. Лазутчики сообщали, что Юстиниан хочет назначить Хранителя Священной Казны евнуха Нарзеса Главнокомандующим Запада.

Анкона, так хорошо знакомая Индульфу, оставалась единственной опорой ромеев в Адриатике от Равенны до Дриунта.

Тотила послал Скипуара, Гибала и Индульфа овладеть Анконой. Первые двое начальников носили готские имена по праву побратимства, как Индульф – скандинавское имя. Кроме осадного войска, под Анкону пошли сорок семь галер для охвата с моря. Анкона голодала.

Начальник гарнизона Равенны Валериан и начальник города Салоны в Далмации Иоанн с пятьюдесятью галерами подошли к Сеногаллии, угрожая прорывом обложения Анконы.

Это прошлое стояло перед Индульфом не за пыльным пологом лет, а в ряду не так уж давних событий, совершившихся, ничемных уже, но еще ярких.

Флоты встретились в тихом море, как фаланги пехоты. Стучали ядра пращников, стрелы втыкались в борта и палубы. Галеры сталкивались, и мачты, покачнувшись, переплетались снастями. На корабли падали будто сеть, чтобы под нею враги, как в клетке, не имея выхода, зверями грызлись до смерти. Все носили тяжелые доспехи, и соскользнувший с палубы шел камнем ко дну.

Метали дротики, рубились, кололи копьями. Ромеи оказались не сильнее, не смелее, а умелее. Их кормчие лучше держали строй кораблей. Им удавалось с двух сторон сжать италийский корабль. Они умели таранить острым носом с железным бивнем. Ни к чему не послужила италийская доблесть.

На борту ромейского корабля, уже взятого с боя, Индульф остался один. Он заранее приказал бросить в воду со своих галер канаты с узлами. Прыгнув, Индульф погрузился, но, нащупав спасительную веревку, не утонул, как другие.

Только одиннадцать италийских галер ускользнули от разгрома. Погибло тридцать шесть, ромеи потеряли из своих пятидесяти десять.

Осада Анконы сорвалась. Ромеи снабдили крепость продовольствием и свежим войском.

Так совершился перелом.

И опять и опять Тотила предлагал Юстиниану мир на условиях наибольшего благополучия империи. Базилевс отвергал предложения. Италия догорала в чуме войны. Ромейские гарнизоны, совершая вылазки, опустошали области. Франки прочно осели в Венетской области, в Коттийских Альпах и в большей части Лигурии.

Весь мир страдал. Какие-то особенные болезни убивали африканцев. Германцев раздирали междоусобные войны. Славяне и гунны по очереди вторгались во Фракию, угрожая самой Византии. Их отряды проникали в Македонию.

Старая земля Эллады бесновалась. Трещины от подземных толчков поглощали реки и разъединяли города. Менялось лицо гор. Море бросалось на сушу. Мириады людей были смыты волнами, мириады лишились всего достояния. Италия вздрагивала от эха элладийских землетрясений.

Но хуже всего были известия из Византии: Хранитель Священной Казны Нарзес назначен Главнокомандующим Запада. Базилевс Юстиниан не опасался найти в полководце-евнухе соперника, каким едва не стал мужчина Велизарий. Принимая высокое звание, Нарзес потребовал и получил от базилевса деньги для войны и войска для победы.

Щедростью Нарзес сумел собрать под свое знамя четыре тысячи воинов из рассеявшихся ипаспистов Велизария. В самой Византии Нарзес набрал шесть тысяч солдат с помощью Коллоподия.

Рекс лангобардов, покоренный роскошью подарков – и под влиянием тайных намерений, выяснившихся значительно позже, – дал Нарзесу пять с половиной тысяч бойцов, из которых две с половиной тысячи составили собственные телохранители рекса.

Один из укротителей византийского охлоса в дни мятежа Ника герул-патрикий Филемут выступил более чем с тремя тысячами стрелков-наездников.

В верховьях Дуная ромеи успешно вербовали гуннов. Персидскими перебежчиками командовал знатнейший перс Кавад, сын Зама и внук персидского владыки Кавада, бежавший в Византию от своего дяди Хосроя. Войска Далмации поступали в распоряжение Нарзеса. За долгие годы долгой войны никогда еще Италии не угрожало такое сильное числом и умением войско.

Нарзес не только умел рисовать на ситовнике движение войск в битвах и составлять планы крепостей. Он умел и командовать. Как добрый птичник рассыпает зерно, так евнух-воин не щадил денег. Его чтили за умную щедрость. Федераты смотрели евнуху в рот, как старые эллины – Богу-Оракулу.

В империи не нашлось флота, чтобы переправить войско в Италию. Нарзес шел сушей. Франки пригрозили Главнокомандующему францисками [\[75\]](#), если он посмеет вступить в Венетскую область. Проглотив стыд, Нарзес пробирался по ничейной земле, без дорог, береговой полосой. Главнокомандующий Запада собрал легкие корабли, с помощью которых устраивались переправы через устья многочисленных речек и рек, впадающих в Адриатическое море.

Тейя, лучший полководец Тотилы, стоял в Вероне. Нарзес, как и Тотила в его походе на юг, не хотел тратить времени на осады. Да решится в поле судьба Италии.

Тлевшая война вспыхнула ярким огнем, последним огнем. Били, грабили, убивали, душили всех без разбора. Для герулов, гуннов, лангобардов и остальных федератов врагом был каждый италиец, сторонник Юстиниана или Тотилы – безразлично. Убивали – чтобы снять с тела жалкую тряпку; тех, с кого нечего содрать, резали для забавы. Ромеи более не брали в плен. Италийцы отвечали тем же.

Борьба приближалась к развязке. Кому быть?

Не спеша, собирая своих, Тотила вышел из Рима на север. К нему явились посланные Нарзеса. Евнух хотел подрезать подколенную жилу Италии:

– К чему тебе, командующему жалкой кучкой отчаявшихся людей, состязаться со всей мощью империи? Покорись, и ты окончишь дни в роскоши, как Гелимер, как Виттигис.

В этой войне не было ничего обычного предательства. Тотила не обиделся. Он ответил просто: нет!

...Четыре стадии разделяли италийцев и ромеев. Не доверяя стойкости федератов, Нарзес поставил их в центре, заняв крылья когортами ромеев. Издали Индульф узнал Главнокомандующего. Нарзес объезжал свои плотные фаланги. С них ехали всадники с шестами, перекладины которых были увешаны чем-то блестящим. Щедрый полководец возбуждал солдатскую доблесть видом браслетов, ожерелий, перстней, цепочек, дорогого оружия, золоченых кубков, кошельков с монетами...

Может быть, именно тут же и утром следовало начать бой. Тотила медлил, ожидая прибытия двух тысяч всадников. Перед полуднем италийский рекс отвел свою армию в лагерь. Ромеи остались на поле.

Две тысячи не обманули Тотилу. Но Нарзес, решив довериться федератам, изменил боевой порядок. Теперь он поставил на края восемь тысяч стрелков из лука, изогнув строй наподобие месяца.

Италийская пехота двинулась тихим шагом, а конница поскакала на ромеев. Храбрые были люди, и сильные воины, и на борзых конях. Многих Индульф знал как товарищей. Лучшие из лучших, все были расстреляны, так и не успев нанести удара ромеям.

Не ромеи – варвары выиграли последний бой за Италию. Уже в сумерках регулы, гунны, лангобарды, бессы сломили италийцев, среди которых людей готской крови было не более шестой части.

Ромеи насчитали шесть тысяч трупов на поле. Четыре или пять тысяч италийцев были взяты в плен, и через два дня Нарзес приказал всех перебить до последнего раненого.

Случайная стрела гунна, герула, перса, сарацина или кого-либо еще из ромейских федератов нашла горло Тотилы. Незаметно, чтобы не взволновать своих, рекс отступил, борясь со смертью.

Глаза Тотилы закрылись с началом ночи. Индульф принял последний вздох вождя Италии. Он отвез тело и похоронил его втайне, как думал. Потом ромеи осквернили кем-то проданную могилу, чтобы убедиться в смерти великого врага империи.

Мертвым все равно.

3

Понимая, что ему не уйти от конницы, пехотинец все же ломает строй и бежит на верную смерть. Зная, что, лишь сплотившись с товарищами, солдат выбивается с поля, такой все же подставляет беззащитную спину. Почему? И тебя кто хранил до сих пор, Индульф больше не осуждал людей, отдающих свою душу темному страху. Быть может, так проявляется непреодолимая сила Судьбы, которая властвует на берегах Теплых морей.

Победив Тотилу, Нарзес спешил избавиться от лангобардов, без удержу грабивших Италию. Полководец Валериан повел опасных союзников на север, пытаясь охранить от них жалкие клочки населения Италии.

Казалось, война должна закончиться. Нет. Остатки италийской армии, вырвавшиеся после разгрома, убивали заложников, убивали семьи сенаторов, патрикиев, убивали всех сколько-нибудь заметных людей, подозреваемых в сочувствии к ромеям. Бывшие рабы, бывшие сервы, обнищавшие колонны не просили и не давали пощады.

Победа Нарзеса сделалась сигналом общей резни. Еще раз, в пятый раз, был занят Рим. Федераты резали. Филемут повторил в Первом Риме избиение жителей, устроенное раньше в Риме Втором.

Нарзес закрывал глаза – ничего другого не оставалось Победителю Запада.

Последний вождь италийцев Тейя мог бы, взяв казну, оставленную Тотилой в Тициниуме, уйти к франкам или отдать им Тициниум, получив взамен покровительство, жизнь, благополучие. Но Тейя, как и Тотила, не отказался от терновой диадемы Италии.

Недалеко от Неаполя в крепости Кумах держались италийцы, которыми командовали Геродиан, бывший ромейский военачальник, и Алигер, брат Тейи.

Тейя просил помощи у франков. Жадные хищники хотели выждать. Но когда Валериан, провозжая лангобардов, осадил италийский гарнизон в Вероне, к нему пришли посланные франков и дерзко дали ему понюхать франциску. Франки уже считали своей собственностью страну к северу от По, и великая империя отступила.

Собрав тех, кто еще хотел сражаться за свободу Италии, Тейя бросился на юг. Нарзес занял горные проходы. Тейя обманул врага. Стало легко незаметно ходить по Италии пустых городов, одичавших собак и обнаглевших волков.

И теперь ты сидишь, Индульф, и ждешь еще одной битвы. Из всех, кто пришел с тобой на берега Теплых морей, прельщенный поисками невозможного, выжил только ильменец Голуб. Где остальные? Их кости разбросаны по долинам, ущельям, горам и полям Италии, их кости лежат в пучинах Теплых морей. Над ними плавают чужие рыбы, безразличные к оскалу пустых черепов.

Товарищи... Тени. Ты тень прошлого Индульфа. Голуб тоже тень. Тень и второй твой товарищ, Алфен, человек из племени, который долго носил повязки на шее и на запястьях, стыдясь неизгладимых шрамов от рабского ошейника и браслетов цепей.

У Тейи оставалось несколько десятков кораблей. Удалось выручить гарнизон Кум и вывезти казну. В обозе шло сто телег с золотом. Никто не глядел на бесполезные сокровища. В пустой Италии не наймешь солдат и не купишь хлеба.

Везувий мычал. Из кратера выбрасывалась горячая зола, освещенная снизу багровыми лучами подземного огня. Необычайное, невозможное – для глупцов; у горы голос как у быка величиной с гору.

Везувий – окно христианского ада. Души людей наполняют тощими птицами воздух Италии. Индульф не боялся умерших, не страшился чужого ада. Пусть один христианин толкает в пекло другого.

Два месяца стояли вблизи Везувия итальянцы и ромеи. Их разделяли, как глубокий ров, отвесные стены берегов реки Дракон. Стрелки, прячась, охотились на людей через реку. Тем, кто не имел опыта Индульфа, казалось, что подобное может длиться вечно. Пока человек дышит, он надеется.

Сила была у Нарзеса. Он строил на своей стороне деревянные башни, готовясь перебросить мосты через пропасть.

Командующий итальянскими кораблями продался ромеям. И без изменника флот достался бы Нарзесу, к которому подходили и подходили боевые галеры.

Потеряв море, Тейя лишился продовольствия. Итальянцы отошли на Молочную гору. Узкие ущелья, крутые подъемы. Непрístupная крепость и – ничего, кроме конского мяса.

Здесь собрались все, кто решил не сдаваться. Обреченные. Бывшие свободные. И бывшие несвободные, о которых говорил благородный Тотила: «Я никогда не приму мира, по которому меня обяжут выдать воинов, носивших прежде ошейник раба».

Последние из живых итальянцев, как казалось Индульфу.

Ночью с горы виднелись пятна костров на северо-западе: лагерь Нарзеса. С вечера точки живого огня можно было увидеть и в других местах. В темноте думалось, что Италия еще жива.

День показывал ромейские корабли на море, с двух сторон опоясавшем выступ, и развалины на суше. Ночные огни в округе были только кострами солдатских шаек, которые шакалами бродили везде. С горы Индульф мог насчитать сразу пятнадцать или шестнадцать городов, поселков, убитых войной; разрушенные виллы не стоило считать.

Нигде нет жителей. Везде дворы и сады по несколько раз перекопаны солдатами-кладоискателями. Сломаны и стены, заподозренные в укрытии имущества хозяевами домов, которые никогда не вернуться.

За сто телег, груженных кумской казной, здесь не купить одной пресной лепешки, печенной в золе.

Быки съедены, пустые телеги пошли в костер.

Верные из верных, честные из честных помогли последнему рексу Италии похоронить последние остатки казны Феодориха Великого.

Где? Индульф забыл. Сухая, как песчаник, жесткая, будто железо, дружба мужчин – высшее чувство души.

Слитки, монеты, жезлы, диадемы утонули. Было сладко смотреть, как умирает проклятое золото. И сделалось горько, когда тусклая груда желтых вещей поднялась над водой. Неужели наполнилась трещина в земле, неужели обманула веревка длиной в сто локтей, не доставшая до дна! И вдруг все провалилось. Бездна глотнула. Некто рванул к себе дар людей, отчаявшихся в силе золота.

Кто-то назвал имя подземного бога. А Тейя плюнул вниз и отвернулся.

На рассвете все итальянцы, кроме тяжелораненых, построили фалангу у выхода из ущелья.

Эти никогда не ломали строя, не бежали с полей, бросив оружие. В дни неудач они умели отступить,

отвечая ударом на удар. Они не подставляли победителю спину, поэтому уцелели до конца. Они не боялись обхода, их, как руки, прикрывали крутые скаты.

Самоубийственно коннице нападать на фалангу настоящего войска. Ромеи тоже спешили.

Будто зубья пилы, из обеих фаланг высывались копья – сариссы. Еще можно было уловить, как в глубине фаланг задирались темные и светлые жала. Мгновение – и тяжелые дротики, подобно брошенным ветром острым перьям, взлетели над рядами.

Кто бывает убит первым же ударом, кого напрасно уносит последний удар. Нет до них дела живым.

Двадцать шагов между фалангами. С тяжелой сариссой, которая по его силе легка, как кинжал, Индульф выходит из строя. Шаг. Еще шаг. И еще. В щит втыкается дротик. Рука привычно ощущает толчок затупившегося острия в толстую кожу, которая проложена под щитом между петлями.

Еще один дротик. И еще один шаг. Теперь! Индульф прыгает. Вместе с ним прыгают Голуб и Алфен, прикрывающие товарища с боков. Вместе с ним прыгают другие товарищи, которые закрывают Голуба и Алфена. Итальянская фаланга выплескивает клин с быстротой языка хамелеона. Клин касается ромеев.

Из-под щита Индульф выбрасывает сариссу быстрее, чем хамелеон мечет свой меткий язык. Отдергивает. Бьет еще. Бьет. Бьет. Бьет.

Он спокоен. Он холоден. Годы войны. Сколько лет? Пятнадцать? Двадцать? Ему все равно. Он мастер боя. Он бьет выдыхая, успевает вдохнуть, оттягивая сариссу на себя. Он видит сразу, что справа, что слева и что впереди. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох.

Эти, которых достало острие сариссы, были... Кем? Византийцы из недобитого охлоса. Персы. Исагры, братья длинноногого Зенона, который сдался в плен после смерти Тотилы и был зарезан вместе с тысячами других пленных. Македонцы, эллины, эфироты, славяне. Киликийцы, сарацины, египтяне. Бессы, дакийцы, готы, гунны, иберы, лазы, герулы. Итальянцы – римляне, сенаторы, разоренные войной. Были, их нет более. Остались другие, такие же.

Индульф пятился, готовый ужалить – ударить. Пятились Голуб и Алфен. Пятились все, кто выплеснул себя в общем клине, уколвшем фалангу ромеев. Каждый не отрывает глаз от врага, каждый натянут, как тетива.

В пробитом строю ромеев дыра затягивается, как в воде. Павших вытаскивают, тела отбрасывают, чтобы о них не споткнулись живые. Мертвые сделали свое, пусть уходят.

Мешают дротики, которые торчат из щита, как палки. Индульф отступает за спины своих. Другой щит. Запасного оружия, запасных доспехов хватает. Мертвые дарят живым.

Мужество, слава, честь, подвиг. Слова, слова... Мальчишка, тешившийся золочеными доспехами телохранителя базилевса. Будь он тогда мужчиной, спафарии не помешали бы ему проткнуть Юстиниана, как пузырь.

Храбрость. Храбрец Велизарий носил талисман от железа. За пятьсот фунтов золота египетские маги сделали неуязвимым великого полководца.

...За фалангой ромеев стояла Священная Хоругвь с главой Христа. Рядом с богом Нарзес водрузил те же знамена, что перед последним боем Тотилы, – лес шестов с побрякушками из золота – тела настоящего божества Теплых морей.

Пора. Индульф прошел в первый ряд итальянской фаланги. Сариссу вперед, взгляд в щель между наличником шлема и краем щита.

Он узнал противника – герул Филемут! Этому годы нипочем, и он храбр. Единственный из ромейских

начальников, который сегодня решился попробовать железа.

– Э-гей! Светлейший! Благородный патрикий! Меч против меча!

Как по приказу, перестали летать дротики. На левом краю фаланги наступило перемирие. Никто никуда не торопился. Можно потешиться зрелищем. Эй, кто ставит на гота? Кто – на ромея?

...Завтра будут не нужны уловки, хитрости, битвы, осады. Завтра всякая доблесть уже опоздает. Для италийцев не было прошлого, им оставались минуты настоящего с проблеском высшей надежды на непознаваемое.

Устали и ромеи. Могила италийцев была могилой ромеев. Из начавших бесконечную войну выжили одиночки. Война в Италии, как никакая другая, вырастила бойцов, безжалостных и к себе. Цель оправдывала все средства, но средства не обеспечили достижение цели. Нельзя было понять, для чего, зачем еще сражаются.

Поссорившись с начальником, ромейские солдаты убивали его и посылали полномочных к самому базилевсу с угрозой: коль не будет прощения, коль не исполнят желания, солдаты переходят к врагу. Юстиниан отечески прощал, даровал просимое. Или просто давал: солдаты не считаются со словами.

...Филемут не мог отказаться от поединка, не потеряв лица перед всем войском. Хуже – сегодня презрение к трусу грозило ударом в спину. В этой битве люди стояли как на вершине ледяной горы, откуда нет ничего, кроме падения в пропасть.

Индульф видел кабанью маску герула так же близко, как после навечно забытого и недавно вспомнившегося побоища на ипподроме. Он крикнул: «Ипподром, Ника, ипподром!» – чтобы оживить память герула-патрикия.

Четырежды Индульф заказывал железокузнецам новые клинки для персидского акинака, который так обрадовал его в Неаполе. Разбивалась и рукоять. А сколько сменилось шлемов, лат!

Филемут прикрывался круглым щитом всадника, удобным для единоборства. Торопись, Филемут?

Герул ловко принял акинак кованым краем щита. Под черными дырами ноздрей разинулась мохнатая пасть. Зубастая пасть. Говорили, что у Филемута выросли зубы в третий раз. Герул хохотал. Конец длинного меча задел шлем Индульфа.

Филемут подпрыгивал, как на арене. У него лошадиные сухожилия. Он старался повернуться так, чтобы солнце ударило в глаза Индульфа. Индульф отступал. Филемут подходил, не сгибая коленей, готовый принять тяжесть любого удара. Но Индульф только отражал. Бил Филемут. Удар. Удар. У ромеев закричали, как на ипподроме:

– Получил! Получил!

Индульф уклонялся, меч герула скользил, скользил. Клинок не мог зацепиться за шлем, за доспех. Чтобы лишить противника хладнокровия, герул выкрикивал оскорбления. Индульф не слушал.

Удар. Удар. Удар. Ромеи опять закричали:

– Получил, получил, получил!

Может быть, и своим тоже кажется, что Индульфу приходит конец.

Солнце жгло. Индульф чувствовал струйку пота между лопатками. Пора кончать с ромейским наемником.

Ты сам был наемник. В италийской войне без конца продавали и предавали, устраивая собственное счастье. Безумцы. Индульф не для своей выгоды бросил дело империи: единственное утешение для

запятнанной чести.

Получай же, патрикий империи, ты никого не предавал, ты честно торговал своей кровью. Пора платить. Индульф повторил вслух:

– Плати, патрикий, пора! – И сам первый раз за долгое состязание вложил в удар силу и умение. Он бил мечом, как косою: справа налево вверх!

Выпрямившись, будто от укуса змеи, герул упал навзничь, а Индульф отскочил, закрываясь щитом.

Тишина. И вдруг ромейский строй залил труп Филемута и ударил на италийцев. Злобная схватка окончилась так же внезапно, как началась.

И опять и те и другие так же тесно, так же твердо стояли на своих местах. Так же в тяжелом воздухе мелькали дротики, выскакивая из фаланг змеиными языками. Трупов не было видно. Полоса земли между врагами была орошена кровью.

Жужжали и жалили мухи.

Главнокомандующий Запада смиренно сидел на смиренной лошади в двух стадиях от сражающихся. Его лагерь был раскинут в пятнадцати стадиях дальше к западу. Переменись судьба – италийцы сразу овладеют лагерем и сбросят ромеев вместе с Нарзесом в щель Дракона. Победа италийцев невозможна. Это будет чудо. В душе Нарзес не верил в чудеса вопреки учению церкви.

Как в муравейник и из муравейника беспрерывно движутся его деловитые хозяева, так притекали солдаты из лагеря к месту боя, так и отходили. Одни – выбившись из сил, другие – с ранами, но еще держась на ногах. Умиравших и мертвых относили и складывали неподалеку.

Начальники старались поддерживать битву-костер, который сжигал солдат на месте. Не удавалось придумать охват, обход. Молочная гора защищала тыл италийцев лучше крепости. Не приходилось управлять войском, ибо войска не было – стояла стена. Нужно было питать битву, как питают мельничные жернова, подсыпая зерно.

Давняя дружба связывала Нарзеса с герулами – с дней мятежа Ника. Когда перед пленением Виттигиса Нарзес поссорился с Велизарием, герулы Филемута без влияния умного евнуха сами бросили Велизария и ушли за Нарзесом, отозванным в Византию. Нарзес был щедр и заботлив к солдатам, особенно же ласкал федератов, своим практичным умом гораздо лучше Велизария понимая значение варваров в армии империи.

Принесли труп Филемута, и Нарзес заплакал, находя в слезах облегчение томительной тревоги, рожденной небывалой неподвижностью битвы. Сойдя с лошади, Главнокомандующий Запада прикоснулся губами к раздробленной мечом маске вепря, которую носил вместо лица преданный варвар.

Главнокомандующий молился вслух, высоким голосом, громко всхлипывая. Умный, сведущий в сердцах людей человек, Нарзес без размышлений, без игры пользовался гибелью одного, чтобы завоевать дружбу и почитанье других. Он не взывал к мести, чувствуя ненужность призывов. Старый евнух потечески обнял герулов, принесших труп своего вождя, благословил живых и мертвого.

И опять с помощью ипаспистов Нарзес едва-едва вскарабкался на подушку седла, будто бы нечто случится, коль Главнокомандующий отвлечется от боя. Отсюда он видел спины своих и – старость дальнзорка – лица италийцев.

...Рекс Тейя сражался перед строем италийцев. Племянник героя Тотилы, один из последних готов на италийской земле, Тейя следовал старому обычаю – честь вождя обязывала стоять в бою первым. Полтора тысячелетия сохранялась традиция. Конники двадцатого века еще видели своих командиров, в минуту

атаки одиноко скачущих далеко перед строем не из пустой лихости, но на месте, определенном боевым уставом и честью начальника.

Опаснейший враг империи перс Хосрой сам водил войско, бывало, что и сам управлял штурмом стен под стрелами и камнями осажденных. Ромейские базилевсы научились воевать, сидя в Палатии.

Опытный боец, могучий человек, Тейя бился тяжелой сариссой. Несколько близких, из тех, в ком текли капли родственной крови, защищали рекса с боков.

Пахло потом. Ноги истолкли сухую землю в пыль, как на проезжих дорогах. Серое облако окутало бойцов. Когда дневной бриз относил пыль в сторону, показывались серо-черные руки и лица, как у нумидийцев, африканских пленников, превращенных в ромейских солдат. Сделались одинаковыми белокожие северяне, смуглые персы и сарацины, оливковые мавры. Потускнели доспехи. Губы, будто в черной смоле. Оружие скользило в руках, смазанных смесью пыли, крови и пота.

Ромеи метили в Тейю. К нему проталкивались самые свирепые и самые жадные. В него целили дротики. Убить рекса – выиграть бой, прославиться, быть осыпанным милостями Нарзеса и самого базилевса.

Тейя не отступал. Порой он делал прыжок, нанося удар ненавистному ромею. Свалив одного, другого, третьего, рекс завоевывал шаг, второй. За ним ступали друзья, ступала фаланга.

Никто не решался вызвать Тейю на единоборство в те всегда случающиеся перерывы в бою, когда, не сговариваясь, солдаты устраивают паузы.

Здесь перерывы прекращались ударами Тейи. Здесь густо падали дротики, и каждый ромей заранее кричал:

– В Тейю, в Тейю! Получил!

Рекс опять и опять принимал щитом метко и зло посланный дротик, опять колол сариссой, и ромеи подхватывали тела своих, нетерпеливо отбрасывали назад, прочь, чтобы не мешали живым. Некогда. Можно опоздать. Здесь сам Тейя. Кто же один выйдет попробовать силу, ромеи? Никто...

Щит Тейи тяжелел от воткнувшихся дротиков. И Тейя бил щитом, ощетиленным, как хвост дикобраза, бил ромеев тупыми концами дротиков, сбивал, убивал.

Что же оставалось рексу Италии, изъеденной проказой войны, Италии выжженной, вымершей, с полями, заросшими лесом, с одичавшими садами, с разрушенными городами, городками, селениями? Что еще мог сделать рекс Италии, с отупевшими остатками населения, изнасилованными и опошленными несчастьями восемнадцатилетней войны? Что, что еще совершить рексу воистину нищей духом Италии, воистину бесплотной во имя единства империи и во славу наместника бога, Юстиниана Великого? Что, что!

Тейя не хотел сдаться. Может быть, в этом была его вина, в гордости бойца, не соглашающегося прекратить кровопролитие, прекратить уничтожение людей?

Нет. Обращаясь к жителям Рима, дядя Тейи и его предшественник Тотила напоминал: ромеи успели устроить своим италийским подданным такую жизнь, что ныне им ничто не страшно.

Тейя мог бы сдаться. Мог бы, подобно Виттигису я многим другим, получить из белых, как у женщины, рук базилевса почетное звание, земельное владение с рабами и освобожденное от налогов, иметь деньги, ласкать женщин, жить...

Дальновидно укрепляя престол и престолы, Юстиниан считал излишним показывать подданным соблазнительные зрелища казни владык, пусть враждебных, пусть лишенных власти. Это дурной пример. Однажды венчанные головы да будут неприкосновенны.

Но не всем подходит клетка, даже золотая.

Щит тяжелел от ромейских дротиков, рука Тейи уставала. Выбрав мгновение, щитоносец закрыл вождя новым щитом и подхватывал старый.

Тейя не покидал строя, чтобы отдохнуть, как делали другие по праву пахаря битвы. Сражались с рассвета. Близился полдень. Рекс взял жизни десятков ромеев. Сколько раз менял он щит? Никто не помнил, никому не нужно было помнить.

Увязнув в жестком дереве, дротики раскачивались перед щитом, мешали. Левая рука немела. Тейя звал щитоносцев.

Он мог попятиться, мог скрыться за спинами своих, как за лучшей стеной из всех, которые остались в Италии. Рекс врос в землю, будто бы это он один защищал всех. Убивая правой рукой, Тейя отбивался тяжелым, как свинец, щитом.

Вот и оруженосец с двумя щитами. Одним он прикроет рекса и себя, другой поможет Тейе надеть на руку.

Двадцать дротиков торчало в щите рекса Италии. Из-за их тяжести рука не так быстро выскользнула из поручней.

На миг, краткий, как удар меча, Тейя открылся. И чей-то дротик, случайно, вне воли вслепую метнувшего его из задних рядов ромея, ударил в грудь Тейи чуть ниже горла, в место, всегда плохо защищенное латами, ударил в ложбинку, которую целуют влюбленные, ибо в ней живет дыхание – душа человека.

Непобедимый и непобежденный рекс умер мгновенно. И так же мгновенно ромеи захватили место смерти Тейи. Италийцы отбросили врага, выровняли фалангу, но не сохранили тело рекса.

Византийцы, которые упорно именовались римлянами, дабы возвысить себя, и христианами, так как молились троичному богу, кое-как откромсали голову трупа и воткнули в обрубок острие длинной пики.

Высоко над битвой вознесся мертвый Тейя, чтобы придать своей смертью храбрости воинам империи, как рассказали современники. И, как говорили они же, чтоб привести в отчаяние италийцев, дабы они наконец «прекратили войну».

Может быть, ромейские солдаты действительно осмелели. Вероятно, Главнокомандующий Запада утешился в смерти преданного ему Филемута. Священное писание христиан назначило воздавать зуб за зуб, око за око и смерть за смерть, а голова рекса Италии стоила дороже головы герула-патрикия.

Но ромеи, таскавшие на пике кусок мяса, думая, что это Тейя, ошибались. По-прежнему стояла италийская армия, только удары фаланги сделались еще злее, только многие италийцы, как готы, так и бывшие ромеи всех народов, имевших несчастье входить в состав великой империи, стали еще меньше щадить себя, то есть врагов.

И Нарзес, будучи более не в силах глядеть на однообразие боя, закрыл глаза. Но оставался на месте из суеверного страха что-то изменить своим уходом, чем-то нарушить неведомо кем установленный порядок сражения, подобного битвам, описанным в греческих мифах о богах и героях, подобного схваткам исполинов в ущелье Кавказа, легендам, о которых он внимал ребенком в армянской сакле, прилепившейся к подножию Арарата.

И вечерние стрижи, живущие в норах, выдолбленных в отвесных обрывах, в поисках пищи чертили

воздух Молочной горы высоко над сражающимися.

И солнце склонялось к морю далеко за разрушенными стенами Неаполя.

И стада возвращались бы домой, будь в Италии еще стада, и над селениями поднимались бы дымки, будь еще в Италии селения, а в селениях – пища...

Битва же не прекращалась. Ветер упал. Береговой бриз готовился сменить морской. А бойцы также топтали землю, убивая одни других. Наступавшие сумерки сюда пришли раньше, из-за облака пыли.

Не стало видно лиц. Не стало видно тел. Без приказа Главнокомандующего Запада, без зова начальствующих ромеи отступили, уходя в свой лагерь. Тогда итальянцы отошли в глубь ущелья.

Тяжело покоились мертвые, каменно вдавившись в землю, как одни они умеют лежать.

Крепко спали живые, как умеют спать сильные, без снов о смерти, которая ждет их назавтра.

Стаи летучих мышей, безмолвных, как мертвые, теснились во мгле вместе с душами убитых, и одни не мешали другим.

Совы перекликались деревянными голосами, гадкими для людей и прекрасными для себя, приглашая друг друга к продолжению рода.

И ни одному, ни одному из многих опытных военачальников ромеев не хватило духа, чтобы предложить ночное нападение на открытый ночлег малочисленных истомленных итальянцев.

4

Бывает утро ясное, светлое, утро прекрасного пробуждения души, не только тела, утро света, утро исчезновения темноты и торжества Солнца, чтимого многими религиями и всеми поэтами.

Бывает утро туманное, утро дождливо-холодное; небо затянуто, не отличишь востока от запада; утро без пробуждения, утро молчания птиц. И все же – утро.

Сегодня появление света на небе и на земле напомнило о возможности опять колоть сариссами, рубить мечом и метать дротики, чтобы еще и еще, сократив людской род, уменьшить число подданных империи.

Никто из италийцев не вздумал забраться на Молочную гору, чтобы там прожить лишний день, лишнюю неделю или даже, зарывшись в звериную нору, совсем ускользнуть от ромеев. Не был избран новый рекс. Нашлись бы достойные, но Италия больше не нуждалась ни в своем рексе, ни в свободе. Для боя же не были нужны начальники. Когда боец ни на что не надеется, им не нужно командовать. Сама собой фаланга италийцев построилась на том же месте, что вчера.

Как косцы, которые выходят с рассветом, когда легче работать по росе, но продолжают косьбу до ночи, ибо поле велико, хозяин жесток, а спелый колос теряет зерно, так вновь весь день в знойной пыли сражались италийцы и ромеи.

Вновь с пурпурной хоругви безразлично глядел на битву нечеловеческий и бесчеловечный лик византийского бога.

Вновь, как опора ромейской фаланги, торчали шесты с желтыми побрякушками, чтобы возжигать в сердцах людей ромейскую храбрость.

Военачальники, обходя лагерь, старались выгнать из-под палаток, из-под обозных телег, из-под навесов торгашей, решившихся последовать за армией Нарзеса, ленивых или трусливых солдат. Старый Бесс-черепаха с острой головой, лысой, как у змеи, и проклинал и обещал награды. Но и он, сопровождаемый пятью десятками ипаспистов, не поминал о наказаниях, о штрафах за неповиновенье. Не такой выпал день, чтобы грозить солдатам. Сегодня стало труднее кормить битву, труднее гнать солдат на странную схватку, без скачки, без ловких обходов. Иной солдат отвечал:

– Сам иди против этих безумных. Я уже получил свое, – и показывал грязную тряпку, намотанную на здоровую руку.

Другие же нагло ворчали, что у них нет больше сил.

Железный ветер относил в сторону двуногую полову, оставляя в строю сильнейших сердцем, умелейших, верных.

Герулы, христиане по имени и схизматики для кафоликов, покинув сражение, устроили языческую тризну по Филемуту. Нарзес не решился воспрепятствовать своим любимцам, как он намекнул, хитрословный, полководцу Иоанну.

Гот по крови, ромей по привычкам и, как все ренегаты, особенно беспощадный к готам-италийцам, Иоанн понял Главнокомандующего Западом. Пусть истощаются и гибнут другие, герулы же сохранятся до решительного часа. Победа изменчива и бесстрашна, как куртизанка.

Солдаты поодиночке и кучками подходили к Нарзесу, требуя награды за доблесть. Иные приносили трофей – отрубленную голову, кисть руки, оружие. Трупы лежали кучами. Оружие италийцев не отличалось от оружия ромеев, тела – тоже. Разве можно сказать, где взят трофей? Нарзес платил.

Другие ничего не приносили, чтобы порадовать взор Главнокомандующего. Такие особенно громко восхваляли свои подвиги. Нарзес платил.

Кто-то, получив с шеста уздечку, изукрашенную колечками и бляхами, грубо кинул награду под копыта смиренной лошади Главнокомандующего. Солдат ошибся, сочтя позолоченное серебро начищенной медью. Нарзес приказал заменить отвергнутую награду другой, хотя с ним были верные ипасписты, а солдат дик и дерзок.

Раненые требовали возмещения за кровь. Некоторые явно были вымазаны чужой кровью, взятой у раненых. Нарзес делал вид, что обманут, и платил.

Все хотели быть внесенными в списки особо отличившихся. Нарзес никому не отказывал. Писцы заполняли длинные свитки ситовника. Впрочем, чем больше лучших, тем проще. Отличие, данное слишком многим, лишается значения. Уже было записано более сотни имен победителей Тейи, метнувших в рекса смертельный дротик.

Перед ущельем было все то, что было вчера. Сариссы, мечи, дротики, схватки, тела. Тела, схватки, дротики. Пыль.

Пыли сделалось больше. Истолченная ногами полоса земли стала шире. Засохшая кровь пылила вместе с землей.

Итальянцы поодиночке отходили для отдыха. Никто не бежал. Никто не отступал.

Итальянская фаланга медленно таяла. Таяла и фаланга ромеев. Она таяла быстрее итальянской. Ромеев было в двенадцать раз больше, чем итальянцев. Они могли менять и трех за одного.

Нарзес приказал доставить поближе к солдатам вино, хлеб, мясо. Телеги подвозили мехи и амфоры со свежей, сладкой водой реки Дракона.

Главнокомандующий, когда пыль относило, видел, что кто-то заботится об итальяцах. Там не было прислуги, как в имперском лагере, не было торгашей, которые сегодня по приказу даром поили и кормили солдат, – Нарзес платил за все. У итальянцев раненые старались поддержать силы товарищей.

Опять солнце холодело, собираясь спрятаться в море. Охладевала и битва. Ромеи первыми начали отход. Из итальянской фаланги вместо дротиков вырывались вызовы, отравленные жестокой и нехитрой солдатской иронией:

- Приходи завтра глотать железо!
- Не забудь застегнуть панцирь!
- Захвати с собой жизнь, я возьму ее!

Так же лежали мертвые, так же летали стрижи, так же сменили их летучие мыши. Кричали совы.

Так же всю ночь черная пасть ущелья, ничем и никем не защищенная, была открыта для ромеев, и ни один из них не подумал помешать сну итальянцев.

Под Молочной горой, на узеньких полосках суши под кручей, валялись обломки итальянского флота и непогребенные скелеты итальянцев, очищенные добела крабами и птицами.

Для человека нет вечности, есть однообразие повторенья.

Утром третьего дня итальянцы подняли перед своей фалангой крест, связанный из двух сарисс, – вызов на переговоры.

Нарзес приказал вывесить белое покрывало из своей палатки в знак согласия принять уполномоченных.

Империя победила. Пусть пустые, пусть разрушенные, города Италии получают окладные листы. Каждый еще живой подданный будет обязан платить тридцать разных налогов. Землевладельцев объединят в курии с круговой ответственностью, и каждый владделец получит право распорядиться не более чем четвертой частью своей земли, скота, орудий. Три четверти его достояния империя схватит сразу, как залог. Недоимки же будут преследовать наследников и наследников наследников, делаясь достоянием рода, неким постоянным признаком подданного, подобно шерсти овцы, мясу быка, коровьему вымени.

Последние неподданные приближались, чтобы сдаться империи.

Наместник Божественного, видимая Тень базилевса, Главнокомандующий Запада, многолетний Хранитель Священной Казны, бывший пленник, изловленный имперским солдатом в Армении ребенком и искалеченный работником, Нарзес тщетно пытался найти знакомые черты под шлемами послов последнего войска Италии.

Тщетно вглядывались и ромейские военачальники; маски из грязи и разросшихся бород заменили лица.

Не только Индульф, которого знали многие, остался неузнанным. Никто не признал Геродиана, бывшего ромея, бывшего ромейского полководца, когда-то начальника пехоты, перешедшего к италийцам. Хотя именно Геродиан ответил на вопрос Нарзеса о старшем:

– У нас нет старшего, мы все уполномочены войском, все мы – старшие.

– Так вы не избрали преемника Тейе? – спросил Нарзес, не желая произнести слова «рекс».

– Нет, не избрали, – ответил другой италиец.

– Вы хотите сдаться империи? – опять задал вопрос Нарзес.

– Нет, мы не сдаемся, – сказал третий италиец.

– Чего же вы тогда хотите от меня? – удивился Главнокомандующий Запада.

– Мы чувствуем, что боремся с богом, – ответил Алигер, брат Тейи. – Судьба против нас. Мы не хотим и не имеем больше сил, чтобы противодействовать Року. Познав эту истину, мы изменили решение сражаться до конца нашего или вашего, ромеи. Но мы не хотим жить под властью базилевсов. Мы навечно уйдем из Италии. Мы закончим дни, данные нам богом, где-либо, где нас примут, где для нас найдутся свободные земли, где о твоей империи, Светлейший, только слышали. Так дай же нам уйти мирно. Ты не победил нас. Поэтому мы увезем на седле деньги, которые каждый из нас отложил для себя во время нашей службы в Италии. Ты слышал наш голос, Светлейший.

– Ты говоришь дерзко, – сказал Нарзес.

– Говорящий правду не бывает дерзок, – возразил Геродиан.

– Но вы побеждены! – настаивал Нарзес.

– Разве кто-либо из нас признал себя побежденным? Ты играешь словами, Светлейший, – сказал Индульф.

Невольно наставив ухо, Нарзес вслушался в голос, показавшийся ему знакомым. Италийцы молчали.

– Я мог бы вернуть тебе твои слова. С большим правом, – сказал Нарзес Индульфу.

Не дождавшись ответа. Главнокомандующий обратился ко всем италийцам:

– Прежде чем размыслить над вашим предложением, я ставлю только одно условие. Если я и соглашусь отпустить готов, которые не были ранее подданными империи, я оставлю пленными всех перебежчиков и всех италийцев. Их судьбу да решит сам Божественный Восстановитель империи.

– Нет, – ответил Алигер. – Они, – и брат Тейи указал на готовую к бою фалангу италийцев, – не согласны. У нас нет более рекса. Но мы чтим память благородных Ильдибада, Тотилы и Тейи. Они никогда не выдавали своих. Мы не оскорбим покой их душ подлостью измены. Я вижу, Светлейший, ты хочешь сражаться. Продолжим!

– Нет большего безумства, как устраивать собственное счастье, – вслух вспомнил Индульф слова незнакомца, который когда-то звал его покинуть дело ромеев.

Эти слова тревожно отозвались в душе Нарзеса, как нечто значительное, но произнесенное или прочитанное на наречии, которым не совсем хорошо владеешь, и потому приобретающее особенную глубину.

Нарзес задумался. Уполномоченные италийцев собирались уйти. Главнокомандующий поднял руку.

– Подождите! – И обратился к Индульфу. – Я узнал тебя.

Как человек, способный властвовать, Нарзес запоминал лица и имена людей, которых встречал хотя бы один раз.

– И я не сразу узнал тебя, – ответил Индульф. – Так только для воспоминаний ты просил нас подождать? Привет тебе. Мы уходим сражаться.

– Нет, нет. Дайте мне время подумать. И я дам ответ всем вам. Подождите. Подожди и ты, воин, когда-то ослушавшийся базилиссы...

Расстелили ковер, чтобы посланные италийского войска могли отдохнуть с честью. Принесли вина, сластей.

В лагере италийцев не было ничего, кроме конского мяса, и уполномоченные отказались от угощения.

Италийская фаланга стояла на своем месте, запирая вход в ущелье.

Уполномоченные отказались сесть.

Уже не было ни одного солдата, который не слышал бы об окончании войны. Начальники ушли на совет в палатку Главнокомандующего. Тщетно центурионы и другие командующие пытались построить манипулы и когорты, тщетно вожди федератов пытались собрать своих бойцов. Нечто сломалось в ромейской армии.

Солдаты, сражавшиеся с италийцами, самовольно прекратив бой, пятились и пятились, пока не отошли сотни на три шагов. Здесь их удалось остановить, но не приказами, а убеждением в очевидной опасности ухода с поля сраженья.

О солдатах думал Иоанн, племянник Виталиана, как его называли в отличие от многих других Иоаннов. Виталиан, знаменитый вождь готов, служивший Византии, потряс империю мятежом в правление Анастасия, потом был ублажен Юстином, заманен в Палатий и зарезан. Его племянника связывала с Нарзесом старая дружба, Нарзес, не желая один решить судьбу последних италийцев, хотел опереться на общее мнение.

Иоанн говорил:

– Эти люди явно, решительно обрекли себя смерти. К чему же, Светлейший, нам, людям со здравым умом, испытывать на себе смелость тех, кто совершенно отчаялся в жизни? Пусть им тяжело. Но такое слишком тяжело будет и для нас, которые вынуждены сражаться со смертниками. Известно ведь: смертник способен на чрезвычайное. Эти ничуть не поколебались, даже смертью Тейи. Мы уже два дня сражались в невиданной битве героев. Я знаю, что вы, как и я, – Иоанн обратился к начальникам, – никогда не слышали, чтобы много слабейший числом стоял в открытом поле два дня с рассвета до ночи, ни на пядь не подавшись назад. Это дело ужасающее, Светлейший.

Иоанн замолчал, переводя дыхание. В шатре было тихо, Нарзес, перебирая четки, немо шептал сухими губами:

– Поверь же мне, прошу тебя, Светлейший, прошу, – продолжал Иоанн. – Поверь мне! Для разумных людей достаточно одержать победу, а победа в том, что враг уходит. Эти хотят навеки покинуть империю. Отпусти же их, Светлейший, не желай чрезмерного. Такое влечение иной раз кое для кого превращается в бедствие.

После Иоанна никто не захотел говорить. Главнокомандующий не смог встретиться даже взглядом ни с одним полководцем. Все прятали глаза. Чтобы Светлейший, со свойственной ему пронизательностью, не прочел в них то главное, о чем не следует говорить: солдаты не хотят более сражаться с безумцами.

Скучным голосом, медленно-медленно Нарзес диктовал писцу пышные фразы, с помощью которых Наместник, недостойная Тень Единственного, извещал Юстиниана Великого об окончании восемнадцатилетней войны.

– Нет! Зачеркни слово «окончании», напиши – «завершении», – поправился Главнокомандующий. Война прекратилась. Теперь он Наместник.

Голос Наместника был тонок и визглив, чего никто не замечал по привычке, как не замечал он сам. Его лицо, которое в опасные дни мятежа Ника имело, что редко бывает у евнухов, черты мужчины, сделалось лицом старой женщины, монахини, источенной постом. Под подбородком комком висела сухая кожа, беззубый рот собрался морщинами, как зев кошелька. Но волосы на голове уцелели. Велизарий уже давно лыс. Нарзес еще не совсем поседел, брови по-прежнему черны. Ныне он – победитель Италии. Вот он и затмил великого полководца, героя империи, самца с ветвистыми рогами.

Он любил писать сам. Сегодня болело плечо, сводило пальцы. В Италии есть горячие источники, которые помогают от болезни костей.

– «Отныне Величайшая Твоя Империя простирается до Мирового Океана... – с усилием подбирая слова Нарзес. Мало слов. Все исчерпаны, нужно придумывать новые, чтобы достойно отметить победу, которую одержал базилевс. – Все славят Твое Имя, Сверхпобедительный, ибо ты Един в Твоей Победе, как бог, и Твое Величайшее Имя у всех на устах...» Не забывай заглавных букв, – напомнил Нарзес писцу.

Казна, хранившаяся в Кумах, погибла вместе с кораблем, на котором Тейя вывез ее из крепости. Нотарии составили акт на основании слов готов. Свидетельствовали Алигер, Индульф и другие.

Вначале Нарзес усомнился. Индульф сказал:

– Считаю, победитель, что морская пасть не так жадна, как человечья глотка. Как хочешь. А я утверждаю – золота нет! Твой владыка и ты увидите его только на вашем Страшном Суде.

Это неприятность. О ней Нарзес донесет позже, чтобы сейчас не вносить капельку горечи в чистую радость Божественного.

Нарзес сам наблюдал, как уходили, остатки италийского войска. Копья, прикрученные ремнями, удерживали раненых в седлах. Иных везли на носилках, подвешенных между двумя лошадьми. Пахло гноем старых ран.

Нарзес не думал нарушать условие. Он снабдил италийцев охранной грамотой и провожатыми. Что могли – они увезли на седлах, по обычаю. В брошенном лагере солдаты Нарзеса взяли тощую добычу.

Слова не давались. Писец положил стилос и замер в позе послушного ожидания.

Нарзес устал. Как все. Светлейший глядел на свою руку, как будто видел ее впервые. Перстни не держались на ссохшихся пальцах.

Что сказал этот Индульф о счастье? И почему он не сразу узнал тебя, Нарзес?

Старые друзья уходят, как Филемут. Ты старик, Нарзес, ты скоро уйдешь, вот и Индульф не сразу узнал тебя. А был ли ты счастлив хоть один день?

Жизнь прошла, напрасная.

К чему все это?

Суета сует...

Глава 16

Добыча

И долго их след пламенел.
И дымились поля запахом серы...

Из древних авторов

1

После Топера, набитого людьми, как гнездо пчел, империя казалась россичам особенно безлюдной. Будто здесь настоящая пустыня, а не в степях, не в заросших притоках Днепра. Все-то горы, на горах – леса, над лесами – облака.

В простоте своего бытия россич привык быть разумно бережливым. Неприлично бывало россичу зря бросить недоеденный кусок, изношенную обувь, старую рубаху. Не от скупости: сам добытчик знает цену работы. В вещах россичи любили добротность, в конях искали силу и прыткость, в себе же – умение да храбрость. Попавшая ныне в руки добыча казалась не только неописуемо богатой, но даже чрезмерной, обременительной.

На узкой дороге, откуда не свернешь ни вправо, ни влево, больше шестидесяти ромейских стадий, больше двенадцати русских верст занял обоз. И то было тесно. И то клещеногие быки запинаясь, утыкаясь в задок чуть замедлившей ход передней телеги.

По сравнению с русскими фракийские быки оказались мелки и слабы. Видно, ромеи еще не научились примешивать в домашнее стадо вольную кровь диких туров. В здешнее ярмо днепровский бык не втиснет толстую шею, и на три четверти будет короток яремный запор – заноза-притыка.

Да и лошадей ромеи тоже не могут запрягать. Здешний хомут устроен наподобие бычьего ярма и душит коня. Россичам пришлось на ходу перешивать-перестраивать глупую ромейскую упряжь.

Тысячи лошадей и быков нуждались в заботе. Здешние травы тоще, слабее степных и русских лесных. Благо было, что ромейское небо не скупилось на теплые дожди. Обоз шел верст по двенадцать-пятнадцать в день. Выпряженная животина паслась на спелых хлебах, травила виноградники, объедала плодовые сады, масличные рощи.

Наутро пылили вытопченные поля, торчали голые ветки обломанных, обглоданных деревьев.

Горы, леса, кустарники, селенья огородили дорогу от Топера до устья Гебра. Еще теснее, еще извилистей сделался путь вдоль Гебра на север. Не найти поля, где собрать воедино обоз. И нашлось бы – как сбить растянутые на двенадцать верст телеги, когда голову от хвоста отделяет дневной переход!

Старый Крук охранял тыл обоза. На извилистой дороге россичи видели сразу несколько десятков телег и подгоняли хвост. Конники, которым было поручено следить за порядком внутри обоза, торопили телеги, которые оттягивали, замедляли ход.

Каждая упряжка в парном ярме требовала погонщиков, идущих вместе с телегой. Быков и лошадей не пустишь по своей воле. Потянувшись к траве, они ступят в сторону, остановятся, перевернут воз. Было возов больше двух тысяч.

Россичей провожали запасные, заводные лошади для боя. Гнали россичи стада скота – коров, овец, быков, свиней. Без подвижного запаса пищи, без мяса на ногах не доберешься до Роси.

А как быть на привале? Нужно распрячь быков и лошадей, подогнать к водопою, пасти в ночь. Иначе через два-три дня падут все упряжки. Тогда бери на седло, на вьюки пуда два-три груза и уходи, запомнив навеки многие версты дороги, забытые богатой добычей, запомнив тысячи трупов животных, павших от жажды и голода. Было счастье в руках, улетело. Не стоило ходить за тридевять земель. Вернуться, не растеряв добычу, труднее, чем победить в бою.

В любом ромейском городе можно схватить тысячи пленных, пригрозив, чтобы шли в погонщиках, ходили за скотом, запрягали, поили, пасли. Надолго ли хватит приказа, если к каждому пленнику не

приставить сторожа? Пока не прошел первый страх – на день, на два. Так ли?

Вдоль имперской дороги леса вырублены, но не везде. Дорогу теснят горы, в которых она вьется червем. Пять шагов ступи в сторону – и исчез, как рыба в воде, в густых зарослях, завешанных ползучкой, заплетенных колючими кустами.

Росский обоз шел и шел, и чем дальше, тем более становилось в нем порядка. Все делалось вовремя. Кем же?

Из схваченных в Топере пленников бежали все, кто хотел. Из свободных к третьему дню остались люди робкие, с душой, ранее сломленной, боящиеся всего. Кто накормит беглеца, кто даст кров, что будет дальше? Варвары не обижали, еды хватало. Отдавшись на волю Судьбы, такие ромеи влеклись россичами, подобно щепкам, уносимым сердитым потоком горной реки.

Были здесь и другие свободные – плебс, охлос, обездоленный люд, задавленный налогами и произволом префектур; свободные по имени только; ремесленники, колонны, сервы, приписные к земле, бесменные, бездомные, вечно голодные. Эти давно слыхали, что жизнь за Дунаем легче и проще, что там люди добрее, чем имперская власть.

К россичам с восторгом пристали рабы по роду из славянских племен. Для них такой плен был освобождением. Нашли в обозе свое место рабы из других племен, еще сохранившие душу.

Современники-византийцы записали, что славяне ушли из империи, угнав многие десятки тысяч пленных.

Городские и сельские курии налогоплательщиков недосчитались многих сочленов этих принудительных объединений. Беспорядок, вызванный вторжением, и безвластие, освободившее от бдительности префектов обширные области, помогли многим десяткам тысяч неоплатных должников империи вне городов и в городах исчезнуть хотя бы на время. Сметая заставы на имперских дорогах, варвары сделали возможным передвижение подданных. Несчастливым всегда кажется, что где-то там, в другой провинции, живется легче и лучше. После вторжения варваров оставалось разбросанное имущество, бродил скот, потерявший хозяина. Бери и уходи, кто смеет и умеет.

Обоз россичей опекался теми, кто видел в славянах освободителей. Добровольные пленники старались заслужить внимание. Невелик труд для двух мужчин – гнать пару быков, упряженных в телегу, вечером выбить из ярма запор-занозу, сводить животных к реке. На костре котел с вареным мясом, ешь до отвала. Нет ни сборщика налогов, ни бича надсмотрщика, нет бессмысленной работы на хозяина, нет гнусной похлебки из мяса, тронутого тлением, из бобов и зерна, поточенных мышами. Появилось будущее. С чем оно ни пришло, все прекрасно в сравнении с глухой стеной, в которую был навек уперт лоб раба или подданного – рабочего вола в ярме налогов.

Ратибор заметил у погонщиков пики из жердей с закаленными на огне остриями, шишковатые дубины. У иного торчал за поясом нож, кинжал, украденный на возу с добычей.

– На что тебе?

– Твое добро защищать, жупан-князь, – отвечал уголич, тиверец, – и себя защищать от ромеев я буду...

Погонщик другого языка пробовал жестами выразить то же.

Обоз шел. Дойдет добыча до Роси. Удачен будет поход.

Ратибор не считал полон, у россичей не было страсти к живой добыче. К чему она! И вот – пригодилась. Прав был Малх, прав был Вещий Всеслав, приказавший гнать обоз с помощью пленных.

Сотнику Малу по-иному нужна была живая добыча. Он взял в Топере женщину. Кто она родом, как ее звать? Мал не любил разговора. Чья б ни была, теперь – его. Да и о чем говорить без языка? К пленнице Мал приставил трех уголичей либо тиверцев, сумев сразу выхватить надежных людей из толпы освобожденных рабов. А самой женщине строгий сотник велел ходить за раненым Малхом.

Россици знали: пока железо не задело жилу жизни, которая кроется в разных местах тела, самые страшные раны на деле ничтожны. Нож Асбада-предателя пробороzdил грудь Малха, как лемех поле. Малх ведро крови отдал, слаб, будто голый птенец, но жив и жить будет.

Скрипят колеса, трещат телеги, кричат погонщики, понуждая быков. День пройдет без дождя, и пыль душит. Блеют овцы, злобно взвизгивают свиньи, коровы мычат, ржут лошади. Лают собаки. Бездомные псы, лишившись хозяев, пристали к обозу и прислуживаются к новым владыкам: в жестоком мире одному не прожить по своей воле – волки съедят.

Пленница Анна и без приказа не отошла бы от Малха. В несчастье бог послал ей ветку спасенья – варвара, но вместе и эллина. Девушка цеплялась за раненого, как зверек, выброшенный разливом реки из норы, хватается за пучок травы, для него – корабль помощи.

Кормя и холя – насколько хватало умения – своего раненого покровителя, Анна прислушивалась к удивительного смысла речам, которые едва шептал Малх.

Дочь вдового префекта Топера, по молодости принимая кажущееся за действительность, Анна не испытала унижений, хорошо известных ее отцу. Сановники империи привыкли склоняться перед высшими и сторицей возмещать горечь на низших.

Анна думала: она не такая, как все, она лучше. В этом мире для нее предназначены красота, роскошь, счастье.

Была гордой – гордость сломалась. Лепесток в море без берегов. Прошлое было сорвано, как лист в зимнем лесу.

Она научилась черпать из закопченного походного котла горячую воду, чтобы отмачивать заскорузлые от крови повязки. Научилась кормить и обмывать чужого. И хватала за руки чужого, как близкого, когда появлялся страшный всадник.

На этом лице, изуродованном шрамом, лежало подобие мертвой, зловещей улыбки. Анна боялась варвара, ужасалась его лица. Увидев его во сне, она с криком пробуждалась и, горе, видела себя пленницей, на телеге, рядом со старым эллином, порученным ее заботе.

...В тот недалекий день около дома внезапно раздались крики, вопли ужаса, боли. Пахнуло дымом. Шум поднимался и падал, как прибой, когда Анна зажимала уши. Потом перед ней появилось это лицо, эта улыбка с кривым шрамом через щеку. Светлые глаза, светлые усы, красно-коричневая кожа, как у мавританского раба, черная щетина на подбородке, набитая грязью, гадкий запах пота. Варвар схватил ее за руки, смотрел на нее долго-долго. Потом он позвал кого-то, указал на нее и исчез. Она закричала: «Отец, отец!»

Малх сказал, что о судьбе ее отца, префекта Топера, ничего не известно.

Она привыкла, чтобы ее желания исполнялись. Ей нравился жених, логофет Топера, молодой, стройный, с нежными руками. Отец говорил: «Гордия ждет высокая судьба».

Когда пришла весть еще об одном вторжении варваров, Гордий напомнил слова Плотина-философа.[\[76\]](#) Войны бесконечны, люди непрерывно нападают одни на других, как животные.

Анна видела схватки между дикими зверями на византийском ипподроме. Там их стравливали нарочно.

Все думали, что война далека от Топера. Варвары пришли, и Анна упала, как статуя в час землетрясения.

Единственное, что она умела, – ухаживать за ранеными. Ей приходилось заботиться об отце. Мятежник, отказавшийся что-то внести в казну, ударил префекта ножом. Врач учил девушку делать перевязки; мятежника казнили.

Она читала и писала, играла на цитре. Кому это нужно?.. Около телеги Малха чередовались варвары, они навещали знатного человека, как поняла Анна. Кто-то из них привез цитру.

В телеге был ящик с книгами. Малх велел Анне перебрать их: «Ты будешь читать мне вслух».

Россичи остановились на дневку у пресных озер около устья Гебра. Поборов страх перед змеями, пиявками, илистым дном и камышами, Анна смыла грязь с усталого тела. Сидя около Малха, девушка взяла цитру, пробуя сложить грустную песню-рассказ о своем несчастье. И вдруг она увидела своего врага. Он всегда будто падал с неба. Он появлялся часто, но на один миг. Сейчас он остался, он заговорил, обращаясь к ней. Малх не успел перевести его речь.

Что-то случилось. Конные варвары стаями птиц промчались к голове обоза. Анне послышался далекий зов солдатского буксина. Девушка бросилась в мечту, будто с обрыва. Сейчас отец появится во главе войска, как в рассказах из книг. Варвары разбиты, все кончилось. Исполняя долг христианки, Анна просит отца пощадить Малха, который был добр к его дочери. Отец поступит как должно. Анна молилась.

Вечером со слов других Малх рассказал пленнице о ромеях, которые переправились через Гебр, чтобы закрыть россичам дорогу. Ромеи потеряли сотню солдат. Остальные успели бежать на левый берег.

– А он, а этот? – спросила Анна с надеждой.

– Что может быть с ним! – ответил Малх. – Он сильный воин среди сильных. Мы не лишились ни одного из своих. Ромеи только царапают мечом и слабой стрелой.

Анна не стала скрывать слез разочарования и горя.

– О чем ты? Примирись и забудь! – приказал Малх. – Радуйся нашей победе. Отбив тебя, ромеи поступят с тобой хуже, чем мы. Что ты для них? Солдат объявит тебя рабыней, и ты не докажешь свое право на свободу. Так было в империи, и так будет. Я служил в легионах. Я знаю.

Обоз втягивался в долину Гебра. На север, на север. Теперь горы закрывали мир и слева и справа. Позади море поднимало волшебную сине-лазоревою стену.

Поворот погасил видение чуда. Скрипучие колеса отталкивали в небытие все, все...

– Кто надеялся вернуться, пусть потеряет надежду, – говорил Малх.

– Твои слезы, твои жалобы, – увещевал он Анну, – ложь. Очнись. Чем была ты? Холила тело, молилась своему богу. Но почему тебе принадлежало все, какой заслугой? Ты не знаешь свободы.

Отступник, изменник был покровителем Анны. И он, проклятый богом, славил честь варваров.

В этой трудной земле с единственной узкой дорогой на вершинах гор появлялись люди. Западающее солнце или рассвет освещали фигурки, крохотные, как буквы в книге, и такие же четкие. За ними лучи солнца ходили по небу широкими полосами, которые ромеи рисуют на стенах своих храмов как опору

богов. Кто были эти люди на горах?

Конечно, ромеи, следившие за войском. Но после стычки близ устья Гебра никто не пытался встать перед россичами.

В обозе делалось все более порядка. Россичи запоминали лица, имена погонщиков и пастухов, среди них находили себе помощников и в других дорожных делах.

К войску привязались волчьи стаи, хватавшие кости на оставленных ночлегах, подбиравшие ночью к скотине. Подумав, Ратибор вооружил несколько сотен освобожденных настоящими копьями и мечами из взятых на солдатах, побитых под Топером.

За россичами тянул и другой зверь – сотник Крук не раз и не два замечал конных ромеев. Выбрав место для засады, Крук напал на докучливых спутников. Те, видя, что верхом не уйдешь, под первыми стрелами бросились к лесу и, покинув лошадей, спаслись в колючей чаще, справедливо полагая, что там за ними гнаться не будут.

Крук взял до полусотни подседланных коней, набрал и брошенного оружия. Хоть и некуда девать, да жаль и бросить – как от сердца оторвать.

Переборов болезнь от раны, Малх бодро сидел на телеге. К нему на привалах собирались друзья.

Живя на Роси, Малх осторожно повествовал братьям об укладе имперской жизни. Правда, которая далека от понимания человека, кажется ложью, и не со всеми новый россич был вполне откровенен. Князь Всеслав силой разума одолевал расстояние до мира, который порой и самому Малху начинал казаться Химерой. Ратибор, в котором иные видели преемника Всеслава, хитрый Колот и еще немногие могли слушать Малха без недоверия, без подозрений.

Других же, даже таких, как Крук, хотя бы без похвалы утверждавших, что видят и под землей на четыре локтя, Малх опасался.

Зато ныне Малх охотно сделался истолкователем событий, для россичей удивительных и непонятных.

– Почему за нами тянут ромейские дружины, да не нападают?

– Боятся. Крепко биты главные. Эти мелкие, они не сунутся.

– Не то... Чего же зря бьют ноги?

– По обязанности. Начальники ромеев кормятся от начальствования. Идут за нами, чтобы потом оправдаться.

– И нас боятся? И своих боятся?.. Всех боятся?

– Своих еще больше, чем нас.

Сощурился глаза, Малх улыбался не шрамом, а настоящей улыбкой. Он понимал. Крук же хмурился, хмурился. Видя собственными глазами, он все же никак не мог постичь ромея. Малх старался для Крука:

– Помнишь же, друг-брат, они на стене людей давили и секли на части. Для страха. Нас испугать хотели.

– То нелюдь, хорьки же, вонючки, – злобился Крук.

Будто бы сводя с империей старый счет гнева, Малх не слова говорил – брызгал желчью:

– Мы сами уходим. Ромеи, топчась на нашем следу, шлют базилевсу гонцов: гоним врага, наша заслуга. Одного отсталого поймают – сотни взяли. Они, Крук, свою выгоду нашли в том, что ты их побил в засаде. Они донесли своему базилевсу: бой был большой, поле осталось за ними.

Злобно выругавшись, Крук прыгнул на коня и скакал в тыл, к своей сотне. Никак не верил он Малху, что ромеи ночью не нападают, боясь боя в темноте.

Храбрый, горячий Крук, думая за ромеев, выбирал места, откуда сам он ударил бы ночью. Уж он совершил бы! Дело ему казалось нетрудным. Прямо на дороге, на пятнадцать верст растянувшись, спал русский обоз. Охрана у него с тыла да с головы. Как же не напасть! Разогнать лошадей и быков, перебить, сколько удастся, скотины. С малой силой можно остановить обоз. И не спал Крук ночами, всюду рыскал, всем спать мешал, готовясь отразить ромеев.

День догонял день, ночь сменяла ночь, все похожие, как зерна овса. Новый месяц узеньким серпиком вслед солнцу упал за горы. В четверть разросся серп, в две четверти вышел, иначе – луна вполнину. Несчитанный и едва-едва измеренный русский обоз поднялся к северу. Отсюда дорога давала колено на запад. Прошли и теснины перед выходом на широкие поля Фракийской низменности, где били войско Асбада. Нигде нет ромеев. Днем – покой, ночью – покой.

Нет сердца в ромеях. Издеваясь над трусливыми людьми, чьи боги не вкладывают в сердца мужской храбрости, воины Крука пускались на шутки.

Бросят тушу павшей скотины поперек дороги и воткнут в пададь два крестом связанных кола. «Молитесь!..»

Что же это за земля, по которой можно ходить с арканом, как в поле, где пасется скотина, брошенная нерадивым хозяином!

Захваченная добыча, в которой Ратибор видел богатство, добыча ничтожная по меркам империи, удовлетворила походного князя. Сверх меры достаточно уже взятого. Домой пора. Одна забота: чтобы не падали быки и лошади в обозе.

Не будь того, Ратибор пошел бы поглядеть и на пуп империи, на златовратную Византию, и попробовал бы пощупать стрелой и мечом столицу злых Теплых морей.

Что за женщину везет на Рось Мал? И не он один с живой добычей. Ратибор, думая о девушке, похожей на давнюю хазаринку, глядел на полонянку Мала с невольным суровым, тяжелым вниманием.

Встречая взгляд скифского князя, Анна сжималась от страха. О чем он говорит с Малхом, о ней?

– Он велит убить меня, – жаловалась дочь префекта своему покровителю. Сейчас она, будь что будет, не хотела умирать.

– Не бойся, – успокаивал Малх. – Мы убиваем в бою. Князь наш – россич. Не злой он. Ты поймешь потом. Россич – прямой души человек. Как стрела. Видишь эту? Дай палец. Остро жало-то? Не наколись на него коварством и ложью, погибнешь.

Сотник Мал каждый день появлялся около телеги, но ненадолго. Анна знала, что его место впереди, где во многих стадиях перед обозом идет головной отряд.

Победитель не спешил вступать в права владения. Анна вспоминала: древние герои-язычники на войне не касались женщин. Но в дни мира нашлась женщина, которая посадила за прялку самого Геракла.

Девушка прихорашивалась. Она уже не так боялась своего повелителя. И все же, когда Малх попробовал подняться в седло, Анна испугалась. Что с ней будет, с одной!

– Я не оставлю тебя, – обещал Малх.

Для души человека не проходит даром быть покровителем слабого. Малх-россич не был безродным,

бездомным Малхом-ромеем. В его доме в Княжгороде осталась дочь, скоро невеста. Малх по-отечески жалел пленную ромейку.

2

Немногие узнают о тех, кто был сломан.
Страх вырвал язык у Рассказа.
И молчит окровавленный рот.

Из древних авторов

Старенький пресвитер-изгнанник Еввадий благословил волю бога, пославшего скамарам оружие. Георгий хвалил Судьбу. Бог или Судьба, без упоминания имен которых немела мысль ромея, даровали отшельникам Козьей горы мужское оружие.

Георгий открыл товарищам тайну, связав их предварительно клятвой послушания. Родопские скамары прикоснулись к скифскому кладу с уловками людей, гонимых и богом и Судьбой. Чтобы не оставить внизу следов, товарищи на веревках спустили добытчиков с кручи.

Бескрылые птицы крысами проползли в дыру, оставшуюся между сводом и глыбой, которой скифы заткнули пещеру. Обитатели Козьей горы сделались владельцами оружия и доспехов, достаточных для сотни человек. Как все люди, скамары умели быть жадными.

Кто-то продолжал посылать удачу. Опустившись с горы, скамары наловили лошадей, принадлежавших всадникам Асбада.

Настали лучшие времена. Будь бы так всегда: ни одного солдата на дорожных заставах. Но нет безоблачного счастья в Подлунной. Усадьбы владельцев обезлюдели. Бежали колонны. Даже лачуги приписных к пашне и пашенных сервов были покинуты их жалкими обитателями.

Фракия служила старым полем для прогулок варваров, и ее население умело прятаться не только в горах и крепостях.

Два десятка скамаров казались настоящими солдатами, появление которых и в мирный день не сулило подданным хорошего. Солдат всегда требует есть, пить, он хочет женщину и грабит все, что попадает под руку.

Даже собака не встретила Георгия и его товарищей, когда они остановились у ограды дома знакомого колона. Кто-то, спешившись, открыл ворота. Вспорхнули испуганные куры. Как настоящие птицы, куры поднялись и долго летели, пока не свалились на поле почти зрелой пшеницы.

Владение колона было одето очень старой и многократно подновленной стеной значительно выше человеческого роста. Ограда была собрана из неокотных камней, которые изнутри своими выступами образовывали подобие ступеней. Удобно для хозяина, который может, не выдавая себя, посмотреть в любую сторону.

Объедки сена и соломы, навоз, грязь, которую затаскивали снаружи во двор, постепенно повысили уровень внутри ограды, и дом врос в землю. Дом, как и ограда, сложенный из камня, тупо глядел двумя черными дырами узких окон-продухов. Открытая дверь косо висела на ременных петлях.

Брошенные среди сухих лепешек навоза, валялись перевернутая борона с деревянными зубьями и два плуга из затесанных на клин обрубков дерева, окованных ржавым железом. Телега без передка и еще телега без колес, парное ярмо...

В доме ящики для зерна и припасов, служившие кроватями, были открыты и пусты. В очаге – холодная зола.

Георгий проклял небо и землю. Колон Евмен был другом скамаров. Не бескорыстным – взаимная выгода служила единственно прочной основой сердечных союзов. Поле Евмена граничило с лесом, спускавшимся с Козьей горы, и его усадьба была промежуточным складом для добычи скамаров.

Евмен нашелся в тайнике около погреба, необходимого в местах, где возделывают виноград и маслины. Из вонючей норы хозяин выполз вместе с женой, младшим сыном и кошкой. Старшие дети Евмена стерегли скотину, спрятанную в лесном загоне. Евмен был по-своему богат, но не от земли, а щедротами скамаров.

– Да поразят меня боги, – говорил Евмен. – Мы вас заметили. Я думал, дьявол послал мне настоящих солдат.

С предгорной террасы были видны не только Гебр, но и дали Фракийской равнины.

– Беда, – привычно жаловался Евмен. – Звери травят поле. Вепри лезут в хлеб, ничего не боясь. В них вселились души убитых ромеев.

– Ты богохульствуешь, – усмехнулся Георгий.

– А, что ты знаешь! – отмахнулся Евмен.

Фракийцы были крещены поголовно при Константине, более восьми поколений тому назад. Но старые верования держались. Сельские жители, паганосы^[77], для горожан люди низшие, пахли навозом и язычеством. Им не было дела до толкований сущности Христа, раздиравших города. Евмен верил в Христа как главного бога, подобного базилевсу или фракийскому префекту, который управляет откуда-то свыше и не занимается малым людом. Рядом жили боги лесов, воды, земли. Когда-то и от кого-то Евмен слышал о дьяволах, вселившихся в свиней к большому убытку их владельцев. Издалека Евмен наблюдал, как варвары разгромили ромеев. Для души ромейского солдата свинья самое подходящее место.

– Ты принял нас за ромеев? – спросил Георгий.

– Я и сейчас едва верю глазам. Ты нанялся служить солдатом?

– Нет. Я нашел это оружие.

– А-а... – будто бы безразлично согласился Евмен. – Коль тебе нравится... Но не попадись варварам. Они, знаешь, какие... Ты не успеешь им объяснить, – с иронией добавил человек, верующий и в новых и в старых богов.

Он был хоть и с большого расстояния, но очевидцем гибели тзурульской конницы. Имея малый запас слов, Евмен рассказывал с помощью разнообразных ругательств, интонаций, телодвижений о том, как за Гебром двигались конные полки, как таяли ромеи – их он отличал по блеску касок и лат, – как варвары «догрызали ромеев».

А на следующее утро несколько беглых солдат ограбили Евмена. Колон счел разумным умолчать, что он успел угнать скот в лес и зарыть большую часть имущества.

Он ненавидел горожан, которые являлись к нему скупщиками-торговцами и, он был убежден, обманывали его, когда он продавал бычка, зерно, овощи, вино, чтобы купить соль, кое-что из утвари и одежды. Он обошелся бы без городов и империи. Особенно без империи в лице двух ромеев – сборщика налогов и солдата. Евмен считал себя только фракийцем.

Надвигались дни бедствий. Варвары потравили поля. Многие лишились скота, имущества. Сосед Евмена, сидевший от него в шести стадиях в сторону Гебра, бежал совсем, он сам сжег свой дом. Как все, Евмен знал будущее: подать будет увеличена прибавкой – эпидолой, которая падет на уцелевших. Благодаря скамарам Евмен имел запас. Но платить сразу нельзя: кто легко отдает, с того требуют еще.

Евмена бросят в тюрьму, будут пытаться за недоимку. Он обязан держаться до конца и уступит под угрозой казни. Тогда сборщик убедится, что этот отдал последнее.

Евмен сказал Георгию: «Я тоже хотел бы бежать». Он не думал бросать усадьбу, но набивал себе цену – хозяин усадьбы был нужен скамарам. И хорошо, что больше нет соседа. Тот будто бы о чем-то догадывался и мог донести. Не нарочно, но, когда из человека выбивают недоимку, он способен на все, чтобы избавиться от страданий. Скамаров когда-нибудь поймают. И Евмена вместе с ними. Не нужно думать об этом.

Предок Евмена, римский легионер-осадник, получил от императора землю и вспомоществование на устройство. Розга сборщика податей разорвала связь между империей и потомком ветерана Траяна.

Около очага в маленьком тайничке (жизнь подданных – тайна) Евмен хранил родовые святыни. Когда скамары уехали прочь, он вытащил их: глиняную высотой в четверть фигурку пузатого человечка со стертými от времени чертами лица, бронзовую женщину с чрезмерно большой грудью, всадника из дерева и мраморного божка с орлом в ногах.

Расставив богов на очаге и опустившись перед ними на колени, Евмен читал молитву. Жена и сын вторили:

– Ты, добрый Либера-Сильван, который дает человеку сытость от поля и стада... И ты, Юнона-Популония плодородящая... И ты, Всадник-Вождь... И ты, Зевс-Юпитер-Залмокис... – Евмен перевел дух и сказал с силой: – Храните очаг! Меня да скотину! Жену, детей, птицу! И ныне и вовеки! Так вам всем велит Христос Сильный бог, который живет в городе! Вот его знак, смотрите.

Евмен крестился.

– Благодарю вас, кроме Либера-Сильвана. Он не помогает мне беречь поле от свиней. Ты спишь, Либера, спишь, – упрекнул бога Евмен.

– Дай курицу, – строго приказал Евмен жене.

– Это не тебе, ленивый бог, – предупредил Либера-Сильвана хозяин, опрыскивая кровью фигурки.

Совершив жертвоприношение, Евмен отдал жене обескровленную курицу и продолжал беседу с Хранителями:

– Слушайте, запоминайте, действуйте. После равноденствия я дарю вам большую-большую свинью. Да, да. Но сделайте так, чтобы варвары или Судьба утопили, удушили, зарезали сборщика Евлампия и его помощника Марка. Я вам расскажу, какие они видом, чтоб вы не ошиблись...

Прервав, Евмен сурово сказал жене и сыну:

– Уходите, следите за округой, – и, закончив с приметами врагов, поделился с богами предстоящими испытаниями.

Евмену было страшно, заранее больно; он, склоняя сердца богов, разжалобил и себя до слез.

Чаша страданий его не минует. И Евмен молился один, вполголоса, чтобы никто не услышал. Это его дело. Хозяин и мужчина не заставит жену и детей раньше времени плакать о нем.

На холме, стадиях в пятнадцати от имперской дороги, стояла башня. Она была сложена из тесаного камня, и даже без извести кладка могла бы держаться собственным весом. Старая крепость времен Траяна или Адриана была когда-то разрушена варварами. Но цистерна для сбора дождевой воды была пуста лишь наполовину. Здесь нередко дневали ночные птицы – скамары с Козьей горы, которые позаботились забить

глиной трещины.

Солдатское обличье способствовало успеху. Скамары возвращались с хорошей добычей не только на вьюках, с ними были две повозки с добром. Георгий узнал новости о варварах. После перевала через Планины варвары разбились на два отряда. Один, ходивший к Филиппополю, ушел обратно. Другой направился к Юстинианополю, и где он, никто не знал.

После вторжения варваров во Фракии осталось много падали. Между башней и дорогой сидели сытые вороны. Другие, голодные или особенно жадные, не успокаивались. Георгию не было дела до воронов, он следил за странной стычкой, которая завязывалась на дороге.

Три человека стояли широким треугольником. Каждый, защищая спину друга, не мешал размаху.

Индульф, Голуб и Алфен давали обидчикам должный отпор.

Быстрый удар. Режущий скрежет твердого железа, рассекшего древко копья. И – длинная пауза.

Восемнадцать солдат были посланы занять брошенную на время дорожную заставу. Старший опротчетливо подумал, что они легко справятся с тремя бродягами.

Набранные из родопских горцев, в селениях, где бесполезно и пытаться взыскивать подать, легионеры были подкормлены, обучены строю, умели поразить мечом соломенное чучело, пробив скрытую в нем доску толщиной в палец, научились колоть копьем и метать дротик. Старший из корысти бросил новичков на бойцов, а не на мишени.

До сих пор удача шла перед воинами, не побежденными в Италии. В Тициниуме, по милости франков, еще сидели готы и итальянцы, не желавшие мира с империей, но малочисленные и бессильные. Остаться с ними и ждать. Но чего?.. Верные слову, данному Нарзесу, соратники последнего рекса Италии пошли к северу. Одни оседали у франков. Кто-то остался у гелветов. Иные стремились в германские леса.

Индульф и Голуб решили вернуться домой, Алфену все было равно, кроме империи. Вскоре они оказались среди людей, не испытавших руки владык Теплых морей. Но имя ромея знали все.

Кто нападал на империю, кто нанимался в ее войско, но и тот, кто не выходил дальше охотничьей границы своего рода, расспрашивал о великой итальянской войне. Вести о ней вместе с осколками награбленного перелетали через горы.

Трое старых бойцов хотели вернуться на родину! Гостями они переходили с земли одного племени во владения другого. Здесь понимали значение слова «родина», лишеного смысла в империи.

Им некуда было спешить, торопливость не принесла бы добра. Многоязычное войско империи снабдило их небольшим запасом слов многих народов, облегчавшим общение.

Отказ от гостеприимства оскорблял хозяев, которые принимали единственную оплату за пищу и кров – повесть о том, что делалось раньше и что творится теперь в обширном и неведомом мире. Даже гунны, ославленные людоедами, признавали святой обычай гостеприимства. Страшные на службе империи, у себя дома они предлагали лучшее из того, что имели.

Оберегая свою честь, малые и большие племена провожали гостей до своих границ и поручали охране соседей людей, возвращающихся на родину.

Порой путешественникам предлагали право очага, женщин и братство. Мужчин не хватало, и родовичи желали принять воинов, влить в жилы племени сильную кровь испытанных бойцов.

На полуночь от этих земель изгибался берег Холодного моря. Там на острове Рюген стоит белая гора Аркона, окруженная валами славяно-прусской крепости высотой больше римских стен. Святыня Святовита. В шести днях пути к востоку от Рюгена родился Индульф.

Но путников предупредили, что сейчас ни один живой человек не в силах одолеть Великий Лес. Аллеманы, маркоманы, бемы, котины, лесные гунны перессорились между собой. Товарищам пришлось повернуть к границе империи.

Они превратились в беглецов. Выдавая себя за ветеранов, возвращавшихся во Фракию, друзья добрались до Сирмиума. Здесь Голуб, уверенный и ловкий в словах, купил в префектуре пропуск, подтверждавший выдумку.

От Сирмиума до Сардики они шли с караваном купцов. В Сардике караван пристал к мандатору, который вез в Византию налоги, собранные в Иллирике. Двадцать повозок с казной, обшитые кожей и опечатанные, охранялись манипулой пехоты и пятьюдесятью всадниками.

Купцы оплатили покровительство начальника конвоя, а от ветеранов потребовали повторить обещание защищать их в случае нападения скамаров. Караван шел через Юстинианополь, от которого недалеко до Одессоса-Варны – порта, знакомого Индульфу и Голубу по плаванию из Карикинтии. В Одессосе найдется корабль до Карикинтии. После зимовки товарищи поднимутся с купцами до Роси. Дальнейший путь среди своего языка казался совсем простым.

Вскоре после выхода из Сардики были получены известия о набеге задунайских славян. Мандатор решил не рисковать казной, легат – головой.

В шестистах пятидесяти стадиях от Сардики караван спрятался в сильной крепости Крумии, которая прикрывала теснину Гебра перед выходом реки на Фракийскую равнину.

Вскоре из Фракии полились беглецы, как вода из пруда, прорвавшая плотину. Комес принимал людей состоятельных, для других ворота закрылись: нет места, нет хлеба! Пусть ищущие спасения подданные идут в другие крепости или в Сардику.

Еще день или два – и дорога опустела. Прошел слух, что славяне осадили и взяли город Филиппополь.

Крепостные склады продавали продовольствие, зерно и сено по учетверенным против Сардики ценам.

Все, все, до мелких подробностей, схожих между собой, как два истертых обола, напоминало италийскую войну, гиблое время, погибшие годы. Сиденье в крепостях или в акрополях городов, стены которых разрушены. Неизвестность, как полное отречение от мира. Слухи тревожные и противоречивые, источника которых не установят и семь мудрецов.

Вскоре комес Крумии еще увеличил цены на продовольствие. Это тоже было знакомо.

В Италии ромейские начальники спешили наживаться на голоде тех, кого охраняли. Была изобретена маска дальновидной добродетели: дороговизна заставляет людей меньше есть, и крепость сможет продержаться дольше.

– Мы сумеем открыть Крумию варварам, – обещал товарищам Голуб. Ильменец привык не только к речи ромеев, но и к их выражению. Впрочем, варвар значило «неромей», и только.

Варвары не дошли до Крумии. Прибыл первый гонец. Филиппополь был осажден, но сумел откупиться. Варвары разбили много крепостей, разгромили войска и, собрав добычу, отходят. Вскоре стало известно, что варвары удалились за Планины.

Комес объявил дорогу свободной. Ему можно было верить. Он терял доход от торговли.

Мандатор, сопровождавший казну, хотел еще помедлить из страха перед шайками. Товарищи решили не дожидаться конвоя и каравана купцов, рассчитывая на силу коней.

Вскоре лошади пали. Они в себе, как видно, унесли зародыши мора, который начинался в крепости.

Обычная беда, возникающая от скученности. В опустевшей стране нельзя было ни купить, ни отнять лошадей. Ветераны пошли пешком.

Сговорившись между собой, опытные бойцы ограничились обороной. Солдаты-новички делали страшные лица – так их учили, – громко ухали, но выбрасывали копьё на всю длину рук медленно, неловко, без настоящей силы. Легко отбивая удары, ветераны ловили случаи: незаметный, коротенький будто бы взмах меча, и копьё превращалось в обрубок.

– Спокойно, спокойно, Алфен, – приговаривал Голуб, чувствуя, как у того разгорается сердце. И сам Голуб едва уже удерживал желание раскроить одну, другую из глупых голов, которые сами просились под удар.

Неопытные солдаты оказались беспомощными перед старыми. И это было знакомо по италийской войне. Но трупы могли вызвать погоню. Неблагодарно оставить след крови.

Выбив чей-то меч, Алфен гневно бросил его. Ударившись о камни дороги, железо с визгом взвилось над головами солдат. Солдаты попятились.

Старший не посмел требовать продолжения схватки. Он испугался. За полтора десятка лет службы ему не приходилось встречать таких бойцов. Он думал: бродяги. Ему показалось, они смутились, когда им было приказано остановиться Неудача. Над ним будут смеяться. Ведь они показывали ситовник, объясняя, что это пропуск сирмийской префектуры. Но кто же умеет читать!

На спинах Индульфа, Алфена и Голуба висели тяжелые мешки, которые разожгли жадность старшего. Товарищи перешли в наступление. Солдаты разбежались, освобождая дорогу.

Старший, убежав дальше всех, крикнул: «К сбору!» Издали солдаты глазели на бродяг, которых не удалось раздеть. В казармах они слышали басни о бойцах, способных в одиночку побеждать манипулы. Оказывается, то не были сказки. Старший позвал:

– Эй, сенаторы![\[78\]](#) Пойдемте с нами. Легат даст каждому тройную плату.

Длиннобородые, темнолицые, тяжелые, пока битва не делала их подвижными, трое товарищей давно не считали себя молодыми.

Голуб помахал рукой в знак отрицания и ответил:

– Куда нам! Мы тянемся к очагу, греть кости и парить мозоли. Прощай!

– Прощай! – повторил легионер, вкладывая в короткое слово все свое презрение. Подумать только, не одну тройную плату – эти ветераны могли бы получить и центурии! – Чтоб тебе пекло вместо очага и камень под голову вместо подушки! А вечером садись на дерево, как ворона, чтобы тебя не согрела волчья пасть...

Над империей, как считали сельские жители, паганосы, тяготели проклятия старых богов, превращенных в демонов, но обретших новую силу. Волки этим пользовались.

Гибкий, смелый зверь. Предание рассказывает не о стаях, об армиях хищников. И были эти звери умнее, храбрее своих потомков, выродившихся от страха перед человеком.

Имперский волк привык к человечине. Индульфу приходилось слышать, что в Италии живет в десять раз больше волков, чем людей. Сколько волков во Фракии?

В Крумии они развлекали Индульфа. Крепость замыкала ворота перед заходом солнца. Вечерние тени подчеркивали глубину колеи на дороге. На пять или шесть стадий вокруг крепости были вырублены

деревья и кусты. Трава была вытоптана, как на пастбище: днем сюда пускали лошадей и быков.

Волки знали час закрытия ворот и звук колокола, который перед заходом солнца предупреждал о нерушимом правиле: опоздавший заночует под стеной. Едва сжимались тяжелые челюсти ворот, как волки показывались отовсюду.

Здесь они были храбрее, чем на берегу Варяжского моря или в приильменских лесах. Имперские волки льнули к людям с зловещей наглостью. Опасаясь стрелков, звери постепенно сжимали кольцо вокруг Крумии. С темнотой они оказывались во рву. Обследовав все, исчезали.

Старожилы из крумийского гарнизона уверяли: на ночь волки оставляют сторожей. Сторожа сменяются и следят, но упадет ли кто со стены. Как-то от безделья Голуб сделал опыт. Со стены сбросили туго связанный сноп соломы. Факел осветил обманутого зверя, успевшего впиться в приманку.

Солдат был прав, нужен ночлег, решили друзья. Дождавшись, когда солдаты скроются из виду, они направились к башне в развалинах.

В проломе Алфен молча указал на свежий конский навоз. Отступить? Навстречу вышел человек в доспехах ромея. Приветствуя открытой в знак мира ладонью, он сказал:

– Дружба вам, храбрые люди! Здесь вольные люди, честные скамары.

– Я не глуп, – с подкупающей откровенностью продолжал Георгий, – чтобы попытаться вас ограбить. Я видел, как вы играли с солдатами. Да нам и не нужно добычи, мы сыты сегодня, и нам хватит на завтра.

Отправляясь за добычей, скамары прятались днем в известных заранее убежищах, стараясь передвигаться по ночам. До темноты оставалось немного.

– Мы не состязаемся с ромеями в поле, мы скромные люди, – рассказывал о себе Георгий. – Есть у нас местечко, где мы сидим на спине империи, как морской цветок на щите рака. Варвары? Они отходят, они тоже сыты. Их было два войска. Одни ходили под Филиппополь. Другие разбили два легиона и конницу, а потом пошли к морю. Для нас – хорошие дни. Видишь повозки? А эти женщины пошли сами. Вернее сказать, мы их купили у них самих, обещав работу не для подати, а на новых мужей.

Георгий угощал случайных друзей. Вино, от которого он отвык, ударило в голову бывшему центуриону, слова опешили:

– Не считайте меня беглым сервом или колоном. Я командовал центурией, меня знал Велизарий, знал старый Юстин до того, как сделался базилевсом. А потом я попробовал потряхнуть Палатий. Да, я был одним из главных, когда вся Византия рычала одно слово: «Ника!» Теперь я понимаю – с империей нельзя ничего сделать. Что? Сменить одного базилевса на другого, да? Так говорил какой-то умный ритор. Я попробовал эту игру. Пусть теперь ею занимаются другие.

Георгий убеждал:

– Что вы найдете дома после двадцати лет отсутствия? Пустой очаг и глупцов, для которых вы – восставшие из мертвых. Префект, или кто там у вас, вывернет ваши сумки. Только у меня вы обретете свободу. Женщины? Вы их получите. Не слишком изнеженных, но что нужно человеку? Горшок с вкусным варевом, теплую постель и поменьше болтовни около очага.

– Ты тонко свистишь, сладкопевец, – возразил Голуб. – Но почему ты не захотел нам помочь? Ты издали глазел на забаву, как на травлю зверей в цирке?

– Мы ночные волки, – отвечал Георгий. – Не наше дело сражаться с легионерами. Мы нарядились, как мимы на арене. Не сравнивай нас с собой, боец. Ты воин, мы воры. Эти солдаты нас побили бы. А впрочем... Да, я водил в бой манипулу, но не был счастлив. А сам ты бывал счастлив? По нужде мы

сразимся, как крысы, загнанные в угол. Слушайте меня все трое! Мы дорожим собой, так как мы счастливы. Идите с нами. Свобода, свобода! Над вами всегда висела воля полководца, над ним – воля базилевса, а над всеми – воля войны. Мы живем для себя. А вы, как глухие, не понимаете. Свобода, говорю я вам.

Из трех товарищей только Алфен увлекался словами Георгия. Все, что бывший раб мог сказать о себе, уписалось бы на его ладони. Почему-то он считал себя этрусском, родился от матери-рабыни. Опасно сильный от природы, он всю жизнь носил цепь. Десять лет он служил Тотиле. Он научился владеть оружием, как немногие, что необычно для бывшего раба: гнет ломает силу духа и ловкость тела. Три года Алфен не расставался с Индульфом и Голубом. Он хотел было остаться в Тициниуме, но по дороге нагнал товарищей. Десять лет войны не стерли на его запястьях след кандалов. К ним Алфен прибавил мозоль солдата, огрубевшую от подбородочного ремня полосу кожи на нижней челюсти.

– Много ли скамаров во Фракии? – поинтересовался Алфен.

– Меньше, чем волков, – ответил бывший центурион. – Такие же, как мы, сидят в крепких местах.

– А почему вам не собраться вместе? – спросил Индульф. – Как в Италии, к вам пристанут колонны, сервы, рабы. Вы сможете встряхнуть империю. Ты рассказал нам – варваров было разве что больше тысячи, а они разбили два легиона и несколько тысяч конницы.

– Оставь меня, сатана, не искушай! – со злостью вскрикнул Георгий. – Не сравнивай нас с варварами. Те как камень, мы – глина. У нас нет оружия. Мы трусливы. Мы думаем о смирении и вечной жизни. У нас вода вместо сердца. Слушай! – и Георгий схватил обе руки Индульфа. – Я скажу тебе то, о чем хотел забыть навсегда. Истинное богоподобие в беспощадности к невинным. Ты понял? Нет? Запомни и поймешь потом, как я. Когда человека гнут, гнут и гнут, он ломается навсегда. Базилевсы знают это. Что же... – Георгий синеватыми пальцами смял свою бороду, укусил конец и плюнул.

– К чему все это? Кто однажды заложил собственную голову ставкой на нового базилевса, не повторит игры. Не думайте, будто мы глухи на нашей горе. Чего добился Тотила? Разве все несчастные, все обиженные пошли с ним? Малая горсть. А ведь он давал свободу рабам даже! Нет, все ждали, предпочитая издыхать лежа, без хлопот. Да, я знаю тех, кто всегда предает: свои же! И моя мудрость в том, чтобы жить для себя. А-ха! Последнюю чару!

В сумерках скамары покинули убежище в развалинах. До Козьей горы оставалось два ночных перехода. Георгий дал лошадей трем товарищам, хотя они ничего не обещали вожаку скамаров. Пока им было просто по пути, так как скамары приближались к Юстинианополю.

Ночная Фракия лежала дикой степью, глухой и слепой, без одного огонька.

Чуя волков, лошади всхрапывали, но послушно шли, доверяя великому могуществу человека, его силе, его храбрости.

3

Дале и дале берег уходит, и очи
лица распознать уж не могут...
Скоро и парус пропал.

Овидий

Ночной переход прошел спокойно. До восхода солнца скамары достигли сладкого озера, завесившегося высоким кустарником. С озера сорвались дикие утки. Стая волков уступила людям удобную дневку у водопада. Лишь досадливо назойливые кулики все возвращались и возвращались с жалобным писком, обиженные вторжением в их тихую пристань.

Все было обычным для скамаров на знакомом, надежном месте. Отсюда сорок стадий до имперской дороги и половина перехода до усадьбы Евмена. Козья гора – родной дом – ясно выступала на хребте Родопов. Будь место повыше, Георгий мог бы различить вход в ущелье с водопадом, где славяне спрятали клад оружия.

На востоке Георгий заметил пять движущихся точек. Ни одно животное еще не обеспокоилось бы их появлением, и лишь человек мог в них распознать человека.

Вот и еще всадник, и еще.

Георгий забрался на толстую иву, единственное дерево среди кустов. Первые пять всадников уже обошли убежище с запада и рыскали по равнине.

Колеса повозок продавили колею в росистой траве. Стебли не успели подняться. Всадники заметят след, если еще не заметили.

Сейчас Георгий видел одновременно уж не меньше сотни конников. Раскинувшись широким веером, конники охватывали несколько стадий. Не ромейская повадка у них. Федераты. Прикрывают легион, посланный вслед варварам. Георгий опоздал на один день.

Убедившись, что всадники напали на широкие полосы, оставленные колесами, бывший центурион слез с ивы.

Так приходит смерть. Средь белого дня или ночью, непрошенная, неожиданная, но неизбежная. «Как что? – подумал Георгий. – Не все ли равно...» Вчера он так громко хвалился, искушая Судьбу. А Судьба уже дышала ему в лицо.

Солдаты не обременят себя доставкой скамаров в город, чтобы там префект получил удовольствие посадить разбойников на кол для назидательного примера подданным. Солдаты милосердно перебьют скамаров и воспользуются добычей.

Умирают все, рожденные женщиной. По-настоящему люди отличаются один от другого только умением умирать. Георгий живым не дастся никому. А может быть, предложить ромеям добычу без боя?

– У вас есть ситовник с печатью. Вы не скамары, – сказал Георгий Индульфу. – Зачем вам пропадать вместе с нами! Скажи ромейскому начальнику, что мы взяли вас в плен. Он вас отпустит. И наверное, если вы дадите ему донатум. Предложи ему сделку: мы обменяем нашу добычу на свободу. Помнишь, я говорил о крысах? Но за наши шкуры ему придется хорошо заплатить.

– Не показывай ему всех денег, приготовь пять статов, этого хватит! – крикнул вслед Индульфу бывший центурион.

Товарищей сразу заметили. Вот кто-то, собрав около себя десяток конных, будто горстью бросил их. Всадники вновь рассыпались, готовя луки.

Гунны или герулы... Рука, поднятая Индульфом, остановила не скачку, а стрелы, уже лежащие на тетивах. Всадники осторожно сближались. Кто-то сменил лук на аркан.

Доспехи, крашенные орехом. Чужие остановились в двадцати шагах.

– Кто вы, люди? – крикнул коричневый всадник.

И Голуб, радуясь не спасенью, а славянскому слову, ответил:

– Свои ж мы, свои! Вашего языка мы люди!

Долго смотрели на страны Теплых морей Индульф с Голубом. Видение чужого изменило душу, которая светит в глазах человека. Ратибор не узнал давних друзей по Торжку-острову. Те же сразу увидели в матером князе россичей старинного соперника по силе и удали. Пришлось напоминать о себе.

Алфен захотел остаться со скамарами. Голуб попрекал товарища:

– Ты же сам решился идти с ними на север. Ломаешь ты дружбу.

– Я хотел уйти навсегда из империи, и я любил вас обоих, – объяснял Алфен. – Я решался забраться далеко и быть глухонемым среди людей чужого языка. Скамары живут вольным законом. Георгий дает мне женщину, которую я захотел. Вы, бывшие всегда свободными, никогда не поймете, что значит для меня иметь женщину, свою, навсегда и по сердцу... А еще – я смогу мстить владельцам рабов.

И стал Алфен уже чужой, уже отрывался и падал в прошлое Алфен вместе со сколькими другими, о которых, живы они или нет, сердце уже говорит, а язык повторяет: они были...

И опала империя, как пыль с ног.

И, как пыль, застревала в горле.

Пыль душила. Пыль ослепляла. Истолченная земля Фракии сделалась подобной мучному высеvu больного зерна, горькому, черному, как ядовитый уголек спорыньи.

Давно минул длинный день. Лето повернуло на осень. Стояла сухая пора. На Роси началась косовица хлебов, и туда летели души россичей.

Зрелые поля Фракии догорали под копытами славянских лошадей.

Шли знакомой дорогой, старой дорогой к подъему на Планины. Посылали дни вдогонку дням, бросая время, как изношенный постол.

Истоптана земля. Нет жизни нигде, нигде. Возвращаясь к себе раньше россичей, уголичи подмели Фракию.

В пыльных остях объединенной скотом травы скалились голочелые остовы лошадей, быков, людей.

Подобно опоздавшей кулиге саранчи, россичи со своим необозримым обозом доедали последнее.

Безжизненно стыли крепости, в которых прятались имперские когорты, ныне бедные духом, а потому и слабые телом.

Россичам, обремененным заботой о сохранении уже взятого, не нужны были каменные клетки. Теперь россичи знали, как вынимать ромеев из стен. Камни не собой сильны – людьми.

Окрепнув, Малх сажался на смирную лошадь. Голуб рассказывал о пережитом с ильменской острой

издевкой. Индульф – желая проникнуть в смысл событий и не находя его. Для чего была прожита жизнь?

– Все, все, все... Все, кто ушел с нами на Теплые моря искать невозможного, растаяли снегом на солнце. Мы были как семена, разбросанные в диком, темном лесу. Творение, прекрасное в словах, прекрасное для глаз, не таково на деле. Ты помнишь ли, Ратибор, наши речи на острове? Нет того невозможного, о котором я мечтал, нет, нет. Призрак был, туман над озером.

И молчали, и думали, и заканчивал Индульф:

– Однако же изменился наш мир. Нечто совершенно руками исчезнувших моих товарищей. И – моей. Что свершено? Я не знаю...

А Ратибор рассказывал о великой войне со Степью:

– С той поры князь Всеслав устроил Рось. Стал широк русский удел. Новая жизнь наша дышит без старого страха перед степными людьми. Сами мы вышли в степь.

– Не помню теперь, чего я хотел, – не мог отвлечься от себя Индульф. – И помню: я грезил о невозможном. Была Византия, Палатий. Там я едва не стал палачом. И там... – но он ни с кем не мог говорить об Амате и продолжал о другом: – Помню Италию, черную страну смерти. Помню себя в битвах без счета. Знаю, но не помню того Индульфа, кто на один миг встал рядом с твоей сильной юностью, Ратибор. Думаю только, что был я тогда чист, бел как рыба. А тебе, Малх, скажу, что будто бы не было того молодого, который отвез тебя в челноке с Хортицы-острова. Я ли был? Я живу. Зачем?

Павшая лошадь лежала плоская, узкогрудая, слабая, с уродливо вздутым брюхом. Дня не прошло, и осталась от борзой красавицы волчья снесь.

Ратибор говорил:

– Много раз, как стрела в воздухе, повисал я со смертью на одном волоске. Побеждал. И думал того только о себе, о своей удаче, о своей силе. Будто все жило и совершалось для меня одного.

Склонив головы, россичи слушали, как если бы не походный их князь, а сами они рассказывали о себе.

– Теперь, достигнув лет, я знаю, – продолжал Ратибор, – я не бессмертен. Не для меня служили удачи мои, победы мои. Их я не возьму на погребальный костер, их не покроет могильный курган. Не передо мною, други-братья, отступала смерть...

Над Днепром, на Ратиборовом дворе, растут два сына и дочь Анея, по бабке. И старший сын уже сильный воин.

– Так, други-братья, – продолжал Ратибор, – ныне я знаю, что живу, дабы служить опорой племени-роду – языку нашему. Мы живем для рожденных от нас и для тех, кто родится от них. Я князь, я граница-защита, я камень в основании очага, как и все вы.

– Твоя правда – моя правда, – подтверждал Малх. – Да живут россичи своей волей, своим разумом. Остережемся же ромеев. У них бог все вершит своим произволом, потому и нет у них закона, но есть лишь зло. Правды нет у них. Будто бы облекшись волей бога, их базилевсы давят ромеев. Ромеи же лобзают медную пята. Базилевс прав перед ними, бог за него. Таковы ромеи. Они опасны желанием во всей вселенной поставить своего бога и базилевса.

Слушали Малха. Но не хотелось говорить о ромеях, не хотелось более думать об империи, душа стремилась на Рось, к Днепру.

Трупик ребенка притаился за обочиной, ссохшийся, жалкий, страшный. Дороги Фракии пахли тленьем, коршуны, волки и шакалы отказались служить могильщиками.

Скакали гонцы в Юстинианополь, в Византию:

...с именем Юстиниана Божественнейшего преданное войско изгоняет варваров со священной земли святой империи...

В седле Планин горбились развалины крепости Новеюстинианы. Дожди смыли пепел, обнажив черные разводы смолистой копоти.

Перевал опять плакал мелкой изморосью, дождило и на спуске. Печальную встречу, печальный отпуск давала империя злым своим гостям. С поляны, где пало войско комеса Гераклада, звери дочиста убрали кости.

Сотник Мал, навещая ромейку Анну, напевал русскую песенку:

Я еду перелесками,
да пташечки свистят,
да песни, песни звонкие
в душе моей звенят.

На овечьей шубе, вывернутой мехом вверх, дорогими блестками сияли капли дождя. Повязка на голове пленницы светила морскими жемчужинами. Ромейка не сгибала гордую шею, не поворачивала красивую голову, будто здесь нет и не будет ее повелителя.

Беспокойная мысль точила Малха: «Много яда везем мы... Тебя, прелестница, и красивое оружие, и роскошь ромеев, и память о них. Защитить тебя от Мала, Анна! Его я хотел бы уберечь от тебя. Увы, от самого себя нас никто не спасет».

От сырости мозжила сросшаяся ключица и ныл, тянул рубец, оставленный ножом Асбада.

Дунай-Истр, река-море.

На далеком, как облако, левом берегу низкой муравой стлался матерый кустарник с ивняком.

Нет никого ни на том берегу, ни на этом. Пуста река, пусты берега, ни человека, ни челна. Никто не ждал россиячей в условном месте переправы.

Насытившись успехом, уголичи, тиверцы и другие союзники разошлись по своим углам.

Да и что здесь делать лукавому князю-жупану Владану, который сумел послать доверившихся ему россиячей на левую руку, на восток вниз по течению Гебра? Знал Владан, что в Юстинианополе и в Тзуруле стоят главные войска ромеев. Щитом послужили россиячи для союзников, которые ими заслонили свой налет на западную Фракию.

– Чуют, чувт они, что разгадка их нехитрая хитрость, – между собой говорили россиячи. – Ныне прячут глаза. Договорну же за перевоз плату они сами себе заплатили щедро. Ведь увезли и нашу долю добычи с первых битых ромеев. Ладно им, хватит нам своего.

Шесть дней стоял русский обоз на высоком берегу Дуная. Плоты плотили, бревна пришлось возить из дальнего леса.

Поработав топорами, связали надежной врубкой тяжелые бревна, изготовили весла. Еще пришлось ждать три дня, пока не унялся Дунай, сморщенный ветром, как шкура буйного зверя.

Наконец-то стали грузиться. Быков, лошадей, коров, овец затаскивали силой на плоты, путали ноги, валили, вязали.

Не люди устали в походе, а лошади. Они, отощав, выставляли ребра, как бочечные обручи.

Старшие запретили переправлять животных вплавь. Каждая лошадь, каждый бык сделались

наибольшей из всех ценностью – на спине не дотащить добычу до Роси.

По простому суждению молодых русских воинов, некорыстно было золото, полученное с ромеев за выкупы, не так-то дорога была серебряная и золотая посуда, шелка и тонкие ткани, взятые в Топере. Любо было другое. На много тысяч воинов захвачено ромейское оружие, которое свои умельцы переладят на русский лад. Много твердого железа взяли в крицах, в воинском облачении, много орудий нашли для кузнечного и других дел, обувь была по душе, хороши выделанные кожи – вот это добро!

За стоянку на Дунае свои мастера переделали станы коротких ромейских телег на длинные, поставив долгие дроги покрепче, чтобы не прогибались под грузом поклажи.

Все заводные лошади войска пошли в упряжку. Служили в бою, послужат в походе. Россичи пойдут старым следом, но путь на Рось будет по времени в два раза длиннее.

С утра десятого дня стояния на Дунае началась переправа. Ткацким челноком пошли сновать плоты от правого берега к левому и от левого – к правому. Три дня бережливо работали, чтобы в спешке ничего не утопить.

Стылым камнем, мертвым местом распласталась на своей высоте византийская крепость. В ней молились, чтобы славяне не вздумали сесть для осады, не полезли бы на стены.

Комес Рикила Павел, окостенев от тоски и безнадежности, дурманил себя коричнево-зеленым снадобьем, сухим соком конопли, привозимым в Византию от персов.

Комки едко дымили на жаровне. Комес вздыхал, кашляя, когда глоток оказывался не под силу. Постепенно небо становилось благожелательным, а вселенная начинала приятно покачиваться.

Рикила на четвереньках карабкался на башню. Божественное снадобье украшало жизнь, но мешало ходить.

Ах, эти варвары никак не могут выбраться из империи, никак! Сейчас Рикила не боялся, но движение варваров казалось бесконечным, а они – бесчисленными, как народы, которых святое писание сравнивало с песком морским.

– Что же ты их не бьешь? Твой меч отупел! Твои архангелы спят! – богохульствовал Рикила, одерзев от персидского снадобья.

Бог молчал. Нет больше знамений на небе и на земле, и нет больше пророков.

– Я бы тебя! – грозил Рикила небу. И пугался. И падал, закрыв голову. Но небо молчало.

С весны, с ранней весны не было связи с империей. Кажется, обоз с продовольствием не приходил в этом году? Может быть, нет уже ни Византии, ни Юстиниана Любимейшего, ни Палатия?..

Да, наверное, империя утонула, и сторож дунайской границы остался один со своей крепостью, как Ной на ковчеге в годы потопа.

Каменный ковчег покачивался. Башня скрипела и кренилась, как мачта. Чтобы не упасть, Рикила садился и полз вниз, цепляясь за ступени.

Дым конопли возбуждал острый голод. Комес разбалтывал муку в холодной воде, жевал сырой горох, бобы. Боясь озверелых солдат, Рикила Павел не решался посвятить кашевара в тайну особого склада.

Солдаты ставили силки на крыс, ворон, воробьев. Персы, иссохшие как мумии, томились безнадежной тоской по мачехе, но все же родине и дрались из-за побегов травы на дворах крепости. Готы спали целыми днями, коротая скучную старость. Солдаты из имперских горцев играли в кости на соображаемые ставки.

Один из солдат Рикилы, вспомнив старый способ кочевников, вскрыл вену лошади, чтобы насытиться кровью. При осторожности так можно проделать несколько раз, не вредя коню. Лошадь осталась жива, но конника зарезали: он использовал собственность товарища – и съели его лошадь, теперь лишенную хозяина.

Толчок плечом – и крепость упала бы, как гнилой шалаш.

Никому не надо.

Отошли последние плоты. Правый берег опустел. Двое людей, вылезших неизвестно откуда, столкнули в реку бревно и, цепляясь за верткую опору, поплыли через Дунай. Они, пленники россичей, спрятались было, но в последний час решили сменить Судьбу, избрав неизвестное будущее...

Войско-город уходило на север. Тысячи колес оставляли широкую дорогу. Не скоро зарастает однажды пробитый путь, не скоро затянутся глубокие колеи, прорезавшие дерн.

Да и затянутся ли?..

– Много взяли, много. Не думал я, ведя войско от Роси, что такое удастся нам взять. Людей же мы сберегли. Ромеи слабы, их слава – пустая слава, – говорил Ратибор. – Мы успели во всем. Радостью встретит нас земля. Хвалу нам воздаст князь наш Всеслав. Но на душе у меня смутно.

– Помнишь ли, князь, – спросил Малх, – что Всеслав сказал Колоту-ведуну после хазарского побоища?

– Помню. Войску большому – дело большое. Вещий наш князь. Дело совершается. В степь мы вышли. Далеко от старого кона летают россичи. От больших дел новый ветер дует в наших старых лесах, на наших старых полянах.

– Не бывало такого, – сказал Крук. – Мы узрели небывалое для русского глаза. В сердцах у нас, в наших душах добыча, не знаю какая. Дня вчерашнего вы не вернете, нет, не вернете, други-братья, как не быть из старости молодую. Людей мы взяли, много людей к нам доброй волей пристало. А вот он, молодой, – Крук указал на Мала, – женщину себе добыл чужую, род от нее поведет. У меня, старого ворона, душа думой шевелится. Новые птицы будут, иной щебет будет у них.

Из любви к Ратибору Крук смолчал, что есть в обозе девушка, которая зовет себя княжью.

Тот берег, имперский, поднимался над Дунаем скалистыми обрывами. Два ромея, решившиеся на новую жизнь, закончили трудную переправу. Не в силах подняться на ноги, они мертвыми телами отдыхали на самом урезе реки.

– Вон они, – указал на них Малх, – сами тянутся к нам. Как со мной было когда-то. Что в себе несут? Сами не знают.

Молчали, глядели все. Малх размышлял вслух:

– Что в нем, в ушедшем? Идя в поход, я, как дитя, тешился думой о наслаждении спором, беседой. Я хотел нечто сказать ромеям. Кому? Пустое все, как покинутый пчелами сот. Домой хочу, к себе, к семье. Пусть же станет прошедшее прошлым.

Остановив коня, чтобы в последний раз в жизни взглянуть на границу империи, Индульф не заметил, как его оставили. Больше половины жизни прошло.

В Италии его потянуло вернуться домой, на берег Холодного моря. Зачем? Правильно сказал Георгий-

скамар: нечего искать сверстников, сделавшихся зрелыми мужчинами, да слушать рассказы об умерших.

Индульф останется на Роси. Походный князь Ратибор звал его и Голуба. Опытные воины нужны русскому войску. Князь Всеслав назначит им грады для кормления, руссичи не откажут новым братьям в женах. Забыл Ратибор, что выполняет старое обещание, которое он давал молодому Индульфу на Торжке-острове. Быть ныне Индульфу с Голубом русскими сотниками.

Индульф не посылал бесполезные проклятия ромейской империи. Не перед ним она виновата, ведь он сам делал, своей волей. Не хотел он ничего изменить в своем прошлом, ибо сожаление недостойно мужчины. Но его память никогда не оставит в покое ни раздавленная Италия, ни великолепная и буйная Византия с ее храмами загадочных и бесчеловечных богов. Не погаснут небесные красоты палатийских дворцов, не умолкнет тихий шепот белоснежных служителей, не отвалится гной войны, и вечно будут светить образы не признавших себя побежденными Тотилы и Тейи.

Остановившись, долго глядели на юг два всадника, налитые силой, тяжелые, как конные статуи на форумах старых городов Теплых морей, застыв в невысказанной угрозе.

Индульф думал о маленькой женщине своей молодости. Амата пришла из неведомого и скрылась скользящей походкой ромеев, шаги которых беззвучно гаснут в неисчислимых жестоких толпах. Будто совсем забытая, с годами Любимая возвращалась чаще и чаще. Индульф любил ее. Позднее знание, юность глупа. Поздно пришло постижение невозможного, настоящего невозможного, достойного мужчины, к чему, Индульф ныне знал, его готовила Амата. Он не был первым для Любимой, не в нем одном она искала, теперь Индульф мог думать об этом без ревнивой горечи. Ее кто-то предал. Все и навсегда останется тайной, которую не купишь за горы злого золота злой империи. Воистину великое прошло мимо, как женщина с закрытым лицом, известившая о смерти Аматы. Вспомнился бог-базилевс Теплых морей. Вот тогда бы!..

– Ааа! – вслух простонал Индульф.

– Пора, друг-брат, старый товарищ мой, пора, – позвал Голуб, едва протолкнув слова через стиснутое горло. И, не думая, повторил не раз уже сегодня сказанное другими: – Изменились мы, изменились, и дней прошедших не вернуть, да и не нужны они. – И добавил свое: – Каждому дню – дело дня. Так будем жить, друг-брат, пока душа дышит в груди.

Товарищи повернули коней и послали их по запустелому уже следу войска.

Были оба они по-воински подобранные, но и встопорщенные, как хищные птицы, готовые выбросить крылья из напряженного тела и ударить острым когтем. Сухие глаза их смотрели хрустально-холодные, как беспощадные соколиные очи.

Индульф и Голуб уходили навсегда. Отныне они братья руссичей и никогда не увидят империи. Так они решили. И еще – они хотели отдыха.

Они не знали тогда, что империя их не отпустит. Не поможет время. И желанный отдых не в их власти.

Обманутые, искалеченные, все ярче они будут вспоминать из пережитого все плохое, а хорошее будет для них гаснуть, пока не погаснет совсем.

Как все люди, они забудут, что дались в обман по своему недомыслию, что были они скоры в делах и медлительны в размышлениях. Ведь не себя клянет человек, попав в ловушку трясины-чарусы, которая издали обольстила его солнечной лаской цветущей поляны, такой дивной, когда смотрят на нее с опушки сурового леса, из-под нахмуренных северных елей.

Себя они обелят, оправдают. Иначе нельзя, не выжить иначе.

Но и очистившись, они не обретут покой. Беспокойные, они будут сеять волнение. Мстительные, они возбудят недобрые чувства и злое любопытство к империи, о которой они не устанут рассказывать россичам. Не устанут, ибо многое, может быть главное, они постигнут потом, вспоминая прожитое и находя слова для рассказа.

В урочное лето их тела растают в огне погребального костра. Но их тоскующие души останутся среди россичей, живые в завещании вечной вражды к югу Теплых морей, где для Индульфа и Голуба живет нечистая нелюдь, где под золотыми куполами сидят змеи-аспиды с ядовитыми клыками, хитро спрятанными под сладкоречивыми обещаниями блаженства, где они искали невозможное, нашли его и упустили из рук.

Глава 17

Ненасытный гаснет день

Однажды утром римляне заметили на пыли форума следы богов, ночью покинувших Вечный Город.

Из древних авторов

1

Осень на полуострове между Понтом и Эгейским морем. Сокращаясь с излишней поспешностью, отлетают ясные теплые дни. Лучшее время года для стариков. Зноя уже нет, и скифские степи еще не послали на берега Теплых морей северо-восточный ветер. Доцветают поздние розы.

Утро. На листьях с каймой желтизны блестела роса. Ночная сырость слегка покорила желтоватый пергамент-таблицу. Под заголовком «Летосчисление» было четыре строки:

Заботой евнуха Каллигона эта таблица висела в круглой беседке-ротонде. Тут же, в тишине, в одиночестве, трудился и сам писец.

От ротонды до большого дома, владения Велизария, великого полководца великой империи, было рукой подать: сотня шагов по утрамбованной дорожке. Не широких воинских шагов. И не легких шагов сильного, не обремененного ношей мужчины. Того мужчины, воображаемыми днями пути которого писатель Прокопий из Кесарии, умно следуя народному обычаю, обозначал в своих книгах расстояния до далеких стран, чтоб читатель мог ощутить размеры этого беспокойного мира. Здесь шаги были мелкие, стариковские, неровные.

Сидя в ротонде за мраморным столиком, Каллигон писал сепией, яркой, настоящей сепией, хорошо процеженной, без сажи и толченого угля, подмешиваемых купцами. В продаже теперь стало трудно найти чистую сепию, поэтому черную краску приготавливали на вилле. Пергамент был тоже настоящий, не современная подделка из проклеенного папируса или ситовника, но выделанный из кож мертворожденных телят и ягнят, прочный, отбеленный до молочного цвета.

Каллигон вставал перед рассветом, как раб, но без окриков и понуждения. Он спешил исполнить урок, заданный себе же: шесть страниц в день. Не так мало, если подражать наемным писцам, у которых буквы четки, как выбитые печатью. Даже много для добровольного писца-домоправителя, который распоряжается имениями богача, ведет счет, следит за всем. Все люди изолгались. Все изворовались. Никому нельзя верить. Если сегодня пропустить в расчете ошибку, завтра ее повторят уже сознательно, чтобы ограбить.

Каллигон успел закончить первую страницу дневного урока. Едва он начал вторую, как его позвал знакомый голос. Без нетерпения, без досады Каллигон посыпал свежую строку толченым песком, встряхнул лист, свернул его в трубку вместе с подлинником и страницей, написанной ранее. Не следует разбрасывать записи.

Велизарий, хозяин, звал и звал. Великий воин превратился в ребенка.

– Иду, иду, спешу, светлейший! – отвечал Каллигон голосом старухи.

От дряхлости на голом черепе евнуха вырос бесцветный пух, и голова Каллигона напоминала о птице, ощипанной поваром.

– Бегу, бегу! – Тонкого голоса евнуха боялись несравненно больше, чем грозных окриков Велизария.

– Где же ты, окаянный! – сердился Велизарий.

С помощью двух сильных слуг он тащился к ротонде. Мечу империи исполнилось шестьдесят лет. Может быть, и больше, но ненамного. Живая руина, отвратительная для всех, не была противна Каллигону. Засохший евнух, особенно маленький рядом с Велизарием, служил единственной опорой бывшего полководца.

Погладив костистую лапу Велизария своей тощенькой ручкой в пятнах от сепии, Каллигон спросил:

– Что с тобой, величайший? Скажи, и я утешу тебя.

Колени Велизария подогнулись. Повисая на плечах слуг, он вытягивал тощую шею с набухшими жилами, серую, сморщенную, будто тело долго было в воде, и жаловался:

– Все против меня одного, все. Гляди, гляди... Он подкуплен. Он хотел зарезать меня. Он, он... – Велизарий заплакал от жалости к самому себе.

– Успокойся, светлейший, успокойся, – утешал Каллигон, вытирая платком глаза Велизария. – Твоя драгоценная жизнь цветет в тебе, ты жив и силен. Покажи мне рану, я вылечу ее.

– Вот, вот! – Велизарий, гримасничая, натягивал кожу. На подбородке подсыхала царапинка, которую может оставить бритва в дрогнувшей руке.

– Не бойся, владыка. Твое здоровье вне опасности. Виновный будет наказан.

– Накажи, накажи его, – со злобой бормотал старик. – Может быть, он хотел покуситься...

Виновный ждал в нескольких шагах за спиной Велизария. Каллигон приказал:

– Розги! Сечь его без пощады.

Брадобрей скрылся за деревьями. Раздались вопли, мольбы о милости. Велизарий прислушивался. Он плохо видел, но сохранил слух и узнавал людей по голосам.

Наказание длилось. Устав стоять, несмотря на помощь слуг, Велизарий распорядился:

– Довольно.

Его брили раз в четыре-пять дней. Он забывался, бритва царапала, и каждое бритье кончалось жалобами на покушения.

Каллигон считал достаточным наказывать за настоящие провинности. За мнимые – полагалась мнимая же кара. Из брадобрея Велизария мог получиться хороший мим.

Светлейшего усадили в ротонде, и Каллигон развернул пергамент.

Велизарий не видел, что пишет его домоправитель, не только от плохого зрения, но и по неграмотности.

– Что ты делаешь?

– Свожу счета, считаю твои деньги, светлейший.

Велизарий уронил голову на грудь. Слуги слегка поддерживали господина, внимательные, напряженные. Каллигон беспощадно наказывал за действительные упущения.

– Что ты делаешь? – повторил вопрос Велизарий.

– Считаю, свожу счета, величайший, – терпеливо ответил Каллигон.

По утрам сознание Велизария ненадолго просветлялось. Солнце поднялось высоко. Каллигон знал, что хозяин скоро потеряет память. Сегодня Велизарий боролся.

– Счета, счета, счета, – ворчливо затвердил он. – А! Ты не умеешь иного. Почему не пишет... Я забыл. Этот. Каппадокиец. Нет. Кесариец. – Велизарий вздрогнул, и слуги подхватили клонящееся со скамьи тело. – Да! – воскликнул Велизарий. – Почему не пишет Кесариец о моих подвигах? Почему?

– Он пишет, светлейший, пишет, – утешил Каллигон. – Он скоро прочтет тебе новую книгу.

– Пусть Прокопий пишет побольше, – приказал Велизарий. Он пытался расправить плечи и выпятить грудь. Что-то боролось в угасшей душе. Велизарий прислушался к чему-то, сказал:

– Пусть он не забудет описать подвиги Божественного, – и опять обмяк.

Семь лет тому назад гунны и задунайские славяне вторглись во Фракию, перелились через Длинные стены, никем не защищаемые, и вплотную подступили к Византии.

Как всегда, Юстиниан держал в Палатии достаточно войска, чтобы защитить себя от охлоса, но не столицу от варваров. Через Босфор спешили вывезти казну и драгоценности храмов, пытаясь уберечь сокровища от неминуемого грабежа.

По приказу базилевса Велизарий призвал население спасти Византию. Забывчивый охлос вышел на стены города, и варвары, не рискнув напасть, удовлетворились выкупом.

Византийцы объявили Велизария спасителем отечества и осыпали его знаками преданности. В душе Юстиниана с новой силой пробудились угасшие было подозрения.

Долгие, мучительные четыре года Велизарий наблюдал, как над его головой собирались тучи. Внезапно его заточили. Его имущество было схвачено, слуги и остатки ипаспистов разбежались. Каллигон залез в щель, как мышь, – у него были готовы убежища.

Антонина еще раз отвела беду, и базилевс приказал освободить полководца. Сановники успели много разграбить, но часть своего состояния Велизарий получил обратно.

После этого что-то сломалось в душе полководца. За несколько дней воздух подземных нумеров успел отравить его сердце. Вскоре кто-то сообщил Велизарии о новых, страшных замыслах базилевса. Был ли верен слух? Или кто-то сумел под маской друга злорадно налить яд в открытую рану?

Велизарий заболел сразу. Много дней он лежал без сознания и очнулся ветхим старцем, потерявшим память. Будучи на двадцать лет моложе Юстиниана, которому недавно исполнилось восемьдесят два года, Велизарий годился базилевсу в отцы.

Каллигон думал: «Страх тем сильнее владеет людьми, чем большее число людей они сами лишили жизни».

Прокопий же умер. Умер. Погребен. Истлел. Никогда ничего не напишет. Велизарий забыл о смерти Прокопия, как о многом другом. Каллигон солгал Велизарии. При нем нельзя было говорить о чьей-либо смерти – с ним делались припадки.

Прокопий скончался на руках Каллигона. Не сопротивляясь болезни, он ушел без страха перед неизбежным. Послушно приняв причастие, Прокопий прошептал слова, приписанные затемнению ума:

– Мой рот полон горечи.

2

Сочти число Зверя.

Из древних авторов

Велизарий дремал, его челюсть отвалилась. Каллигон писал, не стесняясь присутствия слуг. На вилле евнух был единственным грамотным. Слуги, обязанные отчетом, умели делать зарубки на палочках, завязывать узелки, перекладывать цветные камешки, листья. Прочие не владели и этим.

Не так уж много людей, обладавших искусством письма, встречалось в молодые годы Каллигона. Ныне число грамотных уменьшилось.

Юстиниан не только запретил последние академии на Востоке. Нечестивые учреждения были уничтожены и на возвращенном империи Западе. Кое-как подучивались желавшие занять должности в префектурах. Школы легистов, поощряемые базилевсом, давали ученикам некоторые познания в латинском и эллинском письме. В монастырях монахи учились друг от друга. Старались понять смысл букв те, кто готовился принять сан священника.

В самой Византии нашелся бы один грамотный на тысячу, в провинциях же – один на два мириада. Но и они, по мнению Каллигона, владели не более чем кухонным письмом. Таковы люди, такова письменность. Крохотная горстка грамотных дико и грубо выражала свои мысли. Запас слов был ничтожен и ограничен потребностями дела.

Сорок лет власти Юстиниана смирили мысль. Каждому – свое. Писцы префектур пользовались обязательными оборотами языка Власти, тяжелыми, надуманными, двусмысленными от своей тяжести. Легисты копировали формулы законов, и тот среди них, кому был доступен комментарий, считался чудом просвещения. Почти все священники, заучив богослужение с голоса, переворачивали листы книг для виду. Переписчики совершали ошибки, искажавшие смысл до неузнаваемости. Слово вырождалось.

Сам Каллигон считал, что мыслит и пишет чистым эллинским языком, которым пользовался Прокопий. Но с людьми, чтобы быть понятым, евнуху приходилось объясняться какой-то другой речью.

Каллигон посмотрел на Велизария и приказал слуге утереть слюну, точившуюся из черной ямы беззубого рта. Жизнь человека не может сравниться с могучей жизнью деревьев, прекрасных даже в смерти.

В широком входе ротонды появился человек в железной кирасе, перепоясанный длинным мечом. Чтобы дать отдохнуть шее, он снял каску и держал ее перед собой, как виночерпий чашу.

– Мудрейший! Антонина великолепная желает тебе здоровья, благополучия и успеха в делах собирания статеров! – Посланный дружески подмигнул евнуху.

Не вставая, Каллигон кивнул Иераку, бывшему ипасписту Велизария, ныне начальнику отряда воинов, которых Антонина содержала, как все знатные люди, для своей личной охраны.

Старый наемник нарочито не глядел на спящего Велизария. Что ему этот труп, трусливо цепляющийся за жизнь!

До четырнадцати лет Иерак жил в горах Кавказа – к югу от Лазики. Когда в его племени старик или старуха делались в тягость себе и другим, они сами, как сноп, бросали дряхлое тело в пропасть, дна которой никто не видел, если и было это дно. Так всегда велось. Каждый знал свою могилу. Единокровным

Иерака не приходилось напоминать, что жизнь может сделаться постыдным бременем.

Антонина не считала нужным навещать дальнюю виллу. Властная женщина умела оставаться первой доминой империи. Юстиниан не закрыл двери Палатия перед Антониной и после смерти базилииссы. Антонина льстила, умело разносила сплетни, угадывала капризы престарелого владыки империи. Она казалась высшим нужной и великой – низшим.

Памяти базилииссы Феодоры уже семнадцатый год воздавались посмертные почести. Юстиниан не обременил себя новым браком. В год смерти Феодоры ему исполнилось шестьдесят пять лет.

Священное писание рассказывало о мужах, сохранивших силу юности и до более преклонного возраста.

Для бесстрастных наблюдателей – палатийских евнухов – не было тайных изгибов сердец и тел. Каллигон дружил с евнухом Схоластиком, человеком столь большого ума, что однажды базилевс послал его против вторгшихся во Фракию задунайских славян. Скифы так разгромили армию Схоластика, что был потерян даже Священный Лабарум – знамя Константина. Схоластик же не потерял милости Юстиниана: там, где он потерпел неудачу, не мог бы выиграть никто. Как-то Схоластик открыл Каллигону тайну Палатия: вовремя, вовремя скончалась Священная Владычица. Ибо душа Божественного по причине увядания тела уже закрывалась для соблазнов Евы.

Каллигон размышлял об Антонине. Египетские и персидские маги секретными снадобьями и тайными обрядами поддерживали молодость ее чувств. Когда Каллигон виделся с владычицей год тому назад, при ней состоял молодой эллин, красотой напоминавший юного Беллерофонта. Он казался утомленным. Глаза Антонины сверкали, зрачки были расширены, как у женщин, пользующихся атропой. Для сохранения свежести чувств и тела она принимала ванны не из молока, как Феодора, а из крови, и спала, обложенная парным мясом. В Антонине жила неукротимая сила похотливой, бесплодной плоти.

– Не спрашивая тебя, Иерак, я заключаю о твоей цели, – сказал Каллигон.

– Для этого, мудрейший, не нужно много мудрости, – с иронией ответил Иерак. – Ты всегда, впрочем, прав. Со мной тридцать бойцов в броне. Дороги опасны.

Двести стадий пути от Длинных стен до ворот Византии! Даже здесь нельзя возить деньги без хорошей охраны. Дороги империи!

Каллигон пестовал Велизария под прикрытием северного конца Длинных стен и под защитой крепости. В дни нашествия гуннов и славян вилла избежала разгрома.

Дом стоял на самом берегу. Летом высокий берег отбрасывал на море тень. Каллигон любил сидеть на бережку у самой воды. Зализанные ветром кусты на круче казались волосами. Скалы проступали, как лбы исполинов и чудовищ. Северо-восточный ветер зимой портил жизнь. Но зиму, как и старость, нужно перетерпеть. Безопасность искупала зимние неудобства, смерть искупит старость.

Юстиниан щедрой рукой расставлял крепости всюду. Войск же мало, солдаты слабодушны, военачальники жадны.

Шайки скамаров грабят у самых Золотых Ворот. Недавно они напали на подгородную виллу. Хозяева бежали к воротам. Ночная стража не осмеливалась ни пустить несчастных в город, ни выйти им на помощь. Скамары увели людей на глазах у солдат, чтобы взять выкуп.

Префекты знали имена скамаров, но не способы их истребления. В Родобах поблизости от Юстинианополя сидели какой-то Георгий, или Горгий, Алфен, Гололобый. Эти порой осмеливались громить дорожные заставы между Византией и Филиппополем.

Империя разорена. Казна постоянно должна солдатам, и солдаты грабят подданных. Служащие годами не получают жалованья и тоже отыгрываются за счет подданных. Палатий же пышен более прежнего, храмы украшаются, строятся крепости. Как человек, через руки которого прошли многие десятки тысяч фунтов золота, Каллигон понимал, что и в обнищавшей империи всегда найдутся деньги на роскошь. Кляча в позолоченной сбруе.

Старуха Антонина могла покупать молодых красавцев, заставляя их клясться в любви потому, что уцелевшие от конфискации виллы Велизария были свободны от налогов. И еще Каллигон сумел припрятать нечто в годы, когда счастье служило великому полководцу.

3

Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою
и невозвратную добычу возвратит!

Из древних авторов

Вот и закончена еще одна книга, копия. Каллигон мог бы писать наизусть, но все же сверялся с подлинником, как раб-переписчик под ферулой господина. У Каллигона нет господина, он боится нечаянно изменить что-либо.

Прокопий умер, в оставленном им ничего нельзя упустить или исправить.

Каллигон любил перечитывать книги Прокопия о войнах. Над многими страницами витала душа друга. Приближаясь к ним, Каллигон готовился к встрече, к ощущению присутствия Прокопия, всегда одинаковому и явственному, как движение воздуха.

В книге «О постройках» не было Прокопия. Он писал эту льстивую книгу из страха перед Юстинианом и во искупление страниц в «Войнах», которыми был недоволен базилевс. Шепнули – нужен панегирик, чтобы спасти жизнь.

В тайной книге, которую переписывал и переписывал Каллигон, было тоже много страха. Прокопий торопился. Над страницами горьких разоблачений металась испуганная душа. Много раз Прокопий бросал работу, спеша скрыть написанное. Трижды, поддаваясь приступу ужаса, друг сжигал книгу, которую он позволял себе писать только рядом с очагом.

Увы, ложные тревоги сокращали дни Прокопия и ухудшали книгу. Иногда забывалось главное, случайно вытесненное второстепенным. Мнения темного охлоса были переданы без оговорки, будто бы Прокопий мог сам верить, что Юстиниан бродил по Палатию без головы и был воплощением дьявола. И многое другое такое же. Не выполнены обещания, данные в книге, рассказать о делах церкви. Изложение нестройно, книга не закончена. И все же – это правда. Правда должна жить.

Оставшись в одиночестве, Каллигон пробовал писать, желая создать дополнение к книге Правды, объяснить недосказанное, исправить спорное.

Каллигону не однажды удавалось в дружеском общении оживлять мысль друга, напоминать, советовать. После смерти Прокопия евнух постиг печальное бесплодие своего ума. Да, мысли роились. А на папирус падали крохи слов, подобно трухе дерева, источенного червем. У Каллигона не было чудного дара Прокопия. Пришлось примириться с этим, как со всем остальным, чего евнуха лишила Судьба.

Что есть истина? Любимец Каллигона и Прокопия Плутарх писал:

«Невозможно встретить жизнь безупречно чистую. Поэтому создан для нас некий закон избирать только хорошие черты для выражения истинного сходства с образцом. Страсти или государственная необходимость врезают в дела людей ошибки, пятна. В них следует видеть скорее отступление от добродетели, чем следствие пороков. Вместо того чтобы глубоко запечатлеть в истории дурное, нужно действовать с умеренностью к человеческой природе, которая не производит совершенных красот и характеров, могущих служить безупречными образцами добродетелей».

– Что же есть истина? – спрашивал Каллигон Прокопия. – Кому нужно будет верить, когда вам, историкам, прошлое послужит для сочинения образцов никогда не существовавших добродетелей? Значит, превыше всех стоят сочинители житий христианских святых, однообразных сказок?

– Вы оба искушаете меня, как Сатана искушал Еву, – возражал Прокопий и Плутарху и Каллигону.

Нет, гнусный Насильник да будет распят навеки на железном кресте истории. Каллигон будет переписывать. Да останется Слово обличающее, Слово разящее.

В Палатии упорно благоденствовал тучный старец, самоупоенно рассуждавший о догмах веры, делах империи и делах церкви. Он держался за власть молодыми руками. Каллигон считал по пальцам способы Юстиниана: уничтожать умных и сильных, лишать войско силы и сознания своей доблести, погасить чувства чести у сановников, у полководцев, у всех подданных, всех перессорить, стравить. И что-то еще...

Каллигон чувствовал, что ему не дается познание тайны истории. Самое важное ускользает. Прокопий тоже не знал. Каким должен быть настоящий правитель, какой должна быть настоящая империя людей, а не подданных? Вероятно, главное в этом знании. Им не обладал никто.

Очнувшись, Велизарий захныкал. Его жалоба и тень садового гномона напомнили о часе обеда.

Искусный повар готовил обоим старикам блюда роскошного вида, разные на вкус. На самом деле изменялись приправы, а основа неизменно состояла из мелко изрубленного разваренного мяса и овощей. У Велизария почти не осталось зубов, Каллигон был не многим богаче.

Бывший полководец ел жадно, требовал вина. Его обманывали виноградным соком, и старик хмелел.

Слуги знали, что евнух, даже не глядя, видит каждое движение, и нежно ухаживали за Велизарием. Он был беззащитен как ягненок. У стариков была общая спальня. За дверью укладывались несколько слуг. Для ухода за грузным и рослым стариком нужна сила.

Верили: евнух умеет читать мысли. Он никогда не наказывал по-пустому. Ему редко приходилось наказывать: чтеца мысли остерегаются обманывать. Каллигон мог не бояться ни наемных, ни рабов.

Тихо жилось в углу Длинных стен на берегу бурного Черного Понта. Даже Коллоподий, поставщик тюрем и плахи, неутомимая ищейка базилевса, не засовывал сюда свои длинные щупальца. Здесь нет ничего и никого; Велизарий умер заживо.

4

Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса былого. –
Утраты все приходят мне на ум,
И старой болью я болею снова.

Шекспир

В спальном комнате стало свежо. Скоро придется вносить жаровни. Издали и снизу доносился слабый шум, правильная смена шипенья и шороха. Море начало беспокоиться.

Каллигон прислушивался к морю, прислушивался к своему телу. Тощей рукой, похожей на куриную лапу, евнух нашел под своей старушечьей грудью болезненное место. Что там? Смертельная болезнь базилиссы Феодоры началась болями в боку. Каллигон хотел жить.

Он хотел пережить Юстиниана. Эти иллирийцы живучи как змеи. Юстин дожил чуть не до ста лет. Его племянник кажется еще свежим в восемьдесят два года.

– А в тебе чья кровь? – спросил себя Каллигон. Он не знал. Ребенком он пошел по рукам работоторговцев, юношей попал в дом Велизария. Все евнухи похожи один на другого, кроме родившихся на Кавказе, как Нарзес. Племя – тлен, родина – выдумка, до которой никому нет дела в империи. Напрасно, напрасно Прокопий тщился быть римлянином старой крови. Из-за этого в его книгах появлялись суждения, бывшие ниже его разума. И – противоречия... Римляне, неримляне! Мертвецы держат живых за ноги. Мертвых нужно бояться, не варваров. Старый Атила был праведником по сравнению с Юстинианом, Феодорих готский – ангелом. Сам Прокопий считал Тотилу благороднейшим из правителей, а Тейю – великим героем, превзошедшим Леонида-спартанца.

Длинный, как острие копья, огонь лампы стоял перед иконой Христа с лицом базилевса Юстиниана. Лампада и икона были драгоценными подарками базилиссы Феодоры своей любимой наперснице. Умерла базилисса, и честь сделалась ненужной. Сейчас старая Антонина тешится оргиями в палате, украшенной постыдными картинами и статуэтками, которые привозят с Востока и делают в Александрии. Ночь без сна – клубок змей...

Рядом с Тейей сражался славянин Индульф, хорошо знакомый Прокопию и Каллигону. Индульф ушел из империи. Славяне живут в народовластии, без базилевсов. Что будет с ними? Империя заражает варваров, как старая куртизанка неопытных юношей.

Пламя лампы качнулось от струи холодного воздуха. Не зря шумел Понт. Море не ошибается. Близится буря, буря, буря...

Поздно. Сна нет. Мысли и мысли, вы черные птицы ночи. А кто это рассказывал, что даже вороны улетели из Италии?

Может быть... Оспаривая окладные листы, присланные из Византии, наместник Италии Нарзес утверждал, что на завоеванном полуострове осталась едва пятая часть подданных от населения, исчисленного при Феодорихе. Победа...

Прокопий насчитал, что Юстиниан уничтожил во вселенной пять миллионов людей. Книга об этом была сожжена Прокопием в одном из припадков страха. Ныне всеми битые, всеми гонимые лангобарды, едва не истребленные гепидами лет пятьдесят тому назад, и не столь давние данники герулов, собираются в Италию. У империи нет сил, чтобы противиться им. После львов – волки, после волков – шакалы... А кто

после шакалов? Опять львы?

В Италию нужно послать десять копий книги Правды. Там знают Юстиниана. Базилевс обращается с наместниками Петра, как с распутниками, пойманными в блуде. Италия прочтет и сохранит. Жить, пережить Юстиниана...

5

И, наконец, они ему шепоткой
Земли глаза покрыли – он утих.

Шамиссо

Сегодня исполнялась годовщина смерти Прокопия. Северо-восточный ветер бросил Понт на приступ Европы. Завладев бережком, на котором летом любил сидеть Каллигон, море било в кручу. Соленый туман, сорванный бурей с гребней волн, кропил сад. И там, где он оседал, листья вечнозеленых дубов чернели, как от оспы.

Из кадилниц летели искры, выбрасывало ладан и угли. Над могильной плитой священники пели и молились об успокоении души раба божьего патрикия Прокопия, ветер бил их по губам и рвал слова.

Прокопий не носил высокого звания патрикия империи. Церковь по-светски льстила покойнику. При жизни ему никто не льстил, нет. Нужны его душе молебны или не нужны, они ничему не мешают. Морская пыль замерзала на лету. Еще одна зима.

Укутанный в меха, в плаще из киликийской шерсти, в теплых сапожках – нужно беречь себя, – Каллигон немо беседовал с усопшим: «У тебя не хватало храбрости, сын империи, ты изворачивался, лгал, льстил, как все. Благословен ты и в слабостях, добрый друг. Будь ты смелее – не осталось бы и праха ни от твоего дела, ни от тебя. Ты мыслил, чтоб познавать высшее, чем личная жизнь одного человека. Сгорая от ужаса, ты светил. Без тебя глухие годы остались бы глухи навечно, как камень. Ты был слабым человеком, но не безгласным зверем, как все мы. Ты живешь, будешь жить. А помнишь ли?..

К чему мне тревожить твою отошедшую душу? Коль есть зерно справедливости за гробом, ты пребываешь в покое...»

Возвращались в благопристойном молчании, ожидая обильного угощения. Духовные торжественно шествовали впереди, оставляя старенькому евнуху почетное место епископа.

Священники отслужили панихиду над могилой какого-то ритора, состоявшего прежде на службе у Велизария, как многие и многие. Что делал, кем был он? А! Кому нужны покойники...

От жаровен струилось благодетельное тепло. Красноглазые угли через узкие прорези в черном железе смотрели на вкушающих поминальный обед.

В трапезную вошел управитель городского дома Велизария. Человек был грязен, с его одежды сочилась вода, он только соскочил с лошади. Подставив морщинистое ухо, Каллигон прислушался к шепоту управителя. В душе евнуха зазвучали слова молитвы Симона: «Ныне ты отпускаешь меня, боже...»

Нет, долой слабость! Пришла пора дела. Книгу Правды нужно также послать в Египет, в разоренную Сирию. И переписывать еще. Но тайно, тайно. Новый базилевс не допустит осуждения старого, дабы не поколебать Власть. Чтоб укрепить себя, Юстин Второй потребует уважения к памяти Юстиниана Первого.

Упираясь в подлокотники, Каллигон напрягся, воскликнул:

– Сегодня, подданные, в боге отошел от плоти наш благочестивый повелитель Юстиниан Величайший!

Приличествует ли писклявому голосу евнуха извещать не о смерти – о кончине базилевса!

Дьякон громогласно начал:

– Ве-е-ечная память...

Хор согласно подхватил установленные Церковью слова. Сегодня эти пресвитеры, дьяконы, служки второй раз просили бога и людей не забывать имена умерших и дела их.

«Неужели только мечта об освобождении от Юстиниана давала тебе силы? – спрашивал себя Каллигон. – Раб ленивый, разве пережить это порождение зла было единственной целью твоей? Почему же ты устал?»

Варвары, разделив империю, отравляются ядом Власти. Их рексы перенимают худшее и подражают базилевсам.

Нужно предупредить всех об опасности. Если бы люди умели читать!

Каллигон вспомнил, что он нужен и несчастному Велизарию, которого без его заботы съедят черви. Нужен Каллигон и многим сотням колонов, сервов, приписных, рабов и наемников, принадлежащих виллам Велизария. Ведь они, хоть и свойственна им животная тупость, кое-как понимают: пока Каллигон управляет остатками богатства бывшего полководца, им дышится без лишних страданий.

Старому евнуху нужно жить. Не для себя. Для тех, кто живет с ним, для тех, кто рождается.

Стены дома и сам полуостров содрогались под ударами бури, бившей с севера, из земель варваров.

Не забывай ничего.

Эпилог

...Не я
Увижу твой могучий поздний
возраст.

Пушкин

Одинаковые курганы покрыли погребальные костры русских родов, погибших в хазарскую войну. Курган Всеславова рода зовется в Поросье Княжьим.

Ныне на Руси меньше считаются родами. Затрапываются племенные кони – внутренние границы между людьми славянского языка.

Молодые каничи, молодые илвичи считают себя старыми россичами. На имя россича отзываются россавичи, живущие на полуночь от каничей между рекой Россавой и Днепром.

И ростовичи с бердичами, делящие между собой владение землями по реке Ростовице, согласились старь заедино с россичами.

И славичи, чье место на верховье реки Роси, и даже дальние прежде триполичи, обладатели лесных полян, с трех сторон омываемых рекой Ирпенью и Днепром, после внутренних свар и споров вошли в союз с россичами, поставили под Всеславова руку свои слободы и дают князю воинов.

Повсюду к россичам первыми тянулись вольные пахари-изверги, которым родовое разделение совсем ни к чему.

Россичами, или руссичами – кому как выговаривается, – называют себя семьи припятичей и выходцы от других дальних племен и родов, которые с охотой вылезли и продолжают лезть из своих топей и дебрей на тучный чернозем Заросья, на бывшую степную дорогу.

Не потому так случилось, что забывчивы люди славянского языка, а потому, что памятьливы они и сметливостью ума не обижены. Под охраной русского войска славянский пахарь отвыкает задумываться по веснам, сам ли он или налетный степняк пожнет урожай на полянах.

Княжой курган цветет ласковой зеленью летних трав. Здесь Всеслав ищет уединения не для молитвенных воспоминаний об умерших. Сам судья, князь знал, в чем виноват перед отцом, женой, родом, и в совести своей решил спор без лукавства тяжбы. Прошлое жило в нем, и князь не страшился его.

Поход на ромеев обогатил княжью казну, обогатилось Поросье. Для того и посылал Всеслав войско в империю. Теперь можно ступить с миром к северу, чтобы богатством и славой взять в россичи хвастичей, ирпичей, ужичей и других славян, в ненужной разноплеменной разрозненности обитающих до реки Припяти. За ними не пора ли придет вятичам, жильцам приречий Супоя, Трубежа, Остра и Десны идти под сильную русскую руку?

Медленно должно быть великое делание, дабы не испортить его нетерпением скорого насилия. Как совершать? Как возводить великое творение не из покорного топору дерева, не из послушного силе камня, но живыми людьми из живых людей? Нет такой науки, чтобы узнать. Сам себя учи, князь, княжьей мудрости.

Много лет ушло, Всеслав знает, что хазары оправились и не будет от них покоя. Чтобы отбиться, нужно взять хазар в гнезде их, в задонских степях, где град их великий Саркел. Когда же слать войско, чтобы под корень подрезать Степь? Что раньше вершить, что потом? Сам решай, князь. Примерь разумом,

проверь сердцем, в душе испытай и взвесь чистой совестью.

Вот и сумерки, на закате видна вечерняя звезда. От Княжого кургана недалог путь до княжого двора над устьем Роси. Не пора ли переносить Княжгород? Ныне он остался на окраине, а место ему – в сердце земли. Будет для Княжгорода удобна гора в бывшей земле триполичей, при слиянии Днепра с Десной, над берегом, где искони стоит большой торг? Или не будет? Думай, князь.

С тех лет, как повсюду через обветшавшие засеки пробились прямые дороги, а над ручьями брошены мосты, и тесно и узко стало Поросье. Давно ли оно казалось большим, когда ходили окольными тропами и тайными лазами в лесных завалах? Ныне – накроешь ладонью.

Князь не прельстился роскошными одеждами, добытыми в ромейском походе. Он одет грубой пестрядью русского дела, по-слобжански. Ему не нужны ярмо кровавого пурпура и закатная желтизна золота. Некого ему обманывать. Он руссич.

Себялюбие не иссушило душу Всеслава, не пришлось ему отдаться сладости самоудовлетворения, сказав себе: «Вот совершил я великое и сам стал велик».

Таковы руссичи. Они не обольют презреньем другие народы, возомнив себя превыше всех. У них не привьются учения злобных пророков.

Руссича всегда жалит сомненье. Как бы ни занесся он, наедине с собой он знает: нет в тебе совершенства, нет, нет!

И, не умея восхититься собой, руссич ищет высокого вне себя и свое счастье находит в общем. Таков руссич, человек большой любви.

Он захочет словом, резцом или кистью выразить больше, чем сил у него, больше, чем позволяет материал. Сколько бы ни познал руссич – ему мало. Ведь и тот руссич, который будто бы всласть тешится славой, в душе не умеет солгать себе. Он знает, не закончено его творенье и нельзя оставить его.

Потому-то, раскрыв свое сердце, руссич становился понятен всем другим. И другие народы говорили: «Глядите, он близок нам, напрасно мы прежде боялись его».

Руссич всегда хотел невозможного. Вечно голодный душой, он жил стремленьем. Не жил еще на свете счастливый руссич, ибо для себя самого он всегда оставался ниже своей мечты. Потому-то и добивался он многого.

Отстав от своих, затерявшись в толпе себялюбцев, руссич казался жалким и глупым. В нем нет уменья состязаться в уловках с людьми, убежденными в своем праве попирать других, жить чужим соком. Взвзявшись не за свое дело мелкой, личной наживы, руссич всегда бывал и обманут и предан. Таков уж руссич, на самого себя он работает плохо, ему скучна такая работа.

Но как только, поняв ошибку, руссич сбрасывал чужое обличье, откуда только брались у него и уменье и сила! Он забылся, его не терзают сомнения. Тут все сторонись, как бы случаем не задела ступня исполина.

Таков уж руссич от рожденья, совершившегося на берегу малой реки, которая течет с Запада на Восток и впадает в Днепр с правой руки.

На бывшей границе между Лесом и Степью...

На Руси не такие места, чтобы надолго сохранялись свидетельства прошлого. Нет сухих песков, способных тысячами лет беречь и железный клинок, и маленький гвоздик, и колечко кольчуги наравне с куском выделанной кожи, деревянным брусом и лоскутом одежды. Нет гор, пригодных для каменных крепостей, вечных подземелий и нестираемых надписей.

Не было здесь и богов, которые требовали ластивых похвал в пышности крепких храмов. Не было и владык, подражавших богам. Простые в обхождении, хранители небесной тверди руссичей не нуждались в особом служенье, в алтарях, соперничающих с небом. Скромные символы славянской общности, русские божества любили стоять на полянах-погостах, в стенах зеленых лесов, под крышей из вольного воздуха.

Живая русская почва в своем влажном плодородии за одно поколение человеческой жизни без следа растворяла железное изделие. Шашель, черви-древоточцы, плесень, пожары сожрали русские грады. Стерлись могильники. Остатки поселений смыты настоящими потопами – подумайте, сколько дождя и снега бросило щедрое небо на русскую землю только за тысячу лет!

Истлели пергаменты, береста, доски, дощечки и палочки, на которых писали старые руссичи. Ничего не осталось, ничего.

Неправда! Под стертыми временем и плугом курганами и сегодня хранится пепел погребальных костров, кости и вещи, сделанные руссичами. Под дерном нашлись остатки погостов, градов, усадеб извергов, выселявшихся на волю из-под родового гнета. Все это жило. И живет.

Нет записей, сделанных руссичами, или они еще не найдены. Зато есть рассказы других очевидцев-современников, недвусмысленно ясные, прекрасные в своей точности.

Кто захочет, тот найдет много непреложных свидетельств. Нужно только чуть-чуть потрудиться, постараться понять, оценить и – сравнить, помня все время, что не бывает чудес, из ничего ничто не рождается, нет ничего непонятного, ничего сотворенного просто случаем или судьбой.

Но празден был бы труд и сказкой показалось бы рассказанное, коль рядом со всеми нами не стоял бы живой исполин, наш главнейший свидетель – Дело России.

Комментарии

Исторические справки общего значения

1

О летосчислении. Называя эпоху событий романа VI веком, датируя некоторые эпизоды годами современного счета, автор сознательно допускал неологизмы. Такой счет ничего не говорил подавляющему числу людей, даже из числа исповедующих христианскую религию.

Империя вела счет по индиктам – пятнадцатилетним периодам переписи населения и связанным с переписью росписям податей. На вопрос о годе индикта иной подданный мог еще ответить, но далеко не каждый и не сразу. Сознание народных масс ориентировалось по памятным датам, по войнам, массовым бедствиям. Легко определить год империи не смог бы и книжник. Документы того времени, как и писатели, пренебрегали хронологией; впоследствии историческая наука много потрудились над установлением дат, и все же некоторые остались спорными.

Счет нашей эры был установлен лишь в X веке. 532 году соответствуют следующие годы счислений, которыми тогда пользовались:

по счету византийскому, принятому в Восточной империи, – 863 год от Александра Македонского;

по римскому счету – 1285 год от основания Рима; римский счет совпадал с эллинским, который вели от первой олимпиады;

по иудейскому счету, принятому христианской церковью, – 6040 год от сотворения мира;

в Месопотамии – 1279 год от правления Навуходоносора;

в Индии, для буддистов, последнее воплощение Будды произошло за 1095 лет до 532 года.

В Китае – Конфуций родился на 12 лет раньше Будды, а Великой Китайской стене к 532 году нашей эры исполнилось уже 745 лет. Это грандиозное оборонительное сооружение в наибольшей своей части не только не было занято войсками, но не находилось даже под наблюдением патрулей. Однако кочевники, уstraшенные каменным валом, до времени ходили за добычей охотнее на запад, защищенный лишь пустынями и горами.

Не только в областях, оказавшихся под влиянием эллино-римской культуры, но и в удаленных от нее восприятие времени, историческая перспектива были иными, чем у нас. Прошлое населялось образами, тесно наслаивающимися, как бы одновременными, ибо не было свойственного нам ощущения поступательного движения человечества, его развития, перемен.

Талантливый писатель Плутарх смело издал «сопоставительные» биографии: он брал римского деятеля и эллина, отнюдь не смущаясь, что герои избранной пары разделены несколькими столетиями. С нашей точки зрения, время динамично. Плутарх же относился к эпохам, в которые жили его герои, так же, как человек нашего дня к периоду, скажем, преобладания ящеров на Земле и к периоду их вымирания. Для Плутарха, для его современников, как и для живших позднее, Солнце восходило и заходило, раскачиваясь над извечно неподвижной Землей, подобно маятнику на постоянной оси: вперед-назад, вперед-назад. Видимое глазами человека убеждало его в неподвижности времени.

Даже сейчас в бассейне Средиземного моря сохранилось много памятников древних культур.

Качество их – техника сооружения, совершенство форм и прочее – не только не было ниже уровня VI века, но порой и превосходило его. Подобные наблюдения без формулировок, *зримо*, доказывали людям VI века, что *движения* времени будто бы и нет. О том же говорили письменные и устные предания, большая часть которых нам неизвестна. А известные как Библия, убеждают читателя в необходимости *ждать*, чтобы вернуться к исходному месту – в рай с его очевидной неподвижностью законченного совершенства.

Особенно ярким свидетельством стабильности жизни служили египетские памятники, которых тогда было больше, чем теперь, и находились они в лучшем состоянии. Поступательное движение времени отвергалось и священным писанием христиан, и философией Платона. Что касается государственности, то такие ее «извечные» формы, как египетская, угасли совсем недавно. Было известно, что Египет многие века обладал всепроникающей административной системой, о какой Юстиниан мог лишь мечтать. Ведь за одиннадцать веков до Юстиниана фараон Амазис-Аагамес уже мог предписать каждому подданному под страхом смертной казни сообщить властям, на какие доходы он живет.

Христиане помнили обещания о Страшном суде, который, прекратив земную жизнь, сделает ненужной «видимую» вселенную. Иудеи уповали на Мессию, скорое пришествие которого тоже завершится покоем.

Род человеческий не чувствовал себя молодым. В Западной Европе было распространено мнение, что все ухудшается. И очень многие, наблюдая существующее, видели день вчерашний лучшим, чем текущий. Для одних в прошлом был рай, из которого само человечество изгнало себя легкомысленно-детским непослушанием богу. Для других – сиял Золотой век. Подготавливавшееся как бы планомерно убеждение в близости конца вселенной достигло кульминации в конце X века, выразившись в Западной Европе в массовом религиозном психозе: завтра Страшный суд! Причины стойкости идеологической надстройки объясняются закостенелой неподвижностью базиса: изменялись слова, божества, но производство было по-прежнему омертвлено рабовладением. В Восточной же Европе производство находилось в руках свободных людей.

В наше время чрезмерно преувеличивается трудность былых сухопутных сообщений. Однако и в VI и в XIX веках для передвижения служили те же лошади, те же повозки. Не леса, не горы, не реки, а разница в базисах предопределяла «раздел» Европы.

Свободный труд облегчал восточным славянам и тяготевшим к ним племенам воспринимать события как материальный результат усилий человеческой воли. Отсюда следуют и такие частности, как отсутствие понятия предопределения, фатальности, и ощущение движения, переменчивости времени.

2

Кафизма на ипподроме. Базилевсы были постоянными посетителями ипподрома, позволяя тем самым всем верноподданным ежедневно давить свое сознание созерцанием земного бога, Отца империи.

Кафизма входила в число зримых атрибутов величия власти. Наряду с торжественными церемониями, роскошью, обрядами кафизма давила на сознание подданных империи – вещественная и достаточно действенная пропаганда.

Изощренное титулотворчество, наука лести и преклонения перед автократом, этикет, разработку которого начал Диоклетиан, а продолжили Константин и его преемники, – все это получало в кафизме как бы архитектурное выражение. Базилевсы привыкали глядеть на подданных с высоты, другого общения не было.

Конечно, кого-то из владык, вероятно не одного, такое и стесняло, и утомляло: не так уж весело, изображая собой разукрашенную статую, постоянно взирать сверху вниз с высоты чуть ли не птичьего полета.

Тем временем базилевсу, по установленному обряду, целовали ноги. Обряд сам по себе выдыхается быстро. Но базилевсу твердили, часто убедительно и умно, о высоте его разума, о совершенстве его внутренних качеств – такое редко приедается, наоборот, развивается аппетит, чем пользуются приближенные. Мужчины и женщины уверяли базилевса в божественности его рук, ног, тела, лица, взгляда, угадывали, и не без меткости, мысли владыки, его капризы, и все раздували, кричали, трубили и полным голосом, и еще более действенным шепотом. Церковь же если не освящала все дела, то терпела их.

Докладчики старались сообщать приятное базилевсу и умели смягчать неприятное – чтоб не огорчить, но также и потому, что огорчение владыки могло больно отозваться на судьбе докладчика: бытовавшее будто бы в древности некоторых народов правило казнить гонца, приносящего дурные вести, уже давно стало басней, но поучительной. Итак, недостаток, например, денег в казне никак не мог связываться с намеком на непредусмотрительность самого базилевса, ранее приказавшего произвести бесполезные или малополезные траты; нет, такое должно было быть следствием злой воли, скарденности, себялюбия подданных, происходить из-за воровства, лености, неспособности тех или иных государственных служащих. В докладах умно и к месту приводились примеры из прошлого, свидетельствующие о том, что бывали небрежные служащие, уваливающие от своих обязанностей подданные, сановники-изменники, полководцы-предатели. Так, неудачи всякого рода вполне правдоподобно объяснялись совершенно частными субъективными причинами и легко связывались с именами тех или иных подчиненных, но никак не зависели от промахов самого базилевса или сановника-докладчика. Юстиниан, базилевс выдающийся, понимал, что поле его обзора сужается необходимостью видеть глазами докладчиков-сановников, и тяготился этим. Понимал он и то, что в его непосредственном окружении обязательно находились и льстецы, и хитрые, своекорыстные обманщики. Иные же, будучи какое-то время полезными, искренними, потом развращались властью, начинали слишком много мнить о себе и могли стать опасными. Много сил и времени отнимала перепроверка. За полувековое правление Юстиниан доказал свою бдительность своевременной сменой сановников, из которых никто не успел причинить ему вред, если и хотел.

В такой обстановке в Палатии всегда ощущались нервность, тревога за будущее. Дворцовые перевороты, предшествовавшие и сопутствующие им интриги, заговоры создавали в дворцовой среде неуверенность каждого в завтрашнем дне – в целом же все чувствовали зыбкость бытия, неизбежность

всеобщего крушения. На самом деле, уже простая отставка, не осложненная личным преследованием и конфискацией имущества, сбрасывала сановника в ряды простых смертных, прекращала его доходы и была для него тем, чем является революция для правящего класса.

Землей правят время и смерть. Время быстротечно, смерть неизбежна. Такое было очевидно для участников Палатийских игр за власть. Даже историку, удаленному многими столетиями от Юстиниановского Палатия, но вникающему в игру, кажется, что все это должно было бы завтра же рухнуть, рассыпаться, исчезнуть. Однако Восточная империя, битая, сжимаемая, разрываема, приподнималась, срасталась. Она продержалась после Юстиниана еще почти тысячу лет как государственный организм и была, наконец, убита турками, то есть пала жертвой насильственной смерти. Замечу, что одной из причин живучести империи был ее разветвленный умелый аппарат управления.

Палатийские катаклизмы не разрушали систему общеимперского управления. Канцелярии могли действовать самостоятельно в силу вековой инерции, созданной еще Римской империей, которая вырабатывала способы объединения и нивелировки сотен племен, влитых в имперские границы. Чиновничий опыт передавался от поколения к поколению, смена готовилась в самих канцеляриях. Как столица, так и все провинции получали достаточное количество служащих всех рангов и специальностей, понимающих друг друга, обученных в одинаковых традициях, достаточно способных. Медленность связи – лошадь на суше, каботажное плавание по морям, – с неизбежными и по сезонам длительными задержками из-за погоды, развила у служащих инициативу, решимость действовать под свою личную ответственность, не ожидая указаний свыше.

Восточная империя унаследовала от Римской систему тайного наблюдения за подданными. Есть прямые указания на то, что уже при Константине Первом органы столичного управления пользовались услугами десяти тысяч секретных осведомителей. Если сохранить то же количество их для времени Юстиниана Первого, то окажется, что более трех процентов всех взрослых мужчин, или один процент всего столичного населения, считая вместе свободных и несвободных, вовлекался в работу тайного сыска. Возможно ли такое и была ли в этом нужда?

Византия, как и все столицы больших государств во все исторические эпохи, естественно, привлекала подвижных, деятельных, беспокойных людей и мнилась убежищем для любого преступника, которому легче утонуть в пестрой толпе громадного города, чем затаиться в малом. В столицах же совершается, относительно к провинциям, наибольшее число правонарушений. Уголовный розыск нуждался в тайной агентуре. Без такой же агентуры не могли обойтись налоговые управления, государственные монополии, таможи, наблюдение за тайными еретиками, поиск беглых – начиная с неоплатных должников казны и кончая рабами частных лиц.

Опасность иноземных разведок предусмотрена тем же императором Константином Первым, который издал правила приема иностранных послов. Кроме послов, были чужеземные купцы, они постоянно приезжали в Византию, жили в ней и тоже могли заниматься разведкой. Так, можно уверенно полагать, что морской набег на Византию Аскольда и Дира в 860 году был отнюдь не случайно приурочен именно к тем дням, когда базилевс Михаил Третий увел флот и войско в Малую Азию на войну с арабами. Старательно выписанные в торговых договорах империи с русскими князьями правила поведения русских купцов, прибывающих для торговли в Византию, выражают настойчивое стремление изолировать чужих, воспрепятствовать их частному общению с подданными. Заметим, что здесь видно недоверие к обеим сторонам...

Тайные службы липли и к сановникам, к полководцам, ко всем по возможности чем-то выдающимся лицам. Исторический опыт говорил о потенциальной опасности таких людей для базилевсов и делает понятным стремление имперских властей «освещать» их намерения посредством проникновения

наблюдателей в их окружение, в их личную жизнь.

Кроме специализировавшихся штатных агентов, тайный сыск имел возможность достаточно надежно использовать людей, в той или иной степени зависящих от усмотрения и произвола властей: содержателей харчевен, мелких торговцев, ремесленников, содержателей игр и развлечений, публичных женщин. Расчеты с такой нештатной, но постоянной агентурой производились мелкими разовыми подачками, побрякками.

В связи со всем сказанным названная выше цифра – десять тысяч агентов тайного сыска – никак не кажется чрезмерной.

Соком и цветом разветвленного древа византийской секретной службы являлся политический сыск. Но он по своим целям существенно отличался от позднейших полиций. Последние боролись с лицами, с организациями, которые хотели заменить существующий политический режим другим режимом, для чего старались распространить в народных массах свои идеи. Такого в Византии не наблюдалось.

Конечно, среди книжников-интеллектуалов, малочисленных и далеких от народных толп в силу именно своего интеллектуализма, всегда находились недовольные, любившие поговорить о демократии по древним образцам, мечтающие о переустройстве сего несправедливого, бессмысленного, жестокого мира. Тацит описал справедливый общественный уклад и высокие нравы германцев, живших за пределами Римского Мира, и вдохновил в дальнейшем Георга Вильгельма Фридриха Гегеля в мечте о Мире Германском. Но иные мыслящие сограждане Тацита с наслаждением вычитывали в тацитовской «Германии» критику, более, сатиру на Римскую империю, от чего империя ничуть не пострадала: писаное слово, пусть правдивое, не столь уж действенно, даже выходя из-под стилоса самого Тацита. Глаз современника находил острые намеки в книгах Прокопия Кесарийского, который жил в тени Юстиниана Первого. Позволяли себе вольности и другие византийские писатели. Нужно было немалое мужество, чтобы в те годы написать, например, что «базилевсы вообще не любят людей красивых, умных, красноречивых, базилевсы опасаются таких людей». Подобное давало интеллектуальное наслаждение и, может быть, способствовало узенькому ручейку интеллектуализма не совсем иссыхать в дебрях веков, но угрозы самой системе, самому политическому режиму в этих выпадах не было. Римские императоры и византийские базилевсы иногда уничтожали писателей, что бывало результатом личного раздражения, но не страха.

Политической системе угрожали некоторые религиозные секты, такие, как донатисты, враги частной собственности, но в их действиях не было тайны, их империя подавляла вооруженной силой.

Византийский политический сыск охранял личность и власть *правящего* базилевса, в этом была его особенность. После свержения или смены базилевса другим способом, политический сыск, так же как все остальные части имперского аппарата, безразлично подчинялся новому базилевсу и служил ему точно так же, как предыдущему, теми же приемами стараясь нащупать врагов, желающих его свергнуть, чтоб заменить другим.

При всех усилиях властей, византийцы бунтовали часто и с яростью. Сыску приходилось освещать настроение национально и социально пестрой массы столичных жителей. Взрывы мятежей зачастую происходили стихийно, то есть не были результатом заговоров, предварительной подготовки, организации. Власть старалась упростить положение, находила «зачинщиков», связывая причины бедствия с действиями злонамеренных лиц. Так было и с мятежом «Ника». Но не обязательно власть хотела обмануть самое себя. Через некоторое время после казни Ипатия и Помпея Юстиниан вернул их семьям конфискованное имущество. Это был акт своеобразной реабилитации, ибо по действовавшему в империи закону семьи государственных преступников лишались достоинства и гражданских прав.

Но то был конкретный случай, когда обстоятельства дела были известны самому базилевсу. В целом же имперские власти обманывались, не зная того. На самом деле, в областях таможенной, налоговой, уголовной, даже в более сложной – уличая иноземного лазутчика, – тайный сыск имел дело с конкретными лицами и деяниями, и донос по необходимости проверялся в ходе следственного разбирательства. Иначе бывало с освещением намерений, мнений, убеждений. Материальные улики и свидетели отсутствовали, и профессиональному агенту каждоминутно угрожала опасность сделаться, с позволения сказать, невинной жертвой своей профессии. Ведь именно профессия заставляла агента весьма нацеленно отбирать из всего им услышанного отдельные высказывания, именно профессия вынуждала агента выискивать, подчеркивать интересное, опуская рядовое, бесцветное. Конечно, что-то может дать и случай, но нужно подталкивать случай. Вознаграждение, денежное регулярное или разовое, или в форме поблажек, вынуждало агента не праздничать – нужно обеспечивать заказчика. Подслушивал ли агент, вел ли он сам разговор, – с его стороны вызывающий, – он произвольно, бесконтрольно, зато с естественной личной заинтересованностью, вводил в последующее сообщение отдельные, вырванные из контекста фразы, чем уже искажался общий смысл. Сверх того, агент мог кое-что переиначить, домыслить за собеседника. Разумеется, и в числе встречаемых агентом людей подавляющее большинство относилось к власти пассивно, думая лишь о собственных делах. О таких не упоминалось, ибо тайный сыск не общественный опрос. Сыску нужны были враги империи, то есть базилевса, и он умел их находить.

Стекаясь в канцелярии, донесения низовых агентов превращались в сырье для обработки. Результатом являлась изложенная в той или иной форме оценка, пользуясь современной фразеологией, политико-морального состояния столицы, армии, империи, наконец. А так как воплощением империи был базилевс, зримо утверждающий этот факт с высоты кафизмы, то помянутая выше оценка давала меру отношения подданных к данному базилевсу.

Естественно, более того, фатально оценки кренились в худшую сторону. Столица мнилась готовой к восстанию, заговорщики кишели, о диадеме базилевса мечтали многие, в среде сановников велись опасно двусмысленные беседы и так далее.

Конечно, во главе секретных служб и на ее решающих звеньях оказывались порой люди опытные, уравновешенные, ценящие донос по достоинству. Такие умели вносить в неизбежно мрачную картину трезвые поправки. Но и тогда сильная, хорошо организованная система тайного наблюдения способствовала поддержке в Палатии атмосферы нервозности, страха; психология островитян, чье убежище готовятся смыть волны бури, которая уже бушует за горизонтом.

3

Ипподром. Арена староримского цирка была свободна. Середину овальной арены византийского ипподрома, где главным развлечением были бега, естественно заняло длинное возвышение, которое огибали соревнующиеся... Хребет арены – великолепное выражение того времени – был украшен статуями и редкостями. Среди них наиболее замечателен жертвенник, взятый из храма Оракула – Аполлона Дельфийского.

Ровно за 1001 год до мятежа ополчение союза эллинских городов, сражаясь под командой стратегов Аристида и Павзания, разбило под Платеей вторгшихся в Элладу персов. В память о победе на деньги тридцати шести городов-республик был поднесен подарок Оракулу – золотой жертвенник на опоре из бронзовых змей. Через двести лет в Элладу ворвались галлы. Дельфы под Парнасом были захвачены, но ни храм Оракула, ни жертвенник, ни прочие ценности Аполлона не пострадали. Интересное и значительное обстоятельство: «варвары» сочли ниже своего достоинства грабить святыни врага.

До последнего времени в Стамбуле из земли, похоронившей хребет арены, торчала безголовая бронзовая спираль. Судьба самого жертвенника неизвестна.

4

Войско и рабство. Вопреки разнице в анатомическом строении эллины и римляне перенесли ярмо, почти его не изменяя, с плеч и подгрудка быка на шею лошади. Неподходящая упряжь душила коня. Поэтому появились парные и четверные упряжки-квадриги. Даже в стеснительной упряжи лошади могли быстро везти легкую повозку с возницей и хозяином по отлично гладким имперским дорогам. Но тяжелые грузы перемещались на волах. Скоропортящиеся продукты, например морскую рыбу из Остии в Рим, доставляли рабы-носильщики.

В походе легионер тащил на себе свыше 40 килограммов оружия, продовольствия, снаряжения, лагерного оборудования. Для своих солдат у римлян было дружески-насмешливое прозвище: мулы или варикозусы, то есть страдающие расширением вен. Армейский транспорт ограничивался одним, много двумя четвероногими мулами на центурию. Суточный переход пехоты ограничивался 16 километрами. Если эта норма превышалась в течение нескольких дней, говорили: «Летят, как на крыльях».

Война на суше, война на море – быт прошлого. Но ничто не изменялось в военной технике: ни качество металла, ни способы изготовления оружия, ни само оружие. Более того, наблюдался регресс. Еще в VI веке жители Рима хранили древний деревянный корабль, считая его принадлежавшим Энею-троянцу. Современник, человек опытный в мореплавании и в военном деле, описывает корабль Энея как чудо: «Все части цельные, из одного материала. Может быть, природа сама согнула эти деревья, или выпуклость балок была приведена к нужной форме искусством людей, или – другим способом (!)». Дело в том, что в те времена средиземноморские кораблестроители разучились распаривать и выгибать части для шпангоута. Византийцы строили корабли размером больше Колумбовых, но шпангоуты собирались из косяков, сколоченных гвоздями, поэтому непрочные корпуса судов легко ломались.

И упряжке лошадей, и кораблестроению, и многому другому империя могла бы поучиться у варваров. Но с косностью, о причинах которой чуть ниже, и эллины, и римляне, и византийцы умели *невидеть технику*. Это продолжалось веками. Построенные математиком-философом Архимедом особые машины сделали неприступным сицилийский город Сиракузы, павший по оплошности осажденных. Солдаты и полководцы первоклассной римской армии, ничего не позаимствовав, уничтожили машины, как обиженные мальчишки.

За тысячелетие было сделано только два капитальных военных открытия. В IV веке до н. э. в Македонии было создано боевое подразделение – фаланга-паук. Тогда же Рим усовершенствовал свой легион. Это было результатом развития плоскостной геометрии, примененной в военном деле. Отныне стратег был обязан принудить противника к бою на относительно гладком поле, где, осуществляя единство удара во всех направлениях, фаланга или легион ломают любое войско. Так, солдаты Александра Македонского неизменно успешно встречались с войсками, превосходящими их численно во много раз. Это не помешало большинству из тридцати пяти тысяч молодых людей, отправившихся с Александром на завоевание Индии, дожить до старости в строю фаланги.

То были победы воинского порядка над ополченческим беспорядком, но не бойца над бойцом, торжество выучки каждого солдата и общей организации военного строя, но не личной доблести или физической силы бойцов. Под Герговией галлы внезапно бросились на один из легионов Юлия Цезаря, не успевший построиться. В коротенькой схватке пало только убитыми 46 командующих и 700 легионеров – потери весьма тяжкие по тому времени. Через пятьдесят лет полководец Вар погубил целиком три легиона (целую армию!), легкомысленно подставив их под удар херусков на марше по узким тропам Тевтобургского леса, где было невозможно боевое построение.

Здесь не место искать эпоху, когда в империи военное искусство прошло свою кульминацию. Во всяком случае, к VI веку оно заметно упало. Не полагаясь на собственное войско, обученное по старым нормам, империя все шире прибегает к найму варваров. Из них составляются и отдельные подразделения, целиком укомплектованные наемниками-профессионалами. Они привлекаются и как отряды «союзников», под командой племенных вождей. В бою они пользуются *самобытными* приемами. Имперские начальники лишь координируют их действия в составе армии, не вмешиваясь ни в боевую подготовку, ни во внутреннее управление.

В чем причина не только застоя, но и упадка военного дела? Аристотель, определив человека как существо мыслящее, замкнул творчество в размышлениях-словах. Платон относился с презрением к любому физическому труду, а в рабе видел низшее существо. Отнюдь не благословив труд – наказание за первородный грех, христианская церковь обещала как награду избранным освобождение от бремени труда в раю; а рабство церковь признала естественным состоянием для тех, кого светская власть лишила свободы. Принудительный труд разлучил мозг человека с его агентом – рукой. Организаторы труда – надсмотрщики были не мастерами-десятьниками наших лет, но консервативными, невежественными погонялами-истязателями. Так душилась сама возможность развития какой-либо техники, в том числе и военной.

В свое время македонская фаланга и римский легион формировались из свободных людей, умевших также и *работать*, способных с охотой отдаваться тяжелому, сложному многогодичному обучению. При своем рождении совершенная боевая машина была одухотворена содержанием. Впоследствии в Риме не только разрастается рабство как результат тех же побед, но и вообще тают гражданские свободы. Нет более свободного римского земледельца-квирита, и от легиона остается хрупкая внешность.

5

Как таяла свобода. Начиная с XV-XVI веков европейцы привыкают отмечать высокую культуру Греции и Рима в области скульптуры, архитектуры, слова, философии. Однако же народные массы взаимодействуют с государством не через искусство и сочинения философов.

Легко уличить и языческую и христианскую империю в одинаковой тщательности истребления непокорных, всяких явных и тайных мятежников. Пусть многое и осталось до сих пор мало отмеченным, все же исторические картины яркие и образы впечатляющие: смерть в схватках, на баррикадах, на плахе даже, эффективнее медленного угасания от дистрофии.

Более действенная, куда более истребительная война империи с подданными происходила без свидетелей, в густом тумане законов, временных указаний, разъяснений, дополнений, тысячу раз измеренных, тысячу раз преломленных через произвол, личную выгоду, личные свойства законодателей и исполнителей. Эта война была полна недозволённых приемов и развращала обе стороны расхождением между словом и делом, растлевающей ложью хроник, клятвопреступлением, бесстыдством манифестов и всеми видами обманов, которые можно назвать профессиональными. В итоге расширилось *рабство*.

Результатом бесправия было и другое зловещее явление – падение числа подданных, замеченное еще при первом императоре, Октавиане Августе. Изобретались «решительные мероприятия», но подданные все более стремились к безбрачию – не к воздержанию. «Убыль» подданных продолжалась и в христианской империи. Государство же, стараясь сохранить свои доходы, еще туже затягивало петлю податей. Так называемый «свободный» подданный, земледelec, ремесленник, лично заинтересованный в увеличении выпуска своей продукции, но опутанный сетями налоговых обязательств, обремененный недоимками и связанными с ними ограничениями в правах, все менее отличался от раба и все более работал по-рабски. Подданные не годились ни в легионеры, ни в работники. Снижалась производительность труда, падало качество. В годы правления Юстиниана явления регресса имперской экономики проявились во всей яркости.

6

О слове «варвар». Приобретя гораздо позднее оскорбительное значение, вначале оно обозначало «неэллин, неримлянин». Принято считать, что «варвар» буквально: «бородатый». Однако в эпоху Перикла, когда складывался греческий язык, эллины сами носили бороды, и борода не могла служить отличительным признаком иностранца. Высказывают предположение, что «варвар» значит «подбритый», лингвистически: от «брадобрей», а не от «борода». Поиск истинного корня не имел бы интереса, если бы современная археология не разрушила ранее бытовавшего мнения о низком уровне материальной культуры Северо-Восточной Европы. Ее обитатели владели хорошей сталью и могли бриться. Во времена Гомера Северо-Восточная Европа называлась Великой Фракией. Фракийцам-неэллинам посвящена строка в «Илиаде» Гомера: «Фракийцы с чубом на голове наставили длинные копья».

7

Готы. По данным византийских источников, готы во II веке н. э. обитали в степной и лесостепной полосе к северу от Черного моря. Историки делили готов на восточных (остготов) и западных (вестготов), последние были ближе к Дунаю. В середине II века вестготы нанесли поражение имперским войскам. В середине следующего, IV столетия, гунны начали двигаться с востока на запад. Какое-то количество восточных готов, вероятно, пристало к гуннам. Остальные отходили к Дунаю, куда уже жались вестготы. Базилевс соглашался принять вестготов на правах федератов (союзников), но переговоры затянулись. Империю тревожила численность готов, около миллиона, в том числе тысяч двести боеспособных мужчин. Отдельные роды, входившие в племенное объединение, пытались самочинно переправляться через Дунай. Их отбросили после кровавых стычек.

По заключении договора обиды могли бы и забыться. Но имперские сановники наживались на продовольствии, назначенном для новых союзников как вспоможение на устройство. Доведенные до отчаяния, готы нападали на склады, на старожилов. Для усмирения пришлось снять часть пограничных войск. Остготы, не включенные в договор, воспользовались ослаблением охраны на Дунае и тоже переправились в империю. Вождей готов заманили якобы для переговоров и перебили, дабы «обезглавить» варваров. Готы все же организовались. В 378 году под Адрианополем они разбивают имперскую армию. Базилевс Валент пал в битве.

Указанная выше численность вестготов – около одного миллиона, в том числе двести тысяч боеспособных мужчин, – принята историками и входит в труды большей части ученых на основании показаний византийских источников. Существует и критика источников, довольно убедительно снижающая данные в них цифры в несколько раз. Так, например, по описаниям современников император Валент увидел под Адрианополем лагерь готов, замкнутый укреплением из тесно составленных телег. Критика источников указывает, что десятки тысяч телег, составляющие обоз стотысячного войска, не могут быть расставлены в виде круговой стены, ибо для такого громадного укрепления попросту нет удобного места. Должно было быть или несколько лагерей, устроенных из телег, или один – но тогда и войска, и телег не могло быть так много. Так же и движение походной колонны в сто тысяч готов со своевременным сбором под Адрианополем совершенно не вяжется с возможностями времени и места. Для организации такого марша нужны опытные генштабисты и интенданты, хорошо оснащенные средствами связи, управления и транспорта. Император Валент располагал в лучшем для него случае тридцатью тысячами войск. С запада на помощь Валенту шел с армией его племянник Гонорий. Валент мог бы дожидаться Гонория. Критика считает невероятным, чтобы Валент развязал сражение в условиях трех-четырёхкратного численного превосходства готов, и находит, что армия Валента скорее превосходила числом силы готов.

Автор не нашел удобным вносить в роман критику. Автор стремился отразить дух эпохи, то есть ощущение жителей империи во время нашествия варваров: через границы переливались бурные волны, и если воображение преувеличивало высоту волн, то не следует винить современников – и сам факт наводнения, и его бедственные последствия остаются реальностью.

В пользу критики, снижающей принятую большинством историков численность готов, говорит их поведение после разгрома армии империи под Адрианополем и гибели императора Валента. Тут со всей очевидностью выяснилось, что готы не задавались целью завоевания империи, они защищали справедливость так, как они ее понимали. Поэтому преемник Валента Феодосий договорился с готами о мире на первоначальных условиях. Готы получали вспоможение и мирно усаживались на отводимых им землях.

8

Готы в империи. Очень быстро готы оказались и в армии, и на государственной службе. Гот Гаина получил высшее воинское звание главнокомандующего Востока, гот Аларих – главнокомандующего провинции Иллирик, гот Стилихон – главнокомандующего Италии.

Готское сделалось модным. Византийские щеголи персидской хной красили волосы в огненно-рыжий цвет, носили, чтобы походить на готов, штаны и хитоны «готского покроя».

Империя содержала около 70 мириадов – 700 тысяч войск. Старые подданные составляли не более 15 мириадов в рядах армии. Остальные же были либо наемниками из числа варваров, либо союзниками – племенными отрядами федератов под командой родовых вождей. На время Византия пополнила недостаток населения. Во имя этого можно забыть язычество одних готов и арианский схизматизм других.

Современники называли готов не германцами, но скифами. Римляне старого закала били в набат. Сохранилось интересное воззвание Синезия, епископа Птолемаиды:

«Есть страшные предвестники. От зловредных примесей империя больна. Прежде нанятия скифов на военную службу следует набрать своих, кто занимается земледелием, извлечь философа от книг, ремесленника из мастерской, торговца с рынка и тех из праздного демоса, кто предпочли всему зрелища театров. Мы отдаем чужеземцам дела, свойственные мужчинам. По-моему, и выиграй они битву, нам будет стыдно пользоваться плодами. По малейшей причине они сделаются нашими владыками, ибо мы, не имея искусства военного дела, не сумеем сражаться с чужеродным войском. Нужно, не медля временем, очистить дворцы и сенат от диких скифов. Они же повсюду. В каждом доме мы видим скифа-раба, ибо они самой судьбой обречены быть подножием римлян. Но каждый раб есть враг своего господина. Сегодня, на наше несчастье, нашлись и полководцы и легионы, единокровные нашим рабам. Стоит им пожелать, и к ним пристанут рабы. Тогда они все вместе вволю потешатся над римлянами. Итак, должно уничтожить эту опасную для римлян защиту, устранить эту болезнь прежде, чем раскроется нарыв...»

Преосвященный Синезий был чрезмерно тонким наблюдателем. Готы не собирались захватывать империю. Но «по малейшей причине», пользуясь языком Синезия, могла произойти и катастрофа. О применении силы не приходилось и думать. Наиболее агрессивны были вестготы. Византийская дипломатия добилась их перемещения в Элладу. Восточная империя безжалостно пожертвовала этой провинцией по двум причинам: ее малопродуктивности и ее удаленности от столицы. Кроме того, Эллада была нелюбима – по подозрению в скрытой приверженности к язычеству. Рекс готов Аларих подверг Элладу разграблению и увел оттуда такие толпы пленников, что многие историки в дальнейшем сочли, будто в те годы Эллада потеряла все коренное население. Затем Алариха назначили дуком – правителем провинции Иллирик, сопредельной с Западной империей. Иначе говоря, византийская дипломатия вела вестготов в Италию.

Наполеон I, прибыв в армию в 1796 году, воодушевил оборванных и голодных солдат видениями «богатства и славы, которые ждут в плодороднейших долинах Италии». Таковы были аргументы и византийских дипломатов в последние годы IV века; приблизительно столько же переходов было до «плодороднейших» долин в от альпийских перевалов и от Иллирика.

В 400 году рекс Аларих, присоединив к своим вестготам родственные племена, осевшие в соседней с Иллириком Паннонии, вторгся в Италию. Но в этом году Восточной империи не довелось избавиться от вестготов. Итальянская армия под командой Стилихона заставила Алариха отступить. В следующем году Аларих терпит вторую неудачу. Еще через год панновские готы самостоятельно входят в Италию и

подвергаются разгрому. С Аларихом же Стилихон заключает мир ценой обещания ежегодного «подарка» – сорока одного кентинария золотых монет – несколько больше ста пудов.

Не удается византийским дипломатам избавиться от вестготов. Интрига перебрасывается в Италию. Договор с Аларихом представлен как позорный для Западной империи. Нашептывают об измене Стилихона. Слабый умом и волей император Гонорий прибегает к приему, обычному для ничтожеств. Стилихона предательски убивают, Алариху посылают «гордый отказ».

Аларих вторгается в Италию, проходит мимо неприступной столицы Равенны, где сидит император. Зимой 408 года Аларих подступает к Риму и берет громадный выкуп. От равеннского императора Аларих требует узаконения завоевания: для себя освобожденные Стилихоном титул и власть главнокомандующего, для своих готов – земельные участки по праву завоевания. Переговоры затянулись. Раздраженный Аларих в 410 году берет Рим, грабит Вечный Город. Отойдя в Кампанию, Аларих умирает от болезни тридцати четырех лет от роду. Первый варвар, который доказал химеричность Западной империи, был погребен на дне какой-то реки. Отведенную на время воду опять пустили, и тайна могилы Алариха не раскрыта и поныне.

9

Гунны. Еще не входя в непосредственное соприкосновение с Восточной и Западной частями империи, гунны уже были причиной описанных выше событий. Кем были гунны, откуда они пришли? Высказывалось много интересных предположений. Но неизвестно, на каком языке говорили гунны, как они сами себя называли. Очевидно, гунны были ядром, которое легко обрастало другими племенами в силу общности жизненного уклада. Эта подвижная, многоплеменная, исторически «случайная» организация была чужда какой-либо религиозной, тем более расовой нетерпимости. Источники, принадлежа перу подданных империи, склонны чернить гуннов до нелепости. Например, гунны «носят одежду из крысиных шкур». На самом деле «крысы» были кротами или сурками, чей мех ценится и ныне. Вопреки пристрастию иные авторы-современники сообщают о справедливости гуннских судей, о неподкупности правящих, о легкости налогов. Отдав долг обязательной агитации, такие авторы с завистью глядели на гуннские порядки.

Слухи о гуннах опередили их появление почти на столетие. В 441 году конные разведывательные отряды гуннов прорываются в Месопотамию, Армению, Сирию, появляются во Фракии, Македонии и Иллирике. И вновь Византия не оказалась целью новых пришельцев. Византия покупает мир с гуннами ценой ежегодной дани в двадцать один кентинарий золота. В 451 году вождь гуннов Атила после неудачи на Каталаунских полях возвращается в свою столицу на реке Тиссе, близ нынешнего Токая (Венгрия) и вскоре умирает.

Случайная империя гуннов рассыпается, племя исчезает в тумане изменчивых названий и самоназваний. Остались странные созвучия между некоторыми военными терминами современного французского языка и корнями монгольских слов. Так, французское *armee* (армия, войско) схоже с монгольским «урма», «урмас» (сила, храбрость). Слово *brigade* (бригада) напоминает «бриге» (соединение). *Soldat* (солдат) кажется сложенным из двух монгольских корней – «сульде» (значок военачальника) и «атык» (воин). В глаголе *guerroyer* (воевать) звучит «киараху» (убивать, проливать кровь).

10

Вестготы в Италии. Преемники Алариха сохранили в Италии видимость империи. Случайные ставленники вестготов носили эфемерную корону. Последний «император», сын римлянина Ореста, бывшего секретаря Атиллы, как бы в насмешку носил двойное имя Ромул-Августул. Он жил в заточении, получая содержание от рекса Италии Одоакра.

Часть вестготов овладела Испанией. Оставшиеся в Италии получили по праву завоевания земельные угодья – третью долю участков, инвентаря, рабов коренных владельцев. От этого пострадали собственники, от патрикия до колона. Однако потеря части капитала как бы возмещалась исчезновением принудительных поставок и общим облегчением налогов. Отпали взятки, вымогательства и произвол имперской системы.

За годы вынужденных кочевок готы утратили племенную традицию лично-общественной обработки земли. В Италии новые хозяева ничего не хотели и не умели изменить. Они превратили свои трети в ренту. Для завоевателей началась райская жизнь, они не сеяли, не жали. Подобно птицам небесным, они только развлекались. Тот из них, кто тщеславился зваться римлянином, был прав. Византийская интрига навязала готам завоевание Италии. Вестготы, как в веками не чищенном стойле, отравлялись сепсисом внутреннего распада.

Изъятием третьей доли земельных владений ограничилось вмешательство вестготов во внутренние дела Италии. Ограбленный Рим возродился. Он был духовной столицей, как резиденция папы.

11

Остготы в Восточной империи. Византия рассталась с вестготами, но остготы в ней остались. Вопреки яркой нетерпимости в делах вероисповедных империя остерегалась задевать совесть своих «арианствующих» федератов. В столице остготы содержали собственное духовенство, храмы, кладбища. В 450 году могущественная готская семья Аспаров поставила базилевсом Маркиана, а сами Аспары стали наследственными главнокомандующими Востока, то есть первыми маршалами, верховными генералиссимусами Восточной империи. Из рук Аспаров вышел и преемник Маркиана – Лев Первый. Лев выдал дочь за Зенона Исаврянина, и зять базилевса привлек в Византию своих соотечественников, воинственных горцев малоазийского Тавра. В 471 году Лев и Зенон устроили в Византии ночную бойню готов, одну из предшественниц сицилийских вечеров, варфоломеевских и прочих ночей. К базилевсу Льву прочно прилипло не слишком приятное прозвище Мяслика: византийский демос, видимо, иначе относился к погибшим готам, чем Палатий. Так или иначе, влияние готов было обезглавлено. Как бы исполняя заветы Синезия, Лев Мяслик пополнял армию подданными, в сенате не стало готов.

Но в Восточной империи они оставались, сильные, организованные. Они признавали главенство правящего рода Амалов, получавших жалованные деньги и зерно на кормление дружин. Долины Паннонии, выбитые войнами, как хлебный ток, опустытели колонистам.

Византия оглядывалась с опаской на сильных, беспокойных федератов. В 461 году базилевс Лев взял в заложники молодого Амала Феодориха. Вскоре после избиения Аспаров Феодорих был отпущен к своим.

Феодорих получил образование и за 10 лет жизни в Палатии лично не был чем-либо обижен. Его даже не обратили в кафоличество – он остался арианином. Через Феодориха Византия хотела внести разлад в среду остготов. Были даны обещания и получены уверения. Политики старались бороться с действительностью хитросплетением вымыслов и звоном клятв.

Ничто не могло удержать палатийского выученика в безнадежно нищей Паннонии. Остготы самовольно передвинулись в Македонию. Новое соглашение – Византия признала за Феодорихом право на Македонию, впрочем тоже высосанную войнами. Феодориху подарили высшее воинское звание – отныне он главнокомандующий Востока. Мятеж Василиска был укрощен Феодорихом, и Зенон усыновил вождя готов. Это не было актом сердечной благодарности. Базилевс Зенон разумно хотел привязать к себе и к империи незаурядного вождя опасных союзников.

Не просто складывались отношения духовных отца и сына. В год 486-й, и так обремененный для империи войной с персами, Феодорих подступил к стенам Второго Рима. Готы у ворот! Как быть? От Алариха избавились, натравив его на западную сестру Восточной империи. Так пусть же теперь туда отправляется и Феодорих со своими готами. Пусть одни варвары истребляют других. Чем будет хуже им, тем лучше. Византия успеет выступить в роли сильнейшего. Феодориху, любимому в духе сыну базилевса Зенона, поручено восстановить единство империи.

12

Остготы завоевывают Италию. Медленно, медленно народ-войско переливался через нынешнюю Болгарию к Сирмиуму-Стрему. На авангард напали гепиды, их разбили, их лагерь был захвачен, была взята добыча. Об этом сражении задние узнали через много дней. Готы перемещались долиной Савы – реки необходимы для водопоев – через Сисак, Загреб, Любляны. Вверх, вверх, через горные перевалы на юг, на юго-запад, на запад по торной дороге в Аквилею, Город Орлов, разрушенный во времена Аттилы и никогда не воскресший.

Неторопливое движение, со многими дневками, со многими неделями, потерянными из-за плохой погоды. Жизнь людей летела, события ползли. Боевая встреча с Одоакром произошла только в конце августа следующего года. После двух сокрушительных поражений – вестготы расплатились за римскую негу монетой собственной крови – Одоакр заперся в Равенне. Терпения осажденных и осаждающих хватило на три года. Сдавшийся на слово Одоакр был убит.

За время осады Равенны вся Италия признала власть Феодориха.

Зенон же окончил свои дни, не дождавшись объединения империи. Его преемник Анастасий медлил в поисках решения. Кем быть Феодориху? Правителем Италии в ранге главнокомандующего Запада? Или в ранге наместника? Лучше бы и Феодориху и готам совсем не быть! К сожалению, один зверь, перегрызая глотку другому, сам остался цел.

Пока Византия размышляла, готы объявили Феодориха королем-рексом Италии. Сорвалось задуманное Зеноном объединение империи в пределах Августа Октавиана.

13

Италия под властью готов. Трезво примирившись с действительностью, базилевс Анастасий прислал Феодориху императорские облачения и регалии. Это было и дружественным жестом и признанием. В ответ рекс Феодорих заявил, что готы ограничатся охраной Италии от внешних врагов. Римлянин Кассиодор, образованный человек, сенатор, стал первым министром. Восстанавливались дороги, мосты, городские стены. Остготы унаследовали надельные земли тех вестготов, которые ушли из Италии или погибли. Завоеватели кормились со своих участков и были обязаны военной службой. Положение италийцев, облегчившееся при вестготах, продолжало улучшаться. Благосостояние Италии поднималось.

Рекс-арианин, нагнавшись на губительные результаты византийских споров о вере, оказывал терпимость всем вероисповеданиям. Особым эдиктом Феодорих указал: «Я не могу приказывать в делах веры. Насилием нельзя принудить верить так или иначе».

Центром жизни Италии оставался Рим, папский престол – оплот католицизма и первый город по числу обитателей. Италийцы-католики за терпимость платили арианам-готам возрастающей нетерпимостью.

Готы разместились преимущественно в Северной и Средней Италии, сохранив столицу в Равенне. По многим данным, среди готов было двести тысяч мужчин, способных носить оружие. По другим данным – тысяч пятьдесят. Но даже и в последнем случае это количество весьма внушительно для своего времени, если вспомнить, что в годы правления императора Диоклетиана вся Италия могла дать не более пятидесяти тысяч легионеров.

Осев в Италии, остготы, так же как их предшественники вестготы, с опасной для себя быстротой претворялись в класс господ. Однако только сохранение силы могло бы позволить готам дожидаться слияния с коренным населением и образовать национальное единство, как позже это удалось нормандцам-французам, завоевавшим нынешнюю Великобританию, населенную англосаксами.

14

Юстиниан начинает восстановление империи в былых границах. В начале V века вандалы завоевали бывшие имперские владения в Северо-Западной Африке и основали свое государство со столицей в Карфагене. Базилевс Юстиниан послал против вандалов армию под командой Велизария. Феодорих сумел бы насторожиться, когда византийский флот в составе пятисот тяжелых кораблей под охраной девяноста двух галер подошел к Сицилии. Но Феодорих умер в 526 году. С ним угас политический гений готов.

Регентша Италии Амалазунта, дочь Феодориха, щедро снабдила флот своего друга Юстиниана продовольствием и лошадьми для конницы.

Ничто не разбудило сонный покой Карфагена вандалского. Никто не заметил византийский флот на длинном пути через пять морей, во время долгой стоянки в Сицилии. Ромеи пали на берег Африки как туча саранчи, принесенная ураганом. Вандалы были побеждены не только силой оружия, из-за растерянности они сами теряли возможности победы. Обнаружилось, что один из самых деятельных народов-воинов уже превращен в ничтожество негой среди роскоши.

Юстиниан отметил свой успех манифестом:

«Бог наградил меня милостью, дав мне возратить империи одну из староримских провинций и уничтожить народ вандалов, чтобы установить единство религии».

Вандалы утонули, как пепел в океане. Ни одного памятника, ни одной могилы. Ни намек на язык, которым они пользовались. Собственно, к какому племени они принадлежали? Это тайна мертвого тела, брошенного без погребения.

В Карфагене и в других вандалских городах Византии досталась грандиозная добыча золотом, камнями, серебром. Это была кочующая казна, собранная многими, кто всегда сох по золоту.

Вандалы, в дни своей силы грабя Италию, Рим, Элладу, хватали у тех, кто прежде грабил сам. Теперь византийцы взяли вещи, побывавшие в Риме, награбленные Титом в Иерусалиме, остатки драгоценностей Митридата, владельцев Пергама, Пальмиры; нечто и более древнее, как сокровища перса Дария и владык долины Инда, завоеванные фалангой Александра, а потом захваченные римлянами в хранилищах последнего владыки Македонии Персея.

Многое было расхвачено войском. Велизарий после вандалского похода сделался самым богатым человеком на берегах Теплых морей.

Так ли, иначе ли, но золото продолжало свой путь. Оно мягко, монеты истираются в кошельках и ладонях, драгоценности – прикосновением тела. Все же и сегодня доля древнего золота еще таится в какой-нибудь брошке, в колечке, в браслете. Оно побывало у тирских и сидонских купцов, в сумке ассирийского воина с завитой бородой, обрабатывалось тощим египетским ювелиром и бородатым эллинским златокузнецом, современником Перикла, Ликурга. Оно побывало на лодыжке танцовщицы индийского храма. Или, еще дальше, в темной глубине времени, оно украшало уши или запястья пелазга, строившего стены из едва отесанных камней на берегах будущей Эллады задолго до появления эллинов, которые пришли к Теплым морям неизвестно откуда.

Изредка что-то из древнейших драгоценностей неожиданно появляется на поверхности наших дней, в XX веке. Во время второй мировой войны Хайле Селласие, император захваченной войсками Муссолини Эфиопии, находился в Англии, которая дала ему политическое убежище. Однажды, нуждаясь в деньгах, император хотел получить ссуду, предложив в залог одну из драгоценностей эфиопской короны –

массивное блюдо из Иерусалимского храма. Но обнаружилось, что этот предмет был изготовлен из свинца, обложенного золотом.

Нет достоверных сведений о путях, которыми некоторые храмовые священные сосуды попали в Эфиопию, но о первых шагах можно судить с достаточным правдоподобием. Святилище древней иудейской религии знаменитый храм Соломона в Иерусалиме на холме Мориа был после первого разрушения восстановлен евреями в пятисотых годах до нашей эры. В шестидесятых годах нашей эры в Иудее, входившей в состав Римской империи, началось восстание. Оно не имело ни малейших военных или политических шансов на успех, но, в силу ожесточеннейшего религиозного фанатизма восставших, потребовало для своего подавления заметных усилий империи. В семидесятом году, после почти шестимесячной осады, был взят Иерусалим. Он был разрушен тщательно, до основания в точном смысле этого слова. (Интересно заметить, что и сейчас в Палестине дома, принадлежащие «мятежникам», тоже разрушаются властями до основания, с той разницей, что лом и кирка заменены зарядами тола.) После взятия Иерусалима храмовые сокровища попали в Рим, если не все, то часть золотой храмовой утвари могла попасть в добычу вандалов во время их набега на Рим.

15

Юстиниан продолжает восстанавливать империю. И по сравнению с предыдущими годами, и тем более по сравнению с дальнейшим годы правления Феодориха были для Италии эпохой процветания. Но Великий гот не оставил достойных наследников; впрочем, традиции управления и устойчивые формы государственности, способные обеспечить преемственность внутренней и внешней политики, подобно классу служилых землевладельцев старой Руси, создаются не искусственно, но исторической эволюцией. Готы не успели сложиться в ведущий класс, они пользовались его преимуществами, не понимая обязанностей. Среди готов еще существовало родовое деление, а право надплеменного руководства признавалось за родом Амалов. Политически зрелой Византии было легко и подкупом, обремененным в подарки, и интригой увеличивать смуту и смятение в готских кругах после смерти Феодориха. Правящий род Амалов почти вымер; его былой ореол парадоксально определил способ убийства дочери Феодориха Амалазунты, задушенной горячим паром. Боязнь крови, вопиющей к Небу, не раз вызывала подобное лицемерие, подобный «технический прием». Так, захватив Багдад, монголы, дабы не проливать кровь Магомета, зашили калифа ислама и нескольких других потомков пророка в кожаные мешки и забили дубинами. Иван Грозный иногда, как бы опомнившись, топил свои жертвы в мешках...

Смерть Амалазунты не только увеличила смуту в Италии. Приложивший к ней руку Юстиниан получил козырного туза пропаганды: были нарушены и божеские, и человеческие законы! Юстиниан понимал силу агитации и моральное преимущество обиженной стороны. На упрек персов в нарушении перемирия он блестяще ответил: «Не тот виновен в войне, кто первым послал войско. Настоящий нападающий тот, кто, тайно готовя войну, *вынуждает* упредить его».

Вторжение в Италию было тоже объявлено вынужденным, война обещала быть быстрой, успешной. После почти двадцатилетней борьбы Юстиниану досталась опустошенная, на четыре пятых обезлюдившая Италия. Средства разрушили цель, хребет Италии был сломан. Вскоре всеми обиженные, всеми битые лангобарды захватывают большую часть ее не своей силой, а немощью несчастного, но заманчивого полуострова. За лангобардами и с суши, и с моря ломаются другие. Византийцам суждено кое-как цепляться за отдельные куски побережья. Но переход солнца Италии на вторую половину дня обнаружился при императоре Октавиане Августе: вдруг заметили, что страна уже не в силах давать былые контингенты для пополнения легионов молодой империи. С Юстинианом же на Италию опускается сумеречный период, названный впоследствии средневековьем.

А в Восточной Европе – утро. К концу первого тысячелетия Киевская Русь – самое культурное и сильное государство Европы. Монголы появились в годы перестройки, перераспределения русских сил между югом и северо-востоком. На сто лет раньше или на сто лет позже военное состязание с ними разрешилось бы по-иному. Но и до монголов, и при них сельское хозяйство и ремесло находились в руках свободных производителей, тогда как в Западной Европе преобладало рабство под дырявым плащом феодального серважа и колоната. Для Руси не был типичен человек, чья личность была погашена принудительным трудом, и массовое народное ополчение, собранное Дмитрием Донским, невероятно ни в одной из современных Донскому европейских стран. Здесь одна из приметностей исторического характера Руси. Потому-то и подорвался у нас монгольский порыв, а Русь, вопреки двум с лишним векам монгольского ига, выжила и воссоздала себя.

16

Христианство и Русь. В VI веке христианство, подавляя остатки древних религий, в Европе главенствовало. Надо помнить, что то была религиозная эпоха, людей неверующих, атеистов не было. Источники не дают и подобия ответа на вопрос, почему славяне, веками общавшиеся с Византией, оставались вне христианства? Работа автора над «Русью изначальной» убедила его, что как раз эта близость и была препятствием. Русь могли и должны были отталкивать фанатизм вероисповедных споров, жестокости преследования инаковерующих; могли и должны были казаться бессмыслицей догматические, словесные тонкости, из-за которых совершались отвратительные насилия; расхождение между словами и делами могло вызвать и вызывало отвращение. Позднее Русь, доказав свое государственное и военное преимущество, взяла христианство не из грозных рук империи, но из рук просящих, убеждающих. И освоила свое христианство самобытно.

Тема обширнейшая. Ограничусь указанием на сохранявшуюся в России веротерпимость, на отсутствие демонизма со связанной с ним больной и зловещей эротикой, на отсутствие борьбы сект. Раскол старообрядчества, возникший в XVII веке и для нас мучительный, есть поистине ничтожнейшая мелочь перед западноевропейскими религиозными войнами, муками Реформации. Все жертвы религиозных преследований за все тысячелетие русского православия – едва половина парижской Варфоломеевской ночи, одни сутки альбигойской войны, или один месяц драгоннад Людовика XIV. А все русские костры за тысячу лет – это три-четыре аутодафе Мадрида...

1

Сидеть пиво – старинное русское значение: варить пиво.

2

Мандракий – буквально: загон для овец. Это слово было принято для обозначения закрытых портов, для замкнутых искусственными молами акваторий.

3

Арена – песок (*лат.*).

4

Еще в XIX и XX веках дворцовая прислуга торговала остатками царских столов, и небезвыгодны были должности уборщиков цирков, ипподромов – мест, где зрители чрезмерно увлекаются зрелищем.

5

Девскипп-афинянин – древний писатель; сохранились обрывки произведений. В них с большой силой и убедительностью превозносится государственный строй Афинской республики. Девскипп сыграл роль в позднейшей идеализации рабовладельческих республик Древней Греции.

6

Пресвитер – старейший. Первоначально его власть равнялась епископской, впоследствии уменьшилась. В настоящее время – священник.

7

Демы – городские общины.

8

Ламбда – буква греческой азбуки.

9

Акинак – тяжелая сабля с загнутым, утолщенным и расширенным концом.

10

Охлос – по-гречески имеет два значения: и мятеж, и ту часть народа, у которой нет никакого имущества, кроме пары рук, отдаваемых внаем. Первоначально само слово ни в Греции, ни в Византии не имело сколько-нибудь обидного значения.

11

Публий Корнелий Тацит (55–120 гг. н.э.) – знаменитый мастер слова, историк. К сожалению, сохранилась меньшая часть его произведений. Марк Клавдий Тацит (200–275 гг. н.э.) в возрасте 75 лет против своей воли провозглашен сенатом императором. Отдав на нужды государства все свое состояние, император Тацит пытался установить порядок, но был убит солдатами. Одним из мероприятий его шестимесячного правления был эдикт, обязавший все имперские библиотеки иметь по десять экземпляров произведений Публия Корнелия Тацита.

12

Конфуций – Кун-фуцзы, китайский нравоучитель (551–479 гг. до н. э.).

13

Тримурти – в индийском браманизме единство богов Браммы, Вишну, Шивы; символы – трехголовая статуя и трезубец.

14

Ника – значит «побеждай», «бей».

15

Капаней и Амфиарай – герои древних греческих мифов, наказанные богами за игру с силами природы.

16

Донатисты – религиозная секта с чертами социальнополитической партии в Северной Африке. Частично стремились к разделу имущества и материальному равенству.

17

Выражение «списать в расход» в данном смысле свойственно Византии в VI веке.

18

Сарисса – тяжелое копье с наконечником в виде обоюдоострого кинжала. Применялась в пешем бою и для защиты пехоты от конницы.

19

Евокатус – избранный; почетное звание лучших легионеров, особо заслуженных.

20

Тертуллиан – один из ранних церковных догматистов (160–240 гг. н. э.).

21

Нафта – нефть из Азербайджана, была известна с глубокой древности.

22

По библейскому преданию, Каин убил своего родного брата Авеля. Оба были сыновьями Адама и Евы.

23

Здесь: ложе – нечто вроде кровати, чтобы обедать лежа.

24

Скуба – военный дом, *схола* – отряд избранных солдат.

25

Гепарды – крупные длинноногие хищники из породы кошачьих, легко приручаются и употреблялись издревле для охоты вместо собак.

26

Медея, Язон – герои мифа об аргонавтах. Из него Еврипид почерпнул сюжет трагедии «Медея». Этим же сюжетом увлекались многие древние поэты.

27

Гинекей – помещение для женщин.

28

В 312 году Константин, тогда язычник, победил своего опаснейшего соперника Максенция. Много позже была создана живучая и до наших дней легенда о явлении Константину креста в небе в ночь перед сражением.

29

Диоклетиан – император, правил с 284 по 305 год н. э. Длинная, пестрая линия десятков римских императоров-язычников, из которых одни (Антоний, Марк Аврелий, Север и др.) признавали свою ответственность, другие (Каракалла, Гелиогабал и прочие) видели во власти лишь предельную возможность исполнения личных желаний, третьи же были игрушками в руках солдат, завершается значительной фигурой Диоклетиана. Администратор, полководец, он начал «темным» солдатом. Начальник гвардии императора Нумериана, Диоклетиан захватывает власть после убийства Нумериана. При Диоклетиане Рим теряет значение столицы. Диоклетиан ищет новые формы пропаганды для укрепления власти. Познакомившись в Египте с культом богов-фараонов, посредством которого, как понял Диоклетиан, в течение тысячелетий обеспечивались стабильность и преемственность монархии, он приступает к организации своеобразной «Семьи Богов». Себя самого Диоклетиан объявляет Сыном Юпитера, а ранее привлеченного к правлению Максимиана – Сыном Геркулеса. Диоклетиан не хочет делать престол империи игрушкой случайности рождения. Императоры-боги готовят себе смену из числа богов-помощников. Эти младшие боги, называемые цезарями, составляют подобие школы. Они при жизни императоров-богов обучаются власти, управляя отдельными областями, исполняя поручения, командуя армиями.

Избранные в цезари входят в семью как посредством браков с дочерьми императоров-богов, так и усыновлением. Последнее в сознании римлян было равно кровной связи. В цезари Диоклетиан избирает Галерия, Максенция, Констанция Хлора (Бледного) и других. Диоклетиану казалось, что он создал вечную машину правления, повиновение которой для подданных является и гражданским и религиозным долгом. При дворе вводится особая пышность, разрабатывается этикет.

К тому времени христианство, предлагая всем угнетенным нежные утешения в земной жизни, моральную и даже материальную опору своих хорошо организованных общин, а за гробом – возмещение

обид и вечное блаженство, успешно завоевывало массы. Идею противника у христианства не было. Традиционная государственная религия, заимствованная римлянами у эллинов, находилась в состоянии полнейшего опустошения. При всей своей практичности Диоклетиан вздумал оживить мертвое тело.

Собирая «Семью Богов», Диоклетиан, как основоположник новой имперской религии, счел нужным подавить христианство административными мерами. Массы верующих сопротивлялись, появились мученики за свои убеждения, но многие епископы подчинились императору.

Сочтя свою миссию законченной, Диоклетиан ушел на покой за десять лет до своей смерти и вынудил к тому же своего соправителя Максимиана. Но «Семья Богов», разорванная внутренней сварой, успела рухнуть на глазах Диоклетиана. Константин, сын Констанция Хлора, продолжая, по существу, дело Диоклетиана (укрепление и обожествление единоличной власти), отказался от опасности своеобразной коллегии богов и от реставрации язычества. Объявив поначалу культ Солнца, последователей которого было много в легионах, поддержавших Константина в борьбе с Максенцием, новый император вовремя отказался от Солнца и поручил христианским церковникам пропаганду автократии. Торжествующая христианская церковь хорошо поработала над изображением Диоклетиана в роли сатанинского гонителя Христа. Всячески замалчивали, что отец «Семьи Богов» преследовал образованных язычников с не меньшей силой, чем христиан. Опасаясь скепсиса грамотных, Диоклетиан приказал «повсюду изыскивать и уничтожать людей, позволяющих себе рассуждать о делах империи». Погибали книги, библиотеки, а иное, быв убито в зародыше, вообще не увидело света. И в этой области Диоклетиан предварил дела своих христианских преемников.

Гонорий – первый император Западной империи после раздела, происшедшего в 395 году н. а. Императором Восточной империи стал его брат Аркадий, что не помешало обеим частям начать вражду путем интриг и натравливания варваров. В 403 году Гонорий перенес столицу Западной империи в Равенну, сильнейшую крепость и порт – двойное преимущество перед Римом. Умер в 432 году.

Пульхерия – базилисса Восточной империи, умерла в 453 году. Сестра второго базилевса Восточной империи, имела большое влияние на брата. Период смеси ханжества, взяточничества, интриг, распутных женщин, дворцовых убийств, стремительных возвышений и столь же быстрых падений временщиков.

Аэций – талантливый администратор и полководец. Виднейший деятель Западной империи, командовал соединенными армиями империи и ее союзников в неудачной для Аттилы битве на Каталаунских полях, близ нынешнего Шалона-на-Марне (Франция). В результате дворцовой интриги Аэций в возрасте приблизительно 60 лет убит императором Валентинианом III в 454 году. Аэций прозван некоторыми последним римлянином.

30

Октогон – восьмиугольник (греч.).

31

Норик (или Норика) – обширная провинция империи к югу от Дуная, обнимала позднейшую Верхнюю и Нижнюю Австрию, значительную часть Штирии и Каринтии.

32

Логос – в религиозной философии вечная божественная мысль, олицетворенная в Христе, сыне

божьем.

33

По библейскому преданию, Иаков, чтобы получить в жены дочь Лавана Рахиль, четырнадцать лет был у Лавана пастухом.

34

При Херонее (338 г. до н.э.) македонцы разгромили эллинский союз – начинается эпоха македонской гегемонии. Филипп (382–336 гг. до н.э.) – владыка Македонии.

35

Правление Юстиниана, показавшего пример своим бесчисленным подражателям в Европе, отличается среди прочего также тонкой изобретательностью в налоговой области и невероятной для нас жестокостью взимания налогов; пытки и казни недоимщиков по приговорам судов были обыденным явлением. Эпибола и синона – налоги: круговая порука сельских хозяев, обязанных возместить недовнесенное соседями, вне зависимости от войн, нашествий, стихийных бедствий, и бесплатная поставка зерна на кормление войск. Эти два налога, особенно тяжких, окончательно обесценили землю, которую иные владельцы, спасаясь бегством, просто бросали, ибо покупателей не было.

36

Аккувит – товарищ по столу, сотрапезник.

37

Кохлиос – винтовая лестница, буквально: улитка.

38

Тит – сын императора Веспасиана, покорил и разрушил Иерусалим в 70 году н. э.

Гензерих, или Гейзерих – рекс вандалов, основатель вандалского государства в Северо-Западной Африке на землях, отторгнутых у империи. Взял и ограбил Рим в 455 году. Настойчивая имперско-христианская пропаганда – вандалы были схизматиками-арианами – сообщала невероятные подробности ограбления Рима. Например, вандалы были настолько дики, что сняли с римских крыш позолоченную черепицу, сочтя ее чистым золотом, и т. п. Все это, доверчиво воспринятое буржуазной историографией, сделало нарицательным, наряду с гуннами-варварами, племенное название храброго народа. Но те же самые источники изображают высокий уровень экономики и богатство вандалского государства. А через несколько лет после возвращения «в лоно империи» Северо-Западная Африка являет страшную картину разрухи: оросительные каналы разрушены, поля засохли, сады погибли или вырублены, население исчезло. Таков был результат освобождения от вандализма.

Флави – знаменитая плебейская семья в Риме, к которой принадлежали три императора – Веспасиан, Тит, Домициан (с 69 по 96 год н. э.). Когда-то, при первых «царях», в Риме были неграждане,

именовавшиеся плебеями. Вскоре они приобрели гражданские права. Личное положение в Риме определялось по преимуществу богатством. Деление на сословия служило скорее тщеславию, чем реальности. Причем потомки «древних» плебейских фамилий гордились своим плебейством не меньше, чем другие сенаторством. Слову «плебей» уничижительный оттенок был придан значительно позже, и не в Риме.

39

Македония была завоевана Римом в 148 г. до н.э., через 175 лет после смерти Александра Великого, последовавшей в 323 г. до н.э.

40

Катон (Утический) боролся в 46–45 гг. до н. э. против захвата власти Юлием Цезарем. *Цицерон* – политический деятель и знаменитый оратор-адвокат (106–43 гг. до н. э.).

41

Помпей – полководец, проконсул и консул, член триумvirата вместе с Юлием Цезарем и Крассом, в дальнейшем соперник Цезаря, убит в 48 г. до н. э. Сулла – римский диктатор, умер в 78 г. до н. э.

42

Так назывались законы новые в дополнение к Кодексу.

43

Пагарх – высший чиновник-администратор, наблюдающий за поступлением налогов.

44

Лимитон – название пограничных округов в отличие от внутренних.

45

Остров Святого Григория – остров Хортица на Днепре.

46

«...Вечно ты, преследуема Герой и оводом язвима, бежишь». – Эсхил. «Скованный Прометей».

47

Челнок – игла плоская, широкая, с вырезом. В вырезе зуб, за него цепляют нить – уток.

48

Тороки – мешки, сумы, подвешиваемые к седлам.

49

Взлобок – одно из красочных названий, даваемых нашим народом крутоватому подъему.

50

Назрячь – видя.

51

Меотийское болото – ныне Азовское море.

52

Аттила – повелитель гуннов, был сыном Мундзука.

53

Фарасанг (парасанг или фарсанг) – древнеперсидская мера длины, употреблявшаяся греческими писателями для определения расстояния в Азии: 5–6 русских верст.

54

Светильник с семью рожками.

55

Ксиролоф, Плакиллины – дворцы на западной окраине Византии, вдали от Палатия и ипподрома.

56

Пропилеи – колоннада у входа во дворец, в город.

57

Югер – древнеримская и византийская мера земли. Площадь югера точно не установлена, приблизительно 2500 квадратных метров.

58

Ворота Некра – Мертвые ворота. Отсюда вывозили животных, затравленных во время игры.

59

Quod vult perdere, dementat. Обычное в разговоре сокращение поговорки, полностью читаемой так: «Кого Юпитер хочет погубить, сначала лишает разума».

60

Вделанные в стену трубы для подслушивания.

61

Согласно мифу Геракл погиб, надев отравленную тунику побежденного им кентавра Несса.

62

Регуум – (ныне Реджо) – древний город на материке, против Мессины, на берегу Мессинского пролива. В 1943 году американские войска высадились там же.

63

По преданию, такое поручение было толчком к открытию известного закона Архимеда.

64

Член городского управления.

65

Мир, Вселенная (*лат.*)

66

Эмилий П. – римский консул, полководец II века до н.э. Для древних писателей семья Эмилиев – образец добродетели.

67

Амалы – правящий род у остготов. Из этого рода происходил рекс Италии Феодорих, завоеватель Италии, прозванный Великим.

68

Башни на колесах.

69

Квестор империи (министр юстиции) Трибониан издавал толкования законов, выгодные мздоимцу, временные указания и даже новые законы (новеллы), дополняющие Кодекс. Часть личных «доходов» квестора шла в казну базилевса.

70

Террачина, Формия, Гарильяно недалеко от Неаполя. Автор сознательно допускает неологизмы, называя пункты современными именами.

71

Миля римская (= 8 стадий) – 1,483 километра.

72

Жупан – от жупа – община, племя, род.

73

Планины – горная цепь между Дунаем и Фракийской низменностью.

74

Ныне река Марица.

75

Франциска – тяжелая обоюдоострая секира, которой франки пользовались как метательным национальным тогда оружием.

76

Плотин (205–270 гг. н. э.) – философ-неоплатоник. Его труды были допущены церковью для изучения и оказали влияние на христианскую философию.

77

Паганус (от древнеримского пагус – сельский округ) – первоначально мирный сельский житель, затем обитатель захолустья. В дальнейшем – язычник. На Русь слово занесено греками, употреблялось как синоним язычника, впоследствии – бранное.

78

Игра слов: по-латыни множественное число от senex (старик) и senator (сенатор) совпадают: senatores.